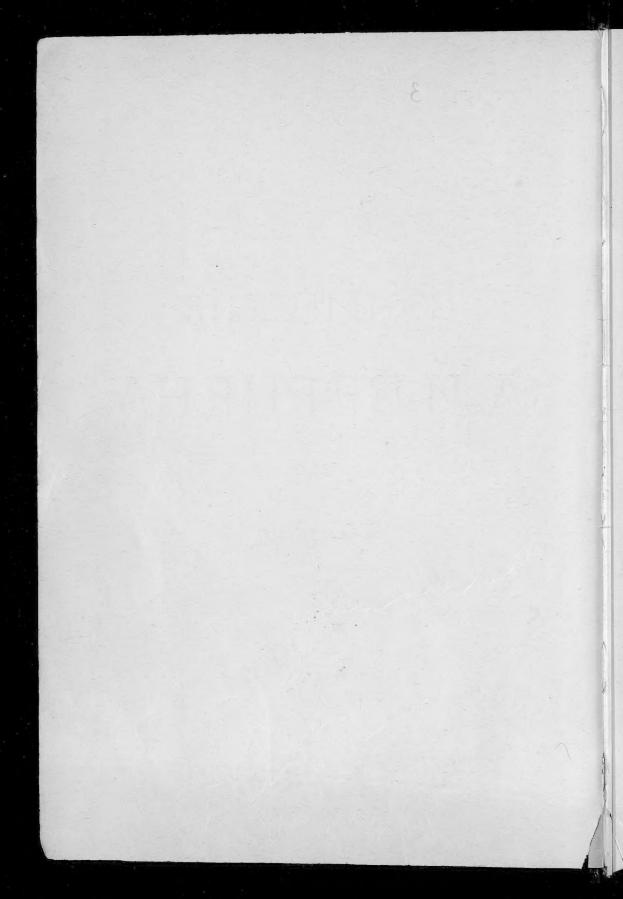


# сочиненія А.И.ГЕРЦЕНА.

Томъ III.



9(44):3

# COYNHEHIA

# А.И. ГЕРЦЕНА

И

Переписка съ Н. А. Захарьиной.

ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ.

Съ примъчаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя).

Томъ III.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Изданіе Ф. Павленкова. 1905. IPK 193



Книгопечатня Шмидтъ, Звенигородская, 20.

# Оглавленіе III-го тома.

# Былое и Думы.

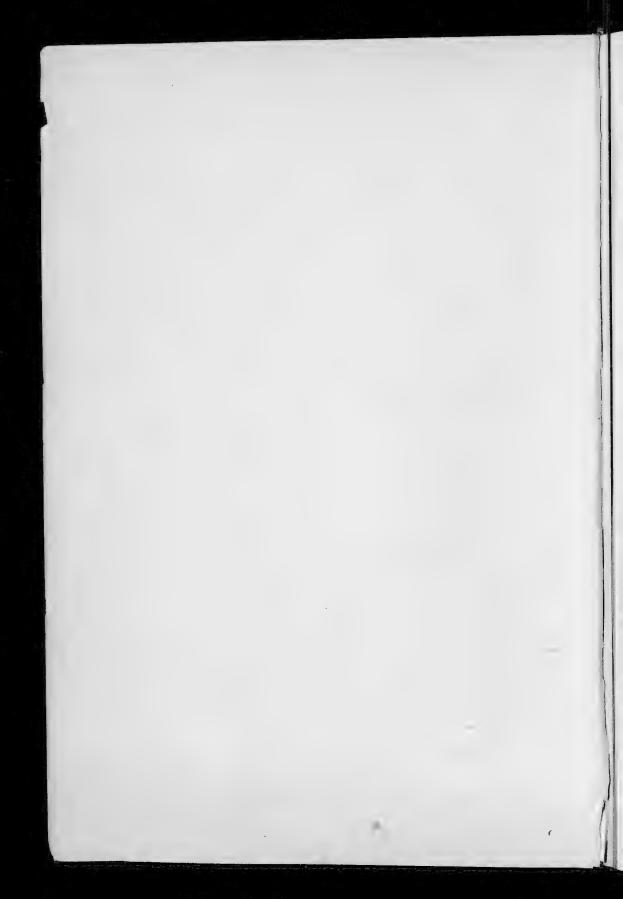
(Продолженіе).

# часть пятая.

Tupin B Him Hupin S.	-
Отдъленіе первое. Передъ революцією и послѣ нея.	CTP.
Глава XXXIV. Путь.—Потерянный пассъ.—Кёнигсбергь.—Собствен-	
	4
норучный носъ.—Прівхали!—И уважаемъ.	4
Глава XXXV. Медовый мысяць республики.—Англичанинь въ мъ-	
ковой курткъ.—Герцогъ де Ноаль.—Свобода и ея бюсть въ Мар-	
сели.—Аббатъ Сибуръ и Всемірная республика въ Авиньонъ.	9
Западныя арабески. Тетрадь первая:	
I. Сонъ	15
II. Въ грозу	18
IV. Примъты.	23
V. Тифоидная горячка	28
Глава XXXVI. La Tribune des PeuplesМицкевичъ и Рамонъ-де-ла-	
Сагра.—Хористы революціи 13 іюня 1849.—Холера въ Парижъ.—	
Отъйздъ	30
Глава XXXVII. Вавилонское столпотвореніе.—Нѣмецкіе umwaelzungs-	
maenner'ы.—Французскіе красные горцы.—Итальянскіе Fuorusciti въ	
Женевъ.—Манцини, Гарибальци, Орсини—Романская и германская	
традиція.—Прогулка на "князъ Радецкомъ".	47
Глава XXXVIII. Швейцарія.—Джемсь Фази и рефюжье.—Monte-Rosa.	76
Западныя арабески. Тетрадь вторая:	
I. Il Pianto.	95
II. Post-scriptum.	101
Глава XXXIX. Деньги и Полиція.—Полиція и Деньги.	108

	ULF.
Глава XI. Европейскій комитеть.—Русскій генеральный консуль въ Ниццъ.—Письмо къ А. Ө. Орлову.—Преслъдованіе ребенка.—Фогты.—	
Перечисленіе изъ надворныхъ сов'ятниковъ въ тягловые крестьяне.— Пріемъ въ Шател'я.	121
Urana VII II Ж Прудонъ — Изданіе La Voix du Peuple, — переписка. —	
Proposio Uny topo — Unufarienie.	160
Вартин е по поволу затвонутыхъ вопросовъ.	100
U-ana VIII Сопр d'état — Прокуроръ нокойной реснуолики. — 1 ласъ ко-	
ровій въ пустынѣ.—Высылка прокурора.—Порядокъ и цивилизація	168
торжествують	175
Oceano Nox	110
Отделеніе второе. Русскія тени:	100
I. H. И. Сазоновъ	192
II. Энгельсоны	205
A	
Англія.	201
Глава I. Лондонскіе туманы.	234
Глава II. Горныя вершины.—Центральный Европейскій Комитетъ.—	005
Маццини.—Дедрю-Ролленъ.—Кошутъ.	237
Глава III. Эмиграціи въ Лондонъ.—Нъмцы, французы.—Партіи.—В.	250
Гюго. — Феликсъ Піа. — Луи Бланъ и Арманъ Барбесъ.	253
Глава IV. <i>Польскіе выходцы.</i> —Алонзій Бернацкій.—Станиславъ Вор-	0=0
цель.—Агитація 1854—56 года.—Смерть Ворцеля.	276
Нъмцы въ эмиграціи.—Руге, Кинкель, Schwefelbaende.—Американскій объдъ.—The Leader.—Народный сходъ въ St. Martin's Hall	286
Лондонская вольница пятидесятыхъ годовъ.	
Глава VI. Простыя несчастья и несчастья политическія.—Учители и	
комиссіонеры.—Ходебщики и хожалые.—Ораторы и эпистолаторы.—	
Ничего не дълающіе фактотумы и въчно занятые трутни.—Русскіе.—	308
Воры.—Шпіоны.	330
On Liberty.	
С. Ворцель	339
Pater V. Petscherine	349
Робертъ Оуэнъ.	359
Дуэль.	396
Вартелеми	411
Camicia Rossa:	
I. Въ Брукъ-гаузѣ.	420
II. Въ Стаффордъ-гаузъ.	480
III. У насъ.	435
IV. 26. Princess Gate.	440
Апогей и перигей,	449
В. И. Кельсіевъ.	468
Общій фондъ	478
М. Б. и Польское дъло.	485
Пароходъ Ward Jackson R. Weterli et. Co	501
Lapinski ColoneI.—Polles-Aide de Camp.	506

Безъ овязи.	CTP.
I. Швейцарскіе виды. II. Болтовня съ дороги и родина въ буфетъ III. За Альпами IV. Zu deutsch	512 519 521 523
V. Съ того и этого свъта: I. Съ того  И. Съ этого.	525
І. Живые цвѣты.—Послѣдняя могиканка.  И. Махровые цвѣты  И. Цвѣты Минервы.	529 536 539
Venezia la bella  La belle France:	542
I. Ante portas  II. Intra muros.  III. Alpendrucken.	555 560 565
IV. Даніилы	574 575
VI. Послъ набъта. Примъчанія.	579



# БЫЛОЕ И ДУМЫ.

(ПРОДОЛЖЕНІЕ).



#### ЧАСТЬ ПЯТАЯ

### ПАРИЖЪ-ИТАЛІЯ-ПАРИЖЪ.

1847 - 1852.

Начиная печатать еще часть «Былого и Думъ», я опять остановился передъ отрывочностью разсказовъ, картинъ и, такъ сказать, и од с тр о ч н ы х ъ къ инмъ разсужденій. Внёшняго единства въ нихъ меньше, чёмъ въ первыхъ частяхъ. Спаять ихъ въ одно я никакъ не могъ. Выполняя промежутки, очень легко дать всему другой фонъ и другое освёщеніе—т о г д а ш н я я истина пропадетъ. «Былое и Думы» не историческая монографія, а отраженіе исторіи въ человѣкѣ, с л у ч а й н о попавшемся на ея дорогѣ. Вотъ почему я рѣшился оставить отрывочныя главы, какъ онѣ были, нанизавши ихъ, какъ нанизывають картинки изъ мозаики въ итальянскихъ браслетахъ—всѣ изображенія относятся къ одному предмету, но держатся вмѣстѣ только оправой и колечками.

Для пополненія этой части необходимы, особенно относительно 1848 года, мои «Письма изъ Франціи и Италіи»; я хотіль взять изъ нихъ нісколько отрывковъ, но пришлось бы столько перепечатывать, что я не рішился.

Многое, не взошедшее въ «Полярную Звъзду», взошло въ это изданіе, но всего я не могу еще передать читателямъ, по разнымъ общимъ и личнымъ причинамъ. Не за горами и то время, когда напечатаются не только выпущенныя страницы и главы, но и цълый томъ, самый дорогой для меня...

Женева, 29 іюля, 1866 г.

#### ОТДЪЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

# Передъ революціей и послѣ нея.

#### ГЛАВА XXXIV.

#### Путь.

Потерянный пассъ. — Кёнигебергъ. — Собственноручный посъ. — Пр и м. п. — И увзжасмъ.

.... Въ Лауцагенъ прусские жандармы просили меня взойти въ кордегардию. Старый сержантъ взялъ пассы, надълъ очки и съ чрезвычайной отчетливостью сталъ вслухъ читать все, что ненужно: Auf Befehl s. k. M. Nicolai des Ersten... allen und jeden, deren daran gelegen etc. etc... Unterzeichner Perofiski, Minister des Innern. Kammerherr, Senator und Ritter des Ordens St. Wladimir... Inhaber eines goldenen Degens mit der Inschrift für Tapferkeit...

Этотъ сержантъ, любившій чтеніе, напоминаєть мий другого. Между Террачино и Неаполемъ неаполитанскій карабинеръ четыре раза подходиль къ дилижансу, веякій разъ требуя наши визы. Я показалъ ему неаполитанскую визу; ему этого и полкарлина было мало, онъ понесъ пассы въ канцелярію и воротился минуть черезъ двадцать съ требованіемъ, чтобъ я и мой товарищъ шли къ бригадиру. Бригадиръ, старый и пьяный унтеръ-офицеръ, довольно грубо спросилъ:

- «Какъ ваша фамилія, откуда?
- Да это все туть написано.
- · «Нельзя прочесть».

Мы догадались, что грамота не была сильною сторонов бригадира.

По какому закону, сказалъ мой товариндъ, обязаны мы вамъ читать наши нассы; мы обязаны ихъ имѣть и ноказывать. а не диктовать: мало-ли что я самъ продиктую.

— «Accidenti! пробормоталъ старикъ,—va ben, va ben!» и отдалт наши виды, не занисывая.

Ученый жандармы вы Лауцагеный былы не того разбора: прочитавы три раза вы трехы нассахы всё ордена Перовскаго, до пряжки за безпорочную службу, оны спросилы меня:

«Вы то Euer Hochwohlgeboren—кто такое?»

Я вытаращилъ глаза, не понимая, что онъ хочеть отъ меня. «Fräulein Maria E., Fräulein Maria K., Frau H., все женщины,

туть нёть ни одного мужского вида.»

Посмотрълъ я: дъйствительно, тутъ были только нассы моей матери и двухъ нашихъ знакомыхъ, ъхавшихъ съ нами; у меня морозъ пробъжалъ по кожъ.

— Меня безъ вида не пропустили бы въ Таурогенъ.

«Bereits so, только дальше-то тхать нельзя.»

— Что-же мнѣ дѣлать?

«Въроятно, вы забыли въ кордегардіи, я вамъ велю заложить санки, съъздите сами, а ваши пока погръются у насъ.—Heh! Kerl, lass er mol den Braunen anspann.»

Я не могу безъ смёха всиомнить этотъ глупый случай, именно нотому, что я совершенно смутился отъ него. Потеря этого паспорта, о которомъ я нъсколько лътъ мечталъ, о которомъ два года хлопоталъ, въ минуту перейзда за границу, поразила меня. Я быль увърень, что я его положиль въ карманъ, стало, я его выронилъ, — гдъ-же искать? Его занесло снъгомъ... Надобно просить новый, писать въ Ригу, можеть, тхать самому; а туть сделають докладь, догадаются, что я къ минеральнымъ водамъ тду въ январъ. Словомъ, я уже чувствовалъ себя въ Петербургъ, образъ Кокошкина, Сартынскаго, Дуббельта бродили въ головъ. Вотъ тебъ и путешествие, вотъ п Парижъ, свобода книгопечатания, камеры и театры... Опять увижу я министерскихъ чиновниковъ, квартальныхъ и всякихъ другихъ надзирателей, городовыхъ съ двумя блестящими пуговицами на спинъ, которыми они смотрятъ назадъ... и прежде всего увижу опять небольшого сморщившагося солдата въ тяжеломъ киверъ, на которомъ написано таинственное 4, обмерзлую казацкую лошадь... Хоть бы кормилицу-то миж застать еще въ «Таврогъ,» какъ она говорина.

Между тымь заложили большую, нечальную и угловатую лошадь въ крошечныя санки. Я сыль съ ночталіономь въ военной шинели и ботфортахъ, почталіонъ классически хлоинулъ классическимъ бичемъ, — какъ вдругъ ученый сержантъ выбъжалъ въ сын въ однихъ нанталонахъ и закричалъ:

«Halt! Halt! Da ist der vermaledeite Pass», и опъ его держалъ развернутымъ въ рукахъ.

Спазматическій сміхь овладіль мною.

— Что-же вы это со мной дѣлаете? Гдѣ вы нашли?

«Посмотрите, сказалъ онъ, вашъ русскій сержанть положиль листь въ листь, кто же его тамъ зналъ, я не догадался повернуть листа...»

А, вёдь, прочиталъ три раза: Es ergehet deshalb an alle hohe

Mächte, und an alle und jede, welchen Standes und welchen Würde

sie auch sein mögen...

... «Въ Кёнигсбергъ я пріёхалъ усталый отъ дороги, отъ заботъ, отъ многаго. Выснавшись въ пуховой пропасти, я на другой день пошелъ посмотрёть городъ; на дворѣ былъ теплый зимній день» 1); хозяинъ гостиницы предложилъ проёхаться въ саняхъ, лошади были съ бубенчиками и колокольчиками, съ страусовыми перьями на головѣ... И мы были веселы, тяжелая плита была снята съ груди, непріятное чувство страха, щемящее чувство подозрѣнія—отлетѣли. Вечеромъ я былъ въ небольшомъ, грязномъ и плохомъ театрѣ, но я и оттуда возвратился взволнованнымъ не актерами, а публикой, состоявшей большей частью изъ работниковъ и молодыхъ людей; въ антрактахъ всѣ говорили громко и свободно, всѣ надѣвали шляны (чрезвычайно важная вещь, столько-же, сколько право бороду не брить и пр.). Эта развязность, этотъ элементъ болѣе ясный и живой, поражаетъ русскаго при переѣздѣ за границу.

...Когда мы побхали въ Берлинъ, я сътъ въ кабріолеть; возлъ меня усълся какой-то закутанный господинъ; дъло было вечеромъ, я не могъ его путемъ разглядъть. Узнавъ, что я русскій, онъ началъ меня распрашивать о строгости полиціи, о паспортахъ; я, разумъется, разскавалъ ему все, что зналъ. Потомъ зашла ръчь о Пруссіи, онъ восхвалялъ безкорыстіе прусскихъ чиновниковъ, превосходство администраціи, хвалилъ короля и, въ заключеніе, сильно напалъ на познанскихъ поляковъ за то, что они не хоропііе нъмцы. Меня это удивило, я ему возражалъ, сказалъ прямо, что

я совстви не дтом его митнія, и потомъ замолчаль.

Между тёмъ разсвёло; тутъ только я замётиль, что мой сосёдъ консерваторъ говорилъ въ носъ вовсе не отъ простуды, а оттого, что у него его не было, по крайней мёрё недоставало самой видной части. Онъ, вёроятно, замётилъ, что открытіе это не принесло мнё особеннаго удовольствія, и потому счелъ нужнымъ разсказать мнё, въ родё извиненія, исторію о потерё носа и его возстановленіи. Первая часть была сбивчива, но вторая очень подробна: ему самъ Диффенбахъ вырёзалъ изъ руки новый носъ, рука была привязана шесть недёль къ лицу, «Мајёstat» пріёзжалъ въ больницу посмотрёть, высочайше удивился и одобрилъ.

Le roi de Prusse, en le voyant, A dit: c'est vraiment étonnant.

Новидимому, Диффенбахь быль тогда занять чёмь-то другимь и носъ ему выръзалъ прескверный. Но вскорт я открылъ, что

<sup>1)</sup> Письма изъ Франціп и Италін. Письмо І.

собственноручный носъ быль наименьшимъ изъ его недостат-

Перейздъ нашъ отъ Кёнигсберга въ Берлинъ былъ труднѣе всего путешествія. У насъ взялось откуда-то повѣрье, что прусскія почты хорошо устроены,—все это вздоръ. Почтовая ѣзда хороша только во Франціи, въ Швейцаріи, да въ Англіи. Въ Англіи почтовыя кареты до того хорошо устроены, лошади такъ изящны и кучера такъ ловки, что можно ѣздить изъ удовольствія. Самыя длинныя станціи карета несется во весь опоръ; горы, съѣзды — все равно. Теперь, благодаря желѣзнымъ дорогамъ, вопросъ этотъ становится историческимъ, но тогда мы испытали нѣмецкія почты съ ихъ клячами, хуже которыхъ нѣтъ ничего на свѣтѣ, развъ

одни нѣмецкіе почталіоны.

Дорога отъ Кёнигсберга до Берлина очень длинна; мы взяли семь мъсть въ дилижансъ и отправились. На первой станціи кондукторъ объявилъ, чтобы мы брали наши пожитки и садились въ другой дилижансъ, благоразумно предупреждая, что за цълость вещей онъ не отвъчаеть. Я ему замътиль, что въ Кёнигсбергъ я спрашиваль, и миж сказали, что мжста останутся; кондукторь ссылался на снъгъ и на необходимость взять дилижансъ на полозьяхъ; противъ этого нечего было сказать. Мы начали перегружаться съ дётьми и пожитками ночью, въ мокромъ снёгу. На слъдующей станціи та же исторія, и кондукторь уже не даваль себъ труда объяснять перемъну экипажа. Такъ мы проъхали съ нолдороги; туть онъ объявиль намъ очень просто, «что намъ дадуть только пять мисть».—Какь пять? воть мой билеть.— «Мъсть больше нъть». -Я сталь спорить, въ почтовомь домъ отворилось съ трескомъ окно и съдая голова съ усами грубо спросила, о чемь споръ. Кондукторъ сказалъ, что я требую семь мъстъ, а у него ихъ только цять; я прибавилъ, что у меня билетъ и расписка въ полученіп денегь за семь м'єсть. Голова, не обращаясь ко мнь, дерзкимь, раздавленнымь русско-ньмецко-военнымь голосомъ сказала кондуктору: «Ну, не хочетъ этотъ господинъ пяти мъсть, такъ бросай пожитки долой, пусть ждеть, когда будуть семь пустыхъ мъстъ». Послъ этого почтенный почтмейстеръ, котораго кондукторъ называлъ «Herr Major», и котораго фамилія была Шверинь, захлопнуль окно. Обсудивъ дъло, мы, какъ русскіе, ръшились талья Бенвенуто Челлини, какъ птальянецъ, въ подобномъ случать выстрёлиль бы изъ пистолета и убилъ почт-

Мой сосъдъ, исправленный Диффенбахомъ, въ это время былъ въ трактиръ; когда онъ вскарабкался на свое мъсто и мы поъхали, я разсказалъ ему исторію. Онъ былъ выпивши и, слъдственно, въ благодушномъ расположеніи; онъ принялъ глубочайшее участіе

и просиль меня дать ему въ Берлинѣ записку. «Вы почтовый чиновникъ?» спросиль я.—«Нѣтъ», отвѣчаль онъ еще больше въ носъ, «но это все равно... я... видите... какъ это здѣсь называется—служу въ центральной полиціп».

Это открытіе было для меня еще непріятнье собственноручнаго

носа.

Первый человъкъ, съ которымъ я либеральничалъ въ Европъ,

быль шпіонъ, за то онъ не быль последній.

Берлинъ, Кёльнъ, Бельгія, все это быстро прорѣяло передъ глазами; мы смотрѣли на все полуразсѣянно, мимоходомъ; мы торонились доѣхать, и допхали наконецъ.

...Я отворилъ старинное, тяжелое окно въ Hôtel du Rhin, не-

редо мной стояла колонна-

...съ куклою чугунной. Подъ иляной, съ пасмурнымъ челомъ. Съ руками, сжатыми крестомъ.

Итакъ, я дъйствительно въ Парижъ, не во сиъ, а наяву:

въдь, это Вандомская колонна и rue de la Paix.

Въ Парижет—едва-ли въ этомъ словъ звучало для меня меньше. чъмъ въ словъ «Москва». Объ этой минутъ я мечталъ съ дъсства. Дайте же взглянуть на Hôtel de Ville, на сатё Foy въ Пале-Ромлъ, гдъ Камиль Демуленъ сорвалъ зеленый листъ и прикрънилъ его къ шлянъ, вмъсто кокарды, съ крикомъ: à la Bastille!

Дома я не могъ остаться; я одблея и пошель бродить зря... искать Бакунина, Сазопова — вотъ rue St.- Honoré, Елисейскія поля—вей эти имена, сроднившіяся съ давнихъ літъ... да вотъ

и самъ Бакунпнъ...

Его я встрётилъ на углу какой-то улицы; онъ шелъ съ тремя знакомыми, и точно въ Москвѣ проповѣдывалъ имъ что-то, безпрестанно останавливаясь и махая сигареткой. На этотъ разъпроповѣдь осталась безъ заключенія, я ее перервалъ и пошелъ вмѣстѣ съ нимъ удивлять Сазонова моимъ пріѣздомъ.

Я быль вить себя отъ радости! На ней я здъсь и остановлюсь.

Парижь еще разъ описывать не стану. Начальное знакомство съ европейской жизнію, торжественная прогулка по Италіи, всирянувшей отъ сна, революція у подножія Везувія, революція передъ церковью св. Петра, и, наконець, громовая въсть о 24 февралъ. все это разсказано въ моихъ письмахъ изъ Франціи и Пталіи. Мнѣ пе передать теперь съ прежней живостью впечатлівнія, полустертыя и задвинутыя другими. Они составляють необходимую часть моихъ Записокъ,—что-же вообще инсьма, какъ не записьки о короткомъ времени.

#### ГЛАВА ХХХУ.

# Медовый мѣсяцъ республики.

Англичанить въ мѣховой курткѣ.—Герцогъ де Ноаль. Свобода и ея бюстъ въ Марсели.—Аббатъ Сибуръ и Всемірная республика въ Авиньоиъ.

...«Завтра мы ъдемъ въ Парижъ, я оставляю Римъ оживленнымъ, взволнованнымъ. Что-то будетъ изъ всего этого? Прочноли все это? Небо не безъ тучъ, временами въетъ холодный вътеръ изъ могильныхъ скленовъ, нанося запахъ трупа, запахъ прошедшаго; историческая трамонтана спльна, по, что бы ни было, благодарность Риму за иятъ мъсяцевъ, которые я въ немъ провелъ. Что прочувствовано, то останется въ душъ, и совершенно всего не сдустъ же реакція».

Воть что я нисалъ въ концѣ апрѣля 1848 г., сидя у окна на Via del Corso и глядя на «Народную» илощадь, на которой я такъ

много видълъ и такъ много чувствовалъ.

Я вхалъ изъ Италіи влюбленный въ нее, мив жаль было ея: тамъ встрётилъ я не только великія событія, но и первыхъ симнатичныхъ мив людей; а все-таки вхалъ. Мив казалось измёной всёмъ моимъ уб'єжденіямъ не быть въ Парижв, когда въ немъ республика. Сомивнія впдиы въ приведенныхъ строкахъ, но в'єра брала верхъ и и съ внутреннимъ удовольствіемъ смотр'єлъ въ Чивит'в на печать консульской визы, на которой были выр'єзаны грозныя слова: «Réриblique Française» — я и не подумалъ, что именно потому Франція и не республика, что надо визу!

Мы бхали на почтовомъ пароходѣ. Общество было довольно большое и, какъ всегда, разнообразно составленное: тутъ были путешественники изъ Александріи, Смирны, Мальты. Съ Ливорно начиная, поднялся страшный весений вѣтеръ: онъ гналъ пароходъ съ неимовѣрной быстротою и съ невыпосимой качкой; черезъ два-три часа палуба покрылась больными дамами, мало-помалу слегли и мужчины, исключая одного сѣдого старичка француза, англичанина въ мѣховой курткѣ и мѣховой шапкѣ изъ Канады и меня. Каюты были тоже наполнены больными, и одной духоты и жара въ нихъ было достаточно, чтобъ заболѣть; мы трое ночью сидѣли по серединѣ палубы на чемоданахъ, покрывшись шинелями и рельверагами, подъ завыванье вѣтра и плескъ волнъ, заливавшихъ иногда переднюю часть палубы. Англичанина

я зналъ: въ прошедшемъ году мы ѣхали съ нимъ на одномъ пароходѣ изъ Генуи въ Чивита-Веккію. Случилось, что мы обѣдали только двое; онъ весь обѣдъ ничего не говорилъ, но за десертомъ, смягченный марсалой и видя, что и я съ своей стороны не намѣренъ вступать въ разговоръ, онъ подалъ мнѣ сигару и сказалъ, «что сигары свои онъ самъ привезъ изъ Гаванны». Потомъ мы разговорились съ нимъ: онъ былъ въ южной Америкъ, въ Калифорніи, и говорилъ, что много разъ собирался съѣздить въ Петербургъ и въ Москву, но не поѣдетъ, пока не будетъ правильнаго сообщенія и прямого, между Лондономъ и Петербургомъ 1).

— Вы въ Римъ<sup>5</sup> спросиль я его, подъйзжая къ Чивитъ.

— «Не знаю», отвѣчалъ онъ.

Я замолчалъ, полагая, что онъ принялъ мой вопросъ за нескромный, но онъ тотчасъ добавилъ:

— «Это зависить оть того, какъ климать мий понравится въ

Чивитъ. А вы остаетесь здъсь?»

— Да. Пароходъ пойдетъ завтра.

Я тогда еще очень мало зналъ англичанъ и потому едва могъ скрыть смѣхъ—и совсѣмъ не могъ, когда на другой день, гуляя передъ отелемъ, встрѣтилъ его въ той-же мѣховой курткѣ, съ портфелью, зрительной трубкой, маленькимъ несессерчикомъ, шествующаго передъ слугой, навьюченнымъ чемоданомъ и всякимъ добромъ.

- «Я въ Неаполь», сказалъ онъ, поровнявшись.
- Что-же, климать не понравился?
- «Скверный».

Я забыль сказать, что въ первый пробздъ онъ лежаль въ каютѣ на койкѣ, которая была непосредственно надъ моей; въ продолженіе ночи онъ раза три чуть не убиль меня: то страхомъ, то ногами; въ каютѣ была смертная жара, онъ нѣсколько разъ ходилъ пить коньякъ съ водой, и венкій разъ, сходя или входя. наступалъ на меня и громко кричалъ, испугавшись: «Оһ—beg pardon—j'ai avais soif».—«Pas de mal».

Съ нимъ, стало, въ этотъ путь мы встрътились какъ старые знакомые; онъ съ величайшей похвалой отозвался о томъ, что я не подверженъ морской бользни, и подалъ мив свои гаванскія сигары. Совершенно естественно, что черезъ минуту разговоръ зашелъ о февральской революціи. Англичанинъ, разумѣется, смотрълъ на революцію въ Европь, какъ на интересное зрълище, какъ па источникъ новыхъ и любопытныхъ наблюденій и ощущеній, и разсказывалъ о революціи въ Новоколумбійской республикъ.

Французъ принималъ иное участіе въ этихъ дѣлахъ... Съ нимъ.

<sup>1)</sup> Теперь оно есть.

черезъ иять минутъ, у меня завязался споръ; онъ отвъчалъ уклончиво, умно, не уступая, впрочемъ, ничего и съ чрезвычайной учтивостью. Я защищалъ республику и революцію. Старикъ, не нападая прямо на нее, стоялъ за историческія формы, какъ единственно прочныя, народныя и способныя удовлетворить и справедливому прогрессу и необходимой осъдлости.

Вы не можете себѣ представить, сказалъ я ему шутя, какое оригинальное наслаждение вы доставляете мнѣ вашими недомолвками. Я лѣтъ иятнадцать говорилъ такъ о монархіи, какъ вы говорите о республикъ. Роли перемѣнились: я, защищая республику — консерваторъ, а вы, защищая легитимистскую мо-

нархію,—perturbateur de l'ordre politique.

Старикъ и англичанинъ расхохотались. Къ намъ подошелъ еще одинъ тощій, высокій господинъ, котораго носъ обезсмертилъ Шарпвари и Филипонъ—графъ д'Аргу (Шаривари говорилъ, что его дочь потому не выходитъ замужъ, чтобъ не подписываться: такая-то, née d'Argout). Онъ вступилъ въ разговоръ, съ уваженіемъ обращался со старикомъ, но на меня смотр'єлъ съ нѣкоторымъ удивленіемъ, близкимъ къ отвращенію; я замѣтилъ это и сталъ говорить на четыре градуса краснюе.

— Это презамѣчательная вещь, сказалъ мнѣ сѣдой старикъ, вы не первый русскій, котораго я встрѣчаю съ такимъ образомъ мыслей. Вы, русскіе, или совершеннѣйшіе рабы, или—passez moi le mot—анархисты. А изъ этого слѣдствіе то, что вы еще долго не будете свободными. Въ этомъ родѣ продолжался нашъ полити-

ческій разговоръ 1).

Когда мы подъбзжали къ Марсели и всф стали суститься о пожиткахъ, я подошелъ къ старику и, подавая ему свою карточку, сказалъ, что мнф пріятно думать, что споръ нашъ подъ морскую качку не оставилъ непріятныхъ слѣдовъ. Старикъ очень мило простился со мной, поострилъ еще что-то насчетъ республиканцевъ, которыхъ я, наконецъ, увижу поближе, и подалъ мнф свою карточку. Это былъ герцогъ де Ноаль, родственникъ Бурбоновъ и одинъ изъ главныхъ совѣтниковъ Генриха V.

Случай этоть, весьма неважный, я разсказаль для пользы и поученія нашихь *герцоговъ* первыхь трехъ классовъ. Будь на мъстъ Ноаля какой-нибудь сенаторъ или тайный совътникъ, онъ просто приняль бы мои слова за дерзость по службъ и послаль бы за капитаномъ корабля.

Одинъ русскій министръ въ 1850 г. <sup>2</sup>) съ своей семьей сидёлъ на пароходѣ въ каретѣ, чтобъ не быть въ соприкосновеніи

<sup>1)</sup> Сужденіе это я слышаль потомь разь десять.

<sup>2)</sup> Знаменитый Викторъ Панинъ.

съ пассажирами изъ обыкновенныхъ смертныхъ. Можете ли вы себѣ представить что-нибудь смѣшнѣе, какъ сидѣть въ отложенной каретѣ... да еще на морѣ, да еще имѣя двойной ростъ?

Надменность нашихъ сановниковъ происходить вовсе не изъ аристократизма, барство выводится; это чувство ливрейныхъ, пудреныхъ слугъ въ большихъ домахъ, чрезвычайно подлыхъ въ одну сторону, чрезвычайно дерзкихъ въ другую. Аристократълицо, а наши—вовсе не имъютъ личности; они похожи на навловскія медали съ надписью: «не намъ, не намъ, и имени твоему». Къ этому ведетъ цълое воспитаніе: солдатъ думаетъ, что его только потому нельзя бить палками, что у него аннинскій крестъ, станціонный смотритель ставитъ между ладонью путешественника и своей щекой офицерское званіе, обиженный чиновникъ указываетъ на Станислава или Владиміра—«не собой, не собой... а чиномъ своимъ!»

Выходя изъ нарохода въ Марсели, я встретилъ большую процессію національной гвардіи, которая несла въ Hôtel de Ville бюсть свободы, т. е. женщину съ огромными кудрями въ фригійской шанкъ. Съ крикомъ: vive la République! шли тысячи вооруженныхъ гражданъ, и въ томъ числъ работники въ блузахъ, взошедшіе въ составъ національной гвардіп послі 24 февраля. Разумбется, что и я пошелъ за ними. Когда процессія подощла къ Hôtel de Ville, генералъ, меръ и комиссаръ временнаго правительства, Демостенъ Оливье, вышли въ сфии. Демостенъ, какъ стъдовало ожидать по его имени, приготовился произнести рачь. Около него сдёлали большой кругъ: толна, разумбется, двигалась виередъ, національная гвардія ее осаживала назадъ, толна не слушалась; это оскорбило вооруженныхъ блузниковъ, они опустили ружья и, повернувшись, стали давить прикладами носки людей, стоящихъ впереди; граждане «единой и нераздъльной республики» попятились...

Дёло это тёмъ больше удивило меня, что я еще весь былъ подъ вліяніемъ итальянскихъ и въ особенности римскихъ правовъ, гдё гордое чувство личнаго достоинства и толесной неприкосновенности развито въ каждомъ человъкъ, не только въ факино, въ почтальонъ, но и въ нищемъ, который протягиваетъ руку. Въ Романьи на эту дерзость отвъчали бы двадцатью «колтелатами». Французы понятились,—можетъ, у нихъ были мозоли?

Случай этотъ непріятно подъйствоваль на меня: къ тому-же, пришедши въ hôtel, я прочель въ газетахъ руанскую исторію. Что-же это значитъ, неужели герцогъ Ноаль правъ?

Но когда человъ́къ хочетъ върить, его въру трудно искоренить, и, не доъ́зжая до Авиньона, я забылъ марсельскіе приклады и руанскіе штыки.

Въ дилижансѣ съ нами сѣлъ дородный, осанистый аббатъ, среднихъ лѣтъ и пріятной наружности. Сначала онъ ради приличія принялся за молитвенникъ, но вскорѣ, чтобъ не дремать, онъ положилъ его въ карманъ и началъ мило и умно разговаривать, съ классической правильностью языка Пор-ройяля и Сорбонны, съ цитатами и цѣломудренными остротами.

Дѣйствительно, одни французы умѣютъ разговаривать. Нѣмцы признаются въ любви, повѣряютъ тайны, поучаютъ или ругаются. Въ Англіи оттого и любятъ рауты, что тутъ не до разговора... толна, нѣтъ мѣста, всѣ толкутся и толкаются, никто никого не знаетъ; если же соберется маленькое общество, сейчасъ скверпая музыка, фальшивое пѣніе, скучныя маленькія игры, или гости и хозяева съ необычайной тягостью волочутъ разговоръ, останаввливаясь, задыхаясь и напоминая несчастныхъ лошадей, которыя, выбившись изъ силъ, тянутъ противъ теченія по бечевнику нагруженную барку.

Мнѣ хотѣлось подразнить аббата республикой, и не удалось. Онъ былъ доволенъ свободой безъ излишествъ, главное, безъ крови и войны, и считалъ Ламартина великимъ человѣкомъ, чѣмъ-то въ родѣ Перикла.

- II Сафо, добавилъ я, не вступая, впрочемъ, въ споръ, и благодарный за то, что онъ не говорилъ ни слова о религіи. Такъ, болтая, добхали мы до Авиньона, часовъ въ 11 вечера.
- Позвольте мнъ, сказалъ я аббату, наливая ему за ужиномъ вино, предложить довольно ръдкій тостъ:—За республику et pour les hommes be l'église qui sont républicains.

Аббать всталь и заключиль ибсколько цицероновскихъ фразъ словами: A la République future.

«A la République universelle!»—закричалъ кондукторъ дилижанса и человъка три, сидъвшихъ за столомъ. Мы чокнулись.

Католическій попъ, два-три сидёльца, кондукторъ и русскіе какъ же не всеобщая республика?

Л, вѣдь, весело было!

- Куда вы? спросилъ я аббата, усаживаясь снова въ дилижансъ и попросивъ его пастырскаго благословенія на куреніе сигары.
- Въ Парижъ, отвѣчалъ онъ, я избранъ въ національное собраніе, я буду очень радъ видѣть васъ у себя; вотъ мой адресъ. Это былъ аббатъ Сибуръ, doyen чего-то, братъ парижскаго архіерея.
- ... Черезъ двѣ недѣли наступало 15 мая, этотъ грозный ритурнель, за которымъ шли страшные іюньскіе дни. Тутъ все

принадлежить не моей біографіи, а біографіи рода человіческаго...

Объ этихъ дняхъ я много писалъ.

Я могь бы туть кончить, какъ старый капитанъ въ старой пъснъ:

Te souviens tu?... mais ici je m'arrète, Ici finit tout nable souvenir,

Но съ этихъ-то *проклятых* дней и начинается послѣдняя часть моей жизни.

# . Западныя арабески.

ТЕТРАЛЬ ПЕРВАЯ.

I.

#### Сонъ.

Помните ли, друзья, какъ хорошъ былъ тоть зимній день, солнечный, ясный, когда шесть-семь троекъ провожали насъ до Черной Грязи, когда мы тамъ въ послѣдній разъ сдвинули ста-

каны и, рыдая, разстались?

... Былъ уже вечеръ, возокъ заскрипълъ по снъту, вы смотръли печально вслъдъ и не догадывались, что это были похороны и въчная разлука. Всъ были налицо, одного только недоставало, ближайшаго изъ близкихъ, онъ одинъ былъ далекъ и какъ будто своимъ отсутствіемъ омылъ руки въ моемъ отъбадъ.

Это было 21 января 1847 года.

Съ тъхъ поръ прошли семь лътъ 1) и какіе семь лютг! Въ ихъ числъ 1848 и 1852.

Чего и чего не было въ это время, и все рухнуло—общее и частное, европейская революція и домашній кровъ, свобода міра и личное счастіє.

Камня на камий не осталось отъ прежней жизни. Тогда я былъ во всей силъ развитія, моя предшествовавшая жизнь дала мий залоги. Я смъло шелъ отъ васъ съ опрометчивой самонадъянностью, съ надменнымъ довъріемъ къ жизни. Я торопился оторваться отъ маленькой кучки людей, тъсно сжившихся, близко подошедшихъ другъ къ другу, связанныхъ глубокой любовью и общимъ горемъ. Меня манила даль, ширь, открытая борьба и вольная ръчь, я искалъ независиюй арены, мий хотълось по-пробовать свои силы на волъ...

<sup>1)</sup> Инсано въ концъ 1853 года.

Теперь, я уже и не жду ничего, ничто, послѣ видѣннаго и пснытаннаго мною, не удивитъ меня особенно и не обрадуетъ глубоко; удивленіе и радость обузданы воспоминаніями былого, страхомъ будущаго. Почти все стало мнѣ безразлично, и я равно не желаю ни завтра умереть, ни очень долго жить; пускай себѣ конецъ придетъ такъ же случайно и безсмысленно, какъ начало.

А, вёдь, я нашелъ все, чего искалъ, даже признание со стороны стараго, себядовольнаго міра, да рядомъ съ этимъ утрату всёхъ вёрованій, всёхъ благъ, предательство, коварные удары изъ-за угла и вообще такое нравственное растлёніе, о которомъ вы не имёете и понятія.

Трудио, очень трудно мий начать эту часть разсказа; отступая отъ нея, я написаль три предшествующія части, но, наконець, мы съ нею лицомъ къ лицу. Въ сторону слабость, кто могь пережить, тотъ должень имёть силу помнить.

Съ половины 1848 года мит нечего разсказывать, кромт мучительныхъ испытаній, неотомщенныхъ оскорбленій, незаслуженныхъ ударовъ. Въ памяти одни печальные образы, собственныя и чужія ошибки: ошибки лицъ, ошибки цёлыхъ народовъ. Тамъ, гдѣ была возможность спасенія, тамъ смерть перетхала дорогу...

... Последними днями нашей жизни въ Риме заключается светлая часть воспоминаній, начавшихся съ детскаго пробужденія мысли, съ отроческаго обрученія на Воробьевыхъ горахъ.

Испутанный Парижемъ 1847 г., я, было, раньше раскрылъ глаза. но снова увлекся событіями, кип'ввиними возл'є меня. Вся Италія «просыпалась» на монхъ глазахъ! Я видёлъ неаполитанскаго короля, сдёланнаго ручнымъ, и папу, смиренно просящаго милостыню народной любви,—вихрь, поднявшій все, унесъ и меня; вся Европа взяла одръ свой и пошла—въ припадк'є лунатизма, принятаго нами за пробужденіе. Когда я пришелъ въ себя, все исчезло,—la Sonnambula, испуганная полиціей, упала съ крыпш, друзья разс'ялись, или съ ожесточеніемъ добивали другъ друга... И я очутился одинъ-одинехонекъ, между гробовъ и колыбелей сторожемъ, защитникомъ, мстителемъ, и ничего не сумълъ сдълать, потому что хотѣлъ сдѣлать больше обыкновеннаго.

И теперь я сижу въ Лондонъ, куда меня случайно забросило,—и остаюсь здъсь, потому что не знаю, что изъ себя сдълать. Чужая порода людей кишитъ, мечется около меня, объятая тяжелымъ дыханьемъ океана; міръ, распускающійся въ хаосъ, теряющійся въ туманъ, въ которомъ очертанія смутились, въ которомъ огонь дълаетъ только тусклыя иятна.

... А та страна, обмытая темно-синимъ моремъ, напрытая темно-синимъ небомъ... Она одна осталась свътлой полосой по ту сторону кладбища.

- О, Римъ, какъ люблю я возвращаться къ твоимъ обманамъ, какъ охотно перебираю я день за день время, въ которое я былъ ! нобот тикан
- ... Темная ночь. Корсо покрыто народомъ, кое-гдъ факелы. Въ Парижѣ уже съ мѣсяцъ провозглашена республика. Новости пришли изъ Милана: тамъ дерутся, народъ требуетъ войны, носится слухъ, что Карлъ Альбертъ идетъ съ войскомъ. Говоръ недовольной толны похожъ на перемежающійся ревъ волны, которая то приливаетъ съ шумомъ, то тихо нереводитъ духъ.

Толпы строются, онв идуть къ піемонтскому послу узнать, объявлена-ли война.

- Въ ряды, въ ряды съ нами, кричатъ десятки голосовъ.
- «Мы пностранцы».
- Тъмъ лучше, Santo dio, вы наши гости.

Пошли и мы.

Впередъ гостей, впередъ дамъ; впередъ le donne forestiere!

И толпа съ страстнымъ крикомъ одобренія разступилась. Чичероваккіо и съ нимъ молодой римлянинъ, поэтъ народныхъ пѣсенъ, продираются съ знаменемъ, трибунъ жметъ руки дамамъ и становится съ ними во главѣ десяти-двѣнадцати тысячъ человъкъ, - и все двинулось въ томъ величавомъ и стройномъ порядкъ, который свойствененъ только одному римскому народу.

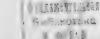
Передовые взошли въ Палаццо и, черезъ нѣсколько минутъ, двери залы растворились на балконъ. Посолъ явился уснокопть народъ и подтвердить въсть о войнь; слова его приняты съ изступленной радостью. Чичероваккіо быль на балконь, спльно освьщенный факелами и канделябрами, а возлѣ него осѣненныя знаменемъ Италіи четыре молодыя женщины, всѣ четыре русскія—не странно-ли? Я какъ теперь ихъ вижу на этой каменной трибунъ и внизу колыхающійся, безчисленный народъ, мізшавшій съ криками войны и проклятіями ісзуптамъ громкое—Evviva le donne forestiere.

Въ Англіп ихъ и насъ освистали бы, осыпали бы грубостями, а, можеть, и каменьями. Во Франціи приняли бы за подкупныхъ агентовъ. А здъсь аристократическій пролетарій, потомокъ Марія и древнихъ трибуновъ, горячо и искренно привътствовалъ насъ. Мы имъ были приняты въ европейскую борьбу... И съ одной Италіей не прервалась еще связь любви, по крайней мурь, сердечной памяти.

— И будто все это было.... опьяненіе, горячка? Можеть—но я не завидую тёмъ, которые не увлеклись тогда изящнымъ сновидъніемъ. Долго спать все-же нельзя было; неумолимый Макбетъ дъйствительной жизни заносиль уже свою руку, чтобъ убить «сонъ»...и

My dream was past it has no further change!

1. 0.111



II.

# Въ грозу 1).

... Вечеромъ 24 іюня, возвращаясь съ place Maubert, я взошель въ кафе на набережной Orsay. Черезъ нѣсколько минутъ раздался нестройный крикъ и слышался все ближе и ближе; я подошель къ окну: уродливая, комическая banlieu шла изъ окрестностей на помощь порядку; неуклюжіе, плюгавые полумужики и полулавочники, нѣсколько навеселъ, въ скверныхъ мундирахъ и старинныхъ киверахъ, шли быстрымъ, но безпорядочнымъ шагомъ, съ крикомъ: «Да здравствуетъ Людовикъ Наполеонъ!

Этоть зловъщій крикъ я туть услышаль въ первый разъ. Я пе могь выдержать и, когда они поравнялись, закричаль изо всъхъ силъ: «Да здравствуеть республика!» Бликніе къ окну показали мнѣ кулаки, офицеръ пробормоталъ какое-то ругательство, грозя шпагой; и долго еще слышался ихъ привътственный крикъ человъку, шедшему казнить половинную революцію, убить половинную республику, паказать собою Францію, забывшую въ своей кичливости другіе народы и свой собственный пролетаріать.

Двадцать пятаго или шестого іюня, въ 8 часовъ утра, мы ношли съ А. на Елисейскія поля; канонада, которую мы слышали ночью, умолкла, по временамъ только трещала ружейная перестрълка и раздавался барабанъ. Улицы были пусты, по объимъ сторонамъ стояла національная гвардія. На Place de la Concorde быль отрядь мобили; около нихъ стояло пъсколько бъдныхъ женщинь съ метлами, нъсколько тряничниковъ и дворниковъ изъ ближнихъ домовъ, у вебхъ лица были мрачны и наражены ужасомъ. Мальчикъ лътъ 17, опираясь на ружье, что-то разсказываль; подошли и мы. Онъ и вст его товарищи, такіе же мальчики, были полупьяны, съ лицами, запачканными порохомъ, съ глазами, восналенными отъ неспанныхъ ночей и водки; многіе дремали, упирая подбородокъ на ружейное дуло.—«Ну, ужъ тутъ что было, этого и описать нельзя»; замодчавъ, онъ прододжадъ: «да, и они таки хорошо дрались, ну, только и мы за нашихъ товарнией заплатили! сколько ихъ попадало! я самъ до дуќа всадилъ итыкъ ияти или шести человъкамъ-приномнять!» добавилъ онъ, желая себя выдать за закоснълаго злодъя. Женщины были блъдны п молчали, какой-то дворникъ замётилъ: «по дёломъ мерзавцамъ !...

t) Двѣ главы: "Передъ грозой" "Послѣ грозы" см. въ "Съ того берега".

но дикое замѣчаніе не нашло ни малѣйшаго отзыва. Это было слишкомъ низкое общество, чтобъ сочувствовать рѣзнѣ и несчастному мальчишкѣ, изъ котораго сдѣлали убійцу.

Мы молча и печально пошли въ Мадленъ. Туть насъ остановилъ кордонъ національной гвардіп. Сначала пошарили въ карманахъ, спросили, куда мы идемъ, и пропустили; но слъдующій кордонь, за Мадленой, отказаль въ пропускъ и отослаль насъ назадъ; когда мы возвратились къ первому, насъ снова остановили. «Да, въдь, вы видъли, что мы сейчасъ тутъ шли?»—Не пропускайте, закричаль офицеръ. — «Что, вы смъстесь надъ нами, что-ли?» спросиль я его. — «Тутъ нечего толковать, грубо отвётиль лавочникъ въ мундиръ, --берите ихъ, и въ полицію: одного я знаю (онъ указалъ на меня), я его не разъ видълъ на сходкахъ, другой долженъ быть такой-же, они оба не французы, я отвъчаю за все-впередъ» Два солдата съ ружьями впереди, два за нами, по солдату съ каждой стороны—повели насъ. Первый встрътившійся человъкъ быль представитель народа, съ глупой воронкой въ петлицъ,это быль Токвиль, писавшій объ Америкъ. Я обратился къ нему и разсказалъ, въ чемъ дъло; шутить было нечего, они безъ всякаго суда держали людей въ тюрьмъ, бросали въ тюльерійскіе подвалы, разстръливали. Токвиль даже не спросилъ, кто мы; онъ весьма учтиво раскланялся и отпустилъ нижеслёдующую цошлость: «Законодательная власть не им'етъ никакого права вступать въ распоряженія исполнительной». Какъ-же ему было не быть министромъ при Бонапартв?

«Исполнительная власть» повела насъ по бульвару, въ улицу Шоссе д'Антенъ, къ комиссару полиціи. Кстати, не мѣшаетъ замѣтить, что ни при арестѣ, ни при обыскѣ, ни во время пути я не видалъ ни одного полицейскаго; все дѣлали мѣщане-воины. Бульваръ былъ совершенно пустъ, всѣ лавки заперты, жители бросались къ окнамъ и дверямъ, слыша наши шаги, и спрашивали, что мы за люди: des émeutiers étrangers, отвѣчалъ нашъ конвой, и добрые мѣщане смотрѣлина насъ со скрежетомъ зубовъ.

Изъ полиціи насъ отослали въ hôtel des Capucines; тамъ ном'є щалось министерство иностранныхъ дѣлъ, но на это время какая-то временная полицейская комиссія. Мы съ конвоемъ взошли въ обширный кабинетъ. Плѣшивый старикъ въ очкахъ и весь въ черномъ сидѣлъ одинъ за столомъ; онъ снова спросилъ насъ все то, что спрашивалъ комиссаръ. «Гдѣ ваши виды?»—Мы ихъ никогда не носимъ, ходя гулять... Онъ взялъ какую-то тетрадъ, долго просматриваль ее, повидимому, ничего не нашелъ, и спросилъ провожатаго: «Почему вы захватили ихъ?»—Офицеръ велѣлъ; онъ говоритъ, что это очень подозрительные люди.—«Хорошо, сказалъ старикъ, я разберу дѣло, вы можете идти».

Когда наши провожатые ушли, старикъ просиль насъ объяснить причину нашего ареста. Я ему изложиль дёло, прибавилъ, что офицеръ, можетъ, видълъ меня 15 мая у Собранія, и разсказалъ случай, бывшій со мной вчера: я сидёлъ въ кафе Комартенъ, вдругъ сдълалась фальшивая тревога, эскадронъ драгунъ пронесся во весь опоръ, національная гвардія стала строиться, я и человъкъ пять, бывшихъ въ кафе, подошли къ окну; національный гвардеецъ, стоявшій внизу, грубо закричаль; «Слышали. что-ли, чтобъ окна были затворены?» Тонъ его далъ мнъ право думать, что онъ не сомной говорить, и я не обратилъ ни малъйшаго вниманія на его слова; къ тому-же я быль не одинъ, а случайно стоялъ впереди. Тогда защитникъ порядка поднялъ ружье и, такъ какъ это происходило въ rez-de-chaussée, хотълъ пырнуть штыкомъ, но я замътилъ его движеніе, отступилъ и сказалъ другимъ: «Господа, вы свидътели, что я ему ничего не сдёлаль, -или это такой обычай у національной гвардіи колоть иностранцевъ!» Mais c'est indigne, mais cela n'a pas de nom! подхватили мои сосъди. Испуганный трактирщикъ бросился закрывать окна, сержантъ съ подлой наружностью явился съ приказомъ гнать всёхъ изъ кофейной; мнё казалось, что это былъ тотъ самый господинь, который велёль насъ остановить. Къ тому-же кафе Комартенъ въ двухъ шагахъ отъ Мадлены.

— Вотъ то-то, господа, видите, что значить неосторожность, зачёмъ въ такое время выходить со двора, умы раздражены,

кровь течетъ...

Въ это время національный гвардеецъ привель какую-то служанку, говоря, что офицеръ ее схватилъ въ то самое время, какъ она хотёла бросить въ ящикъ письмо, адресованное въ Берлинъ. Старикъ взялъ накетъ и велёлъ солдату идти.

— Вы можете отправляться домой, сказаль онь намъ, только, пожалуйста, не ходите прежними улицами, особенно мимо кордона, который васъ схватилъ. Да, постойте, я вамъ дамъ провожатаго, онъ васъ выведетъ на Елисейскія поля, тамъ можете пройти.

— Ну и вы, замѣтилъ онъ служанкѣ, отдавая письмо, до котораго не дотронулся, бросьте ваше письмо въ другой ящикъ, гдѣ-нибудь подальше.

Итакъ, полиція защищала отъ вооруженныхъ мъщанъ!

Ночью, съ 26 на 27 іюня, разсказываеть Пьеръ Леру, онъ былъ у Сенара, прося его распорядиться насчеть плънныхъ, которые задыхались въ подвалахъ Тюльери. Сенаръ, человъкъ извъстный своимъ отчаяннымъ консерватизмомъ, сказалъ Пьеръ Леру: «А кто будетъ отвъчать за ихъ жизнь на дорогъ? ихъ перебьетъ національная гвардія. Если-бъ вы пришли часомъ раньше, вы застали бы здъсь двухъ полковниковъ, я насплу ихъ унялъ,

и кончиль тёмь, что сказаль имь, что если эти ужасы будуть продолжаться, то я, вмёсто президентскаго стула въ Собраніи, займу мёсто за баррикадой».

Часа черезъ два, по возвращени домой, явился дворникъ, незнакомый человъкъ во фракъ и человъка четыре въ блузахъ, дурно скрывавшихъ муниципальные усы и жандарискую выправку. Незнакомецъ разстегнулъ фракъ и жилетъ и, съ достоинствомъ указывая на трехцвътный шарфъ, сказалъ, что онъ комиссаръ полиціи Барле (тотъ самый, который въ народномъ собраніи второго декабря взялъ за шиворотъ человъка, взявшаго въ свою очередь Римъ—генерала Удино), и что ему велъно сдълатъ у меня обыскъ. Я подалъ ему ключъ, и онъ принялся за дъло совершенно такъ, какъ въ 1834 году полицмейстеръ Миллеръ.

Взошла моя жена; комиссаръ, какъ нѣкогда жандармскій офицеръ, пріѣзжавшій отъ Дубельта, сталъ извиняться. Жена моя, спокойно и прямо глядя на него, сказала, когда онъ, въ заключеніе рѣчи, просилъ быть снисходительной: «Это было бы жестокостью съ моей стороны не взойти въ ваше положеніе, вы уже довольно наказаны обязанностью дѣлать то, что вы дѣлате».

Комиссаръ покраснѣлъ, но не сказалъ ни слова. Порывшись въ бумагахъ и отложивъ цѣлый ворохъ, онъ вдругъ подошелъ къ камину, понюхалъ, потрогалъ золу и, важно обращаясь ко мнѣ, спросилъ:—Съ какой цѣлью жгли вы бумаги?

- Я не жегь бумагь.
- Помилуйте, зола еще теплая.
- Нътъ, она не теплая.
- Monsieur, vous parlez à un magistrat?
- А зола все же холодная, сказалъ я, вспыхнувъ и поднявъ голосъ.
  - Что же, я лгу?
- Почему же вы имъете право сомнъваться въ моихъ словахъ... Вотъ съ вами какіе-то честные работники, пусть попробуютъ. Ну, да если-бъ я и жегъ бумагу: во-первыхъ, я въ правъ жечь, а во-вторыхъ, что же вы сдълаете?
  - Больше у васъ нѣтъ бумагъ?
  - Нѣтъ.
- У меня есть еще нъсколько писемъ и презанимательныхъ, пойдемте ко мнъ, сказала жена.
  - Помилуйте, ваши письма...
- Пожалуйста, не церемоньтесь... вѣдь, вы исполняете вашъ долгъ, пойдемте. Комиссаръ пошелъ, слегка взглянулъ на письма большей частію изъ Италіи и хотѣлъ выйти...

- А вотъ вы и не видали, что тутъ внизу—письмо изъ Консьержри, отъ арестанта, видите, не хотите-ли взять съ собой?
- Помилуйте, сударыня, отвъчалъ квартальный республики,—вы такъ предубъждены, миъ этого письма вовсе ненужно.
- Что вы намёрены сдёлать съ русскими бумагами?—спросилъ я.
  - Ихъ переведуть.
- Вотъ въ томъ-то и дёло, откуда вы возьмете переводчика: если изъ русскаго посольства, то это равняется доносу, вы погубите иять-шесть человёкъ. Вы меня пкренно обяжете, если упомянете въ procês verbal, что я настоятельно прошу взять переводчика изъ польской эмиграціи.
  - Я думаю, что это можно.
- Благодарю васъ; да вотъ еще просьба: понимаете вы сколько-нибудь по-итальянски?
  - Немного.
- Я вамъ покажу два письма, въ нихъ слово Франція не упомянуто, писавшій ихъ въ рукахъ сардинской полиціи, вы увидите по содержанію, что ему плохо будеть, если письма дойдуть до нея.
- Mais ah ça! замътиль комиссаръ, начинавшій входить въ человъческое достоинство, вы, кажется, думаете, что мы въ связи со всѣми деспотическими полиціями. Намъ дѣла нѣтъ до чужихъ. Поневолѣ мы должны брать мѣры у себя, когда на улицахъ льется кровь и когда иностранцы мѣшаются въ наши дѣла.
  - Очень хороню, стало, вы письмо можете оставить.

Комиссаръ не солгалъ, онъ дъйствительно немного зналъ поптальянски, и потому, повертъвнии письма, положилъ ихъ въ карманъ, объщаясь возвратить.

Тёмъ его визитъ и кончился. Письма итальяща онъ отдали на другой день, но мои бумаги канули въ воду. Прошелъ мѣсяцъ, я написалъ письмо къ Кавеньяку, спращивая его, отчего полиція не возвращаетъ моихъ бумагъ и не говоритъ о томъ, что нашла въ нихъ,—вещь, можетъ, очень неважная для нея, но чрезвычайно важная для моей чести.

Послѣднее было воть на чемъ основано. Нѣсколько знакомыхъ вступились за меня, находя безобразнымъ визитъ комиссара и задерживаніе бумагъ. «Мы желали удостовѣриться, сказалъ Ламорисьеръ, не агентъ-ли онъ русскаго правительства». Это гнусное подозрѣніе я услышалъ тутъ въ нервый разъ: для меня это было совершенно ново; моя жизнь шла такъ нублично, такъ открыто, какъ въ хрустальномъ ульѣ, и вдругъ сильное обвиненіе и отъ кого?—отъ республиканскаго правительства!

Черезъ недёлю меня потребовали въ префектуру; Барле былъ со мною; насъ принялъ въ кабинетъ Дюку молодой чиновникъ, очень похожій на петербургскаго начальника отдъленія изъ развязныхъ.

— Генерать Кавеньякъ, сказалъ онъ мнѣ, поручилъ префекту возвратить ваши бумаги безъ малѣйшаго разбора. Свѣдѣнія, собранныя о васъ, дѣлаютъ его совершенно излишнимъ, на васъ не падаетъ никакого подозрѣнія, вотъ ваша портфель, неугодно ли вамъ подписать предварительно эту бумагу.

Это была расписка въ томъ, что «бумаги вст сполна мнъ

возвращены».

Я пріостановился и спросиль, не будеть ли правильнѣе, если я пересмотрю бумаги.

— До нихъ не дотрогивались. Впрочемъ, вотъ печать.

— Печать цёла, замётиль успокоптельно Барле.

— Моей печати тутъ нътъ. Да ее и не прикладывали.

— Это моя печать, да, въдь, у васъ былъ ключикъ.

Не желая отвъчать грубостью, я улыбнулся. Это взбъсило обоихъ, начальникъ отдъленія сдълался начальникомъ департамента, схватилъ ножикъ и, взръзывая печать, сказалъ довольно грубымъ тономъ:

— Пожалуй, смотрите, коли не върите, только у меня нътъ столько свободнаго времени, и онъ вышелъ, кланяясь съ важ-

ностью.

То, что они разсердились, убъдило меня, что бумагъ дъйствительно не смотръли, и нотому, едва бросивъ взглядъ, я далъ расниску и отправился домой.

IV.

## Примъты.

...Нехорошо было и дома; мы слишкомъ настрадались, слишкомъ много видъли; тишина и подавленность, наступившія посліб битвы и ужасовъ перваго гоненія, дали назріть всему черному и грустному, запавшему въ душу.

Черезъ мѣсяцъ я писалъ: «Вечеромъ 26 іюня, послѣ побѣды, мы слушали правильные залпы съ небольшими разстановками и съ барабаннымъ боемъ... Вѣдь, это разстрѣливаютъ! сказали мы въ одинъ голосъ и отвернулись другъ отъ друга. Я прижалъ

лобъ къ стеклу окна и молчалъ; за такія минуты ненавидятъ десять лѣтъ, мстять всю жизнь».

А жена моя около того же времени писала въ Москву: «Я смотрю на дѣтей и плачу; мнѣ становится страшно, я не смѣю больше желать, чтобъ они были эксивы, можетъ, и ихъ ждетъ такая ужасная доля». Какъ много надобно было прострадать, чтобъ мысль эта могла явиться въ сердцѣ матери, страстно любившей дѣтей, и насколько больше, чтобъ найти силу высказать ее, да еще инсьменно. Въ этихъ словахъ отголосокъ всего пережитаго, послѣдній слѣдъ потерянныхъ вѣрованій, замѣненныхъ страшными восноминаніями. Въ нихъ виднѣются и омнибусы, набитые трунами, и плѣнные съ связанными руками, провожаемые ругательствомъ, и бѣдный глухонѣмой мальчикъ, подстрѣленный въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нашихъ воротъ... за то, что не слышалъ: «Passez au large!»

Реакція торжествовала; сквозь блёдно-синюю республику виднелись черты претендентовъ; національная гвардія ходила на охоту по блузамъ, префектъ полиціи дёлалъ облавы по рощамъ и катакомбамъ, отыскивая скрывавшихся. Люди менёе воинственные доносили, подслушивали.

До осени мы были окружены своими, сердились и грустили на родномъ языкъ: Т. жили въ томъ-же домъ, М. Ө. у насъ, А. и И. Т. приходили всякій день; но все глядъло въ даль, кружокъ нашъ расходился. Парижъ, вымытый кровью, не удерживалъ больше; всъ собирались ъхать безъ особенной необходимости, въроятно, думая спастись отъ внутренней тягости, отъ іюньскихъ дней, вошедшихъ въ кровь, и которые они везли съ собой.

Зачёмъ не увхалъ и я? Многое было бы спасено, и мнё не пришлось бы принесть столько человеческихъ жертвъ и столько самого себя на закланіе богу жестокому и безпощадному.

День нашей разлуки съ Т-ми и съ М. Ө. какъ-то особо каркнулъ ворономъ въ моей жизни: я и этотъ сторожевой крикъ

пропустиль безъ вниманія, какъ сотни другихъ.

Всякій челов'єкъ, много испытавшій, припомнить себѣ дии, часы, рядъ едва замѣтныхъ точекъ, съ которыхъ начинается переломъ, съ которыхъ вѣтеръ тянетъ съ другой стороны; эти знаменія или предостереженія вовсе не случайны: они послѣдствія, печальныя воплощенія готоваго вступить въ жизнь, обличенія тайно бродящаго и уже существующаго. Мы не замѣчаемъ эти психическія примюты, смѣемся надъ ними, какъ надъ просыпанной солонкой и потушеной свѣчей, потому что считаемъ себя несравненно независимѣс, нежели каковы мы на дѣлѣ, и гордо хотимъ сами управлять своей жизнію.

Наканунт отътзда нашихъ друзей они и еще человтка три-

четыре близкихъ знакомыхъ собрались у насъ. Путешественники должны были быть на желёзной дорогё въ 7 часовъ утра; ложиться спать не стоило труда, всёмъ хотёлось лучше вмёстё провести послёдніе часы. Сначала все шло живо, съ тёмъ нервнымъ раздраженіемъ, которое всегда бываетъ при разлукт, но мало-по-малу темное облако стало заволакивать всёхъ; разговоръ не клеился, всёмъ сдёлалось не по-себт, налитое вино выдыхалось, натянутыя шутки не веселили. Кто-то, увидя разсвётъ, отдернулъ занавъску, и лица освътились спневато-блёднымъ цвётомъ, какъ на римской оргіи Кутюра.

Вст были печальны; я задыхался отъ грусти.

Жена моя сидъла на небольшомъ диванъ, передъ ней на колънахъ и, скрывая лицо на ея груди, стояла младшая дочь Т. «Consuelo di sua alma», какъ она ее звала. Она любила страстно мою жену и ъхала отъ нея по неволъ въ глушь деревенской жизни; ея сестра грустно стояла возлъ. Консуэла шептала что-то сквозь слезы, а въ двухъ шагахъ, молча и мрачно, сидъла М. Ө.; она давно свыклась съ покорностью судьбъ, она знала жизнь, и въ ея глазахъ было просто «прощайте», тогда какъ сквозь слезы молодыхъ дъвушекъ все-таки просвъчивало «до свиданья».

Потомъ мы побхали ихъ провожать. Въ высокомъ, пустомъ каменномъ амбаркадеръ было произительно холодно, двери хлопали неистово и сквозной вътеръ дулъ со всъхъ сторонъ. Мы усълись въ углу на лавкъ; Т. пошелъ хлопотать съ чемоданами. Вдругъ дверь отворилась и два пьяныхъ старика шумно вошли въ залу. Платья ихъ были замараны, лица искажены, отъ нихъ несло дикимъ развратомъ. Они вошли ругаясь, одинъ хотълъ ударить другого, тотъ посторонился и, размахнувшись, что есть силы, ударилъ его самого въ лицо: пьяный старикъ полетълъ со всъхъ ногъ. Голова его съ какимъ-то дребезжащимъ, произительнымъ звукомъщелкнулась о каменный полъ; онъ вскрикнулъ, приподнялъ голову, кровь лилась ручьями по съдымъ волосамъ и камнямъ. Полиція и пассажиры съ неистовствомъ бросились на другого старика.

Съ вечера раздраженные, взволнованные, въ натянутомъ состояніи, мы кръпились, но страшное эхо, раздавшееся въ огромной залѣ отъ костяного звука ударившагося черепа, произвело во всѣхъ что-то истерическое. Нашъ домъ и весь нашъ кругъ былъ во всѣ времена чистъ и свободенъ отъ «траги-нервическихъ явленій»; но это было сверхъ силъ, я чувствовалъ дрожь во всемъ тѣлѣ, жена моя была близка къ обмороку, а тутъ звонокъ... Пора, пора! и мы остались вдругъ за рѣшеткой—одни.

Ничего нътъ грубъе и оскорбительнъе для разстающагося, какъ полицейскія мъры во Франціи на желъзныхъ дорогахъ; онъ крадуть у остающагося послёднія двё-три минуты... Они еще туть, машина не свистнула еще, поёздь не отошель, но между вами загородка, стёна и рука полицейскаго, а вамь хочется видёть, какъ сядуть, какъ тронутся съ мёста, потомъ слёдить за отдаленіемь, за пылью, дымомъ, точкой, слёдить, когда уже ничего не видать...

...Молча прівхали мы домой. Жена моя тихо проплакала всю дорогу, жаль ей было своей Консуэлы; по временамъ, завертываясь въ шаль, она спрашивала меня: «Помнишь этотъ звукъ,

онъ у меня въ ущахъ».

Дома я уговорилъ ее прилечь, а самъ сълъ читать газеты; читалъ, читалъ и premier Paris, и фельетоны, и смѣсь, взглянулъ па часы—еще не было двѣнадцати... Вотъ день! Я пошелъ къ А., онъ тоже ѣхалъ на дняхъ; съ нимъ мы отправились гулять, улицы были скучнѣе чтенія, такая тоска... точно угрызенія совѣсти.

— Пойдемте ко мит объдать, сказаль я, и мы пошли. Жена

моя была ръшительно больна.

Вечеръ былъ безсвязенъ, глупъ.

— Итакъ, ръшено, спросилъ я А., прощаясь,—вы ъдете въ концъ недъли?

— Рѣшено.

- Жутко будеть вамь въ Россіи.

— Что дълать, мнъ тхать необходимо, въ Нетербургъ я не останусь, уъду въ деревню. Въдь, и здъсь теперь не Богъ знаетъ какъ хорошо, какъ бы вамъ не приплось раскаяться, что остаетесь?

Я тогда еще могъ возвратиться, корабли не были сожжены, Ребильо и Карлье не писали еще своихъ доносовъ; но внутри дъло было ръшено. Слова А., между тъмъ, все-таки непріятно коснулись моихъ обнаженныхъ нервъ, я подумалъ и отвъчалъ:

— Нътъ, для меня выбора нътъ, я долженъ остаться—и если раскаюсь, то скоръе въ томъ, что не взялъ ружье, когда мнъ его

подаваль работникъ за баррикадой на Place Maubert.

Много разъ въ минуты отчаннія и слабости, когда горечь переполняла м'тру, когда вся моя жизнь казалась мит одной продолжительной ошибкой, когда я сомитвался въ самомъ себть, въ послающему, въ остальному,—приходили мит въ голову эти слова: «Зачты не взялъ я ружья у работника и не остался за баррикадой». Незвначай сраженный пулей, я унесъ бы съ собой въ могилу еще два-три втрованья.

И опять потянулось время... день за день... сърое, скучное... мелькали люди, сближались на день, проходили мимо, исчезали, гибли. Къ зимъ стали являться изгнанники другихъ странъ, спасшіеся матросы другихъ кораблекрушеній; полные самоувъренности, надеждъ, они принимали реакцію, подымавшуюся во

всей Европъ, за мимолетный вътеръ, за легкую неудачу, они ждали завтра, черезъ недълю, свой чередъ...

Я чувствоваль, что они ошибаются, но мив нравилась ихъ ошибка, я старался быть непослёдовательнымъ, боролся съ собой и жилъ въ какомъ-то тревожномъ раздражении. Время это осталось у меня въ памяти, какъ чадный, угарный день... Я метался отъ тоски туда, сюда, искалъ разсёяній... въ книгахъ, въ шумъ, въ домашнемъ отшельничествъ, на людяхъ, но все чего-то недоставало, смъхъ не веселилъ, тяжело пьянило вино, музыка ръзала по сердцу, и веселая бесъда оканчивалась почти всегда мрачнымъ молчаніемъ.

Внутри все было оскорблено, все опрожинуто, очевидныя противоръчія, хаосъ; снова ломка, снова ничего нъть. Давно оконченныя основы нравственнаго быта превращались опять въ вопросы; факты сурово подымались со всъхъ сторонъ и опровергали ихъ. Сомнъніе заносило свою тяжелую ногу на послъднія достоянія, оно перетряхивало не церковную ризницу, не докторскія мантіи, а революціонныя знамена... изъ общихъ идей оно пробиралось въ жизнь. Пропасть лежитъ между теоретическимъ отрицаніемъ и сомнъніемъ, переходящимъ въ поведеніе, мысль смъла, языкъ дерзокъ, онъ легко произноситъ слова, отъ которыхъ сердце бъется, въ груди еще тлъютъ върованія и надежды тогда, когда забъжавшій умъ качаетъ головой. Сердце отстаетъ, потому что любитъ,—и когда умъ приговариваетъ и казнитъ, оно еще прощается.

Можетъ, въ юности, когда все кипитъ и несется, когда такъ много будущаго, когда потеря однихъ върованій расчищаетъ мъсто другимъ, можетъ, въ старости, когда все становится безразлично отъ устали, эти переломы дълаются легче;—но nel mezzo del camin di nostra vita, они достаются не даромъ.

Что-же, наконецъ, все это—шутка? Все завѣтное, что мы любили, къ чему стремились, чему жертвовали. Жизнь обманула, исторія обманула, обманула въ свою пользу; ей нужны для закваски сумасшедшіе, и дѣла нѣтъ, что съ ними будетъ, когда они придутъ въ себя, она ихъ употребила,—пусть доживаютъ свой вѣкъ въ инвалидномъ домѣ. Стыдъ, досада! А тутъвозлѣ простосердечные друзъя жмутъ плечами, удивляются вашему малодушію, вашему нетериѣнію, ждутъ завтрашняго дня и, вѣчно озабоченные, вѣчно занятые однимъ и тѣмъ же, ничего не понимаютъ, не останавливаются ни передъ чѣмъ, вѣчно идутъ—и все ни съ мѣста... Они васъ судятъ, утѣшаютъ, журятъ,—какая скука, какое наказанье!

«Люди въры, люди любви», какъ они называють себя въ противоположность намъ, людямъ «сомнънья и отрицанія», не знаютъ,

что такое полоть съ корнемъ упованія, взлельянныя цьлой жизнію, они не знають болюзни истины, они не отдавали никакого сокровища съ тымъ «громкимъ воплемъ», о которомъ говоритъ поэтъ:

Ich riss sie blutend aus dem wunden Herzen, Und weinte laut und gab sie hin.

Счастливые безумцы, никогда не трезвѣющіе, имъ незнакома внутренняя борьба, они страдають отъ внѣшнихъ причинъ, отъ злыхъ людей и случайностей; внутри все цѣло, совѣсть покойна, они довольны. Оттого-то червь, точащій другихъ, имъ кажется капризомъ, эпикуреизмомъ сытаго ума, праздной проніей. Они видятъ, что раненый смѣстся надъ своей деревяшкой, и заключаютъ, что ему операція ничего не стоила; имъ въ голову не приходить, отчего онъ состарѣлся не по лѣтамъ, и какъ ноетъ отнятая нога при перемѣнѣ погоды, при дуновеніи вѣтра.

Моя логическая исповёдь, исторія недуга, черезъ который пробивалась оскорбленная мысль, осталась въ рядё статей, составившихъ «Съ того берега». Я въ себё преслёдоваль ими послёдніе идолы, я ироніей мстилъ имъ за боль и за обманъ, я не надъближнимъ издёвался, а надъ самимъ собой и, снова увлеченный, мечталъ уже быть свободнымъ, но тутъ-то и запнулся. Утративъ вёру въ слова и знамена, въ канонизированное человёчество и единую спасающую церковь западной цивилизаціи, я вёрилъ въ нёсколько человёкъ, вёрилъ въ себя.

Видя, что все рушится, я хотѣлъ спастись, начать новую жизнь, отойти съ друмя-тремя въ сторону, бѣжать, скрыться отъ... лишнихъ. И я надменно поставилъ заглавіемъ послѣдней статьи: Omnia mea mecum porto!

Жизнь распущенная, опаленная, полуувядшая въ омутъ событій, въ круговоротъ общихъ интересовъ,—обособлялась, снова сводилась на періодъ юнаго лиризма, безъ юности, безъ въры. Съ этимъ fara da me моя лодка должна была разбиться о подводные камни—и разбилась. Правда, я упълълъ, но безъ всего...

V

## Тифоидная горячка.

Зимой 1848 года была больна моя маленькая дочь. Она долго разнемогалась, потомъ сдёлалась небольшая лихорадка и, казалось, прошла. Райе, извёстный докторъ, совётовалъ ее прокатить, несмотря на зимній день. Погода была прекрасная, но не теплая.

Когда ее привезли домой, она была необыкновенно бледна, просила ъсть и, не дождавшись бульона, уснула возлъ насъ на диванъ; прошло нъсколько часовъ, сонъ продолжался. Фогть, братъ натуралиста, студентъ медицины, случился у насъ. «Посмотрите, сказаль онь, на ребенка, въдь, это вовсе неестественный сонъ». Мертвая, слегка синеватая блёдность лица испугала меня, я положилъ руку на лобъ, лобъ былъ совершенно холодный. Я бросился самъ къ Райе, по счастью засталъ его дома и привезъ съ собою. Малютка не просыпалась; Райе приподнялъ ее, сильно потрясъ и заставилъ меня громко звать ее по имени... Она раскрыла глаза, сказала слова два и снова заснула тъмъ-же сномъ, тяжелымъ, мертвымъ, дыханье едва-едва было замътно. Въ этомъ состоянін, съ небольшими перемънами, она оставалась нъсколько дней, безъ пищи и почти безъ питья; губы почернёли, ногти сдёлались синіе, на тълъ показались иятны, это была тифоидная горячка. Райс почти ничего не дълалъ, ждалъ, слъдилъ за болъзнью и не слиш-

комъ обнадеживалъ.

Видъ ребенка былъ страшенъ, я ждалъ съ часа на часъ смерти. Блъдная и молчащая сидъла моя жена, день и ночь, у кроватки, глаза ея покрылись тёмъ жемчужнымъ отливомъ, которымъ высказывается усталь, страданіе, истощеніе силь и неестественное напряженіе нервъ. Разъ, часу во второмъ ночи, мнѣ показалось, что Тата не дышитъ; я смотрълъ на нее, скрывая ужасъ, жена моя догадалась. «У меня кружится въ головъ, сказала она мнъ, дай воды». Когда я подалъ стаканъ, она была безъ чувствъ. И. Т., приходившій дёлить мрачные часы наши, поб'ёжаль въ аптеку за аммоніакомъ,—я стоялъ неподвижно, между двумя обмершими тълами, смотрълъ на нихъ и ничего не дълалъ. Горничная терла руки, мочила виски моей женъ. Черезъ нъсколько минутъ она пришла въ себя.—Что? спросила она.—«Кажется, Тата открывала глаза», сказала наша добрая, милая Луиза. Я посмотрѣлъ-будто просыпается; я назвалъ ее шепотомъ по имени, она раскрыла глаза п улыбнулась черными, сухими п растреснувшими губами. Съ этой минуты здоровье стало возвращаться.

Есть яды, которые злёе, мучительнёе разлагають человёка, чъмъ дътскія бользни, я и ихъ знаю, но тупого яда, берущаго истомой, обезсиливающаго въ тиши, оскорбляющаго страшной

ролью празднаго свидетеля-хуже нётъ.

Кто разъ на своихърукахъ держалъ младенца и чувствовалъ, какъ онъ холодёлъ, тяжелёлъ, становился каменнымъ; кто слышалъ послъдній стонъ, которымъ тщедушный организмъ умоляетъ о пощадъ, о спасеніи, просится остаться на свъть; кто видъль на своемъ столѣ красивый гробикъ, обитый розовымъ атласомъ, и бъленькое платыпце съ кружевами, такъ отличающееся отъ желтаго личика, тотъ при каждой дётской болёзни будетъ думать: отчего же не быть и другому гробику—вотъ на этомъ столё?

Несчастіе самая плохая школа! Конечно, человъкъ, много испытавшій, выносливъе, но, въдь, это оттого, что душа его помята, ослаблена. Человъкъ изнашивается и становится трусливъе отъ перенесеннаго. Онъ теряетъ ту увъренность въ завтрашнемъ днъ, безъ которой инчего дълать нельзя; онъ становится равнодушнъе, потому что свыкается съ страшными мыслями, наконецъ, онъ боится несчастій эгонстически, т. е. боится снова перечувствовать рядъ щемящихъ страданій, рядъ замираній сердца, память о которыхъ не разносится съ тучами.

Стонъ больного ребенка наводить на меня такой внутренній ужась, обдаеть такимъ холодомъ, что я должень дѣлать большія

усилія, чтобъ побъдить эту чисто нервную память.

На другое утро той же ночи, я въ первый разъ пошелъ пройтиться; на дворѣ было холодно, тротуары были слегка посыпаны инеемъ; но, несмотря ни на холодъ, ни на ранній часъ, толпы парода покрывали бульвары, мальчишки съ крикомъ продавали бюллетени,—слишкомъ иять милліоновъ голосовъ клали связанную Францію къ ногамъ Людовика Наполеона.

Осиротъвшая передняя нашла, наконецъ, своего барина!

## IJIABA XXXVI.

La Tribune des Peuples.—Мицкевичъ и Рамонъ-де-ла-Сагра.—Хористы революціи 13 іюня 1849.—Холера въ Парижъ.—Отъѣздъ.

Я оставилъ Парижъ осенью 1847 г., не завязавши никакихъ связей; литературные и политическіе кружки оставались мив совершенно чуждыми. Причинъ на это было много. Прямого случая не представлялось, —искать я не хотълъ. Ходить только, чтобы смотръть знаменитости, я считалъ неприличнымъ. Къ тому же мив очень мало нравился тонъ снисходительнаго превосходства французовъ съ русскими: они одобряютъ, поощряютъ насъ, хвалятъ наше произношеніе и паше богатство; мы выпосимъ все это и являемся къ нимъ какъ просители, даже отчасти какъ виноватые, радуясь, когда они изъ учтивости принимаютъ насъ за французовъ. Французы забрасываютъ насъ словами, мы за ними не посиъваемъ, думаемъ объ отвътъ, а имъ дъла нътъ до него; намъ совъстно показать, что мы замъчаемъ ихъ ошибки, ихъ невъжество, —они пользуются всъмъ этимъ съ безнадежнымъ довольствомъ собой.

Чтобы стать съ ними на другую ногу, надобно *импониро- вать*; на это необходимы разныя права, которыхъ у меня тогда не было, и которыми я тотчасъ воспользовался, когда они слу-

чились подъ рукой. Не должно, сверхъ того, забывать, что нътъ людей, съ которыми было бы легче завести шапочное знакомство, какъ съ французами, и нътъ людей, съ которыми было бы труднъе въ самомъ дёлё сойтиться. Французъ любитъ жить на людяхъ, чтобы себя показать, чтобы имъть слушателей, п въ этомъ онъ такъ же противоположенъ англичанину, какъ и во всемъ остальномъ. Англичанинъ всегда смотритъ на людей отъ скуки, смотрить, какъ изъ партера, употребляеть людей для развлеченія, для полученія св'єд'вній; англичанинъ постоянно спрашиваеть, а французъ постоянно отвъчаетъ. Англичанинъ все недоумъваетъ, все обдумываетъ, французъ все знаетъ положительно, онъ конченъ и готовъ, онъ дальше не пойдетъ; онъ любить проповъдывать, разсказывать, поучать, чему? кого? все равно. Потребности личнаго сближенія у него нъть, кафе его вполнъ удовлетворяеть, онъ, какъ Репетиловъ, не замъчаеть, что вмъсто Чацкаго стоить Скалозубъ, выбсто Скалозуба—Загорецкій, и продолжаєть толковать о камеръ, присяжныхъ, о Байронъ (котораго называетъ Биронъ) и о матеріяхъ важныхъ.

Возвратившись изъ Италіи, еще неостывшій отъ февральской революціи, я натолкнулся на 15 мая, потомъ прострадалъ іюньскіе дни и осадное положеніе. Тогда я еще глубже вглядёлся въ вольтеровскаго tigresinge,—и у меня прошло даже желаніе

знакомиться съ сильными республики сей.

Разъ представлялась было возможность общаго труда, которая могла привести въ сношение со многими лицами, да и та не удалась. Графъ Ксаверій Браницкій далъ 70,000 франковъ на основаніе журнала, который занимался бы преимущественно иностранной политикой, другими народами и въ особенности Польскимъ вопросомъ. Польза и своевременность такого журнала были очевидны. Французскія газеты занимаются мало и плохо тъмъ, что дълается внъ Франціи; во время республики онъ думали, что достаточно подчасъ ободрить вей языцы словомъ solidaritè des peuples, объщаніемь, какъ только дома обдосужатся, завести всемірную республику, основанную на всеобщемъ братствъ. При средствахъ, которыя имълъ новый журналъ, названный «Народной Трибуной», изъ него можно было сдёлать международный «Монитёръ» движенія и прогресса. Его усп'єхъ былъ тъмъ върнъе, что всеобщихъ газетъ вовсе нътъ; въ Теймсть и Journal des Debats бывають превосходныя статьи о спеціальныхъ вопросахъ, но безъ связи, случайно, отрывочно. Редакція Аугебургской Газеты была бы дёйствительно самая всеобщая, если-бъ отъ ен черно-жеслтаго направленія не такъ грубо рябило въ глазахъ.

Но, видно, всёмъ добрымъ начинаніямъ 1848 г. было на роду написано родиться на седьмомъ мёсяцё и умереть прежде перваго зуба. Журналъ пошелъ плохо, вяло—и умеръ при избіеніп невинныхъ листовъ послё 14 іюня 1849.

Когда все было готово и на чеку: домъ былъ нанятъ и устроенъ, съ большими столами, покрытыми сукномъ, и маленькими косыми конторками; тощій французскій литераторъ былъ приставленъ смотрѣть за международными ореографическими ошибками; при редакціи учрежденъ совѣтъ изъ бывшихъ польскихъ нунціевъ и сенаторовъ, а главнымъ завѣдывателемъ назначенъ Мицкевичъ, въ помощники которому данъ Хоецкій,—оставалось торжественно начать, и когда же лучше, какъ не въ годовщину 24 февраля, и чѣмъ же приличнѣе, какъ не ужиномъ?

Ужинъ былъ назначенъ у Хоецкаго. Пріфхавъ, я засталъ уже довольно много гостей, въ числѣ которыхъ не было почти ни одного француза, зато другія націи, отъ Сициліи до кроатовъ, были хорошо представлены. Меня собственно интересовало одно лицо—Адамъ Мицкевичъ; я его никогда прежде не видалъ. Онъ стояль у камина, опершись локтемъ о мраморную доску. Кто видъль его портреть, приложенный къ французскому изданію п снятый, кажется, съ медальона Давида д'Анже, тотъ могъ бы тотчась узнать его, несмотря на большую перемёну, внесенную лътами. Много имъ и страданій сквозили въ его лицъ, скоръе литовскомъ, чёмъ польскомъ. Общее впечатлёніе его фигуры, головы съ пышными съдыми волосами и усталымъ взглядомъ выражало пережитое несчастіе, знакомство съ внутреннею болью. экзальтацію горести; это быль пластическій образь Польши. Подобное впечативніе двлало на меня потомъ лицо Ворцеля; впрочемъ, черты его, еще болже болжиенныя, были живже и привътливъе, чъмъ у Мицкевича. Мицкевича булто что-то удерживало, занимало, разсвивало; это что-то быль его странный мистицизмъ, въ который онъ заступалъ дальше и дальше.

Я подошелъ къ нему, онъ меня сталъ распрашивать о Россіп; свъдънія его были отрывочны, литературное движеніе послів Пушкина онъ мало зналъ, остановившись на томъ времени, на которомъ покинулъ Россію. Несмотря на свою основную мысль о братственномъ союзів всіхъ славянскихъ народовъ, мысль, которую онъ одинъ изъ первыхъ сталъ развивать, въ немъ оставалось что-то непріязненное къ Россіи.

Первое, что меня какъ-то непріятно удивило, было обращеніе

съ нимъ поляковъ его партіи: они подходили къ нему, какъ монахи къ игумену, уничтожаясь, благоговѣя; иные цѣловали его въ илечо. Должно быть, онъ привыкъ къ этимъ знакамъ подчиненной любви, потому что принималъ ихъ съ большимъ laisser aller. Быть признаннымъ людьми одного образа мнѣнія, имѣть на нихъ вліяніе, видѣть ихъ любовь—желаетъ каждый, отдавшійся душею и тѣломъ своимъ убѣжденіямъ, жившій ими; но наружныхъ знаковъ симпатіи и уваженія я не желалъ бы принимать, они разрушаютъ равенство и, слѣдовательно, свободу; да сверхъ того, въ этомъ отношеніи намъ никакъ не догнать ии архіереевъ, ни начальниковъ департаментовъ, ни полковыхъ командировъ.

Хоецкій сказаль мнт, что за ужиномъ онъ предложить тостъ «въ намять 24 февраля 1848 г»., что Мицкевичъ будетъ ему отвъчать ръчью, въ которой изложить свое возръніе и духъ будущаго журнала; онъ желалъ, чтобъ я, какъ русскій, отвіналь Мицкевичу. Не имъл привычки говорить публично, особенно не приготовившись, я отклониль его предложение, но объщаль предложить тость «за Мицкевича» и прибавить нъсколько словъ къ нему о томъ, какъ я пилъ за него въ первый разъ, въ Москвъ, на публичномъ объдъ, данномъ Грановскому въ 1843 г., Хомяковъ поднялъ бокалъ со словами «за великаго отсутствующаго славянскаго поэта!» Имени (которое не смъли произнести) не было нужно: веб встали, веб подняли бокалы и, стоя въ молчаніи, выпили за здоровье изгнанника. Хоецкій былъ доволень; подтасовавши такимъ образомъ наше extempore, мы съли за столъ. Въ конць ужина Хоецкій предложиль свой тость, Мицкевичь всталь и началь говорить. Ръчь его была выработана, умна, чрезвычайно ловка, т. е. Барбесъ и Людовикъ Наполеонъ могии бы откровенно аплодировать ей; меня стало коробить отъ нея. По мъръ того, какъ онъ развивалъ свою мысль, я начиналъ чувствовать что-то болъзненно тяжкое и ждалъ одного слова, одного имени, чтобъ не осталось ни малѣйшаго сомнънія; оно не замедлило явиться!

Мицкевичъ свелъ свою рѣчь на то, что демократія теперь собирается въ новый открытый станъ, во главѣ котораго Франція, что она снова ринется на освобожденіе всѣхъ притѣсненныхъ народовъ, подъ тѣми же орлами, подъ тѣми же знаменами, при видѣ которыхъ блѣднѣли всѣ цари и власти, и что ихъ снова поведетъ впередъ одинъ изъ членовъ той вѣнчанной народомъ династіи, которая какъ бы самимъ Провидѣніемъ назначена вести революцію стройнымъ путемъ авторитета и побѣдъ.

Когда онъ кончилъ, кромѣ двухъ-трехъ одобрительныхъ восклицаній его приверженныхъ, молчаніе было общее. Хоецкій замѣтилъ очень хорошо ошибку Мицкевича и, желая поскорѣе загла-

дить дъйствіе ръчи, подошель съ бутылкой и, наливая бокаль, шепнуль мнъ: «Что же вы?»—«Я не скажу ни слова послъ этой ръчи».—«Пожалуйста, что-нибудь».—«Ни подъ какимъ видомъ).

Пауза продолжалась, нёкоторые опустили глаза въ тарелку, другіе пристально разсматривали бокаль, треты заводили частный разговоръ съ сосёдомъ. Мицкевичъ перемёнился въ лицё, онъ хотёль еще что-то сказать, но громкое: Je demande la parole, положило конецъ затруднительному положенію. Всё обернулись къ вставшему. Невысокій старикъ, лётъ семидесяти, весь сёдой, съ славной, энергической наружностью, стояль съ бокаломъ въ дрожащей рукті; въ его большихъ черныхъ глазахъ. въ его взволнованномъ лиці были видны гнівъ и негодованіе. Это былъ Рамонъ-де-ла-Сагра. «За 24 февраля», сказаль онъ, «таковъ былъ тостъ, предложенный нашимъ хозяиномъ. Я не могу дізлить возървнія нашего друга Мицкевича; онъ смотріть можетъ на дізла, какъ поэтъ, и по своему правъ, но я не хочу, чтобъ его слова въ такомъ собраніи прошли безъ протестаціи», и пошель, и пошель, со всею страстью испанца, со всёми правами семидесяти лізтъ.

Когда опъ кончилъ, двадцать рукъ, въ томъ числ'я и моя. протянулись къ нему съ бокалами, чтобы чокпуться.

Мицкевичъ хотълъ поправиться, сказалъ въсколько словъ въ объяснение, они не удались. Де-ла-Сагра не сдавался. Всъ встали изъ-за стола и Мицкевичъ убхалъ.

Хуже предзнаменованія для новаго журнала не могло быть, онъ просуществовалъ кое-какъ до 13 іюня, и исчезъ такъ незамѣтно, какъ существовалъ. Единства въ редакціи не могло быть; Мицкевичъ свертывалъ половину своего императорскаго знамени изе раг la groire, другіе не смѣли развертывать своего; стѣсненные имъ и совѣтомъ, многіе черезъ мѣсяцъ оставили редакцію, и не послалъ ни разу ни одной строчки. Если-бъ наполеоновская полиція была умнѣе, никогда Tribune des peuples не была бы запрещена за иѣсколько строчекъ о 13 іюня. Съ именемъ Мицкевича и съ поклопеніемъ Наполеону, съ мистической революціопностью и съ мечтой о вооруженной демократіи, во главѣ которой Наполеониды, этотъ журналъ могъ бы сдѣлаться кладомъ для президента, чистымъ органомъ нечистаго дѣла.

Католицизмъ, такъ мало свойственный славянскому генію, дъйствуеть на него разрушительно: когда у богемцевъ не стало енлы обороняться отъ католицизма, они сломились; у поляковъ католицизмъ развилъ ту мистическую экзальтацію, которая постоянно ихъ поддерживаеть въ мірѣ призрачномъ. Если они не находятся подъ прямымъ вліяніемъ іезунтовъ, то, вмѣсто освобожденія, или выдумываютъ себѣ кумиръ, или понадаются подъ вліяніе какого-нибудь впзіонера. Мессіанизмъ, это помѣшательство

Вронскаго, эта бълая горячка Товянскаго, вскружилъ голову сотнямъ поляковъ и самому Мицкевичу. Поклоненіе Наполеону принадлежитъ на первомъ планѣ къ этому безумію; Наполеонъ ничего не сдѣлалъ для нихъ; онъ не любилъ Польши, а любилъ поляковъ, проливавшихъ за него кровь съ тѣмъ поэтически-колоссальнымъ мужествомъ, съ которымъ они сдѣлали свою знаменитую кавалерійскую атаку въ Сомо-Сіерра. Въ 1812 г. Наполеонъ говорилъ Нарбону: «Я хочу въ Польшѣ лагерь, а не форумъ. Я равно не позволю ни въ Варшавѣ, ни въ Москвѣ открыть клубъ для демагоговъ», и изъ него-то поляки сдѣлали военное воплощеніе Бога, поставили рядомъ съ Вишну.

Разъ вечеромъ поздно, зимой 1848, шелъ я съ однимъ полякомъ изъ Мицкевичевыхъ приверженцевъ по Вандомской илощади. Когда мы поровнялись съ колонной, полякъ снять фуражку. Неужели?.. подумалъ я, не смѣя вѣрить въ такую глупость, и смиренно спросилъ его: что за причина, что онъ снять фуражку. Полякъ показалъ мнѣ пальцемъ на бронзоваго императора. Какъ ке послѣ этого не тѣснить и не угнетать людей, когда это пріобрѣтаетъ столько любви!

Въ домашней жизни Мицкевича было темно, что-то несчастное, мрачное, «посъщенное Богомъ». Жена его долгое время была поврежденной. Товянскій заговаривалъ ее и будто помогъ, это оссбенно поразило Мицкевича, но слъды болъзни остались... дъла ихъ или илохо. Печально оканчивалась жизнь великаго поэта, пережившаго себя. Онъ утасъ въ Турціи, замъшавшись въ нелъпое дъло, устройство казацкаго легіона, которому Турція запретила называться польскимъ. Передъ смертію онъ написалъ латинскую оду во славу и честь Людовика Наполеона.

Послѣ этой неудачной попытки участвовать въ журналѣ, и еще больше удалился въ небольшой кругъ знакомыхъ, увеличивавшійся появленіемъ новыхъ эмигрантовъ. Прежде я хаживалъ иногда въ клубы, участвовалъ въ трехъ-четырехъ банкетахъ, т. е. ѣлъ холодиую баранину и пиль кислое вино, слушая Пьера Леру, отца Кабе и подтягивая марсельезу. Теперь и это надобло. Съ глубоко скорбнымъ чувствомъ слѣдилъ я и помѣчалъ успѣхи разложенія, паденія республики, Франціи, Евроны. Изъ Россійни дальней зарницы, ни въсти хорошей, ни дружескаго привѣта: нисать ко мнѣ перестали; личныя, ближайнія, родныя связи пріостановились 1).

Это пятилѣтіе и для меня было самое худшее время моей жизни; у меня нѣтъ ни столько богатствъ на потерю, пи столько върованій на уничтоженіе...

<sup>1)</sup> Писано въ 1856 г.

...Холера свир'виствовала въ Париж'в, тяжелый воздухъ, безсолнечный жаръ производили тоску; видъ испуганнаго несчастнаго населенія и ряды похоронныхъ дрогъ, которыя, приближаясь къ кладбищамъ, пускались въ обгонки, все это соотв'ятствовало событіямъ.

Жертвы заразы падали возлѣ, рядомъ. Моя мать поѣхала съ одной знакомой дамой, лѣть двадцати пяти, въ Сенъ-Клу; вечеромъ, когда онѣ возвращались, дама чувствовала себя нѣсколько нездоровой, моя мать уговаривала ее остаться ночевать. Утромъ, часовъ въ семь пришли мнѣ сказать, что у нея холера; я пошелъ къ ней и обомлѣлъ,—ни одной черты не осталось по прежнему: она была хороша собой, но всѣ мышцы лица опустились, съежились, темныя тѣни легли подъ глазами. Насилу отыскалъ я Райе въ институтѣ и привезъ его. Взглянувъ на больную, Райе шеннуль мнѣ: «Вы сами видите, что тутъ дѣлать», прописалъ что-то и уѣхалъ.

Больная подозвола меня и спросила: «Что вамъ сказалъ докторъ? Онъ вамъ что-то сказалъ?»—«Послать за лекарствомъ». Она взяла меня за руку и рука ея удпвила меня больше лица: она исхудала и сдёлалась угловатой, какъ будто мъсяцъ тяжкой бользни прошелъ съ тъхъ поръ, какъ она запемогла, и, останавливая на мнъ взглядъ, исполненный страданія и ужаса, проговорила: «скажите, Бога ради, что онъ сказалъ... что умираю я?.. Да вы меня не бойтесь?» прибавила она. Мнъ ее было ужасно жаль въ эту минуту; это страшное сознаніе пе только смерти, но и заразительности недуга, который быстро подтачивалъ ея жизнь, должно было быть безмърно мучительно. Къ утру она умерла.

И. Т-въ собпрадся вхать изъ Парижа, срокъ его квартиры окончился, онъ пришель ко мнв переночевать. Послв объда онъ жаловался на духоту, я сказаль ему, что купался утромъ, вечеромъ пошелъ и онъ купаться. Возвратившись, онъ чувствоваль себя нехорошо, выпилъ содовой воды съ виномъ и сахаромъ п пошелъ спать. Ночью онъ разбудилъ меня. «Я потерянный человъкъ, сказалъ онъ мнв, холера». У пего дъйствительно была тошнота и спазмы; по счастью, онъ отдълался десятью днями бользин.

Моя мать, схоронивъ свою знакомую, перевхала въ Ville d'Avray. Когда занемогъ И. Т-въ, я отправилъ туда Natalie и дътей, п остался одинъ съ нимъ, а когда ему стало гораздо легче, перевхалъ и я туда.

Туда-то утромъ, 12 іюня, явился ко мий Сазоновъ. Онъ быль въ величайшемъ одушевленіп, говорилъ о готовящемся движеніп, о неминуемости успаха, о слава, которая ждетъ участниковъ, п настоятельно звалъ меня на это жнитво лавръ. Я говорилъ ему.

что онъ знаетъ мое мнѣніе о настоящемъ положеніи дѣлъ, что мнѣ кажется глупо идти безъ вѣры съ людьми, съ которыми не имѣешь почти ничего общаго.

На это восторженный агитаторъ замітиль, что оно, конечно, нокойніє и безопасніє писать у себя дома скентическія статейки, въ то время, когда другіе отстанвають на площади свободу міра, солидарность народовъ и много другого добра.

Чувство весьма дрянное, но которое многихъ привело и приведеть къ большимъ ошибкамъ и даже къ преступленіямъ, заго-

ворпло во мнв.

— Да съ чего же ты вообразилъ, что я не пойду?

- Я такъ заключилъ изъ твоихъ словъ.

— Нътъ, я сказалъ, что это глупо, но, въдь, не говорилъ, что

я никогда не дълаю глупостей.

- Воть этого-то я и хотёль. Воть такимъ-то я тебя люблю! Ну, такъ нечего терять времени, ёдемъ въ Парижъ. Сегодня вечеромъ нѣмцы и другіе рефюжье собираются въ девять часовъ, пойдемъ сначала къ нимъ.
  - Гдб-же они собираются? спросилъ я его въ вагонъ.

— Въ cafe Lamblin, въ Polais Royal'ъ.

Это было мое первое удивленіе.—Какъ въ cafe Lamblin?

— Тамъ обыкновенно собпраются «красные».

- Именно потому-то, мий кажется, и слёдовало бы сегодня собраться въ другомъ м'єсть.
  - Да уже они вст тамъ привыкли.

- Пиво, върно, очень хорошо!

Въ кафе, за десяткомъ маленькихъ столиковъ, важно засъдали разные habitués революціи, значительно и мрачно посматривавшіе изъ-подъ поярковыхъ шляпъ съ большими полями, изъ-подъ фуражекъ съ крошечными козырьками. Это были тѣ вѣчные женихи революціонной Пенелоны, тѣ неизбѣжныя лица всѣхъ политическихъ демонстрацій, составляющія ихъ табло, ихъ фонъ, грозныя издали, какъ драконы изъ бумаги, которыми китайцы хотѣли застращать англичанъ.

Въ смутныя времена общественныхъ пересозданій, бурь, въ которыя государства надолго выходятъ изъ обыкновенныхъ назовъ своихъ, нараждается новое поколѣніе людей, которыхъ можно назвать хористами революція; вырощенное на подвижной и вулканической почвъ, воспитанное въ тревогѣ и перерывѣ всякихъ дѣлъ,—оно съ рапнихъ лѣтъ вживается въ среду политическаго раздраженія, любитъ драматическую сторону его, его торжественную и яркую постановку. Для нихъ всѣ эти банкеты, демонстраціи, протестаціи, сборы, тосты, знамена—главное въ революціи.

Въ ихъ числъ есть люди добрые, храбрые, искренно преданные

п готовые стать подъ пулю, но большей частію очень недальніе и чрезвычайные педанты. Неподвижные консерваторы во всемъ революціопномъ, они останавливаются на какой-пибудь программъ

п не идуть впередъ.

Толкуя всю жизнь о небольшомъ числѣ политическихъ мыслей, они объ нихъ знаютъ, такъ сказать, ихъ риторическую сторону, ихъ священническое облаченіе, т. е. тъ общія мъста, которыя послъдовательно появляются один и тъ же, à tour de rôle, какъ уточки въ извъстной дътской игрушкъ, въ газетныхъ статьяхъ, въ банкетныхъ ръчахъ п въ нарламентскихъ выходкахъ.

Сверхъ людей наивныхъ, революціонныхъ доктринеровъ, въ эту среду естественно втекають непризнанные артисты, несчастные литераторы, студенты, не окончившіе курса, но окончившіе ученье, адвокаты безъ процессовъ, артисты безъ таланта, людп съ большимъ самолюбіемъ, но съ малыми способностями, съ огромными притязаніями, но безъ выдержки и силы на трудъ. Внъшнее руководство, которое гуртомъ пасетъ въ обыкновенныя времена стада человъческія, слабъеть во времена переворотовъ, люди, оставленные сами на себя, не знаютъ, что имъ дълать. Легкость, съ которой, и то только повидимому, всилывають знаменитости въ революціонныя времена, поражаетъ молодое поколъніе, и оно бросается въ пустую агитацію; она пріучаеть ихъ къ сильнымь потрясеніямъ и отучаеть отъ работы. Жизнь въ кофейныхъ н клубахъ увлекательна, полна движенія, льстить самолюбію и вовсе не стъсняетъ. Опоздать нельзя, трудиться не нужно, что не сдълано сегодня, можно сдёлать завтра, можно и вовсе не дёлать.

Хористы революціи, подобно хору греческихъ трагедій, дёлятся еще на полухоры; къ нимъ идетъ ботаническая классификація: одни изъ нихъ могутъ назваться тайнобрачными, другіе явнобрачными. Один изъ шхъ дълаются въчными заговорщиками, мъняють по нъскольку разъ квартиру и форму бороды. Они таинственно приглашають на какія-то необыкновенно важныя свиданья, если можно ночью, или въ какомъ-пибудь пеудобномъ мъстъ. Встръчаясь публично съ своими друзьями, они не любятъ кланяться головой, а значительно кланяются глазами. Многіе скрывають свой адресь, не сообщають день отъбзда, не сказывають, куда ёдуть, пишуть шифрами и химическими чернилами новости, напечатанныя просто голландской сажей въ газетахъ.

При Людвигѣ Филиипѣ, разсказывалъ миѣ одинъ французъ. Е., замътанный въ какое-то политическое дъло, скрывался въ Парижь; при всъхъ своихъ прелестяхъ, такая жизнь становится à la longue утомительна и скучна. Делессерь, bon vivant и богатый человъкъ, былъ тогда префектомъ; онъ служилъ по полиціи не изъ нужды, а изъ страсти, и любилъ иногда весело пообъдать.

У него и у Е. было много общихъ пріятелей; разъ, между «грушей и сыромъ», какъ говорять французы, одинъ изъ нихъ сказалъ ему:

— Какая досада, что вы такъ преслъдуете бъднаго Е! Мы лишены славнаго собесъдника, п онъ долженъ скрываться

какъ преступникъ.

— «Помилуйте», сказаль Делессеръ, «объ его дълъ номину нъть.—Зачъмъ онъ прячется?»—Знакомые его пронически улыбались. «Я его постараюсь увърить, что онъ дълаетъ вздоръ,—и васъ съ тъмъ вмъстъ».

Прі хавши домой, онъ позваль одного изъглавныхъ шпіоновъ и спросиль его:

«Что Е., въ Парижѣ?»

— Въ Парижъ, отвъчалъ шионъ.

— «Прячется?»—спросиль Делессеръ.

— Прячется, отвѣчалъ шпіонъ.

— «Гдѣ?» спросилъ Делессеръ. Шпіонъ вынуль книжку, порылся въ ней и прочелъ его адресъ.—«Хорошо, такъ ступайте къ нему завтра утромъ рано и скажите, что онъ напрасно безпокоится, что мы его не ищемъ, и что онъ можетъ спокойно жить на своей квартирѣ».

Ипіонъ въ точности исполнилъ приказаніе, а, черезъ два часа послѣ его визита, Е. таинственно извѣщалъ своихъ близкихъ и друзей, что онъ уѣзжаетъ изъ Парижа и будетъ скрываться въ одномъ изъ дальнихъ городовъ, потому-де, что префектъ открылъ

мъсто, гдъ онъ прятался!

Сколько заговорщики стараются покрыть прозрачной завѣсой таинственности и краснорѣчивымъ молчаніемъ свою тайну, столько явнобрачные стараются обличить и разболтать все, что есть за

Это безсменные трибуны кофейныхъ и клубовъ; они постоянно недовольны всемъ и хлопочуть обо всемъ, все сообщаютъ, даже то, чего не было, а то, что было, является у нихъ какъ горы въ рельефныхъ картахъ, возведенное въ квадратъ и кубъ. Глазъ до того къ нимъ привыкаетъ, что невольно ищетъ ихъ при всякомъ уличномъ шумъ, при всякой демонстраціи, на всякомъ банкетъ.

...Для меня зрълище въ сате Lamblin было еще ново, я мало былъ знакомъ тогда съ заднимъ дворомъ революціи. Правда, я ходилъ въ Римъ и въ сате delle Belli Arti и на площадь, бывалъ въ Circolo Romano и въ Circolo Popolare, но тогдашнее римское движеніе не имъло еще того характера политической махровости, который особенно развился нослъ неудачъ 1848 года. Чичероважкіо и его друзья имъли свои наивности, свою южную мимику, которая намъ кажется фразой, и свои птальянскія фразы, которыя

мы принимаемъ за декламацію; но они были въ періодѣ юнаго увлеченія, они еще не пришли въ себя послѣ трехвѣковаго сна; іl popolano Чичероваккіо вовсе не былъ политическимъ агитаторомъ по ремеслу, онъ ничего лучше не просилъ бы, какъ снова удалиться съ миромъ въ свой небольшой домъ Strada Ripetta и торговать лѣсомъ и дровами, въ кругу своей семьи, какъ раter familias и свободный civis romanus.

Въ людяхъ, его окружавшихъ, не могло быть той печати пошлаго, изболтавшагося исевдо-революціонизма, того характера tarè, который такъ печально распространился во Франціи.

Само собою разумѣется, что, говоря о кофейныхъ агитаторахъ и о революціонныхъ лаццарони, я вовсе не думалъ о тѣхъ сильныхъ работинкахъ человѣческаго освобожденія, о тѣхъ огненныхъ проновѣдникахъ независимости, о тѣхъ мученикахъ любви къ ближнему, которымъ ни тюрьма, ни ссылка, ни изгнаніе, ни бѣдность не перерѣзала рѣчи, о тѣхъ дѣлателяхъ и двигателяхъ событій,—кровью, слезами и рѣчами которыхъ водворяется новый порядокъ въ исторіи. У насъ рѣчь шла с той накипѣвшей закрапнѣ, покрытой празднымъ пустоцвѣтомъ, для котораго сама агитація—цѣль и награда, которымъ процессъ народныхъ возстаній нравится,—какъ процессъ чтенія нравился Петрушкѣ Чичньова.

Реакціи радоваться нечему,—не такими репейниками и мухоморами поросла она и не на закраинахъ, а повсюду. Въ пей цѣлыя населенія чиновниковъ, дрожащихъ передъ начальниками, шныряющихъ шпіоновъ, вольнонаемныхъ убійцъ, готовыхъ драться съ той и другой стороны, офицеровъ во всѣхъ отвратительныхъ видахъ, отъ прусскаго юнкертума до хищныхъ французскихъ алжирцевъ. И тутъ мы еще только коснулись свътской реакціи, не трогая ни нищенствующую братію, ни интригующихъ ісзунтовъ, ни полицействующихъ поповъ.

Если въ реакціи есть что-нибудь похожее на нашихъ дилетантовъ революціи, то это придворные—люди, употребляемые для церемоній, люди выходовъ и входовъ, люди, бросающіеся въ глаза на крестинахъ и бракосочетаніяхъ, на похоронахъ, люди для мундира, для шитъя, представляющіе лучи власти, ея ароматъ.

Въ саfè Lamblin, гдѣ отчаянные граждане сидѣли за итиверами и большими стаканами, я узналъ, что нѣтъ никакого илана, нѣтъ никакого настоящаго центра движенія, пикакой программы. Только въ одномъ пунктѣ всѣ были согласны—въ томъ. чтобъ явиться на миссто сбора безъ оружсія. Послѣ пустой болтовни, продолжавшейся часа два, условившись, чтобъ завтра въ восемь часовъ утра собраться на Boulevard Bonne Nouvelle противъ Châ-

teau d'Eau, мы отправились въ редакцію «Истинной Республики».

Издателя не было дома: онъ побхалъ «къ горцамъ» за инструкціями. Въ большой, почернілой, слабо освіщенной и еще слабте меблированной залт, служившей редакціи для сбора и совъщаній, было человъкъ двадцать, большей частью поляки п и виды. Сазоновъ взялъ листь бумаги и принялся что-то писать; написавши, онъ намъ прочелъ: это была протестація отъ имени эмигрантовъ всъхъ странъ противъ занятія Рима и заявленіе готовности ихъ принять участіе въ движеніи. Тъмъ, кто хотълъ обезсмертить свое имя, связывая его съ славнымъ завтра, онъ предлагаль подписаться. Почти всё хотёли обезсмертить свое имя и подписались. Вошелъ издатель, усталый, невеселый, стараясь внушить, что онъ много знаеть, но долженъ молчать: я быль увърень, что онъ ничего не знаеть. «Citoyens», сказалъ Tope, «la Montagne est en permanence». Ну, что же сомиваться въ усибхъ-en permanence!.. Сазоновъ передалъ издателю протестацію европейской демократін. Издатель перечиталь и сказалъ: «Это прекрасно, это прекрасно! Франція васъ благодаритъ, граждане; но зачёмъ же подписи? Ихъ такъ немного, что, въ случав неудачи, на васъ обрушится вся злоба нашихъ враговъ».

Сазоновъ настаивалъ, чтобъ имена остались; многіе были согласны съ нимъ. «Я не беру этого на мою отвѣтственность», возразилъ издатель; «простите меня, я лучше васъ знаю, съ къмъ мы имѣемъ дѣло». При этомъ онъ оторвалъ подписи и предалъ имена дюжины кандидатовъ на безсмертіе всесожженію на свѣчѣ, а текстъ послалъ набирать въ типографію.

Когда мы вышли изъ редакцін, разсвѣтало; толпы оборванныхъ мальчишекъ и несчастныхъ, убого одѣтыхъ женщинъ стояли, сидѣли, лежали по тротуарамъ, возлѣ разныхъ редакцій, ожидая кипы журналовъ—однѣ, чтобъ ихъ складывать, другіе, чтобъ бѣжать съ ними во всѣ концы Парижа. Мы вышли на бульваръ; тишина была совершенная, изрѣдка попадались патрули національной гвардіи, прогуливались и лукаво посматривавшіе городовые сержанты.

- Какъ беззаботно спитъ этотъ городъ, сказалъ мой товарищъ, не предчувствуя, какая гроза его разбудитъ завтра!
- «Воть, кто не спить за насъ за всѣхъ,—сказаль я ему, указывая наверхъ, то есть на освѣщенное окно въ maison d'Or.— Это очень кстати, зайдемъ выпить абсенту; у меня что-то на желудкѣ нехорошо».
  - А у меня пусто, къ тому же оно и недурно поужинать;

какъ бдять въ Капитоліп, я не знаю, ну, а въ Консьержри кор-

мять отвратительно.

По костямъ холодной индъйки, оставшимся отъ транезы нашей, нельзя было догадаться ни того, что холера свирфиствовала въ Нарижъ, ин того, что мы идемъ черезъ два часа мънять судьбы Европы. Мы тын въ maison d'Or такъ, какъ Наполеопъ спаль подъ Аустерлицемъ.

Часу въ девятомъ, когда мы пришли на бульваръ Воппе Nonvelle, на немъ уже стояли многочисленныя кучки людей, съ видимымъ нетеривніемъ ожидавшихъ что ділать, на лицахъ было написано недоумъпіе, но съ тъмъ вмъсть по особенной физіономіи грушпъ видно было большое озлобленіе. Найди себт эти люди

настоящихъ вожатаевъ, день не окончился бы фарсомъ.

Была минута, въ которую мнъ показалось, что сейчасъ завяжется дёло. Какой-то господинъ довольно тихо ёхалъ верхомъ по бульварамъ. Въ немъ узнали одного изъ министровъ (Лакруа), который в фроятно не для одного чистаго воздуха прогуливался верхомъ такъ рано. Его окружили съ крикомъ, стащили съ лошади, изодрали ему фракъ и потомъ отпустили, т. е. другая группа отбила его и эскортировала куда-то. Толпа росла, часамъ къ десяти могло быть до двадцати инти тысячъ человъкъ. Кого мы ни спрашивали, къ кому мы ни обращались, никто ничего не зналъ. Керсози, временъ минувшихъ карбонаро, увърялъ насъ, что банлье входить въ Arc de Triomphe съ крикомъ: «Vive la République!»—«Пуще всего», опять повторяли вей старыйшины демократін, «будьте безь оружія, а то вы испортите характеръ дъла. (чамодержавный народъ долженъ мпрно и торжественно заявить Собранію свою волю, чтобъ не дать врагамъ никакого повода къ клеветъ».

Наконецъ, колонны состроились. Изъ насъ, иностранцевъ, составили почетную фалангу за самыми вожатаями, въ числъ которыхъ были Е. Араго, въ полковничьемъ мундирѣ, бывшій министръ Бастидъ и другія знаменитости 1848 года. Съ разными криками и съ марсельезой двинулись мы по бульвару. Кто не слыхаль марсельезы, петой тысячами голосовь, вь томъ нервномъ раздраженіи и въ томъ раздумьп, которое необходимо является передъ извъстной борьбой, тотъ врядъ ли пойметъ потрясающее

пъйствіе революціоннаго псадма.

Въ эту минуту демонстрація получила величавый карактеръ. По мфрф того, какъ мы тихо двигались по бульварамъ, всф окна отворялись; дамы, дёти толкались у нихъ и выходили на балконы; мрачныя и встревоженныя лица ихъ мужей, отцовъ-пропріетеровъ выглядывали изъ-за нихъ, не замічая, что въ четвертыхъ этажахъ и мансардахъ высовывались другія головки, бъдныхъ швей и работницъ:—онѣ махали намъ илатками, кланялись и привѣтствовали руками. Время отъ времени подымались разные крики, когда мы проходили мимо домовъ извѣстныхъ лицъ.

Такъ дошли мы до того мъста, гдъ rue de la Paix входить въ бульвары; она была заперта взводомъ венсенскихъ стрёлковъ, и. когда наша колонна поровнялась съ ними, стрълки вдругъ разступились, какъ декорація въ театрѣ,—и Шангарнье, верхомъ на небольшой лошади, скакалъ передъ эскадрономъ драгуновъ. Безъ всякихъ соммацій, безъ барабаннаго боя и прочихъ, закономъ предписанныхъ, формъ, онъ, смявъ передовые ряды, отрѣзалъ ихъ отъ прочихъ п, развернувъ драгуновъ на двѣ стороны, велѣлъ имъ скорымъ шагомъ расчистить улицу. Драгуны съ какимъ-то упоенісмъ пустились мять людей, рубя палашами плашмя и острой стороной при малъйшемъ сопротивлении. Я едва усиълъ сообразить, что случилось, какъ очутился носъ съ носомъ съ лошанью, которая фыркала мит въ лицо, и съ драгуномъ, который, ругаясь, также не заглаза, грозплся вытянуть меня фухтелемъ, если я не пойду въ сторону. Я подался направо и, въ одно мгновеніе, быль увлеченъ толной и прижать къ ръшеткъ rue Basse des Remparts. Изъ нашего ряда остался возлъ меня одинъ М. Стрюбингь; между тёмъ драгуны жали передовыхъ людей лошадьми, а они насъ людьми, которымъ некуда было дъться. Е. Араго соскочиль въ улицу Basse des Remparts, поскользнулся и вывихнулъ себъ ногу: велъдъ за нимъ соскочилъ и я съ Стрюбингомъ, мы взглянули другь на друга съ какимъ-то бъщенствомъ негодованья, Стрюбингь обернулся и громко закричаль: «Aux armes! aux armes»! Человъкъ въ блузъ схватилъ его за воротникъ и, толкая въ другую сторону, сказалъ: «Что вы, съ ума сошли, что-ли?... смотрите сюда». По улицъ-должно быть Chaussée d'Antin-двигалась густая щетина штыковъ.—«Ступайте, пока васъ не слыхали, да пока не отръзали дороги». «Все пропало!-все!» прибавиль онь, сжимая кулакъ, и, наибвая ибсию, будто ничего не было, удалился скорыми шагами. Мы пошли на илощадь Согласія. На Елисейскихъ поляхъ не было ни одного взвода изъ банлье; въдь и Керсози зналъ, что не было; это была дипломатическая ложь къ спасенію, а, можеть, она была бы и къ гибели тъхъ, которые цовфрили бы.

Наглость нападенія на безоружных влюдей возбудпла большую злобу. Будь въ самомъ дѣлѣ что-нибудь приготовлено, будь вожатые, не было бы ничего легче, какъ начать настоящій бой. Гора, вмѣсто того, чтобъ явиться въ весь ростъ, услышавъ о томъ, какъ смѣшно разогнали лошадьми самодержавный народъ, скрылась за облакомъ. Ледрю-Ролленъ велъ переговоры съ Гинаромъ. Гинаръ, начальникъ артиллеріи національной гвардіи, хотѣлъ самъ при

стать къ движенію, хотёлъ дать людей, соглашался дать пушки, но ни подъ какимъ видомъ не хотёлъ давать зарядовъ, онъ какъ-то хотёлъ дёйствовать моральной стороной пушекъ; тоже дёлалъ со своимъ легіономъ Форестье. Много ли имъ помогло это,—мы видёли по версальскому процессу. Всёмъ чего-то хотёлось, но пикто не дерзалъ; всего предусмотрительнёе оказались нёсколько молодыхъ людей, съ надеждой на новый порядокъ,— они заказали себъ префектскіе мундиры, которыхъ, послѣ неудачи движенія, не взяли, и портной принужденъ былъ вывъсить ихъ на продажу.

Когда наскоро сколоченное правительство расположилось въ Arts et Métiers, работники, походивши по улицамъ съ вопрошающимъ взглядомъ и не находя ни совъта, ни призыва, отправились домой, еще разъ убъдившись въ несостоятельности горныхъ отцевъ отечества, можетъ быть, глотая слезы, какъ блузникъ, говорившій намъ: «Все погибло!—все!» а можетъ, и смѣясь испод-

тишка тому, что «гора» опростоволосилась.

Но перасторопность Ледріо-Роллена, формализмъ Гинара — все это внѣшиі я причины неудачи и являются съ тѣмъ же жетати, какъ рѣзкіе характеры и счастливыя обстоятельства, когда ихъ нужно. Внутренняя причина состояла въ бѣдности той республиканской идеи, изъ которой шло движеніе. Идеи, переживниія свое время, могутъ долго ходить съ клюкой, но трудно для пихъ снова завладѣть жизнью и вести се. Они не увлекаютъ всего человѣка, или увлекаютъ только неполныхъ людей. Если-бъ гора одолѣла 13 іюня, что бы она сдѣлала? Новаго у нея за душой ничего не было, опять безцвѣтная фотографія яркой и мрачной Ремораидтовской, Сальваторъ-Розовской картины 1793 года, безъ якобинцевъ, безъ войны, даже безъ наивной гильотины...

Вслъдъ за 13 іюнемъ и опытомъ ліонскаго возстанія начались аресты; меръ съ полицієй приходилъ къ намъ въ ville d'Avray искать К. Блинда и А. Руге; часть знакомыхъ была захвачена. Консьержри была набита биткомъ, въ небольшомъ залѣ было до шестидесяти человѣкъ; посреди него стоялъ ушатъ для нечистотъ, разъ въ сутки его выносили, и все это въ образованномъ Парижѣ, во время свирѣпѣйшей холеры. Не имѣя ни малѣйшей охоты прожитъ мѣсяца два въ этомъ комфортѣ, на гнилыхъ бобахъ и тухлой говядииѣ, я взялъ пассъ у одного молдовалаха и

утхалъ въ Женеву 1).

<sup>1)</sup> Какъ справедливы были мои опасеція, доказаль полицейскій обыскъ. сдъланный дня три послів моего отъйзда въ домій моей матери, въ ville d'Avray. У нея вахватили всій бумаги, даже переписку ся горничной съ моимъ поваромъ. Разсказъ о 13 іюній я не счелъ своевременнымъ печатать тогда.

Тогда еще возили Францію Lafitte и Calliard, дилижансы ставили на желъзную дорогу, потомъ снимали, помнится, въ Шалонъ и опять гдъ-то ставили. Со мной въ купе сълъ худощавый мужчина, загорёлый, съ подстриженными усами, довольно непріятной наружности и подозрительно посматривавшій на меня; съ нимъ былъ небольшой сакъ и шпага, завернутая въ клеенку. Очевидно, что это былъ переодътый городской сержантъ. Онъ тщательно осмотрёлъ меня съ ногъ до головы, потомъ уткнулся въ уголъ и не произнесъ ни одного слова. На первой станціи онъ подозвалъ кондуктора и сказалъ ему, что забылъ превосходную карту, что онъ его обяжеть, давши клочекъ бумаги и конверть. Кондукторъ замътилъ, что до звонка остается всего минуты трп; сержантъ выпрыгнулъ и, возвратившись, сталъ еще подозрительнъе осматривать меня. Часа четыре продолжалось молчаніе, даже позволеніе курить онъ спросиль у меня молча; я отвъчаль также головой и глазами и вынулъ самъ сигару. Когда стало смеркаться, онъ спросиль меня:

- «Вы въ Женеву?»
- Нътъ, въ Ліонъ, отвъчалъ я.
- «А!»—Тѣмъ разговоръ и кончился.

Черезъ нѣсколько времени отворилась дверь и кондукторъ съ трудомъ всунулъ плѣнивую фигуру, въ пространномъ гороховомъ пальто, въ цвѣтномъ жилетѣ, съ толстой тростью, мѣшкомъ, зонтикомъ и огромнымъ животомъ. Когда этотъ типъ добродѣтельнаго дяди усѣлся между мной и сержантомъ, я его спросилъ, не давши ему придти въ себя отъ одышки:

- Monsieur, vous n'avez pas d'objection? Кашляя, отпрая потъ и повязывая фуляромъ голову, онъ отв'ъчалъ мн'ь:
- «Сдѣлайте одолженіе; помилуйте, мой сыпъ, который тенерь въ Алжиръ, всегда курпть, il fume toujours», и нотомъ, съ легкой руки, пошелъ разсказывать и болтать; черезъ полчаса онъ уже допросилъ меня, откуда я и куда я ѣду, и, услыхавъ, что я изъ Валахіи, съ свойственной французу учтивостью прибавилъ: «Ah! c'est un beau pays», хотя онъ и не зналъ навърно, въ Турціи она или въ Венгріи.

Сосъдъ мой отвъчалъ на его вопросы очень лаконически: Monsieur est militaire?—Oui, Monsieur.—Monsieur a étè en Algèrie?—Oui, Monsieur.—Мой старшій сынъ тоже, онъ п теперь тамъ. Вы върно въ Оранъ? Non, monsieur. А въ вашихъ странахъ есть дилижансы?

— Между Яссами и Бухарестомъ, отвъчалъ и съ неподражаемой самоувъренностью. Только у насъ дилижансы ходять на волахъ. Это привело въ крайнее удивленіе моего сосъда и онъ навърно

присятнулъ бы, что я валахъ; послъ этой счастливой подробности

даже сержантъ смягчился и сталъ разговорчивъе.

Въ Люнъ я взялъ свой чемоданъ и тотчасъ поъхалъ въ другую контору дилижансовъ, вскарабкался на имперіалъ и черезъ иять минутъ скакать уже по женевской дорогъ. Въ послъднемъ большомъ городъ, на илощадкъ передъ полицейскимъ домомъ, сидълъ комиссаръ полиціи съ писаремъ, около стояли жандармы, тутъ свидътельствовали предварительно нассы. Примъты не совсъмъ шли ко мнъ, а потому, слъзая съ имперіала, я сказалъ жандарму:

— Mon brave, пожалуйста, гдъ бы на скорую руку вышить

стаканъ вина съ вами, укажите, мочи нетъ какой жаръ.

— Да вотъ тутъ два шага кафе моей родной сестры.

💮 \ какъ же быть съ пассомъ?

Давайте сюда, я отдамъ моему товарищу, онъ принесетъ его намъ.

Черезъ минуту мы осущали съ жандармомъ бутылку Бонъ въ кафе его родной сестры, а черезъ пять его пріятель принесъ пассъ, я ему поднесъ стаканъ, онъ приложилъ руку къ шляпъ, и мы отправились друзьями къ дилижансу. Первый разъ сошло корошо съ рукъ. Прівзжаемъ на границу—ръка, на ръкъ мостъ, за мостомъ піемонтская таможня. Французскіе жандармы на берегу таскаются во всъхъ направленіяхъ, ищутъ Ледрю-Роллена, который давно пробхалъ, или по крайней мъръ Феликса Піа, который все-таки проёдеть, и такъ же, какъ и я, съ валахскимъ пассомъ.

Кондукторъ замътиль намъ, что здъсь окончательно смотрятъ бумаги, что это продолжается довольно долго, съ полчаса, въ силу чего совътовалъ ноъсть въ почтовомъ трактиръ. Мы вошли и только что усълись, прикатилъ другой люнскій дилижансъ; входятъ нассажиры и первый—мой сержантъ; фу, пропасть какая, я, въдь, ему сказалъ, что ъду въ Люнъ. Мы съ нимъ сухо по-клонились, онъ также, кажется, удивился, однако не сказалъ ни слова.

Пришелъ жандармъ, роздалъ нассы, дилижансы были уже на той сторонъ; «извольте, господа, отправляться пъшкомъ черезъ мостъ». Вотъ тутъ-то, думаю, и пойдеть исторія. Вышли мы... Вотъ и на мосту—исторіи нѣтъ, вотъ и за мостомъ—исторіи пѣтъ.

- Ха, ха, ха, сказаль, нервно см'ясь, сержанть, неревхали таки, фу, какъ будто какая-ннбудь тяжесть свалилась.
  - Какъ, сказаль я, да вы?

— Да, въдь, и вы кажется?

— Помилуйте, отвъчаль я, смъясь отъ души, прямо изъ Бухареста, чуть не на волахъ. — Ваше счастье, сказалъ миѣ кондукторъ, грозя пальцемъ, а впередъ будьте осторожиње, зачѣмъ вы дали два франка на водку мальчику, который привелъ васъ въ контору. Хорошо, что онъ тоже нашъ, онъ миѣ тотчасъ сказалъ: должно бытъ красный, ни минуты не остался въ Ліонѣ, и такъ обрадовался мѣсту, что далъ миѣ два франка на водку. Ну, молчи, не твое дѣло, сказалъ я ему, а то услышитъ бестія какая-нибудь полинейская и, пожалуй, остановитъ.

На другой день мы прібхали въ Женеву, эту старинную гавань гонимыхъ... «Во время смерти короля, сто пятьдесять семействь, говорить Мишле въ своей исторіи XVI стольтія, бъжали въ Женеву; спустя нъкоторое время, еще тысяча четыреста. Выходцы французскіе и выходцы изъ Италіи основали истинную Женеву, это удивительное убъжище между тремя націями; безъ всякой опоры, боясь самихъ швейцарцевъ, оно дер-

жалось одной нравственной силой».

Швейцарія была тогда сборнымъ мѣстомъ, куда сходились со всѣхъ сторонъ уцѣлѣвініе остатки европейскихъ движеній. Представители всѣхъ неудавшихся революцій кочевали между Женевой и Базелемъ, толиы ополченцевъ переходили Рейнъ, другіе спускались съ С.-Готарда или шли изъ-за Юры. Трусливое федеральное правительство еще не смѣло открыто ихъ гнатъ, кантоны еще держались за свое старинное, святое право убѣжища.

Точно на смотру, церемоніальнымъ маршемъ проходили по Женевъ, останавливались, отдыхали и шли дальше всъ эти люди, которыми была полна молва, которыхъ я любилъ заочно

и къ которымъ теперь торопился навстръчу...

## ETABA XXXVII.

Вавилонское столнотвореніе.— Німецкіе umwaelzungsmaenner'ы. - Французскіе красные горцы.— Птальянскіе Fuorusciti въ Женевь. Мащини, Гарибальди, Орсини...—Романская и Германская традиція.— Прогулка на «князів Радецкомъ».

Было время, когда, въ порывѣ раздраженія и горькаго смѣха, и собпрался, на манеръ Гранвилевской иллюстраціи, написать намфлетъ: Les rofugiés peints par eux mêmes. Я радъ, что не сдѣлалъ этого. Теперь я смотрю покойнѣе, меньше смѣюсь и меньше негодую. Къ тому же и эмиграція продолжается слишкомъ долго и слишкомъ тяжко гнететъ людей.

Тъмъ не меньше, я и теперь скажу, что эмиграціи, предпри-

нимаемыя не съ опредъленной цълью, а вытъсняемыя побъдой противной партіи, замыкають развитіе и утягивають людей изъ живой дъятельности въ призрачную. Выходя изъ родины съ затаенной злобой, съ постоянной мыслію завтра снова въ нее тхать, люди не идутъ впередъ, а постоянно возвращаются къ старому; надежда мъщаетъ осъдлости и длинному труду; раздраженіе и пустые, но озлобленные споры не позволяють выйти изъ извъстнаго числа вопросовъ, мыслей, воспоминаній, изъ которыхъ образуется обязательное, тяготящее преданіе. Люди вообще, но пуще всего люди въ исключительномъ положеніи, имъють такое пристрастіе къ формализму, къ цеховому духу, къ профессіональной наружности, что тотчасъ принимають свой ремесленническій, доктринерный типъ.

Всв эмиграціи, отръзанныя отъ живой среды, къ которой принадлежали, закрывають глаза, чтобъ не видѣть горькихъ истинъ, и вживаются больше въ фантастическій, замкнутый кругъ, состоящій изъ косныхъ воспоминаній и несбыточныхъ надеждъ. Если прибавимъ къ тому отчужденіе отъ не-эмигрантовъ, что-то озлобленное, подозрѣвающее, исключительное, ревнивое, то новый, упрямый

Израпль будетъ совершенно понятенъ.

Эмигранты 1849 не върили еще въ продолжительность побъды своихъ враговъ, хмъль недавнихъ успъховъ еще не проходилъ у нихъ, пъсни ликующаго народа и его рукоплесканія еще раздавались въ ихъ ушахъ. Они твердо в рили, что ихъ поражение -- минутная неудача, и не перекладывали платья изъ чемодана въ комодъ. Между темъ Парижъ былъ подъ надзоромъ полиціи, Римъ паль подъ ударами французовъ, въ Баденъ свиръцствовалъ братъ короля Прусскаго, а Паскевичъ по-русски, взятками и посулами, надуль Гёрвея въ Венгріп. Женева была биткомъ набита выходпами, она дълалась Кобленцомъ революціп 1848 года. Итальянцы всяхь странъ, французы, утедшіе отъ Башарова слёдствія, отъ Версальскаго процесса, Баденскіе ополченцы, вступивніе въ Женеву правильнымъ строемъ, съ своими офицерами и съ Густавомъ Струве, участники Вънскаго возстанія, богемцы, познанскіе и галинійскіе поляки. Все это толнилось между отель де Бергь и почтовымъ кафе. Умнъйшіе изъ нихъ стали догадываться, что эта эмиграція не минутна, поговаривали объ Америк'в и убзжали. Вольшинство, совсёмъ напротивъ, и въ особенности французы, втрные своей натурт, ждали всякій день смерти Наполеона и нарожденія республики демократической и соціальной одни, другіс пемократической, но отнюдь не соціальной.

Черезъ нъсколько дней послъ моего прітада, гуляя въ Паки, я встрътилъ какого-то пожилого господина съ видомъ русскаго сельскаго священника, въ низкой шлянь съ большими полями.

въ чернолу бъломъ сюртукъ, прогуливавшагося съ какимъ-то іерейскимъ помазаніемъ; возлѣ него шелъ человѣкъ страшныхъ размѣровъ, небрежно собранный изъ огромныхъ частей людского тъла. Со мной былъ молодой литераторъ Ф. Капъ.

- «Вы не знаете ихъ?» спросиль онъ меня.

— Нѣтъ, но, если я не ошибаюсь, это Ной или Лотъ, прогуливающійся съ Адамомъ, который вмѣсто фиговыхъ листьевъ надѣлъ не по мѣркѣ сшитое пальто.

- «Это Струве и Гейнценъ, отвътилъ онъ, смъясь. Хотите позна-

компться?»

— Очень. Онъ подвелъ меня.

Разговоръ былъ ничтоженъ; Струве возвращался домой и просилъ зайти, мы пошли съ нимъ. Небольшая квартира его была наполнена баденцами; середъ пхъ сидѣла высокая и издали оченъ красивая женщина, съ богатой шевелюрой, оригинальнымъ образомъ разбросаниой; это была извѣстная Амалія Струве, его жена.

Лицо Струве съ самаго начала сдблало на меня странное впечатлѣніе: оно выражало тотъ нравственный столбнясь, который изувърство придаетъ святошамъ и раскольникамъ. Глядя на этотъ крѣпкій, сжатый лобъ, на покойное выраженіе глазъ, на нечесаную бороду, на волосы съ просѣдью и на всю его фигуру, мнѣ казалось, что это или какой-нибудь фанатическій пасторъ изъ войска Густава Адольфа, забывшій умереть, или какой-нибудь таборить, проповѣдующій покаяніе и причастіе въ двухъ видахъ. Наружность Гейнцена, этого Собакевича нѣмецкой революціи, была угрюмо груба; сангвиническій, неуклюжій, онъ сердито поглядываль изъ-подлобья и былъ не рѣчисть. Онъ впослѣдствіи писалъ, что достаточно избить два миллюна человѣкъ на земномъ шарѣ, и дѣло революціи пойдеть какъ по маслу. Кто его видѣлъ хоть разъ, тоть не удивится, что онъ это писалъ.

Не могу не разсказать о чрезвычайно смѣшномъ анекдотѣ, который со мной случился по поводу этой канибальской выходки. Въ Женевѣ жилъ, да и теперь живетъ добрѣйшій въ мірѣ докторъ Р., одинъ изъ самыхъ илатоническихъ и самыхъ постоянныхъ любовниковъ революціи, другъ всѣхъ выходцевъ; онъ на свой счетъ лечилъ, кормилъ и поилъ ихъ. Бывало, какъ рано ни придешь въ Cafè de la Poste, а докторъ уже тамъ и уже читаетъ третью или четвертую газету, зоветъ таинственно пальцемъ и сообщаетъ на ухо... «Я думаю, что сегодня въ Парижѣ горячій денъ».—Отчего-же?—«Я вамъ не могу сказать, отъ кого я слышалъ, но только отъ близкаго человѣка Ледрю Роллена, онъ былъ здѣсь проѣздомъ»...—Да, вѣдь, вы и вчера, и третьго дня ждали чего-то, любезнѣйшій докторъ?—«Ну такъ что-жъ? Stadt Rom war

nicht in einem Tage gebaut».

Воть къ нему-то, какъ къ другу Гейнцена, въ томъ же самомъ кафе, я и обратился, когда Гейнценъ напечаталь свою филантропическую программу. «Зачёмъ же, сказалъ я ему, вашъ пріятель 
иншеть такой вредный вздоръ? Реакція кричить, да и им'єть 
право... Что за Мара, переложенный на нёмецкіе нравы, да и какъ 
требовать два милліона головъ?» Р. сконфузился, но друга выдать не хотёлъ. «Послушайте, сказалъ онъ, наконецъ, вы, можетъ, одно выпустили изъ виду: Гейнценъ говорить обо всемъ 
родъ человъческомъ, въ этомъ числъ, по крайней мъръ, двисти 
тысячъ китайцевъ».—«Ну, вотъ это другое дёло, чего ихъ жалёть», отвътилъ я, и долго послъ не могъ вспомнить безъ сумасшедшаго смъха эту облегчающую причину.

Дня черезъ два послѣ моей встрѣчи въ Паки, гарсонъ hôtel des Bergues, гдѣ я стоялъ, прибѣжалъ ко мнѣ въ комнату и съ

важной миной возвёстиль:

— «Генералъ Струве, съ своими адъютантами».

Я подумалъ или что мальчика кто-нибудь подослалъ шутя, или что онъ что-нибудь перевралъ; но дверь отворилась и

## Mit bedachtigen schritt Густавь Струве tritt.....

п съ нимъ четыре господина; двое были въ военномъ костюмъ; какъ ихъ тогда носили фрейшерлеры, и вдобавокъ съ большими красными брасарами, украшенными разными эмблемами. Струве представилъ мнъ свою свиту, демократически называя ее «братьями въ ссылкъ». Я съ удовольствемъ узналъ, что одинъ изъ нихъ, молодой человъкъ лътъ двадцати, съ видомъ бурша, недавно вышедшаго изъ фуксовъ, успъшно занималъ уже долж-

ность министра внутреннихъ дёлъ per interim.

Струве тотчасъ началъ меня поучать своей теоріи о семи бичахь, der sieben Geissel: паны, поны, короли, солдаты, банкиры и т. д., и о водвореніи какой-то новой демократической и революціонной религіи. Я замѣтилъ ему, что если уже это зависить оть нашей воли заводить или нѣтъ новую религію, то лучше не заводить никакой, а предоставить это волѣ Божіей, оно же и но сущности дѣла относится болѣе до нея. Мы поспорили. Струве что-то отпустилъ о Weltseele, я ему замѣтилъ, что, несмотря на то, что Шеллингъ такъ ясно опредѣлилъ міровую душу, называя ее das Schwebende, мнѣ она порядкомъ не дается. Онъ вскочилъ со стула и, подошедши ко мнѣ какъ нельзя ближе со словами: «пзвините, позвольте», принялся играть пальцами по моей головѣ, нажимая ими, какъ-будто черепъ у меня былъ составленъ изъ клавишей фисгармоники. «Дѣйствительно», прибавилъ онъ, обращаясь къ четыремъ братьямъ въ ссылкѣ: «Вürger Herzen

hat kein, aber auch gar kein Organ der Venerazion»; всѣ были довольны отсутствіемъ у меня «бугра почтительности», и я тоже.

При этомъ онъ объявилъ мив, что онъ глубокій френологъ и не только писалъ книгу о Галлевой системв, но даже выбралъ по ней свою Амалію, потрогавши предварительно ся черепъ. Онъ увврялъ, что у нея бугра страстей совсвмъ почти не существуетъ, и что задняя часть черепа, обиталище ихъ, почти приплюснута. По этой-то, достаточной для развода, причинв, онъ женился на ней.

Струве быль большой чудакь, ёль одно постное съ прибавкой молока, не пиль вина, и на такой же діэть держаль свою Амалію. Ему казалось и этого мало, и онъ всякій день ходиль купаться съ нею въ Арву, гдѣ вода середь лѣта едва достигаеть 8 градусовь, не успѣвая нагрѣться, такъ быстро стекаеть она съ

горъ.

Впослѣдствіи мнѣ случалось говорить съ нимъ о растительной пищѣ. Я возражалъ ему, какъ обыкновенно возражаютъ: устройствомъ зубовъ, большей потерей силъ на претвореніе растительнаго фибрина, указывалъ на меньшее развитіе мозга у травоядныхъ животныхъ. Онъ слушалъ кротко, не сердился, но стоялъ на своемъ. Въ заключеніе, онъ, видимо желая меня поразить, сказалъ мнѣ:

— «Знаете ли вы, что человѣкъ, всегда питающійся растительной пищей, до того очищаеть свое тѣло, что оно совсѣмъ не

пахнеть послѣ смерти?»

— Это очень пріятно, возразиль я ему, но мнѣ-то отъ этого какая же польза? я не буду нюхать самъ себя послѣ смерти.

Струве даже не улыбнулся, но сказалъ мнѣ съ спокойнымъ убѣжденіемъ:

— «Вы еще будете иначе говорить!»

— Когда выростетъ бугоръ почтительности, прибавилъ я.

Въ концѣ 1849 Струве прислалъ мнѣ свой, вновь изобрѣтенный для вольной Германіи, календарь. Дни, мѣсяцы, все было переведено на какое-то древне-германское и трудно понятное нарѣчіе; вмѣсто святыхъ, каждый день былъ посвященъ воспоминанію двухъ знаменитостей, напр. Вашингтону и Лафайету, но зато десятый назначался въ намять враговъ рода человѣческаго, напр. Меттерниха. Праздниками были тѣ дни, когда воспоминаніе падало на особенно великихъ людей, на Лютера, Колумба и пр. Въ этомъ календарѣ Струве галантно замѣнилъ 25 декабря, Рождество Христово, праздникомъ Амаліи!

Какъ-то, встрътившись со мной на улицъ, онъ, между прочимъ, сказалъ, что надобно было бы издавать въ Женевъ журналъ, общій всъмъ эмиграціямъ, на трехъ языкахъ, который могъ бы бороться противъ «семп бичей» и поддерживать «священный огонь» народовъ, раздавленныхъ теперь реакціей. Я ему отвѣчалъ, что, разумѣется, это было бы хорошо.

Изданіе журналовъ было тогда повальной болѣзнію: каждыя двѣ-три недѣли возникали проекты, являлись спесимены, разсылались программы, потомъ нумера два-три,—и все исчезало безслѣдно. Люди, ни на что неспособные, все еще считали себя способными на изданіе журнала, сколачивали сто-двѣсти франковъ и употребляли ихъ на первый и послѣдній листъ. Поэтому намѣреніе Струве меня нисколько не удивило; по удивило и очень его появленіе ко мнѣ на другое утро, часовъ въ семь. Я думаль, что случилось какое-нибудь несчастіе, но Струве, спокойно усѣвшись, вынулъ изъ кармана какую-то бумагу и, приготовляясь читать, сказаль:

— «Бюргеръ, такъ какъ мы вчера согласились съ вами въ необходимости издавать журналь, то я и пришелъ прочесть вамъ его программу».

Прочитавши, онъ объявиль, что пойдеть къ Маццини и многимъ другимъ и пригласить собраться для совъщанія у Гейнцена. Пошель и я къ Гейнцену. Онъ свиръпо сидъль на стулъ за столомъ, держа въ огромной ручищъ тетрадь, другую онъ протянулъ мнъ, густо пробормотавши: «Бюргеръ, плацъ!»

Человъть восемь нъщевъ и французовъ были налицо. Какой-то эксъ-народный представитель французскаго Законодательнаго собранія дѣлалъ смѣту расходовъ и писалъ что-то кривыми строчками. Когда вошелъ Маццини, Струве предложилъ прочесть программу, писанную Гейнценомъ. Гейнценъ прочестилъ голосъ и началъ читать по-нюмецки, несмотря на то, что общій всѣмъ языкъ былъ одинъ французскій.

Такъ какъ у нихъ не было тёни новой идеи, то программа была тысячной варіаціей тёхъ демократическихъ разглагольствованій, которыя составляють такую же риторику на революціонные тексты, какъ церковныя пропов'єди на библейскіе. Косвенно предупреждая обвиненіе въ соціализм'є, Гейпценъ говорилъ, что демократическая республика сама по себ'є уладить экономическій вопросъ къ общему удовольствію. Челов'єкъ, пе содрогнувнійся передъ требованіемъ двухъ милліоновъ головъ, боялся, что ихъ органъ сочтуть коммунистическимъ.

Я что-то возразить ему на это послѣ чтенія, но по его отрывистымъ отвѣтамъ, по вмѣшательству Струве и по жестамъ французскаго представителя, догадался, что мы были приглашены на совѣтъ, чтобъ принять программу Гейнцена и Струве, а совсѣмъ не для того, чтобъ ее обсуживать; это было, впрочемъ,

совершенно согласно съ теоріей Элиндифора Антіоховича Зурова, новгородскаго военнаго губернатора 1).

Мациин, хотя и печально слушаль, однако согласился, и чуть ли не первый подписаль на двъ-три акціи. Si omnes consentiunt, ego non dissentio, подумаль я à la Шуфтерле въ «Шиллеровскихъ Разбойникахъ», и тоже подписался.

Однакожъ акціонеровъ оказалось мало; какъ представитель ни считаль и ни прикидываль, подписанной суммы было недостаточно.

- Господа, сказалъ Мацини, я нашелъ средство побъдить это затрудненіе: издавайте сначала журналъ только по-французски и по-нъмецки, что же касается итальянскаго перевода, я буду помъщать всъ замичательныя статьи въ моей Italia del Popolo, вотъ вамъ одной третью расходовъ и меньше.
- Въ самомъ дѣлѣ! чего же лучте!—Предложене Маццини было принято всѣми. Онъ повеселѣлъ. Мнѣ было ужасно смѣшно, и смертельно хотѣлось показать ему, что я видѣлъ, какъ онъ передернулъ карту. Я подошелъ къ нему и, высмотрѣвъ минуту, когда никого не было возлѣ, сказалъ:
  - Вы славно отдёлались отъ журнала.
- Послушайте, замѣтиль онъ, вѣдь итальянская часть въ самомъ дѣлѣ лишняя.
- Такъ, какъ и двъ остальныя! добавилъ я. Улыбка скользнула по его лицу, и такъ быстро исчезла, какъ-будто ея и не было никогда.

Я туть видёлъ Маццини во второй разъ. Маццини, знавшій о моей римской жизни, хотёлъ со мной познакомиться. Однимъ утромъ мы отправились къ нему въ Паки съ Л. Спини.

Когда мы вошли, Мацини сидёлъ, пригорюнившись, за столомъ и слушалъ разсказъ довольно высокаго, стройнаго и прекраснаго собой молодого человѣка съ бѣлокурыми волосами. Это былъ отважный сподвижникъ Гарибальди, защитникъ Vaccelo, предводитель римскихъ легіонеровъ, Джакомо Медичи. Задумавшись и не обращая никакого вниманія на происходившее, сидѣлъ другой молодой человѣкъ, съ печально разсѣяпнымъ выраженіемъ; это былъ товарищъ Мацини по тріумвирату, Маркъ Аврелій Саффи.

Мацини всталъ и, глядя мнё прямо въ лицо своими проницательными глазами, протянуль дружески обё руки. Въ самой Италіи рёдко можно встрётить такую изящную въ своей серьезности, такую строгую античную голову. Минутами выраженіе его лица было жестко, сурово, но оно тотчасъ смягчалось и прояснялось. Дёятельная, сосредоточенная мысль сверкала въ

<sup>1) &</sup>quot;Былое и Думы". Т. II.

его печальныхъ глазахъ; въ нихъ и въ морщинахъ на лбу бездна воли и упрямства. Во всёхъ чертахъ были видны слёды долголётнихъ заботъ, неспаныхъ ночей, пройденныхъ бурь, сильныхъ страстей, или, лучше, одной сильной страсти, да еще

что-то фанатическое-можеть аскетическое.

Мащини очень прость, очень любезень въ обращеніи, но привычка властвовать видна, особенно въ спорѣ; онъ едва можеть скрыть досаду при противорѣчіи, а иногда и не скрываеть ее. Силу свою онъ знаеть и откровенно пренебрегаетъ всѣми наружными знаками диктаторіальной обстановки. Популярность его была тогда огромна. Въ своей маленькой комнаткѣ, съ вѣчной сигарой во рту, Маццини въ Женевѣ, какъ нѣкогда папа въ Авиньонѣ, сосредоточивалъ въ своей рукѣ нити исихическаго телеграфа, приводившія его въ живое сообщеніе со всѣмъ полуостровомъ. Онъ зналъ каждое біеніе сердца своей партіи, чувствовалъ малѣйшее сотрясеніе, немедленно отвѣчалъ на каждое, и давалъ общее направленіе всему и всѣмъ съ поразительною неутомимостью.

Фанатикъ и въ то же время организаторъ, онъ покрылъ Италію сътью тайныхъ обществъ, связанныхъ между собой и шедшихъ къ одной цъли. Общества эти вътвились неуловимыми артеріями, дробились, мельчали и исчезали въ Апеннинахъ и въ Альпахъ, въ царственныхъ раllazzi аристократовъ и въ темныхъ переулкахъ итальянскихъ городовъ, въ которые никакая полиція не можетъ проникнуть. Сельскіе попы, кондукторы дилижансовъ, ломбардскіе принчипе, контрабандисты, трактирщики, женщины, бандиты—все шло на дъло, всъ были звенья цъпи, примыкав-

шей къ нему и повиновавшейся ему.

Послѣдовательно, со временъ Менотти и братьевъ Бандьера, рядъ за рядомъ, выходятъ восторженные юноши, энергическіе илебен, энергическіе аристократы, иногда старые старики... и идутъ по указаніямъ Маципи, рукоположеннаго старцемъ Буонаротти, товарищемъ и другомъ Гракха Бабёфа, идутъ на неровный бой, пренебрегая цѣнями и плахой и примѣшивая иной разъ къ предсмертному крику: Viva l'Italia! Evviva Mazzini!

Такой революціонной организаціи никогда не бывало нигдъ, да и врядъ ли она возможна гдѣ-нибудь, кромѣ Италіи, развѣ въ Испаніи. Теперь она утратила прежнее единство и прежнюю силу, она истощилась десятилѣтнимъ мученичествомъ, она изошла кровью и истомой ожиданія, ея мысль состарѣлась, да и тутъ

еще какіе порывы, какіе приміры:

Піанори, Орсини, Пизакане!

Я не думаю, чтобъ смертью одного человъка можно было поднять страну изъ такого паденія, въ какомъ теперь Франція.

Я не оправдываю плана, вслёдствіе котораго Пизакане сдёлаль свою высадку, она мнё казалась такъ же не своевременна, какъ два предпослёдніе опыта вь Миланё; но рёчь не о томъ, я здёсь хочу только сказать о самомъ исполненіи. Люди эти подавляють величіемъ своей мрачной поэзіи, своей страшной силы и останавливають всякій судъ и всякое осужденіе. Я не знаю примёровъ большаго героизма ни у грековъ, ни у римлянъ, ни у мучениковъ христіанства и реформы!

Кучка энергическихъ людей приплываетъ къ несчастному неаполитанскому берегу, служа вызовомъ, примъромъ, живымъ свидътельствомъ, что еще не все умерло въ народъ. Вождь молодой, прекрасный, падаетъ первый съ знаменемъ въ рукъ, а за нимъ надаютъ остальные, или, хуже, попадаютъ въ когти Бурбона.

Смерть Пизакане и смерть Орсипи были два страшныхъ громовыхъ удара въ душную ночь. Романская Европа вздрогнула,— дикій вепрь, испуганный, отступилъ въ Казерту и спрятался въ своей берлогѣ. Блѣдный отъ ужаса, траурный кучеръ, мчащій Францію на кладбище, покачнулся на козлахъ.

Недаромъ высадка Пизакане такъ поэтически отозвалась въ

пародъ.

Sceser con l'armi, e a noi non fecer guerra, Ma s'inchinaron per bacciar la terra: Ad uno, ad uno li gardai nel viso, Tutti avean una lagrima e un sorriso, Li disser ladri, usciti dalle tane, Ma non portaron via nemmeno un pane; E li sentj mandare un solo grido: Siam venuti a morir per nostro lido— Eran trecento, eran giovani e forti:

E sono morti!

Con gli occhi azzuri, e coi capelli d'oro
Un giovin camminava innanzi a loro;
Mi feci ardita, e préso'l per la mano,
Gli chiesi: Dove vai bel capitano?
Guardommi e mi rispose—O mia sorella,
Vado a morir per la mia patria bella!
Io mi sentj tremarre tutto il core;
Né potei dirgli: V' aiuti il signore;
Eran trecento, eran giovani e forti:
E sono morti!

L. Mercantini, La Spigolatrice di Sapri 1)

<sup>1)</sup> Воть бъдный прозанчный переводь этихъ удивительныхъ строкъ, перешедшихъ въ народную легенду:

<sup>&</sup>quot;Они сошли съ оружіемъ въ рукахъ, но они не воевали съ нами; они бросились на землю и цъловали ее; я взглянула на каждаго изъ нихъ, на каждаго,—

Въ 1849 году Мацпин былъ властью, правительства не даромъ боялись его; звёзда его тогда была въ полномъ блескъ, но это былъ блескъ заката. Она еще долго продержалась бы на своемъ мъстъ, блъднъя мало-по-малу, но, послъ повторенныхъ неудачъ и натянутыхъ опытовъ, она стала быстро склоняться.

Одни изъ друзей Мацини сблизились съ Піемонтомъ, другіе съ Наполеономъ. Манииъ пошелъ своимъ революціоннымъ проселкомъ, составилъ расколы, федеральный характеръ итальян-

цевъ поднялъ голову.

Самъ Гарибальди, скръ́ия сердце, произнесъ строгій судъ надъ Маццини и, увлекаемый его врагами, далъ гласность письму, въ которомъ косвенно обвинялъ его.

Воть отъ этого Мацини посъдълъ, состарълся; отъ этого черта желчевой нетериимости, даже озлобленія, прибавилась въ его лиць, въ его взглядь. Но такіе люди не сдаются, не уступалоть: чыть хуже дыла ихь, тыть выше знамя. Мацини, теряя сегодня друзей, деньги, едва ускользая отъ цыпей и висылицы, становится завтра настойчивые и упорные, собпрасть новыя деньги, ищеть новых друзей, отказываеть себы во всемь, даже во сны и ищь, обдумываеть цылыя ночи новыя средства и, дыйствительно, всякій разъ создаеть ихь, бросается выбой и, снова разбитый, опять принимается за дыло, съ судорожной горячностью.

Въ этомъ непреклонномъ постоянствъ, въ этой въръ, идущей наперекоръ фактамъ, въ этой пеутомимой дъятельности, которую неудача только вызываетъ и подзадориваетъ, есть что-то великое и, если хотите, что-то безумное. Часто эта-то доля безумія и обусловливаетъ усиъхъ, она дъйствуетъ на нервы народа, увлекаетъ его. Великій человъкъ, дъйствующій непосредственно, долженъ быть великимъ маніакомъ, особенно еть такимъ восторженнымъ народомъ, какъ итальянцы, къ тому-же защищая религіозную мысль національности. Одии послъдствія могутъ показать, поте-

у всёхъ дрожала слеза на глазахъ и у всёхъ была улыбка. Намъ говорили, что это разбойники, вышедшіе изъ своихъ вертеповъ; по они инчего не взяли, ни даже куска хлѣба, и мы только слышали отъ нихъ одно восклицаніе: "Мы пришли умереть за пашъ край!"

<sup>&</sup>quot;Ихъ было триста, они были молоды и сильны... и всё погибли.

<sup>&</sup>quot;Передъ ними шелъ молодой, волотовласый вождь съ голубими глазами..., Я пріободрилась, взяла его за руку и спросила: "Куда идешь ты, прекрасный вождь?" Онъ посмотрълъ на меня и сказалъ: "Сестра моя, иду умирать за родину". И сильно заныло мое сердце, и я не въ силахъ была вымолвить: "Богъ тебъ въ помочь!"

<sup>&</sup>quot;Ихъ было триста; они были молоды и сильны... и всв погибли!"

И я зналь bel capitano, и не разъ бесёдоваль съ нимь о судьбахъ его печальной родины...

рялъ ли Мацини излишними и неудачными опытами магнитическую силу свою на итальянскія массы. Не разумъ, не логика ведетъ народы, а въра, любовь и ненависть.

Выходцы итальянскіе не были выше другихъ ни талантами, ни образованіемъ: большая часть ихъ даже ничего не знала, кромъ своихъ поэтовъ, кромъ своей исторіи; но они не имѣли ни битаго стереотипнаго чекана французскихъ строевыхъ демократовъ, которые разсуждаютъ, декламируютъ, восторгаются, чувствуютъ стадами одно и то же и одинакимъ образомъ выражаютъ свои чувства, ни того неотесаннаго, грубаго, харчевенно-бурсацкаго характера, которымъ отличались нѣмецкіе выходцы. Французскій дюжинный демократъ—буржуа ін spe, нѣмецкій революціонеръ, такъ-же, какъ нѣмецкій буршъ—тотъ же филистеръ, но въ другомъ періодѣ развитія. Итальянцы—самобытнѣе, индивидуальнюе.

Французы заготовляются тысячами по одному шаблону. Теперешнее правительство не создало, но только попяло тайну прекращенія личностей: оно, совершенно во французскомъ духѣ, устроило общественное воспитание, т. е. воспитание вообще, потому что домашняго воспитанія во Франціп ніть. Во всёхь городахь пмперіп преподають въ тоть же день и въ тоть же часъ, по тъмъ же книгамъ — одно и то же. На ветхъ экзаменахъ задаются одни и тъ же вопросы, одни и тъ же примъры, учителя, отклоняющеся отъ текста или мъняющіе программу, немедленно исключаются. Эта бездушная стертость воспитанія только привела въ обязательную, наслёдственную форму то, что прежде бродило въ умахъ. Это--формально-демократическій уровень, приложенный къ умственному развитію. Ничего подобнаго въ Италіи. Федералисть и художникъ по натуръ, итальянецъ съ ужасомъ бъжить отъ всего казарменнаго, однообразнаго, геометрически правильнаго. Франпузъ-природный солдать: онъ любить строй, команду, мундиръ, любить задать страху. Итальянець, если на то пошло, скорже бандить, чёмъ солдать, и этимъ я вовсе не хочу сказать что-нибудь дурное о немъ. Онъ предпочитаетъ, подвергаясь казни, убивать врага по собственному желанію, чёмъ убивать по приказу, но за то безъ всякой отвътственности постороннихъ. Онъ любитъ лучше скудно жить въ горахъ и скрывать контрабандистовъ, чъмъ открывать ихъ и почетно служить въ жандармахъ.

Образованный итальянецъ вырабатывался, какъ нашъ братъ, самъ собой, жизнію, страстями, книгами, которыя случались подърукой, и пробрался до такого или иного пониманія. Оттого у него и у насъ есть пробълы, неспътости. Онъ и мы во многомъ уступаемъ спеціальной оконченности французовъ и теоретической учености нъмцевъ, но зато у насъ и у итальянцевъ ярче цвъта.

У насъ съ ними есть даже общіе недостатки. Итальянецъ

имбеть ту же наклонность къ лъни, какъ и мы, онъ не находитъ, что работа наслажденіе; онъ не любить ея тревогу, ея усталь, ея недосугь. Промышленность въ Италіи почти столько же отстала, какъ у насъ; у нихъ, какъ у насъ, лежатъ подъ ногами клады и они ихъ не выкапывають. Нравы въ Италіп не изм'єнплись новомъщанскимъ направлениемъ до такой степени, какъ во Франціи п Англіи.

Исторія итальянскаго м'єщанства совс'ємъ непохожа на развитіе буржуазін во Франціи п Англін. Богатые мѣщане, потомки del popolo grasso, не разъ счастливо сопериичали съ феодальной аристократіей, были властелинами городовъ, и оттого они стали не дальше, а ближе къ плебею и контадину, чъмъ наскоро обогатъвшая чернь другихъ странъ. Мъщанство, въ французскомъ смыслъ, собственно представляется въ Италіи особой средой, образовавшейся со времени первой революціп, и которую можно назвать, какъ это дълается въ геологіп, піемонтскимъ слоемъ. Онъ отличается въ Италіп, такъ-же, какъ во всемъ материкъ Европы, тымъ, что во многихъ вопросахъ постоянно либераленъ и во встах боится народа и слишкомъ нескромныхъ толковъ о трудъ и заплатъ; да еще тъмъ, что онъ всегда уступаетъ врагамъ

сверху, не уступая никогда своимъ снизу.

Личности, составлявшія итальянскую эмпграцію, были выхвачены изъ всевозможныхъ слоевъ общества. Чего и чего не паходилось около Маццини, между старыми именами изъ лѣтописей Гвичардини и Муратори, къ которымъ народное ухо привыкло въками, какъ Литты, Боромен, Дель-Верме, Белжоіозо, Нани, Висконти, и какимъ-нибудь полудикимъ ускокомъ Ромео изъ Абруцъ, съ его темнымъ, до оливковато цвъта, лицомъ и неукротимой отвагой! Тутъ были и духовные, какъ Спртори — попъ-герой, который, при первомъ выстръть въ Венеціп, подвязалъ свою сутану, и все время осады и защиты Маргеры, съ ружьемъ въ рукъ, дрался подъ градомъ пуль, въ передовыхъ рядахъ; тутъ былъ п блестящій военный штабъ неаполитанскихъ офицеровъ, какъ Пизакане, Козенцъ и братья Меццоканна; туть были и трастеверинскіе плебен, закаленные въ върности и лишеніяхъ, суровые, угрюмые, нѣмые въ бѣдѣ, скромные и несокрушимые, какъ Ніанори, и рядомъ съ ними тосканцы, изнъженные даже въ произношенія, но также готовые на борьбу. Наконець, туть были Гарпбальди, цёликомъ взятый изъ Корнелія Непота, съ простотой ребенка, съ отвагой льва, и Феличе Орсини, голова котораго такъ недавно скатилась со ступеней эшафота.

Но, назвавъ ихъ, нельзя не пріостановиться.

Съ Гарибальди я собственно познакомился въ 1854 г., когда онъ приплылъ изъ Южной Америки капптаномъ корабля и сталъ въ Вестъ-Индскихъ докахъ; я отправился къ нему съ однимъ изъ его товарищей по римской войнъ и съ Орсини. Гарибальди, въ толстомъ свётломъ нальто, съ ярко-цвётнымъ шарфомъ на шев и фуражкой на головъ, казался мнъ больше истымъ морякомъ, чти тимъ славнымъ предводителемъ римскаго ополченія, статуэтки котораго въ фантастическомъ костюмъ продавались во всемъ свъть. Добродушная простота его обращенія, отсутствіе всякой претензіп, радушіе, съ которымъ онъ принималь, располагали въ его пользу. Экинажъ его почти весь состоялъ изъ итальянцевъ, онъ былъ глава и власть, и, я увъренъ, власть строгая, но вет весело и съ любовью смотртли на него; они гордились своимъ капитаномъ. Гарибальди угощалъ насъ завтракомъ въ своей каютъ, особенно приготовленными устрицами изъ Южной Америки, сушеными илодами, нортвейномъ, — вдругъ онъ вскочилъ, говоря: «Постойте! съ вами мы выпьемъ другого вина», и побъжаль наверхъ; вслъдъ за тъмъ матросъ принесъ какую-то бутылку; Гарибальди посмотрёль на нее съ улыбкой и налилъ намъ по рюмкъ... Чего нельзя было ожидать отъ человъка, пріъхавшаго изъ-за океана? Это быль просто на просто белетъ изъ его родины Ниццы, который онъ привезъ съ собой въ Лондонъ изъ Америки.

Между тых въ простыхъ и безцеремонныхъ разговорахъ его мало-по-малу становилось чувствительно присутствіе силы; безъ фразъ, безъ общихъ мъстъ, народный вождь, удивлявшій своей храбростью старыхъ солдатъ, обличался, и въ капитанъ корабля легко уже было узнать того уязвленнаго льва, который, огрызаясь на каждомъ шагу, отступилъ послъ взятія Рима и, растерявъ своихъ сподвижниковъ, снова сзывалъ въ Санъ-Марино, въ Равенъ, въ Ломбардіи, въ Тиролъ, въ Тесино солдатъ, мужиковъ, бандитовъ, кого попало, чтобъ только снова ударить на врага, и это возлъ тъла своей подруги, не вынесшей всъхъ трудностей и ли-

шеній похода.

Мнѣнія его въ 1854 году уже значительно расходились съ Маццини, хотя онъ и былъ съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ. Онъ при мнѣ говорилъ ему, что Піемонтъ дразнить не надобно, что главная цѣль теперь освободиться отъ австрійскаго ига, и очень сомнѣвался, чтобъ Италія такъ была готова къ единству и республикѣ, какъ думалъ Маццини. Онъ былъ совершенно противъ всѣхъ попытокъ и опытовъ возстанія.

Когда онъ отплывалъ за углемъ въ Ньюкестль на Тейнѣ и оттуда отправлялся въ Средиземное море, я сказалъ ему, что мнѣ ужасно нравится его морская жизнь, что онъ изъ всѣхъ эмигрантовъ избралъ благую часть.

<sup>—«</sup>А кто имъ не велитъ сдълать то же», возразилъ онъ съ жа-

ромъ. «Это была моя любимая мечта, смъйтесь надъ ней, если хотите, но я и теперь ее люблю. Меня въ Америкъ знаютъ; я могъ бы имъть подъ моимъ начальствомъ—три, четыре такихъ корабля. На нихъ я взялъ бы всю эмиграцію: матросы, лейтенанты, работники, повара, все были бы эмигранты. Что теперь дълать въ Европъ? Привыкать къ рабству, измънять себъ или въ Англіи ходить по міру. Поселиться въ Америкъ еще хуже: это конецъ, это страна «забвенія родины», это новое отечество, тамъ другіе интересы, все другое; люди, остающіеся въ Америкъ, выпадаютъ изъ рядовъ. Что же лучше моей мысли (и лицо его просвътлъло), что же лучше, какъ собраться въ кучку около нъсколькихъ мачтъ и носиться по океану, закаляя себя въ суровой жизни моряковъ, въ борьбъ съ стихіями, съ опасностью. Пловучая революція, готовая пристать къ тому или другому берегу, независимая и недосятаемая!»

Въ эту минуту онъ мий казался какимъ-то классическимъ героемъ, лицомъ изъ Энеиды, о которомъ—живи онъ въ иной въкъ—сложилась бы своя легенда, свое Arma virumque cano!

Орсини былъ совствъ другого рода человътъ. Дикую силу и страшную энергію свою онъ доказалъ 14 января 1858 года, въ гие Lepelletier; онт пріобръли ему имя и положили его тридцати-шестильтиюю голову подъ ножъ гильотины. Я познакомился съ Орсини въ Ниццъ, въ 1851 году; временами мы были даже очень близки, потомъ расходились, снова сближались, наконецъ, какаято страя кошка пробъжала между нами въ 1856 году, и мы хотя примирились, но уже не по-прежнему смотръли другъ на друга.

Такія личности, какъ Орсини, развиваются только въ Италіи. зато въ ней онъ развиваются во всъ времена, во всъ эпохи: заговорщики-художники, мученики и искатели приключеній, патріоты и кондотьеры, Теверино и Ріензи, все, что хотите-только не пошлые будничные мѣщане. Такія личности ярко вырѣзываются въ льтописяхъ каждаго птальянскаго города. Онв дивятъ добромъ, дивять зломъ, поражають силой страстей, силой воли. Безпокойная закваска бродить въ нихъ съ раннихъ льтъ, имъ надобна опасность, надобенъ блескъ, лавры, похвалы; это натуры чисто южныя, съ острой кровью въ жилахъ, съ страстями, почти непонятными для насъ, готовыя на всякое лишеніе, на всякую жертву. изъ своего рода жажды наслажденія. Самоотверженіе, преданность идуть у нихъ вмісті съ метительностью и нетериимостью; оні просты во многомъ и лукавы во многомъ. Неразборчивые на средства, они неразборчивы и на опасности, потомки римскихъ «отцовъ отечества», и дъти во Христъ отцовъ језунтовъ, восинтанные на классическихъ воспоминаніяхъ и на преданіяхъ средневъювыхъ смутъ, у нихъ въ душъ бродить бездна античныхъ

добродътелей и католическихъ пороковъ. Они не дорожать своею жизнію, но не дорожатъ также и жизнію ближняго; страшная настойчивость ихъ равняется англосаксонскому упрямству. Съ одной стороны, напвная любовь къ внѣшнему, самолюбіе, доходящее до тщеславія, до сладострастнаго желанія упиться властью, рукоплесканіями, славой; съ другой—весь римскій героизмъ лишеній и смерти.

Людей этой энергіп останавливать можно только гильотиной; а то, едва спасшись отъ сардинскихъ жандармовъ, они дѣлаютъ заговоры въ самыхъ когтяхъ австрійскаго коршуна и, на другой день послѣ чудеснаго спасенія изъ казематъ Мантуи, рукой, еще помятой отъ прыжка, начинаютъ чертить проектъ гранатъ, потомъ, лицомъ къ лицу съ опасностью,—бросаютъ ихъ подъ кареты. Въ самой неудачѣ они растутъ до колоссальныхъ размѣровъ и своею смертью наносятъ ударъ, стоящій осколка гранаты...

Орсини молодымъ человѣкомъ поналъ въ руки тайной полиціи Григорія XIV: онъ былъ судимъ за участіе въ романскомъ движеніи и, осужденный на галеры, просидѣлъ въ тюрьмѣ до аминстіи Пія IX. Огромное знаніе народнаго духа и желѣзный закалъ характера вынесъ онъ изъ этой жизни съ контрабандистами, съ bravi, съ остатками карбонаровъ. Отъ этихъ людей, находившихся въ постоянной, ежедневной борьбѣ съ обществомъ, давившимъ ихъ, научился онъ искусству владѣть собой, искусству молчать, не только передъ судомъ, но и съ друзьями.

Люди въ родъ Орсини спльно дъйствуютъ на другихъ, они нравятся своей замкнутой личностью, и между тъмъ съ ними не по себъ: на нихъ смотришь съ тъмъ нервнымъ наслажденемъ, перемъщаннымъ съ трепетомъ, съ которымъ мы любуемся граціознымъ движеніямъ и бархатнымъ прыжкамъ барса. Они дъти, но дъти злые. Не только Дантовъ адъ «вымощенъ» ими, но ими полны всъ слъдующе въка, вырощенные на грозной поэзіи его и на озлобленной мудрости Маккіавелли. Маццини также принадлежитъ къ ихъ семъъ, какъ Козимо Медичи, Орсини, какъ Поаннъ Прочида. Изъ нихъ даже нельзя исключить ни великаго «пскателя морскихъ приключеній», Колумба, ин величайшаго «бандита» новъйшихъ въковъ, Наполеона Бонапарта.

Орсини былъ поразительно хорошъ собой: вся наружность его, стройная и граціозная, невольно обращала на него вниманіе; онъ былъ тихъ, мало говорилъ, размахивалъ руками меньше, чёмъ его соотечественники, и никогда не подымалъ голоса. Длинная, черная борода (какъ онъ носилъ ее въ Италіи) придавала ему видъ какого-то молодого этрурійскаго жреца. Вся голова его была необыкновенно краспва и развѣ только нѣсколько попорчена неправильной линіей носа. И при всемъ этомъ въ чертахъ Орсини,

въ его глазахъ, въ его частой улыбкъ, въ его кроткомъ голосъ было что-то останавливавшее близость. Видно было, что онъ держить себя на уздъ, никогда вполнъ не отдается и удивительно владъеть собой; видно было, что съ этихъ улыбающихся губъ не пало ни одного слова безъ его воли, что за этими внутрь сверкающими глазами какія-то пропасти, что тамъ, гдѣ нашъ братъ призадумается и отшарахнется, онъ улыбнется, не перем'внится въ лицъ, не повыситъ голоса и-пойдетъ далъе безъ раскаянія и сомижнія.

Весною 1852 года Орсини ждалъ очень важной въсти по семейнымъ дъламъ; его мучило, что онъ не получалъ письма, онъ мнъ говорилъ это много разъ, и я зналъ, въ какой тревогъ онъ жилъ. Разъ, во время объда, при двухъ-трехъ постороннихъ, вошель почталіонъ въ переднюю; Орсини вельлъ спросить, нъть ли письма къ нему; оказалось, что какое-то письмо дъйствительно было къ нему, онъ взглянулъ на него, положилъ въ карманъ и продолжалъ разговоръ. Часа черезъ полтора, когда мы остались втроемъ, Орсини намъ сказалъ: «Ну, слава Богу, наконецъ-то получилъ я отвътъ, все очень хорошо.» Мы, знавшіе, что онъ ожидаетъ письма, не догадались, до того равнодушно онъ распечаталъ письмо и потомъ положилъ его въ карманъ; такой челов'вкъ родился заговорщикомъ. Онъ и былъ имъ всю жизнь.

И что же сдълаль онъ съ своей энергіей, Гарибальди съ своей отвагой, Піанори съ своимъ револьверомъ, Пизакане п другіе мученики, кровь которыхъ еще не засохла? Отъ австрійцевъ Италію освободить развъ Піемонть; отъ неаполитанскаго Бурбона—толстый Мюрать, оба подъ покровительствомъ Бонапарта. O divina Comedia!—пли просто Comedia! въ томъ смыслѣ, какъ папа Кіарамонти говорилъ Наполеону въ Фонтенебло.

... Съ двумя лицами, о которыхъ я упомянулъ, говоря о первой встржчж съ Мацини, я внослждетвіи очень сблизился, осо-

бенно съ Саффи.

Медичи—ломбардъ. Въ начальной юности, томимый безнадежнымъ положеніемъ Италіп, онъ уфхалъ въ Испанію, потомъ въ Монтевидео, въ Мексику; онъ служилъ въ рядахъ кристиносовъ, былъ, кажется, капитаномъ и, наконецъ, возвратился на родину, послъ избранія Мастая Феррети. Италія оживала, Медичи бросился въ движеніе. Начальствуя римскими легіонерами во время осады, онъ надълалъ чудеса храбрости; но французскіе орды все-таки вошли въ Римъ по трупамъ многихъ благородныхъ жертвъ-по трупу Лавирона, который, какъ бы въ искупленіе своему народу, дрался противъ него п налъ, сраженный французской пулей въ воротахъ Рима.

Трибунъ-воинъ Медичи долженъ рисоваться въ воображеніи кондотьеромъ, загоръвшимъ отъ пороха и отъ тропическаго солнца, съ ръзкими чертами, съ отрывистой, громкой ръчью, съ энергической мимикой. Блъдный, бълокурый, съ нъжными чертами, съ глазами, исполненными кротости, съ изящными манерами, Медичи скоръе походилъ на человъка, проводившаго всю жизнь въ дамскомъ обществъ, чъмъ на герильяса и агитатора; поэтъ, мечтатель, тогда страстно влюбленный, —въ немъ все было

изящно и нравилось.

Нъсколько недъль, проведенныхъ съ нимъ въ Генув, сдълали мнт большое добро; это было въ самое черное для меня время, въ 1852 г., мъсяца полтора послъ похоронъ; я быль сбить съ толку: въхи, знаки фарватера были потеряны, не знаю, былъ ли я похожъ и тогда на поврежденнаго, какъ замътилъ Орсини въ своихъ запискахъ, но миъ было скверно. Медичи жалътъ меня; онъ этого не говорилъ, но вечеромъ поздно, часовъ въ двѣнадцать, онъ стучалъ пной разъ ко мий въ дверь и приходилъ поболтать, садясь на мою постель (мы разъ, бесъдуя съ нимъ такимъ образомъ, поймали на одъялъ скориюна). Онъ стучалъ иной разъ и въ седьмомъ часу утра, говоря: «на дворъ прелесть, пойдемте въ Альбаро», — тамъ жила красавица испанка, которую онъ любилъ. Онъ не надъялся на скорую перемъну обстоятельствъ, впереди виднёлись годы изгнанія, все становилось хуже, туските, но въ немъ было что-то молодое, веселое, иногда наивное; я это замъчалъ почти у всъхъ натуръ этого закала.

Въ день моего отъ взда пришли ко мн объдать н всколько

близкихъ людей, Пизакане, Мордини, Козенцъ...

— Отчего, сказалъ я шутя, нашъ другъ Медичи, съ своими бълокурыми волосами и съвернымъ, аристократическимъ лицомъ, напоминаетъ мнъ скоръе какихъ-то вандиковскихъ рыцарей, чъмъ итальянца?

— Это натурально, прибавиль, продолжая шутить, Пизакане: Джакомо—ломбардъ, онъ потомокъ какого-нибудь рыцаря».

— Fratelli,—сказалъ Медичи,—нѣмецкой крови въ этихъ жилахъ нѣтъ ни каили, ни одной каили!

— Хорошо вамъ толковать; нѣтъ, вы приведите доказательство, объясните намъ, отчего у васъ сѣверныя черты, продолжалъ тотъ.

— Извольте, сказалъ Медичи, если у меня сѣверныя черты, то вѣрно какая-нибудь изъ моихъ прабабушекъ забылась съ какимъ-нибудь полякомъ!

Чище и проще Саффи я не встрѣчалъ натуры между не-русскими. Западные люди часто бываютъ недальніе, и оттого кажутся простыми, недогадливыми; но талантливыя натуры рѣдко бывають просты. У нёмцевь встрёчается противная простота практическихъ недорослей; у англичанъ—простота отъ нерасторопности ума, оттого, что они все какъ-будто съ просонья, не могутъ порядкомъ придти въ себя. Зато французы постоянно исполнены заднихъ мыслей, заняты своей ролью. Рядомъ съ отсутствіемъ простоты, у нихъ другой недостатокъ: всё они прескверные актеры и не умёютъ скрыть игры. Ломанье, хвастовство и привычка къ фразё до такой степени проникли въ кровь и плоть ихъ, что люди гибли, платили жизнію изъ-за актерства, и жертва ихъ все-таки была ломсь. Это страшныя вещи, многіе негодуютъ за высказываніе ихъ, но обманываться еще страшиёе.

Вотъ почему становится такъ отрадно, такъ легко дышать, когда на этомъ толкунѣ посредственностей съ притязаніями и талантовъ съ несноснымъ жеманствомъ и самохвальствомъ встрѣчается человѣкъ сильный, безъ малѣйшихъ румянъ, безъ притязаній, безъ самолюбія, кричащаго какъ ножъ по тарелкѣ. Точно изъ душнаго театральнаго коридора, освѣщеннаго лампами, выходишь на солнце, послѣ утренняго спектакля, и, вмѣсто картонныхъ магнолій и пальмъ изъ парусины, видишь настоящія лины и дышишь свѣжимъ, здоровымъ воздухомъ. Къ этого рода людямъ принадлежитъ Саффи. Маццини, старикъ Армеллини и онъ были тріумвирами во время Римской республики. Саффи завѣдывалъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ и, до конца борьбы съ французами, былъ на первомъ планѣ; а на первомъ планѣ значило тогда—подъ ядрами и пулями.

Онъ изъ своего изгнанія еще разъ переходилъ Апенцины: эту жертву принесъ онъ изъ благочестія, безъ віры, изъ чувства великой преданности, чтобъ не огорчить однихъ, чтобъ своимъ отсутствіемъ не послужить дурнымъ приміромъ. Онъ прожиль нъсколько недъль въ Болоныи, гдъ его въ 24 часа растръляли бы, если-бъ онъ попался: и задача его не состояла только въ томъ, чтобъ скрываться, ему надобно было дъйствовать, приготовлять движеніе, ожидая новостей изъ Милана. Я никогда отъ него не слышалъ объ особенностихъ этой жизни. Но я о ней слышаль, и очень много, отъ человъка, который могъ быть судьей въ дёлахъ отваги, и слышалъ въ то время, когда личныя отношенія ихъ сильно поколебались. Орсини его сопровождаль черезъ Апеннины: онъ разсказывалъ мнѣ съ восхищениемъ объ этомъ ровномъ, свътломъ покот, объ ясномъ, почти веселомъ расноложеніи Саффи въ то время, когда они пѣшкомъ спускались съ горъ; въ виду всякаго рода враговъ, Саффи беззаботно пѣлъ народныя ижсни и повторяль стихи Цанта...Я думаю, онъ и на плаху пошелъ бы съ тъми же стихами и съ тъми же пъснями, вовсе не думая о своемъ подвигъ.

Въ Лондонъ, у Маццини или у его друзей, Саффи большей частію молчаль, участвоваль ръдко въ спорахъ, иногда одушевлялся на минуту и опять утихаль. Его не понимали, это было для меня ясно, il ne savait pas se faire valoir... Но я ни отъ одного итальянца изъ тъхъ, которые отпадали отъ Маццини, не слыхаль ни одного, ни малъйшаго слова противъ (аффи.

Разъ, вечеромъ, зашелъ споръ между мной и Маццини о

Леопарди.

Есть пьесы Леопарди, которымъ я страстно сочувствую. У него, какъ у Байрона, много убито рефлексіей, но у него, какъ у Байрона, стихъ иногда ръжеть, дълаетъ боль, будитъ нашу внутреннюю скорбь. Такія слова, стихи есть у Лермонтова, есть они и въ нъкоторыхъ ямбахъ Барбье.

Леопарди была послъдняя книга, которую читала, перелисты-

вала передъ смертью Natalie...

Людямъ дѣятельности, агитаторамъ, двигателямъ массъ непонятны эти ядовитыя раздумья, эти сокрушительныя сомиѣнія. Они въ нихъ видятъ одну безилодную жалобу, одно слабое уныніе. Мацини не могъ сочувствовать Леопарди, это я впередъ зналъ; по онъ на него напалъ съ какимъ-то ожесточеніемъ. Мнѣ было очень досадно; разумѣется, онъ па него сердился за то, что онъ ему не годился на пропаганду. Такъ Фридрихъ II могъ сердиться... я не знаю... ну, напримъръ, зачъмъ онъ не годился въ драбанты. Это возмутительное стѣсненіе личности, подчиненіе ихъ категоріямъ, кадрамъ,—точно историческое развитіе—барщина, на которую сотскіе гонятъ, не спрашивая воли, слабаго и крѣикаго, желающаго и не желающаго.

Мацини сердился. Я, нолушутя и полусерьезно, сказалъ ему:

- Вы, мнъ кажется, пиъете зубъ на бъднаго Леопарди за то, что онъ не участвовалъ въ римской революціи, а, въдь, онъ имъетъ важную извинительную причину; вы все ее забываете!
  - Какую?
  - Да то, что онъ умеръ въ 1836 году.

Саффи не выдержаль и вступился за поэта, котораго онъ еще больше меня любиль и, разумъстся, еще живъе понималь: онъ разбираль его съ тъмъ эститеческимъ, художественнымъ чувствомъ, въ которомъ человъкъ больше обличаетъ извъстныя стороны своего духа, чъмъ думаетъ.

Изъ этого разговора и изъ нѣсколькихъ подобныхъ, я понялъ, что въ сущности имъ не одинъ путь. У одного мысль ищетъ средствъ, сосредоточена на нихъ однихъ,—это своего рода бѣгство отъ сомнѣній; она жаждетъ только дѣятельности прикладной,—это своего рода лѣнь. Другому дорога объективная истина, у него мысль работаетъ; сверхъ того, для художественной натуры искус-

ство дорого уже само по себъ, безъ его отношенія къ дъйствительности.

Оставивъ Маццини, мы еще долго толковали о Леопарди, онъ у меня былъ въ карманѣ; мы зашли въ кафе и еще прочли нѣ-

которыя изъ моихъ любимыхъ пьесъ.

Этого было достаточно. Когда люди сочувственно встръчаются въ исчезающихъ оттънкахъ, они могутъ молчать о многомъ,—очевидно, что они согласны въ яркихъ цвътахъ и въ густыхъ тъняхъ.

Говоря о Медичи, я упомянуль одно глубоко трагическое лицо—Лавирона; съ нимъ я недолго былъ знакомъ, онъ промелькнулъ мимо меня и псчезъ въ кровавомъ облакъ. Лавиронъ былъ кончившій курсъ политехникъ, инженеръ и архитекторъ. Я познакомился съ нимъ въ самый разгаръ революціи, между 24 февраля и 15 мая (онъ тогда былъ капитаномъ національной гвардіи), въ его жилахъ текла, безъ всякой примъси, энергическая, суровая, когда надобно, и добродушная, веселая галло-франкская кровь девяностыхъ годовъ. Я предполагаю, что таковъ былъ архитекторъ Клеберъ, когда онъ возилъ въ тачкъ землю съ молодымъ актеромъ Тальмой, расчищая мъсто для праздника феде-

раціп.

Лавиронъ принадлежалъ къ небольшому числу людей, не опьянъвшихъ 24 февраля отъ побъды, отъ провозглашенія республики. Онъ былъ на баррикадахъ, когда дрались, и въ Hôtel de Ville, когда не-дравшіеся выбирали диктаторовъ. Когда прибыло новое правительство, какъ Deus ex mechina, въ ратушу, онъ громко претестовалъ противъ его избиранія и, вийстй съ нисколькими энергическими людьми, спрашиваль, откуда оно взялось? почему оно правительство? Совершенно последовательно Лавиронъ 15 мая ворвался съ нарижскимъ народомъ въ мѣщанское собраніе и, съ обнаженной шпагой въ рукв, заставилъ президента допустить на трибуну народныхъ ораторовъ. Дёло было потеряно. Лавиронъ скрылся. Онъ былъ судимъ и осужденъ par contumace. Реакція приндия она чувствовала себя сильной для борьбы и вскорт сильной для побъды, туть ионьские дин, потомъ проскринции, ссылки, синій терроръ. Въ это самое время, однажды вечеромъ сидълъ я на бульваръ передъ Тортони, въ толпъ всякой всячины и, какъ въ Парижѣ всегда бываетъ, —въ умъренную и неумъренную монархію, въ республику и имперію-все это общество въ пересынку съ шийонами. Вдругъ подходить ко мит-не втрю глазамъ-Лавиронъ.

— Здравствуйте! говорить онъ.

— Что за сумасшествіе? отвѣчаю я вполголоса и, взявъ его подъ руку, отхожу отъ Тортони.

- Какъ же можно такъ подвергаться и особенно теперь?
- Если бы вы знали, что за скука сидъть въ заперти и прятаться, просто съ ума сойдешь... я думалъ, думалъ, да и пошелъ гулять.
  - Зачѣмъ же на бульваръ?
- Это ничего не значить. Здёсь меня меньше знають, чёмъ по ту сторону Сены, и комужъ придеть въ голову, что я стану прогуливаться мимо Тортони. Впрочемь я фду...
  - Куда?

— Въ Женеву, такъ тяжко и такъ все надобло; мы идемъ навстръчу страшнымъ несчастіямъ. Паденіе, паденіе, мелкость во всъхъ, во всемъ. Ну, прощайте, прощайте, и да будетъ наша

встрѣча повеселѣе.

Въ Женевъ Лавиронъ занимался архитектурой, что-то строилъ, вдругъ объявлена война «за папу» противъ Рима. Французы сдълали свою въроломную высадку въ Чивита-Веккіп и приближались въ Риму. Лавиронъ бросилъ циркуль и поскакалъ въ Римъ. «Надобно вамъ инжинера, артиллериста, солдата... Я французъ, я стыжусь за Францію и иду драться съ моили соотечественниками», говорилъ онъ тріумвирамъ, и пошелъ жертвой искупленія въ ряды римлянъ. Съ мрачной отвагой шелъ онъ впередъ, когда все было потеряно, онъ еще дрался и палъ въ воротахъ Рима, сраженный французскимъ ядромъ.

Французскія газеты похоронили его рядомъ ругательствъ, указывая судъ божій надъ преступнымъ измѣнникомъ отечества!

... Когда человъкъ, долго глядя на черныя кудри и черные глаза, вдругъ обращается къ бълокурой женщинъ съ свътлыми бровями, нервной и блъдной, взглядъ его всякій разъ удивляется и не можетъ сразу придти въ себя. Разница, о которой онъ не думалъ, которую забылъ, невольно, физически навязывается ему.

Точно то же дълается при быстромъ переходъ отъ птальянской

эмиграціи къ нѣмецкой.

Нѣмець теоретически развить, безъ сомнѣнія, больше, чѣмъ всѣ народы, но проку въ этомъ нѣтъ до сихъ поръ. Изъ католическаго фанатизма онъ перешелъ въ протестантскій піэтизмъ трансцендентальной философіи и поэтизмъ филологіи, а теперъ понсмногу перебирается въ положительную науку; онъ «во всѣхъ классахъ учится прилежно», и въ этомъ вся его исторія, на страшномъ судѣ ему сочтутъ баллы. Народъ Германіи, менѣе учившійся, много страдалъ; онъ купилъ право на протестантизмъ—Тридцатилѣтней войной, право на независимое существованіе, т. е. на блѣдное существованіе подъ надзоромъ Россіи,—борьбой съ Наполеономъ. Его освобожденіе въ 1814, 1815 г. было совершенътѣйшей реакціей, и когда на мѣсто Жерома Бонапарта явился

der Landesvater, въ пудреномъ парикѣ и залежавшемся мундирѣ стараго покроя, и объявилъ, что на другой день назначается, по порядку, положимъ, 45-й парадъ (сорокъ четвертый былъ до революціи),—тогда всѣмъ освобожденнымъ показалось, что они вдругъ потеряли современность и воротились къ другому времени, каждый шупалъ, не выросла ли у него коса съ бантомъ на затылкѣ. Народъ принималъ это съ простодушной глупостью и пѣлъ Кернеровы пѣсни. Науки шли впередъ. Греческія трагедіи давались въ Берлинѣ, драматическія торжества для Гёте въ Веймарѣ.

Самые радикальные люди между нѣмцами въ частной жизни остаются филистерами. Смѣлые въ логикъ, они освобождаютъ себя отъ практической послъдовательности и впадаютъ въ вопіющія противорѣчія. Германскій умъ въ революціи, какъ во всемъ, береть общую идею, разумѣется въ ея безусловномъ, т. е. недѣйствительномъ значеніи, и довольствуется идеальнымъ построеніемъ ся, воображая, что вещь сдѣлана, если она понята, и что фактъ такъ же легко кладется подъ мысль, какъ смыслъ факта переходитъ въ сознаніе.

Англичанинъ и французъ исполнены предразсудковъ, нъмецъ пхъ не имъетъ; но и тотъ, и другой въ своей жизни послъдовательнъе: то, чему они покоряются, можетъ быть и нелъпо, по признапо ими. Нъмецъ не признаетъ ничего, кромъ разума и логики, но покоряется многому изъ видовъ,—это кривленіе душой за взятки.

Франнузъ не своболенъ нравственно: богатый иниціативой въ дъятельности, онъ бъдень въ мышленіи. Онъ думаетъ принятыми понятіями, въ принятыхъ формахъ; онъ пошлымъ идеямъ даеть модный покрой и доволень этимь. Ему трудно дается новое, даромъ что онъ бросается на него. Французъ теснитъ свою семью и въритъ, что это его обязанность, такъ, какъ въритъ въ почетный легіонъ, въ приговоры суда. Нёмецъ ни во что не върить, но пользуется на выборъ общественными предразсудками. Онъ привыкъ къ мелкому довольству, къ Wohlbehagen, къ покою и, переходя изъ своего кабинета въ Prunkzimmer или спальню, жертвуеть халату, покою и кухий-свободную мысль свою. Нфмень большой сибарить, этого въ немъ не замѣчають, потому что его убогое раздолье и мелкая жизнь не казисты, но эскимосъ, который пожертвуеть всёмь для рыбьяго жира, такой же энпкуреець, какъ Лукулль. Къ тому же нѣмець, лимфатическій отъ природы, скоро тяжельеть и пускаеть тысячи корней въ извъстный образъ жизни; все, что можетъ его вывести изъ его привычки, ужасаеть его филистерскую натуру.

Вст нъмецкие революціонеры большіе космонолиты, sie haben überwunden den Standpunkt der Nationalität, п вст исполнены са-

маго раздражительнаго, самаго упорнаго натріотизма. Они готовы принять всемірную республику, стереть границы между государствами, но чтобъ Тріестъ и Данцигъ принадлежали Германіи. В'єнскіе студенты не побрезгали отправиться подъ начальство Радецкаго въ Ломбардію, они даже, подъ предводительствомъ какого-то профессора, взяли пушку, которую подарили Ин-

спруку.

При этомъ заносчивомъ и воинственномъ патріотизмѣ Германія, со времени первой революціи и поднесь, смотрить съ ужасомъ направо, съ ужасомъ налѣво. Тутъ Франція съ распущенными знаменами переходить Рейнъ, тамъ Россія переходить Нѣманъ, и народъ въ двадцать пять милліоновъ головъ чувствуеть себя круглой спротой, бранится отъ страха, ненавидитъ отъ страха, и теоретически, по источникамъ, доказываеть, чтобъ утѣшиться, что бытіе Франціи есть уже не бытіе, а бытіе Россіи не есть еще бытіе.

«Воинственный» конвенть, собиравшійся въ Павловской церкви во Франкфурть и состоявшій изъ добрыхь sehr ausgezeichneten in ihrem Fache профессоровь, лекарей, теологовь, фармацевтовь и филологовь, рукоплескаль австрійскимь солдатамъ въ Ломбардіи, тьсниль поляковь въ Познани. Самый вопросъ о Шлезвигь-Гольштейнъ (Stammverwandt!) браль за живое только съ точки зрънія «Тейтчтума». Первое свободное слово, сказанное, послъ въковь молчанія, представителями освобождающейся Германіи, было противь притьсненныхь, слабыхь народностей; эта неспособность къ свободъ, эти неловко обличаемыя поползновенія удержать неправое стяжаніе, вызывають пронію: человъкь прощаєть дерзкія притязанія только за энергическія дъйствія, а ихъ не было.

Революція 1848 года имѣла вездѣ характеръ опрометчивости, невыдержки, но не имѣла ни во Франціи, ни въ Италіи почти ничего смѣшного; въ Германіи, кромѣ Вѣны, она была исполнена комизма несравненно больше юмористическаго, чѣмъ комизмъ прегадкой гётевской комедіи «der Bürgergeneral».

Не было города, «пятна» въ Германіи, въ которомъ при возстаніи не являлась бы попытка «комитета общественнаго спасенія», со всёми главными дѣятелями, съ холоднымъ юношей Сенъ-Жюстомъ, съ мрачными террористами и военнымъ геніемъ, представлявшимъ Карно. Двухъ-трехъ Робеспьеровъ я лично зналъ, они надѣвали всегда чистую рубашку, мыли руки и чистили ногти; зато были и растрепанные Коло д'Эрбуа, а если въ клубѣ находился человѣкъ, любившій еще больше пиво, чѣмъ другіе, и волочившійся еще открытѣе за штубенмедхенами,—это былъ Дантонъ, eine schwelgende Natur!

Французскіе слабости и недостатки долею улетучиваются при ихъ легкомъ и быстромъ характерѣ. У нѣмца тѣ же недостатки получаютъ какое-то прочное и основательное развитіе и бросаются въ глаза. Надобно самому видѣть эти нѣмецкіе опыты, представить so einen burschikosen Kamin de Paris въ политикѣ, чтобы оцѣнить ихъ. Мнѣ они всегда напоминали рѣзвость коровы, когда это доброе и почтенное животнос, украшенное семейнымъ добродушіемъ, разыграется, завѣтреничаетъ на лугу и съ пресерьезной миной побрыкаетъ обѣими задними ногами или пробѣжитъ косымъ галономъ, погоняя себя хвостомъ.

Послъ дрезденскаго дъла я встрътилъ въ Женевъ одного изъ тамошнихъ агитаторовъ и началъ его тотчасъ распрашивать о Бакунинъ. Онъ его превозносилъ и сталъ разсказывать, какъ онъ самъ начальствовалъ баррикадой, подъ его распоряженіями. Воспламенившись своимъ разсказомъ, опъ продолжалъ: «Революція —гроза, туть нельзя слушать ни сердца, ни сообразоваться съ обыкновенной справедливостью... Надобно самому побывать въ этихъ обстоятельствахъ, чтобъ вполнѣ понять Гору 1794 г. Представьте себь, вдругъ мы замѣчаемъ глухое движеніе въ королевской партін, намфренно распускаются ложные слухи, показываются люди съ подозрительными лицами. Я подумалъ-подумалъ и ръшился терроризовать мою улицу:-- Männer! говорю я моему отряду, подъ опасеніемъ военнаго суда, который при осадномъ положеній можеть сейчаст лишить васт жизни въ случать ослушанія, приказываю вамъ, чтобъ всякій, безъ различія пола, возраста п званія, кто захотіль бы перейти баррикаду, быль захваченъ п, подъ строгимъ прикрытіемъ, приведенъ ко мнъ,-такъ продолжалось болье сутокъ. Если бюргеръ, котораго ко миж приводили былъ хорошій патріоть, я его пропускаль, но если это было подозрительное чицо, то я даваль знакъ стражѣ»...

- И, сказалъ я съ ужасомъ, и она?

— И она ихъ отводила домой, прибавилъ гордо и самодовольно террористъ.

Къ характеристикъ нъмецкихъ освободителей прибавлю еще

анекдотъ.

Исправлявний должность министра внутреннихъ дълъ, юноша, о которомъ я номянулъ, разсказывая о визитъ Густава Струве, написалъ мнѣ черезъ нѣсколько дней записку, въ которой просилъ найти ему какую-нибудь работу. Я предложилъ ему переписывать для печати рукопись Vom Andern Uter, писанную рукой Капа, которому я диктовалъ по-нѣмецки съ русскаго оригинала. Молодой человѣкъ принялъ предложеніе. Черезъ нѣсколько дней онъ сказалъ мнѣ, что онъ такъ дурно помѣщенъ съ разными фрейшерлерами, что у него нѣтъ ни мъста, ни ти-

пины, чтобъ заниматься, и просилъ позволение персинсывать въ комнатъ Капа. И тутъ работа не пошла. Министръ рег interim приходилъ въ одиннадцать часовъ утра, лежалъ на диванъ, курилъ сигары, пилъ пиво... и уходилъ вечеромъ на совъщания и собрания къ Струве. Капъ, деликатнъйший въ миръ человъкъ, стыдился за него; такъ прошло съ недълю. Капъ и я, мы молчали, но эксъ-министръ прервалъ молчание: онъ попросилъ у меня запиской сто франковъ впередъ за работу. Я написалъ ему, что онъ такъ медленно работаетъ, что такой суммы я ему впередъ дать не могу, а если ему очень нужны деньги, то посылаю двадцать франковъ, несмотря на то, что онъ не переписалъ еще и на десять.

Вечеромъ министръ явился на сходку къ Струве и донесъ о моемъ анти-цивическомъ поступкв и о злоупотреблении капиталомъ. Добрый министръ считалъ, что соціализмъ состоитъ не въ общественной организаціи, а въ безсмысленномъ ділежъ без-

смысленно полученнаго достоянія!

Несмотря на удивительный хаосъ, царившій въ головъ Струве, онъ, какъ честный человъкъ, разсудилъ, что я не совсъмъ виновать, и что, можеть, бургеру и брудеру лучше было бы переписывать больше, а денегь впередъ просить меньше. Онъ уговариваль его не дълать изъ исторіи шума.

— Ну, такъ я отошлю ему деньги—mit Verachtung, сказалъ

министръ.

- Что за вздоръ, закричалъ одинъ фрейшерлеръ. Если брудеръ и бюргеръ не хочетъ ихъ брать. то я предлагаю сейчасъ на всѣ послать за пивомъ и выпить на гибель der Besitzenden.
  - Согласны?

— Да, да, согласны, браво!

— Выпьемъ, кричалъ ораторъ, и дадимъ слово не кланяться русскому аристократу, который обидълъ брудера.

— Да, да, ненадобно кланяться.

Дъйствительно, пиво вышили и кланяться мит перестали.

Вст эти смъщные недостатки вмъсть съ особенной Plumpheit иъмцевъ, оскорбляютъ южную натуру итальянцевъ и возбуждаютъ въ нихъ зоологическую, народную ненависть. Всего хуже, что хорошая сторона нъмцевъ, т. е. сторона философскаго образованія, итальянцу равподушна или недоступна, а сторона пошлая, тяжелая постоянно колетъ глаза. Итальянецъ часто ведетъ самую пустую и праздную жизнь, но съ какимъ-то артистическимъ, граціознымъ ритмомъ, и именно потому онъ всего меньше можетъ вынести медвъжью шутку и фамильярное прикосновеніе жовіальнаго нѣмца.

Англо-германская порода гораздо грубъе франко-романской.

Съ этимъ дблать нечего, это ся физіологическій признакъ, сердиться на него смѣшно. Пора понять разъ навсегда, что разныя породы людей, какъ разныя породы звѣрей, имѣютъ разные характеры и не виноваты въ этомъ. Никто не сердится на быка за то, что онъ не имѣетъ ни красоты лошади, ни быстроты оленя, никто не упрекаетъ лошадь за то, что ся филейныя мяса не такъ вкусны, какъ у быка; все, чего мы можемъ требовать отъ нихъ, во имя животнаго братства, это чтобъ они мирно паслись на одномъ и томъ-же полѣ, не бодаясь и не лягаясь. Въ природъ все достигаетъ посильно, чего можетъ, складывается, какъ случится, и потомъ принимаетъ родовое ріі; воспитаніе идетъ до извѣстной степени, исправляетъ одно, прививаетъ другое, но требовать отъ лошади бифштекса и отъ быковъ иноходи все-же нелѣпость.

Чтобъ наглазно понять разницу двухъ противоположныхъ традицій европейскихъ породъ, стоитъ взглянуть въ Парижѣ и въ Лондонѣ на уличныхъ мальчишекъ: я беру именно ихъ потому, что они неподдѣльны въ своей грубости.

Посмотрите, какъ парижскіе гамены сміются надъ какимънибудь англійскимъ чудакомъ, и какъ лондонскіе мальчишки издеваются надъ французомъ; въ этомъ маленькомъ примере рёзко высказываются два противоположные типа двухъ европейскихъ породъ. Парижскій гаменъ наглъ и привязчивъ, онъ можетъ быть несносенъ, но, во-первыхъ, онъ остеръ, его шалость ограничивается шутками, и онъ столько же смъшитъ, сколько сердить; во-вторыхъ, есть слова, отъ которыхъ онъ красифеть и сейчась отстаетъ, есть слова, которыхъ онъ инкогда не употребляеть, -- грубостью его остановить трудно, если же націенть подниметь палку, то я не отвъчаю за послъдствія. Еще надобно замітить, что французских мальчиковь нужно чімь-нибудь поразить: краснымъ жилетомъ съ синими полосками, киринчнымъ полуфракомъ, необычайнымъ кашне, лакеемъ, который несетъ попугая, собаку, вещами, дёлаемыми одицми англичанами и, заматьте, только вна Англіп. Быть просто иностранцемъ не достаточно, чтобъ обратить гоненіе пли сміхъ.

Острота лондонских мальчишекъ проще, она начинается съ ржанія при видѣ иностранца ¹), лишь бы онъ имѣтъ усы, бороду или шляну съ широкими полями; потомъ они кричатъ разъ двадцать: french pig! french dog! Если иностранецъ обратится къ нимъ съ какимъ-нибудь отвѣтомъ, ржаніе и блеяніе удвонваются: если онъ идетъ прочь, мальчишки бѣгутъ за нимъ,—тогда остается ultima ratio поднять палку, а иногда и опустить ее на

<sup>1)</sup> Все это очень перемъщилось послъ Крымской войны (1866).

нерваго попавшагося. Послё этого мальчишки бёгуть, сломя голову, прочь, осыпая ругательствами, а иной разъ пуская издали грязью или камнемъ.

Во Франціи взрослый работникъ, сидълецъ или торговка никогда не участвуютъ съ gamins въ ихъ продълкахъ противъ иностранца; въ Лондонъ, всъ грязныя бабы, всъ взрослые сидъльцы хрюкаютъ и помогаютъ мальчишкамъ.

Во Франціи есть щитъ, который тотчасъ останавливаетъ самаго задорнаго мальчика,—это бѣдность. Страна, которая не знаетъ слова болѣе оскорбительнаго, какъ слово beggar, тѣмъ больше преслѣдуетъ иностранца, чѣмъ онъ беззащитнѣе и бѣднѣе.

Одинъ итальянскій рефюжье, бывшій прежде офицеромъ въ австрійской кавалеріи и, безъ всякихъ средствъ, оставившій отечество послѣ войны, ходилъ, когда пришла зимняя пора, въ военной офицерской шинели. Это производило такой фуроръ на рынкѣ, по которому онъ долженъ былъ проходить всякій день, что крики «кто вашъ портной?» хохотъ и, паконецъ, подергиваніе за воротникъ дошли до того, что итальянецъ бросилъ свою шинель и ходилъ, дрогнувъ до костей, въ одномъ сюртукѣ.

Эта грубость въ уличной шуткъ, этотъ недостатокъ деликатности, такта въ народъ, съ своей стороны, объясняеть, отчего женщинъ нигдъ не быотъ такъ часто и такъ больно, какъ въ Англіи 1), отчего отецъ готовъ безчестить дочь, мужъ—жену, юридически преслъдовать ихъ.

Уличныя грубости сильно оскорбляють сначала французовъ и итальянцевь. Нѣмецъ, напротивъ, принимаеть ихъ съ хохотомъ, отвѣчаетъ такимъ же ругательствомъ, перебранка продолжается, и онъ остается очень доволенъ. Обоимъ это кажется лю безностью, милой шуткой. «Bloody dog!» кричитъ ему, хрюкая, гордый британецъ.—«Стерва Джонъ Буль!» отвѣчаетъ нѣмецъ, и каждый пдетъ своей дорогой.

Это обращеніе не ограничивается улицей: стоить только посмотрѣть на полемику Маркса, Гейнцена, Руге et consorts, которая съ 1849 г. не переставала и теперь продолжается по ту сторону оксана. Глазъ нашъ не привыкъ видѣть въ печати такія выраженія, такія обвиненія: пичего не пощажено, ни личная честь, ни семейныя дѣла, ни повѣренныя тайны.

У англичанъ грубость пропадаеть, поднимаясь на высоту таланта или аристократическаго воспитанія; у німцевъ—никогда. Величайшіе поэты Германіи (за псключеніемъ Шпллера) впадають въ самую неотесанную вульгарность.

<sup>1) &</sup>quot;Таймсъ" какъ-то, года два тому назадъ, считалъ, что среднимъ числомъ въ каждой части Лондона (ихъ десятъ) ежегодно бываетъ до 200 процессовъ с побояхъ женщинъ и дътей. А сколько побоевъ проходитъ безъ процессовъ:

Одна изъ причинъ дурного тона нёмцевъ происходитъ отъ того, что въ Германіи вовсе не существуетъ воспитанія, въ нашемъ смыслів слова. Нёмцевъ учатъ и учатъ много, но совсёмъ не воспитываютъ, даже въ аристократіи, въ которой преобладаютъ казарменные, юнкерскіе нравы. У нихъ въ житейскихъ дёлахъ отсутствуетъ эстетическій органъ. Французы его утратили, точно такъ, какъ они утратили изящество своего языка; нынёшній французъ рёдко ум'єть написать письмо безъ конторскихъ или адвокатскихъ выраженій,—прилавокъ и казармы исказили ихъ нравы.

Въ заключение этого сравнения, я разскажу одинъ случай, въ которомъ я наглазно и лицемъ къ лицу видёлъ всю пронасть, дёлящую итальянцевъ отъ тедесковъ, и въ которую, сколько хочешь грузи амиистій и разглагольствованій о братствъ

народовъ, моста долго еще не составишь.

Отправляясь съ Тесье-дю-Моте въ 1852 году изъ Генуи въ Луга́но, мы прі вали почью въ Арону, спросили, когда идетъ пароходъ, узнали, что на другой день утромъ въ 8 часовъ, и легли спать. Въ половинъ восьмого портье пришелъ взять наши чемоданы, и, когда мы вышли на берегъ, они уже были на палубъ. Но, несмотря на то, вмъсто того, чтобъ идти на пароходъ, мы глядъли съ нъкоторымъ недоумъніемъ другъ другу въ глаза.

Надъ шинъвшимъ и покачивавшимся пароходомъ развъвался огромный бълый флагъ съ двуглавымъ орломъ, а на кормъ красовалась надпись: Fürst Radetzky. Мы забыли съ вечера спросить, какой нароходъ отходитъ: австрійскій или сардинскій. Тесье, по Версальскому суду, былъ осужденъ ін contumaciam на депортацію. Хотя Австрій до этого и не было дѣла, но какъ не воспользоваться случаемъ, ну, хоть за справками мѣсяцевъ шесть продержать въ тюрьмѣ. Примъръ Вакупина показывалъ, что они могутъ сдѣлать со мной. По договору съ Піемонтомъ, австрійцы не имъли права требовать наспортовъ у тѣхъ, которые, не высаживансь на ломбардскій берегъ, ѣхали въ Могадино, принадлежащій Швейцаріи,—но я думаю, что они не побрезгали бы, если-бъ можно было, такимъ простымъ средствомъ, чтобъ схватить Мацинни или Кошута.

— Что-же, сказаль Тесье, въдь, идти назадъ смѣшно!

- «Ну, такъ впередъ!» и мы пошли на палубу.

Когда канать быль взять, нассажировь окружили взводомь солдать съ ружьями. За чёмь?—не знаю; на нароход стояли двъ небольшія пушки, особымь образомь прикрыпенныя. Погда нароходь пошель, солдать распустили. Въ кають, на стыть, впежли правила: въ нихъ было подтверждено, что фдущіе не въ Ломбардію не обязаны предъявлять наспортовъ, но было добавлено, что если

кто-нибудь изъ этихъ лицъ сдёлаетъ какой-либо проступокъ противъ К. К. (kaiserlich-königlichen) полицейскихъ уставовъ, тотъ имъетъ быть судимъ по австрійскимъ законамъ. Ог done, носить калабрійскую шляпу или трехцвётную кокарду было уже австрійское преступленіе. Только тогда я вполнт оцтинилъ, въ какихъ мы когтяхъ. Однако я далекъ отъ того, чтобъ расканваться въ моей потадкт все время нашего пути ничего не произошло особаго, но я сдёлалъ богатый штудіумъ.

На палубѣ сидѣло нѣсколько птальянцевъ; мрачно, молча курили они сигары, съ затаенной ненавистью посматривая на суетившихся во всѣ стороны и безъ всякой нужды бѣлобрысыхъ и одѣтыхъ въ бѣлые сюртуки офицеровъ. Надобно замѣтить, что въ ихъ числѣ были мальчишки лѣтъ двадцати и вообще они были молодые люди; я теперь слышу дребезжащій, горловой, казарменный голосъ, наглый смѣхъ, похожій на кашель, и къ тому еще отвратительный австрійскій акцентъ въ нѣмецкомъ языкѣ. Повторяю, не было ничего ужаснаго, но я чувствовалъ, что за эту манеру стоять, повернувшись спиной возлѣ самаго носа, ломаться и ноказывать: «мы де побѣдители—наша взяла», слѣдовало бы ихъ всѣхъ бросить въ воду, и еще больше чувствовалъ я, что былъ бы радъ, если-бъ это случилось, и охотно помогъ бы.

Кто даль бы себѣ трудъ счетомъ инть минутъ посмотрѣть на тѣхъ и другихъ, тотъ непремѣнно понялъ-бы, что тутъ и рѣчи быть не можетъ о примиреніи, что въ крови у этихъ людей лежитъ ненависть другъ къ другу, которую распустить, смягчить, привесть къ безобидному племенному различію надобно вѣка

времени.

Послѣ полудня часть нассажировъ сошла въ каюту, другіе спросили себъ завтракъ на палубу. Туть физическая разница еще ръзче выразилась. Я смотръль съ удивленіемъ-ни одного общаго пріема. Итальянцы тли мало, съ той врожденной, натуральной граціей, съ которой они все д'влаютъ. Офицеры рвали куски, жевали вслухъ, бросали кости, толкали тарелки, одни, наклонясь къ самому столику, съ особенной ловкостью и необыкновенной скоростью плескали съ ложки супъ въ роть, другіе ъли съ ножа, безъ хлъба и безъ соли, масло. Я посмотрълъ на этихъ артистовъ и, глядя на итальянца, улыбнулся, —онъ тотчасъ поняль меня и, симпатически отвёчая мнё улыбкой, показаль полнъйшій видъ отвращенія. Еще замъчаніе: въ то время, какъ итальянцы съ улыбкой и мягкостью спрашивали тарелку, вина, каждый разъблагодаря головой или взглядомъ человёка, австрійцы обращались возмутительно съ прислугой, такъ, какъ русскіе отставные корнеты и прапорщики обращаются съ крвиостными при чужихъ.

Для закуски, молодой, долговязый, съ свётложелтыми волосами офицерикъ нозвалъ солдата лѣтъ интидесяти, поляка или кроата по лицу, и началъ его ругать за какую-то оплошность. Старикъ стоялъ, какъ слѣдуетъ, на вытяжкѣ и, когда офицеръ кончилъ, хотѣлъ было что-то ему сказать; но лишь только онъ произнесъ: «Ваше благородіе»,—«Молчать», закричалъ раздавленнымъ голосомъ свѣтложелтый, и «маршъ!» Потомъ, обращаясь къ товарищамъ, какъ ни въ чемъ не бывало, онъ принялся снова за пиво. Зачѣмъ же все это было дѣлать при насъ? Да уже не было ли это нарочно сдѣлано для насъ?

Когда мы вышли на землю, у Могадина, натерифвинеся сердце не выдержало, и мы, обернувшись къ пароходу, который еще стоялъ, прокричали: Viva la Republica!—а одинъ итальянецъ, качая головой, повторялъ: о, brutissimi, brutissimi!

Не рано-ли такъ опреметчиво толковать о солидарности народовь, о братствъ, и не будеть-ли всякое насильственное прикрытіе вражды однимъ лицемърнымъ перемиріемъ? Я върю, что національныя особенности настолько потеряють свой оскорбительный характеръ, насколько онъ теперь потерянъ въ образованномъ обществъ; но, въдь, для того, чтобъ это воспитаніе проникло во всю глубину народныхъ массъ, надобно много времени. Когда-же я посмотрю на Фокстонъ и Булонь, на Дувръ и Кале, тогда мнъ становится страшно и хочется сказать—много въковъ.

## ГЛАВА ХХХУІН.

Швейцарія.—Джемсъ Фази и Рефюжье.—Monte-Rosa.

Волненіе Европы еще такъ сильно качало въ 1849 г., что трудно было установить, живши въ Женевѣ, вниманіе на одной Швейцаріи. Къ тому же политическія партіп довольно похожи на правительство въ искусствѣ отводить глаза путешественнику. Попадая подъ ихъ вліяніе, онъ все видитъ, но видить не просто, а подъ извѣстнымъ угломъ; онъ не можетъ выйти изъ заколдованнаго круга. Его первое впечатлѣніе подтасовано, закуплено, не ему принадлежитъ. Пристрастный взглядъ партіп застаетъ его врасилохъ, неприготовленнаго, равнодушнаго, обезоруженнаго, такъ сказать, п, прежде чѣмъ онъ спохватится, дѣлается его взглядомъ.

Въ 1849 году я зналъ одну радикальную Швейцарію, ту, которая сдёлала демократическій перевороть, ту, которая въ 1847 году подавила Зондербундъ. Потомъ, окруженный больше и больше

выходцами, я д'єлилъ ихъ негодованіе на малодушное федеральное правительство и на жалкую роль, которую оно играло передъреакціонными сос'єдями.

Больше и лучше узналъ я Швейцарію въ слѣдующія поѣздки, и всего больше въ Лондонѣ. Въ томномъ досугѣ 53 и 54 годовъ я многому научился и на многое, изъ прошедшаго и видѣннаго

прежде, иначе взглянулъ.

Швейцарія прошла труднымъ пскусомъ. Между развалинами цѣлаго міра свободныхъ учрежденій, между обломками цпвилизацій, шедшихъ ко дну, перетирая другь друга, середь гибели всѣхъ человѣческихъ условій жизни, всѣхъ государственныхъ формъ въ пользу грубаго деспотизма, двѣ страны остались, какъ были. Одна за своимъ моремъ, другая за своими горами, обѣ средневѣковым республики, обѣ, прочно вросшія въ землю вѣковыми

нравами.

Но какая разница въ силъ и положении между Англіей и Швейцаріей! Если Швейцарія и представляетъ сама островъ за своими горами, то ея промежуточное положеніе и духъ народный обязывають ее, съ одной стороны, къ трудному лавированію, съ другой, къ сложному поведенію. Въ Англіи собственно народъ покоенъ, онъ вѣка на три отсталъ. Дѣятельная часть Англіи принадлежитъ извѣстной средѣ; большинство народа внѣ движенія; ее едва колеблетъ чартизмъ, и то исключительно между городскими работниками. Англія стоитъ въ сторонѣ, выбрасываетъ за океанъ горючія вещества, по мѣрѣ ихъ накопленія, и тамъ они торжественно взрастаютъ. Идеи не тѣснятся въ нее съ материка, а входятъ тихо, переложенныя на ея нравы и переведенныя на ея изыкъ.

Совсёмъ другое дёло въ Швейцаріп: въ ней нетъ касть, даже нётъ яркихъ предёловъ между горожанами и сельскими жителями. Патріархальные патриціи кантоновъ оказались несостоятельными при первомъ напорё демократическихъ идей. Черезъ Швейцарію идутъ взадъ п впередъ всё ученія, всё идеи, и всё оставляютъ слёды. Она говоритъ на трехъ языкахъ. Въ ней проповёдывалъ Кальвинъ, въ ней проповёдывалъ Кальвинъ, въ ней проповёдывалъ портной Вейтлингъ, въ ней смёялся Вольтеръ, въ ней родился Руссо. Страна эта, призванная вся, отъ пахаря и работника, къ самоуправленію, задавленная большими сосёдями, безъ постоянной арміи, безъ бюрократіи и диктатуры, является, послё бурь революціи и сатурналій реакцій, той-же вольной, республиканской конфедераціей, какъ и прежде.

Желательно было-бы знать, какъ консерваторы объясняють, что единственныя покойныя земли въ Евроит тъ, въ которыхъ личная свобода и свобода ръчи всего меньше стъснены. Въ то время, какъ Австрійская имперія, напр., поддерживается рядомъ

сопря d'états съ мошусомъ, гальваническихъ потрясеній и адми нистративныхъ революцій, а французскій тронъ держится однимъ терроромъ и уничтоженіемъ всякой законности,—въ Швейцаріи и Англіи сохраняются даже нелъпыя и устарълыя формы, сросшіяся съ ихъ свободой и твердыя подъ ся могучей сънью.

Поведеніе федеральнаго совъта въ отношеніи къ политическимъ выходцамъ, которыхъ они выбрасывали по первому требованію Австріи или Франціи, было позорно. Но отвътственность за него падаетъ исключительно на правительство; вопросы внъщней политики совсъмъ не такъ близки къ сердцу народа, какъ вопросы внутренніе. Въ сущности, всѣ народы занимаются только своими дълами, остальное составляетъ или дальнее желаніе, или просто риторическое упражненіе, иногда откровенное, но и тогда ръдко дъльное. Народъ, составившій себъ репутацію своимъ общечеловъческимъ участіемъ ко всѣмъ и всему, наименѣе знаетъ географію и всего больше зараженъ нестерпимо-раздражительнымъ патріотизмомъ. Къ тому-же, швейцарецъ самою природой не увлекается вдаль: онъ сведенъ горами на свою родную долину, какъ житель приморскій на свой берегъ, и, пока его не трогаютъ на ней, онъ молчитъ.

Право, присвоенное себѣ федеральнымъ правительствомъ, распоряжаться выходцами, вовсе не *швейцарское*, по немъ вопросъ объ эмигрантахъ—вопросъ кантональный. Швейцарскіе радикалы, увлекаемые французскими теоріями, старались усилить сводное правительство въ Бернѣ и сдѣлали большую ошибку. По счастію, попытки централизаціи, кромѣ тѣхъ случаевъ, гдѣ практическая польза ихъ очевидна, какъ въ устройствѣ почть, дорогъ, единства монетъ, вовсе не народны въ Швейцаріи. Централизація можетъ многое сдѣлать для порядка, для разныхъ общихъ предпріятій, по она несовмѣстна съ свободой, ею легко народы доходять до положенія хорошо береженаго стада, пли своры собакъ, ловко держимыхъ какимъ-нибудь доѣзжачимъ.

Оттого-то американцы и англичане столько-же ненавидять ее, сколько и швейцарцы.

Слабая числомъ, нецентрализованная Швейцарія—Гидра, Бріарей, ее не пришибешь однимъ ударомъ. Гдѣ ея голова? гдѣ ея сердце? Сверхъ того, безъ столицы нельзя себѣ представить короля. Король въ Швейцаріи такая-же нелѣпость, какъ табель о рангахъ въ Нью-Горкѣ. Горы, республика и федерализмъ восиптали, сохранили въ Швейцаріи сильный, мощный кряжъ людей, такъ-же рѣзко разграниченный, какъ ихъ почва—горами, и такъже соединенный ими, какъ она.

Надобно видѣть, какъ гдѣ-нибудь на федеральномъ тирѣ собираются стрѣлки разныхъ кантоновъ, съ своими знаменами, въ свопхъ костюмахъ и съ карабиномъ за плечами. Гордые своей особенностью и своимъ единствомъ, они, сходя съ родныхъ горъ, братскими кликами привътствуютъ другъ друга и федеральный стягъ (остающійся въ томъ городъ, гдъ былъ послъдній тиръ), нисколько не смъшиваясь.

Въ этихъ празднествахъ вольнаго народа, въ его военной забавъ, безъ пышной обстановки золотомъ шитой аристократіи, пестрой гвардіп — есть что-то торжественное и могучее. Вездѣ произносятся рѣчи, льется домашнее вино, раздаются крики, иѣсни, музыка, и всѣ чувствуютъ, что на ихъ илечахъ нѣтъ свинцовой

плиты, гнетущей власти...

Въ Женевъ, вскоръ послъ моего прівзда, давали объдъ ученикамъ всёхъ школъ передъ наступающими вакаціями. Джемсъ Фази (президентъ кантона) пригласилъ меня на этотъ пиръ. На полъ, въ Каружъ, былъ разбить большой шатеръ. Совъть и всъ кантональныя знаменитости были налицо и объдали вмъстъ съ дътьми. Часть гражданъ, состоявшихъ на очереди, была созвана въ мундирахъ и съ ружьями, для почетной стражи. Фази произнесъ ръчь, совершенно радикальную, поздравилъ получившихъ награды и предложиль тость: «за будущихъ гражданъ!» при громѣ музыки и пушечныхъ выстръпахъ. Послъ этого, дъти, по два въ рядъ, отправились за нимъ въ поле, гдъ были приготовлены разныя забавы, воздушные шары, акробаты и проч. Вооруженные граждане, т. е. отцы, дяди, старшіе братья учениковъ, составили шиалеры и, по мъръ того, какъ глава колонны проходила, они дълали на карауль... Да! на караулъ передъ сыновьями-мальчиками, передъ сиротами, воспитывающимися на счетъ кантона... Дъти были почетные гости города—его «будущіе граждане». Странно все это нашему брату, бывавшему на институтскихъ и иныхъ торжественныхъ актахъ.

Странно и то, что каждый работникь, каждый взрослый крестьянинь, половые въ трактирахъ и ихъ хозяева, жители горъ и жители болоть знають хорошо дѣла кантона, принимають въ нихъ участіс, принадлежать къ партіямъ. Языкъ ихъ, степень образованія очень мѣняются, и если женевскій работникъ напоминаеть иногда ліонскаго клубиста, въ то время какъ простой житель горъ похожъ еще до сихъ поръ на лица, окружающія шиллеровскаго Теля, то это нисколько не мѣшаетъ тому и другому горячо заниматься общественными дѣлами. Во Франціи идутъ по городамъ отпрыски и развѣтвленія политическихъ и соціальныхъ обществъ, члены ихъ занимаются революціоннымъ вопросомъ и по дорогѣ знаютъ кое-что изъ настоящаго управленія. Но за то стоящіе внѣ ассоціаціи, а въ особенности крестьяне, ничего не знаютъ и вовсе не интересуются ни дѣлами Франціи, ни дѣлами

департамента.

Наконецъ, и намъ, и французамъ бросается въ глаза отсутствіе всякихъ ризъ и облаченій, всей обстановки правительства. Президентъ кантона, президентъ федеральнаго собранія, статсъсекретари (т. е. министры), федеральные полковники ходятъ, какъ всё простые смертные, въ кафе, обёдаютъ за общимъ столомъ, разсуждаютъ о дёлахъ, спорятъ съ работниками, спорятъ при нихъ между собой, и все это запиваютъ вмёстё съ другими иворнскимъ виномъ да киршемъ.

Сначала нашего знакомства съ Джемсомъ Фази, эта демократическая простота поражала меня, и я только впослъдствіи, вглядываясь ближе, увидъль, что во всъхъ законныхъ случаяхъ правительство кантона вовсе не было слабо, несмотря на отсутствіе гардеробной важности, лампасовъ, плюмажей, щвейцаровъ съ булавой, вахмистровъ съ усами и прочихъ шалостей и ненужно-

стей mise en scène.

Осенью 1849 началось гоненіе выходцевъ, искавшихъ убфжища въ Швейцаріп; правительство было въ слабыхъ рукахъ доктринеровъ, федеральные министры потеряли голову. Застращенная конфедерація, отказавшая нікогда Людовику Филиппу въ высылкъ Людовика Наполеона, высылала теперь, по приказу послёдняго, людей, искавшихъ убёжища, и делала ту же любезность для Австріи и Пруссіп. Конечно, федеральное правительство имѣло пѣло не съ старымъ, толстымъ королемъ, не любившимъ крайнихъ мъръ, а съ людьми, у которыхъ на рукахъ еще не обсохла кровь, и которые были въ самомъ разгарф дикаго преспъдованія. Но чего же боялось федеральное собраніе? Если-бъ оно умѣло смотрѣть дальше своихъ горъ, тогда оно поняло бы, какую долю внутренняго страха покрывали нахальствами и угрозами сосъднія правительства. Ни одно изънихъ въ 1849 году не имкло достаточной осъдлости и нравственнаго сознанія своей силы, чтобъ начать войну. Стоило конфедераціи показать зубы, п они умолкли бы; доктринеры предпочли робкую уступчивость п начали медкое, неблагородное гоненіе людей, которымъ некуда было дъться.

Долго нъкоторые кантоны, и въ томъ числъ Женевскій, противодъйствовали Федеральному собранію, по, наконецъ, и Фазибыть увлеченъ, volens-nolens, въ преслъдованіе выходцевъ.

Положение его было очень непріятно. Переходъ человѣка изъ заговорщиковъ въ правительство, какъ бы онъ естественъ ни былъ, имѣетъ свои комическія и досадныя стороны. Въ сущности, надобно сказать, что не Фази перешелъ въ правительство, а правительство перешло къ Фази, тѣмъ не менѣе прежній консинраторъ не всегда ладилъ съ президентомъ кантона. Ему приходилось бить по своимъ или иногда явно не слушаться феде-

ральных приказовъ, принимать такія мітры, противъ которыхъ онъ літъ десять къ ряду ораторствовалъ. Онъ ділаль то и другое по капризу, и этимъ возбуждалъ противъ себя объ стороны.

Фази человѣкъ большой энергіп и большихъ государственныхъ талантовъ, но слишкомъ французъ, чтобы не любить крутыя мѣры, централизацію, власть. Онъ всю жизнь провель въ политической борьбѣ. Молодымъ человѣкомъ мы его встрѣчаемъ на парижскихъ баррикадахъ 1830 года, а потомъ въ Отель-де-Виль, въ числѣ той молодежи, которая, вопреки Лафайету и банкирамъ, требовала провозглашенія республики. Перье и Лафитъ нашли, что «лучшая республика»—герцогъ Орлеанскій; онъ сдѣлался королемъ, а Фази бросился въ крайнюю республиканскую оппозицію. Тутъ онъ дѣйствуетъ съ Годфруа Кавеньякомъ и Марастомъ, съ обществомъ Des droits de l'homme и съ карбонарами, замѣшивается въ Савойскую экспедицію Маццини, издаетъ журналъ, который на французскій манеръ задавили ценями...

Убъдившись, наконецъ, что во Франціи нечего дълать, онъ вспоминаеть свою родину и переносить всю свою энергію, всю пріобрътенную ловкость политическаго дъятеля, публициста и конспиратора на развитіе своихъ идей въ Женевскомъ кантонъ.

Онъ задумалъ радикальный переворотъ въ немъ и исполниль его. Женева возстала на свое старое правительство; пренія, нападки и отпоры перешли изъ камеръ и журналовъ на площадь, и Фази явился главою возмутившейся части города. Пока онъ распоряжался и устанавливалъ своихъ вооруженныхъ друзей, съдой старикъ смотрълъ изъ окна и, военный по профессіи, не могъ вытеритъ, чтобъ не дать совъта, какъ слъдуетъ поставитъ пушку или отрядъ. Фази послушался. Совътъ былъ дъльный,—но кто же этотъ военный? Графъ Остерманъ-Толстой, главно-командующій союзными арміями подъ Кульмомъ, утавшій изъ Россіи при воцареніи Николая и жившій потомъ почти всегда въ Женевъ.

Во время этого переворота Фази показалъ, что онъ вполнъ обладаетъ не только тактомъ и върностью взгляда, но и той дерзостью, которую Сенъ-Жюстъ считалъ необходимой для революціонера. Разбивши почти безъ кровопролитія консерваторовъ, онъ явился въ Большой совътъ и объявилъ ему, что онъ распущенъ. Члены хотъли арестовать его и съ негодованіемъ спрашивали: «Во имя кого онъ осмъливается такъ говорить?»

— «Во имя женевскаго народа, которому надобло дурное управленіе ваше, и который со мной»,—при этомъ Фази отдернулъ сукно въ дверяхъ Совѣта. Толпа вооруженныхъ людей наполнила залы, готовая, по первому слову Фази, опустить ружья и выстрѣлить. Старые «патриціи» и мирные кальвинисты смутились.—

«Ступайте вонъ, пока есть время»,—замѣтиль Фази, и они смиренно поплелись домой, а Фази сѣлъ за столъ и написалъ декреть или плебисцить, объявлявшій, что народъ женевскій, уничтомивъ прежнее правительство, собирается для новыхъ выборовь и для принятія новаго демократическаго уложенія, въ ожиданіи чего народъ ввѣряетъ исполнительную власть Джемеу Фази. Это 18 Брюмера въ пользу демократіи и народа. Хотя онъ и выбралъ самъ себя диктаторомъ, но выборъ безспорно былъ очень удаченъ.

Съ тъхъ поръ, т. е. съ 1846 года, онъ управляеть Женевой. Такъ какъ по конституціи президентъ избирается на два года и не можеть быть избранъ два раза къ ряду, то черезъ два года женевцы назначаютъ кого-нибудь изъ блъдныхъ поклонниковъ фази, и такимъ образомъ de facto онъ остается президентомъ къ великой горести консерваторовъ и піэтистовъ, постоянно остающихся въ меньшинствъ.

Фази показалъ новыя способности во время своего диктаторства. Администрація, финансы, все двинулось быстро впередъ; твердое проведеніе радпкальныхъ началъ привязало къ нему народъ. Фази явился такимъ же эпергическимъ организаторомъ, какимъ былъ разрушителемъ. Женева расцвѣла при немъ. Это миѣ говорили не одни друзья его, но люди совершенно посторонніе, между прочими и знаменитый побѣдитель подъ Кульмомъ, Остерманъ-Толстой.

Крутой и раздражительный, быстрый и безъ терпимости въ характеръ, Фази всегда имълъ въ себъ деспотически-республиканскія замашки; привыкнувъ къ власти,—деспотическое pli стало иной разъ брать верхъ; къ тому же событія и иден послѣ 1848 застали Фази врасилохъ, онъ былъ смущенъ съ одной стороны, обойденъ съ другой. Ну, вотъ она, эта республика, о которой онъ мечталъ съ Годфруа Кавеньякомъ и Арманъ Карелемъ... а что-то пеладно. Бывшій его товарищъ, Марастъ, президентъ національнаго собранія замічаеть ему, что онъ неосторожно отозвался о католицизм' «за завтракомъ, въ присутствій секретаря», и говорить, что религію надобно беречь, чтобы не разсердить поповъ; когда эксъ-редакторъ National'я въ президентскомъ дом' проходилъ изъ комнаты въ комнату, двое часовыхъ отдавали ему честь. Другой пріятель и протеже Фази пошелъ еще дальше: сдёнался самъ президентомъ республики, но онъ уже не хочеть знаться съ старымъ товарищемъ и пдетъ въ Наполеоны. «Республика въ опасности!»—а работники и передовые люди не занимаются ею, они все толкують о соціализмі. Такъ вотъ виноватый,--и Фази съ упрямствомъ и озлобленіемъ опрокинулся на соціализмъ. Это значило, что онъ достигъ своего предѣла, своего culminations punkt'a, какъ говорять нѣмцы, и пошелъ внизъ.

Онъ и Маццини, бывши соціалистами прежде соціализма, сдіблались его врагами, когда онъ сталъ переходить изъ общихъ стремленій въ новую революціонную силу. Много поломалъ н копій съ обоими и съ удивленіемъ увидіблъ, какъ мало можно взять логикой, когда человібкъ не хочетъ убібдиться. Если у того и у другого это была политика, уступка временной необходимости, то зачібмъ-же было горячиться, зачібмъ такъ хорошо играть свою роль, даже въ частной бесібдів? Ність, тутъ былъ какой-то зубіть на новое ученіе, сложившееся вню ихъ круга; тутъ была даже злоба къ имени. Я разъ предлагалъ фази называть соціализмъ въ нашихъ разговорахъ «Клеонатрой», чтобъ это слово не сердило его и не мішало своимъ звукомъ пониманію. Врошюры Маццини противъ соціализма впослібдствів принесли больше вреда знаменитому агитатору, чіть Радецкій,—но объ этомъ не здібсь.

Разъ, пришедши домой, я нашелъ записку Струве; онъ меня извъщалъ, что Фази изгоняетъ его и очень круто. Федеральное правительство давнымъ-давно предписало выслать Струве и Гейнцена; Фази ограничился тъмъ, что сообщилъ имъ это. Что-же

случилось новаго?

Фази не хотёлъ, чтобъ Струве издавалъ въ Женевѣ свой «Интернаціональный» журналь; онъ боялся и, можеть, былъ правъ, что они вдвоемъ съ Гейнценомъ напечатають такой опасный вздоръ, что снова навлекуть угрозы Франціи, вопль Пруссін и скрежеть зубовъ Австріи. Какъ практическій челов'єкъ могъ думать, что этотъ журналъ состоится, я не знаю; довольно того, что онъ предложилъ Струве отказаться отъ журнала или ъхать вонь изъ Женевы. Отказаться въ ту минуту, когда Струве фанатически мечталъ, что онъ своимъ журналомъ окончательно побьеть «семь бичей рода человъческаго», было выше силъ баденскаго революціонера. Тогда Фази послалъ къ нему квартальнаго съ приказомъ, чтобъ онъ сейчасъ оставилъ кантонъ. Струве сухо приняль полицейского и объявиль, что онъ еще не готовъ къ отъбзду. Фази обидбися за квартальнаго и велбиъ полиціи сбыть Струве съ рукъ. Войти въ домъ безъ судебнаго приговора было невозможно; мёра, принятая въ Бернё, была полицейская, а не судебная (то, что французы называютъ mesure de salut public). Полицейскій зналь это, но, желая услужить Фази и, въроятно, расплатиться за дурной пріемъ, приготовиль карету и съль съ товарищемъ гдъ-то подъ липой, неподалеку отъ дома

Струве, втайнѣ довольный вновь начинающейся эрой гоненій

и мученичества и впередъ увъренный, что важнаго ничего съ нимъ не сдълають, разослалъ всъмъ своимъ знакомымъ записки о случившемся. Въ ожиданіи ихъ пламеннаго участія и горячаго негодованія, онъ не вытериълъ, чтобъ не сходить къ другу Гейнцену, который, съ своей стороны, получилъ такую же любезную пидулку отъ Фази. Такъ какъ Гейнценъ жилъ недалеко, то Струве ganz gemüthlich отправился къ нему, одътый по-домашнему и въ туфляхъ. Лишь только онъ поровнялся съ липой, за которой прятался лукавый сынъ Кальвина, какъ тотъ переръзалъ ему дорогу и, показавъ приказъ федеральнаго совъта, требовалъ, чтобъ онъ слъдовалъ за нимъ. Убъдительность его приглашенія поддерживали два жандарма. Удивленный Струве, проклиная Фази и причисляя его къ числу «семи бичей», съль въ карету и покатился съ полицейскими въ Ваадскій кантонъ.

Со времени диктаторства Фази, еще ничего подобнаго не было въ Женевъ. Во всемь этомъ было что-то грубое, ненужное и даже шутовское. Кипя досадой, возвращался и домой часу въ двънадцатомъ вечера; у pont des Bergues и встрътилъ Фази, онъ весело

шелъ съ нъсколькими итальянскими выходцами.

— А, здравствуйте, что новаго? сказалъ онъ, увидавъ меня.

- Много, отвъчалъ я съ изысканной сухостью.

— Что же такое?

— Да вотъ, напримъръ, въ Женевъ, точно въ Парижъ, людей хватаютъ на улицъ, насильно увозять, il n'y a plus de sécu-

rité dans les rues,—я боюсь ходить...

— А, это вы говорите насчеть Струве... отвъчаль Фази, усибвшій разсердиться до того, что голось его сталь перерываться. Что-же прикажете дёлать съ этими взбалмошными людьми? Я, наконець, усталь, я покажу этимъ господамъ, что значить пренебрегать законами, явно не слушаться распоряженій федеральнаго совъта...

— Право, сказаль я, улыбаясь, которое вы предоставляете

одному себъ.

— Что же, мий изъ-за всякаго вырвавшагося изъ Бедлама подвергать опасности кантонъ, самого себя, и это при теперешнихъ обстоятельствахъ? Да мало еще, вийсто спасибо они грубятъ. Представьте себй, господа, я посылаю къ нему кампссара полиціи, а онъ только-что не вытолкаль его,—это изъ рукъ вонъ! Не понимаютъ, что чиновникъ (magistrat), приходящій во пмя закона, долженъ быть уважаемъ. Не правда-ли?

Товарищи Фази кивнули утвердительно головой.

— Я не согласенъ, сказалъ я ему, и совсѣмъ не вижу причины уважать человѣка за то, что онъ полицейскій, и за то, что онъ пришелъ объявлять какой-нибудь вздоръ, написанный Фуре-

ромъ пли Друэ въ Бернѣ. Можно быть не грубымъ, но для чего расточаться въ учтивостяхъ нередъ человѣкомъ, который является ко мнѣ какъ врагъ, да еще какъ врагъ, поддерживаемый силой?

— Я отроду не слыхиваль такихь вещей, замѣтиль Фази,

подымая плечи и бросая на меня молніи своихъ взоровъ.

- Вамъ это ново, потому что вы никогда не думали объ этомъ.
- Вы не хотите понять разницы между уваженіемь къ закону и рабол'єпіємъ,—c'est parfaitement russe!

— Да гдѣ же это понять, когда у васъ уваженіе къ закону значить уваженіе къ квартальному или къ городовому сержанту?

- А знаете-ли вы, м. г., что комиссаръ полиціи, котораго я посылаль, не только честнъйшій человъкъ, но и одинь изъ преданнъйшихъ патріотовъ; я его видълъ на дълъ...
- И прекрасный отецъ семейства, продолжаль я, да только ни мнѣ, ни Струве дѣла нѣтъ до этого; мы съ нимъ незнакомы, и явился онъ къ Струве вовсе не какъ образцовый гражданинъ, а какъ исполнитель притѣснительной власти...
- Да помилуйте, зам'втилъ все больше и больше сердившійся Фази, что вамъ дался этотъ Струве, да не вчера ли вы сами надъ нимъ хохотали...
  - Не смъяться-же мит сегодня, если вы будете его въшать.
- Знаете, что я думаю,—онъ пріостановился: я полагаю, что онъ просто русскій агентъ.
  - Господи, какой вздоръ! сказалъ я, расхохотавшись.
- Какъ вздоръ, закричалъ Фази еще громче, я вамъ говорю это серьезно!

Зная необузданно-вспыльчивый правъ моего женевскаго тирана и зная, что, при всей раздражительности его, онъ въ сущности былъ во сто разъ лучше своихъ словъ и человъкъ не злой, я, можетъ, пропустилъ бы ему это подиятіе голоса; но тутъ были свидътели, къ тому-же онъ былъ президентъ кантона, а я такой-же безпаспортный бродяга, какъ и Струве, и потому я стенторовскимъ голосомъ отвъчалъ ему:

— Вы воображаете, что вы президентъ, такъ вамъ и достаточно что-нибудь сказать, чтобъ всѣ повърили?

Крикъ мой подъйствовалъ, Фази сбавилъ голосъ, но зато, безпощадно разбивая свой кулакъ о перила моста, онъ замътилъ:

- Да его дядя, Густавъ Струве, русскій пов'єренный въ д'ялахъ въ Гамбургъ.
- Это ужъ изъ «Волка и Овцы». Я лучше пойду домой. Прощайте!
- Въ самомъ дѣлѣ, лучше идти спать, чѣмъ спорить, а то еще мы поссоримся, замѣтилъ Фази, принужденно улыбаясь.

Я пошелъ въ hôtel des Bergues, Фази съ итальянцами черезъ мостъ. Мы такъ усердно кричали, что нѣсколько оконъ въ отелѣ растворились, и публика, состоявшая изъ гарсоновъ и туристовъ, слушала наше преніе.

Между тъмъ квартальный и честнъйшій гражданинъ, который повезъ Струве, возвратился и не одинъ, а съ тъмъ-же Струве. Въ первомъ городкъ Ваадскаго кантона, близъ Копета, гдъ жили Стааль и Рекамье, случилось презабавное обстоятельство. Префектъ нолиціп, горячій республиканецъ, услышавъ, какъ Струве былъ схваченъ, объявилъ, что женевская полиція поступила беззаконно, и не только отказался послать его далѣе, но воротилъ назадъ.

Можно себъ представить бъщенство Фази, когда онъ, на закуску нашего разговора, узналъ о благополучномъ возвращения Струве. Побранившись съ «тираномъ» письменно и словесно, Струве уъхалъ съ Гейнценомъ въ Англію; тамъ-то Гейнценъ потребовалъ два милліона головъ и мирно уплылъ съ своимъ Пиладомъ въ Америку, сначала съ цълью зависти училище для молодыхъ дъвищъ, потомъ, чтобъ издавать въ С. Лупсъ Піонера, журналъ, который и пожилымъ мужчинамъ не всегда можно читать.

Дней пять послѣ разговора у моста, я встрѣтился съ Фази въ café de la Poste.

— Что это васъ не видать давно, спросилъ онъ, неужели все сердитесь? Ну, уже эти мив дѣла о выходцахъ, признаюсь, такая обуза, что съ ума можно сойти! Федеральный совѣть бомбардируеть одной нотой за другой, а тутъ проклятый жекскій су-префекть нарочно живеть, чтобъ смотрѣть, интернированы-ли французы. Я стараюсь все уладить и за все за это—свои-же сердятся. Воть теперь новое дѣло, и прескверное, я уже знаю, что меня будуть бранить, а что мив дѣлать. Онъ сѣлъ за мой столикъ и, понижая голосъ, продолжаль:—это уже не фразы, не соціализмъ, а просто воровство.

Онъ подаль мнъ письмо. Какой-то нѣмецкій владѣтельный герцогъ жаловался, что, во время занятія фрейшерлерами его городишка, были ими похищены драгоцѣнныя вещи и, между прочимъ, рѣдкой работы старинный потиръ, что онъ находится у бывшаго начальника легіона Бленкера, а такъ какъ до свѣдѣнія его свѣтлости дошло, что Бленкеръ живетъ въ Женевѣ, то онъ и проситъ содѣйствія Фази въ отысканіи вещей.

- Что скажете? спросиль торжествующимь голосомь Фази.
- Ничего. Мало ли что бываеть въ военное время.
- Что-же по вашему дёлать?
- Бросить письмо или написать этому шуту, что вы вовсе

не сыщикъ его въ Женевѣ; что вамъ за дѣло до его посуды? Онъ долженъ радоваться, что Бленкеръ не повѣсилъ его, а тутъ онъ еще ищеть пожитки.

— Вы преопасный софисть, сказаль Фази, да только вы не подумали, что такія продълки бросають тънь на нашу партію...

Этого такъ оставить невозможно.

— Не знаю, зачёмъ вы это принимаете къ сердцу. Такіе-ли дёлаются ужасы на бёломъ свётё. Что касается партіп и ея чести, вы, пожалуй, опять скажете, что я софисть,—подумайте сами, неужели, давши ходъ этому дёлу, вы ей сдёлаете пользу? Оставьте безъ вниманія доносъ герцога, его примуть за клевету; а воть, какъ къ слуху о немъ прибавятъ, что вы посылали дёлать обыскъ, да еще на бёду что-нибудь найдуть, тогда трудно будетъ оправдываться Бленкеру и всей партіп.

Фази откровенно удивлялся русскому безпорядку монхъ мивній. Дібло Бленкера кончилось какъ нельзя лучше. Его не было въ Женевъ, жена его, при появленіи слідственнаго судьи и полиціи, показала спокойно вещи и деньги, разсказала, откуда онть, и, услышавъ о сосудть, сама отыскала его,—это былъ весьма простой серебряный потиръ. Его взяли молодые люди, бывшіе въ ополченіи, и поднесли въ память побітды своему полковнику.

Фази впослѣдствій извинялся передъ Вленкеромъ, соглашаясь, что поторопился въ этомъ дѣлѣ. Неумѣренная любовь раскрывать истину, добираться до подробностей въ дѣлахъ уголовныхъ, преслѣдовать съ ожесточеніемъ виноватыхъ, сбивать ихъ—все это чисто-французскіе недостатки, судопроизводство для нихъ кровожадная игра, въ родѣ травли для испанцевъ. Прокуроръ, какъ ловкій тореадоръ, униженъ и оскорбленъ, ежели травимый звѣръ уцѣлѣетъ. Въ Англіи нѣтъ ничего подобнаго: судья смотритъ хладнокровно на подсудимаго, не усердствуетъ, и почти доволенъ, когда присяжные не даютъ обвинительнаго приговора.

Съ своей стороны, рефюжье дразнили Фази и отравляли дни его. Все это понятно и къ этому нельзя быть слишкомъ строгимъ. Страсти, раснахнувшіяся во время революціонныхъ движеній, не угомонились отъ неудачи и, не имъя другого выхода, выражались въ строптивомъ безпокойствъ духа. Людямъ этимъ смертельно хотълось говорить именно въ то время, когда приходилось замолкнуть, отступить на второй планъ, стереться, сосредоточиться, а они, совсъмъ напротивъ, старались не сходить со сцены и заявляли всъми средствами свое существованіе; они писали брощоры, писали въ журналахъ, говорили на сходкахъ, говорили въ кафе, распространяли ложныя новости и стращали глупыя правительства близкимъ возстаніемъ. Большая часть изъ нихъ принадлежала къ числу самыхъ безопасныхъ хористовъ революцій,

но устрашенныя правительства съ обратнымъ безуміемъ вѣрили ихъ силѣ и, непривычныя къ свободной и смѣлой рѣчи, кричали о неминуемой опасности, о гибели религіи, трона, семьи, и требовали, чтобъ федеральный совѣтъ изгналъ этихъ страшныхъ людей мятежа и разрушеній.

Одна изъ первыхъ мъръ, принятыхъ швейцарскимъ правительствомъ, состояла въ удаленіи отъ французской границы тъхъ изъ рефюжье, которые особенно не нравились Наполеону. Исполнить эту мъру было очень противно для Фази; онъ почти со всъми быль лично знакомъ. Объяснивъ имъ приказъ оставить женеву, онъ старался не знать, кто уъхалъ, кто нътъ. Неуъхавшимъ еще надобно было отказаться отъ главныхъ кафе, отъ pont des Bergues,—этого-то они и не хотъли уступить. Отсюда выходили смъшныя пансіонскія сцены, въ которыхъ участвовали бывшіе народные представители, люди съ съдыми волосами, за сорокъ лътъ извъстные писатели—съ одной стороны, и съ другой—президентъ свободнаго кантона да полицейскіе агенты рабскихъ сосъдей Швейцаріи.

Разъ при мий жекскій су-префекть спросиль проническимь тономь у Фази:

- М. le Président, а что, такой-то въ Женевъ?
- Давнымъ-давно нътъ, отвъчалъ отрывието Фази.
- Я очень радъ, замътилъ су-префектъ, и пошелъ своей дорогой. А Фази, неистово схвативъ меня за руку и судорожно указывая на человъка, спокойно курившаго сигару, сказалъ миъ:
  - Воть онъ! воть онъ!-пойдемте въ другую сторону, чтобъ

не встрътить этого разбойника. Это адъ, да и только!

Я не могъ удержаться отъ смѣха. Разумѣется, это былъ высланный рефюжье, и онъ-то прогуливался по pont des Bergues, который въ Женевѣ то, что у насъ Тверской бульваръ.

Я прожилъ въ Женевъ до половины декабря. Гоненія, начавшіяся втихомолку противъ меня, заставили меня покинуть ее для того, чтобъ тхать въ Цюрихъ спасать имънье моей матери.

Страшное это время было въ моей жизни. Штиль между двухъ ударовъ грома, штиль давящій, тяжелый, но не казистый... примьты грозили нальцемъ, но я и туть еще отворачивался отъ нихъ. Жизнь шла неровно, нестройно, но въ ней были свътлые дни; за нихъ я обязанъ величественной швейцарской природъ.

Даль отъ людей и изящная природа имёють удивительно цёлебное вліяніе. Я по опыту писалъ въ «Поврежденномъ»: «Когда душа носитъ въ себё великую печаль, когда человёкъ не настолько сладилъ съ собою, чтобы примириться съ прошедшимъ, чтобы успокоиться на пониманіи, ему нужна даль и горы, море и теплый, кроткій воздухъ. Нужны для того, чтобы грусть не

превращалась въ ожесточение, въ отчаяние, чтобъ онъ не зачерствълъ»...

Оть многаго хотблось отдохнуть уже и тогда. Полтора года, проведенные въ средоточім политическихъ смуть и распрей, въ постоянномъ раздраженіи, въ виду кровавыхъ зрёлищь, страшныхъ паденій и мелкихъ изм'єнъ, осадили много горечи, тоски и устали на диб души. Иронія принимала другой характеръ. Грановскій писаль мнѣ, прочитавь «Съ того берега», писанное именно въ то время: «Книга твоя дошла до насъ, я читалъ ее съ радостью и съ гордымъ чувствомъ... Но при всемъ томъ въ ней есть что-то усталое, ты стоишь слишкомъ одиноко и, можетъ, сдълаешься великимъ инсателемъ; но то, что было въ Россіи живаго и симпатическаго для всёхъ въ твоемъ талантъ, какъ-будто псчезло на чужой почвъ»... Сазоновъ, перечитавъ передъ моимъ отътздомъ изъ Парижа, въ 1849 г., начало моей повъсти «Долгъ прежде всего», писанный за два года, сказалъ мить: «Ты этой повъсти не кончишь, да и ничего подобнаго больше не напишешь. У тебя прошель свытый смыхь и добродушная шутка».

Но могь ли человъкъ пройти искусомъ 1848 и 1849 года и остаться тъмъ-же? Я самъ чувствовалъ эту перемъну. Только дома, безъ постороннихъ, находили иногда прежнія минуты не «свътлаго смъха», а свютлой грусти; вспоминая былое, нашихъ друзей, вспоминая недавнія картины римской жизни, возлѣ кроватки спящихъ дътей, или глядя на ихъ игру, душа настроивалась какъ прежде, какъ нъсогда,—на нее въяло свъжестью, молодой поэзіей, полной кроткой гармоніей, на сердцѣ становилось хорошо, тихо, и подъ вліяніемъ такого вечера легче жилось день,

другой.

Минуты эти были не часты, дурное, невеселое разсвяніе м'єшало имъ; число постороннихъ росло около насъ, и къ вечеру маленькая гостиная наша на Елисейскихъ поляхъ была полна чужими. Большею частью это были вновь-прі вхавшіе эмигранты, люди добрые и несчастные, но близокъ и былъ только съ однимъ челов вкомъ... и зачёмъ и былъ близокъ съ нимъ!..

Я съ радостью покидалъ Парпжъ, но въ Женевъ мы очутились въ томъ-же обществъ, только лица были другія и размъры тъснъе. Въ Швейцаріи все тогда было ринуто въ политику, все дълилось на партіи, table d'hôt'ы и кофейныя, часовщики и женщины. Исключительно политическое направленіе, особенно въ томъ тяжеломъ затишьи, которое всегда слъдуетъ за неудачными переворотами, чрезвычайно утомляетъ безилодной сухостью и однообразнымъ попреканіемъ прошедшему. Оно похоже на лътнее время въ большихъ городахъ, гдъ все запылено, жарко, безъ воздуха, гдъ, сквозь блъдныя деревья просвъчиваютъ стъны, отражающія

солнце, и теплые камни мостовой. Живой человъкъ рвется на воздухъ, которымъ еще не дышала тьма темъ, въ которомъ не пахнеть обглодками жизни и не слышно нестройнаго дребезжанія, сальнаго, гнилого запаха и безпрерывнаго стука.

Иногда мы въ самомъ дѣлѣ вырывались изъ Женевы, ѣздили по берегамъ Лемана, уѣзжали къ подножію Монъ-Блана, и насупившаяся, мрачная красота горной природы заслоняла своими яркими тѣнями всю суету суетствій, освѣжая душу и тѣло хо-

лоднымъ въяніемъ своихъ въчныхъ ледниковъ.

Не знаю, желаль ли бы я навсегда остаться въ Швейцаріи; нашему брату, жителю долинь и луговъ, горы черезъ нѣкоторое время мѣшаютъ, онѣ слишкомъ громадны, близки, тѣснятъ, ограничиваютъ, но иной разъ хорошо пожить подъ ихъ тѣнью. Къ тому-же по горамъ живетъ чистое и доброе племя, илемя бѣдное, но не несчастное, съ малыми потребностями, привычное къ жизни самобытной и независимой. Накинь цивилизаціи, ея ярьмѣдянка не осѣла на этихъ людяхъ; историческія перемѣны, словно облака, ходятъ подъ ними, мало задѣвая ихъ. Римскій міръ еще продолжается въ Граубюнденѣ, время крестьянскихъ войнъ едва прошло гдѣ-инбудъ въ Апенцелѣ. Можетъ, въ Пиренеяхъ или другихъ горахъ, въ Тиролѣ, найдется такой-же здоровый кряжъ населенія, но, вообще, его въ Европѣ давно нѣтъ.

На нашемъ съверовостокъ видълъ я, впрочемъ, что-то подобнос. Въ Перми и Вяткъ мнъ удавалось встръчать людей такого-

же закала, какъ на Альпахъ.

Утомленные безпрерывнымъ, долгимъ подилманіемъ шагъ-зашагь по горф, чтобъ дать отдохнуть клячамъ, я и товарищъ, бхавшій со мной въ Цермать, мы вошли въ небольшой постоялый дворъ, помнится, повыше Св. Николы. Хозяйка, худая, по мускулистая, высокая старушка, была одна-одинехонька дома; увидя гостей, она засуетилась и, жалуясь на бъдность своихъ запасовъ, пошаривъ тамъ-сямъ, принесла бутылку кирша, сухой, какъ камень, хлъбъ (хлъбъ въ горахъ вещь не простая, его привозять на ослахъ съ долинъ), конченую баранину, тоже сухую, сыру, козьяго молока, и потомъ ношла стрянать какую-то сладкую япчницу, которой я тсть не могъ; но баранина, сыръ и киршъ были хороши. Хозяйка угощала насъ, какъ званыхъ гостей, съ добродушнымъ видомъ подкладывала кусочки, и все извинялась. Проводники наши тоже побли и донили киршъ. Убзжая, я спросилъ, что мы ей должны. Хозяйка долго думала, даже прошлась въ другую комнату, чтобы сообразить, и потомь, сдёлавъ предисловіе о дороговизн'я, трудномъ подвоз'я, она рискнула сказать пять франковъ.

— «Какъ, замѣтилъ я, и съ лошадьми?»—Она не поняла меня

и поторопилась прибавить:

— Ну, п четырехъ будеть довольно.

Когда меня везли изъ Перми въ Вятку, я попросилъ въ одной деревнъ, гдъ мъняли лошадей, квасу у женщины, сидъвшей на бревнъ возлъ избы.

-- «Больно киселъ, отвъчала она, а вотъ я тебъ вынесу браги,

отъ праздника, видишь, осталась».

Черезъ минуту она принесла глиняный кувшинъ, заткнутый тряпкой, и ковшъ. Мы съ жандармомъ напились вдоволь; отдавая ковшъ старухъ, я подалъ ей гривенникъ или пятиалтынный, но она не взяла, приговаривая:

— «Господь съ тобой, что это, съ дорожнаго человъка-то

брать, да и ъдешь ты того...» она посмотръла на жандарма.

— Да за что-же, тетушка, мы твою бражку-то даромъ пили, возьми дѣтушкамъ на пряники.

— «Нѣтъ, кормилецъ, ты въ этомъ не сомнѣвайся, а есть лишнія деньги, подай ихъ нищему, али Богу поставь свѣчку».

Другой подобный случай быль со мной на Великой-ръкъ, близь Вятки. Я тадиль смотрть туда оригинальную прецессию, какъ пкону Николая Хлыновскаго носять туда въ гости. На обратномь пути я зашель съ ямщикомъ въ избу, гдт онъ бралъ овесъ: хозяева и человтка три богомольцевъ собирались объдать; сильно нахло щами, попросиль и я себт. Молодая женщина принесла деревянную чашку щей, ломоть хлтба и огромную солонку съ высокой спинкой. Потвши, я далъ хозяину четвертакъ. Онъ посмотртль на меня, почесалъзатылокъ и сказалъ: «Оно, видишь, неладно, что-же ты натъть гроша на два, а даешь четвертакъ, оно мнт взять-то и не приходится, и передъ Богомъ гртшно, и передъ людьми совтстно».

Помнится, я гдё-то упоминаль объ обычав пермскихъ мужиковъ выставлять на ночь за окно кусокъ хлѣба, квасъ или молоко, на тотъ случай, что если несчастный, т. е. сосланный, проберется изъ Сибпри, да побоится постучать, такъ чтобъ подкрѣпился, не дѣлая шума. Подобное я нашелъ на горахъ Швейцарін; только тутъ это дёлается, за неимфніемъ возлів Сибири. просто для путниковъ. На довольно большихъ высотахъ, тамъ, гдъ уже жизнь ръдъеть, гдъ гранить уже выказывается, какъ черепъ у человѣка, начинающаго илѣшивѣть, и рѣзкій холодный вътеръ подуваетъ на сухую, аптекарскую растительность, -- тамъ попадались миж хижины пустыя, но съ незапертыми дверями, чтобы путникъ, сбивигійся съ дороги или загнанный непогодой, могъ найти пріютъ и безъ хозяина. Разная крестьянская утварь стояла туть, а на столъ-сырь, хлъбъ или козье молоко. Иные, повыши, кладуть на столь какую-нибудь копейку, другіе ничего, но, видно, никто не крадетъ. Конечно, постороннихъ прохожихъ бываеть очень мало, но тъмъ не менъе эти отпертыя двери удпвияють городской глазъ.

Разговорившись о горахъ и вершинахъ, доскажу мое путешествіе на Монте-Розу. Какъ-же лучше и кончить главу о Швей-

царіи, какъ не на высотъ семи тысячъ футовь?

Оть старушки, которая совъстилась взять пять франковъ за кормъ четырехъ человъкъ и двухъ лошадей, со включеніемъ цълой бутылки кирша, мы до самаго вечера поднимались по узкой наръзкъ, мъстами не шире метра, до Цермата; привычныя лошади шли шагомъ и осторожно, выбирая мъсто, куда поставить коныто по скалистой, неровной тропинкъ. Проводники безпрестанно напоминали намъ, чтобъ не править, а пускать лошадь пдти, какъ она знаетъ. Съ одной стороны былъ крутой обрывъ, тысячи въ три футовъ и больше. Внизу, на его днъ, шумълъ и несся Веспъ, съ какой-то безумной посившностью, стараясь найти больше открытое русло и вырваться изъ сжатой каменной постели. Его пънящаяся, клубящаяся поверхность была мъстами видна; по гористымъ берегамъ росли цёлые сосновые лёса, казавшіеся мохомъ съ высоты, по которой мы двигались. Съ другой стороны-голая, скалистая высь, мъстами нависшая надъ головами. Часы цёлые ёдешь, ёдешь... Стучать подковы о камень, срывается нога лошади, реветь Весиъ, и все такія-же скалы съ одной стороны, за которыми ничего не видать, и уже смеркающійся обрывъ съ другой, это наводить тоску, раздражительную усталь... Я не хотъль бы часто повторять этого пути.

Цермать послёднее мёстечко, гдё живуть нёсколько семей вмёстё; оно стоить, какъ въ котлё: громады горъ окружають его. Одинъ изъ домохозяевъ принимаеть у себя рёдкихъ путешественниковъ, мы застали у него шотландца, геолога. Пока намъ собирали ужинъ, сдёлалось совершенно темно; близость горъ удвоивала мракъ. Часу въ одиннадцатомъ хозяйка, прислуши-

ваясь у окна, сказала намъ:

— «Вѣдь, это копыта, да и крикъ проводниковъ слышенъ...

охота-же въ ночную пору тхать по такой дорогъ́».

Стукъ конытъ медленно приближался, хозяйка взяла фонарь и вышла съ нимъ въ сѣни, я ношелъ за ней. Что-то стало отдѣляться изъ черной мглы, какія-то фигуры показались на полосѣ фонарнаго свѣта и, наконецъ, два всадника подъ-ѣхали къ сѣнямъ. На одной лошади сидѣла высокая, среднихъ лѣтъ женщина, на другой мальчикъ, лѣтъ четырнадцати. Дама покойно сошла съ лошади, будто она воротилась съ прогулки въ Гайдъ-Паркѣ, и вошла въ общую комнату. Шотландца она уже гдѣ-то встрѣтила, и потому тотчасъ стала съ нимъ говорить. Спросивъ себѣ поѣсть, она послала сына узнать отъ проводни-

ковъ, сколько времени лошадямъ нужно отдыхать. Они сказали,

что двухъ часовъ довольно.

— «Неужели вы ъдете, не дождавшись дня, спросилъ шотландець,—зги не видать, и притомъ же вамъ теперь придется спускаться по новой дорогъ?»

— Я уже такъ разочла время.

Черезъ два часа англичанка съ сыномъ стала спускаться на

птальянскую сторону, а мы легли уснуть часа два-три.

На разсвътъ мы взяли третьяго проводника гербориста, который зналъ всъ тропинки и удивительно насвистывалъ альпійскіе мотивы, и стали взбираться на одну изъ ближнихъ высотъ, поднимаясь къ ледяному морю и Монъ-Сервину.

Сначала сёдой туманъ закрывалъ все и мочиль насъ мелкимъ дождемъ, мы поднимались, онъ понижался; вскоре сдёла-

лось какъ-то ръзко свътло, необыкновенно чисто и ясно.

Гюго гдъ-то описываетъ «что слышно на горъ»; не высока, должно быть, была его гора, меня поразило, совсъть напротивъ, совершенное отсутствіе звука: рѣшительно ничего не слыхать, кромѣ легкаго, перемежающагося грохота отъ перекатывающихся лавинъ, и то пзрѣдка... Вообще-же, тишина мертвая, прозрачная, —я нарочно употребляю это слово,—и необычайная разрѣженность воздуха дѣлаютъ видимой, звучной эту совершенную нѣмоту, этотъ безпробудный, минеральный, стихійный сонъ 1) допотопныхъ временъ.

Шумить жизнь,—но все живое внизу и нокрыто облаками; туть ужь нёть и растеній, одинь мохь сёдой, жесткій, попадается кое-гдё на камняхь. Еще вверхь—еще свѣжѣе стало, начинается нетающій иней; туть рубежь, туть ничего не бываеть, дальше ходить только любопытнёйшій изъ всѣхъ звърей, чтобъ на минуту заглянуть въ эти степи пустоты, посмотрѣть на эти пограничные, выдавшіеся предѣлы планеты, и скорѣе спуститься

въ свою среду, исполненную суетъ, но гдъ онъ дома.

Мы остановились передъ ледянымъ снѣжнымъ моремъ, разстилавшимся между нами и Монъ-Сервиномъ; окаймленное грядою горъ, облитыхъ солнцемъ, оно само, оѣлое до ослѣшительности, представляло замерзшую арену какого-то гигантскаго Колизея. Мѣстами изрытое вѣтрами, волнистое, оно будто застыло въ самую минуту движенія; изгибы валовъ замерзли, не усиѣвъ выправиться.

Я сошель съ лошади и прилегь на глыбу гранита, причаленную снъжными волнами къ берегу... Нъмая, неподвижная бъ-

<sup>1)</sup> Воть я и оправдаль знаменитое: «я слышу молчаніе!» московскаго полицмейстера.

лизна, безъ всякаго предёла... Легкій вътеръ приноднималъ небольшую бълую пыль, уносилъ ее, вертълъ... Она падала и все снова приходило въ покой, да раза два лавины, оторвавшись съ глухимъ раскатомъ, скатывались вдали, цъплясь за утесы, разбиваясь о нихъ и оставляя по себъ облако снъта...

Странно чувствуеть себя человъкъ въ этой рамъ: гостемъ, лишнимъ, постороннимъ, и, съ другой стороны, свободнъе дышитъ и, будто подъ цвътъ окружающему, становится бълъ и чистъ

внутри... серьезенъ и полонъ какого-то благочестія!

Какимъ натянутымъ риторомъ сочли бы меня, если-бъ я заключилъ эту картину Монте-Розы, сказавши, что середь этой бѣлизны, свѣжести и тишины, изъ двухъ путниковъ, потерянныхъ на этой выси и считавшихъ другъ друга близкими друзьями, одинъ обдумывалъ черную измѣну?...

Да, жизнь иногда имъетъ свои мелодраматическія выходки-

свои coups de théatre, очень натянутые.

## Западныя арабески.

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ.

I.

## Il Pianto.

Послѣ іюньскихъ дней я видѣлъ, что революція побѣждена, но вѣрилъ еще въ побъясденныхъ, въ падшихъ, вѣрилъ въ чудотворную силу мощей, въ ихъ нравственную могучесть. Въ Женевѣ я сталъ понимать яснѣе и яснѣе, что революція не только побѣждена, но что она долясна была быть побѣжденной.

У меня кружилась голова отъ моихъ открытій, пропасть открывалась передъ глазами, и я чувствовалъ, какъ почва исчезала полъ ногами.

Не реакція побъдила революцію. Реакція вездѣ оказалась тупой, трусливой, выжившей изъ ума; она вездѣ позорно отступила за уголъ передъ напоромъ народной волны и воровски выжидала времени въ Парижѣ и въ Неаполѣ, въ Вѣнѣ и Берлинѣ. Революція пала, какъ Агрипина, подъ ударами своихъ дѣтей и, что всего хуже, безъ ихъ сознанія; героизма, юношескаго самоотверженія было больше, чѣмъ разумѣнія, и чистыя, благородныя жертвы пали, не зная за что. Судьба остальныхъ врядъ не была-ли еще печальнѣе. Они, въ раздорѣ между собой, въ личныхъ спорахъ, въ печальномъ самообольщеніи, разъѣдаемые необузданнымъ самолюбіемъ, останавливались на своихъ неожиданныхъ дняхъ торжества и не хотѣли ни снять увядшихъ вѣнковъ, ни вѣнчальнаго наряда, несмотря на то, что не небюста обманула.

Несчастія, праздность и нужда внесли нетериимость, упрямство, раздраженіе... Эмиграцін разбивались на маленькія кучки, средоточіємъ которыхъ дѣлались имена, ненависти, а не начала. Взглядъ, постоянно обращенный назадъ, и исключительное, замкнутое общество начало выражаться въ рѣчахъ и мысляхъ, въ

пріємахъ и одеждѣ; новый цехъ—*цехъ выходцевъ*—складывался и костенѣлъ рядомъ съ другими. И какъ нѣкогда Василій Великій писалъ Григорію Назіанзину, что онъ «утопаетъ въ ностѣ и наслаждается лишеніями», такъ теперь явплись добровольные мученики, страдавшіе по званію, несчастные по ремеслу, и въ ихъ числѣ добросовѣстнѣйшіе люди; да и Василій Великій откровенно писалъ своему другу объ оргіяхъ плотоумерщвленія и о нѣгѣ гоненія. При всемъ этомъ, сознаніе не двигалось ни на шагъ, мысль дремала... Если-бъ эти люди были призваны звукомъ новой трубы и новаго набата, они, какъ девять сиящихъ дѣвъ, продолжали бы тотъ день, въ который заснули.

Сердце изнывало оть этихъ тяжелыхъ истинъ; трудную стра-

ницу воспитанія приходилось переживать.

... Печально сидъть я разъ въ мрачномъ, непріятномъ Цюрихъ, въ столовой у моей матери; это было въ концѣ декабря 1849. Я ѣхалъ на другой день въ Парижъ; день былъ холодный, снѣжный, два-три полѣна нехотя, дымясь и треща, горѣли въ каминъ, всѣ были заняты укладкой, я сидъть одинъ-одинехонекъ: женевская жизнь носилась передъ глазами, впереди все казалось темно, я чего-то боялся, и мнѣ было такъ невыносимо, что, если-бъ я могъ, я бросился бы на колѣни и плакалъ бы, и молился бы, но я не могъ и, вмѣсто молитвы, написалъ проклятие—мой Эпилогъ къ 1849.

«Разочарованіе, усталь, Blasirtheit!» сказали объ этихъ выболѣвшихъ строкахъ демократическіе рецензенты. Да, разочарованіе! Да, усталь!.. Разочарованіе слово битое, пошлое, дымка, подъ которой скрывается лѣнь сердца, эгопзмъ, придающій себѣ видъ любви, звучная пустота самолюбія, пмѣющаго притязаніе на все, силь—ни на что. Давно надоѣли намъ всѣ эти высшія, неузнанныя натуры, исхудалыя отъ зависти и несчастныя отъ высокомѣрія,—въ жизни и въ романахъ. Все это совершенно такъ, а врядъ-ли нѣтъ чего-либо истиннаго, особеню принадлежащаго нашему времени на днѣ этихъ страшныхъ психическихъ болей, вырождающихся въ смѣшныя пародіи и въ пошлый маскарадъ.

Поэтъ, нашедшій слово и голосъ для этой боли, былъ слишкомъ гордъ, чтобъ притворяться, чтобъ страдать для рукоплесканій; напротивъ, онъ часто горькую мысль свою высказывалъ съ такимъ юморомъ, что добрые люди помирали со смѣха. Разочарованіе Байрона больше, нежели капризъ, больше, нежели личное настроеніе. Байронъ сломился оттого, что его жизнь обманула. А жизнь обманула не потому, что требованія его были ложны, а потому, что Англія и Байронъ были двухъ розныхъ возрастовъ, двухъ розныхъ воспитаній, и встрѣтились именно въ ту эпоху, въ которую туманъ разсѣялся.

Разрывъ этотъ существоваль и прежде, но въ нашъ вѣкъ онъ пришель къ сознанію, въ нашъ вѣкъ больше и больше обличается невозможность посредства какихъ-нибудь вѣрованій. За римскимъ разрывомъ шло христіанство, за христіанствомъ—вѣра въ цивилизацію, въ человѣчество. Либерализмъ составляетъ послюднюю религію, но его церковь не другого міра, а этого, его теодицея—политическое ученіе; онъ стоитъ на землѣ и не имѣетъ мистическихъ примиреній, ему надобно мириться въ самомъ дѣлѣ. Торжествующій и потомъ побитый либерализмъ раскрылъ разрывъ во всей наготѣ; болѣзненное сознаніе этого выражается проніей современнаго человѣка, его скептицизмомъ, которымъ онъ мететъ осколки разбитыхъ кумировъ.

Ироніей высказывается досада, что истина логическая не одно и то же съ истиной исторической, что, сверхъ діалектическаго развитія, она имѣетъ свое страстное и случайное развитіе, что, сверхъ своего разума, она имѣетъ свой романъ.

Разочарованья 1), въ нашемъ смыслѣ слова, до революціп не знали; XVIII столѣтіе было одно изъ самыхъ религіозныхъ временъ исторіи. Я уже не говоріо о великомученикѣ С. Жюстѣ или объ апостолѣ Жанъ-Жакѣ; но развѣ папа Вольтеръ, благословлявшій Франклинова внука во имя Бога и Свободы, не былъ піэтистъ своей человѣческой религіей?

Скептицизмъ провозглошенъ вмѣстѣ съ республикой 22 сентября 1792 года.

Якобинцы и вообще революціонеры принадлежали къ меньшинству, отдёлившемуся отъ народной жизни развитіемъ: они составляли нѣчто въ родѣ свѣтскаго духовенства, готоваго пасти стада подскія. Они представляли высшую мысль своего времени, его высшее, но не общее сознаніе, не мысль встажъ.

У новаго духовенства не было понудительныхъ средствъ, ни фантастическихъ, ни насильственныхъ; съ той минуты, какъ власть вынала изъ ихъ рукъ, у нихъ было одно орудіе—убъжденіе, но для убъжденія недостаточно правоты, въ этомъ вся ошибка, а необходимо еще одно—мозговое равенство!

Пока длилась отчанная борьба, при звукахъ пѣсни гугенотовъ и марсельезы, пока костры горѣли и кровь лилась, этого неравенства не замѣчали; но, наконецъ, тяжелое зданіе феодальной монархіи рухнулось, долго ломали стѣны, отбивали замки... еще ударъ—еще проломъ сдѣланъ, храбрые впередъ, вороты отперты—и толиа хлынула, только не та, которую ждали. Кто это такіе?

<sup>1)</sup> Вообще "нашъ" скептицизмъ не былъ извъстенъ въ прошломъ въкъ, одинъ Дидро и Англія дълаютъ исключеніе. Въ Англіи скептицизмъ былъ съ давнихъ временъ дома, и Байронъ естественно идетъ за Шекспиромъ, Гоббсомъ и Юмомъ.

А. И. Герценъ, т. III.

Изъ какого въка? Это не спартанцы, не великій populus romanus, Davus sum, non Edipus! Неотразимая волна грязи залила все. Въ терроръ 93, 94 года выразился внутренній ужасъ якобинцевъ: онп увидѣли страшную ошибку, хотъли ее поправить гильотиной, но сколько ни рубили головъ, все-таки склонили свою собственную передъ силою восходящаго общественнаго слоя. Все ему покорилось, онъ пересилилъ революцію и реакцію, онъ затопилъ старыя формы и наполниль ихъ собой, потому что онъ составляль единственное дъятельное и современное большинство; Сіэсъ былъ больше правъ, чъмъ думалъ, говоря, что мищане-«все».

Мъщане не были произведены революціей, они были готовы съ своими преданіями и нравами, чуждыми на другой ладъ революціонной идеи. Ихъ держала аристократія въ черномъ тълъ и на третьемъ планъ; освобожденные, они прошли по трупамъ освободителей и ввели свой порядокъ. Меньшинство было или раз-

давлено, или распустилось въ мъщанство.

Нъсколько человъкъ каждаго поколънія оставались, вопреки событіямъ, упорными хранителями иден; эти-то левиты, а, можетъ, астеки, несутъ несправедливую казнь за монополь исключительнаго развитія, за мозговое превосходство сытыхъ кастъ, кастъ досужихъ, питвишихъ время работать не однъми мышцами.

Насъ сердитъ, выводитъ изъ себя нелъпость, несправедливость этого факта. Какъ будто кто-нибудь (кромѣ насъ самихъ) объщаль, что все въ мір'є будеть изящно, справедливо и идти какъ по маслу. Довольно удивлялись мы отвлеченной премудрости природы и историческаго развитія, пора догадаться, что въ природъ и исторіи много случайнаго, глупаго, неудавшагося, спутаннаго. Разумъ, мысль на концъ-это заключение: все начинается тупостью новорожденнаго; возможность и стремленіе лежать въ немъ, но прежде чъмъ онъ дойдеть до развитія и сознанія, онъ подвергается ряду внішнихъ п внутреннихъ вліяній, отклоненій, остановокъ. У одного вода размягчить мозгъ, другой, падая, силюснеть его, оба останутся идіотами, третій не упадеть, не умретъ скарлатиной, —и сдълается поэтомъ, военачальникомъ, бандитомъ, судьей. Мы вообще въ природъ, въ исторіи и въ жизни всего больше знаемъ удачи и усиъхи; мы теперь только начинаемъ чувствовать, что не все такъ хорошо подтасовано, какъ казалось, потому что мы самп неудача, проигранная карта.

Сознаніе безсилія иден, отсутствія обязательной силы истины надъ дъйствительнымъ міромъ огорчаеть насъ. Новаго рода манихеизмъ овладъваеть пами, мы готовы, par dépit, върпть въ разумное (т. е. намъренное) вло, какъ върпли въ разумное добро, - это послъдняя дань, которую мы платимъ идеализму.

Боль эта пройдеть со временемъ, трагическій и страстный ха-

рактеръ уляжется; ее почти нътъ въ Новомъ свътъ Соединенныхъ Штатовъ. Этотъ народъ молодой, предпріпмчивый, болже дъловой, чъмъ умный, до того занять устройствомъ своего жилья, что вовсе не знаеть нашихъ мучительныхъ болей. Тамъ, сверхъ того, нътъ и двухъ образованій. Лица, составляющія слои въ тамошнемъ обществъ, безпрестанно мъняются, они подымаются, опускаются съ итогомъ credit и debit каждаго. Дюжая порода англійских колонистовь разрастается страшно, если она возьметь верхъ, люди въ ней не сдълаются счастливъе, но будутъ довольное. Довольство это будеть илоше, бъдное, суше того, которое носилось въ идеалахъ романтической Европы, но съ нимъ, можеть, не будеть голода. Кто можеть совлечь съ себя стараго европейскаго Адама и переродиться въ новаго Іонатана, тотъ пусть ъдеть съ первымъ пароходомъ куда-нибудь въ Висконсинъ или Канзасъ, тамъ навърно ему будетъ лучше, чъмъ въ европейскомъ разложеніи.

Тѣ, которые не могутъ, тѣ останутся доживать свой вѣкъ, какъ образчики прекраснаго сна, которымъ дремало человѣчество. Они слишкомъ жили фантазіей и идеалами, чтобъ войти въ разумный американскій возрасть.

Большой бъды въ этомъ нѣтъ, насъ немного и мы скоро вы-

Но какъ люди такъ развиваются вонъ изъ своей среды?...

Представьте себѣ оранжерейнаго юношу, хоть того, который описаль себя въ thе Dream; представьте его себѣ лицемъ къ лицу съ самымъ скучнымъ, съ самымъ тяжелымъ обществомъ, лицемъ къ лицу съ уродливымъ минотавромъ англійской жизни, неловко спаяннымъ изъ двухъ животныхъ, одного дряхлаго, другого по колѣна въ топкомъ болотѣ, раздавленнаго какъ Каріатида, постоянно натянутыя мышцы которой не даютъ ни капли крови мозгу. Если-бъ онъ умѣлъ приладиться къ той жизни, онъ вмѣсто того, чтобъ умереть за тридцать лѣтъ въ Греціи, былъ бы теперь лордомъ Пальмерстономъ или сиромъ Джономъ Росселемъ. Но такъ какъ онъ не могъ, то ничего нѣтъ удивительнаго, что онъ съ своимъ Гарольдомъ говоритъ кораблю:—«Неси меня, куда хочешь,—только вдаль отъ родины».

Но что же ждало его въ этой дали? Испанія, выръзываемая Наполеономь, одичалая Греція, всеобщее воскрешеніе всталь смердящихь Лазарей послів 1814 года; отъ нихъ нельзя было спастись ни въ Равент, ни въ Діодати. Байронть не могъ удовлетвориться по-німецки теоріями sub specie eternitatis, ни по-французски политической болтовней, и онъ сломился, но сломился какъ грозный Титанть, бросая людямъ въ глаза свое презрівніе, не золотя пилюли.

Разрывъ, который Байронъ чувствовалъ, какъ поэтъ и геній, сорокъ лътъ тому назадъ, послъ ряда новыхъ пспытаній, послъ грязнаго перехода съ 1830 къ 1848 г. и гнуснаго съ 48 до сегодняшняго дня, поразилъ теперь многихъ. И мы, какъ Байронъ,

не знаемъ, куда дъться, куда преклонить голову.

Реалистъ Гёте такъ же, какъ романтикъ Шиллеръ, этой раворванности не знали. Одинъ былъ слишкомъ религіозенъ, другой слишкомъ философъ. Оба могли примиряться въ отвлеченныхъ сферахъ. Когда «духъ отрицанья» является такимъ шутникомъ, какъ Мефистофель, тогда разрывъ еще не страшенъ; насмѣшливая и въчно противоръчащая натура его еще расплывается въ высшей гармоніи и въ свое время прозвучить всему-sie ist gerettet. Не таковъ Люциферъ въ Каннѣ; это печальный ангелъ тьмы, на его лбу тускло мерцаетъ звёзда горькой думы, полнаго внутренняго распаденія, концы котораго не сведешь. Онъ не острить отрицаніемъ, не смішить дерзостью невірія, не манить чувственностью, не достаеть ни наивныхъ дъвочекъ, ни вина, ни брилліантовъ, а спокойно влечеть къ убійству, тянеть къ себь, къ преступленио-той непонятной силой, которой зоветь человъка въ иныя минуты стоячая вода, освъщенная мъсяцемъ. ничего не объщая въ безоградныхъ, холодныхъ, мерцающихъ объятіяхъ своихъ, кромѣ смерти.

Ни Каинъ, ни Манфредъ, ни Донъ-Жуанъ, ни Байронъ не имъютъ никакого вывода, никакой развязки, никакого «нраво-ученія». Можетъ, съ точки зрънія драматическаго искусства это и не идетъ, но въ этомъ-то и исчать искренности и глубины разрыва. Энилогъ Вайрона, его послъднее слово, если вы хотите, это the Darkness; вотъ результатъ жизни, начавшейся со «Сна». Дорисуйте картину сами. Два врага, обезображенные голодомъ, умерли, ихъ съъли какія-нибудь ракообразныя животныя;... корабль догниваеть—смоленый капатъ качается себъ по мутнымъ волнамъ въ темнотъ, холодъ страшный, звъри вымираютъ, исторія уже умерла, и мъсто расчищено для новой жизни: наша эпоха зачислится въ четвертую формацію, т. е., если новый міръ дой-

деть до того, что сумбеть считать до четырехъ.

Наше историческое призваніе, наше дѣяніе въ томъ и состоить, что мы нашимъ разочарованіемъ, нашимъ страданіемъ доходимъ до смиренія и покорности передъ истиной, и избавляемъ отъ этихъ скорбей слѣдующія поколѣнія. Нами человѣчество протрезвляется, мы его спохмелье, мы его боли родовъ. Если роды кончатся хорошо, все пойдетъ на пользу; но мы не должны забывать, что по дорогѣ можетъ умереть ребенокъ или мать, а можетъ и оба, и тогда—ну, тогда исторія съ своимъ мормонизмомъ начнетъ новую беременность... Е sempre bene, господа! Мы знаемь, какъ природа распоряжается съ личностями: послѣ, прежде, безъ жертвъ, на грудахъ труповъ—ей все равно, она продолжаетъ свое, или такъ продолжаетъ что попало: десятки тысячъ лѣтъ наноситъ какой-инбудъ коралловый рифъ, всякую весну покидая смерти забѣжавине ряды. Полины умираютъ, не подозрѣвая, что они служили прогрессу рифа.

Чему-нибудь послужимъ и мы. Войти въ будущее какъ элементъ не значитъ еще, что будущее исполнитъ наши идеалы. Римъ не исполнилъ ни Платонову республику, ни вообще греческій идеалъ. Средніе вѣка не были развитіемъ Рима. Современная мысль западная войдетъ, воилотится въ исторію, будетъ имѣть свое вліяніе и мѣсто, такъ, какъ тѣло наше войдетъ въ составъ травы, барановъ, котлетъ, людей. Намъ не нравится это безсмертіе,—что же съ этимъ дѣлать:

Теперь я привыкъ къ этимъ мыслямъ, онъ уже не пугаютъ меня. Но въ концъ 1849 года я былъ ошеломленъ имп, и несмотря на то, что каждое событіе, каждая встръча, каждое столкновеніе, лице—наперерывъ обрывали послъдніе зеленые листья, я еще упрямо и судорожно искаль выхода.

Оттого-то я теперь и цёню такъ высоко мужественную мысль Байрона. Онъ видёлъ, что выхода нюто, и гордо высказаль это.

Я быль несчастень и смущень, когда эти мысли начали посъщать меня; я всячески хотъль бъжать отъ нихъ.... Я стучался, какъ путникъ, потерявшій дорогу, какъ нищій, во всё двери, останавливаль встръчныхъ и распрашиваль о дорогь, но каждая встръча и каждое событіе вели къ одному результату—къ смиренію передъ истиной, къ самоотверженному принятію ея.

... Три года тому назадъ я сидълъ у изголовья больной и видълъ, какъ смерть стягивала ее безжалостно шагъ за шагомъ въ могилу. Эта жизнь была все мое достояніе. Мгла стлалась около меня, я дичаль въ тупомъ отчаяніи, но не тѣшилъ себя надеждами, не предалъ своей горести ни на минуту одуряющей мысли о свиданіи за гробомъ.

Такъ ужъ съ общими-то вопросами и подавно не стану кривить душой!

#### Π.

## Post-scriptum.

Я знаю, что мое воззрѣніе на Европу встрѣтить у насъ дурной пріемъ. Мы, для утѣшенія себя, хотимъ другой Европы и вѣримъ въ нее такъ, какъ христіане вѣрятъ въ рай. Разрушать мечты вообще дѣло непріятное, но меня заставляетъ какая-то

внутренняя сила, которой я не могу побъдить, высказывать пстину—даже въ тъхъ случаяхъ, когда она мнъ вредна.

Мы вообще знаемъ Европу школьно, литературно, т. е., мы не знаемъ ее, а судимъ à livre ouvert, по книжкамъ и картпнкамъ, такъ, какъ, дѣти судятъ по Orbis pictus о настоящемъ мірѣ, воображая, что всѣ женщины на Сандвичевыхъ островахъ держатъ руки надъ головой съ какими-то бубнами, и что гдѣ есть голый негръ, тамъ непремѣнно, въ пяти шагахъ отъ него, стоитъ левъ съ растрепанной гривой или тигръ съ злыми глазами.

Наше *классическое* незнаніе западнаго человѣка надѣлаетъ много бѣдъ, изъ него еще разовьются племенныя ненависти п

кровавыя столкновенія.

Во-первыхъ, намъ извъстенъ только одинъ верхній, образованный слой Европы, который накрываетъ собой тяжелый фундаментъ народной жизни, сложившійся въками, выведенный инстинктомъ, по законамъ, мало извъстнымъ въ самой Европъ. Западное образованіе не проникаетъ въ эти циклопическія работы, которыми исторія приросла къ землѣ и граничитъ съ геологіей. Европейскія государства спаяны изъ двухъ народовъ, особенности которыхъ поддерживаются совершенно розными воспитаніями. Восточнаго единства, вслъдствіе котораго турокъ, подающій чубукъ, и турокъ, великій визирь, похожи другъ на друга, здѣсь нѣтъ. Массы сельскаго населенія, послѣ религіозныхъ войнъ и крестьянскихъ возстаній, не принимали никакого дъйствительнаго участія въ событіяхъ; они ими увлекались направо или налѣво, какъ нивы, не оставляя ни на минуту своей почвы.

Во-вторыхъ, и тотъ слой, который намъ знакомъ, съ которымъ мы входимъ въ соприкосновеніе, мы знаемъ исторически, несовременно. Поживши годъ, другой въ Европѣ, мы съ удивленіемъ видимъ, что вообще западные люди не соотвѣтствують нашему понятію о нихъ, что они гораздо ниже его.

Въ пдеалъ, составленный нами, входять элементы върные, но или не существующе болье, или совершенно измънившеся. Рыцарская доблесть, изящество аристократическихъ нравовъ, строгая чинность протестантовъ, гордая независимость англичанъ, роскошная жизнь итальянскихъ художниковъ, искрящійся умъ энциклопедистовъ и мрачная энергія террористовъ—все это переплавилось и переродилось въ цълую совокупность другихъ господствующихъ правовъ, мъщанскихъ. Они составляютъ цълое, т. е., замкнутое, оконченное въ себъ возаръніе на жизнь, съ своими преданіями и правилами, съ своимъ добромъ и зломъ, съ своими пріемами и съ своей нравственностью низшаго порядка.

Какъ рыцарь быль первообразъ міра феодальнаго, такъ ку-

пецъ сталъ первообразомъ новаго міра; господа замѣнились xoзяевами. Купецъ самъ по себъ лицо стертое, промежуточное; посредникъ между однимъ, который производить, и другимъ, который потребляеть, онъ представляеть нъчто въ родъ дороги, повозки, средства.

Рыцарь былъ больше онъ самъ, больше лицо, и берегъ, какъ понималь, свое достопнство, оттого-то онъ въ сущности и не зависъль ни отъ богатства, ни отъ мъста; его личность была главное, въ мъщанинъ личность прячется или не выступаеть, потому что не она главное: главное товаръ, дъло, вещь, главное соб-

ственность.

Рыцарь быль страшная невѣжда, драчунь, бретеръ, разбойникъ и монахъ, пъяница и піэтистъ, но онъ былъ во всемъ открыть и откровененъ; къ тому-же онъ всегда готовъ былъ лечь костьми за то, что считаль правымъ; у него было свое нравственное уложеніе, свой кодексъ чести, очень произвольный, но отъ котораго онъ не отступалъ безъ утраты собственнаго уваженія

пли уваженія равныхъ.

Купецъ человъкъ мира, а не войны, упорно и настойчиво отстанвающій свои права, но слабый въ нападенія; разсчетливый, скупой, онъ во всемъ видить торгъ и, какъ рыцарь, вступаетъ съ каждымъ встрфчнымъ въ поедпнокъ, только мърится съ нимъхитростью. Его предки, среднев ковые горожане, спасаясь отъ насилій и грабежа, принуждены были лукавить; они покупали покой и достояние уклончивостью, скрытностью, сжимаясь, притворяясь, обуздывая себя. Его предки, держа шляпу и кланяясь въ поясъ, обсчитывали рыцаря; качая головой и вздыхая, говорили они сосёдямъ о своей бёдности, а между тёмъ потихоньку зарывали деньги въ землю. Все это естественно перешло въ кровь и мозгъ потометва и едълалось физіологическимъ признакомъ особаго вида людского, называемаго средними состояниемь.

Пока оно было въ несчастномъ положеніп и соединялось съ свътлой закраиной аристократіи для защиты своей въры, для завоеванія своихъ правъ, оно было исполнено величія и поэзін. Но этого стало не надолго, и Санчо-Панса, завладъвъ мъстомъ и запросто развалясь на просторт, даль себть полную волю и потеряль свой народный юморь, свой здравый смысль; вульгарная сторона его натуры взяла верхъ.

Подъ вліяніемъ м'єщанства все перем'єнилось въ Европ'є. Рыцарская честь замівнилась бухгалтерской честностью, изящные правы-нравами чинными, въжливость-чопорностью, гордостьобидчивостью, парки-огородами, дворцы-гостиницами, откры-

тыми для встах (т. е, для встах питющих деньги).

Прежнія, устарізьня, но послідовательныя понятія объ отно-

шеніяхъ между людьми были потрясены, но новаго сознанія настоящих отношеній между людьми не было раскрыто. Хаотическій просторъ этотъ особенно способствоваль развитію всехъ мелкихъ и дурныхъ сторонъ мѣщанства, подъ всемогущимъ вліяніемъ ничѣмъ необуздываемаго стяжанія.

Разберите моральныя правила, которыя въ ходу съ полвъка, чего туть нътъ? Римскія понятія о государствъ съ готическимъ раздъленіемъ властей, протестантизмъ и политическая экономія, Salus populi и chacun pour soi, Брутъ и Өома Кемпійскій, Евангеліе и Бентамъ, приходорасходное счетоводство и Ж. Ж. Руссо. Съ такимъ сумбуромъ въ головъ и съ магнитомъ, въчно притягиваемымъ къ золоту въ груди, нетрудно было дойти до тъхъ нельностей, до которыхъ дошли передовыя страны Европы.

Вся нравственность свелась на то, что неимущій долженъ всѣми средствами пріобрѣтать, а имущій хранить и увеличивать свою собственность; флагь, который поднимають на рынкѣ для открытія торга, сталъ хоругвію новаго общества. Человѣкъ de facto сдѣлался принадлежностью собственности; жизнь свелась на постоянную борьбу изъ-за денегъ.

Политическій вопрось съ 1830 года дізается исключительно вопросомъ мізнанскимъ и віжовая борьба высказывается страстями и влеченіями господствующаго состоянія. Жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось въ мізняльныя лавочки и рынки—редакція журналовъ, избирательныя собранія, камеры. Англичане до того привыкли все приводить къ лавочной поменклатуръ, что называють свою старую англиканскую церковь—Old Shop.

Вев партіи и оттанки мало-по-малу раздалились въ міра манианскомъ на два главние стана: съ одной стороны, маниане-собственники, упорно отказывающіеся поступиться своими монополіями, съ другой—неимущіе мющане, которые хотять вырвать изъ ихъ рукъ ихъ достояніе, но не имбють силы, т. е. съ одной стороны, скупость, съ другой, зависть. Такъ какъ дайствительно нравственнаго начала во всемъ этомъ натъ, то и масто лица въ той или другой сторонъ опредаляется вившинми условіями состоянія, общественнаго положенія. Одна волна оппозиціп за другой достигаетъ побады, т. е. собственности или маста, п естественно переходить со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не можетъ быть лучше, какъ безплодная качка парламентскихъ преній,—она даетъ движеніе и предалы, даетъ видъ дюла и форму общихъ интересовъ, для достиженія своихъ личныхъ цалей.

Парламентское правленіе, не такъ, какъ оно истекаетъ изъ народныхъ основъ англо-саксонскаго Commonlaw, а такъ, какъ оно сложилось въ государственный законъ—самое колоссальное бъличье колесо въ міръ. Можно ли величественнъе стоять на одномъ и томъ-же мъстъ, придавая себъ видъ торжественнаго марша, какъ оба англійскіе парламента?

Но въ этомъ-то сохраненіи вида и главное дело.

Во всемъ современно-европейскомъ глубоко лежатъ двѣ черты, явно идущія изъ-за прилавка: съ одной стороны, лицемъріе и скрытность, съ другой—выставка и étalage. Продать товаръ лицомъ, купить за полиѣны, выдать дрянь за дѣло, форму за сущность, умолчать какое-нибудь условіе, воспользоваться буквальнымъ смысломъ, казаться вмѣсто того, чтобъ быть, вести себя прилично, вмѣсто того, чтобъ вести себя хорошо, хранить внѣшній respectabilitaet, вмѣсто внутренняго достоинства.

Въ этомъ мірѣ все до такой степени декорація, что самое грубое невѣжество получило видъ образованія. Кто изъ насъ не останавливался, краснѣя за невѣдѣніе западнаго общества (я здѣсь не говорю объ ученыхъ, а о людяхъ, составляющихъ то, что называется обществомъ)? Образованія теоретическаго, серьезнаго быть не можетъ; оно требуетъ слишкомъ много времени, слишкомъ отвлекаетъ отъ дъла. Такъ какъ все, лежащее внѣ торговыхъ оборотовъ и «эксплоатаціи» своего общественнаго положенія, не существенно въ мѣщанскомъ обицествѣ, то ихъ образованіе и должно быть ограничено. Оттого происходитъ та нелѣпость и тяжесть ума, которую мы видимъ въ мѣщанахъ всякій разъ, какъ имъ приходится съѣзжать съ битой и торной дороги. Вообще, хитрость и лицемѣріе далеко не такъ умны и дальновидны, какъ воображаютъ; ихъ діаметръ бѣденъ и плаванье мелко.

Англичане это знаютъ, и потому не оставляютъ битыя колеи и выносять не только тяжелыя, но, куже того, смѣшныя неудобства своего готизма, боясь всякой перемѣны.

Французскіе мѣщане не были такъ осторожны, и со всѣмъ своимъ лукавствомъ и двоедушіемъ оборвались въ имперію.

Увъренные въ побъдъ, они провозгласили основой новаго государственнаго порядка всеобщую подачу голосовъ. Это ариеметическое знамя было имъ симпатично, истина опредълялась сложеніемъ и вычитаніемъ, ее можно было прикидывать на счетахъ и мътить булавками.

И что же они подвергнули суду всих солосовь, при современномъ состояніи общества? Вопросъ о существованіи республики. Они хотіли ее убить народомь, сділать изъ пея пустое слово, потому что они не любили ее. Кто уважаеть истину,—пойдеть ли тотъ спращивать мніне встрічнаго, поперечнаго? Что, если-бъ Колумбъ или Коперникъ пустили Америку и движеніе земли на голоса?

Хитро было придумано, а въ послъдствіяхъ добряки обочинсь.

Щель, сдълавшаяся между партеромъ и актерами, прикрытая сначала линючимъ ковромъ Ламартиновскаго красноръчія, дълалась больше и больше; іюньская кровь ее размыла, и тутъто раздраженному народу поставили вопросъ о президентъ. Отвътомъ на него вышелъ изъ щели, протирая заспанные глаза, Людовикъ Наполеонъ, забравшій все въ руки, т. е., и мъщанъ, которые воображали по старой памяти, что онъ будетъ царствовать, а они править.

То, что вы видите на большой сцень государственных событій, то микроскопически повторяется у каждаго очага. Мъщанское растлъніе пробралось во всъ тайники семейной и частной жизни. Никогда католицизмъ, никогда рыцарство не отпечатлъвались такъ глубоко, такъ многосторонне на людяхъ, какъ бур-

жуазія.

Дворянство обязывало. Разумѣется, такъ какъ его права были долею фантастическія, то и обязанности были фантастическія, но онѣ дѣлали извѣстную круговую поруку между равными. Католицизмъ обязываль, съ своей стороны, еще больше. Рыцари и вѣрующіе часто не исполняли своихъ обязанностей, но сознаніе, что они тѣмъ нарушили ими самими признанный общественный союзъ, не позволяло имъ ни быть свободными въ отступленіяхъ, ни возводить въ норму своего поведенія. У нихъ была своя праздничная одежда, своя офиціальная постановка, которыя не были ложью, а скорѣй ихъ пдеаломъ.

Намъ теперь дѣла нѣтъ до содержанія этого пдеала. Пхъ пропессъ рѣшенъ и давно проигранъ. Мы хотимъ только указать, что мѣщанство, напротивъ, ни къ чему не обязываетъ, ни даже къ военной службѣ, если только есть охотники, т. е. обязываетъ рег fas et nefas, имѣтъ собственность. Его Евангеніе коротко: «Наживайся, умножай свой доходъ, какъ песокъ морской, пользуйся и злоупотребляй своимъ денежнымъ и нравственнымъ капиталомъ, не разоряясь, и ты сыто и почетно достигнешь долголѣтія, женишъ своихъ дѣтей и оставишь по себѣ хорошую память».

Отрицаніе міра рыцарскаго и католическаго было необходимо и сдѣлалось не мѣщанами, а просто свободными людьми, т. е., людьми, отрѣшившимися отъ всякихъ гуртовыхъ опредѣленій. Тутъ были рыцари, какъ Ульрихъ фонъ Гутенъ, и дворяне, какъ Аруетъ Вольтеръ, ученики часовщиковъ, какъ Руссо, полковые лекаря, какъ Шиллеръ, и купеческія дѣти, какъ Гёте. Мѣщанство воспользовалось ихъ работой и явилось освобожденнымъ не только отъ рабства, но и отъ всѣхъ общественныхъ тягъ, кромѣ складчины для найма, охраняющаго ихъ правительства.

Изъ протестантизма они сдълали свою религію, религію, примирявшую совъсть христіанина съ занятіемъ ростовщика, религію до того мъщанскую, что народъ, лившій кровь за нее, ее оставиль. Въ Англіп чернь всего менъе ходитъ въ церковь.

Изъ революціп они хотёли сдёлать *свою* республику, но она ускользнула изъ-подъ ихъ пальца, такъ, какъ античная цивилизація ускользнула отъ варваровь, т. е. безъ мёста въ настоя-

щемъ, но съ надеждой на Instaurationem magnam.

Реформація и революція были сами до того испуганы пустотою міра, въ который они входили, что они искали спасенія въдвухъ монашествахъ: въ холодномъ, скучномъ ханжествъ пуританизма и въ сухомъ, натянутомъ цивизмѣ республиканскаго формализма. Квакерская и якобинская нетерпимость были основаны на страхѣ, что ихъ почва не тверда; они видѣли, что имънадобны были сильныя средства, чтобы увѣрить однихъ, что это церковь, другихъ, что это свобода.

Такова общая атмосфера европейской жизни. Она тяжелѣе и невыносимѣе тамъ, гдѣ современное западное состояніе наибольше развито, тамъ, гдѣ оно вѣрнѣе своимъ началамъ, гдѣ оно богаче, образованнюе, т. е. промышленнѣе. И вотъ отчего гдѣ-нибудь въ Италіп или въ Испаніи не такъ невыносимо удушливо житъ, какъ въ Англіп и во Франціи... И вотъ отчего горная, бѣдная, сельская Швейцарія—единственный клочекъ Европы, въ который можно удалиться съ миромъ.

Эти отрывки, напечатанные въ «Полярной Звъздъ», оканчивались слъдующимъ посвященемъ, писаннымъ до прітзда Огарева въ Лондонъ и до смерти Грановскаго:

... Прими сей черепь, — онъ Принадлежить тебъ поправу.

А. Пушкинъ.

На этомъ пока и остановимся. Когда-нибудь я напечатаю выпущенныя главы и напишу другія, безъ которыхъ разсказъ мой останется непонятнымъ, усъченнымъ, можетъ, ненужнымъ, во всякомъ случав будетъ не твмъ, чвмъ я хотвлъ, но все это послъ, гораздо послъ...

Теперь разстанемтесь, и на прощанье одно слово, къ вамъ, друзья юности.

Когда все было схоронено, когда даже шумъ, долею вызванный мною, долею самъ накликавшійся, улегся около меня и люди разошлись по домамъ, я приподняль голову и посмотрътъ вокругь: живого, родного не было ничего, кромъ дътей. Побродивши между постороннихъ, еще присмотръвшись къ нимъ, я пересталъ въ нихъ искать своихъ и отучился—не отъ людей, а отъ близости съ ними.

Правда, подъ часъ кажется, что еще есть въ груди чувства, слова, которыхъ жаль

не высказать, которыя сдёлали бы много добра, по крайней мёрё отрады слушающему, и становится жаль, зачёмъ все это должно заглохнуть и пропасть въ душё, какъ взглядь разсёнвается и пропадаеть въ пустой дали... но и это ско-

ръе догорающее зарево, отражение уходящаго прошедшаго.

Къ нему-то я и обернулся. Я оставилъ чужой мнѣ міръ и воротился къ вамь; и вотъ мы съ вами живемъ второй годъ, какъ бывало, видаемся каждый день, и ничего не перемѣнилось, никто не отошель, не состарѣлся, никто не умеръ, и мнѣ такъ дома съ вами и такъ ясно, что у меня нѣтъ другой почвы, кромѣ нашей, другого призванія, кромѣ того, на которое я себя обрекалъ съ дътскихъ лѣтъ.

Разскавъ мой о быломъ, можетъ, скученъ, слабъ, но вы, друзья, примите его радушно; этотъ трудъ помогъ мнѣ пережить страшную эпоху, онъ меня вывель изъ празднаго отчаянія, въ которомъ я погибалъ, онъ меня воротилъ къ вамъ. Съ нимъ я вхожу не весело, но спокойно (какъ сказалъ поэтъ, котораго я безмѣрно люблю) въ мою зиму:

Lieto no... ma sicuro! говорить Леонарди о смерти въ своемъ Ruysch е le sni

mommie.

Такъ, безъ вашей воли, безъ вашего въдома, вы выручили меня,—примите же сей черепъ—онъ самъ принадлежентъ по праву.

Isle of Wight. Ventnor, 1 октября 1855.

## ГЛАВА ХХХІХ.

Деньги и Полиція.—Полиція и Деньги.

Въ декабръ 1849 года я узналъ, что довъренность на залогъ моего имънья, посланная изъ Парижа и засвидътельствованная въ посольствъ, уничтожена, и что вслъдъ за тъмъ на капиталъ моей матери наложено запрещеніе. Терять времени было нечего, я, какъ уже сказалъ въ прошлой главъ, бросилъ тотчасъ Женеву и поъхалъ къ моей матери.

Глупо или притворно было бы въ наше время денежнаго неустройства пренебрегать состояніемъ. Деньги—независимость, сила, оружіе. А оружіе никто не бросаеть во время войны, хотя бы оно и было непріятельское, даже ржавос. Рабство нищеты страшно, я изучилъ его во всёхъ видахъ, живши годы съ людьми, которые спаслись, въ чемъ были, отъ политическихъ кораблекрушеній. Поэтому я считалъ справедливымъ и необходимымъ принять всё мфры, чтобъ вырвать что можно.

Я и то чуть не потеряль всего. Когда я бхаль изъ Россія, у меня не было никакого опредбленнаго плана, я хотъль только остаться до нёльзя за границей. Пришла революція 1848 года и увлекла меня въ свой круговоротъ, прежде чбмъ я что-нибудь сдблаль для спасенія моего состоянія. Добрые люди винили меня за то, что я замбшался, очертя голову, въ политическія

движенія и предоставилъ на волю Божью будущность семьи,—можеть, оно и было не совстив осторожно; но если-бъ, живши въ Римт въ 1848 году, я сидтъ дома и придумывалъ средства, какъ спасти свое имтенье въ то время, какъ всирянувшая Италія кинта предъ монми окнами, тогда я, втроятно, не остался бы въ чужихъ краяхъ, а поталь бы въ Петербургъ, снова вступилъ бы на службу, могъ бы быть «вице-губернаторомъ», за «оберъ-прокурорскимъ столомъ», и говорилъ бы своему секретарю «ты», а своему министру «Ваше Высокопревосходительство!»

Столько воздержности и благоразумія у меня не было, и теперь я стократно благословляю это. Біздніве было бы сердце и намять, если-бъ я пропустиль ті світлыя міновенія візры и восторженности! Чізмъ было бы выкуплено для меня лишеніе ихъ? да и что для меня, чізмъ было бы выкуплено для той, сломленная жизнь которой была потомъ однимъ страданіемъ, окончившимся могилой? Какъ горько упрекала бы меня сов'єсть, что я изъ предусмотрительности украль у нея чуть-ли не посліднія минуты невозмутимаго счастія! А потомъ, відь, главное я все-же сділаль,—спасъ почти все достояніе, за исключеніемъ костромского им'єнія.

Послѣ іюньскихъ дней мое положеніе становилось опаснѣе; я познакомился съ Ротшильдомь и предложилъ ему размѣнять мнѣ два билета Московской сохранной казны. Дѣла тогда, разумѣется, не шли, курсъ былъ прескверный; условія его были невыгодны, но я тотчасъ согласился и имѣлъ удовольствіе видѣть легкую улыбку сожалѣнія на губахъ Ротшильда,—онъ меня принялъ за безчестнаго prince russe, задолжавшаго въ Парижѣ, п

потому сталъ называть monsieur le comte.

По первыть билетамъ деньги немедленно были уплачены; по слѣдующимъ, на гораздо значительнѣйшую сумму, уплата хотя и была сдѣлана, но корреспондентъ Ротшильда извѣщалъ его, что на мой капиталъ наложено запрещеніе,—по-счастію его не было больше.

Такимъ образомъ, я очутился въ Парижѣ съ большой суммой денегъ, средь самаго смутнаго времени, безъ опытности и знанія, что съ ними дѣлать. И между тѣмъ все уладилось довольно хорошо. Вообще, чѣмъ меньше страстности въ финансовыхъ дѣлахъ, безпокойствія и тревоги, тѣмъ они легче удаются. Состоянія рушатся такъ же часто у жадныхъ стяжателей и финансовыхъ трусовъ, какъ у мотовъ.

По совёту Ротпильда, я купиль себё американских бумагь, нёсколько французских и небольшой домъ на улицё Амстер-

дамъ, занимаемый Гаврской гостиницей.

Одинъ изъ первыхъ революціонныхъ шаговъ монхъ, развязавшихъ меня съ Россіей, погрузилъ меня въ почтенное сословіе консервативныхъ тунеядцевъ, познакомилъ съ банкирами и нотаріусами, пріучить заглядывать въ биржевой курсъ, словомъ, сдълалъ меня западнымъ rentier. Разрывъ современнаго человъка со средой, въ которой онъ живетъ, вносить страшный сумбуръ въ частное поведение. Мы въ самой серединъ двухъ, мъщающихъ другъ другу, потоковъ; насъ бросаетъ, и будетъ еще долго бросать, то въ ту, то въ другую сторону, до тъхъ поръ, пока тотъ пли другой окончательно не сломить, и потокъ еще безпокойный и бурный, но уже текущій въ одну сторону, не облегчить пловца, т. е. не унесеть его съ собой.

Счастливъ тотъ, кто до этого умфетъ такъ лавпровать, что, уступая волнамъ и качансь, все-же плыветъ въ свою сторону!

При покупкъ дома я пиътъ случай поближе взглянуть въ дъловой и буржуазный міръ Францін. Бюрократическій формализмъ при совершеніи купчей не уступить нашему. Старикъ нотаріусъ прочелъ мит нъсколько тетрадей, актъ о прочтении ихъ, mainlevée, потомъ настоящій акть,—изъ всего составилась цълая книга in-folio. Въ послъдній торгъ нашть о цънъ и расходахъ хозяинъ дома сказалъ, что онъ сдълаетъ уступку и возьметъ на себя весьма значительные расходы по купчей, если я немедленно заплачу ему самому всю сумму; я не понять его, потому что съ самаго начала объявиль, что покупаю на чистыя деньги. Нотаріусь объясниль мив, что деньги должны остаться у него, що крайней мъръ, три мъсяца, въ продолжение которыхъ сдълается публикація и вызовутся всъ кредиторы, питющіе какія-нибудь права на домъ. Домъ былъ заложенъ въ 70.000, но онъ могъ быть еще заложенъ п въ другія руки. Черезъ три мъсяца, по собраніи справокъ, выдается покупщику purge hypothécaire, а прежнему хозяпну вручаются деньги.

Хозяинъ увърялъ, что у него нътъ другихъ долговъ. Нота-

ріусь подтверждаль это.

— Честное слово, сказалъ я ему, и вашу руку, — у васъ другихъ долговъ нётъ, которые касались бы дома?

— Охотно даю его.

— Въ такомъ случав я согласенъ, и явлюсь сюда завтра съ чекомъ Ротшильда.

Когда я на другой день прівхаль къ Ротшильду, его секре-

тарь всплеснулъ руками:

— Они васъ надують! какъ это возможно, мы остановимъ, еслп хотите, продажу. Это неслыханное дело, покупать у незнакомаго на такихъ условіяхъ.

— Хотите, я пошлю съ вами кого-нибудь разсмотрѣть это

дъло? спросилъ самъ баронъ Джемсъ.

Такую роль недоросля мий не хотилось играть, я сказаль, что далъ слово, и взялъ чекъ на всю сумму. Когда я прібхалъ къ нотаріусу, тамъ, сверхъ свидътелей, былъ еще кредиторъ, пріъхавній получить свои 70.000 фр. Купчую перечитали, мы подписались, нотаріусъ поздравиль меня парижскимь домохозянномъ, -- оставалось вручить чекъ.

— Какая досада, сказалъ хозяннъ, взявши его изъ моихъ рукъ, я забылъ васъ попросить привезти два чека, какъ я те-

перь отдѣлю 70.000?

— Нътъ ничего легче, съъздите къ Ротшильду, вамъ дадутъ

два, или, еще проще, съъздите въ банкъ.

— Пожалуй, я събзжу, сказаль кредиторъ; хозяинъ поморщился и отвётилъ, что это его дёло, что онъ поёдеть.

Кредиторъ нахмурился. Нотаріусъ добродушно предложилъ

имъ тхать витстт.

Едва удерживаясь отъ смъха, я имъ сказалъ:

— Воть ваша записка, отдайте мнѣ чекъ, я съъзжу п размъняю его.

— Вы насъ безконечно обяжете, сказали они, вздохнувъ отъ

радости; и я пофхалъ.

Черезъ четыре мѣсяца purge hypothécaire была мнѣ прислана, и я выиграль тысячь десять франковъ за мое опрометчивое

Послѣ 13 іюня 1849 года, префектъ полиціп, Ребильо, что-то донесъ на меня; въроятно, вслъдствіе его доноса и были взяты петербургскимъ правительствомъ странныя мъры противъ моего пмѣнія. Онѣ-то, какъ я сказалъ, заставили меня ѣхать съ моей

матерью въ Парижъ.

Мы отправились черезъ Невшатель п Безансонъ. Путешествіе наше началось съ того, что въ Бернъ я забыль на почтовомъ дворъ свою шинель; такъ какъ на мнъ было теплое пальто и теплыя калоши, то я и не воротился за ней. До горъ все шло хорошо, но въ горахъ насъ встрътилъ снътъ по колъно, градусовъ восемь мороза и проклятая швейцарская биза. Дилижансь не могь идти, пассажировь разсажали по два, по три въ небольшія пошевни. Я не помню, чтобъ я когда-нибудь страдалъ столько оть холода, какъ въ эту ночь. Ногамъ было просто больно, я зарылъ ихъ въ солому, потомъ почталіонъ далъ мнъ какой-то воротникъ, но и это мало помогло. На третьей станціи я купиль у крестьянки ея шаль франковъ за 15 и завернулся въ нее; но это было уже на съёздё и съ каждой милей становилось теплъе.

Дорога эта великолѣнно-хороша, съ французской стороны; обширный амфитеатръ громадныхъ и совершенно непохожихъ другъ на друга очертаніями горъ провожаєть до самаго Безансона; кое-гдѣ на скалахъ виднѣются остатки укрѣпленныхъ рыцарскихъ замковъ. Въ этой природѣ есть что-то могучее и суровое, твердое и угрюмое; на нее-то глядя, росъ и складывался крестьянскій мальчикъ, потомокъ стараго сельскаго рода—Пьеръ Жозефъ Прудонъ. И дѣйствительно, о немъ можно сказать, только въ другомъ смыслѣ, сказанное поэтомъ о флорентинцахъ:

E tiene ancor del monte et del macigno!
Ротшильдъ согласился принять билеть моей матери, но не хотълъ платить впередъ, ссылаясь на письмо Гассера. Опекунскій совъть дъйствительно отказаль въ уплать.

Дня черезъ три послъ этого я встрътилъ Ротшильда на буль-

варъ.

- Кстати, сказаль онь мив, останавливая меня, я вчера говориль о вашемь двлё съ Киселевымь 1). Я вамъ долженъ сказать, вы меня извиште, онъ очень невыгоднаго мивнія о васъ и врядь ли сдблаеть что-нибудь въ вашу пользу.
  - Вы съ нимъ часто видаетесь?

- Иногда, на вечерахъ.

- Сдълайте одолженіе, скажите ему, что вы сегодня видълись со мной, и что я самаго дурного мнънія о немъ, но что съ тъмъ вмъстъ никакъ не думаю, чтобъ за это было справедливо обокрасть его мать.

Ротшильдъ расхохотался; онъ, кажется, съ этихъ поръ сталь догадываться, что я не prince russe, и уже называлъ меня бароному; но это, я думаю, онъ для того поднималъ меня, чтобъ сдёлать достойнымъ разговаривать съ нимъ.

На другой день онъ прислалъ за мной; я тотчасъ отправился. Онъ подалъ мнъ неподписанное письмо къ Гассеру и прибавилъ:

— Вотъ нашъпроектъписьма, садптесь,прочтите его внимательно и скажите, довольны ли вы имъ; если хотите что прибавить или измѣнить, мы сейчасъ сдѣлаемъ. А мнѣ позвольте продолжать мои занятія.

Сначала я осмотрълся. Каждую минуту отворялась небольшая дверь и входилъ одинъ биржевой агентъ за другимъ, громко говоря цифру; Ротшильдъ, продолжая читать, бормоталъ, не подымая глазъ: «да,—пътъ,—хорошо,—пожалуй,—довольно», и цифра уходила. Въ комнатъ были разные господа, рядовые капиталисты, члены народнаго собранія, два-три истощенныхъ туриста съ молодыми усами на старыхъ щекахъ, эти въчныя лица, пьющія на

<sup>1)</sup> Это не П. Д. Киселевь,—бывшій впослѣдствін въ Парижѣ, очень порядочный человѣкъ и извѣстный министръ государственныхъ имуществъ, а другой, переведенный въ Римъ.

водахъ—вино, представляющіяся ко дворамъ, слабые и лимфатическіе отпрыски, которыми изсякають аристократическіе роды и которые туда-же суются оть карточной игры къ биржевой. Всю они говорили между собой въ полголоса. Царь іудейскій сидѣлъ спокойно за своимъ столомъ, смотрѣлъ бумаги, писаль что-то на нихъ, вѣрно все милліоны, или, по крайней мѣрѣ, сотни тысячъ.

— Ну, что, сказалъ онъ, обращаясь ко мнъ, довольны?

— Совершенно, отвъчаль я.

Письмо было превосходно, рѣзко, настойчиво, какъ слѣдуетъ, — когда власть говоритъ съ властью. Онъ писалъ Гассеру, чтобъ тотъ немедленно требовалъ аудіенціп у Нессельроде п у министра финансовъ, чтобъ онъ имъ сказалъ, что Ротшильдъ знать не хочетъ, кому принадлежали билеты, что онъ ихъ купилъ и требуетъ уплаты, или яснаго, законнаго изложенія, почему уплата остановлена, что, въ случать отказа, онъ подвергнетъ дѣло обсужденію юрисконсультовъ и совѣтуетъ очень подумать о послѣдствіяхъ отказа, особенно страннаго въ то время, когда русское правительство хлопочетъ заключить черезъ него новый заемъ. Ротшильдъ заключаль тѣмъ, что, въ случать дальнѣйшихъ проволочекъ, онъ долженъ будетъ дать гласность этому дѣлу черезъ журналы, для предупрежденія другихъ капиталистовъ. Письмо это онъ рекомендовалъ Гассеру показать Нессельроду.

Въ продолжение моего процесса я жилъ въ отель Мирабо, гие de la Paix. Хлопоты по этому дѣлу заняли около полугода. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, однимъ утромъ говорятъ мнѣ, что какой-то господинъ дожидается меня въ залѣ и хочетъ непремѣню видѣть. Я вышелъ, въ залѣ стояла какая-то подхалюзая, чиновническая, старая фигура.

- Комиссаръ полицін тюльерійскаго квартала, такой-то.
- Очень радъ.
- Позвольте мий прочесть вамъ декретъ министра внутреннихъ дёлъ, сообщенный мий префектомъ полиціи и касающійся васъ.
  - ('дълайте одолженіе, воть стуль.
  - «Мы, префектъ полиціп 1):

«Взявъ въ соображеніе 7 пункть закона 13 и 21 ноября и 3 декабря 1849 года, дающій министру внутреннихъ дѣлъ право высылать (expulser) изъ Франціи всякаго иностранца, присутствіе котораго во Франціи можетъ возмутить порядокъ и быть опаснымъ общественному спокойствію, и основываясь на министерскомъ циркулярѣ 3 января 1850 года,

«ръшаемъ, что слъдуетъ:

<sup>1)</sup> Перевожу слово въ слово.

<sup>1.</sup> H. Fe rem. : III.

«Называемый (le N-é., т. е. потте, но это не значить «вышеупомянутый», потому что прежде обо мит не говорится, это только безграмотная попытка, какъ можно грубте обозначить человтка) Герценъ, Александръ, 40 лт (два года прибавили), русскій подданный, живущій тамь-то, обязанъ оставить немедленно Парижъ, по объявленіи сего, и въ наискортйшемъ времени вытать изъ предтовъ Франціи.

«Воспрещается ему впредь возвращаться, подъ опасеніемъ наказаній, положенныхъ 8 пунктомъ того-же закона (тюремное заключеніе отъ одного мъ́сяца до шести и денежный штрафъ).

«Всъ мъры будуть приняты для удостовъренія въ исполненіи сихъ распоряженій.

«Сдъ́лано (Fait) въ Парижъ́, 16 апръля 1850. «Префектъ полиціи.

А. Карлье.

«Скрапиль общій секретарь префектуры.

На боку: «Читалъ и одобрилъ 19 апръ́ля 1850 г. Министръ внутреннихъ дѣлъ.

Ж. Барошъ.

«Лѣта тысяча восемьсоть пятидесятаго, апрѣля двадцать четвертаго.

«Мы, Емилій Буллей, комиссаръ полиціи города Парижа и особенности тюльерійскаго отдъленія, во исполненіе прика-

заній господина префекта полиціи отъ 23 апрыля:

«Объявили сударю (sieur) Александру Герцену, говоря ему, какъ сказано въ оригиналѣ». Тутъ слѣдуетъ весь текстъ опять. Въ томъ родѣ, какъ дѣти говорятъ сказку о бѣломъ быкѣ, повторяя всякій разъ съ прибавкой одной фразы: «Сказать ли вамъ сказку о бѣломъ быкѣ?»

Далѣе: «Мы пригласили поименованнаго (le dit) Герцена явиться въ продолжение двадцати четырехъ часовъ въ префектуру для получения паспорта и для назначения границы, черезъ кото-

рую онъ выбдеть изъ Франціи.

«А чтобъ сказанный сударь Герценъ не отозвался невъдъніеми (n'en prétende cause d'ignorance—каковъ языкъ), мы ему оставили эту копію сказаннаго ръшенія въ началъ сего настоящаго нашего протокола объявленія.—Nous lui avons laissé cette copie tant du dit arrêté en tête de cette présente de notre procés-verbal de notification.

Гдѣ мои вятскіетоварищи по канцелярія Тюфяева, гдѣ Ардашовъ, писавшій за присѣсть по десяти листовъ, Вепревъ, ИНтинъ и мой иъяненькій столоначальникъ? Какъ сердце ихъдолжно возрадоваться,

что въ Нарижѣ, послѣ Вольтера, послѣ Бомарше, послѣ Ж. Зандъ и Гюго, ппшутъ такъ бумаги? Да и не одинъ Вепревъ и Штинъ должны радоваться, а и земскій моего отца, Васплій Епифановъ, который, изъ глубокихъ соображеній учтивости, писаль своему номѣщику: «Повелѣніе ваше по сей настоящей прошедшей почтѣ получилъ и по оной же имѣю честь доложить»...

Можно ли оставить камень на камит этого глупаго, пошлаго зданія des us et coutumes, годнаго только для сліпой и выжив-

шей изъ ума старухи, какъ Өемида.

Чтеніе не произвело ожидаемаго дѣйствія; парижанинъ думаеть, что высылка изъ Парижа равняется изгнанію Адама изъ рая, да и то еще безъ Евы,—мнѣ, напротивъ, было все равно, и жизнь парижская уже начинала надоѣдать.

— Когда долженъ я явиться въ префектуру?—спросилъ я, придавая себъ любезный видъ, несмотря на злобу, разбиравшую

меня.

— Я совътую завтра, часовъ въ десять утра.

— Съ удовольствіемъ.

— Какъ нынъшній годъ весна рано начинается, замътилъ комиссаръ города Парижа и въ особенности тюльерійскій.

— Чрезвычайно.

— Это старинный отель, здёсь обёдывалъ Мирабо, оттого онъ такъ и называется; вы, вёрно, были имъ очень довольны?

— Очень. Вообразите же, каково съ нимъ разстаться такъ круто!

- Это дъйствительно непріятно... Хозяйка умная и прекрасная женщина—М-lle Кузенъ—была большой пріятельницей знаменитой Le Normand.
- Представьте себъ! Какъ досадно, что я этого не зналъ, можетъ, она унаслъдовала у нея искусство гадать и могла бы мнъ предсказать billet doux Карлье.
  - Ха, ха... мое дъло вы знаете, позвольте ножелать.
  - Помилуйте, всякое бываеть, честь иміно вамъ кланяться.

На другой день я явился въ знаменитую, больше чъмъ сама Ленорманъ, улицу Jerusalem. Сначала меня принялъ какой-то шпіонствующій юноша, съ бородкой, усиками и со встми принями недоношеннаго фельетониста и неудавшагося демократа; лицо его, взглядъ носили печать того утонченнаго растлънія души, того завистливаго голода наслажденій, власти, пріобрътеній, которыя я очень хорошо научился читать на западныхъ лицахъ, и котораго вовсе нътъ у англичанъ. Должно быть, онъ еще недавно поступилъ на свое мъсто, онъ еще наслаждался имъ, и потому говорилъ нъсколько свысока. Онъ объявилъ мнъ, что я долженъ тхать черезъ три дня, и что безъ особенно важныхъ

причинъ отсрочить нельзя. Его дерзкое лице, его произношеніе и мимика были таковы, что, не вступая съ нимь въ дальнѣйшія разсужденія, я поклонился ему и потомъ спросилъ, надѣвъ сперва шляпу, когда можно видѣть префекта.

- Префектъ принимаетъ только тъхъ, кто у него письменно

просить аудіенціп.

— Позвольте мні написать сейчась.

Онъ позвонилъ, вошелъ старикъ huissier, съ цѣпью на груди; сказавъ ему съ важнымъ видомъ: «бумаги и перо этому господину», юноша кивнулъ мнѣ головой.

Huissier повелъ меня въ другую комнату. Тамъ я написалъ Карлье, что желаю его видъть, чтобъ объяснить ему, почему мнъ

надобно отсрочить мой отъёздъ.

Въ тотъ же день вечеромъ я получилъ изъ префектуры лаконическій отвътъ: «Г. префектъ готовъ принять такого-то завтра, въ два часа».

Тотъ же самый противный юноша встрѣтилъ меня и на другой день: у него была особая комната, изъ чего я и заключилъ, что онъ нѣчто въ родѣначальника отдѣленія. Начавши такъ рано и съ такимъ успѣхомъ карьеру, онъ далеко уйдетъ, если Богъ

продлить его животь.

На сей разъ онъ привелъ меня въ большой кабинетъ; тамъ, за огромнымъ столомъ, на большихъ покойныхъ креслахъ, сидълъ толстый, высокій, румяный господинъ, изъ тъхъ, которымъ всегда бываетъ жарко, съ бъльши, откормленными, но рыхлыми мясами, съ толстыми, но тщательно выхоленными руками, съ шейнымъ платкомъ, сведеннымъ на минимулъ, съ безцвътными глазами, съ жовіальнымъ выраженіемъ, которое обыкновенно принадлежитъ людямъ, совершенно потонувшимъ въ любви къ своему благосостоянію, и которые могутъ подняться холодно и безъ большихъ усилій до чрезвычайныхъ злодѣйствъ.

— Вы желали видъть префекта, сказаль онъ мнѣ, но онъ извиняется передъ вами, очень нужное дѣло заставило его выъхать,—если я могу сдѣлать вамъ чѣмъ-нибудь что-нибудь пріятное, я ничего лучшаго не прошу. Воть кресло, не угодно ли?

Все это высказаль онь плавно, очень учтиво, изсколько шуря глаза и улыбаясь мясными подушечками, которыми были украшены ото скулы. Ну, этоть давно служить, подумаль я.

- Вы, върно, знаете, зачъмъ я пришелъ?—Онъ сдълалъ головою то тихое движене, которое дълаетъ всякій, начиная плавать, и не отвъчаль ничего.
- Мит объявленъ приказъ такть черезъ три дня. Такъ какъ я знаю, что министръ у васъ имтетъ право высылать, не говоря причины и не дълая слъдствія, то я и не стану ни спра-

шивать, почему меня высылають, ни защищаться; но у меня есть, сверхъ собственнаго дома,...

— Гдѣ вашъ домъ?

— 14, Rue Amsterdam... очень серьезныя дёла въ Парима, мив трудно ихъ оставить сразу.

— Позвольте узнать, какія у васъ дъла, по дому, или...?

— Дъла моп у Ротшильда, мнъ приходится получить тысячъ четыреста франковъ.

— Какъ-съ?

- Съ небольшимъ сто тысячъ roubles argent.
- Это значительная сумма!
- C'est une somme ronde.
- Сколько времени вамъ нужно для окончанія вашего дѣла: спросиль онь, глядя на меня еще кротче, такъ, какъ глядять на выставленные въ окнахъ фазаны съ трюфелями.
  - Отъ мъсяца до шести недъль.
  - Это ужасно много.
- Процессъ мой въ Россіи. Чуть-ли не по его милости я и оставляю Францію.
  - Какъ такъ?
- Съ недълю тому назадъ Ротшильдъ мит говорилъ, что Киселевъ дурно обо мит отзывался. Втроятно, петербургскому правительству хочется замять дтло, чтобъ о немъ не говорили; чай, посолъ попросилъ по дружбт выслать меня вонъ.
- D'abord—замѣтиль, принимая важный и проникцутый сильнымъ убѣжденіемъ видъ, обиженный патріотъ префектуры,—Франція не позволитъ ни одному правительству мѣшаться въ ем внутреннія дѣла. Я удивляюсь, какъ вамъ могла придти такая мысль въ голову. Потомъ, что можетъ быть естественнѣе, какъ право, которое взяло себѣ правительство, старающееся всѣми силами возвратить порядокъ страждущему народу, удалять изъ страны, въ которой столько горючихъ веществъ, иностранцевъ, употребляющихъ во зло то гостепріимство, которое она имъ даетъ.

Я рѣшился его добивать деньгами. Это было такъ-же вѣрно, какъ въ спорѣ съ католикомъ употреблять тексты изъ Евангелія,

а потому, улыбнувшись, я возразиль ему:

— За гостепріимство Парижа я заплатиль сто тысячь франковь, и потому считаль себя почти сквитавшимся.

Это удалось еще лучше, чёмь моя somme ronde. Онъ сконфу-

зился и, сказавъ послъ небольшой паузы:

— Что намъ дѣлать, мы въ необходимости,—взялъ со стола мой досье. Это былъ второй томъ романа, первую часть котораго я видѣлъ когда-то въ рукахъ Дуббельта. Поглаживая листы, какъ добрыхъ коней, своей пухлой рукой:

— Видите-ли, приговаривалъ онъ, ваши связи, участіе въ неблагонамъренныхъ журналахъ (почти слово въ слово то же, что мнъ говорилъ Сахтынскій въ 1840), наконецъ, значительныя subventions, которыя вы давали самымъ вреднымъ предпріятіямъ, заставили насъ прибъгнуть къ мъръ очень непріятной, но необходимой. Мъра эта удивлять васъ не можетъ. Вы даже въ своемъ отечествъ навлекли на себя политическія гоненія. Одинакія причины ведутъ къ одинакимъ послъдствіямъ. Un bon citoyen уважаетъ законы страны, какіе-бы они ни были...

— Въроятно это по тому знаменитому правилу, что все-же лучше, чтобъ была дурная погода, чъмъ чтобъ совсъмъ погоды

не было.

— Но, чтобъ вамъ доказать, что русское правительство совершенно внѣ игры, я вамъ обѣщаю выхлопотать у префекта отсрочку на одинъ мѣсяцъ. Вы, вѣрно, не найдете страннымъ, если мы справимся у Ротшильда о вашемъ дѣлѣ; тутъ не столько сомнѣніе...

— Да сдълайте одолжение, отчето же не справиться, мы въ войнъ, и если-бъ мнъ было полезно употребить военную хитрость, чтобъ остаться, неужели вы думаете, что я не употребилъ бы ее?...

Но свътскій и милый alter ego префекта не остался въ долгу:
— Люди, которые такъ говорятъ, никогда не говорятъ неправды.

Черезъ мъсяцъ дъло еще не было окончено; къ намъ ъздилъ старикъ докторъ Пальмье, который всякую недълю имълъ удовольствіе дълать въ префектуръ инспекторскій смотръ интересному классу парижанокъ. Даван такое количество свидътельствъ прекрасному полу въ здоровъв, я думалъ, что онъ не откажется написать мнъ свидътельство въ бользин. Пальмье, разумъется, былъ знакомъ со всъми въ префектуръ; онъ объщалъ мнъ лично передать Х. исторію моего недуга. Къ крайнему удивленію, Пальме пріъхалъ безъ удовлетворительнаго отвъта. Черта эта потому драгоцъна, что въ ней есть какое-то братственное сходство между русской и французской бюрократіей. Х. не давалъ отвъта и вплялъ, обидъвшись, что я не явился лично извъстить его о томъ, что я боленъ, въ постелъ и не могу встать. Дълать было нечего, я отправился на другой день въ префектуру пышащій здоровьемъ.

Х. съ большимъ участіемъ спросиль меня о моей бользии. Такъ какъ я не полюбонытствовалъ прочитать, что написаль докторъ, то мив и пришлось выдумать бользиь. По счастію, я вспомнилъ Сазонова, который, при обильной тучности и неистощимомъ апетитъ, жаловался на аневризмъ,—я сказалъ Х., что у меня бользань въ сердцъ и что дорога можетъ мив быть очень вредна.

Х. пожалъть, совътоваль беречься, потомъ отправился въ сосъднюю комнату и черезъ минуту вышель, говоря:

— Вы можете остаться еще мѣсяцъ. Префектъ поручилъ мнѣ вмѣстѣ съ тѣмъ сказать вамъ, что онъ надъется и желаетъ, чтобъ ваше здоровье поправилось въ продолженіе этого времени; ему было бы очень непріятно, если-бъ это было не такъ, потому что въ третій разъ онъ отсрочить не можетъ.

Я понять это и приготовился вы бхать изъ Парижа около 20

поня.

Имя X. встрътилось мнъ еще разъ черезъ годъ. Патріотъ этотъ и боп сітоуен безшумно удалился изъ Франціи, забывши отдать отчетъ тысячамъ небогатыхъ и бъдныхъ людей, вкладчиковъ въ какую-то калифорнскую лотерею, дъйствовавшую подъ нокровительствомъ префектуры! Когда добрый гражданинъ увидъль, что, при всемъ уваженіи къ законамъ своей родины, онъ можетъ поиасть на галеры за faux, тогда онъ предпочелъ имъ нароходъ и убхалъ въ Геную. Это была натура цъльная, нетерявшаяся отъ неудачъ. Онъ воснользовался извъстностью, пріобрътенною исторіей калифорнской лотереи, и тотчасъ предложилъ свои услуги обществу акціонеровъ, составлявшемуся около того времени въ Туринъ, для постройки желъзныхъ дорогъ; видя столь надежнаго человъка, общество посибшило принять его услуги.

Послѣдніе два мѣсяца, проведенные въ Парижѣ, были невыносимы. Я былъ буквально gardé à vue, письма приходили нагло подпечатанныя и днемъ позже. Куда бы я ни шелъ, издали слѣдовала за мной какая-нибудь гнусная фигура, передавая меня

на углу глазомъ другому.

Ненадобно забывать, что это было время пущаго полицейскаго бъщенства. Тупые консерваторы и революціонеры алжирски-ламартиновскаго толка номогали плутамъ и пройдохамъ, окружавшимъ Наполеона, и ему самому въ приготовленіи сътей шпіонства и надзора, чтобъ, растянувши ихъ на всю Францію, въ данную минуту ноймать и задушить по телеграфу, изъ министерства внутреннихъ дълъ и Elysée, всё дъятельныя силы страны. Наполеонъ ловко воснользовался противъ нихъ самихъ врученнымъ ему орудіемъ. Второе декабря—возведеніе полиціи на степень государственной власти.

Никогда нигдъ не было такой политической полиціи, какъ во Франціи со временъ конвента. На это, сверхъ особеннаго насціональнаго влеченія къ полиціи, есть много причинъ. Кром'я Англіи, гдъ полиція не имъеть ничего общаго съ континентальнымъ шпіонствомъ, полиція вездъ окружена вреждебными элементамы и, слъдственно, оставлена на свои силы. Во Франціи, напротивъ, нолиція самое народное учрежденіе; какое бы правительство ни захватило власть въ руки, полиція у него готова, часть народонаселенія будеть ему помогать съ фанатизмомъ и

увлеченіемъ, которые надобно умфрять, а не усиливать, и помогать притомъ всеми страшными средствами частныхъ людей, которыя для полиціи невозможны. Куда скрыться отъ лавочника, дворника, портного, прачки, мясника, сестринаго мужа, братниной жены, особенно въ Парижъ, гдъ живуть не особнякомъ, какъ въ Лондонъ, а въ какихъ-то полининкахъ или ульяхъ, съ общей лъстницей, съ общимъ дворомъ и дворникомъ?

Кондорсе ускользаеть отъ якобинской полиціи и счастливо пробирается до какой-то деревни близъ границы; усталый и измученный, онъ входить въ харчевню, садится передъ огнемъ, грбеть себѣ руки и проситъ кусокъ курицы. Трактирщица, добродушная старушка, большая натріотка, разсуждаетъ такъ: «Онъ въ пыли, стало, пришелъ издалека; онъ спросилъ курицы, стало, у него есть деньги; руки у него бѣлыя, стало, онъ аристомократъ». Иоставивъ курицу въ печь, она идетъ въ другой кабакъ, тамъ засѣдаютъ патріоты: какой-инбудь гражданинъ— Муцій Сцевола, ликвористъ и гражданинъ— Брутъ, Тимолеонъ—портной. Тѣмъ того и надобно, и черезъ десять минутъ одинъ изъ умнѣйшихъ дѣятелей французской революціи въ тюрьмъ и выданъ полиціи—свободы, равенства и братства!

Наполеонъ, пибвшій въ высшей степени полицейскій таланть, едблаль изъ своихъ генераловъ лазутчиковъ и доносчиковъ; налачъ Ліона Фуше основаль цёлую теорію, систему, науку шпіонства—черезъ префектовь, помимо префектовь, черезъ развратныхъ женщинъ и безпорочныхъ лавочницъ, черезъ слугъ и кучеровъ, черезъ лекарей и нарикмахеровъ. Наполеонъ палъ, но оружіе осталось, и не только оружіе, но и оруженосецъ; Фуше перешелъ къ Бурбонамъ, сила шпіонства ничего не потеряла, напротивъ, увеличилась монахами, понами. При Людовикъ Филиниъ, при которомъ подкупъ и нажива сдълались одной изъ нравственныхъ силъ правительства,—половина мъщанства сдълалась его лазутчиками, полицейскимъ хоромъ, къ чему особенно способствовала ихъ служба, сама по себъ полицейская, въ національной гвардіи.

Во время февральской республики образовались три или четыре дъйствительно тайныя полиціи и нъсколько явно-тайныхъ. Была полиція Ледрю-Роллена и полиція Косидьера, была полиція Мараста и полиція временнаго правительства, была полиція порядка и полиція безпорядка, полиція Бонапарта и орлеанская полиція. Всф подематривал и, слъдили другь за другомъ и доносили; положимъ, что доносы дълались съ убъжденіемъ, съ наплучшими цълями, безденежно, но все-же это были доносы... Эта пагубная привычка, встрътившись, съ одной стороны, съ печальными неудачами, а съ другой, съ болъзненной, необузданной жаждой денегь и наслажденій, растлила цълое покольніе.

Ненадобно забывать и то правственное равнодушіс, ту шаткость митній, которыя остались осадкомь оть перемежающихся революцій и реставрацій. Люди привыкли считать сегодня то за геронзмъ и добродътель, за что завтра посылають въ каторжную работу; лавровый вѣнокъ и клеймо палача мѣнялись нѣсколько разъ на одной и той же головъ. Когда къ этому привыкли, нація шиіоновъ была готова.

Вей последнія открытія тайныхь обществь, заговоровь, все доносы на выходцевь сдёланы фальшивыми членами, подкупленными друзьями, людьми, сближавшимися съ цёлью предательства.

Вездѣ бывали примѣры, что трусы, боясь тюрьмы и ссылки. губятъ друзей, открываютъ тайны, —такъ, слабодушный товарищъ погубилъ Конарскаго. Но ни у насъ, ни въ Австріи нѣтъ этого легіона молодыхъ людей, образованныхъ, говорящихъ нашимъ языкомъ, произносящихъ вдохновенныя рѣчи въ клубахъ, иншущихъ революціонныя статейки и служащихъ шпіонами.

Къ тому-же правительство Бонапарта превосходно поставлено, чтобъ пользоваться доносчиками всёхъ партій. Оно представляетъ революцію и реакцію, войну и миръ, 89 годъ и католицизмъ, паденіе Бурбоновъ и 41/2 %. Ему служитъ и Фалу-іезуитъ, и Бильосоціалисть, и Ла-Рошъ Жаксленъ легитимисть, и бездна людей, облагодѣтельствованныхъ Людовикомъ Филиппомъ. Растлѣнное всѣхъ партій и оттѣнковъ и естественно стекаетъ и бродитъ вътюльерійскомъ дворцѣ.

#### ГЛАВА ХЪ.

Европейскій комитеть. — Русскій генеральный консуль въ Иншиь. — Инсьмо къ А. Ө. Орлову.—Преслівдованіе ребенка.—Фотты.—Перечисленіе изъ надворныхъ совізтниковъ въ тягловые крестьяне.—Пріємъ въ Шатель.

(1850 - 1851).

Съ годъ послѣ нашего прівзда въ Ниццу изт-Парижа, я писалъ: "Напрасно радовался я моему тихому удаленію, напрасно чертилъ у дверей монхъ пентаграммъ, я не нашелъ ни желаннаго мира, ни покойной гавани. Пентаграммы защищаютъ отъ нечистыхъ духовъ,—отъ нечистыхъ людей не спасетъ никакой многоугольникъ, развѣ только квадратъ селюлярной тюрьмы.

"Скучное, тяжелое и чрезвычайно пустое время, утомительная дорога между станціей 1848 года и станціей 1852,—поваго ничего, разв'в какое личное несчастіе доломаєть грудь, какоенноўдь колесо жизни разсыплется".

Письма изъ Франціи и Италіи (1 іюня, 1851).

Дъйствительно, перебирая то время, становится больно, какъ бываеть при воспоминании похоронъ, мучительныхъ бользней,

операцій. Не касаясь еще здѣсь до внутренней жизни, которую заволакивали больше и больше темныя тучи, довольно было общихъ происшествій и газетныхъ новостей, чтобъ бѣжать куда-нибудь въ стець. Франція неслась съ быстротой надающей звѣзды къ 2 декабря. Германія лежала у ногъ Николая, куда ее стащила несчастная,проданная Венгрія. Полицейскіе кондотьеры съѣзжались на свои вселенскіе соборы и тайно совѣщались объ общихъ мѣрахъ международнаго шпіонства. Революціонеры продолжали нустую агитацію. Люди, стоявшіе во главѣ движенія, обманутые въ своихъ надеждахъ, теряли голову. Кошутъ возвращался пзъ Америки, утративъ долю своей народности, Маццини заводилъ въ Лондонѣ съ Ледрю-Ролленомъ и Руге центральный европейскій комитетъ... А реакція свирѣпѣла больше и больше.

Послѣ нашей встрѣчи въ Женевѣ, потомъ въ Лозаннѣ, я видѣлся съ Маццини въ 1850 году. Онъ былъ во Франціи тайно, остановился въ какомъ-то аристократическомъ домѣ и присылалъ за мной одного изъ своихъ приближенныхъ. Тутъ онъ говорилъ мнѣ о проектѣ международной юнты въ Лондонѣ и спрашивалъ, желалъ ли бы я участвовать въ ней, какъ русский; я отклонилъ разговоръ. Годъ спустя, въ Ниццѣ, явился ко мнѣ Орсини, отдалъ программу, разныя прокламаціи европейскаго центральнаго комитета и письмо отъ Маццини съ новымъ предложеніемъ. Участвовать въ комитетѣ я и не думалъ; какой же элементъ русской жизни я могъ представитъ тогда, совершенно отрѣзанный отъ всего русскаго? Но эта не была единственная причина, по которой европейскій комитетъ мнѣ былъ не по душѣ. Мнѣ казалось, что въ основѣ его не было ни глубокой мысли, ни единства, ин даже пеобходимости, а форма его была просто ошибочна.

Та сторона *движенія*, которую комитеть представляль, т. е. возстановленіе угнетенныхъ національностей, не была такъ сильна въ 1851 году, чтобъ имъть явно свою юнту. Существованіе такого комитета доказывало только териимость англійскаго законодательства и отчасти то, что министерство не върило въ его силу, иначе оно прихлопнуло бы его, или alien биллемъ, или

предложениемъ пріостановить habeas corpus.

Европейскій комитеть, напугавшій всё правительства, ничего не дѣлалъ, не догадывансь объ этомъ. Самые серьезные людя ужасно легко увлекаются формализмомъ и увѣряютъ себя, что они дѣлаютъ что-нибудь, имѣя періодическія собранія, кипы бумагъ, протоколы, совѣщанія, подавая голоса, принимая рѣшенія, печатая прокламаціи, professions de foi и проч. Революціонная бюрократія точно такъ-же распускаетъ дѣла въ слова и формы, какъ наша канцелярская. Въ Англіи пропасть разныхъ ассоціацій, имѣющихъ торжественныя собранія, на которыя являются

герцоги и лорды, клержимены и секретари. Казначеи собирають деньги, литераторы пишуть статьи, и всё вмёстё рёшительно ничего не дёлають. Собранія эти, большей частью филантропическія и религіозныя, съ одной стороны, служать развлеченіемъ, а, съ другой, примиряють христіанскую сов'єсть людей, преданныхъ св'єтскимъ интересамъ. Но такого кроткаго и мирнаго характера не могь представлять въ Лондон'в революціонный сенать еп регшапенсе. Это былъ гласный заговоръ, заговоръ съ открытыми

дверями, то есть, невозможный.

Другая ошибка или другое несчастіе комптета состояло въ отсутствін единства. Это собраніє въ одинъ фокусь разнородныхъ стремленій могло только въ дъйствительномъ единствъ развить составную силу. Если-бъ каждый, входя въ комитетъ, вносиль только свою исключительную національность, это не мъщало бы еще; у нихъ было бы единство ненависти къ одному главному врагу, къ священному союзу. Но воззрѣнія ихъ, согласныя въ отрицательныхъ принципахъ, въ остальномъ были различны; для ихъ единства были необходимы уступки, а этого рода уступки оскорбляютъ одностороннюю силу каждаго, подвязывая именю тъ струны для общаго аккорда, которыя звучатъ всего рѣзче, оставляя стертой, мутной и колеблющейся сводную гармонію.

Прочитавъ бумаги, которыя привезъ Орсини, я написалъ къ Мацини слъдующее письмо:

Ницца. 13 сентября, 1850.

«Любезный Маццини! Я вась уважаю искренно, и потому не боюсь откровенно высказать вамъ мое миѣніе. Во всякомъ случаѣ, вы меня выслушаете териѣливо и списходительно.

«Вы чуть ли не одинь изъ главныхъ политическихъ дъятетелей послъдняго времени, имя котораго осталось окружено сочувствіемъ и уваженіемъ. Можно не соглашаться съ вами въ мнъніяхъ, въ образъ дъйствія, но не уважать васъ нельзя. Ваше прошедшее, Римъ 1848 и 1849 годовъ, обязываютъ васъ гордо нести великое вдовство до тъхъ поръ, пока событія снова позовутъ предупредившаго ихъ бойца. Потому-то мнъ и больно видъть имя ваше вмъстъ съ именами людей неспособныхъ, испортившихъ все дъло, съ именами, которыя намъ только напоминаютъ бъдствія, обрушенныя ими на насъ.

«Какая тутъ можетъ быть организація?—это одно смъщеніе.

«Ни вамъ, ни исторіи эти люди не нужны, все, что для нихъ можно сдѣлать,—это отпустить имъ ихъ прегрѣшенія. Вы ихъ хотите покрыть вашимъ именемъ, вы хотите раздѣлить съ ними

ваше вліяніе, ваше прошедшее; они раздёлять съ вами свою не-

популярность, свое прошедшее.

«Что новаго въ прокламаціяхъ, что въ Proscrit? Гдѣ слѣды грозныхъ уроковъ послѣ 24 февраля? Это продолжение прежняго либерализма, а не начало новой свободы, -- это эпилогъ, а не прологъ. Почему нътъ въ Лондонъ той организаціи, которую вы желаете? Потому что нельзя устроиваться на основании неопредъленныхъ стремленій, а только на глубокой и общей мысли;—

по гдѣ же она?

«Первая публикація, дёлаемая при такихъ условіяхъ, какъ присланная вами прокламація, должна была быть исполнена пскренности, ну, а кто же можетъ прочесть безъ улыбки имя Арнольда Руге подъ прокламаціей, говорящей во имя божественнаго Провидънія. Руге проповъдывалъ съ 1838 года философскій атензмъ, для него (если голова его устроена логически) идея Провиденія должна представлять въ зародыше всё реакціп. Это уступка, дипломатія, политика, оружія нашихъ враговъ. Къ тому же все это ненужно. Богословская часть прокламаціпчистая роскошь, она ничего не прибавляеть ни къ разумънію, ни къ популярности. Народъ имбетъ положительную религію и церковь. Деизмъ-религія раціоналистовъ, представительная система, приложенная къ въръ, религія, окруженная атенстическими учрежденіями.

«Я, съ своей стороны, проповёдую полный разрывъ съ неполными революціонерами, отъ нихъ на двъсти шаговъ въетъ реакціей. Нагрузпвъ себѣ на плечи тысячи ошибокъ, они ихъ до сихъ поръ оправдывають; лучшее доказательство, что они ихъ повто-

JTRU

«Въ Nouveau Monde тотъ же vacuum horrendum, печальное пережевываніе пищи, вибсті зеленой и сухой, которая все-таки

не переваривается.

«Пожалуйста, не думайте, что я это говорю для того, чтобъ отклонять отъ дъла. Нътъ, я не сижу сложа руки. У меня еще слишкомъ много крови въ жилахъ и энергіи въ характеръ, чтобъ удовлетвориться ролью страдательнаго зрителя. Съ тринадцати лътъ я служилъ одной идеъ и былъ подъ однимъ знаменемъвойны противъ всякой втъсняемой власти, противъ всякой неволи, во имя безусловной независимости лица. Мнт хот пось бы продолжать мою маленькую, партпзанскую войну-настоящимъ казакомъ..., auf eigene Faust, какъ говорятъ нѣмцы, при большой революціонной армін, не вступая въ правильные кадры ся, пока они совстыть не преобразуются.

«Въ ожиданіи этого—я пишу. Можеть, это ожиданіе продолжится долго, не отъ меня зависить измѣненіе капризнаго людского развитія; но говорить, обращать, уб'єждать зависить отъ меня,—и я это д'єлаю отъ всей души, и отъ всего помышленія.

«Простите миж, любезный Мацини, и откровенность, и длину моего письма и не переставайте ни любить меня немного, ни считать человъкомъ, преданнымъ вашему дълу,—но тоже преданнымъ и своимъ убъжденіямъ».

На это письмо Маццини отв'явалъ н'ёсколькими дружескими строками, въ которыхъ, не касаясь сущности, говорилъ о необходимости соединенія вс'ёхъ силъ въ одно единое д'ёйствіе, грустилъ о разномысліп ихъ и пр.

Въ ту же осень, въ которую меня вспомнилъ Маццини и европейскій комитеть, вспомниль меня, наконецъ, и противоевропейскій комитеть.

Однимъ утромъ горинчная наша, съ нѣсколько озабоченнымъ видомъ, сказала мнѣ, что русскій консулъ внизу и спрашиваетъ, могу ли я его принять. Я до того уже считалъ поконченными мон отношенія съ русскимъ правительствомъ, что самъ удивился такой чести и не могъ догадаться, что ему отъ меня надобно.

Вошла какая-то офиціальная, германски-канцелярская фигура второго порядка.

- Я имъю вамъ сдълать сообщение.
- Несмотря на то, отвъчалъ я, что я не знаю вовсе какого рода, я почти увъренъ, что оно будетъ непріятное. Прошу садиться.

Консулъ покраснѣлъ, нѣсколько смѣшался, потомъ сѣлъ на диванъ, вынулъ изъ кармана бумагу, развернулъ и, прочитавши: «Генералъ-адъютантъ графъ Орловъ сообщилъ графу Нессельроде, чтобы такой-то немедленно возвратился, о чемъ ему объявить, не принимая отъ него никакихъ причинъ, которыя могли бы замедлить его отъѣздъ, и не давая ему ни въ какомъ случаѣ отсрочки»,— онъ замолчалъ.

Я продолжалъ не говорить ни слова.

- Что-же мнъ отвъчать? спросиль онъ, складывая бумагу.
- Что я не поъду.
- Какъ не поъдете?
- Такъ-таки просто не потду.
- Вы обдумали ли, что такой шагъ...
- Обдуналъ.
- Да какъ же это... Позвольте, что же я напишу?—по какой причинѣ:..
  - Вамъ не велъно принимать никакихъ причинъ.
  - Какъ же я скажу, въдь, это ослушание?
  - Такъ и скажите.
  - Это невозможно, я никогда не осмфлюсь написать это, п

онъ еще больше покраснълъ. Право, лучше было бы вамъ измънить ваше ръшеніе, пока все это еще келейно.

Какъ я ни человъколюбивъ, но, для облегченія переписки генеральнаго консула въ Ниццъ, не хотъль ъхать въ Петропавлов-

скія кельи отца Леонтія или въ Нерчинскъ.

— Неужели, сказаль я ему, когда вы шли сюда, вы могли хоть одну секунду предполагать, что я побду? Забудьте, что вы консуль, и разсудите сами. Имѣнье мое секвестровано, капиталь моей матери быль задержань, и все это не спрашивая меня, хочу ли я возвратиться. Могу ли же я послѣ этого ѣхать, не сойдя съ ума?

Онъ мялся, постоянно краснълъ и, наконецъ, попалъ на лов-

кую, умную и, главное, новую мысль.

— Я не могу, сказалъ онъ, вступать... я понимаю затруднительное положеніе, съ другой стороны милосердіе!—Сверхъ того, зачёмъ же вамъ отръзывать себъ всъ пути, вы напишите мнѣ, что вы очень больны, я отошлю къ графу.

— Это ужъ слишкомъ старо, да и на что же безъ нужды го-

ворить неправду.

- Ну, такъ ужъ потрудитесь написать мнѣ письменный отвътъ.
- Пожалуй. Вы мнъ не оставите ли копіи съ бумаги, которую читали?
  - У насъ этого не дълается.

— Жаль.

Какъ ни былъ простъ мой письменный отвътъ, консулъ всеже перепутался: ему казалось, что его переведутъ за него, не знаю, куда-нибудь въ Бейрутъ или въ Триполи; онъ рѣшительно объявилъ мнѣ, что ни принятъ, ни сообщить его никогда не осмѣлится. Какъ я его ни убѣждалъ, что на него не можетъ настъ никакой отвѣтственности, онъ не соглашался и просилъ меня написатъ другое письмо.

— Это невозможно, возразилъ я ему, я не шучу этимъ шагомъ и вздорныхъ причинъ писать не стану: вотъ вамъ письмо и дъ-

лайте съ нимъ, что хотите.

— Позвольте, говориль самый кроткій консуль изъ всѣхъ, бывшихъ послѣ Юнія Брута и Калпурнія Бестіи, вы письмо это напишите не ко мнѣ, а къ графу Орлову, я же только сообщу его канцлеру.

— Дъло не трудное, стоитъ поставить M. le comte, вийсто M.

le consul: на это я согласенъ.

Переписывая мое письмо, мнѣ пришло въ голову, для чего же это я пишу Орлову по-французски. А потому я перевель письмо; вотъ оно:

### «М. Г.

# Графъ Алексъй Өедоровичъ!

«Императорскій консуль въ Ниццѣ сообщиль мнѣ о моемъ возвращеніи въ Россію. При всемъ желаніи, я нахожусь въ невозможности исполнить, не приведя въ ясность моего положенія.

«Прежде всякаго вызова, болбе года тому назадъ положено было запрещене на мое имбнье, отобраны дбловыя бумаги, находившіяся въ частныхъ рукахъ, наконецъ, захвачены деньги, 10,000 фр., высланные мнб изъ Москвы. Такія строгія и чрезвычайныя мбры противъ меня показываютъ, что я не только въ чемъ-то обвиняемъ, но что прежде всякаго вопроса, всякаго суда признанъ виновнымъ и наказанъ—лишеніемъ части моихъ средствъ.

«Я не могу падъяться, чтобъ одно возвращение мое могло меня спасти отъ печальныхъ послъдствій политическаго процесса. Митъ легко объяснить каждое изъ моихъ дъйствій, но въ процессахъ этого рода судятъ митьнія, теоріп; на нихъ основываютъ приговоры. Могу ли я, долженъ ли я подвергать себя и все мое семейство такому процессу...

«В. С. оцѣните простоту и откровенность моего отвѣта и повергнете на высочайшее разсмотрѣніе причины, заставляющія меня остаться въ чужихъ краяхъ, несмотря на мое искреннее и глубокое желаніе возвратиться на родину.»

Ницца, 23 сентября, 1850.

Я дъйствительно не знаю, возможно ли было скромнъе и проще отвъчать; но это письмо консулъ въ Ниццъ счелъ чудовищно-дерзкимъ, да въроятно и самъ Орловъ также.

Отдёлавшись отъ консула, мнё захотёлось выйти изъ категоріи безпаспортныхъ.

Будущее было темно, печально... Я могъ умереть, и мысль. что тоть же краснъющій консуль явится распоряжаться въ домъ, захватить бумаги, заставляла меня думать о полученіи гдѣ-нибудь правъ гражданства. Само собою разумѣется, что я выбралъ Швейцарію, несмотря на то, что именно около этого времени въ Швейцаріи сдѣлали мнѣ полицейскую шалость.

Съ годъ послѣ рожденія моего второго сына, мы съ ужасомъ замѣтили, что онъ совершенно глухъ. Разные консультаціи и опыты скоро доказали, что возбудить слухъ было невозможно. Но тутъ явился вопросъ, слѣдовало ли его оставить, какъ это всегда дѣлаютъ, нѣмымъ. Школы, которыя я видѣлъ въ Москвѣ, далеко не удовлетворяли меня. Разговоръ пальцами и знаками не есть разговоръ, говорить надобно ртомъ и губами. По книгамъ я зналъ, что въ

Германіи и въ Швейцаріи дълали опыты учить глухоньмыхь говорить, какъ мы говоримь, и слушать, смотря на губы. Въ Берлинъ я видъль въ первый разъ оральное преподаваніе глухоньмымъ и слышаль, какъ ови декламировали стихи. Это огромный шагъ впередъ отъ методы аббата Лепе. Въ Цюрихъ это ученіе доведено до большого совершенства. Моя мать, страстно любившая Колю, ръшилась поселиться съ нимъ на нъсколько льтъ въ Цюрихъ, чтобы посылать его въ школу.

Ребенокъ этотъ былъ одаренъ необыкновенными способностями: въчная тишина вокругъ него, сосредоточивая его живой, порывистый характеръ, славно помогала его развитно и вмъстъ съ тъмъ изощряла необычайно пластическую наблюдательность: глазенки его горъли умомъ и вниманіемъ; ияти лътъ онъ умълъ дразнить намъренно-карикатурно всъхъ приходившихъ къ намъ, съ такимъ

комическихъ тактомъ, что нельзя было не смъяться.

Въ полгода онъ сдёлалъ въ школе больше усивхи. Его голосъ былъ voilé; онъ мало обозначалъ ударенія, но уже говориль очень порядочно по-нёмецки и понималь все, что ему говорили съ разстановкой; все шло какъ нельзя лучше; пробъжая черезъ Цюрихъ, я благодарилъ директора п совётъ, дёлалъ имъ разныя

любезности, они мнф.

Но послѣ моего отъѣзда, старѣйшины города Цюриха узнали, что я вовсе не русскій графъ, а русскій эмигрантъ и, къ тому же, пріятель съ радикальной партіей, которую они терпъть не могли, да еще и съ соціалистами, которыхъ они ненавидёли, и, что хуже всего этого вийстй, что я человйкъ не религіозный п открыто признаюсь въ этомъ. Послъднее они вычитали въ ужасной книжкъ: Von andern Ufer, вышедшей, какъ на смъхъ, у нихъ подъ носомъ, изъ лучшей цюрихской типографіи. Узнавъ это, пиъ стало совъстно, что они даютъ воспитание сыну человъка, не върящаго ни по Лютеру, ни по Лойолъ, и они принялись пскать средствь, чтобъ сбыть его съ рукъ. Городская полиція вдругъ потребовала паспорти ребенка; я отвёчалъ изъ Парижа, думая, что это простая формальность, что Коля дёйствительно мой сынъ, что онъ означенъ на мосмъ паспортъ, но что особаго вида я не могу взять изъ русскаго посольства, находясь съ нимъ не въ самыхъ лучшихъ сношеніяхъ. Полиція не удовлетворилась и грозила выслать ребенка изъ школы и изъ города. Я разсказаль это въ Парижъ, кто-то изъ моихъ знакомыхъ напечаталъ объ этомъ въ National'ъ. Устыдившись гласности, полиція сказала, что она не требуеть высылки, а только какую-то ничтожную сумму денегъ въ обезнечение (caution), что ребенокъ не кто-нибудь другой, а онъ самъ. Какое же обезисчение ифсколько сотъ франковъ? А, съ другой стороны, если-бъ у моей матери и у меня не было ихъ.

такъ ребенка выслали бы (я спрашивалъ ихъ объ этомъ черезъ «National»)? И это могло быть въ XLX столътіи, въ свободной Швейцаріи! Послъ случившагося мнъ было противно оставлять ребенка въ этой ослиной пещеръ.

Но что же было дѣлать? Лучшій учитель въ заведеніи, молодой человѣкъ, отдавшійся съ увлеченіемъ педагогія глухонѣмыхъ, человѣкъ съ основательнымъ университетскимъ образованіемъ, по счастію, не дѣлилъмнѣній полицейскаго синхедріона и былъ большой почитатель именно той книги, за которую разсвирѣйѣли благочестивые квартальные Цюрихскаго кантона. Мы предложили ему оставить школу и перейти въ домъ моей матери, съ тѣмъ, чтобы ѣхать съ ней въ Италію. Онъ, разумѣется, согласился. Институтъ взоѣсился, но дѣлать было нечего. Мать моя съ Колей и Шпильманомъ отправились въ Ниццу. Передъ отъѣздомъ она послала за своимъ залогомъ, ей его не выдали, подъ предлогомъ, что Коля еще въ Швейцаріи. Я написалъ изъ Ниццы. Цюрихская полиція потребовала свѣдѣній: имѣетъ ли Коля законное право жить въ Піемонтѣ.

Это было уже слишкомъ, и я написалъ слъдующее письмо къ президенту Цюрихскаго кантона:

## «Г. Президентъ!

«Въ 1849 я помъстилъ моего сына, пяти лъть отъ роду, въ цюрихскій институтъ глухо-ньмыхъ. Черезъ ньсколько мъсяцевъ цюрихская полиція потребовала у моей матери его паспортъ. Такъ какъ у насъ не спрашиваютъ ни у новорожденныхъ, ни у дътей, ходящихъ въ школу, паспортовъ, то сынъ мой и не имълъ отдъльнаго вида, а былъ помъщенъ на моемъ. Это объясненіе не удовлетворило цюрихскую полицію. Она потребовала залогъ. Моя мать, боясь, что ребенка, навлекшаго на себя столько опасливаго подозрѣнія со стороны цюрихской полиціи, вышлютъ,—внесла его.

«Въ августъ 1850 г., желая оставить Швейцарію, моя мать потребовала залогъ, но цюрихская полиція его не отдала; она хотъла прежде узнать о дъйствительномъ отъъздъ ребенка изъ кантона. Прітхавъ въ Ниццу, моя мать просила гг. Авигдора и Шултгеса получить деньги, при чемъ она приложила свидътельство о томъ, что мы и, главное, шестилътній и подозрительный сынъ мой находимся въ Ниццъ, а не въ Цюрихъ. Цюрихская полиція, тугая на отдачу залога, потребовала тогда другого свидътельства, въ которомъ здъшняя полиція должна была засвидътельствовать, «что сыну моему офиціально позволяется жить въ Піемонтъ» (que l'enfant est officielement toleré). Г. Шултгесъ сообщилъ это г. Лвигдору.

«Видя такое эксцентрическое любопытство цюрихской полиціи.

я отказался отъ предложенія г. Авигдора послать новое свидътельство, которое онъ очень любезно предложилъ мнѣ самъвзять. Я не хотѣлъ доставить этого удовольствія цюрихской полиціи, потому что она, при всей важности своего положенія, всеже не имѣетъ права ставить себя полиціей международной, и потому еще, что требованіе ея не только обидно для меня. но в пля Піемонта.

«Сардинское правительство, господинъ Президентъ, правительство образованное и свободное. Какъ же возможно, чтобъ оно не дозволило жить (ne tolerât pas) въ Піемонтѣ больному ребенку шести лѣтъ? Я дѣйствительно не знаю, какъ мнѣ считать этотъ запросъ цюрихской полиціи: за странную шутку или за слѣд-

ствіе пристрастія къ залогамъ вообще.

«Представляя на ваше разсмотрѣніе, г. Президентъ, это дѣло, я буду васъ просить, какъ особеннаго одолженія, въ случаѣ новаго отказа, объяснить мнѣ это происшествіе, которое слишкомъ любопытно и интересно, чтобъ я считаль себя въ правѣ скрыть его отъ общаго свѣдѣнія.

«Я снова писаль къ г. Шултгесу о полученіи денегь и могу вась сміло увірить, что ни моя мать, ни я, ни подозрительный ребенокъ, не иміємь ни мальйнаго желанія, послів всіхъ полицейскихъ непріятностей, возвращаться въ Цюрихъ. Съ этой стороны ність ни тіни опосности».

Ницца, 9 сентября, 1850.

Само собою разумѣется, что послѣ этого полиція города Цюриха, несмотря на вселенскія притязанія, выплатила залогь.

... Кромъ Швейцарской натурализін, я не приняль бы въ Европъ никакой, ни даже англійской; поступить добровольно въ подданство чье бы то ни было было мнѣ противно; хотъль я выйти изъ кръпостного состоянія въ свободные хлѣбопащцы. Для этого предстояли двъ страны: Америка и Швейцарія.

Америка—я ее очень уважаю, втрю, что она призвана къ великому будущему, знаю, что она теперь вдвое ближе къ Европт, чтомъ была, но американская жизнь мит антипатична. Весьма втроятно, что изъ угловатыхъ, грубыхъ, сухихъ элементовъ ея сложится иной бытъ. Америка не приняла осталости, она не достроена, въ ней работники и мастеровые въ будничномъ илатът таскаютъ бревна, таскаютъ каменья, пилятъ, рубятъ, приколачиваютъ... Зачти же постороннему обживать ея сырое здане?

Сверхъ того, Америка, какъ сказалъ Гарибальди, «страна забвенія родины»; пусть же въ нее ъдуть тѣ, которые не пмъютъ въры въ свое отечество, они должны ъхать съ своихъ кладбищъ:

совсёмь напротивь, по мере того, какъ я утрачиваль все надежды на романо-германскую Европу, вера въ Россію снова возрождалась, но думать о возвращеніи было бы безуміємь.

Итакъ, оставалось вступить въ союзъ съ свободными людьми

Гельветической конфедераціп.

Фази, еще въ 1849 году, объщалъ меня натурализировать въ Женевъ, но все оттягивалъ дъло; можетъ, ему просто не хотълось прибавить мною число соціалистовъ въ своемъ кантонъ. Мнъ это надоъло, приходилось переживать черное время, послъднія стъны покривились, могли рухнуть на голову, долго ли до бъды... Карлъ фогтъ предложилъ мнъ списаться о моей натурализаціи съ Ю. Шаллеромъ, который былъ тогда президентомъ Фрибургскаго кантона и главою тамошней радикальной партіи.

Но, назвавши Фогта, прежде всего надобно поговорить о немъ

самомъ.

Въ однообразной, мелко и тихо текущей жизни германской встръчаются иногда, какъ бы на выкупъ ей, здоровыя, коренастыя семьи, исполненныя силы, упорства, талантовъ. Одно покольніе даровитыхъ людей смыняется другимь многочисленныйнимъ, сохраняя изъ рода въ родъ дюжесть ума и тъла. Глядя на какой-нибудь невзрачный, старинной архитектуры домъ въ узкомъ, темномъ переулкъ, трудно представить себъ, сколько въ продолжение ста лътъ сошло по стоптаннымъ каменнымъ ступенькамъ его лъстницы молодыхъ парней съ котомкой за плечами, съ всевозможными сувенирами изъ волосъ и сорванныхъ цвътовъ въ котомкъ, благословляемые на путь слезами матери и сестеръ... и пошли въ міръ, оставленные на однѣ свои силы, и сдёлались извёстными мужами науки, знаменитыми докторами, натуралистами, литераторами. А домикъ, крытый череницей, въ ихъ отсутствіе опять наполнялся новымъ поколініемъ студентовъ, рвущихся грудью впередъ въ неизвъстную будущность.

За неимѣніемъ другого, туть есть наслѣдство примѣра, наслѣдство фибрина. Каждый начипаетъ самъ и знаетъ, что придетъ время, и его выпроводить старушка бабушка по стоитанной каменной лѣстницѣ, бабушка, принявшая своими руками въжизнь три поколѣнія, мывшая ихъ въ маленькой ваннѣ и отпускавшая ихъ съ полною надеждой; онъ знаетъ, что гордая старушка увѣрена и въ немъ, увѣрена, что и изъ него выйдетъ чтонибудь... и выйдетъ непремѣню!

Dann und wann, черезъ много лътъ, все это разсъянное население побываетъ въ старомъ домикъ, всъ эти состарившиеся оригиналы портретовъ, висящихъ въ маленькой гостиной, гдъ они представлены въ студенческихъ беретахъ, завернутые въ плащи, сърембрандтовскимъ притязаниемъ со стороны живописца,—

въ домъ тогда становится суетливъе, два поколънія знакомятся, сближаются... и потомъ опять все пдеть на трудъ. Разумъется, что при этомъ кто-нибудь непремънно въ кого-нибудь хроническивлюбленъ, разумъется, что дъло не обходится безъ сентиментальности, слезъ, сюрпризовъ и сладкихъ пирожковъ съ вареньемъ, но все это заглаживается той реальной, чисто жизненной поэзіей съ мышцами и силой, которую я ръдко встръчалъ въ выродившихся, рахитическихъ дътяхъ аристократіи и еще менъе у мъщанства, строго соразмъряющаго число дътей съ приходо-расходной книгой.

Вотъ къ этимъ-то благословеннымъ семьямъ древне-герман-

скимъ принадлежитъ родительскій домь Фогта.

Отецъ Фогта чрезвычайно даровитый профессоръ медицины въ Бернѣ; мать—изъ рода Фолленовъ, изъ этой эксцентрической, нѣкогда надѣлавшей большого шума, швейцарско-германской семьи. Фоллены являются главами юной Германіи въ эпоху тугендбундовъ и буршеншафтовъ, Карла Занда и политическаго Schwärmerei 17 и 18 годовъ. Одинъ Фолленъ былъ брошенъ въ тюрьму за Ватбургскій праздникъ въ память Лютера: онъ произнесъ дѣйствительно зажигательную рѣчь, вслѣдъ за которою сжегъ на кострѣ іезуитскія и реакціонныя книги, всякіе символы панской власти. Студенты мечтали сдѣлать его императоромъ единой и нераздѣльной Германіи. Его внукъ, Карлъ Фогть, въ самомъ дѣлѣ быль однимъ изъ викаріевъ имперіи въ 1849 году.

Здоровая кровь должна была течь въ жилахъ сына бернскаго профессора, внука Фолленовъ. А въдь, ан bout du compte, все зависитъ отъ химическаго соединенія, да отъ качества элементовъ. Не Карлъ Фогтъ станетъ со миой спорить объ этомъ.

Въ 1851 г. я былъ протвадомъ въ Бернт. Прямо изъ почтовой кареты я отправился къ Фогтову отцу съ письмомъ сына. Онъ быль въ университетъ. Меня встрътила его жена, радушная, веселая, чрезвычайно умная старушка; она меня приняла какъ друга своего сына и тотчасъ новела показывать его портреть. Мужа она не ждала ранъе 6 часовъ; мнъ его очень хотълось видъть, я возвратился, но онъ уже убхалъ на какую-то консультацію къ больному. Второй разъ старушка встрѣтила меня уже какъ стараго знакомаго и новела въ столовую, желая, чтобъ я вышилъ рюмку вина. Одна часть комнаты была занята большимъ круглымъ столомъ, неподвижно прикръпленнымъ къ полу; объ этомъ столь я уже давно слышаль отъ Фогта, и потому очень радъ былъ лично познакомиться съ нимъ. Внутренняя часть его двигалась около оси, на нее ставили разные припасы: кофе, вино и все нужное для бды, тарелки, горчицу, соль, такъ что, не безнокоя никого и безъ прислуги, каждый привертывалъ къ себъ что хотълъ, ветчину или варенье. Только ненадобно было задумываться или много говорить, а то виъсто горчицы можно было попасть ложкой въ сахаръ... если кто-нибудь повертывалъ дискъ. Въ этомъ населеніи братьевъ и сестеръ, короткихъ знакомыхъ и родныхъ, гдѣ всѣ были заняты розно, срочно, общій объдъ вечеромъ было трудно устроить. Кто приходилъ и кому хотълось ъсть, тотъ садился за столъ, вертъть его направо, вертъть его налъво, и управлялся какъ нельзя лучше. Мать и сестры надсматривали, приказывали приносить того или другого.

Остаться у нихъ я не могъ; ко мнъ вечеромъ хотъли пріъхать Фази и Шаллеръ, бывше тогда въ Бернъ; я объщалъ, если пробуду еще полдня, зайти къ Фогтамъ и, пригласивни меньшаго брата, юриста, къ себъ ужинать, пошелъ домой. Звать старика такъ поздно и послъ такого дня, я не счелъ возможпымъ. Но около двънадцати часовъ гарсонъ, почтительно отворяя двери передъ къмъ-то, возвъстилъ намъ: Der Herr Professor Vogt,—я всталъ изъ-за стола и пошелъ къ нему навстръчу.

Вошель старикъ довольно высокаго роста, съ умнымъ, выра-

зительнымъ лицемъ, превосходно сохранившійся.

— Ваше посъщение, сказаль я ему, мит вдвойнт дорого, я

не смыть васъ звать такъ поздно, послъ вашихъ трудовъ.

— А я не хотълъ васъ пропустить черезъ Бернъ, не увидавшись съ вами. Услышавъ, что вы были у насъ два раза и что вы пригласили Густава, я пригласилъ самъ себя. Очень, очень радъ, что вижу васъ, то... что Карлъ о васъ пишетъ, да и безъ комилиментовъ, я хотълъ познакомиться съ авторомъ «Съ того берега».

— Душевно благодарю васъ; вотъ мъсто, садитесь съ нами,

у насъ ужинъ во всемъ разгаръ, что вамъ угодно?

— Я не буду ъсть, но рюмку вина выпью съ удовольствіемъ.

Въ его видѣ, словахъ, движеніяхъ было столько непринужденности, вмѣстѣ—не съ тѣмъ добродушіемъ, которое имѣютъ люди вялые, прѣсные и чувствительные,—а именно съ добродушіемъ людей сильныхъ и увѣренныхъ въ себѣ. Его появленіе нисколько не стѣснило насъ, напротивъ, все пошло живѣе.

Разговорь переходиль оть предмета къ предмету, вездѣ, во всемъ онъ былъ дома, уменъ, eveillé, оригиналенъ. Рѣчь зашла какъ-то о федеральномъ концертѣ, который давался утромъ въ бернскомъ соборѣ, и на которомъ были всѣ, кромѣ Фогта. Концертъ былъ гигантскій, со всей Швейцаріи съѣхались музыканты, пѣвцы и пѣвицы для участія въ немъ. Музыка, разумѣется, была духовная. Съ талантомъ и пониманіемъ исполнили они знаменитое твореніе Гайдена. Публика была внимательна, но холодна,

она шла изъ собора, какъ идутъ отъ обѣдни; не знаю, насколько было благочестія, но увлеченія не было. Я то же испыталъ на самомъ себѣ. Въ припадкѣ откровенности, я сказалъ это знакомымъ, съ которыми выходилъ; по несчастію, это были правовѣрные, ученые, горячіе музыканты, они напали на меня, объявили меня профаномъ, не умѣющимъ слушатъ музыку, глубокую, серьезную. «Вамъ только нравятся мазурки Шопена», говорили они. Въ этомъ еще нѣтъ бѣды, думалъ я, но, считая себя все же несостоятельнымъ судьей, замолчалъ.

Надобно имъть много храбрости, чтобъ признаться въ такихъ впечатлъніяхъ, которыя противоръчать общепринятому предразсудку или мнънію. Я долго не ръшался при постороннихъ сказать, что «Освобожденный Іерусалимъ»—скученъ, что «Новую Элопзу»—я не могъ дочитать до конца, что «Германъ и Доротея»— произведеніе мастерское, но утомляющее до противности. Я сказаль что-то въ этомъ родъ Фогту, разсказывая ему мое замъчаніе о концертъ.

— А что, спросиль онъ, Моцарта вы любите?

— Чрезвычайно, безъ всякихъ границъ.

— Я зналъ это, потому что я вполнъ вамъ сочувствую. Какъ же это возможно, чтобъ живой, современный человъкъ могъ себя такъ искусственно натянуть на религіозное настроеніе, чтобъ наслаждение его было естественно и полно. Для насъ такъ же нъть піэтистической музыки, какъ нътъ духовной литературы, она для нась имбеть смысль историческій. У Моцарта, напротивъ, звучить намъ знакомая жизнь, онъ поетъ отъ избытка чувства, страсти, а не молится. Я помню, когда Don-Giovani, когда Nozze di Figaro были новостію, что это былъ за восторгъ, что за откровеніе новаго источника наслажденій! Моцартова музыка сдблала эпоху, перевороть въ умахъ, какъ Гётевъ Фаустъ, какъ 1789 годъ. Мы видъли въ его произведеніяхъ, какъ свътская мысль XVIII-го стольтія съ своей секуляризаціей жизни вторгалась въ музыку; съ Моцартомъ революція и новый вікъ вошли въ искусство. Ну, какъ же намъ послъ Фауста читать Клонштока и безъ вфры слушать эти литургін въ музыкь?...

Долго и необыкновенно занимательно говорилъ старикъ, онъ одушевился, я налилъ еще раза два вина въ его бокалъ, онъ не отказывался и не торопился нить. Наконецъ, онъ посмотрѣлъ на часы:—«Ба, ужъ два часа, прощайте, мнѣ въ девять надобно быть у больного».

Я съ истинной дружбой проводиль его.

Два года спустя, онъ доказалъ, какъ много энергін въ его сфдой головѣ, и какъ его теорін— $npae\partial a$ , т. е. какъ онѣ близки къ практикѣ. Вѣнскій рефюжье, докторъ Кудлихъ, посватался за одну изъ дочерей Фогта; отецъ быль согласенъ, но вдругъ протестантская консисторія потребовала метрическія свидѣтельства жениха. Разумѣется, ему, какъ изгнаннику, ничего нельзя было достать изъ Австріи, и онъ представиль приговоръ, по которому быль осужденъ заочно; одного свидѣтельства Фогта и его дозволенія было бы достаточно для консисторіи, но бернскіе піэтисты, по инстинкту ненавидѣвшіе Фогта и всѣхъ изгнанниковъ, уперлись. Тогда фогть собралъ всѣхъ своихъ друзей, профессоровъ и разныя бернскія знаменитости, разсказалъ имъ дѣло, потомъ позвалъ свою дочь и Кудлиха, взяль ихъ руки, соединиль и сказалъ присутствовавшимъ: «Васъ, друзья, беру въ свидѣтели, что я, какъ отецъ, благословляю этотъ бракъ и отдаю мою дочь, но ея желанію, за такого-то».

Поступокъ этотъ ошеломиль піэтистическое общество въ Швейцаріп; оно съ негодованіемъ д ужасомъ взглянуло на этотъ антецедентъ, сдъланный не горячимъ юношей, не бездомнымъ изгнанникомъ, а старцемъ безукоризненнымъ и уважаемымъ всеми.

Теперь отъ отца перейдемте къ его старшему сыну.

Я съ нимъ познакомился въ 1847 году у Бакунина, но особенно сблизились мы въ два года нашей жизни въ Ниццъ. Это не только свётлый умъ, но и самый свётлый нравъ изъ всёхъ видънныхъ мною. Я счетъ бы его за очень счастливаго человъка, если-бъзналъ, что онъ недолго проживетъ; но на судьбу полагаться нечего, хотя она его и щадила до сихъ поръ, донимая только одними мигренями. Его патура реальная, живая, всему раскрытая-питеть многое, чтобъ наслаждаться, все, чтобъ никогда не скучать, и почти ничего, чтобъ мучиться внутренно, разъбдать себя недовольной мыслію, страдать теоретически-сомнъніемъ п практически-тоской по несбывшимся мечтамъ. Страстный поклонникъ красотъ природы, неутомимый работникъ въ наукъ, онъ все дълалъ необыкновенно легко и удачно; вовсе не сухой ученый, а художникь въ своемъ деле, онъ имъ наслаждался; радикалъ-по темпераменту, реалистъ-по организаціи и гуманный человъкъ-по ясному и добродушно проническому взгляду, онъ жилъ именно въ той жизненной средъ, къ которой единственно идутъ Дантовскія слова: «Qui e l'uomo felice».

Онъ прожилъ жизнь дѣятельно и беззаботно, нигдѣ не отставая, вездѣ въ нервомъ ряду; не боясь горькихъ истинъ, онъ такъ же пристально всматривался въ людей, какъ въ полипы и медузы, ничего не требуя ни отъ тѣхъ, ни отъ другихъ, кромѣ того, что они могутъ дать. Онъ не поверхностно изучалъ, но не чувствовалъ потребности переходить извѣстную глубину, за которой и оканчивается все свѣтлое, и которая, въ сущности, представляетъ своего рода выходъ изъ дѣйствительности. Его не манило въ

тѣ нервные омуты, въ которыхъ люди упиваются страданіями. Простое и ясное отношеніе къ жизни исключало изъ его здороваго взгляда ту поэзію печальныхъ восторговъ и болѣзненнаго юмора, которую мы любимъ, какъ все потрясающее и ѣдкое. Его пронія, какъ я замѣтилъ, была добродушна, его насмѣшка весела; онъ смѣялся первый и отъ души своимъ шуткамъ, которыми отравлялъ чернила и пиво педантовъ-профессоровъ и своихъ товарищей по парламенту in der Paul's Kirche.

Въ этомъ жизненномъ реализмѣ было то общее, симпатическое, что насъ связывало, хотя жизнь и развитіе наше были такъ розны,

что мы во многомъ расходились.

Во мив не было и не могло быть той спътости и того единства, какъ у Фогта. Воспитаніе его шло такъ же правильно, какъ мое безсистемно; ни семейная связь, ни теоретическій рость никогда не обрывались у него, онъ продолжаль традицію семьи. Отець стояль возлѣ примъромъ и помощникомъ; глядя на него, онъ сталъ заниматься естественными науками. У насъ обыкновенно поколѣніе съ поколѣніемъ расчленено; общей, нравственной связи у насъ нѣть. Я съ раннихъ лътъ долженъ былъ бороться съ воззрѣніемъ всего окружавшаго меня, я дѣлалъ оппозицію въ дѣтской, потому что старшіе наши, наши дѣды были не Фоллены, а помѣщики и сенаторы. Выходя изъ нея, я съ той же запальчивостію бросился въ другой бой и, только что кончилъ университетскій курсъ, былъ уже въ тюрьмѣ, потомъ въ ссылкѣ. Наука на этомъ переломилась, тутъ представилось иное изученіе, изученіе міра несчастнаго, съ одной стороны, грязнаго, съ другой.

Наскучивь этой патологіей, я бросплся съ жадностью на философію, отъ которой Фогтъ чувствоваль непреодолимое отвращеніе. Окончивъ курсъ медицины и получивъ дипломъ доктора, опъ не рѣшился лечить, говоря, что недостаточно вѣритъ въ врачебную кабалистику, и снова весь отдался физіологіи. Трудъ его очень скоро обратилъ на себя вниманіе не только нѣмецкихъ ученыхъ, но и парижской академіи наукъ. Онъ уже былъ профессоромъ сравнительной анатоміи въ Гиссенѣ, товарищемъ Либиха, (съ которымъ велъ потомъ озлобленную химико-теологическую полемику), когда революціонный шквалъ 1848 года оторвалъ его отъ микроскопа и бросилъ въ франкфуртскій парламентъ.

Разумбется, что онъ сталъ въ самый радикальный рядъ, говорилъ исполненныя остроты и отваги рѣчи, выводилъ изъ териѣнія умѣренныхъ прогрессистовъ, а иногда и неумѣреннаго короля прусскаго. Вовсе не будучи политическимъ человѣкомъ, онъ по удѣльному вѣсу сдѣлался однимъ изъ «лидеровъ» опнозиція, и когда эрцъ-герцогъ Іоаннъ, бывшій какимъ-то викаріемъ имперіи, окончательно сбросилъ съ себя маску добродушія и понуляр-

ности, заслуженной темъ, что онъ женился когда-то на дочери станціоннаго смотрителя и иногда ходиль во фракт, Фогть съ четырымя товарищами были выбраны на его місто. Туть дізла нъмецкой революціи пошли быстро подъ гору: правительства достигли цёли, выиграли нужное время (по совету Меттерниха), щадить парламентъ имъ было безполезно. Изгнанный изъ Франкфурта, парламентъ мелькнулъ какой-то тѣнью въ Штутгардтѣ, подъ печальнымъ названіемъ Nach-Parlament, тамъ его реакція п придушила. Оставалось викаріямъ по добру, да по здорову убхать отъ вбрной тюрьмы и каторжной работы... Перебхавъ швейцарскія горы, Фогть стряхнуль съ себя ныль франкфуртскаго собора и, расписавшись въ книгѣ путешественниковъ «К. Фогть—викарій Германской имперіи въ бѣгахъ», снова принялся съ той же невозмутимой ясностью, веселымъ расположениемъ духа и неутомимымъ трудолюбіемь за естественныя науки. Съ цёлью изученія морскихь зоофитовь онъ поёхаль въ Ниццу въ 1850.

Несмотря на то, что мы шли съ разныхъ сторонъ и разными путями, мы встрътились на трезвомъ совершеннольти въ наукъ.

Быль ли я такъ последователенъ, какъ Фогть-и въ жизни, трезво ли я на нее смотрълъ? Теперь мнъ кажется, что нътъ. Да я не знаю, впрочемъ, хорошо ли начинать съ трезвости; она не только предупремедаеть много бъдствій, но и лучшія минуты жизни. Вопросъ трудный, который, по счастію, для каждаго разръшается не разсужденіями и волей, а организаціей и событіями. Теоретически освобожденный, я не то, что храниль разныя непосл'ўдовательныя в'ўрованія, а они сами остались; романтизмъ революція я пережилъ, мистическое върованіе въ прогрессъ, въ человичество оставалось дольше другихъ теологическихъ догматовъ; а когда я ихъ нережиль, у меня еще оставалась религія личностей, въра въ двухъ, трехъ, увъренность въ себя, въ волю человъческую. Тутъ были, разумъется, противоръчія; внутреннія противоръчія ведуть къ несчастіямь, тымь болье прискоронымь, обиднымъ, что у нихъ впередъ отнято послъднее человъческое утъшеніе, оправданіе себя въ своихъ собственныхъ глазахъ...

Въ Нициъ Фогтъ принялся съ необыкновенной ревностью за дъло... Покойные, теплые заливы Средиземнаго моря представляють богатую колыбель всъмъ frutti di mare, вода просто полна ими. Ночью бразды ихъ фосфорнаго огня тянутся, мерцая за лодкой, тянутся за весломъ, салны можно брать рукой, всякимъ сосудомъ. Стало быть, въ матеріалъ не было недостатка. Съ ранняго утра сидълъ Фогтъ за микроскопомъ, наблюдалъ, рисовалъ, писалъ, читалъ, и часовъ въ пять бросался, иногда со мной, въ море (плавалъ онъ какъ рыба); потомъ онъ приходилъ къ намъ

объдать и, въчно веселый, былъ готовъ на ученый споръ и на всякіе пустяки, пълъ за фортепіано уморительныя пъсни или разсказывалъ дътямъ сказки съ такимъ мастерствомъ, что они, не вставая, слушали его цълые часы.

Фогтъ обладаетъ огромнымъ талантомъ преподаванія. Онъ, полушутя, читаль у насъ нѣсколько лекцій физіологіи для дамъ. Все у него выходило такъ живо, такъ просто и такъ пластически выразительно, что дальній путь, которымъ онъ достигъ этой ясности, не былъ замѣтенъ. Въ этомъ-то и состоитъ вся задача педагогіи—сдѣлать науку до того понятной и усвоенной, чтобъ заставить ее говорить простымъ, обыкновеннымъ языкомъ.

Трудныхъ наукъ нѣтъ, есть только трудныя изложенія, т. е. непереваримыя. Ученый языкъ—языкъ условный, подъ титлами, языкъ стенографированный, временной, пригодный ученикамъ; содержаніе спрятано въ его алгебранческихъ формулахъ для того, чтобъ, раскрывая законъ, не новторять сто разъ одного и того же. Переходя рядомъ схоластическихъ пріемовъ, содержаніе науки обрастаетъ всей этой школьной дрянью,—а доктринеры до того привыкаютъ къ уродливому языку, что другого не употребляють, имъ онъ кажется понятенъ,—въ стары годы имъ этотъ языкъ былъ даже дорогъ, какъ трудовая копейка, какъ отличіе отъ языка вульгарнаго. По мърѣ того, какъ мы изъ учениковъ переходимъ къ дъйствительному знанію, стропилы и подмостки становятся противны,—мы ищемъ простоты. Кто не замътилъ, что учащіеся вообще употребляютъ гораздо больше трудныхъ терминовъ, чъмъ выучившіеся.

Вторая причина темноты въ наукт происходитъ отъ недобросовъстности преподавателей, старающихся скрыть долю истины, отдълаться отъ опасныхъ вопросовъ. Наука, имтющая какуюнноудь цъль вмъсто истиннаго знанія,—не наука. Она должна имтъ смълость прямой, открытой ръчи. Въ недостаткт откровенности, въ робкихъ уступкахъ никто не обвинитъ Фогта. Скорте «нъжныя души» упрекнутъ его въ томъ, что онъ слишкомъ прямо и слишкомъ просто высказываетъ свою правду, находящуюся въ прямомъ противортний съ общепринятой ложью.

Перехожу теперь къ тому, какъ одна страна радушно приняла меня въ то самое время, какъ другая безъ всякаго повода вытолкнула.

Шаллеръ объщать Фогту похлопотать о моей натурализаціи, т. е. найти общину, которая согласилась бы принять меня и потомъ поддержать дёло въ Большомъ совътъ. Въ Швейцаріи для натурализаціи необходимо, чтобъ предварительно какое-нибудь сельское или городское общество было согласно на принятіе новаго согражданина, что совершенно согласно съ самозаконностью

каждаго кантона и каждаго мъстечка въ свою очередь. Деревенька Шатель, близъ Мора (Муртенъ), соглашалась за небольшой взносъ денегъ въ пользу сельскаго общества принять мою семью въ число своихъ крестьянскихъ семей. Деревенька эта недалеко отъ Муртенскаго озера, возлъ котораго былъ разбитъ и убитъ Карлъ Смълый, несчастная смерть и имя котораго такъ ловко послужили австрійской цензуръ (а потомъ и петербургской), для замъны имени Вильгельма Теля въ Россиніевской оперъ.

Когда дёло поступило въ Большой совёть, два ісзунтствующіе депутата подняли голосъ противъ меня, но ничего не сдёлали. Одинъ изъ нихъ говорилъ, что надобно было бы знать, почему и былъ въ ссылкъ. Другой, изъ видовъ предупредительной осторожности, требовалъ новыхъ обезпеченій, чтобъ, въ случать моей смерти, воспитаніе и содержаніе моихъ дётей не пало на бёдную коммуну. Мон права гражданства были признаны огромнымъ большинствомъ, и я сдёлался изъ русскихъ надворныхъ совътниковъ тягловымъ крестьяниномъ сельца Шателя, что подъ Муртеномъ, огідіпаіте de Châtel prés Morat, какъ расписался фрибургскій писарь на моемъ паспортъ.

Получивъ въсть объ утверждении мопхъ правъ, мнъ было почти необходимо съъздить поблагодарить новыхъ согражданъ и познакомиться съ ними. Къ тому же у меня именно въ это время была сильная потребность побыть одному, всмотръться въ себя, свърпть прошлое, разглядъть что-нибудь въ туманъ буду-

щаго, и я быль радъ внъшнему толчку.

Наканунѣ моего отъѣзда изъ Ниццы я получилъ приглашеніе отъ начальника полиціи, de la sicurezza publica. Онъ мнѣ объявилъ приказъ министра внутреннихъ дѣлъ выѣхать немедленно изъ сардинскихъ владѣній. Эта странная мѣра со стороны ручного и уклончиваго сардинскаго правительста удивила меня гораздо больше, чѣмъ высылка изъ Парижа въ 1850. Къ тому же и не было никакого повода.

Говорять, будто я обязань этимь усердію двухь-трехь върноподданныхь русскихь, жившихь въ Ниццъ, и въ числъ ихъ мнъ
пріятно назвать министра юстиціп П.; онъ не могь вынести, что
человѣкъ, навлекшій на себя гнъвъ Николая Павловича, не
только покойно живеть и даже въ одномъ городѣ съ нимъ, но
еще пишетъ статейки. Пріъхавъ въ Турпнъ, юстиція, говорятъ,
попросилъ, такъ, по доброму знакомству, министра Азеліо выслать меня. Сердце Азеліо чуяло, върно, что я въ Крутицкихъ
казармахъ, учась по-итальянски, читалъ его La Disfida di Barletta—романъ «и не классическій и не старинный», хотя тоже
скучный,—и ничего не сдълалъ.

Зато ницскій интенданть и министры въ Туринт воспользова-

лись рекомендаціей при первомъ же случає. Нѣсколько дней до моей высылки, въ Ниццѣ было «народное волненіе», въ которомъ лодочники и лавочники, увлекаемые краснорѣчіемъ банкира Авигдора, протестовали, и притомъ довольно дерзко, говоря о независимости ницскаго графства, о его неотъемлемыхъ правахъ,—противъ уничтоженія свободнаго порта. Общее, легкое таможенное положеніе для всего королевства уменьшало ихъ привилегіи, безъ уваженія «къ независимости ницскаго графства» и къ его правамъ, «начертаннымъ на скрижаляхъ исторіи».

Авигдора, этого Оконеля Пальоне (такъ называется сухая рѣка, текущая въ Ниццѣ), посадили въ тюрьму, ночью ходили патрули, и народъ ходиль, тѣ и другіе пѣли пѣсни и притомъ однѣ и тѣ же—вотъ и все. Нужно ли говорить, что ни я, ни кто другой изъ иностранцевъ не участвовалъ въ этомъ семейномъ дѣлѣ тарифовъ и таможенъ. Тѣмъ не менѣе интендантъ указалъ на нѣсколько человѣкъ изъ рефюжье, какъ на зачинщиковъ, и въ томъ числѣ на меня. Министерство, желая показать примѣръ цѣлебной строгости, велѣло меня прогнать вмѣстѣ съ другими.

Я пошелъ къ пнтенданту (изъ іезуптовъ) и, замътивъ ему, что это совершеннъйшая роскошь высылать человъка, который самъ ъдетъ и у котораго визированный пассъ въ карманъ, спросилъ его, въ чемъ дъло? Онъ увърялъ, что самъ такъ же удивленъ, какъ я, что мъра взята министромъ внутреннихъ дълъ, даже безъ предварительнаго сношенія съ нимъ. При этомъ онъ былъ до того учтивъ, что у меня не осталось никакого сомнънія, что все это напакостилъ онъ. Я написалъ разговоръ мой съ нимъ извъстному депутату оппозиціи, Лоренцо Валеріо, и уъхалъ въ Парижъ.

Валеріо свирѣпо напалъ на министра въ своей интерпеляціп и требовалъ отчета, почему меня выслали. Министръ мялся, отклонялъ всякое вліяніе русской дипломатіп, свалилъ все на доносы интенданта и смиренно заключилъ, что если министерство поступило сгоряча, неосторожно, то оно съ удовольствіемъ

измънить свое ръшение.

Опнозиція аплодпровала. Слѣдственно, de facto запрещеніе было снято, но, несмотря на мое письмо къ министру, онъ мнѣ не отвѣчалъ. Рѣчь Валеріо и отвѣть на нее я прочиталъ въ газетахъ и рѣшился ѣхать просто на просто въ Туринъ, на возвратномъ пути изъ Фрибурга. Чтобъ не имѣть отказа въ визѣ, я по-ѣхалъ безъ визы; на піемонтской границѣ со стороны Швейцаріи пассы осматривають безъ свирѣпаго ожесточенія французскихъ жандармовъ. Въ Туринѣ я пошелъ къ министру внутреннихъ дѣлъ: вмѣсто его меня принялъ его товарищъ, завѣдывавшій

верховной полиціей, графъ Понсъ де-ла-Мартино, человѣкъ извѣстный въ тѣхъ краяхъ, умный, хитрый и преданный католической партіп.

Пріємъ его меня удивпль. Онъ мні сказаль все то, что я ему хотіль сказать; что-то подобное было со мной въ одно изъ

свиданій съ Дуббельтомъ, но графъ Понсъ перещеголялъ.

Онъ былъ очень пожилыхъ лѣтъ, болѣзненный, худой, съ отталкивающей наружностію, съ злыми и лукавыми чертами, съ нѣсколько клерикальнымъ видомъ и жесткими сѣдыми волосами на головѣ. Прежде чѣмъ я успѣлъ сказатъ десять словъ о причинѣ, почему я просилъ аудіенціп у министра, онъ перебилъ меня словами:

- Да, помилуйте, гдѣ же туть можеть быть сомнѣніе... Отправляйтесь въ Ниццу, отправляйтесь въ Геную, оставайтесь здѣсь—только безъ малѣйшей гапсипе, мы очень рады... это все надѣлаль интенданть... Видите, мы еще ученики, не привыкли къ законности, къ конституціонному порядку. Если бы вы сдѣлали что-нибудь противное законамъ, на то есть судъ, вамъ нечего тогда было бы пенять на несправедливость, неправда-ли?
  - Совершенно согласенъ съ вами.

— А то беруть мёры, которыя раздражають... заставляють

кричать—и безъ всякой нужды!

Послѣ этой рѣчи протпвъ самого себя, онъ проворно схватилъ листъ бумаги съ министерскимъ заголовкомъ и написалъ: Si permette al sig. A. H. di ritornare a Nizza e di restarvi quanto tempo credera conveniente. Per il ministro S. Martino—12 Luglio 1851.

— Вотъ вамъ на всякій случай, впрочемъ, будьте увѣрены, до этой бумаги дѣло не дойдетъ. Я очень, очень радъ, что мы

покончили съ вами это дѣло.

Такъ какъ это значило, vulgariter, «ступайте съ Богомъ», то я и оставилъ моего Понса, улыбаясь впередъ лицу, которое сдйлаетъ интендантъ въ Ниццѣ; по этого лица Богъ мнѣ не привелъ

видъть, его смънили.

Но возвращаюсь къ Фрибургу и его кантону. Послушавши знаменитые органы и пробхавши по знаменитому мосту, какъ всѣ смертные, бывшіе въ Фрибургѣ, мы отправились съ добрымъ старичкомъ, канцлеромъ Фрибургскаго кантона, въ Шатель. Въ Муртенѣ префектъ полиціи, человѣкъ энергическій и радикальный, просилъ насъ подождать у него, говоря, что староста поручилъ ему предупредить его о нашемъ пріѣздѣ, потому что ему и прочимъ домохозяевамъ было бы очень непріятно, если-бъ я пріѣхалъ невзначай, когда всѣ въ полѣ на работѣ. Погулявши часа два по Мора или Муртену, мы отправились и префектъ съ нами.

Возлѣ дома старосты ждали насъ нѣсколько пожилыхъ крестьянъ и впереди ихъ самъ староста, почтенный, высокаго роста, сѣдой и хотя нѣсколько сгорбившійся, но мускулистый старикъ. Онъ выступилъ впередъ, снялъ шляпу, протянулъ мнѣ шпрокую, сильную руку и, сказавъ Lieber Mitbürger,... произнесъ привътственную рѣчь на такомъ германо-швейцарскомъ нарѣчіп, что я нпчего не понялъ. Приблизительно можно было догадаться, что онъ могъ мнѣ сказать, а потому, да еще взявъ въ соображеніе, что если я скрылъ, что не понимаю его, то и онъ скроетъ, что не понимають меня, я смѣло отвѣчалъ на его рѣчь:

— Любезный гражданинъ староста и любезные шательскіе сограждане! Я прихожу благодарить васъ за то, что вы въ вашей общинъ дали пріють мнѣ и моимъ дѣтямъ и положили предѣлъ моему бездомному скитанію. Съ гордостью вступаю я въ вашъ

союзъ! И да здравствуетъ Гельветическая республика!

— Den neuen Bürger hoch! Es lebe der neue Bürger? отвъчали старики и кръпко жали мою руку; я самъ быль нъсколько взволнованъ!

Староста пригласиль насъ къ себъ.

Мы вошли и сёли за длинный столь на скамьяхъ, на столь быль хлёбъ и сыръ. Двое крестьянъ втащили страшной величины бутыль, больше тёхъ классическихъ бутылей, которыя прёютъ цёлыя зимы въ старинныхъ нашихъ домахъ, въ углу на лежанкъ, наполненыя наливками и настойками. Бутыль эта была въ плетеной корзинъ и наполнена бёлымъ виномъ. Староста сказалъ намъ, что это вино тамошнее, но только очень старое, что эту бутыль онъ помнитъ лётъ за тридцать, и что вино это употребляется только при чрезвычайныхъ случаяхъ. Всъ крестьяне сёли съ нами за столъ, кромъ двухъ, хлопотавшихъ около кафедральной бутылки. Они изъ нея наливали вино въ большую кружку, а староста наливалъ изъ кружки въ стаканы; передъ каждымъ крестьянномъ былъ стаканъ, но мнъ онъ принесъ нарядный хрустальный кубокъ, причемъ онъ замѣтилъ канцлеру и префекту:

— Вы на этоть разъ извините, почетный-то кубокъ ужъ пыньче мы подадимъ нашему новому согражданину; съ вами

мы свои люди.

Пока староста наливалъ вино въ стаканы, я замѣтилъ, что одинъ изъ присутствующихъ, одѣтый не совсѣмъ по-крестьянски, былъ очень безпокоенъ, обтиралъ потъ, краснѣлъ, ему нездоровилось; когда же староста провозгласильмой тостъ, онъ съ какойто отчаянной отвагой вскочилъ и, обращаясь ко мнѣ, началърѣчь.

— Это, шепнуль мей на ухо староста съ значительнымъ впдомъ, гражданинъ учитель въ нашей школб. Я всталъ.

Учитель говориль не по-швейцарски, а по-нѣмецки, да и не

просто, а по образцамъ изъ нарочито-извѣстныхъ ораторовъ и писателей: онъ помянулъ и о Вильгельмѣ Телѣ, и о Карлѣ Смѣломъ (какъ тутъ поступила бы австрійско-александринская театральная цензура, развѣ назвала бы Вильгельма—Смѣлымъ, а Карла—Телемъ?) и при этомъ не забылъ не столько новое, сколько выразительное сравненіе неволи съ позлащенной клѣткой, изъ которой птица все-же рвется.

Крестьяне слушали его, вытянувъ загорълую, сморщившуюся шею и прикладывая, въ видъ глазного зонтика, руку къ ушамъ; канцлеръ немного вздремнулъ и, чтобъ скрыть это, первый по-

хвалилъ оратора.

Между тѣмъ староста сидѣлъ не сложа руки, а усердно наливалъ вино, провозглашая, какъ самый привычный къ дѣлу церемоніймейстеръ, тосты:

— За конфедерацію! За Фрибургъ и его радикальное прави-

тельство. За президента Шаллера!

— За моихъ любезныхъ согражданъ въ Шателъ! предложилъ я, наконецъ, чувствуя, что вино, несмотря на слабый вкусъ, далеко не слабо. Всъ встали... Староста говорилъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, lieber Mitbürger, полный кубокъ, какъ мы пили за васъ, полный! Старички мои расходились, вино подогрѣло ихъ...

— Привезите вашихъ дътей, говорилъ одинъ.

— Да, да, подхватили другіе, пусть они посмотрять, какъ мы живемъ, мы люди простые, дурному не научимъ, да и мы ихъ посмотримъ.

— Непремънно, отвъчалъ я, непремънно.

Тутъ староста ужъ пошелъ извиняться въ дурномъ пріемъ, говоря, что во всемъ виноватъ канцлеръ, что ему слѣдовало бы дать знать дня за два, тогда бы все было иное, можно бы достать и музыку, а главное, что тогда встрѣтили бы меня и проводили ружейнымъ залиомъ. Я чуть не сказалъ ему à la Louis Philippe.—«Помилуйте... да что же случилось?—Однимъ крестьяниномъ только больше въ Шателъ?»

Мы разстались большими друзьями. Меня нѣсколько удивило, что я не видѣлъ ни одной женщины, ни старухи, ни дѣвочки, да и ни одного молодого человѣка. Впрочемъ, это было въ рабочую пору. Замѣчательно и то, что на такомъ рѣдкомъ для нихъ праз-

дникъ не былъ приглашенъ пасторъ.

Я имъ это поставиль въ большую заслугу. Пасторъ непремѣнно испортиль бы все, сказаль бы глупую проповѣдь, и съ своимъ чиннымъ благочестіемъ похожъ быль бы на муху въ стаканъ съ виномъ, которую непремѣнно надобно вынуть, чтобъ пить съ удовольствіемъ.

Наконець, мы снова усѣлись въ небольшую коляску, или, вѣрнѣе, линейку канцлера, завезли префекта въ Мора, и покатились въ Фрибургъ. Небо было покрыто тучами, меня клонилъ сонъ и кружилось въ головъ. Я усиливался не спать; неужели это ихъ вино? думалъ я съ нъкоторымъ презрънемъ къ самому себъ... Канцлеръ лукаво улыбался, а потомъ самъ задремалъ; дождь сталъ накрапывать, я покрылся пальто, сталъ было засыпать... потомъ проснулся отъ прикосновенія холодной воды... Дождь лилъ какъ изъ ведра, черныя тучи словно высъкали огонь изъ скалистыхъ вершинъ, дальніе раскаты грома пересыпались по горамъ. Канцлеръ стоялъ въ съняхъ и громко смъялся, говоря съ хозяиномъ Zöringer Hoffa.

— Что, спрашивалъ меня хозяинъ, видно, наше простое, кре-

стьянское вино не то, что французское?

— Да неужели мы прітхали? спрашивать я, выходя весь мокрый изъ линейки.

— Это не такъ мудрено, замътилъ канцлеръ, а вотъ что мудрено, что вы проспали грозу, какой давно не бывало. Неужели вы ничего не слыхали?

### — Ничего.

Потомъ я узналь, что простыя швейцарскія вина, вовсе не крѣпкія на вкусь, получають съ лѣтами большую силу п особенно дѣйствують на непривычныхъ. Канцлеръ нарочно мнѣ не сказаль этого. Къ тому же, если-бъ онъ и сказалъ, я не сталь бы отказываться отъ добродушнаго угощенія крестьянъ, отъ ихъ тостовъ, и еще менѣе не сталъ бы церемонно мочить губы и ломаться. Что я хорошо поступилъ, доказывается тѣмъ, что черезъ годъ, проѣздомъ изъ Берна въ Женеву, я встрѣтилъ на одной станціи моратскаго префекта:

— Знаете ливы, сказалъонъ мнѣ, чѣмъ вы заслужили особенную популярность нашихъ шательцевъ?

#### — Нѣтъ?

— Они до сихъ поръ разсказывають съ гордымъ самодовольствіемъ, какъ новый согражданинъ, выпивши ихъ вина, проспалъ грозу и добхалъ, не зная какъ, отъ Мора до Фрибурга, подъ проливнымъ дождемъ.

Итакъ, вотъ какимъ образомъ я сдѣлался свободнымъ гражданиномъ Швейцарской конфедераціи и напился пьянъ шательскимъ виномъ!  $^{1}$ )

1) Не могу не прибавить, что именно этоть листь мнѣ пришлось поправлять въ Фрибургѣ, и въ томь же Zöringerhoff ѣ. И хозяинъ все тоть же, съ видомъ дѣйствительнаго хозяина, и столовая, гдѣ я сидѣлъ съ Сазоновымъ въ 1851 году.
—та же, и компата, въ которой черезъ годъ я писалъ свое завѣщаніе, дѣлая исполнителемъ его Карла Фогта, и этотъ листъ напоминвиній столько подробностей.

Пятнадцать лѣтъ!

Невольно, безотчетно беретъ страхъ...

14 октября. 1866.

# L'IVBV XII

II Ж. Прудонъ.— Изданіе la Voix du Peuple.— Переписка.—Значеніе Прудона.—Прибавленіе.

Всять за іюньскими баррикадами, нали и типографскіе станки. Испуганные публицисты пріумольли. Одинъ старецъ Ламене приподнялся мрачной тѣнью судьи, проклялъ—герцога Альбу іюньскихъ дней Кавеньяка и его товарищей и мрачно сказалъ народу: «А ты молчи, ты слишкомъ бѣденъ, чтобы пмѣть право на слово!»

Когда первый страхъ осаднаго положенія миновать и журналы снова стали оживать, они взамінь насилія встрітили готовый арсеналь юридическихъ кляузъ и судейскихъ уловокъ. Началась старая травля, раг force, редакторовъ, травля, въ которой отличались министры Людовика Филиппа. Уловка ея состоитъ въ уничтоженіи залога рядомъ процессовъ, оканчивающихся всякій разъ тюрьмой и денежной пенею. Пеня берется изъ залога; пока залогъ не дополненъ,—нельзя издавать журналъ, какъ онъ пополнится—новый процессъ. Игра эта всегда успішна, потому что судебная власть во всёхъ политическихъ преслідованіяхъ дібіствуеть за одно съ правительствомъ.

Ледрю - Ролленъ сначала, потомъ полковникъ Франполи, какъ представитель Мацциніевской партіи, заплатили большія деньги, но не спасли «Реформу». Всё рёзкіе органы соціализма п республики были убиты этимъ средствомъ. Въ томъ числё, и въ самомъ началё, Прудоновъ Le Représentant du Peuple, потомъ его же Le Peuple. Прежде чёмъ оканчивался одинъ процессъ, начинался другой.

Одного изъ редакторовъ, помнится Дюшена, приводили раза три изъ тюрьмы въ ассизы по новымъ обвиненіямъ, и всякій разъ снова осуждали на тюрьму и штрафъ. Когда ему въ послѣдній разъ, передъ гибелью журнала, было объявлено рѣшеніе, онъ, обращаясь къ прокурору, сказалъ: L'addition, s'il vous plait! ему въ самомъ дѣлѣ накопилось лѣтъ десять тюрьмы и тысячъ пятьдесять штрафу.

Прудонъ былъ подъ судомъ, когда журналъ его остановился нослѣ 13 іюня. Національная гвардія ворвалась въ этотъ день въ его тинографію, сломала станки, разбросала буквы, какъ бы под-

тверждая именемъ вооруженныхъ мѣщанъ, что во Франціп настаетъ періодъ высшаго насилія и полицейскаго самовластія

Неукротимый гладіаторъ, упрямый безансонскій мужикь не хотъть положить оружія, и тотчасъ затъяль издавать новый журналь: La voix du Peuple. Надобно было достать 24.000 фр. для залога. Е. Жирардень быль не прочь ихъ дать, но Прудону не хотълось быть въ зависимости отъ него, и Сазоновъ предложиль миъ внести залогь.

Я былъ многимъ обязанъ Прудону въ моемъ развитіи и, подумавши нъсколько, согласился, хотя и зналъ, что залога не на-

долго станеть.

Чтеніе Прудона, какъ чтеніе Гегеля, даетъ особый пріемъ, оттачиваетъ оружіе, даетъ не результаты, а средства. Прудонъ по преимуществу діалектикъ, контроверзисть соціальныхъ вопросовъ. Французы въ немъ ищутъ эксперименталиста, и, не находя ни смъты фаланстера, ни икарійской управы благочинія, пожимають плечами и кладутъ книгу въ сторону.

Прудонъ, конечно, виноватъ, поставивъ въ своихъ «Противоръчіяхъ» эпиграфомъ: destruo et edificabo; сила его не въ созданіи, а въ критикъ существующаго. Но эту ошибку дѣлали споконъ въка всъ ломавшіе старое; человъку одно разрушеніе противно; когда онъ принимается ломать, какой - нибудь идеалъ будущей постройки невольно бродитъ въ его головъ, хотя иной

разъ это пъсня каменщика, разбирающаго ствну.

Въ большей части соціальных сочиненій важны не пдеалы, которые почти всегда или недосягаемы въ настоящемъ, или сводятся на какое-нибудь одностороннее рѣшеніе, а то, что, достигая до нихъ, становится вопросомъ. Соціализмъ касается не только того, что было рѣшено прежнимъ эмпирически-религіознымъ бытомъ, но и того, что прошло черезъ сознаніе односторонней науки; не только до юридическихъ выводовъ, основанныхъ на традиціонномъ законодательствѣ, но и до выводовъ политической экономіи. Онъ встрѣчается съ раціональнымъ бытомъ эпохи гарантій и мѣщанскаго экономическаго устройства, какъ съ своей непосредственностью, точно такъ, какъ политическая экономія относилась къ теоретически-феодальному государству.

Въ этомъ отрицаніи, въ этомъ улетучиваніи стараго общественнаго быта страшная сила Прудона; онъ такой же поэтъ діалектики, какъ Гегель, съ той разницей, что одинъ держится на покойной выси научнаго движенія, а другой втолкнуть въ сумятицу народныхъ волненій, въ рукопашный бой партій.

Прудономъ начинается новый рядъ французскихъ мыслителей. Его сочиненія составляють перевороть не только въ исторіи соціализма, но п въ исторіи французской логики. Въ діалекгической дюжести своей онъ сильне и свободне самыхъ тапантливыхъ французовъ. Люди чистые и умные, какъ Пьеръ Леру и Консидеранъ, не понимаютъ ни его точки отправленія, ни его метода. Они привыкли играть впередъ подтасованными идеями, ходить въ извъстномъ нарядъ, по торной дорогъ, къ знакомымъ мъстамъ. Прудонъ часто ломится цъликомъ, не боясь помять чего-нибудь по пути, не жалъя ни раздавить что попадется, ни зайти слишкомъ далеко. У него нътъ ни той чувствительности, ни того риторическаго, революціоннаго цъломудрія, которое у французовъ замъняетъ протестантскій піэтизмъ... Отъ того онъ и остается одинокимъ между своими, болъе путая, чъмъ убъждая своей силой.

Говорять, что у Прудона германскій умъ. Это неправда, напротивь, его умь совершенно французскій; въ немь тоть родоначальный галло-франкскій геній, который является въ Рабле, въ Монтень, въ Вольтерь и Дидро... даже въ Паскаль. Онъ только усвоиль себъ діалектическій методъ Гегеля, какъ усвоиль себъ и всь пріемы католической контроверзы; но ни Гегелева философія, ни католическое богословіе не дали ему ни содержанія, ни характера,—для него это орудія, которыми онъ пытаеть свой предметь, и орудія эти онъ такъ приладилъ и обтесалъ по-своему, какъ приладилъ французскій языкъ къ своей сильной и энергической мысли. Такіе люди слишкомъ твердо стоятъ на своихъ ногахъ, чтобы чему-нибудь покориться, чтобы дать себя заарканить.

- «Мий очень нравится ваша система», сказаль Прудону одинъ англійскій туристь.
- Да у меня нѣтъ нпкакой системы,—отвъчалъ съ неудовольствіемъ Прудонъ, и былъ правъ.

Это-то именно и сбиваеть его соотечественниковь, привыкшихъ къ нравоученіямъ на концъ басни, къ систематическимъ формуламъ, оглавленіямъ, къ отвлеченнымъ обязательнымъ рецентамъ.

Прудонъ сидитъ у кровати больного и говоритъ, что онъ очень илохъ потому и потому. Умирающему не поможешь, строя идеальную теорію о томъ, какъ онъ могъ бы быть здоровъ, не будь онъ боленъ, или предлагая ему лекарства, превосходныя сами по себъ, но которыхъ онъ принять не можетъ или которыхъ совсѣмъ нѣтъ налицо.

Наружные признаки и явленія финансоваго міра служать для него такъ, какъ зубы животныхъ служили для Кювье, лѣстницей, по которой онъ спускается въ тайники общественной жизни: онъ по нимъ изучаетъ силы, влекущія больное тѣло къ разло-

женію. Если онъ посл'є каждаго наблюденія провозглашаеть новую побъду смерти, развъ это его вина? Тутъ нътъ родныхъ, которыхъ страшно испугать, мы сами умираемъ этой смертью. Толиа съ негодованіемъ кричить: «лекарства! пли молчи о бользни!» Да зачъмъ же молчать? Только въ самовластныхъ правленіяхъ запрещаютъ говорить о неурожаяхъ, заразахъ и о числъ побитыхъ на войнъ. Лекарство, видно, нелегко находится; мало ли какіе опыты д'блали во Франціи со времени неумъренныхъ кровопусканій 1793: ее лечили побъдами и успленными моціонами, заставляя ходить въ Египетъ, въ Россію, ее лечили парламентаризмомъ и ажіотажемь, маленькой республикой и маленькимъ Наполеономъ, что же, лучше, что ли, стало? Самъ Прудонъ попробовалъ было разъ свою патологію и срѣзался на Народномъ банкъ, несмотря на то, что, сама по себъ взятая, пдея его върна. По несчастію, онъ въ заговариваніе не въритъ, а то и онъ причитывалъ бы ко всему: Союзъ народовъ! Союзъ народовъ! Всеобщая республика! Всемірное братство! grande armée de la démocratie! Онъ не употребляеть этихъфразъ, не щадить революціонныхъ старов ровь, и зато французы его считають эгоистомъ, индивидуалистомъ, чуть не ренегатомъ п измѣнникомъ.

Я помню сочиненія Прудона, отъ его разсужденія «О собственности» до «Биржевого руководства»; многое измѣнилось въ его мысляхъ,—еще бы, прожить такую эпоху, какъ наша, и свистать тотъ же дуэть а moll'ный, какъ Платонъ Михайловичь въ «Горе отъ ума». Въ этихъ перемѣнахъ именно и бросается въ глаза внутреннее единство, связующее ихъ отъ диссертаціи, написанной на школьную задачу безапсонской академіи, до недавно вышедшаго сагмен horrendum биржевого распутства, тотъ же порядокъ мыслей, развиваясь, впдоизмѣняясь, отражая событія, идетъ и черезъ «Противорѣчія» политической экономіи, и черезъ его «Исповѣдь», и черезъ его «журналъ».

Реальная истина должна находиться подъ вліяніемъ событій, отражать ихъ, оставаясь върною себъ, иначе она не была бы живой истиной, а истиной въчной, успокопынейся отъ треволненія міра сего—въ мертвой тпшинъ застоя 1).

Гдъ и въ какомъ случаъ, случалось мнѣ спрашивать, Прудонъ измѣнилъ органическимъ основамъ своего воззрѣнія? Мнѣ всякій разъ отвѣчали его политическими ошибками, его прома-

<sup>1)</sup> Въ новомъ сочинени Стюарта Милля On Liberty, онъ приводитъ превосходное выражене объ этихъ разъ навсегда ръшенныхъ истинахъ: «the deap slumber of a decided opinion».

хами въ революціонной дипломатіи. За политическія ошибки онь, какъ журналисть, конечно, повинень отвітомь, но и туть онь виновать не передъ собої; напротивъ, часть его ошибокъ происходила отъ того, что онъ в'єрилъ своимъ началамъ больше, чъмъ партія, къ которой онъ, по неволъ, принадлежалъ, и съ которой онъ не имълъ ничего общаго, а былъ собственно соединенъ только ненавистью къ общему врагу.

Политическая д'ятельность не составляла ни его силы, ни основы той мысли, которую онь облекаль во вс'в досп'яхи своей діалектики. Совс'ямь напротивь, везд'я ясно видно, что политика, въ смысл'я стараго либерализма и конституціонной республики, стоить у него на второмъ план'я, какъ что-то полупрошедшее, уходящее. Въ политическихъ вопросахъ онъ равнодушенъ, готовъ д'ялать уступки, потому что не приписываеть особой важности формамъ, которыя, по его мивнію, не существенны. Въ подобномъ отношеніи къ религіозному вопросу стоять вс'я, оставивнію христіанскую точку зр'янія. Я могу признавать, что конституціонная религія протестантизма н'ясколько посвободн'я католическаго самодержавія, но принцмать къ сердцу вопросъ объ испов'яданіи и перкви не могу; я всл'ядствіе этого над'ялаю, в'яроятно, ошибокъ и уступокъ, которыхъ изб'яжить всякій, самый пошлый бакалавръ богословія или приходскій попъ.

Безъ сомнѣнія, не мѣсто было Прудона въ Народномъ собраніи, такъ, какъ оно было составлено, и личность его терялась въ этомъ мѣщанскомъ вертенѣ. Прудонъ въ своей «Исповѣди революціонера» говоритъ, что онъ не умѣлъ найтиться въ Собраніи. Да что же могъ тамъ дѣлать человѣкъ, который Марастовой конституціи, этому кислому плоду семимѣсячной работы семисотъ головъ, сказалъ: «Я подаю голосъ противъ вашей конституціи, не только потому, что она дурна, но и потому, что она конституція».

Парламентская чернь отвъчала на одну изъ его ръчей: «Ръчь въ «Монитеръ», оратора въ сумасшедшій домъ!» Я не думаю, чтобъ въ людской памяти было много подобныхъ парламентскихъ анекдотовъ, съ тъхъ поръ, какъ александрійскій архі ерей возилъ съ собой на вселенскіе соборы какихъ-то послушниковъ, вооруженныхъ дубинами, и до вашингтонскихъ сенаторовъ, доказывающихъ другъ другу палкой пользу рабства.

Но даже и тутъ Прудону удавалось становиться во весь ростъ, и оставлять середь перебранокъ яркій слъдъ.

Тьеръ, отвергая финансовый проектъ Прудона, сдѣлалъ какой-то намекъ о нравственномъ растлѣніи людей, распространяющихъ такія ученія. Прудонъ взошелъ на трибуну и, съ своимъ грознымъ и сутуловатымъ видомъ коренастаго жителя полей, сказалъ улыбающемуся старичишкѣ: «Говорите о финансахъ, но не говорите о нравственности, я могу принять это за личность, я вамъ уже сказалъ это въ комитетѣ. Если же вы будете продолжать, я—я не вызову васъ на дуэль (Тьеръ улыбнулся). Нѣтъ, мнѣ мало вашей смерти, этимъ ничего не докажешь. Я предложу вамъ другой бой. Здѣсь, съ этой трибуны, я разскажу всю мою жизнь, фактъ за фактомъ, каждый можетъ мнѣ напомнить, если я что-нибудь забуду или пропущу. И потомъ пустъ разскажеть свою жизнь мой противникъ!» Глаза всѣхъ обратились на Тьера: онъ сидѣлъ нахмуренный и улыбки совсѣмъ не было, да и отвѣта тоже.

Враждебная камера смолкнула, и Прудонъ, глядя съ презръніемъ на защитниковъ религіи и семьи, сошелъ съ трибуны.

Съ февральской революціи Прудовъ предсказываль то, къ чему Франція пришла. На тысячу ладовъ повторяль онь: берегитесь, не шутите, «это не Катилина у вороть вашихъ, а смерть». Французы пожимали плечами. Обнаженныхъ челюстей, косы, клепсидры—всего мундира смерти не было видно, какая же это смерть, это «минутное затменіе, посліоб'юденный сонъ великаго народа!» Наконець, разгляділи многіе, что діло плохо. Прудовъ унываль меніе другихъ, пугался меніе, потому что предвиділь; тогда его обвиниш не только въ безчувственности, но и въ томъ, что онъ накликаль бізду. Говорять, что китайскій императоръ таскаеть ежегодно за хохоль придворнаго звіздочета, когда тоть ему докладываеть, что дни начинають убывать.

Геній Прудона дъйствительно антинатиченъ французскимъ риторамъ, его языкъ оскорбляетъ ихъ. Революція развила свой пуританизмъ, узкій, лишенный всякой терпимости, свои обязательные обороты, и патріоты отвергаютъ написанное не по формъ, точно такъ, какъ русскіе судьи. Ихъ критика останавливается передъ ихъ символическими кингами, въ родѣ «Contrat Social», «Объявленія правъ человѣка». Люди вѣры—они ненавидятъ анализъ и сомнѣнія; люди заговоровъ—они все дѣлаютъ сообща и изъ всего дѣлаютъ интересъ партіи. Независимый умъ пмъ ненавистенъ, какъ мятежникъ, они даже въ прошедшемъ не любятъ самобытныхъ мыслей. Луп-Вланъ почти досадуетъ на эксцентрическій геній Монтеня 1). На этомъ гальскомъ чувствѣ, стремящемся снять личность стадомъ, основано ихъ пристрастіе къ приравниванію, къ единству военнаго строя, къ централизаціи, т. е. къ деспотизму.

<sup>1) «</sup>Historie de la Révolution Française».

Кощунство француза и ръзкость сужденій больше шалость, баловство, удовольствіе подразнить, чъмъ потребность разбора, чъмъ сосущій душу скептицизмъ. У него бездна маленькихъ предразсудковъ, крошечныхъ религій,—за нихъ онъ стоить съ запальчивостію Донъ-Кихота, съ упрямствомъ раскольника. Оттого-то они и не могутъ простить ни Монтеню, ни Прудону ихъ вольно-думство и непочтительность къ общепринятымъ кумирамъ. Они, какъ петербургская цензура, позволяютъ шутить надъ титулярнымъ совътникомъ, но тайнаго не тронь. Въ 1850 г. Е. Жирарденъ напечаталъ въ «Presse в» смълую и новую мысль, что основы права не въчны, а идутъ, измънясъ съ историческимъ развитіемъ. Что за шумъ возбудила эта статья: брань, крикъ, обвиненія въ безиравственности продолжались, съ легкой руки «Gazette de France», мъсяцы.

Участвовать въ возстановленіи такого органа, какъ «Peuple», стопло пожертвованій, я написалъ Сазонову и Хоецкому, что готовъ внести залогъ.

До того времени мои сношенія съ Прудономъ были ничтожны; я встръчалъ его раза два у Бакунина, съ которымъ онъ былъ очень близокъ. Бакунинъ жилъ тогда съ А. Рейхелемъ въ чрезвычайно скромной квартирѣ за Сеной, въ rue de Bourgogne. Прудонъ часто приходилъ туда слушать Рейхелева Бетховена и Бакунинскаго Гегеля, философскіе споры длились дольше симфоній. Они напоминали знаменптыя всенощныя бдінія Бакунина съ Хомяковымъ у Чаадаева, у Елагиной, о томъ же Гегелъ. Въ 1847 году Карлъ Фогтъ, жившій тоже въ rue de Bourgogne и тоже часто посъщавшій Рейхеля и Бакунина, наскучивъ какъ-то вечеромъ слушать безконечные толки о феноменологіи, отправился спать. На другой день утромъ онъ зашель за Рейхелемъ, имъ обоимъ надобно было идти къ Jardin des Plantes; его удивилъ, несмотря на ранній часъ, разговоръ въ кабинетъ Бакунина; онъ пріотворилъ дверь-Прудонъ и Бакунинъ сидъли на тъхъ же мъстахъ, передъ потухшимъ каминомъ, и оканчивали въ краткихъ словахъ начатый вчера споръ.

Боясь сначала смиренной роли нашихъ соотечественниковъ и патронажа великихъ людей, я не старался сближаться даже съ самичъ Прудономъ, и, кажется, былъ не совершенно неправъ. Письмо Прудона ко мнѣ, въ отвѣтъ на мое, было учтиво, но холодно и съ нѣкоторой сдержанностью.

Мнѣ хотѣлось съ самаго начала показать ему, что онъ не имѣеть дѣла ни съ сумасшедшимъ prince russe, который пзъ революціоннаго дилетантизма, а вдвое того изъ хвастовства дастъ деньги, ни съ правовърнымъ поклонникомъ французскихъ пуб-

лицистовъ, глубоко благодарнымъ за то, что у него беруть 24.000 франковъ, ни, наконецъ, съ какимъ-нибудь тупоумнымъ bailleur de fonds, который соображаеть, что внести залогь за такой журналь, какъ «Voix du Peuple», серьезное помъщение денегъ. Мнт: хотблось показать ему, что я очень знаю, что дилаю, что имбю свою положительную цёль, а потому хочу имёть положительное вліяніе на журналь; принявши безусловно все то, что онъ писалъ о деньгахъ, я требовалъ, во-первыхъ, права помъщать статьи свои и не свои, во-вторыхъ, права завъдывать всею иностранною частью, рекомендовать редакторовъ для нея, кореспондентовъ и пр., требовать для последнихъ илату за помещенныя статьи; это можеть показаться страннымъ, но я могу увърить, что «National» и «Reforme» открыли бы огромные глаза, если-бъ кто-нибудь изъ пностранцевъ смелъ спросить денегъ за статьи. Они приняли бы это за дерзость или за помѣщательство, какъбудто иностранцу видъть себя въ нечати въ парижескомъ журналѣ не есть:

## Lohn der reichlich lohnet.

Прудонъ согласился на мои требованія, но все-же они покоробили его. Воть что онъ писалъ мнё 29 августа 1849 года, въ Женеву: «Итакъ, дъло ръшено: подъ моей общей дпрекціей вы имъете участіе въ изданіи журнала, ваши статьи должны быть принимаемы безъ всякаго контроля, кремф того, къ которому редакцію обязываеть уваженіе из своими мниніями и страхь судебной отвётственности. Согласные въ идеяхъ, мы можемъ только расходиться въ выводахъ, что же касается до обсуживанія заграничныхъ событій, мы ихъ совсёмь предоставляемь вамъ. Вы и мы миссіонеры одной мысли. Вы увидите нашъ путь по общей полемикт, и вамъ надобно будеть держаться его; я увърень, что мнё никогда не придется поправлять ваши мнинія; я это счель бы величайшимъ несчастіемъ, скажу откровенно, весь усибхъ журнала зависить отъ нашего согласія. Надобно вопросъ демократическій и соціальный поднять на высоту предпріятія европейской лиги. Предположить, что мы не будемь согласны другь съ другомъ, значить предположить, что у насъ недостаетъ необходимыхъ условій для изданія журнала и что намъ было бы лучше молчать». На эту строгую денешу я отвъчалъ высылкою 24.000 фр. и длиннымъ письмомъ совершенно дружескимъ, но твердымъ; я говорилъ, насколько я теоретически согласенъ съ нимъ, прибавивъ, что я, какъ настоящій скиоъ, съ радостію вижу, какъ разваливается старый міръ, и думаю, что наше призваніе возв'ящать ему его близкую кончину. «Ваши со-

отечественники далеки отъ того, чтобы раздълять эти идеи. Я знаю одного свободнаго француза,—это васъ. Ваши революціонеры-консерваторы. Они христіане, не зная того, и монархисты, сражаясь за республику. Вы одни подняли вопросъ негаціи и переворота на высоту науки, и вы первые сказали Францін, что нъть спасенія внутри разваливающагося зданія, что и спасать изъ него нечего, что самыя его понятія о свободъ п революціи проникнуты консерватизмомъ и реакціей. Дійствительно, политические республиканцы составляють не больше какъ одну изъ варіацій на ту же конституціонную тему, на которую играютъ свои варіацін Гизо, Одилонъ-Барро и др. Вотъ этотъ взглядъ слъдовало бы проводить въ разборъ послъднихъ европейскихъ событій, преслідовать реакцію, католицизмъ, монархизмъ не въ ряду нашихъ враговъ-это чрезвычайно легко,-но въ собственномъ нашемъ станъ. Надобно обличить круговую поруку демократовъ и власти. Если мы не боимся затрогивать побъдителей, то не будемъ бояться изъ ложной сентиментальности затрогивать и побъжденныхъ.

«Я глубоко убъжденъ, что если пеквизиція республики не убъеть нашъ журналъ, это будетъ лучшій журналъ въ Европф».

Я и теперь въ этомъ убъжденъ. Но какъ же мы съ Прудономъ могли думать, что вовсе нецеремонное правительство Бонапарта допустить такой журналь? Это трудно объяснить.

Прудонъ былъ доволенъ моимъ письмомъ и 15 сентября писалъ мнѣ изъ Консьержери. «Я очень радъ, что встрѣтился съ вами на одномъ или на одинаковомъ трудѣ, я тоже написалъ нѣчто въ родѣ философіи 1) подъ заглавіемъ «Исповѣдъ революціонера». Вы въ ней, можетъ, не найдете вашего варварскаго задора (verve barbare), къ которому васъ пріучила нѣмецкая философія. Не забывайте, что я иншу для французовъ, которые со всѣмъ своимъ революціоннымъ пыломъ, надо признаться, гораздо ниже своей роли. Какъ бы ограниченъ ни былъ мой взглядъ, все-же онъ на сто тысячъ туазовъ выше самыхъ высокихъ вершинъ нашего журнальнаго, академическаго и литературнаго міра; меня еще станетъ на десять лѣтъ, чтобы быть великаномъ между ними.

«Я совершенно раздѣляю ваше мнѣніе насчеть такъ называемыхъ республиканцевъ; разумѣется, это одинъ видъ общей породы доктринеровъ. Что касается этихъ вопросовъ, намъ не въ чемъ убѣждать другъ друга. Во мнѣ и въ моихъ сотрудникахъ вы найдете людей, которые пойдутъ съ вами рука въ руку...

«Я также думаю, что методическій, мирный шагь, незамът-

<sup>1)</sup> Я тогда напечаталь «Vom andern Ufer».

ными переходами, какъ того хотять экономическія науки и философія исторіи, не возможенъ больше для революціи; намъ надобно дълать страшные скачки. Но, въ качествъ публицистовъ, возвъщая грядущую катастрофу, намъ не должно представлять ее необходимой и справедливой, а то насъ возненавидять и будутъ гнать, а намъ надобно эсить»...

Журналь пошель удивительно. Прудонь изъ своей тюремной кельи мастерски дирижировалъ своимъ оркестромъ. Его статьи были полны оригинальности, огня и того раздраженія, которое

тюрьма раздуваеть.

«Кто вы такой, г. президентъ? пишеть онъ въ одной статьт, говоря о Наполеонъ, скажите—мужчина, женщина, гермафродитъ, звърь или рыба?» И мы все еще думали, что такой журналь мо-

жеть держаться!

Подписчиковъ было не много, но уличная продажа была велика, въ день продавалось отъ 35.000 до 40.000 экземиляровъ. Расходъ особенно замъчательныхъ нумеровъ, напр. тъхъ, въ которыхъ пом'вщались статьи Прудона, былъ еще больше; редакція печатала ихъ отъ 50.000 до 60.000 и часто на другой день экземиляры продавались по франку, вмъсто одного су 1).

Но совстив этимъ къ 1 марта, т. е. черезъ полгода, не только въ касет не было ничего, но уже доля залога пошла на уплату штрафовъ. Гибель была неминуема. Прудонъ значительно ускорилъ ее. Это случилось такъ. Разъ я засталъ у него въ С. Пелажи д'Алтонъ-Ше и двухъ изъ редакторовъ. Д'Алтонъ-Ше-тотъ пэръ Франціи, который скандализоваль Пакье и испугаль всёхъ пэровъ, отвъчая съ трибуны на вопросъ: «да развъ вы не католикъ?»—«Нътъ, но еще больше, я вовсе не христіанинъ, да и не знаю, деистъли». Онъ говорилъ Прудону, что последніе нумера «Voix du Peuple» слабы; Прудонъ разсматривалъ ихъ и становился все угрюмъе, потомъ, совершенно разсерженный, обратился къ редакторамъ: «Что же это значитъ? Пользуясь тъмъ, что я въ тюрьмъ, вы синте тамъ въ редакцін. Нъть, господа, эдакъ я откажусь отъ всякаго участія и напечатаю мой отказъ, я не хочу, чтобъ мое имя таскали въ грязи, у васъ надобно стоять за спиной, смотръть за каждой строкой. Публика принимаеть это за мой журналъ, нътъ, этому надобно положить конецъ. Завтра я пришлю статью, чтобъ загладить дурное действіе вашего мараныя, и покажу, какъ я разумъю духъ, въ которомъ долженъ быть нашъ органъ». Видя его раздраженіе, можно было ожидать, что статья бу-

<sup>1).</sup> Мой отвёть на рёчь Донозо Кортеса, отпечатанный тысячь въ 50 экземпляровъ, вышелъ весь п, когда я попросиль черезь два, три дня себъ нъсколько экземпляровъ, редакція принуждена была скупить ихъ по кинжнымъ лавкамъ.

деть не изъ самыхъ умъренныхъ, но онъ превзошелъ наши ожиданія, его Vive l'Empereur былъ дивирамбъ проніп, проніп ядовитой, страшной.

Сверхъ новаго процесса, правительство отомстило по-своему Прудону. Его перевели въ скверную комнату, т. е. дали гораздо худшую, въ ней забрали окно до половины досками, чтобъ нельзя было ничего видъть, кромъ неба, не велъли къ нему пускать никого, къ дверямъ поставили особаго часового. И эти средства, не приличныя для исправленія шестнадцатильтняго шалуна, употребляли семь лътъ тому назадъсъ однимъ изъ величайшихъ мыслителей нашего въка! Не поумнъли люди со времени Сократа, не поумнъли со времени Галилея, только стали мельче. Это неуваженіе къ генію, впрочемъ, явленіе новое, возобновленное въ послъднее десятильтіе. Со времени Возрожденія талантъ становится до нъкоторой степени охраной: ни Спинозу, ни Лессинга не сажали въ темную комнату, не ставили въ уголь; такихъ людей иногда преслъдуютъ и убиваютъ, но не унижаютъ мелочами, ихъ посылають на эшафоть, но не въ рабочій домъ.

Буржуазно-императорская Франція любитъ равенство.

Гонимый Прудонъ еще рванулся въ своихъ цѣпяхъ, еще сдѣлалъ усиліе издавать Voix du Peuple въ 1850; но этотъ опытъ былъ тотчасъ задушенъ. Мой залогъ былъ схваченъ до копейки. Пришлось замолчать единственному человѣку во Франціи, которому было еще что сказать.

Послѣдній разъ я видѣлся съ Прудономъ въ С. Пелажи; меня высылали изъ Франціи, ему оставались еще два года тюрьмы. Печально простились мы съ нимъ, не было ни тѣни близкой надежды. Прудонъ сосредоточенно молчалъ, досада кииѣла во мнѣ; у обоихъ было много думъ въ головѣ, но говорить не хотѣлось.

Я много слышаль о его жесткости, rudesse, нетериимости, на себъ я ничего подобнаго не испыталь. То, что мягкіе люди называють его жесткостью, были упругія мышцы бойца; нахмуренное чело показывало только сильную работу мысли, въ гнъвъ онь напоминаль сердящагося Лютера или Кромвеля, смъющагося надъ Крупіономь. Онь зналь, что я его понимаю, зналь и то, какъ немногіе его понимають, и цъниль это. Онъ зналъ, что его считали за человъка мало экспансивнаго, и, услышавъ отъ Мишле о несчастіи, постигшемъ мою мать и Колю, онъ написаль мнъ изъ С. Пелажи между прочимъ: «Неужели судьба еще и съ этой стороны должна добивать насъ. Я не могу придти въ себя отъ этого ужаснаго происшествія. Я васъ люблю и глубоко ношу васъ здѣсь, въ этой груди, которую такъ многіе считаюмъ каменной».

Съ тъхъ поръ я не видалъ его 1); въ 1851 г., когда я, по милости Леона Фоше, пріъзжалъ въ Парижъ на нъсколько дней, онъ былъ отосланъ въ какую-то центральную тюрьму. Черезъ годъ я былъ проъздомъ и тайкомъ въ Парижъ, Прудонъ тогда лечился въ Безансонъ.

У Прудона есть отшибленный уголь, и туть онъ неисправимутуть предёль его личности, и, какъ всегда бываеть, за нимъ опъ консерваторъ и человёкъ преданія. Я говорю о его воззрёніи на семейную жизнь и на значеніе женщины вообще. «Какъ счастливъ нашъ N.—говаривалъ Прудонъ, шутя,—у него жена не настолько глупа, чтобъ не умёла приготовить хорошаго рот аи feu, и не настолько умна, чтобъ толковать о его статьяхъ. Это все, что надобно для домашняго счастья».

Въ этой шуткъ Прудонъ, смъясь, выразилъ серьезную основу своего воззрънія на женщину. Понятія его о семейныхъ отношеніяхъ грубы и реакціонны, но и въ нихъ выражается не мъщанскій элементъ горожанина, а скоръе упорное чувство сельскаго pater familias а, гордо считающаго женщину за подвластную работницу, а себя за самодержавную главу дома.

Года полтора послѣ того, какъ это было написано, Прудонъ издалъ свое большое сочинение «О справедливости въ церкви и революціи».

Книгу эту, за которую одичалая Франція снова осудила его на три года тюрьмы, прочиталъ я внимательно и закрылъ третій томъ, задавленный мрачными мыслями.

Тяжкое..... тяжкое время!..... Разлагающій воздухъ его одуряеть сильньйшихъ.....

И этоть «яркій боець» не выдержаль, надломился; вь его послѣднемъ трудѣ я вижу ту же мощную діалектику, тоть же розмахъ, но она приводить уже его къ прежде задуманнымъ результатамъ; она уже не свободна въ послѣднемъ словѣ. Я подъ конецъ книги слѣдклъ за Прудономъ, какъ Кентъ слѣдклъ за королемъ Лиромъ, ожидая, какъ онъ образумится, но онъ заговаривался больше и больше,—такіе же припадки нетерпимости, необузданной рѣчи, какъ у Лира, и такъ же «Еvery inch» обличаетъ талантъ, но.... талантъ «тронутый». И онъ бѣжитъ съ трупомъ, только не дочери, а матери, которую считаетъ живой! 2)

Романская мысль, религіозная въ самомъ отрицанін, суевърная въ сомнѣніи, отвергающая одни авторитеты во имя другихъ, рѣдко погружалась далѣе, глубже in medias res дѣйствительности, рѣдко такъ діалектически смѣло и вѣрно снимала съ себя всѣ

<sup>1)</sup> Послъ писаннаго, я видълся съ нимъ въ Брюсселъ.

<sup>2)</sup> Я долею измъниль мое миъніе объ этомь сочиненіи Прудона (1866).

путы, какъ въ этой книгъ. Она отръшилась въ ней не только отъ дуализма религіи, но и отъ ухищреннаго дуализма философіи; она освободилась не только отъ небесныхъ привидѣній, но и отъ земныхъ; она перешагнула черезъ сентиментальную апотеозу человѣчества, черезъ фатализмъ прогресса, у ней нѣтъ тѣхъ неизмѣняемыхъ литій о братствѣ, демократіи и прогрессѣ, которыя такъ жалко утомляютъ среди раздора и насилія. Прудонъ пожертвовалъ пониманью революціи ен идолами, ен языкомъ и перенесъ нравственность на единственную реальную почву,—грудь человѣческую, признающую одинъ разумъ и никакихъ кумпровъ, «развѣ его».

И полѣ всего этого, великій иконоборецъ испугался освобожденной личности человѣка, потому что, освободивъ ее отвлеченно, онъ впалъ снова въ метафизику, придалъ ей небывалую волю, не сладилъ съ нею и повелъ на закланіе богу безчеловѣчному, холодному богу справедливости, богу равновѣсія, тишины, покоя, богу браминовъ, ищущихъ потерять все личное и распуститься, опочить въ безконечномъ мірѣ ничтожества.

На пустомъ алтарѣ поставлены *въсы*. Это будуть новые каудинскіе фуркулы для человѣчества.

«Справедливость», къ которой онъ стремится, даже не художественная гармонія Платоновой республики, не изящное уравновъшиваніе страстей и жертвь. Гальскій трибунь ничего не береть изъ «анархической и легкомысленной Греціи», онъ стоически попираеть ногами личныя чувства, а не ищеть согласовать ихъ съ требой семьи и общаны. «Свободная» личность у него часовой и работникъ безъ выслуги, она несетъ службу и должна стоять на караулъ до смѣны смертью, она должна морить въ себъ все лично-страстное, все внѣшнее долгу, потому что она не она, ея смыслъ, ея сущность внѣ ея; она органъ справедливости, она предназначена носить въ мученіяхъ идею и водворить ее на свѣть для спасенія государства.

Семья, первая ячейка общества, первыя ясли справедливости, осуждена на вѣчную, безвыходную работу: она должна служить жертвенникомъ очищенія отъ личнаго, въ ней должны быть вытравлены страсти. Суровая римская семья въ современной мастерской—идеалъ Прудона. Христіанство слишкомъ изнѣжило семейную жизнь, оно предпочло Марію—Мареѣ, мечтательницу—хозяйкѣ, оно простило согрѣшившей и протянуло руку раскаявшейся за то, что она много любила, а въ Прудоновой семьѣ именно надобно мало любить. И это не все: христіанство гораздо выше ставитъ личность, чѣмъ семейныя отношенія ея. Оно сказало сыну: «брось отца и мать и иди за мной», сыну, котораго слѣдуеть, во имя воплощенія справедливости, снова заковать въ

колодки безусловной отцовской власти, сыну, который не можеть имѣть воли при отцѣ, пуще всего въ выборѣ жены. Онъ долженъ закалиться въ рабствѣ, чтобы въ свою очередь сдѣлаться тираномъ дѣтей, рожденныхъ безъ любви, по долгу, для продолженія семьи. Въ этой семьѣ бракъ будетъ нерасторгаемъ, но зато холодный какъ ледъ; бракъ собственно побѣда надъ любовью: чѣмъ меньше любви между женой-кухаркой и мужемъ-работникомъ, тѣмъ лучше. И эти старыя, изношенныя пугала, изъ гегелизма правой стороны, пришлось-то мнѣ еще разъ увидѣть подъ перомъ Прудона!

Чувство изгнано, все замерло, цвёта исчезли, остался утомительный, тупой, безвыходный трудъ современнаго пролетарія, трудъ, отъ котораго, по крайней мёрѣ, была свободна арпстократическая семья древняго Рима, основанная на рабствѣ; нѣтъ больше ни поэзіи церкви, ни бреда вѣры, ни упованья рая, даже и стиховъ къ тѣмъ порамъ «не будутъ больше писать», по увѣренію Прудона, зато работа будетъ «увеличиваться». За свободу личности, за самобытность дѣйствія, за независимость можно пожертвовать религіознымъ убаюкиваніемъ, но пожертвовать всѣмъ для воплощенія идеп справедливости,—что это за вздоръ!

Человъкъ осужденъ на работу, онъ долженъ работать до тъхъ поръ, пока опустится рука, сынъ вынеть изъ холодныхъ пальцевъ отца стругъ или молотъ и будеть продолжать въчную работу. Ну, а какъ въ ряду сыновей найдется одинъ поумнъе, который положить долото и спросить: «Да изъ чего же мы это выбиваемся изъ силь?»—«Для торжества справедливости», скажеть ему Прудонъ. А новый Каннъ отвътить ему: «Да кто же мнъ поручилъ торжество справедливости?»—«Какъ кто?—развѣ всепризваніе твое, вся твоя жизнь не есть воплощеніе справедливостя?» --«Кто же поставилъ эту цъль? скажеть на это Каинъ. Это слишкомъ старо, Бога ивтъ, а заповвди остались. Справедливость не есть мое призваніс, работать не долгь, а необходимость, для меня семья совсёмъ не пожизненныя колодки, а среда для моей жизни, для моего развитія. Вы хотите держать меня въ рабствъ, а я бунтую противъ васъ, противъ вашего безмъна, такъ, какъ вы всю вашу жизнь бунтовали противъ капитала, штыковъ, церкви, такъ, какъ всф французскіе революціонеры бунтовали противъ феодальной и католической традиціи. Или вы думаете, что послъ взятія Бастиліи, послъ террора, послъ войны и голода, послѣ короля мѣщанина и мѣщанской республики, я повѣрю вамъ, что Ромео не имътъ правъ любить Джульету за то, что старые дураки Монтекки и Капулетти длили въковую ссору, и что я ни въ тридцать, ни въ сорокъ лътъ не могу выбрать себъ подруги безъ позволенія отца, что измінившую женщину нужно казнить, позорить? Да за кого же вы меня считаете съ вашей юстиціей?»

А мы съ своей діалектической стороны на подмогу Каину прибавили бы, что все понятіе о *цъли* у Прудона совершенно непослѣдовательно. Телеологія, это—тоже теологія, это февральская республика, т. е. та же іюльская монархія, но безъ Людовика Филиппа. Какая же разница между предопредѣленной цѣлесообразностью и промысломъ? 1)

Прудонъ, черезъ край освободивши личность, испугался, взглянувъ на своихъ современниковъ, и чтобъ этп каторжные, ticket of leave, не надълали бъдъ, онъ ловитъ ихъ въ каиканъ

римской семьи.

Въ растворенныя двери реставрированнаго атріума, безъ ларъ и пенать, видится уже не Анархія, не уничтоженіе власти, государства, а строгій чинь, съ централизаціей, съ виёшательствомъ въ семейныя дёла, съ наслёдствомъ и съ лишеніемъ его за наказаніе; всё старые римскіе грёхи выглядывають съ ними изъ щелей своими мертвыми глазами статуи.

Античная семья ведеть естественно за собой античное отечество съ своимъ ревнивымь патріотизмомъ, этой свирѣпой добродѣтелью, которая пролила вдесятеро больше крови, чѣмъ всѣ по-

роки вивств.

Человъкъ, прикръпленный къ семьъ, дълается снова кръпокъ землъ. Его движенія очерчены, онъ пустилъ корни въ свое поле, онъ только на немъ то, что онъ есть: «французъ, живущій въ Россіи, говоритъ Прудонъ, русскій, а не французъ». Нътъ больше ни колоній, ни заграничныхъ факторій, живи каждый у себя...

«Голландія не погибнеть, сказаль Вильгельмъ Оранскій въ страшную годину, она сядеть на корабли и уѣдетъ куда-нибудь въ Азію, а здѣсь мы спустимъ плотины». Вотъ какіе народы бы-

вають свободны.

Такъ и англичане; какъ только ихъ начинають твенить, они илывуть за океанъ, и тамъ заводять юную и болве свободную Англію. А уже, конечно, нельзя сказать объ англичанахъ, чтобъ они или не любили своего отечества, или чтобъ они были не національны. Расплывающаяся во вев стороны Англія засвлила полміра, въ то время, какъ скудная соками Франція—одни колоніи потеряла, а съ другими не знаетъ что двлать. Онв ей и ненужны; Франція довольна собой и люпится все больше и больше къ своему средоточію, а средоточіе къ своему господину. Какая же независимость можеть быть въ такой странь?

<sup>1)</sup> Самъ Прудонъ сказалъ: «Rein ne ressemble plus a la prémditation, que la logique des faits».

А, съ другой стороны, какъ же бросить Францію, la belle France? «Развѣ она и теперь не самая свободная страна въ мірѣ, развѣ ея языкъ—не лучшій языкъ, ея литература—не лучшая литература, развѣ ея силлабическій стихъ—не звучпѣе греческаго гекзаметра!» Къ тому же ея всемірный геній усваиваеть себѣ и мысль, и твореніе всѣхъ временъ и странъ: «Шекспиръ и Кантъ, Гёте и Гегель—развѣ не сдѣлались своими во Франціи?» И еще больше: Прудонъ забылъ, что она ихъ исправила и одѣла, какъ помѣщики одѣвають мужиковъ, когда ихъ берутъ во дворъ.

Прудонъ заключаеть свою книгу католической молитвой, положенной на соціализиъ; ему стоило только разстричь нѣсколько церковныхъ фразъ и прикрыть ихъ, виѣсто клобука, фригійской шапкой, чтобъ молитва «бизантинскихъ» архіереевъ какъ-разъ

пришлась архіерею соціализма!

Что за хаосъ! Прудонъ, освобождаясь отъ всего, кромѣ разума, хотѣлъ остаться не только мужемъ въ родѣ Синей Бороды, но и французскимъ націоналистомъ, съ литературнымъ шовинизмомъ и безграничной родительской властью, а потому вслѣдъ за крѣпкой, полной силъ мыслію свободнаго человѣка слышится голосъ свирѣпаго старика, диктующаго свое завѣщаніе и хотящаго теперь сохранить своимъ дѣтямъ ветхую храмину, которую онъ подкапывалъ всю жизнь.

Не любить романскій міръ свободы, онъ любить только домогаться ея; силы на *освобожденіе* онъ иногда находить, на *свободу*—никогда. Не печально ли видіть такихъ людей, какъ Огюстъ Контъ, какъ Прудонъ, которые посліднимъ словомъ ставять: одинъ—какую-то мандаринскую іерархію, другой—свою каторжную семью и апотеозу безчеловъчнаго pereat mundus—fiat

insticia!

# Раздумье по поводу затронутыхъ вопросовъ.

Ι.

... Съ одной стороны, безотвътно спаянная, заклепанная наглухо семья Прудона, неразрывный бракъ, нераздъльность отцовской власти, семья, въ которой для общественной цъли лица гибнутъ, кромю одного,—свиръпый бракъ, въ которомъ признана непзмъняемость чувствъ, кабала объту; съ другой—возникающія ученья, въ которыхъ бракъ и семья развязаны, признана неотра-

зимая власть страстей, необязательность былого и независимость лицъ.

Съ одной стороны, женщина, чуть не побиваемая каменьями за изм'єну, съ другой—самая ревность, поставленная hors la loi, какъ бол'єзненное, искаженное чувство эгоизма, пропріетаризма и романтическаго ниспроверженія здоровыхъ и естественныхъ понятій.

Гдѣ истина... гдѣ діагональ? Двадцать три года тому назадъ, я уже искалъ выхода изъ этого лѣса противорѣчій ¹).

Мы смёлы въ отрицаніи и всегда готовы толкнуть всякаго перуна въ воду,—но перуны домашней и семейной жизни какъто water-proof, они все «выдыбаются». Можетъ, въ нихъ и не осталось смысла, но жизнь осталась: видно, орудія, употребляемыя противъ нихъ, только скользнули по ихъ змённой чешуё, уронили ихъ, оглунили... но не убили.

Ревность... Върность... Измъна... Чистота... темныя силы, грозныя слова, по милости которыхъ текли ръки слезъ, ръки крови,—слова, заставляющія содрогаться насъ, какъ воспоминаніе объ инквизиціи, пыткъ, чумъ... и притомъ слова, подъ которыми, какъ подъ Дамокловымъ мечемъ, жила и живетъ семья.

Ихъ не выгонишь за дверь ни бранью, ни отрицаніемъ. Онп остаются *за угломъ* и дремлють, готовыя при малѣйшемъ поводѣ все губить, близкое и дальное—губить насъ самихъ...

Видно надобно оставить благое намъреніе тушить до тла такіе тлъющіе пожары и скромно ограничиться только тъмь, чтобъ разрушительный огонь человъчески направить и укротить. Логикой страстей обуздать нельзя, такъ, какъ судомъ нельзя ихъ оправдать. Страсти—факты, а не догматы.

Ревность, сверхъ того, состояла на особыхъ правахъ. Сама по себъ сильная и совершенно естественная страсть,—она до сихъ поръ, виъсто обузданія, укрощенія, была только подстрекаема. Ревность получила jus gladii, право суда и мести. Она сдълалась долгому чести, чуть не добродътелью. Все это не выдерживаетъ ни малъйшей критики, но за тъмъ все-же на днъ души остается очень реальное и несокрушимое чувство боли, несчастія, называемое ревностью, чувство элементарное какъ само чувство любви, противостоящее всякому отрицанію—чувство «ирредуктибельное».

... Туть опять тѣ вѣчныя грани, тѣ Кавдинскія фуркулы, подъ которыя насъ гонить исторія. Съ обѣихъ сторонъ правда, съ обѣихъ ложь. Бойкимъ entweder-oder и туть ничего не возьмешь. Въ минуту полнаго отрицанія одного изъ терминовъ, онъ

<sup>1) &</sup>quot;По поведу одной драмы".

А. И. Герценъ, т. Ш.

возвращается, такъ, какъ за послёдней четвертью мёсяца является съ другой стороны первая.

Гегель снималь эти пограничные столбы человъческаго разума, подымаясь въ безусловный духъ; въ немъ они не исчезали, а преображсались, исполнялись, какъ выражалась нъмецкая теологическая наука, — это мистициямъ, философская теодицея, аллегорія и самое дѣло, намъренно смѣшанные. Всъ религіозныя примиренія непримиримаго дѣлаются искупленіями, т. е. священнымъ преобразованіемъ, такимъ разрѣшеніемъ, которое не разрѣшаетъ, а дается на въру. Что можетъ быть противоположнъе личной воли и необходимости, а върой и онъ легко примиряются. Человъкъ безропотно въ одно и то же время принимаетъ справедливость наказанія за поступокъ, который былъ предопредѣленъ.

Самъ Прудонъ поступиять, въ другомъ порядкъ вопросовъ, гораздо человъчественнъе нъмецкой науки. Онъ выходить изъ экономическихъ противоръчій тъмъ, что признаеть объ стороны подъ обузданіемъ высшаго начала. Собственность—право и собственность—кразіса становятся рядомъ, въ въчномъ колебанія, въ въчномъ восполненіи, подъ постоянно растущимъ міродержавіемъ справедливости. Ясно, что противоръчія и споръ переносятся въ другую сферу, и что къ отвъту требовать приходится понятіе справедливости больше, чъмъ право собственности.

Чѣмъ высшее начало проще, менѣе мпстично и менѣе односторонно, чѣмъ оно реальнѣе и прилагаемѣе, тѣмъ полнѣе оно сводитъ термины противорѣчащіе на ихъ наименьшее выраженіе.

Безусловный, «перехватывающій» духъ Гегеля замѣненъ у Прудона грозною идеей справедливости.

Но и ею врядъ ли разрѣшатся вопросы страстей. Страсть сама по себѣ несправедлива. Справедливость отвлекается отъличностей, она междулична,—страсть только индивидуальна.

Тутъ выходъ не въ судъ, а въ человъческомъ развитіи личностей, въ выводъ ихъ изъ лирической замкнутости на бълый свътъ, въ развитіи общихъ интересовъ.

Радикально уничтожить ревность, значить уничтожить мобовь къ мицу, замёняя ее любовью къ женщинё или къ мужчине, вообще любовью къ полу. Но именно только мичное, индивидуальное и нравится, оно-то и даетъ колорить, tonus, страстность всей нашей жизни. Нашъ лиризмъ—мичный, наше счастье и несчастье — мичное счастье и несчастье. Доктринаризмъ со всей своей логикой такъ же мало утёшаетъ въ личномъ горе, какъ и римскія консоляціи съ своей риторикой. Ни слезъ о потере, ни слезъ ревности вытереть нельзя и не должно, но можно и должно достигнуть, чтобъ оню мились человически... и чтобъ въ нихъ равно не было

ни монашескаго яда, ни дикости звъря, ни вопля уязвленнаго собственника  $^{1}$ ).

### Π.

Свести отношенія мужчины и женщины на случайную половую встръчу такъ же невозможно, какъ поднять и свинтить ихъ до гробовой доски въ неразрывномъ бракъ. И то, и другое можетъ встрътиться на закраинахъ половыхъ и брачныхъ отношеній, какъ частный случай, какъ исключеніе, но не какъ общее правило. Половое отношеніе перервется или будетъ постоянно стремиться къ болъе тъсному и прочному соединенію такъ, какъ нерасторгаемый

бракъ-къ освобождению отъ внёшней цёни.

Люди постоянно протестовали противъ объихъ крайностей. Нерасторгаемый бракъ былъ принимаемъ ими лицемърно или сгоряча. Случайная близость никогда не имъла полной инвеституры, ее всегда скрывали, такъ, какъ хвастались бракомъ. Всъ попытки офиціальной регламентаціи публичныхъ домовъ, несмотря на то, что онъ имъютъ въ виду ихъ стъсненіе, оскорбляютъ общественный, нравственный смыслъ. Онъ въ устройствъ видитъ признаніе. Проектъ, сдъланный однимъ господиномъ въ Парижъ, во время Директоріи, о заведеніи привилегированныхъ публичныхъ домовъ, съ свосй іерархіей и проч., былъ даже въ тъ времена принятъ свистомъ и палъ подъ громомъ смъха и пренебреженія.

<sup>1)</sup> Читая корректурный листь, мнъ попалась французская газета, въ которой разсказапъ чрезвычайно характеристическій случай. Возлі Парижа какой-то студенть завель связь съ дъвушкой, связь эта открылась. Отецъ ея отправился къ студенту и умолялъ его со слезами, на колъняхъ возстановить честь дочери и жениться на ней; студенть съ дерзостью отказался. Кольнопреклоненный отець даль ему пощечину, студенть его вызваль, они стрелялись; во время дуэли, старика хватилъ параличъ, изуродовавшій его. Студенть сконфузился и "ръшился жепиться", а невъста огорчилась и ръшилась выйти замужъ. Газета прибавляеть, что такая счастлисая развязка, върно, будеть много способствовать къ выздоровлению старика. Неужели все это не сумасшедший домъ, неужели Китай, Индія, надъ юродствами и уродствами которыхъ мы столько издѣваемся, представляють что-нибудь безобразнье, глупье этой исторіи; я уже пе говорю безиравственийе. Парижскій романь въ сто разъ преступийе всёхъ поджариваемыхъ вдовъ и зарываемыхъ весталокъ. Тамъ етра, снимающая всякую отвътственность, а здёсь одни условныя, призрачныя понятія о внёшней чести, о внёшней репутацін... Не явно ли изъ дёла, что за человёкъ студенть? За что же судьбу дъвушки сковали съ нимъ à perpetuité? За что же ее сгубили для спасенія имени! О Бедламъ! (1866). 11\*

Роду человъческому приходилось или вымереть, или быть непослъдовательнымь. Оскорбленная жизнь протестовала.

Протестовала она не только фактами, сопровождаемыми раскаяніемъ и угрызеніемъ сов'єсти, а сочувствіемъ, реабилитаціей. Протестъ начался въ самый разгаръ католичества и рыцарства.

Грозный мужъ, Рауль Синяя борода, въ латахъ съ мечемъ, своевольный, ревнивый и безпощадный, босой монахъ, угрюмый, безумный, изувъръ, готовый мстить за свои лишенія, за свою ненужную борьбу, тюремщики, палачи, лазутчики... и гдъ-нибудь въ башнъ или подвалъ рыдающая женщина, юноніа пажъ въ цъ-пяхъ, за которыхъ никто не вступится. Все мрачно, дико, вездъ кровь, ограниченность, насиліе и латинская молитва въ носъ.

Но за спиной монаха, исповъдника и тюремщика, стоящихъ на стражъ брака съ грознымъ мужемъ, отцомъ, братомъ, слагается въ тиши народная легенда, раздается пъсня, ходитъ изъ мъста въ мъсто, изъ замка въ замокъ, съ трубадуромъ и минезенгеромъ,—она поетъ за несчастную женщину. Судъ разитъ—пъсня отпускаетъ. Она защищаетъ влюбленнаго пажа, падшую жену, угнетенную дочь—не разсужденіемъ, а сочувствіемъ, жалостью, плачемъ. Пъсня для народа—его свътская молитва, его другой выходъ изъ голодной, холодной жизни, душной тоски и тяжелой работы.

Въ праздничные дни, литаніи Богородицѣ смѣнялись печальными звуками des complaintes, которые не предавали позору несчастную женщину, а оплакивали ее и ставили передъ всѣхъ скорбящей Дѣвой, прося Ея заступы и прощенья.

Изъ пъсенъ и легендъ протестъ растетъ въ романъ и драму. Въ драмъ онъ становится силой. Обиженная любовь, мрачныя тайны семейной неправды получили свою трибуну, свой публичный судъ. Процессъ ихъ потрясалъ тысячи сердецъ, вырывая слезы и крики негодованія противъ кабальнаго брака и насильственно скованной семьи. Присяжные партера и ложъ произносили постоянно свое оправданіе лицамъ и осужденіе институтамъ.

Между тым, въ эпоху политическихъ перестроекъ и свытскаго направленія умовь, одна изъ двухъ крышкихъ ножекъ брака стала подламываться. Переставая все болые и болые быть таинствомъ, т. е., теряя послыдною основу свою, онъ тымъ больше опирался на полицію. Только мистическимъ вмышательствомъ высшей сплы и можетъ быть оправданъ христіанскій бракъ. Тутъ есть своя логика. Квартальный, надывающій на себя трехцвытный шарфъ и вынчающій съ гражданскимъ кодексомъ въ рукть, гораздо нелыйе священника въ ризть, окруженнаго дымомъ ладона, образами, чудесами. Самъ первый консуль Наполеонъ, самый буржуазно-политическій человыкъ въ дылы любви и семьи, догадался, что бракъ на сътяжей больно плохъ, и уговаривалъ Камбасереса

прибавить какую-нибудь обязательную фразу, моральную, особенно такую, которая поучала бы новобрачную, что *она* обязана быть *върной* мужу (о немъ ни слова) и слушаться его.

Какъ скоро бракъ выходить изъ сферъ мистицизма, онъ дълается expedient—внъшней мърой. Ее ввели испуганные «Спнія Бороды», обрившіеся и сдёлавшіеся «синими подбородками», Раули въ судейскихъ парикахъ, академическихъ фракахъ, народные представители и либералы, попы кодекса. Гражданскій бракъмъра государственнаго хозяйства, освобождение государства отъ воспитанія дітей и вящее прикрыпленіе людей къ собственности-Бракъ безъ вибшательства церкви сдулался кабальнымъ кон. трактомъ на пожизненное отданіе своего тіла другь другу. До въры законодателю дъла нъть, лишь бы контракть былъ исполненъ, а не будетъ исполненъ, онъ найдетъ средства наказать и добить. Да отчего же и не наказать? Въ Англіи, въ классической странъ юридическаго развитія, подвергаютъ же страшнъйшимъ истязаніямь шестнадцатил'єтняго мальчика, котораго старый казарменный сводникъ, съ лентами на шлянъ, напоить элемъ и джиномъ и завербуетъ въ полкъ. Отчего же не наказывать позоромъ, раззореніемъ, выдачей головой дѣвочку, которая, не давая себъ отчета въ томъ, что дълаетъ, законтрактовалась на пожизненную любовь и допустила extra, забывая, что season ticket не

Но и на «синій подбородокъ» нашлись свои труверы и романисты. Противъ контрактоваго брака водрузился догмать исихіатрическій, физіологическій, догмать абсолютной непреложности страстей и человъческой несостоятельности бороться съ ними.

Вчерашніе рабы брака идуть въ рабство любви. На любовь

суда нътъ, противъ нея силъ нътъ.

Затыть стирается всякій разумный контроль, всякая отвытственность, всякое самообузданіе. Покореніе человыка неотразимымъ и неподчиненнымъ ему силамъ дыло совершенно противоположное тому освобожденію въ разумы и разумомъ, тому образованію характера свободнаго человыка, къ которому стремятся, разными

путями, всъ соціальныя ученія.

Мнимыя силы, если люди ихъ принимають за дёйствительныя, точно такъ же мощны, какъ и дёйствительныя, и это потому, что матеріаль, даваемый человѣкомь, томъ же, какая бы сила ни была. Человѣкъ, который боится духовъ, и человѣкъ, который боится бѣшеныхъ собакъ, боится одинаковымъ образомъ и можетъ умереть отъ страха. Разница въ томъ, что въ одномъ случаѣ человѣку можно доказать, что онъ боится вздора, а въ другомъ нельзя.

Я отрицаю то царственное мъсто, которое дають любви въ

жизни, я отрицаю ся самодержавную власть и протестую противъ

слабодушнаго оправданія увлеченіемъ.

Неужели мы освободились отъ всего на свътъ, отъ Бога и діавола, отъ римскаго и уголовнаго права, и провозгласили разумъ единственнымъ путеводителемъ и регуляторомъ для того, чтобъ скромно, какъ Геркулесъ, лечь у ногъ Омфалы или уснуть на колъняхъ Далилы? Неужели женщина искала своего освобожденія отъ ига семьи, въчной опеки, тиранства мужа, отца, брата, искала своихъ правъ на самобытный трудъ, на науку и гражданское значеніе для того, чтобъ снова начать всю жизнь ворковать какъ горлица и изнывать отъ десятка Леоне-Леони вмъсто одного?

Да, женщину въ этомъ вопросѣ мнѣ всего больше жаль, ее безвозвратнѣе точитъ и губитъ всепожирающій Молохъ любви. Она больше вѣруетъ въ него, больше страдаетъ. Она больше сосредоточена на одномъ половомъ отношеніи, больше загнана въ любовь... Она больше сведена съ ума, и меньше насъ доведена до него.

Мнъ ее жаль.

## III.

Развъ кто-нибудь серьезно, честно старался разбить предразсудки въ женскомъ воспитания? Ихъ разбиваетъ опытъ, и оттогото ломится не предразсудокъ, а жизнь.

Люди обходять вопросы, насъ занимающіе, какъ старухи и дъти обходятъ кладбище или мъста, на которыхъ совершилось злодъйство. Однъ боятся нечистыхъ духовъ, другія чистой правды, и остаются при фантастическомъ неустройствъ и неизслъдованной тьмъ. Серьезнаго единства во взглядъ на половыя отношенія такъ же мало, какъ во вежхъ практическихъ сферахъ. Все еще мерещится возможность соединить христіанскую нравственность, идущую отъ попранія плоти на тот свить, съ земной, реальной нравственностью этого свъта. Съ досады, что не ладится, и чтобъ недолго мучить себя надъ разрёшеніемъ вопросовъ, люди оставияють по выбору и по вкусу то, что имъ нравится изъ церковнаго ученія, и бросають то, что не нравится, на томъ самомъ основаніи, на которомъ, не соблюдая постовъ, усердно ёдятъ блины, и, не оставляя веселыхъ религіозныхъ обычаевъ, устраняются отъ скучныхъ. А, кажется, давно пора внести больше сивтости и мужества въ поведеніе. Пусть уважающій законъ остается подзаконнымъ и не нарушаетъ его, а непринимающійсвободнымъ отъ него открыто и сознательно.

Трезвый взглядъ на людскія отношенія гораздо труднѣе для женщины, чѣмъ для насъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; онѣ больше обмануты воспитаніемъ, меньше знаютъ жизнь, и оттого чаще оступаются и ломаютъ голову и сердце, чѣмъ освобождаются, всегда бунтуютъ и остаются въ рабствѣ, стремятся къ перевороту и пуще всего поддерживаютъ существующее.

Съ дътскихъ лътъ дъвушка испугана половымъ отношеніемъ, какой-то страшной, нечистой тайной, отъ которой ее предостерегають, отстращивають, какъ-будто этотъ гръхъ имъетъ какую-то чарующую силу. И потомъ то же чудовище, то же magnum ignotum, пятнающее неизгладимымъ пятномъ, дальнъйшій намекъ на которое заставляетъ краснъть и позорить, ставится цълью ея жизни. Мальчику, едва умъющему ходить, даютъ жестяную саблю, прічая его къ убійству, ему пророчатъ гусарскій мундиръ и эполеты; дъвочку убаюкиваютъ надеждой богатаго, красиваго жениха, и она мечтаетъ объ эполетахъ, но не на своихъ плечахъ, а на плечахъ суженаго.

Dors, dors, mon enfant, Jusqu'a l'âge de quinze ans, A quinze ans faut te réveiller, A quinze ans faut te marier.

Надобно дивиться хорошей человъческой натуръ, не поддающейся такому воспитанію,—слѣдовало бы ожидать, что всѣ дѣвочки, такъ убаюканныя съ пятнадцати лѣтъ, пустятся на ускоренную замѣну убитыхъ мальчиками, пріученными съ дѣтства къ смерто-

носнымъ оружіямъ.

Христіанское ученіе вселяеть ужасъ передъ «плотью», прежде чёмь организмь сознаеть свой полъ; оно будить въ ребенкъ опасный вопросъ, бросаеть тревогу въ отроческую душу, и, когда приходить время отвъта, другое ученіе возводить, какъ мы сказали, для дъвушки половое назначеніе въ искомый идеалъ; ученица становится невистой, и та же тайна, тоть же гръхъ, но очищенный, является въщомъ воспитанья, желаніемъ всъхъ родныхъ, стремленіемъ всъхъ усилій, чуть не общественнымъ долгомъ. Искусства и науки, образованіе, умъ, красота, богатство, грація, все устремлено туда же, все это розы, которыми усыпается путь къ тому же гръху, мысль о которомъ считалась преступленіемъ, но которое измѣнило свою сущность.

Словомъ, отрицательно и положительно все воспитаніе женщины остается воспитаніемъ половыхъ отношеній, около нихъ вертится вся ея послѣдующая жизнь... от нихъ она бѣжитъ, къ нимъ она бѣжитъ, ими опозорена, ими гордится... Сегодня хранить отрицательную святость непорочности, сегодня ближайшей подругѣ, краснѣя, шепотомъ, говоритъ о любви, завтра при блескъ

и шумъ, при толиъ, зажженныхъ люстрахъ и громъ музыки, бросается въ объятія мужчины.

Невъста, жена, мать—женщина едва подъ старость, бабушкой, освобождается отъ половой жизни и становится самобытнымъ существомъ, особенно, если дъдушка умеръ. Женщина, помѣченная любовью, нескоро ускользаеть отъ нея... беременность, кормленіе, воспитаніе, развитіе той же тайны, того же акта любви, въ женщинѣ онъ продолжается не въ одной памяти, а въ крови и въ тѣлѣ, въ ней онъ бродить и эрѣеть, и, разрываясь,—не разрывается.

Выпутаться женщинъ изъ этого хаоса—геройскій подвигь, его совершають однѣ рѣдкія, исключительныя натуры; остальныя женщины мучатся, и если не сходять съ ума, то только благодаря легкомыслію, съ которымъ мы всѣ живемъ до грозныхъ столкновеній и ударовъ, не мудрствуя лукаво и безсмысленно переходя съ дня на день, отъ случайности къ случайности и отъ противорѣчія къ противорѣчію.

Какую ширину, какое человъчески-сильное и человъчески-прекрасное развитіе надобно имъть женщинъ, чтобъ перешагнуть всъ палисады, всъ частоколы, въ которыхъ она поймана!

Я виделъ одну борьбу и одну победу...

## ГЛАВА ХІІІ.

Coup d'ètat.—Прокуроръ покойной республики.—Гласъ коровій въ пустын'ъ.—Высылка прокурора.—Порядокъ и цивилизація торжествують.

«Vive la mort, друзья! И съ новымъ годомъ! Теперь будемъ последовательны, не изменимъ собственной мысли, пе испутаемся осуществленія того, что мы предвидёли, не отречемся отъ знанія, до котораго дошли скорбнымъ путемъ. Тонерь будемъ сильны и постоимъ за наши убъжденія.

«Мы давно видѣли приближающуюся смерть; мы можемъ печалиться, принимать участіе, но не можемъ ни удивляться, пи отчанваться, пи понурить голову. Совсѣмъ напротивъ, намъ надо ее поднять—мы оправданы. Насъ называли зловѣщими воронами, пакликивающими бѣды,насъ упрекали въ расколѣ, въ незнаніи народа, въ гордомъ удаленіи, въ дѣтскомъ негодованіи, а мы были только виноваты въ истинѣ и въ откровенномъ высказываніи ея. Рѣчь наша, оставаясь та же, становится утѣшеніемъ, одобреніемъ устрашенныхъ событіями въ Парижѣ». (Письма изъ Франціи и Италіи, Письмо XIV, Ницца, 31 дек. 1851).

Утромъ, помнится 4 декабря, вошелъ ко мнѣ нашъ поваръ Pasquale Rocca и съ довольнымъ видомъ объявилъ, что въ городѣ продають афиши съ извъщениемъ о томъ, что «Бонапартъ разогналъ собрание и назначилъ красное правительство». Кто такъ усердно служилъ Наполеону и распространялъ, даже внъ Франціи (тогда Ницца была итальянской), такіе служи въ народъ,—не знаю, но каково должно быть число всякаго рода агентовъ, политическихъ кочегаровъ, взбивателей, подогръвателей, когда и на Ниццу хватило?

Черезъ часъ явились Фогтъ, Орсини, Хоецкій, Матьё и др., всѣ были удивлены... Матьё, типическое лице изъ французскихъ

революціонеровъ, былъ внѣ себя.

Лысый, съ череномъвъ видѣ грецкаго орѣха, т. е., съ череномъ чисто гальскимъ, непомъстительнымъ, но упрямымъ, съ большой, темной и нечесаной бородой, съ довольно добрымъ выраженіемъ и маленькими глазами—Матьё походилъ на пророка, на юродиваго, на авгура и на его птицу. Онъ былъ юристъ и въ счастливые дни февральской республики былъ гдѣ-то прокуроромъ или за прокурора. Революціонеръ онъ былъ до конца ногтей: онъ отдался революціи такъ, какъ отдаются религіи, съ полной вѣрой, никогда не дерзалъ ни понимать, ни сомнѣваться, ни мудрствовать лукаво, а любилъ и вѣрилъ, называлъ Ледрю-Роллена—Ледрррю и Луи-Блана—Бланомъ просто, говорилъ, когда могъ

citoyen, и постоянно конспирировалъ.

Получивши въсть о 2 декабрь, онъ исчезъ и возвратился черезъ два дня, съ глубокимъ убъжденіемъ, что Франція поднялась, que сеlа chauffe и особенно на югъ, въ Варскомъ департаменть, около Драгиньяна. Главное дъло состояло въ томъ, чтобъ войти въ сношенія съ представителями возстанія... Кой-кого онъ видълъ и съ ними ръшилъ ночью, перейдя Варъ, на извъстномъ мъстъ, собрать на совъщаніе людей важныхъ и надежныхъ... Но, чтобъ жандармы не могли догадаться, было положено съ объихъ сторонъ подавать сигналы «коровьимъ мычаніемъ». Если дъло пойдетъ на ладъ, Орсини хотълъ привести всъхъ своихъ друзей и, не совсъмъ довъряя върному взгляду Матьё, самъ отправился вмъстъ съ нимъ черезъ границу. Орсини возвратился, покачивая головой, однако, върный своей революціонной и немного кондотьерской натуръ, сталъ приготовлять своихъ товарищей и оружіе. Матьё пропалъ.

Черезъ сутки, ночью меня будить Рокка, часа въ четыре: «Два господина прямо съ дороги, имъ очень нужно, говорять они, васъ видъть. Одинъ изъ нихъ далъ эту записку».—«Гражданинъ, Бога ради, какъ можно скоръе, вручите подателю 300

или 400 фран., крайне нужно. Матьё».

Я захватиль деньги и сошель внизъ: въ полумракъ сидъли у окна двъ замъчательныя личности; привычный ко всъмъ мун-

дирамъ революціи, я все-таки быль пораженъ посѣтителями. Оба были покрыты грязью и глиной, съ колѣнъ до пятокъ, на одномъ былъ красный шарфъ, шерстяной и толстый; на обоихъ затасканныя пальто, по жилету поясъ, за поясомъ большіе пистолеты, остальное, какъ слѣдуетъ—всклокоченные волосы, большія бороды и крошечныя трубки. Одинъ изъ нихъ, сказавъ сітоуеп, произнесъ рѣчь, въ которой коснулся до моихъ цивическихъ добродѣтелей и до денегь, которыя ждетъ Матьё. Я отдалъ деньги.

— Онъ въ безопасности? спросилъ я.

— Да, отвѣчалъ его посолъ, мы сейчасъ идемъ къ нему за Варъ. Онъ покупаетъ лодку.

— Лодку? зачёмъ?

— Гражданинъ Матьё имъетъ цёлый планъ высадки,—гнусный трусъ лодочникъ не хотёлъ дать въ наемъ лодку...

— Какъ, высадку во Франціи... съ одной лодкой...

— Пока, гражданинъ, это тайна.

— Comme de raison.

— Прикажете расписку?

— Помилуйте, зачёмъ.

На другой день явился самъ Матьё, точно также по уши въ грязи... и усталый до изнеможенія; онъ всю ночь мычаль коровой, нѣсколько разъ казалось слышаль отвѣтъ, шелъ на спгналъ и находиль дѣйствительнаго быка или корову. Орсини, прождавъ его гдѣ-то часовъ десять кряду, тоже возвратился. Разница между ними была та, что Орсини, вымытый и какъ всегда со вкусомъ и чисто одѣтый, походилъ на человѣка, вышедшаго изъ своей спальной, а Матьё носилъ на себѣ всѣ признаки, что онъ нарушалъ спокойствіе государства и покушался возстать.

Началась исторія лодки. Долго ли до грѣха, сгубиль бы онъ полдюжины своихъ, да полдюжины итальянцевъ. Остановить, убѣдить его было невозможно. Съ нимъ показались и военачальники, приходившіе ко мнѣ ночью; можно было быть увѣреннымъ, что онъ компрометируетъ не только всѣхъ французовъ, но и насъ всѣхъ въ Ниццѣ. Хоецкій взялся его угомонить и сдѣлалъ это артистомъ.

Окно Хоецкаго, съ небольшимъ балкономъ, выходило прямо на взморье. Утромъ онъ увидёлъ Матьё, бродящаго съ таинственнымъ видомъ по берегу моря... Хоецкій сталъ ему дёлать внаки; Матьё увидёлъ и показалъ, что сейчасъ придетъ къ нему, но Хоецкій выразилъ страшнѣйшій ужасъ,—телеграфироваль ему руками неминуемую опасность и требовалъ, чтобъ онъ подошелъ къ балкону. Матьё, оглядываясь и на цыпочкахъ, подкрался.

— Вы не знаете? спросилъ его Хоецкій.

- Что?
- Въ Нициъ взводъ французскихъ жандармовъ.
- Что вы?
- III-ш-ш-ш... Ищуть вась и вашихъ друзей, хотять дѣлать у насъ домовый обыскъ,—васъ сейчасъ схватять, не выходите на улицу.
  - Violation du territoire... я буду протестовать.
  - Непремънно, только теперь спасайтесь.
  - Я въ St.-Helène, къ Герцену.
- Съ ума вы сошли. Прямо себя отдать въ руки: дача его на границъ, съ огромнымъ садомъ, и не провъдаютъ, какъ возъмутъ; да и Рокка видълъ уже вчера двухъ жандармовъ у воротъ.

Матьё задумался.

- Идите моремъ къ Фогту, спрячьтесь у него покамъстъ, онъ,

кстати, всего лучине вамъ дасть совътъ.

Матьё берегомъ моря, т. е. вдвое дальше, пошель къ Фогту и началь съ того, что разсказаль ему отъ доски до доски разговорь съ Хоецкимъ. Фогть въ ту же минуту поняль въ чемъ дъло и замътилъ ему:

— Я сбёгаю домой за пожитками... и прокуроръ республики

нъсколько замялся.

— Это еще хуже, чёмъ идти къ Герцену. Что вы, въ своемъ пи умѣ, за вами слѣдятъ жандармы, агенты, шпіоны... а вы домой цѣловаться съ вашей толстой провансалкой, экой Селадонъ. Дворникъ! закричалъ Фогтъ (дворникъ его дома былъ крошечный нѣмецъ, уморительный, похожій на давно немытый кофейникъ и очень преданный Фогту),—пишите скорѣе, что вамъ нужна рубашка, платокъ, платье, онъ принесетъ, и, если хотите, приведетъ сюда вашу Дульцинею, цѣлуйтесь и плачьте, сколько хотите.

Матьё отъ избытка чувствъ обнялъ Фогта.

Пришелъ Хоецкій.

- Торопитесь, торопитесь, говорилъ онъ съзловъщимъ видомъ. Между тъмъ, воротился дворникъ, пришла и Дульцинея,— осталось ждать, когда дилижансъ покажется за горой. Мъсто было взято.
- Вы, върно, опять ръжете гнилыхъ собакъ или кроликовъ? спросиль Хоецкій у Фогта—quel chien de métier?..
  - Нѣтъ.
- Помилуйте, у васъ такой запахъ въ комнать, какъ въ катакомбахъ въ Неаполъ.

- Я и самъ чувствую, но не могу понять, это изъ угла... върно мертвая крыса подъ поломъ—страшная вонь, и онъ снялъ шинель Матьё, лежавшую на стулъ. Оказалось, что запахъ идеть изъ шинели.
  - -- Что за чума у васъ въ шинели? спросилъ его Фогть.

— Ничего нѣтъ.

— Ахъ, это върно я, замътила, краснъя, Дульцинея, я ему положила на дорогу фунть лимбургскаго сыра въ карманъ, un peu trop fait.

— Поздравляю вашихъ сосъдей въ дилижансъ, кричалъ Фогтъ, хохоча, какъ онъ одинъ въ свътъ умъетъ хохотать. Ну,

однако пора.—Маршъ!

И Хоецкій съ Фогтомъ выпроводили агитатора въ Туринъ. Въ Туринъ Матьё явился къ министру внутреннихъ дѣлъ съ протестомъ. Тотъ его принялъ съ досадой и смѣхомъ.

— Какъ же вы могли цумать, чтобъ французскіе жандармы

ловили людей въ Сардинскомъ королевствъ, вы нездоровы.

Матьё сослался на Фогта и Хоецкаго.

— Ваши друзья, сказалъ министръ, надъ вами пошутили Матьё написалъ Фогту; тотъ нагородилъ ему, не знаю какой вздоръ въ отвътъ. Но Матьё надулся, особенно на Хоецкаго, и черезъ нъсколько недъль написалъ мнъ письмо, въ которомъ, между прочимъ, писалъ: «Вы одинъ, гражданинъ, изъ этихъ господъ не участвовали въ коварномъ поступкъ противъ меня...»

Къ характеристическимъ странностямъ этого дѣла принадлежитъ, безъ сомнѣнія, то, что возстаніе въ Варѣ было очень сильное, что народныя массы дѣйствительно поднялись и были усмпрены оружіемъ, съ обыкновенной французской кровожадностью. Отчего же Матьё и тѣлохранители его, при всемъ усердіи и мычаніи, не знали, гдѣ къ нимъ примкнуть? Никто не подозрѣваетъ ни его, ни его товарищей, что они намѣренно ходили пачкаться въ грязи и глинѣ и не хотѣли идти туда, гдѣ была опасность, совсѣмъ нѣтъ. Это вовсе не въ духѣ французовъ, о которыхъ Дельфина Ге говорила, «что они всего боятся, за исключеніемъ ружейныхъ выстрѣловъ», и еще больше не въ духѣ de la démocratie militante и красной республики... Отчего же Матьё шелъ направо, когда возставшіе крестьяне были налѣво?

Нѣсколько дней спустя, какъ желтый листъ, гонимый вихремъ, стали падать на Ниццу несчастныя жертвы подавленнаго возстанія. Ихъ было такъ много, что піемонтское правительство, до поры-до времени, дозволило имъ остановиться какими-то биваками или цыганскимъ таборомъ возлѣ города. Сколько бѣдствій и несчастій видѣли мы на этихъ кочевьяхъ,—это та страшная, закулисная часть внутреннихъ войнъ, которая обыкновенно

остается за большой рамой и пестрой декораціей вторыхъ

декабрей.

Туть были простые земледёльцы, мрачно тосковавшіе о дом'в, о своей землиців, и наивно говорившіе: «Мы вовсе не возмутители и не partageux; мы хотіли защищать порядокь, какъ добрые граждане, се sont ces coquins, которые насъ вызвали (т. е. чиновники, меры, жандармы), они измінили присяті и долгу, —а мы теперь должны умирать съ голоду въ чужомъ край или идти подъ военный судъ?... Какая же туть справедливость?»—И дійствительно, соир d'état, въ роді второго декабря, убиваеть больше, чімь людей,—онъ убиваеть всякую правственность, всякое понятіе о добрів и злів у цілаго населенія, это такой урокъ разврата, который не можеть пройти даромъ. Въ числі ихъ были и солдаты, troupiers, которые не могли сами надивиться, какъ они, вопреки дисциплины и приказаній капитана, очутились не съ той стороны, съ которой полкъ и знамя. Ихъ число, впрочемъ, не было велико.

Туть были простые, небогатые буржуа, которые на меня не дѣлають того омерзительнаго впечатлѣнія, какъ непростые,— жалкіе, ограниченные люди, они, кой-какъ, съ трудомъ, между обмѣриваніемъ и обвѣшиваніемъ, усвоивая себѣ двѣ-три мысли и полумысли объ обязанностяхъ, возстали за нихъ, когда увидѣли, что ихъ святыня попрана.—«Это побѣда эгоизма, говорили они, да, да, эгоизма, а ужъ гдѣ эгоизмъ, тутъ порокъ, надобно, чтобы каждый исполнялъ долгъ свой безъ эгоизма».

Туть были, разумѣется, и городскіе работники, этоть искренній и настоящій элементь революціи, стремящейся декретировать la sociale—и въ туже мѣру воздать буржуа и aristo, въ ка-

кую они имъ воздаютъ.

Наконецъ, тутъ были раненые—и страшно раненые. Я помню двоихъ крестьянъ среднихъ лѣтъ, доползшихъ, оставляя кровавый слѣдъ, отъ границы до предмѣстья, въ которомъ жители подняли ихъ полумертвыми. За ними гнался жандармъ, впдя, что граница недалеко, онъ выстрѣлилъ въ одного и раздробилъ ему плечо... раненый продолжалъ бѣжатъ... жандармъ выстрѣлилъ еще разъ, раненый упалъ; тогда онъ поскакалъ за другимъ п нагналъ его сначала пулей, а потомъ самъ. Второй раненый сдался, жандармъ второпяхъ привязалъ его къ лошади и вдругъ хватился перваго... Тотъ доползъ до перелѣска и пустился бѣжатъ... догнатъ его верхомъ было трудно, особенно съ другимъ раненымъ, оставитъ лошадъ невозможно... Жандармъ выстрълилъ «а̀ bout portant» плинному въ голову, сверху внизъ, тотъ упалъ замертво, пуля раздробила ему всю правую сторону лица, всъ кости. Когда онъ пришелъ въ себя,—никого не было... Онъ

добрался по знакомымъ тропинкамъ, протоптаннымъ контрабандистами, до Вара и перешелъ его, исходя кровью; тутъ онъ нашелъ совершенно истощеннаго товарища и съ нимъ дожилъ до первыхъ домовъ St. Helene. Тамъ, какъ я сказалъ, ихъ спасли жители. Первый раненый говорилъ, что послѣ выстрѣла онъ зарылся въ какіе-то кусты, что онъ потомъ слышалъ голоса, что охотникъ-жандармъ вѣрно настигъ другихъ и поэтому удалился.

Каково усердіе французской полиціп!

За нимъ слѣдовало усердіе меровъ, ихъ помощниковъ, прокуроровъ республики и префектовъ, оно показалось при подачѣ и
счетѣ голосовъ; все это исторіи чисто французскія, извѣстныя
всему міру. Скажу только, что въ отдаленныхъ мѣстахъ мѣры
для достиженія огромнаго большинства при вотированіи были
взяты съ сельской простотой. По ту сторону Вара, въ первомъ
мѣстечкѣ меръ и жандармскій brigadier сидѣли возлѣ урны и
смотрѣли, какой бюллетень кто кладетъ, тутъ же говоря, что они
свернутъ потомъ въ бараній рогъ всякаго бунтовщика. Казенные бюллетени были печатаны на особой бумагѣ,—ну, такъ п
вышло, что во всемъ мѣстечкѣ нашлось, не знаю, пять или десять смѣльчаковъ безпардонныхъ, вотпровавшихъ противъ плебисцита; остальные, и съ ними вся Франція, вотпровали имперію іп spe.

# Oceano Nox.

(1851).

#### $I^{1}$ ).

...Ночью, съ 7 на 8 іюля, часу во второмъ, я сидёлъ на ступенькѣ Кариньянскаго дворца въ Туринѣ; площадь была соверщенно пуста, поодаль отъ меня дремалъ нищій, часовой тихо ходиль взадъ и впередъ, насвистывая пѣсню изъ какой-то оперы и побрякивая ружьемъ... Ночь была горячая, теплая, пропитанная запахомъ спрокко.

Мнѣ было необычайно хорошо, такъ, какъ не бывало давно; я опять почувствовалъ, что я еще молодъ и силенъ силами въ груди, что у меня есть друзья и вѣрованія, что я полонъ любовью, какъ тринадцать лѣть передъ тѣмъ. Сердце билось такъ, какъ я отвыкъ чувствовать въ послѣднее время. Оно билось, какъ въ тотъ мартовскій день 1838, когда я, завернувшись въ плащъ, ждалъ Кетчера у фонарнаго столба, на Поварской.

Я и теперь ждалъ свиданья, свиданья съ той же женщиной, и ждаль, можеть, еще съ большей любовью, хотя къ ней и примъшивались грустныя, черныя ноты; но въ эту ночь ихъ было мало слышно. Послъ безумнаго кризиса горести, отчаянія, набъжавшаго на меня при моемъ проъздъ черезъ Женеву, миъ стало лучше. Кроткія письма Natalie, исполненныя грусти, слезъ, боли, любви, довершили мое выздоровленіе. Она писала, что ъдетъ изъ Ниццы въ Туринъ миъ навстръчу, что ей хотълось бы пробыть нъсколько дней въ Туринъ. Она была права: намъ надобно было еще разъ однимъ вемотръться другъ въ друга, выжать другъ другу кровь изъ ранъ, утереть слезы и, наконецъ, узнать оконча-

<sup>1)</sup> Этоть отрывовъ (никогда еще не нечатавшійся) принадлежить въ той части «Былого и Думъ», которая будеть издана гораздо позже, и для которой и писаль всё остальныя. Н'всколько строкъ о страшномъ происшествіи, бывшемъ 16 ноября 1851, въ запискахъ Орсини, принимавшаго самое горячее участіе въ несчастіи, поразившемъ меня, были поводомъ, что я напечаталь второй отрывовъ въ «Полярной Зв'єзді», 1859.

тельно, *есть ли* для насъ общее счастіе,—и все это наединѣ, даже безъ дѣтей, и, притомъ, *въ другомъ* мѣстѣ, не при той обстановкѣ, гдѣ мебель, стѣны, могли не вд-время что-нибудь напомнить, шепнуть какое-нибудь полузабытое слово.

Почтовая карета должна была во второмъ часу придти со стороны Col di Tenda; ее-то я и ждалъ у сумрачнаго Кариньянскаго дворда, недалеко отъ него она должна была заворачивать.

Я прівхаль въ этоть же день утромъ изъ Парижа, черезъ Mont-Cenis; въ hôtel Feder мив дали большую, высокую, довольно красиво убранную комнату и спальню. Мив нравился этотъ праздничный видъ, онъ былъ кстати. Я велвлъ приготовить небольшой ужинъ и пошелъ бродить, ожидая ночи.

Когда карета подъйзжала къ почтовому дому, Natalie узнала меня. «Ты тутъ!» сказала она, кланяясь въ окно. Я отворилъ дверцы и она бросилась ко мнт на шею съ такой восторженной радостью, съ такимъ выраженіемъ любви и благодарности, что у меня въ памяти мелькнули, какъ молнія, слова изъ ея письма: «Я возвращаюсь, какъ корабль, въ свою родную гавань послт бурь, кораблекрушеній и несчастій—сломанный, но спасенный».

Одного взгляда, двухъ-трехъ словъ было за глаза довольно... Все было понято и объяснено; я взяль ея небольшой дорожный мѣшокъ, перебросиль его на трости за спину, подалъ ей руку и мы весело пошли по пустымъ улицамъ въ отель. Тамъ всѣ спали, кромѣ швейцара. На накрытомъ столѣ стояли двѣ незажженныя свѣчи, хлѣбъ, фрукты и графинъ вина; я никого не хотѣлъ будить, мы зажгли свѣчи и, сѣвши за пустой столъ, взглянули другъ на друга и разомъ вспомнили Владимірское житье.

На ней было бѣлое кисейное платье или блуза, надѣтая на дорогу отъ палящаго жара, и при первомъ свиданіи нашемъ, когда я пріѣзжаль изъ ссылки, она была также вся въ бѣломъ, и вѣнчальное платье было бѣлое. Даже лицо ея, носившее рѣзкіе слѣды глубокихъ потрясеній, заботь, думъ и страданій, напоминало выраженіемъ черты того времени.

И мы сами были тѣ же, только теперь мы подавали другъ другу руку, не какъ заносчивые юноши, самонадѣянные и гордые вѣрой въ себя, вѣрой другъ въ друга и въ какую-то исключительность нашей судьбы, а какъ ветераны, закаленные въ бою жизни, испытавшіе не только свою силу, но и свою слабость,... едва упѣлѣвшіе отъ тяжелыхъ ударовъ и неисправимыхъ ошибокъ. Вновь отправлянсь въ путь, мы, не считаясь, раздѣлили печальную ношу былого. Съ этой ношей приходилось идти болѣе скромнымъ шагомъ, но внутри наболѣвшихъ душъ сохранилось все для возмужалаго, отстоявшагося счастія. По ужасу и тупой

боли еще ясние разглядили мы, какъ мы неразнимчато срослись годами, обстоятельствами, чужбиной, дитьми.

Въ эту встръчу все было кончено, оборванные концы срослись, не безъ рубца, но кръче прежняго; такъ срастаются иногда части сломленной кости. Слезы печали, не обсохнувшія на глазахь, соединяли еще новой связью: чувствомъ глубокаго состраданія другь къ другу. Я видъть ея борьбу, ея мученье, я видъть, какъ она изнемогала. Она видъла меня слабымъ, несчастнымъ, оскорбленнымъ, оскорбляющимъ, готовымъ на жертву и на преступленіе.

Мы слишкомъ большой платой заплатили другь за друга, чтобъ не понимать, чего мы стоимъ, и какъ дорого мы обощлись другъ другу. «Въ Туринъ, писалъ я въ началъ 1852, было наше второе вънчаніе; его смыслъ, можетъ быть, глубже и знаменательнъе перваго, оно совершилось съ полнымъ сознаніемъ всей отвътственности, которую мы вновь брали въ отношеніи другъ къ другу, оно совершилось въ виду страшныхъ событій…»

Любовь какимъ-то чудомъ пережила ударъ, который долженъ былъ ее разрушить.

Послѣднія, темныя облака отступали дальше и дальше. Много, долго говорили мы... точно послѣ разлуки въ нѣсколько лѣтъ; день давно сквозилъ яркими полосами въ опущенныя жалюзи, когда мы встали изъ-за пустого стола...

Дня черезъ три мы повхали вмъстъ домой въ Ниццу по Ривьеръ; мелькнула Генуя, мелькнулъ Ментоне, гдъ мы такъ часто бывали и въ такомъ розномъ настроеніи духа, мелькнуло Монако, връзывающееся въ море бархатной травой и бархатнымъ нескомъ; все встръчало насъ весело, какъ старые друзья послъ размолвки, а тутъ виноградники, рощи розъ, померанцевыхъ деревьевъ и море, стелящееся передъ домомъ, и дъти, играющія на берегу... Вотъ они узнали, бросились навстръчу. Ми дома.

Спасибо судьбъ за эти дни, за эту треть года, шедшаго за ними: ими торжественно заключилась моя личная жизнь. Спасибо ей за то, что она, въчная язычница, увънчала обреченныхъ на жертву пышнымъ вънкомъ осеннихъ цвътовъ... и усыпала хоть на время своимъ макомъ и благоуханіемъ!

Пропасти, дѣлившія насъ, исчезли, берега сдвинулись. Развѣ это не та же рука, которая черезъ всю жизнь былавъмоей рукѣ, и развѣ это не тотъ же взглядъ, только иногда онъ мутится отъ слезъ? «Успокойся же, сестра, другъ, товарищъ, вѣдь, все прошло,— и мы тѣ же, какъ въ юные, святые, свѣтлые годы!»

...«Послѣ страданій, которыхъ, можетъ, ты знаешь мѣру, иныя минуты полны блаженства; всѣ вѣрованія дѣтства, юности, не только совершились, но прошли сквозь страшныя иснытанія, не

утративъ ни свъжести, ни аромата, и расцвъли съ новымъ блескомъ и новой силой. Я никогда не была такъ счастлива, какъ теперь», писала она своему другу въ Россію.

Разум вется, отъ прошлаго остался осадокъ, до котораго нельзя было касаться безнаказанно: что-то сломленное внутри, ка-

кой-то чутко дремлющій испугь и боль.

Прошедшее не корректурный листь, а ножь гильотины, после его паденія многое не срастается и не все можно поправить. Оно остается, какъ отлитое въ металлѣ, подробное, неизмѣнное, темное, какъ бронза. Люди вообще забывають только то, чего не стоить помнить, или чего они не понимають. Дайте иному забыть два-три случая, такія-то черты, такой-то день, такое-то слово, и онъ будеть юнъ, смѣлъ, силенъ, а съ ними онъ идетъ какъ ключъ ко дну. Ненадобно быть Макбетомъ, чтобъ встрѣчаться съ тѣнью Банко; тѣни не уголовные судьи, не угрызенія совѣсти, а несокрушимыя событія памяти.

Да забывать и ненужно: это слабость, это своего рода ложь; прошедшее имъстъ свои права, оно фактъ, съ нимъ надобно сладить, а не забыть его,—и мы шли къ этому дружными шагами.

...Случалось, ничтожное слово, сказанное посторонними, какаянибудь вещь, попавшаяся на глаза, проводила бритвой по сердцу. и кровь лилась, и было нестерпимо больно; но я въ то же мгновеніе встръчаль испуганный взглядь, смотръвшій на меня съ безконечной мукой и говорившій: «Да, ты правъ, пначе и быть не можеть, но...» и я старался разогнать набъжавшія тучи.

Святое время примиренія, я всноминаю о немъ сквозь слезы... ... Нътъ, не *примиренія*, это слово не идетъ. Слова, какъ

гуртовыя платья, впору до «извъстной степени» встьмъ людямъ одинаковаго роста и плохо одъвають каждаго отдъльно.

Намъ нельзя было мириться, мы никогда не ссорились, мы страдали другъ о другъ, но не расходились. Въ самыя мрачныя минуты, какое-то неразрывное единство, безсомивное для обоихъ, и глубокое уваженіе другъ къ другу были присущи. Мы походили скоръе на людей, оправляющихся послъ тяжкой горячки, чъмъ на помирившихся: бредъ прошелъ, мы узнали другъ друга взглядомъ, нъсколько слабымъ и мутнымъ. Боль вынесенная была памятна, утомленіе ощутительно, но, въдь, мы знали, что все дурное прошло, что мы на берегу.

Мысль, нѣсколько разъ прежде мелькавшая у Natalie, занимала ее теперь больше и больше. Она хотѣла написать свою исповѣдь. Она была недовольна ся началомъ, жгла листки; одно длинное письмо и одна страничка уцѣлѣли..... По нимъ можно судить о томъ, что пропало..... Читая ихъ, становится жутко,

чувствуещь, что дотрогиваешься рукой до страдающаго и теплаго сердца, чувствуешь шопоть этихъ беззвучныхъ тайнъ, въчно скрытыхъ, едва просыпающихся въ сознаніп. Въ этихъ строкахъ можно было уловить, какъ мучительная борьба переходила въ новый закалъ и боль въ мысль. Если-бъ этотъ трудъ не былъ грубо прерванъ, онъ составилъ бы великій антецедентъ, въ замѣну уклончиваго молчанія женщины и надменнаго покровительства ея—мужчиной; но самый безсмысленный ударъ разразился надъ нашей головой и окончательно все разбилъ.

#### II.

Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune. Sous l'aveugle océan à jamais enfouis...

V. Hugo.

Такъ оканчивалось лёто 1851. Мы были почти совсёмъ одни. Моя мать съ Колей и съ Шпильманомъ уёхали погостить въ Парижё къ М. К. Тихо проводили мы время съ дётьми. Казалось, всё бури были назади.

Въ ноябръ мы получили письмо отъ моей матери, что она скоро выъзжаетъ, потомъ другое изъ Марселя, въ которомъ она писала, что на другой день, 15 ноября, они садятся на пароходъ и ъдутъ къ намъ. Во время ея отсутствія, мы перефхали въ другой домъ, также на берегу моря, въ предмѣстіп С. Еленъ. Въ домъ этомъ съ большимъ садомъ было помѣщеніе для моей матери; мы убрали ея комнату цвѣтами, нашъ поваръ досталъ съ Сашей китайскихъ фонарей и развѣсилъ ихъ по стѣнамъ и деревьямъ. Все было готово, дѣти часовъ съ трехъ не сходили съ террасы; наконецъ, въ шестомъ часу на горизонтъ отдълилась отъ моря темная струйка дыма, а черезъ нѣсколько минутъ показался и пароходъ, стоявшій неподвижной и возрастающей точкой. Все засуетилось у насъ, Франсуа пустился на пристань, я съль въ коляску и поѣхалъ туда же.

Когда я прібхалъ на пристань, пароходъ уже вошель, лодки ждали кругомъ разрѣшенія sanità сходить пассажирамъ. Одна изъ нихъ подъѣзжала къ дебаркадеру, на ней стоялъ Франсуа.

— Какъ, спросилъ я, вы уже назадъ ъдете?

Онъ мнѣ не отвѣчалъ; я взглянулъ на него и обмеръ; онъ былъ зеленаго цвѣта и дрожалъ всѣмъ тѣломъ.

— Что это? спросилъ я, вы больны?

- Нътъ, отвъчалъ онъ, минуя мой взглядъ, только наши не пріъхали.
  - Какъ не прівхали?

— Тамъ что-то съ пароходомъ случилось, такъ не всѣ пассажиры пріъхали. Я бросился въ лодку и велѣлъ скорѣе отчаливать.

На пароходѣ меня встрѣтили съ какимъ-то зловѣщимъ почетомъ и съ совершеннымъ молчаніемъ. Самъ капитанъ дожидался меня; все это совсѣмъ не въ обычаяхъ, и я ждалъ чего-нибудь ужаснаго. Капитанъ сказалъ мнѣ, что между островомъ Геромъ и материкомъ пароходъ, на которомъ была моя мать, столкнулся съ другимъ и пошелъ ко дну, что большая частъ пассажировъ взяты имъ и другимъ нароходомъ, шедшимъ мимо. «У меня, сказалъ онъ, только двѣ молодыя дѣвушки изъ вашихъ», и повелъ меня на переднюю палубу,—всѣ разступились съ тѣмъ же мрачнымъ молчаніемъ. Я шелъ безсмысленю, даже не спрашивая ничего. Племяница моей матери, гостившая у нея, высокая, стройная дѣвушка, лежала на палубѣ съ растрепанными и мокрыми волосами; возлѣ нея горничная, ходившая за Колей. Увидя меня, молодая дѣвушка хотѣла приподняться, что-то сказать, но не могла; она, рыдая, отвернулась въ другую сторону.

— Что же это, наконецъ? Гдѣ онп? спросилъ я, болѣзненно

схвативши руку горничной.

— Мы ничего не знаемъ, отвъчала она, нароходъ потонулъ, насъ замертво вытащили изъ воды. Какая-то англичанка дала намъ свои платъя, чтобъ переодъться.

Капитанъ грустно посмотрѣлъ на меня, потрясъ мою руку п сказалъ:

— Отчаиваться ненадо, събздите въ Іеръ, быть можеть, и найдете кого-нибудь изъ нихъ.

Поручивъ Энгельсону и Франсуа больныхъ, я поёхалъ домой въ какомъ-то ошеломленіи; все въ головѣ было смутно и дрожало внутри, я желалъ, чтобъ домъ нашъ былъ за тысячу верстъ. Но вотъ блеснуло что-то между деревьевъ, еще и еще; это были фонарики, зажженные дѣтьми. У воротъ стояли наши люди, Тата и Natalie съ Олею на рукахъ.

— Какъ, ты одинъ?—спросила меня спокойно Natalie, да ты

хоть бы Колю привезъ.

- Ихъ нътъ, сказалъ я, съ ихъ нароходомъ что-то случилось, надобно было перейти на другой, тотъ не всъхъ взялъ. Луиза здъсь.
- *Ихъ нътъ!* вскрикнула Natalie. Я теперь только разглядъла твое лице: у тебя глаза мутны, всъ черты искажены. Бога ради, что такое?
  - Я вду ихъ искать въ Іеръ.

Она покачала головой и прибавила:

— Ихъ нътъ! ихъ нътъ! потомъ молча приложила побъ къ моему илечу. Мы прошли аллеей, не говоря ни слова. Я привелъ ее въ столовую; проходя, я шепнулъ Роккъ: «Бога ради, фонари...», онъ понялъ меня и бросился ихъ тушить. Въ столовой все было готово: бутылка вина стояла во льду, передъ мъстомъ моей матери букетъ цвътовъ, передъ мъстомъ Коли—новыя игрушки.

Страшная въсть быстро разнеслась по городу, и домъ нашъ сталъ наполняться близкими знакомыми, какъ Фогтъ, Тесье, Хоецкій, Орсини, и даже совствы посторонними: одни хотъли узнать, что случилось, другіе показать участіе, третьп совтовать всякую всячину, большей частью, вздоръ. Но не буду неблагодаренъ: участіе, которое мнт тогда оказали въ Ниццъ, меня глубоко тронуло. Передъ такими безсмысленными ударами судьбы

люди просыпаются и чувствують свою связь.

Я рѣшился въ ту же ночь ѣхать въ Іеръ. Natalie хотѣла ѣхать со мной; я уговорилъ ее остаться; къ тому же погода круто перемѣнилась, подулъ мистраль, холодный какъ ледъ и съ сильнымъ дождемъ. Надобно было достать пропускъ во Францію, черезъ Варскій мостъ; я поѣхалъ къ Леону Пиле, французскому консулу; онъ былъ въ оперѣ; я отправился къ нему въ ложу съ Хоецкимъ; Пиле, уже прежде что-то слышавшій о случившемся, сказалъ мнѣ:

— Я не имъю права дать вамъ позволеніе, но есть обстоятельства, въ которыхъ отказъ былъ бы преступленіемъ. Я вамъ дамъ на свою отвътственность билетъ для пропуска черезъ границу, приходите за нимъ черезъ полчаса въ консулатъ.

У входа въ театръ меня ждали человъкъ десять изъ тъхъ, которые были у насъ. Я имъ сказалъ, что Леонъ Пиле даетъ билетъ.

— «Повзжайте домой и не хлопочите ни о чемъ», говорили миз со всвхъ сторонъ; «остальное будетъ сдвлано, —мы возьмемъ билетъ, визируемъ его въ интендантствв, закажемъ почтовыхъ лошадей». Хозяинъ моего дома, бывшій тутъ, побъжалъ доставать карету; содержатель гостиницы предложилъ безденежно свою.

Въ 11 часовъ вечера я отправился по проливному дождю. Ночь была ужасная; порывы вётра были иной разъ до того сильны, что лошади останавливались; море, въ которомъ такъ недавно были похороны, едва видное въ темнотѣ, билось и ревѣло. Мы поднимались на Эстрель, дождь замѣнился снѣгомъ, лошади спотыкались и чуть не падали отъ гололедицы. Нѣсколько разъ почтальонъ, выбившись изъ силъ, принимался грѣться; я ему подавалъ мою фляжку съ коньякомъ и, обѣщая двойные прогоны, упрашивалъ торопиться.

Зачёмъ? Вёрилъ ли я въ возможность, что найду кого-нибудь изъ нихъ, что кто-нибудь спасся? Трудно было предполагать это, послё всего слышаннаго,—но поискать, взглянуть на самое мёсто найти вещь, тряпку, увидёть очевидца, наконецъ... была потребность уб'ёдиться, что нётъ надежды, и потребность что-нибудь дёлать, не быть дома, придти въ себя.

Пока на Эстрелѣ мѣняли лошадей, я вышелъ изъ кареты, сердце мое сжалось и я чуть не зарыдалъ, осмотрѣвшись: это было возлѣ той самой таверны, въ которой мы провели ночь въ 1847 г. Я вспомнилъ огромныя деревья, осѣнявшія ее; тотъ же видъ стлался передъ нею, только тогда онъ былъ освѣщенъ восходящимъ солнцемъ, а теперь скрывался за сѣрыми не итальянскими тучами и мѣстами бѣлѣлъ отъ снѣга.

Живо представилось мнѣ то время, со всѣми мельчайшими подробностями: я всномнилъ, какъ хозяйка насъ потчевала зайцемь, тухлость котораго была заморена страшнымъ количествомъ чеснока, какъ въ спальной летали летучія мыши, какъ я ихъ гонялъ съ нашей Луизой полотенцемъ и какъ на насъ вѣяло въ первый разъ теплымъ южнымъ воздухомъ...

Тогда я писаль:—«Съ Авиньона начиная, чувствуется, видится ють. Для человъка, въчно жившаго на съверъ, первая встръча съ южной природой исполнена торжественной радости,—юнъешь, хочется пъть, плясать, плакать; все такъ ярко, свътло, весело, роскошно. Послъ Авиньона намъ надобно было переъзжать приморскія Альпы. Вълунную ночь взобрались мы на Эстрель; когда мы начали спускаться, солнце веходило, цъпи горъ выръзывались изъ-за утренняго тумана, лучъ солнца орумянилъ ослъпительныя снъжныя вершины; кругомъ яркая зелень, цвъты, ръзкія тъни, огромныя деревья и мрачныя скалы, едва покрытыя бъдной и жесткой растительностью; воздухъ былъ упоителенъ, необычайно прозраченъ, освъжающъ и звонокъ, наши слова, пънье птицъ раздавались громче обыкновеннаго, и вдругъ на небольшомъ изгибъ дороги блеснуло каймой около горъ и задрожало серебрянымъ огнемъ Средиземное море 1)».

И воть черезъ четыре года я снова на томъ же мъстъ!...

Прежде ночи мы не могли прібхать въ Іеръ; я тотчасъ отправился къ комиссару полицін; съ нимъ и съ жандармскимъ бригадиромъ пошли мы сначала къ морскому комиссару. У него были разныя спасенныя вещи; я ничего въ нихъ не нашелъ. Потомъ мы пошли въ больницу: одинъ изъ утопавшихъ отходилъ, другіе сообщили мнѣ, что они видѣли пожилую женщину, ребенка лѣтъ ияти и съ нимъ молодого человѣка, съ бѣлокурой, окладистой

<sup>1) &</sup>quot;Письма изъ Франціи и Италін".

бородой... что они видъли ихъ въ самую послъднюю минуту, и что, стало быть, они такъ же пошли ко дну, какъ и всъ. Но тутъто снова и являлся вопросъ: въдь, разсказывавшіе были же живы, хотя и они, какъ Луиза и горничная, порядкомъ не помнили, какъ спаслись.

Найденныя тёла лежали въ криптъ монастыря; мы пошли туда изъ больницы; сестры милосердія встрътили насъ и повели, освъщая намъ дорогу церковными свъчами. Въ криптъ стоялъ рядъ вновь сколоченныхъ ящиковъ, въ каждомъ ящикъ было одно тъло. Комиссаръ велълъ ихъ раскрыть, оказалось, что ящики заколочены. Бригадиръ послалъ жандарма за долотомъ и велълъ

ему потомъ взламывать одну крышку за другой.

Этоть осмотръ тёлъ былъ не человёчески тяжелъ. Комиссаръ держалъ въ рукё книжку и какимъ-то офиціальнымъ тономъ спрашивалъ, при вскрытіи каждаго ящика: «Вы свидётельствуете, въ присутствіи нашемъ, что тёло это вамъ незнакомо»; я кивалъ головой, комиссаръ мётилъ карандашемъ п, обращаясь къ жандарму, приказывалъ снова закрытъ. Мы переходили къ другому. Жандармъ приподнималъ крышу, я съ какимъ-то ужасомъ бросалъ взглядъ на покойника, и словно было легче, когда встрёчалъ незнакомыя черты, а въ сущности еще страшнѣе было думать, что всё трое пропали такъ безслёдно, такъ заброшенно лежатъ на днъ моря, носятся волнами. Тёло безъ гроба, безъ могилы страшнѣе всякихъ похоронъ, а тутъ не было и самихъ покойниковъ.

Я никого не нашелъ. Одно тъло поразило меня: женщина лутъ двадцати, красавица, въ нарядномъ провансальскомъ костюмъ; ея грудь была обнажена (съ нею былъ ребенокъ, разумъется, унесенный волнами), и струя молока сочилась еще, скатывансь по груди. Лицо ея нисколько не измънилось, смуглый загаръ придавалъ ей совершенно живой видъ.

Бригадиръ не вытериъть и замътилъ: «экая прелесть какая!» Комиссаръ ничего не прибавить, жандармъ, накрывши ее, замътилъ бригадиру: «я зналъ ее, она изъ здъшнихъ подгородныхъ кресть-

янокъ, тхала къ мужу въ Грасъ. Пусть подождеть!»

Моя мать, мой Коля и нашь добрый Шпильмань исчезли безслёдно, ничего не осталось оть нихь; между спасенными вещами не было ни лоскутка имъ принадлежащаго, сомнёніе въ ихъ гибели было невозможно. Всё спасшіеся были или въ Іере, или на томъ же пароходе, который привезъ Луизу. Капитанъ выдумаль для моего успокоенія какую-то сказку.

Въ Іерѣ мнѣ разсказывали еще о пожиломъ человѣкѣ, потерявшемъ всю семью, который не хотѣлъ оставаться въ больницѣ и ушелъ куда-то пѣшкомъ безъ денегъ, въ состояни близкомъ

къ помѣшательству, и о двухъ англичанкахъ, отправившихся къ англійскому консулу: онъ лишились матери, отца и брата!

Дъло шло къ разсвъту, я велълъ привести лошадей. Передъ отъъздомъ гарсонъ водилъ меня на часть берега, выдавшуюся въ море, и оттуда показывалъ мъсто кораблекрушенія. Море еще кипъло и волновалось, съдое и мутное отъ вчерашней бури; вдали, на одномъ мъстъ, качалось какое-то особенное пятно, словно болъе густая, прозрачная влага.

— «Пароходъ везъ грузъ масла, видите, оно отстоялось, воть

тутъ и было несчастіе». Это всилывшее иятно было все.

— А глубоко туть?

— «Метровъ сто восемьдесять будеть». Я постояль, утро было очень холодное, особенно на берегу. Мистраль, какъ вчера, дуль, небо было покрыто русскими осенними облаками. Прощайте!.. Сто восемьдесять метровъ глубины и носящееся пятно масла!

Nul ne sait vorte sort, pauvres têtes perdues, Vous roulerez à travers les sombres étendues, Heurtant de vos fronts des écueils inconnus...

Съ страшной достовърностью прітхаль я назадъ. Едва-едва оправившаяся Natalie не вынесла этого удара. Со дня гибели моей матери и Коли, она не выздоравливала больше. Испуть, боль остались,—вошли въ кровь. Иногда вечеромъ, ночью она говорила мнѣ, какъ бы прося моей помощи: «Коля, Коля не оставляеть меня, бъдный Коля, какъ онъ, чай, испугался, какъ ему было холодно, а туть рыбы, омары!» Она вынимала его маленькую перчатку, которая уцѣлѣла въ карманѣ у горничной, и наставало молчаніе, то молчаніе, въ которое жизнь утекаеть, какъ въ поднятую плотину. При видѣ этихъ страданій, переходившихъ въ нервную болѣзнь, при видѣ ея блестящихъ глазъ и увеличивающейся худобы, я въ первый разъ усомнился, спасу ли я ее... Въ мучительной неувъренности тянулись дни, что-то въ родѣ существованія людей между приговоромъ и казнію, когда человъкъ разомъ надѣется и навѣрно знаетъ, что онъ отъ топора не уйдеть!

Ш.

1852.

Снова наступиль новый годъ; мы его встрътили около постели Natalie: наконецъ, организмъ ея не вынесъ и она слегла.

Энгельсоны, Фотть, человёка два близкихъ знакомыхъ были у насъ. Всё были печальны. Парижское 2-е декабря лежало или-

той на груди... Общее, частное—все неслось куда-то въ пропасть, и ужъ такъ далеко ушло подъ гору, что ни остановить, ни измънить нельзя было; приходилось ждать, тупо, страдательно, когда все сорвавшееся съ рельсовъ полетить въ тьму.

Подали обычный бокалъ. Въ двѣнадцать часовъ мы улыбнулись натянуто. Внутри была смерть и ужасъ, всѣмъ было совъстно прибавить къ новому году какое-нибудь желаніе. Загля-

нуть впередъ было страшнье, чыть обернуться.

Болъзнь опредълилась: сдълался плеврить въ лъвой сторонъ. Пятнадцать страшныхъ дней провела она между жизнью и смертью, но на этотъ разъ—жизнь побъдила. Наступило выздоровленіе, а съ нимъ послъдній лучъ надежды блъдно освътилъ тревожную жизнь нашу.

Силы ея духа возвратились прежде... Были минуты удиви-

тельныя-послъдніе аккорды навъки умолкнувшей музыки.

Съ наступленіемъ весны больной сдѣлалось лучше: она уже большую часть дня сидѣла въ креслахъ, могла разобрать свои волосы, нечесанные въ продолженіе болѣзни, наконецъ, безъ утомленія могла слушать, когда ей читали вслухъ.

Мы собирались, какъ только ей будеть получше, тать въ Севилью или Кадиксъ. Ей хоттлось выздоровть, хоттлось жить,

хотълось въ Италію.

Внизъ Natalie еще не сходила и не торопилась: она собиралась сойти въ нервый разъ 25 марта въ мое рождене. Для этого она приготовила себъ бълую мериносовую блузу, а я выписалъ изъ Парижа горностаевую мантилью. Дня за два Natalie сама написала или продиктовала мнъ, кого хочетъ звать сверхъ Энгельсоновъ, Фогта, Орсини, Мордини и Паччелли съ женой.

За два дня до моего рожденія у Ольги сдѣлался насморкъ съ кашлемъ: въ городѣ была influenza. Ночью Natalie два раза вставала, ходила черезъ комнату въ дѣтскую. Ночь была теплая, но бурная. Утромъ она проснулась сама съ сильнѣйшей influenz'ей, сдѣлался мучительный кашель, а къ вечеру вернулась лихорадка.

О томъ, чтобъ встать на другой день, нечего было и думать: послѣ лихорадочной ночи — ужасная прострація, болѣзнь росла. Всѣ вновь ожившія, блѣдныя, но цѣпкія надежды были разбиты. Несстественный звукъ кашля грозилъ чѣмъ-то зловѣщимъ.

Natalie и слышать не хотёла, чтобы гостямь отказали. Печально и тревожно сёли мы часа въ два за столь безъ нея.

Паччелли привезла съ собой какую-то арію, сочиненную ея мужемъ для меня. М-те Паччелли была печальная, молчаливая и очень добрая женщина. Словно горе какое-нибудь лежало на ней. Проклятіе ли бъдности тяготъло надъ ней, или, можетъ

быть, жизнь сулила ей что-нибудь больше, чёмъ вёчные уроки музыки и преданность человёка слабаго, блёднаго и чувствовавшаго свое подчинение ей.

Въ нашемъ домѣ она чувствовала больше простоты и теплаго привѣта, чѣмъ у другихъ практикъ, и полюбила Natalie съ юж-

ной экзальтаціей.

Послѣ завтрака она посидѣла у больной и вышла отъ нея блѣдная, какъ полотно. Гости просили ее спѣть привезенную арію. Она сѣла за фортепіано, запѣла и вдругъ, испуганно взглянувъ на меня, залилась слезами, склонила голову на инструментъ и спазматически зарыдала. Это покончило праздникъ. Гости разошлись, почти не говоря ни слова, задавленные какой-то каменной плитой.

Пошелъ я наверхъ. Тотъ же страшный кашель продолжался.

Это было начало похоронъ!

И притомъ двухъ!

Черезъ два мѣсяца послѣ дня моего рожденія, схоронили и м-те Паччелли. Она поѣхала въ Ментонъ или Роккабругъ на ослѣ. Ослы въ Италіи привыкли ночью взбираться въ горы, не оступаясь. Тутъ бѣлымъ днемъ оселъ споткнулся, несчастная женщина упала, скатилась на острые камни и тутъ же умерла въ ужаснѣйшихъ страданіяхъ... Я былъ въ Лугано, когда получилъ эту вѣсть.

И ее съ костей долой. Nur zu — какая-то слъдующая нель-

пость?

Далѣе все заволакивается... Настаеть мрачная, тупая и неясная въ намяти ночь, тутъ и описывать нечего, или нельзя. Время боли, тревоги, безсонницы, притупляющее чувство страха, нравственнаго ничтожества и страшной тѣлесной силы...

Все въ домѣ осунулось. Особеннаго рода неустройство и безпорядокъ, суета, сбитые съ ногъ слуги—и рядомъ съ наступающей смертью новыя сплетни, новыя гадости... Судьба не золотила мнѣ больше пилюли, не пожалѣли меня и люди: благо, молъ,

кръпки плечи, пускай себъ!

Вечеромъ 29-го апръля прівхала Марья Каспаровна. Natalic ожидала ее со дня на день. Она звала ее нъсколько разъ, боясь, чтобы М-те Engelson не захватила въ руки воспитаніе дѣтей. Она ждала съ часу на часъ и, когда мы получили письмо, она послала Гауча и Сашу навстрѣчу къ ней на Варскій мость. Но, несмотря на это, свиданіе съ Марьей Каспаровной нанесло ей страшное потрясеніе. Я помню ея слабый крикъ, похожій на стонъ, съ которымъ она сказала: «Маша», и не могла ничего больше прибавить.

Болѣзнь застала Natalie въ половинѣ беременности. Д-ръ Пон-

фисъ и Фогтъ думали, что это исключительное положение по-

могло къ выздоровленію отъ плерезіи (плеврита).

Прівздъ Марьи Каспаровны ускорилъ роды. Роды были лучше, чёмъ ожидали, младенецъ родился живой, но силы истощились. Наступила страшная слабость. Младенецъ родился къ утру. Къ вечеру она велёла подать себё новорожденнаго и позвать дётей. Докторъ прописалъ наисовершеннёйшій покой. Я просиль ее не дёлать этого. Она кротко посмотрёла на меня.

— «И ты, Александръ, слушаешься ихъ, сказала она: — смотри, какъ бы тебъ не сдълалось потомъ очень жаль, что ты отъ меня отнимаешь эту минуту, — мнъ теперь полегче. Я хочу

сама представить малютку дётямь».

Я позваль дѣтей.

Не имън силы держать новорожденнаго, она его положила возлъ себя и съ свътлымъ, радостнымъ лицомъ сказала Сашъ и Татъ:

— «Вотъ вамъ еще маленькій братъ, любите его».

Дѣти весело бросились цѣловать ее и малютку. Мнѣ вспомнилось, что недавно Natalie повторяла, глядя на дѣтей:

И пусть у гробового входа Младая будеть жизнь играть!

Оглушенный горемъ, смотръть я на эту апотеозу умирающей матери. Когда дъти ушли, я умолялъ ее не говорить и отдохнуть. Она хотъла отдохнуть и не могла: слезы катились изъглазъ.

— «Да неужели нътъ спасенья?»

И она остановила на миж какой-то взглядъ просьбы и отчаянія. Эти переходы отъ страшной безнадежности къ упованію невыразимо раздражали сердце въ посл'яднее время. Въ тъ минуты, когда я всего меньше върилъ, она брала мою руку и говорила миж:

— «Нѣтъ, Александръ, этого не можетъ быть, это слишкомъ

глупо, мы поживемъ еще».

Скользнули лучи надежды и меркли сами собой и замънялись

печальнымъ, тихимъ отчаяніемъ.

— «Когда меня не будеть, говорила она, и все устроится; теперь я не могу себъ вообразить, какъ вы будете безъ меня, кажется, я такъ нужна дътямъ, а подумаеть — и безъ меня они будуть такъ же расти, и все пойдетъ своимъ путемъ, какъ-будто и всегда такъ было». Еще нъсколько словъ прибавила она о дътяхъ, о здоровъъ Саши, порадовалась, что онъ сталъ кръпче въ Ниццъ, что въ этомъ согласенъ и Фогтъ. — «Береги Тату, съ ней надо быть очень осторожнымъ, — это натура глубокая и несообщи-

тельная. Ахъ, — добавила она, — если бы я могла дожить до прівзда моей Натали... А что дъти спять?» — спросила она, немного погодя.

— Спятъ,—сказаль я.

Издали послышались дътскіе голоса.

— «Это Оленька, — сказала она и улыбнулась (въ послъдній

разъ):-посмотри, что она».

Къ ночи ею овладъло сильное безпокойство, она молча указывала, что подушка нехорошо лежить. Но, какъ я ни поправлялъ, ей все казалось безпокойно, и она съ тоской и даже съ неудовольствіемъ мѣняла положеніе головы; потомъ наступилъ тяжелый сонъ.

Средь ночи она сдёлала движеніе рукой, какъ-будто хотёла пить; я ей подаль съ ложечки апельсинный сокъ съ сахарной водой, но зубы были стиснуты: она была безъ сознанія. Я оцё-

пенълъ отъ ужаса.

Разсвътало. Я отдернулъ занавъсъ и съ какимъ-то безумнымъ чувствомъ отчаянія разглядълъ, что не только губы, но и зубы почернъли въ нъсколько часовъ.

За что же еще это! Зачёмъ это ужасное безпамятство! Зачёмь

этоть черный цвёть!

Докторъ Понфисъ и К. Фогтъ сидъли всю ночь въ гостиной. Я сошелъ внизъ и сказалъ, что я замътилъ. Онъ миновалъ мой взглядъ и, не отвъчая, пошелъ наверхъ. Отвъта было ненужно. Пульсъ больной едва бился.

Около полудня она пришла въ себя и опять позвала дѣтей,

но не говорила ни слова...

Она находила, что въ комнатъ темно. Это случилось второй разъ въ день. Она спросила меня, зачъть нътъ свъчей (двъ свъчи горъли на столъ). Я зажегъ еще свъчу, но она, не замъчая ее, находила, что темно.

-«Ахъ, другь мой, какъ тяжело головъ», --сказала она и еще

два-три слова.

Она взяла мою руку—рука ея не была похожа на живую и покрыла ею свое лицо. Я что-то сказалъ ей, она что-то сказала невнятно,—сознаніе было снова потеряно и не возвращалось.

Она осталась въ этомъ положеніи до слѣдующаго утра, 2 мая. Еще одно слово, одно только слово или уже конецъ всему!

Какіе нечеловъческіе, страшные 19 часовъ!

Минутами она приходила въ сознаніе, явственно говорила, что хочетъ снять фланель, кофту, спрашивала платокъ, но ничего больше.

Я нъсколько разъ начиналъ говорить; мнъ казалось, что она слышитъ, но не можетъ выговорить слова, будто бы выраженіе

горькой боли пробъгало по ея лицу. Раза два она пожала мою руку, не судорожно, а намъренно,—я въ этомъ увъренъ. Часовъ въ 6 утра я спросилъ доктора, сколько остается времени.

— Не больше часа.

Я вышель въ садъ позвать Сашу. Я хотъль, чтобы у него навсегда остались въ памяти послъднія минуты его матери. Всходя съ нимъ на лъстницу, я сказалъ ему, какое несчастіе насъ ожидаетъ, онъ не подозръваль всей опасности.

Блёдный и близкій къ обмороку, вошелъ онъ со мною въ

комнату.

— Станемъ рядомъ здёсь на колени, — сказаль я, указывая

на коверъ у изголовья.

Предсмертный потъ покрывалъ ея лицо, рука спазматически касалась до кофты, какъ-будто желала ее снять. Нѣсколько стенаній, нѣсколько звуковъ, напоминавшихъ мнѣ агонію Вадима Пассекъ,—и тѣ замолчали.

Докторъ взялъ руку и опустилъ ее, — она упала, какъ вещь. Мальчикъ рыдалъ. Я хорошо не помню, что было въ первыя минуты. Я бросился вонъ въ залъ, встрътилъ Сh. Еdm, хотълъ имъ сказать что-то, но виъсто слова изъ моей груди вырвался какой-то чужой мнъ звукъ, я сталъ передъ окномъ и смотрълъ, оглушенный и безъ яснаго пониманія, на безсмысленно дви-

гавшееся, мерцавшее море.

Потомъ мнѣ вспомнились слова: «Береги Тату». Мнѣ сдѣлалось страшно, что ребенка испугаютъ. Говорить ей я запретилъ, но какъ можно было положиться. Я велѣлъ ее позвать и, запершись съ нею въ кабинетѣ, посадилъ ее къ себѣ на колѣни и, мало-по-малу приготовивъ ее, сказалъ, наконецъ, что «мама умерла». Она дрожала всѣмъ тѣломъ, иятна вышли на лицѣ, слезы навернулись... Я повелъ ее наверхъ. Тамъ уже все измѣнилось. Покойница, какъ живая, лежала на убранной цвѣтами постели возлѣ малютки, скончавшагося въ ту же ночь. Комната была обита бѣлымъ, усыпана цвѣтами. Изящный во всемъ вкусъ итальянцевъ умѣетъ внести что-то кроткое въ раздражающую печаль смерти. Испуганное дитя было поражено изящной обстановкой.

— «Мамаша вотъ», сказала она, но, когда я ее поднялъ и она коснулась губами холоднаго лица, она истерически заплакала.

Палъе я не могъ вынести и вышелъ...

Часа черезъ полтора я сидъть одинъ опять у того же окна п опять безсмысленно смотръть на море и на небо. Дверь отворилась п взошла Тата. Она подошла ко миъ и, ласкаясь, какъ-то испуганно шептала миъ: «Папа, я умно себя вела, я не много плакала?» Съ глубокой горестью посмотръть я на сироту: «Да,

тебѣ и надо быть умной. Не знать тебѣ материнской ласки, материнской любви, ихъ ничто не замѣнитъ. У тебя будетъ пробѣлъ въ сердцѣ, ты не испытала лучшей, чистѣйшей, единой безкорыстной привязанности въ свѣтѣ. Ты ее, можетъ быть, будешь имѣть, но къ тебѣ ее никто не будетъ имѣть. Что любовь отца въ сравненіи съ материнской болью любви?..».

Она лежала вся въ цвѣтахъ. Шторы были опущены. Я спдѣлъ на стулѣ, на томъ обычномъ стулѣ возлѣ кровати, кругомъ было

тихо, только море кишто подъ окномъ.

Флеръ, казалось, приподнимался отъ слабаго, очень слабаго

дыханія.

Кротко застыли скорбь и тревога, словно страданія окончились безслідно, ихъ стерла беззаботная ясность памятника, не знающаго, что онъ представляеть. И я все смотріль, смотріль всю ночь. Ну, а какъ, въ самомъ діль, она проснется.

Она не проснулась. Это не сонъ, это смерть!

Итакъ, это правда!

На полу, на лъстницъ было наброшено множество красножелтаго гераніума. Запахъ этотъ и теперь потрясаетъ меня, какъ гальваническій ударь, п я вспоминаю вев подробности, каждую минуту, и вижу комнату, обтянутую бёлымъ съ завешанными зеркалами, возлѣ нея также въ цвътахъ желтое тъло младенца, уснувшаго, не просыпаясь, и ея холодный, страшно холодный лобъ... Я иду скорымъ шагомъ, безъ мысли и намъренія въ садъ. Нашъ человъкъ Франсуа лежитъ на травъ и рыдаетъ, какъ дитя. Я хочу ему что-то сказать, и совсёмъ нёть голоса. Я бёгу назадъ. Незнакомая дама въ черномъ, и съ нею двое дътей, потпхоньку отворяеть дверь, она просить позволенія прочесть католическую молитву, я самъ готовъ молиться съ нею. Она становится на колени передъ кроватью, и дети становятся на колени, она шепчетъ датинскую модитву. Дёти тихо повторяютъ за ней. Потомъ она говорила мнъ: «И они не имъютъ матери, а отецъ ихъ далеко. Вы хоронили ихъ бабушку». Это были дъти Гарибальди.

Толны изгнанниковъ собрались черезъ сутки на дворф, въ

саду, они пришли проводить ее.

Фогтъ и я—мы положили ее въ гробъ. Гробъ вынесли. Я твердо пошелъ за нимъ, держа Сашу за руку, и думалъ: вотъ такъ-то люди глядятъ на толиу, когда ихъ ведутъ на висълицу. Какіе-то два француза (одного изъ нихъ помно—графъ Вогэ) на улицъ съ ненавистью и смъхомъ указали, что нътъ священника. Тесье было прикрикнулъ на нихъ. Я испугался и сдълалъ ему знакъ рукой, — тишина была необходима. Огромный вънокъ изъ небольшихъ алыхъ розъ лежалъ на гробъ. Мы всъ сорвали по розъ. Точно на каждаго капнула капля крови.

Когда мы входили на гору, поднялся мёсяцъ, сверкнуло море, участвовавшее въ ея убійствъ. На пригоркъ, выступающемъ въ него, въ виду Эстрель, съ одной стороны, и Каринче, съ другой, схоронили мы ее. Кругомъ садъ. Эта обстановка продолжала роль цвётовъ на постели...

Марьв Каспаровив было пора въ Парижъ. Всв настаивали, чтобъ я отправилъ Тату и Ольгу съ ней, а самъ отправился съ

Сашей въ Геную.

Больно мнъ было разставаться, но я не довъряль себъ. Можеть, думалось миж, и въ самомъ дёле такъ лучше, ну, а лучше, такъ пусть такъ и будеть. Я только просилъ не увозить дътей до 9 мая, я хотълъ провести съ ними 14-ую годовщину нашей свадьбы.

На другой день послѣ нея, я проводилъ ихъ на Варскій мость. Гаучъ побхалъ съ ними до Парижа. Мы посмотръли, какъ таможенные пристава, жандармы и всякая полиція тормошили

пассажировъ.

Гаучь потерялъ свою трость, подаренную мною, искалъ ее п

сердился.

Тата плакала. Кондукторъ въ мундирной куртки сълъ возлъ кучера. Дилижансъ по халъ по Драгиньянской дорогъ, а мы, Тесье, Саша и я, пошли назадъ черезъ мостъ, сълп въ коляску и повхали туда, гдв я жилъ.

Дома у меня больше не было. Съ отъйздомъ дётей, послъдняя печать семейной жизни отлетъла. Все приняло холостой

вицъ.

Энгельсонъ съ женой убхалъ черезъ два дня. Комнаты были заперты. Тесье и Еd. перебхали ко мнъ. Женскій элементь былъ исключенъ. Одинъ Саша напоминалъ возрастомъ, чертами, что здёсь было что-то другое... напоминаніе кого-то отсутствующаго.

### ОТДЪЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

# Русскія тѣни.

I

### Н. И. Сазоновъ.

Сазоновъ, Бакунинъ, Парижеъ.—Имена эти, люди эти, городъ этотъ такъ и тянутъ назадъ... назадъ— въ даль лѣтъ, въ даль пространствъ, во времена юношескихъ конспирацій, во времена философскаго культа и революціоннаго идолопоклонства 1).

Инъ слишкомъ дороги наши дви юности, чтобъ опять не пріостановиться на нихъ... Съ Сазоновымъ я дълилъ въ началъ тридцатыхъ годовъ наши отроческія фантазіи о заговоръ à la Ріензи; съ Бакунинымъ, десять лътъ спустя, въ потъ мозга завоевывалъ Гегеля.

О Бакунинѣ я говорилъ и придется еще много говорить. Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появленіе, вездѣ: въ кругу московской молодежи, въ аудиторіи берлинскаго университета, между коммунистами Вейтлинга и монтаньярами Косидьера, его рѣчи въ Прагѣ, его начальство въ Дрезденѣ, процессъ, тюрьма, приговоръ къ смерти, истязанія въ Австріи, выдача Россіп,—дѣлаютъ изъ него одну изъ тѣхъ индивидуальностей, мимо которыхъ не проходитъ ни современный міръ, ни исторія.

Въ этомъ человъкъ лежалъ зародышъ колоссальной дъятельности, на которую не было запроса. Бакунинъ носилъ въ себъ возможность сдълаться агитаторомъ, трибуномъ, проповъдникомъ, главой партіи, секты, іересіархомъ, бойцомъ. Поставьте его куда хотите, только въ крайній край, анабаптистомъ, якобинцемъ, товарищемъ Анахарсиса Клоотса, другомъ Гракха Бабёфа,—и онъ увлекалъ бы массы и потрясалъ бы судьбами народовъ.

Вырвавшись въ 1840 году изъ Россіи, онъ въ нее не возвра-

тл. «УІХХХ жы атимацыяниди кыро атоте (1

щался до тёхъ поръ, пока пикетъ австрійскихъ драгуновъ не сдаль его русскому жандармскому офицеру въ 1849 году.

Поклонники цёлесообразности, милые фаталисты раціонализма, все еще дивятся премудрому à ргороз, съ которымъ являются таланты и дѣятели, какъ только на нихъ есть потребность, забывая, сколько зародышей мреть, глохнетъ, не видавши свѣта, сколько способностей, готовностей вянутъ, потому что ихъ не нужно.

Примъръ Сазонова еще ръзче. Сазоновъ прошелъ безслъдно, и смерть его такъ же никто не замътилъ, какъ всю его жизнь. Онъ умеръ, не исполнивъ ни одной надежды изъ тъхъ, которыя клали на него его друзья. Легко сказать, что онъ виноватъ въ своей судьбъ; но какъ оцънить и взвъсить долю, падающую на

человъка, и ту, которая падаеть на среду.

Хоронить затянувшіяся существованія того времени, выбившіяся изъ силъ, усиливаясь стащить съ мели глубоко врѣзавшуюся въ несокъ барку нашу, —моя спеціальность. Я ихъ Домажировъ, теперь всѣми забытый, а нѣкогда всѣмъ въ Москвѣ извѣстный старикъ, отставной ординарецъ Прозоровскаго. Пудреный, въ свѣтло-зеленомъ навловскомъ мундирѣ, являлся онъ на всѣ выносы, на которыхъ бывалъ архіерей, становился впередъ процессіи и велъ ее, воображая, что дѣлаетъ дѣло.

..... На второй годъ университетскаго курса, то есть, осенью 1831, мы встрътили въ числъ новыхъ товарищей, въ физико-миттематической аудиторіи, двоихъ, съ которыми особенно сбли-

зились.

Наши сближенія, симпатів в антиватів шли изъ одного источника. Мы были фанатики в юноши, все было подчинено одной мысли в одной религіи: наука, искусство, связв, родительскій домъ, общественное положеніе. Тамъ, гдѣ открывалась возможность обращать, проповѣдывать, тамъ мы были со всѣмъ сердцемъ в помышленіемъ, неотступно, безотвязно, не щадя ни времени, на труда, ни кокетства даже.

Первый товарищъ, ясно понявшій насъ, былъ Сазоновъ; мы нашли его совсёмъ готовымъ, и тотчасъ подружились. Онъ сознательно подалъ свою руку и на другой день привелъ намъ

еще одного студента.

Сазоновъ имѣлъ рѣзкія дарованія и рѣзкое самолюбіе. Ему было лѣтъ восемнадцать, скорѣе меньше, но, несмотря на то, онъ много занимался и читалъ все на свѣтѣ. Надъ товарищами онъ старался брать верхъ и никого не ставилъ на одну доску съ собой. Оттого они его больше уважали, чѣмъ любили. Другъ его, красивый собой и нѣжный, какъ дѣвушка, совсѣмъ напротивъ, искалъ къ кому бы пріютиться; полный любви и предан-

ности, едва вышедшій изъ-подъ материнскаго крыла, съ благородными стремленіями и полудътскими мечтами, ему хотълось теплоты, нъжности, онъ жался къ намъ и отдавался весь и намъ и нашей идев, — это была натура Владиміра Ленскаго, натура Веневитинова.

.... Мы подали другу руку и à la lettre пошли проповъдывать свободу и борьбу во вст четыре стороны нашей молодой

«вселенной» 1).

Проповъдывали мы вездъ, всегда... Что мы собственно проповъдывали, трудно сказать. Иден были смутны, мы проповъдывали французскую революцію, потомъ пропов'єдывали сенъ-симонизмъ и ту же революцію, мы пропов'ядывали конституцію и республику, чтеніе политическихъ книгъ и сосредоточеніе силь въ одномъ обществъ. Но пуще всего проповъдывали ненависть къ

всякому насилью, къ всякому произволу.

Съ тъхъ поръ наша пропаганда не перемежалась черезъ всю жизнь нашу, отъ университетской аудиторіп до Лондонской типографіи. Вся наша жизнь была посильнымъ исполненіемъ отроческой программы. Проследить нитку не трудно по затронутымъ вопросамъ, по возбужденнымъ интересамъ, въ журналахъ, на лекціяхъ, въ литературныхъ кругахъ... Видоизмѣняясь, развиваясь, наша пропаганда оставалась върной себъ и вносила свой индивидуальный характеръ во все окружающее. Казна подняла насъ и сдълала намъ пъедесталъ тюрьмой и ссылкой. Мы возвратились въ Москву «авторитетами» въ двадцать нять лътъ. Къ намъ примкнули Бълинскій, Грановскій и Бакунинъ, а статьями въ Отечественныхъ Запискахъ мы сами примкнули къ нетербургскому движенію лицепстовъ и молодой литературы.

Смѣло и съ полнымъ сознаніемъ скажу еще разъ про наше товарищество того времени: «что это была удивительная молодежь, что такого круга людей талантливыхъ, чистыхъ, развитыхъ, умныхъ и преданныхъ я не встръчалъ», а скитался довольно по бълому и по красному свъту. Я не только говорю о нашемъ, близкомъ кругъ, но то же и въ той же силъ долженъ сказать о кругъ Станкевича и о славянофилахъ. Молодые люди, испуганные ужасной дёйствительностью, середь тымы и давящей тоски, оставляли все и шли искать выхода. Они жертвовали всёмъ, до чего добиваются другіе-общественнымъ положеніемъ, богатствомъ, всъмъ, что имъ предлагала традиціонная жизнь, къ чему влекла среда, примъръ, къ чему нудила семья — пзъ-за

своихъ убъжденій п остались върными имъ.

<sup>1)</sup> Universitas.

Сазоновъ былъ дъйствительно праздный человъкъ и сгубилъ въ себъ бездну силъ; затертый разными разностями на чужбинъ, онъ пропалъ, какъ солдатъ, взятый въ плънъ на первомъ сраженіп и никогда не возвращавшійся домой.

Когда насъ арестовали въ 1834 году и посадили въ тюрьму, Сазоновъ и Кетчеръ уцълъли какимъ-то чудомъ. Оба они жили въ Москвъ почти безвыъздно, говорили много, но писали мало, ихъ писемъ ни у кого изъ насъ не было. Насъ повезли въ ссылку; Сазонову мать выхлопотала заграничный паспорть въ Италію. Участь его, разрозненная съ нами, положила, можетъ, начало последующей жизни его, — жизни какой-то блуждающей п безследно падающей звезды.

Черезъ годъ онъ возвратился въ Москву; это былъ одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ періодовъ прошлаго царствованія. Въ Москвъ его встрътилъ мертвый calme plat, нигдт ни тъни сочувствія, ни живого слова. Мы въ резервахъ ссылки хранили нашу прошлую жизнь, жили памятью и надеждой, работали и знакомились съ

грубой реальностью провинціальнаго быта.

Въ Москвъ все Сазонову напоминало наше отсутствие. Изъ старыхъ друзей одинъ Кетчеръ былъ налицо, человъкъ, съ которымъ Сазоновъ, чопорный паристократъ по манерамъ, всего меньше могь идти рука въ руку. Кетчеръ, какъ мы говорили, быль сознательный дикарь — изъ образованныхъ, куперовскій піонеръ, съ премедитаціей возвращавшійся въ первобытное состояніе людского рода, грубый по принципу, неряха по теоріп, студенть лёть тридцати пяти въ роли Шиллеровскаго юнощи.

Сазоновъ побился, побился въ Москвъ, — скука одолъла его, ничто не звало на трудъ, на дъятельность. Онъ попробовалъ переѣхать въ Петербургъ—еще хуже; не выдержалъ онъ à la longue, и увхаль въ Парижъ безъ опредъленнаго плана. Это было еще то время, когда Парижъ п Франція имфли на насъ всю чарующую силу свою. Туристы наши скользили по лакированной поверхности французской жизни, не зная ея шероховатой стороны, и были въ восторгѣ отъ всего — отъ либеральныхъ рѣчей, отъ пъсней Беранже и каррикатуръ Филипона. Такъ было и съ Сазоновымъ. Но дъла не нашелъ онъ и тутъ. Шумная, веселая праздность замёняла нёмую, подавленную жизнь. Въ Россіи онъ быль связань по рукамь и ногамь, туть чужой всемь и всему. Другой длинный рядъ годовъ безцъльно волнуемой, раздражаемойжизни начался для него въ Парижъ. Сосредоточиться въ себъ, отдаться внутренней работъ, не ожидая толчка извиъ, онъ не могь, это не лежало въ его натуръ. Объективный интересъ науки не былъ въ немъ такъ силенъ. Онъ искалъ иной дъятельности и былъ бы готовъ на всякій трудъ,-но на виду, но въ быстромъ приложеніи его, въ практическомъ осуществлени и притомъ при громкой обстановкъ, при рукоплесканіяхъ и крикъ враговъ; не находя такой работы, онъ бросился въ Парижскій

разгулъ.

.... А горъли и его глаза и наполнялись слезой при памяти о нашихъ университетскихъ мечтахъ..... Внутри его глубоко-уязвленнаго самолюбія все еще хранилась въра въ близкій перевороть Россіи и въ то, что онъ призванъ пграть въ немъ большую роль. Казалось, онъ и кутилъ только покалистъ, въ скучномъ ожиданіи предстоящаго огромнаго дъла, и былъ увъренъ, что однимъ добрымъ вечеромъ его вызовуть изъ-за стола саfé Anglais и повезуть управлять Россіей... Онъ пристально присматривался къ тому, что дълается и съ нетеривніемъ ждалъ минуты, когда нужно будеть принять серьезное участіе и сказать послъд-

нее, завершающее слово.

.... Послъ первыхъ, шумныхъ дней, въ Парижъ начались больше серьезные разговоры, при чемъ сейчасъ обнаружилось, что мы строены не по одному ключу. Сазоновъ и Бакунинъ были недовольны (такъ, какъ впослъдствіп Высоцкій и члены польской централизаціп), что новости, мною привезенныя, больше относились къ литературному и университетскому міру, чёмъ къ политическимъ сферамъ. Они ждали разсказовъ о партіяхъ, обществахъ, о министерскихъ кризисахъ, объ оппозиціи (въ 1847!), а я имъ говориль о канедрахъ, о публичныхъ лекціяхъ Грановскаго, о статьяхъ Бълинскаго, о настроеніи студентовъ и даже семинаристовъ. Они слишкомъ разобщились съ русской жизнью и слишкомъ вошли въ интересы «всемірной» революціи и французскихъ вопросовъ, чтобы помнить, что у насъ появленіе «Мертвыхъ Душъ» было важнъе назначенія двухъ Паскевичей фельдмаршалами. Безъ правильныхъ сообщеній, безъ русскихъ книгъ и журналовъ, они относились къ Россіи какъ-то теоретически и по памяти, придающей искусственное осв'ящение всякой дали.

Разница наших взглядовъ чуть не довела насъ до размолвки. Это случилось такъ. Наканунъ отъъзда Бълинскаго изъ Парижа, мы проводили его вечеромъ домой и пошли гулять на Елисейскія поля. Страшно ясно видъль я, что для Бълинскаго все кончено, что я ему въ послъдній разъ жалъ руку. Сильный, страстный боецъ сжегъ себя, смерть уже вываяла крупными чертами свою близость на изстрадавшемся лицъ его. Онъ былъ въ злъйшей чахоткъ, а все еще полонъ святой энергіп и святого негодованія, все еще полонъ своей мучительной, «злой» любви къ Россіи. Слезы стояли у меня въ горлъ и я долго шелъ молча, когда возобновился несчастный споръ, разъ десять являвшійся

sur le tapis.

— Жаль, зам'ятилъ Сазоновъ, что Б'ялинскому не было другой джятельности, кром'я журнальной работы да еще работы подцензурной.

— Кажется, трудно упрекать именно его, что онъ мало едль-

лалъ, отвёчалъ я.

— Ну, съ такими силами, какъ у него, онъ при другихъ обстоятельствахъ и на другомъ поприщѣ побольше сдѣлалъ бы...

Мнѣ было досадно и больно.

— Да скажите, пожалуйста, ну вы, живущіе безъ цензуры. вы полные въры въ себя, полные силъ и талантовъ, что же вы сдълали? Или что вы дълаете? Неужели вы воображаете, что ходить съ утра изъ одной части Парижа въ другую, чтобъ еще разъ переговорить съ Служальскимъ или Хоткевичемъ о границахъ Польши и Россіп — дъло? Или что ваши бесъды въкафе и дома, гдъ иять дураковъ слушаютъ васъ и ничего не понимаютъ, а другіе иять ничего не понимаютъ и говорятъ, щъло?

— Постой, постой, постой, Сазоновъ, уже очень неравно-

душно, —ты забываешь наше положение.

— Какое положеніе? Вы живете здісь годы, на волі, безъ гнетущей крайности, чего же вамъ еще? Положенія создаются, силы заставляють себя признать, втісняють себя. Полноте, господа, одна критическая статья Білинскаго полезніе для новаго поколінія, чімъ пгра въ конспираціи и въ государственных пюдей. Вы живете въ какомъ-то бреду и лунатизмів, въ візчному оптическомъ обманів, которымь сами себів отводите глаза...

Меня особенно сердили тогда двѣ мѣры, которыя прилагали не только Сазоновъ, но и вообще русскіе къ оцѣнкѣ людей. Строгость, обращенная на своихъ, превращалась въ культъ и поклоненіе передъ французскими знаменитостями. Досадно было видѣть, какъ наши пасовали передъ этими матадорами краснобайства, забрасывавшими ихъ словами, фразами и общими мѣстами, сказанными съ vitesse accelerée. И чѣмъ смиреннѣе держали себя русскіе, чѣмъ больше они краснѣли и старались скрывать ихъ невѣжество (какъ дѣлаютъ нѣжные родители и самолюбивые мужья), тѣмъ больше тѣ ломались и важничали передъ гиперборейскими Анахарсисами.

Сазоновъ, любившій еще вь Россіи студентомъ окружать себя дворомъ разныхъ посредственностей, слушавшихъ и слушавшихся его, былъ и здѣсь окруженъ всякими скудными умомъ и тѣломъ лаццарони литературной Кіаіи, поденщиками журнальной барщины, ветошниками фельетоновъ, въ родѣ тощаго Жюльвекура, полуповрежденнаго Тардифа-де-Мело, неизвѣстнаго, но великаго поэта Буэ, въ его хорѣ были и ограниченнѣйшіе поляки

изъ товянщизны и тупоумнъйшие нъмды изъ атеизма. Какт онт не скучалъ съ ними,—это его секретъ, онъ даже ко мнъ ходилъ почти всегда съ однимъ или съ двумя понятыми изъ хора, не смотря на то, что я съ ними всегда скучалъ и не скрывалъ этого. Поэтому-то особенно странно поражало, что онъ самъ становился въ положение Жюльвекура въ отношении къ Марастамъ, Риберолямъ и даже къ меньшимъ знаменитостямъ.

Все это не совсёмъ понятно для современныхъ посётителей Парижа. Никакъ ненадобно забывать, что настоящій Парижъ—

не настоящій, а новый.

Сдълавшись какимъ-то своднымъ городомъ всего свъта, Парижъ пересталь быть городомъ по преимуществу французскимъ. Прежде въ немъ была вся Франція и «ничего развъ ея»; теперь въ немъ вся Европа, да еще двъ Америки, но его самого меньше; онъ расплылся въ своемъ званіи мірового отеля, караванъ-сарая и потерялъ свою самобытную личность, внушавшую горячую любовь и жгучую ненависть, уваженіе безъ границъ и отвращеніе безъ предъловъ.

Само собою разумъется, что отношеніе пностранцевъ къ новому Парижу измѣнилось. Союзныя войска, ставшія на бивакахь, на Place de la Révolution, знали, что они взяли чужой городъ. Кочующій туристь считаеть Парижъ своимъ, онъ его покупаеть, жупруєть имъ и очень хорошо знаетъ, что онъ нуженъ Парижу, и что старый Вавилонъ обстроился, окрасился,

побълился не для себя, а для него.

Въ 1847 г. я еще засталъ преженій Парижъ, къ тому же Парижъ съ поднятымъ пульсомъ, допѣвавшій Беранжеровы пѣсни—съ припѣвомъ: vive la réforme, невзначай перемѣнившимся въ vive la République! Русскіе продолжали тогда житъ въ Парижѣ съ вѣчно присущимъ чувствомъ сознанія и благодарности Провидѣнію (и исправному взысканію оброковъ), что они живуть въ немъ, что они гуляютъ въ Palais Royal'ѣ и ходятъ аих Français. Они откровенно поклонялись львамъ и львицамъ всѣхъ родовъ—знаменитымъ докторамъ и танцовщицамъ, зубному лекарю Дезирабоду, сумасшедшему Ма-Па и всѣмъ литературнымъ шарлатанамъ и политическимъ фокусникамъ.

Я ненавижу систему дерзости рге́ме́ditée, которая у насъ въ модѣ. Я въ ней узнаю всѣ родовыя черты прежняго, офицерскаго, помѣщичьяго дантизма, ухарства, переложенныя на нравы Васильевскаго острова и линій его. Но ненадобно забывать, что и кліентизмъ нашъ передъ западными авторитетами шелъ цзъ той же казармы, изътой же канцеляріп, изътой же передней,—только въ другія двери, а именно обращенныя къ барину, начальнику и командиру. Въ нашей бѣдности поклоненія чему-бъ то ни было,

кромъ грубой силы и ея знаменій, потребность имьть нравственную табель о рангах в очень понятна, —но зато передъ къмъ и къмъ ни стояли въ умпленіи лучшіе изъ нашихъ соотечественниковъ? Даже передъ Вердеромъ п Руге, этимп великими бездарностями гегелизма. Отъ нъмщевъ можно сдёлать заключеніе, что дёлалось передъ французами, передъ людьми дёйствительно замъчательными, передъ Пьеромъ Леру, напр., или передъ самой Жоржъ-Зандъ...

Каюсь, что я сначала быль увлеченъ и думаль, что поговорить въ кафе съ историкомъ «десяти лътъ» или у Бакунина съ Прудономъ, нъкоторымъ образомъ чинъ, повышеніе; но у меня вет опыты идолопоклонства и кумпровъ не держатся, и очень

скоро уступаютъ мъсто полнъйшему отрицанию.

Мъсяца черевъ три послъ моего прітвада въ Парижъ, я началь кръпко нападать на это чинопочитание, и именно въ пущій разгаръ моей оппозиціи случился споръ по поводу Бѣлинскаго. Бакунинъ, съ обыкновеннымъ добродущіємъ своимъ, самъ въ половину соглашался и хохоталъ; но Сазоновъ надулся и продолжалъ меня считать профаномъ въ практически-политическихъ вопросахъ. Вскоръ я его убъдилъ еще больше въ этомъ.

Февральская революція была для него полибішимъ торжествомъ, знакомые фельетонисты заняли правительственныя мъста, троны качались, ихъ поддерживали поэты и доктора. И вмецкіе князьки спрашивали совъта и помощи у вчера гонимыхъ журналистовъ и профессоровъ. Либералы учили ихъ, какъ кръпче нахлобучить узенькія коронки, чтобъ пхъ не снесло поднявшейся выогой. Сазоновъ писалъ ко мнъ въ Римъ письмо за письмомъ и звать домой, въ Парижъ, въ единую и нераздѣльную республику.

Возвращаясь изъ Италіи, я засталъ Сазонова озабоченнымъ. Бакунина не было, онъ уже убхалъ поднимать западныхъ сла-

вянъ.

- Неужели, сказалъ мнт Сазоновъ при первомъ свиданіи, ты не видишь, что наше время пришло?
  - То есть, какъ?

Русское правительство въ impass т.

— Что же случилось, не провозглашена-ли республика?

— Entendons nous, я не думаю, чтобъ у насъ завтра было 24 февраля. Нътъ, но общественное мнъніе, но наплывъ либеральныхъ идей, разбитая на части Австрія, Пруссія съ конституціей, заставятъ подумать людей, окружающихъ Зимній дворецъ. Меньше нельзя сдълать, какъ октроировать какую-нибудь конституцію, un simulacre de charte, ну и при этомъ, прибавилъ онъ съ нъкоторой торжественностью, при этомъ необходимо либеральное, образованное, умающее говорить современнымъ языкомъ министерство. Думаль ли ты объ этомъ?

- Нѣтъ.
- Чудакъ, гдъ же они возьмутъ образованныхъ министровъ?
- Какъ не найти, если-бъ было нужно; но мнѣ кажется, они ихъ искать не будутъ.
- Теперь этоть скептицизмъ неумбетенъ, *исторія совер- шается* и притомъ очень быстро. Подумай,—правительство по неволѣ обратится къ намъ.

Я посмотрълъ на него, желая знать, что онъ шутить или нътъ. У него лицо было серьезно, нъсколько ноднято въ цвътъ и нервно отъ волненія.

- Такъ-таки просто къ намъ?
- Ну, то есть, *лично* ли къ намъ, или къ нашему кругу, все равно, —да ты подумай еще разъ, къ кому же они сунутся?
  - Ты какую берешь портфель?
- Напрасно смѣешься. Это наше несчастіе, что мы не умѣемъ ни пользоваться обстоятельствами, ni se faire valoir, ты все думаешь о статейкахъ, статейки хорошее дѣло, но теперь другое время, и одинъ день во власти важнѣе цѣлаго тома.

Сазоновъ съ сожалъніемъ смотрълъ на мою непрактичность и, наконецъ, нашелъ людей меньше скептическихъ, увъровавшихъ въ близкое пришествіе его министерства. Въ концъ 1848 г. два - три нъмца-рефюжье очень постоянно посъщали небольшіе вечера, устроенные Сазоновымъ у себя. Въ ихъ числъ былъ австрійскій лейтенантъ, отличившійся какъ пачальникъ штаба при Мессенгаузеръ. Разъ, выходя часа въ два ночи по проливному дождю и вспомнивъ, что отъ гие Blanche до Qartier Latin не то, чтобъ было черезчуръ близко, офицеръ ропталъ на свою судьбу.

- Какая же вамъ неволя была въ такую погоду тащиться такую даль?
- Консчно, не неволя, да знаете, Herr von Sessanoff сердится, когда не приходишь, а мит кажется, что съ нимъ надобно намъ поддерживать хорошія отношенія. Вы лучше меня знаете, что онъ съ своимъ талантомъ и умомъ... съ тамъ мъстомъ, которое онъ занимаетъ въ своей партіи, что онъ далеко пойдетъ при предстоящемъ переворотъ въ Россіи...
- Ну, Сазоновъ, сказалъ я ему на другой день: Архимедову точку ты нашель, есть человъкъ, который върить въ твою будущую портфель, и этотъ человъкъ лейтенантъ такой-то.

Время шло, переворота въ Россіп не было и пословъ за нами никто не присылать. Прошли и грозные іюньскіе дни; Сазоновъ принялся за «передовую статью»—не журнала, а *Эпохи*. Долго

работаль онъ за ней, читаль небольше отрывки, поправляль, мъняль и едва окончиль къ зимъ. Ему казалось необходимымъ «объяснить послъднюю революцю России». «Не ждите, —говорилъ онъ въ началъ, —чтобъ я вамъ сталъ описывать событія, другіе это сдълають лучше меня. Я вамъ передамъ мысль, идею совершившагося переворота». Простого труда ему было мало: сведенный на перо, онъ всякій разъ, когда бралъ его, хотълъ сдълать что-нибудь необыкновенное, громовое, —письмо Чаадаева постоянно носилось въ его умъ. Статья поъхала въ Петербургъ, была прочтена въ дружескихъ кругахъ и не сдълала никакого впечатлънія.

Еще лѣтомъ 1848 завелъ Сазоновъ международный клубъ. Туда онъ привелъ всѣхъ своихъ Тардифовъ, нѣмцевъ и мессіанистовъ. Съ сіяющимъ лицомъ ходилъ онъ въ синемъ фракѣ по пустой залѣ. Онъ открылъ международный клубъ рѣчью, обращенной къ пяти-шести слушателямъ, въ числѣ которыхъ былъ я 1) въ роли публики, остальная кучка была на платформѣ въ качествѣ бюро. Вслѣдъ за Сазоновымъ предсталъ растрепанный, съ видомъ заснаннаго человѣка, Тардифъ-де-Мело, и грянулъ стихотвореніе въ честь клуба.

Сазоновъ поморщился, но остановить поэта было поздно. Worcel, Sassonoff, Olinski, Del Balzo, Leonard

Et vous tous...

Кричаль съ какимъ-то восторженнымъ остервенениемъ Тардифъ-

де-Мело, не замѣчая смѣха.

На другой или третій день Сазоновъ мнѣ прислаль экземиляровъ тысячу программы открытія клуба, тѣмъ клубъ и кончился. Только впослѣдствій мы услышали, что одинъ изъ представителей человѣчества, и именно представлявшій на этомъ конгрессѣ Испанію и говорившій рѣчь, въ которой называль исполнительную власть potence ehécoutive, воображая, что это по-французски, чуть не попалъ въ Англіп на настоящую висѣлицу и былъ приговоренъ къ каторжной работѣ за поддѣлку какого-то акта.

За неудавшимся министерствомъ и лонпувшимъ клубомъ слъдовали больше скромныя, но и гораздо больше возможныя понытки сдѣлаться журналистомъ. Когда устроилась «La Tribune des peuples», подъ главнымъ завѣдываніемъ Мицкевича, Сазоновъ занялъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ редакціи, написалъ двѣ-три очень хорошія статьи... и замолкъ; а передъ паденіемъ «Трибуны», т. е., передъ 13 іюня 1849, былъ уже со всѣми въ ссорѣ. Все ему казалось мало, бѣдно, il se sentait derogé, досадовалъ за это,

<sup>1)</sup> Я быль тогда, какъ выражаются поляки, "паспортовый" п не отръзаль еще путей возвращенія въ Россію.

ничего не оканчиваль, запускаль начатое и бросаль въ половину сдѣланное.

Въ 1849 году я предложилъ Прудону передать иностранную часть редакціи «Voix du peuple» Сазонову. Съ его знаніемъ четырехъ языковъ, литературы, политики, исторіи всѣхъ европейскихъ народовъ, съ его знаніемъ партій, онъ могъ изъ этой части журнала сдѣлать чудо для французовъ. Во внутренній распорядокъ пностранныхъ новостей Прудонъ не входилъ, она была въ моихъ рукахъ, но я изъ Женевы ничего не могъ сдѣлать. Сазоновъ черезъ мѣсяцъ передалъ редакцію Хоецкому и разстался съ журналомъ. «Я Прудона глубоко уважаю, — писалъ онъ мнѣ въ Женеву, — но двумъ такимъ личностямъ, какъ его и моя, нѣтъ мѣста въ одномъ журналѣ».

Черезъ годъ Сазоновъ пристроплся къ воскрешенной тогда мацинистами «Реформѣ». Главной редакціей завѣдывалъ Ламене. И тутъ не было мѣста двумъ великимъ людямъ. Сазоновъ поработалъ мѣсяца три и бросилъ «Реформу». Съ Прудономъ онъ, по счастью, разстался мирно, съ Ламене — въ ссорѣ. Сазоновъ обвинялъ скупого старика въ корыстномъ употребленіи редакціонныхъ денегъ. Ламене, вспомнивъ привычки клерикальной юности своей, прибъгнулъ къ ultima ratio на Западѣ и пустилъ насчетъ Сазонова вопросъ: «Не агентъ ли онъ русскаго правительства?»

Въ послѣдній разъ я Сазонова видѣлъ въ Швейцаріи въ 1851. Онъ былъ высланъ изъ Франціп и жилъ въ Женевѣ. Это было самое сѣрое, подавляющее время, грубая реакція торжествовала вездѣ. Поколебалась вѣра Сазонова во Францію и въ близкую перемѣну министерства въ Петербургѣ. Праздная жизнь ему надоѣла, мучила его, работа не спорилась, онъ хватался за все, безъ выдержки, сердился и пилъ. Къ тому же жизнь мелкихъ тревогъ, вѣчной войны съ кредиторами, добываніе денегъ, талантъ ихъ бросать и неумѣнье распоряжаться вносили много раздраженія и печальной прозы въ ежедневное существованіе Сазонова; онъ и кутилъ уже невесело, по привычкѣ, а кутить онъ нѣкогда былъ мастеръ.

Кстати нъсколько словъ о его домашней жизни, и именно кстати потому, что она-то и сбивалась всего больше на кутежъ и не была лишена колорита.

Въ первые годы своей парижской жизни Сазоновъ встрътился съ одной богатой вдовой, съ нею онъ еще больше втянулся въ пышную жизнь. Она уъхала въ Россію, оставивъ ему на восинтаніе ихъ дочь и большія деньги. Вдова не усиъла добхать до Петрополя, какъ уже ее замънила дебелая итальянка, съ голосомъ, передъ которымъ еще разъ пали бы стъны Герихонскія.

Года черезъ два-три вдова вздумала совершенно неожиданно посътить друга и дочь. Итальянка поразила ее.

— Это что за особа?—спросила она, оглядывая ее съ головы

до ногъ.

— Нянька при Лили, и очень хорошая.

— Ну, какъ она научить ее говорить по-французски съ такимъ акцентомъ?.. Это бъда. Я лучше сыщу парижанку, а ты эту отпусти.

- Mais, ma chère...

— Mais, mon cher...—и вдова взяла дочь.

Это быль не только чувствительный, но и финансовый кризись. Сазоновъ быль далеко не бъденъ. Сестры посылали ему тысячь двадцать франковъ въ годъ дохода съ его имънья. Но, тратя безумно, онъ и теперь не думалъ уменьшать свой train, а бросился на займы. Занималь онъ направо и налъво, бралъ у сестеръ изъ Россіи, что могь, бралъ у друзей и враговъ, бралъ у ростовщиковъ, у дураковъ, у русскихъ и нерусскихъ... Долго держался онъ и лавировалъ такимъ образомъ, но, наконецъ, всетаки оборвался и попалъ въ Клиши, какъ я уже упомянулъ.

Въ продолжение этого времени старшая сестра его овдовъла. Услышавъ, что онъ въ тюрьмѣ, обѣ сестры поѣхали его выручать. Какъ всегда бываетъ, онѣ ничего не знали о житъѣ-бытъѣ Николеньки. Обѣ сестры были безъ ума отъ него, считали его за генія и ждали съ нетериѣніемъ, когда онъ явится во всей силѣ и славѣ.

Ихъ встрътили разныя разочарованія, они ихъ тьмъ больше удивили, чъмъ меньше онъ ожидали. На другой день утромъ, онъ, взявши съ собой графа Хоткевича, пріятеля Сазонова, по- вхали его выкупать сюрпризомъ. Хоткевичъ оставилъ ихъ въ каретъ и ушелъ, объщавши черезъ минуту явиться съ братомъ. Часъ шелъ за часомъ, Николенька не являлся... Върно, такія длинныя формальности, думали дамы, скучая въ фіакръ... Прибъжалъ, наконецъ, Хоткевичъ одинъ съ краснымъ лицомъ и сильнымъ виннымъ запахомъ. Онъ возвъстилъ, что Сазоновъ сейчасъ будеть, что онъ на прощанье съ товарищами угощаетъ ихъ виномъ и закусываетъ съ ними, что это ужъ такъ заведено. Кольнуло это немножко нъжное сердце путешественницъ... но... но вотъ и толстый, потный, плотный Николенька бросился въ ихъ объятія,—и онъ отправились довольныя и счастливыя домой.

Онъ слышали что-то... объ какой-то итальянкъ... Пламенная дочь Италіи, не устоявшая передъ съвернымъ геніемъ, и гиперборей, плъненный южнымъ голосомъ, огнемъ очей... Онъ, краснъя и стыдясь, изъявили робкое желаніе съ ней познакомиться. Онъ согласился на все и отправился домой. Дня черезъ два сестры

вздумали сдёлать второй сюриризъ брату, который еще меньше

удался перваго.

Часовъ въ 11 утра, въ жаркій день, отправились сестры ввглянуть на Франческу да Рамини и ея житье-бытье съ Николенькой. Меньшая сестра отворила дверь и остановилась... Въ небольшой гостиной, покрытой коврами, сидълъ на полу въ глубокомъ неглиже Сазоновъ и съ нимъ толстая signora Р., едва прикрытая легкой блузой. Signora хохотала во всю мочь итальянскихъ легкихъ... разсказу Николеньки. Возлѣ нихъ стояло ведро со льдомъ и въ немъ, склоняясь на бокъ, бутылка шампанскаго.

Что было дальше и какъ, я не знаю, но эффектъ былъ спльный и продолжительный. Меньшая сестра прівзжала ко мнѣ совъщаться объ этомъ событіи, о которомъ она говорила съ спазмами и слезами. Я ее утѣшалъ тѣмъ, что первые дни послѣ

Клиши не составляють норму.

За всъмъ этимъ слъдовала проза переъзда на меньшую квартиру... Камердинеръ, который мастерски подавалъ галстухъ изъ непрободаемой шелковой матеріи, въ которую изловчился вонзать булавку съ жемчужиной, былъ отпущенъ, да и сама булавка вслъдъ за нимъ, явилась въ окит какого-то магазина.

Такъ прошло еще лътъ пять. Сазоновъ возвратился въ Парижъ изъ Швейцаріи, потомъ опять ужхалъ изъ Парижа въ Швейцарію. Чтобъ отдълаться отъ дебелой птальянки, онъ изобрълъ самое оригинальное средство, — онъ женился на ней, потомъ разстался.

Между нами пробъжала кошка: онъ неоткровенно поступилъ со мной въ одномъ дълъ, очень дорогомъ мнъ. Я не могъ перешагнуть черезъ это.

Между тъмъ началась новая эпоха для Россін; Сазоновъ рвался принять участіе въ ней, писаль статьи неудававшіяся, хотълъ возвратиться, и не возвращался 1) и оставилъ, наконецъ, Парижъ. Долго объ немъ не было ничего слышно.

...Вдругъ какой-то русскій, пріёхавшій недавно пзъ Швейцаріп въ Лондонъ, сказалъ мнё:

- Наканунъ моего отъъзда изъ Женевы хоронили стараго знакомаго вашего.
  - Кого это?
- Сазонова, и представьте, ни одного русскаго не было на похоронахъ.

И стукнуло сердце—будто раскаяньемь, что я его такъ надолго оставилъ... (Писано въ 1863).

<sup>1)</sup> Его статья "О мѣстѣ Россіи на всемірной выставкѣ" напечатана въ II кн. "Полярной Звѣзды".

#### Π.

# Энгельсоны.

Они оба умерли. Она не старше тридцати ияти лать, онамоложе его.

Онт умеръ лётъ около десяти тому назадъ въ Жерсей; за его гробомъ шла вдова, ребенокъ и коренастый, растрепанный старикъ съ крупными, рёзкими, запущенными чертами; въ его лицѣ были зря перемъпаны геній и безуміе, фанатизмъ и пронія, озлобленіе ветхозавътнаго пророка и якобинца 1793 г. Старикъ этотъ былъ Пьеръ Леру.

Она умерла въ началъ 1865 года въ Испанія. О ея смерти

я узналь нъсколько мъсяцевъ спустя.

Гдъ ребенокъ, я не слыхалъ.

Человъкъ, о которомъ идеть ръчь, былъ мит близокъ, былъ мит дорогъ, онъ первый обтерь глубокія раны, когда онт были свъжи, онъ былъ моммъ братомъ, моей сестрой. Она, врядъ зная ли что дълаетъ, отдалила его отъ меня. Онъ сталъ монмъ врагомъ...

Въсть о ея смерти опять вызвала ихъ въ намяти...

Я взяль тетрадь, писанную мною объ нихъ въ 1859 году, и, вмъсто псалтыря, прочелъ ее надъ покойниками.

Долго думаль я, печатать ее или нѣтъ, и недавно рѣшилъ, что  $\partial a$ . Намѣреніе мое чисто, разсказъ истиненъ. Не упрекъ хочу я бросить въ ихъ могилу, а виѣстѣ съ читателемъ еще и еще разъ прослѣдить по новымъ субъектамъ всю сложную, болѣзненную сломанность людей послѣдняго поколѣнія.

Chateau Boissiere, 31 декабря, 1865.

#### I.

Въ концъ 1850 года въ Ниццу прітхаль одинь русскій съ женой. Инт ихъ указали на прогулкъ. Оба они принадлежали къ чающимъ движенія воды, онъ худой, блъдный, чахоточный, рыжевато-бълокурый; она быстро увядшая красота, истомленная, полуразрушенная, измученная.

Лекарь, жившій у одной русской дамы, сказаль миж, что бълокурый господинъ лицеисть, что онъ читаеть Vom andern Ufer. что онъ былъ замѣшанъ въ дѣлѣ Петрашевскаго, и по всему тому желаетъ со мной познакомиться. Я отвѣчалъ, что всегда радъ хорошему русскому, тѣмъ больше лицеисту, да еще участвовавшему въ дѣлѣ, мало мнѣ пзвѣстномъ, но которое для меня было маслиной, принесенной голубемъ въ Ноевъ ковчегъ.

Прошло нѣсколько дней, я не впдаль ни лекаря, нп новаго русскаго. Вдругъ какъ-то часу въ десятомъ вечера миѣ подали карточку,—это быль онъ. Мы сидѣли съ Карломъ Фогтомъ въ столовой, я велѣлъ гостя просить наверхъ въ гостиную, и прежде другихъ пошелъ туда. Тамъ я засталъ его блѣднаго, дрожащаго, въ какомъ-то лихорадочномъ состояніи. Онъ едва могъ сказать свою фамилію; успоконвшись немного, онъ вскочилъ со стула, бросился ко мнѣ, расцѣловалъ меня, и, прежде чѣмъ я въ свою очередь успѣлъ придти въ себя, онъ, со словами: «Такъ наконецъ-то я въ самомъ дѣлѣ вижу васъ», поцѣловалъ мою руку.—«Что съ вами? Помилуйте!» говорилъ я ему, но онъ уже плакалъ въ это время.

Я смотрълъ на него съ недоумъніемъ: что это—нервная распущенность или просто помъшательство?

Извиняясь и осыцая меня комплиментами, онъ съ необыкновенной быстротой и сильной мимикой разсказалъ мнж, что я ему спасъ жизнь и именно вотъ какимъ образомъ. Пропадая съ тоски въ Петербургъ, выключенный изъ лицея за какой-то вздоръ, гнушаясь службой, которую должень быль принять, и не видя никакого выхода ни для себя лично, ни вообще, онъ ръшился отравиться и, за итсколько часовъ до исполненія своего намъренія, пошель бродить безь определенной цёли по улицамь, зашелъ къ Излеру и взялъ книжку Отечественных в Записокъ. Въ ней была моя статья: «По поводу одной драмы». Чтеніе малопо малу захватило его вниманіе, ему стало легче, ему стало стыдно, что онъ такъ подчиняется горю и отчаянію, когда общіе интересы растуть со вежхъ сторонъ и зовуть все молодое, все имъющее силы, и Энгельсонъ вмъсто яда спросилъ полбутылки мадеры, еще разъ перечиталъ статью и съ тъхъ поръ сдълался горячимъ поклонникомъ моимъ.

Онъ просидъть до поздней ночи и ушель, прося позволенья скоро возвратиться. Сквозь его спутанную рѣчь, перерываемую отступленіями и эпизодами, можно было видѣть сильно устроенную голову, рѣзкую діалектическую способность и сще яснѣе сломанность, бросавшую его изъ одной крайности въ другую, отъ негодованья, обиженнаго горемъ и удрученнаго печалью, до проническаго гаерства, отъ слезъ до кривлянія.

Онъ оставилъ меня подъ страннымъ впечатлъніемъ. Сначала я ему не довърялъ, потомъ уставалъ отъ него, онъ какъ-то слишкомъ дѣйствовалъ на нервы, но мало - по - малу я привыкъ къ его странностямъ и былъ радъ оригинальному лицу, разрушавшему монотонную скуку, наводимую гуртовымъ большинствомъ западныхъ людей.

Энгельсонъ бездну читалъ и бездну учился, былъ лингвистъ, филологъ и вносилъ во все знакомый намъ скептицизмъ, который такъ много беретъ за боль, оставляемую имъ. Встарь объ немъ сказали бы, что онъ зачитался. Черезъ край возбужденная умственная дъятельность была не по силамъ хилаго организма. Вино, которымъ онъ побъждалъ усталь и возбуждалъ себя, раздувало его фантазію и мысли въ длинныя и яркія пасмы огня, быстро сожигая его больное тъло.

Везпорядокъ и вино, всегдашняя, раздражительная дъятельность ума, поразительная многосторонность и поразительная безплодность, полнъйшая праздность, крайность страстей и крайность апатіи, несмотря на большую разницу съ нашимъ прежнимъ московскимъ складомъ, живо напоминали мнъ былое. Опять услышались звуки не только родного языка, но родной мысли. Онъ зналъ литературные круги. Совершенно отръзанный тогда отъ Россіи, я съ жадностью слушалъ его разсказы.

Мы стали видаться часто, потомъ всякій вечеръ.

Жена его тоже была странное существо. Ея лицо отъ натуры прекрасное было искажено невралгіями и какпиъ-то тревожнымъ безпокойствомъ. Она была обрусѣлая норвежанка и говорила по русски съ легкимъ акцентомъ, который ей шелъ. Вообще она была молчаливѣе и скрытнѣе его. Домашняя жизнь ихъ шла не свѣтло; у нихъ было какъ-то нервно unheimlich, натянуто, чего-то недоставало въ ихъ жизни, что-то было лишнее въ ней, и это постоянно чувствовалось, какъ невидимое, грозное, электрическое въ воздухѣ.

Часто заставалъ я ихъ въ большой комнать, бывшей ихъ спальней и пріемной въ отель, въ совершенньйшей простраціи. Ее съ заплаканными глазами, обезсиленную въ одномъ углу; его бльднаго, какъ мертвецъ, съ бъльми губами, растеряннаго, молчащаго въ другомъ... Такъ сидъли они иногда часы цълые, дни цълые, и это въ нъсколькихъ шагахъ отъ спняго Средиземнаго моря, отъ померанцевыхъ рощей, куда звало все—и яхонтовое небо, и яркое, шумное веселье южной жизни. Они собственно не ссорились, тутъ не было ни ревности, ни отдаленья, ни вообще уловимой причины... Онъ вдругъ вставалъ, подходилъ къ ней, становился на колъни и, иногда съ рыданьемъ, повторялъ: «Сгубилъ я тебя, мое дитя, сгубилъ!» И она плакала и върила, что онъ ее сгубилъ. «Когда же я, наконецъ, умру и оставлю его на свободъ»—говорила она мнъ.

Все это было для меня ново, и мнѣ ихъ было до того жаль, что хотѣлось съ ними илакать и иуще всего сказать имъ: «Да полноте, полноте,—вы вовсе не такъ несчастны и не такъ дурны, вы оба славные люди, возьмемте лодку и размыкаемъ горе по синему морю»,—я это и дълать иногда, и мнѣ удавалось ихъ увозить отъ самихъ себя. Но за ночь пароксизмъ возвращался... Они какъ-то надразнили другъ друга и стояли въ такомъ раздражительномъ имиасѣ, что пустъйшее слово нарушало согласіе и снова вызывало какихъ-то фурій со дна ихъ сердца.

Иной разъ мит казалось, что безпрерывно растравляя свои раны, они въ этой боли находятъ какое-то жгучее наслажденіе, что это взаимное разътданье сдълалось имъ необходимо, какъ водка или пикули. Но, по несчастью, организмъ у обоихъ началъ явно уставать, они быстро неслись въ домъ умалишенныхъ или въ могилу.

Натура ея, вовсе не бездарная, но невыработанная и въ то же время испорченная, была гораздо сложнѣе и въ нѣкоторомъ смыслѣ гораздо выносливѣе и сильнѣе его. Къ тому же въ ней не было ни тѣни единства, послѣдовательности, той несчастной послѣдовательности, которая у него оставалась въ самыхъ вопіощихъ крайностяхъ и въ самыхъ крутыхъ противорѣчіяхъ. Въ ней рядомъ съ отчаяніемъ, съ желаніемъ умереть, съ привычкой ныть и изнывать, была и жажда свѣтскихъ наслажденій, и затаенное кокетство, любовь къ нарядамъ и роскопии, отвергаемая какъ-то предпамѣренно, на зло себѣ. Она всегда была одѣта къ лицу и со вкусомъ.

Ей хотълось быть женщиной свободной по тогдашнимъ понятіямъ и огромнымъ, оригинальнымъ психическимъ несчастіемъ, въ смыслъ героинь Ж. Зандъ... Но ее, какъ гиря, стягивала прежняя, привычная, традиціональная жизнь совсъмъ въ иную сферу.

То, что составляло поэзію Энгельсона и много выкупало его недостатковъ, то, что ему самому служило выходомъ, того она не понимала. Она пе могла слъдовать за его скачущей мыслію, за его быстрыми переходами отъ отчаннія къ остротамъ и хохоту, отъ откровеннаго смъха къ откровеннымъ слезамъ. Она отставала, теряла связь, терялась... Для нея были непонятны каррикатурные профили печальныхъ мыслей его.

Когда Энгельсонъ, послъ цълаго запаса каламбуровъ и шалостей, передразниваній, больше и больше монтируясь, дълаль цълыя драматическія представленія, отъ которыхъ нельзя было не хохотать до упаду, она уходила съ озлобленіемъ изъ комнаты, ее оскорбляло «неприличное поведеніе его при постороннихъ.» Онъ обыкновенно примъчалъ это, и такъ какъ его нельзя было ни-

чёмь остановить, когда онъ закусываль удила, то онъ вдвое дурачился и потомъ вальсироваль съ ней и спрашиваль се съ горящими щеками и покрытый потомъ: «Ach mein lieber Gott, Alexandra Christianovna, war es denn nicht respectabel?» Она плакала вдвое, онъ вдругъ мёнялся, дёлался мраченъ и morose, пилъ рюмку за рюмкой коньякъ и уходилъ домой или просто засыпалъ на диванъ.

На другой день мий приходилось мирить, улаживать и онъ такъ оть души цёловаль ея руки, и такъ смёшно просилъ отпущеніе грёха, что она сама иногда не могла удержаться и смёялась вмёстё съ нами.

Комическій таланть Энгельсона быль несомнінень, огромень; до такой покости никогда не доходиль Левассорь, развів Грассо въ лучшихь своихь созданіяхь, да Горбуновь въ нікоторыхъ разсказахь. Къ тому же половина была импровизирована, онъ добавлять, изміняль, придерживаясь одной рамы. Если-бъ онъ хотіль развить въ себі эту способность и привести ее въ порядокь, онь навірное заняль бы одно изъ первыхъ мість въ ряду злыхо комиковь, но Энгельсонь ничего не развить въ себі и ничего не привель въ порядокъ. Дикіе и полные силь побіти талантовь росли и глохли въ неустоявшейся душі его — и отъ домашнихъ тревогь, отнимавшихъ половину времени, и отъ хватанья за все на світь, отъ филологіи и химіп до политической экономіи и философіи. Въ этомъ смыслі Энгельсонь быль чисто русскій человікъ, несмотря на то, что отецъ его быль финляндскаго происхожденія.

Но изъ того, что ломанье и кривлянье Энгельсона возмущало его жену, не следуеть, чтобъ въ ней самой было больше спетости и гармоніи; совсёмъ напротивъ, у нея въ голове былъ дъйствительной безпорядокъ, разрушавшій всякій строй, всякую послъдовательность и дълавшій ее неуловимой. Я на ней на первой изучиль, какъ мало можно взять логикой въ спорт съ женщиной, особенно когда споръ въ практическихъ сферахъ. Въ Энгельсонъ неустройство напоминало безпорядокъ послъ пожара, послъ похоронъ, ножалуй, послъ преступленія, а въ ней-неприбранную комнату, въ которой все разбросано зря: дътскія куклы, вънчальное платье, молитвенникъ, романъ Ж.-Зандъ, туфли, цвѣты, тарелки. Въ ея полусознанныхъ мысляхъ и полуподорванныхъ върованіяхъ, въ притязаніяхъ на невозможную свободу и въ зависимости отъ привычныхъ внёшнихъ цёней, было что-то восьмильтнее, восемнадцатильтнее, восьмидесятилътнее. Много разъ говорилъ я это ей самой; и странное дъло, даже лицо ея преждевременно завяло, казалось старымъ отъ отсутствія части зубовъ и въ то же время сохраняло какое-то ребяческое выраженіе.

Во внутренномъ хаосъ ея былъ кругомъ виноватъ Энгель-

сонъ.

Его жена была избалованнымъ ребенкомъ своей матери, которая не чаяла въ ней души; за нее посватался, когда ей было лътъ восемнадцать, пожилой, флегматическій чиновникъ изъ шведовъ. Въ минуту досады и ребяческаго каприза на мать, она согласилась выйдти за него. Ей хотълось състь хозяйкой и быть своей госпожей.

Когда медовый мъсяцъ воли, визитовъ, нарядовъ прошелъ, новобрачной стало певыносимо скучно; мужъ, несмотря на то, что тщательно сохранялъ респектабельность, возилъ ее въ театръ п дълалъ чайные вечера, ей опротивълъ; она побилась съ нимъ года три-четыре, устала и уъхала къ матери. Они развелись. Мать умерла и она осталась одна, съ здоровьемъ, преждевременно разрушеннымъ въ боръбъ съ нелъпымъ бракомъ, съ пустотой, съ голодомъ въ сердцъ, съ празднымъ умомъ, страдающая, печальная.

Въ это время Энгельсонъ былъ исключенъ изъ лицея. Нервный, раздражительный, съ страстной потребностью любви, съ болъзненнымъ недовърјемъ къ себъ, снъдаемый самолюбјемъ... Онъ познакомился съ ней еще при жизни матери и сблизился послъ ея смерти. Мудрено было бы, если-бъ онъ не влюбился въ нее. Надолго ли, или нътъ, но онъ долженъ былъ полюбить ее сильно. Къ этому вело все... и то, что она была женщина безъ мужа, вдова и не вдова, невъста и не невъста, и то, что она томилась чъмъ-то, была влюблена въ другого и мучилась своей пюбовью. Этотъ другой былъ энергическій молодой человыхъ, офицеръ и литераторъ, но отчаянный пгрокъ. Они поссорились за эту неистовую страсть къ игръ,—онъ впослъдствіи застрълился.

Энгельсонъ не отходилъ отъ нея, онъ утвшалъ ее, смъщилъ, занималъ. Это была первая и послъдняя любовь его. Ей хотълось учиться или, лучше, знать не учась; онъ взялся быть ея

менторомъ, — она просила книгъ.

Первою книгою, которую Энгельсонъ ей далъ, была «Das Wesen des Christentum's», Фейербаха. Себя онъ сдълалъ комментаторомъ и ежедневно изъ-подъ ногъ своей Элоизы, не умъвшей ступить на землю отъ китайскихъ башмаковъ стараго воспитанія, выдергивалъ скамейку, на которой она кой-какъ могла не потерять равновъсія...

Освобожденіе оть традиціонной морали, сказаль Гёте, никогда не ведеть къ добру безъ укрыпившейся мысли; дъйствительно, одинъ разумъ достоинъ смънять религію долга.

Энгельсонъ попробовалъ женщину, спавшую непробуднымъ сномъ нравственной безпечности, убаюканную традиціями и грезившую все, что грезитъ слегка христіанская, слегка романтическая, слегка моральная, патріархальная душа, воспитать сразу, по методѣ англійскихъ нянекъ, которыя кричащему отъ боли въ животѣ ребенку наливаютъ въ ротъ рюмку водки. Въ ея незрѣлыя дѣтскія понятія онъ бросилъ разъѣдающій ферментъ, съ которымъ мужчины рѣдко умѣютъ справиться, съ которымъ онъ самъ не справился, а только понялъ его.

Ошеломленная ниспроверженіемъ всёхъ правственныхъ понятій, всёхъ религіозныхъ върованій и находя у самого Энгельсона одно сомнѣніе, одно отрицанье прежняго и одну иронію, она потеряла послѣдній компасъ, послѣдній руль, и ношла, какъ пущенная въ море подка, безъ кормила, вертясь и блуждая. Балансъ, выработанный самой жизнью, держащійся—какъ въ маятникѣ противуположными пластинками—нелѣпостями, исключающими другъ друга и держащими на этомъ,—быль парушенъ.

Она бросилась на чтеніе съ яростью, понимала, не понимая, и примѣшивая къ философіи нянюшекъ философію Гегеля, къ экономическимъ понятіямъ чопорнаго хозяйства — сентиментальный соціализмъ. При всемъ этомъ здоровье шло хуже, скука, тоска не проходили, она чахла, томилась, смертельно хотѣла ѣхать за границу и боялась какихъ-то преслѣдованій и враговъ.

Послѣ долгой борьбы, собравши всѣ силы, Энгельсонъ сказаль ей: «Вы хотите путешествовать, какъ вы доѣдете однѣ?.. Вамъ надѣлаютъ бездну непріятностей, вы потеряетесь безъ друга, безъ защитника, который имѣлъ бы право васъ защищать. Вы знаете, что за васъ я отдамъ мою жизнь... Отдайте мнѣ вашу руку,—я васъ буду беречь, покоить, сторожить... я буду ваша мать, вашъ отецъ, ваша нянька и мужъ только передъ закономъ. Я буду съ вами—близко васъ...»

Такъ говорилъ человѣкъ моложе тридцати лѣтъ, страстно любившій. Она была тронута и приняла его мужемъ безусловно. Черезъ нѣкоторое время они уѣхали въ чужіе края.

Таково было прошедшее моихъ новыхъ знакомыхъ. Когда Энгельсонъ все это разсказалъ мнѣ, когда онъ горько жаловался, что бракъ этотъ загубилъ ихъ обоихъ, и я самъ видѣлъ, какъ они изнывали въ какомъ-то нравственномъ угарѣ, который они преднамѣренно вздували, я убѣдился, что несчастье ихъ состоитъ въ томъ, что они слишкомъ мало знали другъ друга прежде, слишкомъ тѣсно придвинулись теперь, слишкомъ свели всю жизнь на личный лиризмъ, слишкомъ вѣрятъ, что они мужъ и жена. Если-бъ они могли разъѣхаться,... каждый вздохнулъ бы на свободѣ, успокоился бы, а, можетъ, и вновь расцвѣлъ бы.

Время показало бы, въ самомъ ли дълъ они такъ нужны другъ для друга; во всякомъ случай горячка была бы прервана безъ катастрофы. Я не скрывалъ моего мненія отъ Энгельсона; онъ соглашался со мной, но все это быль миражъ, въ сущности у него не было силы ее оставить, у нея-броситься въ море... Они тайно хотпъли остаться при канунъ этихъ ръшеній, не приводя ихъ въ исполненіе.

Мнъніе мое было слишкомъ просто и здорово, чтобъ быть върнымъ въ отношени къ такимъ сложно натологическимъ

субъектамъ и къ такимъ больнымъ нервамъ.

## II.

Типъ, къ которому принадлежалъ Энгельсонъ, былъ тогда для меня довольно новъ. Въ началъ сороковыхъ годовъ я видъть только его зачатки. Онъ развился въ Петербургъ подъ конецъ карьеры Бълинскаго и сложился послъ меня до появленія Чернышевскаго. Это типъ петрашевцевъ и ихъ друзей. Кругъ этотъ составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные п чрезвычайно образованные, но нервные, бользненные и поломанные. Въ ихъ числъ не было ни кричащихъ бездарностей, ни пишущихъ безграмотностей, — это явленія совстить другого времени, но въ нихъ было что-то испорчено, повреждено.

Петрашевцы ринулись горячо и смёло на д'вятельность и удивили всю Россію «Словаремъ иностранныхъ словъ». Наслѣдники сильно возбужденной умственной деятельности сороковыхъгодовъ, они прямо изъ нѣмецкой философій шли въ фалангу

Фурье, въ последователи Конта.

Окруженные дрянными и мелкими людьми, гордые вниманіемъ полиціи и сознаніемъ своего превосходства, при самомъ выходъ изъ школы, они слишкомъ дорого оценили свой отрицательный подвигь, или, лучше, свой подвигь въ возможности. Отсюда безмърное самолюбіе. Не то здоровое, молодое самолюбіе, идущее юношть, мечтающему о великой будущности, идущее мужу въ полной силъ и въ полной дъятельности, не то, которое въ былыя времена заставляло людей совершать чудеса отваги, выносить цепи и смерть изъ желанія славы, но, напротивъ, самолюбіе бользненное, мъшающее всякому дълу огромностью притязаній, раздражительное, обидчивое, самонадъянное до дерзости п въ то же время неувъренное въ себъ.

Между ихъ запросомъ и оцънкой ближнихъ несоразмърность

была велика. Общество не принимаеть векселей на будущее, а требуеть готовую работу за свое наличное признаніе. Труда и выдержки у нихъ было мало, того и другого хватило только для пониманья, для усвоенья разработаннаго другими. Они хотъли жатвы за намъреніе съять и вънковъ за то, что у нихъ закормы были полны. «Обидное непризнаніе общества» ихъ мучило и доводило до несправедливости къ другимъ, до отчаянія и Fratzenhaftigkeit.

На Энгельсонъ я изучиль разницу этого покольнія съ нашимъ. Впосльдствій я встрычаль много людей не столько талантливыхь, не столько развитыхь, но съ тымь же видовымъ

бользненным в надломом в по всты суставамъ.

Дивиться надобно, какъ здоровыя силы, сломавшись, все-же уцълъли. Кто не знаетъ знаменитую инструкцію учителямъ кадетскихъ корпусовъ? Вся система казеннаго воспитанія состояла въ внушеній религіи сленого повиновенія, ведущей къ власти, какъ къ своей наградъ. Молодыя чувства, лучистыя по натуръ. были грубо оттъсняемы внутрь, замъняемы честолюбіемъ и ревнивымъ, завистливымъ соревнованіемъ. Что не погибло, вышло больное, сумасшедшее... Витсть съ жгучимъ самолюбіемъ прививалась какая-то обезкураженность, сознаніе безсилія, усталь передъ работой. Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми, не пибя двадцати лътъ отроду. Они вст были заражены страстью самонаблюденія, самонзслъдованія, самообвиненія, они тщательно повъряли свои психическія явленія и любили безконечныя испов'єди и разсказы о нервныхъ событіяхъ своей жизни. Мнѣ впослѣдствін случалось часто имѣть на духу не только мужчинъ, но и женщинъ, принадлежавшихъ къ той же категоріи. Вглядываясь съ участіемь въ ихъ покаянія, въ ихъ психическія себя-бичеванія, доходившія до клеветы на себя, я, наконецъ, убъдился потомъ, что все это одна изъ формь того же самолюбія. Стопло вмісто возраженья и состраданья согласиться съ кающимся, чтобъ увидёть, какъ легко уязвляемы и какъ безпощадно метительны эти магдалины обоихъ половъ. Вы передъ ними, какъ христіанскій священникъ передъ сильными міра сего, имфете только право торжественно отпускать гръхи и молчать.

У этихъ нервныхъ людей, чрезвычайно обидчивыхъ, содрогавшихся, какъ мимоза, при всякомъ чуть неловкомъ прикосновеніи, была, съ своей стороны, непостижимая жесткость слова. Вообще, когда д'бло шло объ отместкъ, выраженія не мърились, страшный эстетическій недостатокъ, выражающій глубокое презръніе къ лицу и оскорбительную снисходительность къ себъ. Необузданность эта идеть у насъ изъ помъщичьихъ домовъ, канцеляріи и казармъ, но какъ же она уцёлёла, развилась у новаго поколёнія, перескакивая черезъ наше? Это психологическая

запача.

Въ прежнихъ студентскихъ кружкахъ бранились громко, спорили запальчиво и грубо, но въ самой пущей брани кой-что оставалось внѣ битвы... Для нашихъ нервныхъ людей—энгельсоновскаго поколѣнія—этого завѣтнаго мѣста не существовало, они не считали нужнымъ себя сдерживать; для пустой и мимолетной мести, для одержанія верха въ спорѣ не щадили ничего и я часто съ ужасомъ и удивленіемъ видѣлъ, какъ они, начиная съ самого Энгельсона, бросали безъ малѣйшей жалости драгоцѣннѣйшія жемчужины въ ѣдкій растворъ и плакали потомъ. Съ перемѣной нервнаго тока начинаются раскаянія, вымаливаніе прощенья у поруганнаго кумира. Небрезгливые, они выливали нечистоты въ тотъ же сосудъ, изъ котораго ппли.

Раскаянія ихъ бывали искренни, но не предупреждали повтореній. Какая-то пружина, ум'єряющая дъйствіе колесъ и направляющая ихъ, у нихъ сломана; колеса вертятся съ удесятеренной быстротой, ничего не производя, но ломая машину; гармоническое сочетаніе нарушено, эстетическая міра потеряна,—съ ними

жить нельзя, имъ самимъ съ этимъ жить нельзя.

Счастья для нихъ не существовало, они не умѣли его беречь. При малѣйшемъ поводѣ они давали безчеловѣчный отпоръ и обращались грубо со всѣмъ близкимъ. Ироніей они не меньше губили и портили въ жизни, чѣмъ нѣмцы приторной сентиментальностью. Странно, люди эти жадно хотятъ быть любимыми, ищутъ наслажденія и, когда подносятъ ко рту чашу, какой-то злой духъ толкаетъ ихъ подъ руку, вино льется наземь и запальчивостью отброшенная чаша валяется въ грязи.

#### III.

Энгельсоны вскор'в увхали въ Римъ и Неаполь; они хотвли остаться тамъ мъсяцевъ шесть и возвратились черезъ шесть недъль. Ничего не видавши, они таскали свою скуку по Италіи, мыкали свое горе въ Римъ, грустили въ Неаполъ и, наконецъ, ръшились ъхать обратно въ Ниццу, «къ вамъ на леченье»—писалъ онъ мнъ изъ Генуи.

Мрачное расположеніе ихъ выросло во время ихъ отсутствія. Къ нервному разстройству прибавились размолвки, принимавшія все больше и больше озлобленный, желчевой характеръ. Энгельсонъ былъ виноватъ въ необузданности словъ, въ жесткихъ выраженіяхъ, но вызывала ихъ всегда она, вызывала преднамъренно, съ затаенной колкостью и съ особеннымъ усиѣхомъ въсамыя добродушныя минуты его; забыться онъ не могъ ни на минуту.

Молчать Энгельсонъ вовсе не умёлъ, говорить со мною облегчало его и потому онъ мнё разсказывалъ все, даже больше, чёмъ нужно, мнё было неловко; я чувствовалъ, что не могу быть съ ними такъ откровененъ, какъ они со мной. Ему говорить было легко, его на время успоконвала высказанная жалоба, — меня нётъ.

Разъ, сидя со мной въ небольшой тавернъ, Энгельсонъ сказалъ, что онъ обезсилился въ ежедневной борьбъ, что выхода изъ нея нътъ, что снова мысль о прекращени своего существования ему представляется послъднимъ спасениемъ... При его нервной необузданности можно было ждать, что если, наконецъ, ему попадется пистолетъ или склянка яда, то онъ когда-нибудь и попробуетъ то или другое...

Мнѣ было жаль его. И оба они были жалки. Она могла бы быть счастливой женщиной, будь она замужемъ за человѣкомъ свѣтлаго нрава, который умѣль бы ее тихо развивать, весело веселиться и въ случаѣ нужды дѣйствовать не только убѣжденіемъ, но и авторитетомъ—авторитетомъ серьезнымъ, безъ ироніи. Есть несовершеннолѣтнія натуры, которыя не могутъ себя вести сами, такъ, какъ есть лимфатическія сложенія, которымъ необходимъ корсетъ, чтобъ позвоночный столбъ не гнулся.

Пока я думалъ объ этомъ, Энгельсонъ, продолжая свой разсказъ, самъ пришелъ къ тому же заключеню. «Женщина эта меня не любитъ,—говорилъ онъ, —да и не можетъ любитъ; то, что она понимаетъ во мнѣ и ищетъ, скверно, а что во мнѣ естъ хорошаго—для нея китайская грамота; она испорчена буржуазностью, съ своимъ внѣшнимъ respectabilitët'омъ, съ мелкимъ фамилизмомъ; мы замучимъ другъ друга, это для меня ясно».

Мнт казалось, что если мужчина можетъ такимъ образомъ говорить о близкой женщинт, то главная связь между ними разорвана. А потому я признался ему, что, давно съ глубокимъ участіемъ слъдя за ихъ жизнью, часто задавалъ себт вопросъ, зачтмъ они живутъ витетт.

— У вашей жены тоска по Петербургу, по братьямъ, по старой нянюшкъ, — отчего вы не устроите, чтобъ она ъхала домой, а вы бы остались здъсь?.

— Тысячу разъ думаль я объ этомъ, я только этого и хочу, но, во-первыхъ, ей не съ къмъ ъхать, а во-вторыхъ, она въ Петербургъ пропадаетъ съ тоски.

- Да, въдь, она и здъсь пропадеть съ тоски. Что не съ къмъ послать,—это воспоминанія нашихъ барскихъ затъй; вы можете проводить вашу жену до парохода въ Штетинъ, а пароходъ самъ дорогу найдеть. Если у васъ нътъ денегъ, я вамъ дамъ взаймы.
- Вы правы, и я это сделаю непременно. Мить больно, мить жаль ее, все, что было во мить любви, положилъ я на ея голову; я въ ней искалъ не только жены, но существо, которое я котълъ развивать, воспитывать по своей фантазіи, я думалъ. что она будетъ моимъ ребенкомъ,—задача была не по силамъ; да и кто же зналъ, сколько противодъйствій я найду, сколько упрямства? Онъ помолчалъ и потомъ добавилъ:—Сказать вамъ всю мою мысль,—ей надобно другого мужа... Если-бъ нашелся человъкъ достойный ея, которато бы она полюбила, я сдалъ бы ее съ рукъ на руки и мы оба выздоровъли бы, это важитье Петербурга.

Я все это принималь au pied de la lettre. Что онъ былъ искрененъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; тутъ-то и лежитъ загвоздка этихъ подвижныхъ, не владѣющихъ собой организацій, онѣ могутъ, какъ хорошіе актеры, выграться въ разныя роли и до того съ ними сродниться, что картонный кинжалъ имъ кажется настоящимъ, и они льютъ истинныя слезы о «Гекубѣ».

Мы тогда жили вмѣстѣ въ С.-Еленъ. Дни два сиустя послѣ моего разговора съ Энгельсономъ, поздно вечеромъ вошла m-me Энгельсонъ въ гостиную, со свѣчой въ рукѣ и съ заилаканнымъ лицомъ; поставила свѣчу на столъ и сказала, что желаетъ поговорить со мной. Мы сѣли... Послѣ небольшой и неясной прелюдіи о судьбѣ, которая ее преслѣдуетъ, о несчастномъ характерѣ Энгельсона и ея самой, она объявила, что рѣшилась возвратиться въ Истербургъ, и не знаетъ, какъ это сдѣлатъ: «вы один имѣете на него вліяніе, уговорите его меня въ самомъ дълю отпустить; я знаю, что онъ въ минуты досады на словахъ готовъ меня сейчасъ посадить въ почтовую карету, но все это на словахъ. Уговорите его, спасите насъ обоихъ и дайте слово первое время походить за нимъ, похолить его... ему будетъ тяжело, онъ больной, нервный человѣкъ», и она, снова рыдая, покрыла лицо платкомъ.

Въ глубину горести ея я не върилъ, но очень хорошо попялъ, какого я далъ маху, говоря откровенно съ Энгельсономъ; для меня было ясно, что онъ передалъ ей нашъ разговоръ.

Выбора мий не оставалось, я повториль свои слова, смягчивши ихъ въ формй. Она встала, поблагодарила меня и прибавила, что если она не пойдеть, то бросится въ море, что она вечеромъ сожгла многія бумаги и желаеть мнй поручить какія-то

другія въ запечатанномъ пакеть. Мнь стало ясно, что и она вовсе не такъ страстно хочетъ вхать, а хочетъ, по какому-то капризному баловству, тянуться и исходить грустью. Сверхъ того, я увидьлъ, что если она колеблется безъ всякаго ръщенія, то онъ и не колеблется, а вовсе не хочетъ, чтобъ она вхала. Она надъ нимъ имъла большую власть, она знала это и, основываясь на ней, дозволяла ему бъситься, покрывать пъной удила, становиться на дыбы, зная, что бунтуй онъ, какъ хочешь, дъло пойдетъ не по его волю, а по ел.

Совъта моего она мнъ никогда не прощала, она боялась моего вліянія, хотя и имъла явное доказательство моего безсилія.

Дней десять не было ръчи объ отъъздъ. Потомъ пошли періодическія схватки. Въ недѣлю разъ или два она являлась съ заплаканными глазами, объявляла, что теперь все кончено, что завтра она будетъ собираться въ Петербургъ или на дно морское. Энгельсонъ выходилъ изъ своей комнаты съ зеленымъ лицомъ, съ судорожнымъ подергиваніемъ и дрожащими руками, онъ исчезалъ часовъ на десять и возвращался запыленный, усталый и сильно выпившій, носилъ визировать пассъ или брать пропускъ въ Геную, потомъ все утихало и приходило въ обыкновенное русло.

Наружно m-me Энгельсонъ со мною совершенно примирилась, но съ этого времени у ней началось слагаться что-то въ родѣ ненависти ко мнѣ. Прежде она спорила со мной, сердилась, не скрывая... теперь она стала необыкновенно любезна. Она досадовала, что я кое-что разглядѣлъ, что я не умилялся передъ ея трагической судьбой, не принималъ ее за несчастную жертву, а глядѣлъ на нее, какъ на капризную больную, что я не только не сдѣлался платоническимъ соплакальщикомъ ея, а сомнѣвался, не наслажденіе ли вмѣсто горести доставляютъ ей слезы, душераздирательныя сцены, объясненія въ нѣсколько часовъ и пр., и пр.

Время шло и исподволь многое изм'єнилось. Она съ быстротою, которая только встречается у нервныхъ больныхъ, поздоровьта, сд'єлалась вессл'єе, стала еще внимательніе къ туалету, и хотя самые вздорные поводы снова приводили къ прежнимъ сценамъ между нею и Энгельсономъ, къ прощанью Сократа передъ цикутой и къ готовности идти по сл'єдамъ Сафо въ пучину морскую, но въ сумм'є д'єла шли лучше. В'єчно полулежащая отъ слабости, в'єчно утомленная женщина выпрямилась, какъ Сикстъ V, стала полн'єть и до того, что разъ б'єдный Коля, сидя за об'єдомъ и глядя на ея полную грудь, сказалъ, покачивая головой: «Sehr viel Milch!».

Видно было, что новый интересъ занялъ ся жизнь, что что-то

разбудило ее отъ бользненной летаргіи. Съ тьхъ поръ, какъ мы объяснились съ ней, она начала упорную пгру, обдумывая всякій ходъ, не хуже игроковъ du café Régent, и терпъливо поправляя ошибки. Иногда она измѣняла себъ, дѣлала промахи, увлекалась въ ту или другую сторону, но съ постоянствомъ возвращалась къ прежнему плану. Планъ этотъ шелъ уже дальше закрѣпленія въ свою власть Энгельсона, дальше отместки мнѣ; онъ состоялъ въ томъ, чтобъ завладѣть всѣми нами, всѣмъ доможъ и, пользуясь усиливающейся болѣзнью Natalie, взять въ свои руки воспитаніе, всю жизнь; si поп — поп, т. е., въ противномъ случаѣ разорвать во чтсбъ ни стало мою связь съ Энгельсономъ.

Но прежде чёмъ она достигла послёдняго результата, игра представляла много ходовъ очень трудныхъ, тяжелыхъ уступокъ, кошачьей тактики и большого выжиданія; многое она сдёлала, но не все. Безконечная болтовня Энгельсона мёшала ей столько же,

сколько мои раскрытые глаза.

На лучшее могла бы она употребить ту энергію, ту силу, ту настойчивость, которую она потратила на свой хитросилетенный замыселъ... Но личности и самолюбія пьянять, и, вступая въ темную игру страстей, трудно остановиться и трудно что-нибудь разглядъть. Обыкновенно свъть вносится въ комнату на шумь уже совершившагося преступленія, т. е., когда, съ одной стороны, неисправимая бѣда, съ другой, угрызеніе совъсти.

#### TV.

... О несчастіяхь, обрушившихся на меня въ 1851 и 1852 годахь, я говорю въ другомъ мѣстѣ. Энгельсонъ много облегченія внесъ въ мою печальную жизнь. Мы съ нимъ долго прожили бы возлѣ кладбищъ, но безпокойное самолюбіе его жены не пощадило и траура.

Нъсколько недъль послъ похоронъ Энгельсонъ, печальный, встревоженный, видимо нехотя и видимо не отъ себя, спросилъ меня, не думаю ли я поручить его женъ воспитание моихъ дътей?

Я отвёчалъ, что дёти, кромѣ моего сына, поъдуть въ Парижъ съ Марьей Каспаровной, и что я откровенно ему признаюсь, что его предложенія принять не могу.

Отвіть мой огорчиль его, огорчать его мні было больно.

— Скажите мнб, положивши руку на сердце, считаете ливы вашу жену способной воспитывать дфтей?..

- Нѣтъ, отвѣчалъ въ свою очередь Энгельсонъ, но... но, можетъ, это planche de salut для нея; она все-таки страдаетъ какъ прежде, а тутъ ваше довѣріе, новый долгъ.
  - Ну, а какъ опыть не удастся?

— Вы правы, не будемъ говорить объ этомъ, а тяжело.

Энгельсонъ былъ дъйствительно согласенъ со мной и замолчалъ. Но она не ожидала такого простого отвъта; уступить на этомъ вопросъ я не могъ, она не хотъла, и внъ себя отъ досады, тотчасъ ръшилась увезти Энгельсона изъ Ниццы. Дня черезъ три онъ объявилъ мнъ, что ъдетъ въ Геную.

— Что съ вами, спросиль я, и за что же такъ скоро?

— Да что, вы видите сами, жена не ладить ни съ вами, ни съ вашими друзьями, я ужъ ръшился... да оно, можеть, и лучше.

И черезъ день они убхали.

А потомъ убхалъ я изъ Ниццы. Въ Генув, провздомъ, мы встрътились мирно. Окруженная нашими друзьями, въ числъ которыхъ былъ Медичи, Пизакане, Козенцъ, Мордини, она казалась спокойнъе и здоровъе. Но тъмъ не меньше она не могла пропустить ни одного случая, чтобъ не кольнуть меня самымъ злымъ образомъ. Я отходилъ, молчалъ, это не помогало. Даже когда я уъхалъ въ Лугано, она продолжала свои отравленныя ретіть роіпть, и это въ ръдкихъ принискахъ къ письмамъ мужа, какъ будто съ его «визой».

Наконецъ, булавочные уколы въ такое время, когда я весь былъ задавленъ болью и горемъ, вывели меня изъ теривнія. Я ихъ ничвмъ не заслужилъ, ничвмъ не вызвалъ. На одну изъ злыхъ приписокъ, въ которой говорилось о томъ, какъ дорого еще Энгельсонъ поплатится за то, что беззавѣтно отдается друзьямъ, не зная, что они для него ничего не сдѣлаютъ,—я написалъ Энгельсону, что пора положить этому предѣлъ.

«Я не понимаю, писалъя, за что ваша жена сердится на меня? Если за то, что я не отдалъ ей монхъ дътей, то врядъ ли она права?». Я напомнилъ ему нашъ послъдній разговоръ и прибавиль: «Мы знаемъ, что Сатурнъ ълъ своихъ дътей, но чтобъ кто-нибудь благодарилъ своихъ друзей за ихъ участіе дътскимъ восинтаніемъ, это неслыханно».

Этой выходки она мнт не простила, но, что гораздо удивительные, и онъ не простиль, хотя сначала не показалъ вовсе вида... а попрекнулъ меня этими словами черезъ годы...

Я убхалъ въ Лондонъ, Энгельсонъ поселился на зиму въ Женевъ, потомъ перебрался въ Парижъ 1).

<sup>1)</sup> Къ этому времени относится рядь очень замъчательныхъ его писемъ, изъ которыхъ значительную часть я думаю когда-нибудь напечатать.

### V.

Пословицу: «Кто на морт не бываль, тотъ Богу не молился», можно такъ передълать: женщина, у которой дътей не бывало, не знаетъ безкорыстной преданности, и это особенно относится къ замужнимъ женщинамъ; бездътность у нихъ развиваетъ почти всегда грубый эгонямъ, разумъется, если по дорогъ не спасеть какой-нибудь общій интересъ. Старая діва иміветь какія-то посъдъвшія стремленія, мягчащія ее, она все еще ищетъ и все надъется; но женщина безъ дътей и съ мужемъ въ гавани, она благополучно прібхала, сначала инстинктивно погрустила о томъ, что дётей нёть, потомъ уснокоплась и живеть въ свое удовольствіе, а если п оно не удается, въ свое горе, или въ чье-нибудь неудовольствіе, въ чье-нибудь горе — хоть горничной. Рожденіе ребенка можеть ее спасти. Ребенокъ пріучаеть мать къ жертвъ, къ подчиненію воли, къ страстной трать времени не на себя, п отучаеть оть всякой вибшией награды, признанія, спасиба. Мать съ ребенкомъ не считается, она ничего не требуетъ отъ него, кромъ здоровья, аппетита, сна и его улыбки. Ребенокъ, не выводя женщины изъ дому, превращаеть ее въ гражданское лицо.

Совствиь не то, когда бездттной женщинт въ домъ понадается почему бы то ни было чужой ребенокъ, да еще но какой-нибудь необходимости. Она будетъ, пожалуй, наряжать его, играть съ нимъ, но когда ей хочемся; она будетъ баловать его, но по своему, во вству другихъ случаяхъ ребенокъ будетъ напрасно стучаться въ окоченто или ожиртвиес сердце. Словомъ, ребенокъ можетъ навтрное разсчитывать на вст льготы и холенья,

которыя дёлають шпицу, канарейкі,—но не больше.

У одного изъ нашихъ близкихъ знакомыхъ была дочь, родившанся отъ одной молодой вдовы. Въ видахъ замужества матери, ребенка хотъли увезти и украли во время отсутствія отца. Послъ долгихъ розысковъ дъвочку нашли; но отецъ, изгнанный изъ Франціи, не могъ за ней пріткать въ Парижъ, да и къ тому же не имъль денегъ. Не зная, куда дъть ее, онъ попросилъ Энгельсона взять ее на первое время. Энгельсонъ согласился, но очень скоро раскаялся. Дъвочка шалила и, въроятно, очень много, взявъ въ расчетъ ея неправильное воспитаніе; но все-же она шалила, какъ пятилътній ребенокъ, и не съ гуманнымъ пониманьемъ Энгельсона можно было опрокинуться на дъвочку за шалости. Да и бъда была не въ томъ, что она шалила: она

мюшала и пуще всего не ему, а ей, никогда ничего не дълавшей. Энгельсонъ съ какимъто ожесточениемъ жаловался миъ письменно на ребенка!

Между прочимъ, насчеть ея отца, Энгельсонъ писалъ миѣ: «Не странно ли, что Х., соглашавшійся когда-то съ вами, что жена моя не способна воспитывать вашихъ дътей, поручилъ

ей свою собственную дочь?».

Энгельсонъ зналъ очень хорошо, что отецъ дѣвочки не выбралъ его жену воспитательницей, а былъ приведенъ матеріальной нуждой въ необходимость прибѣгнуть къ ея помощи. Въ этомъ замѣчаніи было столько жесткаго, невеликодушнаго, что у меня перевернулось сердце. Я не могъ привыкнуть къ этому недостатку пощады, къ этой смълости языка, не останавливающагося ни передъ чѣмъ! Глубоко язвящіе намеки, которые могуть въ минуту раздраженія придти каждому въ голову, но которые губы наши отказываются высказать, говорятся людьми, къ которыть принадлежаль Энгельсонъ, съ легкостью и наслажденіемъ при малѣйшей размолвкъ.

Давъ волю своему раздраженію, Энгельсонъ въ письмів своемъ, по дорогів, оборвалъ и Тесье, и другихъ пріятелей, даже самого Прудона, котораго очень уважалъ. Вмівстів съ письмомъ Энгельсона пришло изъ Парижа письмо Тесье; онъ дружески шутилъ о «гнівахъ и шалостяхъ» Энгельсона, не подозрівая, что онъ писаль объ немъ. Мнів была противна роль какого-то отрицательнаго предательства, и я написаль Энгельсону, что стыдно такъ бранить людей, съ которыми жизнь насъ свела, что, несмотря на ихъ недостатки, все-же они люди хорошіе, какъ онь самъ знаетъ. Въ заключеніе я говорилъ, что стыдно такъ преувеличивать всякое дізло и ахать, и охать, и приходить въ отчаяніе отъ шалостей иятилітняго ребенка.

Этого было довольно. Пламенный почитатель мой, другъ, цъловавшій въ порывѣ энтузіазма мою руку, приходившій ко мнѣ дѣлить всякую нечаль и предлагавшій мнѣ кровь свою и свою жизнь, не на словахъ, а въ самомъ дълъ... этоть человѣкъ, свяванный со мной своею исповѣдью и моими несчастіями, которыхъ былъ свидѣтелемъ, гробомъ, за которымъ мы шли вмѣстѣ, все забылъ. Его самолюбіе было затронуто... Ему надобно было отомстить, онъ и отомстилъ. Черезъ четыре дня я получиль отъ него слѣдующій отвѣтъ:

2 февраля, 1853.

«Слухи носятся, что вы рѣшились ѣхать сюда; здоровье Маріп Каспаровны, кажется, возстанавливается (по крайней мѣрѣ, на прошедшей недѣлѣ она стала пободрѣе духомъ, встаетъ съ

постели минуть на пять, имжеть аппетить); о порученіи, данномь вами миж къ Т., имжю только то сказать, что вещи, которыя генераль просить его приготовить, не у Т., а оставлены имъ у Фогта въ Женевъ, что мадамъ Т. находить «реи gracieux» ваше молчаніе и прибавляеть, что переписка съ вами не могла бы причинить имъ непріятностей.

«Словомъ, до вашего прівзда я могь бы и не писать вамъ, если-бъмнъ не пришло на умъ, что молчаніе часто можеть быть принято за знакъ согласія. Я не хочу вводить или продержать васъ въ заблужденіи насчеть меня: я не согласенъ съ тъмъ, что сказано въ послъднемъ вашемъ письмъ ко мнъ (отъ 28 января).

«Вотъ ваши слова: «Ну, скажите, стоило литакъ расходиться и биби—и младенецъ—и ужъ ай, ай, ай, и ужъ Боже мой. Ну, подумайте, достойно ли это васъ! И что новаго! Вы людей знали и видъли. Я становлюсь съ каждымъ днемъ снисходительнъе и

пальше отъ людей».

«На это отвъчаю, не вдаваясь ныньший разъ въ диссертацію о респектабельности вообще и даже не поздравляя васъ съ вашимъ довольствомъ самимъ собою, — что, разумъется, смъшонъ человъкъ, который, облъпленный комарами или клопами, впадаетъ въ ярость и бъщенство, но что еще смъшнъе тотъ, который, страдая отъ нападеній такихъ насъкомыхъ, усиливается придать себъ видъ равнодушія стоическаго.

«Вы, можеть быть, съэтимъ не согласны, потому что вы ставите вите роль выше всего. Не сердитесь! Погодите! дайте договорить. Въ первой главъ вашего «Vom andern Ufer», въ русскомъ и нъмецкомъ текстахъ, слъдующія ваши слова: «Человъкъ любить эффектъ, ролю, особенно трагическую; страдать хорошо, благородно, предполагаеть несчастіе; страданіе отвлекаетъ, утъщаеть... да, да, утъщаетъ».—Какъ я уже въ Ниццъ вамъ говорилъ, я сначала приняль было это ваше изреченіе за обмолвку, хотя и не хорошую. Тогда вы мнѣ возразили, что вы не помните этихъ словъ.

«Нисколько не относя исключительно къ вамъ эти слова, то есть, не полагая, чтобъ вы о людяхъ вообще судили въ этомъ случав по самому себв, я до сихъ поръ думалъ, что это ваше изреченіе, какъ большая часть des Réflexions de La-Rochefoucauld, на которыя оно очень похоже, какъ мастерски однажды сдвланная Бълинскимъ характеристика талантливыхъ людей нашего времени,—«ппербола, шутка». И потому, когда я узналъ, что Х. въ Швейцаріи вознегодовалъ на генерала за его образъ дъйствія въ вашемъ дълв, я принялъ это его негодованіе не за роль, а за чувство, и написалъ вамъ: «Да, я вижу, Х. мнъ братъ».— Когда Т. (при свидътелъ) объявлялъ, что онъ осужденъ «на въч-

ность — два года», я также върплъ этому и даже пересказалъ это нъкоторымъ людямъ. Вчера мнъ г-жа Т. сказала, что ея мужъ никогда не былъ осужденъ. Ergo, я въ глазахътъхъ, кому я пересказаль его ложь, такой же благёръ, какь онь. Это мив непріятно. Кто виновать? Разумьстся, я, потому что я былъ «молодъ, легковъренъ»; но и они виноваты, потому что они лгали. Нъть, такихъ благёровъ, какъ я увидълъ въ Ниццъ, я ни на Руси, ни индъ, еще не видалъ. Въ письмъ моемъ къ вамъ отъ 19 января, я сказалъ вамъ, что я хочу, безъэскландра, удалиться отъ этихъ людей, они бо мнѣ антинатичны. Написалъ же я вамъ это, потому что съ вами я хотель играть въ открытую. Но, погруженный въ себя, вы не поняли этой весьма простой мысли. Иначе вы, в вроятно, не дали бы ме и самаго пустого порученія къ Т.—Вы тоже говорили, что вы удаляетесь отъ людей, но вибсть съ темъ просите ихъ вамъ писать. Я не умею такимъ образомъ удаляться.

«Полагая, что въ серьезныхъ дълахъ откровенность есть необходимое условіе честности, я имъю еще слёдующее сказать вамъ, не теряя времени: Вы пишете мнъ, что, отправивъ генерала въ Австралію и давъ безсрочный отпускъ всъмъ, вы останетесь при мнъ и при врагахъ, —и что, если-бъ къ тому же я поустоялся и меньше зависътъ отъ своихъ и не своихъ нервныхъ тревогъ и капризцовъ, то вы со мною сдълали бы ип bout de chemin. Я долженъ на это вамъ отвътитъ, что, не чувствуя въ себъ ни охоты, ни таланта къ ролямъ, и особенно трагическимъ, я готовъ, если вамъ угодно, служитъ вамъ моимъ совътомъ, но не

дѣломъ»...

Конечно, я не предполагаль, чтобъ человѣкъ, который слезами, рыданіемъ вызваль меня на трудно-произносимыя довѣрія, человѣкъ, такъ близко подошедшій ко мнѣ и на котораго я опирался, какъ на брата, въ минуты слабости и безсилья, когда боль переходила человѣческую емкость,—что очевидецъ, свидѣтель всего, что было, приметъ мои несчастія за котурны и декораціи, которыми я воспользуюсь, чтобъ играть трагическую роль. Восхищаясь моей книгой, онь заискивалъ въ ней камни и откладываль ихъ за назуху, чтобъ при случаѣ пустить въ меня. Ему мало было оборвать настоящее, онъ грязнилъ, опошлялъ прошедшее: разрываясь со мной, онъ не почтилъ его унылымъ чувствомъ молчанія, а покрылъ его безжалостной бранью и проническимъ шпыняньемъ.

Больно мит было это письмо, очень больно.

Я отвѣчалъ ему грустно, сквозь затаенныя слезы, я прощался съ нимъ и просилъ его прекратить переписку.

Затёмъ наступило между нами совершеннъйшее молчаніе...

Съ Энгельсономъ еще разъ что-то оторвалось внутри, я становился еще бъднъе, еще разобщеннъе, холодъ кругомъ, ничего близкаго... Иногда будто теплъе протягивалась рука, какой-нибудъ фанатикъ безъ пониманья, не разобравшій сначала, что мы не одной религіи, быстро подходилъ и также быстро отворачивался. Впрочемъ, я и самъ не искалъ большой близости съ людьми; я привыкалъ къ встрѣчнымъ и проходящимъ, къ разнымъ анонимамъ, отъ которыхъ ничего не требовалъ и которымъ ничего не давалъ, кромѣ сигаръ, вина и иногда денегъ. Одно спасеніе было въ работѣ, я писалъ «Былое и Думы» и устроивалъ русскую тинографію въ Лондонѣ.

#### VI.

Прошелъ годъ. Типографія была въ полномъ ходу, ее замѣтили въ Лондонѣ и боялись въ Россіи. Весною 1854 г. я получилъ отъ Марьи Каспаровны небольшую рукопись. Догадаться было не трудно, что ее писалъ Энгельсонъ. Я тотчасъ напечаталъ ее.

Потомъ пришло отъ него письмо, въ которомъ онъ просилъ окончить несчастную размолвку и соединиться на общее дёло.

Разумъется, я ему протянулъ объ руки.

Вмѣсто отвѣта онъ явился самъ въ Лондонъ на нѣсколько дней и остановился у меня. Рыдая и смѣясь, просилъ онъ забвенія прошлаго... осыпалъ меня словами дружбы и снова схватилъ мою руку и прижалъ ее къ своимъ губамъ. Я обнялъ его, глубоко тронутый и въ твердой увѣренности, что ссора не возобновится.

Но уже черезъ нѣсколько дней показались облака, мало предвъщавшія хорошаго. Оттѣнокъ фатализма, бонапартизма, который проглядываль въ его письмахъ изъ Женевы, выросъ; онъ переходилъ arme et bagage въ враждебный станъ. Мы поспорили, онъ былъ упоренъ. Зная, какъ онъ бросается въ крайности и какъ быстро возвращается, я ждалъ отлива, но его не было.

По несчастью, Энгельсонъ возился тогда съ удивительнымъ

проектомъ, въ который былъ страстно влюбленъ.

Онъ выдумать воздушную батарею, т. е. шаръ, начиненный гроючими веществами и вмѣстѣ съ тѣмъ печатными воззваніями. Дѣло было при началѣ Крымской кампаніи. Энгельсонъ предлагаль пускать такіе шары съ кораблей на балтійскіе берега. Проектъ этотъ мнѣ очень не нравился; что за пропаганда съ прожектилями, что за смыслъ намъ, русскимъ, жечь финскія де-

ревни, помогать Наполеону и Англіи? Къ тому же Энгельсонъ не открыль никакого новаго средства направлять воздушные шары. Я мало возражаль на его плань, воображая, что онь самъ бросить эти бредни.

Не туть-то было. Онъ отправился съ своимъ проектомъ къ Мацини, къ Ворцелю. Мацини сказалъ, что онъ такого рода дълами не занимается, а готовъ переслать черезъ своихъ друзей его проектъ военному министру. Изъ министерства отвътили уклончиво и безъ отказа проектъ оставили въ сторонъ. Онъ просилъ меня собрать двухъ-трехъ военныхъ изъ рефюжье и предложилъ имъ вопросъ о шаръ. Всъ были противъ, и я еще и еще разъ говорилъ ему, что и я противъ, что мы падемъ нравственно, становясь на одну сторону съ Наполеономъ, и погубимъ себя въ глазахъ Россіи faisant cause сопишне съ врагами ея. Энгельсонъ сердился, выходилъ изъ себя. Онъ ъхалъ въ Лондонъ на върное торжество и, встрътивши оппозицію даже во миъ, незамътно возвращался къ непріязни.

Вскорт онъ отправился за женой и приветь ее въ мат итсяцт въ Лондонъ. Въ ихъ отношенияхъ сдълалась совершенная перемтна, она была беременна, онъ въ восторт отъ будущаго ребенка. Ссоры, размолвки, объяснения, все прошло. Она съ какимъ-то лунатическимъ мистицизмомъ и полупомъщательствомъ вертъла столы и запималась спиритизмомъ. Духи ей предсказывали многое и, между прочимъ, скорую смерть мою. Онъ читалъ Шопенгауера и, улыбаясь, говорилъ мнт, что встып сплами мирволитъ мистическому направленю ея, что эта въра и экзальтация вноситъ миръ и нокой въ ея душу.

Со мной она обощлась дружески, можеть въ ожиданіи близкой смерти, приходила ко мнѣ съ работой и ваставляла меня читать главы изъ «Былого и Думъ» и новыя статьи. Когда черезъ мѣсяцъ начались онять размолвки изъ-за бонапартизма и воздушныхъ шаровъ, она являлась примирительницей,—приходила ко мнѣ, прося пощады больному и увѣряя, что всегда весной на Энгельсона находитъ инохондрическое расположеніе, въ которомъ онъ самъ не знаетъ, что дѣлаетъ.

Ея покойная кротость была кротость побёдителя, милосердіе полнаго торжества. Энгельсонь, воображавшій, что онъ ее держить въ рукахъ вертящимися столами, упустиль одно изъ виду, что она вертёла не только столами, но и имъ, и что онъ больше, чёмъ столы, всегда отвёчаль то, что она хотёла.

Однимъ вечеромъ, Энгельсонъ снова заспорилъ о своихъ шарахъ съ однимъ французомъ, наговорилъ ему разныхъ колкостей; тотъ отдёлался ироніей и разумёется, взбёсилъ Энгельсона еще

больше. Онъ схватиль шляпу и убъжаль. По утру я пошель къ

нему, чтобъ объясниться по этому поводу.

Я его засталъ за письменнымъ столомъ, съ лицомъ совершенно искаженнымъ вчерашней злобой, съ безумнымъ выраженіемъ глазъ. Онъ сказалъ мнѣ, что французъ (рефюжье, котораго я зналъ давно и знаю теперь) шпіомъ, что онъ его разоблачить, убъетъ, и подалъ мнѣ письмо только-что написанное и адресованное какому-то доктору медицины въ Парижѣ; въ письмѣ онъ припуталъ людей, живущихъ въ Парижѣ, и клевегалъ на выходцевъ въ Лондонѣ. Я остолбенѣлъ.

- И вы это письмо намфрены послать?
- Сейчасъ.
- -- По почть?
- По почтъ.

-- Это доносъ, сказалъ я, и бросилъ на столъ его маранье.

Если вы пошлете это письмо...

— Такъ что?—закричалъ онъ, перерывая меня голосомъ сиплымъ, дикимъ,—вы хотите грозить мнъ, чъмъ? Не боюсь я ни васъ, ни подлыхъ друзей вашихъ,—при этомъ онъ вскочилъ, раскрылъ большой ножъ и, махая имъ, кричалъ задыхаясь:—Ну—ну, покажите-ка прытъ... покажу я и вамъ, неугодно ли попробовать. . . милости просимъ!

Я обернулся къ его женф п, сказавши:

— Что это онъ у васъ совсемъ съ ума сошелъ? Вы бы убрали его куда-нибудь...—вышелъ вонъ.

И на этотъ разъ m-me Энгельсонъ явилась примирительницей. Она пришла ко мий утромъ, прося забыть, что было вчера. Инсьмо опъ изодралъ, —былъ боленъ, печаленъ. Она принимала все это за несчастіе, за физическое разстройство, боялась, что онъ сильно

занеможетъ, плакала. Я уступилъ ей.

Затімъ мы перейхали въ Ричмондъ, и Энгельсонъ тоже. Рожденіе сына и первые мізсяцы хлопоть объ немъ оживили Энгельсона; онъ потеряль голову отъ радости, въ минуту рожденія малютки онъ обняль и разцівловаль сначала горпичную, потомъ старуху хозяйку дома... Страхъ о здоровь маленькаго, новость отцовскаго чувства, новость самаго младенца запили Энгельсона на нізсколько мізсяцевъ, и все шло опять ладно.

Вдругъ получаю отъ него большой накетъ при записочкъ, чтобъ и прочелъ вложенную бумагу и сказалъ откровенно мое миѣпіе. Это было письмо къ французскому министру военныхъ дѣлъ. Въ немъ онъ снова предлагалъ шары, бомбы и статьи. Я нашелъ все дурпымъ, отъ пути, къ которому онъ обращался, до слога, мало сохранившаго достоинство, и высказалъ это.

Энгельсонъ отвъчалъ дерзкой запиской и началъ дуться.

Всять за тъмъ онъ мит далъ другую рукопись для напечатанія. Я не скрылъ отъ него, что дъйствіе ея на русскихъ будеть прескверное и что я не совътую печатать. Энгельсонъ упрекнуль меня въ желаніп завести цензуру и говорилъ, что я, въроятно, устроилъ типографію исключительно для печати моихъ «безсмертныхъ твореній». Я напечаталъ рукопись, но чутье мое оправдалось, она возбудила въ Россіи общее негодованіе.

Все это показывало, что новый разрывъ не далекъ. Признаюсь, на этотъ разъ я не много объ этомъ жалѣлъ. Перемежающаяся лихорадка съ нароксизмами дружбы и ненависти, цѣлованья рукъ и нравственныхъ заушеній мнѣ надоѣли. Энгельсонъ перешелъ за черту, за которой не могли даже спасать ни воспоминанія, ни благодарность. Я его меньше и меньше любилъ и хладнокровнѣе ждалъ, что будетъ.

Туть случилось событіе, которое своей важностью покрыло на

время вст споры и раздоры.

Утромъ 4 марта я вхожу по обыкновенію часовъ въ восемь въ свой кабинеть, развертываю «Теймсъ», читаю десять разъ и не понимаю, не смъю понять грамматическій смыслъ словъ, поставленныхъ въ заглавіе телеграфической новости: The death of the

Emperor of Russia.

... Толчекъ былъ силенъ, работа закинъла вдвое. Я объявилъ, что издаю «Полярную Звъзду». Энгельсонъ принялся, наконецъ, за свою статью о соціализмѣ, о которой еще говориль въ Италіи. Можно было думать, что мы проработаемъ года два, или больше,... по раздражительное самолюбіе его дѣлало всякую работу съ нимъ невыносимой. Жена его поддерживала въ пемъ его опьянъніе собой. «Статья моего мужа, говорила она, будетъ считаться новой эпохой въ исторіи русской мысли. Если онъ ничего больше не напишеть, то мѣсто его въ исторіи упрочено». Статья: «Что такое государство?» 1) была хороша, но успѣхъ ся не оправдалъ семейныхъ ожиданій. Къ тому же она поналась не во-время. Проспувшаяся Россія требовала, именно тогда, практическихъ совътовъ, а не философскихъ трактатовъ по Прудону и Шопенгауеру.

Статья еще не была до конца напечатана, какъ новая ссора, иного характера, чъмъ всъ предыдущія, почти окончательно пре-

рвала всв сношенія между нами.

Разъ, сиди у него, я шутиль надъ тѣмъ, что они послали въ третій разъ за докторомъ для маленькаго, у котораго былъ насморкъ и легкая простуда. «Неужели оттого, что мы бѣдны, сказала m-me Энгельсонъ и вся прежняя ненависть, удесятеренная,

<sup>1) &</sup>quot;Полярная Звъзда", книжка 1.

злая, вспыхнула на ея лицт, —нашъ малютка долженъ умереть безъ медицинской помощи? И это говорите вы, соціалисть, другъ моего мужа, отказавшій ему въ пятидесяти фунтахъ и эксплу-

атирующій его уроками».

Я слушаль съ удивленіемъ и спросиль Энгельсона: «Дълить онъ это митніе или иттъ?» Онъ былъ сконфуженъ, пятны выступили у него на лицъ, онъ умоляль ее замолчать... Она продолжала. Я всталъ и, перерывая ее, сказалъ: «Вы больны, и сами кормите, я отвъчать вамъ не стану, но не стану и слушать... Въроятно, вамъ не покажется страннымъ, что нога моя не будеть больше въ вашемъ домъ».

Энгельсонъ, печальный и растерянный, схватилъ шляпу и вышелъ со мной на улицу: «Не принимайте необузданныя слова женщины съ разстроенными нервами au pied de la lettre...» Онъ путался въ объясненіяхъ. «Завтра я приду давать урокъ», ска-

залъ онъ, я пожалъ ему руку и молча пошелъ домой.

... Все это требуетъ объясненій, и притомъ самыхътяжелыхъ, касающихся не митній и общихъ сферъ, а кухни и приходорасходныхъ книгъ. Тъмъ не меньше я сдълаю опытъ раскрыть и эту сторону. Для патологическихъ изслъдованій -- брезгливость,

этотъ романтизмъ чистоплотности, не пдетъ.

Энгельсоны врядъ пивли ли право себя включать въ категорію бъдныхъ людей. Они получали изъ Россіп десять тысячъ франковъ въ годъ, и иять онъ легко могь выработать-переводами, обозръніями, учебными книгами; Энгельсонъ запимался лингвистикой. Книгопродавецъ Трюбнеръ требовалъ отъ него лексиконъ русскаго корнесловія и грамматику; онъ могъ давать уроки, какъ Пьеръ Перу, какъ Кинкель, какъ Эскпросъ. Но въ качествъ русскаго, онъ брался за все, и за корнесловіе, и за нереводы, и за уроки, ничего не кончаль, ничёмъ не ственялся и не вырабатываль ни одной копейки.

Ни мужъ, ни жена не были разсчетливы и не умъли устроить своихъ дълъ. Постоянная лихорадка, въ которой они жили, не позволяла имъ думать о хозяйствъ. Онъ изъ Россіп убхать безъ опредъленнаго плана и остался въ Европъ безъ всякой цъли. Онъ не взялъ никакихъ мъръ, чтобъ спасти свое имъпье, и un beau jour испугавшись, сдёлалъ наскоро какое-то распоряжение, въ силу котораго ограничилъ свой доходъ на 10.000 фр., которые

получалъ не совсвиъ аккуратно, но получалъ.

Что Энгельсонъ не вывернется съ своими десятью тысячами, было очевидно; что онъ не сумбеть, съ другой стороны, ограничить себя, и это было ясно, ему оставалось работать или занимать. Сначала, послъ пріъзда въ Лондонъ, онъ взяль у меня около сорока фунтовъ... Черезъ нѣкоторое время попросиль опять... Я имъть съ нимъ серьезный дружескій разговоръ объ этомъ и сказалъ ему, что готовъ ссужать его, но решительно больше десяти фунтовъ въ мъсяцъ ему взаймы не дамъ. Нахмурился Энгельсонь, однако раза два взяль по десятифунтовой бумажкъ и вдругъ написалъ мнъ, что ему нужны пятьдесять фунтовъ, п если я не хочу ему ихъ дать, пли не върю, то проситъ меня занять ихъ подъ закладъ какихъ-то брильянтовъ. Все это очень походило на шутку; если онъ въ самомъ дёлё хотёлъ заложить брильянты, то ихъ следовало бы снести къ какому-нибудь pawnbroker'y, а не ко мнъ... Зная его и жалъя, я написалъ ему, что брильянты заложу въ 50 фунтовъ, если дадутъ, и деньги пришлю. На другой день, я послалъ ему чекъ, а брильянты, которые онъ непременно бы продаль или заложиль, спряталь, чтобъ ихъ сохранить ему. Онъ не обратиль вниманія на то, что пятьдесять фунтовъ были безъ процентовъ и повъриль, что я брильянты заложилъ.

Второй пунктъ, относящійся къ урокамъ, еще проще. Въ Лондонѣ С. давалъ у меня уроки русскаго языка и бралъ 4 шил. за часъ. Въ Ричмондѣ Энгельсонъ предложилъ замѣнить С. Я спросилъ его о цѣнѣ, онъ отвѣтилъ, что ему со мной считаться мудрено, но такъ какъ у него нѣтъ денегъ, то онъ возьметъ то же, что бралъ С.

Пришедши домой, я написаль Энгельсону письмо, напомниль ему, что цёну за уроки онъ назначиль самь, но что я прошу его принять за всё прошлые уроки вдвое. Затёмъ я написалъ ему, что заставило меня удержать его брильянты, и отослалъ ему ихъ.

Онъ отвъчалъ конфузно, благодарилъ, досадовалъ, а вечеромъ пришелъ самъ и сталъ ходить попрежнему. Съ ней я не видался больше.

## VII.

Съ мъсяцъ спустя, объдалъ у меня Зено Свентославскій и съ нимъ Линтонъ, англійскій республиканецъ. Къ концу объда пришелъ Энгельсонъ. Свентославскій, чистъйшій и добръйшій человъкъ, фанатикъ, сохранившій за 50 лътъ безразсудный, польскій пылъ и запальчивость мальчика пятнадцати лътъ, проповъдывалъ о необходимости возвращаться въ Россію и начать тамъ живую и печатную пропаганду. Онъ бралъ на себя перевезти буквы и пр.

Слушая его, я полу-шутя сказалъ Энгельсону: «А что, въдь, насъ примуть за трусовъ, если онъ пойдетъ одинъ (on nous accusera de lâcheté)». Энгельсонъ сдълалъ гримасу и ушелъ.

На другой день я бадилъ въ Лондонъ и воавратился вечеромъ. Мой сынъ, лежавшій въ лихорадкь, разсказалъ мнь, и притомъ въ большомъ волненіи, что безъ меня приходилъ Энгельсонъ, что онъ меня страшно бранилъ, говорилъ, что онъ мнь отомститъ, что онъ больше не хочетъ выносить моего авторитета и что я ему теперь ненуженъ, послю напечатанія его статьи. Я не зналъ, что думать,—Саша ли бредилъ отъ лихорадки, или Энгельсонъ приходилъ мертвецки пьяный.

Отъ Мальвиды М. я узналъ еще больше. Она съ ужасомъ разсказывала о его неистовствахъ. «Герценъ, кричалъ онъ нервнымъ, задыхающимся голосомъ, меня назвалъ вчера lâche, въ присутствій двухъ постороннихъ». М. его перебила, говоря, что рѣчь шла соввежиъ не о немъ, что я сказалъ: оп nous taxera de lâcheté, говоря объ насъ вообще. «Если Г. чувствуетъ, что онъ дѣлаетъ подлости, пустъ говоритъ о самомъ себѣ, но я ему не позволю гово-

рить такъ обо мнъ, да еще при двухъ мерзавцахъ...»

На его крикъ прибъжала моя старшая дочь, которой тогда было десять лътъ. Энгельсонъ продолжалъ: «Нътъ, кончено, довольно, я не привыкъ къ этому, я не позволю играть мною, я покажу, кто я—и онъ выхватилъ изъ кармана револьверъ и продолжалъ кричать—заряженъ, заряженъ... я дождусь его...»

М. встала и сказала ему, что она требуетъ, чтобъ онъ ее оставилъ, что она не обязана слушать его дикій бредъ, что она только объясняетъ болъзнію его поведеніе. «Я уйду, сказаль онъ, не хлоночите, но прежде хочу попросить васъ отдать Герцену это письмо». Онъ развернулъ его и началь читать, письмо было ругательное.

М. отказалась оть порученія, спрашивая его, почему онъ думаєть, что она должна служить посредницей въ доставленія такого письма?

«Найду путь и безъ васъ», замётиль Энгельсонъ, и ушель; письма не присылаль, а черезъ день написаль мнё записку; въ ней, не упоминая ни однимъ словомъ о прошедшемъ, онъ писаль, что у него открылся геморой, что онъ ходить ко мнё не можеть, а просить посылать дётей къ нему.

Я сказаль, что отвъта не будеть, и снова всъ дипломатическія сношенія были прерваны... оставались военныя. Энгельсонъ

и не преминулъ ихъ употребить въ дѣло.

Изъ Ричмонда я осенью 1855 перевхаль въ St. John's Wood. Энгельсонъ быль забыть на нъсколько мъсяцевъ.

Вдругъ получаю я весной 1856 отъ Орсини, котораго видёлъ дня два тому назадъ, записку, нахнущую картелью...

Холодно и учтиво просилъ онъ меня разъяснить ему, правда ли, что я и *Саффи* распространяемъ слухъ, что онъ австрійскій шпіонъ? Онъ просилъ меня или дать полный dementi, или указать, отъ кого я слышаль такую гнусную клевету.

Орсини былъ правъ, я поступилъ бы такъ же. Можетъ, онъ долженъ былъ бы имътъ побольше довърія къ Саффи и ко мнѣ,—

но обида была велика.

Тоть, кто сколько-нибудь зналь характерь Орсини, могъ понять, что такой человъкъ, задётый въ самой святьйшей святынъ своей чести, не могъ остановиться на полдорогъ. Дъло могло только розръшиться совершенной чистотой нашей или чьей-ни-

будь смертью.

Съ первой минуты мий было ясно, что ударъ шелъ отъ Энгельсона. Онъ вюрно считалъ на одну сторону Орсиніевскаго характера, но, по счастію, забылъ другую: Орсини соединялъ съ неукротимыми страстями страшное самообузданіе, онъ середь опасностей былъ разсчетливъ, обдумывалъ каждый шагъ и не рйшался съ брызгу, потому что, однажды рёшившись, онъ не тратилъ время на критику, на перерёшенія, на сомийнія, а исполняль. Мы видёли это въ улицё Лепелетье. Такъ онъ поступилъ и теперь, онъ, не торопясь, хотёлъ изслёдовать дёло, узнать виновнаго и потомъ, если удастся, убить его.

Вторая ошибка Энгельсона состояла въ томъ, что онъ, безъ

всякой нужды, замѣшалъ Саффи.

Дъло было вотъ въ чемъ. Мъсяцевъ шесть до нашего разрыва съ Энгельсономъ, я былъ какъ-то утромъ у теме Мильнеръ-Гибсонъ (жены министра), тамъ я засталъ Саффи и Пьянчани, они что-то говорили съ ней объ Орсини. Выходя, я спросилъ Саффи, о чемъ была ръчь. «Представъте, отвъчалъ онъ, что г-жъ Мильнеръ-Гибсонъ разсказывали въ Женевъ, что Орсини подкупленъ Австріей...»

Возвративнись въ Ричмондъ, я передалъ это Энгельсону. Мы оба были тогда недовольны Орсини. «Чортъ съ нимъ со всѣмъ!» замѣтилъ Энгельсонъ, и больше объ этомъ рѣчи не было. Когда Орсини удивительнымъ образомъ спасся изъ Мантуи, мы вспомнили въ своемъ тѣсномъ кругу объ обвиненіи, слышанномъ Мильнеръ-Гибсонъ. Появленіе самого Орсини, его разсказъ, его раненая нога безслѣдно стерли нелѣпое подозрѣніе.

Я попросилъ у Орсини назначить свиданье. Онъ звалъ вечеромъ на другой день. Утромъ я пошелъ къ Саффи и показалъ ему записку Орсини. Онъ тотчасъ, какъ я и ждалъ, предложилъ мнѣ идти вмѣстѣ со мною къ нему. Огаревъ, только что пріѣхавшій въ Лондонъ, былъ свидѣтелемъ этого свиданья.

Саффи разсказалъ разговоръ у Мильнеръ-Гибсонъ, съ той простотой и чистотой, которая составляетъ особенность его характера. Я дополнилъ остальное. Орсини подумалъ и потомъ сказалъ:

- Что, у Мильнеръ-Гибсонъ могу я спросить объ этомъ?
- Безъ сомпънія, отвъчалъ Саффи.
- Да, кажется, я погорячился, но, спросилъ онъ меня, скажите, зачъмъ же вы говорили съ посторонними, а меня не предупредили?
- Вы забываете, Орсини, время, когда это было, и то, что посторонній, съ которымъ я говорилъ, былъ тогда не посторонній; вы лучше многихъ знаете, что онъ былъ для меня.
  - Я никого не называлъ...
- Дайте кончить. Что же вы думаете, легко человѣку передавать такія вещи? Если-бъ эти слухи распространились, можеть, васъ и слѣдовало бы предупредить,—но кто же теперь объ этомъ говоритъ? Что же касается до того, что вы никого не называли. вы очень дурно дѣлаете, сведите меня лицемъ къ лицу съ обвинителемъ, тогда еще яснѣе будетъ, кто какую роль пгралъ въ этихъ сплетняхъ.

Орсини улыбнулся, всталъ, подошелъ ко мнѣ, обнялъ меня, обнялъ Саффи, и сказалъ: «Атсі, кончимъ это дѣло, простите меня, забудемте все это и давайте говорить о другомъ».

- Все это хорошо, и требовать отъ меня объяснение вы были въ правъ, но зачъмъ же вы не называете обвинителя? Во-первыхъ, скрыть его нельзя... Вамъ сказалъ Энгельсонъ.
  - Даете вы слово, что оставите дѣло?
  - Даю, при двухъ свидътеляхъ.
  - Ну, отгадали.

Это ожидаемое подтвержденіе все-же сділало какую-то боль, точно я еще сомнівался.

- Помните объщанное, прибавиль, помолчавити, Орсини.
- Объ этомъ не безнокойтесь. А вы вотъ утѣшьте меня, да п Саффи, разскажите, какъ было дѣло, вѣдь, главное мы знаемъ.
  - Орсини засмъялся.
- Экое любопытство! Вы Энгельсона знаете; на-дняхъ пришелъ онъ ко мнѣ, я былъ въ столовой (Орсини жилъ въ boarding house), и объдалъ одинъ. Онъ ужъ объдалъ, я велълъ подать графинчикъ хересу, онъ выпилъ его и тутъ сталъ жаловаться на васъ, что вы его обидъли, что вы перервали съ нимъ всѣ сношенія, и послѣ всякой болтовни спросилъ меня, какъ вы меня приняли послѣ возвращенія? Я отвѣчалъ, что вы меня приняли очень дружески, что я объдалъ у васъ и былъ вечеромъ... Энгельсонъ вдругъ закричалъ: «Вотъ они... знаю я этихъ молодцевъ, давно ли онъ и его другъ и почитатель Саффи говорили, что вы австрійскій агентъ. А вотъ теперь, вы опять въ славѣ, въ модѣ, и онъ вашъ другъ!» Энгельсонъ, замѣтилъ я ему, вполнѣ ли вы понимаете важность того, что вы сказали?—«Вполнѣ, вполнѣ».

повторять онъ.—Вы готовы будете во вс'яхь случахьподтвердить ваши слова?—«Во вс'яхь!» Когда онь ушель, я взяль бумагу и написать вамъ письмо. Воть и все.

Мы вышли всё на улицу. Орсини, будто догадываясь, что происходило во мнё, сказаль, какъ бы въ утёшеніе:

— Онъ поврежденный.

Орсини вскоръ утхалъ въ Парижъ, и античная, изящная голова его скатилась окровавленная на помостъ гильотины.

Первая въсть объ Энгельсонъ была въсть о его смерти въ Жерсеъ.

Ни слова примиренья, ни слова раскаянья не долетъло до меня...

(1858)

... Р. S. Въ 1864 я получить изъ Неаноля странное письмо. Въ немъ говорилось о появленіи духа моей жены, о томъ, что она звала меня къ обращенію, къ очищенію себя религіей, къ тому, чтобы я оставилъ свётскія заботы...

Инсавшая говорила, что все писано подъдиктанть духа, тонъ письма былъ дружескій, теплый, восторженный.

Письмо было безъ подписи, я узналъ почеркъ, оно было отъ m-me Энгельсонъ  $^1$ ).

Примъчаніе издателя заграничнаго изданія.

<sup>1)</sup> Здёсь кончается та часть "Вылого и Думъ", которая была! обработана авторомь въ окончательномъ видё и напечатана въ четырехътомахъ. Слёдующія главы были напечатаны частью въ "Полярной Звёздё", частью въ "Колоколё"; онё отрывочны, не слёдують другь за другомъ и не представляютъ цёлости. Эти главы должны были, по мысли автора, войти въ V часть «Былого и Думъ», для которой, какъ онъ не разъ говорилъ, «онъ писалъ все остальное".

Кром'я печатаемых в зд'ясь отрывковъ изъ V части, им'ястся еще и'ясколько главъ въ рукописи. Эти главы насл'ядники автора не считаютъ въ настоящее время удобнымъ печатать.

# Англія ).

(1852-1855).

## глава І.

# Лондонскіе туманы.

Когда на разсвътъ 25 августа 1852 я переходилъ по мокрой доскъ на англійскій берегъ и смотрълъ на его замарано-бълые выступы, я быль очень далекъ отъ мысли, что пройдуть годы,

прежде чтить я покину мтовые утесы его.

Весь подъ вліяніємъ мыслей, съ которыми я оставиль Италію, болѣзненно ошеломленный, сбитый съ толку рядомъ ударовъ, такъ скоро и такъ грубо слѣдовавшихъ другъ за другомъ, я не могъ ясно взглянуть на то, что дѣлалъ. Мнѣ будто надобно было еще и еще дотронуться своими руками до знакомыхъ истинъ, для того, чтобъ снова повѣрить тому, что я давно зналъ или долженъ былъ знать.

Я измёниль своей логикё и забыль, какъ розень современный человёкъ въ мнёніяхъ и дёлахъ, какъ громко начинаеть онъ и какъ скромно выполняеть свои программы, какъ добры его же-

ланія и какъ слабы мышцы.

Мъсяца два продолжались ненужныя встръчи, безплодное исканіе, разговоры тяжелые и совершенно безполезные, и я все чего-то ожидаль... чего-то ожидаль. Но моя реальная натура не могла остаться долго въ этомъ призрачномъ міръ, я сталъ мало-по-малу разглядывать, что зданіе, которое я выводилъ, не имъетъ грунта, что оно непремънно рухнеть.

Я быль унижень, мое самолюбіе было оскорблено, я сердился на самого себя. Сов'єсть угрызала за святотатственную порчу горести, за годъ суеты, и я чувствоваль страшную, невыразимую

<sup>1)</sup> *Полярная Звизда*. Т. V. (1859).

усталь... Какъ мит была нужна тогда грудь друга, которая приняла бы безъ суда и осужденія мою исповёдь, была бы несчастна—моимъ несчастіемъ; но кругомъ стлалась больше и больше пустыня, никого близкаго... ни одного человёка... А, можеть, это было и къ лучшему.

Я не думалъ прожить въ Лондонт дольше мъсяца, но малопо-малу я сталъ разглядывать, что мнт ръшительно некуда ъхать и не зачъмъ. Такого отшельничества я нигдъ не могъ найти,

какъ въ Лондонъ.

Рѣшившись остаться, я началъ съ того, что нашелъ себъ домь въ одной изъ самыхъ дальнихъ частей города, за Режентъ-

паркомъ, близъ Примрозъ-Гиля.

Дѣти оставались въ Парижѣ, одинъ Саша былъ со мною. Домъ на здѣшній манеръ былъ раздѣленъ на три этажа. Весь средній этажъ состоялъ изъ огромнаго, неудобнаго, холоднаго drawing room. Я его превратилъ въ кабинетъ. Хозяинъ дома былъ скульпторъ и загромоздилъ всю эту комнату разными статуетками и моделями... Вюстъ Лола Монтесъ стоялъ у меня предъ глазами, вмѣстѣ съ Викторіей.

Когда на второй или третій день посл'я нашего перейзда, разобравшись и устроившись, я взошелъ утром'я въ 'эту комнату, с'яль на большія кресла и просид'яль часа два въ совершенн'я шей тишин'в, ник'ямь не тормошимый, я почувствовалъ себя какъ-то свободнымъ,—въ первый разъ посл'я долгаго, долгаго времени. Мн'я было нелегко отъ этой свободы, но все-же я съ прив'ятомъ смотр'ялъ изъ окна на мрачныя деревья парка, едва сквозившія изъ-за дымчатаго тумана, благодаря ихъ за покой.

По цёлымъ утрамъ сиживалъ я теперь одинъ-одинохонекъ, часто ничего не дёлая, даже не читая; иногда прибёгалъ Саша, по не мёшалъ одиночеству. Г., жившій со мной, безъ крайности инкогда не входилъ до обёда, обёдали мы въ седьмомъ часу. Въ этомъ досугё разбиралъ я фактъ за фактомъ все бывшее, слова и письма людей, и себя. Ошибки направо, ошибки налёво, слабость, шаткость, раздумье, мёшающее дёлу, увлеченье другими. И въ продолженіе этого разбора внутри исподволь совершался переворотъ... Выли тяжелыя минуты и не разъ слеза скатывалась по щекё; но были и другія, не радостныя, но мужественныя: я чувствовалъ въ себё силу, я не надёялся ни на кого больше, но надежда на себя крёпчала, я становился независимёе отъ всёхъ.

Пустота кругомъ окрѣпила меня, дала время собраться, я отвыкалъ отъ людей, т. е. не искалъ съ ними истиннаго сближенія; я и неизбѣгалъ никого, но лица мнѣ сдѣлались равнодушны. Я увидѣлъ, что серьезно глубокихъ связей у меня нѣтъ. Я былъ

чукой между посторонними, сочувствовать больше однимь, чёмъ другимъ, но не быть ип съ кёмъ тёсно соединенъ. Оно и прежде такъ было, но я не замѣчалъ этого, постоянно увлеченный собственными мыслями; теперь маскарадъ кончился, домпно были сняты, вёнки попадали съ головъ, маски съ лицъ и я увидѣтъ другія черты, не тѣ, которыя я предполагалъ. Что же миѣ было дѣлать? Я могъ не показывать, что я мпогихъ меньше люблю, т. е., больше знаю, но не чувствовать этого я не могъ и, какъ я сказалъ, эти открытія не отняли у меня мужества, но скорѣе укрѣпили его.

Для такого перелома лондонская жизнь была очень благотворна. Нътъ города въ міръ, который бы больше отучаль отъ людей и больше пріучать бы къ одиночеству, какъ Лондонъ. Его образъ жизни, разстоянія, климатъ, самыя массы народонаселенія, въ которыхъ личность пропадаеть, все это способствовало къ тому, вийстй съ отсутствіемъ континентальныхъ развлеченій. Кто умфетъ жить одинъ, тому нечего бояться пондонской скуки. Здъшняя жизнь, точно такъ же, какъ здъшній воздухъ, вредна слабому, хилому, ищущему опоры внъ себя, ищущему привъть, участіе, вниманіе; правственныя легкія должны быть здісь такъ же кръпки, какъ п тъ, которымъ назначено отдълять изъ продымленнаго тумана кислородъ. Масса спасается завоевываніемъ себъ пасущнаго хліба, купцы недосугомъ стяжанія, вст сустой діль: но нервныя романтическія натуры, любящія жить на людяхъ, умственно тянуться и праздно млъть, пропадаютъ здъсь со скуки, впадають въ отчаяніе.

Одиноко бродя по Лондону, по его каменнымъ просъкамъ, по его угарнымъ коридорамъ, не видя иной разъ ни на шагъ впередъ отъ силошного опаловаго тумана и толкаясь съ какими-то бъгущими тънями,—я много прожилъ.

Обыкновенно вечеромъ, когда мой сынъ ложился спать, я отправлялся гулять; я почти никогда нп къ кому не заходилъ;— читалъ газеты, всматривался въ тавернахъ въ незнакомое племя, останавливался на мостахъ черезъ Темзу.

Съ одной стороны, проръзываются и готовы исчезнуть сталактиты парламента, съ другой, опрокинутая миска С. Павла... и фонари... фонари безъ конца, въ объ стороны. Одинъ городъ, сытый, заснулъ; другой, голодный, еще не проснулся,—пусто, только слышна мърная поступь полисмена съ своимъ фонарикомъ. Посидишь, бывало, посмотришь, и на душтъ сдълается тише и мирнъе. И вотъ за все за это я полюбилъ этотъ страшный муравейникъ, гдъ сто тысячъ человъкъ всякую ночь не знаютъ гдъ прислонить голову, и полиція неръдко находитъ дътей и женщинъ, умершихъ съ голода возлѣ отелей, въ которыхъ нельзя объдать, не истративши двухъ фунтовъ.

Но такого рода переломы, какъбы быстро ни приходили, не дълаются разомъ, особенно въ сорокъ лѣтъ. Много времени прошло, пока я сладилъ съ новыми мыслями. Рѣшившись на трудъ, я долго ничего не дѣлалъ или дѣлалъ не то, что хотѣлъ.

Мысль, съ которой я прівхаль въ Лондонь, пскать суда своихъ, была върна и справедлива. Я это и теперь повторяю съ полнымъ и обдуманнымъ сознаніемъ. Къ кому же въ самомъ дълъ намъ обращаться за судомъ, за возстановленіемъ истины? за обличеніемъ лжи?

Не пдти же намъ тягаться передъ судомъ нашихъ враговъ, судящихъ по другимъ началамъ, по законамъ, которыхъ мы не признаемъ.

Можно развъдаться самому, можно, безъ сомнънія. Самоуправство вырываеть сплой взятое силой и тъмъ самымъ приводить къ равновъсію; месть такое же простое и върное человъческое чувство, какъ благодарность; но ни месть, ни самоуправство ничего не объясняють. Можетъ же случиться, что человъку въ объясненіи главное дъло, можеть быть, ему возстановленіе правды дороже мести.

Ошпока была не въ*главномъ положеніи*,—она была въ прилагательномъ; для того, чтобъ былъ судъ своихъ, надобно было прежде всего имъть *своихъ*. Гдъ же они были у меня?..

Свои у меня были когда-то въ Россіи. Но я такъ вполнъ былъ отръзанъ на чужбинъ... Надобно было, во чтобъ ни стало, снова завести ръчь съ своими,—хотълось имъ разсказать, что тяжело лежало на сердцъ. Писемъ не пропускають,—книги сами пройдуть; ппсать нельзя,—буду печатать, и я принялся мало-по-малу за Билое и Думы и за устройство русской типографіи.

# ГЛАВА II 1).

Горныя вершины.—Центральный Европейскій Комитеть.—Маццини.—Ледрю-Ролленъ.—Кошутъ.

Въ Лондонъ я спъшить увидъть Мацини, не только потому, что онъ принялъ самое теплое и дъятельное участие въ несчастияхъ, которыя пали на мою семью, но еще и потому, что я

<sup>1)</sup> Начало этой главы было вапечатано въ IV т. "Былого и Думъ", глава XL. Остальное, здъсь печатаемое, появилось въ "Полярной Звъздъ", т. VI, стр. 241. Примъчание издателя заграничного изданія.

имѣлъ къ нему особое порученіе отъ его друзей. Медичи, Пизакане, Меццокапы, Козенцъ, Бертани и другіе были недовольны направленіемъ, которое давалось изъ Лондона; они говорили, что маццини плохо знаеть новое положеніе, жаловались на революціонныхъ царедворцевъ, которые, чтобъ подслужиться, поддерживали въ немъ мысль, что все готово для возстанія и ждеть только сигнала. Они хотѣли внутреннихъ преобразованій, имъ казалось необходимымъ ввести гораздо больше военнаго элемента и имѣть во главѣ стратеговъ, вмѣсто адвокатовъ и журналистовъ. Для этого они желали, чтобъ Маццини сблизился съ талантливыми генералами въ родѣ Уллоа, стоявшаго возлѣ старика Пепе, въ какомъ-то недовольномъ отдаленіи.

Они поручили мнѣ разсказать все это Маццини долею потому, что они знали, что онъ имѣлъ ко мнѣ довѣріе, а долею и потому, что мое положеніе, независимое отъ итальянскихъ партій, развя-

зывало мнѣ руки.

Мацини меня принялъ, какъ стараго пріятеля. Наконецъ, ръчь дошла до порученнаго мнъ отъ его друзей. Онъ меня сначала слушалъ очень внимательно, хотя и не скрывалъ, что ему не совсъмъ нравится оппозиція; но когда изъ общихъ мъстъ я дошелъ до частностей и личныхъ вопросовъ, тогда онъ вдругъ прервалъ мою ръчь:

— Это совершенно не такъ, тутъ нътъ ни слова дъльнаго!

Однако, замѣтилъ я, нѣтъ полутора мѣсяца, какъ я оставилъ Геную и въ Италіи былъ два года безъ вытъзда, и могу самъ подтвердить многое изъ того, что говорилъ ему отъ имени

друзей.

— Оттого-то вы это и говорите, что вы были въ Генув. Что такое Генуя? что вы могли тамъ слышать? Мивніе одной части эмиграціи. Я знаю, что она такъ думаєть, я и то знаю, что она ошибается. Генуя очень важный центрь, но это одна точка, а я знаю всю Италію; я знаю потребность каждаго мъстечка отъ Абруццъ до Форалберга. Друзья наши въ Генув разобщены со всёмъ нолуостровомъ, они не могутъ судить объ его потребностяхъ, объ общественномъ настроеніи.

Я сдёлалъ еще два-три опыта, но онъ уже былъ en garde, начиналъ сердиться, нетерийливо отвёчалъ... Я замолчалъ съ чувствомъ грусти; такой нетериимости я прежде въ немъ не за-

ифчалъ.

— Я вамъ очень благодаренъ, сказалъ онъ, подумавъ. Я долженъ знать мивніе нашихъ друзей; я готовъ взвъсить каждое, обдумать каждое, но согласиться или ибтъ, это другое дъло; на мив лежитъ большая отвътственность не только передъ совъстью и Богомъ, но передъ народомъ итальянскимъ.

Посольство мое не удалось.

Мацини тогда уже обдумывалъ свое 3 февраля 1853 года; дёло для него было рёшенное, а друзья его не были съ нимъ согласны.

- Знакомы вы съ Ледрю-Ролленомъ и Кошутомъ?
- Нътъ.
- Хотите познакомиться?
- Очень.
- Вамъ надобно съ ними повидаться, я вамъ напишу къ обоимъ нъсколько словъ. Разскажите имъ, что вы видъли, какъ оставили нашихъ. Ледрю-Ролленъ, продолжалъ онъ, взявъ перо и начавъ записку, самый милый человъкъ въ свътъ, но французъ jnsqu'au bout des ongles; онъ твердо въруетъ, что безъ революціи во Франціи—Европа не двинется, le peuple initiateur!.. А гдъ французская иниціатива теперь? Да и прежде идеи, двигавшія Францію, шли изъ Италіи или изъ Англіи. Вы увидите, что новую эру революціи начнетъ Италія! Какъ вы думаете?
  - Признаюсь вамъ, что я этого не думаю.
  - Что же, сказаль онь, улыбаясь, славянскій мірь?
- Я этого не говорилъ; не знаю, на чемъ Ледрю-Ролленъ основываетъ свои върованія, но весьма въроятно, что ни одна революція не удастся въ Европъ, пока Франція въ томъ состояніи простраціи, въ которой мы ее видимъ.
  - Такъ и вы еще находитесь подъ préstig'емъ Франціи?
- Подъ престижемъ ся географическаго положенія, ея страшнаго войска и ея естественной опоры на Россію, Австрію п Пруссію. 1)

— Франція спитъ, мы ее разбудимъ.

Мыр оставалось сказать: «Дай Богъ, вашими устами медъ инть!»

Кто изъ насъ былъ правъ на ту минуту, —доказалъ Гарибальди. Въ другомъ мѣстѣ я говорилъ о моей встръчѣ съ нимъ, въ Вестъ-Индскихъ докахъ, на его американскомъ кораблѣ Соитоп-wealth.

Тамъ за завтракомъ у него, въ присутствіп Орсини, Гаука и меня, Гарибальди, говоря съ большой дружбой о Мадцини, высказывальоткрыто свое митніе о Зфевраля 1853 (это было весной 1854), и тутъ же говорилъ о необходимости соединенія всёхъ партій въодну военную.

Въ тотъ же день вечеромъ, мы встрътились въ одномъ домъ; Гарибальди былъ не веселъ, Маццини вынулъ изъ кармана листъ «Italia del popolo», пи показалъ ему какую-то статью. Гарибальди

<sup>1)</sup> Этоть разговоръ быль осенью 1852.

прочиталъ ее и сказалъ: «Да, написано бойко, а статья превредная, я скажу откровенно, за такую статью стоить журналиста или писателя сильно наказать. Раздувать всёми силами раздоръ между нами и Піемонтомъ въ то время, когда мы только пивемъ одно войско-войско Сардинскаго короля! Это опрометчивость п ненужная дерзость, доходящая до преступленія».

Маццини отстаивалъ журналъ; Гарибальди сдълался еще

скучнъе.

Когда онъ собирался такать съ корабля, онъ говориль, что ночью будеть поздно возвращаться въ доки, и что онъ потдеть спать въ отель; я предложилъ, вмъсто отеля, ъхать спать ко мнъ.

Гарибальди согласился.

Послъ этого разговора, осажденный со всъхъ сторонъ неустрашимымъ легіономъ дамъ, Гарибальди ловкими маршами и контрмаршами выпутался изъ хоровода и, подойдя ко мнж, шепнуль мнж на ухо:

— Вы до котораго часа останетесь?

— Поъдемте хоть сейчасъ.

Сдѣлайте одолженіе.

Мы побхали; на дорогъ онъ сказаль мит:

 Какъ мнѣ жаль, какъ мнѣ безконечно жаль, что Рерро <sup>1</sup>) такъ увлекается и съ благороднъйшимъ, чистъйшимъ намъренісмъ дълаетъ ошибки. Я не могъ вытериёть давеча: тёшится тёмъ. что выучилъ своихъ учениковъ дразнить Пісмонтъ. Ну что же, если король бросится совсёмъвъ реакцію, свободное слово итальянское смолкнетъ въ Италіи, и послъдняя опора пропадетъ. Республика, республика! Я всегда былъ республиканецъ, всю жизнь, да дёло теперь не въ республикъ. Массы итальянскія я знаю лучию Маципи, я жилъ съ ними, ихъ жизнію. Маццини знаетъ Пталію образованную и владбеть ся умами; но войска, чтобъ выгнать австрійцевъ и папу, изъ нихъ не составишь; для массы, для народа птальянскаго одно знамя и есть-единство и изгнание иноземиевъ! Л какъ же достигнуть до этого, опрокидывая на себя единственное сильное королевство въ Италіп, которое, изъ какихъ бы причинъ ни было, хочеть стать за Италію и бонтся; вм'єсто того, чтобъ его звать къ себъ, его толкають прочь п обижають. Въ тоть день, въ который молодой человтить повёрить, что онъ ближе къ эрцгерцогамъ, чёмъ къ намъ, судьбы Италін затормозятся на поколъние или на два.

На другой день было воскресенье; онъ ушелъ гулять съ моимъ сыномъ, сдълалъ у Калдези его дагеротипъ и принесъ мнъ его въ подарокъ, а потомъ остался объдать.

<sup>1)</sup> Уменьшительное отъ Джузеппе.

Середь объда меня вызываетъ одинъ итальянецъ, посланный отъ Маццини, онъ съ утра отыскивалъ Гарибальди; я просилъ его състь съ нами за столъ.

Итальянецъ, кажется, хотёлъ говорить съ нимъ наединъ, я

предложилъ имъ идти ко мнѣ въ кабинетъ.

— У меня никакихъ секретовъ нътъ, да и чужихъ здъсь нътъ,

говорите, замѣтилъ Гарибальди.

Въ продолжение разговора, Гарибальди еще разъ повторилъ, и притомъ раза два, то же, что мнъ говорилъ, когда мы ъхали домой.

Онъ внутренно былъ совершенно согласенъ съ Маццини, но расходился съ нимъ въ исполненіи, въ средствахъ. Что Гарибальди лучше зналъ массы, въ этомъ я совершенно убъжденъ. Маццини, какъ средневъковый монахъ, глубоко зналъ одну сторону жизни, но другія создаваль; онъ много жилъ мыслыо и страстью, но не на дневномъ свътъ; онъ съ молодыхъ лътъ до съдыхъ волось жиль въ карбонарскихъ юнтахъ, въ кругу гонимыхъ республиканцевъ, либеральныхъ писателей; онъ былъ въ сношеніяхъ съ греческими гетеріями и съ испанскими exaltados, онъ конспирировалъ съ настоящимъ Кавеньякомъ и поддёльнымъ Ромарино, съ швейцарцомъ Джемсомъ Фази, съ польской демократіей, съ молдовалахами... Изъ его кабинета вышелъ благословленный имъ восторженный Конарскій, пошель въ Россію и погибнулъ. Все это такъ, но съ народомъ, но съ этимъ solo interprete della legge divina, но съ этой густой толщей, идущей до грунта, т. е., до полей и плуга, до дикихъ калабрійскихъ пастуховъ, до факиновъ и лодочниковъ, онъ никогда не былъ въ сношеніяхъ; а Гарибальди не только въ Италіи, но вездѣ жилъ съ ними, зналъ ихъ силу и слабость, горе и радость: онъ ихъ зналъ на полъ битвы и середь бурнаго океана и умълъ какъ Бемъ сдёлаться легендой, вънего вёрили больше, чёмъ въ его патрона Санъ-Джузеппе.

Одинъ Маццини не върилъ ему.

И Гарибальди, убзжая, сказалъ: «Я ъду съ тяжелымъ сердцемъ, я на него не имъю вліянія, и онъ опять предприметь что-нибудь

до срока!»

Гарибальди угадаль: не прошло года, и снова двё-три неудачныя вспышки; Орсини быль схвачень піемонтскими жандармами, на піемонтской земль, чуть не съ оружіемь въ рукахъ; въ въ Римь открыли одинь изъ центровъ движенія, и та удивительная организація, о которой я говорилъ, разрушилась. Испуганныя правительства усилили полицію; свирыный трусъ, король неаполитанскій, снова бросился на пытки.

Тогда Гарибальди не вытериъль и напечаталь свое извъст-

ное письмо: «Въ этихъ несчастныхъ возстаніяхъ могутъ участвовать или сумасшедшіе, или враги итальянскаго д'вла».

Можетъ, письма этого и не слъдовало печатать. Маццини былъ побить и несчастень, Гарибальди наносиль ему ударъ... Но что его письмо совершенно последовательно съ темъ, что онъ мне говорилъ и при мнъ. въ этомъ нътъ сомнънія. 1)

Издавая прошлую Полярную Звизду, я долго думаль, что слъдуетъ печатать изъ лондонскихъ воспоминаній и что лучше оставить до другого времени. Больше половины я отложиль, те-

перь я печатаю изъ нея нѣсколько отрывковъ.

Что же измѣнилось?—59 п 60 годы раздвинули берега. Личности, партін уяснились, одн'є окрыши, другія улетучились. Съ напряженнымъ вниманіемъ, останавливая не только всякое сужденіе, но самое біеніе сердца, слъдили мы эти два года за близкими лицами; они то исчезали за облаками порохового дыма, то выръзывались изъ него съ такою яркостью, росли быстро, быстро п снова скрывались за дымомъ. На спо минуту онъ разсъялся п на сердцъ легче, всъ дорогія головы цълы!

А еще дальше за этимъ дымомъ, въ тъни, безъ шума битвъ, безъ ликованій торжества, безъ лавровыхъ вънковъ, одна лич-

ность достигла колоссальныхъ разифровъ.

Осыпаемый проклятіями всёхъ партій: обманутымъ плебеемъ, дикимъ попомъ, трусомъ буржуа и пісмонтской дрянью; оклеветанный вежми органами вежхъ реакцій отъ напекаго п императорскато Монитера до либеральныхъ кастратовъ Кавура и великаго Евнуха лондонскихъ мъняль Теймеа (который не можетъ назвать имени Маццини, не прибавивъ площадной брани), —онъ остался не только... «неколебимъ предъ общимъ заблужденіемъ», но благословляющимъ съ радостью и восторгомъ враговъ и друзей, исполнявших его мысль, его плань. Указывая на него, какъ на какого-то Абадонну-

> Народъ, тапиственно спасаемый тобою. Ругался надъ твоей священной съдиною...

...Но возлѣ него стоялъ не Кутузовъ, а Гарибальди. Въ лицѣ своего героя, своего освободителя Италія не разрывалась съ Маццини. Какъ же Гарибальди не отдалъ ему полъ-вѣнка своего? зачёмъ не признался, что пдеть съ нимъ рука въ руку? зачёмъ оставленный тріумвиръ римскій не предъявилъ своихъ правъ зачъмъ онъ самъ просилъ не поминать его, и зачъмъ народный вождь, чистый, какъ отрокъ, молчалъ и лгалъ разрывъ?

<sup>1)</sup> Въ заграничномъ изданіи Сочиненій Герцена дальивйшее озаглавлено: "Изъ IV п V частей". (Перепечатано тамъ изъ "Поляр. Звъзды", т. VI, 1861). Примоч. изоит.

Обопиъ было что-то дороже ихъ личностей, ихъ имени, ихъ славы—*Италія!* 

И пошлая современность ихъ не поняла. У ней не хватало емкости, настолько величія; бухгалтерской книги ихъ недостало до того, чтобъ подвести итогъ такихъ credit и debet!

Гарибальди сдёлался еще больше «лицомъ изъ Корнелія Непота»; онъ такъ антично великъ въ своемъ хуторѣ, такъ простодушно, такъ чисто великъ, какъ описаніе Гомера, какъ греческая статуя. Нигдѣ ни риторики, ни декорацій, нидипломатій,— въ эпопеѣ онѣ были ненужны; когда она кончилась и началось продолженіе календаря, тогда король отпустиль его, какъ отпускаютъ довезшаго ямщика, и, сконфуженный, что ему ничего нельзя дать на водку, перещеголялъ Австрію колоссальной неблагодарностью; а Гарибальди и не разсердился, онъ, улыбаясь, съ иятьюдесятью скудами въ карманѣ, вышелъ изъ дворцовъ странъ, покоренныхъ имъ, предоставляя дворовымъ усчитывать его расходы и разсуждать о томъ, что онъ испортилъ шкуру медвёдя. Пускай себѣ тѣшатся, половина великаго дѣла сдѣлана,—лишь бы Италію сколотить въ одно и прогнать бѣлыхъ кретиновъ.

Были минуты тяжелыя для Гарибальди. Онъ увлекается людьми; какъ онъ увлекся А. Дюма, такъ увлекается Викторомъ Эммануиломъ; неделикатность короля огорчаеть его; король это знаеть и, чтобъ задобрить его, посылаетъ фазановъ собственноручно убитыхъ, цвѣты изъ своего сада и любовныя записки, подписанныя: sempre il tuo amico Vittorio.

Для Маццини люди не существують, для него существуеть дило, и притомъ одно дило; онъ самъ существуетъ, «живетъ и движется» только въ немъ. Сколько ни посылай ему король фазановъ и цвътовъ, онъ его не тронетъ. Но онъ сейчасъ соединится не только съ нимъ, котораго онъ считаетъ за добраго человѣка, но съ его маленькимъ Талейраномъ, котораго онъ вовсе не считаетъ ни за добраго, ни за порядочнаго человъка. Мацини аскетъ. Кальвинь, Прочида итальянскаго освобожденія. Односторонній. въчно занятый одной идеей, въчно на стражъ и готовый, Маццини съ тъмъ упорствомъ и теривніемъ, съ которымъ онъ создалъ, изъ разбросанныхъ людей и неясныхъ стремленій, плотную партію п, послъ десяти неудачь, вызваль Гарпбальди и его войско полсвободной Италіи и живую, неприложную надежду на ея единство,-Маццини не спить. День и ночь, ловя рыбу и ходя на охоту, ложась спать и вставая, Гарибальди и его сподвижники видять худую, печальную руку Маццини, указывающую на Римъ, и они еще пойдутъ туда!

Я дурно сдълалъ, что выпустилъ, въ напечатанномъ отрывкъ, нъсколько страницъ объ Мацини; его усъченная фигура вышла

не такъ ясно, я остановился именно на его размолвкъ съ Гарибальди въ 1854, и на моемъ разномысліи съ нимъ. Сдълано было это мною изъ деликатности, но эта деликатность мелка для Маццини. О такихъ людяхъ нечего умалчивать, ихъ щадить нечего!

Послѣ своего возвращенія изъ Неаполя, онъ написаль мнѣ записку; я поспѣшиль къ нему, сердце щемило, когда я его увидѣлъ, я все-же ждалъ найти его грустнымъ, оскорбленнымъ въ своей любви, положеніе его было въ высшей степени трагическое; я дѣйствительно его нашелъ тѣлесно состарившимся и помолодѣлымъ душой; онъ бросился ко мнѣ, по обыкновенію протягивая обѣ руки, съ словами: «Итакъ, наконецъ-то сбывается!»... въ его глазахъ былъ восторгъ и голосъ дрожалъ.

Онъ весь вечеръ разсказывалъ мнѣ о времени, предшествовавшемъ экспедиціи въ Спцилію, о своихъ сношеніяхъ съ Викторомъ Эмманупломъ, потомъ о Неаполѣ. Въ увлеченіи, въ любви, съ которыми онъ говорилъ о побѣдахъ, о подвигахъ Гарпбальди, было столько же дужбы къ нему, какъ въ его брани за довѣрчи-

вость и за неумънье распознавать людей.

Слушая его, я хотълъ поймать одну ноту, одинъ звукъ обиженнаго самолюбія, и не поймаль; ему грустно, но грустно, какъ матери, оставленной на время возлюбленнымъ сыномъ,—она знаетъ, что сынъ воротится, и знаетъ больше этого, что сынъ сча-

стливъ: это покрываетъ все для нея!

Мацини исполненъ надеждъ, съ Гарибальди онъ ближе, чѣмъ когда-нибудь. Онъ съ улыбкой разсказывалъ, какъ толпы неаполитанцевъ, подбитыя агентами Кавура, окружили его домъ съ криками: «Смерть Маццини!» Ихъ, между прочимъ, увѣрили, что Маццини «бурбонскій республиканецъ».—«У меня въ это время было иѣсколько человѣкъ нашихъ и одинъ молодой русскій, онъ удпвлялся, что мы продолжали прежній разговоръ. Вы не опасайтесь, сказалъ я ему въ успокоеніе, они меня не убьють, они только кричать!»

Нтът, такихъ людей нечего щадить!

31 января, 1861.

... На другой день я отправился къ Ледрю-Роллену. Онъ меня принялъ очень привътливо. Колоссальная, импозантная фигура его, которой ненадо разбирать еп détail, общимъ внечатлъпіемъ располагала въ его пользу. Должно быть онъ былъ и bon enfant и bon vivant. Морщины на лбу и просъдь показывали, что заботы и ему не совсъмъ даромъ прошли. Онъ потратилъ на революцію свою жизнь и свое состояніс; а общественное мнѣніе ему измѣнило. Его странная, непрямая роль въ апрълъ и маѣ, слабая

въ іюньскіе дни, отдалила оть него часть красныхь, не сблизивъ съ синими. Имя его, служившее символомъ и произносимое иной разъ съ ошибкой <sup>1</sup>) мужиками, но все же произносимое, ръже было слышно. Самая партія его въ Лондонъ таяла больше и больше; особенно, когда и Феликсъ Піа открылъ свою лавочку въ Лондонъ.

Усъвшись покойно на кушеткъ, Ледрю-Ролленъ началъ меня

«гарангировать».

— «Революція, говориль онъ, только и можеть лучиться (rayonner) изъ Франціи. Яспо, что, къ какой бы стран'я вы ни принадлежали, вы должны прежде всего помогать намъ для вашего собственнаго дёла. Революція только можеть выйти изъ Парижа. Я очень хорошо знаю, что нашъ другъ Маццини не того мнёнія, — онъ увлекается своимъ патріотизмомъ. Что можеть сдёлать Италія съ Австріей на шеб и съ наполеоновскими солдатами въ Римъ? Намъ надобно Парижъ; Парижъ — это Римъ, Варшава, Венгрія, Сицилія, и, по счастію, Парижъ совершенно готовъ-не ошибайтесь-совершенно готовъ! Революція сдѣланаla révolution est faite: c'est clair comme bon jour. Я объ этомъ и не думаю; я думаю о послёдствіяхь, о томъ, какъ пзобгнуть прежнихъ ошибокъ». Такимъ образомъ онъ продолжалъ съ полчаса и вдругь, спохватившись, что онъ и не одинъ, и не передъ аудиторіей, добродушньйшимь образомь сказаль мнь: «Вы видите; мы съ вами совершенно одинакаго мнѣнія». Я не раскрывалъ рта. Ледрю-Ролленъ продолжаль: «Что касается до матеріальнаго факта революціп, —онъ задержанъ нашимъ безденежьемъ. Средства наши истощились въ этой борьбѣ, которая идеть годы и годы. Будь теперь сейчась въ моемъ распоряжения сто тысячи франковъ, да — мизерабельныхъ сто тысячъ франковъ! и послѣ завтра, черезъ трп дня, революція въ Парижъ».

— Да какъ же это,—замѣтилъ я наконецъ,—такая богатая нація, совершенно готовая на возстаніе, не находить ста тысячъ—

полумилліона франковъ?

Ледрю-Ролленъ немного покрасивлъ, но, не запинаясь, отвъ-

чалъ:

— «Pardon, pardon. Вы говорите о meopemuческих предположениях въ то время, какъ я вамъ говорю о фактахъ, о простыхъ фактахъ».

Этого я не понялъ.

Когда я уходилъ, Ледрю-Ролленъ по англійскому обычаю про-

<sup>1)</sup> Мужички дальнихъ краевь любили le duc Rollin'a и жалвли только, что имъ руководствуетъ женщина, съ которой онъ связался—La Martine, что она-то дока сбиваетъ, а что онъ самъ bon pour le populaire.

водилъ меня до лъстницы и еще разъ, подавая мнъ свою огромную богатырскую руку, сказалъ:

«Надъюсь, это не въ послъдній разъ, я буду всегда радъ;

птакъ—au revoir».

- Въ Парижітотвітилъ я.
- «Какъ въ Парижѣ?»
- Вы такъ уб'ёдили меня, что революція за плечами, что н право не знаю, усп'єю ли я побывать у васъ зд'єсь.

Онъ смотръль на меня съ недоумениемъ, и потому я поторо-

пился прибавить:

— По крайней мъръ я этого искренно желаю, въ этомъ, думаю, вы не сомнъваетесь.

- «Иначе вы не были бы здѣсь»-замѣтилъ хозяинъ, и мы

разстались.

Кошута въ первый разъ я видѣтъ собственно во второй разъ. Это случилось такъ. Когда я пріѣхалъ къ нему, меня встрѣтилъ въ парлорѣ военный господинъ, въ полу-венгерскомъ военномъ костюмъ, съ дзвѣщеніемъ, что г. Губернаторъ не принимаетъ.

— Вотъ письмо отъ Маццини.

— Я сейчасъ передамъ. Сдълайте одолжение.—Онъ указалъ мнъ на трубку и потомъ на стулъ. Черезъ двътри минуты возвратился.

- Г. Губернаторъ чрезвычайно жалъетъ, что не можетъ васъ видътъ. Сейчасъ онъ оканчиваетъ американскую почту; впрочемъ, если вамъ угодно подождать, то онъ будетъ очень радъ васъ принять.
  - А скоро онъ кончитъ почту?
  - Къ пяти часамъ непремѣню.

Я взглянуль на часы: половина второго.—Ну, трехъ часовтосъ половиной я ждать не стану.

- Да вы не прівдете ли посль?
- Я живу не меньше трехъ миль отъ Нотингъ-Гиля. Впрочемъ, прибавилъ я, у меня никакого сиёшнаго дёла къ г. Губернатору нётъ!
  - Но г. Губернаторъ будетъ очень жалѣть.
  - Такъ воть мой адресъ.

Прошло съ недълю, вечеромъ является длинный господинъ, съ длинными усами—венгерскій полковникъ, съ которымъ я лътомъ встрътился въ Лугано.

- Я къ вамъ отъ г. Губернатора: онъ очень безпокоптся, что вы у него не были.
- Ахъ, какая досада. Я, вёдь, впрочемъ, оставилъ адресъ. Если-бъ я зналъ время, то непремённо поёхалъ бы къ Кошуту

сегодня-или... прибавиль я вопросительно, какъ надобно гово-

рить, къ г. Губернатору?

— Zu dem Olten, zu dem Olten,—замътилъ улыбаясь гонведъ— мы его между собой все называемъ der Olte.— Вотъ увидите человъка! такой головы въ мірѣ нътъ, не было и... полковникъ внутренно и тихо помолился Кошуту.

— Хорошо, я завтра въ два часа прітаду.

— Это невозможно. Завтра середа, завтра утромъ старикъ принимаетъ однихъ нашихъ, однихъ венгерцевъ.

Я не выдержаль, засм'вялся, и полковникь засм'вялся. Когда же вашь старикъ пьеть чай?

— Въ восемь часовъ вечера.

— Скажите ему, что я прівду завтра въ восемь часовъ; но если нельзя, вы мив напишите.

— Онъ будетъ очень радъ. Я васъ жду въ пріемной.

На этотъ разъ, какъ только я позвонилъ, длинный полковникъ меня встрътилъ, а короткій полковникъ тотчасъ повель въ кабинетъ Кошута.

Я засталь Кошута, работающаго за большимь столомъ; онъ быль въ черной бархатной венгеркъ и въ черной шапочкъ; Кошуть гораздо лучше всёхь своихъ портретовъ и бюстовъ; въ первую молодость онъ былъ, въроятно, красавдемъ и долженъ быль имъть страшное вліяніе на женщинь особеннымь романически-задумчивымъ характеромъ лица. Черты его не имъютъ античной строгости, какъ у Маццини, Саффи, Орсини; но (и, можеть, именно по этому) онь быль родиже намь, жителямь сфвера; вь печально кроткомъ взглядѣ его сквозилъ не только сильный умь, но глубоко чувствующее сердце; задумчивая улыбка и нфсколько восторженная рѣчь окончательно располагали въ его пользу. Говорить онъ чрезвычайно хорошо, хотя и съ ръзкимъ акцентомъ, равно остающимся въ его французскомъ языкъ, ньмецкомъ и англійскомъ. Онъ не отдълывается фразами, не оппрается на битыя мъста; онъ думаетъ съ вами, выслушиваетъ и развиваетъ свою мысль почти всегда оригинально, потому что онъ свободнъе другихъ отъ доктрины и отъ духа нартіи. Можетъ, въ его манеръ доводовъ и возраженій виденъ адвокатъ, но то, что онъ говоритъ, -- серьезно и обдуманно.

Кошутъ много занимался до 1848 года практическими дѣлами своего края; это дало ему своего рода вѣрность взгляда. Онъ очень хорошо знаетъ, что въ мірѣ событій и приложеній не всегда можно прямо летать, какъ воронъ, что факты развиваются рѣдко по простой логической линіи, а идутъ, лавпруя, заплетаясь эпициклами, срываясь по касательнымъ. И вотъ, между прочимъ, причина, почему Кошутъ уступаетъ Маццини въ огненной дѣя-

тельности и почему, съ другой стороны, Маццини дълаетъ безпрерывные опыты, натягиваетъ попытки, а Кошутъ ихъ не дълаетъ вовсе.

Маццини глядить на итальянскую революцію какъ фанатикъ; онъ вѣруетъ въ свою мысль объ ней; онъ ее не подвергаетъ критикъ и стремится ота е sempre, какъ стръла, пущенная изъ лука. Чъмъ меньше обстоятельствъ онъ беретъ въ расчеть, тъмъ

прочнъе и проще его дъйствіе, тъмъ чище его идея.

Революціонный идеализмъ Ледрю-Роллена тоже не сложенъ, его можно весь прочесть въ ръчахъ конвента и въ мърахъ комитета общественнаго спасенія. Кошутъ принесъ съ собою изъ Венгріи не общее достояніе революціонной традиціи, не апокалиптическія формулы соціальнаго доктринаризма, а протестъ своего края, который онъ глубоко изучилъ, края новаго, неизвъстнаго ни въ отношеніи къ его потребностямъ, ни въ отношеніи къ его дико-свободнымъ учрежденіямъ, ни въ отношеніи къ его средневъковымъ формамъ. Въ сравненіи съ своими товарищами, Кошутъ былъ спеціалисть.

Французскіе рефюжье, съ своей несчастной привычкой рубить съ плеча и все мърить на свою мърку, сильно упрекали Кошута за то, что онъ въ Марсели выразилъ свое сочувствіе къ соціальнымъ идеямъ, а въ ръчи, которую произнесъ въ Лондонъ съ балкона Mansion House, съ глубокимъ уваженіемъ говорилъ о

парламентаризмѣ.

Кошутъ былъ совершенно правъ. Это было во время его путешествія изъ Константинополя, т. е., во время самаго торжественно-эпическаго эпизода темныхъ лѣтъ, шедшихъ за 1848 годомъ. Съверо-американскій корабль, вырвавшій его изъ занесенныхъ когтей Австріи и Россіи, съ гордостью плылъ съ изгнанникомъ въ республику и остановился у береговъ другой. Въ этой республикъ ждаль уже приказъ полицейскаго диктатора Франціи, чтобъ изгнанникъ не смълъ ступить на землю будущей имперіи. Теперь это прошло бы такъ; но тогда еще не всъ были окончательно надломлены, толны работниковъ бросились на лодкахъ къ кораблю привътствовать Кошута, и Кошутъ говорилъ съ ними очень натурально о соціализм'я. Картина м'яняется. По дорог'я одна свободная страна выпросила у другой изгнанника къ себъ въ гости. Кошутъ, всенародно благодаря англичанъ за пріемъ, не скрылъ своего уваженія къ государственному быту, который его сдёлаль возможнымъ. Онъ быль въ обоихъ случаяхъ совершенно искренень; онъ не представляль вовсе такой-то партіп; онъ могъ, сочувствуя съ французскимъ работникомъ, сочувствовать съ англійской конституціей, не сдёлавшись орлеанистомъ и не предавъ республики. Кошутъ это зналъ и отрицательно

превосходно понялъ свое положение въ Англіи относительно революціонныхъ партій; онъ не сдълался ни Глюкистомъ, ни Пиччинистомъ; онъ держалъ себя равно въ далекъ отъ Ледрю-Роллена и отъ Луи-Блана. Съ Маццини и Ворцелемъ у него былъ общій terrain, смежность границъ, одинакая борьба и почти одна и та же борьба; съ ними онъ и сошелся съ первыми.

Но Маццини и Ворцель давнымъ давно были, по испанскому выраженію, afrancisados. Кошутъ, упираясь, туго поддавался имъ, и очень замѣчательно, что онъ уступалъ по той мѣрѣ, по которой надежды на возстаніе въ Венгріи становились блѣднѣе и блѣднѣе.

Изъ моего разговора съ Маццини и Ледрю-Ролленомъ видно, что Маццини ждалъ революціоннаго толчка изъ Италіи и вообще быль очень недоволенъ Франціей; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ я былъ неправъ, назвавъ и его afrancisado. Тутъ, съ одной стороны, въ немъ говорилъ патріотизмъ, не совсѣмъ согласный съ идеей братства народовъ и всеобщей республики; съ другой—личное негодованіе на Францію за то, что въ 1848 она ничего не сдѣлала для Италіи, а въ 1849 все, чтобъ погубить ее. Но бытъ раздраженнымъ противъ современной Франціи не значитъ быть вню ея духа; французскій революціонаризмъ ниѣетъ свой общій мундиръ, свой ритуалъ, свой символъ вѣры; въ ихъ предѣлахъ можно быть спеціально политическимъ либераломъ, или отчаяннымъ демократомъ; можно, не любя Франціи, любить свою родину на французскій манеръ; все это будутъ варіаціи, частные случаи, но алгебраическое уравненіе останется то же.

Разговоръ Кошута со мной тотчасъ приняль серьезный оборотъ: въ его взглядъ и въ его словахъ было больше грустнаго, нежели свътлаго; навърное, онъ не ждалъ революціи завтра. Свъдънія его объ юго-востокъ Европы были огромны: онъ удивлялъ меня, цитируя пункты екатерининскихъ трактатовъ съ Портой. «Какой страшный вредъ вы сдълали намъ во время нашего возстанія», сказаль онъ, «и какой страшный вредъ вы сдълали самимъ себъ. Какая узкая и противуславлиская политика поддерживать Австрію. Разумъется, Австрія и спасибо не скажетъ за спасеніе; развъ вы думаете, что она не понимаетъ, что Николай не ей помогалъ, а вообще власти».

Соціальное состояніе Россіи ему было гораздо меньше изв'єстно, чты политическое и военное. Оно и не удивительно; многіе ли изъ нашихъ государственныхъ людей знаютъ что-нибудь о немъ, кром'в общихъ м'єстъ и частныхъ, случайныхъ, ни съ чты несвязанныхъ зам'єчаній. Онъ думалъ, что казенные крестьяне отправляютъ барщиной свою подать, разсирашивалъ о сельской общинъ, о пом'єщичьей власти; я разсказалъ ему, что зналъ.

Оставивъ Кошута, я спрашивалъ себя: да что же общаго у него, кромѣ любви къ независимости своего народа, съ его товарищами. Мацини мечталъ Италіей освободить человѣчество, Ледрю-Ролленъ хотѣлъ его освободить въ Парижѣ и потомъ строжайше предписать свободу всему міру. Кошутъ врядъ ли заботился обо всемъ человѣчествѣ и былъ, казалось, довольно равнодушенъ къ тому, скоро ли провозгласятъ республику въ Лиссабонѣ или дей Триноли будетъ называться простымъ гражданиномъ одного и нераздѣльнаго Тринолійскаго Братства.

Различіе это, бросившееся мит въ глаза съ перваго взгляда, обличилось потомъ рядомъ дъйствій. Маццини и Ледрю-Роллень, какъ люди независимые отъ практическихъ условій, каждые дватри мъсяца усиливались дълать революціонные опыты: Маццини возстаніями, Ледрю-Ролленъ посылкою агентовъ. Мацциньевскіе друзья гибли въ австрійскихъ и папскихъ тюрьмахъ, Ледрю-Ролленовскіе посланцы гибли въ Ламбессъ или Кайенъ, но опи съ фанатизмомъ слъпо върующихъ продолжали отправлять сво-ихъ Исааковъ на закланіе. Кошутъ не дълалъ опытовъ; Лебени

не имълъ никакихъ сношеній съ нимъ.

Безъ сомнънія, Кошутъ прівхаль въ Лондонъ съ болѣе сангвиническими надеждами, да и нельзя не сознаться, что было отъ чего закружиться головъ. Вспомните опять эту постоянную овацію, это царственное шествіе черезъ моря и океаны; города Америки спорили о чести, кому первому идти ему на встрѣчу и вести въ свои стѣны. Двухмилліонный, гордый Лондонъ ждалъ его на ногахъ у желѣзной дороги, карета лордъ-мера стояла, приготовленная для него; алдерманы, шерифы, члены парламента провожали его моремъ волнующагося народа, привътствовавшаго его криками и бросаньемъ шляпъ вверхъ. И когда онъ вышелъ съ лордомъ-меромъ на балконъ Mansion House'а, его привътствовало громогласное «ура!»

Надменная англійская аристократія, ув'яжавшая въ свои пом'єстья, когда Бонапартъ пироваль съ королевой въ Виндзор'в и бражничаль съ м'єщанами въ Спти, толиплась, забывъ свое достоинство, въ коляскахъ и каретахъ, чтобъ увид'єть знаменитаго агитатора; высшіе чины представлялись ему—пзгнаннику. Теймс'є нахмуриль было брови, но до того испугался передъ крикомъ общественнаго мн'єнія, что сталь ругать Наполеона, чтобъ загла-

дить ошибку.

Мудрено ли, что Кошутъ воротился изъ Америки полный упованій. Но, проживши въ Лондонъ годъ-другой и видя, куда и какъ идетъ исторія на материкъ, и какъ въ самой Англін остываль энтузіазмъ, Кошутъ понялъ, что возстаніе невозможно, и что Англія плохая союзница революціи.

Разъ, еще одинъ разъ, онъ исполнился надеждами и снова сталъ адвокатомъ за прежнее дѣло передъ народомъ англійскимъ: это было въ началѣ крымской войны.

Онъ оставилъ свое уединение и явился рука объ руку съ Ворцелемъ, т. е., съ демократической Польшей, которая просила у союзниковъ одного воззванія, одного согласія, чтобъ рискнуть возстаніе. Безъ сомнінія, это было для Польши великое мгновеніе—oggi o mai. Если-бъ возстановленіе Польши было признано, чего же было бы ждать Венгріп? Вотъ почему Кошуть является на польскомъ митинг 29 ноября 1854 года и требуетъ слова. Воть почему онъ вслъдъ за тъмъ отправляется съ Ворпелемъ въ главибйшіе города Англіи, пропов'йдуя агитацію въ пользу Польши. Ръчи Кошута, произнесенныя тогда, чрезвычайно замъчательны и по содержанію, и по форм'в. Но Англіи на этотъ разъ онъ не увлекъ; народъ толнами собирался на митинги, рукоплескаль великому дару слова, готовъ быль дёлать складчины; но вдаль движение не шло, но ръчи не вызывали того отзвука въ другихъ кругахъ, въ массахъ, который бы могъ имътъ вліяніе на парламентъ или заставить правительство измёнить свой путь. Прошелъ 1854 годъ; насталъ 1855, умеръ Николай, Польша не двигалась, война ограничивалась берегомъ Крыма; о возстановленін польской національности нечего было и думать; Австрія стояла костью въ горяй союзниковъ; всй хотили къ тому же мира, главное было достигнуто-статскій Наполеонъ покрылся военной славой.

Кошутъ снова сошелъ со сцены. Его статьи въ «Атласѣ» и лекцін о конкордатѣ, которыя онъ читалъ въ Эдинбургѣ, Манчестерѣ, скорѣе должно считать частнымъ дѣломъ. Кошутъ не спасъ ни своего достоянія, ни достоянія своей жены. Привыкнувши къ широкой роскоши венгерскихъ магнатовъ, ему на чужбинѣ пришлось выработывать себѣ средства; онъ это дѣлаетъ, нисколько не скрывая.

Во всей семьй его есть что-то благородно-задумчивое; видно, что туть прошли великія событія, и что они подняли діапазонь всёхъ. Кошуть еще до сихъ поръ окружень нісколькими візрными сподвижниками; сперва они составляли его дворъ, теперь они просто его друзья.

Не легко прошли ему событія; онъ сильно состар'єдся въ посл'єднее время, и тяжко становится на сердцё отъ его покоя.

Первые два годамы рѣдко видались; потомъ случай насъ свель на одной изъ изящнѣйшихъ точекъ не только Англіи, но и Европы, на Isle of Wight. Мы жили въ одно время съ нимъ мѣсяцъ времени въ Вентнорѣ, это было въ 1855 г.

Передъ его отъйздомъ мы были на дътскомъ праздникъ. Оба сына

Кошута, прекрасные, милые отроки, танцовали вмѣстѣ съ мопми дътьми... Кошуть стояль у дверей и какъ-то печально смотръль на нихъ, потомъ, указывая съ улыбкой на моего сына, сказалъ

- Вотъ уже и юное поколъніе совсъмъ готово намъ на смѣну.
  - Увидять ли они?
- Я именно объ этомъ и думалъ. А пока пусть попляшуть, прибавилъ онъ и еще грустите сталь смотрть.

Кажется, что и на этотъ разъ мы думали одно и то же:

А увидять ли отцы? И что увидять? Та революціонная эра, къ которой стремплись мы, освъщенные догорающимъ заревомъ девяностыхъ годовъ, къ которой стремилась либеральная Франція, юная Италія, Маццини, Ледрю-Ролленъ, не принадлежитъ ли уже прошедшему; этп люди не дълаются ли печальными представителями былого, около которыхъ закинаютъ иные вопросы, другая жизнь? Ихъ религія, пхъ языкъ, пхъ двпженіе, ихъ цёль, все это и родственно памъ, и съ тімъ вмісті чужое... Звуки церковнаго колокола тихимъ утромъ праздничнаго дня, литургическое пъніе и теперь потрясаютъ душу, но въры все же въ ней нътъ!

Есть нечальныя истины, трудно, тяжко прямо смотръть на многое, трудно и высказывать иногда, что видишь. Да врядъ и нужно ли? Вёдь, это тоже своего рода страсть или болёзнь. «Истина, голая истина, одна истина!» Все это такъ; да сообразно ли въдъние ея съ нашей жизнію? не разътдаетъ ли она ее, какъ слишкомъ кръпкая кислота разъбдаеть стънки сосуда? Не есть ли страсть къ ней-страшный недугь, горько казнящій того, кто воснитываеть его въ груди своей?

Разъ, годъ тому назадъ, въ день памятный для меня-мысль

эта особенно поразила меня.

Въ день кончины Ворцеля я ждалъ скульитора въ бъдной комнатъ, гдъ домучился этотъ страдалецъ. Старая служанка стояла съ оплывшимъ, желтымъ огаркомъ въ рукт, освъщая исхудалый трупъ, прикрытый одной простыней. Онъ, несчастный какъ Іовъ, заснулъ съ улыбкой на губахъ, въра замерла въ его потухающихъ глазахъ, закрытыхъ такимъ же фанатикомъ какъ онъ---Маццини.

Я этого старика грустно любилъ и ни разу не сказалъ ему всей правды, бывшей у меня на умѣ. Я не хотълъ тревожить потухающій духь его, онъ и безъ того настрадался. Ему нужна была отходная, а не истина. И потому-то онъ быль такъ радъ, когда Маццини его умирающему уху шепталъ объты и слова въры!

## ГЛАВА III.

Эмпграціп въ Лондонѣ.—Нѣмцы, Французы.—Партіп.—В. Гюго.—Феликсъ Піа.—Луи Бланъ и Арманъ Барбесъ.

Сидъхомъ и плакахомъ на берегахъ вавилонскихъ...

Псалтырь.

Если-бъ кто-нибудь вздумалъ написать, со стороны, внутреннюю исторію политическихъ выходцевъ и изгнанниковъ съ 1848 года въ Лондонѣ, какую печальную страницу прибавилъ бы онъ къ сказаніямъ о современномъ человѣкѣ. Сколько страданій, сколько лишеній, слезъ... и сколько пустоты, сколько узкости, какая бѣдностъ умственныхъ силъ, запасовъ, пониманія, какое упорство въ раздорѣ и мелкость въ самолюбіп...

Съ одной стороны, люди простые, инстинктомъ и сердцемъ понявшіе дѣло революціи и приносящіе ему наибольшую жертву, которую человѣкъ можетъ принести,—добровольную нищету, составляютъ небольшую кучку. Съ другой, эти худо прикрытыя, затаенныя самолюбія, для которыхъ революція была служба, position sociale, и которые сорвались въ эмиграцію, не достигнувъ мѣста; потомъ всякіе фанатики, мономаны всѣхъ мономаній, сумасшедшіе всѣхъ сумасшествій; въ силу этого нервнаго, натянутаго, раздраженнаго состоянія—верченіе столовъ надѣлало въ эмиграціи стращное количество жертвъ. Кто не вертѣлъ столовъ—отъ Виктора Гюго и Ледрю-Роллена до Квирика Филопанти, который пошелъ дальше... и узнавалъ все, что человѣкъ дѣлалъ лѣтъ тысячу тому назадъ!..

Притомъ ни шагу впередъ. Они, какъ придворные версальскіе часы, показывають одинъ часъ, часъ, въ который умеръ король... и ихъ, какъ версальскіе часы, забыли перевести со времени смерти Людовика XV. Они показывають одно событіе, одну кончину какого-нибудь событія. Объ немъ говорять, объ немъ думають, къ нему возвращаются. Встрѣчая тѣхъ же людей, тѣ же группы, мѣсяцевъ черезъ пять-шесть, года черезъ два-три, становится страшно,—тѣ же споры продолжаются, тѣ же личности и упреки, только морщинъ, нарѣзанныхъ нищетою, лишеніями, больше; сюртуки, пальто—вытерлись; больше сѣдыхъ волосъ, и все вмѣстѣ старѣе, костлявѣе, сумрачнѣе... А рѣчи все тѣ же и тѣ же!

Революція у нихъ остается, какъ въ девяностыхъ годахъ, ме-

тафизикой общественнаго быта, но тогдашней наивной страсти къ борьбъ, которая давала ръзкій колорить самымъ тощимь всеобщностямъ и тъло сухимъ линіямъ, ихъ политическаго срубау нихъ нътъ и не можетъ быть; всеобщности и отвлеченныя понятія тогда были радостной новостью, откровеніемъ. Въ конці XVIII стольтія люди въ первый разъ, не въ книгъ, а на самомъ цёль, начали освобождаться отъ рокового, таинственно-тяготышаго міра теологической исторіи и пытались весь гражданскій быть, выросшій помимо сознанія и воли, основать на сознательномъ пониманіи. Въ попыткъ разумнаго государства, какъ въ поныткъ религіи разума, была въ 1793 могучая, титаническая поэзія, которая принесла свое, но, съ темъ вместе, выветрилась и оскудбла въ послъдніе шестьдесять льть. Наши -наслъдники титановъ этого не замѣчаютъ. Они, какъ монахи Аоонской горы, которые занимаются своимъ, ведуть тѣ же рѣчи, которыя вели во время Златоуста, и продолжають жизнь, давно задвинутую турецкимъ владычествомъ, которое само ужъ приходитъ къ концу,... собираясь въ извъстные дни поминать извъстныя событія, въ томъ же порядкъ, съ тъми же молитвами.

Другой тормазь, останавливающій эмиграціи, состоить въ отстанваніи себя другь противъ друга; это страшно убиваеть внутреннюю работу и всякій добросовъстный трудъ. Объективной цъли у нихъ нъть, всъ партіи упрямо консервативны, движеніе впередъ имъ кажется слабостью, чуть не бъгствомъ; сталь подъ знамя, такъ стой подъ нимъ, хотя бы со временемъ и разглядъль, что цвъта не совсъмъ такіе, какъ казались.

Такъ идуть годы, —исподволь все мѣняется около нихъ. Тамъ, гдѣ были сугробы снѣга, растетъ трава, вмѣсто кустарника—лѣсъ, вмѣсто лѣса—одни ини..... Они ничего не замѣчаютъ. Нѣкоторые выходы совсѣмъ обвалились и засынались, они въ нихъто и стучатъ; новыя щели открылись; свѣтъ изъ нихъ такъ и врывается полосами, но они смотрятъ въ другую сторону.

Отношенія, сложившіяся между разными эмиграціями и англичанами, могли бы сами по себѣ дать удивительные факты о химическомъ сродствѣ разныхъ народностей.

Англійская жизнь сначала ослішляеть німцевъ, подавляеть ихъ, потомъ пеглощаеть, или, лучше сказать, распускаеть ихъ въ плохихъ англичанъ. Німецъ, по большей части, если предпринимаеть какое-нибудь діло, тотчасъ брібется, поднимаеть воротнички рубашки до ушей, говорить уез, вмісто ја, и well тамъ, гдів ничего ненадобно говорить. Года черезъ два онъ пишеть по англійски письма и записки и живеть совершенно въ англійскомъ кругу. Съ англичанами німецы никогда не обходятся, какъ съ рав-

ными, а какъ наши мъщане съ чиновниками и наши чиновники

съ столбовыми дворянами.

Входя въ англійскую жизнь, нёмцы не въ самомъ дёлё дёлаются англичанами, но притворяются ими и долею перестають быть нѣмцами. Англичане въ своихъ сношеніяхъ съ иностранцами такіе же капризники, какъ во всемъ другомъ; они бросаются на прівзжаго, какъ на комедіанта или акробата, не дають ему нокоя, но едва скрывають чувство своего превосходства и даже ибкотораго отвращенія къ нему. Если прібзжій удерживаетъ свой костюмъ, свою прическу, свою шляпу, оскорбленный англичанинъ шпыняетъ надъ нимъ, но мало-по-малу привыкаетъ въ немъ видъть самобытное лицо. Если же испуганный сначала иностранецъ начинаетъ подлаживаться подъ его манеры, онъ не уважаеть его и снисходительно трактуеть его съ высоты своей британской надменности. Тутъ и съ большимъ тактомъ трудно найтиться иной разъ, чтобъ не согръщить по минусу или по илюсу; можно же себъ представить, что дълають нъмцы, лишенные всякаго такта, фамильярные и подобострастные, слишкомъ вычурные и слишкомъ простые, сентиментальные безъ причины и грубые безъ вызова.

Но если нѣмцы смотрять на англичанъ, какъ на высшее племя того же рода, и чувствуютъ себя ниже ихъ, то изъ этого не слѣдуетъ никакъ, чтобы отношеніе французовъ, и преимущественно французскихъ рефюжье, было умиѣе. Такъ, какъ нѣмецъ все безъ разбору уважаетъ въ Англіи, французъ протестуетъ противъ всего и ненавидитъ все англійское. Это доходитъ, само со-

бой разумбется, до уродливости самой комической.

Французъ, во-первыхъ, не можетъ простить англичанамъ, что они не говорятъ по-французски; во-вторыхъ, что они не понимаютъ, когда онъ Чарингъ-Кросъ называетъ Шаран'кро или Лестеръ-скверъ—Лесестеръ-скуаръ. Далѣе его желудокъ не можетъ переварить, что въ Англіп объдъ состоитъ изъ двухъ огромныхъ кусковъ мяса и рыбы, а не изъ ияти маленькихъ порцій всякихъ рагу, фритюръ, салми и пр. Затѣмъ, онъ не можетъ примириться съ «рабствомъ», по которому трактиры заперты въ воскресенье и весь народъ скучаетъ Богу, хотя вся Франція семь дней въ недѣлю скучаетъ Бонапарту. Затѣмъ, весь habitus, все хорошее и дурное въ англичанинъ ненавистно французу. Англичанинъ илатитъ ему той же монетой, но съ завистью смотритъ на покрой его одежды и каррикатурно старается подражать ему.

Все это очень замъчательно для изученія сравнительной физіологіи, и я совствить не для смъха разсказываю это. Нтиецъ, какъ мы замътили, сознаеть себя, по крайней мъръ, въ гражданскомъ отношеніи низшимъ видомъ той же породы, къ которой

принадлежить англичанинь, и подчиняется ему. Французь, принадлежащій къ другой породѣ, не настолько различной, чтобы быть равнодушнымь, какъ турокъ къ китайцу, ненавидить англичанина, особенно потому, что оба народа слѣпо убѣждены, каждый о себѣ, что они представляють первый народъ въ мірѣ. И нѣмецъ внутри себя въ этомъ увѣренъ, особенно auf dem theoretischen Gebite, но стыдится признаться.

Французь дъйствительно во всемь противуположенъ англичанину; англичанинъ существо берложное, любящее жить особнякомъ, упрямое и непокорное, французь—стадное, дерзкое, но легко насущееся. Отсюда два совершенно нараллельныя развитія, между которыми Ла-Маншъ. Французъ постоянно предупреждаетъ, во все мѣшается, всѣхъ воспитываетъ, всему поучаетъ; англичанинъ выжидаетъ, вовсе не мѣшается въ чужія дѣла и былъ бы готовъ скорѣе поучиться, нежели учить, но времени нѣтъ, въ лавку надо.

Два краеугольныхъ камня всего англійскаго быта: личная независимость и родовая традиція, для француза почти не существують. Грубость англійскихъ нравовъ выводитъ француза изъсебя, и она дъйствительно противна и отравляеть лондонскую жизнь, но за ней онъ не видитъ той суровой мощи, которою народъ этотъ отстоялъ свои права; того упрямства, вслъдствіе котораго изъ англичанина можно все сдълать, льстя его страстямъ, но не раба, всселящагося галунами своей ливреи, восхищающа-

гося своими цёпями, обвитыми лаврами.

Французу такъ дикъ, такъ непонятенъ міръ самоуправленія, децентрализаціи, своебычно, капризно разросшійся, что онъ, какъ долго ни живетъ въ Англіи, ея политической и гражданской жизни, ея правъ и судопроизводства не знаетъ. Онъ теряется въ неспѣтомъ разноначаліи англійскихъ законовъ, какъ въ темномъ бору, и совсѣмъ не замѣчаетъ, какіе огромные и величавые дубы составляютъ его и сколько прелести, поэзіи, смысла въ самомъ разнообразіи. То ли дѣло маленькой кодексъ съ посыпанными дорожками, съ подстриженными деревцами и съ полицейскими садовниками на каждой аллеѣ.

Опять Шекспиръ и Расинъ.

Видить ли французъ пьяныхъ, дерущихся у кабака, и полисмена, смотрящаго съ спокойствіемъ посторонняго и любопытствомъ человѣка, слѣдящаго за пѣтушинымъ боемъ,—онъ приходить въ неистовство, зачѣмъ полисменъ не выходить изъ себя, зачѣмъ не ведетъ кого-нибудь ап violon. Онъ и не думаетъ отомъ, что личная свобода только и возможна, когда полицейскій не имѣстъ власти отца и матери и когда его вмѣшательство сводится на страдательную готовность—до тѣхъ поръ, пока его по-

зовуть. Увъренность, которую чувствуетъ каждый бъднякъ, затворяя за собой дверь своей темной, холодной, сырой конуры, измъняетъ взглядъ человъка. Конечно, за этими строго наблюдаемыми и ревниво отстаиваемыми правами, иногда прячется преступникъ,—пускай себъ. Гораздо лучше, чтобъ ловкій воръ остался безъ наказанія, нежели чтобъ каждый честный человъкъ дрожалъ какъ воръ у себя въ комнатъ. До моего пріъзда въ Англію всякое появленіе полицейскаго въ домъ, въ которомъ я жилъ, производило непреодолимо скверное чувство, и я нравственно становился еп gardе противъ врага. Въ Англіи полицейскій у дверей и въ дверяхъ только прибавляетъ какое-то чувство безопасности.

Въ 1855, когда Жерсейскій губернаторъ, пользуясь особымъ безправіемъ своего острова, поднялъ гоненіе на журналъ «L'Homme» за письмо Ф. Піа къ королевъ и, не смѣя вести дѣло судебнымъ порядкомъ, велѣлъ В. Гюго и другимъ рефюжье, протестовавшимъ въ пользу журнала, оставить Жерсей,—здравый смыслъ и всѣ оппозиціонные журналы говорили имъ, что губернаторъ перешелъ власти, что имъ слѣдуетъ остаться и сдѣлать процессъ ему. «Daily News» обѣщалъ съ другими журналами взять на себя издержки. Но это продолжалось бы долго, да и какъ,— «будто возможно выпграть процессъ противъ правительства». Они напечатали новый грозный протестъ, грозили губернатору судомъ исторіи—и гордо отступили въ Гернсей.

Разскажу одинъ примъръ французскаго пониманія англійскихъ нравовъ. Однажды вечеромъ прибъгаетъ ко мнъ одинъ рефюжье п, послъ цълаго ряда ругательствъ противъ Англіи и англичанъ,

разсказываетъ мнъ слъдующую «чудовищную» исторію.

Французская эмпграція въ то утро хоронила одного изъ своихъ собратьевъ. Надо сказать, что въ томной и скучной жизни
изгнанія похороны товарища почти принимаются за праздникъ,—
случай сказать рѣчь, пронести свои знамена, собраться вмѣстѣ,
пройтись по улицамъ, отмѣтить кто былъ и кто не былъ, а потому демократическая эмиграція отправилась au grand complet. На
кладбищѣ явился англійскій пасторъ съ молитвенникомъ. Пріятель мой замѣтилъ ему, что покойникъ не былъ христіанинъ, и
что въ силу этого ему ненужна его молитва. Пасторъ, педантъ
и лицемѣръ, какъ всѣ англійскіе насторы, съ притворнымъ смиреніемъ и національной флегмой, отвѣчалъ: «Что можетъ покойнику и ненужна его молитва, но что ему по долгу необходимо
сопровождать каждаго умершаго молитвой на послѣднее жилище
сго». Завязался споръ, и такъ какъ французы стали горячиться
и кричать, упрямый пасторъ позвалъ полицейскихъ.

- Allons donc, parlez-moi de ce chien de pays avec sa sacrée li-

berté! прибавиль главный актерь этой сцены, послѣ покойника и пастора.

— Hy, что же сдълала, спросилъ я, la force brutale au service

du noir fanatisme?

— Пришли четыре полицейскихъ, et le chef de la bande спра-

шиваетъ: Кто говорилъ съ насторомъ?

Я прямо вышелъ внередъ—и, разсказывая, мой пріятель, объдавшій со мною, смотрълъ такъ, какъ нѣкогда смотрълъ Леонидъ, отправляясь ужинать съ богами,—с'est moi «Monsieur», car je me garde bien de dire «citoyen» 1) а сез gueux-là.—Тогда le chef des sbires съ величайшей дерзостью сказалъ мнѣ: «Переведите другимъ, чтобъ они не шумъли, хороните вашего товарища и ступайте по домамъ. А если вы будете шумъть, я васъ всъхъ велю отсюда вывести».—Я посмотрълъ на него, снявъ съ себя шляпу и громко что есть силы прокричалъ: Vive la République démосratique et sociale!

Едва удерживая смъхъ, я спросиль его:-Что же сдълаль «на-

чальникъ сбировъ»?

— Ничего—съ самодовольной гордостью зам'єтиль французъ.—Онъ переглянулся съ товарищами, прибавилъ: «Ну, д'єлайте, д'єлайте ваше д'єло!» и остался покойно дожидаться. Они очень хорошо поняли, что пм'єнотъ д'єло не съ англійской чернью... у нихъ тонкій носъ!

Что-то происходило въдушт серьезнаго, плотнаго и, втроятно, выпившаго констебля во время этой выходки? Пріятель и не подумаль о томь, что онъ могь себт доставить удовольствіе прокричать то же самое передъ окнами королевы у ртшетки Букингамскаго дворца, безъ малтипаго неудобства. Но еще замтительные, что ни мой пріятель, ни вст прочіе французы, при такомъ происшествій и не думають, что за подобную продтлку во Фран

<sup>1)</sup> Въ пояснение того, что мой красный пріятель употребляль въ разговорф съ полисменомъ слово "Monsieur", чтобы не употреблять во зло слово "Citoyen"-надо воть что разсказать. Въ одной изъ темныхъ, бъдныхъ и нечистыхъ улицъ лежащихъ между Сого и Лестеръ-Скверомъ, гдъ обыкновенно кочуетъ недостаточная часть эмиграціи, завель какой-то красный ликвористь небольшую аптеку. Идучи мимо, я зашелъ къ нему взять седативной воды. За прилавкомъ сидълъ онъ самъ, высокій, съ грубыми чертами, густыми, насупленными бровями, большимъ носомъ и ртомъ нъсколько на сторону. Настоящій утвідный террористи 94 года, къ тому же и бритый. — "Распалевой воды на 6 пенсовъ, Monsieur", сказалъ я. Онъ отвъщиваль какую-то траву, за которой пришла дъвочка, не обращая никакого вниманія на мой вопросъ; я могь досыта налюбоваться этимъ Collot d'Herbois, пока онь, наконець, принечаталь сургучемь уголки бумажнаго пакета, надписалъ п нотомъ довольно строго обратился ко миж съ plait-il?-- Распалевой воды на 6 пенсовъ, повторилъ н. Monsieur. Онъ посмотрълъ на меня съ какимъто свирёнымь выраженіемъ и, оглядівь сь головы до ногь, важнымь и густымь голосомъ сказаль мнъ: "Citoyen. s'il vous plait!"

ціи они бы пошли въ Кайенну или Ламбессу. Если же имъ это напомнишь, то отвътъ ихъ готовъ: А bas! C'est une halte dans la bone... се n'est pas normal!

А когда же у нихъ свобода была нормальна?

Антагонизмъ, нѣкогда выражавшійся возможнымъ Мартиномъ Лютеромъ и послюдовательнымъ Томасомъ Мюнцеромъ, лежитъ какъ сѣменныя доли при каждомъ зернѣ; логическое развитіе, расчлененіе всякой партіи непремѣню дойдетъ до обнаруженія его. Мы его равно находимъ въ трехъ невозможныхъ Гракхахъ, т. е., считая тутъ же Гракха Бабёфа, и въ слишкомъ возможныхъ Суллахъ и Сулукахъ всѣхъ цвѣтовъ. Возможна одна діагональ, возможенъ компромиссъ, стертое, среднее и потому соотвѣтствующее всему среднему: сословію, богатству, пониманью. Изъ Лиги и гугенотовъ—дѣлается Ганрихъ IV, изъ Стюартовъ и Кромвеля — Вильгельмъ Оранскій, изъ революціи и легитимизма—Людовикъ Филиппъ. Послѣ него антагонизмъ сталъ между возможной республикой и послѣдовательной; возможную назвали демократической, послѣдовательную соціальной—изъ ихъ столкновенія вышла имперія, но партіп остались.

Несговорчивыя крайности очутились въ Кайеннъ, Ламбессъ, Бель-Илъ, и долею за французской границей, преимущественно въ Англіи.

Какъ только они въ Лондонѣ перевели духъ и глазъ ихъ привыкъ различать предметы въ туманѣ, старый споръ возобновился съ особенной нетериимостью эмиграція, съ мрачнымъ характеромъ Лондонскаго климата.

Предсъдатель Люксенбургской комиссіп быль, de jure, главное лицо между соціалистами въ Лондонской эмиграціи. Представитель организаціи работь и эгалитарныхъ работничьихъ обществъ, онъ быль любимъ работниками; строгій по жизни, неукоризненной чистоты въ мижніяхъ, вѣчно работающій самъ, sobre, мастеръ говорить, популярный безъ фамильярности, смѣлый и виѣстѣ осторожный, онъ имѣлъ всѣ средства, чтобъ дѣйствовать на массу.

Съ другой стороны, Ледрю-Ролленъ представлялъ религіозную традицію 93 года, для него слова республика и демократія обнимали все: насыщеніе голодныхъ, право на работу, братство народовъ, паденіе пацы. Работниковъ было меньше около него, его хоръ состоялъ изъ сарасіте́я, то есть, изъ адвокатовъ, журналистовъ, учителей, клубистовъ и пр.

Двойство этихъ партій ясно, и именно по этому я никогда не умѣлъ понять, какъ Маццини и Луи Бланъ объясняли свое окончательное распаденіе частными столкновеніями. Разрывъ лежалъ въ самой глубинѣ ихъ возэрѣнія, въ задачѣ ихъ. Имъ виѣстѣ нельзя было идти, но, можетъ, ненужно было и ссориться публично.

Дъло соціализма и итальянское дъло различались, такъ сказать, чередомъ или степенью. Государственная независимость шла прежде, должна была идти прежде экономическаго устройства въ Италіи. Но тутъ нътъ мъста полемикъ, это скорье вопросъ о хронологическомъ раздълении труда, чъмъ о взаимномъ уничтоженін. ('оціальныя теоріп м'єшали прямому, сосредоточенному дъйствію Маццини, мъшали военной организаціи, которая для Италіп была необходима; за это онъ сердился, не соображая, что для французовъ такая организація только могла вредить. Увлекаемый нетерпимостью и итальянской кровью, онъ напаль на соціалистовъ п въ особенности на Луи Блана, въ небольшой брошюркт, оскорбительной и ненужной. По дорогт зацтинль онъ и другихъ, такъ, напримъръ, называетъ Прудона «демономъ»... Прудонъ хотълъ ему отвъчать, но ограничился только тъмъ, что въ следующей брошюрке назвалъ Мацини «архангеломъ». Я раза два говорилъ, шутя, Маццини: Ne reveillez pas le chat qui dort, а то съ такими бойцами трудно выйти безъ сильныхъ рубцовъ. Лондонскіе соціалисты отвѣчали ему тоже желчно, съ ненужными личностями и дерзкими выраженіями.

Другого рода вражда и вражда, больше основательная, была между французами двухъ революціонныхъ толковъ. Всё опыты соглашенія формальнаго республиканизма съ соціализмомъ были неудачны, и дёлали только очевидите неоткровенность уступокъ и непримиримый раздоръ; черезъ ровъ, ихъ раздёлявшій, ловкій акробатъ бросилъ свою доску и провозгласилъ себя на ней им-

ператоромъ.

Провозглашеніе имперіи было гальваническимъ ударомъ, су-

дорожно вздрогнули сердца эмигрантовъ и ослабли.

Это быль печальный, тоскливый взглядь больного, убъдпвшагося, что ему не встать безъ костылей. Усталь, скрытная безнадежность стала овладъвать тъми и другими. Серьезная полемика начинала блъднъть, сводиться на личности, на упреки, обвиненія.

Еще года два оба французскіе стана продержались въ агрессивной готовности, одинъ празднуя 24 февраля, другой іюльскіе дни. Но къ началу крымской войны и къ торжественной прогулкъ Наполеона съ королевой Викторіей по Лондону—безсиліе эмиграціи стало очевидно. Самъ начальникъ лондонской Меtropolitan-Police Робертъ Менъ засвидътельствовалъ это. Когда консерваторы благодарили его, послъ посъщенія Наполеона, за ловкія мъры, которыми онъ предупредилъ всякую демонстрацію со стороны эмигрантовъ, онъ отвъчаль: «Эта благодарность мною вовсе не заслужена, благодарите Ледрю-Роллена и Луи Блана». Признакъ, еще больше намекавшій на близкую кончину, обна-

ружился около того же времени въ подраздёленіяхъ партій во имя лицъ или личностей, безъ серьезныхъ причинъ.

Партін эти составлялись такъ, какъ иногда компонисты придумывають въ операхъ партіп для Гризи и Лаблаша не потому, чтобъ эти партіи были необходимы, а потому, что Гризи или Лаблаша надобно было употребить...

...Они просидъли до поздней ночи, вспомпная о 1848 годъ; когда я проводилъ ихъ на улицу и возвратился одинъ въ мою комнату, мною овладъла безконечная грусть, я сълъ за свой письменный столъ и готовъ былъ плакать...

Я чувствоваль то, что должень ощущать сынь, возвращаясь послё долгой разлуки въ родительскій домь; онь видить, какъ въ немъ все почернёло, покривилось, отець его постар'яль, не зам'я того, сынъ очень зам'ячаеть и ему т'ясно, онъ чувствуеть близость гроба, скрываеть это, но свиданье не оживляеть его, не радуеть, а утомляеть.

Барбесъ, Луи Бланъ! въдь, это все старые друзья, почетные друзья кипучей юности. Histoire de dix ans, процессъ Барбеса передъ камерой пэровъ, все это такъ давно обжилось въ головъ, въ сердцъ, со всъмъ съ этимъ мы такъ сроднились, —и вотъ они налицо.

Самые злые враги ихъ никогда не осмъливались заподозръть неподкупную честность Луи Блана или набросить тънь на рыцарскую доблесть Барбеса. Обонхъ всѣ видѣли, знали во всѣхъ положеніяхъ, у нихъ не было частной жизни, не было закрытыхъ дверей. Одного изънихъмы видъли членомъ правительства, другого за полчаса до гильотины. Въ ночь передъ казнію Барбесь не спалъ, а спросилъ бумаги и сталъ писать; строки эти сохранились, я ихъ читалъ. Въ нихъ есть французскій идеализмъ, религіозныя мечты, но ни тіни слабости; его духь не смутился. не уныль; съ яснымъ сознаніемъ приготовлялся онъ положить гелову на плаху и покойно писаль, когда рука тюремщика сильно стукнула въ дверь; «это было на разсвътъ, я (и это онъ мнъ разсказалъ самъ) ждалъ исполнителей», но вмѣсто палачей, взощла его сестра и бросилась къ нему на шею. Она выпросила, безъ его въдома, у Людовика Филиппа перемъну наказанія, и скакала на почтовыхъ всю ночь, чтобъ успъть.

Колодникъ Людовика Филиппа, черезъ нѣсколько лѣтъ, является на верху цивическаго торжества: цѣпп сняты ликующимъ народомъ, его везутъ въ тріумфѣ по Парпжу. Но прямое сердце Барбеса не смутилось, онъ явился первымъ обвинителемъ временнаго правительства за руанскія убійства. Реакція росла около него, спасти республику можно было только дерзкой отвагой, и Бабресъ 15 мая сдѣлалъ то, чего не дѣлали ни Ледрю-Ролленъ, ни Луи Бланъ, чего испугался Косидьеръ! Сопр d'état не удался,

и Барбесъ, колодникъ республики, снова передъ судомъ. Онъ въ Буржъ такъ же, какъ въ камеръ пэровъ, говоритъ законникамъ мѣ-щанскаго міра, какъ говорилъ гръшному старцу Пакъе: «Я васъ не признаю за судей, вы враги мон, я вашъ военноплънный, дълайте со мною, что хотите, но судьями я васъ не признаю». И снова тяжелая дверь пожизненной тюрьмы затворилась за нимъ.

Случайно, противъ своей воли, вышелъ онъ изъ тюрьмы; Наполеонъ его вытолкнулъ изъ нея почти въ насмѣшку, прочитавъ во время крымской войны письмо Барбеса, въ которомъ онъ, въ припадкъ гальскаго шовпнизма, говоритъ о военной славъ Франціи. Барбесъ удалился было въ Испанію, перепуганное и тупое правительство выслало его. Онъ уѣхалъ въ Голландію, и тамъ нашелъ покойное, глухое убъжище.

И вотъ этотъ-то герой и мученикъ, вмѣстѣ съ однимъ изъ главныхъ дѣятелей февральской республики, съ первымъ государственнымъ человѣкомъ соціализма, вспоминали и обсуживали прошедшіе дни славы и невзгодья!

А меня давила тяжелая тоска, я съ несчастной ясностью видълъ, что они тоже принадлежать исторіи *другого десятилютія*, которая окончена до послъдняго листа, до переплета!

Окопчена не для нихъ лично, а для всей эмиграціи и для всъхъ теперешнихъ политическихъ партій. Живыя и шумныя десять, даже пять, лътъ тому назадъ, онъ вышли и русла пхъ теряются въ пескъ, воображая, что все текутъ въ океанъ. У нихъ нътъ больше ни тъхъ словъ, которыя, какъ слово: республяка, пробуждали цёлые народы, ни тёхъ пёсенъ, какъ марсельеза. которыя заставляли содрогаться каждое сердце. У нихъ и враги не той же величины, и не той же пробы. Казните Наполеона, изъ этого не будетъ 21 января; разберите по камнямъ Мазасъ, изъ этого не выйдетъ взятія Бастиліп!  $Tor\partial a$ , въ этихъ громахъ и молніяхъ, раскрывалось новое откровеніе, откровеніе государства, основаннаго на разумъ, новое искупление изъ средневъкового мрачнаго рабства. Съ тъхъ поръ искупление революцией обличилось несостоятельнымь, на разумъ государство не устроплось. Политическая реформація выродилась, какъ и религіозная, въ риторическое пустословіе, охраняемое слабостью однихь и лицемъріемъ другихъ. Марсельеза остается гимномъ прошедшаго, какъ Gottes feste Burg, звуки той и другой пъсни вызывають и теперь рядъ величественныхъ образовъ, какъ въ Макбетовскомъ процессъ тъней-все цари, но все мертвые.

Послъдній едва еще виденъ въ синну, а объ новомъ только слухи. Мы въ межодущерствіи: пока до наслъдника, полиція все захватила, во имя наружнаго порядка. Тутъ не можетъ быть и ръчи о правахъ, это временныя необходимости, это lynch law въ исторін, экзекуція, оцтиленіе, карантинная мтра. Новый порядокт, совмъстившій все тяжкое монархіи и все свиртное якобинизма, огражденть не идеями, не предразсудками, а страхами и неизвъстностями. Пока одни боялись, другіе ставили штыки и занимали мтста. Первый, кто прорветь ихть цтвь, пожалуй, и займеть главное мтсто, занятое полиціей, только онть и самть сдтавется сейчасть квартальнымъ.

Это напоминаеть намь, какъ Косидьеръ вечеромъ 24 февраля пришелъ въ префектуру съ ружьемъ въ рукѣ, сѣлъ въ кресла только что бѣжавшаго Делесера, позвалъ секретаря, сказалъ ему, что онъ назначенъ префектомъ, п велѣлъ подать бумаги. Секретарь такъ же почтительно улыбнулся, какъ Делесеру, такъ же почтительно поклонился и пошелъ за бумагами, и бумаги пошли своимъ чередомъ, ничего не перемѣнилось, только ужинъ Делесера съѣлъ Косидьеръ.

Многіе узнали пароль префектуры, но лозунга исторіи не знають. Они хотъли, чтобъ старому порядку быль нанесенъ ударъ, но не смертельный.

И воть почему, если они снова сойдуть на арену, они ужаснутся людекой неблагодарности, и пусть останутся при этой мысли, пусть думають, что это одна неблагодарность. Мысль эта мрачна, но легче многихь другихъ.

А еще лучше имъ вовсе не ходить туда, пусть они намъ и нашимъ дътямъ повъствують о своихъ великихъ дълахъ. Сердиться за этотъ совъть нечего, живое мъняется, неизмънное становится памятникомъ. Они оставили свою бразду такъ, какъ свою оставять за ними идущіе, и ихъ обгонитъ въ свою очередь свъжая волна, а потомъ все, бразды... живое и памятники, все поврестся всеобщей амнистіей въчнаго забвенія!

На меня сердятся многіе за то, что я высказываю эти вещи. «Въ вашихъ словахъ, говорилъ мнѣ очень почтенный человѣкъ, такъ и слышится посторонній зритель».

А, въдь, я не постороннимъ пришелъ въ Европу. Постороннимъ я сдълался. Я очень выносливъ, но выбился, наконецъ, изъ силъ.

Я пять лѣтъ не видаль свѣтлаго лица, не слыхалъ простого смѣха, понимающаго взгляда. Все фельдшеры были возлѣ, да прозекторы. Фельдшеры все пробовали лечить, прозекторы все указывали имъ по трупу, что они ошиблись,—ну, и я, наконецъ, схватилъ скальпель; можетъ, рѣзнулъ слишкомъ глубоко съ непривычки.

Говорилъ я не какъ посторонній, не для упрека, говорилъ оттого, что сердце было полно, оттого, что общее непониманье выводило изъ терпънія. Что я раньше отрезвълъ, это миж ничего

не облегчило. Это и изъ фельдшеровъ только самые илохіе самодовольно улыбаются, глядя на умирающаго. «Вотъ, молъ, я сказалъ, что онъ къ вечеру протянеть ноги, онъ и протянулъ».

Такъ зачёмъ же я вынесъ?

Въ 1856 году, лучшій изъ всей нёмецкой эмиграціи человією. Карлю Шурцю, прівзжаль изъ Висконсина въ Европу. Возвращаясь изъ Германіи, онъ говориль мні, что его поразило нравственное запуствніе материка. Я перевель ему, читая, мон Западныя Арабески, онъ оборонялся отъ монхъ заключеній, какъ отъ привидінія, въ которое человісь не хочеть вірить, но котораго боится.

— Человъкъ, сказалъ онъ мет, который такъ понимаеть со-

временную Европу, какъ вы, долженъ бросить ес.

— Вы такъ и поступили, замътиль я.

— Отчего же вы этого не дълаете?

— Очень просто: я могу вамъ сказать такъ, какъ одинъ честный нъмецъ прежде меня отвъчалъ въ гордомъ припадкъ самобытности: «у меня въ Швабіи есть свой король»,—у меня въ

Россіи есть свой народъ!

Сходя съ вершинъ въ средніе слои эмиграціи, мы увидимъ, что большая часть была увлечена въ изгнаніе благороднымъ порывомъ и риторикой. Люди эти жертвовали собой за слова, т. е. за ихъ музыку, не дазая себѣ никогда яснаго отчета въ смыслъ ихъ. Они ихъ любили горячо и вѣрили въ нихъ, какъ католики любили и вѣрили въ латинскія молитвы, не зная по-латыни. La fraternité universelle comme base de la république universelle—это кончено и принято! Point de salariés, et la solidarité des peuples!—и, покраснъйте, этого иному достаточно, чтобъ идти на баррикаду, а ужъ коли французъ пойдетъ, онъ съ нея не побъжитъ.

Pour moi, voyez vous, la république n'est pas une forme gouvernementale, c'est une religion, et elle ne sera vraie que lorsqu'elle le sera, говорилъ мий одинъ участникъ всъхъ возстаній со времени Ламарковскихъ похоронъ. Et lorsque la religion sera une république, добавилъ я. Précisement! отвйчалъ онъ, очень довольный тъмъ, что я вывернулъ на изнанку его фразу.

Массы эмиграціи представляють своего рода вѣчно открытое угрызеніе совѣсти, передъ глазами вождей. Въ нихъ всѣ пхъ недостатки являются въ томъ преувеличенномъ и смѣшномъ видѣ, въ которомъ парижскія моды являются гдѣ-нибудь въ русскомъ уѣздномъ городѣ.

И во всемь этомъ есть бездна напвнаго. За декламацей на

первомъ планъ, la mise en scene.

Античныя драпри и торжественная постановка конвента такъ

поразила французскій умъ своей грозной поэзіей, что, напр., съ именемъ республики ея энтузіасты представляють не внутренную перем'вну, а праздникъ федерализаціи, барабанный бой и заунывные звуки tocsin. Отечество возвъщается въ опасности. народъ встаетъ массой на его защиту, въ то время какъ около деревьевъ свободы празднуется торжество цивизма; дфвушки въ бёлыхъ платьяхъ плящуть подъ напёвъ патріотическихъ гимновъ и Франція въ фригійской шапкѣ посылаетъ громадныя

армін для освобожденія народовъ и низверженія царей.

Главный баласть всёхъ эмиграцій, особенно французской, принадлежить буржуазін; этимь характерь ихь уже обозначень. Марка или штемпель мъщанства такъ же трудно стирается, какъ печать, которую прикладывають наши семинаріи своимъ ученикамъ. Собственно купцовъ, лавочниковъ, хозяевъ въ эмиграціи мало и тъ понали въ нее какъ-то невзначай, вытолкнутые большей частью изъ Франціп послі 2 декабря, за то, что не догадались, что на нихъ лежить священная обязанность измёнить конституцію. Ихъ тъмъ больше жаль, что положеніе пхъ совершенно комическое, они потеряны въ красной обстановкт, которой дома не знали, а только боялись; въ силу національной слабости имъ хочется себя выдавать за гораздо большихърадикаловъ, чёмъ они въ самомъ дълъ; но не превыкнувъ къ революціонному jargon, они, къ ужасу новыхъ товарищей, безпрестанно впадаютъ въ орлеанизмъ. Разумфется, они были бы всф рады возвратиться, если-бъ point d'honneur, единственная крѣпкая, нравственная сила современнаго француза, не воспрещалъ просить дозволенія.

Надъ ними стоящій слой составляеть лейбъ-компанейскую роту эмиграціи: адвокаты, журналисты, литераторы и нѣсколько

военныхъ.

Большая часть изъ нихъ искали въ революціи общественнаго положенія, но при быстромь отливь, они очутились на англійской отмели. Другіе—безкорыстно увлеклись клубной жизнію и агитаціями, риторика довела ихъ до Лондона, сколько волею, а вдвое того неволею. Въ ихъ числѣ много чистыхъ и благородныхъ людей, но мало способныхъ; они попали въ революцію по темпераменту, по отвагъ человъка, который бросается, слыша крикъ, въ ръку, забывая объ ея глубинъ и о своемъ неумъніи плавать.

За этими дѣтьми, у которыхъ, по несчастію, посѣдѣли узкія бородки и и всколько очистился отъ волосъ остроконечный гальскій черепъ, стояли разныя кучки работниковъ, гораздо болье серьезныхъ, не столько связанные въ одно наружностію, сколько

духомъ и общимъ интересомъ.

Ихъ революціонерами поставила сама судьба; нужда и развитіе сдълали ихъ практическими соціалистами; оттого-то ихъ дума

реальнъе, ръшимость тверже. Эти люди вынесли много лишеній, много униженій, и притомъ молча, это даетъ большую кръпость; они переплыли Ламаншъ не съ фразами, а со страстями и ненавистями. Подавленное положеніе спасло ихъ отъ буржуазной suffisance, они знають, что имъ некогда было образоваться, они хотятъ учиться; въ то время, какъ буржуа не больше ихъ учился, но совершенно доволенъ знаніемъ.

Оскорбленные съ дѣтства, они ненавидятъ общественную неправду, которая ихъ столько давила. Тлѣтворное вліяніе городской жизни и всеобщей страсти стяжанія превратило у многихъ эту ненависть въ зависть; они, не давая себъ отчета, тянутся въ буржуазію и териѣть ея не могутъ, такъ, какъ мы не можемъ териѣть счастливаго соперника, страстно желая занять его мѣсто

или отомстить ему его наслажденія.

Французская эмиграція, какъ и всё другія, увезла съ собой въ изгнаніе и ревниво сохранила всё раздоры, всё партін. Сумрачная среда чужой и непріязненной страны, не скрывавшей, что она хранить свое право убижища не для ищущихь его, а изъ уваженія къ себъ, раздражала нервы.

А туть оторванность отъ людей и привычекъ, невозможность передвиженія. Столкновенія стали злѣе, упреки въ прошедшихъ ошибкахъ—безпощаднѣе. Оттѣнки партій расходились до того, что старые знакомые прерывали всѣ спошенія, не кланялись...

Были дъйствительные, теоретические и всяческие раздоры; но рядомъ съ идеями стояли лица; рядомъ со знаменами—собственныя имена, рядомъ съ фанатизмомъ— зависть, и съ откровен-

нымъ увлечениемъ-наивное самолюбие.

Года черезъ полтора послѣ соир d'état, пріѣхалъ въ Лондонъ Феликсъ Піа изъ Швейцаріи. Бойкій фельетонисть, онъ былъ извѣстенъ процессомъ, который имѣлъ, скучной комедіей Діогенъ, понравившейся французамъ своими сухими и тощими сентенціями, наконець, усиѣхомъ «Ветошника» на сценѣ Porte Saint-Martin. Объ этой пьесѣ я когда-то писалъ цѣлую статью 1). Феликсъ Піа былъ членомъ послѣдняго законодательнаго собранія, сидѣлъ на горѣ, подрался какъ-то въ палатѣ съ Прудономъ, замѣшался въ протестъ 13 іюня 1849 г. п, вслѣдствіе этого, долженъ былъ оставить Францію тайкомъ. Уѣхалъ онъ, какъ и я, съ молдавскимъ видомъ и ходилъ въ Женевѣ въ костюмѣ ка-

— Затъмъ, отвъчалъ онъ, что если-бъ я огорчилъ нарижанъ мрачной судьбой старика и дъвушки, на другое представление никто бы не пошелъ.

<sup>1)</sup> Письма изъ Avenue Marigny. "Зачѣмъ вы испортили вашего Chiffonnier, навязавъ ему въ концѣ счастливую развязку, портящую и нравственность пьесы, и ен артистическое единство?" спросилъ я разъ Піа.

кого-то мавра, въроятно для того, чтобъ его всъ узнали. Въ Лозаннъ, куда онъ переъхаль, составился у Ф. Піа небольшой кругь почитателей изъ французскихъ изгнанниковъ, жившихъ манною его острыхъ словъ и крупицами его мыслей. Горько ему было изъ кантональныхъ вождей перейти въ какую-нибудь изъ лондонскихъ партій. Для лишняго кандидата на великаго человъка не было партій; пріятели и поклонники его выручили изъ бъды: они выдълились изъ всъхъ прочихъ партій и назвались лондонской революціонной коммуной.

La Commune révolutionnaire должна была представлять самую красную сторону демократів и самую коммунистическую соціализма. Она считала себя въчно на чеку, въ самыхъ тъсныхъ связяхъ съ «Марьяной» и съ тъмъ вмъстъ върнъйшей предста-

вительницей Бланки in partibus infidelium.

Мрачный Бланки, суровый педанть и доктринеръ своего дёла, аскеть, исхудавшій въ тюрьмахь, расправиль въ образѣ Ф. Піа свои морщины, подкрасиль въ алый цвѣть свои черныя мысли и сталь морить со смѣху Парижскую коммуну въ Лондонѣ. Выходки Ф. Піа въ его письмахъ къ королевѣ, къ Валевскому, котораго онъ назваль ех-réfugié и ех-Polonais, не-принцемъ и пр., были очень забавны; но въ чемъ сходство съ Бланки, я никакъ не могь добраться; да и вообще, въ чемъ состояла отличительная черта, дѣлившая его отъ Луи-Блана, напр., простымъ глазомъ видѣть было трудно.

Тоже должно сказать о Жерсейской партіп Виктора Гюго.

Викторъ Гюго никогда не былъ въ настоящемъ смыслѣ слова политическимъ дѣятелемъ. Онъ слишкомъ ноэтъ, слишкомъ нодъ вліяніемъ своей фантазіи, чтобы быть имъ. И, конечно, я это говорю не въ норицаніе ему. Соціалистъ-художникъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ былъ поклонникомъ военной славы, республиканскаго разгрома, средневѣковаго романтизма и бѣлыхъ лилій,—виконтъ и гражданинъ, пэръ орлеанской Франціи и агитаторъ 2 декабря; это—пышная, великая личность; но не глава партіп, несмотря на рѣшительное вліяніе, которое онъ имѣлъ на два поколѣнія. Кого не заставилъ задуматься надъ вопросомъ о смертной казни «Послѣдній день осужденнаго»? Въ комъ не возбуждали чего-то въ родѣ угрызеній совѣсти его рѣзкія, страшно и странно освѣщенныя, на манеръ Турнера, картины общественныхъ язвъ бѣдности и рокового порока?

Февральская революція застала Гюго въ расплохъ: онъ не понять ея, удивился, отсталь, надълалъ бездну ошибокъ, пока реакція въ свою очередь не опередила его. Приведенный въ негодованіе цензурой театральныхъ пьесъ и римскими дѣлами, онъ явился на трибунѣ собранія съ рѣчами, раздавшимися по всей

Франціи. Успѣхъ и рукоплесканія увлекали его дальше и дальше. Наконець, 2 декабря 1851, онъ сталъ во весь рость: онъ, въ виду штыковъ и заряженныхъ ружей, звалъ народъ къ возстанію; подъ пулями протестовалъ противъ соир d'état и удалился изъ франціи, когда нечего было въ ней дѣлать. Раздраженнымъ львомъ отступилъ онъ въ Жерсей; оттуда, едва переводя духъ, онъ бросилъ въ императора своего «Napoléon le petit», потомъ свои «Châtiments». Какъ ни старались бонапартскіе агенты примирить стараго поэта съ новымъ дворомъ—не могли. «Если останутся хоть десять французовъ въ изгнаніи, и я останусь съ ними; если три, я буду въ ихъ числѣ; если останется одинъ, то этотъ изгнанникъ буду я. Я не возвращусь иначе, какъ въ свободную Францію».

Отъбздъ Гюго изъ Жерсея въ Гернсей, кажется, убъдиль еще больше его друзей и его самого въ его политическомъ значеніи, въ то время, какъ отъбздъ этотъ могъ только убъдить въ противномъ. Дѣло было такъ. Когда Ф. Піа написалъ свое письмо къ королевѣ Викторіи, послѣ посѣщенія ею Наполеона, онъ прочиталъ его на митингѣ и отослалъ его въ редакцію L'Homme. Свентославскій, нечатавшій L'Homme на свой счетъ въ Жерсеѣ, былъ тогда въ Лондонѣ и вмѣстѣ съ Ф. Піа пріѣзжалъ ко мнѣ; уходя, онъ ответъ меня въ сторону и сказалъ, что ему знакомый его lawyer сообщилъ, что за это письмо легко можно преслѣдовать журналъ въ Жерсеѣ, состоящемъ на положеніи колоній, а Ф. Піа непремѣню хочетъ въ L'Homme. Свентославскій сомнѣвался и хотъть знать мое мнѣніе.

— Не печатайте.

— Да, я и самъ думаю такъ, только вотъ что скверно: онъ подумаетъ, что я испугался.

— Какъ же не бояться при теперешнихъ обстоятельствахъ

потерять нъсколько тысячъ франковъ.

-- Вы правы. Этого я не могу, не долженъ дълать.

Свентославскій, такъ премудро разсуждавшій, убхаль въ Жерсей и письмо напечаталь.

Слухи носились, что министерство хотъло что-то сдълать. Англичане были обижены за тонъ, съ которымъ Ф. Піа обращался къ Квинъ. Первымъ результатомъ этихъ слуховъ было то, что Ф. Піа пересталъ ночевать у себя дома: онъ боллея въ Англіи visite domiciliaire и ночного ареста за напечатанную статью! Преслъдовать судомъ правительство и не думало; министры подмигнули Жерсейскому губернатору, или какъ тамъ онъ у нихъ называется, и тотъ, пользуясь беззаконными правами, которыя существуютъ въ колоніяхъ, велълъ Свентославскому выбхать съ острова. Свентославскій протестоваль, и съ нимъ

человѣкъ десять французовъ, въ томъ числѣ В. Гюго. Тогда полицейскій Наполеонъ Жерсея велѣлъ выѣхать всѣмъ протестовавшимъ. Имъ слѣдовало не слушаться до нельзя; пусть бы полиція схватила кого-нибудь за шиворотъ и выбросила съ острова; тогда можно было бы поставить передъ судомъ вопросъ о высылкѣ. Это и предлагали французамъ англичане. Процессы въ Англіп безобразно дороги; но издатели Daily News и другихъ либеральныхъ листовъ обѣщали собрать какую надобно сумму, найти способныхъ защитниковъ. Французамъ путь легальности показался скученъ и дологъ, противенъ, и они съ гордостью оставили Жерсей, увлекая за собой Свентославскаго и С. Телеки.

Объявленіе полицейскаго приказа В. Гюго особенно торжественно. Когда полицейскій чиновникъ вошель къ нему, чтобъ прочесть приказъ, Гюго позвалъ своихъ сыновей, сълъ, указалъ на стулъ чиновнику и, когда всф усфлись, -- какъ въ Россіи передъ отъбздомъ, — онъ всталъ и сказалъ: «Г. комиссаръ, мы дълаемъ теперь страницу исторіп (Nous faisons maintenant une page de l'histoire).—Читайте вашу бумагу». Полицейскій, ожидавшій, что его выбросять за двери, быль удивлень легкостью побъды; обязалъ Гюго подпиской, что онъ убдетъ, и ушелъ, отдавая справедливость учтивости французовъ, давшихъ даже ему стулъ. Гюго увхаль, и другіе съ нимь вивств оставили Жерсей. Большая часть поъхали не дальше Герисея; другіе отправились въ Лондонъ; дъю было проиграно и право высылать осталось непочатымъ. Серьезныхъ партій было только двѣ, т. е., партія формальной республики и насильственнаго соціализма: Ледрю-Ролленъ и Луи-Бланъ. О послъднемъ я еще не говорилъ, а зналъ я его почти больше, чёмъ всёхъ французскихъ изгнанниковъ.

Нельзя сказать, чтобъ воззрѣніе Луи-Блана было неопредѣленно,—оно во всѣ стороны обрѣзано какъ ножемъ. Луи-Бланъ въ изгнаніи пріобрѣлъ много фактическихъ свѣдѣній (по своей части, т. е., по части изученія первой французской революціи),—нѣсколько устоялся и успокоплся; но въ сущности своего воззрѣнія не подвинулся ни на одинъ шагъ съ того времени, какъ писалъ «Исторію десяти лѣтъ» и «Организацію труда». Осѣвшее

и устоявшееся было то же самое, что бродило смолоду.

Въ маленькомъ тѣльцѣ Луи-Блана живетъ бодрый и круто сложившійся духъ, très-éveillé, съ сильнымъ характеромъ, со своей опредѣлено вываянной особенностью, и притомъ совершенно французскій. Быстрые глаза, скорыя движенія, придаютъ ему какой-то вмѣстѣ подвижной и точеный видъ, нелишенный граціи. Онъ похожъ на сосредоточеннаго человѣка, сведеннаго на наименьшую величину, въ то время какъ колоссальность его противника, Ледрю-Роллена, похожа на разбухнувшаго ребенка, на

карлика въ огромныхъ размърахъ, или подъ увеличительнымъ стекломъ. Они оба могли бы чудесно играть въ Гуливеровомъ путешествіи. Луи-Бланъ, — и это большая сила и очень ръдкое свойство, —мастерски владъетъ собой; въ немъ много выдержки, и онъ въ самомъ пылу разговора, не только публично, но и въ прінтельской беста, никогда не забываетъ самыхъ сложныхъ отношеній, никогда не выходитъ изъ себя въ споръ, не перестаетъ весело улыбаться, — и никогда не соглашается съ противникомъ. Онъ мастеръ разсказывать и, несмотря на то, что много говоритъ, какъ французъ, —никогда не скажетъ лишняго слова, какъ корсиканецъ.

Онъ занимается только Франціей, знаетъ только Францію и ничего не знаетъ «развъ ее». Событія міра, открытія науки, землетрясенія и наводненія занимають его по той мъръ, по которой они касаются Франціи. Говоря съ нимъ, слушая его тонкія замъчанія, его замъчательные разсказы, легко изучать характеръ французскаго ума и тъмъ легче, что мягкія, образованныя формы его не имъють въ себъ ничего вызывающаго раздражительную колкость 1).

Когда я ближе познакомился съ Лун-Бланомъ, меня поразилъ внутренній невозмутимый покой его. Въ его разумънін все было въ порядкъ и ръшено; тамъ не возникало вопросовъ, кромъ второстепенныхъ, прикладныхъ. Свои счеты онъ свелъ: ег war im Klaren mit sich; ему было нравственно свободно, какъ человъку, который знаетъ, что онъ правъ.—Въ частныхъ ошибкахъ своихъ, въ промахахъ друзей онъ сознавался добродушно; теоретическихъ утрызеній совъсти у него не было. Опъ былъ доволенъ собой послѣ разрушенія республики 1848 г. Умъ его, подвижной въ сжедневныхъ дѣлахъ и подробностяхъ, — былъ японски неподвиженъ во всемъ общемъ. Эта незыблемая увъренность въ основахъ, однажды принятыхъ. слегка провѣтриваемая холоднымъ раціональнымъ вътеркомъ, прочно держалась на нравственныхъ подпорочкахъ, сплу которыхъ онъ никогда не испытывалъ, потому что върпъ въ нее. Мозговая религіозность и отсутствіе скептическаго сосанія подъ ложкой обводили его китайской стѣной, за которую нельзя было забросить ни одной новой мысли, на одного соливънія.

<sup>1)</sup> Все это, за исключеніемъ нѣкоторыхъ добавокъ и поправокъ, писано лѣтъ десять тому назадъ. Я долженъ признаться, что послѣднія событія заставили меня отчасти измѣнить мое мнѣніе о Луп-Бланѣ. Онъ дѣйствительно сдѣлатъ иматъ впередъ—п, какъ слѣдовало ожидать отъ якобинскихъ старообрядцевъ, онъ ему не прошелъ даромъ. "Что дѣлать, говорилъ мнѣ Луп-Бланъ, еще въ разгарѣ Мексиканской войны:—честь нашего знамени компрометирована". Мнѣніе чисто французское и совершенно противочеловѣческое. Впдно, оно сильно мучило Луп-Бланъ. Черезъ годъ, за обѣдомъ, который давали въ Брюсселѣ В. Гюго послѣ изданія "Les Misérables", Лун-Бланъ въ своей рѣчи сказаль: "Горе народу, когда его понятіе о чести вообще не совиадаетъ съ понятіемъ военной чести". Тутъ быль цѣлый переворотъ. Опъ-то и обличился при началѣ послѣдней войны. Энергическія, полныя мѣткости и истинъ статъи Луп-Блана, помѣщаемыя въ Le Temps, возбудили грозу Siècle'я и Opinion Nationale: они чуть не выдали Лун-Блана за австрійскаго агента; я выдали бы совсѣмъ, если-оъ онъ не пользовался дѣйствительно заслуженной репутаціей—чистоты.

Я пногда, шутя, останавливалъ его на общихъ мъстахъ. которыя онъ, въроятно, повторялъ годы, не думая, чтобъ можно было возражать на такія почтенныя истины, и самъ не возражая: жизнь человъка великій соціальный долгъ; человъкъ долженъ постоянно приносить себя на жертву обществу.

- Зачъмъ? спросилъ я вдругъ.
- Какъ зачёмъ? Помилуйте: вся цёль, все назначеніе лица— благосостояніе общества.
- Оно никогда не достигнется, если всѣ будутъ жертвовать и никто не будеть наслаждаться.
  - Это игра словъ.
  - Варварская сбивчивость понятій, говориль я, смёясь.
- Мнѣ никакъ не дается матеріалистическое понятіе о духѣ,— говориль онъ разъ,—все же духъ и матерія различны; они тѣсно связаны, такъ тѣсно, что и не являются врозь, но все же они не одно и то же и, видя, что какъ-то доказательство идетъ илохо, онъ вдругъ прибавиль:—Ну вотъ, я теперь закрываю глаза и воображаю моего брата, вижу его черты, слышу его голосъ; гдѣ же матеріальное существованіе этого образа?

Я сначала думаль, что онъ шутить; но, видя, что онъ говорить совершенно серьезно, я замѣтиль ему, что образь его брата на сію минуту въ фотографическомъ заведеніи, называемомъ мозгомъ, и что врядъ ли существуетъ портреть Шарля-Блана отдѣльно отъ фотографическаго снаряда.

- Это совсёмъ другое дёло: матеріально въ моемъ мозгё нётъ изображенія моего брата.
  - Почемъ вы знаете?
  - А вы почемъ?
  - По наведенію.
- Кстати: это напоминаетъ мнъ преуморительный анекдотъ. И тутъ, какъ всегда, разсказъ о Дидро или m-me Tencin. очень милый, но вовсе не идущій къ дълу.

Въ качествъ преемника Максимиліана Робеспьера, Луи-Бланъ поклонникъ Руссо и въ колодныхъ отношеніяхъ съ Вольтеромъ. Въ своей исторіи онъ по-библейски раздѣлилъ всѣхъ дѣятелей на два стана. Одесную — агнцы братства; ошуюю — козлы алчности и эгоизма. Эгоистамъ, въ родѣ Монтеня, пощады нѣтъ, и ему досталось порядкомъ. Луи-Бланъ въ этой сортировкѣ ни на чемъ не останавливается и, встрѣтивъ финансиста Ло, смѣло зачислилъ его по братству, чего, конечно, отважный шотландецъ никогда не ожидалъ.

Въ 1856 году прівзжаль въ Лондонъ изъ Гааги Барбесъ. Луи-Бланъ привелъ его ко мив. Съ умиленіемъ смотрёлъ я на страдальца, который провелъ почти всю жизнь въ тюрьмъ. Я прежде видълъ его одинъ разъ, и гдъ? Въ окиъ Hôtel-de-Ville, 15 мая 1848 г., за нъсколько минутъ передъ тъмъ, какъ ворвавшаяся національная гвардія схватила его 1).

Я звалъ ихъ на другой день объдать; они пришли и мы про-

сидъли до поздней ночи.

Прежде чѣмъ мы перейдемъ къ этой дикой, стихійной силѣ, которая мрачно содрогается, скованная людскимъ насиліемъ и собственнымъ невѣжествомъ, и подъ часъ прорывается въ щели и трещины разрушительнымъ огнемъ, наводящимъ ужасъ и смятеніе,—остановимся еще разъ на послѣднихъ тамиліерахъ и классикахъ французской революціп,—на ученой, образованной, изгнанной, республиканской, журнальной, адвокатской, медицинской, сорбонской, демократической буржуазіи, которая участвовала лѣтъ десять въ борьбѣ съ Людовикомъ-Филиппомъ, увлекаясь событіями 1848 года, и осталась имъ вѣрной и дома, и въ пзгнаніи.

Въ ихъ рядахъ есть люди умные, острые, люди очень добрые, съ горячей религіей и съ готовностью ей пожертвовать всёмъ; но понимающихъ людей, людей, которые изслёдовали бы свое положеніе, свои вопросы такъ, какъ естествоиспытатель изслёдуетъ явленіе или паталогъ болёзнь, почти вовсе нётъ.

Скоръе полное отчанніе, презръніе къ лицамъ и дълу, скоръе праздность упрековъ и попрековъ, стоицизмъ, героизмъ, всъ лишенія, чъмъ изслъдованіе. Или такая же полная въра въ усиъхъ, безъ взвъшиванія средствъ, безъ уясненія практической цъли. Вмъсто нея удовлетворялись знаменемъ, заголовкомъ, общимъ мъстомъ: право на трудъ, уничтоженіе пролетаріата, республика и порядокъ, братство и солидарность всъхъ народовъ. Да какъ же все это устроить, осуществить? Это послъднее дъло. Лишь бы имъть власть; остальное сдълается декретами, илебисцитами. А не будутъ слушаться—Grenadiers, en avant armes! раз de charge... bayonnettes!

И религія террора, соир d'état, централизаціи, военнаго визшательства, сквозить въ дыры карманьолы и блузы. Несмотря на доктринерскій протесть нѣсколькихъ аттическихъ умовъ орлеанской партіи, отъ которыхъ разить Англіей на ружейный выстрѣлъ, терроръ былъ величественъ въ своей грозной неожиданности, въ своей неприготовленной, колоссальной мести; но оста-

<sup>1)</sup> До чего доходило остервенвие храшителей порядка въ этоть день можно изм'врить твмъ, что національная гвардія схватила на бульварѣ Луп-Блана, котораго вовсе не слѣдовало арестовать, и котораго полиція тотчась вельла освободить. Видя это, національный гвардеець, державшій его, схватиль его за палець, врызаль въ него свои ногии и повернуль послыдній суставъ.

навливаться на немъ съ любовью, но звать его безъ необходимости,— страшная ошибка, которой мы обязаны реакціею.

На меня комитеть общественнаго спасенія постоянно производить то впечатлёніе, которое я испытываль въ магазинъ Сharrière, гие de l'école de Médecine: со всёхъ сторонъ блестять зловёщимъ блескомъ стали кривыя, прямыя лезвея, ножницы, нилы, оружія въроятно спасенія, но навърно и боли. Операціи оправдываются успѣхомъ, а терроръ этимъ похвастаться не можеть. Онъ всей своей хирургіей не спасъ республики. Къ чему была сдѣлана Дантонотомія, къ чему Эбертотомія? Онѣ ускорили лихорадку термидора; а въ ней республика и зачахла; люди все также и еще больше бредили спартанскими добродѣтелями, латинскими сентенціями и латинизмами à la David; бредили до того, что Salus рориlі въ одинъ прекрасный день перевели на Salvum fac Ітрегатогет, и пропѣли его «соборне», во всемъ архіерейскомъ орнатѣ, въ Нотръ-Дамскомъ соборѣ.

Террористы были люди недюжинные. Суровые, ръзкіе образы ихъ глубоко выяснились въ пятомъ дъйствіи и въка останутся въ исторіи до тъхъ поръ, пока у рода человъческаго не зашибеть памяти; но нынъшніе французы-республиканцы на нихъ смотрятъ не такъ; они въ нихъ видятъ образцы и стараются быть кровожадными въ теоріи и въ наделедю приложенія.

Повторяя à la Saint-Just натяпутыя сентенцін пзъ хрестоматій и латинскихъ классовъ, восхищаясь холоднымъ, риторическимъ краснорѣчіемъ Робеспьера, они не допускають, чтобъ ихъ героевъ судили, какъ прочихъ смертныхъ. Человѣкъ, который бы сталъ говорить о нихъ, освобождаясь отъ обязательныхъ титуловъ, былъ бы обвиненъ въ ренегатствѣ, въ измѣнѣ, въ шиіонствѣ.

Изрѣдка встрѣчаль я, впрочемь, людей эксцентричныхь, сорвавшихся со своей торной, гуртовой дороги.

Зато уже французы въ этихъ случаяхъ, закусывая удила и усвопвая себъ какую-нибудь мысль, непринадлежащую къ суммъ оборотныхъ мыслей и пдей, доводять эту мысль до того черезъ край, что человъкъ, подавшій имъ ее, самъ съ ужасомъ отпрядываль отъ нихъ.

Въ 1854 году, докторъ Сœurderoi, посылая инв изъ Испаніи свою брошюру, написаль ко мнв письмо. Такой озлобленный крикъ противъ современной Франціи и ея послёднихъ революціонеровъ — мив рёдко удавалось слышать. Это былъ ответъ Франціи на легко перенесенный сопр d'état; онъ сомнѣвался въ умѣ, въ силѣ, въ крови своей расы; онъ зваль казаковъ для «поправленія выродившагося народонаселенія». Онъ писалъ ко мив потому, что нашелъ въ моихъ статьяхъ «то же воззрѣніе».

Я отвъчаль ему, что до исправительной трансфузіи крови не иду, и послать ему «Du Développement des idées révolutionnaires en Russie».

Cœurderoi не остался въ долгу; онъ отвътилъ мнъ, что возлагаетъ всю надежду на войско Николая, долженствующее разрушить до тла, безъ пощады и сожальнія, цивилизацію обветшавшую, испорченную, и которая не имбеть силь ни обновиться, ни умереть своей смертью.

Одно уцѣлѣвшее письмо его прилагаю:

## M. A. Herzen.

Santander, 27 mai.

Monsieur,

Que je vous remercie tout d'abord de l'envoi de votre travail sur les idées révolutionnaires et leur développement en Russie. J'avais déjà lu ce livre, mais il ne m'était pas resté entre les mains, et c'était pour moi un très grand regret.

C'est vous dire coinbien j'en apprécie la valeur comme fond et comme forme, et combien je le crois utile pour donner conscience à chacun des forces de la Révolution universelle, aux Français surtout qui ne la croient possible que par l'initiative du faubourg Saint-Antoine.

Puisque vous m'avez fait l'amitié de m'envoyer votre livre, permettezmoi, Monsieur, de vous en témoigner ma gratitude en vous disant ce que j'en pense. Non que j'attache de l'importance à mon opinion, mais pour vous prouver que j'ai lu avec attention.

C'est une belle étude, organique et originale, il y a là véritable vigueur, travail sérieux, vérités nues, passages profondément émouvants. C'est jeune et fort comme la race slave; on sent parfaitement que ce n'est ni un Parisien, ni un Paléologue, ni un Philistre d'Allemagne qui ont écrit des lignes aussi brûlantes; ni un républicain constitutionnel, ni un socialiste théocrate et modéré,—mais un Cosaque (vous ne vous effrayez pas de ce nom, n'est-ce pas?) grandement anarchiste, utopiste et poète, acceptant la négation et l'affirmation la plus hardie du XIX-e siècle. Ce que

peu de révolutionnaires français osent faire. ... Sur le point patriculier de la Rénovation ethnographique prochaine. j'ai trouvé dans vorte livre (surtout dans l'Introduction) bien des passages qui semblent se rapprocher de mon opinion. Quoique vos conclusions ne soient pas très nettement formulées sur ce point, je crois que vous comptez pour le succes de la Révolution sur la fédération démocratique des races slaves qui donneront à l'Europe l'impulsion générale. Il est bien entendu que nous ne différons pas pour le but: la Résurrection du Continent sous la forme démocratique et sociale. Mais je crois que le sac de la Civilisation sera fait par l'absolutisme. Là je vois toute la différence entre nous.

Oui, j'ai conçu ces convictions qu'on dit malheureuses, et j'y persiste parce que chaque jour je les trouve plus justes:

10 Que la force a quelque chose à voir dans les affaires de notre mi-

20 Qu'en étudiant la marche des événements révolutionnaires dans le temps et dans l'espace on se convainct que la force prépare toujours la Révolution que l'idée a démontrée nécessaire;

30 Que l'idée ne peut pas accomplir l'œuvre de sang et de destruction:

40 Que le despotisme, au point de vue de la rapidité, de la sûreté, de la possibilité d'exécutions, est plus apte que la démocratie à bouleverser un monde;

50 Que l'armée monarchique russe sera plutôt mise en mouvement

que la phalange démocratique slave;

60 Qu'il n'y a que la Russie en Europe assez compacte encore sous l'absolutisme, assez peu divisée par les intérêts propriétires et les partis pour faire bloc, coin, massue, graive, épée, et exécuter l'Occident et trancher le nœud gordien.

Là Là Là

Qu'on me montre une autre force capable d'accomplir une pareille tâche; qu'on me fasse voir quelque part une armée démocratique toute prête et décidée à frapper sur les peuples, les frères, et à faire couler le sang, à brûler, à abattre sans regarder derrière elle, sans hésiter. Et je changerai de manière de voir.

Avec vous, je voulais seulement bien spécifier la question et la limiter sur ce seul point, le moyen d'exécution générale de la civilisation

occidentale.

Je n'ai pas besoin de vous dire que notre appréciation sur le l'asse et l'Avenir est la même. Nous ne différons absolument que sur le Présent. Vous, qui avez si bien apprécié le rôle révolutionnaire de Pierre I-er, pourquoi ne pourriez-vous pas penser que tout autre, Nicolas ou l'un de ses successeurs, pût avoir un formidable rôle à accomplir? Quelle autre main plus puissante, plus large, plus capable de rassembler des peuples comquerants, voyez-vous à l'Orient? Avant que la démocratie slave ait trouvé un mot d'ordre et traduit le vague secret de ses aspirations, le tzar aura bouleversé l'Europe. Le sort des nations civilisées est dans son bras, s'il le veut. Le monde ne tremble-t-il pas parce qu'il a parlé un peu plus haut que d'habitude? Je vous l'avoue, cette force me frappe tellement, que je ne puis concevoir qu'on cherche à en voir une autre. Et les révolutionnaires sentent tellement la nécessité d'une dictature pour démolir qu'ils voudraient l'instituer eux-mêmes dans le cas de réussite d'une nouvelle Révolution. A mon sens, ils ne se trompent pas sur la nécessité du moyen, seulement il n'est ni dans leur rôle, ni dans leurs principes, ni dans leurs forces de l'employer. Moi j'aime même voir le Despotisme se charger de cette odieuse tâche de fossoyeur.

Cette lettre est déjà bien assez longue. Je voulais seulement préciser avec vous le point débattu. Ce qu'il faudrait maintenant entre nous, je le sens: ce serait une conversation dans laquelle nous avancerions plus en une heure que par milliers de lettres. Je n'abandonne pas cet espoir, et ce jour sera le bienvenu pour moi. Avec un homme de Révolution, de travail, de science et d'audace je crois toujours pouvoir m'entendre.

Quant aux sourds ou muets de la tradition révolutionnaire de 93, j'ai grand peur que vous n'en fassiez jamais des socialistes universels et des hommes de liberté. Encore moins des partisans de la Possession, du Droit au travail, de l'Echange et du Contrat. C'est tellement séduisant que de rêver une place de commissaire aux armées ou à la police, ou encore une sinécure de représentant du Peuple avec une belle écharpe rouge autour des reins, comme disait Rabelais, beaux floquarts, beaux rubans, gentil pourpoint, galantes braguettes, etc., etc. La plupart de nos révolutionnaires en sont là!

Les hommes ne sont guère plus sages que les enfants, mais beau-

coup plus hypocrites. Ils portent des faux-cols et des décorations et se croient illustres. Les enfants jouent plus sérieusement aux soldats que les grands monarques et les énormes tribunes que les peuples admirent.

Vous voudrez bien me pardonner de vous avoir écrit sans avoir l'honneur de vous connaître personnellement.

Vous m'excuserez surtout de m'être parmis de vous donner sur vos ouvrages une opinion qui n'a d'autre valeur que la sincérité. J'estime, d'après mes propres impressions, que c'est le moyen le plus efficace pour reconnaîre un don, qui vous a fait plaisir. D'ailleurs notre commun exil et nos aspirations semblables me semblent devoir nous épargner à tous deux les vaines formules de politique banale. Je termine en vous résumant mon opinion par ces deux mots: La Force et la Destruction demain par le tzar, la pensée et l'ordre après demain par les socialistes universels, les Slaves comme les Germano-Latins.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée et

de mes sympathies.

Ernest Cœurderoi.

J'espère que vous publierez en volume vos lettres à Linton Esq-re

que le journal l'Homme a données à ses lecteurs.

Pourriez-vous me dire s'il existe des traductions françaises des poésies de Pouchkine, de Lermontoff et surtout de Koltzoff. Ce que vous en dites me fait désirer infiniment de les lire. La personne qui vous remettra cette lettre est mon ami, L. Charre, proscrit comme nous, à qui j'ai dédié Mes jours d'exil.

## ГЛАВА IV 1).

## Польскіе выходцы.

Алонзій Бернацкій,—Станиславъ Ворцель.—Агитація 1854-56 года.—Смерті. Ворцеля.

> Nuovi tormenti e nuovi tormentati! Inferno.

Другія несчастія, другіе страдальцы ждуть насъ. Мы живемъ на полѣ вчерашней битвы: кругомъ лазареты, раненые, илѣнные, умирающіе. Польская эмиграція, старшая всѣмъ, истощилась больше другихъ, но была упорно жива. Перейдя границу, полики, вопреки Дантону, взяли съ собой свою родину и, не склоняя головы, гордо и угрюмо пронесли ее но свѣту. Европа проснулась на минуту отъ ихъ шатовъ, нашла слезы и участіе, пашла деньги и силу ихъ дать 2).

<sup>)</sup> Напочатано было въ «Колокол\$», 1 октября п7 поября 1865 г., етр. 1681 и 1698.

<sup>2)</sup> Д-ръ И. Дарашъ разсказывалъ мяв случай, бывшій съ нимъ самимъ. (мъ студентомъ медицивы участвовалъ въ возстаніи 1831. Послі взятія Від-

Но правительство, въ которомъ сидѣлъ Ламартинъ, въ нихъ не нуждалось и вовсе объ нихъ не думало. Самые истые республиканцы вспомнили Польшу для того, чтобы ее употребить неоткровеннымъ крикомъ возстанія и войны 15 мая 1848. Ложь поняли, но на Польшу французская буржуазія (у которой Польша была капризомъ, какъ у англійской Италія) стала съ тѣхъ поръ дуться. Въ Парижѣ не говорили больше съ прежней риторикой о Varsovie échevelée, и только въ народѣ оставалась, рядомъ со всякими бонапартовскими воспоминаніями, легенда о Понятуски. поддерживаемая лубочной картинкой, на которой Понятовскій тонетъ, верхомъ въ своей снарѕка.

Съ 1849 начинается для польской эмиграціи самое удручительное время. Ни одной истинной надежды, ни одной капли живой воды. Апокалиптическое время, провидънное Красинскимъ, казалось, наступало. Отръзанная отъ страны, эмиграція осталась на другомъ берегу и, какъ дерево безъ новыхъ соковъ, вяла, сохла, дълалась чужой для родины, не переставая быть чужой для странъ, въ которыхъ жила. Онъ до нъкоторой степени ей сочувствовали, но ихъ несчастіе продолжалось слишкомъ долго, а въ душь человъка нътъ добраго чувства, которое бы не пзнашивалось. Къ тому же вопросъ польскій прежде всего былъ вопросъ національный.

Эмиграція смотрѣла столько же назадъ, сколько впередъ, она стремилась возстановлять,—какъ-будто въ прошедшемъ что-нибудь достойно возстановленія, кромѣ независимости, а одна независимость ничего не говорить: это понятіе отрицательное. Развѣ можно быть независимѣе Россіи? Въ сложную, туго выработывающуюся формулу будущаго общественнаго устройства Польша внесла не новую идею, а свое историческое право и свою готовность помогать другимъ, въ справедливой надеждѣ на взаимность. Борьба за независимость всегда вызываетъ горячее сочувствіе,

шавы отрядь, въ которомь онь быль, перешель границу и небольшими кучками сталь пробираться во Францію. Вездѣ по городамъ и деревнямь мужчины и женщины выходили на дорогу звать изгнанниковъ къ себѣ, предлагая свои комнаты, часто свои кровати. Въ одномъ небольшомъ городкѣ хозяйка замѣтила, что у него изорванъ, помнится, кисетъ, и взяла его починить. На другой день на пути Дарашъ, ощупавъ въ кисетъ что-то постороннее, нашелъ въ немъ тщательно зашитыми два золотыхъ. Дарашъ, у котораго не было ни гроша, бросился назадъ, чтобъ отдать деньги. Хозяйка сначала отказывалась, говорила. что она ничего не знаетъ, потомъ принялась илакать и умолять Дараша деньги взять. Тутъ надобно вспомнить, что въ маленькомъ пѣмецкомъ городкѣ для небогатой женщины значать два золотыхъ; они составляли, вѣроятно, плодъ отказыванія въ Ѕрагьйскѕе разныхъ крейцеровъ, пфенниговъ, хорошихъ и дурныхъ грошей въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ..... Прощай всѣ мечты объ шелковомъ платьѣ, о цвѣтной мантиліп, о яркой шали.

но она не можеть стать своим в дёлом в для чужих в. Только тё пнтересы принадлежать всёмъ, которые по сущности своей не-

національны.

... Въ 1847 году познакомился я съ польской демократической централизаціей. Тогда она жила въ Версалъ и, сколько мнъ казалось, самый дъятельный членъ ся былъ Высоцкій. Особеннаго сближенія не могло быть. Эмигрантамъ хотълось слышать отъ меня подтвержденіе своимъ желапіямъ, своимъ предположеніямъ, а не то, что я зналъ. Они желали имъть свъдънія о какомъ-то заговоръ, подкапывающемъ все государственное зданіе въ Россіи, п спрашивали, участвуетъ ли въ немъ Ермоловъ... А я имъ могъ разсказывать о направленіи тогдашией молодежи, о пропаганд Грановскаго, объ огромномъ вліяніп Бълинскаго, о соціальномъ оттънкъ въ объихъ партіяхъ, бившихся тогда въ литературъ и въ обществъ, у западниковъ и славянофиловъ. Имъ казалось это не важнымъ.

У нихъ было богатое прошедшее, у насъ большая надежда; у нихъ грудь была покрыта рубцами, у насъ только крѣпли для нихъ мышцы. Мы казались ополченцами передъ ними, ветеранами. Поляки-мистики, мы-реалисты. Ихъ влечеть въ таинственный полусвёть, въ которомь стпраются очертанія, носятся образы, въ которомъ можно предполагать страшную даль, страшную высь, потому что ничего не видать ясно. Они могуть жить въ этомъ полусив, безъ анализа, безъ холоднаго изслъдованія, безъ сосущаго сомнѣнія. Въ глубинѣ ихъ души, какъ человѣкъ въ военномъ станъ, есть чуждый намъ отблескъ среднихъ въковъ п распятіе, передъ которымъ въ минуты тяжести и устали они могуть молиться. Въ поэзін Красинскаго Stabat Mater заглушаєть народные гимны и влечетъ васъ не къ торжеству жизни, а къ торжеству смерти, ко дню великаго суда... Мы или глуппъе въримъ, или умнюе сомнъваемся.

Мистическое направленіе развернулось во всей сил'в посл'в наполеоновской эпохи. Мицкевичь, Товянскій, даже математикъ Вронскій—вев способствовали мессіанизму. Прежде были католики и энциклопедисты, но не было мистиковъ. Старики, получившіе образованіе еще въ XVIII въкъ, были свободам отъ теософическихъ фантазій. Классическій закалъ, который давалъ людямъ великій вѣкъ, какъ дамаскъ, не стирался. Мнѣ еще удалось видёть два-три типа старыхъ пановъ энциклопедистовъ.

Въ Парижѣ и притомъ въ Rue de la Chaussée d'Antin жилъ съ 1831 года графъ Алоизій Бернацкій, нунцій польской діэты, министръ финансовъ во время революціи, маршалъ дворянства какой-то губерніи, представлявшій свое сословіе пиператору Александру I въ 1814 г.

Совершенно раззоренный конфискаціей, онъ поселился съ 1831 года въ Парижѣ и притомъ на той маленькой квартиръ въ Сhaussée d'Antin, которую я упомянулъ; оттуда-то онъ выходилъ всякое утро въ темно-коричневомъ сюртукѣ на прогулку и чтеніе журналовъ и всякій вечеръ, въ синемъ фракѣ съ золотыми пуговицами, къ кому-нибудь провести вечеръ; тамъ, въ 1847 году, я познакомился съ нимъ. Домъ состарѣлся, хозяйка хотѣла его перестроить. Бернацкій написалъ къ ней письмо, которое до того тронуло француженку (что очень не легкая вещь, когда замѣшаны финансы!), что она пустилась съ нимъ въ переговоры и просила его только на время переѣхать. Отдѣлавъ квартиру, она снова отдала ее Бернацкому за ту же цѣну. Съ горестью увидѣлъ онъ новую красивую лѣстницу, новые обои, рамы, мебель, но покорился своей судьбѣ.

Во всемъ умъренный, безусловно чистый и благородный, старикъ былъ поклонникъ Вашингтона и пріятель О'Коннеля. Настоящій энциклопедисть, онъ проповъдываль эгонямъ bien entendu и провелъ всю жизнь въ самоотверженіи и пожертвоваль всёмъ, отъ семьи и богатства до родины и общественнаго положенія, никогда не показывая особеннаго сожальнія и никогда не падая до роцота.

Французская полиція оставляла его въ поков и даже уважала его, зная, что онъ былъ министръ и нунцій; префектура пресерьезно думала, что нунцій польской ціэты быль что-то въ родѣ папскаго нунція. Въ эмиграціи это знали и потому товарищи и соотечественники безпрестанно посылали его объ нихъ хлопотать. Бернацкій шель безпрекословно и до техь поръ говориль правильные комплименты и надобцаль, что префектура часто ділала уступки, чтобъ отвязаться отъ него. Послі совершеннаго покоренія февральской революціи тонъ перемёнился; ни улыбкой, ни слезой, ни комплиментами, ни съдой головой ничего нельзя было взять, а туть, какъ на зло, пріжхала въ Парижъ жена польскаго генерала, участвовавшаго въ венгерской войнъ, въ большой крайности. Бернацкій просилъ помощи для нея у префектуры; префектура, несмотря на громкій адресь á son Excellence monsieur le Nonce, отказала наотръзъ. Старикъ отправился самъ къ Карлье; Карлье, чтобъ отвязаться отъ него и съ темъ вмёсте унизить, зам'втиль ему, что пособія только дають выходцамь 1831 года. «Вотъ, прибавилъ онъ, если вы принимаете такое участіе въ этой дам'є, подайте просьбу, чтобъ вамъ по б'єдности назначили пособіе; мы вамь положимь франковь двадцать въ мъсяць, а вы ихъ отдавайте, кому хотите».

Карлье былъ пойманъ. Бернацкій самымъ простодушнымъ образомъ принялъ предложеніе префекта и тотчасъ согласился, разсыпаясь въ благодарности. Съ тъхъ поръ всякій мъсяць старикъ являлся въ префектуру, ждаль въ передней часъ-другой,

получаль двадцать франковъ и относилъ ихъ къ вдовъ.

Бернацкому было далеко за семьдесять лътъ, но онъ удивительно сохранился, любилъ объдать съ друзьями, посидъть вечеромъ часовъ до двухъ, иногда выпить бокалъ-другой вина. Разъ какъ-то поздно, часа въ три, возвращались мы съ нимъ домой; дорога наша шла по улицъ Лепелетье. Опера горъла въ огиъ; пьеро п дебардеры, едва прикрытые шалями, драгуны и полицейскіе толпились въ съняхъ. Шутя и увъренный, что онъ откажется, я сказалъ Бернацкому:

— Quelle chance, не зайти ли?

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, отв'ячалъ онъ, я лътъ пятнадцать не видаль маскарада.

— Бернацкій, сказалъ я ему, шутя и входя въ съни, когда

же вы начнете старъть?

— Un homme comme il faut, отв'язалъ онъ, см'язсь, acquiert des

années, mais ne vieillit jamais!

Онъ выдержалъ характеръ до конца и, какъ благовоспитанный человёкъ, разстался съ жизнью тихо и въ хорошихъ отношеніяхъ;

утромъ ему нездоровилось, къ вечеру онъ умеръ.

Во время смерти Бернацкаго я былъ уже въ Лондонъ. Тамъ вскоръ послъмоего прівзда сблизился я съ человъкомъ, котораго память мив дорога и котораго гробъ я помогъ снести на Гайгетское кладбище, — я говорю о Ворцелъ. Изъ веъхъ поляковъ, съ которыми я сблизился тогда, онъ былъ наиболъе симпатичный и, можеть, наименье исключительный въ своей нелюбви къ намъ. Онъ не то, чтобъ любилъ русскихъ, но онъ понималъ вещи гуманно, и потому далекъ быль отъ гуловыхъ проклятій и ограниченной ненависти. Съ нимъ съ первымъ говорилъ я объ устройствъ русской типографіи. Выслушавъ меня, бельной встрепенулся, схватилъ бумагу и карандашъ, началъ дълать расчеты, вычислять, сколько нужно буквъ и пр. Онъ сдёлалъ главные заказы, онъ познакомилъ меня съ Чернецкимъ, съ которымъ мы столько работали потомъ.—«Боже мой, Боже мой, говориль онт., держа въ рукъ первый корректурный листъ, Вольная Русская Типографія въ Лондонъ... сколько дурныхъ воспомпнаній стираеть съ моей души этотъ клочекъ бумаги, замаранный голландской сажей!»

— «Намъ надобно идти вмъстъ, повторялъ онъ часто потомъ, намъ одна дорога и одно цёло...», и онъ клалъ исхудалую руку свою на мое плечо.

На польской годовщинъ 29 ноября 1853 года я сказалъ ръчь въ Гановеръ-Румъ, Ворцель предсъдательствовалъ. Когда я кончилъ, Ворцель, при громъ рукоплесканій, обняль меня и со слезами на глазахъ поцъловаль. «Ворцель и вы, замътилъ миъ, выходя, одинъ итальянецъ (графъ Нани), вы меня поразили давеча на платформъ, миъ казалось, что этотъ увядающій, благородный, покрытый съдинами старецъ, обнимающій вашу здоровую плотную фигуру, представляли типически Польшу и Россію».

Дъйствительно мы могли идти вмъстъ... Это не удалось. Ворцель былъ *не одинъ....*. Но прежде объ немъ одномъ.

Когда родился Ворцель, его отецъ, одинъ изъ богатыхъ польскихъ аристократовъ въ Литвь, родственникъ Эстергази, Потоцкимъ и не знаю кому, выписалъ изъ пяти помѣстій старость и съ ними молодыхъ женщинъ, чтобъ они присутствовали при крещеніи графа Станислава и помнили бы до конца жизни объ панскомъ угощеным по поводу такой радости. Это было въ 1800 году. Графъ далъ своему сыну самое блестящее, самое многостороннее воспитаніе; Ворцель быль математикъ, лингвисть. знакомый съ пятью-шестью литературами, съ раннихъ лътъ пріобраль онъ огромную эрудицію, и притомь быль сватскимь человъкомъ и принадлежалъ къ высшему польскому обществу, въ одну изъ самыхъ блестящихъ энохъ его заката, между 1815— 1830 годами; Ворцель раноженился, и только что началъ «практическую» жизнь, какъ вспыхнуло возстаніе 1831 года. Ворцель бросиль все и присталь душей и тёломъ къ движенію. Возстаніе было подавлено, Варшава взята. Графъ Станиславъ перешель, какъ и другіе, границу, оставляя за собой семью и состаяніе.

Жена его не только не пойхала за нимъ, но прервала съ пимъ всё сношенія, и за то получила обратно какую-то часть имънія. У нихъ были двое дётей, сынъ и дочь; какъ она ихъ воспитала, мы увидимъ; на первый случай она ихъ выучила забыть отца.

Ворцель между тёмъ пробрался черезъ Австрію въ Парижъ, п тутъ сразу очутился въ вѣчной ссылкѣ и безъ малѣйшихъ средствъ. Ни то, ни другое его нисколько не поколебало. Опъ, какъ Бернацкій, свелъ свою жизнь на какой-то монашескій постъ, и ревностно началъ свое апостольство, которое прекратилось черезъ двадцать пять лѣтъ съ его послѣднимъ дыханіемъ, въ сыромъ углу нижняго этажа убогой квартиры, въ темной Hunter Street.

Реорганизовать польскую партію движенія, усилить пропаганду, сосредоточить эмиграціонныя силы, приготовить новое возстаніе и для этого пропов'єдывать съ утра до ночи, для этого жить,—такова была тема всей жизни Ворцеля, отъ которой онъ не отступалъ ни на шагъ и которой подчинилъ все. Съ этой цълью онъ сблизился со всъми людьми движенія во Франціи. отъ Годефруа Кавеньяка до Ледрю-Роллена; съ этой цѣлью былъ массономъ, былъ въ близкихъ сношеніяхъ съ сторонниками Мациини и съ самимъ Мациини впослъдствии. Ворцель твердо и открыто поставилъ революціонное знамя Польши противъ партіи Чарторижскихъ. Онъ былъ увфренъ, что аристократія погубила возстаніе, онъ въ старыхъ панахъ видёлъ враговъ своему дёлу и собиралъ новую Польшу, чисто демократическую.

Аристократическая Польша, искренно преданная своему делу, шла во многомъ въ разръзъ съ стремленіями нашего времени; передъ ся глазами постоянно носился образъ прежней Польши, не новой, а возстановленной, ся пдеаль былъ столько же въ воспоминаніи, сколько въ упованіяхъ. Польш'є достаточно было п одного католическаго ядра на ногахъ, чтобъ отставать, рыцарскіе досп'їхи совс'їмь остановили бы ее. Соединяясь съ Маццини, Ворцель хотёлъ привёнчать польское дёло къ обще-европейскому,

республиканскому и демократическому движенію.

Можно обвинять Ворцеля за то, что онъ вступиль въ ту же колею, въ которой уже вязла и грузла западная революція, что онъ въ этомъ пути видълъ единственный путь спасенія; но

однажды принявъ его, онъ былъ послёдователенъ.

Года за полтора до февральской революціп по дремавшей Европъ пробъжала какая-то дрожь пробужденія: Краковское дъло, процессъ Мирославскаго, потомъ война Зондербунда п Итальянское risorgimento. Австрія отв'єчала возстанію имперской пугачевщиной, но тишина не возвратилась. Людовикъ Филиппъ палъ въ февралъ 1848 года, полякъ возилъ его тронъ на сожженіе. Ворцель во главъ польской демократіи явился напомнить временному правительству о Польшъ. Ламартинъ принялъ его холодной риторикой. Республика была больше миръ, чъмъ имперія.

Съ паденіемъ Венгріп, Ворцель, вынужденный оставить По-

рижъ, переселился въ Лондонъ.

Въ Лондонъ я его засталъ въ концъ 1852 членомъ Европейскаго комптета 1). Онъ стучался во вст двери, писалъ письма, статьи въ журналахъ, онъ работалъ и надъялся, убъждалъ и просиль, -а такъ какъ при всемъ остальномъ надо было феть, то Ворцель принялся давать уроки математики, черченія и даже французскаго языка; кашляя и задыхаясь отъ астма, ходилъ онъ съ конца Лондона на другой, чтобъ заработать два шиллинга, много полкроны. И туть онъ еще долю выработаннаго отдавалъ своимъ товарищамъ.

<sup>1)</sup> Мацини, Кошуть, Ледрю-Роллень, Арнольдъ Руге, Братіано и Ворцель.

Духъ его не унываль, но тёло отстало. Лондонскій воздухъ, сырой, копченый, не согрътый солнцемъ, быль не по слабой груди. Ворцель таялъ, но держался. Такъ онъ дожилъ до крымской войны; ее онъ не могь, я готовъ сказать, не долженъ быль пережить. «Если Польша теперь ничего не сделаеть, все пропало, надолго, очень надолго, если не навсегда, и мит лучше закрыть глаза», говориль Ворцель миж, отправляясь по Англіп съ Кошутомъ. Во встхъ главныхъ городахъ собирали они мп. тинги. Кошута и Ворцеля встрвчали громомъ рукоплесканій, дълали небольшіе денежные сборы и только. Парламентъ и правительство очень хорошо знають, когда народная волна просто шумить и когна она въ самомъ дёлё напираетъ. Твердо стоявшее министерство, предложившее conspiracy bill, пало въ оэксиданіи народнаго схода въ Гайдъ-паркъ. Въ митингахъ, собираемыхъ Кошутомъ и Ворцелемъ для того, чтобъ вызвать со стороны парламента и правительства признаніе польскихъ правъ, заявленіе симпатіп къ польскому дёлу, ничего не было определеннаго, не было силы. Отвътъ консерваторовъ былъ неотразимъ: «въ Польшт все покойно». Правительству приходилось не признать совершившійся факть, а вызвать его, взять революціонную иниціативу, разбудить Польшу. Такъ далеко въ Англіи общественное мивніе не идеть. Къ тому же in petto всв желали окончанія войны, только что начавшейся, дорогой и въ сущности безполезной.

Между большими митингами Ворцель возвращался въ Лондонъ. Онъ былъ слишкомъ уменъ, чтобъ не понять неудачу, онт старился наглазно, былъ угрюмъ и раздражителенъ, и съ той лихорадочной дъятельностью, съ которой умирающіе принимаются тревожно за всякое леченіе, съ зловъщей боязнію въ груди и съ упорной надеждой, ъздиль онъ опять, въ Бирмингамъ или Ливерпуль, съ трибуны поднимать свой плачъ о Польшъ. Я смотръль на него съ глубокой горестью. Но какъ же онъ могъ думать, что Англія подниметь Польшу, что Франція Наполеона вызоветь революцію? Какъ онъ могъ надъяться на ту Европу, которая допустила Россію въ Венгрію, французовъ въ Римъ, развъ самое присутствіе Маццини и Кошута въ Лондонъ не громко ему напоминало о ея паденія?

... Около того же времени давно накинавшее неудовольствіе противъ централизаціи въ молодой части эмиграціи подняло голосъ. Ворцель обомлёлъ,—этого удара онъ не ждалъ, а онъ пришель совершенно естественно.

Небольшая кучка людей, близко окружавшихъ Ворцеля, далеко не имъла одного уровня съ нимъ. Ворцель понималъ это, но, привыкнувъ къ своему хору, былъ подъ его вліяніемъ. Онъ воображаль, что онь ведеть, въ то время какъ хоръ, стоя сзади, направляль его, куда хотълъ. Только Ворцель подымался на ту высь, въ которой ему было свободно дышать, въ которой ему было естественно,—хоръ, исполняя должность мъщанской родни, стягиваль его въ низменную сферу эмпграціонныхъ дрязгъ п мелочныхъ расчетовъ. Преждевременный старикъ задыхался въ этой средъ отъ духовнаго астма, столько же, какъ и отъ физическаго.

Люди эти не поняли серьезнаго смысла того союза, который я предлагалъ.

- Вы върно слышали, спросиль меня Ворцель, что противъ насъ готовится обвинительный актъ?
  - Слышалъ.

— Вотъ что я заслужилъ подъ старость... вотъ до чего дожилъ... и онъ грустно качалъ съдой головой своей.

— Врядъ правы ли вы, Ворцель? Васъ такъ привыкли любить и уважать, что если этому дѣлу не давали хода, то это только изъ боязни васъ огорчить. Вы знаете, зубъ не на васъ, пусть ваши товарищи идутъ своей дорогой.

— Никогда, никогда, мы все дёлали вмёстё, на насъ лежить

общая отвътственность.

— Вы ихъ не спасете...

— А что вы говорили полчаса тому назадъ по поводу того,

что Россель предалъ своихъ товарищей?

Это было вечеромъ. Я стоялъ поодаль отъ камина, Ворцель сидълъ у самаго огня, обернувшись лицомъ къ камину; его бользненное лицо, на которомъ дрожалъ красный отсвъть, показалось мнѣ еще больше истомленнымъ и страдальческимъ... Слеза, старая слеза, скатывалась по исхудалой щекъ его... Прошли нъсколько минутъ невыносимо тяжелаго молчанія... Онъ всталъ, я проводилъ его въ его спальню, большія деревья шумъли въ саду... Ворцель отворилъ окно и сказалъ:

— Я здёсь съ моей несчастной грудью прожиль бы вдвое.

Я схватиль его за объ руки.

- Ворцель, говорилъ я ему, останьтесь у меня, я вамъ дамъ еще комнату, вамъ никто мѣшать не будетъ, дѣлайте, что хотите, завтракайте одни, обѣдайте одни, если хотите; вы отдохнете мѣсяца два... васъ не будутъ безпрерывно тормошить, вы освѣжитесь, я васъ прошу, какъ друга, какъ вашъ меньшой братъ!
- Благодарю, благодарю васъ отъ всего сердца; я сейчасъ бы принялъ ваше предложение, но при теперешнихъ обстоятельствахъ это просто невозможно... Съ одной стороны, война, съ другой, наши

это примутъ за то, что я ихъ оставилъ. Нътъ, каждый долженъ нести крестъ свой до конца.

— Ну, такъ усните, по крайней мъръ, спокойно, сказалъ я ему, стараясь улыбнуться. Его нельзя было спасти!

... Война оканчивалась, началась новая Россія, дожили мы до Парижскаго мира и до того, что Полярная Звизда и все напечатанное нами въ Лондонъ покупалось на корню. Мы стали издавать Колоколъ, и онъ пошелъ... Мы съ Ворцелемъ видались ръдко, онъ радовался нашимъ усиъхамъ, съ той внутренней, подавляемой, но жгучей болью, съ которой мать, потерявшая сына, слъдитъ за развитемъ чужого отрока... Время роковой алтернативы, поставленной Ворцелемъ въ его одді о таі, наступало и онъ гаснулъ...

За трп дня до его кончины Чернецкій прислаль за мною. Ворцель меня спрашиваль,—онъ былъ очень плохъ, ждали его кончины. Когда и прівхаль къ нему, онъ былъ въ забытьи, близкомъ къ обмороку; блёдный, восковой лежаль онъ на диванё... щеки его совершенно ввалились; такіе припадки съ нимъ повторялись въ послёдніе дни, онъ привыкалъ быть мертвымъ. Черезъ четверть часа Ворцель сталъ приходить въ себя, слабо говорить, потомъ узналъ меня, привсталъ и легъ полусидя на диванѣ.

- Читали вы газеты?— спросилъ онъ меня.
- Читалъ.
- Разскажите, какъ идетъ Невшательскій вопросъ, я не могу ничего читать?
  - Я ему разсказаль, онь все слышаль и все поняль.
- Ахъ, какъ спать хочется, оставьте меня теперь, я не успу при васъ, а миф отъ ена будетъ легче.

На другой день ему было получше. Ему хотьлось мнъ что-то сказать... Онъ раза два начиналъ и останавливался... и только оставшись со мной наединъ, умирающій подозвалъ меня къ себъ и. слабо взявъ меня за руку, сказалъ:

- Какъ вы были правы... вы не знаете, какъ вы были правы... у меня лежало это на душт вамъ сказать.
  - Не будемъ больше говорить объ нихъ.
- ... Пдите вашей дорогой... онъ подняль на меня свой умирающій, но св'ятлый, лучезарный взглядь. Больше онъ говорить не могь. Я поц'яловаль его въ губы—и хорошо сд'ялаль, мы простились надолго. Вечеромъ онъ всталь, вышеть въ другую комнату, хлебнулъ теплой воды съ джиномъ у хозяйки дома, простой, превосходной женщины, религіозно уважавшей въ Ворцел'я какое-то высшее явленіе, взошель опять къ себ'я уснулъ. На другой день, утромъ, Жабицкій и хозяйка спросили не надобно ли

ему чего больше. Онъ просилъ сдёлать огонь и дать ему еще уснуть. Огонь сдёлали, Ворцель не просыпался.

Я уже не засталь его. Худое, худое лицо его и тёло было нокрыто бёлой простыней, я посмотрёль на него, простился п

пошелъ за работникомъ скульитора, чтобъ снять маску.

Его послѣдиее свиданіе, его величественную агонію я разсказалъ въ другомъ мѣстѣ. ¹) Прибавлю къ ней одну страшную

черту.

Ворцель никогда не говориль о своей семью. Разъ какъ-то опъ искаль для меня какое-то письмо; порывшись на столю, онъ открыль ящикъ. Тамъ лежала фотографія какого-то сытаго, молодого человека съ офицерскими усами.

— Навтрное полякъ и патріотъ? сказалъ я больше шутя,

чѣмъ спрашивая.

— Это—сказалъ Ворцель, глядя въ сторону и посибшно взявъ у меня изъ рукъ портретъ,—это... мой сынъ.

Я узналь впоследствіи, что онъ быль русскимь чиновникомъ

въ Варшавѣ.

Дочь его вышла замужъ за какого-то графа и жила богато; отца она не знала.

Дни за два до своей кончины онъ диктовалъ Мацции свое завъщаніе—совъть Польшъ, поклонъ ей, привъть друзьямъ...

— Теперь все,—сказалъ умирающій; Маццини не покидалъ пера.

— Подумайте, — говорилъ онъ, не хотите ли вы въ эту минуту...

Ворцель молчалъ.

— Нтть ли еще лицъ, которымь бы вы имѣли что-нибудь сказать?

Ворцель понять, лицо его подернулось тучей п онъ отвітиль:

— Мню имъ нечего сказать.

Я не знаю проклятія, которое ужасибе звучало бы и тяжельй бы ложилось этихъ простыхъ словъ.

## Нѣмцы въ эмиграціи.

Руге, Кпикель, Schwefelbaende.—Американскій об'йдъ.—The Leader.—Народный сходь въ—St-Martin's Hall.

Нфиецкая эмпграція отличалась отъ другихъ своимъ тяжелымъ, скучнымъ и сварливымъ характеромъ. Въ ней не было энтузіастовъ, какъ въ итальянской; не было ни горячихъ головъ, ни горячихъ языковъ, какъ между французами.

<sup>1)</sup> Сборникъ Типогр. Стр. 163, 164.

Другія эмиграція мало сближались съ нею. Разница въ манері, въ habitus'є, удерживала ихъ на нѣкоторомъ разстояніи; французская дерзость не имѣетъ ничего общаго съ нѣмецкой грубостью. Отсутствіе общепринятой свѣтскости, тяжелый школьный доктринаризмъ, излишняя фамильярность, излишнее простодушіе нѣмцевъ затрудняли съ ними сношенія непривычныхъ людей. Они и сами не очень сближались, считая себя, съ одной стороны, гораздо выше прочихъ по научному развитію, а съ другой—чувствуя передъ другими непріятную неловкость провинціала въ столичномъ салонѣ, или чиновника въ аристократическомъ кругу.

Внутри нѣмецкая эмпграція представляла такую же разсыпчатость, какъ и ея родина. Общаго плана у нѣмцевъ не было: ецинство ихъ поддерживалось взаимной ненавистью и злымъ преслѣдованіемъ другъ друга. Лучшіе изъ нѣмецкихъ изгнанниковъ чувствовали это. Люди энергическіе, люди чистые, люди умпые, какъ К. Шурцъ, какъ А. Виллихъ, какъ Рейхенбахъ, уѣзжали въ Америку. Люди кроткіе по нраву прятались за дѣлами, за Лондонской далью, какъ Фрейлигратъ. Остальные, не исключая двухътрехъ вожаковъ, раздирали другъ друга на части съ неутолимымъ остервенѣніемъ, не щадя ни семейныхъ тайнъ, ни самыхъ уголовныхъ обвиненій.

Вскорт послт моего прітада въ Лондонъ, потхаль я въ Брайтонъ къ Арнольду Руге. Руге былъ коротко знакомъ московскому университетскому кругу сороковыхъ годовъ: онъ издавалъ знаменитые Hallische Jahrbücher: мы въ нихъ чернали философскій радикализмъ. Встрътился я съ нимъ въ 1849, въ Парижъ, на неостывшей еще вулканической почвъ. Въ тъ времена было не до изученія личностей. Онъ прівзжаль однимь изъ повъренныхь баденскаго инсуррекціоннаго правительства звать Мфрославскаго, не умівшаго по-німецки, начальствовать арміей фрейшерлеровь и переговаривать съ французскимъ правительствомъ, которое вовсе пе хотило признавать революціонный Бадень. Съ нимъ быль и К. Блиндъ. Послъ 13 іюня ему и мнъ пришлось бъжать изъ Франціи. К. Блиндъ опоздалъ нѣсколькими часами и былъ носажень въ Консьержери. Съ тъхъ поръ я не видалъ Руге до осени 1852. Въ Брайтонъ я нашелъ его брюзгливымъ старикомъ, озлобленнымъ и злорфинвымъ. Оставленный прежними друзьями, забытый въ Германіи, безъ вліянія на діла, и перессорившись съ эмиграціей, —Руге быль поглощень силетнями и пересудами. Въ постоянной связи съ нимъ были два-три бездарнъйшихъ газетныхъ корреспондента, грошевыхъ фельстонистовъ, мелкихъ мародеровъ гласности, которыхъ никогда не видять во время сраженія и всегда послі, майских жуков политическаго и литературнаго міра, каждый вечеръ съ наслажденіемъ и усердіемъ копающихся въ выброшенныхъ остаткахъ дня. Съ ними Руге составлялъ статейки, подзадоривалъ ихъ, давалъ имъ матеріалы и сплетничаль на нъсколько журналовь въ Германіи и Америкъ.

Я объдаль у него и провель весь вечеръ. Въ продолжение всего времени онъ жаловался на эмигрантовъ и сплетничаль на

нихъ.

— Вы не слыхали, — говорилъ онъ, — какъ идутъ дъла нашего сорокапяти-лътняго Вертера съ баронессой? Говорять, что, открываясь ей въ любви, онъ хотълъ ее увлечь химической перспективой геніальнаго ребенка, который долженъ родиться отъ аристократки и коммуниста? Баронъ не охотникъ до физіологическихъ опытовъ, говорятъ, прогналь его въ трп шеп. Правда ?оте иг.

— Какъ же вы можете върить такимъ нелъпостямъ?

— Да я и въ самомъ дёлъ не очень върю. Живу здъсь въ захолусты и слышу только о томь, что делается въ Лондоне, отъ нъмцевъ; вст они, а особенно эмпгранты, вруть Богъ знаетъ что, вст между собой въ ссорт, клевещутъ другь на друга. Н думаю, это К. распустилъ такой слухъ въ знакъ благодарности за то, что баронесса его выпустила изъ тюрьмы. Въдь, онъ бы и самъ за ней поволочился, да воли-то нътъ. Жена не даетъ ему баловаться: «Ты, говоритъ, меня оть перваго мужа отбилъ, такъ ужт, теперь довольно....»

Вотъ образчикъ философской бесъды Арнольда Руге.

Одинъ разъ онъ измънилъ своему діанавону и сталъ съ дружескимъ участіємъ говорить о Бакунинъ; но на полъ-дорогъ спохватился и добавилъ: «А вирочемъ, въ послъднее время онъ какъто сталъ опускаться, бредилъ какимъ-то революціоннымъ царизмомъ, панславизмомъ».

Я уёхаль отъ него съ тяжелымь сердцемъ и съ твердымъ на-

мъреніемъ никогда не возвращаться.

Черезъ годъ онъ читалъ въ Лондонѣ нѣсколько лекцій о философскомъ движеніи въ Германіп. Лекціп были плохи, берлинскоанглійскій акценть непріятно поражаль ухо; къ тому же онь всі греческія и римскія имена произносиль на немецкій манеръ, такъ что англичане не могли догадаться, кто эго Іофисъ, Юно. п проч.

На вторую лекцію пришли десять человъкъ; на третью человъкъ пять, да я съ Ворцелемъ. Руге, проходя по пустой зала мимо насъ, сильно сжалъ мнъ руку и прибавилъ: «Польша и Россія пришли, а Италіп нѣть; этого я ни Мадцини, ни Саффи не забуду при новомъ возстапін народовъ». Когда онъ ушелъ. разгивванный и грозящій, я посмотрвль на сардоническую улыбку Ворцеля и сказалъ ему: «Россія зоветь Польшу къ себѣ отобѣдать».—«S'en est fait de l'Italie». замътилъ Ворцель, качая головой, и мы пошли.

К. былъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ нѣмецкихъ эмигрантовъ въ Лондонѣ. Человѣкъ безукоризненнаго поведенія, работавшій въ потѣ лица своего, что, какъ ни странно можетъ это показаться, почти вовсе не встрѣчалось въ эмиграціи, К. былъ заклятый врагъ Руге. Почему? Это такъ же трудно объяснить, какъ то, что проповѣдникъ атензиа, Руге, былъ другомъ нео-католика Ронге.

Готфридъ К. былъ одинъ изъ главъ сорока сороковъ лондонскихъ ифмецкихъ расколовъ. Глядя на него, я всегда дивился, какъ величественная Зевсовская голова попала на плечи нъмецкаго профессора, и какъ нъмецкій профессоръ попалъ сначала на поле сраженія, потомъ, раненый, въ прусскую тюрьму; а, можетъ, мудренте всего этого то, что все это плюсъ Лондонъ, его нисколько не изменило, и онъ остался немецкимъ профессоромъ. Высокій ростомъ, съ съдыми волосами и бородой съ просъдью, онъ самъ по себъ имълъ величавый и внушающій уваженіе видъ, -- но онъ къ нему прибавлялъ какое-то офиціальное помазаніе, Salbung, что-то судейское и архіерейское, торжественное, натянутое и скромно-самодовольное. Оттенокъ этотъ въ разныхъ варіаціяхъ встричается у модныхи пасторови, у дамскихи врачей; особенно у магнетизеровъ, адвокатовъ, спеціально защищающихъ нравственность, у главныхъ waiter'овъ аристократическихъ отелей въ Англіп. К. въ молодости много занимался богословіємъ; освободившись отъ него, онъ остался священникомъ въ пріемахъ. Это не удивительно: самъ Ламене, подрубая такъ глубоко корни католицизма, сохранилъ до старости видъ аббата. Обдуманная и плавная ръчь К., правильная и избъгающая крайностей, шла какой-то назидательной бесёдой; онъ съ изученнымъ снисхожденісмъ выслушивалъ другого и съ искреннямъ удовольствіемъ самого себя.

Онъ былъ профессоромь въ Сомерсетъ-гаузъ и въ нѣсколькихъ высшихъ заведеніяхъ, читалъ публичныя лекціи объ эстетикъ въ Лондонъ и Манчестеръ; этого ему не могли простить голодные и праздношатающіеся въ Лондонъ освободители тридцати четырехъ нѣмецкихъ отечествъ. К. былъ постоянно обругиваемъ въ американскихъ газетахъ, сдълавшихся главнымъ стокомъ нѣмецкихъ силетенъ, и на тощихъ митингахъ, ежегодно даваемыхъ въ память Роберта Блюма, перваго баденскаго Schilderhebung'а п проч., перваго австрійскаго Schwertfart'а. Ругали его всѣ его соотечественники,—не имъвшіе никогда уроковъ, всегда просящіе денегъ въ займы, никогда не отдающіе занятаго и постоянно готовые выдать человъка за шпіона и вора въ случать отказа. К.

не отвъчалъ. Писаки лаяли лаяли и стали, по-крыловски, отставать; только еще изръдка какая-нибудь нечесанная и шершава, шавка выбъжить изъ нижняго этажа германской демократік куда-нибудь въ фельетонъ никъмъ нечитаемаго журнала,—и зальется злъйшимъ лаемъ, который такъ и напомнить счастливыя времена братскихъ возстаній въ разныхъ Тюбингенахъ. Дармштатахъ и Брауншвейгъ-Вольфенбюттеляхъ.

Въ домѣ К., на его лекціяхъ, въ его разговорѣ, все было хорошо и умно; но не доставало какого-то масла въ колесахъ, и оттого все вертѣлось туго, безъ скрыпа,—но тяжело. Онъ говорилъ всегда интересныя вещи; жена его, извѣстная піанистка, играла прекрасныя вещи, а скука была смертная. Одни дѣти, прыгая, вносили какой-то больше свѣтлый элементъ; ихъ свѣтленькіе глазенки и звонкіе голоса объщали меньше достоинства. но

больше масла въ колесахъ 1).

...Смъщно національное фанфаронство и у французовъ; но все же они могуть сказать, «что, нъкоторымъ образомъ, за человъчество кровь проливали», въ то время какъ ученые германцы проливали один чернила. Притязаніе на какое-то огромное національное значеніе, идущее рядомъ съ доктринерскимъ космонолитизмомъ, тъмъ смъщнъе, что оно не предъявляеть другого права, кромъ неувъренности въ уваженіи другихъ, желанія sich geltend machen.

— За что насъ поляки не любять? говорилъ серьезно въ обществъ гелертеровъ одинъ нтмецъ. Тутъ случился журналистъ,

умный человъкъ, давно поселившійся въ Англіп.

— Ну, это еще не такъ мудрено понять, — отвъчать онъ: вы лучше скажите, кто насъ любить? Или за что насъ всё ненавидять?

Какъ всѣ ненавидятъ? — спросилъ удивленный профессоръ.

— По крайней мъръ всъ пограничные: птальянцы, датчане. шведы, русскіе, славяне.

— Позвольте, Herr Doctor, есть же исключенія, — возразиль

обезпокоенный и нъсколько сконфуженный гелертеръ.

— Безъ малъйшаго сомивнія, и какое исключеніє: Франція и Англія.

Ученый началь расцватать.

— И знасте отчего?—Франція насъ не боится, а Англія презираеть.

<sup>1)</sup> Здысь пропускы вы рукописи, которая снова начинается слыдующими слевами:... "отвращенія, является горькое чувство зависти. Источникь этихы пенавистей долею лежить вы сознаніи политической второстепенности ирманизати отпичества и вы притизаній перать перкую роль".

Прим. издапислей заправличения правличения правли

Положение нъмпа дъйствительно печальное, но печаль его не интересна. Вей знають, что они справиться могуть съ внутреннимъ и вифинимъ врагомъ, но не умфютъ. Отчего, напримфръ, единоплеменные ей народы: Англія, Голландія, Швеція, свободны, а пъщы нътъ? Неспособность тоже обязываетъ, какъ дворяцство, кой къ чему, и всего больше къ скромности. Ифицы чувствують это и прибъгають къ отчаяннымь средствамъ, чтобъ имъть верхъ; они выдають Англію и Съверо-Американскіе Штаты за представителей германизма въ сферф государственной ргахіз. Руге, разгитвавшись на Эдгарда Бауера за его пустую броннору о Россіи (кажется, подъ заглавіемъ Kirche und Staat) и подозр'ьвая, что я Э. Бауера ввель въ искушеніе, писаль миж (а потомь то же самое напечаталь въ Жерсейскомъ Альманахѣ), что Россія одинъ грубый матеріалъ, дикій и неустроенный, котораго спла, слава и красота только отъ того и происходять, что германскій геній ей придаль свой образь и подобіе.

Каждый русскій, являющійся на сцену, встрѣчаетъ то озлобленное удивленіе нѣмцевъ, которое не такъ давно находили отъ цихъ же наши ученые, желавшіе сдѣлаться профессорами русскихъ университетовъ и русской академіи. Выписнымъ «коллегамъ» казалось это какой-то дерзостью, неблагодарностью и захаватомъ чужого мѣста.

Марксъ, очень хорошо знавшій Бакунина, который чуть не сложиль голову за нёмцевь подъ топоромь саксонскаго налача, выдаль его за русскаго шпіона. Онъ разсказаль въ своей газеть цълую исторію, какъ Ж.-Зандъ слышала отъ Ледрю-Роллена, что, когда онъ былъ министромъ внутреннихъ делъ, то видель какую-то компрометирующую Бакунина переписку. Бакунинъ тогда сидълъ, ожидая приговора, въ тюрьмъ-и ничего не подозръвалъ. Клевета толкала его на эшафотъ и порывала послъднее общеніе любви между мученикомъ и сочувствующей ему массой.— Другъ Бакунина, А. Рейхель, написалъ въ Nohant къ Ж.-Зандъ и спросилъ ее, въ чемъ дъло? Она тотчасъ отвъчала Рейхелю и прислала письмо въ редакцію Марксова журнала, отзываясь съ величайшей дружбой о Бакунинъ; она прибавляла, что вообще никогда не говорила съ Ледрю-Ролленомъ о Бакунинъ, въ силу чего не могла сказать и сказаннаго въ газеть. Марксъ нашелся ловко и номъстилъ письмо Ж.-Зандъ съ примъчаніемъ, что статейка о Бакунинъ была помъщена во время его отсутствія.

Финаль совершенно нѣмецкій: онъ невозможень не только во Франціп, гдѣ роіпt d'honneur такъ щенетилень и гдѣ издатель зарыль бы всю нечистоту дѣла подъ кучей фразъ, словъ, околичнословій, нравственныхъ сентенцій, покрыль бы ее отчаяніемъ qu'on avait surpris sa religion; но даже англійскій издатель.

несравненно менъе церемонный, не смълъ бы свалить дъла на сотрудниковъ 1).

Черезъ годъ послъ моего пріъзда въ Лондонъ, Марксова шайка еще разъ возвратилась на гнусную клевету противъ Ба-

кунина.

Въ Англіп, въ этомъ стародавнемъ отечествѣ поврежденныхъ, одно изъ самыхъ оригинальныхъ мъстъ между ними занимаетъ Давидъ Уркуардъ—человѣкъ съ талантомъ и энергіей, эксцентрическій радикалъ изъ консерватизма. Онъ помѣшался на двухъ идеяхъ: во-первыхъ,—что Турція превосходная страна, имѣющая большую будущность, въ силу чего онъ завелъ себѣ турецкую кухню, турецкую баню, турецкіе диваны; во-вторыхъ,—что русская дипломатія, самая хитрая и ловкая во всей Европѣ, подкупаетъ и надуваетъ всѣхъ государственныхъ людей во всѣхъ государствахъ міра сего, и преимущественно въ Англіп. Уркуардъ работалъ годы, чтобъ отыскать доказательства того, что Нальмерстонъ на откупѣ у Петербургскаго кабинета. Онъ объ этомъ печаталъ статьи и брошюры, дѣлалъ предложенія въ парламентѣ, проповѣдывалъ на митингахъ. Сначала на него сердились, отвѣчали ему, бранили его; потомъ привыкли. Обвиняемые и слушав-

-- Къ кому же, наконецъ, я долженъ обратиться, у кого требовать отчеть въ томъ, что мое письмо въ дълъ, касающем я до моего добраго имени, не была и эмънсно?

Ръшптельно пътъ отвътственнаго редактора? — спросилъ Луп Бланъ.

Ітть.

— Good day, Sir, good day, God bless you!—повторилъ чиногникъ прп *Теймер.* учтиво и спокойно отворяя двери.

У Несмотря на то, что они позволяють себъ ужаено много, для ихъ марактеристики разскажу одинъ случай, бывшій съ "Гун Бланомъ, Теймов папечаталь, что Лун Вланъ, бывши членомъ временнаго правительства, истратилъ "милліона полтора франковъ казенныхъ денегъ" на составленіе себъ партін между работниками. Лун Вланъ отвъчаль редакціи, что она имбеть невърныя свъдънія о немь, что, при пущемъ желаціи, онъ не могъ ни украсть, ни петратить полтора милліона франковъ, потому что во все время его завъдыванія Лун сенбургской комиссіей у него не было въ распоряженіи болье 30,000 франковъ. Теймов не помъстиль его отвъта. Лун Вланъ отправился въ редакцію самъ и потребоваль свиданья съ главнымъ издателемъ. Ему отвъчали, что главнато издателенъ свиданья съ главнымъ издателемъ. Ему отвъчали, что главнато издателенъ отвътственнаго артельщика; ему отвъчали, что лично ни за что не отвъчаетъ.

<sup>—</sup> Здъсь.—сказаль ему одинъ изъ чиновпиковъ при Тейлись. - не такъ, какъ во Франціи; у насъ изтъ ни Gérant responsable. пи законнаго обязательства полушать отвуты.

 <sup>—</sup> Очень очень жаль, — замътилъ Луп Бланъ. эло улыбансь: — что нът в главнаго редактора: а то я непремънно надавалъ бы ему пощечинъ Прощайте, господа.

шіе стали улыбаться, не обращали вниманія; наконецъ, разразплись общимъ хохотомъ.

На одномъ митингъ, въ одномъ изъ большихъ центровъ, Уркуардъ до того увлекся своей ідее гіхе, что, представляя Кошута человъкомъ невърнымъ, онъ прибавилъ, что, если Кошутъ и не подкупленъ Россіей, то находится подъ вліяніемъ человъка явнымъ образомъ работающаго въ пользу Россіи, и этотъ человъкъ Мациини! Уркуардъ, какъ Дантовская Франческа, не продолжалъ больше своего чтенія въ этотъ день. При имени Мациини поднялся такой гомерическій смъхъ, что самъ Давидъ замътилъ, что итальянскаго Голіава онъ не сбилъ своей пращею. а себъ свихнулъ руку.

Человъкъ, думавшій и открыто говорившій, что, отъ Гизо и Дерби, до Эспартеро, Кобдена и Маццини, все русскіе агенты. быль кладъ для шайки непризнанныхъ нѣмецкихъ государственныхъ людей, окружавшихъ неузнаннаго генія первой величины, Маркса. Они изъ своего неудачнаго патріотизма и страшныхъ притязаній сдѣлали какую-то Hochschule клеветы и заподозрѣванія всѣхъ людей, выступавшихъ на сцену съ большимъ успѣхомъ, чѣмъ они сами. Имъ недоставало честнаго имени. Уркуардъ его далъ. Съ Уркуардомъ и публикой питейныхъ домовъ вошли въ Могніпу Advertiser марксиды и ихъ друзья. Гдѣ ниво,—тамъ и нѣмцы.

Однимъ добрымъ утромъ, Morning Advertiser вдругъ поднялъ вопросъ: «Вылъ ли Бакунинъ русскій агентъ или нѣтъ?» Само собою разумѣется, отвѣчалъ на него положительно ¹). Поступокъ этотъ былъ до того гнусенъ, что возмутилъ даже такихъ людей, которые не принимали особеннаго участія въ Бакунинъ.

Оставить это дёло такъ было невозможно. Какъ ни досадно было, что приходилось подписать коллективную протестацію съ Головинымъ (объ этомъ субъектё будетъ особая глава), но выбора не было. Я пригласилъ Ворцеля и Маццини присоединиться къ нашему протесту: они тотчасъ согласились. Казалось бы, что, послё свидётельства предсёдателя нольской демократической централизаціи и такого человёка, какъ Маццини, все кончено.

Но нёмцы не остановились на этомъ.

<sup>1)</sup> Уркуардъ имѣлъ тогда большое вліяніе на Morning Advertiser, — одинь изъ журналовъ, самымъ страннымъ образомъ поставленныхъ. Журнала этого нѣтъ ни въ клубахъ. ни у большихъ стешіонеровъ. ни на столѣ у порядочныхъ людей; однако же онъ имѣетъ большую циркуляцію, чѣмъ Daily News, и только въ постѣднее время дешевые лясты, въ родѣ Daily Telegraph, Morning Star и Evening Star отодвинули Morning Advertiser на второй планъ. Явленіе чиста англійское. Morning Advertiser журналъ питейныхъ домовъ, и иѣтъ кабака. въ которомъ бы его не было.

Они затянули скучнъйшую полемику съ Головинымъ, который, съ своей стороны, поддерживалъ ее для того, чтобъ собою

занимать публику лондонскихъ кабаковъ...

Мой протесть и то, что я писаль къ Маццини и Ворцелю, должно было обратить на меня гнъвъ Маркса. Вообще, то было время, въ которое нъмцы спохватились и стали меня окружать такою же грубою непріязнью, какъ прежде окружали грубымъ ухаживаніемъ; они уже не писали мнъ панегириковъ, какъ во время выхода «Vom Andern Ufer» и «Писемъ изъ Пталіп», а отзывались обо мнъ, «какъ о дерзкомъ варваръ, осмъливающемся смотръть на Германію сверху внизъ» 1). Одинъ изъ марксовскихъ гезеллей написалъ пълую книжку противъ меня и отослалъ Гофману и Кампе, которые отказались ее печатать. Тогда онъ напечаталъ (что я узналъ гораздо позже) ту статейку въ Лидеръ, о которой шла ръчь. Имя его я не припомню.

Къ марксидамъ присоединился вскорѣ и рыцарь съ опущеннымъ забраломъ, Карлъ Блиндъ, тогда famulus Маркса, теперь его врагъ. Въ его корреспонденціи въ нью-іоркскіе журналы было сказано по поводу обѣда, который даваль намъ американскій консулъ въ Лондонѣ: «На этомъ обѣдѣ былъ русскій, именно А. Герценъ, выдающій себя за соціалиста и республиканца. Герценъ живетъ въ близкихъ сношеніяхъ съ Маццини, Кошутомъ и Саффи. Со стороны людей, стоящихъ во главѣ движенія, чрезвычайно неосторожно допускать русскаго въ свою близость. Желаемъ, чтобы имъ не пришлось слишкомъ поздно

раскаяться въ этомъ».

Самъ ли Блиндъ это писалъ, или кто изъ его помощниковъ, я не знаю; текста у меня передъ глазами нътъ, но за смыслъ н отвъчаю.

При этомъ надобно замѣтить, что, какъ со стороны К. Блинда, такъ и со стороны Маркса, котораго я совсѣмъ не зналъ, вся эта ненависть была чисто платоническая, такъ сказать, безличная: меня приносили на жертву фатерланду изъ патріотизма. Въ американскомъ обѣдѣ, между прочимъ, ихъ бѣсило отсутствіе нѣмда,—за это они наказали русскаго 2).

i) Это печаталь нѣкто Колачекь вь одномь американскомь журналѣ, по поводу второго французскаго пзданія: Du développement des idées révolutionnaires en Russie. Пикантное этого состопть въ томъ, что весь текст этой книги быль прежде напечатанъ по нѣмецки въ Deutsche Jahrbücher, пздаваемыхъ тѣмъ же самымъ Колачекомъ!

<sup>2)</sup> Отсутствіе нѣмца на обѣдѣ напомпнаетъ мнѣ похороны матери Гарибальди. Она умерла въ Ниццѣ въ 1851 году. Друзья ея сына пригласили изгнанпиковъ разныхъ странъ нести покойницу; въ томъ числѣ былъ приглашенъ и я.

Объдъ этотъ, надълавшій много шуму по ту и другую сторону Атлантики, случился такимъ образомъ. Президентъ Пирсъ будировалъ старыя европейскія правительства,—долею для того, чтобъ пріобръсти больше популярности дома; долею, чтобъ отвести глаза всъхъ радикальныхъ партій въ Европъ отъ главнаго алмаза, на которомъ ходила вся его политика: отъ незамътнаго

упроченія и распространенія невольничества.

Это было время посольства Суле въ Испанію и сына Р. Оуэна въ Неаполь, вскорѣ послѣ дуэли Суле съ Тюрго и его настоятельнаго требованія проѣхать, вопреки приказу Наполеона, черезъ Францію въ Брюссель: въ проѣздѣ этомъ императоръ французовъ отказать не рѣшился. «Мы посылаемъ пословъ»,—говорили американцы—«не къ царямъ, а къ народамъ». Отсюда идея дать дипломатическій обѣдъ врагамъ всѣхъ существующихъ правительствъ.

Я не имълъ понятія о готовящемся объдъ; получаю вдругъ приглашеніе отъ Саундерса, американскаго консула. Въ приглашеніи лежала небольшая записочка отъ Мацини: онъ просильменя, чтобъ я не отказывался, что объдъ этотъ дълается съ цълью кой-кого подразнить и показать симпатію кой-кому другому.

На объдъ были Мациини, Кошутъ, Ледрю-Ролленъ, Гарибальди, Орсини, Ворцель, Пульскій и я. Изъ англичанъ одинъ радикальный членъ парламента, Жозуа Вомсей; затъмъ посолъ

Бюхананъ и всв посольскіе чиновники.

Надобно замѣтить, что одна изъ цѣлей краснаго обѣда, даннаго защитникомъ чернаго рабства, состояла въ сближеніи Кошута съ Ледрю-Ролленомъ. Дѣло было не въ томъ, чтобы ихъ примирить: они никогда не ссорились, а чтобы ихъ офиціально познакомить. Ихъ незнакомство случилось такъ. Ледрю-Ролленъ былъ уже въ Лондонѣ, когда Кошутъ пріѣхалъ изъ Турціп. Возникъ вопросъ, кому первому ѣхать съ визитомъ: Ледрю-Роллену къ Кошуту, или Кошуту къ Ледрю-Роллену. Вопросъ этотъ спльно занималъ ихъ друзей, сподвижниковъ, ихъ дворъ, гвардію и чернь. Рго и сопіта были значительныя. Одинъ былъ диктаторомъ Венгріп; другой не былъ диктаторомъ Венгріп; другой не былъ диктаторомъ Венгріп; другой не былъ диктаторомъ, но зато французъ. Одинъ былъ почетный гость Англіи, левъ первой величины, на вершинѣ своей славы; другой былъ въ Англіи какъ дома, а визиты дѣлаются вновь пріѣзжающими. Словомъ, вопросъ этотъ, какъ квадратура круга или регретишт mobile, былъ найденъ

Когда мы собрались у съней дома, оназалось, что приглашенные были: два римлянина (одинъ изъ нихъ былъ Орсини), два ломбардца, два неаполитанда, два француза, Хоецкій—полякъ и я—русскій. "Господа,—сказалъ,—Хоецкій,—L'Europe entière est représentée; même il y manque un Allemand!"

обоими дворами неразрѣшимымъ... А потому и рѣшили тѣмъ, чтобы не ѣздить ни тому, ни другому, предоставляя дѣло встрѣчи волѣ божіей и случаю. Года три или четыре Ледрю-Ролленъ и Ко шутъ, живя въ одномъ городѣ, имѣя общихъ друзей, общіе интересы и одно дѣло, должны были игнорировать другъ друга, а случая никакого не было. Маццини рѣшился помочь судьбѣ.

Передъ объдомъ, послъ того какъ Бюхананъ уже пережалъ намъ веъмъ руки и изъявилъ каждому свое полное удовольствіе, что познакомился лично, —Маццини взялъ Ледрю-Роллена подъ руку; въ то же самое время Бюхананъ сдѣлалъ такой же маневръ съ Кошутомъ, и, кротко подвигая виновниковъ, привели ихъ почти къ столкновенію и назвали ихъ другъ другу. Новые знакомые не остались въ долгу и осыпали другъ друга комплиментами —съ восточнымъ, цвѣтистымъ оттънкомъ со стороны великаго мадьяра, и съ сильнымъ колоритомъ рѣчей конвента со стороны великаго галла...

Я стояль во время всей этой сцены у окна съ Орсини: взглянувъ на него, я былъ до смерти радъ, видя легкую улыбку больше въ его глазахъ, чѣмъ на губахъ. «Послушайте,—сказалъ я ему,—какой мнѣ вздоръ пришелъ въ голову: въ 1847 году я видѣлъ въ Нарижѣ въ историческомъ театрѣ какую-то глупѣй-шую военную ньесу, въ которой главную роль играли дымъ и стрѣльба, вторую—лошади, пушки и барабаны. Въ одномъ изъ дѣйствій полководцы объихъ армій выходятъ для переговоровъ съ противоположныхъ сторонъ сцены, храбро идутъ навстрѣчу другъ другу, и, подойдя, одинъ снимаетъ шляну и говоритъ:

## Souvaroff-Massena!

На что другой ему отвъчаеть тоже безъ инляпы:

### Massena-Souvaroff!

— Я самъ едва удержался отъ смѣха,—сказалъ мнѣ Оренни съ совершенно серьезнымъ лицомъ.

Хитрый старикъ Бюхананъ, мечтавшій тогда уже, несмотря на семидесятильтній возрасть, о президентствь, и потому говорившій постоянно о счастій покоя, объ идиллической жизни и о своей дряхлости, любезничаль съ нами такъ, какъ любезничаль въ Зимнемъ дворць съ Орловымъ и Бенкендорфомъ, когда былъ посломъ при Николав. Съ Кошутомъ и Маццини онъ былъ прежде знакомъ; другимъ онъ говорилъ очень хорощо отдъланные комплименты, напоминавшіе гораздо больше тертаго дипломата, чѣмъ суроваго гражданина демократической республики. Мив онъ ничего не сказалъ, кромъ того, что онъ долго былъ въ Россіи и вывезъ убѣжденіе, что она имѣетъ великую будущность. Я ему на это, разумѣется, ничего не сказалъ, а замѣтилъ, что помню

эго со временъ коронаціи Николая: «Я былъ мальчикомъ, но вы оыли такъ замътны въ вашемъ простомъ черномъ фракъ и въ круглой шлянъ среди толны раззолоченной ливрейной знати» 1)

Гарибальди онъ замётиль: «У васъ такая же слава въ Америкt, какъ въ Европф; только въ Америкф еще прибавляется

новый титулъ: тамъ васъ знають за отличнаго моряка».

За дессертомъ, когда m-me Sanders уже вышла и подали сигары съ еще большимъ количествомъ вина, Бюхананъ, сидъвшій противъ Ледрю-Роллена, сказалъ ему, «что у него былъ знакомый въ Нью-Іоркъ, говорившій, будто онъ готовъ бы былъ съъздить изъ Америки во Францію только для того, чтобъ познакомиться съ нимъ».

По несчастію, Бюханань какъ-то шамшиль, а Ледлю-Роллень плохо понималь по-англійски; въ силу чего вышло презабавное qui pro quo. Ледрю-Роллень думаль, что Бюханань говорить это оть себя и, съ французскимь effusion de reconnaissance, сталь его благодарить—и протянуль ему черезъ столь свою огромную руку. Бюханань приняль благодарность и руку и, съ тъмъ невозмущаемымъ спокойствіемь въ трудныхъ обстоятельствахъ, съ которымъ англичане и американцы тонуть съ кораблемъ или теряють половину состоянія,—замътилъ ему: «І think—it is a mistake,—это не я такъ думаль, это одинъ изъ моихъ хорошихъ пріятелей въ New-York'ь».

Праздникъ кончился тёмъ, что поздно вечеромъ, когда Бюхананъ уъхалъ, а вслёдъ за нимъ не счелъ болѣе возможнымъ остаться и Кошутъ, и отправился съ своимъ министромъ безъ портфеля,—Сандёрсъ сталъ умолять насъ снова сойти въ столовую, гдѣ онъ хотѣлъ самъ приготовить какой-то американскій нуншъ изъ стараго кентукійскаго виски. Къ тому же, Сандерсу тамъ хотѣлось вознаградить себя за отсутствіе тостовъ за будущую всемірную (бѣлую) республику и т. д., которыхъ, должно быть, осторожный Бюхананъ не допускалъ. За обѣдомъ пили тосты двухъ-трехъ гостей и его, безъ рѣчей.

Пока онъ жегъ какой-то алкоголь и приправляль его всякой всячной, —онъ предложиль хоромъ отслужить марсельезу. Оказалось, что музыку ея порядкомъ зналъ одинъ Ворцель—зато у него было extinction голоса, —да кое-какъ Маццини, и пришлось звать американку Сандерсъ, которая сыграла марсельезу на гитаръ.

Между тъмъ ея супругъ, окончивъ свою стрящю, попробоваль ее, остался доволенъ и розлилъ намъ въ большія чайныя чашки.

<sup>1)</sup> Я ни слова тогда не говориль по-англійски. Бюханань плохо понималь по-французски. Ворцель ему переводиль мои слова.

Не опасаясь ничего, я сильно хлебнуль-и въ первую минуту не могъ перевести духа. Когда я пришелъ въ себя и увидълъ, что Ледрю-Ролленъ собирался также усердно хлебнуть, я остановилъ его словами:

— Если вамъ дорога жизнь, то вы остороживе обращайтесь съ кентукійскимъ прохладительнымъ; я русскій — да п то опалилъ себъ нёбо, горло и весь пищепріемный каналъ, что же будеть съ вами? Должно быть, у нихъ въ Кентуки пуншъ дълается изъ краснаго перца, настояннаго на купоросномъ маслъ.

Американецъ радовался, иронически улыбаясь, слабости европейцевъ. Подражатель Митридата съ молодыхъ лътъ, я одинъ подалъ пустую чашку и попросильеще. Это химическое сродство съ алкоголемь ужасно подняло меня въ глазахъ консула.

— Да, да, говорилъ онъ, только въ Америкъ и въ Россіп

люди и умёють пить.

Да, есть и еще больше лестное сходство, подумалъ я, только въ Америкъ и въ Россіи умъють кръпостныхъ засъкать по смерти.

Пуншемъ въ 70% окончился этотъ объдъ, испортившій больше крови нъмецкимъ фолликуляріямь, чтмъ желудокъ обтдавшимъ.

За трансъ-атлантическимъ объдомъ слъдовала попытка менсдународнаго комитета:-послъднее усиліе чартистовъ и изгнанниковъ соединенными силами заявить свою жизнь и свой союзъ. Мысль этого комитета принадлежала Эрнесту Джонсу. Онт хотълъ оживить дряхлъвшій не по льтамъ чартизмъ, сближать англійских работниковъ съ французскими соціалистами. Общественнымь актомъ этой entente cordiale назначенъ быль митингъ въ воспоминание 24 февраля 1848.

Международный комитетъ избралъ между десятками другихъ и меня своимъ членомъ. Меня просили сказать ръчь о Россіп; я поблагодариль ихъ письмомъ, ръчи говорить не хотълъ; тъмъ бы и заключилъ, если-бъ Марксъ и Головинъ не вынудили меня явиться на зло имъ на трибунт St.-Martin's Hall. Сначала Джонсъ получиль письмо отъ какого-то нёмца, протестовавшаго противъ моего избранія. Онъ писаль, что я извѣстный панслависть, что я писаль о необходимости завоеванія В'єны, которую назваль славянской столицей; что я пропов'йдую русское криностное состояніе, какъ пдеалъ для земледъльческаго населенія. Во всемъ этомъ онъ ссылался на мои письма къ Линтону (La Russie et le vieux monde). Джонсъ бросиль безъ вниманія патріотическую клевету.

Но это письмо было только авангардною рекогносцировкою. Въ слъдующее засъдание комитета Марксъ объявилъ, что онъ считаеть мой выборь несовивстнымь съ цёлью комитета и предлагаль выборь уничтожить. Джонсь заметиль, что это не такь легко, какъ онъ думаеть, что комитеть, избравши лицо, которое вовсе не заявляло желанія быть членомь, и сообщивши ему офиціально избраніе, не можеть изменить решеній по желанію одного члена, что пусть Марксъ формулируеть свои обвиненія, и онъ ихъ предложить теперь же на обсужденіе комитета.

На это Марксъ сказаль, что онъ меня лично не знаетъ, что онъ не имъетъ никакого частнаго обвиненія, но находитъ достаточнымъ и того, что я русскій, и притомъ русскій, который во всемъ, что писалъ, поддерживаетъ Россію, что, наконецъ, если комитетъ не исключитъ меня, то онъ, Марксъ, со всѣми своими будетъ принужденъ выйти.

Французы, поляки, птальянцы, человъка два-три нъмцевъ и англичане вотировали за меня. Марксъ остался въ страшномъ меньшинствъ. Онъ всталъ и, со своими пріятелями, оставилъ комитетъ, куда болъ е не возвращался.

Побитые въ комитетъ, марксиды отретировались въ твердыню—въ Morning Advertiser. Герстъ и Блакетъ издали англійскій переводъ одного тома «Былого и Думъ», включивъ въ него «Тюрьму и Ссылку»; чтобъ товаръ продать лицомъ, они не обинуясь поставили: «My exil in Siberia» на заглавномъ листъ Express первый замѣтиль это фанфаронство. Я написалъ къ издателямъ инсьмо, и другое въ Express. Герсть и Блакетъ объявили, что заглавіе было едёлано ими, что въ оригиналѣ его нътъ, но что Гофманъ и Кампе поставили въ нѣмецкомъ переводъ тоже «въ Сибири». Express все это напечаталъ. Казалось, ябло было кончено. Но Morning Advertiser началь меня шпиговать въ недълю раза два-три. Онъ говориль, что я слово Сибирь употребилъ для лучшаго сбыта книги, что я протестовалъ черезъ пять дней послѣ выхода книги, т. е., давши время сбыть изданіе. Я отв'тиль, они сділали рубрику: «Case of M. Herzen», какъ номъщають дополнение къ убійствамъ или уголовнымъ процессамъ. Адвертейзеровскіе німцы не только сомнівались въ Спбири, приписанной книгопродавцемъ, но и въ самой ссылкъ. «Въ Вяткъ и Новгородъ г. Герценъ былъ на императорской службѣ; гдѣ же и когда онъ былъ въ ссылкѣ;»

Наконецъ, интересъ изсякъ, и Morning Advertiser забылъ меня. Прошло четыре года.—Началась итальянская война. Красный Марксъ избралъ самый черно-желтый журналъ въ Германіи, «Аугсбургскую газету», и въ ней сталъ выдавать (анонимно) Карла Фогта за агента принца Наполеона, Кошута съ Телеки, Пульскаго и пр., какъ продавшихся Бонапарту. Вслёдъ за тъмъ, онъ напечаталъ: «Герценъ, по самымъ върнымъ источникамъ,

получаеть большія деньги отъ Наполеона. Его близкія сношенія съ Palais-Royal'ємь были и прежде не тайной». Я не отвічаль; но зато быль почти обрадовань, когда одинъ тощій лондонскій журналъ помістиль статейку, въ которой говориль (несмотря на то, что я десять разъ отрицаль это), будто я «рекомендую Россіи завоевать Віну и считаю ее столицей славянскаго міра».

Мы сидъли за объдомъ, — человъкъ десять; кто-то разсказывалъ изъ газеть о злодъйствахъ, сдъланныхъ Урбаномъ со своими пандурами возлѣ Комо. Кавуръ обнародовалъ ихъ. Что касается до Урбана, въ немъ сомнъваться было гръшно. Кондотьеръ безъ роду и племени, онъ гдъ-то родился на бивакахъ и выросъ въ какихъ-то казариахъ: пандуръ и грабитель par droit de conquête et par droit de naissauce, fille du régiment мужского пола, и по всему свиръпый солдатъ. Дъло было какъ-то около Мадженты и Сольферино. Нъмецкій патріотизмь быль тогда въ періодызлівішей ярости; классическая любовь къ Италін, патріотическая ненависть къ Австрін, —все исчезло передъ патосомъ національной гордости, хотъвшей во что бы то ни стало удержать чужой «квадрилатеръ». Баварцы собирались итти, несмотря на то, что ихъ никто не посылать, никто не зваль, никто не пускаль. Гремя ржавыми саблями бефрейюнгсъ-крига, они запаивали пивомъ и засыпали цвётами всякихъ кроатовъ и далматовъ, шедшихъ бить итальянцевъ за Австрію и за свое собственное рабство. Либеральный изгнанникъ Бухеръ и какой-то, должно быть побочный потомокъ Барбароссы, Ротбартусъ протестовали противъ всякаго притязанія иностранцевъ (т. е., птальянцевъ) на Венецію.

При этихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ и былъ, между супомъ и рыбой, поднятъ несчастный вопросъ о злодъйствахъ

Урбана.

- Ну, если это не правда?—замѣтилъ нѣсколько поблѣднѣвшій докторъ М.-С. изъ Мекленбурга по тѣлесному и Берлина по духовному рожденію.
  - Однако же нота Кавура...Ничего не доказываетъ.
- Въ такомъ случав, заметилъ я, можетъ, подъ Маджентой австрійцы разбили на голову французовъ: въдь, никто изъ насъ не былъ тамъ.

— Это другое дёло: тамъ тысячи свидётелей, а тутъ какіе-то

итальянскіе мужики.

— Да что за охота защищать австрійскихъ генераловъ?... Развѣ мы ихъ и прусскихъ офицеровъ не знаемъ по 1848 г.: эти проклятые юнкеры, съ дерзкимъ лицомъ, надменнымъ видомъ...

— Господа,—замътилъ М.-С.—прусскихъ офицеровъ не слъдуетъ оскорблять и ставить на ряду съ австрійскими.

- Такихъ тонкостей мы не знаемъ; всѣ они несносны, противны. Мнѣ кажется, что всѣ они, да и наши лейбъ-гвардейцы въ добавокъ, такіе же...
- Кто обижаеть прусскихь офицеровь, обижаеть прусскій народь: они съ нимь неразрывны, и М.-С., совсёмь блёдный, отставиль въ первый разъ отроду дрожащей рукой стакань налитаго пива.
- Нашъ другъ М.-С.—величайшій патріоть Германіи, сказаль я, все еще полушутя,—онъ на алтарь отечества приносить больше чёмъ жизнь, больше, чёмъ обожженную руку; онъ жертвуеть здравымъ смысломъ.
- II нога его не будеть въ домъ, гдъ обижають германскій народъ!

Съ этими словами мой докторъ философіи всталъ, бросиль на столъ салфетку, какъ матеріальный знакъ разрыва, и мрачно вышелъ... Съ тъхъ норъ мы не видълись.

А, вѣдь, мы съ нимъ пили на «Du» у Стеели, Gendarmen-Platz, въ Берлинѣ, въ 1847 году, и онъ былъ самый лучшій и самый счастливый Вимменг изъ всѣхъ, видѣнныхъ мною. Не въѣзжая въ Россію, онъ какъ-то всю жизнь прожилъ съ русскими, и біографія его не лишена для насъ интереса.

Какъ всѣ нѣмцы, не работающіе руками, М.-С. учился древнимъ языкамъ очень долго и подробно; зналъ ихъ очень хорошо и много. Его образованіе было до того упорно классическое, что онь не имфлъ времени никогда заглянуть ни въ какую книгу объ естествовъдънін, хотя естественныя науки уважаль, зная, что Гумбольдтъ ими занимался всю жизнь. М.-С., какъ всё филологи, умеръ бы отъ стыда, если-бъ онъ не зналъ какой-нибудь книжонки средневъковой, или классическую дрянь, и не обинуясь признавался, напр., въ севершенномъ невъдъніи физики, химін и пр. Страстный музыканть безъ Anschlag'a и голоса, платоническій эстетикъ, неумфвшій карандаша взять въ руки и изучавшій картины и статун. Въ Берлиню М.-С. началь свою карьеру глубокомысленными статьями объ пгрв талантливыхъ. но все неизвъстныхъ, берлинскихъ актеровъ въ «Шпенеровой газетъ», и былъ страстнымъ любителемъ спектакля. Театръ. вирочемъ, не мъщалъ ему любить вообще всъ зрълища, отъ звъринцевъ, съ пожилыми львами и умывающимся бълымъ медвъдемь, и фокусниковъ, до нанорамъ, телять съ двумя головами, восковыхъ фигуръ, ученыхъ собакъ и пр.

Въ жизнь мою я не видывалъ такого джямельнаго люнтяя, такого въчно занятаго праздношатающагося. Утомленный, въ ноту, въ пыли, измятый, затасканный, приходилъ онъ въ одиннадцатомъ часу вечера и бросался на диванъ... Вы думаете, у

себя въ комнатъ? совсъмъ нътъ, -- въ учено-литературной биръкнейий, у Стеели, и принимался за пиво. Выпиваль онъ его нечеловъческое количество, безпрестанно стучалъ крышкой кружки, и Jungfer уже знала безъ словъ и просьбы, что слъдуеть нести другую. Здёсь, окруженный отставными актерами и еще непринятыми въ литературу писателями, проповъдывалъ М.-С. часы о Каульбахь и Корнеліусь, —о томь, какъ пълъ въ этоть вечеръ Лаблашъ въ королевской оперъ, о томъ, какъ мысль губитъ стихотворение и портить картину, убивая ея непосредственность... Вдругъ онъ вскакивалъ, вспомнивъ, что долженъ завтра въ восемь часовь утра бъжать къ Пассаланьи, въ египетскій музей смотрёть новую мумію; и непремённо въ восемь часовъ, потому что въ половинъ десятаго одинъ пріятель объщаль сводить его въ конюшню англійскаго посланника показать, какъ англичане отлично содержать лошадей. Схваченный такимъ воспоминаніемъ, М.-С, извиняясь, наскоро вышиваль кружку, забывая то очки, то платокъ, то крошечную табакерку, бъжалъ въ какой-то переулокъ за Шпре, подымался на четвертый этажъ и торонился выспаться, чтобъ не заставить дожидаться мумію, три-четыре тысячи лътъ поконвшуюся, не нуждаясь ин въ Пассаланыи, ни въ докторъ М.-С.

Безъ гроша денегъ и тратя последнія на Cerevisia и Circenses, М.-С. жилъ на антоніевой пищь, храня внутри сердца непреодолимую любовь къ кухоннымъ рёдкостямъ и столовымъ лакомствайъ. Зато, когда фортуна ему улыбалась и когда его несчастная любовь могла перейти въ реальную, — онъ торжественно доказывалъ, что онъ не только уважалъ категорію качества, но столько же отдавалъ справедливости категоріи количества.

Судьба, ръдко балующая нъмцевъ, особенно идущихъ по филологической части, сильно баловала М.-С. Онъ случайно попалъ въ нассатное русское общество, и при томъ молодыхъ и образованныхъ русскихъ. Оно завертъло его, закормило, запоило. Это было лучшее, поэтическое время его жизни, Genussjahre! Лица мънялись, пиръ продолжался. Безсмъннымъ былъ одинъ М.-С. Кого и кого, съ 1848 года, не водилъ онъ по музеямъ, кому не объяснять Каульбаха, кого не водилъ въ университеть? Тогда была эпоха германопоклоненія въ пущемъ разгарь; русскій останавливался съ почтеніемъ въ Берлинъ, тронутый тымъ, что попираеть философскую землю, которую Гегель попираль, поминалъ его и учениковъ его съ М.-С. языческими возліяніями и страсбургскими пирогами. Эти событія могли разстроить все міросозерцаніе какого-угодно нѣмца. Нѣмецъ не можетъ однимъ синтезисомъ обнять страсбургские пироги и шампанское съ изученіемъ Гегеля, идущимъ даже до брошюръ Маргейнеке, Бадера, Вердера, Шиллера, Розенкранца и всёхъ въ жизни усопшихъ знаменитостей сороковыхъ годовъ. У пихъ все еще,—если страсбургскій пирогъ—то банкиръ,—если Champagner—то юнкеръ.

М.-С. довольный, что нашель такое вкусное сочетание науки съ жизнью, сбился съ ногъ; покоя ему не было ни одного дня. Русская семья, усаживаясь въ почтовую карету (или, потомъ, въ вагонъ), чтобъ ѣхать въ Парижъ, перебрасывала его, какъ ракету или воланъ, къ русской семьѣ, подъѣзжавшей изъ Кенигсберга или Штетина. Съ проводовъ онъ торопился на встрѣчу,—и горькое инво разлуки было нагоняемо сладкимъ нивомъ новаго знакомства. Виргилій философскаго чистилища, онъ вводиль сѣверныхъ неофитовъ въ берлинскую жизнь и разомъ открывалъ имъ двери въ святилище des reinen Denkens und des deutschen Kneipens. Чистые душою соотечественники наши оставляли съ увлеченіемъ и порядочное вино, и прибранныя комнаты отелей, чтобы бѣжать съ М.-С. въ душную полъ-пивную. Они всѣ были виѣ себя отъ буршикозной жизни, и скверный табачный дымъ Германіи имъ сладокъ и пріятенъ былъ.

Въ 1847 году и я дёлилъ эти увлеченія, и мий казалось, что я какъ-то выше становлюсь въ общественномъ значеніи отъ того, что по вечерамъ встрічаль въ полъ-пивной Ауэрбаха, читавшаго каррикатурно Шиллерову Bürgschaft и разсказывавшаго смішные анекдоты, въ роді того, какъ русскій генералъ покупалъ для двора какія-то картины въ Дюссельдорфі. Генералъ быль не совсёмъ доволенъ величиной картины и думалъ, что живопи-

сецъ хочетъ его обмфрить.

«Гуть,—говорить онь,—аберь клейнь. Кейзерь liebt grosse Bilder, Кейзерь sehr klug; Gott klüger, aber Кейзерь noch jung» и т. п. Кромъ Ауэрбаха, тамъ бывали два-три берлинскихъ (что было въ этомъ звукъ для русскаго уха сороковыхъ годовъ!) профессора, одинъ изъ нихъ въ какомъ-то сюртукъ на военный манеръ, и какой-то спившійся актеръ, который былъ недоволенъ современнымъ сценическимъ искусствомъ и считалъ себя неузнаннымъ геніемъ. Этого неоцъненнаго Тальму заставляли всякій вечеръ пъть куплеты «о покушеніи Фісски на Людовика Филиппа» и, немного потише, о выстрълъ чеха въ прусскаго короля.

Hatte Keiner je so Poeh Wie der Bürgermeister Tschech. Denn er schoss der Landesmutter Durch den Rock ins Unterfutter.

Вотъ она свободная-то Европа!.. вотъ онѣ — Авины на Шпре! И какъ мнѣ было жаль друзей, оставшихся на Тверскомъ бульварѣ и на Невскомъ проспектѣ.

Зачъмъ износились всъ эти чувства непочатости, съверной свъжести и невъдънія, удивленія, поклоненія? Все это оптическій обманъ. Что же за бъда? развъ мы въ театръ кодимъ не изъ-за оптическаго обмана; только туть мы сами въ заговоръ съ обманщикомъ; а тамъ если и есть обмань,—то нъть обманщика. Потомъ всякій увидитъ свои ошибки, улыбнется, немного посовъстится; солжетъ, что этого никогда не было. А веселыя-то минуты были таки.

Зачёмъ видёть сразу всю подноготную? Мнё просто хотёлось бы воротиться къ прежнимъ демократіямъ и взглянуть на нихъ съ лицевой стороны: «Луиза, обмани меня... солги, Луиза!»

Но Луиза (тоже М.-С.), отворачивансь отъ старика, говорить, надувши губки: «Ach, um Himmelsgnaden lassen Sie doch ihre Thorheiten und gehen Sie nur ihren Weg!» и бреди себъ по мостовой изъ булыжника, въ пыли, шумъ, трескъ, въ безотрадныхъ, ненужныхъ, мелькающихъ встръчахъ, ничъмъ не наслаждаясь, ничему не удивляясь и торопясь къ выходу—зачъмъ? Затъмъ, что его миновать нельзя.

Возвращаясь къ М.-С., я долженъ сказать, что не все же онъ жилъ бабочкой, перелетая отъ Кронгартена Подъ-Лины. Нътъ, и его молодость имъла свою геропческую главу. Онъ высидълъ цълыхъ пять лють въ тюрьмъ и никогда порядкомъ не зналъ за что, такъ же, какъ и философское правительство, которое его засадило; тогда преслъдовали отголоски Гамбахскаго праздника, студенческихъ ръчей, брудершафтскихъ тостовъ, буршентумскихъ пдей и тугендбундскихъ воспоминаній. Въроятно, и М.-С. что-нибудь вспоминать: его и посадили. Конечно, во всъхъ Пруссіяхъ, съ Вестфаліей и Рейнскими провинціями, не было субъекта меньше опаснаго для правительства, какъ М.-С.—М. С. родился зрителемъ, шаферомъ, публикой. Во время берлинской революціи 1848 г. онъ отнесся къ ней точно также; онъ бъгать съ улицы на улицу, подвергаясь то пулъ, то аресту, для того, чтобы посмотръть, что тамъ дѣлается и что тутъ.

Послѣ революціп, отеческое управленіе короля-богослова и философа стало тяжело, и М.-С., походивши еще съ полъ-года къ Стеели и Пассаланьи, началь скучать. Звѣзда его стояла высоко: спасенье было возлѣ. Полина Гарсія Віардо пригласила его къ себѣ въ Парижъ. Она была такъ покрыта нашими подсиѣжными вѣнками, такъ окружена сѣверной любовью нашей, что сама состояла на правахъ русской и имѣла, стало быть, въ свою очередь неотъемлемое право на чичеронство М.-С. въ Берлинъ. Віардо звала его погостить у нихъ. Быть въ домѣ у умной, блестящей, образованной Віардо значило разомъ перешагнуть пропасть, которая дѣлитъ всякаго туриста отъ Парижскаго и Лон-

донскаго общества, всякаго нёмца безь особенных примятих отъ французовъ. Быть у нея въ домѣ—значило быть въ кругу артистовъ и либераловъ марастовскаго цвёта, литераторовъ, Ж.-Зандъ и проч. Кто не позавидовалъ бы М.-С. и его дебютамъ въ Парижѣ.

На другой день послё своего пріёзда онъ прибёжалъ ко мнё, совершенно запаленный отъ устали и суеты, и, не имъя времени сказать двухъ словъ, выпиль бутылку вина, разбилъ стаканъ, взяль мою зрительную трубку и нобъжаль въ театръ. Въ театръ онъ трубку потерялъ и, проведя цёлую ночь по разнымъ полицейскимъ домамъ, явился ко мнъ съ повинной головой. Я отпустиль ему грфхъ бинокля за удовольствіе, которое миф онъ доставляль своимъ медовымъ мъсяцемъ въ Парижъ. Тутъ только онъ показалъ всю шпрь своихъ способностей; онъ выросъ ненасытностью всего на свътъ: картинъ, дворцовъ, звуковъ, видовъ, потрясеній, жды и питья. Проглотивъ три-четыре дюжины устрицъ, онь принимался за три другихъ, потомъ за омара, потомъ за цѣлый обёдъ; окончивъ бутылку шампанскаго, онъ наливалъ съ такимъ же наслажденіемъ стаканъ пива; сходя съ лѣстницы Вандомской колонны, онъ шель на куполъ Пантеона: и тамъ и туть удивлялся громкимъ и наивнымъ удивленіемъ нёмца, этого провинціала по натурь. Между волкомъ и собакой забъгалъ онъ ко мнь, выниваль галонь нива, жль что попало и, когда волкъ бралъ верхъ надъ собакой, М.-С. въ райкъ какого-нибудь театра заливался громкимъ гутуральнымъ хохотомъ и потомъ, струившимся со всего лица его.

Не усиблъ еще М.-С. досмотрътъ Парижъ и догадаться, что онъ становится невыносимо противенъ, какъ Ж.-Зандъ увезла его къ себъ въ Nohant. Для элегантной Віардо М.-С. à la longue былъ слишкомъ грузенъ; съ нимъ случались въ ея гостиной разныя несчастья. Разъ какъ-то онъ съ неосторожной скоростью уничтожилъ цълую корзиночку какихъ-то особенныхъ чудесъ, приготовленныхъ къ чаю для десяти человъкъ, такъ что, когда Віардо ихъ предложила, въ корзинкъ были однъ крошки, и не въ одной корзинкъ, а и на усахъ М.-С. 1).

Віардо передала его Ж.-Зандъ. Ж.-Зандъ, наскучивъ Парижемъ, ѣхала на покойное помъщичье житье. Ж.-Зандъ сдѣлала съ М.-С. чудеса. Она какъ-то вычистила, прибрала, привела его въ порядокъ; исчезъ темный табакъ, покрывавшій верхнюю часть его бѣлокурыхъ усовъ, п доля нѣмецкихъ кнейповыхъ пѣсенъ

<sup>1)</sup> И. Т. говориль о М.-С., что, садясь за закуску, онь съ опытностью искуснаго полководца осматриваль позицію и, если паходиль слабое мѣсто, т. е., вино им мясо, поданное въ недостаточномъ количествѣ, онъ тотчасъ нападаль на нихь и браль двойную порцію.

А. И. Герценъ, т. Ш.

замѣнилась французскими, въ родѣ: «Pricadier, rébontit Pantore».. Зачтмь онъ не утонулъ, купаясь въ Nohant; зачтмъ не зашибла его гдъ-нибудь желѣзная дорога? Жизнь его окончилась бы, не зная горя, веселой прогулкой по кунсткамертъ съ буфетами, плошками и музыкой. М.-С. вставилъ двойную рамку лорнета въ глазъ и помолодѣтъ; когда онъ прітхалъ въ Парижъ въ отпускъ, я его едва узналъ. Послѣ 13 іюня 1849 г., я уталъ изъ Парижа; геройство М.-С., кричавшаго «Аи armes!» на Chaussée d'Antin, я разсказалъ въ другомъ мѣстѣ. Возвратившись въ 1850 г. въ Парижъ, я М.-С. не видѣлъ; онъ былъ у Ж.-Зандъ. Меня выслали изъ Франціи. Года черезъ два, я былъ въ Лондонѣ и шелъ но Трафальгарской площади. Какой-то господинъ пристально смотрѣлъ въ вставленный лорнетъ на Нельсона; досмотрѣвши его съ лъвой стороны, онъ занялся правой. «Да, это онъ! кажется, онъ».

Между тёмъ господинъ запялся спиной адмирала.—«М. С.!»— закричалъ я ему. Онъ не тотчасъ пришелъ въ себя: такъ его заняла плохая статуя сквернаго человъка; но потомъ, съ крикомъ Potz Tausend, бросился ко мнъ. Онъ переъхалъ на житье въ Лондонъ, счастливая звъзда его померкла. Да и трудно сказать, зачёмъ онъ пріъхалъ именю въ Лондонъ. Буммлеру, когда у него есть деньги, нельзя не побывать въ Лондонъ: въ немъ будетъ пробълъ, раскаяніе, неудовлетворенное желаніе; но жить въ Лондонъ ему нельзя и съ деньгами, а безъ денегъ и думать нечего.

Въ Лондонъ надобно работать въ самомъ дъль, работать безостановочно, какъ локомотивъ, правильно, какъ машина. Если человъкъ отошелъ на день, на его мъстъ стоятъ двое другихъ; если человъкъ занемогъ, его считаютъ мертвымъ всъ, отъ кого ему надобно получать работу, и здоровымъ всъ, кому надобно по-

лучать отъ него деньги.

М.-С., М.-С.!... Куда ты попаль изъ должности Впргилія въ Берлинь, изъ салоновъ Віардо, изъ пом'вщичьей нъти Ж.-Зандъ! Ноганскіе пресале и пулярдки—прощай; прощай русскіе завтраки, продолжающіеся до вечера, и русскіе об'єды, оканчивающіеся на другой день; да прощай и русскіе:—въ Лондонъ русскіе 'єздили на скорую руку, сконфуженные, потерянные; имъ было не до М.-С. Да, кстати прощай и солнце, которое такъ хорошо гръетъ и весело свътить, когда нътъ денегъ на внутреннее топливо... Туманъ, дымъ и въчная борьба работы, бой изъ-за работы! Года черезъ три М.-С. сталъ зам'єтно стар'єть; морщины прор'єзывались глубже и глубже,—онъ опускался. Уроки не шли (песмотря на то, что онъ на н'ємецкій ладъбыль очень основательно ученъ). Зач'ємъ онъ не 'єхалъ въ Германію? Но вообще у н'ємцевъ, даже у такихъ неистовыхъ патріотовъ, какъ М.-С., д'єлается, поживши

нѣсколько лѣтъ внѣ Германіи, непреодолимое отвращеніе отъ родины, что-то въ родѣ обратнаго Неішweh. Въ Лондонѣ онъ не могъ свести концовъ. Длиная масленица, длившаяся около десяти лѣтъ, кончилась, и суровый постъ захватить добродушнаго буммлера; потерянный, вѣчно ищущій захватить денегъ, кругомъ въ маленькихъ долгахъ и становясь лицомъ изъ Диккенсова романа, М.-С. все еще доканчивалъ «Эриха»,—все еще мечталъ, что продастъ его и заслужитъ разомъ талеры и лавры,—но «Эрихъ» былъ упоренъ и не оканчивался, и М.-С., чтобъ освѣжиться, дозволялъ себъ, сверхъ инва, одну роскошь—pleasure-train въ воскресеніе. Онъ платилъ очень дешево за большія пространства и ничего не видалъ.

«Я бду на Isle of Wight, взадъ и впередъ (помнится) 4 иппл. и завтра утромъ рано буду опять въ Лондонъ». Что же ты увпдишь тамъ? «Да, но за то четыре шиллинга!» Бъдный М.-С., бъдный буммлеръ!

А впрочемъ, пусть онъ събздитъ въ Рейдъ, не видавии его; лишь бы также не видаль будущаго: въ его гороскои в не осталось ни одной свътлой точки, ни одного шанса. Онъ, бъдняга безотрадный, исчезнетъ въ лондонскомъ туманъ.

# Лондонская вольница 1)

## пятидесятыхъ годовъ.

Отрывокъ этотъ идетъ за описаніемъ «горныхъ вершинъ» эмпграціи, отъ ихъ вѣчно красныхъ утесовъ до низменныхъ болотъ и «сѣрныхъ копей» 2). Я прошу читателя не забывать, что въ этой главѣ мы опускаемся съ нимъ ниже уровня моря и занимаемся исключительно илистымъ дномъ его, такъ, какъ оно было послѣ февральскаго шквала.

Почти все описанное здёсь измёнилось, исчезло; политическіе подонки пятидесятых годовъ занесло новыми песками и новыми грязями. Истощился, притихъ, вымеръ этотъ низменный міръ волненій и гоненій, отстой его успокоился и занялъ свое мёсто въ слойкъ. Оставшіяся личности становятся рёдкостью и я ужъ

люблю съ ними встръчаться.

Печально уродливы, печально смъшны нъкоторые изъ образовъ, которые я хочу вывести, но они всъ писаны съ натуры, безслъдно исчезнуть и они не должны.

#### ГЛАВА VI.

Простыя несчастья и несчастья политическія.—Учители и комиссіонеры Ходебщики и хожалые.—Ораторы и эпистолаторы.—Ничего не далающие фактотумы и въчно занятые трутии.—Русскіе.—Воры.—Шиюны.

(Писано въ 1856—1857).

... Оть спрной шайки, какъ сами нёмцы называють марксидовъ, естественно и не далеко перейти къ послёднимъ подонкамъ, къ мутной гущё, которая осёдаеть отъ континентальныхъ толчковъ и потрясеній—на британскихъ берегахъ и пуще всего въ Лондонъ.

Можно себъ представить, сколько противуположнаго снадобыя

Изъ V тома "Былое п Думы". Примъчание запраничнаю издания.
 Die Schwefelbande.

захватываютъ съ собой съ материка и оставляютъ въ Англіи приливы и отливы революцій и реакцій, истощающихъ, какъ перемежающаяся лихорадка, европейскій организмъ, и что за удивительные слои людей низвергаются этими волнами и бродять по сырому, топкому лондонскому дну. Каковъ долженъ быть хаосъ понятій, воззр'вній у этихъ образцовъ вс'єхъ нравственныхъ формацій и реформацій, всёхъ протестовъ, всёхъ утоній, всёхъ отчаяній, всёхъ надеждъ, встречающихся въ закоулкахъ, харчевняхъ и питейныхъ домахъ Лестеръ-Сквера и его проселочных г переулковъ. «Тамъ, гдѣ, по выраженію «Теймса», обитаетъ жалкое населеніе чужеземцевъ, носящихъ шляпы, какихъ никто не носить, и волосы тамъ, гдѣ ихъ ненадобно, населеніе несчастное». Да, тамъ дъйствительно по public haus'амъ и харчевнямъ сидятъ этп чужіе, эти гости, за джиномъ съ горячей водой, съ холодной водой и совствить безъ воды, горькимъ портеромъ въ кружкт и съ еще больше горькими словами на губахъ, поджидая революціп, къ которой они больше не способны, и денегь отъ родныхъ, которыхъ никогда не получатъ.

Какихъ оригиналовъ, какихъ чудаковъ я не наглядълся между ними! Тутъ, рядомъ съ коммунистомъ стараго толка, ненавидящимъ всякаго собственника во имя общаго братства, -- старый карлисть, пристръливавшій своихъ родныхъ братьевъ во имя любви къ отечеству, изъ преданности къ Монтемолино или Донъ-Хуану, о которыхъ ничего не зналъ и не знаетъ. Тамъ, рядомъ съ венгерцемъ, разсказывающимъ, какъ онъ съ пятью гонведами опрокинуль эскадронь австрійской кавалеріи, и застегивающимь венгерку до самаго горла, чтобы им'ять еще больше военный видъ, венгерку, размѣры которой показывають, что ея юность принадлежала другому,—нъмецъ, дающій уроки музыки, латыни, всъхъ литературъ и всъхъ искусствъ изъ насущнаго пива, атенсть, космонолить, презирающій всё націи, кром'є Курь-Гессена или Гессенъ-Касселя, смотря по тому, въ которомъ изъ Гессеновъ родился; полякъ, прежняго покроя, католически любящій независимость, и итальянецъ, полагающій независимость въ ненависти къ католицизму.

Возлѣэмпгрантовъ-революціонеровъ—эмпгранты-консерваторы. Какой-нибудь негоціанть или нотаріусъ, sans adienx удалившійся оть родины, кредиторовъ и довѣрителей, считающій себя тоже несправедливо гонимым, какой-нибудь честный банкротъ, увѣренный, что онъ скоро очистится, пріобрѣтеть ктедитъ и капиталь, такъ какъ его сосѣдъ справа достовѣрно знаетъ, что на дняхъ, la rouge будеть провозглашена лично самой «Марьяной», а сосѣдъ слѣва, что Орлеанская фамилія укладывается въ Клер-

монт и принцессы шьють отличныя платья для торжественнаго

въёзда въ Парижъ.

Къ консервативной средъ «виноватыхъ, но не осужденныхъ окончательно за отсутствиемъ подсудимаго», принадлежатъ и больше радикальныя лица, чъть банкроты и нотаріусы съ горячимъ воображеніемъ;—это люди, имъвшіе на родинъ большіл несчастія и желающіе всъми силами выдать свои простыя несчастія за несчастія политическія. Эта особая поменклатура

требуетъ поясненія.

Одинъ нашъ пріятель явился, шутя, въ агентство сватовства Съ него взяли десять франковъ и принялись распрашивать, какую ему нужно невѣсту, въ сколько приданаго, бѣлокурую или смуглую, и пр.; затѣмъ записывавшій гладенькій старичекъ, оговорившись и извиняясь, сталъ спрашивать о его происхожденіи, очень обрадовался, узнавъ, что оно дворянское, потомъ, усугубивъ извиненія, спросилъ его, замѣтивъ притомъ, что молчаніе гроба ихъ законъ и сила:

— Не имъли ли вы несчастий?

— Я полякъ п въ изгнаніи, т. е., безъ родины, безъ правъ, безъ состоянія.

— Последнее плохо, но позвольте, по какой причине оставили вы вашу belle patrie?

— По причинъ послъдняго возстанія (дъло было въ 1848 году.

- Это ничего не значить, политическія несчастія мы не считаємь, оно скорть выгодно, с'est une attraction. Но позвольте, вы меня завтряете, что у васъ не было других в несчастій?
  - Мало ли было, ну, отецъ съ матерью у меня умерли.

— О, нѣтъ, нѣтъ...

— Что же вы разумъете подъ словомъ другого несчастія?

— Видите, если-бъ вы оставили ваше прекрасное отечество по частнымо причинамъ, а не по политическимъ. Иногда въ молодости, неосторожность, дурные примъры, искушеніе большихъ городовъ, знаете эдакъ... необдуманно данный вексель, не совершенно правильная растрата непринадлежащей суммы, подпись, какъ-нибудь...

— Понимаю, понимаю, сказалъ, расхохотавшись, X; нѣтъ, увъряю васъ, я не былъ судимъ ни за кражу, ни за подлогъ.

... Въ 1855 году одинъ французъ exilé de sa patrie ходилъ по товарищамъ несчастія съ предложеніемъ помочь ему въ изданіи его поэмы, въ ролѣ Бальзаковой «Comedie du diable», писанной стихами и прозой, съ новой ореографіей и вновь изобрѣтеннымъ синтаксисомъ. Тутъ были дѣйствующими лицами: Людовикъ-Филинпъ, Іисусъ Христосъ, Робеспьеръ, Маршалъ Бюжо и самъ Богъ.

Между прочимъ, явился онъ съ той же просьбой къ III.1), честнъйшему и чопорнъйшему изъ смертныхъ.

— Вы давно ли въ эмиграціи? спросплъ его защитникъ черныхъ.

— Съ 1847 года.

— Съ 1847 года? и вы прівхали сюда?

— Изъ Бреста, изъ каторжной работы.

— Какое же это было дёло? Я совсемъ не помню.

- О, какъ же, тогда это дѣло было очень извѣстно! Конечно, это дѣло больше частное.

— Однакожъ?... спросилъ нѣсколько обезпокоенный Ш.

— Ah bas, si vous y tenez, я по своему протестовалъ противъ права собственности, j'ai protesté à ma manière.

И вы... вы были въ Брестѣ?

Parbleu, oui, семь лёть каторжной работы за воровство со взломому (vol avec effraction).

И III. голосомъ цѣломудренной Сусанны, гнавшей нескромных стариковъ, просилъ самобытнаго протестанта выйти вонъ.

Люди, которыхъ несчастія, по счастію, были общія и протесты коллективные, оставленные нами въ законченыхъ public haus'ахъ и черныхъ тавернахъ, за некрашенными столами съ джинъ-уатеромъ и портеромъ, настрадались вдоволь и, что всего больнѣе, не зная совсѣмъ, за что.

Время шло съ ужасной медленностью, но шло; революціп нигдѣ не было въ виду, кромѣ въ ихъ воображенін, а нужда дѣйствительная, безпощадная подкашивала все ближе и ближе подножный кормъ, и вся эта масса людей, большею частью хорошихъ, голодала больше и больше. Привычки у нихъ не было къ работѣ; умъ, обращенный на политическую арену, не могъ сосредоточиться на дѣлѣ. Они хватались за все, но съ озлобленіемъ, съ досадой, съ нетериѣніемъ, безъ выдержки, и все падало у нихъ изъ рукъ. Тѣ, у которыхъ была сила и мужество труда, тѣ незамѣтно выдѣлялись и выплывали изъ тины, а остальные?

И какая бездна была этихъ остальныхъ! Съ тёхъ поръ многихъ унесла французская амнистія и амнистія смерти, но въ началѣ пятидесятыхъ годовъ я засталъ еще the great tide.

Нѣмецкіе изгнанники, особенно не работники, много бѣдствовали, не меньше французовъ. Удачъ имъ было мало. Доктора медицины, хорошо учившіеся и, во всякомъ случаѣ, во сто разъ лучше знавшіе дѣло, чѣмъ англійскіе цпрульники, называемые surgeon, не могли пробиться до самой скудной практики. Живописцы, ваятели, съ чистыми и платоническими мечтами объ ис-

<sup>1)</sup> Шельхеръ.

кусствъ и священнодъйственномъ служени ему, но безъ производительнаго таланта, безъ ожесточения, настойчивости работы, безъ мъткаго чутья, гибли въ толиъ соревнующихъ соперниковъ. Въ простой жизни своего маленькаго городка, на дешевомъ нъмецкомъ корму, они могли бы прожить мирно и долго, сохраняя свое дъвственное поклонение идеаламъ и въру въ свое жреческое призвание. Тамъ они остались бы и умерли въ подозръни таланта. Вырванные французской бурей изъ родныхъ палисадниковъ, они

потерялись въ Бъловъжской пущь лондонской жизни.

Въ Лондонъ, чтобъ не быть затертымъ, задавленнымъ, надобно работать много, ръзко, сейчасъ и что попало, что потребовали. Надобно остановить разстянное внимание ко всему приглядвышейся толны сплой, наглостью, множествомъ, всякой всячиной. Орнаменты, узоры для шитья, арабески, модели, снимки, слъпки, портреты, рамки, акварели, кронштейны, цвъты, —лишь бы скорве, лишь бы кстати и въ большомъ количествъ. Жюльенъ, le grand Julien, черезъ сутки послѣ полученія въсти объ индійской побъдъ Гевлока написалъ концертъ съ крикомъ африканскихъ птицъ и топотомъ слоновъ, съ индійскими напъвами и пушечной пальбой, такъ что Лондовъ разомъ читалъ въ газетахъ и слушалъ въ концертъ реляцію. За этотъ концертъ онъ выручилъ громадныя суммы, повторяя его мъсяцъ. А зарейнскіе мечтатели падали середь дороги на этой безчелов в чной скачк в за деньгами и успѣхами, изнеможенные, съ отчаяніемъ складывали они руки или, хуже, подымали ихъ на себя, чтобы окончить неповный и оскорбительный бой.

Кстати къ концертамъ, музыкантамъ изъ немцевъ вообще было легче; количество ихъ, потребляемое ежедневно Лондономъ съ его субурбами, колоссально. Театры и частные уроки, скромные балы у мъщанъ и нескромные въ Argyl'румъ, въ Креморнъ, въ Casino, cafés chantants съ танцами, cafés chantants съ трико въ античныхъ позахъ, Her Majesty's Ковенъ-Гарденъ, Эксетеръ-Галь, Кристаль-Паласъ, С. Джемсъ наверху и углы всёхъ большихъ улицъ виизу занимаютъ и содержатъ цълое народонаселеніе двухъ-трехъ німецкихъ герцогствъ. Мечтай себів о музыкть будущаго и о Россини, колънопреклоненномъ передъ Вагнеромъ, читай себъ дома à livre ouvert, безъ инструмента, Тангейзера и исполняй, за штатскимъ тамбурмажоромъ и гаеромъ съ слоновой палкой, часа четыре къ ряду какую-нибудь Mary Ann польку или Flower and butterfly's redova, и дадуть бъдняку отъ двухъ до четырехъ съ половиной шиллинговъ за вечеръ, и нойдетъ онъ въ темную ночь по дождю въ полинвную, въ которую пренмущественно ходять нёмцы, и застанеть тамъ монхъ бывшихь друзей Краута и Милера: Краута, шестой годъ работающаго надъ бюстомъ, который становится все хуже; Миллера, двадцать шестой годъ дописывающаго трагедію «Эрикъ», которую онъ мніз читаль десять літь тому назадъ, пять літь тому назадъ и теперь бы еще читалъ, если-бъ мы не поссорились съ нимъ.

А поссорились мы сънимъ за генерала Урбана, но объ этомъ

въ другой разъ...

... II чего не дълали нъщы, чтобъ заслужить благосклонное вниманіе англичанъ; все безусившно.

Люди, всю жизнь куривніе во всёхъ углахь своего жилья, за обёдомъ и чаемъ, въ постели и за работой, не курять въ Лондонѣ, въ своемъ закопченномъ, продымленномъ отъ угля drawing гоом'ъ и не дозволяють курить гостю. Люди, всю жизнь ходившіе въ биркнейны своей родины вышить «шопъ», посидѣть тамъ за трубкой въ хорошемъ обществѣ, идутъ, не глядя, мимо public haus'овъ и посылаютъ туда за пивомъ горничную съ кружкой пли молочникомъ.

Мит случилось въ присутствіи одного немецкаго выходца отправлять къ англичанке письмо. «Что вы делаете?» вскрикнуль онъ въ какомъ-то азарте; я вздрогнуль и невольно бросиль пакеть, полагая, по крайней мере, что въ немъ скорпіонъ... «Въ Англіп, сказаль онъ, письмо складывають вообще втрое, а не вчетверо, а вы еще пишете къ даме, и къ какой!»

Сначала моего прівзда въ Лондонъ, я пошель отыскивать одного знакомаго немецкаго доктора. Я не засталь его дома и написаль на бумагь, лежавшей на столь, что-то въ родь: Cher docteur, я въ Лондонь и очень желаль бы васъ видьть, не придете ли вечеромъ въ такую-то таверну выпить по старому бутылку вина и потолковать о всякой всячинь. Докторъ не пришелъ, а на другой день я получилъ отъ него записку въ такомъ родь: Monsieur Н., мнъ очень жаль, что я не могъ воспользоваться вашимъ любезнымъ приглашеніемъ, моп занятія не оставляють мнъ столько свободнаго времени. Постараюсь, впрочемъ, на дняхъ посътить васъ и пр.

- А что? У доктора, видно, практика, того?.. спросилъ я освободителя Германіи, которому былъ обязанъ знаніемъ, что англичане письма складывають втрое.
- «Никакой нътъ, der Kerl hat Pech gehabt in London, es geht ihm zu ominös».
  - Такъ что же онъ дѣлаетъ?—и я передалъ ему записку. Онъ улыбнулся, однако замѣтилъ, что и мнѣ врядъ слѣ-

довало ли оставлять на столь доктора медицины открытую заинску, въ которой я его приглашаю вынить бутылку вина:

— Да и зачёмъ же въ такой таверне, где всегда народъ, здесь пьютъ дома.

— Жаль, замѣтилъ я, наука всегда приходитъ поздно, теперъ я знаю, какъ доктора звать и куда, но навърно не позову.

Затъмъ воротимся къ нашимъ чающимъ движенія народнаго.

присылки денегь отъ родныхъ и работы безъ труда.

Неработнику начать работу не такъ легко, какъ кажется; многіе думають, пришла нужда, есть работа, есть молотъ и долотъ и работникъ готовъ. Работа требуеть не только своего рода восшитанія, навыка, но и самоотверженія. Изгнанники большей частью изъ мелкой литературной и «паркетной» среды, журнальные поденщики, начинавшіе адвокаты; отъ своего труда въ Англіп они жить не могли, другой имъ былъ дикъ; да и не стоило начинать его, они все прислушивались, не раздастся ли набатъ; прошло десять

лътъ, прошло иятнадцать лътъ, нътъ набата.

Въ отчаянія, въ досадъ, безъ платья, безъ обезпеченія на завтрашній день, окруженные возрастающими семьями, они бросаются, закрывъ глаза, на аферы, выдумываютъ спекуляцін. Аферы не удаются, спекуляціи лопають, и потому что они выдумывають вздорь, и потому что они вносять вмёсто капитала какую-то безпомощную неловкость въ дёль, чрезвычайную раздражительность, неумънье найтиться въ самомъ простомъ положеніп и опять-таки неспособность къ выдержанному труду и усъянному терніями началу. При неудачь они утышаются недостаткомъ денегъ: «Будь сто-двъсти фунтовъ, и все пошло бы какъ по маслу!» Дъйствительно, недостатокъ капитала мъшаетъ, но это общая судьба работниковъ. Чего и чего не выдумывалось, отъ общества на акціяхъ для выписыванія изъ Гавра курпныхъ япцъ до изобрётенія особыхъ черниль для фабричныхъ марокъ и какихъ-то эссенцій, которыми можно было превращать сквернъйшія водки въ превосходнъйшіе ликеры. Но пока собирались товарищества и капиталы на всё эти чудеса, надобно было ёсть и несколько прикрываться оть северо-восточнаго вётра и отъ застънчивыхъ взоровъ дщерей Альбіона.

Для этого предпринимались два палліативныя средства: одно очень скучное и очень невыгодное, другое также невыгодное, но съ большими развлеченіями. Люди мирные, съ Sitzfleisch'емъ, принимались за уроки, несмотря на то, что они не только прежде не давали уроковъ, да и сомнительно, чтобъ когда-нибудь ихъ

брали. Конкуренція страшно понизила ціны.

Вотъ образчикъ объявленій одного семидесятильтняго старика, который, мнь кажется, принадлежаль скорье къ числу самобытных протестантовъ, чъмъ коллективныхъ.

# MONSIEUR N. N. TEACHES THE FRENCH LANGUAGE

on a new and easy system of rapid proficiency, has attended members of the british parliament and many other persons of respectability, as vouchers certify, translates and interprets that universal continental language, and english.

### IN A MASTERLY MANNER.

#### TERMS MODERATE:

Namely, Three Lessons per Week for Six Shillings.

Давать уроки у англичаны не составляеть особеннаго удовольствія; кому англичанинъ платить, съ тёмь онъ не церемонится.

Одинъ изъ моихъ старыхъ пріятелей получаетъ письмо отъ какого-то англичанина, предлагающаго ему давать уроки французскаго языка его дочери. Онъ отправился къ нему въ назначенное время для переговора. Отецъ спалъ послѣ объда, его встрѣтила дочь и довольно учтиво, потомъ вышелъ старикъ, осмотрѣлъ съ головы до ногъ Б. и спросилъ: «Vous etre le french teacher?» Б. подтвердилъ. «Vous pas convenir á moa». При этомъ британскій оселъ указалъ на усы и бороду.

— Что же вы ему не дали тумака?—спрашивалъ я Б.

— Я право думаль объ этомъ, но когда быкъ поворотился, дочь со слезами на глазахъ, молча, просила у меня прощенья.

Другое средство проще и не такъ скучно; оно состоить въ судорожномъ и артистическомъ комиссіонерствъ, въ предложеніи разныхъ разностей безъ вниманія на запросъ. Французы по большей части работали въ винахъ и водкахъ. Одинъ легистъ предлагалъ своимъ знакомымъ и коррелижсіонерамъ коньякъ, доставийся ему чрезвычайнымъ образомъ, по связямъ, о которыхъ въ теперешнемъ положеніи Франціи онъ не могъ и не долженъ былъ разсказывать, и притомъ черезъ капитана корабля, котораго компрометировать было бы саlamіté publique. Коньякъ былъ такъ себъ и стоилъ шесть пенсовъ дороже, чѣмъ въ лавкъ. Легистъ, привыкнувшій «пледпровать» съ декламаціей, прибавлялъ къ насилію оскорбленіе: онъ бралъ рюмку двумя пальцами за донышко, описывалъ ею медленные круги, плескалъ нѣсколько капель, нюхалъ ихъ на воздухъ и всякій разъ былъ изумленъ замѣчательно превосходнымъ запахомъ коньяка.

Другой товарищъ изгнанія, нъкогда провинціальный профес-

соръ словесности, увлекалъ виномъ. Вино онъ получалъ прямо изъ Котъ д'Ора, Бургоныи, отъ прежнихъ учениковъ и съ не-

обыкновеннымъ выборомъ.

«Гражданинъ, писалъ онъ ко мнѣ, спросите ваше братское сердце (votre coeur fraternel), и оно вамъ скажетъ, что вы должны ми уступить пріятное препмущество снабжать васъ французскимъ виномъ. Îl тутъ сердце ваше будетъ за одно со вкусомъ и экономіей. Употребляя превосходное вино, по самой дешевой цънъ, вы будете имъть наслаждение въ мысли, что, покупая его, вы облегчаете судьбу человъка, который дълу родины и свободы пожертвовалъ все.

Salut et fraternité!

Р. S. Я взяль на себя смёлость вмёстё съ тёмъ отправить къ вамъ нѣсколько пробъ».

Образчики эти были въ полубутылкахъ, на которыхъ онъ собственноручно надписывалъ не только пия вина, но п разныя обстоятельства изъ его біографіи: Chambertin (Gr. vin et très-rare!). Côte rotie (Comète). Pomard (1823!). Nuits (provision Aguado!)...

Недъли черезъ двъ-три профессоръ словесности снова присылалъ образчики. Обыкновенно черезъ день или два послѣприсылки, онъ являлся самъ и сидъть часъ, два, три, до тъхъ поръ, пока я оставляль почти вев пробы и платилъ за нихъ. Такъ какъ онъ былъ неумолимъ и это повторялось нѣсколько разъ, то впоследствін, только что онъ отворяль дверь, я хвалиль часть образчиковъ, отдавалъ деньги и остальное вино. «Я не хочу, гражданинъ, у васъ красть ваше драгоценное время», говорилъ онъ мив и освобождалъ меня недъли на двъ отъ кислаго бургонскаго, рожденнаго подъ кометой, и прянаго Котъ-роти изъ подваловъ Aguado.

Нъмцы, венгерцы работали въ другихъ отрасляхъ.

Какъ-то въ Ричмондъ и лежалъ въ одномъ изъ страшныхъ припадковъ головной боли. Взошелъ Франсуа съ визитной карточкой, говоря, что какой-то господинъ имбетъ крайность меня видъть, что онъ венгерецъ, adjutante del generale (всто венгерцыпзгнанники, не имъющіе никакого запятія, никакой честной профессіи, называли себя адъютантами Кошута). Я взглянулъ на карточку-совершенно незнакомая фамилія, украшенная капитанскимъ чиномъ.

- Зачёмъ вы его пустили? сколько тысячъ разъ я вамъ гозаплаов:
  - Онъ приходитъ сегодня въ третій разъ.
- Ну, зовите въ залу. Я вышель разъяреннымъ львомъ, вооружившись склянкой распайлевой седативной воды.
  - Позвольте рекомендоваться, капитанъ такой-то. Я долгое

время находился у русскихъвъ илѣну, у Ридигера послѣ Вплагоша. Съ нами русскіе превосходно обращались. Я былъ особенно обласканъ генераломъ Глазенанъ и полковникомъ... какъбишь его... русскія фамиліи очень мудрены... ичь... ичь...

— Пожалуйста, не безпокойтесь, я ни одного полковника не знаю... Очень радъ, что вамъ было хорошо. Не угодно ли състь.

— Очень, очень хорошо... мы съ офицерами всякій день эдакъ, штосъ, банкъ... прекрасные люди и австрійцевъ териѣть не могутъ. Я даже помню нѣсколько словъ по русски: «глѣба», «шевердакъ»—ипе ріèce de 25 sous.

— Позвольте васъ спросить, что мнъ доставляеть...

— Вы меня должны пзвинить, баронъ... я гуляль въ Ричмондъ... прекрасная погода, жаль только, что дождь идетъ... я столько наслышался объ вась отъ самого старика и отъ графа Сандора—Сандора Телеки, также отъ графини Терезы Пульской... Какая женщина графиня Тереза!

— И говорить нечего, hors ligne.—Молчаніе.

— Да-съ, и Сандоръ... мы съ нимъ вмёстё были въ гонведахъ... Я, собственно, желалъ бы показать вамъ...—и онъ вытащилъ откуда-то изъ-за стула портфель, развязалъ его и вынулъ портреты безрукаго Раглана, отвратительную рожу С. Арно, Омеръ-паши въ фескъ.—Сходство, баронъ, удивительное. Я самъ былъ въ Турціи, въ Кутансъ, въ 1849 году, прибавилъ онъ, какъ будто въ удостовъреніе сходства, несмотря на то, что въ 1849 году ни Раглана, ни С. Арно тамъ не было.—Вы прежде видъли эту коллекцію?

— Какъ не видать, отвъчаю я, смачивая голову распайлевой водой.—Эти портреты вывъшены вездъ, на Чипсайдъ, по Странду, въ Вестъ-Эндъ.

— Да-съ, вы правы, но у меня вся коллекція, и тѣ не на китайской бумагѣ. Въ лавкахъ вы заплатите гинею, а я могу вамъ уступить за пятнадцать шиллинговъ.

— Я, право, очень благодаренъ, но скажите, капитанъ, на что же мит портреты С. Арно и всей этой сволочи?

- Баронъ, я буду откровененъ, я солдать, а не меттерниховскій дипломать. Потерявь мон владѣнія близъ Темешвара, я нахожусь во временно стѣсненюмъ положенін, а потому беру на комиссію артистическія вещи (а также сигары, гаванскія сигары и турецкій табакъ—ужъ въ немъ-то русскіе и мы знаемъ толкъ!); это доставляеть мнѣ скудную конейку, на которую я покупаю «горькій хлѣбъ изгнанья», wie der Schiller sagt.
- Капитанъ, будьте вполнъ откровенны и скажите, что вамъ придется съ каждой тетради?—спрашиваю я (хотя и сомнъваюсь, что Шиллеръ сказалъ этотъ дантовскій стихъ).

— Полкроны.

— Позвольте намъ вотъ какъ покончить дѣло: я вамъ предложу *цълую крону*, но съ тѣмъ, чтобъ не покупать портретовъ.

— Право, баронъ, мит совъстно, но мое положение... впрочемъ, вы все знасте, чувствуете... я васъ такъ давно привыкъ уважать... графиня Пульская и графъ Сандоръ... Сандоръ Телеки.

— Вы меня извините, капитань, я едва сижу отъ головной боли.

— У нашего губернатора (т. е., у Кошута), у старика тоже часто болить голова, замѣчаетъ мнѣ гонведъ, какъ бы въ ободреніе и утѣшеніе; потомъ на-скоро завязываетъ портфель и беретъ вмѣстѣ съ удивительно похожими портретами Раглана и К-іи довольно сходное изображеніе королевы Викторіи на монетѣ.

Между этими ходебщиками эмиграціи, предлагающими выгодныя покупки, и эмигрантами, останавливающими всёхъ небрёющихъ бороду на улицахъ и скверахъ, требуя десятый годъ недостающихъ двухъ шиллинговъ для отъёзда въ Америку, и шести пенсовъ для покупки гробика ребенку, умершему отъ скарлатины,—находятся эмигранты, пишущіе письма, иногда пользуясь знакомствомъ, иногда пользуясь незнакомствомъ, о всякаго рода чрезвычайныхъ нуждахъ и единовременныхъ денежныхъ затрудненіяхъ, часто представляя въ дальней перспективѣ обогащеніе, и всегда съ оригинальнымъ эпистолярнымъ искусствомъ.

Такихъ писемъ у меня тетрадь, сообщу два-три особенно ха-

рактеристическихъ.

«Herr Graf! Я быль австрійскимь лейтенантомь, но дрался за свободу мадыяровь, должень быль бѣжать и совершенно обносился. Если у вась найдутся поношенные панталоны,—вы не-изрѣченно меня обяжете.

Р. S. Завтра въ 9 часовъ я навъдаюсь у вашего курьера».

Это родъ наивный, но есть письма классическія по языку и лапидарности, напр.:

«Domine, ego sum Gallus, ex patria mea profugus pro causa libertatis populi. Nihil habeo ad manducandum, si aliquod per me facere potes, gaudeo, gaudeoit cor meum.

Mercuris dies 1859».

Другія письма, не им'єм ни лаконизма, ни античной формы, отличаются особеннымъ счетоводствомъ:

«Гражданинъ, вы были такъ добры, что прислали мнѣ прошлаго февраля (вы, можетъ, не помните, но я помню) три ливра. Давно хотѣлъ я вамъ ихъ отдать, но не получалъ вовсе денегъ отъ родныхъ; на дняхъ я получу довольно значительную сумму. Если-бъ мнѣ не было совѣстно, я бы попросилъ васъ прислать еще два ливра и отдалъ бы вамъ круглымъ счетомъ пять ливровъ».

Я предпочень остаться при треугольномъ. Охотникъ до круглыхъ счетовъ началъ поговаривать, что я въ связяхъ съ русскимъ посольствомъ.

Затемъ идутъ письма дёловыя и письма ораторскія, и тё и другія очень много теряютъ въ русскомъ переводё.

«Mon cher Monsieur! Вы вторно знаете мое открытіе, оно доставило бы нашему въку честь; а миж кусокъ хлъба. И открытіе это останется неизвъстнымъ, оттого что у меня нътъ кредита на какихъ-нибудь 200 фунтовъ, и вмёсто того, чтобъ заниматься моимъ дъломъ, миъ приходится за вздорную плату courir le cachet. Всякій разъ, когда мив представляется работа продолжительная и выгодная, насмѣшливая судьба дуеть на нее (я перевожи слово въ слово), она летитъ прочь, —я за ней, настойчивая дерзость ея береть верхъ (son opiniâtre insolence bafoue mes projets), вновь стегаетъ мон надежды, и я бъгу туда—туда. Бъгу и теперь. Поймаю ли? Почти увъренъ, если вы, имъя довъріе къ моему таланту. захотите пустить въ волны ваше довъріе съ моими надеждами, по капризному вътру моей судьбы (embarquer votre confiance en compagnie de mon esprit et la livrer au souffle peu aventureux de mon destin)». Далье объясняется, что 80 фунт. есть въ виду, даже 85; остальные 115 изобрѣтатель ищетъ занять, объщая 13, almeno 11, процентовъ въ случай удачи. «Можно ли лучше, върнъе помъстить капиталь въ наше время, когда фонды всего міра колеблются и государства такъ не твердо стоять, опираясь на штыки нашихъ враговъ?»

Я ста иятнадцати не даю. Изобрътатель начинаетъ соглашаться, что въ моемъ поведеніи не все ясно, il у a du louche, и что не мъщаетъ со мною быть осторожнымъ.

Въ заключение, вотъ письмо чисто ораторское:

«Великодушный согражданинъ будущей всемірной республики! Сколько разъ вы помогали мнъ и вашъ знаменитый другъ Луп-Бланъ, и опять-таки я пишу къ вамъ и пишу къ гражданину Блану, чтобъ попросить нѣсколько шиллинговъ. Удручающее положеніе мое не улучшается вдали отъ Ларъ и Пенатъ, на негостепріимномъ островъ эгонзма и корысти. Глубоко сказали вы въ одномъ изъ сочиненій вашихъ (я постоянно ихъ перечитываю), «что талантъ гаснетъ безъ денегъ, какъ лампа безъ масла» и пр.

Само собой разумъется, что я этой пошлости никогда не писатъ и что согражданинъ по будущей республикъ, future et universelle, ни разу не развертывалъ моихъ сочиненій.

За ораторами на письмъ идутъ ораторы на словахъ, «дѣлающіе тротуаръ и переулокъ». Большею частію они только прикидываются изгнанниками, а въ сущности—спившіеся съ круга не англійскіе мастеровые пли люди, имъвшіе дома несчастія. Пользуясь необъятной величиной Лондона, они продълывають одну часть за другой и потомъ снова возвращаются на Via sacra, т. е. на Реджентъ-стритъ съ Геймаркетомъ и Лестеръ-скверомъ.

Лѣтъ пять тому назадъ, молодой человѣкъ, довольно чисто одѣтый и съ сентиментальной наружностью, нѣсколько разъ подходилъ ко мнѣ въ сумеркахъ съ вопросомъ на французскомъ языкѣ съ нѣмецкимъ акцентомъ: «Не можете ли вы мнѣ сказатъ гдѣ такая-то часть города»? и онъ подавалъ какой-то адресъ верстъ за десять отъ Вестъ-Энда, гдѣ-нибудь въ Головеѣ, Гекнеѣ. Каждый, такъ, какъ и я, принимался ему толковать. Его обдавалъ ужасъ. «Теперь 9 часовъ вечера, я еще не ѣлъ... когда же я приду? Ни гроша па омнибусъ... этого я не ждатъ. Не смѣю просить васъ, но если-бъ вы меня выручили.. мнѣ одного шиллинга за глаза довольно».

Я его встръчалъ еще раза два, наконецъ, онъ исчезъ, и я не безъ удовольствія его встрътилъ ивсколько мъсяцевъ спустя на старомъ мъстъ, съ измъненной бородой и въ другой фуражкъ. Съ чувствомъ приподымая ее, спросилъ онъ меня:

— Вы, върно, знаете по-французски?

— Знаю, отвѣчалъ я, да сверхъ того знаю, что у васъ есть адресъ, вамъ придется идти далеко, а время позднее, вы еще ничего не ѣли, на омнибусъ денегъ нѣтъ, вамъ нуженъ шиллингъ... но, на этотъ разъ, я вамъ дамъ сиксиенсъ, потому что не вы миѣ, а я вамъ разсказалъ все это.

— Что дёлать, отвёчаль онь мнё улыбаясь, безь малёйшей злобы, вёдь, воть вы опять не повёрите, а я ёду въ Америку,

прибавьте на дорогу.

Я не выдержалъ и додалъ сиксиенсъ.

Въ числъ этихъ господъ были и русскіе: напр., бывшій кавказскій офицеръ Стремоуховъ, просившій на б'єдность въ Парижѣ еще въ 1847 году, разсказывая очень плавно исторію какой-то дуэли, бъгства и пр. и забирая, къ сильному озлоблению прислуги, все на свътъ: старыя платья и туфли, фуфайки лътомъ и зимой панталоны изъ парусины, дётскія платья, дамскія ненужности. Русскіе собрали для него денегъ и отправили въ Алжирь въ иностранный легіонь. Онъ выслужиль иять льть, иривезъ аттестатъ и снова отправился изъ дома въ домъ, разсказывать о дуэли и побътъ, прибавляя къ нимъ разныя арабскія похожденія. Стремоуховъ становился старъ, и жаль его было и надобдаль онь страшно. Русскій священникъ при лондонской миссін сдёлаль для него колекту, чтобъ отправить его въ Австралію. Ему дали въ Мельборнъ рекомендацію и поручили канитану его самого и, главное, деньги за пробздъ. Стремоуховъ приходилъ къ намъ прощаться. Мы его совстмъ снарядили: я ему далъ теплое пальто, Г. рубашекъ п пр. Стремоуховъ, прощаясъ, заплакалъ и сказалъ: «Какъ хотите, господа, а фхать въ такую даль не легкая вещь. Вдругъ разорваться со вефии привычками, но это надобно...» И онъ цъловалъ насъ и благодарилъ съ горячностью.

Я думалъ, что Стремоуховъ давнымъ-давно гдф-нибудь на берегахъ Викторіи Риверъ; какъ вдругъ читаю въ «Теймсф», что какой-то russian officer Stremoouchoff за буянство, драку въ кабакф, вслфдствіе какихъ-то взаимныхъ обвиненій въ воровствф и пр., присуждается на три мфсяца тюрьмы. Мфсяца черезъ четыре послф этого, я шелъ по Оксфордъ-стритъ, пошелъ сильный дождь, со мной не было зонтика, я подъ вороты. Въ то самое время, кака я остановился, какая-то длинная фигура, закрываясь дряхлымъ зонтикомъ, торопливо шмыгнула подъ другія вороты. Я узналъ Стремоухова.

- Какъ, вы воротились изъ Австраліи? спросиль я его, прямо глядя ему въ глаза.
- Ахъ, это вы, а я и не призналь васъ, отвъчаль онъ слабымъ и умирающимъ голосомъ; нътъ-съ, не изъ Австраліи, а изъ больницы, гдъ пролежаль мъсяца три между жизнію и смертью... и не знаю, зачъмъ выздоровълъ.
  - Въ какой же вы были больницѣ, въ S. Georges Hospital?
  - Нътъ, не здъсь, въ Соутгамптонъ.
- Какъ же вы это занемогли и никому не дали знать? Да и какъ же вы не убхали?
- Опоздалъ на первый train, прівзжаю со вторымъ, пароходъ-съ ушелъ. Я постоялъ на берегу, постоялъ и чуть не бросился въ пучину морскую. Иду къ Reverend'y, къ которому нашъ батюшка меня рекомендовалъ; «капитанъ, говоритъ, убхалъ, часу ждать не хотълъ».
  - А деньги?
  - Деньги онъ оставилъ у Reverend'a.
  - Вы, разумъется, ихъ взяли?
- Взялъ-съ, но проку не вышло, во время болъзни все утащили изъ-подъ подушки, такой народъ! Если можете чъмъ помочь?
- А вотъ здёсь, во время вашего отсутствія, какого-то другого Стремоухова запекли въ тюрьму и тоже на три м'єсяца, за драку съ курьеромъ. Вы не слыхали?
- Гдѣ же слышать между жизнію и смертію. Кажется, дождь перестаеть. Желаю счастливо оставаться.
- Берегитесь выходить въ сырую погоду, а то опять попадетесь въ больницу.

Послф Крымской войны нфсколько плфиныхъ матросовъ п

солдать остались, сами не зная за чёмь, въ Лондонъ. Люди большей частью пьяные, они спохватились поздно. Некоторые изъ нихъ просили посольство заступиться за нихъ, исходатайствовать прощеніе, aber was macht es den dem Herrn Baron von Brunov!

Они представляли чрезвычайно печальное зрълище. Испитые, оборванные, они, то унижаясь, то съ дерзостью (довольно непріятного въ узкихъ улицахъ послѣ десяти часовъ вечера) требовали

пенегъ.

Въ 1853 г. бъжало нъсколько матросовъ съ военнаго корабля въ Портемуть; часть ихъ была возвращена, въ силу нелъпаго закона, подъ который подходять исключительно одни матросы. Нъсколько человъкъ спаслись и пришли пъшкомъ изъ Порчмы въ Лондонъ Одинъ изъ нихъ, молодой человъкъ лътъ двадцати двухъ, съ добрымъ и открытымъ лицемъ, былъ башмачникомъ, умълъ точать, какъ онъ называль, «шлиперы». Я купилъ ему инструменть и даль денегь, но работа не пошла.

Въ это время Гарибальди отплывалъ съ своимъ Соштон Wealth въ Геную, я попросилъ его взять съ собой молодого человъка. Гарибальди принялъ его съ жалованьемъ фунта въ мъсяцъ и съ объщаніемъ, если будеть хорошо себя вести, давать черезъ годъ два фунта. Матросъ, разумбется, согласился, взялъ у Гарибальди два фунта впередъ п принесъ свои пожитки на ко-

рабль.

На другой день послів отъйзда Гарибальди, матрось пришель ко мнъ красный, заспанный, вспухнувшій.

— Что случилось? спрашиваю я его.

— Несчастіе, ваше благородіє, опоздалъ на корабль.

— Какъ опоздалъ?

Матросъ бросился на колъни и неестественно хныкаль. Дъло было исправимо. Корабль пошеть за углемъ въ Newcastle on Tyne.

- Я тебя пошлю по желёзной дорог'в туда, сказалъ я ему, но если ты и на этоть разъ опоздаешь, помни, что я ничего для тебя не сдфлаю, хоть умри съ голоду. А такъ какъ дорога въ Newcastle стоптъ больше фунта, а я тебъ не довърю шиллинга, то я ношлю за знакомымъ и ему поручу продержать тебя всю ночь и посадить въ вагонъ.
  - Всю жизнь буду молить Бога за в. в.!

Знакомый, взявшійся за отправку, пришелъ ко мнѣ съ рапортомъ, что матроса выпроводиль.

Представьте же мое удивленіе, когда дня черезъ три матросъ

явился съ какимъ-то полякомъ.

— Что это значить? закричаль я на него, въ самомъ дълъ дрожа отъ бъщенства.

Но прежде чёмъ матросъ открылъ ротъ, его товарищъ при-

нялся его защищать на ломаномъ русскомъ языкъ, окружая слова какой-то атмосферой табаку, водки и вина.

- Кто вы такой?
- Польскій дворянинъ.
- Въ Польшт вст дворяне. Почему вы пришли ко мнт съ этимъ мошенникомъ?

Дворянинъ расхорохорился. Я сухо замётиль ему, что я съ нимъ не знакомъ и что его присутствіе въ моей комнатъ до того странно, что я могу его велёть вывести, позвавъ полисмена.

Я посмотрълъ на матроса. Въ три дня аристократическаго общества съ дворяниномъ его много восинтали. Онъ не илакалъ и иьяно дерзко смотрълъ на меня.

- Оченно занемогъ, в. б. Думалъ Богу душу отдать, полегчало, когда машина ушла.
  - Гдъ же это тебя схватило?
  - На самой, т. е., жельзной дорогь.
  - Что-жъ не повхаль съ следующей машиной?
  - Не въ домекъ-съ, да и такъ какъ языку не способенъ...
  - Гдѣ билетъ?
  - Да билета нѣтъ.
  - Какъ нѣтъ?
  - Уступилъ тутъ одному человъчку.
- Ну, теперь ищи себѣ другихъ человѣчковъ, только въ одномъ будь увѣренъ, я тебѣ не номогу ни въ какомъ случаѣ.
  - Однако, позвольте, вступиль въ рѣчь «вольный шляхтичь».
- М. г., я не имъю ничего вамъ сказать и не желаю ничего слушать.

Рутая меня сквозь зубы, отправился онъ съ своимъ Телема-комъ, въроятно, до перваго кабака.

Еще ступеньку внизъ...

Можетъ, многіе съ недоумѣніемъ спросять, какая же это еще ступенька внизъ... А есть, и довольно большая—только туть ужъ темно, идите осторожно. Я не имѣю pruderie Ш-ра и мнѣ авторъ поэмы, въ которой Христосъ разговариваетъ съ маршаломъ Бюжо, показался еще забавнѣе послѣ геройскаго рош ии vol avec ейгастіон. Если онъ и укралъ что-нибудь изъ-подъ замка, зато подвергался Богъ знаетъ чему и потомъ работалъ нѣсколько лѣтъ, кожетъ, съ ядромъ на ногахъ. Онъ имѣлъ противъ себя не только того, котораго обокралъ, но все государство и общество, церковь, войско, полицію, судъ, всѣхъ честныхъ людей, которымъ красть ненужно, и всѣхъ безчестныхъ, но не уличенныхъ по суду. Есть воры другого рода, не преслѣдуемые полицей, потому что они сами къ ней принадлежатъ. Это люди, ворующіе не платки, но разговоры, письма, взгляды. Эмигранты-шпіоны—шпіоны въ ква-

дратъ... Ими оканчивается порокъ и развратъ; дальше, какъ за Луциферомъ у Данта, ничего нътъ,—тамъ ужъ опять пойдетъ

вверхъ.

Французы большіе артисты этого дёла. Они ум'єють ловко сочетать образованныя формы, горячія фразы, арюшь человіка, котораго совість чиста и роіпт d'honneur раздражителень, съ должностью шпіона. Заподозрите его, онъ вызоветь вась на дуэль, онъ будеть драться п храбро драться.

Записки Де-ла-Года, Шеню, Шнепфа—кладъ для изученія грязи, въ которую цивилизація завела своихъ блудныхъ дѣтей. Де-ла-Годъ наивно печатаетъ, что онъ, предавая своихъ друзей, долженъ былъ съ ними хитрить такъ, «какъ хитрить охотникъ

съ дичью».

Де-ла-Годъ-это Алкивіадъ шпіонства.

Молодой человёкъ съ литературнымъ образованіель и радикальнымъ образомъ мыслей, онъ изъ провинціи явился въ Парижъ, бъдный какъ Иръ, и просить работы въ редакціи Реформы. Ему дали какую-то работу, онъ ее сдълалъ хорошо; мало-по-малу съ нимъ сблизились. Онъ вступиль въ политическіе круги, зналъ многое изъ того, что дълалось въ республиканской партіи, и продолжалъ работать нъсколько льто, оставаясь въ самыхъ дру-

жескихъ отношеніяхъ къ сотрудникамъ.

Когда послѣ февральской революціи Коссидьерь разобраль бумаги въ префектурѣ, онъ нашель, что Де-ла-Годъ все время преправильно доносилъ полиціи о томъ, что дѣлалось въ редакцій Реформы. Коссидьеръ позваль Де-ла-Года къ Альберу, тамъ ждали свидѣтели. Де-ла-Годъ явился, ничего не подозрѣвая, попробоваль запираться, но потомъ, видя невозможность, признался, что письма къ префекту писалъ онъ. Возникъ вопросъ, что съ нимъ дѣлать? Одни думали застрѣлить его тутъ же, какъ собаку. Альберъ возсталъ пуще всѣхъ и не хотѣлъ, чтобы въ соквартиръ убили человѣка. Коссидьеръ предложить ему заряженный пистолетъ съ тѣмъ, чтобъ онъ застрѣлился. Де-ла-Годъ отказался. Кто-то спросилъ его, не хочетъ ли онъ яду? Онъ и отъ яду отказался, а, отправлясь въ тюрьму, какъ благоразумный человѣкъ, спросилъ кружку пива,—это фактъ, переданный мнѣ сопровождавшимъ его помощникомъ мера XII округа.

Когда реакція стала брать верхъ, Де-ла-Года выпустили изътюрьмы, онъ убхалъ въ Англію, но когда реакція еще окончательнѣе восторжествовала, онъ возвратился въ Парижъ и совался впередъ въ театрахъ и другихъ публичныхъ собраніяхъ, какълевъ особой породы; вслѣдъ за тѣмъ издалъ онъ свои записки.

Шпіоны постоянно трутся во всёхъ эмиграціяхъ; ихъ узнаюгъ, открывають, колотять, а они свое дёло дёлають съ полнъйшимъ успъхомъ. Въ Парижъ полиція знаеть всъ лондонскія тайны. День тайпаго прівзда Делеклюза, потомъ Буашо во Францію, были такъ хорошо извъстны, что они были схвачены въ Кале, лишь только вышли изъ корабля. Въ коммунистическомъ процессъ въ Кельнъ читали документы и письма, «купленныя въ Лондонъ», какъ наивно признался въ судъ прусскій комиссаръ полиціи.

Въ 1849 году я познакомился съ пзгнаннымъ австрійскимъ журналистомъ, Энглендеромъ. Онъ быль очень уменъ, очень колокъ и впослъдствіи помъщаль въ Колачековскихъ ярбухахъ рядъ живыхъ статей объ историческомъ развитіи соціализма. Энглендеръ этотъ попался въ тюрьму въ Парижъ по дълу, названному «Дъломъ корреспондентовъ». Ходили разные слухи объ немъ; наконецъ, онъ самъ явился въ Лондонъ. Здъсь другой австрійскій изгнанникъ, досторъ Гефнеръ, очень уважаемый сволми, говорилъ, что Энглендеръ въ Парижъ быль на жалованыи у префекта, и что его сажали въ тюрьму за измъну брачной върности французской полиціи, приревновавшей его къ австрійскому посольству, у котораго онъ тоже быль на жалованьи. Энглендеръ жилъ разгульно, на это надобно много денегъ, одного префекта видно не хватало.

Нѣмецкая эмиграція потолковала, потолковала и позвала Энглендера къ отвѣту. Энглендеръ хотѣль отшутиться, но Гефнеръ быль безпощадень! Тогда мужъ двухъ полицій вдругъ вскочиль съ раскраснѣвшимся лицомъ, со слезами на глазахъ и сказалъ: «Ну, да, я во многомъ виноватъ, но не ему меня обвинять», и онъ бросилъ на столъ инсьмо префекта, изъ котораго ясно было,

что и Гефнеръ получаль отъ него деньги.

Въ Парижъ проживаль нѣкій Н-ръ, тоже австрійскій рефюжье; в познакомплся съ инмъ въ концѣ 1848 года. Товарищи его разсказывали объ немъ необыкновенно храбрый поступокъ во времи революціи въ Вѣнѣ. У инсургентовъ не доставало пороха, Н-ръ вызвался привезти по жесльзной дорогъ и привезъ. Женатый и съ дѣтьми, онъ бѣдствоваль въ Парижѣ. Въ 1853 г. я его нашелъ въ Лондонѣ въ большой крайности, онъ занималъ съ семьею двѣ небольшія комнатки, въ одномъ изъ самыхъ бѣдныхъ переулковъ Соо. Все не спорилось въ его рукахъ. Завелъ онъ было прачешную, въ которой его жена и еще одинъ эмигрантъ стирали бѣлье, а Н-ръ развозилъ его,—но товарищъ уѣхалъ въ Америку и прачешная остановилась.

Ему хотвлось помбститься въ купеческую контору, — очень не глупый человъкъ и съ образованіемъ онъ могь заработать хорошія деньги, но reference, reference, безъ reference въ Англіи ни шагу. Я ему даль свою; по поводу этой рекомендаціи одинъ нѣ-

мъ́цкій рефюжье, О., замъ́тилъ мнъ́, что напрасно я хлопочу, что человъкъ этотъ не пользуется хорошей репутаціей, что онъ будто бы въ связяхъ съ французской полиціей.

Въ это время Р. привезъ въ Лондонъ монхъ дѣтей. Онъ принималъ въ Н-ръ большое участіе. Я сообщилъ ему, что объ немъ

говорятъ.

- Р. расхохотался, онъ ручался за Н-ръ, какъ за самого себя, и указываль на его бъдность, какъ на лучшее опровержение. Послъднее убъждало отчасти и меня. Вечеромъ Р. ушелъ гулять, возвратился поздно встревоженный и блъдный. Онъ взошелъ на минуту ко мнъ и, жалуясь на спльную мигрень, собирался лечъ спать. Я посмотрълъ на него и сказалъ:
  - У васъ есть что-то на душт, heraus damit!
- Да, вы отгадали... но дайте прежде честное слово, что вы никому не скажете.
  - Пожалуй, но что за шалости, предоставьте моей совъсти.
- Я не могъ успокопться, услышавши отъ васъ объ Н-ръ, и, несмотря на объщаніе, данное вамъ, я ръшился его спросить и быль у него. Жена его на дняхъ родитъ, нужда страшная... Чего мнѣ стопло начать разговоръ! Я вызвалъ его на улицу п, наконецъ, собравъ всѣ силы, сказалъ ему: внаете ли, что Г. предупреждали въ томъ-то и томъ-то; я увѣренъ, что это клевета, поручите мнѣ разъяснить дѣло. «Благодарю васъ,—отвѣчалъ онтмнѣ мрачно,—но это ненужно; я знаю, откуда это идетъ. Въ минуту отчаянія, умпрая съ голода, я предложилъ префекту въ Паршжѣ мои услуги, чтобы держать его ап сопгант эмиграціонныхъ новостей. Онъ мнѣ прислалъ 300 франковъ и я никогда ему не инсалъ потомъ».
  - Р. чуть не плакалъ.
- Послушайте, пока жена его не родить и не оправится, даю вамъ слово молчать; пусть идеть въ конторщики и оставить политическіе круги. Но, если я услышу новыя доказательства и онъ все-таки будеть въ сношеніяхъ съ эмиграціей, я его выдамъ. Чорть съ нимъ!
- Р. увхаль. Дней черезъ десять, во время объда, взошель ко мив Н-ръ, блъдный, разстроенный. «Вы можете понять, говориль онъ, чего мив стоить этоть шагъ; но куда ни смотрю, кромъ васъ спасенья итъ. Жена родить черезъ итсколько часовъ, въ домъ ни угля, ни чая, ни чашки молока, денегъ ин гроша, ни одной женщины, которая бы помогла, не на что послать за акушеромъ». И онъ, дъйствительно, изнеможенный бросился на стулъ и, нокрывъ лицо руками, сказалъ: «Остается пулю въ лобъ, по крайней мъръ, не увижу этого ужаса».

Я тотчасъ посладъ за добрымъ Павломъ Дарашемъ, далъ де-

негъ Н-ръ п, сколько могъ, успокоплъ его. На другой день Да-

рашъ забхалъ сказать, что роды сошли съ рукъ хороню.

Между тъмъ въсть, пущенная, въроятно, по личной враждь, о связяхъ съ французской полиціей Н-ра ходила больше и больше и, наконецъ, Т., извъстный вънскій клубисть и агитаторъ, послъ ръчи котораго народъ повъсилъ Латура, увърялъ направо и налъво, что онъ самъ читалъ письмо отъ префекта, писанное при присылкъ денегъ. Обвиненіе Н-ра, видно, было дорого для Т.: онъ самъ зашелъ ко мнъ, чтобы подтвердить его.

Положение мое становилось трудно. Гаугъ жилъ у меня; до того я ему не говориль ни слова, но теперь это становилось не деликатно и опасно. Я разсказалъ ему, не упоминая о Р., котораго не хотълъ путать въ драму, имъвшую вст шансы на то, что V актъ ея будеть представляться въ полицейскомъ судѣ илп въ Олдъ-Бели. Чего я прежде боялся, то и случилось: «вскипътъ бульонъ», я едва могъ усмирить Гауга и удержать его отъ нашествія на чердакъ Н-ра. Я зналъ, что Н-ръ долженъ былъ придти къ намъ съ переписанными тетрадями, и советовалъ подождать его. Гаугъ согласился и какъ-то утромъ вбъжалъ ко мнь, бльдный отъ ярости, и объявиль, что Н-ръ внизу. Я бросиль поскорже бумаги въ столъ и сошелъ. Перестрълка шла ужъ сильная. Гаугъ кричаль и Н-ръ кричалъ. Калибръ крѣпкихъ словъ становился все крупнъе. Выражение лица Н-ра, искаженнаго злобой и стыдомь, было дурно. Гаугь былъ въ азартѣ и путался. Этимъ путемъ можно было скоръе дойти до раскрытія черена, чъмъ дъла.

— Господа,—сказаль я вдругъ середь рѣчи,—позвольте васъ остановить на минуту.

Они остановились.

— Мнѣ кажется, что вы портите дѣло горячностью; прежде чѣмъ браниться, надобно поставить совершенно ясно вопросъ.

— Что я. тпіонъ или нътъ, —кричаль Н-ръ, —я ни одному

человъку не позволю ставить такой вопросъ.

- Нътъ, не въ этомъ вопросъ, который я хотълъ предложить; васъ обвиняетъ одинъ человъкъ, да и не онъ одинъ, что вы получали деньги отъ парижскаго префекта полиціи.
  - Кто этотъ человѣкъ?
  - T.
  - Мерзавецъ.
  - Это къ дълу не идетъ, вы деньги получали или нътъ?
- Получаль,—сказаль Н-рь съ натянутымъ спокойствіемъ, глядя мит п Гаугу въ глаза. Гаугъ судорожно кривлялся п какъ-то стоналъ отъ нетерпънія снова обругать Н-ра; я взяль Гауга за руку и сказаль:

— Ну, только намъ и надобно.

— *Нють*, не только, — отвъчалъ Н-ръ, — вы должны знать, что никогда ни одной строкой я не компрометировалъ никого.

— Дёло это можетъ решить только вашъ корресцондентъ

Пістри, а мы съ нимъ не знакомы.

- Да что я у васъ подсудимый, что ли? Почему вы воображаете, что я долженъ передъ вами оправдываться? Я слишкомъ высоко цёню свое достоинство, чтобы зависёть отъ мибнія какого-нибудь Гауга или вашего. Нога моя не будеть въ этомъ домф,—прибавиль Н-ръ,—гордо надълъ шляну и отвориль дверь.
  - Въ этомъ вы можете быть увърены, сказаль я ему

вслъдъ.

Онъ хлопнулъ дверью и ушелъ. Гаугъ порывался за нимъ, но

я, смъясь, остановиль его, перефразируя слова Сіэса

— Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons été hier—déjeunons! Н-ръ отправился прямо къ Т. Тучный, лоснящійся Спленъ. о которомъ Мациини какъ-то сказаль: «мнѣ все кажется, что его поджарили на оливковомъ маслѣ и не обтерли», еще не покидалъ своего ложа. Дверь отворилась и передъ его просыпающимися и опухлыми глазами явилась фигура Н-ра.

- Ты сказалъ Г., что я получалъ деньги отъ префекта?
- ... Я.
- Зачты
- За темъ, что ты получалъ.
- Хотя и зналь, что я не доносиль. Воть же тебь за это.— При этихь словахь Н-ръ плюнуль Т. въ лицо и ношель вонь... Разъяренный Силенъ не хотъль остаться въ долгу, онъ вскочиль съ постели, схватилъ горшовъ и, пользуясь тъмъ, что Н-ръ спускался по лъстницъ, вылилъ ему весь запасъ на голову, приговаривая:
  - А это ты возьми себъ.

Эпилогъ этотъ утфшилъ меня несказанно.

— Видите, какъ хорошо я сдѣлалъ, —говорилъ я Гаугу, —что васъ остановилъ. Ну, что бы подобнаго вы могли сдѣлать надъ головой несчастнаго корреспондента Піетри, вѣдь, онъ до второго пришествія не просохнетъ.

Казалось бы, дёло должно было окончиться этой нёмецкой вендеттой, но у эпилога есть еще пебольной финаль. Какой-то господинь, говорять добрый и честный, старикъ В., сталь защищать Н. Онь созвалъ комитеть нёмцевъ и пригласиль меня. какъ одного изъ обвинителей. Я написалъ ему, что въ комитетъ не пойду, что все мнё извёстное ограничивается тёмъ, что Н. въ моемъ присутствіи сознался Гаугу, что онъ деньги от префекта получалъ. В-ру это не понравилось, онъ написалъ

мнѣ, что Н. фактически виноватъ, но морально чистъ, и приложилъ письмо Н. къ нему. Н. обращалъ, между прочимъ, вниманіе его на странность моего поведенія. «Г.,—говорилъ онъ,—гораздо прежде зналъ отъ г. Р. объ этихъ деньгахъ и не только молчалъ до обвиненія Т., но послѣ того еще далъ мнѣ два фунта и присылалъ на свой счетъ доктора во время болфани жены!» Sehr gut!

## On Liberty.

Много я принялъ горя за то, что печально смотрю на Европу и просто, безъ страха и сожалбнія, высказываю это. Съ того времени, какъ я печаталъ въ Современники моп Письма изъ Avenue Marigny, часть друзей и недруговъ показывали знаки нетерибнія, негодованія, возражали..., а тутъ, какъ на зло, съ какъдымъ событіемъ становилось на Западѣ темнъе, угарнъе, и ни умныя статьи Парадоля, ни клерикально-либеральныя книженки Монталамбера, ни замѣна прусскаго короля прусскимъ принцемъ не могли отвести глазъ, искавшихъ истины. У насъ не хотятъ этого знать, и, натурально, сердятся на нескромнаго обличителя.

Европа намъ нужна какъ идеалъ, какъ упрекъ, какъ благой примъръ; если она не такая, ее надобно выдумать. Развъ напвные вольнодумы XVIII въка, и въ ихъ числъ Вольтеръ и Робеспьеръ, не говорили, что если и нътъ безсмертія души, то его надобно проповъдывать для того, чтобъ держать людей въ страхъ и добродътели. Или развъ мы не видимъ въ исторіи, какъ иногда вельможи скрывали тяжкую бользнь или скоропостижную смерть царя и управляли именемъ трупа или сумасшедшаго, какъ это недавно было въ Пруссіи.

Ложь ко спасенію—дёло, можеть, хорошее, но не всё способны

къ ней.

Я не уныль, впрочемь, оть порицаній и утбшаль себя тѣмъ, что и здѣсь мною высказанныя мысли принимались не лучше, да еще тѣмъ, что онѣ объективно истинны, т. е., независимы отъ личныхъ мнѣній и даже добрыхъ цѣлей воспитанія, исправленія нравовъ и т. д. Все само по себѣ истинное рано или поздно взойдеть и обличится, «Котт an die Sonnen», какъ говорить Гёте.

Одна изъ причинъ неудовольствія, собственно противъ моихъ мнѣній, антропологически понятна: сверхъ докучнаго безпокойства, приносимаго разрушеніемъ оконченныхъ мнѣній и окаменѣлыхъ идеаловъ, на меня досадовали за то, что я свой человъкъ, —съ чего же въ самомъ дѣлѣ вдругъ вздумалъ судить и рядить, да еще старшихъ, и какихъ?

Въ нашемъ новомъ поколѣніи есть странный кряжъ, въ немъ спаяны, какъ въ маятникахъ, самые противоположные элементы:

съ одной стороны, оно толкается какимъ-то жестянымъ, костлявымъ, неукладчивымъ самолюбіемъ, заносчивой самонадъянностью, щепетильной обидчивостью; съ другой, въ немъ поражаетъ обезкураженная подавленность, недовъріе къ Россіи, преждевременное старчество. Это естественный результатъ рабства; въ немъ въ иной формъ сохранилась наглость начальника, дерзость барина, съ подавленностью подчиненнаго, съ отчаяніемъ ревизской души, отпускаемой въ услуженіе.

Пока меня побранивали наши начальники литературных отдёленій, время шло себь да шло, и, наконець, прошло цёлыхъ десять лѣтъ. Многое изъ того, что было ново въ 1849, стало въ 1859 битой фразой, что казалось тогда сумасброднымъ нарадоксомъ, перешло въ общественное мнѣніе и много вючнихъ и незыблемыхъ истинъ прошли съ тогдашнимъ покроемъ платъя.

Серьезные умы въ Европъ стали смотръть серьезно. Ихъ очень немного, это только подтверждаетъ мое мнъне о Западъ, но они далеко идутъ, и я очень помню, какъ Т. Карлейль и добродушный Олсопъ (тотъ, который былъ замъшанъ въ дъло Орсини) улыбались надъ остатками моей въры въ англійскія формы. Но вотъ является книга, идущая далеко дальше всего, что было сказано мною. Pereant qui ante nos nostra dixerunt и спасибо тъмъ, которые послъ насъ своимъ авторитетомъ утверждаютъ сказанное нами и своимъ талантомъ ясно и мощно передаютъ слабо выраженное нами.

Книга, о которой я говорю, писана не Прудономъ, ни даже Пьеромъ Леру или другимъ соціалистомъ-изгнанникомъ, раздраженнымъ,—совсъмъ нѣтъ; она писана однимъ изъ извъстнъйшихъ политическихъ экономовъ, однимъ изъ недавнихъ членовъ индійскаго борда, которому три мъсяца тому назадъ лордъ Стенли предлагалъ мъсто въ правительствъ. Человъкъ этотъ пользуется огромнымъ, заслуженнымъ авторитетомъ, въ Англіи его нехотя читаютъ тори и со злобой виги; его читаютъ на материкъ тъ нъсколько человъкъ (кромъ спеціалистовъ), которые вообще читаютъ что-нибудь, кромъ газетъ и памфлетовъ.

Человѣкъ этотъ Джонъ Стюартъ Милль.

Мѣсяцъ тому назадъ онъ издалъ странную книгу въ защиту свободы мысли, ръчи и лица; я говорю странную, потому что неужели не странно, что тамъ, гдѣ за два вѣка Мильтонъ писалъ о томъ же, явилась необходимость снова поднять рѣчь оп Liberty. А, вѣдь, такіе люди, какъ С. Милль, не могутъ писатъ изъ удовольствія; вся книга его проникнута глубокой печалью, не тоскующей, но мужественной, укоряющей, тацитовской. Онъ потому заговорилъ, что зло стало хуже. Мильтонъ защищалъ свободу рѣчи противъ нападеній власти, противъ насилія, и все энерги-

ческое и благородное было съ нимъ. У Стюарта Милля врагъ совсёмъ иной, онъ отстаиваетъ свободу не противъ образованнаго правительства, а противъ общества, противъ нравовъ, противъ мертвящей силы равнодушія, противъ мелкой нетериимости,

противъ «посредственности».

Это не негодующій старикъ царедворецъ Екатерины, который брюзжить, обойденный кавалеріей, надъ понымъ покольніемъ п колеть глаза зимнему дворцу грановитой палатой. Ньть, это человыкъ полный силъ, давно живущій въ государственныхъ дълахъ и глубоко продуманныхъ теоріяхъ, привыкнувшій спокойно смотрьть на міръ, и какъ англичанинъ, и какъ мыслитель, и онъ-то, наконецъ, не вытериълъ и, подвергаясь гнъву невскихъ регистраторовъ цивилизацій и москворъцкихъ крыжниковъ западнаго образованія,—закричалъ: «Мы тонемъ!»

Постоянное пониженіе личностей, вкуса, тона, пустота питересовъ, отсутствіе энергіп ужаснули его, онъ присматривается п видитъ, какъ ясно все мельчаетъ, становится дюжинное, рядское, стертое, пожалуй, «добропорядочнѣе», но пошлѣе. Онъ видитъ въ Англіп (то, что Токвиль замѣтилъ во Франціп), что вырабатываются общіе стадные типы, и, серьезно качая головой, говоритъ своимъ современникамъ: Остановитесь, одумайтесь, знаете ли,

куда вы идете, посмотрите—душа убываетъ.

Но зачёмъ же будить онъ снящихъ, какой путь, какой выходъ онъ придумать для нихъ? Онъ, какъ нёкогда Іоаннъ Предтеча, грозить будущимъ и зоветь на покаяніе; врядъ второй разъ подвинешь ли этимъ отрицательнымъ рычагомъ людей. Стюартъ Милль стыдить своихъ современниковъ, какъ стыдить своихъ Тацитъ; онъ ихъ этимъ не остановитъ, какъ не остановиль своихъ Тацитъ. Не только нѣсколькими печальными упреками не уймешь убывающую душу, но, можетъ, никакой плотиной въ мірѣ.

«Люди иного вакала, говорить онъ, сдълали изъ Англіи то, что *она была*, и только люди другого закала могуть ее пред-

упредить оть паденія».

Но это пониженіе личностей, этотъ недостатокъ закала, только патологическій фактъ, и признать его очень важный шагъ для выхода, но не выходъ. Стюартъ Милль коритъ больного, указывая ему на здоровыхъ праотцевъ,—странное леченіе и едва ли велико-

душное.

Ну, что же начать теперь корить ящерицу допотопнымъ ихтіозавромъ,—виновата ли она, что она маленькая, а тотъ большой? С. Милль, испугавшись нравственной ничтожности, духовной носредственности окружающей его среды, закричаль со страстей и съ горя, какъ богатыри въ нашихъ сказкахъ: «Есть ли въ полъ живъ человъкъ?» Зачёмъ же онъ его зваль? Затёмъ, чтобъ сказать ему, что онъ выродившійся потомокъ сильныхъ праотцевъи, слёдственно, долженъ сдёлаться такимъ же, какъ они.

Для чего?-Молчаніе.

И Робертъ Оуэнъ звалъ людей лѣтъ семъдесятъ сряду и тоже безъ всякой пользы; но онъ звалъ ихъ на что-нибудь. Это что-нибудь была ли утопія, фантазія или истина, намъ теперь до этого дѣла нѣтъ; намъ важно то, что онъ звалъ съ цѣлью; а С. Миллъ, подавляя современниковъ суровыми, рембрантовскими тѣнями временъ Кромвеля и пуританъ, хочетъ, чтобъ вѣчно обвѣшивающіе, вѣчно обмѣривающіе лавочники сдѣлались изъ какой-то поэтической потребности, изъ какой-то душевной гимнастики героями.

Мы можемъ также вызвать монументальныя, грозныя личности французскаго конвента и поставить ихъ рядомъ съ бывшими, будущими и настоящими французскими шиюнами и épiciers, и

начать ръчь въ родъ Гамлета:

Look here, upon this picture and on this... Hyperion's curls, the front of Love himself; An eye like Mars...

Look you now, what follows.

Here is your husband...

Это будетъ очень справедливо и еще больше обидно, но неужели отъ этого кто-нибудь оставитъ свой пошлый, но удобный бытъ, и все это для того, чтобъ величаво скучать, какъ Кромвель, или стоически нести голову на плаху, какъ Дантонъ.

Тъмъ было легко такъ поступать, потому что они были подъ

господствомъ страстнаго убъжденія, d'une idée fixe.

Такія іdée fixe быль католицизмъ въ свое время, потомъ протестантизмъ; наука въ эпоху возрожденія, революція въ XVIII стольтіи.

Гдѣ же эта святая мономанія, этотъ magnum ignotum, этотъ сфинксовской вопросъ нашей цивилизаціи, гдѣ та могущая мысль, та страстная вѣра, то горячее упованіе, которое можетъ закалить тѣло, какъ сталь, довести душу до того судорожнаго ожесточенія, которое не чувствуетъ ни боли, ни лишеній и твердымъ шагомъ идетъ на плаху, на костеръ?

Посмотрите кругомъ, что въ состояніи одушевить лица, поднять народы, поколебать массы: религія ли паны съ его незапятнаннымъ рожденіемъ Богородицы, или религія безъ папы, съ ея догматомъ воздержанія отъ шва въ субботній день? ариеметическій ли пантензмъ всеобщей подачи голосовъ, суевъріе ли въ республику, или суевъріе въ парламентскія реформы?... Нътъ и нътъ;

все это блёднёсть, старёсть и укладывается, какъ нёкогда боги Олимиа укладывались, когда они съёзжали съ неба, вытёсняемые новыми соперниками.

Только на бъду ихъ нътъ у нашихъ почернъвшихъ кумировъ,

по крайней мъръ, С. Мплль не указываетъ ихъ.

Знаетъ онъ ихъ или нътъ, - это сказать трудно.

Съ одной стороны, англійскому генію противно отвлеченное обобщеніе и смёлая логическая послёдовательность; онъ своимъ скептицизмомъ чуетъ, что логическая крайность, какъ законы чистой математики, неприлагаема безъ ввода жизненныхъ условій. Съ другой стороны, онъ привыкъ физически и нравственно застегивать пальто на всё пуговицы и поднимать воротникъ; это его предостерегаетъ отъ сырого вётра и отъ суровой нетерпимости.

С. Милль, вмёсто всякаго выхода, вдругъ замёчаеть: «Въ развитіп народовъ, кажется, есть предёлъ, послё котораго онъ останавливается и дълается Китаемъ».

Когда же это бываеть?

Тогда, отвъчаетъ онъ, когда личности начинаютъ стираться, пропадать въ массахъ, когда все подчиняется принятымъ обычаямъ, когда понятіе добра и зла смъщиваютъ съ понятіемъ сообразности пли несообразности съ принятымъ. Гнетъ обычая останавливаетъ развитіе, развитіе собственно и состоить изъ стремленія къ лучшему отъ обычнаго. Вся исторія состоитъ изъ этой борьбы, и если большая часть человъчества не имъстъ исторіи, то это потому, что жизнь ихъ совершенно подчинена обычаю.

Теперь следуеть взглянуть, какъ нашъ авторъ разсматриваеть современное состояние образованнаго міра. Онъ говорить, что, несмотря на умственное превосходство нашего времени, все пдеть къ посредственности, янца теряются въ толиъ. Эта collective mediocrity ненавидить все рызкое, самобытное, выступающее; она проводить надъ веймъ общій уровень. А такъ какъ въ среднемъ разръзъ у людей не много ума и не много желаній, то сборная посредственность, какъ топкое болото, понимаетъ, съ одной стороны, все желающее вынырнуть, а съ другой, предупреждаеть безпорядокъ эксцентричныхъличностей воспитаніемъ новыхъ поколеній въ такую же вялую посредственность. Нравственная основа поведенія состоить преимущественно въ томъ, чтобъ жить, какъ другіе. «Горе мущинъ, а особливо женщинъ, которые вздумають дёлать то, чего никто не дълаеть; но горе и тъмъ, которые не дълають того, что дълають вст». Для такой нравственности не требуется ни ума, ни особенной воли, люди занимаются своими дылами, и иной разъ для развлеченія шалятъ въ филантропію (philantropic hobby) и остаются добропорядочными, но пошлыми людьми.

Этой-то средѣ принадлежитъ сила и власть, самое правительство по той мърѣ мощно, по какой оно служитъ органомъ господствующей среды и понимаетъ его инстинктъ.

Какая же это державная среда? «Въ Америкъ къ ней принадлежатъ всъ бълые, въ Англіи господствующій слой составляєть среднее состояніе» 1).

С. Милль находить одно различіе между мертвой неподвижностью восточных народовь и современных мыщанскимь государствомь. И въ немъ-то, мны кажется, находится самая горькая капля изъ всего кубка полыни, поданнаго имъ. Вмысто азіатскаго, коснаго покоя, современные европейцы живуть, говорить онъ, въ пустомъ безпокойствы, въ безсмысленныхъ перемынахъ: «отвергая особенности, мы не отвергаемъ перемынь, лишь бы оны были всякій разъ сдыланы всями. Мы бросили своеобычную одежду нашихъ отцовъ и готовы мынять два-три раза въ годъ покрой нашего платья, но съ тымъ, чтобъ всы мыняли его, и это дылается не изъ видовъ красоты или удобства, а для самой перемыны!»

Если личности не высвободятся отъ этого утягивающаго омута, отъ замаривающей топи, то «Европа, несмотря на свои благородные антецеденты и свое христіанство, сдилаемся Китаемъ».

Воть мы и возвратились и стоимъ передъ тъмъ же вопросомъ. На какомъ основани будить сиящаго: во имя чего обрюзгнувшая личность и утянутая въ мелочь вдохновится, сдълается недовольна своей теперешней жизнью, съ желъзными дорогами, телеграфами, газетами, дешевыми изданіями?

Личности не выступають оттого, что нѣть достаточнаго повода. За кого, за что или противъ кого имъ выступать? Отсутствіе сильныхъ дѣятелей не причина, а послѣдствіе.

Точка, линія, послѣ которой борьба между желаніемъ лучшаго и сохраненіемъ существующаго оканчивается въ пользу сохраненія, наступаетъ (кажется намъ) тогда, когда господствующая, дѣятельная, историческая часть народа близко подходитъ къ такой формѣ жизни, которая соотвѣтствуеть ему, это своего рода насыщеніе, сатурація, все приходитъ въ равновѣсіе, успоконвается, продолжаетъ вѣчное одно и то же, до катаклизма, обновленія, разрушенія. Ѕетрег іdem не требуетъ ни огромныхъ усилій, ни грозныхъ бойцовъ; въ какомъ бы родѣ они ни были, они будутъ лишніе, середь мира ненужно полководцевъ.

Чтобъ не ходить такъ далеко, какъ Китай, взгляните возлъ,

<sup>1)</sup> Пусть читатель реномнить, что было сказано объ этомъ въ "Западныхт Арабескахъ".

на ту страну на Западъ, которая наибольше отстоялась, на страну, которой Европа начинаеть съдъть,—на Голландію; гдъ ея великіе государственные люди, гдъ ея великіе живописцы, гдъ тонкіе богословы, гдъ смълые мореплаватели? Да на что ихъ? Развъ она несчастна оттого, что не мятется, не бушуеть, оттого, что ихъ нътъ? Она вамъ покажеть свои смъющіяся деревни на обсушенныхъ болотахъ, свои выстиранные города, свои выглаженные сады, свой комфорть, свою свободу, и скажетъ: мои великіе люди пріобръли мнъ эту свободу, мои мореплаватели завъщали мнъ это богатство, мои великіе художники украсили мои стъны и церкви, мнъ хорошо,—чего же вы отъ меня хотите? Ръзкой борьбы съ правительствомъ? Да развъ оно тъснить? у насъ и теперь свободы больше, нежели во Франціи когда-либо бывало.

Да что же изъ этой жизни?

Что выйдеть? Да вообще, что изъ жизни выходить: А потомъ—
развъ въ Голландіи нѣтъ частныхъ романовъ, коллизій, сплетней;
развъ въ Голландіи люди не любятся, не плачуть, не хохочутъ,
не поютъ пѣсенъ, не пьютъ скидама, не плящутъ въ каждой деревнѣ до утра? Къ тому же не слѣдуетъ забывать, что, съ одной
стороны, они пользуются всѣми плодами образованія, наукъ и
художествъ, а съ другой—имъ бездна дѣла: гран-пасьянсъ торговли, меледа хозяйства, воспитаніе дѣтей по образу и подобію
своему; не успѣетъ голландецъ оглянуться, обдосужиться, а ужъ
его несутъ на «Божью нпву» въ щегольски отлакированномъ
гробъ, въ то время какъ сынъ запряженъ въ торговое колесо,
которое необходимо слѣдуетъ безпрестанно вертѣть, а то дѣла
остановятся.

Такъ можно прожить тысячу лѣтъ, если не помѣщаетъ какоеннобудь второе пришествіе Бонапартова брата.

Отъ старшихъ братій я прошу позволенія отступить къ мень-

Мы не пибемъ достаточно фактовъ, но можемъ предположить, что животныя породы, такъ, какъ онъ установились, представляють послъдній результать долгаго колебанія разныхъ видонямъненій, ряда совершенствованій и достиженій. Эта исторія дълалась исподволь костями и мышцами, извилинами мозга и струйками нервъ.

Допотопныя животныя представляють какую-то геропческую эпоху этой книги бытыя; это—титаны и богатыри, они мельчають, уравновышваются съ новой средой и, какъ только достигають довольно ловкаго и прочнаго типа, начинають типически цовторяться, и до такой степени, что Улиссова собака въ Одиссей похожа, какъ двф капли воды, на всфхъ нашихъ собакъ. И это не

все: кто сказалъ, что животныя политическія пли общественныя, живущія не только стадомъ, но и съ нѣкоторой организаціей, какъ муравьи и ичелы, что они такъ сразу учредили свои муравейники или ульи? Я вовсе этого не думаю. Милліоны поколѣній легли и погибли прежде, чѣмъ они устроились и упрочили свои китайскіе муравейники.

Я желаль бы уяснить этимъ, что если какой-нибудь народъ дойдеть до этого состоянія соотв'єтственности внізшняго общественнаго устройства съ своими потребностями, то ему н'єть никакой внутренней необходимости, до переміны потребностей, идти впередъ, воевать, бунтовать, производить эксцентрическія личности.

Покойное поглощеніе въ стадъ, въ ультодно изъ первыхъ условій сохраненія достигнутаго.

До этого полнаго покоя міръ, о которомъ говоритъ С. Милль, не дошелъ. Онъ послѣ всѣхъ своихъ революцій и потрясеній не можеть ни устояться, ни отстояться, бездна дряни наверху, все муно, нѣтъ ни этой китайской фарфоровой чистоты, ни голландской полотняной бѣлизны. Въ немъ множество неспѣтаго, уродливаго, даже болѣзненнаго, и въ этомъ отношеніи ему предстоитъ дъйствительно на его собственномъ пути еще шагъ впередъ. Ему надобно пріобрѣсти не энергическія личности, не эксцентрическія страсти, а честную мораль своего положенія. Англичанинъ перестанеть обвѣшивать, французъ—помогать всякой полиціи, этого требуетъ не только газреставітіся, но и прочность быта.

Тогда Англія можеть, по словамъ С. Милля, превратиться въ Китай (и, конечно, въ усовершенствованный), сохраняя всю свою торговлю, всю свою свободу и улучшая свое законодательство, т. е., облегчая его по мъръ возрастанія обязательнаго обычая, который лучше всёхъ судовъ и наказаній заморитъ волю. А Франція можетъ въ это время взойти въ красивое, военное русло персидской жизни, расширенное всёмъ, что образованная централизація даетъ въ руки власти, вознаграждая себя за потерю всёхъ человъческихъ правъ блестящими набъгами на сосъдей и приковывая другіе народы къ судьбамъ централизованной деспотіи.... Черты зуавовъ уже теперь больше принадлежатъ азіатскому типу, чъмъ европейскому.

Предупреждая возгласы и проклятія, я тороплюсь сказать, что здісь різчь идеть не о монхъ желаніяхъ, ни даже о монхъ мебніяхъ. Трудъ мой чисто логическій, я хотіль развернуть скобки формулы, въ которой выраженъ результать С. Милля, я хотіль отъ его личностей-диференціаловъ взять историческій интеграль.

Стало быть, вопрось не можеть быть въ томъ, учтиво ли про-

рочить Англіи судьбы Китая (это же сдѣлалъ не я, а онъ самъ), и деликатно ли предсказывать Франціи, что она будеть Персіей? Хотя по справедливости я и не знаю, отчего же Китай и Персію можно безнаказанно оскорблять. Вопросъ дѣйствительно важный, до котораго С. Милль не коснулся, вотъ въ чемъ: существуютъ ли всходы новой силы, которые могли бы обновить старую кровь, есть ли подеѣды и здоровые ростки, чтобъ прорасти измельчавшуюся траву? А тотъ вопросъ сводится на то, потерпить ли народъ, чтобъ его окончательно употребили для удобренія почвы новому Китаю и новой Персіи, на безвыходную, черную работу, на невѣжество и проголодь, позволяя взамѣнъ, какъ въ лотерейной игрѣ, одному на десять тысячъ, въ примъръ, ободреніе и усмиреніе прочимъ, разбогатѣть и сдѣлаться изъ снѣдающаго—обѣдающимъ.

Вопросъ этотъ разръшать событія, теоретически его не раз-

рѣшпшь.

Если народъ сломится, новый Китай и новая Персія неминуемы. Если народъ и въ Англіи будетъ побитъ, какъ въ Германіи во время крестьянскихъ войнъ, какъ во Франціи въ іюньскіе дии,—тогда Китай, пророчимый Стюартомъ Миллемъ, не далекъ. Переходъ въ него сдълается незамътно, не утратится, какъ мы сказали, ни одного права, не уменьшится ни одной свободы, уменьшится только способность пользоваться этими правами и этой свободой!

Люди робкіе, люди чувствительные говорять, что это невозможно. Я ничего лучше не прошу, какъ согласиться съ ними, но не вижу причины. Трагическая безвыходность состоить именно въ томь, что та идея, которая можеть спасти народь и устремить Европу къ новымъ судьбамъ—невыгодна господствующему классу, что ему, если-бъ онъ быть послъдователенъ и смъть, выгодно только государство съ американскимъ невольничествомъ!

Но кто же изъ нихъ правъ? Праваго между голоднымъ и сытымъ найти не мудрено, но это ни къ чему не ведетъ,—Інсусъ Христосъ развъ не былъ правъ противъ синагоги,—однако же его расияли.

Зато черезъ четыре въка римская имперія сдълалась хри-

стіанской.

А христіанство языческимъ! 1).

<sup>1)</sup> Прибавление о книгъ С. Милля писано въ 1859 году.

## С. Ворцель.

Давно накипавшее неудовольствіе противь централизаціп въ молодой части демократической эмиграціи подняло голосъ, голосъ, обвиняющій Ворцеля. Онъ обомлѣлъ: этой раны онъ не ждаль, и она пришла совершенно естественно. Былъ ли онъ виновать и

насколько, — мы сейчась увидимъ.

Небольшая кучка людей, близко окружавшихъ Ворцеля, и изъ числа которыхъ были избраны почти всѣ члены централизаціи, далеко не имъла одного уровия съ нимъ. Ворцель понималъ это п постоянно находился подъ ихъ вліяніемъ. Этому странному явленію способствовало многое: снисхожденіе челов'єка сильнаго къ слабымъ, но благонамъреннымъ людямъ; желаніе сохранить около себя цёлую партію, цёною, новидимому, неважныхъ уступокъ; наконецъ, физическая слабость и его астиъ: ему говорить было трудно, поднимать голосъ онъ не могъ; а тъ не привыкли его понижать и, въ случат возраженій, такъ кричали, что Ворцель отказывался отъ своего митнія, чтобъ опомниться отъ крика. Привыкнувъ къ своему жиденькому хору, онъ воображалъ, что ведеть его, въ то время какъ хоръ, стоя сзади, направляль его, куда хотблъ. Только старикъ подымался на ту высь, въ которой ему было свободно дышать, въ которой ему было естественно,хоръ, исполняя должность мъщанской родни, какъ гиря, стягивалъ его въ низменную сферу эмиграціонныхъ дрязгъ и мелочныхъ расчетовъ; бъдный Ворцель задыхался въ этой средъ столько же отъ духовнаго астма, сколько отъ физическаго.

Люди не поняли серьезнаго смысла того союза, который я предлагалъ. Они въ немъ видъли средство придать новый колоритъ дълу; въчная таутологія общихъ мѣстъ, патріотическія фразы, казенныя воспоминанія, все это пріълось, наскучило. Соединеніе съ русскимъ давало новый интересъ. Къ тому же они думали поправить свои дъла, очень разстроенныя, насчетъ русской про-

паганды.

Съ самаго начала между мной и членами централизаціи не было настоящаго пониманья. Недов врчивые ко всему русскому, они хотвли, чтобъ я написалъ и напечаталь нвито въ родъ

ргоfession de foi. Я написаль. Они просили измѣнить кой-какія выраженія. Я это сдѣлаль, хотя далеко не быль согласень съ ними. Въ отвѣть на мою статью, Л. З. написаль воззваніе къ русскимь и прислаль мнѣ его въ рукописи. Ни тѣни новой мысли; тѣ же фразы, тѣ же воспоминанія, и притомь католическія выходки. Прежде чѣмъ переводить на русскій языкъ, я показаль Ворцелю нелѣпости редакціи. Ворцель былъ согласень и пригласилъ меня вечеромъ объяснить дѣло членамъ централизаціи. Тутъ произошла вѣчная сцена Трисотина и Вадіуса: именно тѣ мѣста, на которыя я указывалъ, они-то и были необходимы для того, чтобъ «Польша не сгинэла». Насчетъ католическихъ фразъ они сказали, что, каковы бы ни были ихъ личныя вѣрованія, они хотятъ быть съ народомъ; а народъ горячо любитъ свою гонимую мать, латинскую церковь.

Ворцель поддерживалъ меня. Но, какъ только онъ начиналъ говорить, его товарищи принимались кричать. Ворцель кашлялъ отъ табачнаго дыма и ничего не могъ сдѣлать. Онъ обѣщалъ мнѣ переговорить съ ними потомъ и настоять на главныхъ поправкахъ. Черезъ недѣлю вышелъ «Демократъ Польскій». Въ воззваніи не было перемѣнено ни одной іоты; я отказался отъ перевода. Ворцель говорилъ мнѣ, что и онъ былъ удивленъ этой продѣлкой. «Этого мало, что вы удивились, зачѣмъ вы не остановили»,—

замътилъ я ему.

Для меня было очевидно, что, рано или поздно, вопросъстанеть для Ворцеля такъ: разорвать съ тогдашними членами централизаціи и остаться въ близкомъ отношеніи со мной, или разорвать со мной и остаться попрежнему со своими революціонными недорослями..... Ворцель выбралъ последнее; я былъ огорченъ этимъ, но никогда не сътовалъ на него и не сердился.

Здёсь я долженъ буду войти въ печальныя подробности. Когда я завелъ типографію, у насъ было ръшено такъ: всё расходы книгопечатанія (бумага, наборъ, наемъ мъста, работа и проч.) падали на мой счетъ. Централизація брала на свой счетъ пересылку русскихъ листовъ и брошюръ тъми путями, которыми она пересылала польскія брошюры. Все, что они брали для пересылки, я имъ даватъ безденежно. Казалось, что моя львиная часть была хороша; но вышло, что и она была мала.

Для своихъ дёлъ, и преимущественно для собранія денегъ, централизація рёшила послать въ Польшу эмпссара. Хотёли даже, чтобъ онъ пробрался въ Кіевъ, а если можно—въ Москву, для русской пропаганды, и просили отъ меня писемъ. Я отказалъ, боясь надёлать бёдъ. Дня за три до его отправленія, вечеромъ, встрётилъ я на улицё З., который тотчасъ меня спросилъ:

— Вы сколько даете на посылку эмиссара со своей стороны?

Вопросъ показался мей страннымъ; но, зная ихъ стъсненное положение, я сказалъ, что, пожалуй, дамъ фунтовъ десять (250 фр.).

— Да что вы шутите, что ли?—спросиль, морщась, З. Ему надобно по меньшей мёрё шестьдесять фунтовь, а у насъ фунтовъ сороже не достаеть. Этого такъ оставить нельзя, я поговорю съ нашими и приду къ вамъ.

Дъйствительно, на другой день онъ пришелъ съ Ворцелемъ и двумя членами централизаціп. На этотъ разъ З. меня просто обвинилъ въ томъ, что я не хочу дать достаточно денегъ на посылку эмиссара, а согласенъ ему дать русскіе печатные листы.

— Помилуйте,—отвъчалъ я,—вы ръшились послать эмиссара, вы находите это необходимымъ; трата падаетъ на васъ. Ворцель налицо, пусть онъ вамъ напомнитъ условія.

— Что тутъ толковать о вздорю: развъ вы не знали, что у

насъ теперь гроша натъ.

Тонъ этотъ мнф, наконецъ, надофлъ.

— Вы, сказаль я, кажется, не читали «Мертвыя Души»; а то бы я вамъ напомниль Ноздрева, который, показывая Чичикову границу своего имъны, замътилъ, что и съ той и съ другой стороны земля его. Это очень сбиваетъ на нашъ дълежъ: мы дълили работу нашу и тягу пополамъ на томъ условіи, чтобъ объ половины лежали на монхъ плечахъ.

Маленькій, желчный литвинъ началъ выходить изъ себя, кричать о гоноръ и заключилъ нелъпую и невъжливую ръчь вопросомъ:

— Чего же вы хотите?

— Того, чтобъ вы меня не принимали ни за bailleur de fonds, ни за демократическаго банкира, какъ меня назвалъ одинъ ивмецъ въ своей брошюръ. Вы слишкомъ оцънили мои средства, и, кажется, слишкомъ мало меня; вы ошиблись...

— Да позвольте, да позвольте, — горячился блъдный отъ ярости

литвинъ.

— Я не могу дозволить продолженія этого разговора, —сказаль, наконець, Ворцель, мрачно сидівшій въ углу и вставая, —пли продолжайте его безъ меня. Cher Herzen, вы правы; но подумайте объ нашемъ положеніи: эмиссара послать необходимо, а средствъ. ніть.

Я остановилъ его.

— Въ такомъ случат можно было меня спросить: могу ли и что-нибудь сдёлать, но нельзя было требовать; а требовать въ этой грубой форме просто гадко. Деньги я дамъ; дёлаю это единственно для васъ и, даю вамъ честное слово, господа, въ последній разъ.

Я вручилъ Ворцелю деньги, и всф мрачно разошлись.

Эмиссаръ побхалъ и прібхалъ назадъ, ничего не сділавши.

Война приближалась, началась. Эмиграція была недовольна; молодые эмигранты винили товарищей Ворцеля въ неспособности, ліни, въ желаніи устроить свои ділишки вмісто польских діль. Неудовольствіе ихъ дошло до явнаго ропота; они поговаривали объ отчеть, котораго хотіли требовать отъ членовъ централизаціп, объ открытомъ заявленіи недовірія. Ихъ останавливало и удерживалю одно—уваженіе и любовь къ Ворцелю. Сколько могъ, я, черезъ Ч., поддерживаль это; но ошибка за ошибкой централизаціи должны были, наконецъ, вывести изъ терпівнія хоть кого.

Въ ноябръ 1854 былъ снова польскій митингъ; но уже совсьмъ въ другомъ духъ, чъмъ въ прошломъ году. Предсъдателемъ былъ избранъ членъ парламента, Жозуа Вомслей. Поляки ставили свое дъло подъ англійскій патронажъ. Въ предупрежденіе слишкомъ красныхъ ръчей, Ворцель написалъ кое къ кому записки въ родъ полученной мною: «Вы знаете, что 29-го у насъ митингъ; не можемъ пригласить васъ и въ этотъ разъ, какъ въ прошлый, сказать намъ нъсколько сочувственныхъ словъ: война и необходимость сближенія съ англичанами заставляють насъ дать митингу иной цвътъ. Не Герценъ, не Ледрю-Ролленъ и Пьянчани будутъ говорить, а большей частью англичане; изъ нашихъ же одинъ Кошутъ возьметъ ръчь, чтобы изложить положеніе дълъ и пр.».

Я отвёчаль, «что приглашеніе не говорить на митинг'в я получиль, и съ тёмъ большей охотой его принимаю, что оно

очень легко».

Сближеніе съ англичанами не состоялось; уступки были сдъланы напрасно; даже подписка шла плохо. Ж. Вомслей сказаль, что онъ готовъ дать денегъ, но не хочетъ подписать своего имени, не желая, какъ членъ парламента, офиціально участвовать въсборѣ, цѣль котораго не признана правительствомъ.

Все это, и между прочимъ мое отдѣленіе отъ митинга, довело раздраженіе молодыхъ людей до крайней степени; у нихъ уже кодилъ по рукамъ обвинительный актъ. Какъ парочно въ то же время я долженъ былъ перевести русскую типографію въ другое мѣсто. З., нанимавшій на свое имя домъ, въ которомъ помѣщалась она вмѣстѣ съ польской типографіей, былъ кругомъ въ долгахъ; два раза уже являлись брокеры; всякій день можно было ждать, что типографію захватятъ вмѣстѣ съ другой мебелью. Я поручилъ Ч. ее перевезти; З. упирался, не хотѣлъ выдать буквъ и принадлежностей; я написалъ ему холодную записку. Въ отвѣтъ на нее, на другой день, пріѣхалъ больной и разстроенный Ворцель ко мнѣ въ Ричмондъ.

— Вы намъ наносите le coup de grâce; въ то самое время, какъ у насъ идетъ такая усобица, вы переводите типографію.

- Увъряю васъ, что тутъ никакихъ нътъ политическихъ причинъ, ни ссоръ, ни демонстраціи; а очень просто: я боюсь, что опишутъ все у З. Отвъчаете ли вы мнъ, что этого не будетъ, я на ваше честное слово положусь и типографію оставлю.
  - Дъла его очень запутаны, это правда.
- Какъ же вы хотите, чтобъ я рисковалъ моимъ единственнымъ орудіемъ. Если даже я потомъ и выкуплю, чего будетъ стоить одна потеря времени? Вы знаете, какъ это здѣсь дълается.

Ворцель молчалъ.

— Вотъ что я могу сдѣлать для васъ; я напишу письмо, въ которомъ скажу, что хозяйственныя распоряженія заставляють меня перевести типографію, но что это не только не значить, что мы расходимся, но, напротивъ, что у насъ, вибсто одной, будуть двѣ типографіи; письмо это вы можете напечатать, ежели желаете, пли показать кому угодно.

Дъйствительно, я въ этомъ смыслъ и написалъ письмо на им Ж., забитаго члена централизаціи, завъдывавшаго ея мате-

ріальной частью.

Ворцель остался объдать; нослъ объда я уговорилъ его переночевать въ Ричмондъ; вечеромъ мы сидъли съ нимъ вдвоемъ передъ каминомъ. Онъ былъ очень печаленъ, ясно понимая, какихъ ошибокъ онъ надълалъ, какъ всъ уступки не повели ни къ чему, кромъ внутренняго распаденія; наконецъ, какъ агитація, которую онъ дълалъ съ Кошутомъ, пропадала безслъдно; а фономъ всей черной картины—убійственный покой Польши.

Осенью 1856 Ворцелю совътовали ъхать въ Ниццу и сначала пожить на теплыхъ закраинахъ Женевскаго озера. Услышавъ это, я ему предложилъ деньги, нужныя на нуть. Онъ принялъ, и это насъ снова сблизило; мы опять стали чаще видаться. Но собирался онъ въ путь тихо; лондонская зима сырая, съ продымленнымъ, давящимътуманомъ, въчной сыростью и страшными съверо-восточными вътрами, начиналась. Я торопилъ его, но у него уже развивался какой-то инстинктивный страхъ отъ перемъны, отъ движенья. Онъ боялся одиночества. Я ему предлагалъ взять съ собою кого-нибудь до Женевы; тамъ я его передалъ бы Карлу Фогту.

Онъ все принимать, со всёмъ соглашался, но ничего не дълать. Жилъ онъ ниже rez-de-chaussée; у него въ комнатъ почти никогда не было свътло. Тамъ-то, въ астиъ, безъ воздуха, дыша

каменнымъ углемъ, онъ потухалъ.

П. Тэйлоръ велълъ хозяйкъ дома всякую недълю посылать къ нему счетъ за квартиру, столъ и прачку: этотъ счетъ онъ платилъ, но «на руки» ему не давалъ ни одного фунта.

Бхать онъ ръшительно опоздаль; я ему предложиль нанять для него хорошую комнату въ Brompton Consumption hospital.

Да, это было бы хорошо, но нельзя. Помилуйте, это страшная даль отсюда.

— Ну, такъ что же?

— Ж. живеть здёсь, и всё дёла наши здёсь, а онь должент каждое утро приходить ко мнк съ дневнымъ отчетомъ!

Туть самоотвержение граничило съ сумасшествиемъ.

Со смертью Ворцеля, демократическая партія польской эмиграціп въ Лондон'в обмельчала. Имъ, его изящной, его почтенной личностью, она держалась. Вообще радикальная партія распалась на мелкія партіи, почти враждебныя. Годичные митинги въ разбивку стали б'ёдны числомъ и интересомъ: въчная панихида, перечень старыхъ и новыхъ потерь и, какъ всегда въ панихидахъ, чаяніе воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго въка, въра во второе пришествіе Бонапарта и въ преображеніе Рычи Посполитой.

Два-три благородныхъ старца остались величественными и скорбными памятниками; какъ тъ длиннобородые, съдые израильтяне, которые плачутъ у стънъ Герусалимскихъ, они, не какъ вожди, указываютъ путь впередъ, а, какъ иноки,—могилу; они останавливаютъ насъ своимъ Sta viator!

Между ними—лучшій изъ лучшихъ, сохранившій въ дряхломъ тѣлѣ молодое сердце и юный, кроткій, дѣтски чистый, голубой взглядъ. Одна нога его уже въ гробѣ,—скоро уйдеть онъ, скоро и противникъ его, Адамъ Чарторижскій.

Ужъ не въ самомъ ли дълъ это finis Poloniæ?

..... Прежде чёмъ мы совсёмъ оставимъ трогательную и симпатичную личность Ворцеля на холодномъ Гай-Гетовскомъ кладбищё, я хочу разсказать нёсколько мелочей о немъ. Такъ люди, идущіе съ похоронъ, пріостанавливая скорбь, разсказываютъ разныя подробности о покойномъ.

Ворцель быль очень разсвянь въ маленькихъ житейскихъ дълахъ; послв него всегда оставались очки, ихъ чехоль, илатокъ, табакерка; зато, если близко него лежалъ не его платокъ, онъ его клалъ въ карманъ; онъ приходилъ иногда съ тремя перчат-ками, иногда съ одной.

Прежде чёмъ онъ переёхаль въ Hunter street, онъ жилъ возлѣ, въ полукругѣ небольшихъ домовъ Burton Crescent, 43, недалеко отъ Нью-Родъ. На англійскій манеръ, всѣ дома полукруга были одинакіе. Домь, въ которомъ жилъ Ворцель, былъ пятый съ края. и онъ всякій разъ, зная свою разсѣянность, считалъ двери. Возвращаясь какъ-то съ противоположной стороны полулунія, Ворцель постучалъ и, когда ему отперли, вошелъ въ свою комнату.

Изъ нея вышла какая-то дѣвушка, вѣроятно хозяйская дочь. Ворцель сѣлъ отдохнуть къ потухавшему камину. За нимъ кто-то раза два кашлянулъ: на креслахъ сидѣлъ незнакомый человѣкъ.

— Извините, сказаль Ворцель, вы върно меня ждали?

- Позвольте, замѣтилъ англичанинъ, прежде чѣмъ я отвѣчу, узнать, съ кѣмъ я имѣю честь говорить?
  - Я Ворцель.

— Не имъю удовольствія знать; что же вамъ угодно?

Туть вдругъ Ворцеля поразила мысль, что онь не туда попаль; оглядъвшись, онъ увидъть, что мебель и все прочее не его. Онъ разсказалъ англичанину свою бъду и, извиняясь, отправился въ пятый домъ съ другой стороны. По счастю, англичанинъ былъ очень учтивый человъкъ, что не очень обыкновенный плодъ въ Лондонъ.

Мѣсяца черезъ три та же исторія. На этотъ разъ, когда онъ постучалъ, горничная, отворившая дверь, видя почтеннаго старика, просила его взойти прямо въ парлоръ; тамъ англичанинъ ужиналъ со своей женой. Увидя входящаго Ворцеля, онъ весело протянулъ ему руку и сказалъ:

— Это не здёсь, вы живете въ 43.

При этой разсѣянности, Ворцель сохраниль до конца жизни необыкновенную память; я въ немъ справлялся какъ въ лексиконѣ или энциклопедіи. Онъ читалъ все на свѣтѣ, занимался всѣмъ: механикой и астрономіей, естественными науками и исторіей. Не имѣя никакихъ католическихъ предразсудковъ, онъ, по старому ріі польскаго ума, вѣрилъ въ какой-то духовный міръ, неопредѣленный, ненужный, невозможный, но отдѣльный отъ міра матеріальнаго. Это не религія Монсея, Авраама и Исаака, а религія Жанъ-Жака, Жоржъ-Зандъ, Пьера-Леру, Маццини и пр. Но Ворцель имѣлъ меньше ихъ всѣхъ правъ на нее.

Когда его астмъ не очень мучилъ и на душѣ было не очень темно, Ворцель быль очень любезенъ въ обществѣ. Онъ превосходно разсказывалъ, и особенно воспоминанія изъ стараго панскаго быта; этихъ разсказовъ я заслушивался. Міръ пана Тадеуша, міръ Мурделіо проходилъ передъ глазами; міръ, о кончинѣ котораго не жалѣешь, напротивъ, радуешься, но которому невозможно отказать въ какой-то яркой, необузданной поэзіи, вовсе недостающей нашему барскому быту. Намъ въ сущности такъ не свойственна западная аристократія, что всѣ разсказы о нашихъ тузахъ сводятся на дикую роскошь, на пиры на цѣлый городъ, на безчисленныя дворни, на тиранство крестьянъ и мелкихъ сосѣдей. Шереметьевы и Голицыны, со всѣми ихъ дворцами и помѣстьями, ничемъ не отличались отъ своихъ крестьянъ, кромѣ нѣмецкаго кафтана, французской грамоты, царской милости и

ботатства. Всё они безпрерывно подтверждали изречене Павла, что у него только и есть высокопоставленные люди: это тѣ, съ которыми онь говоритъ, и пока говоритъ. Все это очень хорошо, но надобно это знать. Что можетъ быть жальче et moins aristocratique, какъ послъдній представитель русскаго барства и вельможничества, видънный мною, князь С. М. Г.,—и что отвратительнъе какого-нибудь Измайлова.

Замашки польскихъ нановъ были скверны, дики, почти непонятны теперь; но діаметръ другой, но другой закаль личности,

и ни тъни холопства.

- Знаете вы, спросилъ меня разъ Ворцель, отчего называется passage Radzivill, въ Пале-Роялъ?
  - Нътъ.
- Вы помните знаменитаго Радзивилла, пріятеля регента, который пробхаль на своихь изъ Варшавы въ Парижь, и для всякаго ночлега покупаль домь; количество вина, которое выпиваль Радзивилль, покорило ему разслабленнаго хозяина; герцогъ такъ привыкъ къ нему, что, видаясь всякій день, посылаль еще по утрамъ къ нему записки. Занадобилось какъ-то Радзивиллу что-то сообщить регенту. Онъ послаль хлопца къ нему съ письмами. Хлопецъ искаль—искалъ, не нашелъ и принесъ повинную голову. Дуракъ, сказалъ ему панъ, поди сюда, смотри въ окно: видишь этотъ большой домъ? (Пале-Рояль).—Вяжу.—Ну, тамъ живетъ первый здъшній панъ, каждый тебъ укажеть. Пошелъ хлопецъ, искаль—искалъ, не можетъ найти.

Дто было въ томъ, что дома отгораживали дворецъ и на-

побно было сдълать обходъ по St.-Honoré.

— Фу, какая скука, сказаль панъ, велите моему повъренному скупить дома между моимъ дворцомъ и Пале-Роялемъ, да и сдълайте улицу, чтобъ дуракъ этотъ не путалъ, когда я опять его пошлю къ регенту.....

Какъ вообще дълались финансовыя операціи въ нашемъ мірть,

я покажу еще на одномъ примъръ.

Послѣ моего пріѣзда въ Лондонъ въ 1852, говоря о плохомъ состояніи итальянской кассы съ Маццини, я сообщилъ ему, что въ Генуѣ я предлагалъ его друзьямъ завести свою income tax п платить—безсемейнымъ процентовъ десять, семейнымъ меньше.

- Примутъ всѣ, замѣтиль Маццини, а заплатять весьма немногіе.
- Стыдно будетъ, заплатятъ. Я давно хотълъ внести свою лепту въ итальянское дъло; мнъ оно близко, какъ родное; я дамъ десять процентовъ съ дохода единовременно. Это составить около двухсотъ фунтовъ. Вотъ сто сорокъ фунтовъ, а шестьдесятъ останутся за мной.

... Въ 1853 году Мацини исчезъ. Вскорв послв его отъвзда явились ко мив два породистыхъ рефюжье; одинъ въ шинели съ мѣховымъ воротникомъ, потому что онъ десять лѣтъ тому назадъ быль въ Петербургъ; другой безъ воротника, но съ съдыми усами и военной бородкой. Они пришли съ порученемъ отъ Ледрю-Роллена: онъ хотълъ знать, не намъренъ ли я прислать какуюнибудь сумму денегъ въ Европейскій комитетъ? Я признался, что не намъренъ.

Нъсколько дней спустя тотъ же вопросъ былъ мнъ сдъланъ

Ворпелемъ.

— Съ чего это взяль Ледрю-Роллень?

— Да, въдь, дали же вы Маццини.

— Это скорте резонъ не давать никому другому.

- Кажется, за вами остались шестьдесять фунтовь?
- Объщанные Мацини.
- Это все равно.

— Я не думаю.

.... Прошла недъля; я получилъ письмо отъ Мациолетти, въ которомъ онъ увъдомлялъ меня, что до его свъдънія дошло, что я не знаю, кому доставить шестьдесять фунтовъ, оставшіеся за мной; въ силу чего онъ проситъ переслать ихъ ему, какъ представителю Мациини въ Лондонъ.

Маццолетти этотъ дъйствительно былъ секретаремъ Маццини. Чиновинкъ, бюрократь по натуръ, онъ насъ смъщилъ своей ми-

нистерской важностью и дипломатическими манерами.

Когда телеграмма о возстаній въ Миланъ Зфевраля 1853 была напечатана въ журналахъ, я поъхалъ къ Маццолетти узнать, не имъеть ли онъ какихъ въстей. Маццолетти просилъ меня подождать; потомъ вышелъ озабоченный, доблестный, съ какими-то бумагами и съ Братіано, съ которымъ былъ въ важномъ разговоръ.

— Я къ вамъ прібхаль узнать, нёть ли какихъ вѣстей.

— Нътъ, я самъ узналъ изъ «Теймса»; жду съ часу на часъ денешу!

Подошли еще человъка два. Маццолетти былъ доволенъ и потому морщился и жаловался на недосугъ. Разговорившись, онъ началъ полусловами добавлять новости и пояснять.

— Откуда же вы знаете?—спросиль я его.

- Это....—это, разумъ́ется, мон соображенія,—замъ́тилъ, нѣсколько смъ́шавшись, Маццолетти.
  - Завтра утромъ я къ вамъ прі вду....
  - А если сегодня будеть что-нибудь, я извъщу васъ.

— Вы меня одолжите, отъ 7 до 9 я буду у Вери.

Маццолетти не забыль. Часу въ восьмомъ я объдалъ у Верп; вошелъ итальянецъ, котораго я раза два видалъ, онъ подошелъ ко мнъ, осмотрълся, выждалъ, когда гарсонъ пошелъ за чъмъ-то, и, сказавъ мнѣ, что Маццолетти поручилъ ему передать, что никакой телеграммы не было, ушелъ.

... Получивъ письмо отъ этого статсъ-секретаря по революціи, я ему отвъчалъ шутя, что онъ напрасно меня представляетъ въ какомъ-то безпомощномъ состояніп, стоящаго середь Лондона, затрудняясь, кому отдать шестьдесятъ ливровъ, что я безъ письма Маццини вовсе не намъренъ ихъ кому бы то ни было отдавать.

Не прошло недѣли послѣ этихъ искушеній, какъ утромъ рано пріѣхала ко мнѣ Эмилія Г., одна изъ преданнѣйшихъ женщинъ Маццини и близкій его другъ. Она мнѣ сообщила о томъ, что возстаніе въ Ломбардіи не удалось, и что еще Маццини скрывается тамъ и проситъ немедленно выслать денегъ, а денегъ нѣтъ.

— Воть вамъ, сказалъ я ей, знаменитые шестьдесять фунтовъ; не забудьте только сказать тайному совътнику Маццолетти, да и Ледрю-Роллену, если случится, что я не такъ дурно сдълалъ, не бросивъ въ омутъ Европейскаго комитета эти полторы тысячи франковъ.

Предупреждая нашъ русскій національный выводъ изъ моего разсказа, я долженъ сказать, что деньгами такъ собираемыми никогда никто не пользовался 1): у насъ ихъ кто-нибудь укралъ бы; здѣсь онѣ исчезали въ томъ родѣ, какъ если бы кто-нибудь, не записывая нумеровъ, жегъ на свѣчкѣ ассигнаціп.

<sup>1)</sup> Итальянская эмиграція выше всякаго подозрѣнія. Во французской былъ одинъ забавный случай.—В., о которомь была рѣчь въ разсказѣ о дуэли Бартелеми, собраль по порученію Ледрю-Роллена какія-то деньги и прожиль ихъ. Послѣ этого желаніе возвратиться въ Лондонъ сильно уменьшилось, и онъ сталь просить разрѣшенія остаться въ Марсели. Билье отвѣчаль, что Б., какъ политическій человѣкъ, такъ безопасень что могъ бы остаться: но что безчестный поступокъ его со своей собственной партіей показываетъ, что онъ не надежный человѣкъ, въ силу чего онъ ему отказываетъ.

Своего рода пальма и тутъ принадлежить нѣмцамъ. Они сколотили сборами въ Америкъ и Манчестеръ, помнится, тысячъ двадцать франковъ. Деньги эти. назначенныя для агитаціи, пропаганды, поддержанія процессовъ и пр., они положили въ одинь изъ лондонскихъ банковъ и избрали распорядителями: Кинкеля, Руге и графа Оскара Рейхенбаха, трехъ непримиримыхъ враговъ. Тѣ тотчасъ догадались, какой богатый источникъ непріятностей другъ другу имъ данъ въ руки; а потому и поспѣшили написать въ условіяхъ взноса, чтобъ банкъ не выдаваль никакой суммы безъ всѣхъ трехъ подписей. Стоило одному, или двумъ даже, подписаться,—третій не соглашался. Что ни дѣлало нѣмецкое эмиграціонное общество,—одной подписи не доставало. Такъ и лежитъ сумма нетронутою и поднесь въ банкѣ,—вѣроятно, приданымъ для будущей тевтонской республики.

# Pater V. Petscherine.

- -- Вчера я видѣлъ Печерина.
- Я вздрогнулъ при этомъ имени.
- Какъ, спросилъ я, того Печерина, онъ здъсь?
- Кто, reverend Petscherine? да, онъ здъсъ.
- Гдъ же онъ?

— Въ іезунтскомъ монастырт С. Мери Чапель въ Клапамъ Reverend Petscherine! Я Печерина лично не зналъ, но слышаль объ немъ очень много отъ Ръдкина, Крюкова, Грановскаго. Молодымъ доцентомъ возвратился онъ изъ-за границы, на каевдру греческаго языка въ московскомъ университетъ; это было въ одну изъ самыхъ томныхъ эпохъ между 1835 и 1840. Мы были въ ссылкъ, молодые профессора еще не пріъзжали, Телеграфъ былъ запрещенъ, Европеецъ былъ запрещенъ, Телескопъ запрещенъ, Чаадаевъ объявленъ сумасшедшимъ.

Печеринъ задыхался, имъ овладълъ ужасъ, тоска, надобио было бъжать, бъжать во что бы ни стало, изъ этой страны. Для того, чтобъ уъхать, надобны деньги. Печеринъ сталъ давать уроки, свелъ свою жизнь на одно крайне необходимое, мало выходилъ, миновалъ товарищескія сходки и, накопивши немного

денегъ, уѣхалъ.

Черезъ нѣкоторое время онъ написалъ гр. Р. Строгонову письмо; онъ увѣдомляль его о томъ; что онъ не воротится больше. Благодаря его, прощаясь съ нимъ, Печеринъ говорилъ о невыносимой духотѣ, отъ которой онъ бѣжалъ, и заклиналъ его беречь молодыхъ профессоровъ, быть ихъ щитомъ отъ ударовъ.

Строгоновъ показывалъ это письмо многимъ изъ профессоровъ.

Москва на нѣкоторое время замолкла объ немъ, и вдругъ мы услышали, съ какимъ-то безконечно тяжелымъ чувствомъ, что Печеринъ сдѣлался іезуптомъ, что онъ на искусѣ въ монастырѣ. Вѣдность, безучастіе, одиночество сломили его; я перечитываль его «Торжество смерти!» и спрашиваль себя, неужели этотъ человѣкъ можетъ быть католикомъ, іезуитомъ?

Разобщеннымъ показался себѣ, сирымъ русскій человѣкъ въ

сортированномъ и по горло занятомъ Западѣ, ему было слишкомъ безродно. Когда веревка, на которой онъ былъ привязанъ, порвалась, и судьба его, вдругъ отрѣшенная отъ всякаго внѣшняго направленія, попала въ его собственныя руки, онъ не зналъ, что дѣлать, не умѣлъ съ ней управляться и, сорвавшись съ орбиты, безъ цѣли и границъ, упалъ въ іезуитскій монастырь!

На другой день, часа въ два, я отправился въ S. Mary Chapel. Тяжелая, дубовая дверь заперта.—Я стукнулъ три раза кольцемъ, дверь отворилась и явился тощій, молодой человѣкъ лѣтъ восемнадцати, въ монашескомъ подрясникѣ, въ рукахъ у него былъ

молитвенникъ.

— Кого вамъ?—спросилъ брать - привратникъ по-англійски.

- Reverend Father Petscherine.

— Позвольте ваше имя.

— Воть карточка и письмо. Въ письмъ я вложилъ объявле-

ніе о русской типографіи.

— Взойдите, сказалъ молодой человъкъ, запирая снова за мною дверь.—Подождите здѣсь,—и онъ указалъ въ обширныхъ съняхъ на два, три большихъ стула со старинной ръзьбой.

Минуть черезъ пять, брать-привратникъ возвратился и сказалъ мнъ съ небольшимъ акцентомъ по-французски, что le père

Petscherine sera enchanté de me recevoir dans un instant.

Послѣ этого онъ новель меня черезъ какой-то рефекторій въ высокую, небольшую комнату, слабо освъщенную, и снова просилъ сѣсть. На стѣнѣ было высѣченное изъ камня расиятіе и, если не ошибаюсь, съ другой стороны также Богородица. Кругомъ тяжелаго массивнаго стола стояли большія деревянныя кресла и стулья. Противоположная дверь вела сѣнями въ общирный садъ, его свѣтская зелень и шумъ листьевъ были какъто не на мѣстѣ.

Братъ-привратникъ показаль мив на ствив надпись; въ ней было сказано, что reverend Fathers принимають имьющихъ въ нихъ нужду отъ 4 до 6 часовъ. Еще не было четырехъ.

— Вы, кажется, не англичанинъ и не французъ? — спросилъ н его, вслушиваясь въ его акценты.

— Нътъ.

- Sind sie ein Deutscher?

— O, nein, mein Herr,—отвъчаль онъ, улыбаясь,—ich bin beinah

Ihr Landsmann, ich bin ein Pole.

Ну, брата-привратника выбрали не дурно, онъ говорилъ на четырехъ языкахъ. Я сълъ, онъ ушелъ; странно мнъ было видъть себя въ этой обстановкъ. Черныя фигуры прохаживалисъ въ саду, человъка два въ полумонашескомъ платъъ прошли мимо

меня; они серьезно, но учтиво, кланялись, глядя въ землю. я

всякой разъ привставаль, и также серьезно откланивался имъ. Наконецъ, вышелъ, небольшой ростомъ, очень пожилой, священникъ въ граненой шапкъ и во всемъ одъяніи, въ которомъ священники ходятъ въ монастыряхъ. Онъ шелъ прямо ко мнѣ, шурстя своей сутаной, и спросилъ меня чистъйшимъ французскимъ языкомъ:

— Вы желали видъть Печерина?

Я отвъчалъ, что -я.

— Чрезвычайно радъ вашему посъщению, сказалъ онъ, про-

тягивая руку, сделайте одолжение, присядыте.

— Извините, — сказалъ я, нъсколько смъшавшись, что не узналъ его; мнъ въ голову не приходило, что встръчу его костюмпрованнаго, —ваше платье...

Онъ слегка улыбнулся, и тотчасъ продолжалъ:

— Давно не слыхаль я никакой въсти о родномъ крат, объ нашихъ, объ университетъ; вы, въроятно, знали Ръдкина и Крюкова.

Я смотрълъ на него, лице его было старо, старше лътъ; видно было, что подъ этими морщинами много прошло и прошло tout de bon, т. е., умерло, оставивъ только свои надгробные слъды въ чертахъ. Искусственный, клерикальный покой, которымъ особенно монахи, какъ сулемой, заморяютъ цѣлыя стороны сердца и ума, былъ уже и въ его рѣчи и во всѣхъ движеніяхъ. Католическій священникъ всегда сбивается на вдову, онъ также въ траурѣ и въ одиночествѣ, онъ также върешъ чему-то, чего нѣтъ, и утоляетъ настоящія страсти раздраженіемъ фантазіи.

Когда я ему разсказаль объ общихъ знакомыхъ, и о кончинъ Крюкова, при которой я былъ, о томъ, какъ его студенты несли черезъ весь городъ на кладбище, потомъ объ успѣхахъ Грановскаго, объ его публичныхъ лекціяхъ,—мы оба какъ-то призадумались; что происходило въ черепѣ подъ граненой шапкой,—не знаю; но Печеринъ снялъ ее, какъ будто она ему тяжела была на эту минуту, и поставилъ на столъ. Разговоръ не шелъ.

— Sortons un peu au jardin, сказалъ Печеринъ, le temps est si

beau, et c'est si rare à Londres.

— Avec le plus grand plaisir. Да скажите, пожалуйста, для чего же мы съ вами говоримъ по-французски?

— И то! будемте говорить по-русски, я думаю, что уже совсемь разучился.

Мы вышли въ садъ. Разговоръ снова перешелъ къ универ-

ситету и Москвъ.

— О, сказалъ Печеринъ, что это было за время, когда я оставилъ Россію, —безъ содроганія не могу вспомнить! Бѣдная страна, особенно для меньшинства, получившаго несчастный

даръ образованія. А, вёдь, какой добрый народь, я часто вспоминаю нашихъ мужиковъ, когда бываю въ Ирландіп, они чрезвычайно похожи; келтійскій землепашецъ такой же ребенокъ, какъ нашъ. Побывайте въ Ирландіи,вы сами убёдитесь въ этомъ.

Такъ длился разговоръ съ полчаса, наконецъ, собираясь оста-

вить его, я сказалъ ему:

У меня есть просьба къ вамъ.Что такое, сдълайте одолженіе?

- У меня были въ рукахъ въ Петербургѣ нѣсколько вашихъ стихотвореній; въ числѣ ихъ есть трилогія Паликратъ Самосскій, Торжество смерти, и еще что-то, нѣтъ ли у васъ ихъ, или не можете ли вы мнѣ ихъ дать?
- Какъ это вы всиомнили такой вздоръ. Это незрълыя, ребяскія произведенія иного времени и иного настроенія.
- Можетъ, замътилъ я, улыбаясь, поэтому-то они мнъ и нравятся. Да есть они у васъ или нътъ?

— Нѣтъ, гдъ же!...

- И продиктовать не можете?
- Нѣть, нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ.
- А если я ихъ найду гдѣ-нибудь въ Россіи, печатать позволите?
- Я, право, на эти ничтожныя произведенія смотрю, точно будто другой писаль; мнѣ до нихъ дѣла нѣтъ, какъ больному до бреда послѣ выздоровленія.
- Колп вамъ дѣла нѣтъ, стало, я могу печатать ихъ, положимъ безъ имени.
  - Неужели эти стихи вамъ нравятся до сихъ поръ?
- Это мое дёло, вы мнѣ скажите, позволяете мнѣ ихъ печатать или нѣтъ?

Прямого отвъта онъ и тутъ не далъ, я пересталь приставать.

- А что же,—спросилъ Печеринъ, когда я прощался,—вы мнѣ не привезли ничего изъ вашихъ публикацій; я помню, въ журналахъ говорили, года три тому назадъ, объ одной книгѣ, изданной вами, кажется, на нѣмецкомъ языкѣ?
- Ваше платье, отвъчаль я, скажеть вамъ, по какимъ соображеніямь я не должень быль привезти ее; примите это съ моей стороны за знакъ уваженія и деликатности.
- Мало вы знаете нашу терпимость и нашу любовь: мы можемь скорбёть о заблужденіи, молиться объ исправленіи, желать его, и во всякомь случав любить человёка.

Мы разстались.

Онъ не забылъ ни книги, ни моего отвъта, и дня черезътри написалъ ко мнъ слъдующее письмо по-французски.

J. M. J. A.

St-Mary's Clapham, 11 апръля, 1853 г.

«Я не могу скрыть отъ васъ той симпатіп, которую возбуждаєть въ моемъ сердцѣ слово свободы, —свободы для моей несчастной родпны! Не сомнѣвайтесь ни на минуту въ искренности мосто желанія —возрожденія Россіи. При всемъ этомъ, я далеко не во всемъ согласенъ съ вашей программой. Но это ничего не значитъ. Любовь католическаго священника обнимаетъ всѣ мнѣнія и всѣ партіп. Когда ваши драгоцѣннѣйшія упованія обманутъ васъ, когда силы міра сего поднимутся на васъ, вамъ еще останется вѣрное убѣжище въ сердцѣ католическаго священника: въ немъ вы найдете дружбу безъ притворства, сладкія слезы и миръ, который свѣтъ не можетъ вамъ дать. Пріѣзжайте ко мнѣ, любезный соотечественникъ. Я былъ бы очень радъ васъ видѣть еще разъ, до моего отъѣзда въ Гернсей. Не забудьте, пожалуйста, привезти вашу брошюру мнѣ».

Я свезъ ему книги, и черезъ четыре дня получилъ слѣдующее письмо.

J. M. J. A.

S-t Pierre. Island of Guernsey. Chapelle Catholique. 15 anpäin, 1853 r.

«Я прочелъ объ ваши книги съ большимъ вниманіемъ. Одна вещь особенно поразила меня: мнѣ кажется, что вы и ваши друзья, вы опираетесь исключительно на философію и на изящную словесность (belle littérature). Неужели вы думаете, что онф призваны обновить настоящее общество? Извините меня, но свидетельство исторіи совершенно противъ васъ. Нетъ примера, чтобы общества основывались или пересоздавались бы философіей и словесностью. Скажу просто (tranchons le mot), одна рслигія служила всегда основой государствь; философія и словесность-это увы! уже послъдній цвътокъ общественнаго древа. Когда философія и литература достигають своей аногеи, когда философы, ораторы и поэты господствують и разрёшають всё общественные вопросы, тогда конецъ, паденіе, тогда смерть общества. Это доказываетъ Греція и Римъ, это доказываетъ такъ называемая александринская эпоха; никогда философія не была больше изощрена, никогда литература цвѣтущѣе, а между тѣмъ это была эпоха глубокаго общественнаго паденія! Когда философія бралась за перссезданіе общественнаго порядка, она постоянно доходила до жестокаго деспотизма, напримъръ, въ Фридрихъ II, Екатеринъ II. Іосифъ II п во встхъ неудавшихся революціяхъ. У васъ вырвалась фраза, счастливая или несчастная, какъ хотите: вы говорите, «что фаланстеръ ничто пное, какъ преобразованная казарма, и коммунисть можеть быть только видоизминение самовластья». Я вообще

вижу какой-то меланхолическій отблескъ на вась и на вашихъ московскихъ друзьяхъ. Вы даже сами сознаетесь, что вы вет Онфгины, т. е., что вы и ваши—въ отрицаніи, въ сомнѣніи, въ отчаяніи. Можно ли перерождать общество на такихъ основаніяхъ?

«Можеть, я высказаль вещь избитую, и которую вы знаете лучше меня. Я это пишу не для спора, не для того, чтобъ начать контроверзу, но я считаль себя обязаннымъ сдёлать это замѣчаніе, потому что иногда лучшіе умы и благороднѣйшія сердца ошибаются въ основѣ, сами не замѣчая того. Для того я это пишу вамъ, чтобъ доказать, какъ внимательно читалъ я вашу книгу, и дать новый знакъ того уваженія и любви, съ которыми...»

В. Печеринъ.

На это я отвъчалъ ему по-русски.

25, Euston Square, 21 апръля. 1853 г.

«Почтеннъйшій соотечественникъ.

«Душевно благодарю васъ за ваше письмо и прошу позволеніе сказать нъсколько словъ à la hâte о главныхъ пунктахъ.

«Я совершенно согласенъ съ вами, что литература, какъ осенніе цвъты, является во всемъ блескъ передъ смертью государства. Древній Римъ не могъ быть спасенъ щегольскими фразами Цицерона, ни его жиденькой моралью, ни волтеріанизмомъ Лукіана, ни нѣмецкой философіей Прокла. Но замѣтьте, что онъ равно не могъ быть спасенъ ни елевзинскими тапиствами, ни Аполлономъ Тіанскимъ, ни всѣми опытами продолжить и воскресить язычество.

«Это было не только невозможно, но и ненужно. Древній міръ вовсе ненадобно было спасать, онъ дожилъ свой въкъ, и новый міръ шелъ ему на смѣну. Европа совершенно въ томъ же положеніи; литература и философія не сохранятъ дряхлыхъ формъ. а толкнутъ ихъ въ могилу, разобьютъ ихъ, освободятъ отънихъ.

«Новый міръ—точно такъже приближается, какъ тогда. Не думайте, что я обмолвился, назвавъ фаланстеръ—казармой; нѣтъ всѣ доселѣ явившіяся ученія и школы соціалистовъ, отъ С. Симона до Прудона, который представляетъ одно отрицаніе,—бѣдны, это первый лепетъ, это чтеніе по складамъ, это терапевты и ессеніане древняго Востока.

«Тоска современной жизни-тоска сумерокъ, тоска перехода,

предчувствія. Звъри безпокоятся передъ землетрясеніемъ.

«Къ тому же все остановилось. Одни хотять насильственно раскрыть дверь будущему, другіе насильственно не выпускають прошедшаго; у однихъ впереди пророчества, у другихъ—воспо-

зинанія. Ихъ работа состоить въ томъ, чтобъ мѣтать другь

другу, и вотъ тъ и другіе стоятъ въ болоть.

«Рядомъ другой мірь—Русь. Въ основъ его—народъ, еще дремлющій, покрытый поверхностной пленкой образованныхъ людей, дошедшихъ до состоянія Онъгина, до отчаянія, до эмиграціи, до вашей, до моей судьбы. Для насъ это горько. Мы жертвы того, что не во-время родились; для джа это безразлично, по крайней мъръ, не имъетъ того смысла.

«Я имълъ смълость сказать (въ письмъкъ Мишле), что образованные русскіе самые свободные люди; мы несравненно дальше пошли въ отрицаніи, чъмъ, напр., французы. Въ отрицаніи чего?

Разумѣется, стараго міра.

«Онтинъ рядомъ съ празднымъ отчаянемъ доходитъ теперь до положительныхъ надеждъ. Вы ихъ, кажется, не замътили. Отвергая Европу въ ея изжитой формъ, отвергая Петербургъ, т. е., опять-таки Европу, но переложенную на наши нравы,—слабые и оторванные отъ народа, мы гибли. Но мало-по-малу развивалось нъчто новое, уродливо у Гоголя, преувеличенно у панславистовъ. Этотъ новый элементъ, элементъ въры въ силу народа, элементъ проникнутый любовью. Мы съ нимъ только начали понимать народъ. Но мы далеки отъ него. Я и не говорю, чтобъ намъ досталась участь пересоздать Россію, и то хорошо, что мы привътствовали русскій народъ и догадались, что онъ принадлежитъ къ грядущему міру.

«Еще одно слово. Я не смѣшиваю науки съ литературно-философскимъ развитіемъ. Наука, если и не пересоздаетъ государства, то и не падаетъ въ самомъ дѣлѣ съ нимъ. Она средство, память рода человѣческаго, она побѣда надъ природой, освобожденіе. Невѣжество, одно невъмсество—причина пауперизма и рабства. Массы были оставлены своими воспитателями въ животномъ состояніи. Наука, одна наука можетъ теперъ поправить это, и дать имъ кусокъ хлѣба и кровъ. Не пропагандой, а химей, а механикой, технологіей, желѣзными дорогами она можеть поправить мозгъ, который вѣками сжимали физически и нравственно.

«Я буду сердечно радъ...»

Черезъ двѣ недѣли я получилъ отъ о. Печерина слѣдующее письмо.

J. M. J. A.

St. Mary's, Clapham, 3 mag, 1853.

«Я вамъ отвъчаю по-французски по причинамъ, которыя вы знаете. Не могъ писать я къ вамъ прежде, потому что былъ обремененъ занятіями въ Гернсеъ. Мало остается времени на философскія теоріи, когда живешь въ самой серединъ животре-

пещущей дъйствительности; нътъ досуга разръшать спекулятивные вопросы о будущихъ судьбахъ человъчества, когда человъчество съ костями и плотью приходитъ изливать въ вашу грудь свои скорон и требуетъ совъта и помощи.

«Признаюсь вамъ откровенно, ваше послъднее письмо навело на меня ужасъ, и ужасъ очень эгопстическій, признаюсь и въ

«Что будеть съ нами, когдаваше образование (votre civilisation. à vous) одержить побъду. Для васъ наука все, альфа и омега. Не та обширная наука, которая обнимаетъ всѣ способности человъка, видимое и невидимое, наука-такъ, какъ ее понималъ міръ до сихъ поръ; но наука ограниченная, узкая, наука матеріальная, которая разбираеть и разсъкаеть вещество, и ничего не знаетъ кромъ его. Химія, механика, технологія, наръ, электричество, великая наука пить и бсть, поклоненіе личности (le culte de la personne), какъ бы сказалъ Мишель Шевалье. Если эта наука восторжествуеть, горе намъ! Во времена гоненій римскихъ императоровъ христіане имъли, по крайней мъръ, возможность бъгства въ степи Египта, мечъ тиранозъ останавливался у этого непереходимаго для нихъ предъла. А куда бъжать отъ тиранства вашей матеріальной цивилизаціп? Она сглаживаеть горы, вырываеть каналы, прокладываеть жельзныя дороги, посылаеть пароходы, журналы ея проникають до каленыхъ пустынь Африки, до непроходимыхъ лъсовъ Америки. Какъ нъкогда христіанъ влекли на амфитеатры, чтобъ ихъ отдать на посмъяние толпы, жадной до зрълищъ, такъ повлекутъ теперь насъ, людей молчанія и молитвы, на публичныя торжища, и тамъ спросятъ: «Зачъмъ вы бъжите отъ нашего общества? Вы должны участвовать въ нашей матеріальной жизни, въ нашей торговль, въ пашей удивительной индустріп. Пдите витійствовать на илощади, идите проповѣдывать политическую экономію, обсуживать наденіе и возвышеніе курса, идите работать на наши фабрики, направлять паръ и электричество. Идите предсъдательствовать на нашихъ пирахъ, райздъсь на земль,-будемъ всть и пить, ведь, мы завтра умремъ!» Вотъ что меня приводить въ ужасъ, пбо гдѣ же найти убѣжище отъ тиранства матерін, которая больше и больше овладіваеть встять.

«Простите, если я сколько-нибудь преувеличиль темныя краски. Мнъ кажется, что я только довелъ до законныхъ послъдствій

основанія, положенныя вами.

«Стоило ли покидать Россію изъ-за умственнаго каприза (сарrice de spiritualité). Россія именно начала съ науки такъ, какъ вы ее понимаете, она продолжаеть наукой. Она въ рукахъ своихъ держить гигантскій рычагь матеріальной мощи, она призываеть вст таланты на служение себт и на пиръ своего матеріальнаго благосостоянія, она сділается самая образованная страна ві мір'є; Провид'єніе ей дало въ уд'єль матеріальный міръ,—она сділаеть рай изъ него для своихъ избранныхъ. Она понимаетъ цивилизацію именно такъ, какъ вы ес понимаете. Матеріальная наука составляла всегда ея силу. Но мы, в'єрующіе въ безсмертную душу и въ будущій міръ, какое намъ д'єло въ этой цивилизаціи настоящей минуты? Россія никогда не будеть меня им'єть своимъ нодданнымъ.

«Я изложилъ мои идеи съ простотою для того, чтобы уленить намъ другъ друга. Извините, если я внесъ въ слова мои излишнюю горячность. Такъ какъ я тду снова въ Ирландію въ пятницу утромъ, мит будетъ невозможно зайти къ вамъ. Но я буду очень радъ, если вамъ будетъ удобно посттить меня въ середу или въ четвергъ послт объда.

«Примите и проч.»

В. Печеринъ.

Я ему отвѣчалъ на другой день.

25, Euston Square. 4 Mag. 1853.

«Почтеннъйшій соотечественникъ,

«Я быль у васъ для того, чтобы пожать руку русскому, котораго имя мит было знакомо, котораго положене такъ сходно съ моимъ... Несмотря на то, что судьба и убъжденія васъ поставили въ торжествующіе ряды побъдителей, меня—въ печальный станъ побъжденныхъ, я не думаль коснуться разницы нашихъ митній. Мит хоттлось видьть русскаго, мит хоттлось принесть вамъ живую въсть о родинт. Изъ чувства глубокой деликатности я не предложилъ вамъ моихъ брошюръ, вы сами желали ихъ видъть. Отсюда ваше письмо, мой отвътъ и второе письмо ваше отъ з марта. Вы нападаете на меня, на мои митнія (преувеличенныя и не вполить раздъляемыя мною), нельзя же мить не защищаться. Я не давалъ того значенія слову наука, которое вы предполагаете. Я вамъ только писалъ, что я совокупность встъхъ побъдъ надъ природой и всего развитія, разумтьется, ставлю вить беллетристики и отвлеченной философіи.

«Но это предметь длинный и, безь особаго вызова, не хочется повторять все, такъ много разъ сказанное объ немъ. Позвольте мнѣ лучше успоконть васъ насчетъ вашего страха о будущности людей, любящихъ созерцательную жизнь. Наука не есть ученіе или доктрина и потому она не можеть сдѣлаться ни правительствомъ, ни указомъ, ни гоненіемъ. Вы, вѣрно, хотѣли сказать о торжествѣ соціальныхъ идей, свободы. Въ такомъ случаѣ возьмите страну самую «матеріальную» и самую свободную, Англію. Люди созерцательные, такъ, какъ утописты, находять въ ней уголъ для тихой думы и трибуну для проповѣди. А еще

Англія, монархическая и протестантская, далека отъ полной тер-

«И чего же бояться? Неужели шума колесь, подвозящихъ хлъбъ насущный толиъ голодной и полуодътой? Не запрещаютъ же у насъ, для того, чтобы не безпокопть лирическую нъгу, молотить хлъбъ.

«Созерцательныя натуры будуть всегда, везді; имь будеть привольніве въ думахъ и тиши, пусть ищуть онів себі тогда тихаго міста; кто ихъ будеть безпокоить, кто звать, кто преслібдовать; ихъ ни гнать, ни поддерживать никто не будеть. Я полагаю, что несправедливо бояться улучшенія жизни массъ, потому что производство этого улучшенія можеть обезпокоить слухь лиць, не хотящихъ слышать ничего внішняго. Туть даже самоотверженія никто не просить, ни милости, ни жертвы. Если на торгу шумно, не торгь перенесть слібдуєть, а отойти отъ него. Но журналы всюду идуть слібдомъ, кто же изъ созериательных натурь зависить отъ premier Paris или premier Londres?

«Воть видите, если вмёсто свободы восторжествуеть антиматеріальное начало, тогда укажите наму м'єсто, гдё нась, не то что не будуть безпокоить, а гдё нась не будуть вёшать, жечь, сажать на коль, какъ это теперь отчасти д'єлается въ Римѣ, Ми-

ланъ, во Франціи.

«Кому же слъдуетъ бояться? Оно, конечно, смерть не важна, sub specie eternitatis, да, въдь, съ этой точки зрънія и все остальное не важно.

«Простите мнѣ, П. С., откровенное противорѣчіе вашимъ словамъ и подумайте, что мнѣ было невозможно иначе отвѣчать.

«Душевно желаю, чтобы вы хорошо совершили ваше путешествіе въ Ирландію».

Этимъ и окончилась наша переписка.

Прошло два года. Сфрая мгла европейскаго горизонта зардълась заревомъ крымской войны, мгла отъ него стала еще чернфй и, вдругъ, середь кровавыхъ въстей походовъ и осадъ, читаю я въ газетахъ, что тамъ-то въ Прландіи отданъ подъ судъ rever. father Vladimir Petscherin, native a Russian, за публичное сожженіе на площади протестантской библіи. Гордый британскій судья, взявъ въ расчетъ безумный поступокъ и то, что виноватый русскій, а Англія съ Россіей въ войнъ, ограничился отеческимъ наставленіемъ вести себя впредъ на улицахъ благопристойно..

Неужели ему легки эти вериги... или онъ часто снимаетъ граненую шапку и ставитъ ее устало на столъ?

# Робертъ Оуэнъ.

Посвящено К-у.

The Bod nofimends. Fin Bod out and you will be perhaps surprised to find All things pursue exactly the same route,

As now with those of "soi-disant" sound mind. This I could prove beyond a single doubt.

Were there a jot of sense among mankind;
Buttill that point d'appui is found, alas!

Like Archimedes, I leave earth as 't was,

Byron, Don-Juan, C. XIV—84.

# I.

...Вскоръ послъ моего прівзда въ Лондонъ, въ 1852 году, я получилъ приглашеніе отъ одной дамы; она звала меня на нъсколько дней къ себъ на дачу въ Seven Oaks. Я съ ней познакомился въ Ниццъ, въ 50 году, черезъ Маццини. Она еще застала домъ мой свътлымъ и такъ оставила его. Мнъ захотълось ее видътъ; я поъхалъ.

Встръча наша была неловка. Слишкомъ много чернаго было со мною съ тъхъ поръ, какъ мы не видались. Если человъкъ не хвастаетъ своими бъдствіями, то онъ ихъ стыдится, и это чувство стыда всилываетъ при всякой встръчъ съ прежними знакомыми.

Не легко было и ей. Она подала мий руку и повела меня въ паркъ. Это былъ первый старинный англійскій паркъ, который я видъть, и одинъ изъ великольпивайшихъ. До него со временъ Елизаветы не дотрогивалась рука человъческая; тынистый, мрачный, онъ росъ безъ помъхи и разростался въ своемъ аристократически-монастырскомъ удаленіи отъ міра. Старинный и чисто елизаветинской архитектуры дворецъ былъ пустъ; несмотря на то, что въ немъ жила одинокая старуха барыня, никого не было видно; только съдой привратникъ, сидъвшій у воротъ, съ нъкоторой важностью замъчалъ входящимъ въ паркъ, чтобъ въ объденное время не ходить мимо замка. Въ паркъ было такъ тихо,

что лани гурьбой перебѣгали большія аллеи спокойно пріостанавливались и безпечно нюхали воздухъ, приподнявши морду. Нигідѣ не раздавался никакой посторонній звукъ и вороны каркали, точно какъ въ старомъ саду у насъ, въ Васильевскомъ. Такъ бы, кажется, легъ гдѣ-нибудь подъ дерево и представилъ бы себѣ тринадцатилѣтній возрастъ... Мы вчера только-что изъ Москвы, тутъ гдѣ-нибудь неподалеку старикъ садовникъ тронтъ мятную воду... На насъ, дубравныхъ жителей, лѣса и деревья роднѣе дѣйствуютъ моря и горъ.

Мы говорили объ Италіи, о повздкв въ Ментону; говорили о Медичи, съ которымъ она была коротко знакома, объ Орсини и не говорили о томъ, что тогда меня и ее, въроятно, занимало больше всего.

Ея пскреннее участіе я видёль въ ея глазахь и, молча, благодариль ее... Что я могь ей сказать новаго?

Оталъ перепадать дождь; онъ могъ сдёлаться сильнымъ и продолжительнымъ, мы воротились домой.

Въ гостиной былъ маленькій, тщедушный старичекъ, съдой какъ лунь, съ необычайно добродушнымъ лицомъ, съ чистымъ, свътлымъ, кроткимъ взглядомъ, съ тѣмъ голубымъ дѣтскимъ взглядомъ, который остается у людей до глубокой старости, какъ отсвѣтъ великой доброты 1).

Дочери хозяйки дома бросились къ сѣдому дѣдушкѣ; видно было, что они пріятели.

Я остановился въ дверяхъ сада.

— Воть кстати, какъ нельзя больше,—сказала ихъмать, протягивая старику руку, сегодня у меня есть чёмъ васъ угостить. Позвольте вамъ представить нашего русскаго друга. Я думаю, прибавила она, обращаясь ко мнѣ, вамъ пріятно будеть познакомиться съ однимъ изъ ваших патріарховъ.

— Robert Owen, — сказалъ добродушно, улыбаясь, старикъ, очень радъ.

Я сжаль его руку съ чувствомъ сыновняго уваженія; если-бъ я быль моложе, я бы сталь, можеть, на колти и просиль бы старика возложить на меня руки.

Такъ вотъ отчего у него добрый, свътлый взглядь, вотъ отчего его любять дъти... Это тотъ, одинъ трезвый и мужественный присяжный «между пьяными» (какъ нъкогда выразился Аристотель объ Анаксагоръ), который осмълился произнести пот guilty человъчеству, пот guilty преступнику. Это тотъ второй чудакъ, который скорбълъ о мытаръ и жалълъ о падшемъ, и который,

<sup>1)</sup> При этомъ не могу не вспомнить тотъ же голубой взглядь дѣтства подъ съдыми бровями Лелевеля.

не потонувши, прошель если не по морю, то по мъщанскимъ болотамъ англійской жизни, не только не потонувши, но и не загрязнившись!

...Обращеніе Оуэна было очень просто; но п въ немъ, какъ въ Гарибальди, середь добродушія просвѣчивала сила и сознаніе, что онъ власть пмущій. Въ его снисходительности было чувство собственнаго превосходства; оно, можетъ, было слѣдствіемъ постоянныхъ сношеній съ жалкой средой; вообще онъ скорѣе походилъ на раззорившагося аристократа, на меньшаго брата большой фамиліи, чѣмъ на плебея и соціалиста.

Я тогда совсёмъ не говорилъ по-англійски; Оуэнъ не зналъ по-французски и былъ замётно глухъ. Старшая дочь хозяйки предложила намъ себя въ драгоманы: Оуэнъ привыкъ такъ говорить съ иностраниами.

— Я жду великаго отъ вашей родины, сказалъ мит Оуэнъ, у васъ поле чище, у васъ попы не такъ сильны, предразсудки не такъ закоситли... а силъ-то... а силъ-то! Если-бъ императоръ хотълъ вникнуть, понять новыя требованія возникающаго гармоническаго міра, какъ ему легко было бы сдѣлаться однимъ изъ величайшихъ людей.

Когда я встрѣтилъ Оуэна, ему былъ восемьдесятъ второй годъ (род. 1771). Онъ *шестьдесятъ лъто* не сходилъ съ арены.

Года три спустя послъ Seven Oaks'a, я еще разъ мелькомъ виделъ Оуэна. Тело отжило, умъ тускъ и иногда бродилъ, разнуздавшись, по мистическимь областямь призраковь и тъней. А энергія была та же и тотъ же голубой взглядь дітской доброты и то же упованье на людей! У него не было памяти на зло, онъ старые счеты забыль, онь быль тоть же молодой энтузіасть, учредитель New Lanark'a; худо слышавшій, сѣдой, слабый, но также проповъдывавшій уничтоженіе казней и стройную жизнь общаго труда. Нельзя было безъ глубокаго благоговѣнія видѣть этого старца, идущаго медленно и невърной стопой на трибуну, на которой  $\mu \nu \kappa \rho \sigma \partial a$  его встр $\dot{\sigma}$ чали горячія рукоплесканія блестящей аудиторіи и на которой пожелт'ёлыя с'ёдины его вызывали теперь шопотъ равнодушія и проническій смёхъ. Безумный старикъ, съ печатью смерти на лицъ, стоялъ, не сердясь, и просиль кротко, съ любовью, часъ времени. Казалось, можно бы было дать ему этоть чась за шестидесяти-пяти летнюю безпорочную службу; но ему въ немъ отказывали, онъ надойлъ, онъ повторяль одно и то же, а главное онъ глубоко обидёлъ толиу, онь хотёль отнять у нея право болтаться на висёлицё и смотрать, какъ другіе на ней болтаются; онъ хоталь у нихъ отнять подлое колесо, которое сзади подгоняеть, и отворить целлюлярную кльтку, эту безчеловъчную mater dolorosa для духа, которой

свътская инквизиція замънила монашескіе ящики съ ножами. За это святотатство толиа готова была побить Оуэна каменьями, но и она сдълалась человиколюбивие: камни вышли изъ моды, имъ предпочитаютъ грязь, свисть и журнальныя статейки.

Другой старикъ былъ счастливъе Оуэна, когда слабыми, столътними руками благословлялъ малаго и большого на Патмосъ и только лепеталъ: «Дъти! любите другъ друга!» Простые люди и нищіе не хохотали надънить, не говорили, что его заповъдь нелъпость; между этими плебеями не было золотой посредственности мъщанскаго міра, больше лицемърнаго, чъмъ невъжественнаго, больше ограниченнаго, чёмъ глупаго. Принужденный оставить свой New Lanark въ Англіп, Оуэнъ десять разъ переплываль океань, думая, что съмена его ученія лучше взойдуть на новом грунты, забывая, что его расчистили квакеры и пурптане, и навърно не предвидя, что пять лътъ послъ его смерти, джеферсоновская республика, первая провозгласившая права человъка, распадется во имя права съчь негровъ. Не успъвъ и тамъ, Оуэнъ снова является на старой почвъ, стучится ста руками во всё двери, у дворцовъ и хижинъ, заводить базары, которые послужать типомъ рочдельскаго общества и кооперативныхъ ассоціацій, издаеть книги, издаеть журналы, пишеть посланія, собираеть митинги, произносить ръчи, пользуется всякимъ случаемъ. Правительства посылаютъ со всего міра делегатовъ на «всемірную выставку», — Оуэнъ уже между ними, проситъ ихъ взять съ собой оливовую вътку, въсть призыва къ разумной жизни п согласію, а тъ не слушають его, думають о будущихъ крестахъ и табакеркахъ. Оуэнъ не унываетъ.

Однимъ туманнымъ октябрьскимъ днемъ 1858 лордъ Брумъ, очень хорошо знающій, что въ ветхой общественной баркѣ течь все сильнѣе, но чающій еще, что ее можно такъ проконопатить, что на нашъ вѣкъ хватить, — совѣщался о паклю и смолю въ

Ливерпуль, на второмъ сходь Social science association.

Вдругъ дѣлается какое-то движеніе, тихо несуть на носилкахъ блѣднаго больного Оуэна на платформу. Онъ черезъ силу, нарочно пріѣхалъ изъ Лондона, чтобъ повторить свою благую вѣсть о возможности—сытаго и одѣтаго общества, о возможности общества безъ палача. Съ уваженіемъ принялъ лордъ Брумъ старца,—они когда-то были близки; тихо поднялся Оуэнъ и слабымъ голосомъ сказалъ о приближеніи другого времени... новаго согласія, пем һагтопу, и рѣчь его остановилась, силы оставили... Брумъ докончилъ фразу и подалъ знакъ... тѣло старца склонилось,—онъ былъ безъ чувствъ; тихо положили его на носилки и въ мертвой тишинѣ пронесли толной, пораженной на этотъ разъ какимъ-то благоговѣніемъ: она будто чувствовала, что тутъ начинаются какія-то не совсѣмъ обыкновенныя похороны, и тухнеть что-то великое, святое и оскорбленное.

Прошло нъсколько дней. Оуэнъ немного оправился и однимъ утромъ сказалъ своему другу и помощнику Ригби, чтобъ онъ укладывался, что онъ хочетъ тхать.

- Опять въ Лондонъ?-спросилъ Ригби.

— Нътъ, свезите меня теперь на мъсто моего рожденія, я тамъ сложу мон кости.

И Ригби повезъ старца въ Монгомери-Ширъ, въ Нъютоунъ, гдѣ за восемьдесять восемь лѣтъ тому назадъ родился этотъ странный человъкъ, апостолъ между фабрикантами...

«Дыханье его прекратилось такъ тихо, пишетъ его старшій сынъ, одинъ успѣвшій еще пріѣхать въ Ньютоунъ до кончины Оуэна, что я, державшій его руку, едва замѣтилъ,—не было ни малѣйшей борьбы, ни одного судорожнаго движенія». Ни Англія, ни весь міръ точно такъ же не замѣтили, какъ этотъ свидѣтель а decharge въ уголовномъ процессѣ человѣчества пересталь дышать.

Англійскій попъ втѣснилъ его праху отпѣваніе вопреки желанію небольшой кучки друзей, пріѣхавшихъ похоронить его, друзья разошлись, Томасъ Ольсопъ 1) протестовалъ смѣло, благородно—and all was over.

Хотѣлось мнѣ сказать нѣсколько словъ объ немъ, но унесенный общимъ wirlewind'омъ, я ничего не сдѣлалъ; трагическая тѣнь его отступала дальше и дальше, терялась за головами, за рѣзкими событіями и ежедневной пылью, — вдругъ на дняхъ я вспомнилъ Оуэна и мое намѣреніе написать о немъ что-пибудь.

Перелистывая книжку Westminster Review, я нашелъ статью о немъ и прочиталь ее всю внимательно. Статью эту писаль не врагъ Оуэна, человъкъ солидный, разсудительный, умъющій отдавать должное заслугамъ и заслуженное надостаткамъ,—а между тъмъ я положилъ книгу съ страннымъ чувствомъ боли, оскорбленія, чего-то душнаго; съ чувствомъ близкимъ къ ненависти за вынесенное.

Можетъ, я былъ боленъ, въ дурномъ расположеніи, не понялъ?.. Я взялъ опять книжку, перечиталъ тамъ-сямъ,—все тоже дъйствіе.

«Больше чёмъ двадцать последнихъ лётъ жизни Оуэна не имёютъ никакого интереса для публики.

Ein unnütz leben ist ein früher Tod

«Онъ сзывалъ митинги, но почти никто не шелъ на нихъ,

<sup>1)</sup> Извъстный по дълу Орсини.

потому что онъ повторялъ свои старыя начала, давно всёми забытыя. Тё, которые хотёли узнать отъ него что-нибудь полезное для себя, должны были опять слушать о томъ, что весь общественный быть зиждется на ложныхъ основаніяхъ... Вскорт къ этому помёшательству (dotage) присовокупилась вёра въ постукивающіе духи... старикъ толковаль о своихъ бесёдахъ съ герцогомъ Кентомъ, Байрономъ, Шелли и проч...

«Нѣть ни малѣйшей опасности, чтобъ ученіе Оуэна было практически принято. Это такія слабыя цѣпи, которыя не могуть дерысать цѣлаго народа. Задолго до его смерти начала его уже были опровергнуты, забыты, а онъ все еще воображаль себя благодѣтелемь рода человѣческаго, какимъ-то атеистическимъ

Мессіей.

«Его обращение къ постукивающимъ духамъ нисколько не удивительно. Люди, не получивше воспитания, постоянно переходять, съ чрезвычайной легкостью, отъ крайняго скептицизма къ крайнему суевърію. Они хотять опредълить каждый вопросъ однимъ природнымъ свътомъ. Изученіе, разсужденіе и осторож-

ность въ сужденіяхъ имъ непзвестны.

«Мы въ предшествующихъ страницахъ», прибавляетъ авторъ въ концѣ статъп, «больше занимались жизнью Оуэна, чѣмъ его ученіями; мы хотѣли выразить наше сочувствіе къ практическому добру, сдѣланному имъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ заявить наше совершенное несогласіе съ его теоріями. Его біографія интереснѣе его сочиненій. Въ то время какъ первая можетъ быть полезна и занимательна (атизе), вторыя могутъ только сбить съ толку и надоѣсть читателю. Но и тутъ мы чувствуемъ, что онъ слишкомъ долго эксилъ: слишкомъ долго для себя, слишкомъ долго для своихъ біографовъ!

Тѣнь кроткаго старца носилась передо мной; на глазахъ его были горькія слезы и онъ, грустно качая своей старой, старой головой, какъ будто хотѣлъ сказать: «неужели я заслужиль это?», и не могъ, а рыдая упалъ на колѣни, и будто лордъ Брумъ торонился опять покрыть его и дѣлалъ знакъ Ригби, чтобъ его снесли, какъ можно скорѣе назадъ на кладбище, пока испуганная толна не усиѣетъ образумиться и упрекнуть его за все, за все, что ему было такъ дорого и свято, и даже за то, что онъ такъ долго жилъ, заѣдалъ чужую жизнь, занималъ лишнее мѣсто у очага. Въ самомъ дѣлѣ Оуэнъ, чай, былъ ровесникомъ Веллингтона, этой величественнѣйшей неспособности во время мира.

«Несмотря на его ошибки, его гордость, его паденіе. Оуэнъ

заслуживаеть наше признаніе».—Чего же ему больше?

Только отчего ругательства какого-нибудь Оксфордскаго, Впнчестерскаго или Чичестерскаго архіерея, проклинающаго Оуэна,

легче для насъ, чёмъ это возданніе по заслугамъ? Оттого, что тамъ страсть, обиженная вёра, а тутъ узенькое безпристрастіе, безпристрастіе не просто человёка, а судьи низшей инстанціп. Въ управѣ благочинія очень хорошо могутъ обсудить поступки какого-нибудь гуляки вообще, но не такого, какъ Мирабо или Фоксъ. Складнымъ футомъ легко мёрить съ большой точностью холстъ, но очень неудобно прикидывать на него сидеральныя пространства.

Можетъ, для върности сужденія о дълахъ, не подлежащихъ ни полицейскому суду, ни ариеметической повъркъ, пристрастие нужнъе справедливости. Страстъ можетъ не только ослъилять, но и проникать глубже въ предметъ, обхватывать его своимъ

огнемъ.

Дайте школьному педанту, если онъ только не надъленъ отъ природы эстетическимъ пониманьемъ,—дайте ему на разборъ что хотите, Фауста, Гамлета, и вы увидите, какъ исхудаетъ «жирный датскій принцъ», помятый какимъ-нибудь гимназистомъ-доктринеромъ. Съ цинизмомъ Ноева сына покажетъ онъ наготу и недостатки драмъ, которыми восхищается поколѣніе за поколѣніемъ.

Въ мірѣ ничего нѣтъ великаго, поэтическаго, что бы могло выдержать не глупый, да и не улиный взглядъ, взглядъ обыденной, жизненной мудрости. Это-то французы и выразили такъ мѣтко пословицей, что «для камердинера нѣтъ великаго человѣка».

«Попадись нищему лошадь», какъ говорить народъ и новторяеть критикъ «Вестминстерскаго Обозрѣнія», «онъ на ней и ускачеть къ чорту... Ап ех linen-draper (это выраженіе употреблено нѣсколько разъ) 1), который вдругъ сфѣлался (замѣтьте, послѣ двадцати лѣть неусыпнаго труда и колоссальныхъ усиѣховъ) важнымъ лицомъ, на дружеской ногѣ съ герцогами и министрами,—натурально долженъ былъ зазнаться и сдѣлаться смъшнимъ, не имъя ни большой умъренности, ни большого благоризумія». Ех linen-draper зазнался до того, что деревня его стала ему узка, ему захотѣлось перестроить свѣтъ; съ этими притязаніями, опъ раззорился, ни въ чемъ не усиѣлъ и покрыль себя смъхомъ.

И это не все. Если-бъ Оуэнъ только проповѣдывалъ свой экономическій неревороть, это безуміе простили бы ему, на первый случай, въ классической странѣ сумасшествія. Доказательствомъ этому служитъ то, что министры и архіерен, нарламентскіе комитеты и съѣзды фабрикантовъ совѣщались съ нимъ. Успѣхъ New

і) Фурье началь сь того, что быль сидільцемь вь суконной лавкі своего отна.

Lanark'a увлекъ всѣхъ: ни одинъ государственный человѣкъ, ни одинъ ученый не уѣзжалъ изъ Англіи, не сдѣлавши поѣздки къ Оуэну. Толпы народа наполняли корпдоры и сѣни залъ, гдѣ Оуэнъ читалъ свои рѣчи. Но Оуэнъ своей дерзостью, разомъ, въ четверть часа, уничтожилъ эту колоссальную популярность, основанную на колоссальномъ непониманіи того, что онъ говорилъ; видя это, онъ поставилъ точку на і, и притомъ на самое опасное і.

Это случилось 21-го августа 1817 года. Протестантскіе святоши, самые неотвязчивые и клейко-скучные, давно надобдали ему. Оуэнъ, сколько могъ, отклонялъ пренія съ ними; но они не давали ему покоя. Какой-то инквизиторъ и бумажныхъ дѣлъ фабрикантъ, Филипсъ, дошелъ до того, что въ комитетѣ парламента, вдругъ, ни къ селу, ни къ городу, середь дѣльныхъ преній, присталъ къ Оуэну съ допросомъ, во что онъ вѣритъ и во

что не върить?

Вмѣсто того, чтобъ отвѣчать бумажныхъ дѣлъ фабриканту какими-нибудь тонкостями, какъ Фаустъ отвѣчаетъ Гретхенъ, ех linen - draper Оуэнъ предпочель отвѣчать съ высоты трибуны, передъ огромнѣйшимъ стеченіемъ народа, на публичномъ митингѣ въ Англіи, въ Лондоню, въ Сити, въ London Tavern! Онъ, по сю сторону Темпль-бара, возлѣ каеедральнаго зонтика, подъ которымъ лѣпится старый городъ, въ сосѣдствѣ Гога и Магога, въ виду Уайтъ-Голль и свѣтской каеедральной синагоги Банка, —объявилъ прямо и ясно, громко и чрезвычайно просто: «Нелѣпости изувѣрства сдѣлали изъ человѣка слабаго, одурѣлаго звѣря, безумнаго фанатика, канжу или лицемѣра. Съ существующими религіозными понятіями, заключелъ Оуэнъ, не только не устроишь предполагаемыхъ имъ общинныхъ деревень, но съ ними рай не долго устоялъ бы раемъ».

Оуэнь быль до того увърень, что этоть акть «безумія» быль актомь честности и апостольства, необходимымь послъдствіемь его ученія, что обнародовать свое мнівніе заставляли его чистота и откровенность, вся его жизнь, что черезь тридцать пять лють онь писаль: «это величайшій день въ моей жизни, я

исполниль свой долгъ!»

Нераскаянный грышникь быль этоть Оуэнь! За то ему и

досталось!

«Оуэна, говоритъ Westminster Review, не разорвали на части ва это: время физической мести въ дѣлахъ религіи прошло. Но никто, даже и нынъ, не можетъ безнаказанно оскорблять дорогіе намъ предразсудки!»

Англійскіе попы, въ самомъ дѣлѣ, не употребляютъ больше хирургическихъ средствъ, хотя другими, болѣе духовными, не

брезгають. «Съ этой минуты, говорить авторъ статьи, Оуэнъ опрокинулъ на себя страшную ненависть духовенства, и съ этого митинга начинается длинная перечень его неудачъ, сдълавшая смъшными сорокъ послъднихъ лътъ его жизни. Не was not a martyr, but he was an outlaw!»

Я думаю, довольно. Westminster Review можно положить на мъсто; я ему очень благодаренъ, онъ мнъ такъ живо напомниль не только старца, но и среду, въ которой онъ жилъ. Обритимся

къ дълу, т. е., къ самому Оуэну и его ученію.

Одно прибавлю я, прощаясь съ неумытнымъ критикомъ и съ другимъ біографомъ Оуэна, тоже неумытнымъ, менѣе строгимъ, но не менѣе солиднымъ, что, не будучи вовсе завистливымъ человѣкомъ, я завидую имъ отъ всей души. Я далъ бы дорого за ихъ невозмущаемое сознаніе своего превосходства, за успокоившееся довольство собою и своимъ пониманіемъ, за ихъ иногда уступчивую, всегда справедливую, а подъ-часъ слегка проироненную снисходительность. Какой покой должна приносить эта полная увѣренность и въ своемъ знаніи, и въ томъ, что они и умнѣе, и практичнѣе Оуэна, что будь у нихъ его энергія и его деньги, они бы не надѣлали такихъ глупостей, а были бы богаты, какъ Ротшильдъ, и министры, какъ Пальмерстонъ!

#### TT.

P. Оуэнъ назваль одну изъ статей, въ которыхъ онъ излагаль свою систему An attempt to change this lunatic asylum into a rational world <sup>1</sup>).

Одинъ изъ біографовъ Оуэна по этому случаю разсказываеть, какъ какой-то безумный, содержавшійся въ больницѣ, говорилъ: «Весь свѣтъ меня считаетъ поврежденнымъ, а я весь свѣтъ считаю такимъ же; бѣда моя въ томъ, что большинство со стороны всего свѣта».

Это пополняеть заглавіе Оуэна и бросаеть яркій свёть на все. Мы увёрены, что біографъ не разсудиль, насколько береть и какт далеко бьеть его сравненіе. Онъ только хотёль намекнуть на то, что Оуэнь быль сумасшедшій, и мы спорить объ этомъ не станемъ... Но съ чего же онъ весь свють-то считаеть умнымъ,— этого мы не понимаемь.

Опытъ измънить сумасшедшій домъ общественнаго устройства въ раціопальный.

Оуэнъ, если былъ сумасшедшимъ, то вовсе не потому, что его свътъ считалъ такимъ и онъ ему илатилъ той же монетой, а потому, что, зная очень хорошо, что живетъ въ домъ умалишенныхъ и окруженъ больными, онъ шесть десятъ льтъ говорилъ

съ ними, какъ съ здоровыми.

Число больныхъ туть ничего не значитъ, умъ имъетъ свое оправданіе не въ большинствъ голосовъ, а въ своей логической самозаконности. И если вся Англія будетъ убъждена, что такой-то медіим призываетъ духи умершихъ, а одинъ Фаредей скажетъ, что это вздоръ, то истина и умъ будутъ съ его стороны, а не со стороны всего англійскаго населенія. Еще больше, если и Фаредей не будетъ этого говорить, тогда истина объ этомъ предметъ совсъмъ существовать не будетъ, какъ сознанная, но, тъмъ не меньше, единогласно принятая цълымъ народомъ нельность—всеже будетъ нельность.

Большинство, на которое жаловался больной, не потому страшно, что оно умно или глупо, право или неправо, въ лжи или въ истинъ, а потому, что оно сильно, и потому что ключи

отъ Бедлама у него въ рукахъ.

Спла не заключаеть въ своемъ понятіи сознательности, какъ необходимаго условія, напротивъ, она тімъ непреодолиміе—чімъ безумніе, тімъ страшніе—чімъ безсознательніе. Отъ поврежденнаго человіка можно спастись, отъ стада бішеныхъ волковъ трудніе, а передъ безсмысленной стихіей человіку остается

сложить руки и погибнуть.

Поступокъ Оуэна, поразившій ужасомъ Англію 1817 года, не удивиль бы въ 1617 родину Ванини и Джордана Бруно; не скандализпроваль бы въ 1717 ни Германію, ни Францію, а Англія не можеть черезъ полвъка вспомнить объ немъ безъ раздраженія. Можеть быть, гдъ-нибудь въ Испаніи, монахи взбунтовали бы противъ него дикую чернь, или инквизиціонные алгвазилы посадили бы его въ тюрьму, сожгли бы на кострѣ; но очеловъченная часть общества была бы за него...

Развѣ Гёте и Фихте, Кантъ и Шиллеръ, наконецъ, Гумбольдъ въ наше время и Лессингъ сто лѣтъ тому назадъ скрывали свой образъ мыслей или имѣли безсовѣстность проповѣдывать шесть дней въ недѣлю въ академіяхъ и книгахъ свою философію, а на седьмой фарисейски слушать предику и морочить

толиу, la plèbe, своимъ благочестивымъ христіанствомъ?

Во Франціи то же самоє: ни Вольтеръ, ни Руссо, ни Дидро, ни всѣ энциклопедисты, ни школа Виша и Кабаниса, ни Лапласъ, ни Контъ не прикидывались ультрамонтанами, не преклонялись благоговъйно передъ «дорогими предразсудками», и это ни на одну іоту не унизило, не умалило ихъ значенія.

Политически порабощенный материкъ нравственно свободате Англіп; масса пдей и сомнъній, находящихся въ оборотъ, гораздо обширнъе; къ ней привыкли, общество не трепещетъ ни страхомъ, ни негодованіемъ передъ свободнымъ человъкомъ—

## Wenn er die Kette bricht.

Люди материка безпомощны передъ властью, выносятъ цѣпп, но не уважають ихъ. Свобода англичанина больше въ учрежденіяхъ, чѣмъ въ немъ, чѣмъ въ его совѣсти; его свобода въ соммоп law, въ habeas corpus, а не въ нравахъ, не въ образѣ мыслей. Передъ общественнымъ предразсудкомъ гордый Бритъ склоняется безъ ропота, съ видомъ уваженія. Само собою разумѣется что вездѣ, гдѣ есть люди, тамъ лгутъ и притворяются; но не считаютъ откровенности порокомъ, не смѣшиваютъ смѣло высказанное убъжденіе мыслителя съ неблагопристойностью развратной женщины, хвастающейся своимъ падепіемъ; но не подымаютъ лицемѣрія на степень общественной и притомъ обязательной добродѣтели 1).

Конечно, ни Давидъ Юмъ, ни Гиббонъ не лгали на себя ми стическихъ върованій. Но Англія, слушавшая Оуэна въ 1817 г., была не та, во времени и въ глубиню. Цензъ пониманья расширился и не былъ больше ограниченъ отборнымъ вънкомъ образованныхъ аристократовъ и литераторовъ. Съ другой стороны, она лътъ иятнадцать просидъла въ целлюлярной тюрьмъ. запертая въ нее Наполеономъ, и, съ одной стороны, выдвинулась изъ потока идей, а съ другой, жизнь вдвинула впередъ огромное большинство мъщанства, эту conglomerated mediocrity Стюарта Милля. Въ новой Англіи люди, какъ Байронъ и Шелли, бродятъ иностранцами: одинъ проситъ у вътра нести его куда-нибудь, только пе на родину; у другого суды, съ помощью обезумъвшей отъ изувърства семьи, отбираютъ дътей, потому что онъ не въритъ въ Бога.

Итакъ, нетериимость противъ Оуэна не даетъ никакого права заключать ни о ложности, ни о истинности его ученія; она только даетъ мъру безумія, т. е., нравственной несвободы Англіи и въ особенности того слоя. который ходитъ по митингамъ и пишетъ журнальныя статейки.

<sup>)</sup> Въ нынвшнемъ году ширный судья Темпле се принялъ показанія одной женщины изъ Рочделя, потому что она отказалать приевгать по данной формъ, говоря, что не вбритъ въ наказанія на томъ свътъ. Трелоне (сынъ извъстнаго пріятеля Байрона и Шелли) спрашиваль 12 февраля въ парламентъ министра внутреннихъ дълъ, какія мъры онъ предполагастъ взять, въ отстраненіе такихъ отводовъ? Министръ отвъчаль, что накакимъ. Подобные случаи повторялись много разъ, напръ, съ извъстнымъ публицистомъ Голіскомъ.

Умъ количественно всегда долженъ будетъ уступить, онъ на въсъ всегда окажется слабъйшимъ, онъ, какъ съверное сіяніе, свътитъ далеко, но едва существуетъ. Умъ послъднее усиліе, вершина, до которой развитие не часто доходитъ, оттого-то онъ мощенъ, но не устоитъ противъ кулака. Умъ, какъ сознаніе, можетъ вовсе не быть на земномъ шаръ; онъ едва родился въ сравненіи съ маститыми Альпійскими старцами, свид'ьтелями и участниками геологическихъ революцій. Въ до-человѣческой, въ около-человъческой природъ нътъ ни ума, ни глупости, а необходимость условій, отношеній и последствій. Умъ мутно глядить въ первый разъ молочнымъ взглядомъ животнаго, онъ медленно мужаеть, вырастаеть изъ своего ребячества, проходя стадной п семейной жизнью рода человъческаго. Стремление пробиться къ уму, изъ инстинкта, постоянно является вслёдъ за сытостью и безопасностью; такъ что въ какую бы минуту мы ни остановили людское сожитіе, мы поймаемъ его на этихъ усиліяхъ достигнуть ума изъ-подъ власти безумія. Пути впередъ не назначено, его надобно прокладывать; исторія, какъ поэма Аріоста, несется зря, двадцатью эпизодами, бросаясь туда, сюда, съ тёмъ тревожнымъ безпокойствомь, которое уже безпально волнуеть обезьяну и котораго почти совсёмъ нётъ у низшихъ звёрей, этихъдовольныхъ животнаго царства.

Слово lunatic asylum, Оуэнъ, само собою разумфется, употребилъ comme une manière de dire. Государства не домы сошедшихъ съ ума, а домы не взошедших в в умг. Практически, впрочемъ. онъ могъ употребить это выраженіе... не дълая ошибки. Ядъ или огонь въ рукахъ трехлътняго ребенка такъже страшенъ, какъ въ рукахъ тридцатилътняго сумасшедшаго. Разница въ томъ, что безуміе одного-состояніе патологическое, другого-степень развитія, состояніе эмбріогеническое. Устрица представляеть ту стенень развитія организма, на которой животное еще не импеть ногъ, она фактически безногая, но вовсе не такъ, какъ звърь, у котораго ноги отняты. Мы знаемъ (но устрица этого не знаетъ), что при хорошихъ обстоятельствахъ органическія попытки дойдуть до ногь и до крыльевь, и смотримъ на неразвитыя формы моллюска, какъ на одну изъ растущихъ прибывающихъ волнъ прилива, въ то время какъ форма искаженная возвращается съ отливомъ въ стихійный океанъ и составляетъ частный случай

смерти или агоніи.

Оуэнъ, убъдившись, что организму въ тысячу разъ удобите имъть ноги, руки, крылья, чъмъ постоянно дремать въ раковинъ, понимая, что изъ тъхъ же самыхъ бъдныхъ, но уже существующихъ частей организма, есть возможность развить эти оконечности, до того увлекся, что вдругъ сталъ проповъдывать устри-

цамъ, чтобъ они взяли свои раковины и пошли за нимъ. Устрицы обидълись и сочли его анти-моллюскомъ, т. е., безиравственнымъ въ смыслъ раковинной жизни, и прокляли его.

... «Характеръ человъка существенно опредъляется обстоятельствами, окружающими его. Но эти обстоятельства общество можетъ легко такъ устроить, чтобъ они способствовали наплучшему развитію умственныхъ и практическихъ способностей, сохраняя притомъ все безконечное разнообразіе личностей и соображаясь съ многоразличіемъ физической и умственной натуры».

Все это понятно, и надобно имѣть рѣдкую степень тупоумія чтобъ возражать на этотъ тезисъ Оуэна. Да на него, замѣтьте, никто и не возражаетъ. Возраженіе большинствомъ—не отвѣтъ, а насиліе; возраженіе, что это безнравственно или несогласно съ такой-то традиціонной религіей или съ иной, тоже не опроверженіе. Въ худшемъ случаѣ, такіе отвѣты могутъ только доказать двойство межеду истиной и нравственностью, пользу лжи и вредъ правды. Истина не подлежить этому суду, ея критеріумъ не тутъ.

Ахиллова пята Оуэна не въ ясныхъ и простыхъ основаніяхъ его ученія, а въ томъ, что онъ думалъ, что обществу легко понять его простую истину. Думая такъ, онъ впалъ въ святую ошибку любви и нетерпѣнія, въ которую впадали всѣ преобразователи и предтечи переворотовъ.

Хроническое недоуміе въ томъ и состоить, что люди, подъ вліяніемъ историческаго преломленія лучей празныхъ нравственныхъ параллаксовъ, всего меньше понимають простое, а готовы върить и еще больше върить, что понимають вещи очень сложныя и совершенно непонятныя, но традиціонныя, привычныя и соотвътствующія дътской фантазіи... Просто! Легко! Да всегда ли простое легко? Воздухомъ положительно проще дышать чъмъ водой, но для этого надобно имъть легкія; а гдѣ же пмъ развиться у рыбъ, которымъ нуженъ сложный дыхательный спарядъ, чтобъ достать немного кислорода изъ воды. Среда имъ не позволяетъ, ихъ не вызываетъ на развитіе легкихъ, она слишкомъ густа и иначе составлена, чъмъ воздухъ. Нравственная густота и составъ, въ которомъ выросли слушатели Оуэна, обуслевила у нихъ свои духовныя жабры, дышать болъе чистой и рѣдкой средой должно было произвести боль и отвращеніе.

Не думайте, что туть только вибшнее сравненіе, туть истинная аналогія одинаких явленій, въ разных возрастах и разных слояхъ.

Легко понять... легко исправить! Помилуйте—кому? Той толиѣ, которая наполняеть до давки колоссальный транссепть кристаль-

наго дворца, слушан съ жадностью прукоплесканіемъ проповъдп какого-то плоскаго средневъковаго баккалавра, попавшаго, не знаю какъ, въ нашъ въкъ и объщающаго толиъ кары небесныя и бъдствія земныя на вульгарномъ языкъ шиллеровскаго капуцинавъ Wallenstein's Lager?

Пля нихъ не легко!

Люди отдають долю своего достоянія и своей воли, подчинняются всякаго рода властямь и требованіямь, вооружають цфлыя толиы, строять суды, тюрьмы и стращають висёлицей. Словомь, дёлають все такъ, чтобъ, куда человёкъ ни обернулся, передъ его глазами быль бы палачь съ веревкой, готовый все кончить. Цёль всего этого сохранить общественную безопасность отъ дикихъ страстей и преступныхъ покушеній, какъ-нибудь удержать въ руслё общественной жизни необузданныя покушенія вырваться изъ него.

А туть является чудакь, который прямо и просто говорить, да еще съ какой-то обидной наивностью, что все это вздоръ, что человъкь вовсе не преступникь parle le droit de naissance, что онь такь же мало отвъчаеть за себя, какъ и другіе звъри, и какъ они, суду не подлежить, а воспитанію очень. И это не все, онь передь лицомъ судей и поновъ всенародно объявляеть, что человъкъ не самъ творить свой характеръ, что стоить его поставить со дня рожденія въ такія обстоятельства, чтобъ онъ могъ быть не мошенникомъ, такъ онъ и будетъ, такъ себѣ, хорошій человъкъ. А теперь общество рядомъ нелъпостей наводить его на преступленіе, а люди наказывають не общественное устройство, а лицю.

И Оуэвъ воображалъ, что это легко понять:

Развѣ онъ не зналъ, что намъ легче себѣ вообразить кошку повѣшенную за мышегубство, и собаку, награжденную почетнымъ ошейникомъ за оказанное усердіе при поимкѣ укрывшагося зайца, чѣмъ ребенка не наказаннаго за дѣтскую шалость, не говоря уже о преступникѣ. Примириться съ тѣмъ, что метить всѣмъ обществомъ преступнику мерзко и глупо, что цѣлымъ соборомъ дѣлать безопасно и хладнокровно столько же злодѣйства надъ преступникомъ, сколько онъ сдѣлалъ, подвергаясь опасности и подъвліяніемъ страсти, отвратительно и безполезно,—ужасно трудно. не по нашимъ жабрамъ! Рѣзко!

Въ боязливомъ упорствъ массъ, въ тупомъ отстанваніи стараго, въ консервативной цънкости ея есть своего рода темнос воспоминаніе, что висълица, смертная казнь, страхъ власти, уголовная палата были нъкогда огромные плаги впередъ, огромныя ступени вверхъ, великіе Errungenschaften, подмостки, по которымъ люди, выбиваясь изъ силъ, взбирались къ покойной жизни, ко-

мяти, на которых подплывали, сами не зная дороги, къ гавани гдъ бы можно было отдохнуть отъ тяжелой борьбы со стихіями, отъ земляной и кровавой работы, можно было бы найти безтревожный досуть и святую праздность, этихъ первыхъ условій прогресса, свободы, искусства и сознанія!

Чтобъ сберечь этотъ дорого доставшійся покой, люди обставили свои гавани всякаго рода пугалами.

Одолъвшее племя естественно кабалило себъ племя покоренное, и на его рабствъ основывало свой досугъ, т. е., свое развите. Рабствомъ собственно началось государство, образованіе, человъческая свобода. Инстинктъ самосохраненія навелъ на свиръные законы, необузданная фантазія додълала остальное.

Если свести всѣ разнообразныя основы этихъ краеугольныхъ камней, на которыхъ выводились государства, на главныя начала, освобождая ихъ отъ фантастическаго, дѣтскаго, принадлежащаго къ возрасту, то мы увидимъ, что они постоянно одни и тѣ же, соприсносущи всякому государству; декораціи и формы мѣняются, но начала тѣ же.

Дикая расправа царя звъролова въ Африкъ, который собственноручно приръзываетъ преступника, совсъмъ не такъ далека отъ расправы суды, довъряющаго другому убійство. Дъло въ томъ, что ни судья въ шубъ, въ бъломъ нарикъ, съ перомъ за ухомъ, ни голый африканскій царь, съ перомъ въ носу, и совершенно черный не сомнъваются, что они это дълаютъ для спасенія общества и не только имъютъ право въ иныхъ случаяхъ убивать, но и священный долгъ.

Сверхъ страха воли, того страха, который дѣти чувствуютъ, начиная ходить безъ помочей, сверхъ привычки къ этимъ поручнямъ, облитымъ потомъ и кровью, къ этимъ ладьямъ, сдѣлавшимся ковчегами спасенія, въ которыхъ народы пережили не одинъ черный день,—есть еще сильные контрфорсы, поддерживающіе встхое зданіе. Неразвитость массъ, не умѣющихъ понимать, съ одной стороны, и корыстный страхъ, съ другой, мѣшающій понимать меньшинству, долго продержатъ на ногахъ старый порядокъ. Образованныя сословія, противно своимъ убѣжденіямъ, готовы сами ходить на веревкѣ, лишь бы не спускали съ нея толиу.

Оно и въ самомъ дѣлѣ не совсѣмъ безопасно.

Внизу и вверху разные календари. Наверху XIX въкъ, а внизу развъ XV, да и то не въ самомъ внизу,—тамъ уже готтентоты и кафры различныхъ цвътовъ, породъ и климатовъ.

Если въ самомъ дѣлѣ подумать объ этой цивилизаціи, которая осѣдаетъ лаццаронами и лондонской чернью, людьми свернувшими съ пол-дороги и возвращающимися къ состоянію лему-

ровъ и обезьянъ, въ то время, какъ на вершинахъ ея цвѣтутъ тщедушные ацтеки всъхъ аристократій,—дѣйствительно голова закружится. Вообразите себѣ этотъ звѣринецъ на волѣ, безъ церкви,

безъ инквизиціи и суда.

Оуэнъ считалъ ложью, т. е., отжившей правдой, въковыя твердыни юриспруденціи, и это понятно; но когда онъ подъ этимъ предлогомъ требовалъ, чтобъ они сдались, онъ забылъ храбрый гарнизонъ, защищающій крѣпость. Ничего въ мірѣ нѣтъ упорнѣе трупа, его можно убить, разбить на части, но убѣдить нельзя.

Это приводить насъ къ вопросу не о томъ, правъ или не правъ Р. Оуэнъ, а о томъ, совмистны ли вообще разумное сознание и правственная независимость съ государственнымъ бытомъ?

Исторія свидѣтельствуеть, что общества постоянно достигаютъ разумной автономіи, но свидѣтельствуетъ также, что они остаются въ нравственной неволѣ. Разрѣшимы эти вопросы или нѣтъ, сказать трудю; ихъ не рѣшишь съ плеча, особенно одной любовые къ людямъ и другими теплыми и благородными чувствами.

Во всёхъ сферахъ жизни мы наталкиваемся на неразрѣшимыя антиноміи, на эти ассимитоты, вѣчно стремящіяся къ своимъ гиперболамъ, никогда не совпадая съ ними. Это—крайнія грани между которыми колеблется жизнь, движется и утекаетъ, касаясь

то того берега, то другого.

Появленіе людей, протестующихъ противъ общественной неволи и неволи совъсти,—не новость; они являлись обличителями и пророками во всъхъ сколько-нибудь назръвшихъ цивилизаціяхъ, особенно, когда онъ старъли. Это высшій предъль, пережватывающая личность, явленіе исключительное и ръдкое, какъ геній, какъ красота, какъ необыкновенный голосъ. Опытъ не доказываеть, чтобъ ихъ утопін были осуществляемы.

У насъ передъ глазами страшный примъръ. Съ тъхъ поръ, какъ родъ человъческій запомнить себя, не встръчалось никогда такого стеченія счастливыхъ обстоятельствъ для разумнаго и свободнаго развитія государственнаго, какъ въ Съверной Америкъ; все, мѣшающее на истощенной, исторической почвъ. или на почвъ, вовсе невоздѣланной, отсутствовало. Ученіе великихъ мыслителей и революціонеровъ XVIII вѣка безъ французской военщины, англійскій сотмоп law безъ кастъ легли въ основу ихъ государственнаго быта. Чего же больше? Все, о чемъ мечтала старая Европа: республика, демократія, федерація, самозаконность каждаго клочка и — едва связывающій общій правительственный поясъ съ слабымъ узломъ въ серединъ.

Что же вышло изъ всего этого?

Общество, большинство захватило диктаторскую и полицейскую

власть; народъ, объявившій восемьдесять лѣтъ тому назадъ «права человѣка», распадается изъ-за «права сѣчь». Преслѣдованія и гоненія въ южныхъ штатахъ, поставившихъ на своемъ знамени слово *Рабство*, за образъ мыслей и слова, не уступаютъ въ гнусности тому, что дѣлалъ неаполитанскій король и вѣнскій пмператоръ.

Въ съверныхъ штатахъ «рабство» не возведено въ догматъ религіп; но каковъ уровень образованія и свободы совъсти въ странъ, бросающей счетную книгу только для того, чтобъ заниматься вертящимися столами, постукивающими духами, въ странъ, хранящей всю петериимость пуританъ и квакеровъ!

Въ формахъ, болѣе мягкихъ, мы то же встрѣчаемъ въ Англіп п въ Швеціп. Чѣмъ страна свободнѣе отъ правительственнаго вмѣшательства, чѣмъ больше признаны ея права на слово, на независимость совѣсти,—тѣмъ нетерпимѣе дѣлается толпа, общественное мнѣніе становится застѣнкомъ; вашъ сосѣдъ, вашъ мясникъ, вашъ портной, семья, клубъ, приходъ держатъ васъ подъ надзоромъ и исправляютъ должность квартальнаго. Неужели только народъ, не способный къ внутренней свободѣ. можетъ достигнуть свободныхъ учрежденій? или не значитъ ли это, наконецъ, что государство развиваетъ постоянно потребности и идеалы, достиженіе которыхъ исполняютъ дѣятельностью лучшіе умы, но которыхъ осуществленіе несовмѣстимо съ государственной жизнью?

Мы не знаемъ ръшенія этого вопроса; но считать его ръшеннымъ не имъемъ права. Исторія до сихъ подъ его ръшаеть однимъ образомъ; нъкоторые мыслители, и въ томъ числъ Р. Оуэнъ, иначе. Оуэнъ вършит несокрушимой върой мыслителей XVIII-го стольтія (прозваннаго въкомъ безвърія), что человъчество наканунъ своего торжественнаго облеченія въ вприльную тогу. А намъ кажется, что всъ опекуны и настухи, дядьки и мамки могутъ спокойно ъсть и спать насчетъ недоросля. Какой бы вздоръ народы ни потребовали, на нашемъ вику они не потребують право совершеннольтія. Человъчество еще долго проходитъ съ отложными воротничками à l'enfant.

Причинъ на это бездна. Для того, чтобъ человъку образумиться и придти въ себя, надобно быть гигантомъ; да, наконецъ, и никакія колоссальныя силы не помогуть пробиться, если бытъ общественный такъ хорошо и прочно сложился, какъ въ Японіи или Китаъ. Съ той минуты, когда младенецъ, улыбаясь, открываетъ глаза у груди своей матери, до тѣхъ поръ, пока, примирившись съ совъстью и Богомъ, онъ также спокойно закрываетъ глаза, увъренный, что его перевезутъ въ обитель, гдъ нѣтъ ни плача, ни воздыханія,—все такъ улажено, чтобъ онъ не развилъ

ни одного простого понятія, не натолкнулся бы ни на одну простую, ясную мысль. Онъ съ молокомъ матери сосеть дурманъ; никакое чувство не остается не искаженнымъ, не сбитымъ съ естественнаго пути. Школьное воспитаніе продолжаєть то, что сдѣлано дома, оно обобщаетъ оптическій обманъ, книжно упрочиваетъ его, теоретически узакониваетъ традиціонный хламъ и пріучаеть дѣтей къ тому, чтобъ они знали, не понимая, и принимали бы названія за опредъленія.

Сбитый въ понятіяхъ, запутанный словами, человъкъ теряетъ чутье истины, вкусъ природы. Какую же надобно имъть силу мышленія, чтобъ заподозрить этоть нравственный чадъ и уже съ круженіемъ головы броситься изъ него на чистый воздухъ, которымъ въ добавокъ стращають всѣ вокругъ! На это Оуэнъ отвъчалъ бы, что онъ именно потому и начиналъ свое соціальное перерожденіе людей не съ фаланстера, не съ Икаріп, а со школы, со школы, въ которую онъ бралъ дътей съ двухлѣтняго возраста

и меньше. Оуэнъ быль правъ, и еще больше, онъ практически доказалъ. что онъ быль правъ: передъ New Lanark'омъ противники Оуэна молчать. Этоть проклятый New Lanark вообще костью стоить въ горят людей, постоянно обвиняющихъ соціализмъ въ утопіяхъ п въ неспособности что-нибудь осуществить на практикъ. «Что сдълалъ Консидеранъ съ Брейсбеномъ, что монастырь Спто, что портные въ Клишп и Banque du peuple Прудона?» Но противъ блестящаго успъха New Lanark'а сказать нечего. Ученые п послы, министры и герцоги, купцы и лорды, все выходило съ удивленіемъ п благоговѣніемъ изъ школы. Докторъ герцога Кентскаго, скентикъ, говорилъ о Lanark' съ улыбкой; герцогъ, другъ Оуэна, совътовалъ ему съъздить самому въ New Lanark. Вечеромъ докторъ иншетъ герцогу: «отчетъ я оставляю до завтра; я такъ взволнованъ и тронутъ тъмъ, что видълъ, что не могу еще писать; у меня и всколько разъ навертывались слезы на глазахъ». На этомъ торжественномъ признаніи я и жду моего старика. П такъ, онъ доказалъ свою мысль на дълъ, —онъ быль правъ. Пойдемте далъе.

New Lanark былъ на вершинѣ своего благосостоянія. Неутомимый Оуэнъ, несмотря ни на лондонскія поѣздки, ни на митинги, ни на безпрерывныя посѣщенія всѣхъ знаменитостей Европы,—съ той же дѣятельной любовью занимался школой-фабрикой и благосостояніемъ работниковъ, между которыми развивалъ общинную жизнь. И все лопнуло!

Что же, вы думаете, онъ обанкротился? Учители перессорились, дъти избаловались, родители спились? Помилуйте, фабрика шла превосходно, доходы росли, работники богатъли, школа про-

цвётала. Но однимъ добрымъ утромъ въ эту школу взошли какіе-то два черныхъ шута, въ низенькихъ шляпахъ, въ намъренно дурно сшитыхъ сюртукахъ: это были двое квакеровъ, такіе же собственники New Lanark'а, какъ и самъ Оуэнъ. Насупили они брови, видя веселыхъ дътей, нисколько не горюющихъ о гръхонаденіи; ужаснулись, что маленькіе мальчики безъ панталонъ, и потребовали преподаваніе какого-то своего катехизиса. Оуэнъ сначала отвъчалъ геніально: цифрой приращенія доходовъ. Ревность успокоилась на время: такъ гръховная цифра была велика. Но совъсть квакеровъ проснулась опять, и они еще настоятельнъе стали требовать, чтобы дътей не учили ни танцовать, ни свытскому пънію, а раскольничьему катехизису непремънно.

Оуэнъ, у котораго хоры, правильныя эволюціи и танцы пграли важную роль въ воспитаніи, не согласился. Были долгія пренія; квакеры рѣшились на этотъ разъ и требовали введенія псалмовъ и какихъ-то штанишекъ дѣтямъ, ходившимъ по-шотландски. Оуэнъ понялъ, что крестовый походъ квакеровъ на этомъ не остановится. «Въ такомъ случаѣ», сказалъ онъ имъ, «управляйте сами; я отказываюсь». Онъ не могъ пначе поступить.

«Квакеры» говорить біографъ Оуэна, «вступивъ въ управленіе New Lanark'омъ, начали съ того, что уменьшили плату и увеличили число часовъ работы».

New Lanark палъ.

Ненадобно забывать, что успѣхъ Оуэна раскрываетъ еще одну великую историческую новость, именно ту, что бѣдный и подавленный работникъ, лишенный образованія, съ дѣтства пріученный къ пьянству и обману, къ войнѣ съ обществомъ, только сначала противудѣйствуетъ нововведеніямъ, и то изъ недовѣрія; но какъ только онъ убѣждается въ томъ, что перемѣна не во вредъ ему, что при ней и онъ не забытъ, онъ слѣдуетъ съ покорностью, потомъ съ довѣрчивой любовью.

Среда, служащая тормазомъ, не тутъ.

Гейнце, литературный холопъ Меттерниха, за объдомъ во Франкфуртъ, сказалъ Роберту Оуэну:

— Положимъ чтовы бы успъли, — что же бы изъ этого вышло?

— Очень просто, отвъчалъ Оуэнъ, вышло бы то, что каждый былъ бы сытъ, хорошо одътъ, и получилъ бы дъльное восштаніе.

И вотъ отчего паденіе небольшой шотландской деревушки, съ фабрикой и школой, пиветъ значеніе историческаго несчастія. Развалины Оуэнскаго New Lanark'a наводять на нашу душу не меньше грустныхъ думъ, какъ нѣкогда другія развалины наводили на душу Марія; съ той разницей, что римскій изгнанникъ сидътъ на гробѣ старца и думалъ о суетѣ суетствій; а мы тоже

думаемъ, сидя у свъжей могилы младенца, много объщавшаго п убитаго дурнымъ уходомъ и страхомъ, что онг потребуетъ наслъдства!

### Ш

Итакъ, Р. Оуэнъ былъ правъ передъ разумомъ; выводы его были логичны и, еще больше, были практически оправданы. Имъ только недоставало *пониманья* со стороны слушавшихъ его.

— Это дъло времени, когда-нибудь люди поймутъ.

— Я не знаю.

— Нельзя же думать, чтобъ люди никогда не дошли до пониманья своихъ собственныхъ выгодъ.

— Однако до сихъ поръ было такъ.

Во всю тысячу и одну ночь исторіп, какъ только накапливалось немного образованія, попытки эти были; нѣсколько человъкъ просыпались, протестовали противъ спящихъ, заявляли, что они наяву, но другихъ добудиться не могли. Появленіе ихъ доказываеть, безъ мальйшаго сомньнія, возможность человька развиваться до разумнаго пониманья. Но этимъ не разръшается нашъ вопросъ: можетъ-ли это исключительное развите сделаться общимъ? Наведеніе, которое намъ даетъ прошедшее, не въ пользу положительнаго решенія. Разве будущее пойдеть иначе, приведеть иныя силы; иные элементы, которыхъ мы не знаемъ и которые перевернутъ, по плюсу или минусу, судьбы человъчества пли значительной части его. Открытіе Америки равняется геологическому перевороту; жельзныя дороги, электрическій телеграфъ измънили вст человъческія отношенія. То, чего мы не знаемъ, мы не имбемъ права вводить въ нашъ расчетъ; но, принимая веб лучшіе шансы, мы все же не предвидимъ, чтобъ люди скоро почувствовали потребность здраваго смысла. Развитіе мозга требуетъ своего времени. Въ природъ нътъ торопливости; она могла тысячи и тысячи лёть лежать въ каменномъ обморок и другія тысячи чирикать итицами, рыскать звёрями по лёсу, пли плавать рыбою по морю. Исторического бреда ей станетъ надолго; имъ же превосходно продолжается пластичность природы, истошенной въ другихъ сферахъ.

Люди, которые поняли, что это сонъ, воображають, что проснуться легко, сердятся на сиящихъ, не соображая, что весь міръ ихъ окружающій не позволяєть имъ проснуться. Жизнь проходить рядомь оптическихъ обмановъ, искусственныхъ потребностей

и мнимыхъ удовлетвореній.

Случайно, не выбирая, возьмите любую газету, взгляните на любую семью. Какой же туть Роберть Оуэнъ поможеть? Изъ вздора люди страдають съ самоотверженіемъ, изъ вздора идуть на смерть, изъ вздора убиваютъ другихъ. Въ въчной заботь, суеть, нуждь, тревогь, въ поть лица, въ трудь безъ отдыха и конца, человъкъ даже и не наслаждается. Если ему досугъ оть работы, онъ торопится свить семейныя сти, вьетъ ихъ совершенно случайно, самъ попадаетъ въ нихъ, стягиваетъ другихъ, и, если не долженъ спасаться отъ голодной смерти-каторжной, нескончаемой работой, то начинаетъ ожесточенное преслъдование жены, дътей, родныхъ или самъ преследуется ими. Такъ люди гонять другь друга во имя родительской любви, во имя ревности, во имя брака, дёлая ненавистными священнёйшія связи. Когда же тутъ образумиться? Развѣ по другую сторону семьи, за ея гробомъ, когда человъкъ все потерялъ, и энергію, и свъжесть мысли, когда онъ ищеть одного нокоя.

Посмотрите на хлопоты и заботы цёлаго муравейника, пли одного муравья отдёльно; вникните въ его домогательства и цёли, въ его радости и горе, въ его понятія о добрѣ и злѣ, о чести и позори-во все, что онъ дълаетъ въ продолжение всей жизни, съ утра до ночи; взгляните, на что онъ посвящаетъ последніе дни и чему жертвуеть лучшими мгновеніями своей жизни, вась обдасть дътской, съ ея лошадками на колесахъ, съ блестками и фольгой, съ куклами, поставленными въ уголъ, и съ розгами, поставленными въ другой. Въ ребячьемъ лепетъ слышится иной разъ проблескъ дела; но онъ теряется въ детской разсеянности. Остановиться, обдуматься нельзя, —дёла разстроинь, отстанешь, будешь затерть; всё слишкомъ компрометировались и всё слишкомъ быстро несутся, чтобъ можно было остановиться, особенно передъ горстью людей, безъ пушекъ, безъ денегъ, безъ власти, протестующих во имя разума, не подтверждая даже своей пстины чудесами.

Ротшильду или Монтефіоре надобно съ утра въ бюро, чтобъ начать капитализацію сотаго милліона; въ Бразиліи моръ, въ Италіи война, Америка распадается, все идетъ прекрасно; а туть ему говорять о безотвѣтственности человѣка и о иномъ распредѣленіи богатствъ,—разумѣется, онъ не слушаеть. Макъ-Магонъ дни, ночи обдумываль, какъ вѣрнѣе, въ самое короткое время, истребить наибольшее количество людей, одѣтыхъ въ бѣлые мундиры, людьми, одѣтыми въ красные штаны; истребилъ ихъ больше, чѣмъ думалъ, всѣ его поздравляють, даже ирландцы, которые въ качествѣ папистовъ побиты имъ; а ему говорять, что война не только отвратительная нелѣпость, но и преступленіе. Ра-

зум'єтся, вм'єсто того, чтобъ слушать, онъ станеть любоваться мечемь, поднесеннымъ Прландіей.

Въ Италіи я былъ знакомъ съ однимъ старикомъ, главою богатаго банкирскаго дома. Разъ, поздно ночью, мнѣ не спалось, я пошелъ гулять и возвращался, часу въ иятомъ утра, мимо его дома. Работники выкатывали изъ подваловъ боченки съ оливковымъ масломъ, для отправки моремъ. Старикъ банкиръ, въ тепломъ сюртукъ, стоялъ съ бумагой въ рукѣ, отмѣчая каждый боченокъ. Утро было свѣжо, онь зябнулъ.

— Вы уже встали?—сказалъ я ему.

— Я здъсь больше часа,—отвъчалъ онъ, улыбаясь и протягивая руку.

— Да вы замерзли, какъ въ Россіп.

— Что дёлать, старъ становлюсь, сплы отказывають.

— Пріятели-то ваши (т. е., его сыновья) спять еще, небось, и пусть посиять, пока старикь еще живъ.

— А безъ собственнаго надзора нельзя. Я прежняго покроя человъкъ, много наглядълся; пять революцій, амісо міо, видълъ, возлѣ прошли; а я, за своей работой, все также: отпущу масло, пойду въ контору. Я и кофе тамъ пью, прибавиль онъ.

— И такъ до самаго объда?

— До самаго объда.

— Вы не балуете себя.

— А впрочемъ, скажу вамъ откровенно, тутъ много дълаетъ

привычка. Мню скучно безь дыла.

Не нынче-завтра онъ умреть. Кто же будеть масло отпускать, какъ пойдеть домъ? думаль я, оставивъ его. Развѣ къ тѣмъ порамъ старшій сынъ тоже сдѣлается человѣкомъ прежняго покроя, и тоже будеть скучать безъ дѣла и вставать въ четыре часа? Такъ и пойдетъ одна тысяча золотыхъ къ другой, до тѣхъ поръ, пока кто-нибудь изъ династовъ, и, навѣрное, самый лучшій, проиграеть все въ карты или поднесетъ лореткъ.—«Родители-то какіе были! скажутъ добрые люди,—они отказывали во всемъ себѣ и другимъ тоже, и все копили про дѣтей. А вотъ блудный сынъ!..»

Ну, гдѣ-жъ тутъ скоро добраться, сквозь эту толщу нелѣпости до живого мяса?

Этимъ людямъ, занятымъ службой, ажіотажемъ, семейными ссорами, картами, орденами, лошадьми,—Р. Оуэнъ проповъдывалъ другое употребленіе силъ и указывалъ имъ на нелѣностъ ихъ жизни. Убъдить ихъ онъ не могъ, а озлобилъ ихъ и опрокинулъ на себя всю нетериимость непониманія. Одинъ разумъ долготериъливъ и милосердъ, потому что онъ понимаетъ.

Біографъ Р. Оуэна очень върно судилъ, говоря, что онъ раз-

рушилъ свое вліяніе, отрекаясь отъ религіи. Дъйствительно, стукнувшись о церковную ограду, ему слѣдовало остановиться, а онъ перелѣзъ на другую сторону и остался тамъ одинъ одинехонекъ провожаемый благочестивымъ ругательствомъ. Но намъ кажется что рано или поздно, онъ точно также остался бы и за другимъ черепкомъ раковины—одинъ и outlaw!

Толна только потому не освиръпъла на него съ самаго начала, что государство и судъ не такъ популярны, какъ церковь и алтарь. Но за право наказанія вступились бы, à la longue, люди получше подкованные, чъмъ богобъснующіеся квакеры и фельетонные святоши.

Вѣковой споръ, споръ тысячелѣтній о волю и предопредкленіи не конченъ. Не одинъ Оуэнъ въ наше время сомнѣвался въ отвѣтственности человѣка за его поступки; слѣды того сомнѣнія мы найдемъ у Бентама и у Фурье, у Канта и у Шопенгауера, у натуралистовъ и у врачей, и, что всего важнѣе, у всѣхъ занимающихся статистикой преступленій. Во всякомъ случать споръ не рѣшенъ, но о тому, что преступленія, объ этому и спору нъть, это всякій самъ знаеть!

Съ которой же стороны lunatic asylum?

«Наказаніе есть неотъемлемое право преступника», сказаль самъ Платонъ.

Жаль, что онь самь сказаль этоть каламбуръ, но, впрочемъ, мы не обязаны съ Аддисоновымъ Катономъ приговаривать ко всему: «ты правъ, Платонъ, ты правъ», даже и тогда, когда онъ говоритъ, что «нашъ духъ не умираетъ».

Если быть выпоронному или повѣшенному составляеть *право* преступника, пусть же онъ самъ и предъявляеть его, если оно нарушено. Права втѣснять ненадобно.

Бентамъ называеть преступника дурнымъ счетчикомъ; понятно, что кто обчелся, тотъ долженъ нести послъдствія ошибки, но, въдь, это не право его. Никто не говорить, что если вы стукнулись лбомъ, то вы имъете право на спнее иятно, и нътъ особаго чиновника, который бы посылалъ фельдшера сдълать это иятно, если его нътъ. Но юристы или такъ неоткровенны, или такъ забили свой умъ, что они казнь вовсе не хотятъ признать обороной или местью, а какимъ-то нравственнымъ вознагражденіемъ. «возстановленіемъ равновъсія». На войнъ дъла идутъ прямъе: убивая непріятеля, солдатъ не ищеть его вины, не говорить даже. что это справедливо, а кто кого сможеть, тотъ того и повалитъ.

<sup>—</sup> Но съэтими понятіями придется затворить вст суды.

— Зачъмъ? дълали же изъ базиликъ приходскія церкви, не нопробовать ли теперь ихъ отдать подъ приходскія школы?

— Съ этими понятіями о безнаказанности не устоить ни одно

правительство.

— Оуэнъ могъ бы, какъ первый *историческій* брать, на это отвъчать: развъ мнт было поручено упрочивать правительства?

— Онъ въ отношеніи правительствъ быль очень уклончивъ и умъть ладить съ коронованными головами, съ министрами тори и съ президентомъ американской республики.

— А развѣ онъ былъ дуренъ съ католиками или протестан-

тами?

— Что-жъ вы думаете, Оуэнъ былъ республиканець?

- Я думаю, что Р. Оуэнъ предпочиталъ ту форму правительства, которая наибольше соотвътствуетъ принимаемой имъ церкви.
  - Помплуйте, у него никакой нътъ церкви.

— Ну, вотъ видите.

— Однако нельзя быть безъ правительства.

— Безъ сомивнія; хоть какое-нибудь да надобно. Гегель разсказываеть о доброй старухв, говорившей: «Ну, что-жъ, что дурная ногода, все лучше, чтобъ была дурная, чвить если-бъ совсвить погоды не было!»

— Хорошо, смъйтесь, да, въдь, государство погибнеть безъ правительства!

— А мнѣ что за дѣло!

# IV.

Во время революціи быль сділанть опыть коренного изміненія гражданскаго быта, съ сохраненіемть сильной правительственной власти.

Декреты приготовлявшагося правительства уцёлёли съ своимъ заголовкомъ:

Egalité

Liberté

Bonheur Commun.

Къ которому иногда прибавляется, въ видъ поясненія: ou la mort!

Декреты, какъ и слъдуеть ожидать, начинаются съ декрета полиціи.

§ 1. Лица, ничего не дълающія для отечества, не им'яють

никакихъ политическихъ правъ, это иностранцы, которымъ реслублика даетъ гостенріимство.

§ 2. Ничего не дѣлаютъ для отечества тѣ, которые не служать ему полезныть трудомъ.

§ 3. Законъ считаетъ полезными трудами:

Земледфліе, скотоводство, рыбную ловлю, мореплаваніе.

Механическія и ручныя работы.

Мелкую торговлю (la vente en detail).

Извозъ и ямщичество.

Военное ремесло.

Науки и преподаваніе.

- § 4. Впрочемъ, науки и преподаваніе не будутъ считаться полезными, если лица, занимающіяся ими, не представять въ данное время свидѣтельство цивизма, написанное по опредъленной формъ.
- § 6. Иностранцами воспрещается входъ въ публичныя собранія.
- § 7. Иностранцы находятся подъ прямымъ надзоромъ высшей администраціи, которой предоставляется право высылать ихъ съ мѣста жительства и отправлять въ исправительныя мѣста.

Въ декретъ о «работахъ» все расписано и распредълено, въ какое время, когда что дълать, сколько часовъ работать; старшины даютъ «примъръ усердія и дъятельности»; другіе доносять обо всемъ, дълающемся въ мастерскихъ, начальству. Работниковъ посылають изъ одного мъста въ другое (такъ, какъ гоняютъ мужиковъ на шоссейную работу у насъ), по мъръ надобности рукъ и труда.

- § 11. Высшая администрація посылаєть на каторжную работу (travaux forcés), подъ надзоръ ею назначенныхъ общинъ, лицъ обоего пола, которыхъ *инцивизмъ* "(incivisme), лѣнь, роскошь и дурное поведеніе дають обществу дурной примѣръ. Ихъ имущество будетъ конфисковано.
- § 14. Особенные чиновники заботятся о содержаніи и приплод'є скота, объ одежді, пере вздахъ п облегченіяхъ, работающихъ гражданъ.

Декретъ о распредълении имущества.

- § 1. Ни одинъ членъ общины не можеть пользоваться ни чѣмъ, кромѣ того, что ему опредѣляется закономъ и дано посредствомъ облеченнаго властью чиповника (magistrat).
- § 2. Народная община съ самаго начала даетъ своимъ членамъ квартиру, платья, стирку, освъщеніе, отопленіе, достаточное количество хлѣба, мяса, куръ, рыбы, яицъ, масла, вина и другихъ напитковъ.
  - § 3. Въ каждой коммунт, въ опредтленныя эпохи, будуть

общія трапезы, на которыхъ члены общины обязаны присутствовать:

§ 5. Всякій членъ, взявшій плату за работу пли хранящій у себя деньги, *наказывается*.

Декреть о торговлъ.

§ 1. Заграничная торговля частнымъ лицамъ запрещена. То-

варъ будетъ конфискованъ, преступникъ наказанъ.

Торговля будетъ производиться чиновниками. Затъмъ деньги уничтожаются. Золото и серебро не велъно ввозить. Республика не выдаетъ денегъ, внутренне частные долги уничтожаются, внъшне уплачиваются; а если кто обманетъ или сдълаетъ подлогъ, то наказывается вычнимъ рабстволиъ (esclavage perpetuel).

За этимъ такъ и ждешь: *Питеръ* въ Сарскомъ Сель, или гр. *Аракчеевъ* въ Грузинъ; а подписалъ не Петръ I, а первый со-

піалисть французскій Гракх Бабёфъ!

Жаловаться трудно, чтобъ въ этомъ проектъ не доставало правительства: обо всемъ попеченіе, за всъмъ надзоръ, надъвсъмъ опека, все устроено, все приведено въ порядокъ. Даже воспроизведеніе животныхъ не предоставляется ихъ собственнымъ слабостямъ и кокетству, а регламентировано высшимъ начальствомъ.

И для чего вы думаете все это? Для чего кормять «курами и рыбой, обмывають, одёвають и утишають» 1) этихъ криспостиних благосостоянія, этихь приписанныхь къ равенству арестантовь? Не просто для нихь, декретъ именю говорить, что все это будеть дёлаться mediocrement. «Одна Республика должнобыть богата, великолённа и всемогуща».

Противуположность Роберта Оуэна съ Гракхомъ Вабёфомчочень замѣчательна. Черезъ вѣка, когда все пзмѣнится на земномъ шарѣ, по этимъ двумъ кореннымъ зубамъ можно будетъ возстановить ископаемые остовы Англіп и Франціп до послѣдней косточки. Тѣмъ больше, что въ сущности эти мастодонты соціализма принадлежатъ одной семьѣ, идутъ къ одной цѣли, и изътѣхъ же побужденій,—тѣмъ ярче ихъ различіе.

Одинъ видѣлъ, что, несмотря на казнь короля, на провозглашеніе республики, на уничтоженіе федералистовъ и демократическій терроръ, народъ остался не причемъ. Другой, что, несмотря на огромное развитіе промышленности, капиталовъ, машинъ и усиленной производительности, «веселая Англія» дѣлается все больше Англіей скучной, и Англія обжорливая—все больше Англіей голодной. Это привело обоихъ къ необходимости измѣненія основ-

<sup>1) &</sup>quot;Каждый гражданинъ будеть отъ администраціи logé, nourri, habillé на amusé".

ныхъ условій государственнаго и экономическаго быта. Почему они (и многіе другіе) почти въ одно и то же время попали на этотъ порядокъ идей,—понятно. Противоръчія общественнаго быта становились не больше и не хуже, чъмъ прежде, но они выступали ръзче къ концу XVIII въка. Элементы общественной жизни, развиваясь розно, разрушили ту гармонію, которая была прежде между ними, при меньше благопріятныхъ обстоятельствахъ.

Встрътившись такъ близко въ точкъ исхода, оба идуть въ

противуположныя стороны.

Оуэнъ видить въ томъ, что общественное зло приходить къ сознанію, послѣднее достиженіе, послѣднюю побѣду тяжелаго, сложнаго, историческаго похода; онъ привѣтствуетъ зарю новаго дня, никогда не бывалаго и невозможнаго въ прошедшемъ, и уговариваетъ дѣтей, какъ можно скорѣе покинуть пеленки, помочи, и стать на свои ноги. Онъ заглянулъ въ двери будущаго п, какъ путешественникъ, доѣхавшій до мѣста, не сердится больше на дорогу, не бранить ни станціонныхъ смотрителей, ни клячъ.

Но конституція 1793 года думала не такъ, а съ ней не такъ думалъ и Гракхъ Бабёфъ. Она декретировала возстановленіе естественныхъ правъ человтька, забытыхъ и утраченныхъ. Государственный быть—преступный плодъ узурпаціи, послѣдствіе злодѣйскаго заговора тирановъ и ихъ сообщниковъ, поповъ и аристократовъ. Ихъ слѣдуетъ казнить, какъ враговъ отечества, достояніе ихъ возвратить законному государю, которому теперъ ѣсть нечего, и который называется поэтому санктолотомъ. Пора возстановить его старыя, неотъемлемыя права... Гдѣ они были? Почему пролетарій государь? Почему ему принадлежить все достояніе, награбленное другими?.. А! вы сомнѣваетесь,—вы подозрительный человѣкъ, ближній государь сведеть васъ къ гражданину судъѣ, а тотъ пошлетъ къ гражданину палачу, и вы больше сомнѣваться не будете!

Практика xupypea Бабёфа не могла мbшать практикb акушера Оуэна.

Бабёфъ хотълъ силой, т. е., властью разрушить созданное силой, разгромить неправое стяжаніе. Для этого онъ сдёлаль заговоръ; если-бъ ему удалось овладѣть Парижемъ, комитеть insurrecteur приказаль бы Франціи новое устройство, точно такъ, какъ Византіи его приказалъ побѣдоносный Османлисъ; онъ втѣснилъ бы французамъ свое рабство общаго благосостоянія, и, разумѣется, съ такимъ насиліемъ, что вызвалъ бы страшнѣйшую реакцію, въ борьбѣ съ которой Бабёфъ и его комитетъ погибли бы, бросивъ міру великую мысль въ нельпой формы, мысль, которая и теперь тлѣетъ подъ непломъ и мутитъ довольство довольныхъ.

Оуэнъ, видя, что люди образованныхъ странъ подростаютъ къ переходу въ новый періодъ, не думалъ вовсе о насиліи, а хотълъ только облегчить развитіе. Съ своей стороны, онъ такъ же послѣдовательно, какъ Бабёфъ съ своей, принялся за изученіе зародыша, за развитіе ячейки. Онъ началъ, какъ всѣ естествоиспытатели, съ частнаго случая; его микроскопъ, его лабораторія былъ New Lanark; его ученіе росло и мужало вмѣстѣ съ ячейкой, и оно-то довело его до заключенія, что главный путь водворенія

новаго порядка-воспитание.

Заговоръ для Оуэна быль ненужень, возстаніе могло только повредить ему. Онь не только могь ужиться съ лучшимъ въ мірѣ правительствомь, съ англійскимь, но со всякимь другимъ. Онъ въ правительстве видёль устарёлый, историческій фактъ, поддерживаемый людьми отсталыми и неразвитыми, а не шайку разбойниковь, которую надобно неожиданно накрыть. Не домогаясь ниспровергнуть правительства, онъ не домогался нисколько и поправлять его. Если-бъ святые лавочники не мѣшали ему, въ Англіи и Америкѣ были бы теперь сотни New Lanark и New Harmony 1), въ нихъ втекали бы свѣжія силы рабочаго народонаселенія, они исподволь отвели бы лучшіе, жизненные соки отъ отжившихъ государственныхъ цистернъ. Что же ему было бороться съ умирающими; онъ могъ ихъ предоставить естественной смерти, зная, что каждый младенець, котораго приносять въ его школы, с'est autant de pris надъ церковью и правительствомъ!

Бабёфь быль казнень. Во время процесса онь вырастаеть въ одну изъ тёхъ великихъ личностей—мучениковъ и побитыхъ пророковъ, передъ которыми невольно склоняется человѣкъ. Онъ угасъ, а на его могилѣ росло больше и больше всепоглощающее чудовище централизаціи. Передъ нею особенность стерлась. завянула, поблѣднѣла личность и исчезла. Никогда на европейской почвѣ, со временъ тридцати тирановъ авинскихъ до тридцатильтней войны и отъ нея до исхода французской революціи, человѣкъ не былъ такъ нойманъ правительственной паутиной, такъ опутанъ сѣтями администраціи, какъ въ новѣйшее время во

Франціи.

Оуэна исподволь затянуло иломъ. Онъ двигался, пока могъ, говорилъ, пока его голосъ доходилъ. Илъ пожималъ плечами, качалъ головой; неотразимая волна мъщанства росла, Оуэнъ ста-

<sup>1)</sup> Съ легкой руки Оуэна начали въ Англіп развиваться кооперативным работничьи ассоціаціи, ихъ считаєтся до 200. Рочдельское общество, начавшееся скромно и бъдно 15 лътъ тому назадь, съ каниталомь 28 ливровь, строитъ теперь на общественныя деньги фабрику съ двумя машинами, каждая въ 60 силъ, и которая имъ стоитъ за 30.000 фунговъ. Кооперативныя общества печатаготъ журналь «The Co-operator», который издается исключительно работниками.

рѣлся и все глубже уходилъ въ трясину; мало-по-малу его усплія, его слова, его ученіе—все исчезло въ болоть. Иногда будто попрытивають фіолетовые огоньки, пугающіе робкія души либераловъ,—только либераловъ: аристократы ихъ презирають, попы ненавидять, народъ не знаетъ.

— За то будущее пхъ!...

- Какъ случится!

— Помилуйте, къ чему же послѣ этого вся исторія?

— Да и все-то на свътъ къ чему? Что касается до исторія, я не дълаю ее и потому за нее не отвъчаю. Я, какъ «сестра Анна» въ Синей Бородъ, смотрю для васъ на дорогу и говорю, что вижу: одна пыль на столбовой, больше ничего не видать... вотъ ъдутъ... ъдутъ, кажется, они; нътъ, это не братъя наши, это бараны, много барановъ! Наконецъ-то, приближаются два гиганта разными дорогами. Ну, ужъ не тотъ, такъ другой потренлетъ Рауля за синюю бороду. Не тутъ-то было! грозныхъ указовъ Бабёфа Рауль не слушается, въ школу Р. Оуэна не идетъ; одного послалъ на гильотину, другого утопилъ въ болотъ. Я этого вовсе не хвалю, мнъ Рауль не родной; я только констатирую фактъ и больше ничего!

#### 1.

... Около того времени, когда въ Вандомъ упали въ роковой мішокъ головы Бабёфа и Дорте, Оуэнъ жиль на одной квартирів съ другимъ непризнаннымъ геніемъ и бѣднякомъ Фультономь п отдаваль ему последніе свои шиллинги, чтобь тоть делаль модели машинъ, которыми онъ обогатилъ и облагодътельствовалъ родъ человъческій; — случилось, что одинъ молодой офицеръ показываль дамамъ свою батарею. Чтобъ быть вполнъ любезнымъ, онъ безъ всякой нужды пустиль нёсколько ядерь (это разсказываеть онь самъ); непріятель отвёчаль тёмъ же; нёсколько человёкъ пали. другіе были изранены; дамы остались очень довольны нервнымь потрясеніемъ. Офицера немножко угрызала совъсть: «люди эти, говорить, погибли совершенно безполезно»... но д'яло военное, это скоро прошло. Cela promettait и впослъдствін молодой человъкъ пролилъ крови больше, чемъ все революціи вмёсте, потребиль одной конскринціей больше солдать, чёмь надобно было Оуэну учениковъ, чтобъ пересоздать весь свъть.

Спстемы у него не было никакой, добра людямъ онъ не желалъ п не объщалъ. Онъ добра желалъ себъ одному, а подъ добромъ разумъть власть. Теперь и посмотрите, какъ слабы передъ нимъ Бабёфъ и Оуэнъ! Его имя тридцать лътъ послъ его смерти было постаточно, чтобъ его племянника признали императоромъ.

Какой же у него быль секреть?

Бабёфъ хотълъ людямъ приказать благосостояніе и коммунистическую республику.

Оуэнъ хотълъ ихъ воспитать въ другой экономическій бытъ,

несравненно больше выгодный для нихъ.

Наполеонъ не хотълъ ни того, ни другого; онъ понялъ, что французы не въ самомъ дълъ желаютъ питаться спартанской похлебкой и возвратиться къ нравамъ Брута старшаго, что они не очень удовлетворятся тъмъ, что по большимъ праздникамъ «граждане будутъ сходиться разсуждать о законахъ 1) и обучать дътей цивическимъ добродътелямъ». Вотъ, дъло другое, подраться

и похвастаться храбростью они, точно, любять.

Вмѣсто того, чтобъ имъ мѣшать и дразнить, проповѣдуя вѣчный миръ, лакедемонскій столь, римскія добродътели и миртовые вънки, Наполеонъ, видя, какъ они страстно любять кровавую славу, сталъ ихъ натравливать на другіе народы и самъ ходить съ ними на охоту. Его винить не за что, французы и безъ него были бы такіе же. Но эта одинаковость вкусовъ совершенно объясняеть любовь къ нему народа: для толпы онъ не былъ упрекомъ, онъ ее не оскорбляль ни своей чистотой, ни своими добродътелями, онъ не представлялъ ей возвышенный, преображенный идеаль; онъ не являлся ни карающимъ пророкомъ, ни поучающимъ геніемъ, онъ самъ принадлежалъ толпъ и показалъ ей ее самое, съ ея недостатками и симпатіями, съ ея страстями и влеченіями, возведенную въ Генія и покрытую лучами славы. Воть отгадка его силы и вліянія; воть отчего толна плакала объ немъ, переносила его гробъ съ любовью и вездъ повъсила его портретъ.

Если и онъ налъ, то вовсе не отъ того, чтобъ толна его оставила, что она разглядѣла пустоту его замысловъ, что она устала отдавать послѣдняго сына и безъ причины лить кровь человѣческую. Онъ додразнилъ другіе народы до дикаго отпора, и они стали отчаянно драться за своихъ господъ.

На этотъ разъ военный деспотизмъ былъ побъжденъ феодальнымъ.

Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встрычу Веллингтона съ Блюхеромъ въ минуту побыды подъ Ватерлоо; я долго смотрю на нее всякій разъ, п всякій разъ

<sup>1)</sup> Не изъ нашихъ ли законовъ взялъ Гракхъ Бабёфъ это развлеченіе? Когда въ коллегіи нѣтъ дѣла, члены должны читать законы!

внутри груди дѣлается холодно и страшно... Эта спокойная, британская, не обѣщающая ничего свѣтлаго фигура,—и этотъ сѣдой, свирѣпо-добродушный нѣмецкій кондотьеръ. Ирландецъ на англійской службѣ, человѣкъ безъ отечества, и пруссакъ, у котораго отечество въ казармахъ,—привѣтствуютъ радостно другъ друга; и какъ имъ не радоваться, они только-что своротили исторію съ большой дороги по ступицу въ грязь, въ такую грязь, изъ которой ее въ полвѣка не вытащатъ... Дѣло на разсвѣтѣ... Европа еще спала въ это время и не знала, что судьбы ен перемѣнились. И отъ чего? Оттого, что Блюхеръ поторопился, а Груши опоздалъ! Сколько несчастій и слезъ стоила народамъ эта побѣда? А сколько несчастій и крови стоила бы народамъ побѣда противной стороны?

- ... Да какой же выводъ изъ всего этого?
- Что вы называете выводъ? Нравоученіе въ родѣ fais ce que dois, advienne ce qui pourra, или сентенцію въ родѣ—

И прежде кровь лилась рѣкою, И прежде илакалъ человѣкъ?

Иониманіе дыла—воть и выводь, освобожденіе оть лжи—воть и нравоученіе.

- А какая польза?
- Что за корыстолюбіе и особенно теперь, когда всѣ кричать о безнравственности взятокъ? «Истина—религія», толкуєть старикъ Оуэнъ, «не требуйте отъ нея ничего больше, какъ ее самое».

За все вынесенное, за поломанныя кости, за помятую душу, за потери, за ошноки, за заблужденія, по крайней мъръ, разобрать нъсколько буквъ таинственной грамоты, понять общій смысль того, что дълается около насъ... Это страшно много! Дътскій хламъ, который мы утрачиваемъ, не занимаетъ больше, онъ намъ дорогъ только по привычкъ. Чего тутъ жалъть? Бабу-ягу или жизненную силу, сказку о золотомъ въкъ сзади или о безконечномъ прогрессъ впереди, тайный умыселъ химическихъ заговорщиковъ или natura sic voluit?

Первую минуту страшно, но только одну минуту. Вокругь все колеблется, несется; стой или ступай, куда хочешь; ни заставы, ни дороги, никакого начальства... Въроятно, и море пугало сначала безпорядкомъ, но какъ только человъкъ понялъ его безцъльную суету, онъ взялъ дорогу съ собой и въ какой-то скорлунъ переплылъ океаны.

Ни природа, ни исторія *никуда не идуть* и потому готовы идти всюду, куда имъ укажуть, *если это возможно*, т. е., если ничего не мъшаетъ. Онъ слагаются au fur et à mesure, бездной другъ-на

друга дёйствующихъ, другъ съ другомъ встрѣчающихся, другъ друга останавливающихъ и увлекающихъ частностей; но человѣкъ вовсе не теряется отъ этого, какъ несчинка въ горѣ, не больше подчиняется стихіямъ, не круче связывается необходимостью, а вырастаетъ тѣмъ, что понялъ свое положеніе, въ рулевого, который гордо разсѣкаетъ волны своей лодкой, заставляя бездонную пропасть служить себѣ путемъ сообщенія.

Не имъя ни программы, ни заданной темы, ни неминуемой развязки, растрепанная импровизація исторіи готова идти съкаждымь, каждый можеть вставить въ нее свой стихъ и, если онъ звученъ, онъ останется его стихомъ, пока поэма не оборвется, пока прошедшее будетъ бродить въ ея крови и намяти. Возможностей, эпизодовъ, открытій въ ней и въ природъ дремлетъ бездна на всякомъ шагу. Стоитъ тронуть наукой скалу, чтобъ изънея текла вода... Да что вода? Подумайте о томъ, что сдълалъ стнетенный паръ, что дълаетъ электричество съ тъхъ поръ, какъ человъкъ, а не Юнитеръ, взялъ ихъ въ руки. Человъческое участіе велико и полно поэзіи, это своего рода творчество. Стихіямъ, веществу все равно, они могутъ дремать тысячелътія и вовсе не просыпаться, но человъкъ шлетъ ихъ на свою работу и они идутъ. Солнце давно ходитъ по небу; вдругъ человъкъ перехватилъ его лучъ, задержалъ его слъдъ, и солнце стало ему дълать портреты.

Природа никогда не борется съ человъкомъ, это пошлый поклепъ на нее, она не настолько умна, чтобъ бороться, ей все
равно; «по той мъръ, по которой человъкъ ее знаетъ, по той
мъръ онъ можетъ ею управлять», сказалъ Бэконъ и былъ совершенно правъ. Природа не можетъ перечить человъку, если человъкъ не перечитъ ея законамъ; она, продолжая свое дъло,
безсознательно будетъ дълать его дъло. Люди это знаютъ и
на этомъ основании владъютъ морями и сушами. Но передъ
объективностью историческаго міра человъкъ не имъетъ того
же уваженія, тутъ онъ дома и не стъсняется; въ исторіи ему
легче страдательно уноситься потокомъ событій или врываться
въ него съ ножемъ и крикомъ: «общее благосостояніе или смерть!»
чъмъ вглядываться въ приливы и отливы волнъ, его несущихъ,
изучать ритмъ ихъ колебаній и тъмъ самымъ открыть себъ безконечные фарватеры.

Конечно, положеніе человъка въ исторіи сложите, туть онъ разомъ лодка, волна и кормий. Хоть бы карта была!

А будь карта у Колумба, не онъ открылъ бы Америку.

Отчего?

Оттого, что она должна была быть открыта... чтобъ попасть на карту. Только отнимая у исторіи всякой предназначенный путь, человъкъ и исторія дѣлаются чѣмъ-то серьезнымъ, дѣйствительнымъ и исполненнымъ глубокаго интереса. Если событія подтасованы, если вся исторія—развитіе какого-то доисторическаго заговора и она сводится на одно выполненіе, на одну его mise en scène, возьменте, по крайней мѣрѣ, и мы деревянные мечи и щиты пвъ латуни. Неужели намъ лить настоящую кровь и настоящія слезы для представленія провиденціальной шарады. Съ предопредѣленнымъ планомъ исторія сводится на вставку чиселъ въ алгебраическую формулу, будущее отдано въ кабалу до рожденія.

Люди, съ ужасомъ говорящіе о томъ, что Р. Оуэнъ лишаетъ человъка воли и нравственной доблести, мпрятъ предопредѣленіе не только съ свободой, но и съ палачемъ 1).

Въ мистическомъ воззрѣніи все это на мѣстѣ, и тамъ это имѣстъ свою художественную сторону, которой въ докринаризмѣ нѣтъ. Въ религіи развертывается цѣлая драма; тутъ борьба, возмущеніе и его усмиреніе; вѣчная Мессіада, Титаны, Луциферъ, Аббадона, изгоняемый Адамъ, прикованный Прометей, караемые Богомъ и искупаемые Спасителемъ. Фатализмъ, переходя изъцеркви въ школу, утратилъ весь свой смыслъ, даже тотъ смыслъ правдоподобія, который мы требуемъ въ сказкѣ. Изъ яркаго, пахучаго, опьяняющаго, азіатскаго цвѣтка доктринеры высушили блѣдное сѣно для гербаріума. Отталкивая фантастическіе образы, они остались при голой логической ошибкѣ, при нелѣпости предъ исторической аггіère репѕе́с, воплощающейся во что бы ни стало и достигающей людьми и царствами, войнами и переворотами, своихъ цѣлей. Зачѣмъ, если она существуетъ, она еще разъ

<sup>1)</sup> Теологи отважнѣе доктринеровъ вообще, они прямо говорять, что безъ воли Божіей не падеть волось съ головы, а отвѣтственность за каждое дѣйствіе, даже за помысль оставляють на человѣкѣ. Ученый фатализмъ утверждаеть, что у шихь и рѣчи иѣть о личностяхь. о случайныхъ носителяхъ идеи... (т. е., рѣчи нѣть о нашемъ братѣ, обыкновенномъ человѣкѣ, а что касается до такихъ личностей. какъ Александръ Македонскій или Петръ І—намъ уши прожужжали ихъ всемірно-историческимъ призваніемъ). Доктринеры, видите, какъ большіе господа, хозяйствомъ исторіи распоряжаются еп gros, гуртомъ... Но гдѣ граница стада и личностей, гдѣ нѣсколько зеренъ-то, какъ спрашивали мои милые авинскіе софисты, становятся кучей?

Само собою разумѣется, что мы никогда не смѣшивали предопредѣленій съ теоріей въроятностей, мы въ правѣ наведеніемъ дѣлать посылки отъ прошедшаго къ будущему. Дѣлая пидукцію, мы знаемъ, что дѣлаемъ, основываясь на постоянствѣ пѣкоторыхъ законовъ и явленій, по допуская также и нарушенія. Мы видимъ человѣка тридцати лѣтъ и имѣемъ полное право предполагать, что черезъ другія тридцать лѣтъ онъ будетъ сѣдъ или плѣшивъ, нѣсколько сторбится и пр. Это не значитъ, что его назначеніе сѣдѣть, плѣшивѣть, сгорбиться, что ему это на роду написано. Умри онъ тридцати пати лѣтъ, онъ не будетъ сѣдѣть, а пойдетъ "на замазку", какъ товоритъ Гамлеть, или на салатъ.

осуществляется? Если же ее нѣтъ и она только становится и отпетаивается событіями, то что же за новый имакулатный процессъ зачатія зародилъ во временномъ преждесущую идею, которая, выходя изъ чрева исторіи, возвѣщаетъ тотчасъ, что она была прежде и будетъ послѣ. Это новое сводное безсмертіе души, идущее въ обѣ стороны, не личное, не чье-нибудь, а редовое... Безсмертная душа всего человѣчества.... Это стоитъ мертвыхъ душъ! Нѣтъ-ли безсмертной березы всѣхъ березъ?

Мудрено-ли, что съ такимъ освъщениемъ самые простъйшие, обыденные предметы сдълались при схоластическомъ объяснении совершенно непонятными. Можетъ ли, напримъръ, быть фактъ доступнъе всякому, какъ наблюдение, что чъмъ человъкъ больше живетъ, тъмъ имъетъ больше случая нажиться; чъмъ дольше глядитъ на одинъ предметъ, тъмъ больше разглядываетъ его, если ничего не помъщаетъ или онъ не ослъпнетъ? И изъ этого факта ухитрились сдълать кумиръ прогресса, какого-то безпрерывно растущаго и объщающаго расти въ безконечность золотого тельца.

Не проще ли понять, что человъкъ живетъ не для совершенія судебъ, не для воплошенія идеи, не для прогресса, а единственно нотому, что родился и родился для (какъ ни дурно это слово) для настоящаго, что вовсе не мъшаетъ ему ни получать наслъдство отъ прошедшаго, ни оставлять кое-что по завъщанию. Это кажется идеалистамъ унизительно и грубо; они никакъ не хотять обратить вниманія на то, что все великое значеніе наше при нашей ничтожности, при едва уловимомъ мельканіи личной жизни, въ томъ-то и состоить, что, пока мы живы, пока не развязался на стихіи задержанный нами узель, мы все-таки сами. а не куклы, назначенныя выстрадать прогрессъ или воплотить какую-то бездомную идею. Гордиться должны мы темъ, что мы не нитки и не иголки въ рукахъ фатума, шьющаго пеструю ткань исторіи... Мы знаемъ, что ткань эта не безъ насъ шьется, но это не цъль наша, не назначенье, не заданный урокъ, а последствіе той сложной круговой поруки, которая связываеть все сущее концами и началами, причинами и дъйствіями.

И это не все, мы можемъ переминить узоръ ковра. Хозянна нътъ, рисунка нътъ, одна основа, да мы одни одинехоньки. Прежніе ткачи судьбы, всъ эти Вулканы и Нептуны, приказали долго жить. Душеприказчики скрываютъ отъ насъ ихъ завъщаніе, а покойники намъ завъщали свою власть.

«Но если, съ одной стороны, вы отдаете судьбу человѣка на его произволь, а съ другой, снимаете съ него отвѣтственность, то съ вашимъ ученіемъ онъ сложитъ руки и просто ничего не будеть дѣлать».

Ужъ не перестануть ли люди беть и пить, любить и производить дътей, восхищаться музыкой и женской красотой, когда узнають, что вдять и слушають, любять и наслаждаются для себя, а не для совершенія высшихь предначертаній и не для скорийшаго достиженія безконечнаго развитія совершенства?

Если религія съ своимъ подавляющимъ фатализмомъ и доктринаризмомъ, съ своимъ безотраднымъ и холоднымъ, не заставили людей сложить руки, то нечего бояться, чтобъ это сдълало воззрѣніе, освобождающее его отъ этихъ илитъ. Одного чутья жизни и непослѣдовательности было достаточно, чтобъ спасти европейскіе народы отъ религіозныхъ проказъ, въ родѣ аскетизма, квіетизма, которые постоянно были только на словахъ и никогда на дѣлѣ; неужели разумъ и сознаніе окажутся слабѣе?

Къ тому же, въ реальномъ воззрѣніи есть свой секретъ; тотъ, кто отъ него сложить руки, тотъ не пойметь его, и не приметъ: онъ еще принадлежить къ иному возрасту мозга, ему еще нужны

Стремленіе людей къ болѣе гармоническому быту совершенно естественно, его нельзя ничѣмъ остановить, такъ, какъ нельзя остановить ни голода, ни жажды. Вотъ почему мы вовсе не боимся, чтобы люди сложили руки отъ какого бы ученія ни было. Найдутся ли лучшія условія жизни, совладаеть ли съ ними человѣкъ, или въ иномъ мѣстѣ собьется съ дороги, а въ другомъ надѣлаетъ вздору,—это другой вепросъ. Говоря, что у человѣка никогда не пропадеть голодъ, мы не говоримъ, будутъ ли всегда и для каждаго съѣстные принасы, и притомъ здоровые.

Есть люди, удовлетворяющіеся малымь, съ бъдными потребностями, съ узкимь взглядомъ и ограниченными желаніями. Есть и народы съ небольшимъ горизонтомъ, съ страннымъ воззрѣніемъ, удовлетворяющіеся бѣдно, ложно, а иногда даже пошло. Китайды и японцы, безъ сомпѣнія, два народа, нашедшіе напболѣе соотвѣтствующую гражданскую форму для своего быта. Оттого они такъ неизмѣнно одни и тѣ же.

Европа, кажется намь, тоже близка къ «насыщенію» и стремится, усталая, осъсть, скристаллизоваться, найдя свое прочное общественное положеніе въ мізщанском устройство. Ей мышають покойно сложиться монархическо-феодальные остатки и завоевательное начало. Мыщанское устройство представляеть огромный усных въ сравненіи съ олигархически-военнымь, въ этомъ ныть сомный, но для Европы, и въ особенности для англогерманской, оно представляеть не только огромный усныхь, но и успых достатий. Голландія опередила, она первая успоконлась до прекращенія исторіи. Прекращеніе роста—начало совершеннольтія. Жизнь студента полные событій и идеть гораздо

бурнъе, чъмъ трезвая и работящая жизнь отца семейства. Если-бъ надъ Англіей не тяготълъ свинцовый щитъ феодальнаго землевладънія и она, какъ Уголино, не ступала бы постоянно на своихъдътей, умирающихъ съ голоду; если-бъ она, какъ Голландія, могла достигнуть для вежхъ благосостоянія мелкихълавочниковъ и небогатыхъ хозяевъ средней руки, она успокоилась бы на мѣщанствъ. А съ тъмъ вмъсть уровень ума, шпрь взгляда, эстетичность вкуса еще бы понизилась, и жизнь безъ событій, развлекаемая пногда виъпиними толчками, свелась бы на однообразный круговороть, на слегка видоизмъняющійся semper idem. Собпрался бы парламенть, представлялся бы бюджеть, говорились бы д'ыльныя рычи, улучшались бы формы... И на будущій годъ то же, п черезъ десять лътъ то же; это была бы покойная колея взрослаго человъка, его дъловые будни. Мы и въ естественныхъявленіяхъ видимъ, какъ начала эксцентричны, а устоявшееся продолжение идеть потихоньку, не буйной кометой, описывающей съ распущенной косой свои невъдомые пути, а тихой планетой, плывущей съ своими сателлитами, въ родъ фонариковъ, битымъ и перебитымъ путемъ; небольшія отступленія выставляють еще больше общій порядокъ... Весна помокрѣе, весна посуще, но послѣ всякой-лёто, но передъ всякой-зима.

Такъ это, пожалуй, все человъчество дойдеть до мъщан-

ства, да на немъчи застрянеть?

Не думаю, чтобы все, а нѣкоторыя части навѣрно. Слово «человъчество» — препротивное, оно не выражаетъ ничего опредъленнаго, а только къ смутности всёхъ остальныхъ понятій подбавляеть еще какого-то пѣгаго полубога. Какое единство разумфется подъ словомъ «человъчество»? Развъ то, которое мы понимаемъ подъ всякимъ суммовымъ названіемъ, въ родів икры и т. п. Кто въ мірѣ осмѣлится сказать, что есть какое-нибудь устройство, которое удовлетворило бы одинакимъ образомъ прокезовъ и прландцевъ, арабовъ и мадьяръ, кафровъ и славянъ? Мы можемъ сказать одно, что некоторымъ народамъ мещанское устройство противно, а другіе въ немъ какъ рыба въ водѣ. Испанцы, поляки, отчасти итальянцы и русскіе пифють въ себф очень мало мъщанскихъ элементовъ; общественное устройство, въ которомъ имъ было бы привольно, выше того, которое можетъ имъ дать мъщанство. Но изъ этого никакъ не слъдуеть, что они достигнуть этого высшаго состоянія, или что они не свернуть на буржуазную дорогу. Одно стремленіе ничего не обезпечиваеть, на разницу возможнаго и немпнуемаго мы ужасно напираемъ. Недостаточно знать, что такое-то устройство намъ противно, а надобно знать, какого мы хотимъ и возможно ли его осуществление. Возможностей много впереди: народы буржуазные могуть взять совсёмъ иной полеть, народы самые поэтическіе—сдёлаться лавочниками. Мало ли возможностей гибнеть, стремленій авортируєть, развитій отклоняєтся. Что можеть быть очевиднёе, осязаемъе тёхъ, не только возможностей, а началъ личной жизни, мысли, энергіп, которыя умирають въ каждомъ ребенкѣ. Замётьте, что и эта ранняя смерть дётей тоже не имѣеть въ себѣ ничего неминуемаго; жизнь девяти десятыхъ навѣрное могла бы сохраниться, если-бъ доктора знали медицину и медицина была бы въ самомъ дѣтѣ наукой. На это вліяніе человюка и науки мы обращаемъ особенное вниманіе, оно чрезвычайно важно.

Замътъте еще посягательство обезьянъ (напр., шимпанзе) на дальнъйшее умственное развитіе. Оно видно въ ихъ безпокойно озабоченномъ взглядъ, въ тоскливо грустномъ присматривани ко всему, что дълается, въ недовърчивой и суетливой тревожности и любопытствъ, которое, съ другой стороны, не даетъ мысли сосредоточиться и постоянно ее разсъваетъ. Ряды и ряды поколъній вновь и вновь стремятся къ какому-то разумънію, замъняются новыми, и эти стремятся, не достигая его, умираютъ,—и такъ прошли десятки тысячъ лътъ и пройдутъ еще десятки.

Люди имѣють большой шагъ передъ обезьянами; ихъ стремленія не пропадають безслѣдно; они облекаются словомъ, воплощаются въ образъ, остаются въ преданіи и передаются изъ вѣка въ вѣкъ. Каждый человѣкъ опирается на страшное генеалогическое дерево, котораго корни чуть ли не идутъ до адамова рая; за нами, какъ за прибрежной волной, чувствуется напоръ цѣлаго океана—всемірной исторіи; мысль всѣхъ вѣковъ на сію минуту въ нашемъ мозгу и нѣтъ ея «развѣ него», а съ нею мы можемъ быть властью.

Крайности ни вт комт нттт, но всякой можетт быть незаминимой дъйствительностью; передъ каждымъ открытыя двери. Есть что сказать человъку, пусть говоритъ, слушать его будутъ; мучитъ его душу убъжденіе, пусть проповъдуетъ. Люди не такъ покорны, какъ стихіи, но мы всегда имъемъ дѣло съ современной массой, — ни она не самобытна, ни мы не независимы отъ общаго фона картины, отъ одинакихъ предшествовавшихъ вліяній, связь общая есть. Теперь вы понимаете, отъ кого и кого зависитъ будущность людей, народовъ?

Отъ кого?

Какъ отъ кого?.. да отъ насъ съ вами, напримъръ. Какъ же послъ этого намъ сложить руки!

## Дуэль <sup>1</sup>).

Въ 1853 году извъстный коммунистъ Виллихъ познакомилъ меня съ парижскимъ работникомъ *Бартелеми*. Имя его я зналъ прежде, по іюньскому процессу, по приговору и, наконецъ, по его бътству изъ Бель-Иля.

Онъ быль молодъ, невысокаго роста, но мускульно сильнаго сложенія, черные какъ смоль и курчавые волосы придавали ему что-то южное, лице его, слегка отмѣченное осной, было красиво и рѣзко. Постоянная борьба воспитала въ немъ непреклонную волю и умѣнье управлять ею. Бартелеми былъ одинъ изъ самыхъ цѣльныхъ характеровъ, которыхъ мнѣ случилось видѣтъ. Школьнаго, книжнаго образованія онъ не имѣлъ, кромѣ по своей части: онъ былъ отличнымъ механикомъ.

Жизненная мысль его, страсть всего его существованія была неутомимая, спартаковская жажда возстанія рабочаго класса противь средняго сословія. Мысль эта у него была неразрывна съ

свиръпымъ желаніемъ истребленія буржуазін.

Какой комментарій даль мнё этоть человёкь къ ужасамь 93 и 94 года, къ сентябрьскимь днямь, къ той ненависти, съ которой ближайшія партіи уничтожали другь друга; въ немь я наглазно видёль, какъ человёкъ можеть соединять желаніс крови съ гуманностью въ другихъ отношеніяхъ, даже съ нёжностью.

«Чтобъ революція въ десятый разъ не была украдена изъ нашихъ рукъ, говорилъ Бартелеми, надобно дома, въ нашей семью сломить голову злѣйшему врагу. За прилавкомъ, за конторкой мы его всегда найдемъ—въ своемъ стантъ слѣдуетъ его побить!» Въ его листы проскринціи входила почти вся эмиграція: Викторъ Гюго, Маццини, Викторъ Шельхеръ и Кошутъ. Онъ исключалъ очень не многихъ и въ томъ числѣ, я помню, Луи-Блана.

Особымъ, задушевнымъ предметомъ его ненависти былъ Ледрю-Ролленъ. Живое, страстное, но очень спокойно установившееся лице Бартелеми судорожно подергивалось, когда онъ говорилъ объ «этомъ диктаторъ буржуазіи».

<sup>1)</sup> Пол. Звизда, томъ VII (часть 2-я). Примльчание заграничнаго изданія.

А говориль онь мастерски, этоть таланть становится рѣже и рѣже. Публичныхъ говоруновъ въ Парижѣ и особенно въ Англіи бездна. Попы, адвокаты, члены парламента, продавцы пилюль и дешевыхъ карандашей, наемные свѣтскіе и духовные ораторы въ паркахъ, всѣ они имѣютъ удивительную способность проповодывать, но говорить для комнаты умѣютъ не многіе.

Односторонняя логика Бартелеми, постоянно устремленная въ одну точку, дъйствовала какъ пламя наяльной трубки. Онъ говорилъ плавно, не возвышая голоса, не махая руками, его фразы и выборъ словъ были правильны, чисты и совершенно свободны отъ трехъ проклятій современнаго французскаго языка: революціоннаго жаргона, адвокатско-судебныхъ выраженій и развязности сидъльцевъ.

Откуда же взяль этоть работникь, воспитанный въ душныхь мастерскихь, гдё ковали и тянули желёзо для машинь, въ душныхь парижскихь закоулкахь, между питейнымь домомь и наковальнею, въ тюрьме и на каторжной работе, —верное понятіе меры и красоты, такта и граціи, понятіе, утраченное буржуазной франціей? Какь онь умёль сохранить естественность языка середь вычурныхь риторовь, гасконцевь революціонной фразы?

Это дъйствительно задача.

Видно около мастерскихъ въетъ воздухъ посвъжъе. Впрочемъ, вотъ его жизнь.

Ему не было двадцати лътъ, когда онъ замъщался въ какую-то эмёту при Людовикъ Филипиъ. Жандармъ остановилъ его и, такъ какъ онъ сталъ ему что-то говорить, то жандармъ хватилъ его кулакомъ въ лицо. Бартелеми, котораго держалъ муниципалъ, рванулся, но не могъ ничего сдълать. Ударъ этотъ пробудилъ тигра. Бартелеми, живой, молодой, веселый юноша-работникъ всталъ на другой день переродившимся.

Надобно вам'єтить, что арестованнаго Бартелеми полиція отпустила, найдя его невиноватымъ. Объ обидѣ, причиненной ему, никто и говорить не хотѣлъ. «Зачѣмъ ходить по улицамъ во время эмёты! Да и какъ найти теперь жандарма!»

Бартелеми купиль пистолеть, зарядиль его и пошель бродить около тѣхъ мѣстъ; нобродиль день, другой, вдругъ на углу стоить жандармъ. Бартелеми отвернулся и взвель курокъ.

- Вы меня узнали? спросилъ онъ полицейскаго.
- Еще бы нѣтъ.
- Такъ вы помните, какъ вы....?
- Ну, ступайте, ступайте своей дорогой, сказалъ жандармъ.
- Счастливаго и вамъ пути, отвъчальБартелеми и спустиль курокъ.

Жандармъ повалился, а Бартелеми пошелъ. Жандармъ былъ

смертельно раненъ, но не умеръ.

Бартелеми судили какъ простого убійцу. Никто не взялъ въ расчеть величину обиды, особенно по понятіямъ французовъ, невозможность работника послать ему вызовъ, невозможность сдѣлать процессъ. Бартелеми былъ осужденъ на каторженую работу. Это былъ третій пансіонъ, въ которомъ онъ воспитывался послѣ кузницы и тюрьмы. При переборѣ дѣлъ министромъ юстиціи Кремьё, послѣ февральской революціи, Бартелеми выпустили.

Пришли іюньскіе дни. Бартелеми, принадлежавшій къ горячимъ послідователямъ Бланки, былъ схваченъ, геройски защишая баррикаду, и сведенъ въ форты. Однихъ побідители разстрівливали, другими набивали тюльерійскіе подвалы, третьихъ отсылали въ форты и тамъ иногда разстрівливали, случайно

больше, чтобъ очистить мъсто.

Бартелеми уцѣлѣлъ; въ судѣ онъ и не думалъ оправдываться, но воспользовался лавкой подсудимаго, чтобъ изъ нея сдѣлать трибуну для обвиненія національной гвардіи. Нѣсколько разъ президентъ приказывалъ ему молчать и, наконецъ, перервалъ его рѣчь, приговоромъ на каторжную работу, помнится, на 15 или 20 лѣтъ (у меня нѣтъ передъ глазами іюньскаго процесса).

Бартелеми былъ съ другими отправленъ въ Belle Isle.

Года черезъ два онъ бѣжалъ оттуда и явился въ Лондонъ съ предложеніемъ ѣхать назадъ и устроить бѣгство шести заключенныхъ. Небольшая сумма денегъ, которую онъ просилъ (тысячъ 6-7 фр.) была ему обѣщана, и онъ, одѣвшись аббатомъ, съ молитвенникомъ въ рукѣ, отправился въ Парижъ, въ Бель-Илъ, все устроилъ и возвратился въ Лондонъ за деньгами. Говорятъ, что дѣло не состоялось за споромъ, освобождать ли Бланки, или нѣтъ. Сторонники Барбеса и другихъ лучше желали оставитъ нѣсколько человѣкъ друзей въ тюрьмѣ, чѣмъ освободить одного врага.

Бартелеми убхалъ въ Швейцарію. Онъ разошелся со всёми партіями и отсталъ отъ нихъ; съ ледрю-роллинистами онъ былъ заклятый врагъ, но онъ не былъ другомъ и съ своими; онъ былъ слишкомъ рёзокъ и угловатъ, крайнія мнёнія его были непріятны заиёваламъ и отпугивали слабыхъ. Въ Швейцаріи онъ особенно занялся ружейнымъ мастерствомъ. Онъ изобрёлъ особеннаго устройства ружье, которое заряжалось по мёрё выстрёловъ и такимъ образомъ давало возможность пустить рядъ пуль въ одну точку,

другъ за другомъ.

Въ партіи Ледрю-Роллена находился лихой челов'єкъ, бретерь, гуляка и сорви-голова Курне.

Курне принадлежать къ особому типу людей, который часто встръчается между польскими панами и русскими офицерами, особенно между отставными корнетами, живущими въ деревит; къ нимъ принадлежалъ Денисъ Давыдовъ и его «собутыльникъ» Бурцовъ, Гагаринъ-Адамова головка и секундантъ Ленскаго Заръцкій. Въ вульгарной формъ они встръчаются между прусскими «юнкерами» и австрійскимъ казарменнымъ брудерствомъ. Въ Англін ихъ совсёмь нёть, во Франціи они дома, какъ рыба въ водъ, но рыба съ почищенной, лакированной чешуею. Это люди храбрые, опрометчивые до дерзости, до безразсудства, и очень недальніе. Они всю жизнь живуть воспоминаніемъ двухъ-трехъ случаевъ, въ которыхъ они прошли сквозь огонь и воду, комунибудь обрубили уши, простояли подъ градомъ пуль. Случается, что они сперва наклеплють на себя отважный поступокъ, а потомъ дъйствительно его сдълаютъ, чтобъ подтвердить свои слова. Они смутно понимають, что этотъ задоръ ихъ сила, единственный интересъ, которымъ они могутъ похвастаться; а хвастаться имъ хочется смертельно. При этомъ они часто хорошіе товарищи, особенно въ веселой бесъдъ, и до цервой размолвки за своихъ стоять грудью; и вообще им'вють больше военной отваги, чамь гражданской доблести.

Люди праздные, азартные игроки въ картахъ и въ жизни, ланскене всякаго отчаяннаго предпріятія, особенно если притомъ можно надѣть мундиръ съ генеральскимъ шитьемъ, схватить денегъ, крестовъ, и потомъ снова успокоиться на нѣсколько лѣтъ въ бильярдной или кофейной. А ужъ помогая Наполеону ли въ Страсбургъ, герцогинъ ли Берійской въ Блуа, или красной республикъ въ предмѣстіи Св. Антона,—все равно. Храбрость и удача для нихъ и для всей Франціи покрываютъ все.

Курне началь свою карьеру во флоть во время ссоры Франціи съ Португаліей. Онъ съ нъсколькими товарищами влъзъ на португальскій фрегать, овладъль экппажемъ и взялъ фрегатъ. Случай этотъ опредълить и окончилъ дальнъйшую жизнь Курне. Вся Франція говорила о молодомъ мичманъ; далъе онъ не пошелъ и такъ же кончилъ свою карьеру абордажемъ, которымъ началъ ее, какъ если-бъ онъ на немъ былъ убитъ на повалъ. Изъ флота онъ былъ впослъдствіи исключенъ. Въ Европъ царилъ глухой миръ; Курне поскучалъ, поскучалъ, и сталъ воевать на свой салтыкъ. Онъ говорилъ, что у него было до двадцати дуэлей, положимъ, что ихъ было десять, и этого за глаза довольно, чтобъ его не считать серьезнымъ человъкомъ.

Какъ онъ попалъ въ красные республиканцы, и не знаю. Особенной роли онъ во французской эмиграціп не игралъ. Разсказывали объ немъ разные анекдоты, какъ онъ въ Бельгіи поколо-

тилъ полицейскаго, который хотълъ его арестовать и ушелъ отъ него, и другія продълки въ томъ же родъ. Онъ считалъ себя «одной

изъ первыхъ шпагъ во Франціи».

Мрачная храбрость Бартелеми, исполненнаго по своему необузданнъйшимъ самолюбіемъ, столкнувшись съ надменной храбростью Курне, должна была привести къ бъдствіямъ. Они ревновали другь друга. Но, принадлежа къ разнымъ кругамъ, къ враждебнымъ партіямъ, они могли всю жизнь не встръчаться. Добрые

люди братски помогли дёлу.

Бартелеми имътъ на Курне какой-то зубъ за письма, посланныя ему черезъ Курне изъ Франціи, которыя до него не дошли. Очень въроятно, что въ этомъ дълъ онъ не былъ виноватъ; вскоръ къ этому присоединилась силетня. Бартелеми познакомился въ Швейцаріи съ одной актрисой, итальянкой, и былъ съ нею въ связи. «Какая жалость, говорилъ Курне, что этотъ соціалистъ изъ соціалистовъ пошелъ на содержаніе къ актрисъ». Пріятели Бартелеми тотчасъ написали ему это. Получивъ письмо, Бартелеми бросилъ свой проектъ ружья и свою актрису и прискакалъ въ Лондонъ.

Мы уже сказали, что онъ былъ знакомъ съ Вилихомъ. Вилихъ былъ человъкъ съ чистымъ сердцемъ и очень добрый, прусскій артилиерійскій офицеръ; онъ перешелъ на сторону революціи и сдълался коммунистомъ. Дрался въ Баденъ за народъ, начальствуя орудіями во время Геккерова возстанія, и когда все было побито, уъхалъ въ Англію. Въ Лондонъ онъ явился безъ гроша денегъ, попробовалъ давать уроки математики, нѣмецкаго языка, ему не повезло. Онъ бросилъ учебныя книги и, забывая бывшіе эполеты, геройски сталъ работникомъ. Съ нѣсколькими товарищами они завели мастерскую щеточныхъ издѣлій; ихъ не поддержали. Виллихъ не терялъ надежды ни на возстаніе Германіи, ни на поправку своихъ дѣлъ; однако дѣла не поправлялись и онъ надежду на тевтонскую республику увезъ съ собою въ Нью-Іоркъ, гдѣ получилъ отъ правительства мѣсто землемѣра.

Виллихъ понялъ, что дёло съ Курне приметъ очень дурной оборотъ и самъ себя предложилъ въ посредники. Бартелеми вполнтв върилъ Виллиху и поручилъ ему дёло. Виллихъ отправился къ Курне; твердый, спокойный тонъ Виллиха подъйствовалъ на «первую шпагу»; онъ объяснилъ исторію писемъ; послъ, на вопросъ Виллиха, увтренъ ли онъ, что Бартелеми жилъ на содержаніи у актрисы,—Курне сказалъ ему, что онъ повторилъ слухъ и что жалъетъ объ этомъ.

— Этого, сказалъ Виллихъ, совершенно достаточно, напишите, что вы сказали, на бумагѣ, отдайте мнѣ и я съ искренней радостью пойду домой.

— Пожалуй, — сказалъ Курне и взялъ перо.

- Такъ это вы будете извиняться передъкакимъ-нибудь Бартелеми, замътилъ другой рефюжье, взошедшій въ концъ разговора.
  - Какъ извиняться?—И вы принимаете это за извиненіе?
- За дъйствіе, сказалъ Виллихъ, честнаго человъка, который, повторивши клевету, жалъетъ объ этомъ.

- Нътъ, сказалъ Курне, бросая перо, этого я не могу.

— Не сейчасъ же ли вы говорили?

— Нътъ, нътъ, вы меня простите, но я не могу. Передайте Бартелеми, «что я сказалъ это потому, что хотълъ сказать».

— Брависсимо, —воскрикнулъ другой рефюжье.

— На васъ, м. г., падетъ отвътственность за будущія несчастія, сказалъ ему Виллихъ п вышелъ вонъ.

Это было вечеромъ; онъ зашелъ ко мнѣ, не видавшись еще съ Бартелеми; печально ходилъ онъ по комнатѣ, говоря: «теперь дуэль неотвратима, экое несчастіе, что этотъ рефюжье былъ на лицо».

Тутъ не поможешь, думалъ я: умъ молчитъ передъ дикимъ разгаромъ страстей; а когда еще прибавишь французскую кровь, ненависть котерій и разныхъ хористовъ въ амфитеатръ!...

Черезъ день утромъ я шелъ по Пель-Мелю; Виллихъ скорыми шагами торопился куда-то, я остановилъ его; блъдный и встревоженный, обернулся онъ ко мнъ.

— Что?

- Убитъ на повалъ.
- Кто?
- Курне. Я бёгу къ Луп Бланъ за совётомъ, что дёлать.

— Гдѣ Бартелеми?

— И онъ, и его секундантъ, и секунданты Курне—въ тюрьмъ; одинъ изъ секундантовъ только не взятъ; по англійскимъ законамъ, Бартелеми можно повъсить. Виллихъ сълъ на омнибусъ и уъхалъ. Я остался на улицъ, постоялъ, повернулся и пошелъ опять домой.

Часа черезъ два пришелъ Виллихъ. Луи Бланъ принялъ, разумбется, дъятельное участіе, хотълъ посовътоваться съ извъстными адвокатами. Всего лучше, казалось, поставить дъло такъ, чтобъ слъдователи не знали, кто стрълялъ и кто былъ свидътелемъ. Для этого надобно было, чтобъ объ стороны говорили одно и то же. Въ томъ, что англійскій судъ не захочетъ въдълъ дуэли употреблять полицейскіе уловки, — въ этомъ всѣ были увърены.

Надобно было передать это пріятелямъ Курне, но никто изъ знакомыхъ Виллиха не вздилъ ни къ нимъ, ни къ Ледрю-Роллену; Виллихъ поэтому отправилъ меня къ Маццини. Я его засталъ сильно раздраженнымъ.

— Вы върно пріъхали,—сказаль онъ,—по дълу этого убійцы? Я посмотръль на него, намъренно помолчаль и сказаль:

— По дълу Бартелеми.

— Вы съ нимъ знакомы, вы заступаетесь за него, все это очень хорошо, хоть я и не понимаю... У Курне, у несчастнаго Курне, были тоже пріятели и друзья...

— Которые, въроятно, не называли его разбойникомъ за то, что онъ былъ на двадцати дуэляхъ, на которыхъ, кажется, не

онъ быль убить.

— Теперь ли поминать объ этомъ?

— Я отвѣчаю.

— Что же, теперь спасать его изъ петли?

— Я полагаю, что особеннаго удовольствія никому не будетъ, если повѣсятъ человѣка. Впрочемъ, рѣчь идетъ не о немъ одномъ, а и о секундантахъ Курне.

— Его не повъсять.

— Почемъ знать, —замётиль хладнокровно молодой англійскій радикаль, причесанный à la Jesus, молчавшій все время и подтверждавшій слова Маццини головой, дымомъ сигары и какимито неуловимыми полифтонгами, въ которыхъ пять-шесть гласныхъ, силюснутыхъ вмёстё, составляли одну сводную.

— Вы, кажется, ничего не имъете противъ этого?

— Мы любимъ и уважаемъ законъ.

— Не оттого ли, —замётиль я, придавая добродушный види моимъ словамъ, —ве в народы больше уважають Англію, чёмъ любять англичанъ.

— Осуз?—спросилъ радикалъ, а, можетъ, и отвъчалъ.

— Въ чемъ дъло? — перебилъ Маццини.

Я разсказалъ ему.

Они уже сами думали объ этомъ и пришли къ тому же результату.

Процессъ Бартелеми имбеть чрезвычайный интересъ. Рфдко англійскій п французскій характерь обличались съ такой рфз-

костью, въ такой тъсной и удобоизмъримой рамъ.

Начиная съ мъста поединка все было нелъпо: они дрались близъ Виндзора, для этого надобно было по желъзной дорогъ (которая только идетъ въ Виндзоръ) отътать нъсколько десятковъ миль от границы внутрь королевства,—въ то время какъ вообще люди дерутся на границъ, близъ кораблей, лодокъ п пр. Выборъ Виндзора, сверхътого, самъ по себъ былъ никуда негоденъ. Королевскій дворецъ, любимая резиденція Викторіи, разумъется, въ полицейскомъ отношеніп, находится подъ двойнымъ надзоромъ. Я полагаю, что мъсто это было выбрано очень просто потому,

что французы изъ всёхъ окрестностей Лондона только и знають: *Ришмон*' и *Вансоръ*.

Секунданты взяли на всякій случай рапиры съ отточенными концами, хотя и знали, что противники будуть стрѣляться. Когда Курне палъ, всѣ, за исключеніемъ одного секунданта, который уѣхаль особо и вслѣдствіе того снокойно пробрался въ Бельгію, ноѣхали вмѣстѣ, не забывъ съ собою взять рапиры. Когда они прибыли на ватерлооскую станцію въ Лондонѣ, телеграфъ уже давно извѣстилъ полицію. Полиціи искать было нечего: «четыре человѣка, съ бородами и усами, въ фуражкахъ, говорящіе пофранцузски и съ завернутыми ранирами», были взяты, выходн изъ вагоновъ.

Какъ же все это могло случиться? Не намъ, кажется, учить французовъ прятаться отъ полиціи. Злѣе, расторопнѣе, безнравственнѣе и неутомимѣе въ своемъ усердіи нѣтъ полиціи въ мірѣ, какъ французская. Во время Людовика Филиппа ищущій и искомый играли мастерски свою партію, каждый ходъ былъ разсчитанъ (теперь это ненужно, полиція впередъ говоритъ шахъ и матъ), но, вѣдь, время Людовика Филиппа не за горами. Какимъ же образомъ такой умный человѣкъ, какъ Бартелеми, и такіе бывалые люди, какъ секунданты Курне, надѣлали столько промаховъ?

Причина одна и та же: совершенное незнаніе Англіи и англійскихъ законовъ. Они слыхали, что никого арестовать нельзя безъ «уарандъ»; они слыхали о какомъ-то «абсасъ корпюсъ», по которому слъдуетъ выпустить человъка по требованію адвоката, и полагали, что они доёдутъ домой, переодънутся и будутъ въ Бельгіи, когда утромъ за ними придетъ одураченный констебль, непремюнно съ палочкой (какъ ихъ описываютъ во французскихъ романахъ), и скажетъ, увидя, что ихъ нътъ, goddamn! Несмотря на то, что ни констебли палочекъ не носятъ, ни англичане не говорятъ god-damn!

Арестованныхъ посадили въ Surrey'скую тюрьму. Начались посъщенія, поъхали дамы, поъхали пріятели убитаго Курне. Полиція, разумъется, тотчасъ догадалась, въ чемъ дѣло и какъ оно было; впрочемъ, этого нельзя ей поставить въ заслугу: пріятели и непріятели Бартелеми и Курне кричали въ трактирахъ и public-гаузахъ о всѣхъ подробностяхъ дуэли, разумѣется, прибавляя и и такія, которыхъ вовсе не было и совершенно не могло быть. Но офиціально полиція не хотпъла знать, и потому, когда одни посътители спрашивали позволеніе видѣть секунданта «Бароне», другіе секунданта Бартелеми, полицейскій офицеръ ръшился имъ сказать: «Гг., мы вовсе не знаемъ, кто изъ нихъ секунданть, кто виноватый, слѣдствіе еще не открыло всѣхъ обстоятельствъ дѣла,

называйте, пожалуйста, знакомыхъ ваннихъ по именамъ». Первый

урокъ!

Наконець, судебный кругь дошель до Surrey, назначень былъ день, въ который lord-chief-justice Кембель будеть судить дъло о неизвъстно къмъ убитомъ французъ Курне и прикосновенныхъ къ его убійству лицахъ.

Я тогда жилъ возлъ̀ Primrose Hill; часовъ въ семь холоднотуманнаго февральскаго утравышелъ я въ Режентъ-Паркъ, чтобы,

пройдя его, отправиться на жельзную дорогу.

День этотъ остался очень рельефно въ моей намяти. Отъ тумана, покрывавшаго наркъ, и бѣлыхъ лебедей, сонно плывшихъ по водѣ, подернутой искрасна-желтымъ дымомъ, до той минуты, когда далеко за полночь я сидѣлъ съ однимъ lawyer'омъ у Вери на Режентъ-стритѣ и пилъ шамианское за здоровье Англіи,—все какъ на блюдечкѣ.

Я англійскаго суда не видалъ прежде; комизиъ среднев вковой mise en scène будитъ въ насъ больше воспоминаній оперы буффы, чъмъ почтенной традиціп, но это можно забыть въ этотъ день.

Около десяти часовъ передъ гостиницею, гдѣ стоялъ лордъ Кембель, явились первыя маски, герольды съ двумя трубачами, возвѣстившіе, что лордъ Кембель въ открытомъ судѣ будетъ въ 10 часовъ судить такое-то дѣло. Мы бросились къ дверямъ судебной залы, которая была въ нѣсколькихъ шагахъ; между тѣмъ черезъ площадь двигался и лордъ Кембель въ золоченой каретѣ, въ парикѣ, который только уступалъ въ величинѣ пкрасотѣ парику его кучера, прикрытому крошечной треугольной шляпой. За его каретою шло пѣшкомъ человѣкъ двадцать атторнеевъ, солиситоровъ, подобравъ мантіи, безъ шляпъ и въ шерстяныхъ парикахъ, намѣренно сдѣланныхъ какъ можно менѣе похожими на человѣческіе волосы. Въ дверяхъ я чуть было, вмѣсто суда чифъ-джустиса Кембеля надъ Бартелеми, не попалъ на судъ, который Богъ держалъ надъ Курне.

Въ самыхъ дверяхъ масса народа, вытъсняемая полицейскими изъ залы, и нечеловъческій напоръ сзади произвели остановку: впередъ нельзя было идти, толпа сзади прибавлялась, полицейскимъ надобло работать по мелочи, они схватились за руки и разомъ, дружно пошли на приступъ,—передній рядъ меня такъ прижалъ, что дыханіе сперлось, еще и еще храбрый напоръ осаждающихъ, и мы вдругъ очутились вытъсненными, выжатыми, выброшенными на десять шаговъ далъе двери на улицу.

Если-бъ не знакомый адвокать, мы бы совствы не попали, зала была набита, онъ насъ провелъ особыми дверями, и мы, наконецъ, устлись, отирая потъ и справляясь, цтлы ли часы, деньги и пр.

Замфчательная вещь, что нигдф толиа не бываеть многочисленные, илотные, страшные, какъ въ Лондонь, а дылать «кё» ни въ какомъ случав не умьетъ; англичане всегда берутъ своимъ національнымъ упорствомъ, давятъ два часа, что-нибудь да продавятъ. Меня это много разъ дивило при входѣ въ театры: если-бъ люди шли другъ за другомъ, они навърное вошли бы въ полчаса, но такъ какъ они прутъ всей массой, то множество переднихъ пробиваются по правой и лѣвой сторонъ дверей, тутъ ими овладѣваетъ какое-то сосредоточенное ожесточене и они начинають давить съ боковъ медленно двигающуюся среднюю струю безъ всякой пользы для себя, но какъ бы вымѣщая на ихъ бокахъ ихъ счастье.

Стучать въ двери. Какой-то господинь, тоже въ маскарадномъ платьѣ, кричитъ, кто тамъ?—«Судъ», —отвѣчаютъ съ той стороны; отворяются двери и является Кембель въ шубѣ и въ какомъ-то женскомъ шлафрокѣ; онъ поклонился на всѣ четыре стороны и объявилъ, что судъ открытъ.

Мивніе о ділі Бартелеми, составленное судомъ, т. е., Кембелемъ, было ясно съ начала до конца, и онъ его выдержалъ, несмотря на вст усилія французовъ сбить его съ дороги и ухудшить. Была дуэль. Одинъ убитъ. Оба — французы, рефюжье, пибющіе иныя понятія о чести, чёмъ мы; кто изъ нихъ правъ. кто виновать, разобрать трудно. Одинь сошель съ баррикадь, другой бретеръ. Намъ нельзя оставить это безнаказаннымъ, но не слёдуетъ всею силою англійскихъ законовъ побивать иностранцевъ, тъмъ больше, что всъ они люди чистые, и хотя глупо, но благородно вели себя. Поэтому, кто убійца, мы не будемъ добиваться. все вфронтіе, что убійца тотъ изъ нихъ, который бъжаль въ Бельгію; подсудимыхъ мы обвинимъ въ участіи, и спросимъ присяжныхъ, виноваты ли они въ manslaughter или нътъ? Обвиненные присяжными,-они въ нашихъ рукахъ; мы приговоримъ ихъ къ одному изъ наименьшихъ наказаній, и покончимъ діло. Оправдають ихъ присяжные, Вогъ съ ними совсвиъ, пусть пдуть на всѣ четыре стороны.

Все это французамь объихъ партій было ножъ острый!

Сторонники Курне хотъли воспользоваться случаемъ, чтобъ потерять въ мижніп суда Бартелеми, и, не называя его прямо, указать на него, какъ на убійцу Курне.

Нѣсколько человѣкъ друзей Бартелеми и самъ онъ домогались покрыть презрѣніемъ и стыдомъ Бароне и компанію странной подробностью, которая открылась въ полицейскомъ слѣдствіи. Пистолеты были взяты у ружейника, послѣ дуэли ему ихъ прислали. Одинъ пистолетъ былъ заряженъ. Когда началось дѣло, ружейникъ явился съ пистолетомъ и съ показаніемъ, что подъ

пулей и порохомъ лежала небольшая тряпочка, такъ что выстрёлъ былъ невозможенъ.

Дуэль шла такъ: Курне выстрѣлилъ въ Бартелеми и не попалъ. У Бартелеми капсюль исправно щелкнулъ, но выстрѣла не было, ему дали другой капсюль,—та же исторія. Тогда Бартелеми бросилъ пистолетъ и предложилъ Курне драться на рапирахъ. Курне не согласился; рѣшились еще разъ стрѣлять, но Бартелеми потребовалъ другой пистолеть, на что Курне тотчасъ согласился. Пистолеть былъ поданъ, раздался выстрѣлъ и Курне упалъ мертвый.

Стало быть, пистолеть, возвратившійся къ ружейнику заряженнымь, быль тоть самый, который быль въ рукахъ Бартелеми. Откуда попала тряпка? Пистолеты досталь пріятель Курне, Пардигонь, нѣкогда участвовавшій въ Voix du peuple и страшно

изуродованный въ іюньскіе дни 1).

Если-бъ можно было доказать, что тряпка была положена съ цълью, т. е., что противники вели Бартелеми на убой, то враги Бартелеми были бы покрыты позоромъ и погублены на въки въковъ.

За такой пріятный результать Бартелеми охотно пошель бы

на десять лътъ въ каторжную работу или въ депортацію.

По следствію оказалось, что лоскутокъ, вынутый изъ пистолета, действительно принадлежалъ Пардигону, онъ былъ вырванъ изъ тряпки, которой онъ обтиралъ лаковые сапоги. Пардигонъ говориль, что онъ чистилъ дуло, надевъ тряпочку на карандашъ, и что, можетъ, вертевши ею, отрезалъ лоскутокъ; но друзья

<sup>1)</sup> Пардигонъ, схваченный въ іюньскіе дни, былъ брошенъ въ тюльерійскій подваль; тамъ находилось тысячь до пяти человъкъ. Туть были холерные, раненые, умиравшіе. Когда правительство прислало Корменена освидътельствовать положение ихъ, то, отворивши двери, онъ и доктора отпрянули отъ удушающей заразительной вони. Къ окошечкамь soupirail было запрещено подходить. Нардигонъ, изнемогая отъ духоты, поднялъ голову, чтобы подышать; это замътилъ часовой изъ національной гвардія и сказаль ему, чтобъ онь отощель или онъ выстрълить. Пардигонъ медлиль, тогда почтенный буржуа опустиль дуло и выстрёлиль въ него; пуля раздробила ему часть щеки и нижнюю челюсть, онъ упаль. Вечеромъ часть арестантовъ повели въ форты, въ томъ числѣ подняли раненаго Пардигона, связали ему руки и повели. Туть извъстная тревога на Карусельской площади, въ которой національная гвардія со страха стръляла другъ въ друга; раненый Пардигонъ выбился изъ силъ и упалъ; его бросили на полъ въ полицейскую коръ-де-гардію, и онъ остался съ связанными руками. лежа на спинъ и заклебываясь своей кровью изъ раны. Такъ его засталъ какой-то политехникъ, разругавшій этихъ каннибаловь и заставившій ихъ снести больного въ больницу. Помнится, я этотъ случай разсказаль въ "Письмахъ изъ Италін и Францін"... но это не мъшаеть протверживать, чтобы не забывать, что такое образованная парижская буржуазія.

Бартелеми спрашивали, отчего же у лоскутка правильная овальная форма, отчего нету городковъ отъ складокъ...

Съ своей стороны, противники Бартелеми приготовили фалангу свидѣтелей à decharge въ пользу Бароне и его товарищей.

Политика ихъ состояла въ томъ, что атторней со стороны Бароне будетъ ихъ спрашивать объ антецедентахъ Курне и прочихъ. Они превознесутъ ихъ и будутъ молчать о Бартелеми и его секундантахъ. Такое единодушное умалчиваніе со стороны соотечественниковъ и «корелижіонеровъ» должно было, по ихъ миѣнію, сильно поднять въ глазахъ Кембеля и публики однихъ и сильно уронить другихъ. Призывъ свидѣтелей стоитъ денегъ, да и, сверхъ того, у Бартелеми не было цѣлой шеренги друзей, которымъ онъ могъ бы отдать приказаніе говорить то или другое.

Друзья Курне и прежде того, при следствіи, умели красноречиво молчать.

Одного изъ арестованныхъ свидътелей, Бароне, слъдопроизводитель спросилъ, знаетъ ли онъ, кто убилъ Курне, или кого онъ подозръваетъ. Бароне отвъчалъ, что никакія угрозы, никакія наказанія не заставять его назвать человъка, лишившаго жизни Курне, несмотря на то, что покойникъ былъ лучшій другъ его. «Если бы я долженъ былъ десятокъ лътъ влачить цъ́ши въ душной тюрьмъ, то я и тогда не сказалъ бы».

Солиситоръ перебилъ его хладнокровнымъ замъчаніемъ: «Да, это ваше право, впрочемъ вы вашими словами показываете, что вы виновника знасте».

И послѣ всего этого они хотѣли перехитрить—кого же?—лорда Кембеля? Я желалъ бы приложить его портреть для того, чтобы показать всю мѣру нелѣпости этой попытки. Старика лорда Кембеля, посѣдѣвшаго и сморщившагося на своемъ судейскомъ креслѣ, читая равнодушнымъ голосомъ, съ шотландскимъ акцентомъ, страшнѣйшія evidences и распутывая самыя сложныя дѣла съ осязательной ясностью,—его хотѣла перехитрить кучка парижскихъ клубистовъ... Лорда Кембеля, который никогда не поднимаетъ голоса, никогда не сердится, никогда не улыбается и только позволяетъ себѣ въ самыхъ смѣшныхъ или сильныхъ минутахъ высморкаться... Лорда Кембеля, съ лицомъ ворчуньистарухи, въ которомъ, вглядываясь, вы ясно видите извѣстную метаморфозу, такъ непріятно удивившую дѣвочку красную шалючку, что это вовсе не бабушка, а волкъ, въ парикѣ, женскомъ робронѣ и кацавейкѣ, общитой мѣхомъ.

Зато его лордшинство не осталось въ долгу.

Послъ долгихъ дискуцій о тряпочкъ и нослъ показаній Пардигона, защитники Бароне начали вызывать свидътелей.

Во-первыхъ, явился старикъ рефюжье, товарищъ Барбеса и Бланки. Онъ присягнулъ и вытянулъ шею.

- Давно ли вы, спросиль одинъ изъ атторнеевъ, знакомы съ Курне?
- Граждане, сказалъ рефюжье по-французски, съ молодыхъ лѣтъ моихъ преданный одному дѣлу, я посвятилъ жизнь свою священному дѣлу свободы и равенства... и пошелъ было въ этомъ родѣ.

Но атторней остановиль его и, обращаясь къ переводчику, замѣтиль: свидѣтель, кажется, не понялъ вопроса, переведите его на французскій.

За нимъ следовалъ другой. Когда пять-шесть французовъ, съ бородами, идущими въ рюмочку, и плешивыхъ, съ огромными усами и волосами, выстриженными по-николаевски, наконецъ, съ волосами, падающими на плечи и въ красныхъ шейныхъ платкахъ, являлись одинъ за другимъ, чтобъ сказать варіаціи на следующую тему: «Курне былъ человекъ, котораго достоинства превышали добродетели, а добродетели равнялись достоинствамъ; онъ былъ украшеніе эмиграціи, честь партіи, жена его неутешна, а друзья утешаются только темъ, что остались въ живыхъ такіе люди, какъ Бароне и его товарищи».

- А знаете ли вы Бартелеми?
- Да, онъ французскій рефюжье... видаль, но не знаю ничего о немь; при этомъ свидѣтель чмокалъ по-французски ртомъ.
  - Свидътеля такого-то... сказалъ атторней.
- Позвольте, замътила бабушка Кембель голосомъ мягкаго участія, не безпокойте ихъ больше, это множество свидътелей въ пользу покойнаго Курне и подсудимаго Бароне намъ кажется излишнимъ и вреднымъ, мы не считаемъ ни того, ни другого такими дурными людьми, чтобы ихъ честность и порядочное поведеніе слъдовало доказывать съ такимъ упорствомъ. Сверхъ того, Курне умеръ, и намъ вовсе ненужно ничего знать о немъ; мы призваны судить одно дъло о его убіеніи; все, идущее къ этому преступленію, для насъ важно, а событія прошлой жизни подсудимыхъ, которыхъ мы равно считаемъ весьма порядочными джентельменами, намъ ненужно знать. Я, съ своей стороны, не имъю никакихъ подозръній насчетъ г. Бароне.
- ... А на что у тебя, бабушка, такіе хитрые, да см'єющіеся глава?
- --- На то, что ртомъ я по моему сану не могу смѣяться надъ вами, милые внучата, а потому носмѣюсь глазами.

Разумбется, что послѣ этого свидѣтелей съ прической внизу и съ прической наверху, съ военнымъ видомъ и съ кашне всѣхъ семи цвѣтовъ призмы, отпустили, не слушавши.

Затемъ дело пошло быстро.

Одинъ изъ защитниковъ, представляя присяжнымъ, что подсудимые иностранцы, совершенно не знающіе англійскихъ законовъ, заслуживаютъ всякаго снисхожденія, прибавилъ: «Представьте себъ, гг. присяжные, г. Бароне такъ мало зналъ Англію, что на вопросъ, знаете ли вы, кто убилъ Курне, отвъчалъ, что если-бъ его въ цёняхъ посадили лётъ на десять въ тюремные склены, то онъ и тогда бы не сказалъ имени. Вы видите, что г. Бароне еще имълъ объ Англіи какія-то средневъковыя понятія, онъ могъ думать, что за его умалчивание его можно ковать въ цёни, бросить на десять лёть въ тюрьму. Надёюсь, сказаль онъ, не удерживая смѣха, что несчастное событіе, по которому г. Бароне былъ нъсколько мъсяцевъ лишенъ свободы, убъдило его, что тюрьмы въ Англін нъсколько улучшились съ среднихъ въковъ и врядъ ли хуже тюремъ въ нёкоторыхъ другихъ странахъ. Докажемте же подсудимымъ, что и судъ нашъ также человъчественъ и справедливъ» и пр.

Присяжные, составленные на половину изъ иностранцевъ, нашли подсудимыхъ «виновными».

Тогда Кембель обратился къ подсудимымъ, напомнилъ имъ строгость англійскихъ законовъ, напомнилъ, что иностранецъ, ступая на англійскую землю, пользуется всёми правами англичанина и за это долженъ нести и равную отвътственность передъ закономъ. Потомъ перешелъ къ разницѣ нравовъ и сказалъ, наконецъ, что онъ не считалъ бы справедливымъ наказать ихъ по всей строгости законовъ, а потому приговариваетъ ихъ къ двухмиссячному торемному заключенію.

Публика, народъ, адвокаты и мы всѣ были довольны; ждали рѣзкаго наказанія, но не смѣли думать о меньшемъ minimum'ѣ, какъ три-четыре гола.

Кто же остались недовольны?

Подсудимые.

Я подошель къ Бартелеми, онъ мрачно сжалъ мнѣ руку и сказалъ:

— Пардигонъ-то остался чисть, Бароне... и онъ пожалъ плечами.

Когда я выходиль изъ залы, я встрѣтилъ моего знакомаго, lawyer'a, онъ стояль съ Бароне.

— Лучше бы меня, говорилъ послѣдній, на годъ посадили, чѣмъ смѣшать съ этимъ злодѣемъ Бартелеми.

Судъ кончился часовъ около десяти вечеромъ. Когда мы пришли на желъзную дорогу, мы застали въ амбаркадеръ толны французовъ и англичанъ, громко и шумно разсуждавшихъ о дълъ. Большинство французовъ было довольно приговоромъ, хотя и

чувствовало, что побъда не по ту сторону Ламанша. Въ вагонахъ французы затянули марсельезу.

— Господа, сказалъ я, справедливость прежде всего; на этотъ

разъ споемте-ка Rule Britania!

И Rule Britania запѣли!

## Бартелеми.

Прошло два года, Бартелеми снова стоялъ передъ лордомъ Кембелемъ, и на этотъ разъ угрюмый старикъ, накрывшись чернымъ клобукомъ, произнесъ надъ нимъ иной приговоръ.

Въ 1854 году Бартелеми еще больше отдалился отъ всёхъ; вёчно чёмъ-то занятый, онъ мало показывался, готовилъ что-то втиши; люди, живше съ нимъ вмёсть, знали не больше другихъ. Я его видалъ изрёдка; онъ всегда мне показывалъ большое сочувстве и довере, но ничего особеннаго не говорилъ.

Вдругъ разнесся слухъ о двойномъ убійствъ: Бартелеми убилъ какого-то мелкаго неизвъстнаго англійскаго купца и потомъ полицейскаго агента, который хотълъ его арестовать. Объясненія, ключа—никакого; Бартелеми молчалъ передъ судьями, молчалъ въ Нью-Гетъ. Онъ съ самаго начала признался въ убійствъ полицейскаго: за это его можно было приговорить къ смерной казни, а потому онъ остановился на признаніи, защищая, такъ сказать, свое право быть повъшеннымъ за послъднее преступленіе, не говоря о первомъ.

Вотъ что мы узнали мало-по-малу. Бартелеми собрался вхать въ Голландію. Въ дорожномъ платъв, съ визированнымъ пассомъ въ карманв, съ револьверомъ въ другомъ, въ сопровожденіи женщины, съ которой онъ жилъ, Бартелеми отправился въ десять часовъ вечера къ англичанину, фабриканту содовой воды. Когда онъ постучался, горничная отворила ему дверь; хозяинъ пригласилъ ихъ въ парлоръ и, вслъдъ за тъмъ, пошелъ съ Бартелеми въ свою комнату.

Горничная слышала, какъ разговоръ становился крупнѣе, какъ онъ перешелъ въ брань; вслѣдъ за тѣмъ ея господинъ отворилъ дверь и ихнулъ Бартелеми; тогда Бартелеми вынулъ изъ кармана пистолетъ и выстрѣлилъ въ него. Купецъ упалъ мертвый. Бартелеми бросился вонъ; испуганная француженка скрылась прежде него и была счастливѣе. Полицейскій агентъ, слышавшій выстрѣлъ, остановилъ Бартелеми на улицѣ; онъ грозилъ ему пистолетомъ, полицейскій не пускалъ. Бартелеми выстрѣлилъ... На этотъ разъ больше, чѣмъ вѣроятно, что онъ не хотѣлъ убить

агента, а только постращать его; но, вырывая руку и сжимая другой пистолеть, на такомъ близкомъ разстояніи, онъ его смертельно ранилъ. Бартелеми пустился бъжать, но полицейские уже

замътили его, и онъ былъ схваченъ.

Враги Бартелеми, не скрывая радости, говорили, что это былъ просто акть разбоя, что Бартелеми хотъль ограбить англичанина. Но англичанинъ вовсе не быть богатъ. Безъ полнаго помъщательства трудно предположить, чтобъ человѣкъ пошелъ на открытый разбой въ Лондонъ, въ одномъ изъ населеннъйшихъ кварталовъ, въ знакомый домъ, часовъ въ десять вечера, съ женщиной, и все это, чтобъ украсть какихъ-нибудь сто фунтовъ (что-то такое было найдено въ комодъ убитаго).

Бартелеми, за итсколько мъсяцевъ до этого, завелъ какую-то мастерскую крашеныхъ стеколь съ узорами, арабесками и надписями по особому способу. Онъ на привилегію истратиль фунтовъ до 60; фунтовъ 15 не достало, онъ попросиль у меня взаймы и очень аккуратно отдалъ. Ясно, что тутъ было что-то важнъе простого воровства. Внутренняя мысль Бартелеми, его страсть, мономанія остались. Что онъ бхалъ въ Голландію только для того, чтобы оттуда пробраться въ Парижъ, — это знали многіе.

Едва три-четыре человъка остановились въ раздумы передъ этимъ кровавымъ дъломъ; остальные вет испугались и опрокинулись на Бартелеми. Быть пов'єщеннымъ въ Англіи не респектабельно; имъть связи съ человъкомъ, судимымъ за убійство,shoking; ближайшіе друзья его отшарахнулись.

Я тогда жилъ въ Твикнемъ. Прихожу разъ домой вечеромъ,

меня ждуть два рефюжье:

— Мы къ вамъ, говорять они, пріжхали, чтобъ васъ удостовърить, что мы ни малъйшаго участія не имъли въ страшномъ дълъ Бартелеми; у насъ была общая работа, мало ли съ къмъ приходится работать. Теперь скажуть... подумають...

— Да неужели вы за этимъ пріёхали изъ Лондона въ Твик-

немъ?-спросилъ я.

— Ваше мнѣніе намъ очень дорого.

— Помилуйте, господа; да я самъ былъ знакомъ съ Бартелеми, и хуже васъ, потому что никакой общей работы съ нимъ не имъть; но я не отрекаюсь отъ него. Я не знаю дъла, судъ и осужденіе предоставляю лорду Кембелю, а самъ плачу о томъ, что такая молодая и богатая сила, такой таланть, такъ воспитался горькой борьбой и средой, въ которой жиль, что въ пущемъ цвътъ пътъ его жизнь потухаетъ подъ рукою палача.

Поведение его въ тюрьмъ поразило англичанъ: ровное, покойное, печальное безъ отчаянія, твердое безъ јастапсе. Онъ зналъ, что для него все кончено, и съ тъмъ же непоколебимымъ спокойствіємъ выслушаль приговоръ, съ которымъ нѣкогда стояль подъ градомъ пуль на баррикадахъ.

Онъ писалъ къ своему отцу и къ дѣвушкѣ, которую любплъ. Письмо къ отцу я читалъ; ни одной фразы, величайшая простота, онъ кротко утѣшаетъ старика, какъ будто рѣчь не о немъ самомъ.

Католическій священникъ, который ех оббісіо ходиль къ нему въ тюрьму, человькъ умный и добрый, принялъ въ немъ большое участіе и даже просилъ Пальмерстона о перемънъ наказанія, но Пальмерстонь отказаль. Разговоры его съ Бартелеми были тихи и исполнены гуманности съ объихъ сторонъ. Бартелеми писаль ему: «Много, много благодаренъ я вамъ за ваши добрыя слова, за ваши утъщенія. Если-бъ я могъ обратиться въ върующаго, то, конечно, одни вы могли бы обратить меня; но что же дълать, —у меня нътъ въры!» Послъ его смерти священникъ писалъ одной знакомой мнъ дамъ: «Какой человъкъ быль этотъ несчастный Бартелеми! если-бъ онъ дольше прожилъ, можетъ, его сердце и раскрылось бы благодати. Я молюсь о его душъ!»

Тѣмъ болѣе останавливаюсь я на этомъ случаѣ, что «Times» со злобой разсказалъ насмѣшку Бартелеми надъ шерифомъ.

За нѣсколько часовъ до казни, одинъ изъ шерифовъ, узнавъ, что Бартелеми отказался отъ духовной помощи, счелъ себя обязаннымъ обратить его на путь спасенія и началъ ему пороть ту піэтическую дичь, которую печатають въ англійскихъ грошевыхъ трактатахъ, раздаваемыхъ даромъ на перекресткахъ. Бартелеми надоѣло увѣщаніе шерифа. Апостолъ съ золотой цѣнью замѣтилъ это и, принявъ торжественный видъ, сказалъ ему. «Подумайте, молодой человѣкъ, черезъ нѣсколько часовъ вы будете не мнѣ отвѣчать, а Богу».

Но не одинъ апостольствующій шерифъ мѣшалъ Бартелеми умереть въ томъ серьезномъ и нервно поднятомъ состояніи, котораго онъ искалъ, которое такъ естественно искать въ послѣдніе часы жизни.

Приговоръ быль прочтень. Бартелеми замѣтилъ кому-то изъ друзей, что, уже если нужно умереть, онъ предпочелъ бы тихо, безъ свидѣтелей, потухнуть въ тюрьмѣ, чѣмъ всенародно, на площади, погибнуть отъ руки палача. «Ничего нѣтъ легче: завтра, послѣ завтра, я тебѣ принесу стрихнина». Мало одного, двое взялись за дѣло. Онъ тогда уже содержался какъ осужденный, т. е., очень строго; тѣмъ не меньше, черезъ нѣсколько дней, друзья достали стрихнинъ и передали ему въ бѣлъѣ. Оставалось убѣдиться, что онъ нашелъ. Убѣдились и въ этомъ...

Боясь отв'ятственности, одинъ изъ нихъ, на котораго могло пасть подозр'яніе, хот'яль на времи покинуть Англію. Онъ попросилъ у меня нѣсколько фунтовъ на дорогу; я былъ согласенъ ихъ дать. Что кажется проще этого? Но я разскажу это ничтожное дѣло для того, чтобъ показать, какимъ образомъ всѣ тайные заговоры французовъ открываются, какимъ образомъ у нихъ во всякомъ дѣлѣ любовью къ роскошной mise en scène бездна по-

стороннихъ лицъ компрометируется.

Вечеромъ въ воскресенье у меня были, по обыкновенію, нѣсколько человѣкъ, польскихъ, итальянскихъ и другихъ рефюжье. Въ этотъ день были и дамы. Мы очень поздно сѣли обѣдать, часовъ въ восемь. Часовъ въ девять вошелъ одинъ близкій знакомый. Онъ ходилъ ко мнѣ часто, и потому его появленіе не могло броситься въ глаза; но онъ такъ ясно выразилъ всѣмъ лицемъ: «Я умалчиваю!» что гости переглянулись.

— Не хотите ли чего-нибудь събсть, или рюмку вина? спро-

силъ я.

— Ніть, сказаль, опускаясь на стуль, сосудь, отяжельвшій оть тайны.

Послѣ обѣда онъ при всѣхъ вызвалъ меня въ другую комнату и, сказавши, что Бартелеми досталъ ядъ (новость, которую я уже слышалъ), передалъ мнѣ просъбу о ссудѣ деньгами отъъзжающаго.

- Съ большимъ удовольствіемъ, я сейчасъ принесу, сказаль я.
- Нѣтъ, я ночую въ Твикнемѣ и завтра утромъ еще увижусь съ вами. Мнѣ ненужно вамъ говорить, васъ просить, чтобъ ни одинъ человѣкъ...

Я улыбнулся.

Когда я вошелъ опять въ столовую, одна молодая дъвушка спросила меня: «Върно онъ говорилъ о Бартелеми?»...

На другой день, часовъ въ восемь утра, вошелъ Франсуа и сказалъ, что какой-то французъ, которато онъ прежде не видълъ,

требуеть непремённо меня видёть.

Это быль тотъ самый пріятель Бартелеми, который хотъль незамютно убхать. Я набросиль на себя пальто и вышелъ въ садъ, гдѣ онъ меня дожидался. Тамъ я встрѣтиль болѣзненнаго, ужасно исхудалаго, черноволосаго француза (я послѣ узналъ, что онъ годы сидѣлъ въ Бель-Илѣ и потомъ à la lettre умиралъ съ голоду въ Лондонѣ). На немъ было потертое пальто, на которое бы никто не обратилъ вниманія; но дорожный картузъ и большой дорожный шарфъ, обмотанный вокругъ шеп, невольно остановили бы на себѣ глаза въ Москвѣ, въ Парижѣ, въ Неаполѣ.

- Что случилось?
- Былъ у васъ такой-то?
- Онъ и теперь здёсь.

- Говорилъ о деньгахъ?
- Это все кончено, деньги готовы.
- Я, право, очень благодаренъ.
- Когда вы ъдете?
- Сегодня или завтра.

Къ концу разговора подосивлъ и нашъ общій знакомый. Когда путешественникъ ушель:

- Скажите, пожалуйста, зачёмъ онъ пріёзжалъ? спросиль я, оставшись съ нимъ наедин'.
  - За деньгами.
  - Да, въдь, вы могли ему отдать.
- Это правда, но ему хотълось съ вами познакомиться; онъ спрашивалъ меня, пріятно ли вамъ будеть; что же мнъ было сказать?
- Безъ сомитнія, очень; только я не знаю, хорошо ли онъ выбралъ время.
  - А развѣ онъ вамъ помѣшалъ?
  - Нътъ; а какъ бы полиція ему не помѣшала выѣхать...

По счастью, этого не случилось. Въ то время, какъ онъ уѣзжалъ, его товарищъ усомнился въ ядѣ, который они доставили; нодумалъ - подумалъ и далъ остатокъ его собакѣ. Прошелъ день, собака жива; прошелъ другой—жива. Тогда, испуганный, онъ бросился въ Нью-Гетъ, добился свиданья съ Бартелеми черезъ рѣшетку и, улучшивъ минуту, шеннулъ ему:

- У тебя?
- Да, да!
- Вотъ видишь, у меня большое сомнѣніе. Ты лучше не принимай: я пробовать надъ собакой, никакого дѣйствія не было!

Бартелеми опустиль голову и потомь, поднявши ее съ глазами, полными слезь, сказалъ:

- Что же вы это надо мной дълаете!
- Мы достанемъ другого.
- Не надобно отвѣтилъ Бартелеми пусть совершится судьба.

И съ той минуты сталъ готовиться къ смерти, не думаль объ ядъ и писалъ какой-то мемуаръ, котораго не выдали послъ его смерти другу, которому онъ его завъщалъ (тому самому, который уъжалъ).

Девятнадцатаго января, въ субботу, мы узнали о посъщеніи священникомъ Пальмерстона и его отказъ.

Тяжелое воскресенье слёдовало за этимъ днемъ. Мрачно разошлась небольшая кучка гостей. Я остался одинъ. Легъ спать. уснулъ и тотчасъ проснулся. Итакъ, черезъ 7—6—5 часовъ, его, псполненнаго сплы, молодости, страстей, совершенно здороваго,

выведуть на площадь и убыоть, безъ жалости убыоть, безъ удовольствія и озлобленія, а еще съ какимъ-то фарисейскимъ состраданіемъ!.. На церковной башнѣ начало бить семь часовъ. Теперь двинулось шествіе, и Калькрафтъ налицо. Послужили ли бѣдному Бартелеми его стальные нервы? У меня стучалъ зубъ объ зубъ.

Въ 11 утра взошелъ Д.

- Кончено? спросилъ я.
- Кончено.
- Вы были?
- Былъ.

Остальное досказаль «Times».

Противъ статьи «Теймсъ», аббатъ Roux напечаталъ: «The murderer Barthelemy».

Когда все было готово, разсказываетъ «Times», онъ попросиль письмо той дѣвушки, къ которой писалъ, и, помнится, локонъ ея волосъ или какой-то сувениръ; онъ сжалъ ихъ въ рукѣ, когда палачъ подошелъ къ нему... ихъ, сжатыми въ его окоченѣлыхъ пальцахъ нашли помощники палача, пришедшіе снять его тѣло съ висѣлицы. «Человѣческая справедливость, какъ говоритъ «Теймсъ», была удовлетворена!» Я думаю, да этого и діавольской не показалось бы мало!

Туть бы и остановиться. Но пусть же въ моемъ разсказф, какъ было въ самой жизни, останутся слъды богатырской поступи возлъ ступней ослиныхъ и свиныхъ копытъ.

Когда Бартелеми быль схвачень, у него не было достаточно денегь, чтобъ платить солиситеру; да ему и не хотёлось нанимать его. Явился какой-то неизвёстный адвокать Герингъ, предложившій ему ващищать его, явнымъ образомь, чтобъ сдёлать себя извёстнымъ. Защищаль онъ слабо; но ненадобно забывать, задача была необыкновенно трудна; Бартелеми молчалъ и не хотёль, чтобъ Герингъ говорилъ о главномъ дёлё. Какъ бы то ни было, Герингъ возился, терялъ время, хлопоталъ. Когда казнь была назначена, Герингъ пришелъ въ тюрьму проститься; Бартелеми былъ тронутъ, благодарилъ его и, между прочимъ, сказалъ ему:

- У меня ничего нъть, я не могу вознаградить вашъ трудъ ничъмъ, кромъ моей благодарности. Хотълъ бы я вамъ, по крайней мъръ, оставить что-нибудь на память, да ничего у меня нъть, что-бъ я могъ вамъ предложить. Развъ мое пальто?
- Я вамъ буду очень, очень благодаренъ, я хотълъ его у васъ просить.
- Съ величайшимъ удовольствіемъ, сказалъ Бартелеми но оно плохо...

- О, я его не буду носить; признаюсь вамъ откровенно, я уже запродалъ его, и очень хорошо.
  - Какъ запродали? спросилъ удивленный Бартелеми.
     Да, madame Туссо, для ен особой галлереи.

Бартелеми содрогнулся.

Когда его вели на казнь, онъ вдругь вспомнилъ и сказаль шерифу:

— Ахъ, я совсёмъ было забылъ попросить, чтобъ мое пальто пикакъ не отдавали Герингу!

# Camicia Rossa 1).

Шекспировъ день превратился въ день Гарибальди. Сближеніе это вытянуто за волосы исторіей, такія натяжки удаются

ей одной.

Народъ, собравшись на Примрозъ-Гиль, чтобъ посадить дерево въ память trecentenary, остался тамъ, чтобъ поговорить о скоропостижномъ отътздъ Гарибальди. Полиція разогнала народъ. Пятьдесятъ тысячъ человѣкъ (по полицейскому рапорту) послушались тридцати полицейскихъ и, изъ глубокаго уваженія къ законности, поддержали беззаконное вмѣшательство власти.

... Дъйствительно, какая-то шекспировская фантазія пронеслась передъ нашими глазами на съромъ фонъ Англіп, съ чисто шекспировской близостью великаго и отвратительнаго, раздирающаго душу и скринящаго по тарелкъ. Святая простота человъка, наивная простота массь и тайные скопы за стъной, интриги, ложь. Знакомыя тёни мелькають въ другихъ образахъ — отъ Гамлета до короля Лира, отъ Гонериль и Корделій до честнаго Яго. Яго-все крошечные, но зато какое количество и какая у нихъ честность!

Прологъ. Трубы. Является идолъ массъ, единственная, великая, народная личность нашего въка, выработавшаяся съ 1848 года, является во всёхъ лучахъ славы. Все склоняется передъ ней, все се празднустъ, это очью совершающееся hero-worship Карлейля. Пушечные выстрёлы, колокольный звонь, вымисла на корабляхъ-и только нотому нътъ музыки, что гость Англіи прі в воскресенье, а воскресенье здісь постный день... Лондонъ ждетъ прівзжаго часовъ семь на ногахъ, оваціи растуть съ каждымъ днемъ; появление человъка въ красной рубашки на улицъ дълаетъ взрывъ восторга, толны провожають его ночью въ часъ изъ оперы, толны встръчають его угромъ въ семь Стаффордъ гаузомъ. Работники и дюки 2), часовъ передъ

1) Напечатано было въ "Колоколъ" 15 августа, 15 сентября п 15 ноября 1864 года. Примпчание заграничнаго изданія.

<sup>2)</sup> Я прошу позволеніе дюковь называть дюками, а не герцогами. Во-первыхъ. оно правильные, а во-вторыхь, однимъ нымецкимъ словомъ меньше въ русскомъ языкъ. Autant de pris sur le Deutchthum.

швен и лорды, банкиры и high church, феодальная развалина Дерби и осколокъ февральской революціи — республиканець 1848 года, старшій сынъ королевы Викторіи и босой swiper, родившійся безъ родителей, ищуть на перерывъ его руки, взгляда, слова. Шотландія, Ньюкестль-он-Тейнъ, Глазговъ, Манчестеръ трепещуть отъ ожиданія,—а онъ исчезаетъ въ непроницаемомъ туманѣ, въ синевѣ океана.

Какъ тѣнь Гамлетова отца, гость попалъ на какую-то министерскую дощечку, и исчезъ. Гдѣ онъ? Сейчасъ быль туть и туть, а теперь нѣтъ... Остается одна точка, какой-то парусъ готовый отплыть.

Народъ англійскій одурачень. «Великій, глупый народъ»— какъ сказаль о немь поэть. Добрый, сильный, упорный, но тяжелый, неповоротливый, нерасторопный Джонъ-буль,—и жаль его, и см'єшно! Быкъ съ львиными замашками—только что было тряхнуль гривой и порасправился, чтобъ встр'єтить гостя, а у него его и отняли. Левъ-быкъ бьеть двойнымъ копытомъ, царанаеть землю, сердится... но сторожа знають хитрости замковъ и засосовъ свободи, которыми онъ запертъ, болтаютъ ему какой-то вздоръ и держать ключъ въ карманѣ... а точка исчезаеть въ океанѣ.

Бъдиый левъ-быкъ, ступай на свой hard labour, тащи плугъ, подымай молотъ. Развъ три министра, одинъ не министръ, одинъ дюкъ, одинъ профессоръ хирургіи и одинъ лордъ піэтизма не засвидътельствовали всенародно въ камеръ пэровъ и въ низшей камеръ, въ журналахъ и гостиныхъ, что здоровый человъкъ, котораго ты видълъ вчера, боленъ и боленъ такъ, что его надобно послать на яхтъ вдоль Атлантическаго океана и поперегъ Средиземнаго моря... «Кому же ты больше въришь, моему ослу пли мнъ?»—говорилъ обиженный мельникъ, въ старой баснъ, скептическому другу своему, который сомнъвался, слыша ревъ, что осла нътъ дома...

Или развѣ они не друзья народа?.. Больше чѣмъ друзья,—они его опекуны, его отцы съ матерыю...

... Газеты подробно разсказали о пирахъ и яствахъ, рѣчахъ и мечахъ, адресахъ и кантатахъ, Чизикъ и Гильдголъ. Балетъ и декораціи, пантомимы и арлекины этого «сновидѣнія въ весеннюю ночь» описаны довольно. Я не намѣренъ вступать съ ними въ соревнованіе, а просто хочу передать изъ моего небольшого фотографическаго снаряда нѣсколько картинокъ, взятыхъ съ того скромнаго угла, изъ котораго я смотрѣлъ. Въ нихъ, какъ всегда бываетъ въ фотографіяхъ, захватилось и осталось много случайнаго, неловкія складки, неловкія позы, слишкомъ выступившія

мелочи-рядомъ съ нерукотворенными чертами событій и непод-

слащенными чертами лицъ...

Разсказъ этотъ дарю я вамъ, отсутствующія дъти (отчасти онъ для васъ и писанъ), и еще разъ очень, очень жалбю, что васъ здъсь не было съ нами 17 апръля.

### I.

### Въ Брукъ-гаузъ.

Третьяго апръля къ вечеру Гарибальди прівхаль въ Соутгамптонъ. Мит хоттолось видъть его прежде, чти его завертятъ,

опутають, утомять.

Хотблось мий этого по многому: во-первыхъ, просто потому, что я его люблю и не видаль около десяти лъть. Съ 1848 я следиль шагь за шагомь за его великой карьерой; онъ уже быль для меня въ 1854 г. лицо, взятое цъликомъ изъ Корнелія Пепота пли Плутарха... Съ тъхъ поръ онъ переросъ половину ихъ, сдълался «невъпчаннымъ царемъ» народовъ, ихъ упованіемъ, ихъ живой легендой, ихъ святымъ человъкомъ, и это отъ Украйны и Сербін до Андалузін и Шотландін, отъ Южной Америки до Съверныхъ Штатовъ. Съ тъхъ поръ онъ съ горстью людей побъдить армію, освободить цълую страну и быль отнущенъ изъ нея, какъ отпускають ямщика, когда онъ довезъ до станціп. Съ техъ поръ онъ былъ обманутъ и побитъ, и, такъ какъ ипчего не выигралъ побъдой, не только ничего не проигралъ пораженіемъ, но удвоилъ ею свою народную силу. Рана, нанесенная ему своими, кровью спаяла его съ народомъ. Къ величію героя прибавился вънецъ мученика. Мнъ хотълось видъть, тотъ ли же это добродушный морякъ, приведшій Common Wealth изъ Бостона въ Indian Docks, мечтавшій о пловучей эмпграціи, носящейся по оксану, и угощавшій меня ниццскимъ Белетомъ, привезеннымъ изъ Америки.

Хотьлось мнь, во-вторыхь, поговорить съ нимь о зділинихъ интригахъ и телъпостяхъ, о добрыхъ людяхъ, строившихъ одной рукой пьедесталъ ему и другой привязывавшихъ Маципин къ позорному столбу. Хотвлось ему разсказать объ охотв по Стансфильду и о тъхъ нищихъ разумомъ либералахъ, которые вторили лаю готическихъ своръ, не понимая, что тѣ пмѣли, по крайней мъръ, цъль—сковырнуть на Стансфильдъ пътое и безхарактерное министерство и замънить его своей подагрой, своей ветопнью и

своимъ линялымъ тряпьемъ съ гербамп.

... Въ Соутгамитонъ я Гарибальди не засталъ. Онъ только-что уъхалъ на островъ Вайтъ. На улицахъ были видны остатки торжества, знамена, группы народа, бездна пностранцевъ...

Не останавливаясь въ Соутгамитонъ, я отправился въ Коусъ. На пароходъ, въ отеляхъ все говорило о Гарибальди, о его пріемъ. Разсказывали отдъльные анекдоты, какъ онъ выпіслъ на палубу, опираясь на дюка Сутерландскаго, какъ, сходя въ Коусъ съ парохода, когда матросы выстроились, чтобъ проводить его, Гарибальди пошелъ было, поклонившись, но вдругъ остановился, подошелъ къ матросамъ и каждому подалъ руку, вмъсто того чтобъ подать на водку.

Въ Коусъ я прібхалъ часовъ въ 9 вечера; узналъ, что Брукъгаусъ очень не близокъ, заказалъ на другое утро коляску и ношелъ но взморью. Это былъ первый теплый вечеръ 1864. Море совершенно покойное, лъниво-шаля, колыхалось; кой-гдъ сверкалъ, исчезая, фосфорическій свътъ; я съ наслажденіемъ вдыхалъ влажно-іодистый запахъ морскихъ испареній, который люблю, какъ запахъ съна; издали раздавалась бальная музыка изъ какого-то клуба или казино, все было свътло и празднично.

Зато на другой день, когда я часовъ въ шесть утра отвориль окно, Англія напомнила о себѣ; виѣсто моря и неба, земли и дали, была одна силошная масса неровнаго сѣраго цвѣта, изъкоторой лился частый, мелкій дождь, съ той британской настойчивостью, которая впередъ говоритъ: «если ты думаешь, что я перестану, ты ошибаешься, я не перестану». Въ семь часовъ по-бхалъ я подъ этой душей въ Брукъ-гаусъ.

Не желая долго толковать съ тугой на пониманье и скупой на учтивость англійской прислугой, я нослаль записку къ секретаріо Гарибальди—Гверцони. Гверцони провелъ меня въ свою комнату и пошель сказать Гарибальди. Вслъдъ за тъмъ яуслышаль постукиванье трости и голосъ: «Гдѣ онъ, гдѣ онъ?» Я вышелъ въ коридоръ, Гарибальди стоялъ передо мной и прямо, ясно, кротко смотрѣлъ мнѣ въ глаза, потомъ протянулъ объ руки и, сказавъ: «Очень, очень радъ, вы полны силы и здоровья, вы еще поработаете», обнялъ меня. «Куда вы хотите?» Это комната Гверцони; хотите ко мнѣ, хотите остаться здѣсь?»—спросилъ онъ и сълъ.

Теперь была моя очередь смотрѣть на него.

Одёть онь быль такъ, какъ вы знаете по безчисленымь фотографіямь, картинкамь, статуеткамь; на немъ была красная шерстяная рубашка и сверху илащь, особымь образомь застегнутый на груди; не на шеб, а на плечахъ былъ платокъ, такъ, какъ его носять матросы, узломъ завязанный на груди. Все это къ нему необыкновенно шло, особенно его плащъ.

Онъ гораздо меньше измѣнился въ эти десять лѣтъ, чѣмъ я ожидалъ. Всѣ портреты, всѣ фотографіи его никуда не годятся, на всѣхъ онъ старше, чернѣе, и, главное, выраженіе лица нигдѣ не схвачено. А въ немъ-то и высказывается весь секретъ не только его лица, но его самого, его силы, той притяжательной и отдающейся силы, которой онъ постоянно покорялъ все окружавшее его... какое бы оно ни было, безъ различія діаметра: кучку рыбаковъ въ Ниццѣ, экипажъ матросовъ на океанѣ, drapello гверильясовъ въ Монтевидео, войско ополченцовъ въ Италіи, народныя массы всѣхъ странъ, цѣлыя части земного шара.

Каждая черта его лица, вовсе неправильнаго и скорѣе напоминающаго славянскій типъ, чѣмъ итальянскій, оживлена, проникнута безпредѣльной добротой, любовью и тѣмъ, что называется bienveillance (я употребляю французское слово, потому что наше «благоволеніе» затаскалось до того, что его смыслъ исказился). То же въ его взглядѣ, то же въ его голосѣ, и все это такъ просто, такъ отъ души, что если человѣкъ не имѣетъ задней мысли и вообще не остережется, то онъ непремѣнно его полюбитъ.

Но одной добротой не исчернывается ни его характеръ, ни выражене его лица; рядомъ съ его добродушісмъ и увлекаемостью чувствуется несокрушимая, нравственная твердость и какой-то возврать на себя, задумчивый и страшно грустный. Этой черты меланхолической, печальной я прежде не замъчаль въ немъ.

Минутами разговоръ обрывается; но его лицу, какъ тучи по морю, пробъгаютъ какія-то мысли,—ужасъ ли то передъ судьбами, лежащими на его плечахъ, передъ тъмъ народнымъ помазаніемъ, отъ котораго онъ уже не можетъ отказаться? Сомнѣніе ли послътого, какъ онъ видълъ столько измѣнъ, столько паденій, столько слабыхъ людей? Искушеніе ли величія? Послѣдняго не думаю, его личность давно исчезла въ его дълъ...

Я увъренъ, что подобная черта страданья, передъ призваньемъ, была и на лицъ Дъвы Орлеанской, и на лицъ Іоанна Лейденскаго,—они принадлежали народу, стихійныя чувства или лучше предчувствія, заморенныя въ насъ, сильнъе въ народъ. Въ ихъ въръ былъ фатализмъ, а фатализмъ самъ по себъ безконечно грустенъ.

... Гарибальди вспомниль разныя подробности о 1854 годь, когда онъ быль въ Лондонь, какъ онъ ночеваль у меня, опоздавши въ Indian docks; я напомниль ему, какъ онъ въ этотъ день пошель гулять съ моимъ сыномъ и сдълаль для меня его фотографію у Кальдези, объ объдъ у американскаго консула съ Бюхананомъ, который нъкогда надълаль бездну шума и въ сущности не имълъ смысла.

- Я долженъ вамъ покаяться, что я поторошился къ вамъ прі-

— Говорите, говорите, —мы старые друзья.

Я разсказаль ему дебаты, журнальный вопль, нелѣпость выходокъ противъ Маццини, пытку, которой подвергали Стансфильда.

- Замѣтьте, добавиль я, что въ Стансфильдѣ тори и ихъ сообщники преслѣдують не только революцію, которую они смѣшивають съ Мацини, не только министерство Пальмерстона, но, сверхъ того, человѣка, своимъ личнымъ достоинствомъ, своимъ трудомъ, умомъ достигнувшаго въ довольно молодыхъ лѣтахъ мѣста лорда въ адмиралтействѣ, человѣка безъ рода и связей въ аристократіи.—На васъ прямо они не смѣютъ нападать на сію минуту, но посмотрите, какъ они безцеремонно васъ трактуютъ. Вчера въ Коусѣ я купилъ послѣдній листъ Standart'a; ѣхавши къ вамъ, я его прочиталъ, посмотрите. «Мы увѣрены, что Гарибальди пойметъ настолько обязанности, возлагаемыя на него гостепріимствомъ Англіп, что не будетъ имѣтъ сношеній съ прежнимъ товарищемъ своимъ, и найдетъ настолько такта, чтобъ не ѣздить въ 35, Thourloe Square» ¹). Затѣмъ выговоръ раг anticipation, если вы этого не исполните.
- Я слыщаль кое-что, сказаль Гарибальди, объ этой интригы. Разуммется, одинь изъ первых визитовъ моихъ будеть къ Стансфильду.
- Вы знасте лучше меня, что вамъ дѣлать, я хотѣлъ вамъ только показать безъ тумана безобразныя линіи этой интриги.

Гарибальди всталь, я думаль, что онъ хочеть окончить свиданіе и сталь прощаться.

— Нътъ, нътъ, пойдемте теперь ко мнѣ, сказалъ онъ и мы пошли.

Прихрамываеть онъ сильно, но вообще его организмъ вышелъ торжественно изъ всякаго рода моральныхъ и хирургическихъ зондированій, операцій и пр.

Костюмъ его, скажу еще разъ, необыкновенно идетъ къ нему и необыкновенно изященъ; въ немъ нѣтъ ничего профессіонно-солдатскаго и ничего буржуазнаго, онъ очень простъ и очень удобенъ. Непринужденность, отсутствіе всякой афектаціи въ томъ, какъ онъ носить его, остановили салонные пересуды и тонкія

<sup>1)</sup> Квартира Станефильда.

насмътки. Врядъ существуеть ли европеецъ, которому бы сошла съ рукъ красная рубашка въ дворцахъ и палатахъ Англіи.

Притомъ костюмъ его чрезвычайно важенъ. Аристократія думаєть, что, схвативши его коня подъ уздцы, она его поведеть, куда хочеть, и, главное, отведеть отъ народа; но народь смотритъ, на *красную рубашку* и радъ, что дюки, маркизы плорды пошли въ конюхи и офиціанты къ революціонному вождю, взяли на себя должности мажордомовъ, пажей и скороходовъ при великомъ плебев въ плебейскомъ платъъ.

Консервативныя газеты замѣтили бѣду и, чтобъ смягчить безиравственность и безчиніе гарибальдіевскаго костюма, выдумали, что онъ носить мундиру монтевидейскаго волонтера. Да, вѣдь, Гарибальди съ тѣхъ поръ былъ пожалованъ генераломъ—королемъ, которому онъ пожаловалъ два королевства,—отчего же онъ носитъ мундиръ монтевидейскаго волонтера?

Да и почему то, что онъ носитъ, -мундиръ?

Къ мундиру принадлежить какое-нибудь смертоносное оружіе, какой-нибудь знакъ власти, или кровавыхъ воспоминаній. Гарибальди ходить безъ оружія, онъ не боится никого и никого не стращаеть; въ Гарибальди такъ же мало военнаго, какъ мало аристократическаго и мѣщанскаго. «Я не солдать, говориль онъ въ Кристальпаласѣ итальяндамъ, подносившимъ ему мечъ, и не люблю солдатскаго ремесла. Явидѣлъ мой отчій домъ, наполненный разбойниками, и схватился за оружіе, чтобъ ихъ выгнать».— «Я работникъ, происхожу отъ работниковъ и горжусь этимъ», сказалъ онъ въ другомъ мѣстѣ.

При этомъ нельзя не замѣтить, что у Гарпбальди нѣтъ также ни на іоту плебейской грубости, ни изученнаго демократизма. Его обращеніе мягко до женственности. Итальянецъ и человѣкъ, онъ на вершинѣ общественнаго міра представляетъ не только плебея, вѣрнаго своему началу, но птальянца, вѣрнаго эстетичности своей расы.

Его мантія, застегнутая на груди, не столько военный плащъ, сколько риза воина-первосвященника, propheta-re. Когда онъ поднимаеть руку, отъ него ждуть благословенія и привѣта, а не военнаго приказа.

Гарибальди заговориль о польскихъ дёлахъ.

— Я полагаю, что Галиція готова къ возстанію?

Я промодчалъ.

— Такъ же, какъ п Венгрія,—вы не върпте?

— Нътъ, я просто не знаю.

- Ну, а можно ли ждать какого-нибудь движенія въ Россіи?
- Никакого. Съ тъхъ поръ какъ я вамъ писалъ ппсьмо, въ поябръ мъсяцъ, ничего не перемънилось.

Такъ продолжался разговоръ еще нѣсколько минутъ, начались въ дверяхъ показываться архи-англійскія физіономіи, шурстѣть дамскія платья... я всталъ.

- Куда вы торонитесь?—сказалъ Гарибальди.
- Я не хочу васъ больше красть у Англін.
   До свиданья въ Лондонъ, не правда ли?
- Я непремънно буду. Правда, что вы останавливаетесь у дюка Сутерландскаго?
- Да, сказаль Гарибальди и прибавиль, будто извиняясь: не могь отказаться.
- Такъ я явлюсь къ вамъ напудрившись, для того, чтобъ лакен въ Стаффордъ-гаузъ подумали, что у меня пудренный слуга.

Въ это время явился поэтъ лавреат Тенисонъ съ женой,— это было слишкотъ много лавровъ, и я по тому же безпрерывному дождю отправился въ Коусъ.

Перемъна декораціи, но продолженіе той же пьесы. Пароходъ пзъ Коуса въ Соуттамитонъ только-что ушелъ, а другой отправлялся черезъ три часа, въ силу чего я пошелъ въ ближайшій ресторанъ, заказаль себъ объдъ и принялся читать «Теймсъ». Съ первыхъ строкъ я былъ ошеломленъ. Семидесятипятильтній Авраамъ, судившійся мъсяца два тому назадъ за какія-то шашни съ новой Агарью, принесъ окончательно на жертву своего Галифакскаго Исаака. Отставка Стансфильда была принята. И это въ самое то время, когда Гарибальди начиналъ свое торжественное шествіе въ Англіп. Говоря съ Гарибальди, я этого даже не предиолагалъ.

Что Стансфильдъ подалъ во второй разъ въ отставку, видя, что травля продолжается, совершенно естественно. Ему съ самаго начала слъдовало стать во весь рость и бросить свое лордшинство. Стансфильдъ сдълалъ свое дъло. Но что сдълалъ Пальмерстонъ съ товарищами? И что онъ лепеталъ потомъ въ своей ръчи?.. Съ какой подобострастной лестью отзывался онъ о великодушномъ союзникъ, о притрепетномъ желаніи ему долговъчья и всякаго блага на въки нерушимаго. Какъ будто кто-нибудь бралъ аи serieux эту полицейскую фарсу Greco Trabucco et Со.

Это была Мадэкента.

Я спросиль бумаги и написаль письмо къ Гверцони; нашсаль я его со всей свѣжестью досады и просиль его прочесть «Теймсь» Гарибальди; я ему писаль о безобразіи этой апотеозы Гарибальди—рядомь съ оскорбленіями Маццини. «Мнѣ 52 года, говориль я, но признаюсь, что слезы негодованія навертываются на глазахъ, при мысли объ этой несправедливости» и проч.

За итсколько дней до моей потздки, я былъ у Маципни. Че-

ловъкъ этотъ многое вынесъ, многое умъетъ выносить, это старый боець, котораго ни утомить, ни низложить нельзя; но тутъ я его засталъ сильно огорченнымъ, именно тъмъ, что его выбрали средствомъ для того, чтобъ выбить изъ стремянъ его друга. Когда я писаль письмо къ Гверцони образъ исхудалаго, благороднаго старца съ сверкающими глазами носился передо мной.

Когда я кончилъ и человъкъ подалъ объдъ, я замътилъ, что я не одинъ: небольшого роста бълокурый молодой человъкъ съ усиками и въ синей пальто-курткъ, которую носять моряки, спдълъ у камина, à l'americaine, хитро утвердивши ноги въ уровень съ ушами. Манера говорить скороговоркой, совершенно провинціальный акценть, дълавшій для меня его рычь непонятной, убъдили меня еще больше, что это какой-нибудь пирующій на берегу мичманъ, и я пересталъ имъ заниматься, --говорилъ онъ не со мной, а съ слугой. Знакомство окончилось было тъмъ, что я ему подвинулъ соль, а онъ зато тряхнулъ головой.

Вскоръ къ нему присоединился пожилыхъ лътъ черноватенькій господинъ, весь въ черномъ и весь до невозможности застегнутый, съ тъмъ особеннымъ видомъ помфиательства, которое даеть людямъ натянутая религіозная экзальтація, дёлающаяся

патуральной отъ долгаго употребленія.

Казалось, что онъ хорошо зналъ мичмана и пришелъ, чтобъ еъ нимъ повидаться. Послъ трехъ-четырехъ словъ, онъ пересталъ говорить и началъ проповидывать. «Видълъ я, говорилъ онъ Маккавея, Гедеона... орудіе въ рукахъ промысла, его мечъ, его пращъ... и чёмъ более я смотрелъ на него, темъ спльпее былъ тронуть, и со слезами твердилъ: мечъ Господень! мечъ Господень! Слабаго Давида избралъ онъ побить Голіава. Оттого-то народъ англійскій, народъ избранный, пдетъ ему на срубтеніе, какъ къ невъстъ ливанской... Сердце народа въ рукахъ Божінхъ: оно сказало ему, что это мечъ Господень, орудіе промысла. Гепеонъ!»

...Отворились настежь двери и вошла не невъста ливанская, а разомъ человъкъ десять важныхъ бриттовъ, и въ ихъ числъ лордъ Шефтебюри, Линдеей. Всв они устансь за столъ и потребовали что-нибудь перекусить, объявляя, что сейчасъ тдутъ въ Brook-house. Это была офиціальная депутація отъ Лондона, съ приглашеніемъ къ Гарибальди. Пропов'єдникъ умолкъ; но мичманъ поднялся въ моихъ глазахъ: онъ съ такимъ недвусмы сленнымъ чувствомъ отвращенія смотрѣлъ на взошедшую депутацію, что мив пришло въ голову, вспоминая проповедь его пріятеля, что онъ принимаетъ этихъ людей, если не за мечи и кортики сатаны, то хоть за его перочинные ножики и ланцеты.

Я спросиль его, какъ слъдуетъ надписать письмо въ Brook-

house? достаточно ли назвать домъ, или надобно прибавить ближній городъ. Онъ сказалъ, что ненужно ничего прибавлять.

Одинъ изъ депутаціи, съдой, толстый старикъ, спросильменя, къ кому я посылаю письмо въ Brook-house?

- Къ Гверцони.
- Онъ, кажется, секретаремъ при Гарибальди?
- Да.
- Чего же вамъ хлопотать, мы сейчасъ тдемъ, я охотно свезу письмо.

Я вынуль мою карточку и отдаль ее съ письмомъ. Можеть ли что-нибудь подобное случиться на континентъ? Представьте себъ, если-бъ во Франціи кто - нибудь спросилъ бы васъ въ гостиницъ,—къ кому вы пишете, и узнавши, что это къ секретарю Гарибальди, взялся бы доставить письмо?

Письмо было отдано и я на другой день им'ыть отв'ыть въ Лондон'ь.

Редакторъ иностранной части Morning Star'а узналъ меня. Начались вопросы о томъ, какъ я нашелъ Гарибальди, о его здоровьи. Поговоривши нъсколько минуть съ нимъ, я ушелъ въ smoking room. Тамъ сидъли за пель-элемъ и трубками мой бълокурый морякъ и его черномазый теологъ.

- Что, сказаль онь мнѣ, наглядѣлись вы на эти лица?.. а, вѣдь, это неподражаемо хорошо: лордъ Шефтсбюри, Линдсей ѣдуть депутатами приглашать Гарибальди. Что за комедія! Знають ли они, кто такое Гарибальди?
- Орудіє промысла, мечъ въ рукахъ Господнихъ, его пращъ... потому-то онъ и вознесъ его и оставиль его въ святой простотъ его...
- Это все очень хорошо, да за чёмъ ёдутъ эти господа? Спросилъ бы я кой у кого изъ нихъ,—сколько у нихъ денегъ въ Алабамъ́?.. Дайте-ка Гарибальди пріёхать въ Ньюкестль-он'Тейнъ да въ Глазговъ, тамъ онъ увидитъ народъ поближе, тамъ ему не будутъ мъщать лорды и дюки.

Это былъ не мичманъ, а корабельный постройщикъ. Онъ долго жилъ въ Америкъ, зналъ хорошо дъла Юга и Съвера, говорилъ о безвыходности тамошней войны, на что утъщительный теологъ замътилъ:

— Если Господь раздвоилъ народъ этотъ и направилъ брата на брата, Онъ имъетъ свои виды, и если мы ихъ не понимаемъ, то должны покоряться Провидънію даже тогда, когда оно караетъ.

Вотъ гдё и въ какой формё мнё пришлось слышать въ послёдній разъ комментарій на знаменитый гегелевскій мотто: «Все, что дёйствительно, то разумно». Дружески пожавъ руку моряку и его каплану, я отправился

въ Соутгамитонъ.

На пароходъ я встрътилъ радикальнаго публициста Голіока; онъ видълся съ Гарибальди позже меня, Гарибальди черезъ него приглашалъ Маццини; онъ ему уже телеграфировалъ, чтобъ онъ ъхаль въ Соутгамитонъ, гдъ Голіокъ намъренъ быль его ждать съ Менотти Гарибальди и его братомъ. Голіоку очень хотълось доставить еще въ тотъ-же вечеръ два письма въ Лондонъ (по почтъ они придти не могли до утра). Я предложилъ мон услуги.

Въ 11 часовъ вечера прібхалъ я въ Лондонъ, заказалъ въ York hotel'й возли Ватерлооской станціп комнату и пойхаль съ письмами, удивляясь тому, что дождь все еще не успълъ перестать. Въ часъ или въ началъ второго прівхаль я въ гостиницу, -- заперто. Я стучался, стучался... Какой-то пьяный, оканчивавшій свой вечеръ возлі рышетки кабака, сказаль: «не туть стучите, въ переулкъ есть night-bell»; пошель я искать night-bell, нашель и сталь звонить. Не отворяя дверей, изъ какого-то подземелья высунулась заспанная голова, грубо спрашивая: «Чего мнъ»?-Комнаты.-«Ни одной нътъ».--Я въ 11 часовъ самъ заказаль.—«Говорять, что нёть ни одной», и онь захлопнуль дверь преисподней, не дождавшись даже, чтобъ я его обругалъ, что я п сдёлаль платонически, потому что онъ слышать не могъ.

Дъло было непріятное, найти въ Лондонъ въ два часа ночи комнату, особенно въ такой части города, не легко. Я вспомнилъ объ небольшомъ французскомъ ресторанъ п отправился туда.-«Есть комната?»—спросиль я хозяпна.—«Есть, да не очень хороша».—«Показывайте». Действительно, онъ сказаль правду, комната была не только не очень хороша, но прескверная. Выбора не было, я отворилъ окно и сошелъ на минуту въ залу. Тамъ все еще нили, крпчали, играли въ карты и домино какіе-то французы. Нёмецъ колоссальнаго роста, котораго я видалъ, подощелъ ко мит и спросилъ, имтю ли я время съ нимъ поговорить наединъ, что ему нужно мнъ сообщить что-то особенио важное.

— Разумбется, имбю, нойдемте въ другую залу, тамъ никого

нътъ.

Нъмець сълъ противъ меня и трагически началъ мив разсказывать, какъ его патронъ французъ надуль, какъ онъ трп года эксплоатировалъ его, заставляя втрое больше работать, лаская надеждой, что онъ его приметь въ товарищи, и вдругъ, не говоря худого слова, убхаль въ Парижъ и тамъ нашелъ тозарища. Въ силу этого, нъмецъ сказалъ ему, что онъ оставляетъ мъсто, а патронъ не возвращается...

— Да за чъмъ же вы върили ему безъ всякаго условія?

- Weil ich ein dummer Deutscher bin.

- Ну, это другое дѣло.
- Я хочу запечатать заведеніе и уйти.
- Смотрите, онъ вамъ сдёлаетъ процессъ; знаете ли вы здёшніе законы?

Нѣмецъ покачалъ головой.

- Хотълось бы мнъ насолить ему... А вы върно были у Гарибальди?
- Былъ. Ну, что онъ? Ein famoser Kerl... Да, вёдь, если-бъ онъ мнё не объщалъ цълые три года, я бы иначевелъ дъла... Этого нельзя было ждать, нельзя... А что его рана?
  - Кажется, ничего.
- Эдакая бестія, все скрыль и въ послѣдній день говорить: у меня ужъ есть товарищъ-associé... Я вамъ, кажется, надоблъ?
- Совсимъ пртъ, только я немного усталъ, хочу спать, я всталъ въ 6 часовъ, а теперь два съ хвостикомъ.
- Да, что же мнѣ дѣлать? Я ужасно обрадовался, когда вы взошли, ich habe so bei mir gedacht der wird Rath schaffen. Такъне запечатывать заведеція?
- Нътъ. А такъ какъ ему полюбилось въ Парижъ, такъ вы ему завтра же напишите: «Заведеніе запечатано, когда вамъ угодно принимать eго?» Вы увидите эффекть, онъ бросить жену и игру на биржѣ, прискачетъ сюда и... и увидитъ, что заведеніе не заперто.
- Saperlot! das ist eine Idée—ausgezeichnet, я пойду писать ипсьмо.
  - A я спать. Gute Nacht.
  - Schlafen sie wohl!

Я спрашиваю свъчку. Хозяинъ подаеть ее собственноручно и объясняетъ, что ему нужно переговорить со мной. Словно я сдълался духовникомъ.

- Что вамъ надобно, оно немного поздно, но я готовъ.
- Нъсколько словъ. Я васъ хотыть спросить, -- какт вы думаете, если я завтра выставлю бюсть Гарибальди, знаете, съ цвътами, съ лавровымъ вънкомъ, въдь, это будетъ очень хорошо? Я ужъ и о надинси думалъ... трехцвѣтными буквами: Garibaldi liberateur?
- -- Отчего же-можно! Только французское посольство запретитъ ходить въ вашъ ресторанъ французамъ, а они у васъ съ утра до ночи.
- Оно такъ... Но знаете, сколько денегъ запибешь, выставивши бюсть... а потомъ забудуть...
- Смотрите, замътилъ я, ръшительно вставая, чтобъ идти, не говорите никому, у васъ украдуть эту оригинальную мысль.

— Никому, никому ни слова. Что мы говорили, останется, я

надёюсь, я прошу, между нами двумя.

— Не сомнъвайтесь, и я отправился въ нечистую спальню его. Симъ оканчивается мое первое свидание съ Гарибальди въ 1864 году.

### П.

## Въ Стаффордъ-гаузъ.

Въ день прівзда Гарибальди въ Лондонъ, я его не видалъ, а видёлъ море народа, ръки народа, запруженныя имъ улицы въ нъсколько верстъ, наводненныя площади; вездѣ, гдѣ былъ карнизъ, балконъ, окно, выступили люди, и все это ждало, въ иныхъ мъстахъ шесть часовъ... Гарибальди прівхалъ въ половинъ третьяго на станцію Нейн'Эльмсъ и только въ половинъ девятаго подъбхалъ къ Стаффордъ-гаузу, у подъбзда котораго ждаль его дюкъ Сутерландъ съ женой.

Англійская толиа груба, многочисленныя сборища ея не обходятся безъ дракъ, безъ пьяныхъ, безъ всякаго рода отвратительныхъ сценъ и, главное, безъ организованнаго на огромную скалу

воровства. На этотъ разъ порядокъ былъ удивительный.

У Вестинстерскаго моста, близъ парламента, народъ такъ плотно сжался, что коляска, вхавшая шагомъ, остановилась и процессія, тянувшаяся на версту, ушла впередъ съ своими знаменами, музыкой и пр. Съ криками ура народъ облѣпилъ коляску. все, что могло продраться, жало руку, цѣловало края плаща Гарибальди, кричало Wellcom! Съ какимъ-то упоеньемъ любуясь на великаго плебея, народъ хотѣлъ отложить лошадей и везти на себъ, но его уговорили. Дюковъ и лордовъ, окружавшихъ его, никто не замѣчалъ. Эта овація продолжалась около часа, одна народная волна передавала гостя другой, при чемъ коляска двигалась нѣсколько шаговъ и снова останавливалась.

Злоба и остервентые континентальных консерваторовъ совершенно понятны. У нихъ помутилось въ глазахъ, зашумъло въ ушахъ... Англія дворцовъ, Англія сундуковъ, забывъ всякое приличіе, идетъ вмъстъ съ Англіей мастерскихъ на срътеніе какого-то «aventurien», мятежника, который былъ бы повъщенъ, если-бъ ему не удалось освободить Сициліи. «Отчего, говоритъ опростоволосившаяся La France, отчего Лондонъ никогда такъ не встръчалъ маршала Пелисье, котораго слава такъ чиста?» и даже несмотря на то, забыла она прибавить, что онъ выжигалъ сотнями арабовъ съ дътъми и женами, такъ, какъ у насъ выжигаютъ тарака-

Жаль, что Гарибальди приняль гостепримство дюка Сутерландскаго. Неважное значение и политическая стертость «пожарнаго» дюка до нѣкоторой стенени дѣлали Стаффордъ-гаузъ гостиницей Гарибальди... Но все-же обстановка не шла и интрига, затъянная до въизда его въ Лондонъ, расцебла удобно на дворцовомъ грунтъ. Цъль ея состояла въ томъ, чтобъ удалить Гарибальди отъ народа, т. е., отъ работниковъ, и отръзать его отъ тъхъ изъ друзей и знакомыхъ, которые остались върными прежнему знамени и, разумбется, пуще всего отъ Маццини. Благородство и простота Гарибальди сдула большую половину этихъ шпрмъ, но другая половина осталась, именно, невозможность говорить съ нимъ безъ свидътелей. Если-бъ Гарибальди не вставалъ въ 5 часовъ утра и не принималъ въ 6, она удалась бы совсѣмъ; по счастію, усердіе интриги раньше половины девятаго не шло; только въ день его отъ взда дамы начали вторжение въ его спальню часомъ раньше. Разъ какъ-то Мордини, не успъвъ сказать ни слова съ Гарибальди въ продолжение часа, смѣясь, зам'тилъ мнт: «Въ мірт нттъ человтка, котораго бы было легче видъть, какъ Гарибальди, но зато нътъ человъка, съ которымъ бы было труднъе говорить».

Гостепріимство дюка было далеко лишено того широкаго характера, которое нікогда мирило съ аристократической роскошью. Онъ далъ только комнату для Гарибальди и для молодого человіжа, который перевязывалъ его ногу; а другимъ, т. е., сыновьямъ Гарибальди, Гверцони и Базиліо, хотіль нанять комнаты. Они, разумітется, отказались и помістились на свой счеть въ Ваті hotel. Чтобъ оцінить эту странность, надо знать, что такое Стаффордъ-гаузъ. Въ немъ можно помістить, не стісняя хозневъ, всі семьи крестьянъ, пущенныхъ по міру отцомъ дюка, а ихъ очень много.

Англичане дурные актеры, и это имь дёлаеть величайшую честь. Въ первый разъ какъ и быль у Гарибальди въ Стаффордъ-гаузъ, придворная интрига около него бросилась мнъ въ глаза. Разные Фигаро и фактотумы, служители и наблюдатели сновали безпрерывно. Какой-то итальянецъ сдълался полицмейстеромъ, церемоніймейстеромъ, экзекуторомъ, дворецкимъ, бутафоромъ, суфлеромъ. Да и какъ не сдълаться за честь засъдать съ дюками и лордами, вмъстъ съ ними предпринимать мъры для предупрежденія и пресъченія всъхъ сближеній между народомъ и Гарибальди, и вмъстъ съ дюкесами плести паутину, которая должна поймать итальянскаго вождя и которую хромой генералъ рвалъ ежедневно, не замъчая ее.

Гарибальди, напримъръ, ъдетъ къ Маццини. Что дълать? Какъ скрыть? Сейчасъ на сцену бутафоры, фактотумы,—средство найдено. На другое утро весь Лондонъ читаетъ: «Вчера въ такомъ-то часу Гарибальди посътилъ въ Онсло Террасъ Дисонъ Френса». Вы думаете, что это вымышленное имя,—нътъ, это имя хозяина, содержащаго квартиру.

Гарибальди не думаль отрекаться отъ Мацини; но онъ могъ убхать изъ этого водоворота, не встрфчаясь съ нимъ при людяхъ и не заявивъ этого публично. Мацини отказался отъ посфщеній къ Гарибальди, пока онъ будетъ въ Стаффордъ-гаузѣ. Они могли бы легко встрфтиться при небольшомъ числѣ, но никто не бралъ иниціативы. Подумавъ объ этомъ, я написалъ къ Мацини записку и спросилъ его, приметъ ли Гарибальди приглашеніе въ такую даль, какъ Теддингонъ, если нфтъ, то я его не буду звать, тъмъ дѣло и кончится; если же поѣдетъ, то я очень желалъ бы ихъ обоихъ пригласить. Мацини написалъ мнѣ на другой депь, что Гарибальди очень радъ, и что если ему ничего не помѣшаетъ, то они пріѣдутъ въ воскресенье, въ часъ. Мацини въ заключеніе прибавилъ, что Гарибальди очень бы желалъ видѣть у меня Ледрю-Роллена.

Въ субботу утромъ я повхалъ къ Гарибальди и, не заставъ его дома, остался съ Саффи, Гверцони и др. его ждать. Когда онъ возвратился, толна посвтителей, дожидавшихся въ свияхъ и коридорв, бросилась на него; одинъ храбрый бриттъ вырвалъ у него налку, всунулъ ему въ руку другую и съ какимъ-то азартомъ повторялъ: «Генералъ, эта лучше, вы примите, вы позвольте, эта лучше»:—«Да за чвмъ-же?—спросилъ Гарибальди, улыбаясь,—я къ моей палкъ привыкъ». Но видя, что англичанинъ безъ бон налки не отдастъ, ножалъ слегка плечами и пошелъ дальше.

Въ залъ, за мною, шелъ крупный разговоръ. Я не обратилъ бы на него никакого вниманія, если-бъ не услышалъ громко повторенныя слова:

— Саріте, Теддингтонъ въ двухъ шагахъ отъ Гамптонъ-корта. Помилуйте, да это невозможно, матеріально невозможно... въ двухъ шагахъ отъ Гамптонъ-корта, это 16-18 миль.

Я обернулся и, видя совершенно мий незнакомаго человика. принимавшаго такъ къ сердцу разстояніе отъ Лондона до Теддингтона, я ему сказалъ:

Двѣнадцать или тринадцать миль.
 Спорившій тотчасъ обратился ко мнѣ:

- И тринадцать миль страшное дёло. Генералъ долженъ быть въ три часа въ Лондонѣ... во всякомъ случат Теддингтонъ надо отложить.

Гверцони повторялъ ему, что Гарибальди хочетъ ёхать и поъдетъ.

Къ итальянскому опекуну прибавился англійскій, находившій, что принять приглашеніе въ такую даль сдёлаеть гибельный антецеденть... Желая имъ напомнить неделикатность дебатировать этотъ вопросъ при мнѣ, я замѣтилъ имъ:

— Господа, позвольте мнѣ покончить вашъ споръ,—и тутъ же, подойдя къ Гарибальди, сказалъ ему:—Мнѣ ваше посѣщеніе безконечно дорого. Зная, какъ вы заняты, я боялся васъ звать. По одному слову общаго друга, вы велѣли мнѣ передать, что пріѣдете. Это вдвое дороже для меня. Я вѣрю, что вы хотите пріѣхать, но я не настаиваю (је n'insiste pas), если это сопряжено съ такими непреоборимыми препятствіями, какъ говоритъ этотъ господинъ, котораго я не знаю,—я указалъ его пальцемъ.

— Въ чемъ же преинтствія?— спросилъ Гарибальди.

Impressario подобжалъ и скороговоркой представилъ ему всъ резоны, что ъхать завтра въ 11 часовъ въ Теддингтонъ и прітхать къ тремъ невозможно.

— Это очень просто, сказалъ Гарибальди, значитъ надо бхать не въ 11, а въ 10, кажется ясно?

Импрессаріо исчезъ.

— Въ такомъ случай, чтобъ не было ни потери времени, ни исканья, ни новыхъ затрудненій, сказаль я, позвольте мий прітхать къ вамъ въ десятомъ часу и пойдемте вмійсті.

— Очень радъ, я васъ буду ждать.

Отъ Гарибальди я отправился къ Ледрю-Ролленъ. Въ последніе два года я его не видалъ. Не потому, чтобъ между нами были какіс-нибудь счеты, но потому, что между нами мало было общаго. Къ тому же лондонская жизнь и въ особенности въ его предместьяхъ разводить людей какъ-то незаметно. Онъ держалъ себя въ последнее время одиноко и тихо, хотя и верилъ съ темъ же ожесточеніемъ, съ которымъ верилъ 14 іюня 1849 въ близкую революцію во Франціи. Я не верилъ въ нее почти также долго и тоже оставался при моемъ неверіи.

Ледрю-Ролленъ, съ большой вѣжливостью ко мнѣ, отказался отъ приглашенія. Онъ говорилъ, что душевно былъ бы радъ онять встрѣтиться съ Гарибальди и, разумѣется, готовъ бы былъ ѣхать ко мнѣ, но что онъ, какъ представитель французской республики, какъ пострадавшій за Римъ (13 іюня 1849 года), не можетъ Гарибальди видѣть въ первый разъ иначе, какъ у себя.

— Если, говориль онъ, политическіе виды Гарибальди не дозволяють ему офиціально показать свою симпатію французской республикт, въ моємь ли лицт, въ лицт Луи-Блана, или когонибудь изъ насъ, все равно, я не буду стовать. Но отклоню

свиданье съ нимъ, гдъ бы оно ни было. Какъ частный человъкъ, я желаю его видъть, но мнъ нъть особеннаго дъла до него; французская республика не куртпзанка, чтобъ ей назначать свиданье полутайкомъ. Забудьте на минуту, что вы меня приглашаете къ себъ, и скажите откровенно, согласны вы съ моимъ разсужденіемъ или нѣтъ?

— Я полагаю, что вы правы, и надъюсь, что вы не имъете ничего противъ того, чтобъя передалъ нашъ разговоръ Гарибальди?

— Совстиъ напротивъ.

Затёмъ разговоръ перемёнился. Февральская революція и 1848 годъ вышли изъ могилы и снова стали передо мной въ томъ же образъ тогдашняго трибуна, съ нъсколькими морщинами и съдинами больше. Тотъ же слогъ, тъ же мысли, тъ же обороты, а главное та же надежда.

— Дъла идутъ превосходно. Имперія не знаеть, что дълать. Elle est debordée. Сегодня еще я имълъ въсти, невъроятный успёхъ въ общественномъ мнёніи. Да и довольно; кто могъ

думать, что такая нелъпость продержится до 1864.

Я не противоръчилъ и мы разстались довольные другъ

На другой день, прітхавши въ Лондонъ, я началъ съ того, что взяль карету съ парой сильныхъ лошадей и отправился въ Стаффордъ-гаузъ.

Когда я взошелъ въ комнату Гарибальди, его въ ней не было. А ярый итальянецъ уже съ отчанніемъ проповедываль о совер-

шенной невозможности эхать въ Теддингтонъ.

— Неужели вы думаете, говорилъ онъ Гверцони, что лошади дюка вынесутъ 12 или 13 миль взадъ и впередъ, да ихъ просто не дадуть на такую повздку.

- Ихъ ненужно, у меня есть карета.

- Да какія же лошади повезуть назадь, все ть же
- Не заботьтесь, если лошади устануть, впрягуть другихъ.

Гверцони съ бъщенствомъ сказалъ мнъ:

- Когда это кончится эта каторга, всякая дрянь распоря-

жается, интригуетъ.

— Да вы не обо мит ли говорите, кричаль блёдный отъ злобы итальянецъ, я, м. г., не позволю съ собой обращаться, какъ съ какимъ-нибудъ лакеемъ, п онъ схватилъ на столъ карандашъ, сломаль его и бросиль. Да если такъ, я все брошу, я сейчасъ уйду.

- Объ этомъ-то васъ просять.

Ярый итальянець направился быстрымь шагомъ къ двери. но въ дверяхъ показался Гарибальди, покойно посмотрълъ онъ на нихъ, на меня и потомъ сказалъ:

— Не пора ли? Я въ вашихъ распоряженіяхъ, только доставьте меня, пожалуйста, въ Лондонъ къ 21/2 или 3 часамъ, а теперь позвольте мий принять стараго друга, который только что пріъхалъ, да вы, можетъ, его знаете, Мордини.

— Больше, чъмъ знаю, мы съ нимъ пріятели. Если вы не

имъете ничего противъ, я его приглашу.

Возьмемъ его съ собой.

Взошелъ Мордини, я отошелъ съ Саффи къ окну. Вдругъ фактотумъ, измънившій свое намъреніе, подобжалъ ко мев и храбро спросилъ меня:

- Позвольте, я ничего не понимаю, у васъ карета, а ъдете, вы сосчитайте: генералъ, вы, Меноти, Гверцони, Саффи и Мордини... гдъ вы сядете?
  - Если нужно, будетъ еще карета, двъ...

— А время-то ихъ достать...

Я посмотръль на него и, обращаясь къ Мордини, сказаль ему:

- Мордини, я къ вамъ и къ Саффи съпросьбой, возьмите энсомъ и пофзжайте сейчась на Ватерлооскую станцію, вы застанете train. а то вотъ этотъ господинъ заботится, что намъ негдъ състь и нътъ времени послать за другой каретой. Если-бъ я вчера зналъ, что будуть такія затрудненія, я пригласиль бы Гарибальди вхать по желъзной дорогъ; теперь это потому нельзя, что я не отвъчаю, найдемъ ли мы карету или коляску у теддингтонской станціи. А пъшкомъ идти до моего дома я не хочу его заставить.
- Очень рады, мы ѣдемъ сейчасъ, отвѣчали Саффи и Мордини.

— Пофдемте и мы, сказалъ Гарибальди, вставая.

Мы вышли, толпа уже густо покрывала мъсто передъ Стаффордъ-гаузомъ. Громкое, продолжительное ура встретило и про-

водило нашу карету.

Менотти не могь убхать съ нами, онъ съ братомъ отправлялся въ Виндзоръ. Говорятъ, что королева, которой хотълось видъть Гарибальди, но которая одна во всей Великобританіи не им'єла на то права, желала нечаянно встрътиться съ его сыновьями. Въ этомъ дълежъ львиная часть досталась не королевъ...

#### Ш.

#### насъ.

День этотъ удался необыкновенно и былъ однимъ изъ самыхъ свътлыхъ, безоблачныхъ и прекрасныхъ дней послъднихъ пятнадцати лътъ. Въ немъ была удивительная ясность и полнота,

въ немъ была эстетическая мъра и законченность, очень ръдко случающіяся. Однимъ днемъ позже, и праздникъ нашъ не имълъ бы того характера. Однимъ не итальянцемъ больше и тонъ былъ бы другой, по крайней мъръ, была бы боязнь, что онъ исказится. Такіе дни представляютъ вершины... Дальше, выше, въ сторону—ничего, какъ въ пропътыхъ звукахъ, какъ въ распустившихся цвътахъ.

Съ той минуты, какъ исчезъ подъйздъ Стаффордъ-гауза съ фактотами, лакеями и швейдаромъ Сутерландскаго дюка и толна приняла Гарибальди своимъ ура, на душт стало легко, все настроилось на свободный человъческій діапазонъ и такъ осталось до той минуты, когда Гарибальди, снова тъснимый, сжимаемый народомъ, цълуемый въ илечо и въ полы, съль въ карету и уъхалъ въ Лондонъ.

На дорогѣ говорили объ разныхъ разностяхъ. Гарибальди дивился, что нѣмцы не понимаютъ, что въ Даніи побѣждаетъ не ихъ свобода, не ихъ единство, а двѣ арміи двухъ государствъ, съ которыми они послѣ не сладятъ 1).

— Если-бъ Данія была поддержана въ ея борьбѣ, говорилъ онъ, силы Австріи и Пруссіи были бы отвлечены, намъ открылась бы линія дѣйствій на противоположномъ берегѣ.

Я замѣтилъ ему, что нѣмцы страшные націоналисты, что на нихъ наклепали космополитизмъ, потому что ихъ знали по книгамъ. Они патріоты не меньше французовъ, но французы спокойнѣе, зная, что ихъ боятся. Нѣмцы знаютъ невыгодное мнѣніе о себѣ другихъ народовъ и выходятъ изъ себя, чтобъ поддержать свою репутацію.

— Неужели вы думаете, прибавилъ я, что есть нѣмцы, которые хотять отдать Венецію и квадрилатеръ? Можеть, еще Венецію, вопрось этотъ слишкомъ на виду, неправда этого дѣла очевидна, аристократическое имя дѣйствуетъ на нихъ; а вы поговорите о Тріестѣ, который имъ нуженъ для торговли, и о Галиціи или Познани, которыя имъ нужны для того, чтобъ ихъ цивилизовать.

Между прочимъ, я передалъ Гарибальди нашъ разговоръ съ Ледрю-Ролленомъ и прибавилъ, что, по моему миѣнію, Ледрю-Ролленъ правъ.

— Безъ сомнѣнія, сказалъ Гарибальди, совершенно правъ. Я не подумалъ объ этомъ. Завтра поѣду къ нему и къ Луи Блану. Да нельзя ли заѣхать теперь? прибавилъ онъ.

Мы были на Вондсвортскомъ шоссе, а Ледрю Ролленъ живетъ

<sup>1)</sup> Не странно ли, что Гарибальди въ оцѣнкѣ своей Шлезвигъ-Гольштинскаго вопроса встрѣтился съ К. Фогтомъ?

въ Сенъ-Джонсъ-Вудъ Паркъ, т. е., за восемь миль. Пришлось и мнъ à l'impressario сказать, что это матеріально невозможно.

И опять минутами Гарибальди задумывался и молчаль, и опять черты его лица выражали ту великую скорбь, о которой я упоминаль. Онъ глядёль въ даль, словно искалъ чего-то на горизонтъ. Я не прерывалъ его, а смотрёлъ и думалъ: «мечъ ли онъ въ рукахъ Провидънія», или нъть, но навърное не полководець по ремеслу, не генералъ. Онъ сказалъ святую истину, говоря, что онъ не солдать, а просто человъкъ, вооружившійся, чтобъ защитить поруганный очагъ свой, апостолъ-воинъ, готовый проповъдывать крестовый походъ и идти во главъ его, готовый отдать за свой народъ свою душу, своихъ дътей, нанести и вынести страшные удары, вырвать душу врага, разсъять его прахъ... и, позабывши потомъ побъду, бросить окровавленный мечъ свой вмъстъ съ ножнами въ глубину морскую...

Все это и *именно это* поняли народы, поняли массы, поняла чернь тѣмъ ясновидѣніемъ, тѣмъ откровеніемъ, которымъ нѣкогда римскіе рабы поняли непонятную тайну пришествія Христова, и толны страждущихъ и обремененныхъ, женщинъ и старцевъ, молились кресту казненнаго. Понять значитъ для нихъ увѣровать,

увъровать значить чтить, молиться.

Оттого-то весь плебейскій Теддингтонь и толиился у ріметки нашего дома, съ утра поджидая Гарибальди. Когда мы подъйхали, толиа въ какомъ-то изступленіи бросплась его привітствовать, жала ему руки, кричала: God bless you, Garibaldi, женщины хватали руку его и ціловали, ціловали край его плаща—я это виділь своими глазами—подымали дітей своихъ къ нему, плакали... Онъ, какъ въ своей семь, улыбаясь, жалъ имъ руки, кланялся и едва могь пройти до сіней: Когда онъ взошель, крикъ удвоплся,—Гарибальди вышель опять и, положа обі руки на грудь, кланялся во всі стороны. Народъ затихъ, но остался и простояль все время, пока Гарибальди убхалъ.

Трудно людямь, не видавшимь пичего подобнаго, понять подобныя явленія: «флибустьерь», сынъ моряка пвъ Ниццы, матрось... и этоть царскій пріемъ! Что онъ сдѣлаль для англійскаго народа?... И добрые люди ищуть, ищуть въ головѣ объясненія, ищуть тайную пружину: «въ Англіи удивительно съ какимь плутовствомъ умѣеть начальство устроивать демонстраціп... Насъ не проведешь—Wir wissen was wir wissen—мы сами Гнейста читали!»

Чего добраго, можетъ, и лодочникъ въ Неаполъ, который разсказывалъ 1), что медальонъ Гарибальди и медальонъ Богородицы

¹) "Колоколъ", № 177 (1864),

предохраняють во время бури, быль подкуплень партіей Сикарди

и министерствомъ Веносты!

Хотя оно и сомнительно, чтобъ журнальные Видоки, особенно наши москворъцкіе, такъ ужъ ясно могли отгадывать игру такихъ мастеровъ, какъ Пальмерстонъ, Гладстонъ и Ко., но все же иной разъ они ее скоръе поймуть, по сочувствію крошечнаго наука съ огромнымъ тарантуломъ, что секретъ Гарибальдіевскаго пріема. И это превосходно для нихъ,—пойми они эту тайну, имъ придется повъситься на ближней осинъ. Клоны на томъ только основаніи и могутъ жить счастливо, что они не догадываются о своемъ запахъ. Горе клопу, у котораго раскроется человъческое обоняніе...

...Маццини прі халь тотчась послів Гарибальди, мы всів вышли его встрівчать къ воротамъ. Народъ, услышавъ кто это, громко прив'єтствовалъ; народъ вообще ничего не имієть противъ него. Старушечій страхъ передъ агитаторомъ начинается съ лавочниковъ, мелкихъ собственниковъ и проч.

Нѣсколько словъ, которыя сказали Маццини и Гарибальди, извѣстны читателямъ Колокола, мы не считаемъ нужнымъ ихъ

повторять,

...Всѣбыли до того потрясены словами Гарибальди о Маццини 1), тѣмъ искреннимъ голосомъ, которымъ они были сказаны, той полнотой чувства, которое звучало въ нихъ, той торжественностью, которую они пріобрѣтали отъ ряда предшествовавшихъ событій, что никто не отвѣчалъ, одинъ Маццини протянулъ руку и два раза повторилъ—«это слишкомъ». Я не видалъ ни одного лица, не исключая прислуги, которое не приняло бы вида геспейій и не было бы взволновано сознаніемъ, что тутъ пали великія слова, что эта минута вносилась въ исторію.

Мы перешли въ другую комнату. Въ коридоръ понабрались разныя лица, вдругъ продпрается старикъ итальянецъ, стародавній эмпгрантъ, бъднякъ, дълавшій мороженое; онъ схватилъ Гарибальди за полу, остановилъ его и, заливаясь слезами, сказалъ:

— Ну, теперь я могу умереть, я его видёль, я его видёль! Гарибальди обняль и поцёловаль старика. Тогда старикь,

1) Гарибальди, съ рюмкой марсалы въ рукахъ, сказаль:

<sup>&</sup>quot;Я хочу сегодня исполнить долгь, который уже давно слёдовало бы исполнить. Между нами здёсь человёкь, оказавший величайши услуги и моему родному краю и свободё вообще. Когда еще я быль юношей и имёль одни неопредёленыя стремленія, я искать человёка, который бы могь быть путеводителемь, совётникомь моей юности, искаль его, какъ жаждущій ищеть воды... Я нашель его. Онь одинь бодрствовать, когда все спало кругомь. Онь сдёлался монмъ другомь и остался имъ навсегда, въ немъ никогда не потухаль священный огонь любви къ отечеству и къ свободё. Этоть человёкь Джузепие Маццини—я нью за него, за моего друга, за моего наставника!"

перебиваясь и путаясь, съ страшной быстротой народнаго птальянскаго языка, началь разсказывать Гарибальди свои похожденія и заключиль свою річь удивительнымь цвіткомъ южнаго краснорічія:

— Я теперь умру покойно, а вы—да благословитъ васъ Богъ живите долго, живите для нашей родины, живите для насъ, живите, пока я воскресну изъ мертвыхъ!

Онъ схватилъ его руку, покрылъ ее поцѣлуями и, рыдая, ушелъ вонъ.

Какъ ни привыкъ Гарибальди ко всему этому, но явнымъ образомъ взволнованный, онъ сѣлъ на небольшой диванъ, дамы окружили его, я сталъ возлѣ дивана,—и на него налетѣло облако тяжелыхъ думъ; но на этотъ разъ онъ не вытериѣлъ и сказалъ:

— Мнѣ пногда бываетъ страшно и до того тяжело, что я боюсь потерять голову... слишкомъ много хорошаго. Я помню, когда пзгнанникомъ я возвращался изъ Америки въ Ниццу, когда я онять увидалъ родительскій домъ, нашелъ свою семью, родныхъ, знакомыя мѣста, знакомыхъ людей,—я былъ удрученъ счастіемъ... Вы знаете, прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ, что и что было потомъ, какой рядъ бѣдствій. Пріемъ народа англійскаго превзошелъ мои ожиданія... Что же дальше? Что впереди?

Я не имъть ни одного слова успокоенія, я внутренно дрожать передъ вопросомъ: Что дальше? Что впереди?

... Пора было \*\*

хать. Гарибальди всталь, кр\*

пко обняль меня, дружески простился со вс\*

ми,—снова крики, снова ура, снова два толстыхъ полицейскихъ и мы, улыбаясь и прося, шли на брешу, снова God bless you, Garibaldi, for ever... и карета умчалась.

Вев остались въ какомъ-то поднятомъ, тихо торжественномъ настроеніи. Точно послів праздничнаго богослуженія, послів крестинъ или отъізда невісты, у всіхъ было полно на душів, всів перебирали подробности и примыкали къ грозному, безотвітному—«А что дальше»?

Князь П. В. Долгорукій первый догадался взять листь бумаги и записать оба тоста. Онъ записать върно, другіе пополнили. Мы показали Маццини и другимъ, и составили тоть тексть (съ легкими и несущественными перемънами), который облетъль Европу.

Потомъ убхалъ Маццини, убхали гости. Мы остались одни съ двумя-тремя близкими и тихо настали сумерки.

Какъ искренно и глубоко жалътъ я, дъти, что васъ не было съ нами въ этотъ день: такіе дни хорошо помнить долгіе годы, отъ нихъ свъжъетъ душа и примиряется съ изнанкой жизни. Ихъ очень мало...

#### IV.

#### 26. Princess Gate.

«Что-то будетъ?»... Ближайшее будущее не заставило себя ждать.

Какъ въ старыхъ эпопеяхъ, въ то время, какъ герой спокойно отдыхаеть на лаврахъ, пируеть или спитъ, Раздоръ, Месть, Зависть въ своемъ парадномъ костюмъ съъзжаются въ какихъ-нибудь тучахъ; Месть съ Завистью варятъ ядъ, куютъ кинжалы, а Раздоръ раздуваетъ мъха и оттачиваетъ острія. Такъ случилось и теперь, въ приличномъ переложении на наши мирно-кроткие нравы. Въ нашъ въкъ все это дълается просто людьми, а не аллегоріями: они собираются въ свътлыхъ залахъ, а не во «тьмъ ночной», безъ растрепанныхъ фурій, а съ пудренными лакеями; декораціи и ужасы классическихъ поэмъ и дітскихъ пантомимъ замінены простой мирной игрой—въ крапленныя карты, колдовство-обыденными коммерческими продълками, въ которыхъ честный лавочникъ клянется, продавая какую-то смородинную ваксу съ водкой, что это «портъ» и притомъ «олдпортъ ххх». зная, что ему никто не въритъ, но и процесса не сдълаетъ, а если сделаеть, то самъ же будеть въ дуракахъ.

Въ то самое время, какъ Гарибальди называлъ Маццини своимъ «другомъ и учителемъ», называлъ его тъмъ раннимъ. бдящимъ съятелемъ, который одиноко стоялъ на полъ, когда все снало около него, и, указывая просыпавшимся путь, указаль его тому рвавшемуся на бой за родину молодому воину, изъ котораго вышелъ вождь народа итальянскаго; въ то время, какъ, окруженный друзьями, онъ смотрёлъ на плакавшаго бёднякаизгнанника, повторявшаго свое «нынъ отпущаеши», и самъ чуть не плакаль; въ то время, когда онъ повъряль намь свой тайный ужась передъ будущимъ, какіе-то заговорщики рышили отдёлаться во чтобъ ни стало отъ неловкаго гостя и несмотря на то, что въ заговорю участвовали люди, состарившеся въ дипломатіяхь и интригахь, посёдёвшіе и падшіе на ноги въ каверзахъ и лицемъріи, они сыграли свою игру вовсе не хуже честнаго лавочника, продающаго на свое честное слово сморолинную ваксу за Old Port xxx.

Англійское правительство никогда не приглашало и не выписывало Гарибальди, — это все вздоръ, выдуманный глубокомысленными журналистами на континентѣ. Англичане, приглашавшіе Гарибальди, не имѣютъ ничего общаго съ министерствомъ. Предположеніе правительственнаго илана такъ же нелѣпо, какъ тонкое
замѣчаніе нашихъ кретиновъ о томъ, что Пальмерстонъ далъ
Стансфильду мѣсто въ адмиралтействѣ именно потому, что онъ
другъ Мацини. Замѣтъте, что въ самыхъ яростныхъ нападкахъ
на Стансфильда и Пальмерстона объ этомъ не было рѣчи ни въ
парламентѣ, ни въ англійскихъ журналахъ, подобная пошлость
возбудила бы такой же смѣхъ, какъ обвиненіе Уркуарда, что
Пальмерстонъ береть деньги съ Россіи. Чемберсъ и другіе спрашивали Пальмерстона, не будетъ ли пріѣзъ Гарибальди непріятенъ правительству. Онъ отвѣчалъ то, что ему слѣдовало отвѣчать: правительству не можетъ быть непріятно, чтобъ генералъ
Гарибальди пріѣхалъ въ Англію, оно, съ своей стороны, не отклоняетъ его пріѣзда и не приглашаетъ его.

Гарибальди согласился прівхать съ цёлью снова выдвинуть въ Англіи итальянскій вопросъ, собрать настолько денегъ, чтобъ начать походъ въ Адріатикъ и совершившимся фактомъ увлечь Виктора Эмануила.

Вотъ и все.

Что Гарибальди будуть оваціи,—знали очень хорошо приглашавшіе его и всѣ желавшіе его пріъзда. Но оборотъ, который приняло дъло, они не ждали.

Англійскій народъ при вѣсти, что человѣкъ «красной рубашки», что раненый итальянской пулей ѣдетъ къ нему въ гости, встрепенулся и взмахнуть своими крыльями, отвыкнувшими отъ полета и потерявшими гибкость отъ тяжелой и безпрерывной работы. Въ этомъ взмахѣ была не одна радость и не одна любовь.

Вспомните мою встръчу съ корабельщикомъ изъ Нью-Кестля. Вспомните, что лондонскіе работники были первые, которые въ своемъ адресъ преднамъренно поставили имя Маццини рядомъ съ Гарибальди.

Англійская аристократія на сію минуту отъ своего могучаго и забитаго недоросля ничего не боится; сверхъ того, ея Ахилловы пяты вовсе не со стороны европейской революціи. Но все же ей былъ крайне непріятенъ характеръ, который принимало дѣло. Главное, что коробило народныхъ пастырей въ мирной агитаціи работниковъ, это то, что она выводила ихъ изъ достодолжнаго строя, отвлекала ихъ отъ доброй, нравственной и притомъ безвыходной заботы о хлѣбѣ насущномъ, отъ пожизненнаго hard labor, на который не они его приговорили, а нашъ общій фабриканть, оиг Макег, богъ Шефтсбюри, богъ Дерби, богъ Сутерландовъ и Девоншировъ — въ неисповѣдимой премудрости своей и нескончаемой благости.

Настоящей англійской аристократіи, разум'єтся, и въ голову не приходило изгонять Гарибальди; напротивъ, она хот'єла утянуть его въ себя, закрыть его золотымъ облакомъ, какъ закрывалась волоокая Гера, забавляясь съ Зевсомъ. Она собпралась заласкать его, закормить, запоить его, не дать ему придти въ себя, опомниться, остаться минуту одному. Гарибальди хочетъ денегь,—много ли могутъ ему собрать, осужденные благостью нашего «фабриканта», фабриканты Шефтсбюри, Дерби, Девоншира на тихую и благословенную б'ёдность? Мы ему набросаемъ полмиллюна, миллюнъ франковъ, полнари за лошадь на Эпсомской скачкѣ, мы ему купимъ—

Деревню, дачу, домъ, Сто тысячъ чистымъ серебромъ.

Мы ему купимъ остальную часть Капреры, мы ему купимъ удивительную яхту, онъ такъ любитъ кататься по морю; а чтобъ онъ не бросилъ на вздоръ деньги (подъ вздоромъ разумъется освобождение Италіи), мы сдълаемъ маіорать, мы предоставимъ ему пользоваться рентой 1).

Всѣ эти планы приводились въ исполненіе съ самой блестящей постановкой на сцену, но удавались мало. Гарибальди точно мѣсяцъ въ ненастную ночь, какъ облака ни надвигались, ни торопились, ни чередовались, выходилъ свѣтлый, ясный и свѣтилъ къ намъ внизъ.

Аристократія начала нѣсколько конфузиться. На выручку ей явились джльщы. Ихъ интересы слишкомъ скоротечны, чтобъ думать о нравственныхъ послѣдствіяхъ агитаціп, имъ надобно владѣть минутой,—какъ бы этимъ не воспользовались тори... и то Стансфильдова исторія воть гдѣ сидитъ.

По счастью, въ самое это время Кларендону занадобилось попилигримствовать въ Тюльери! Нужда была небольшая, онъ тотчасъ возвратился. Наполеонъ говорилъ съ нимъ о Гарибальди и изъявилъ свое удовольствіе, что англійскій народъ чтитъ великихъ людей. Дрюинъ-де-Люйсъ говорилъ, т. е., онъ ничего не говорилъ, а если-бъ онъ заикнулся—

> Я близь Кавказа рождена, Civis romanus sum!

Австрійскій посоль даже и не радовался пріему—умвелцунгсъ

<sup>()</sup> Какъ будто Гарибальни просиль денегъ для себя. Разумѣется, онъ отказался отъ приданаго англійской аристократіи, даннаго на такихъ нелѣныхъ условіяхъ, къ крайнему огорченію полицейскихъ журналовъ, расчитавшихъ грошъ въ грошъ, сколько онъ увезетъ на Капреру.

генерала. Все обстояло благополучно. А на душъ-то кошки... кошки.

Не спится министерству; шепчется «первый» со вторымъ, «второй» съ другомъ Гарибальди, другъ Гарибальди съ родственникомъ Пальмерстона, съ лордомъ Шефтсбюри и съ еще большимъ его другомъ Силли, Силли шепчется съ операторомъ Фергюсономъ,—испугался Фергюсонъ, ничего не боявшійся за ближняго, и пишетъ письмо за письмомъ о болѣзни Гарибальди. Прочитавши ихъ, еще больше хирурга испугался Гладстонъ. Кто могъ думать, какая пропасть любви и состраданія лежитъ

иной разъ подъ портфелемъ министра финансовъ?..

...На другой день послъ нашего праздника поъхалъ я въ Лондонъ. Беру на желъзной дорогъ вечернюю газету и читаю большими буквами: «Болъзнь генерала Гарибальди», потомъ въсть, что онъ на дняхъ ъдетъ въ Капреру, не запъжая ни въ одинъ городъ. Не будучи ни такъ нервно чувствителенъ, какъ Шефтсбюри, ни такъ тревожливъ за здоровье друзей, какъ Гладстонъ, я нисколько не обезпокоплся газетной въстью о болъзни человъка, котораго вчера видълъ совершенно здоровымъ, конечно, бываютъ болъзни очень быстрыя, но отъ апоплексическаго удара Гарибальди былъ далекъ, а если-бъ съ нимъ что и случилось, ктонибудъ изъ общихъ друзей далъ бы знать. А потому не трудно было догадаться, что это выкинута какая-то штука, ип соир monté.

Бхать къ Гарибальди было поздно. Я отправился къ Маццини и не засталь его, потомъ къ одной дамъ, отъ которой узналъ главныя черты министерскаго состраданія къ бользии великаго человъка. Туда пришелъ и Маццини, такимъ я его еще не видалъ; въ его чертахъ, въ его голосъ были слезы.

Изъ рѣчи, сказанной на второмъ митингѣ на Примрозъ-Гилѣ Шеномъ, можно знать en gros, какъ было дѣло. «Заговорщики» были имъназваныи обстоятельства описаны довольно върно. Шефтсбюри пріёзжаль сов'єтоваться съ Силли; Силли, какъ дёловой человъкъ, тотчасъ сказалъ, что необходимо письмо Фергюсона; Фергюсонъ, слишкомъ учтивый человѣкъ, чтобъ отказать въ нисьмъ. Съ нимъ-то въ воскресенье вечеромъ, 17 апръля, явились заговорщики въ Стаффордъ-гаусъ и возлѣ комнаты, гдѣ Гарибальди спокойно сидёлъ, не зная ни того, что онъ такъ боленъ, ни того, что онъ вдетъ, влъ виноградъ, - сговаривались, что дёлать. Наконецъ, храбрый Гладстонъ взялъ на себя трудную роль и пошель въ сопровождении Шефтсбюри и Сплли въ комнату Гарибальди. Гладстонъ заговаривалъ цълые парламенты, университеты, корпораціи, депутаціи, жудрено-ли было заговорить Гарибальди, къ тому же онъ ръчь велъ на итальянскомъ языкъ, и хорошо сдълалъ, потому что вчетверомъ говорилъ безъ

свидѣтелей. Гарибальди ему отвѣчалъ сначала, «что онъ здоровъ»; но министръ финансовъ не могъ принять случайный фактъ его здоровья за оправданіе и доказывалъ по Фергюсону, что онъ болень, и это съ документомъ въ рукѣ. Наконецъ, Гарибальди, догадавшись, что нѣжное участіе прикрываетъ что-то другое. спросилъ Гладстона:

— Значить ли все это, что они желають, чтобъ онъ вхаль? Гладстонъ не скрылъ отъ него, что присутствіе Гарибальди

во многомъ усложняетъ трудное безъ того положение.

— Въ такомъ случав я вду.

Смягченный Гладстонъ испугался слишкомъ замитнаго усивха и предложилъ ему вхать въ два-три города, и потомъ отправиться въ Капреру.

— Выбирать между городами я не умёю, отвёчаль оскорб-

ленный Гарибальди, и даю слово, что черезъ два дня уѣду.

... Въ понедѣльникъ была интерпелляція въ парламентѣ. Вѣтреный старичекъ Пальмерстонъ въ одной и быстрый пилигримъ Кларендонъ въ другой палатѣ все объясняли по чистой совѣсти. Кларендонъ удостовѣрилъ пэровъ, что Наполеонъ вовсе не требовалъ высылки Гарибальди. Пальмерстонъ, съ своей стороны, вовсе не желалъ его удаленія. Онъ только безпокоился о его здоровьи... и тутъ онъ вступилъ во всѣ подробности, въ которыя вступаетъ любящая жена пли врачъ, присланный отъ страховаго общества,—о часахъ сна и обѣда, о послѣдствіяхъ раны, о діэтѣ, о волненіи, о лѣтахъ. Засѣданіе парламента сдѣлалось консультаціей лекарей. Министръ ссылался не на Чатама и Кембеля, а на лечебники и Фергюсона, помогавшаго ему въ этой трудной операціи.

Законодательное собраніе рішило, что Гарибальди болень. Города и села, графства и банки управляются въ Англіи по собственному крайнему разумънію. Правительство, ревниво отталкивающее отъ себя всякое подозрѣніе въ вмѣшательствѣ, дозволяющее ежедневно умирать людямъ съ голоду, боясь ограничить самоуправленіе рабочихъ домовъ, позволяющее морить на работъ и кретинизировать цълыя населенія, вдругъ дълается больничной сидълкой, дядькой. Государственные люди бросають кормило великаго корабля и шушукаются о здоровьи человъка, не просящаго ихъ о томъ, прописывають ему безъ его спроса Атлантическій океанъ и Сутерландскую «Ундину», министръ финансовъ забываетъ балансъ, income taxe, debit и credit, и ъдетъ на консиліумъ. Министръ министровъ докладываеть этотъ натологическій казусь парламенту. Да неужели самоуправленіе желудкомъ и ногами меньше свято, чамъ произволъ богоугодныхъ заведеній, служащихъ введеніемъ въ кладбище?

Давно ли Станефильдъ пострадаль за то, что, служа королевѣ, не счелъ обязанностью поссориться съ Маццини? А теперь самые мъстиные министры пишутъ не адресы, а рецепты и хлопочутъ изъ всѣхъ силъ о сохраненіи дней такого же революціонера, какъ Маццини?

Гарибальди долженъ былъ усомниться въ желаніи правительства, изъявленномъ ему слишкомъ горячими друзьями его, и остаться; развѣ кто-нибудь могъ сомнѣваться въ истинѣ словъ перваго министра, сказанныхъ представителямъ Англіи,—ему это совѣтовали всѣ друзья.

— Слова Пальмерстона не могуть развязать моего честнаго слова,—отв'вчаль Гарибальди и вел'єль укладываться.

Это Сольферино!

Вълинскій давно зам'єтиль, что секреть усп'єха дипломатовъ состоить въ томь, что они съ нами поступають какъ съ дипломатами, а мы съ  $\partial$  *ипломатами* какъ съ людьми.

Теперь вы понимаете, *что однимъ днемъ повоке* и нашъ праздникъ и рѣчь Гарибальди, его слова о Маццини не имѣли бы того значенія.

...На другой день я побхалъ въ Стаффордъ-гаузъ и узналъ, что Гарибальди перебхалъ къ Силли, 26 Princess Gate, возлъ Кензинтонскаго сада. Я отправился въ Princess Gate; говорить съ Гарибальди не было никакой возможности, его не спускали съ глазъ, человъкъ двадцать гостей ходило, сидъло, молчало, говорило въ залъ, въ кабинетъ.

— Вы тдете?-сказаль я и взяль его за руку.

Гарибальди пожаль мою руку п отвъчалъ печальнымъ голосомъ:

— Я покоряюсь необходимостямь (je plie aux nécéssités).

Онъ куда-то ѣхалъ; я оставилъ его и пошелъ внизъ, тамъ засталъ я Саффи, Гверцони, Мордини, Ричардсона, всѣ были внѣ себя отъ отъѣзда Гарибальди. Взошла m-те Силли и за ней пожилая, худенькая, подвижная француженка, которая адресовалась съ чрезвычайнымъ краснорѣчіемъ къ хозяйкѣ дома, говоря о счастіи познакомиться съ такой personne distinguée. М-те Силли обратилась къ Стансфильду, прося его перевести въ чемъ дѣло. Француженка продолжала:

— Ахъ, Боже мой, какъ я рада, это върно вашъ сынъ, позвольте миж ему представиться.

Стансфильдъ разувѣрилъ француженку, не замѣтившую, что m-me Силли однихъ съ нимъ лѣтъ, и просилъ ее сказать, что ей угодно. Она бросила взглядъ на меня (Саффи и другіе ушли) и сказала:

<sup>—</sup> Мы не одни.

Стансфильдъ назвалъ меня. Она тотчасъ обратилась съ ръчью ко мнѣ и просила остаться, но я предпочелъ ее оставить въ tête à tête съ Стансфильдомъ и опять ушелъ наверхъ. Черезъ минуту пришелъ Стансфильдъ съ какимъ-то крюкомъ или рванью. Мужъ француженки изобрѣлъ его и она хотѣла одобренія Гарибальди.

Послёдніе два дня были смутны и печальны. Гарибальди избёгаль говорить о своемь отъёздё и ничего не говориль о своемь здоровьи... во всёхъ близкихъ онъ встрёчаль печальный

упрекъ. Дурно было у него на душъ, но онъ молчалъ.

Наканунѣ отъѣзда, часа въ два, я сидѣлъ у него, когда пришли сказать, что въ пріемной уже тѣсно. Въ этоть день представлялись ему члены парламента съ семействами п разная поbility и gentry, всего по «Теймсу» до двухъ тысячъ человѣкъ, это было Grande levée, царскій выходъ.

Гарибальди всталъ и спросилъ:

— Неужели пора?

Стансфильдъ, который случился тутъ, посмотрълъ на часы и сказалъ:

— Еще минутъ пять есть до назначеннаго времени.

Гарибальди вздохнуль и весело сёлъ на свое мѣсто. Но тутъ прибѣжалъ фактотумъ и сталъ распоряжаться, гдѣ поставить диванъ, въ какую дверь входить, въ какую выходить.

— Я уйду, — сказалъ я Гарибальди.

— Зачёмъ, оставайтесь.

— Что же я буду дълать?

— Могу же я, —сказаль онъ улыбансь, —оставить одного зна-

комаго, когда принимаю столько незнакомыхъ.

Отворились двери; въ дверяхъ сталъ импровизированный церемоніймейстеръ съ листомъ бумати и началъ громко читать какой-то адресъ-календарь—The right honorable so and so-honorable—esquire—lady—esquire—lordship — Missss—esquire—m. p. т. р.-т. р., безъ конца. При каждомъ имени врывались въ дверь и потомъ покойно плыли старые и молодые кринолины, аэростаты, съдыя головы и головы безъ волосъ, крошечные и толстенькіе старички-кръпыши и какіе-то худые жирафы, безъ заднихъ ногь, которые до того вытянулись и постарались вытянуться еще, что какъ-то подпирали верхнюю часть головы на огромные желтые зубы... каждый имжлъ три, четыре, пять дамъ, и это было очень хорошо, потому что онѣ занимали мѣсто пятидесяти человъкъ и такимъ образомъ спасали отъ давки. Всъ подходили по очереди къ Гарибальди, мущины трясли ему руку съ той силой, съ которой это делаетъ человекъ, попавши пальцемъ въ кипятокъ, иные при этомъ что-то говорили, больщая часть мычала, молчала и откланивалась. Дамы тоже молчали, но смотрёли такъ страстно и долго на Гарибальди, что въ нынёшнемъ году, навёрное, въ Лондонё будеть урожай дётей съ его чертами, а такъ какъ дётей и теперь ужъ водять въ такихъ же красныхъ рубашкахъ, какъ у него, то дёло станетъ только за плащемъ.

Откланявшіеся плыли въ противоположную дверь, открывавшуюся въ залу, и спускались по лѣстницѣ; болѣе смѣлые не торопились, а старались побыть въ комнатѣ.

Гарибальди сначала стоялъ, потомъ садился и вставалъ, наконецъ, просто сълъ. Нога не позволяла ему долго стоять, конца пріему нельзя было и ожидать... кареты все подъъзжали... церемоніймейстеръ все читалъ памятцы.

Грянула музыка horse gard'овъ, я постоялъ, постоялъ и вышелъ сначала въ залу, а потомъ вмѣстѣ съ потокомъ кринолинныхъ волнъ достигъ до каскады и съ нею очутился у дверей комнаты, гдѣ обыкновенно сидѣли Саффи и Мордини. Въ ней никого не было, на душѣ было смутно и гадко; что все это за фарса, эта высылка съ позолотой и рядомъ эта комедія царскаго пріема? Усталый бросился я на диванъ, музыка играла изъ Лукреціи, и очень хорошо, я сталъ слушать.—Да, да, Non curiamo l'incerto domani.

Въ окно былъ виденъ рядъ каретъ; эти еще не подъбхали, вотъ двинулась одна и за ней вторая, третья, опять остановка... и мнъ представилось, какъ Гарибальди, съ раненой рукой, усталый, печальный спдитъ, у него по лицу идетъ туча, этого никто не замъчаетъ, и все плывутъ кринолины, и все пдутъ right honorabl'и—съдые, плъшивые, скулы, жирафы...

...Музыка гремить, кареты подъёзжають; не знаю, какь это случилось, но я заснуль, кто-то отвориль дверь и разбудиль меня... Музыка гремить, кареты подъёзжають, конца не видать... Они въ самомъ дёлё его убыотъ!

Я пошелъ домой.

На другой день, т. е., въ день отъёзда, я отправился къ Гарибальди въ семь часовъ утра, и нарочно для этого ночеваль въ Лондоне. Онъ быль мраченъ, отрывисть, туть только можно было догадаться, что онъ привыкъ къ начальству, что онъ быль железнымъ вождемъ на поле битвы и на море.

Его поймалъ какой-то господинъ, который привелъ саножника, изобрътателя обуви съ желъзнымъ снарядомъ для Гарибальди. Гарибальди сълъ самоотверженно на кресло,—саножникъ въ потъ лица надълъ на него свою колодку, потомъ заставилъ его потопать и походить, все оказалось хорошо.

— Что ему надобно заплатить? — спросиль Гарибальди.

— Помилуйте, отвічаль господинь, вы его осчастливите, принявши.

Они отретировались.

- На дняхъ это будеть на выв'яск'в, зам'ьтиль кто-то, а Гарибальди съ умоляющимь видомъ сказаль молодому челов'яку, который ходилъ за нимъ:
- Бога ради, избавьте меня отъ этого снаряда, мочи нътъ больно.

Это было ужасно смъшно.

Затімъ явились аристократическія дамы, менье важныя толпой ожидали въ заль.

Я и Огаревъ, мы подошли къ нему.

- Прощайте, сказаль я. Прощайте и до свиданья въ Капреръ. Онь обняль меня, съль, протянуль намь объ руки и голосомь, который такъ и ръзнуль по сердцу, сказаль:
- Простите меня, простите меня, у меня голова кругомъ идеть, прібажайте въ Капреру.

И онъ еще разъ обнялъ насъ.

Гарибальди послѣ прієма собирался ѣхать на свиданіе съ дюкомь Уэльскимъ въ Стаффордъ-гаузъ.

Мы вышли изъ вороть и разошлись. Огаревъ пошелъ къ Мацини, я къ Ротшильду. У Ротшильда въ конторѣ еще не было никого. Я взошелъ въ таверну св. Павла и тамъ не было никого... Я спросилъ себѣ ромстекъ и, сидя совершенно одинъ, перебиралъ подробности этого «сновидѣнія въ весеннюю ночь»...

... Ступай, великое дитя, великая сила, великій юродивый и великая *простота*. Ступай на свою скалу, плебей въ красной рубашкъ и король Лиръ! — Гонериль тебя гонить, оставь ее, у тебя есть бъдная Корделія, она не разлюбить тебя и не умреть!

Четвертое дъйствіе кончилось...

Что-то будетъ въ пятомъ?

15 мая, 1864 г.

# Апогей и перигей.

(Продолженіе),

По воскресеньямъ вечеромъ собирались у насъ знакомые, и преимущественно русскіе. Въ 1862 число послѣднихъ очень увеличилось: на выставку пріъзжали купцы и туристы, журналисты и чиновники всѣхъ вообще отдѣленій, и третьяго въ особенности. Дѣлать строгій выборъ было невозможно; короткихъ знакомыхъ мы предупреждали, чтобъ они приходили въ другой день. Благочестивая скука лондонскаго воскресенья побѣждала осторожность. Отчасти эти воскресенья и привели къ бѣдѣ. Но прежде чѣмъ я ее передамъ, я долженъ познакомить съ двумятремя экземплярами родной фауны нашей, являвшимися въ скромной залѣ Отsett-house. Наша галлерея живыхъ рѣдкостей изъ Россіи была, безъ всякаго сомнѣнія, замѣчательнѣе и занимательнѣе русскаго отдѣла на Great Exhibition.

... Въ 1860 получаю я изъ одного отеля на Гай-Маркетъ русское письмо, въ которомъ какіе-то люди извъщали меня, что они, русскіе, находятся въ услуженіи князя Юрія Николаевича Голицына, тайно оставившаго Россію: «самъ князь поёхалъ на Константинополь, а насъ отправилъ по другой дорогь. Князь вельлъ дождаться его и далъ намъ денегъ на нъсколько дней. Прошло больше двухъ педъль; о князь ни слуха; деньги вышли, хозяинъ гостиницы сердится. Мы не знаемъ, что дълать; поанглійски никто не говоритъ». Находясь въ такомъ безпомощномъ состояніи, они просили, чтобъ я ихъ выручилъ. Я поёхалъ къ нимъ и уладилъ дъло. Хозяинъ отеля зналъ меня и согласился подождать еще недълю.

Дней черезъ иять послъ моей поъздки подъвхала къ крыльцу богатая коляска, запряженная парой сърыхъ лошадей въ яблокахъ. Сколько я ни объяснялъ моей прислугъ, что, какъ бы человъкъ ни пріъзжалъ, хоть цугомъ, и какъ бы ни назывался, хоть дюкомъ, всеже утромъ не принимать; но уваженія къ аристократическому экипажу и титулу я не могъ побъдить.

На этотъ разъ встрътились оба искусительныя условія, и потому черезъ минуту огромный мужчина, толстый, съ красивымъ лицомъ ассирійскаго бога-вола, обнялъ меня, благодаря за мос посъщение къ его людямъ.

Это быль князь Юрій Николаевичь Голицынъ. Такого крупнаго, характеристическаго обломка всей Россія, такого цвътка съ

нашей родины я давно не видалъ.

Онъ мит сразу разсказалъ какую-то неправдоподобную исторію, которая вся оказалась справедливой: какъ онъ давалъ кантонисту переписывать статью въ Колоколъ, и какъ онъ разошелся со своей женой; какъ кантонистъ донесъ на него, а жена не присылаеть денегь; какъ государь его услаль на безвы бадное житье въ Козловъ, вследствие чего онъ решился бежать за границу, и поэтому увезъ съ собой какую-то барышню, гувернантку, управляющаго, регента и горничную, черезъ молдавскую границу.

Въ Галацъ онъ захватилъ еще какого-то лакея, говорившаго ломанымъ языкомъ на пяти языкахъ и показавшагося ему иппономь. Туть же объявиль онь мнв, что онъ страстный музыканть и будеть давать концерты въ Лондонъ, а потому хочеть позна-

комиться съ Огаревымъ.

— Дорого у васъ здъсь въ Англіи б-беруть на таможнъ,-сказаль онъ, слегка запкаясь и окончивъ курсъ своей всеобщей псторіи.

-- За товары можетъ, -- замътилъ я -- а къ путешественникамъ

costume-house очень снисходителенъ.

— Не скажу; я заплатиль шиллинговъ 15 за крокодила.

— Да это что такое?

– Какъ что? —да просто крокодилъ.

Я сдълалъ большіе глаза и спросилъ его:

— Да вы, князь, что же это: возите съ собой крокодила вмъсто паспорта, стращать жандармовъ на границахъ?

— Такой случай. Я въ Александріп гуляль; а туть какой-то арабченокъ продаетъ крокодила. Поправился, я и купилъ.

— Ну, а арабченка купили?

— Xa, ха—нѣтъ.

Черезъ недёлю князь былъ уже писталированъ въ Porchester terrace, т. е., въ очень дорогой части города, въ большомъ домѣ. Онь началь съ того, что велълъ на въки-въчные, вопреки англійскому обычаю, открыть настежъ ворота п поставиль въ въчномъ ожидании у подъёзда пару сёрыхъ лошадей въ иблокахъ. Онъ зажилъ въ Лондонф, какъ въ Козловф, какъ въ Тамбовъ.

Денегъ у него, разумъется, не было, т. е., были нъсколько

тысячь франковь на афишу и заглавный листь лондонской жизни; ихъ тотчась истратиль; но ныль въ глаза бросиль и усиъль на нѣсколько мѣсяцевъ обезпечиться, благодаря англійской тупоумной довѣрчивости, отъ которой иностранцы всего континента не могуть еще поднесь отучить ихъ.

Но князь шель на всёхъ парахъ.—Начались концерты. Лондонъ былъ удивленъ княжескимъ титуломъ на афише, и во второй концертъ зала была полна (S.-James hall, Piccadilly). Концертъ былъ великоленный. Какъ Голицынъ успелъ такъ подготовить хоръ и оркестръ,—это его тайна; но концертъ былъ совершенно изъ ряду вонъ. Русскія пёсни и молитвы, камаринская и обедня, отрывки изъ оперы Глинки и изъ Евангелья (Отче нашъ),—все шло прекрасно. Дамы не могли налюбоваться колоссальными мясами красиваго ассирійскаго бога, величественно и граціозно поднимавшаго и опускавшаго свой скипетръ изъ слоновой кости.

Голицынъ нашелъ средство и изъ этого уситка сдълать себъ убытокъ. Упоенный рукоплесканіями, онъ послалъ въ концтвервой части концерта за корзиной букетовъ (не забывайте лондонскія цтны) и, передъ началомъ второй части, явился на сцену: два ливрейныхъ лакея несли корзину, князь, благодаря птвицъ и хористокъ, каждой поднесъ по букету. Публика приняла и эту галантерейность аристократа-капельмейстера громомъ рукоплесканій. Выросъ, расцвтвъ мой князь и, какъ только окончился концертъ, пригласилъ всижъ музыкантовъ на ужинъ.

Тутъ, сверхъ лондонскихъ цёнъ, надобно знать и лондонскіе обычаи: въ одиннадцать часовъ вечера, не предупредивши съ утра, нигдё нельзя найти ужинъ человѣкъ на пятьдесятъ.

Ассирійскій вождь храбро пошель пішкомь по Regent street съ музыкальнымъ войскомъ своимъ, стучась въ двери разныхъ ресторановъ; и достучался, наконецъ: смекнувшій діло хозяинъ вы халъ на холодныхъ мясахъ и на горячихъ винахъ.

Затьмъ начались концерты его со всевозможными штуками; даже съ политическими тенденціями. Всякій разъ гремьлъ Негген'я Walzer, гремьлъ Ogareff'я Quadrille и потомъ Emancipation Symphonie..... пьесы, которыми и теперь, можетъ, чаруетъ князь москвичей, и которыя, въроятно, ничего не потеряли при перевздъ изъ Альбіона, кромъ собственныхъ именъ; онъ могли легко перемънить ихъ на Patapoff'я Walzer, Mina Walzer и Komissaroff'я Partitur.

При всемъ этомъ шумѣ денегъ не было; платить было нечѣмъ. Поставщики начали роптать, и даже начиналось исподволь спартаковское возстаніе рабовъ.....

Однимъ утромъ явился ко мнѣ factotum князя, его упра-

вляющій, переименовавшій себя въ секретаря, съ «регентомъ», т. е., не съ отцомъ Филиппа Орлеанскаго, а съ бѣлокурымъ и кудрявымъ русскимъ малымъ лѣтъ двадцати двухъ, управлявшимъ пѣвпами.

— Мы, Александръ Ивановичъ, къ вамъ-съ.

— Что случилось?

— Да ужъ Юрій Николаевичь очень обижаеть, хотимъ ѣхать въ Россію и требуемъ расчета; не оставьте вашей милостью, вступитесь.

Такъ меня и обдало отечественнымъ паромъ, -- словно на

каменку поддали.

— Почему же вы обращаетесь съ этой просьбой ко мите? Если вы имъете серьезныя причины жаловаться на князя, на это есть здъсь для всякаго судъ, и судъ, который не покривитъ ни въ пользу князя, ни въ пользу графа.

— Мы точно слышали объ этомъ,  $\partial a$  чтоже ходить  $\partial o$  су $\partial a$ .

Вы ужъ лучше разберите.

— Какая же польза будеть вамъ отъ моего разбора? Князь скажеть мив, что я мышаюсь въ чужія дыла; я и понду съ носомь. Не хотите въ судъ, пойдите къ послу; не мив, а ему препоручены русскіе въ Лондоны....

— Это ужъ гдѣ же-съ? коль скоро русскіе господа сидять, какой же можеть быть разборь съ княземъ; а вы, вѣдь, за народъ: такъ мы такъ и пришли къ вамъ. Ужъ разберите дѣло, сдѣлайте

милость.

— Экіе, въдь, какіе; да князь не приметь моего разбора; что

же вы выиграете?

- Позвольте доложить, съ живостью возразиль секретарь, этого онъ не посм'веть-съ, такъ какъ они очень уважаютъ васъ, да и боятся сверхъ того: въ Колоколъ-то попасть имъ не весело,—амбиція-съ.
- Ну, слушайте, чтобъ не терять намъ по-пусту время, вотъ мое рѣшенье: если князь согласенъ принять мое посредничество, я разберу ваше дѣло; если нѣтъ,—идите въ судъ; а такъ какъ вы не знасте ни языка, ни здѣшняго хожденія по дѣламъ, то я, если васъ въ самомъ дѣлѣ князь обижаетъ, дамъ человѣка, который знаетъ то и другое, и по-русски говорить.

— Позвольте, -- замѣтиль секретарь.

— Нътъ, не позволяю, любезнъйтий.—Прощайте.

Скажу и объ нихъ слово.

Регентъ ничъмъ не отличался, кромъ музыкальныхъ способностей; это былъ откормленный, крупитчатый, туповато красивый, румяный малый изъ дворовыхъ; его манера говорить прикартавливая и нъсколько заспанные глаза напоминали мнъ цълый

рядъ, — какъ въ зеркалъ, когда гадаешь, — Сашекъ, Сенекъ, Але-шекъ, Мирошекъ.

Секретарь быль тоже чисто русскій продукть, но больше різкій представитель своего типа: человікь літть за сорокь, съ небритымъ подбородкомъ, испитымъ лицомъ, въ засаленномъ сюртукі, весь, снаружи и внутри, нечистый и замаранный, съ небольшими плутовскими глазами и съ тімь особеннымъ запахомъ русскихъ пьяницъ, составленнымъ изъ вічно поддерживаемаго перегорілаго сивушнаго букета съ оттінкомъ лука и, для прикрытія, гвоздики. Всі черты его лица ободряли, внушали довіріе всякому скверному предложенію: въ его сердці оно нашло бы навітрное отголосокъ и оцінку, а если выгодно, то и помощь. Это былъ первообразъ русскаго чиновника, міройда, подъячаго. Когда я его спросиль, доволенъ ли онъ готовившимся освобожденіемъ крестьянъ, онъ отвіталь мей:

— Какъ-же-съ, безъ сомнѣнія—и, вздохнувши, прибавилъ Господи, что тяжбъ-то будетъ-съ, разбирательствъ! а князь завезъ меня сюда, какъ на смѣхъ, именю въ такое время.

До прівзда Голицына онъ мнё съ видомъ задушевности говориль:—Вы не вёрьте, что вамъ о князё будуть говорить насчетъ притёсненія крестьянь, или какъ онъ хотёль ихъ безъ земли на волю выпустить за большой выкупъ. Все это враги распускаютъ. Ну, правда, лють онъ и щеголь; но зато сердце доброе, и для крестьянъ отець былъ.

Какъ только онъ поссорился, онъ, жалуясь на него, проклиналъ свою судьбу и жалълъ, что довърился такому прощалыгъ:

- Въдь, онъ всю жизнь безпутничалъ и крестьянъ раззорилъ; въдь, это онъ теперь прикидывается при васъ такимъ, а то, въдь, звърь, грабитель....
- Когда же вы говорили неправду: теперь или тогда, когда вы его хвалили?—спросилъ я его, улыбаясь.

Секретарь сконфузился, я повернулся и ушелъ. Родись этотъ человъкъ не въ людской князей Голицыныхъ, не сыномъ какогонибудь земскаго, давно былъ бы, при его способностяхъ, министромъ, не знаю чѣмъ.

Черезъ часъ явился регентъ и его менторъ, съ запиской Голицына; онъ, извиняясь, просилъ меня, если могу, пріёхать къ нему, чтобъ покончить эти дрязги. Князь впередъ об'єщалъ принять безъ спора мое р'єтеніе.

Дълать было нечего; я отправился.

Все въ домѣ показывало необыкновенное волненіе. Французъ слуга, Пико, поспѣшно отворилъ мнѣ дверь и съ той торжественной суетливостью, съ которой провожаютъ доктора на консультацію къ умирающему, провелъ въ залу. Тамъ была вторая жена

Голицына, встревоженная и раздраженная; самъ Голицынъ ходилъ огромными шагами по комнатъ, безъ галстуха, богатырская грудь на-голо. Онъ былъ взбъшенъ и оттого вдвое запкался; на всемъ лицъ его было видно страданіе отъ внутрь взошедшихъ, т. е., не вышедшихъ въ дъйствительный міръ, зуботычинъ, пинковъ, треуховъ, которыми бы онъ отвъчалъ инсургентамъ въ Тамбовской губерніи.

— Вы б-б-Бога ради простите меня, что яв-васъ безпокою

изъ-за этихъ м-м-мошенниковъ.

— Въ чемъ дѣло?

— Вы ужъ, п — ножалуйста, сами спросите; я только буду слушать.

Онъ позвалъ регента, и у насъ пошелъ слъдующій раз-

говоръ:

— Вы недовольны чёмъ-то?

— Оченно недоволенъ, и оттого именно безпремънно хочу **Бхать** въ Россію.

Князь, у котораго голосъ Лаблашевской силы, испустиль львиный стонъ: еще иять зуботычинъ возвращались къ сердцу.

- Князь васъ удержать не можетъ, такъ вы скажите, чёмъ

недовольны-то вы? - Всъмъ-съ, Александръ Ивановичъ.

— Да вы ужъ говорите потолковитъе.

— Какъ же чъмъ-съ? я съ тъхъ поръ, какъ изъ Россіи прі**т**халъ, съ ногъ сбитъ работой, а жалованья получилъ только два фунта, да третій разъ вечеромъ князь далъ больше въ поларокъ.

- А вы сколько должны получать?

— Этого я не могу сказать-съ...

— Есть же у васъ опредѣленный окладъ?

— Никакъ нътъ-съ. Князь, когда изволили бъжать за границу (это безъ злого умысла), сказали мнъ: вотъ хочешь тхать со мной, я, молъ, устрою твою судьбу и, если мит повезеть, дамъ большое жалованье; а если нътъ, то и малымъ довольствуйся; ну, я такъ п повхалъ.

Это онъ изъ Тамбова-то въ Лондонъ поёхалъ на такомъ условін.... О, Русь!

— Ну, а какъ, по вашему, везетъ князю, пли нътъ?

- Какой везеть-съ! оно, конечно, можно бы все...

— Это другой вопросъ. Если ему не везеть, стало, вы должны довольствоваться малымъ жалованьемъ.

— Да князь самъ говорийъ, что по моей службъ, т. е., и способности, по здъшнимъ деньгамъ, меньше нельзя, какъ фунта четыре въ мѣсяцъ.

- Князь, вы желаете заплатить елу по 4 ф. въ мъсяцъ?
- Съ о—о—хотой-съ
- -- Дъло идетъ прекрасно, что же дальше?
- Князь-съ объщалъ, что, если я захочу возвратиться, то пожалуетъ мнъ на обратный путь до Петербурга.

Князь кивнуль головой и прибавиль:

- Да, но въ томъ случать, если я имъ буду доволенъ!
- Чёмъ же вы недовольны имъ?

Теперь плотину прорвало: князь вскочиль, трагическимь басомь, которому еще больше придавало въса дребезжаніе нъкоторыхь буквь и маленькія паузы между согласными, произнесь онь слъдующую рьчь:

- Мнѣ имъ быть д—довольнымъ, этимъ м—м—молокососомъ, этимъ щ—щенкомъ? Меня бъсить гнусная неблагодарность этого разбойника. Я его взялъ къ себъ во дворъ изъ самобъднъйшаго семейства крестьянъ, вшами заъденнаго, босого; училъ негодяя. Я изъ него сдълалъ ч—человъка, музыканта, регента; голосъ канальъ выработалъ такой, что въ Россіи въ сезонъ рублей возьметъ сто въ мъсяцъ жалованья.
- Все это такъ, Юрій Николаевичь, но я не могу раздѣлить вашего взгляда. Ни онъ, ни его семья васъ не просили дѣлать изъ него Ронкони; стало, и особой благодарности съ его стороны вы не можете требовать. Вы его обучили, какъ учать соловьевъ, и хорошо сдѣлали; но тѣмъ и конецъ. Къ тому же это и къ дѣлу не идетъ.
- Вы правы, но я хотъ́лъ сказать: каково мнъ выносить это? въ́дь, я его к—каналью.....
  - Такъ вы согласны ему дать на дорогу?
  - Чорть съ нимъ, для васъ, только для васъ даю.
- Ну, вотъ дѣло и слажено; а вы знаете, сколько на дорогу надобно?
  - Говорять фунтовъ двадцать.
- Нѣтъ, этого много. Отсюда до Петербурга ста цѣлковыхъ за глаза довольно. Вы даете?
  - Даю.

Я расчель на бумажкѣ и передаль Голицыну; тоть взглянуль на итогъ... выходило, помнится, съ чѣмъ-то 30 фунтовъ. Онъ туть же мнѣ ихъ и вручилъ.

- Вы, разумъется, грамотъ знаете, спросилъ я регента.
- -- Какъ же съ.

Я написать ему расписку въ такомъ родѣ: «Я получить съ кн. Ю. Н. Голицына должные мнѣ за жалованье и на проѣздъ изъ Лондона въ Петербургъ тридцать съ чѣмъ-то фунтовъ (на

русскія деньги столько-то). Затёмъ остаюсь доволенъ и никакихъ другихъ требованій на него не им'ю».

— Прочтите сами и подпишитесь.

Регентъ прочелъ, но не дълалъ никакихъ приготовленій, чтобъ подписаться.

- За чѣмъ дѣло?
- Не могу-съ.
- Какъ не можете?
- Я неловоленъ.

Львиный, сдержанный ревъ, да ужъ и я самъ готовъ былъ прикрикнуть:

— Что за дьявольщина, вы сами сказали, въ чемъ ваше требованіе. Князь заплатилъ все до копейки; чёмъ же вы недовольны?

— Помилуйте-съ; а сколько нужды я натеривлся съ твхъ норъ, какъ здвсь.

Ясно было, что легкость, съ которой онъ получилъ деньги, разлакомила его.

— Напримъръ-съ, мнъ слъдуетъ еще за переписку нотъ.

— Врешь! закричалъ Голицынъ такъ, какъ и Лаблашъ никогда не кричалъ; робко отвътили ему своимъ эхо рояли; блъдная голова Пико показалась въ щель и исчезла съ быстротой испуганной ящерицы...

— Развѣ переписываніе нотъ не входило въ прямую твою обязанность? да и что же бы ты дѣлалъ все время, когда кон-

цертовъ не было?

Князь быль правъ, хотя и ненужно было пугать Пико гла-

сомъ контрбомбардоннымъ.

Регентъ, привыкнувшій ко всякимъ звукамъ, не сдался и, оставя въ сторон'й переписываніе нотъ, обратился ко мн'й съ сл'йдующей нел'йностью.

- Да воть еще и насчеть одежды, я совсёмь обносился.
- Да неужели, давая вамъ въ годъ около 50 фунтовъ жалованья, Юрій Николаевичь еще обязался од'євать васъ?
- Нѣтъ-съ; но прежде князь все иногда давали, а теперь стыдно сказать, до того дошель, что безъ носковъ хожу.
- Я самъ хожу безъ н—н—посковъ, прогремёлъ князь и, сложа на груди руки, гордо и съ презрёніемъ смотрёлъ на регента. Этой выходки я никакъ не ожидалъ и съ удивленіемъ смотрёлъ ему въ глаза. Но, видя, что онъ собирается продолжать, я очень серьезно соколу-півцу сказалъ:
- Вы приходили ко мнѣ сегодня утромъ просить меня въ посредники: стало, вы върили мнъ?
- Мы васъ оченно давольно знаемъ, въ васъ мы нисколько не сомнѣваемся, вы ужъ въ обиду не дадите.

— Прекрасно, ну, такъ я вотъ какъ рѣшаю дѣло: подписывайте сейчасъ бумагу, или отдайте деньги; я ихъ передамъ князю и съ тѣмъ вмѣстѣ отказываюсь отъ всякаго вмѣшательства.

Регентъ не захотълъ вручить бумажникъ князю, подписалъ и поблагодарилъ меня.

Избавляю отъ разсказа, какъ онъ переводилъ счетъ на цѣлковые; я ему никакъ не могъ вдолбить, что по курсу цѣлковый стоитъ теперь не то, что стоилъ тогда, когда онъ выѣзжалъ изъ Россіи.

— Если вы думаете, что я васъ хочу надуть фунта на полтора, такъ вы воть что сдёлайте: сходите къ нашему попу, да п попросите вамъ сдёлать расчетъ. Онъ согласился.

Казалось, все кончено, и грудь Голицына не такъ грозно и бурно вздымалась; но судьба хотъла, чтобъ и финалъ такъ же бы напомнилъ родину, какъ начало.

Регентъ помялся, помялся, и вдругъ, какъ будто между ними ничего не было, обратился къ Голицыну со словами:

— Ваше сіятельство, такъ какъ пароходъ изъ Гуля-съ идетъ только черезъ иять дней, явите милость—позвольте остаться покамъстъ у васъ.

Задастъ ему, подумалъ я, мой Лаблашъ, самоотвержимо приготовляясь къ боли отъ шума.

— Разумбется, оставайся. Куда ты къ чорту пойдешь.

Регентъ разблагодарилъ князя и ушелъ.

Голицынъ въ видъ поясненія сказалъ мнъ:

— Въдь, онъ предобрый малый; это его этотъ мошенникъ, этотъ в—воръ, этотъ поганый Юсъ подбилъ.

Поди туть Савины и Миттермейерь, пусть схватять формулами и обобщать въ нормы юридическія понятія, развившіяся въ православномь отечествѣ нашемь между конюшней, въ которой драли дворовыхъ, и бариновымъ кабинетомъ, въ которомъ обирали мужиковъ.

Вторая cause céleste, именно съ Юсомъ, не удалась. Голицынъ вышелъ и вдругъ такъ закричалъ, и секретарь такъ закричалъ, что оставалось за тъмъ катать другъ другъ «подъ никитки»; причемъ князь, конечно, зашибъ бы гуняваго подъячаго. Но какъ все въ этомъ домъ совершалось по законамъ особой логики, то подрались не князь съ секретаремъ, а секретарь съ дверью. Набравшись злобы и освъжившись еще шкаликомъ джину, онъ, выходя, треснулъ кулакомъ въ большое стекло, вставленное въ дверь, и расшибъ его.

— Полицію!—вричаль Голицынь—разбой,—полицію, и вошедши въ залу, бросился изнеможенный на диванъ. Когда онъ немного отошелъ, онъ пояснилъ мнѣ, между прочимъ, въ чемъ состоитъ неблагодарность секретаря. Человъкъ тотъ былъ повъреннымъ у его брата и, не помню, смошенничалъ что-то и долженъ былъ пепремънно идти подъ судъ. Голицыну стало жаль его; онъ до того вошелъ въ его положеніе, что заложилъ послъдніе часы, чтобъ выкупить его изъ бъды. И потомъ, имъя полныя доказательства, что онъ плутъ, взялъ его къ себъ управляющимъ!

Что онъ на всякомъ шагу надувалъ Голицына, въ этомъ не

можеть быть никакого сомнънія.

Я убхаль. Челов вкъ, который могъ кулакомъ пробить зеркальное стекло, можетъ самъ себ в найти судъ и расправу. Къ тому же онъ мнъ разсказывалъ потомъ, прося меня достать ему паспортъ, чтобъ тхать въ Россію, что онъ гордо предложилъ Голицыну пистолетъ и жребій,—кому стрълять.

Если это было, то пистолеть навърное не быль заряженъ.

Послѣднія деньги князя пошли на усмиреніе Спартаковскаго возстанія, и онъ все-таки, наконецъ, попалъ, какъ и слѣдовало ожидать, въ тюрьму за долги. Другого посадили бы—и дѣло въшляпѣ; съ Голицынымъ и это не могло сойти просто съ рукъ.

Полисменъ привозилъ его ежедневно въ Cremorn Garden, часу въ восьмомъ; тамъ онъ дирижировалъ, для удовольствія лоретокъ всего Лондона, концерть, и съ последнимъ взмахомъ скипетра изъ слоновой кости, незамътный полицейскій выросталъ изъ-подъ земли и не покидалъ князя до кэба, который везъ узника въ черномъ фракъ и бълыхъ перчаткахъ въ тюрьму. Прощаясь со мной въ саду, у него были слезы на глазахъ. Бъдный князь! другой смъялся бы надъ этимъ, но онъ браль къ сердцу свое въ неволѣ заключеніе. Родные какъ-то выкупили его; потомъ правительство позволило ему возвратиться въ Россію и отправило его сначала на житье въ Ярославль, гдъ онъ могъ дерижировать духовные концерты вибств съ Фелинскимъ, варшавскимъ архіереемъ. Правительство добрѣе его отца: тертый калачъ не меньше сына, онъ ему совътовалъ идти въ монастырь. Хорошо зналъ сына отецъ; а, въдь, самъ былъ до того музыкантъ, что Бетховенъ посвятиль ему одну изъ симфоній.

За пышной фигурой ассирійского бога, тучного Аполлона-вола,

не должно забывать рядь другихъ русскихъ странностей.

Я не говорю о мелькающихъ тъняхъ, какъ «колонель Рюссъ», но о тъхъ, которые, причаленные судьбой и разными превратностями, пріостанавливались надолго въ Лондонъ, въ родъ того чиновника военнаго комендантства, который, запутавшись въ дълахъ и долгахъ, бросился въ Неву, утонулъ... и всплылъ въ Лондонъ изгнанникомъ, въ шубъ и мъховомъ картузъ, которыхъ не покидалъ, несмотря на сырую теплоту лондонской зимы; въ родъ моего друга Ивана Ивановича С., который весь, цъликомъ,

съ своими антецедентами и будощностью, съ какой-то мездрой вмъсто волосъ на головъ, такъ и просится въ мою галлерею ръд-костей.

Лейбъ-гвардіп павловскаго полка офицеръ въ отставкѣ, онъ жилъ себѣ да жилъ въ странахъ заморскихъ и дожилъ до февральской раволюціи; тутъ онъ испугался и сталъ на себя смотрѣть, какъ на преступника; не то чтобъ его мучила совѣсть, но мучила мысль о жандармахъ, которые его встрѣтятъ на границѣ, казематахъ, тройкѣ, снѣгѣ, —и рѣшился отложить возвращеніе. Вдругъ вѣсть о томъ, что его брата взяли по дѣлу Шевченка. Ему стало въ самомъ дѣлѣ нѣсколько опасно, и онъ тотчасъ рѣшился ѣхать. Въ это время я съ нимъ познакомился въ Ниццѣ. Отправился С., купивши на дорогу крошечную скляночку яду, которую, переѣз-жая границу, хотѣлъ какъ-то укрѣпить въ дуплѣ пустого зуба п

раскусить въ случат ареста.

По мфрф приближенія къ родинф, страхъ все возрасталь, и въ Берлинъ дошелъ до удупнающей боли; однако С. переломилъ себя и сълъ въ вагонъ. Станцій на пять его стало; далье онъ не могъ. Машина брала воду, онъ подъ совершенно другимъ предлогомъ вышелъ изъ вагона. Машина свиснула, побздъ двинулся безъ С.; того-то ему и было надо. Оставивъ чемоданъ свой на произволъ судьбы, онъ съ первымъ обратнымъ пофздомъ возвратился въ Берлинъ. Оттуда телеграфировалъ о чемоданъ и пощелъ визировать свой пассъ въ Гамбургъ, «Вчера фхали въ Россію, сегодня-въ Гамбургъ», зам'єтиль полицейскій, вовсе не отказывая въ визъ. Перепуганный С. сказалъ ему: «Письма я получиль, письма», и, в фроятно, у него быль такой видь, что со стороны прусскаго чиновника просто упущение по службъ, что онъ его не арестовалъ. Затъмъ С., спасаясь никъмъ не преслъдуемый, какъ Людовикъ Филиппъ, пріъхалъ въ Лондонъ. Въ-Лондонъ для него началась, какъ для тысячи и тысячи другихъ, тяжелая жизнь; онъ годы честно и твердо боролся съ нуждой. Но и ему судьба опредълила комическій бортикъ ко встит трагическимъ событіямъ. Онъ ръшился давать уроки математики, черченья и даже французского языка (для англичань). Посовътовавшись съ тыть и другимъ, онъ увидыть, что безъ объявленія или карточекъ не обойдется. «Но воть б'йда: какъ взглянетъ на это русское правительство. Думалъ я, думалъ, да и напечаталъ анонимныя карточки».

Долго я не могь нарадоваться на это великое изобрътение: мнъ въ голову не приходила возможность визитной карточки безъ имени.

Со своими анонимными карточками, съ большой настойчивостью (онъ живалъ дни цълые картофелемъ и хлъбомъ), онъ-

сдвинулъ-таки свою барку съ мели, сталъ заниматься торговымъ

комиссіонерствомъ, и дъла его пошли успъшно.

И это именно въ то время, когда шефъ павловскаго полка отошель въ въчность. Пошли льготы, амнисти; захотълось и С. воспользоваться царскими милостями, и воть онъ пишетъ къ Брунову письмо и спрашиваетъ, подходитъ ли онъ подъ амнистио? Черезъ мъсяцъ времени приглашаютъ С. въ посольство. Дъло-то, думалъ онъ—не такъ просто, мъсяцъ думали.

— Мы получили отвъть, — говорить ему старшій секретарь. — Вы нехотя поставили министерство въ затрудненіс; ничего объ васъ нѣть. Оно сносилось съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, и у него не могутъ найти никакого дѣла объ васъ. Скажите намъ просто, что съ вами было, не можетъ же быть ничего важнаго.

— Да въ 1849 г. мой братъ былъ арестованъ и потомъ сосланъ.

— Hy?

— Больше ничего.

Нѣть, —подумалъ Николаи, — шалитъ, и сказалъ С., что, если такъ, то министерство снова наведетъ справки. Прошло мѣсяца два. Я воображаю, что было въ эти два мѣсяца въ Петербургѣ: отношенія, сообщенія, конфиденціональныя справки, секретные запросы изъ министерства въ ПП отдѣленіе, изъ ПІ отдѣленія въ министерство, справки Х... генералъ-губернатора... выговоры, замѣчанія... а дѣла о С. найти не могли.

Такъ министерство и сообщило въ Лондонъ.

Посылаеть за С. самъ Бруновъ.

— Вотъ, говоритъ, смотрите отвътъ: нигдъ ничего объ васъ. Скажите, по какому вы дълу замъщаны?

— Мой братъ...

— Все это я слышаль, да вы-то сами по какому дълу?

— Больше ничего не было.

Бруновъ, отъ рожденія ничему не удивлявшійся, удивился.

— Такъ отчего же вы просите прощенья, когда вы ничего не сдълали?

— Я думалъ, что все же лучше...

— Стало, просто на просто, вамъ не амнистія нужна, а наспорть.

И Бруновъ велёлъ выдать нассъ.

На радостяхъ С. прискакалъ къ намъ.

Разсказавъ подробно всю исторію о томъ, какъ онъ добился амиистіи, онъ взяль Огарева подъ руку и увель въ садъ.

— Дайте мив, Бога ради, совътъ, сказаль онъ ему, Александръ Ивановичъ все смъется надо мной, такой ужъ нравъ у него; но у васъ сердце доброе. Скажите мив откровенно: думаете вы, что я могу безопасно вхать Въной?

Огаревъ не поддержалъ добраго мевнія и расхохотался. Да что Огаревъ, я воображаю, какъ Бруновъ и Николаи минуты на двѣ расправили морщины отъ тяжелыхъ государственныхъ заботъ и осклабились, когда амнистіированный С. вышелъ изъкабинета.

Но при всёхъ своихъ оригинальностяхъ, С. былъ честный человъкъ. Другіе русскіе, неизвъстно откуда всплывавшіе, бродившіе мъсяцъ, другой по Лондону, являвшіеся къ намъсъ собственными рекомендательными письмами и исчезавшіє неизвъстно

куда, были далеко не такъ безопасны.

Печальное дёло, о которомъ я хочу разсказать, было лётомъ 1862. Реакція была тогда въ инкубація и изъвнутренняго, скрытаго гніенія еще не выходила наружу. Никто не боялся къ намъ тадить; никто не боялся брать съ собой Колоколъ и другія наши изданія; многіе хвастались, какъ они мастерски провозять. Когда мы совътовали быть осторожными, надъ нами смъялись. Писемъ мы почти никогда не писали въ Россію: старымъ знакомымъ намъ нечего было сказать, мы съ ними стояли все дальше и дальше, съ новыми незнакомцами мы переписывались черезъ Колоколъ.

Весной возвратился изъ Москвы и Петербурга Кельсіевъ. Его поъздка, безъ сомнънія, принадлежить къ самымь замъчательнымъ эпизодамъ того времени. Человъкъ, ходившій мимо носа полиціи, едва скрывавшійся, бывавшій на раскольничьихъ бесъдахъ и товарищескихъ попойкахъ, съ глупъйшимъ турецкимъ нассомъ въ карманъ, и возвратившійся sain et sauf въ Лондонъ, немного закусилъ удила. Онъ вздумалъ сдълать пирушку въ нашу честь въ день пятилътія Колокола, по подпискъ, въ ресторанъ Кюна. Я просилъ его отложить праздникъ до другого, больше веселаго времени. Онъ не хотълъ. Праздникъ не удался, не было епtrаin и не могло быть. Въ числъ участниковъ были люди слишкомъ посторонніе.

Товоря о томъ и семъ, между тостами и анекдотами, говорили, какъ о самопростѣйшей вещи, что пріятель Кельсіева, Ветошниковь, ѣдетъ въ Петербургъ и готовъ съ собою кое-что взять. Разошлись поздно. Многіе сказали, что будутъ въ воскресенье у насъ. Собралась дѣйствительно цѣлая толиа, въ числѣ которой были очень мало знакомые намъ люди и, по несчастію, самъ Ветошниковъ; онъ подошелъ ко мнѣ и сказалъ, что завтра утромъ ѣдетъ, спрашивая меня,—нѣтъ-ли писемъ, порученій. Бакунинъ ему уже далъ два-три письма. Огаревъ пошелъ къ себѣ внизъ и написалъ нѣсколько словъ дружескаго привѣта Николаю Серно-Соловьевичу; съ нимъ я приписалъ поклонъ и просилъ его обратить вниманіе Чернышевскаго (къ которому я никогда не писалъ)

на наше предложение въ Колоколю печатать на свой счетъ Современникъ въ Лондонъ. Гости стали расходиться часовъ около 12; двое-трое оставались. Ветошниковъ вошель въ мой кабпнеть и взялъ письмо. Очень можетъ быть, что и это осталось бы незамъченнымъ. Но вотъ что случилось. Чтобъ отблагодарить участниковъ объда, я просилъ ихъ принять на память отъ меня по выбору что-нибудь изъ нашихъ изданій, или большую фотографію мою. Левъ Ветошниковъ взялъ фотографію; я ему совътовалъ обрезать края и свернуть въ трубочку; онъ не хотелъ и говориль, что положить ее на дно чемодана, а потому завернуль ее въ листъ «Теймса» и такъ отправился. Этого нельзя было не зам'ттить. Прощаясь съ нимъ съ посл'еднимъ, я спокойно отправился спать, такъ иногда сильно бываеть ослъпленье-и, ужъ конечно, не думалъ, какъ дорого обойдется эта минута и сколько ночей безъ сна она принесеть мит. Все витстт было глупо и неосмотрительно до высочайшей степени. Можно было остановить Ветошникова до вторника, отправить въ субботу; зачёмь онъ не приходиль утромь?... да и вообще зачёмъ онъ приходилъ самъ?... да и зачёмъ мы писали?...

Говорять, что одинь изъ гостей телеграфироваль тотчасъ въ

Петербугъ.

Ветошникова схватили на пароходъ; остальное извъстно.

Въ заключенье этого печальнаго сказанья, скажу о человѣкѣ, вскользь упомянутомъ мною, и котораго пройти мимо не слѣдуетъ. Я говорю о Кельсіевѣ.

## В. И. Кельсіевъ.

Имя В. Кельсіева пріобртло въ последнее время печальную извъстность: быстрота внутренней п скорость внъшней перемъны, удачность раскаянія, неотлагаемая потребность всенародной исповъди и ея странная усъченность, безтактность разсказа, неумъстная смѣшливость рядомъ съ неприличной въ кающемся и прощенномъ развязностью; все это, при непривычкъ нашего общества къ крутымъ и гласнымъ превращеніямъ, вооружило противъ него лучшую часть нашей журналистики. Кельсіеву хот'ьлось во что бы то ни стало-занимать собою публику; онъ и накупился на видное мѣсто мишенью, въ которую каждый бросаетъ камень, не жалъя. Я далекъ оть того, чтобъ порицать неториимость, которую показала въ этомъ случай наша дремлющая литература. Негодованіе это свидітельствуєть о томъ, что много свътлыхъ, неиспорченныхъ силъ уцълъли у насъ, несмотря на черную полосу правственной неурядицы и безправственнаго слова. Негодованіе, опрокинувшееся на Кельсіева, то самое, которое нъкогда не пощадило Пушкина за одно или два стихотворснія и отвернулось оть Гоголя за его «Переписку съ друзьями».

Бросать въ Кельсіева камнемъ лишнее, въ него и такъ брошена цѣлая мостовая. Я хочу передать другимъ и напомнить ему, какимъ онъ явился къ намъ въ Лондонъ и какимъ уѣхалъ во

второй разъ въ Турцію.

Пусть онъ сравнить самыя тяжелыя минуты тогдашней жизни

съ лучшими своей теперешней карьеры.

Страницы эти писаны прежде раскаянья и покаянья, прежде метемисихозы и метаморфозы. Я въ нихъ ничего не измѣнилъ и добавилъ только отрывки изъ писемъ. Въ моемъ бѣгломъ очеркѣ Кельсіевъ представленъ такъ, какъ онъ остался въ памяти до его появленія на лодкѣ въ Скулянскую таможню, въ качествѣ запрещеннаго товара, просящаго конфискаціи и поступленія съ нимъ по законамъ.

Въ 1859 году получилъ я первое письмо отъ него.

Письмо отъ Кельсіева было изъ Плимута. Онъ туда приплылъ на пароходъ Съверо-Американской компаніи и отправлялся кудато въ Ситху или Уполамай на службу. Погостивши въ Плимутъ, ему расхотелось такать на Алеутскіе острова и онъ писалъ ко мнъ, спрашивая, можно ли ему найти пропитание въ Лондонъ. Онъ успълъ уже въ Плимутъ познакомиться съ какими-то теологами и сообщалъ мнъ, что они обратили его внимание не замъчательныя истолкованія пророчествъ. Я предостерегь его отъ клерджименовъ и звалъ въ Лондонъ, «если онъ дъйствительно хочетъ работать». Недъли черезъ двъ онъ явился. Молодой, довольно высокій, худой, болізненный, съ четвероугольнымь череномъ, съ шапкой волосъ на головъ, онъ мнъ напоминаль, не волосами (тоть быль плъшивъ), а всъмъ существомъ своимъ Энгельсона,и дъйствительно, онъ очень многимъ былъ похожъ на него. Съ перваго взгляда можно было зам'тить много неустроеннаго и неустоявшагося, но ничего пошлаго. Видно было, что онъ вышелъ на волю изъ встхъ опекъ и кртпостей, но еще не принисался ни къ какому дълу и обществу: цъли не имъль. Онъ былъ гораздо моложе Энгельсона, но все же принадлежаль къ позднъйшей шеренгъ Петрашевцевъ и имълъ часть ихъ достоинствъ и всъ недостатки, учился всему на свътъ и ничему не научился до тла, читалъ всякую всячину и надо всёмъ ломалъ довольно безплодно голову. Отъ постоянной критики всего общепринятаго Кельсіевъ раскачалъ въ себъ всъ нравственныя понятія и не пріобръль никакой нити поведенья.

Особенно оригинально было то, что въ скептическомъ ощупываніи Кельсіева сохранилась какая-то примѣсь мистическихъ фантазій: онъ былъ нигилисть съ религіозными пріемами, нигилисть въ дьяконовскомъ стихарѣ. Церковный оттѣнокъ, нарѣчіе и образность остались у него въ формѣ, въ языкѣ, въ слогѣ ¹), и придавали всей его жизни особый характеръ и особое единство, основанное на спайкѣ противоположныхъ металловъ.

У Кельсіева шелъ тоть знакомый намъ переборъ, который дѣлаеть почти всегда въ самомъ дѣлѣ проснувшійся русскій внутри себя и о которомъ вовсе не думаеть за недосугомъ п заботами западный человѣкъ, втянутый своими спеціальностями въ другія дѣла; старшіе братья наши не провѣряютъ задовъ, и оттого у нихъ смѣняются поколѣнія, строя и разрушая, награждая и наказуя, надѣвая вѣнки и кандалы, твердо увѣренные, что такъ и надобно, что они дѣлаютъ дѣло. Кельсіевъ, напротивъ, сомнѣвался во всемъ и не принималъ на слово ни добро—добра, ни зло—зла. Кобенящійся духъ этотъ, отрѣшающійся отъ впередь идущей нравственности и готовыхъ истинъ, накипѣлъ всего

<sup>1)</sup> Петрашевцами заключаются у насъ сильно занимавшіеся юноши; ихъ можно назвать посл'ёднимъ классомъ нашего учебнаго историческаго развитія.

больше въ mi-carême нашего николаевскаго поста и рѣзко сталъ высказываться, когда гиря, давившая наши мозги, приподнялась на одну линію. На этотъ полный жизни и отваги анализъ и накинулась Богъ вѣсть что хранящая консервативная литература, а за ней и правительство.

Во время нашего пробужденія, подъ звуки севастопольскихъ пушекъ, съ чужихъ словъ, многіе изъ нашихъ умниковъ пошли повторять, что западный консерватизмъ у насъ факть правильный, что насъ наскоро подогнали къ европейскому образованію не для того, чтобъ дёлиться съ нимъ наслёдственными болёзиями и застарёлыми предразсудками, а для «сравненія съ старшими». для того, чтобъ была возможность съ ими итти ровнымъ шагомъ впередъ. Но какъ только мы видимъ на самомъ дълъ, что у проснувшейся мысли, что у возмужалаго слова нъть ничего твердаго, «ничего святого», а есть вопросы и задачи, что мысль ищеть, что слово отрицаеть, что дурное раскачивается вибств съ «завъдомо» хорошимъ и что духъ пытанія и сомнънія влечетъ все-все безъ разбора-въ пропасть, лишенную перилъ,тогда крикъ ужаса и изступленія вырывается изъ груди, и нассажиры первыхъ классовъ закрывають глаза, чтобъ не видать какъ вагоны сорвутся съ рельсовъ, а кондукторы тормозять и останавливаютъ всякое движеніе.

Разумъется, бояться причины нътъ: возникающая сила слишкомъ слаба, чтобъ матеріально сдвинуть шестидесяти милліонный поъздъ съ рельсовъ. Но въ ней была программа, можетъ быть, пророчество.

Кельсіевъ развился подъ первымъ вліяніемъ времени, о которомъ мы говорили. Онъ далеко не осѣлся, не дошель ни до какого центра тяжести, но онъ быльвъ полной ликвидаціи всего нравственнаго имущества. Отъ стараго онъ отрѣпился, твердое распустилъ, берегъ оттолкнулъ и, очертя голову, пустился въ широкое море. Равно подозрительно и съ недовѣріемъ относился онъ къ вѣрѣ и къ невѣрію, къ русскимъ порядкамъ и къ порядкамъ западнымъ.

Одно, что пустило корни въ его груди, было сознаніе страстное и глубокое экономической неправды современнаго государственнаго строя и, въ силу этого, ненависть къ нему и темное стремленіе къ соціальнымъ теоріямъ, въ которыхъ онъ видѣлъ выходъ.

На это сознаніе неправды и на эту ненависть, сверхъ пониманья, онъ имѣлъ неотъемлемое право.

Въ Лондонъ онъ поселился въ одной изъ отдаленнъйшихъ частей города, въ глухомъ переулкъ Фулама, населенномъ матовыми, подернутыми чъмъ-то пепельнымъ, ирландцами и всякими

исхудалыми работниками. Въ этихъ сырыхъ каменныхъ коридорахъ безъ крыши страшно тихо, звуковъ почти нѣтъ никакихъ, ни свѣта, ни цвѣта: люди, плошки, дома, все полиняло и осунулось; дымъ и сажа обвели всѣ линіи траурнымъ ободкомъ. По нимъ не трещатъ телѣжки лавочниковъ, развозящихъ съѣстные припасы, не ѣздятъ извощичъи кареты, не кричатъ разносчики, не лаютъ собаки (послѣднимъ рѣшительно нечѣмъ питаться); изрѣдка только выходитъ какая-нибудь худая взъерошенная и покрытая углемъ кошка, проберется по крышѣ и подойдетъ къ трубъ погрѣться, выгибая спину и обличая видомъ, что внутри дома она передрогла.

Когда я въ первый разъ посътилъ Кельсіева, его не было дома. Очень молодая, очень некрасивая женщина, худая, лимфатическая, съ заплаканными глазами, сидъла у тюфяка, постланнаго на полу, на которомъ весь въ лихорадкъ и жаръ метался,

страдалъ, умиралъ ребенокъ, года или полутора.

Я посмотрълъ на его лицо и вспомнилъ предсмертныя черты другого ребенка, это было *то ысе* выраженіе. Черезъ нѣсколько дней онъ умеръ, другой родился.

Бъдность была всесовершеннъйшая. Молодая, тщедушная женщина, или, лучше, замужняя дъвочка, выносила ее геройски и

съ необычайной простотой.

Думать нельзя было, глядя на ея болъзненную, золотушную, слабую наружность, что за мощь, что за сила преданности обитала въ этомъ хиломъ теле. Она могла служить горькимъ урокомъ нашимъ записнымъ романистамъ. Она была, котъла быть тымь, что впослыдстви назвали нигилисткой: странно чесала волосы, небрежно одъвалась, много курила, не боялась ни смълыхъ мыслей, ни смълыхъ словъ; она не умилялась передъ семейными добродътелями, не говорила о священномъ долгъ, о сладости жертвы, которую совершаетъ ежедневно, и о легкости креста, давившаго ея молодыя плечи. Она не кокетничала своей борьбой съ нуждой и дълала все: шила и мыла, кормила ребенка, варила мясо и чистила комнату. Твердымъ товарищемъ была она мужу и великой страдалицей сложила голову свою на дальнемь востокт, слёдуя за блуждающимь, безпокойнымъ бфгомъ своего мужа и потерявъ рядомъ двухъ послёднихъ малютокъ.

Поборолся я сначала съ Кельсіевымъ, старался его убъдить, чтобъ онъ не отръзывалъ себъ съ самаго начала, не извъдавши жизни изгнанника, пути къ возвращенію.

Я ему говорилъ, что надобно прежде узнать нужду на чужбинѣ, нужду въ Англіи, особенно въ Лондонѣ; я ему говорилъ, что въ Россіи теперь дорога всякая сила.

— Что вы будете здѣсь дѣлать?—спрашивалъ я его. Кельсіевъ собирался всему учиться и обо всемъ писать; пуще всего хотѣлъ онъ писать о женскомъ вопросѣ, о семейномъ устройствѣ.

— Пишите прежде, говорилъ я ему, объ освобождени крестьянъ съ землей. Это первый вопросъ, стоящій на дорогѣ. Но симпатіи Кельсіева были не туда обращены. Онъ дѣйствительно принесъ мнѣ статью о женскомъ вопросѣ. Она была безмѣрно плоха. Кельсіевъ посердился, что я ее не напечаталъ, и самъ бла-

годарилъ меня за это, года два спустя.

Возвращаться онъ не хотълъ. Во чтобъ ни стало надобно было найти ему работу. За это мы и принялись. Теологическія эксцентричности его намъ помогли. Мы доставили ему корректуру св. Писанія, издаваемаго по русски лондонскимъ библейскимъ обществомъ; затъмъ передали ему кипу бумагъ, полученныхъ нами въ разное время, по части старообрядцевъ. За изданіе ихъ и приведеніе въ порядокъ Кельсіевъ принялся со страстью. То, о чемъ онъ догадывался и мечталъ, то раскрывалось передъ нимъ фактически: грубо наивный соціализмь въ евангельской ризъ сквозилъ ему въ расколъ. Это было лучшее время въ жизни Кельсіева, онъ съ увлеченіемъ работаль и прибъгаль иногда вечеромъ ко мнѣ указать какую-нибудь соціальную мысль духоборцевъ, молоканъ, какое-нибудь коммунистическое ученіе оедостевцевъ; онъ быль въ восторгъ отъ ихъ скитанія по льсамъ, ставилъ идеаломъ своей жизни скитаться между ними и сділаться учителемъ соціально-христіанскаго раскола въ Бълокриницъ или Россіи.

И дъйствительно, Кельсіевъ былъ въ душт «бъгуномъ», бъгуномъ нравственнымъ и практическимъ: его мучили неустоявшіяся мысли, тоска. На одномъ мъсть онъ оставаться не могъ. Онъ нашелъ работу, занятіе, безбъдное пропитаніе, но не нашелъ дъла, которое бы поглотило совствить его безпокойный темпераментъ; онъ былъ готовъ искать его, готовъ былъ не только итти всюду, но поступить въ монахи, принявъ священство безъ въры.

Настоящій русскій челов'якъ, Кельсіевъ всякій м'єсяцъ д'єлалъ новую программу занятій, придумывалъ проекты и брался за новую работу, не кончивъ старой. Работалъ онъ запоемъ и запоемъ ничего не д'єлалъ. Онъ схватывалъ вещи легко, но тотчасъ удовлетворялся до пресыщенія, изъ всего тянулъ онъ съ разу жилы до посл'єдняго вывода, а иногда и подальше.

Сборникъ о раскольникахъ шелъ усившно; онъ издаль шесть частей, быстро расходившихся. Правительство, видя это, позволило обнародованіе свёдёній о старообрядцахъ. Тоже случилось съ переводомъ библіи. Переводъ съ еврейскаго не удался. Кельсіевъ попробоваль сдёлать un tour de force и перевести «слово

въ слово», несмотря на то, что грамматическія формы семитическихъ языковъ вовсе не совпадаютъ съ славянскими. Тёмъ не меньше, выпущенные ливрезоны разошлись мгновенно, и святёйшій синодъ, испугавшись заграничнаго изданія, благословилю печатаніе стараго завёта на русскомъ языкѣ. Эти обратныя побёды никогда никѣмъ не были поставлены въ crédit нашего станка.

Въ концѣ 1862 Кельсіевъ отправился въ Москву съ цѣлью завести прочныя связи съ раскольниками. Поѣздкуэту онъ когданибудь долженъ самъ разсказать. Она невѣроятна, невозможна, а на дѣлѣ дѣйствительно была. Въ этой поѣздкѣ отвага граничить съ безуміемъ; въ ней опрометчивость почти преступная, но уже, конечно, не я буду его винить въ ней. Неосторожная болтовня за границей могла сдѣлать много бѣдъ. Но къ дѣлу и оцѣнкъ

самой побздки это не идетъ.

Возвратясь въ Лондонъ, онъ принялся по требованію Трюбнера за составленіе русской грамматики для англичанъ и за переводь какой-то финансовой книги. Ни того, ни другого онъ не кончилъ: путешествіе сгубило его Sitzfieiss. Онъ тяготился работой, впадалъ въ ипохондрію, унываль; а работа была нужна, денегъ опять не было ни гроша. Къ тому же и новый червь начиналъ точить его. Успъхъ поъздки, безспорно доказанная отвага, таинственные переговоры, побъда надъ опасностями, все это раздуло въ его груди и безъ того сильную струю самолюбія; обратно Цезарю, Донъ-Карлосу и Вадиму Пассекъ, Кельсіевъ, запуская руки въ свои густые волосы, говорилъ, покачивая грустно головой:

— Еще нътъ тридцати лътъ, и уже такая отвътственность

взята мною на плечи.

Изъ всего этого легко можно было понять, что грамматики онъ не кончить, а уйдеть. Онъ и ущель. Ущель онъ въ Турцію, съ твердымъ намфреніемъ еще больше сблизиться съ раскольниками, составить новыя связи и, если возможно, остаться тамъ и начать проповъдь вольной церкви и общиннаго житья. Я писаль ему длинное письмо, убъждая его не ъздить, а продолжать работу. Но страсть къ скитанію, желаніе подвига и великой судьбы, мерещившейся ему, были сильнье, и онъ увхалъ. Онъ и Мартьяновъ исчезають почти въ одно время. Одинъ, чтобъ, послъ ряда несчастій и испытаній, хоронить своихъ и потеряться между Яссами и Галацомъ; другой, чтобъ схоронить себя на каторжной работъ.

Послѣ нихъ являются на сцену люди другого чекана. Наша общественная метаморфоза, не имѣя большой глубины и захватывая очень тонкій слой, быстро изнашиваеть и измѣняеть

формы и цвъта.

Между Энгельсономъ и Кельсіевымъ уже цёлая формація, какъ между нами и Энгельсономъ. Энгельсонъ былъ человѣкъ сломленный, оскорбленный; зло, сдёланное ему всей средой, міазмы, которыми онъ дышалъ съ дътства, изуродовали его. Лучъ свъта скользнуль по немь и отогрѣль его года за три до его смерти; тогда уже неостанавливаемый недугь грызъ его грудь. Кельсіевъ, тоже помятый и попорченный средой, явился однако безъ отчаянія и устали; оставаясь за границей, онъ не просто шелъ на покой, не просто бъжаль безъ оглядки отъ тяжести: онъ шель куда-то. Куда?—этого онъ не зналъ (и тутъ всего ярче выразился видовой оттънокъ его пласта), опредъленной цъли онъ не имътъ; онъ ее искалъ и покамъсть осматривался и приводилъ въ порядокъ, а, пожалуй, и въ безпорядокъ, всю массу идей, захваченныхъ въ школъ, книгахъ и жизни. Внутри у него шла ломка, о которой мы говорили, и она для него была существеннымъ вопросомъ, которымъ онъ жилъ, выжидая или такого дъла, которое поглотило бы его, или такую мысль, которой бы онъ отдался.

Потаскавшись въ Турціи, Кельсіевъ рѣшился поселиться въ Тульчѣ; тамъ онъ хотѣлъ учредить средоточіе своей пропаганды между раскольниками, школу для казацкихъ дѣтей и сдѣлать опытъ общинной жизни, въ которой прибыль и убыль должна была падать на всѣхъ, чистая и нечистая, легкая и трудная работа — обдѣлываться всѣми. Дешевизна помѣщенія и съѣстныхъ припасовъ дѣлали опытъ возможнымъ. Онъ сблизился съ старымъ атаманомъ некрасовцевъ, Гончаромъ, и въ началѣ превозносилъ его до небесъ.

Летомъ въ 1863 подъехалъ къ нему его меньшой братъ Иванъ, прекрасный, даровитый юноша. Онъ былъ по студенческому дёлу высланъ изъ Москвы въ Пермь; тамъ попадся къ негодяю губернатору, который его тёснилъ. Потомъ его опять вызвали въ Москву для какихъ-то показаній; ему грозила ссылка далёе Перьми. Онъ бёжалъ изъ частнаго дома и пробрался черезъ Константинополь въ Тульчу. Старшій братъ былъ чрезвычайно радъ ему; онъ искалъ товарищей и, наконецъ, звалъ жену, которая рвалась къ нему и жила на нашемъ попеченьи въ Тедингтонъ. Пока мы ее снаряжали, явился въ Лондонъ и самъ Гончаръ.

Хитрый старикъ, почуявшій смуты и войны, вышель изъ своей берлоги понюхать воздухъ и посмотрѣть, чего откуда можно ждать, т. е., съ кѣмъ итти и противъ кого. Не зная ни одного слова, кромѣ по-русски и по-турецки, онъ отправился въ Марсель и оттуда въ Парижъ. Въ Парижѣ онъ видѣлся съ Чарторижскимъ и Замойскимъ; говорятъ даже, что его возили къ Наполеону; отъ него я этого не слыхалъ. Переговоры ни къ чему не привели, п

съдой казакъ, качая головой и щуря лукавыми глазами, написаль каракульками семнадцатаго стольтія ко мнь письмо, въ которомь, называя меня «графомь», спрашиваль: можеть ли прі- тонь; безь языка не легко было добраться до нась, и я поъхаль въ Лондонъ на жельзную дорогу встрътить его. Выходить изъ вагона старый русскій мужикъ, изъ зажиточныхь, въ съромъ кафтань, съ русской бородой, скорье худощавый, но крыпкій, мускулистый, довольно высокій и загорылый, несеть узелокъ въ пвътномь платкъ.

— Вы Осипъ Семеновичъ? спрашиваю я.

— Я, батюшка, я.—Онь подаль мит руку. Кафтань распахнулся, и я увидть на поддевкт большую звтэду, разумтется, турецкую: русских звтэдь мужикамъ не дають. Поддевка была синяя и оторочена широкой пестрой тесьмой, этого я въ Россіи не видаль.

— Я такой-то, прівхаль вась встрётить, да проводить къ

намъ

— Что же ты это, ваше сіятельство, самъ безпокондся... того... ты бы того, кого-нибудь...

— Это ужъ оттого, видно, что я не сіятельство. Съ чего же,

Осипъ Семеновичъ, вы выдумали меня называть графомъ?

— А Христосъ тебя знаеть, какъ величать; ты небось въ своемь дълъ во главъ стоишь. Ну, а я —того, человъкъ темный

ну, и говорю: графъ, т. е., сіятельный, т. е., голова.

Не только обороть рѣчи, но и произношеніе у Гончара было великорусское, крестьянское. Какъ у нихъ въ захолустьп, окруженномъ иноплеменными, такъ славно сохранился языкъ?—Трудно было бы понять безъ старообрядческаго мерщенія. Расколъ ихъ выдѣлилъ такъ строго, что никакое чужое вліяніе не переходило за ихъ частоколъ.

Гончаръ прожилъ у насъ три дня. Первые дни онъ ничего не ѣлъ, кромѣ сухого хлѣба, который привезъ съ собой, и пилъ одну воду. На третій день было воскресенье; онъ разрѣшилъ себѣ стаканъ молока, рыбу, вареную въ водѣ, п, если не ошибаюсь,

рюмку хереса.

Русское себъ на умъ, восточная хитрость, осмотрительность охотника, сдержанность человъка, привыкшаго съ дътскихъ лътъ къ полному безправію и къ сосъдству спльныхъ враговъ, долгая жизнь, проведенная въ борьбъ, въ настойчивомъ трудъ, въ опасностяхъ, все это такъ и сквозило изъ-за-мнимо простыхъ чертъ и простыхъ словъ съдого казака. Онъ постоянно оговаривался, употреблялъ уклончивыя фразы, тексты изъ Священнаго Писанія, дълалъ скромный видъ, очень сознательно разсказывая о своихъ

уси вахахъ, и если иногда увлекался въ разсказахъ о прошломъ и говорилъ много, то, нав врное, никогда не проговорился о томъ, о чемъ хот влъ молчать.

Этотъ закалъ людей на Западъ почти не существуетъ. Онъ ненуженъ такъ, какъ ненужна дамаская сталь для лезвія перочиннаго ножа.

Въ Европъ все дълается гуртомъ, массой; человъку одиночно ненужно столько силы и осторожности.

Въ уситхъ польскаго дъла онъ уже не върилъ и говориль о своихъ парижскихъ переговорахъ, покачивая головой.-«Намъ, конечно, гдъ же сообразить: мы люди маленькіе, темные, а они вонъ поди какъ, ну, вельможи, какъ слъдуетъ; только эдакъ нравъ-то легкій. Ты, молъ, Гончаръ, не сумлевайся: воть какъ справимся, мы то и то сдълаемъ для тебя, напримъръ. Понимаешь?... все будеть въ удовольствіе. Оно точно, люди они добрые, да поди воть, когда справатся... съ такой политикой». Ему хотвлось разузнать, какія у нась связи съ раскольниками и какія опоры въ крав; ему хотвлось осязать, можеть ли быть практическая польза въ связи старообрядцевъ съ нами. Въ сущности для него было все равно, онъ пошелъ бы равно съ Польшей и Австріей, съ нами и съ греками, съ Россіей и съ Турціей, лишь бы это было выгодно для его некрасовцевъ. Онъ и отъ насъ убхалъ, качая головой. Написаль потомъ два-три письма, въ которыхъ, между прочимъ, жаловался на Кельсіева и подалъ, вопреки нашего метнія, адресъ государю.

Въ началѣ 1864 поѣхали въ Тульчу два русскихъ офицера, оба эмигранты, Краснопѣвцевъ и В. Маленькая колонія сначала дружно принялась за работу. Они учили дѣтей и солили огурцы, чинпли свои платья и копались въ огородѣ. Жена Кельсіева варила обѣдъ и обшивала ихъ. Кельсіевъ былъ доволенъ началомъ, доволенъ казаками и раскольниками, товарищами и турками 1).

Кельсіевъ писалъ еще намъ свои юмористическіе разсказы о ихъ водвореніи, а уже черная рука судьбы была занесена надъ маленькой кучкой Тульчинскихъ общинниковъ. Въ іюнъ мъсяцъ 1864, ровно черезъ годъ послъ своего пріъзда, умеръ двадцати трехъ лътъ отроду, на рукахъ своего брата, въ элъйшемъ тифъ, Иванъ Кельсіевъ. Смерть его была для брата страшнымъ ударомъ; онъ самъ занемогъ, но какъ-то отходился. Письма его того

<sup>1)</sup> И вотъ эта ужасная Тульчинская агенція, имѣвшая сношенія со всемірной революцієй, поджигавшая русскія деревни на деньги изъ Маццинієвскихъ кассъ, грозно дѣйствовавшая года черезъ два послѣ того, какъ перестала существовать, и теперь еще поминаемая въ литературѣ сыщиковъ и въ Полицейскихъ Вѣдомостяхъ Каткова!

времени ужасны. Духъ, поддерживавшій отшельниковъ, упалъ, угрюмая скука овладъвала ими; начались преступленія и ссоры. Гончаръ писалъ, что Кельсіевъ сильно пьеть. Краснопфвцевъ застръпился, В. ушелъ. Дальше не могъ вытерпъть и Кельсісвъ; онъ взялъ свою жену и своихъ дътей (у него еще родился ребенокъ) и, безъ средствъ, безъ цъли, отправился сначала въ Константинополь, потомъ въ Дунайскія княжества. Совершенно отрёзанный отъ всёхъ, отрёзанный на время даже отъ насъ, онъ въ это время разошелся съ польской эмиграціей въ Турціи. Напрасно искалъ онъ заработать кусокъ хлъба, съ отчаяніемъ смотрълъ онъ на изнурение бъдной женщины и дътей. Деньги, которыя мы посылали иногда, не могли быть достаточны. «Случалось, что у насъ вовсе не было хлъба», —писала незадолго до своей смерти его жена. Наконецъ, послъ долгихъ усилій Кельсіевъ нашелъ въ Галацъ мъсто «надзирателя за шоссейными работами». Скука томила, грызла его. Онъ не могъ не винить себя въ положеніи семьи. Невъжество дико-восточнаго міра оскорбляло его; онъ въ немъ чахнулъ и рвался вонъ. Въру въ раскольниковъ онъ утратилъ; въру въ Польшу утратилъ; въра въ людей, въ науку, въ революцію колебалась сильній и спльній, и можно было легко предсказать, когда и она рухнется. Онъ только и мечталъ, чтобъ, во что бы то ни стало, вырваться опять на свёть, пріёхать къ намъ, и съ ужасомъ видёль, что ему покинуть семью нельзя. «Если-бъ я былъ одинъ, писалъ онъ нѣсколько разъ, я съ дагерротиномъ или органомъ ушелъ бы, куда глаза глядять, и, потаскавшись по міру, пъшкомъ явился бы въ Женеву».

Помощь была близка.

«Малуша» (такъ звали старшую дочь) легла здоровая спать, проснулась ночью больная; къ утру умерла холерой. Черезъ нъсколько дней умеръ меньшой; мать свезли въ больницу. У ней открылась острая чахотка.

«Помнишь-ли, ты когда-то мн' объщалъ сказать, когда я буду

умирать, что это смерть. Смерть ли это?»

«Смерть, другъ мой, смерть».

И она еще разъ улыбнулась, внала въ забытье и умерла.

Отрывокъ изъ письма:

...Намъ пишутъ изъ Петербурга, что на дняхъ начальникъ Скулянской таможни получилъ за подписью «В. Кельсіевъ» письмо, предварявшее его, что пассажиръ, имъющій прибыть на эту таможню съ правильнымъ турецкимъ наспортомъ на имя Ивана Желудкова, есть никто иной какъ онъ, г. Кельсіевъ, и что онъ, желая предать себя въ руки русскаго правительства, просить арестовать себя и препроводить въ Петербургъ.

## Общій фондъ.

Едва Кельсіевъ ушелъ за порогъ, новые люди, вытъсненные суровымъ холодомъ 1863, стучались у нашихъ дверей. Они шли не изъ готовальни наступающаго переворота, а съ обрушившейся сцены, на которой уже выступали актерами. Они укрывались отъ внъшней бури и ничего не искали внутри, имъ нужевъ былъ временный пріють, пока погода уляжется, пока снова представится возможность итти въ бой. Люди эти очень молодые покончили съ идеями, съ образованіемъ; теоретическіе вопросы ихъ не занимали отчасти отътого, что они у нихъ еще не возникали, отчасти отъ того, что у нихъ дёло шло о приложеніи. Они были побиты матеріально, но дали доказательства своей отваги! Свернувши знамя, имъ приходилось хранить его честь. Отсюда сухой тонь, cassant, raide, рёзкій и нісколько поднятый. Отсюда военное, нетерибливое отвращение отъ долгаго обсуживанія, критики, нъсколько изысканное пренебреженье ко всъмъ умственнымъ роскошамъ, въ числъ которыхъ ставилось на первомъ плант искусство. Какая туть музыка, какая поэзія! «Отечество въ опасности, aux armes, citoyens!» Въ нъкоторыхъ случаяхъ они были отвлеченно правы, но сложнаго и запутаннаго процесса уравновъшенія идеала съ существующимъ они не брали въ расчеть и, само собой разумбется, свои мнфнія и воззрфнія принимали за воззрѣнія и мнѣнія цѣлой Россіи. Винить за это нашихъ молодыхъ штурмановъ будущей бури было бы несправедливо. Это общеюношеская черта: голъ тому назаль одинъ французъ, поклонникъ Конта, увърялъ меня, что католицизмъ во Франціи не существуеть и complètement perdu le terrain, между прочимъ, ссылался на медицинскій факультеть, на профессоровъ и студентовъ, которые не только не католики, но и не деисты.

- Ну, а та часть Франціи, зам'єтиль я, которая не читаеть п не слушаеть медицинскихъ лекцій?
- Она, конечно, держится за религію и обряды, но больше по привычкі и по нев'іжеству.
  - Очень върно, но что же вы сдълаете съ нею?

— А что сдёлали въ 1792 году?

— Немного: революція сначала заперла церкви, а потомъ открыла. Вы помните отвёть Ожеро Наполеону, когда праздновали конкордать: «Нравится ли теб'в церемонія?»—спросилъ консуль, выходя изъ Нотръ-Дамъ. Якобинецъ-генералъ отвъчалъ: «Очень, жаль только, что недостаеть тыхъ двухсоть тысячь человъкъ, которые легли костьми, чтобъ уничтожить подобныя церемоніи».

— A bah! мы стали умнъе и не откроемъ церковныхъ дверей, или лучше, не запремъ ихъ вовсе и отдадимъ капища

суевърія подъ школы.

— L'infâme sera écrasée,—докончилъ я, смѣясь.

— Да, безъ сомнѣнія; это вѣрно!

- Но мы-то съ вами не увидимъ этого; это еще върнъе.

Въ этомъ взглядъ на окружающій міръ сквозь подкрашенную личнымъ сочувствіемъ призму лежитъ половина всёхъ революціонныхъ неусп'єховъ. Жизнь молодыхъ людей, вообще идущая въ своего рода шумномъ и замкнутомъ затворничествъ, вдали оть будничной и валовой борьбы изъ-за личныхъ интересовъ, ръзко схватывая общія истины, почти всегда сръзывается на ложномъ пониманіи ихъ приложенія къ нуждамь дня.

...Сначала новые гости оживили насъ разсказами о петербургскомъ движеніи, о дикихъ выходкахъ оперившейся реакціп, о процессахъ и преслъдованіяхъ, объ университетскихъ и литературныхъ партіяхъ; потомъ, когда все это было передано съ той скоростью, съ которой въ этихъ случаяхъ торопятся все сообщить, наступили паузы, гіатусы; бесёды наши сдёлались скучны,

олнообразны...

Неужели, думалъ я, это въ самомъ дёлё старость, разводящая два поколенія? Холодъ, вносимый летами, усталью, испытаніями?

Какъ бы то ни было, я чувствоваль, что, съ появленіемъ новыхъ людей, горизонть нашъ не расширился... а сузился діаметръ разговоровъ сталъ короче; намъ иной разъ нечего было другъ другу сказать. Ихъ занимали подробности ихъ круговъ, за границей которыхъ ихъ ничто не занимало. Однажды передавши все интересное объ нихъ, приходилось повторять и они повторяли. Наукой или дълами они занимались мало; даже мало читали и не слъдили правильно за газетами. Поглощенные воспоминаніями и ожиданіями, они не любили выходить въ другія области; а намъ не доставало воздуха въ этой спертой атмосферъ. Мы, избаловавшись другими размърами, задыхались!

Къ тому же, если они и знали извъстный слой Петербурга, то Россіи вовсе не знали и, искренно желая сблизиться съ на-

родомъ, сближались съ нимъ книжно и теоретически.

Общее между нами было слишкомъ обще. Вмѣстѣ идти, служить, по французскому выраженію, вмѣстѣ что-нибудь дѣлать—мы могли; но вмѣстѣ стоять и жить сложа руки было трудно. О серьезномъ вліяніи и думать было нечего. Болѣзненное и очень безцеремонное самолюбіе давно закусило удила 1). Иногда, правда, они требовали программы, руководства, но, при всей искренности, это было не въ самомъ дѣлѣ. Они ждали, чтобы мы формулировали ихъ собственное мнѣніе и только въ томъ случаѣ соглашались, когда высказанное нами нисколько не противорѣчило ему. На насъ они смотрѣли, какъ на почтенныхъ инвалидовъ, какъ на прошедшее, и наивно дивились, что мы еще не очень отстали отъ нихъ.

Я всегда и во всемъ боялся «пуще всъхъ печалей» мезальянсовъ, всегда ихъ допускалъ долею по гуманности, долею по небрежности, и всегда страдалъ отъ нихъ.

Предвидёть было немудрено, что новыя связи долго не продержатся, что рано или поздно он'є разорвутся и что этоть разрывь, взявь въ расчеть шероховатый характеръ новыхь пріятелей, не обойдется безъ дурныхъ посл'єдствій.

Вопросъ, на которомъ покачнулись шаткія отношенія, былъ именно тотъ старый вопросъ, на которомъ обыкновенно разрываются знакомства, сшитыя гнилыми нитками. Я говорю о деньгахъ. Не зная вовсе ни моихъ средствъ, ни моихъ жертвъ, они предъявляли на меня требованія, которыя удовлетворять я не считалъ справедливымъ. Если я могъ черезъ всѣ невзгоды, безъ малѣйшей поддержки, провести лѣтъ пятнадцатъ русскую пропаганду, то я могъ это сдѣлать, налагая мѣру и границу на другія траты. Новые знакомые находили, что все, дѣлаемое мною, мало, и съ негодованіемъ смотрѣли на человѣка, прикидывающагося соціалистомъ и не раздающаго своего достоянія на дуванъ людямъ не работающимъ, но желающимъ денегъ. Очевидно, они стояли еще на непрактической точкѣ зрѣнія христіанской милостыни и добровольной нищеты, принимая ее за практическій соціализмъ.

Опыты собранія «Общаго фонда» не дали важныхъ результатовъ. Русскіе не любятъ давать денегь на общее дѣло, если при немъ нѣтъ сооруженія церкви, обѣда, попойки и высшаго одобряющаго начальства.

<sup>1)</sup> Самолюбіе ихъ не было такъ велико, какъ задорно и раздражительно, а главное невоздержанно на слова. Они не могли скрыть ни зависти, ни своего рода щепетильнаго требованія—чинопочитанія по рангу, ими присвоенному. При этомъ сами они смотрѣли на все свысока и постоянно трунили другъ надъ другомъ, отчего ихъ дружбы никогда не продолжались дольше мѣсяпа.

Въ самый разгаръ эмигрантскаго безденежья, разнесся слухъ, что у меня есть какая-то сумма денегъ, врученная мнъ для пропаганды.

людямъ казалось справедливымъ ее у меня Молодымъ

отобрать.

Для того, чтобы понять это, слёдуетъ разсказать объ одномъ странномъ случат, бывшемъ въ 1858 г. Однимъ утромъ я получилъ записку, очень короткую, отъ какого-то незнакомаго русскаго; онъ писалъ мнъ, что имъетъ «необходимость меня видъть»,

и просилъ назначить время.

Я въ это время шелъ въ Лондонъ, а потому, вмѣсто всякаго отвъта, зашелъ самъ въ Саблоньеръ-отель и спросилъ его. Онъ быль дома. Молодой человъкь съ видомъ кадета, застънчивый, очень невеселый и съ особой наружностью, довольно топорно отдъланной, седьмыхъ-восьмыхъ сыновей степныхъ помъщиковъ. Очень неразговорчивый, онъ почти все молчалъ; видно было, что у него что-то на душт, но онъ не дошелъ до возможности высказать что.

Я ушелъ, пригласивши его дня черезъ два-три объдать. Прежде этого я его встрётилъ на улицъ.

— Можно съ вами итти? — спросилъ онъ.

— Конечно, не мет съ вами опасно, а вамъ со мной. Но Лон-

понъ великъ. — Я не боюсь, и туть вдругь, закусивши удила, онъ быстро проговорилъ: — я никогда не возвращусь въ Россію, нътъ, нътъ, я ръшительно не возвращусь въ Россію...

— Помилуйте, вы такъ молоды?

— Я Россію люблю, очень люблю; но тамълюди... тамъ мнъ не житье. Я хочу завести колонію на совершенно соціальныхъ основаніяхъ; это все я обдумалъ и теперь тду прямо туда.

— То есть, куда?

— На Маркизскіе острова.

Я смотрёлъ на него съ нёмымъ удивленіемъ.

- Да, да; это дъло ръшенное. Я плыву съ первымъ пароходомъ и потому очень радъ, что васъ встрътилъ сегодня, --могу я вамь сдёлать нескромный вопросъ?
  - Сколько хотите.

— Имѣете вы выгоду отъ вашихъ публикацій?

— Какая же выгода; хорошо, что теперь печать окупается.

- Ну, а если не будеть окунаться?

— Буду приплачивать.

— Стало, въ вашу пропаганду не входять никакія торгозыя пѣли?

Я расхохотался.

— Ну, да какъ же вы будете одни приплачивать? А пропаганда ваша необходима. Вы меня простите, я не изъ любопытства спрашиваю: у меня была мысль, оставляя Россію навсегда, сдѣлать что-нибудь полезное для нея, я и рѣшился оставить у васъ немного денегъ. На случай, если вашей типографіи нужно, или для русской пропаганды вообще, такъ вы бы и распорядились.

Мнт опять пришлось посмотртть на него съ удивленіемъ.

- Ни типографія, ни пропаганда, ни я, въ деньгахъ мы не нуждаемся; напротивъ, дёло идетъ въ гору; зачёмъ же я возьму ваши деньги? Но, отказываясь отъ нихъ, позвольте мит отъ души поблагодарить за доброе намёреніе.
- Нѣтъ-съ, это дѣло рѣшенное. У меня пятьдесятъ тысячъ франковъ, тридцать я беру съ собой на острова, двадцать отдаю вамъ на пропаганду.
  - Куда же я ихъ дѣну?
- Ну, не будеть нужно, вы отдадите мнѣ, если я возвращусь; а не возвращусь лѣтъ черезъ десять, или умру, употребите ихъ на усиленіе вашей пропаганды. Только,—добавиль онъ, подумавши,—дѣлайте, что хотите, но... но не отдавайте ничего мо-имъ наслѣдникамъ. Вы завтра утромъ свободны?
  - Пожалуй.
- Сводите меня, сдѣлайте одолженіе, въ банкъ и къ Ротшильду; я ничего не знаю и говорить не умѣю по-англійски, и по-французски очень плохо. Я хочу скорѣе отдѣлаться отъ двадцати тысячъ п ѣхать.
- Извольте, я деньги принимаю, но воть на какихъ основаніяхъ: я вамъ дамъ расписку.
  - Никакой расписки мнѣ ненужно.
- Да, но мнѣ нужно дать, я безъ этого вашихъ денегъ не возьму. Слушайте же. Во-первыхъ, въ распискъ будетъ сказано, что деньги ваши ввъряются не мнѣ одному, а мнѣ и Огареву. Вовторыхъ, такъ какъ вы, можетъ, соскучитесь на Маркизскихъ островахъ и у васъ явится тоска по родинѣ (онъ покачалъ головой)... почемъ знаешь чего не знаешь... то писать о цѣли, съ которой вы даете капиталъ, не слѣдуетъ, а мы скажемъ, что деньги эти отдаются въ полное распоряженіе мое и Огарева; буде же мы иного распоряженія не сдѣлаемъ, мы купимъ для васъ на всю сумму какихъ-нибудь бумагъ, гарантированныхъ англійскимъ правительствомъ, въ 5% или около. Затѣмъ, даю вамъ слово, что, безъ явной крайности для пропаганды, мы денегъ вашихъ не тронемъ; вы на нихъ можете считать во всѣхъ случаяхъ, кромѣ банкротства въ Англіи.
- Коли хотите непремѣнно дѣлать столько затрудненій, дѣлайте ихъ. А завтра ѣдемъ за деньгами!

Слёдующій день быль необыкновенно смёшень и суетливь. Началось съ банка и Ротшильда. Деньги выдали ассигнаціями. Б. возымёль сначала благое нам'вреніе размёнять ихъ на испанское золото или серебро. Конторщики Ротшильда смотр'ёли на него съ изумленіемъ, но когда вдругъ, какъ съ просонья, онъ сказаль совершенно ломанымъ франко-русскимъ языкомъ: «ну, такъ летръ креди иль Маркизъ», тогда Кеснеръ, директоръ бюро, обернулъ на меня испуганный и тоскливый взглядъ, который лучше словъ говорилъ: «Онъ не опасенъ ли?» Еще никогда въ дом'в у Ротшильда никто не требовалъ кредитива на Маркизскіе острова.

Рѣшились тридцать тысячъ взять золотомь и ѣхать домой; на дорогѣ заѣхали въ кафе, я написалъ расписку; Б. съ своей стороны написалъ мнѣ, что отдаетъ въ полное распоряженіе мое и Огарева восемьсотъ фунтовъ; потомъ онъ ушелъ зачѣмъ-то домой, а я отправился его ждать въ книжную лавку; черезъ четверть часа онъ пришелъ блѣдный какъ полотно и объявилъ, что у него изъ 30.000 недостаетъ 250 франковъ, т. е., 10 фунтовъ.

Онъ былъ совершенно сконфуженъ. Какъ потеря 250 франковъ могла такъ перевернуть человъка, отдавшаго безъ всякой прочной гарантіи 20.000,—опять психологическая загадка натуры человъческой.—Нътъ ли лишней бумажки у васъ?—Со мной денегь нътъ, я отдалъ Ротшильду и вотъ расписка: ровно 800 фунтовъ получено. В., размънявшій безъ всякой нужды на фунты свои ассигнаціи, разсыпалъ на конторкъ Тхоржевскаго 30.000; считаль, пересчитывалъ, нътъ 10 фунтовъ да и только. Видя его отчаяніе, я сказалъ Тхоржевскому: я какъ-нибудь на себя возьму эти проклятые 10 фунтовъ, а то онъ же сдѣлалъ доброе дѣло, да онъ же и наказанъ.

— Горевать и толковать туть не поможеть, прибавиль я ему: я предлагаю э́хать сейчась къ Ротшильду.

Мы побхали. Было уже позже четырехъ и касса заперта. Я взошелъ съ сконфуженнымъ Б. Кеснеръ посмотрѣлъ на него и, улыбаясь, взялъ со стола 10-фунтовую ассигнацію и подалъ ее мнѣ.

- Это какимъ образомъ?
- Вашъ другъ, мѣняя деньги, далъ вмѣсто двухъ 5 фунт.— двѣ 10 фунт. ассигнаціи, а я сначала не замѣтилъ.
  - Б. смотрѣлъ, смотрѣлъ и прибавилъ:
- Какъ глупо, одного цвъта и 10 фунтовъ и 5 фунтовъ; кто же догадается,—видите, какъ хорошо, что я размънялъ деньги на золото.

Успокоившись, онъ поёхаль ко мнё обёдать, а на другой день я обёщался притти къ нему проститься. Онъ былъ совсёмъ готовъ. Маленькій кадетскій или студентскій, вытертый, растертый

чемоданчикъ, шинель, перевязанная ремнемъ, и... и... тридцать тысячъ франковъ золотомъ, завязанныя въ толстомъ фулярѣ такъ, какъ завязываютъ фунтъ крыжовнику или орѣховъ.

Такъ жхалъ этотъ человжкъ на Маркизскіе острова.

- Помилуйте,—говорилъ я ему,—да васъ убыотъ и ограбять прежде, чъмъ вы отчалите отъ берега. Положите лучше въ чемоданчикъ деньги.
  - Онъ полонъ.
  - Я вамъ сакъ достану.
  - Ни подъ какимъ видомъ.

— Такъ и увхалъ. Я первые дни думалъ, чего добраго его укокошатъ, а на меня падетъ подозрвние, что я подослалъ его убить.

Съ тъхъ поръ объ немъ не было слуху, ни духу... Деньги его я положилъ въ фонды, съ твердымъ намъреніемъ не касаться до нихъ безъ крайней нужды типографіи или пропаганды.

Въ Россіи долгое время никто не зналъ объ этомъ; потомъ ходили смутные слухи,—чему мы обязаны двумъ-тремъ пріятелямъ нашимъ, давшимъ слово не говорить объ этомъ. Наконецъ, узнали, что деньги дъйствительно есть и хранятся у меня.

Вёсть эта пала какимъ-то яблокомъ искушенья, какимъ-то хроническимъ возбужденіемъ и ферментомъ. Оказалось, что этп деньги нужны всёмъ, а я ихъ не давалъ. Мнё не могли простить, что я не потеряль всего своего состоянія, а тутъ у меня депо, данное для пропаганды; а кто же пропаганда, какъ не они? Сумма вскорт выросла изъ скромныхъ франковъ въ рубли серебромъ, и дразнила еще больше желавшихъ сгубить ее частно на общее дъло. Негодовали на Б., что онъ мив деньги вв врилъ, а не комунибудь другому; самые смълые утверждали, что это съ его стороны ощибка, что онъ дъйствительно хотълъ отдать ихъ не мнъ, а одному петербургскому кругу и что, не зная, какъ это сдёлать, отдалъ въ Лондонъ мнъ. Отважность въ этихъ сужденіяхъ была тъмъ замъчательнъе, что о фамиліи Б. такъ же никто не зналъ, какъ и о его существованіи, и что онъ о своемъ предположеніи ни съ къмъ не говорилъ до своего отътзда, а послъ его отътзда съ нимъ никто не говорилъ.

Однимъ деньги эти нужны были для посылки эмиссаровъ; другимъ для образованія центровъ на Волгѣ; третьимъ для изданія журнала. *Колоколомъ* они были не довольны и на наше приглашеніе работать въ немъ, что-то подавались туго.

Я ръшительно денегъ не давалъ и пусть требовавшіе ихъ сами скажутъ, гдт онт были бы, если-бъ и далъ ихъ.

— Б., говориль я, можеть воротиться безъ гроша; трудно сдълать аферу, заводя соціалистическую колонію на Маркизскихъ островахъ.

— Онъ навърное умеръ.

— А какъ на зло вамъ живъ?

— Да, въдь, онъ деньги далъ на пропаганду.

— Пока мнѣ на нее ненужно.

- Да намъ нужно.На что именно?
- Надобно послать кого-нибудь на Волгу, кого-нибудь въ Олессу...

— Не думаю, чтобъ очень нужно было.

— Такъ вы не върите въ необходимость послать?

— Не вѣрю.

Старъетъ и становится скупъ, — говорили обо мнъ на разные тоны самые ръшительные и свиръпые. — Да что на него смотръть; взять у него эти деньги, да и баста, —прибавляли еще больше ръшительные и свиръпые. — А будетъ упираться, мы его такъ продернемъ въ журналахъ, что будетъ помнить, какъ задерживать чужія деньги.

Денегъ я не далъ.

Въ журналахъ они не продергивали. Ругательства въ печати являются гораздо позже, но тоже изъ-за денегъ.

... Эти болке свиркные, о которыхъ я сказалъ, были тѣ ультра, тѣ угловатые и шершавые представители «новаго поколѣнья», которыхъ можно назвать Собакевичами и Ноздревыми нигилизма.

Какъ ни излишне дёлать оговорку, но я ее сдёлаю, зная логику и манеру нашихъ противниковъ. Въ моихъ словахъ нётъ ни малёйшаго желанія бросить камень ни въ молодое поколёніе, ни въ нигилизмъ. О послёднемъ я писалъ много разъ. Наши Собакевичи нигилизма не составляютъ сильнёйшаго выраженія ихъ, а представляютъ ихъ черезчурную крайность 1).

Кто же станетъ христіанство судить по Аршеновымъ хлыстамъ и революцію по сентябрьскимъ мясникамъ и робесньеровскимъ

чулочницамъ?

Заносчивые юноши, о которыхъ идетъ рѣчь, заслуживаютъ изученія, потому что они выражаютъ временный типъ, очень опредъленно вышедшій, очень часто повторявшійся, переходную форму бользни нашего развитія изъ прежняго застоя.

Большею частью они не имѣли той выправки, которую даеть воспитаніе и той выдержки, которая пріобрѣтается научными занятіями. Они торопились въ первомъ задорѣ освобожденія сбро-

<sup>1)</sup> Въ то самое время въ Петербургѣ и Москвѣ, даже въ Казани и Харьковѣ, образовывались между университетской молодежью круги, серьезно посвящавше себя изученю науки, особенно между медиками. Честно и добросовъстно трудились они, но устраненные отъ бойкаго участи въ вопросахъ дня, они пе были вынуждены покидать Россіи и мы ихъ почти вовсе не знали.

сить съ себя всё условныя формы и оттолкнуть всё каучуковыя подушки, мізшающія жесткимъ столкновеніямъ. Это затруднило всё простейшія отношенія съ ними.

Снимая все до послѣдняго клочка, наши enfants terribles гордо являлись какъ мать родила, а родила-то она ихъ плохо, вовсе не простыми дебелыми парнями, а наслѣдниками дурной и нездоровой жизни низшихъ петербургскихъ слоевъ. Вмѣсто атлетическихъ мышцъ и юной наготы, обнаружились печальные слѣды наслъдственнаго худосочія, слѣды застрѣлыхъ язвъ и разнаго рода колодокъ и ошейниковъ. Изъ народа было мало выходцевъ между ними. Передняя, казарма, семинарія, мелкопомѣстная господская усадьба, перегнувшись въ противуположное, сохранились въ крови и мозгу, не теряя отличительныхъ чертъ своихъ. На это, сколько мнѣ извѣстно, не обращали должнаго вниманія.

Съ одной стороны, реакція противъ стараго, узкаго, давившаго міра должна была бросить молодое поколѣніе въ антагонизмъ и всяческое отрицаніе враждебной среды; тутъ нечего искать ни мѣры, ни справедливости. Напротивъ, тутъ дѣлается назло, тутъ дѣлается въ отместку. Вы лицемѣры, мы будемъ циниками; вы были нравственны на словахъ, мы будемъ на словахъ зюдѣями; вы были учтивы съ высшими и грубы съ низшими, мы будемъ грубы со всѣми; вы кланяетесь, не уважая, мы будемъ толкаться, не извиняясь; у васъ чувство достоинства было въ одномъ приличіи и внѣшней чести, мы за честь себѣ поставимъ попраніе всѣхъ приличій и презрѣніе всѣхъ роіпts d'honneur'овъ.

Но, съ другой стороны, эта отръшенная отъ обыкновенныхъ формъ общежительства личность была полна своихъ наслъдственныхъ недуговъ и уродствъ. Сбрасывая съ себя, какъ мы сказали, всъ покровы, самые отчаянные стали щеголять въ костюмъ гоголевскаго Пътуха, и при томъ не сохраняя позы Венеры Медицейской. Нагота не скрыла, а раскрыла, кто они. Она раскрыла, что ихъ систиматическая неотесанность, ихъ грубая и дерзкая ръчь не имъетъ ничего общаго съ неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина, и очень много съ пріемами подъяческаго круга, торговаго прилавка и лакейской помъщичьяго дома. Народъ ихъ такъ же мало счелъ за своихъ, какъ славянофиловъ въ мурмолкахъ. Для него они остались чужимъ, низшимъ слоемъ враждебнаго стана, исхудалыми баричами, стрекулистами безъ мъста, нъщами изъ русскихъ.

Для полной свободы надобно забыть свое освобождение и то, изъ чего освободились, бросить привычки среды, изъ которой выросли. Пока этого не сдълано, мы невольно узнаемъ переднюю, казарму, канцелярію и семинарію по каждому ихъ движенію и по каждому слову.

Бить въ рожу по первому возражению, если не кулакомъ, то ругательнымъ словомъ, называть С.-Милля ракальей, забывая всю службу его, — развъ это не барская замашка, которая «стараго Гаврилу, за измятое жабо хлещетъ въ усъ да въ рыло». Развѣ въ этой и подобныхъ выходкахъ вы не узнаете квартальнаго, исправника, станового, таскающаго за съдую бороду бурмистра? Развъ въ нахальной дерзости манеръ и отвътовъ вы не ясно видите дерзость офицерщины и въ людяхъ, говорящихъ свысока и съ пренебрежениемъ о Шекспиръ и Пушкинъ, внучатъ Скалозуба, получившихъ воспитаніе въ домѣ дѣдушки, хотѣвшаго «дать фельдфебеля въ Вольтеры»?

Самая проказа взятокъ уцёлёла въ домогательстве денегъ нахраномъ, съ пристрастіемъ и угрозами, подъ предлогомъ общихъ дълъ, въ поползновении кормиться насчеть службы и

метить кляузами и клеветами за отказъ.

Все это переработается и перемелется; но нельзя не сознаться, странную почву приготовили опека и цивилизація въ нашемъ «темномъ царствъ». Почву, на которой многообъщающіе всходы проросли, съ одной стороны, поклонниками Муравьевыхъ и Катковыхь, съ другой, дантистами нигилизма и базаровской безпардонной вольницы.

Много дренажа требують наши черноземы!

## М. Б. и Польское дъло.

(Продолжение главы "Перигей").

Въ концѣ ноября мы получили отъ Б. слѣдующее письмо: «15 октября 1861, С.-Франциско. Друзья, мнѣ удалось бѣжать изъ Сибири и, послѣ долгаго странствованія по Амуру, по берегамъ татарскаго пролива и черезъ Японію, сегодня прибылъ

я въ Санъ-Франциско.

«Друзья, всёмь существомъ стремлюсь я къ вамъ и, лишь только пріёду, примусь за дёло, буду у васъ служить по польско-славянскому вопросу, который быль моей idée fixe съ 1846 и моей практической спеціальностью въ 48 и 49 годахъ.

«Разрушеніе, полное разрушеніе Австрійской имперіи, будеть моимъ послѣднимъ словомъ; не говорю дѣломъ, это было бы слишкомъ честолюбиво; для служенія ему я готовъ итти въ барабанщики, или даже въ прохвосты и, если мнѣ удастся хоть на волосъ подвинуть его впередъ, я буду доволенъ. А за нимъ является славная, вольная славянская федерація, единственный исходъ для Россіи, Украйны, Польши и вообще для славянскихъ народовъ».

О его намерени убхать изъ Сибири мы знали несколько месяцевъ прежде. Къ новому году явилась и собственная пышная фигура В. въ нашихъ объятіяхъ.

Въ нашу работу, въ нашъ замкнутый двойной союзъ взошелъ новый элементъ, или, пожалуй, элементъ старый, воскресшая тѣнь сороковыхъ годовъ и всего больше 1848 года. Б. былъ тотъ же, онъ состарѣлся только тѣломъ, духъ его былъ молодъ и восторженъ, какъ въ Москвѣ во время всенощныхъ споровъ съ Хомяковымъ; онъ былъ такъ же преданъ одной идеѣ, такъ же способенъ увлекаться, видѣть во всемъ исполненіе своихъ желаній и идеаловъ, и еще больше готовъ на всякій опытъ, на всякую жертву, чувствуя, что жизни впередъ остается не такъ много и что, слёдственно, надобно торопиться и не пропускать ни одного случая. Онъ тяготился долгимь изученіемь, взвёшиваніемъ рго и сопта и рвался, довёрчивый и отвлеченный какъ прежде, къ дёлу, лишь бы оно было среди бурь революціи, среди разгрома и грозной обстановки. Онъ и теперь, такъ въ статьяхъ Жюля Елизара, повторяль: «Die Lust der Zerstærung ist eine Schaffende Lust». Фантазіи и идеалы, съ которыми его заперли въ Кенигштейнё въ 1849, онъ сберегь и привезъ ихъ черезъ Японію и Калифорнію въ 1861 году, во всей цёлости. Даже языкъ его напоминаль лучния статьи «Реформы» и Vraie République, рёзкія рёчи de la Constituante и клуба Бланки. Тогдашній духъ партій, ихъ исключительность, ихъ симпатіи и антипатіи къ лицамъ, пуще всего ихъ вёра въ близость второго пришествія революціи, все было налицо.

Тюрьма и ссылка необыкновенно сохраняють сильныхъ людей, если не тотчасъ ихъ губятъ; они выходятъ изъ нея, какъ изъ обморока, продолжая то, на чемъ лишились сознанія. Декабристы возвратились изъ-подъ сибирскаго снѣга моложе потоптанной на корню молодежи, которая ихъ встрѣтила. Въ то время, какъ два поколѣнія французовъ нѣсколько разъ мѣнялись, краснѣли и блѣднѣли, поднимаемыя приливами и уносимыя назадъ отливами, Барбесъ и Бланки остались безсмѣными маяками, напоминавшими изъ-за тюремныхъ рѣшетокъ, изъ-за чужой дали прежніе идеалы во всей чистотъ.

«Польско-славянскій вопросъ... разрушеніе Австрійской имперіи... вольная славянская и *славная* федерація»... И все это сейчась, какъ только онъ прівдеть въ Лондонь, и пишеть изъ

С.-Франциско, одна нога на кораблъ!

Европейская реакція не существовала для Б., не существовали и тяжелые годы отъ 1848 до 1858; они ему были изв'єстны вкратц'є, издалека, слегка. Онъ ихъ прочель въ Спбири, такъ, какъ читалъ въ Кайданов'є о Пуническихъ войнахъ и о наденіи Римской имперіи. Какъ челов'єкъ, возвратившійся носліє мора, онъ слышалъ о тіхъ, которые умерли, и вздохнулъ объ нихъ обо вс'єхъ; но онъ не сидіять у изголовья умирающихъ, не надівялся на ихъ спасеніе, не шелъ за ихъ гробомъ. Совс'ємъ напротивъ, событія 1848 были возліє, близки къ сердцу, подробные и живые разговоры съ Коссидьеромъ, річи славянъ на Пражскомъ съ'єзд'є, споры съ Араго или Руге,—все это было для Б. вчера, звенёло въ ушахъ, мелькало передъ глазами.

Впрочемъ, оно и сверхъ тюрьмы немудрено.

Первые дни послѣ февральской революціи были лучшими днями жизни Б. Возвратившись изъ Бельгіи, куда его вытурилъ Гизо за его рѣчь на польской годовщинѣ 29 ноября 1847, онъ

съ головой нырнуль во всё тяжкія революціоннаго моря. Онъ не выходиль изъ казармъ монтаньяровъ, ночевалъ у нихъ, ѣлъ съ ними и проповѣдывалъ, все проповѣдывалъ, коммунизмъ еt l'égalité du salaire, нивелированіе во имя равенства, освобожденіе всѣхъ славянъ, уничтоженіе всѣхъ Австрій, революцію еп регмапенсе, войну до избіенія послѣдняго врага. Префектъ съ баррикадъ, дѣлавшій «порядокъ изъ безпорядка», Коссидьеръ, не зналъ, какъ выжить дорогого проповѣдника, и придумалъ съ Флокономъ отправить его въ самомъ дѣлѣ къ славянамъ съ братской акколадой и увѣренностью, что онъ тамъ себѣ сломитъ шею и мѣшать не будетъ. Quel homme! Quel homme! говорилъ Коссидьеръ о Б.: «въ первый день революціи это просто кладъ, а на другой день его надобно разстрѣлять» 1).

Когда я пріёхаль въ Парижъ изъ Рима въ началѣ мая 1848, В. уже витійствоваль въ Богеміи, окруженный старовѣрческими монахами, чехами, кроатами, демократами, и витійствоваль до тѣхъ поръ, пока князь Виндишгрецъ не положилъ пушками предѣлъ краснорѣчію (и не воспользовался хорошимъ случаемъ, чтобы при сей вѣрной оказіи не подстрѣлить невзначай своей жены). Исчезнувъ изъ Праги, В. является военнымъ начальникомъ Дрездена; бывшій артиллерійскій офицеръ учитъ военному дѣлу поднявшихъ оружіе профессоровъ, музыкантовъ и фармацевтовъ, совѣтуетъ имъ Мадонну Рафаэля и картины Мурильо поставить на городскія стѣны и ими защищаться отъ пруссаковъ, которые zu klassisch gebildet, чтобъ осмѣлились стрѣлять по Рафаэлю.

Артиллерія ему вообще пом'єшала. По дорогіє изъ Пирижа въ Прагу, онъ наткнулся гдієто въ Германіи на возмущеніе крестьянъ; они шумієли и кричали передъ залиомъ, не умізя ничего сдієлать. В. вышель изъ повозки и, не имізя времени узнать въ чемъ дієло, построилъ крестьянъ и такъ ловко научиль ихъ, что, когда ношелъ садиться въ повозку, чтобъ продолжать путь, замокъ пылалъ съ четырехъ сторонъ.

Б. когда-нибудь переломить свою лёнь и сдержить обёщаніе: онь когда-нибудь разскажеть длинный мартирологь, начавшійся для него после взятія Дрездена. Напомню здёсь главныя черты. Б. быль приговорень къ эшафоту. Король Саксонскій замёниль топоръ вёчной тюрьмой, потомъ, безъ всякаго основанія, пере-

<sup>1)</sup> Скажите Коссидьеру,—говорилъ я, шутя, его пріятелямъ,—что тѣмъ-то В. и отличается отъ него, что и Коссидьеръ славный человѣкъ, но что его лучше бы разстрѣлять накануню революціи. Впослѣдствіи, въ Лондонѣ въ 1854 году. я ему помянуль объ этомъ. Префектъ въ изгнаніи только удариль огромнымъ кулакомъ своимъ въ молодецкую грудь съ той силой, съ которой вбивають сваи въ землю, и говорилъ: "Здѣсь ношу Б... здѣсь".

даль его въ Австрію. Австрійская полиція думала отъ него узнать что-нибудь о славянскихъ замыслахъ. В. посадили въ Грачинъ и, ничего не добившись, отослали его въ Ольмюцъ. Б. скованнаго везли подъ сильнымъ конвоемъ драгунъ; офицеръ, который сълъ съ нимъвъ повозку, зарядилъ при немъ пистолетъ.

— Это для чего же?—спросилъ Б.—неужели вы думаете, что

я могу бъжать при этихъ условіяхъ?

— Нѣтъ, но васъ могуть отбить ваши друзья; правительство имѣло насчетъ этого слухи, и въ такомъ случаѣ...

— Что же?

— Мнъ приказано посадить вамъ пулю въ лобъ.

И товарищи поскакали.

Въ Ольмюцѣ В. *приковали къ стинк*, и въ этомъ положеніи онъ пробыль *полгода*. Австріи, наконецъ, наскучило даромъ кормить чужого преступника; она предложила Россіи его выдать.

На русской границѣ съ Б. сняли цѣпп. Объ этомъ я слышалъ много разъ; дѣйствительно, цѣпп съ него сняли, но разсказчикъ забылъ прибавить, что зато надѣли другія, гораздо тяжеле. Офицеръ австрійскій, сдавши арестанта, потребовалъ

цъпи, какъ казенную К. К. собственность.

Николай похвалилъ храброе поведение Б. въ Дрездент и посадиль его въ Алексвевскій равелинь. Туда онъ прислаль къ нему Орлова и велёль ему сказать, что онъ желаеть отъ него записку о нъмецкомъ и славянскомъ движеніи. В. написалъ журнальный leading article. Николай этимъ быль доволенъ. «Онъ умный и хорошій малый, но опасный человікь, его надобно держать на заперти», п три уголых года послѣ этого В. былъ схороненъ въ Алексевскомъ равелине. Александръ II оставилъ Б. въ кръности по 1857, потомъ послалъ его на житье въ восточную Сибирь. Въ Иркутскъ онъ очутился на волъ послъ девятильтняго заключенія. Начальникомъ края быль тамъ, на его счастье, оригинальный человекъ, демократъ и татаринъ, либераль и деспоть, родственникъ Михайлы Б... и Михайлы Муравьева, и самъ Муравьевъ, тогда еще не Амурскій. Онъ далъ Б. вздохнуть, возможность человъчески жить, читать журналы и газеты, и самъ мечталъ съ нимъ о будущихъ переворотахъ и войнахъ. Въ благодарность Муравьеву Б. въ головъ назначалъ его главнокомандующимъ будущей земской арміей, назначаемой имъ въ свою очередь на уничтожение Австріп и учреждение славянскаго союзничества.

Въ 1860 году мать Б. просила государя о возвращении сына въ Россію; государь сказаль, что «при жизни его, Б. пзъ Сибири не переведутъ»; но онъ разръшилъ ему вступить въ службу писиомъ.

Тогда Б. ръшился бъжать; я его въ этомъ совершенно оправдываю. Послёдніе годы лучше всего доказываютъ, что ему нечего въ Сибири было ждать. Девяти лѣтъ каземата и нѣсколько лѣтъ ссылки было за глаза довольно. Не отъ его цобѣга, какъ говорили, стало хуже политическимъ сосланнымъ, а отъ того, что

времена стали хуже, люди стали хуже.

Бъгство Б. замъчательно пространствомъ; это самое длиное оъгство въ географическомъ смыслъ. Пробравшись на Амуръ подъ предлогомъ торговыхъ дълъ, онъ уговорилъ какого-то американскаго шкипера взять его съ собой къ Японскому берегу.— Въ Гоко-Дади другой американскій капитанъ взялся его довезти до С.-Франциско. Б. отправился къ нему на корабль и засталъ моряка, сильно хлопотавшаго объ объдъ; онъ ждалъ какого-то почетнаго гостя и пригласилъ Б. — Б. принялъ приглашеніе и, только когда гость пріъхалъ, узналь, что это генеральный русскій консуль.

Скрываться было поздно, смёшно; онъ прямо вступиль съ нимъ въ разговоръ, сказалъ, что выпросился сдёлать прогулку. Небольшая русская эскадра, помнится, адмирала Попова, стояла

въ моръ и собпралась плыть къ Николаеву.

— Вы не съ нашими ли возвращаетесь?—спросилъ консулъ.
— Я только что прібхалъ,—отвъчалъ Б.,—и хочу еще посмо-

трѣть край.

Вмъстъ покушавши, они разошлись en bons amis. Черезъ день онъ проилыть на американскомъ пароходъ мимо русской эскадры;

кромъ океана опасности больше не было.

Какъ только Б. оглядълся и учредился въ Лондонъ, т. е., перезнакомился со всъми поляками и русскими, которые были налицо, онъ принялся за дъло. Къ страсти проповъдыванія, агитаціи, пожалуй, демагогіи, къ безпрерывнымъ усиліямъ учреждать устраивать комилоты, переговоры, заводить сношенія и придавать имъ огромное значеніе, у Б. прибавляется готовность первому итти на исполненіе, готовность погибнуть, отвага принять всъ послъдствія. Это натура героическая, оставленная исторіей не у дълъ. Онъ тратилъ свои силы пногда на вздоръ такъ, какъ левъ тратить шаги въ клъткъ, все думая, что выйдеть изъ нея. Но онъ не риторъ, боящійся исполненія своихъ словъ или уклоняющійся оть осуществленія своихъ общихъ теорій...

В. имъть много недостатковъ. Но недостатки его были мелки, а сильныя качества крупны. Развъ это одно не великое дъло, что, брошенный судьбою куда бы то ни было и схвативъ двътри черты окружающей среды, онъ отдълялъ революцонную струю и тотчасъ принимался вести ее далъе, раздувать, дълать изъ нея страстный вопросъ жизни.

Говорять, будто И. Тургеневъ хотълъ нарисовать портретъ Б. въ Рудинъ, но Рудинъ едва напоминаетъ нъкоторыя черты В. Тургеневъ создалъ Рудина по своему образу и подобію. Рудинь Тургенева, наслушавшійся философскаго жаргона, мо-

лодой Б.

Въ Лондонъ онъ, во-первыхъ, сталъ революціонировать Колоколь и говориль въ 1862 противъ насъ почти то, что говорилъ въ 1847 противъ Бълинскаго. Мало было пропаганды, надобно было неминуемо приложение, надобно было устроить центры, комитеты; мало было близкихъ и дальнихъ людей, надобны были «посвященные и полупосвященные братья», организація въ крат, славянская организація, польская организація. Б. находилъ насъ умъренными, не умъющими пользоваться тогдашнимъ положеніемъ, недостаточно любящими рѣшительныя средства. Онъ, впрочемъ, не унывалъ и върилъ, что въ скоромъ времени поставитъ насъ на путь истинный. Въ ожиданіи нашего обращенія, Б. струппироваль около себя цёлый кругь славянъ. Туть были чехи, отъ литератора Фрича до музыканта, называвшагося Наперсткомъ; сербы, которые просто величались по батюшкъ Іоановичъ, Даниловичъ, Петровичъ; были валахи, состоявшіе въ должности славянь, съ своимъ въчнымь еско на концъ; наконецъ, былъ болгаръ, лекарь въ турецкой армін, и поляки всёхъ епархій: Бонапартовской, Мирославской, Чарторижской; демократы безъ соціальныхъ идей, но съ офицерскимъ оттфнкомъ: сопіалисты, католики, анархисты, аристократы и просто солдаты, хотъвшіе гдь-нибудь подраться, въ Сьверной или въ Южной Америкт, и преимущественно въ Польшт.

Отдохнулъ съ ними Б. за девятилътнее молчание и одиночество. Онъ спорилъ, пропов'єдывалъ, распоряжался, кричалъ, ръшаль, направляль, организироваль и ободряль цълый день, цёлую ночь, цёлыя сутки. Въ короткія минуты, остававшіяся у него свободными, онъ бросался за свой письменный столь, расчищать небольшое мъсто отъ золы и принимался писать пять, десять, иятнадцать писемъ въ Семиналатинскъ и Арадъ, въ Бълградъ и Царьградъ, въ Бессарабію, Молдавію и Бёлокриницу. Середь письма онъ бросаль перо и приводиль въ порядокъ какого-нибудь отсталаго далмата и, не кончивши своей ръчи, схватываль неро и продолжаль писать; это, впрочемь, для него было облегчено тъмъ, что онъ нисалъ и говорилъ объ одномъ и томъ же. Деятельность его, праздность, аппетить и все остальное, какъ гигантскій рость и въчный поть, все было не по человъческимъ размёрамъ, какъ онъ самъ; а самъ онъ-исполинъ съ львиной го-

ловой, съ всклокоченной гривой.

Въ пятьдесятъ лътъ онъ былъ ръшительно тотъ же кочующій

студентъ съ Маросейки, тотъ же бездомный Bohêmien съ rue de Bourgogne, безъ заботы о завтрашнемъ днѣ, пренебрегая деньгами, бросая ихъ, когда есть, занимая ихъ безъ разбора направо и налъво, когда ихъ нътъ, съ той простотой, съ которой дъти беруть у родителей, безъ заботы объ унлать, съ той простотой, съ которой онъ самъ отдаетъ всякому последнія деньги, отделивъ оть нихъ, что слёдуеть на сигареты и чай. Его этотъ образъ жизни не тъсниль; онъ родился быть великимъ бродягой, великимъ бездомникомъ. Если-бъ его кто-нибудь спросилъ окончательно, что онъ думаетъ о правъ собственности, онъ могъ бы сказать то, что отвічаль Лаландъ Наполеону о Богі: «Sire, въ моихъ занятіяхъ я не встрѣчалъ никакой необходимости въ этомъ правъ!» Въ немъ было что-то дътское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло къ нему слабыхъ и сильныхъ, отталкивая однихъ чопорныхъ мъщанъ. Его рельефная личность, его эксцентрическое и спльное появленіе, вездів, въ кругу московской молодежи, въ аудиторіи берлинскаго университета, между коммунистами Вейтлинга и монтаньярами Коссидьера, его ръчи въ Прагъ, его начальство въ Дрезденъ, процессъ, тюрьма, приговоръ къ смерти, истязанія въ Австріи, выдача Россіи, гді онъ исчезъ за стінами Алексівевскаго равелина, — дёлають изъ него одну изъ тёхъ индивидуальностей, мимо которыхъ не проходитъ ни современный міръ, ни исторія.

Въ этомъ человѣкѣ лежалъ зародышъ колоссальной дѣятельности, на которую не было запроса. Б. носилъ въ себѣ возможность сдѣлаться агитаторомъ, трибуномъ, проповѣдникомъ, главой партіи, секты, іересіархомъ, бойцомъ. Поставьте его, куда хотите, только въ крайній край, анабаптистомъ, якобинцемъ, товарищемъ Анахарсиса Клоотса, другомъ Гракха Бабёфа, и онъ увлекалъ бы массы и потрясалъ бы судьбами народовъ.

Но Колумбъ безъ Америки и корабля, онъ, послуживъ противъ воли года два въ артиллеріи, да года два въ московскомъ гегелизмѣ, торопился оставить край, въ которомъ мысль преслѣдовалась, какъ дурное намѣреніе, и независимое слово, какъ оскорбленіе общественной нравственности.

Вырвавшись въ 1840 году изъ Россіи, онъ въ нее не возвращался до тѣхъ поръ, пока пикетъ австрійскихъ драгунъ не сдалъ его русскому жандармскому офицеру въ 1849 году.

Поклонники цълесообразности, милые фаталисты раціонализма, все еще дивятся премудрому à ргороз, съ которымъ являются таланты и дъятели, какъ только на нихъ есть потребность, забывая, сколько зародышей мретъ, глохнетъ, не видавши свъта, сколько способностей, готовностей вянутъ, потому что ихъ не нужно.

Когда въ споръ Б., увлекаясь, съ громомъ и трескомъ обрушиваль на голову противника облаву брани, которой бы никому не простили, Б. прощали, и я первый. Мартьяновъ, бывало, говариваль: «Это, Александръ Ивановичъ, большая Лиза, какъ же на нее сердиться,—дитя!»

Какъ онъ дошелъ до женитьбы, я могу только объяснить Спбирской скукой. Онъ свято сохранилъ всѣ привычки и обычаи родины, т. е., студентской жизни въ Москвѣ: груды табаку лежали на столѣ въ родѣ приготовленнаго фуража, зола сигаръ надъ бумагами съ недопитыми стаканами чая; съ утра дымъ столбомъ ходилъ по комнатѣ отъ цѣлаго хора курильщиковъ, курившихъ точно взапуски, торопясь, задыхаясь, затягиваясь, словомъ такъ, какъ курять одни русскіе и славяне. Много разъ наслаждался я удивленіемъ, сопровождавшимся нѣкоторымъ ужасомъ, и замѣшательствомъ хозяйской горничной Грассъ, когда она глубокой ночью приносила горячую воду и пятую сахарницу сахара въ эту готовальню Славянскаго освобожденія.

Долго послѣ отъѣзда Б. изъ Лондона, въ № 10 Paddington Green разсказывали объ его житъѣ-бытъѣ, ниспровергнувшемъ всѣ упроченныя англійскими мѣщанами понятія п религіозно принятые ими размѣры и формы. Замѣтъте при этомъ, что горничная и хозяйка безъ ума любили его.

- Вчера, говорить Б. одинь изъ его друзей, прівхаль такой-то изъ Россіи; прекрасньйшій человькь, бывшій офицеръ.
  - Я слыхалъ объ немъ, его очень хвалили.
  - Можно его привести?
  - Непремънно, да что привести, гдъ онъ? Сейчасъ.
  - Онъ, кажется, нъсколько конституціоналисть.
  - Можетъ быть, но...
  - Но я знаю, рыцарски отважный п благородный человѣкъ
  - И вѣрный?
  - Ero очень уважають въ Orsett hous'ь.
  - Идемъ.

— Куда же? Въдь, онъ хотълъ къ вамъ придти, мы такъ сго-

ворились, я его приведу.

Б. бросается писать; пишеть, перемарываеть кой-что, переписываеть и печатаеть пакеть, адресуемый въ Яссы; въ безпокойствѣ ожиданія начинаеть ходить по комнатѣ ступней, отъ которой и весь домъ № 10 Paddington Green ходить ходенемъ съниъ виѣстѣ.

Является офицеръ скромно и тихо. Б. le met à l'aise, говорить какъ товарищъ, какъ молодой человѣкъ, увлекаетъ, журитъ за конституціонализмъ, и вдругъ спрашиваетъ:

- Вы, навърно, не откажетесь сдълать что-нибудь для общаго дъла?
  - Безъ сомнѣнія.
  - Васъ здѣсь ничего не удерживаетъ?
  - Ничего; я только-что прібхалъ, я...
- Можете вы такть завтра, послѣ завтра, съ этимъ письмомъ въ Яссы?

Этого не случалось съ офицеромъ ни въ дъйствующей армін во время войны, ни въ генеральномъ штабъ; однако, привыкнувшій къ военному послушанію, онъ, помолчавши, говоритъ не совсьмъ своимъ голосомъ:

- О, да!
- Я такъ и зналъ. Вотъ письмо совстиъ готовое.
- Да я хоть сейчасъ, только. . . (офицеръ конфузится) я никакъ не разсчитываль на эту поъздку.
- Что? денегь нѣтъ? Ну, такъ и говорите. Это ничего не значитъ. Я возьму для васъ у Герцена; вы ему потомъ отдадите. Что тутъ, всего... всего какіе-нибудь 20 фунтовъ. Я сейчасъ напишу ему. Въ Яссахъ вы деньги найдете. Оттуда проберетесь на Кавказъ. Тамъ намъ особенно нуженъ върный человъкъ.

Пораженный, удивленный офицерь, какъ равно и его спутникъ уходять. Маленькая дъвочка, бывшая у В. на большихъ допломатическихъ посылкахъ, летитъ ко мнъ по дождю и слякоти съ запиской. Я для нея нарочно завелъ шоколадъ en losenges, чтобъ чъмъ-нибудь утъшить ее въ климатъ и отечествъ, а потому даю ей большую горсть и прибавляю:

 Скажите высокому gentleman'y, что я лично съ нимъ переговорю.

Дъйствительно, переписка оказывается излишней. Къ объду, т. е., черезъ часъ, является Б.

- Зачёмъ 20 фунтовъ для \*\*?
- Не для него, для *дляла*; а что, брать, \*\* прекраснѣйшій человѣкъ?
- Я его знаю нѣсколько лѣть. Онъ бывалъ прежде въ Лондонѣ.
- Это такой случай, пропустить его грѣшно; я его посылаю въ Яссы. Да потомъ онъ осмотритъ Кавказъ.
  - Въ Яссы? И оттуда на Кавказъ?
- Ты пойдешь сейчасъ острить. Каламбурами ничего не до-кажешь.
  - Да, въдь, тебъ ничего ненужно въ Яссахъ?
  - Ты почемъ знаешь?
- Знаю, цотому, во-первыхъ, что никому ничего ненужно въ Яссахъ; а во-вторыхъ, если-бъ нужно было, ты недёлю бы посто-

янно мит говорилъ объ этомъ. Тебт просто попался человтви молодой, засттивый, хотящій доказать свою преданность; ты и придумалъ послать его въ Яссы. Онъ хочетъ видёть выставку, а ты ему покажешь Молдовалахію. Ну, скажи-ка зачтиъ?

— Какой любопытный. Ты въ эти дъла со мной не входишь,

какое же ты имфешь право спрашивать?

— Это правда, я даже думаю, что этотъ секретъ ты скроешь ото всъхъ; ну, а только денегъ давать на гонцовъ въ Яссы и Бухарестъ я нисколько не намъренъ.

— Въдь, онъ отдасть, у него деньги будуть.

— Такъ пусть умиве употребить ихъ; полно, полно; письмо пошлешь съ какимъ-нибудь Петреско-Манон-Леско, а теперь пойдемъ всть.

И Б., самъ смёнсь и качая головой, которая его все-таки перетягивала, внимательно и усердно принимался за трудъ обёда, послё котораго всякій разъ говорилъ: «Теперь настала счастливая минута», и закуривалъ папироску. Онъ принималъ всёхъ, всегда, во всякое время. Часто онъ еще, какъ Онёгинъ, спалъ или ворочался на постели, которая хрустёла; а ужъ два-три славянива въ его комнатё съ отчаянной торопливостью курили; онъ тяжело вставалъ, обливался водой и въ ту же минуту принимался ихъ поучать; никогда не скучалъ онъ, не тяготился ими; онъ могъ, не уставая, говорить со свёжей головой съ самымъ умнымъ и самымъ глупымъ человёкомъ.

Оть этой неразборчивости выходили иногда пресмъщныя вещи.

Б. вставалъ поздно; нельзя было иначе и едёлать, употребляя ночь на бесёду и чай.

Разъ, часу въ одиннадцатомъ, слышитъ онъ, кто-то коношится въ его комнатъ. Постель его стояла въ большомъ альковъ, задернутомъ занавъсью.

- Кто тамъ?—кричить Б., просыпаясь.
- Русскій.
- Ваша фамилія?
- Такой-то.
- Очень радъ.
- Что вы это такъ поздно встаете, а еще демократъ.
- ...Молчаніе... слышенъ плескъ воды, каскады.
- Михаилъ Александровичъ!
- Что?
- Я васъ хотълъ спросить, вы вънчались въ церкви?
- Да.
- Нехорошо сдълали. Что за образецъ непослъдовательно-

сти; вотъ и Т... свою дочь прочить замужъ. Вы старики должны насъ учить примъромъ.

- Что вы за вздоръ несете.
- Да вы скажите, по любви женились?
- Вамъ что за дѣло?
- Y насъ былъ слухъ, что вы женились отъ того, что невъста ваша богата  $^1$ ).
  - Что вы это допрашивать меня пришли? ступайте къ чорту.
- Ну, воть вы и разсердились, а я, право, отъ чистой души. Прощайте. А я все-таки зайду.
  - Хорошо, хорошо; только будьте умнъе.

Между тѣмъ польская гроза приближалась больше и больше. Осенью 1862 явился на нѣсколько дней въ Лондонъ Потебня. Грустный, чистый, беззавѣтно отдавшійся урагану, онъ пріѣзжалъ поговорить съ нами отъ себя и отъ товарищей, и все-таки итти своей дорогой. Чаще и чаще являлись поляки изъ края; ихъ языкъ былъ опредѣленнѣе и рѣзче, они шли къ взрыву прямо и сознательно. Мнѣ съ ужасомъ мерещилось, что они идутъ на неминуемую гибель.

- Смертельно жаль Потебню и его товарищей, говориль я Б., и тъмъ больше, что врядъ ли имъ но дорогъ съ поляками.
- По дорогъ, по дорогъ, —возражалъ Б. Не сидъть же намъ въчно сложа руки и рефлектируя. Исторію надобно принимать, какъ представляется; не то всякій разъ будешь заурядъ то позади, то впереди.

Б. помолодёль, онъ быль въ своемъ элементё. Онъ любиль не только ревъ возстанія и шумъ клуба, площади и баррикады, онъ любиль также и приготовительную агитацію, эту возбужденную и вмёстё съ тёмъ задержанную жизнь конспирацій, консультацій, неспанныхъ ночей, переговоровъ, договоровъ, ректификацій, химическихъ чернилъ и условныхъ знаковъ. Кто изъ участниковъ не знаетъ, что репетиціи къ домашнему спектаклю и приготовленіе елки составляють одну изъ лучшихъ, изящныхъ частей. Но какъ онъ ни увлекался приготовленіями елки, у меня на сердцё скребли кошки; я постоянно спорилъ съ нимъ и нехотя дёлалъ не то, что хотёлъ.

Здёсь я останавливаюсь на грустномъ вопросё. Какимъ образомъ, откуда взялась во мнё эта уступчивость съ ропотомъ, эта слабость съ мятежемъ и протестомъ? Съ одной стороны, достовърность, что поступать надо такъ; съ другой, готовность поступать совсёмъ иначе. Эта шаткость, эта неспетость, dieses Zœgernde, надёлали въ моей жизни бездну вреда и не оставили

<sup>1)</sup> В. ничего не взяль за невъстой.

даже слабой утъхи въ сознаніи ошибки, невольной, несознанной; я дѣлаль промахи à contre сœиг; вся отрицательная сторона была у меня передъ глазами. Я разсказывалъ въ одной изъ предыдущихъ частей мое участіе въ 13 іюня 1849. Это типъ того, о чемъ я говорю. Ни на одну минуту я не вѣрилъ въ усиѣхъ 13 іюня; я видѣлъ нелѣпость движенія и его безсиліе; народное равнодушіе, освирѣпѣлость реакціи и мелкій уровень революціонеровъ. (Я писалъ объ этомъ и все же пошелъ на площадь, смѣясь надъ людьми, которые шли).

Сколькими несчастіями было бы меньше въ моей жизни, сколькими ударами, если-бъ я имѣлъ во всѣхъ важныхъ случаяхъ силу слушаться самого себя. Меня упрекали въ увлекающемся характерѣ; увлекался и я, но это не составляетъ главнаго. Отдаваясь по удобовнечатливости, я тотчасъ останавливался; мысль, рефлексія и наблюдательность всегда почти брали верхъ въ теоріи, но не въ практикѣ. Тутъ и лежитъ вся трудность задачи, почему я давалъ себя вести nolens volens...

Причиною быстрой сговорчивости быль ложный стыдъ, а иногда и лучнія побужденія любви, дружбы, снисхожденія; но почему же все это поб'єждало логику?

Послѣ похоронъ Ворцеля, 5 февраля 1857, когда всѣ провожавше разбрелись по домамъ, и я, воротившись въ свою комнату, сѣлъ грустно за свой письменный столъ, мнѣ пришелъ въ голову печальный вопросъ: не опустили ли мы въ землю вмѣстѣ съ этимъ праведникомъ и не схоронили ли съ нимъ всѣ наши отношенія съ польской эмиграціей?

Кроткая личность старика, являвшаяся примиряющимъ началомъ при безпрерывно возникавшихъ недоразумѣніяхъ, исчезла, а недоразумѣнія остались. Частно, лично, мы могли любить тогодругого изъ поляковъ, быть съ ними близкими; но вообще одинаковаго пониманья между нами было мало, и оттого отношенія наши были натянутыми, добросовѣстно неоткровенными; мы дѣлали другъ другу уступки, т. е., ослабляли сами себя, уменьшали другъ въ другѣ чуть ли не лучшія силы. Договориться до одинаковаго пониманія было невозможно. Мы шли съ разныхъ точекъ. Идеалъ поляковъ былъ за ними, они шли къ своему прошедшему, насильственно срѣзанному, и только оттуда могли продолжать свой путь. У нихъ была бездна мощей, а у насъ пустыя колыбели. Во всѣхъ ихъ дѣйствіяхъ и во всей поэзіи столько же отчаянія, сколько яркой вѣры.

Они ищуть воскресенья мертвыхъ, мы хотимъ поскорѣе схоронить своихъ. Формы нашего мышленія, упованія—не тѣ; весь геній нашъ, весь складъ не имѣетъ ничего сходнаго. Наше соединеніе съ ними казалось имъ то mésalliance'омъ, то разсудочнымъ

бракомъ. Съ нашей стороны было больше искренности, но не больше глубины: мы сознавали свою косвенную вину, мы любили ихъ отвату и уважали ихъ несокрушимый протестъ. Что они могли въ насъ любить? что уважать? Они переламывали себя, сближаясь съ нами; они дёлали для нёсколькихъ русскихъ почетное исключеніе.

Въ темнотѣ Николаевскаго царствованія мы больше сочувствовали другь другу, чѣмъ знали. Но когда окно немного пріотворилось, мы догадались, что насъ привели по разнымъ дорогамъ и что мы разойдемся по разнымъ. Послѣ Крымской кампаніи мы радостно вздохнули, а ихъ наша радость оскорбила: новый воздухъ въ Россіи имъ напомнилъ ихъ утраты, а не надежды. У насъ новое время началось съ заносчивыхъ требованій, мы рвались впередъ, готовые все ломать, у нихъ—съ панихидъ и упокойныхъ молитвъ.

Старикъ Адамъ Чарторижскій съ смертнаго одра прислалъ мнѣ съ сыномъ теплое слово; въ Парижѣ депутація поляковъ поднесла мнѣ адресъ, подписанный четырьмя стами изгнанниковъ, къ которому присылались подписи отовсюду,—даже отъ польскихъ выходцевъ, жившихъ въ Алжирѣ и въ Америкѣ. Казалось, во многомъ мы были близки; но шагъ глубже—и рознь, рѣзкая рознь, бросалась въ глаза.

...Разъ у меня сидъли Ксаверій Браницкій, Хоецкій и еще кто-то изъ поляковъ; всё они были пробздомъ въ Лондонъ и заъхали ножать мнё руку за статьи. Зашла ръчь о выстрълъ въ

Константина.

— Выстрълъ этотъ, сказалъ я, страшно повредитъ вамъ. Можетъ, правительство и уступило бы кос-что; теперь оно ничего не уступитъ.

— Да мы только этого и хотимъ! замѣтилъ съ жаромъ Ш. Е.; для насъ нѣтъ хуже несчастья, какъ уступки; мы хотимъ раз-

рыва, открытой борьбы!

— Желаю отъ души, чтобъ вы не раскаялись.

Ш. Е. пронически улыбнулся, и никто не прибавилъ ни слова. Это было лътомъ 1861 года. А черезъ полтора года говорилъ то же Падлевскій, отправляясь черезъ Петербургъ въ Польшу.

Кости были брошены!...

В. въриль въ возможность военно-крестьянскаго возстанія въ Россіи, върили отчасти и мы. Напряженіе умовъ, броженіе умовъ было неоспоримо.

Б., не слишкомь останавливаясь на взвѣшиваніи всѣхъ обстоятельствъ, смотрѣль на одну дальнюю цѣль и принялъ второй мѣсацъ беременности за девятый. Онъ увлекалъ не доводами, а желаніемъ. Онъ хотклъ вѣрить и вѣрилъ, что Жмудь и Волга, Донъ

и Украйна возстануть какъ одинъ человѣкъ, услышавъ о Варшавѣ; онъ вѣрилъ, что старовѣръ воспользуется католическимъ движеніемъ, чтобъ узаконить расколъ.

Какъ-то, въ концѣ сентября, пришелъ ко мнѣ Б. особенно

озабоченный и нъсколько торжественный.

— Варшавскій центральный комитеть,—сказаль онъ,—прислаль двухъ членовь, чтобъ переговорить съ нами. Одного изъ нихъ ты знаешь: это Падлевскій; другой Г., закаленный боець; онъ изъ Польши прогулялся въ кандалахъ до рудниковъ и толькочто возвратился, снова принялся за дѣло. Сегодня вечеромъ я ихъ приведу къ вамъ, а завтра соберемся у меня: надобно окончательно опредълить наши отношенія.

Тогда набирался мой отвътъ офицерамъ 1).

- Моя программа готова; я имъ прочту мое письмо.

— Я согласенъ съ твоимъ письмомъ, ты это знаешь; но не знаю, все ли понравится имъ; во всякомъ случаѣ, я думаю, что

этого имъ будетъ мало.

Вечеромъ В. пришель съ тремя гостями вмѣсто двухъ. Я прочель мое письмо. Во время разговора и чтенія В. сидѣлъ встревоженный, какъ бываеть съ родственниками на экзаменѣ, или съ адвокатами, трепещущими, чтобъ ихъ кліенть не проврался и не испортилъ всей *игры защиты*, хорошо налаженной, если не по всей правдѣ, то къ усиѣшному концу.

Я видълъ по лицамъ, что Б. угадалъ и что чтеніе не то, чтобъ

особенно понравилось.

— Прежде всего, замътилъ Г., мы прочтемъ письмо къ вамъ

отъ Центральнаго комитета.

Читаль М.; документь этоть, извёстный читателямь Колокола, быль написань по-русски, не совсёмь правильнымь языкомь, но ясно. Говорили, что я его перевель съ французскаго и переиначиль: это не правда. Всё трое говорили хорошо по-русски.

Смыслъ акта состояль въ томъ, чтобъ черезъ насъ сказать русскимъ, что слагающееся польское правительство согласно съ нами и кладетъ въ основаніе своихъ дъйствій: «Признаніе права крестьянъ на землю, обработываемую ими, и полную самоправность всякаго народа располагать своей судьбой». Это заявленіе, говорилъ М., обязывало меня смягчить вопросительную и сомнѣвающуюся форму моего письма. Я согласился на нѣкоторыя перемѣны и предложилъ имъ, съ своей стороны, посильнѣе оттѣнить и яснѣе высказать мысль о самозаконности провинцій; они согласились. Этотъ споръ изъ-за словъ показывалъ, что со-

Колоколъ, 1862 года.

чувствіе наше къ однимъ и тімъ же вопросамъ не было о $\partial u$ -наково.

На другой день утромъ Б. уже сидёлъ у меня. Онъ быль недоволенъ мной, находилъ, что я слишкомъ холоденъ, какъ будто

не повфряю.

- Чего же ты больше хочешь? Поляки никогда не дѣлали такихъ уступокъ. Они выражаются другими словами, принятыми у нихъ какъ катехизисъ; нельзя же имъ, подымая національное знамя, на первомъ шагѣ оскорбить раздражительное народное чувство.
- Мнѣ все кажется, что имъ до крестьянской земли въ сущности мало дѣла, а до провинцій слишкомъ много.
- Любезный другь, у тебя въ рукахъ будетъ документь, поправленный тобой, подписанный при всъхъ насъ, чего же тебъ еще?
  - Есть-таки кое-что.
- Какъ для тебя труденъ каждый шагъ! ты вовсе не практическій человъкъ.
  - Это уже прежде тебя говорилъ Сазоновъ.

Б. махнулъ рукой и пошель въ комнату къ Огареву. Я печально смотръль ему вслъдъ; я видълъ, что онъ запилъ свой революціонный запой и что съ нимъ не столкуеть теперь. Онъ шагалъ семи-мильными сапогами черезъ горы и моря, черезъ годы и покольнія. За возстаніемъ въ Варшавъ, онъ уже видълъ свою «славную и славянскую» федерацію, о которой поляки говорили не то съ ужасомъ, не то съ отвращеніемъ, и торопился сгладить какъ-нибудь затрудненія, затушевать противорьчія, не выполнить овраги, а бросить черезъ нихъ чортовъ мостъ.

### «Нътъ освобожденія безъ земли».

- Ты точно дипломать на Вѣнскомъ конгрессѣ, повторяль мнѣ съ досадой Б., когда мы потомъ толковали у него съ представителями жонда: придпраешься къ словамъ и выраженіямъ. Это не журнальная статья, не литература.
- Съ моей стороны,—замѣтилъ Г.,—я изъ-за словъ спорить не стану; мѣняйте какъ хотите, лишь бы главный смыслъ остался тотъ же.
  - Браво Г., радостно воскликнулъ Б.

Ну, этот,—подумать я,—прихаль подкованный и по литнему и на шипы; онъ ничего не уступить на дёлё и оттого такъ легко уступаеть все на словахъ.

Актъ поправили, члены жонда подписались; я его послаль въ типографію. Г. и его товарищи были убъждены, что мы представляли заграничное средоточіе цълой организаціи, зависящей отъ насъ и которая по нашему приказу примкнеть къ нимъ или нътъ. Для нихъ, дъйствительно, дъло было не въ словахъ и не въ теоретическомъ согласіи; свое profession de foi они всегда могли оттъпить толкованіями такъ, что его яркіе цвъта пропали бы, полиняли и измѣнились.

Что въ Россіи клались первыя ячейки *организаціи*, въ этомъ не было сомнѣнія: первыя волокна, нити, были замѣтны простому глазу; но каждый сильный ударъ грозилъ разорвать начальныя кружева паутины.

Воть это-то я и сказаль, отправивь печатать письмо Комитета, Г. и его товарищамь, говоря имь о несвоевременности ихъ возстанія. Падлевскій слишкомъ хорошо зналь Петербургъ, чтобъ удивиться моимъ словамь; но Г. призадумался.

- Вы думали,—сказаль я ему улыбаясь,—что мы сильнъе? Да, Г., вы не ошиблись, сила у насъ есть большая и дъятельная, но сила эта вся утверждается на общественномъ мнѣніп, т. е., она можеть сейчасъ улетучиться; мы сильны сочувствіемъ къ намъ, унисономъ съ своими. Организаціи, которой бы мы сказали: пди направо или налѣво,—нютъ.
- Да, любезный другь, однако же,—началь Б., ходившій въ волненіи по комнатъ...
  - Что же, развъ есть? спросилъ я его п остановился.
- Ну, это какъ ты хочешь назвать; конечно, если взять внѣшнюю форму, это совсѣмъ не въ русскомъ характерѣ. Да видишь...
- Позволь же мит кончить; я хочу пояснить Г., почему я такъ настаиваль на словахъ. Если въ Россіи на вашемъ знамени не увидять надобля земли, то наше сочувствіе ваму не принесеть никакой пользы, а насъ погубить, потому что вся наша сила въ одинаковомъ бісніи сердца; у насъ оно, можетъ, бъется посильнте и потому ушло секундой впередъ, чтмъ у друзей нашихъ; но они связаны съ нами сочувствіемъ, а не службой!

— Вы будете нами довольны,—говорили Г. и Падлевскій. Черезъ день двое изъ нихъ отправились въ Варшаву; третій убхалъ въ Парижъ.

Наступило затишье передъ грозой. Время темное, тяжелое, въ которое все казалось, что туча пройдетъ, а она все приближалась; туть явился указъ о наборѣ,—это была послъдняя капля; люди, еще останавливавшіеся передъ ръшительнымъ и невозвратнымъ шагомъ, рвались на бой. Теперь и бълые стали переходить на сторону движенія.

Прі вхалъ опять Падлевскій, наборъ не отмінялся. Падлевскій убхаль въ Польшу.

В. собирался въ Стокгольмъ совершенно независимо отъ экспедиціи Ланинскаго, о которой тогда никто не думалъ. Мелькомъ явился Потебня и исчезъ вслъдъ за Б. Въ то же время какъ Потебня, прівхалъ черезъ Варшаву изъ Петербурга уполномоченный отъ «Земли и Воли». Онъ съ негодованіемъ разсказывалъ, какъ поляки, пригласившіе его въ Варшаву, ничего не сдѣлали. Онъ былъ первый русскій, видѣвшій начало возстанія. Онъ разсказалъ объ убійствѣ солдатъ, о раненомъ офицерѣ, который былъ членомъ общества. Солдаты думали, что это предательство, и начали съ ожесточеніемъ бить поляковъ. Падлевскій, главный начальникъ въ Ковно, рвалъ волосы, но боялся ясно выступить противъ своихъ.

Уполномоченный былъ полонъ важности своей миссіи и пригласилъ насъ сдёлаться агентами общества «Земли и Воли». Я отклонилъ это къ крайнему удивленію не только Б., но и Огарева. Я сказалъ, что мит не нравится это битое, французское названіе. Уполномоченный трактовалъ насъ такъ, какъ комиссары конвента 1793 г. трактовали генераловъ въ дальнихъ арміяхъ. Мит и это не понравилось.

- А много васъ?—спросилъ я.
- Это трудно сказать: нѣсколько сотъ человѣкъ въ Петербургѣ и *тысячи три* въ провинціяхъ.
  - Ты въришь? спросилъ я потомъ Огарева.

Онъ промолчалъ.

- Ты въришь? спросилъ я Б.
- Конечно, онг прибавиль; ну, ните теперь столько, такъ будутъ потомы! и онъ расхохотался.
  - Это другое дѣло.
- Въ томъ-то все и состоитъ, чтобъ поддержать слабыя начинанія; если-бъ они были крѣпки, они и не нуждались бы въ насъ,—замѣтилъ Огаревъ, въ этихъ случаяхъ всегда недовольный моимъ скептицизмомъ.
- Они такъ и должны бы были явиться передъ нами, откровенно слабыми, желающими дружеской помощи, а не предлагать глупое агентство.
  - Это молодость, прибавиль Б. и убхаль въ Швецію.

А вслъдъ за нимъ уъхалъ и Потебня. Удручительно горестно я простился съ нимъ; я ни одной секунды не сомнъвался, что онъ прямо идетъ на гибель.

...За нѣсколько дней до отъѣзда Б. пришелъ Мартьяновъ блѣднѣе обыкновеннаго, печальнѣе обыкновеннаго; онъ сѣлъ въ углу и молчалъ. Онъ страдалъ по Россіи и носился съ мыслью о воз-

вращеніи домой. Шелъ споръ о возстаніи. Мартьяновъ слушаль молча, потомъ всталь, собрался итти и вдругь, остановившись

передо мной, мрачно сказаль мнж:

— Вы не сердитесь не меня, Александръ Ивановичъ, такъ ли, иначе ли, а Колоколъ-то вы поръшили. Что вамъ за дъло мъшаться въ польскія дъла? Поляки, можеть, и правы, но ихъ дъло шляхетное—не ваше. Не пожалъли вы насъ, Богъ съ вами, Александръ Ивановичъ. Попомните, что я говорилъ. Я-то самъ не увижу, я ворочусь домой. Здъсь мнъ нечего дълать.

— Ни вы не поъдете въ Россію, ни Колоколъ не погибъ,

отв тилъ я ему.

Онъ молча ушелъ, оставляя меня подъ тяжелымъ гнетомъ второго пророчества и какого-то темнаго сознанія, что что-то ошибочное сдёлано.

Мартьяновъ какъ сказалъ, такъ и сдёлалъ; онъ воротился весной 1863 и пошелъ умирать на каторгу, сосланный своимъ «земскимъ царемъ» за любовь къ Россіи, за въру въ него.

Къ концу 1863 года расходъ Колокола съ 2500—2000 сошелъ

на 500 и не разу ни подымался далъе 1000 экземпляровъ.

Шарлота Кордэ изъ Орлова и Даніилъ изъ крестьянъ были прави!

Инсано въ Montreux и Lausanne, въ концъ 1865 года.

# Пароходъ Ward Jackson

### R. Weterli & Co.

#### I.

Вотъ что случилось мѣсяца за два до польскаго возстанія. Одинъ полякъ, пріѣзжавшій не надолго изъ Парижа въ Лондонъ, Іосифъ Цверчакѣвичъ, по пріѣздѣ въ Парижъ, былъ схваченъ и арестованъ вмѣстѣ съ Х. и М., о которомъ я упомянулъ при свиданьи съ членами жонда.

Во всей арестаціи было много страннаго. Х. прібхаль въ десятомъ часу вечера; онъ никого не зналъ въ Парижѣ и прямо отправился на квартиру М. Около одиннадцати явилась полиція.

— Вашъ пассъ, спросилъ комиссаръ Х.

— Воть онь, п X. подаль исправно визированный пассъ на другое имя.

— Такъ, такъ, сказалъ комиссаръ, я зналъ, что вы подъ этимъ именемъ. Теперь вашъ портфель, спросилъ онъ Цверчакѣвича.

Онъ лежалъ на столъ. Полицейскій вынулъ бумаги, посмотрълъ ихъ и, передавая своему товарищу небольшое письмо съ надписью Э. А., прибавилъ:

— Вотъ оно.

Всѣхъ трехъ арестовали, забрали у нихъ бумаги, потомъ выпустили. Дольше другихъ задержали Х. Для полицейскаго изящества имъ хотѣлось, чтобъ онъ назвался своимъ именемъ. Онъ имъ не сдѣлалъ этого удовольствія. Выпустили и его черезъ недѣлю.

Когда, годъ или больше спустя, прусское правительство дѣлало нелѣпѣйшій познанскій процессъ, прокуроръ въ числѣ обвинительныхъ документовъ представилъ бумаги, присланныя изъ русской полиціи и принадлежавшія Цверчакѣвичу. На возникнувшій вопросъ, какимъ образомъ бумаги эти очутились въ Россіи, прокуроръ спокойно объяснилъ, что, когда Цверчакѣвичъ былъ подъ арестомъ, нѣкоторыя изъ его бумагъ были сообщены французской полиціей русскому посольству.

Выпущеннымъ полякамъ велёно было оставить Францію; они поёхали въ Лондонъ. Въ Лондонъ они сами разсказывали мнё подробности ареста и по справедливости всего больше дивились тому, что комиссаръ зналъ, что у нихъ есть письмо съ надписью Э. А. Письмо это изъ рукъ въ руки Цверчакъвичу далъ Мациини и просилъ его вручить Этьену Араго.

Говорили ли вы кому-нибудь о письмё? спросилъ я.
 Никому, рёшительно никому, отвёчалъ Цверчакёвичъ.

— Это какое-то колдовство; не можеть же пасть подозръніе ни на васъ, ни на Мацини. Подумайте-ка хорошенько.

Цверчакъвичъ подумалъ.

— Одно знаю я, зам'ятиль онъ, что я выходиль на короткое время со двора и, помнится, портфель оставиль въ незапертомъящикъ.

— Cloud! Сloud! теперь позвольте, гдѣ вы жили?

— Тамъ-то, въ furnished appartements.

— Хозяинъ англичанинъ?

— Нѣтъ, полякъ.

— Еще лучше. А имя его?

— Туръ, онъ занимается агрономіей.

— И многимъ другимъ, коли отдаетъ меблированныя квартиры. Тура этого я немножко знаю. Слыхали ли вы когда-нибудь исторію о нѣкоемъ Михаловскомъ?

— Такъ, мелькомъ.

— Ну, я вамъ разскажу ее. Осенью 1857 года, я получилъ черезъ Брюссель письмо изъ Петербурга. Незнакомая особа извѣщала меня со всёми подробностями о томъ, что одинъ изъ спдъльцевъ у Трюбнера, Михаловскій, предложиль свои услуги III отделенію шпіоничать за нами, требуя за трудъ 200 фунтовъ, что въ доказательство того, что онъ достоинъ и способенъ, онъ представлялъ списокъ лицъ, бывшихъ у насъ въ последнее времл, и объщалъ доставить образчики рукописей изъ типографіи. Прежде чёмь я хорошенько обдумаль, что дёлать, я получиль второе письмо того же содержанія черезъ домъ Ротшильда. Въ истинъ свъдънія я не имъть ни малъйнаго сомнънія. Михаловскій, полякъ изъ Галиціп, низкопоклонный, безобразный, пьяный, расторопный и говорящій на четырехъ языкахъ, имълъ всъ права на званіе шпіона и ждалъ только случая pour se faire valoir. Я ръшился тхать съ Огаревымъ къ Трюбнеру и уличить Михаловскаго, сбить на словахъ и, во всякомъ случат, прогнать отъ Трюбнера. Для большей торжественности я пригласилъ съ собой Піанчани и двухъ поляковъ. Михаловскій былъ наглъ, гадокъ, запирался; говорилъ, что шпіонъ Наполеонъ Шестаковскій, который жиль съ нимь на одной квартирь. Въ половину я готовъ быль ему върить, т. е., что и пріятель его тоже шпіонь. Трюбнеру я сказаль, что требую немедленной высылки его изъ книжной лавки. Негодяй путался и не умъль ничего серьезнаго привести въ свое оправданіе. Это все зависть, говориль онь, у кого изъ нашихъ заведется хорошее пальто, сейчасъ другіе кричать: шпіонъ! Отчего же, спросиль его Зено Свентославскій, у тебя никогда не было хорошаго пальто, а тебя всегда считали шпіономъ? Всѣ захохотали. Да обидьтесь же, наконець, сказаль Чернецкій. Не первый разъ, отвѣтиль филосовъ, я имѣю дѣло съ такими безумными. Привыкли, замѣтиль Чернецкій. Мошенникъ вышельвонъ. Всѣ порядочные поляки оставили его, за исключеніемъ совсѣмъ спившихся игроковъ и совсѣмъ проигравшихся пьяниць. Съ этимъ Михаловскимъ въ дружескихъ отношеніяхъ остался одинъ порядочный человѣкъ, и этотъ человѣкъ вашъ хозяинъ, Туръ.

— Да, это подозрительно. Я сейчасъ...

Что сейчасъ? Дъла теперь не поправите, а имъйте этого

человъка въ виду. Какія у вась доказательства?

Вскорт пость этого Цверчактвичь быль назначень жондомъ въ свои дипломатические агенты въ Лондонъ. Притадъ въ Парижъ ему былъ позволенъ; въ это время Наполеонъ чувствовалъ по пламенное участие къ судьбамъ Польши, которое ей стоило цълаго покольния и можетъ стоить всего будущаго.

Б. быль уже въ Швеціи, знакомясь со всёми, открывая пути въ «Землю и Волю» черезъ Финляндію, слаживая посылку Колокола и книгъ и видаясь съ представителями всёхъ польскихъ партій. Принятый министрами и братомъ короля, онъ всёхъ увёрилъ въ неминуемомъ возстаніи крестьянъ и въ сильномъ волненіи умовъ въ Россіи. Увёрилъ тёмь больше, что самъ искренно върилъ, если не въ такихъ размёрахъ, то вёрилъ въ растущую силу. Объ экспедиціи Лапинскаго тогда никто не думалъ. Цёль въ состояла въ томъ, чтобъ, устроивши все въ Швеціи, пробраться въ Польшу и Литву.

Цверчакъвичъ возвратился изъ Парижа съ Демонтовичемъ. Въ Парижъ они и ихъ друзья придумали снарядить экспедицію на балтійскіе берега. Они искали парохода, искали дъльнаго начальника и за тъмъ пріъхали въ Лондонъ. Вотъ какъ шла тай-

ная негодіація.

Какъ-то получаю я записочку отъ Цверчакѣвича: онъ просилъ меня зайти къ нему на минуту, говорилъ, что очень нужно и что самъ онъ распростудился и лежитъ въ злой мигрени. Я пошелъ. Дъйствительно засталъ его больнымъ и въ постели. Въ другой комнатъ спдълъ С. Тхоржевскій. Зная, что Цверчакъвичъ писалъ ко мнъ и что у него есть дъло, Тхоржевскій хотълъ выйти, но Цвер-

чакъвичъ остановилъ его, и я очень радъ, что есть живой сви-

дътель нашего разговора.

Цверчактвичъ просиль меня, оставивъ вст личныя отношенія и консидераціи, сказать ему по чистой совтти и, само собой разумтется, въ глубочайшей тайнт, объ одномъ польскомъ эмпрант, рекомендованномъ ему Мацини и Б., но къ которому онъ полной втры не имтеть.

— Вы его не очень любите, я это знаю, но теперь, когда дѣло

идеть первой важности, жду отъ васъ истины, всей истины.

— Вы говорите о Л.-Б.? спросилъ я.

— Да.

Я призадумался. Я чувствовалъ, что могу повредить человку, о которомъ все-таки не знаю ничего особенно дурного, и, съ другой стороны, понимая, какой вредъ принесу общему дёлу, споря противъ совершенно върной антипати Цверчакъвича.

— Извольте, я вамъ скажу откровенно и все. Что касается до рекомендаціи Маццини и Б., я ее совершенно отвожу. Вы знаете, какъ я люблю Маццини; но онъ такъ привыкъ изъ всякаго дерева рубить и изъ всякой глины лёпить агентовь и такъ умъеть ихъ въ итальянскомъ дълъ ловко держать въ рукахъ, что на его мивніе трудно положиться. Къ тому же, употребляя все, что попалось, Маципни знасть, до какой степени, кому и что поручить. Рекомендація В. еще хуже: это большой ребенокъ, «большая Лиза», какъ его назвалъ Мартьяновъ; ему всѣ нравятся. «Ловецъ человъковъ», онъ такъ радуется, когда ему попадется «красный», да притомъ славянинъ, что онъ далъе не идетъ. Вы помянули о моихъ личныхъ отношеніяхъ къ Л.-Б., следуетъ же сказать и объ этомъ. З и Л.-Б. хотъли меня эксплоатировать; пинціатива д'яла принадлежала не ему, а 3. Имъ это не удалось. они разсердились, и я это давно бы забыль, но они стали между Ворцелемъ и мной, и этого я имъ не прощалъ. Ворцеля я очень любиль, но, слабый здоровьемь, онъ подтакнуль имъ, и только спохватился (или признался, что спохватился) за день до кончины. Умирающей рукой сжимая мою руку, онъ шенталъ мнъ на ухо: «Да, вы были правы» (но свидътелей не было, а на мертвыхъ ссылаться легко). Затъмъ, вотъ вамъ мое мивніе: перебирая все, я не нахожу ни одного поступка, ни одного слуха даже, который бы заставляль подозравать политическую честность Л.-Б.; но я бы не замъшаль его ни въ какую серьезную тайну. Въ монхъ глазахъ онъ избалованный фразеръ, наполненный французскими фразами и безмърно высокомърный, желающій во что бы то ни было играть роль, онъ все сделаеть, чтобъ испортить пьесу, если она ему не выпадетъ.

Иверчакъвичъ привсталъ. Онъ былъ бледенъ и озабоченъ.

- Да, вы у меня сняли камень съ груди; если не поздно теперь, я все сдёлаю. Взволнованный Цверчакёвичъ сталъ ходить по комнать. Я ушелъ вскоръ съ Тхоржевскимъ.
  - Слышали вы весь разговоръ? спросилъ я у него идучи.
  - Слышалъ.
- Я очень радъ; не забывайте его: можетъ, придетъ время, когда я сошлюсь на васъ... А знаете что? мнѣ кажется, онъ ему все сказалъ, да потомъ и догадался повърить свою антипатію.
- Безъ всякаго сомнънія. И мы чуть не расхохотались, несмотря на то, что на душъ было вовсе не смъшно.

### 1. НРАВОУЧЕНІЕ.

- .... Недъли черезъ двъ Цверчакъвичъ вступилъ въ переговоры съ Blackwood'а компаніей пароходства о наймъ парохода для экспедиціи на Балтикъ.
- Зачёмъ же, спращивали мы, вы адресовались именно къ той комнаніи, которая десятки лётъ исполняетъ всё комиссіи по части судоходства для петербургскаго адмиралтейства?
- Это мит самому не такъ нравится, но компанія такъ хорошо знаеть Балтійское море. Къ тому же она слишкомъ запитересована, чтобъ выдать насъ; да и это не въ англійскихъ нравахъ.
- Все такъ, да какъ вамъ въ голову пришло обратиться именно къ ней?
  - Это сдълаль нашъ комиссіонеръ.
  - То есть?
  - Туръ.
  - Какъ? тотъ Туръ!
- О, насчеть его можно быть покойнымъ. Его самымъ лучшимъ образомъ намъ рекомендовалъ Л.-В.

Мнѣ на минуту вся кровь бросилась въ голову. Я смѣшался отъ чувства негодованія, бѣшенства, оскорбленія, да, да, личнаго оскорбленія. А делегатъ Рѣчи-Посполитой, ничего не замѣчавшій, продолжаль:

- Онъ превосходно знаетъ по-англійски.
- И языкъ, и законодательство.
- Въ этомъ я не сомнѣваюсь.
- Туръ какъ-то сидѣлъ въ тюрьмѣ въ Лондонѣ за какія-то не совсѣмъ ясныя дѣла и употреблялся присяжнымъ переводчикомъ въ судѣ.
  - Какъ такъ?
- Вы спросите у Л.-Б., или у Михаловскаго; вы не знакомы съ нимъ?

— Нътъ.

— Каковъ Туръ! занимался земледъліемъ, а теперь занимается вододъліемъ. Но общее вниманіе обратиль на себя взошедшій начальникъ экспедиціи, полковникъ Лапинскій.

### II.

# Lapinski-Colonel.—Polles-Aide de Camp.

Въ началъ 1863 года я получилъ письмо, написанное мелко, необыкновенно каллиграфически и начинавшееся текстомъ Licite venire parvulos. Въ самыхъ изысканно льстивыхъ, стелящихся выраженіяхъ, просиль у меня parvulus, называвшійся Polles, позволенія прібхать ко мнт. Письмо мнт очень не понравилось. Опъ самь-еще больше. Низкопоклонный, тихій, вкрадчивый, бритый, напомаженный, онъ мнт разсказалъ, что былъ въ Петербургт въ театральной школт и получилъ какой-то пансіонъ, прикидывался сильно полякомъ и, просидъвши четверть часа, сообщилъ мнь, что онъ изъ Франціи, что въ Парижъ тоска и что тамъ узель узловъ-Наполеонъ.

— Знаете ли, что мит приходило часто въ голову, и я больше и больше убъждаюсь въ върности этой мысли: надобно ръшиться

убить Наполеона.

— За чѣмъ же дѣло стало?

— Да вы какъ объ этомъ думаете? спросилъ Parvulus, нѣсколько смутившись.

— Я никакъ. Въдь, это вы думаете.

Когда Поллесъ ушелъ, я ръшился его не пускать больше. Черезъ недълю онъ встрътился со мной близъ моего дома; говорилъ, что два раза былъ и не засталъ, натолковалъ какого-то вздора и прибавилъ:

— Я, между прочимь, заходилъ къ вамь, чтобъ сообщить, какое я сдёлалъ изобрётеніе, чтобъ по почто сообщить что-пибудь тайное, напр., въ Россію. Вамъ, върно, случается часто необходи-

мость что-нибудь сообщать.

— Совеймъ напротивъ, никогда. Я вообще ни къ кому тайно

не пишу. Будьте здоровы.

— Прощайте. Вспомните, когда вамъ или Огареву захочется послушать кой-какой музыки, я и мой віолончель къ вашимъ услугамъ.

— Очень благодаренъ.

И я потеряль его изъ виду съ полной увъренностью, что это шпіонъ; русскій ли, французскій ли, я не зналъ; можеть, пнтернаціональный, какъ Nord журналъ международный.

Въ польскомъ обществ онъ никогда не являлся, его тамъ никто не зналъ.

Послѣ долгихъ исканій, Демонтовичъ и нарижскіе друзья его остановились на полковникѣ Лапинскомъ, какъ на способнѣйшемъ военномъ начальникѣ экспедиціи. Онъ былъ долго на Кавказѣ со стороны черкесовъ, и такъ хорошо зналъ войну въ горахъ, что о морѣ и говорить было нечего. Дурнымъ выбора назвать нельзя.

Лаппнскій быль въ полномъ словѣ кондотьеръ. Твердыхъ политическихъ убѣжденій у него не было никакихъ. Онъ могъ итти съ бѣлыми и красными, съ чистыми и грязными; принадлежа по рожденію къ галиційской шляхтѣ, а но воспитанію къ австрійской армін, онъ сильно тянулъ къ Вѣнѣ. Россію и все русское онъ ненавидѣлъ—дико, безумно, неисправимо. Ремесло свое, вѣроятно, онъ зналъ, велъ долго войну и написалъ замѣчательную книгу о Кавказѣ.

— Какой случай разъ былъ со мной на Кавказѣ, разсказывалъ Лапинскій; русскій маіоръ, поселившійся съ цёлой усадьбой своей недалеко отъ насъ, не знаю какъ и за что, захватилъ нашихъ людей. Узнаю я объ этомъ и говорю своимъ: что же это, стыдъ и срамъ; васъ, какъ бабъ, крадутъ? Ступайте въ усадьбу, берите что попало и тащите сюда. Горцы, знаете, имъ ненужно много толковать. На другой или третій день привели ко мнѣ всю семью и слугь, и жену, и дътей, только самого маіора дома не застали. Я послать повъстить, что, если нашихъ людей отпустятъ, да дадутъ такой-то выкупъ, то мы сейчасъ доставимъ обратно плънныхъ. Разумъется, нашихъ прислади, разсчитались, и мы отпустили московскихъ гостей. На другой день приходить ко мнъ черкесъ. «Вотъ, говоритъ, что случилось; мы, говорить, вчера, какъ отпускали русскихъ, забыли мальчика лфтъ четырехъ: онъ спаль, такъ его и забыли. Какъ же быть?»—Ахъ вы, собаки, не умъете ничего въ порядкъ сдълать. Гдъ ребенокъ? — «У меня: кричалъ, кричалъ, ну, я сжалился и взялъ его».--Видно тебъ Аллахъ счастье послалъ; мъщать не хочу. Дай туда знать, что они ребенка забыли, а ты его нашелъ; ну, и спрашивай выкупа. У моего черкеса такъ глаза и разгорълись. Разумъется, мать, отець въ тревогъ, дали все, что хотълъ черкесъ. Пресмъшной случай.

— Очень.

Вотъ черта для характеристики будущаго героя въ Самогитии.

Передъ своимъ отправленіемъ Лапинскій забхаль ко миѣ. Онъ взошелъ не одинъ и, нѣсколько озадаченный выраженіемъ моего лица, посиѣшилъ сказать:

- Позвольте вамъ представить моего адъютанта.
- Я уже имъть удовольствие съ нимъ встръчаться.

Это былъ Поллесъ.

- Вы его хорошо знаете? спросилъ Огаревъ у Лапинскаго наединъ.
- Я его встр'єтиль въ томъ же Boarding hous'ь, гді теперь живу; онъ, кажется, славный малый и расторонный.

— Да вы увърены ли въ немъ?

— Конечно. Къ тому же онъ отлично играеть на віолончели и будеть насъ тѣшить во время плаванья.

Онъ, говорять, тъшиль полковника кой-чъмъ другимъ.

Мы впослъдстви сказали Демонтовичу, что для насъ Поллесъ очень подозрительное лицо.

Демонтовичъ замѣтилъ:

— Да я *имъ обоимъ* не очень вѣрю, но шалить они не будутъ. И онъ вынулъ револьверъ изъ кармана.

Приготовленія шли тихо; слухъ объ экспедиціи все больше п больше распространялся. Компанія дала сначала пароходъ, оказавшійся негоднымъ по осмотру хорошаго моряка, графа С. Надобно было начать перегрузку. Когда все было готово, и часть Лондона знала обо всемъ, случилось слъдующее. Цверчакъвичъ и Демонтовичь пов'єстили всіхъ участниковъ экспедицін, чтобъ они собирались къ десяти часамъ на такомъ-то амбарканеръ желъзной дороги, чтобъ вхать до Гуля въ особомъ train, который давала имъ компанія. И вотъ, къ десяти часамь стали собираться будущіе воины. Въ ихъ числів были итальянцы и нівсколько французовъ; бъдные, отважные люди, которымъ надожла ихъ доля въ бездомномъ скитаніи, и люди истиню любившіе Польшу. И 10 и 11 часовъ проходять, но train'а нъть, какъ нъть. По домамъ, изъ которыхъ таинственно вышли наши герои, мало-по-малу стали распространяться слухи о дальнемъ пути, и часовъ въ 12 къ будущимъ бойцамъ въ съняхъ амбаркадера присоединилась стая женщинъ, неутъшныхъ дидонъ, оставленныхъ свиръпыми поклонниками, и свирвныхъ хозяекъ домовъ, которымъ они не заплатили, в фронтно, чтобъ он т не д флали огласки. Растрепанныя, онъ неистово кричали, хотъли жаловаться въ полицію; у пъкоторыхъ были дъти; всъ они кричали и всъ матери кричали. Англичане стояли кругомъ и съ удивленіемъ смотръли на картину «Исхода». Напрасно старшіе изъ тхавшихъ спрашивали, скоро ли пойдеть особый train? показывали свои билеты. Служители желъзной дороги не слыхали ни о какомъ train'ъ. Сцена

становилась шумнёе и шумнёе... Какъ вдругъ прискакаль гонецъ отъ шефовъ сказать ожидавшимъ, что они всё съ ума сошли, что отъёздъ вечеромъ въ 10, а не утромъ, и что это до того понятно, что они и не написали. Пошли съ узелками и котомочками къ своимъ оставленнымъ дидонамъ и смягченнымъ хозяйкамъ бёдные воины.

Въ 10 часовъ вечера они убхали. Англичане имъ даже про-

кричали три раза ура.

На другой день утромъ рано прівхаль ко мив знакомый морской офицерь съ одного изъ русскихъ пароходовъ. Пароходъ получиль вечеромъ приказъ—утромъ выступить на всёхъ парахъ и слёдить за Ward Jackson'омъ.

Между твиь Ward Jackson остановился въ Коненгагент за водой, прождаль нъсколько часовъ въ Мальме Б., собиравшагося съ ними для поднятія крестьянъ въ Литвъ, и былъ захваченъ по

приказанію шведскаго правительства.

Подробности дѣла и второй попытки Лапинскаго разсказаны были имъ саминъ въ журналахъ. Я прибавлю только то, что капитанъ уже въ Копенгагенѣ сказалъ, что онъ пароходъ къ русскому берегу не поведетъ, не желая его и себя подвергнуть опасности; что еще до Мальме доходило до того, что Демонтовичъ пригрозилъ своимъ револьверомъ не Лапинскому, а капитану. Съ Лапинскимъ Демонтовичъ все-таки поссорился, и они заклятыми врагами поѣхали въ Стокгольмъ, оставляя несчастную команду въ Мальме.

- Знаете ли вы, сказалъ мнѣ Цверчакѣвичъ, или кто-то изъ близкихъ ему, что во всемъ этомъ дѣлѣ остановки въ Мальме становится всего подозрительнѣе лицо Тугенбольда.
  - Я его вовсе не знаю. Кто это?
- Ну, какъ не знаете, вы его видёли у насъ: молодой малый безъ бороды. Лапинскій былъ разъ у васъ съ нимъ.
  - Вы говорите, стало, о Поллесъ?
  - Это его псевдонимъ; настоящее имя его Тугенбольдъ.
- Что вы говорите? и я бросился къ моему столу. Между отложенными письмами особенной важности я нашелъ одно, присланное мнѣ мѣсяца два передъ тѣмъ. Нисьмо это было изъ Петербурга; оно предупреждало меня, что нѣкій докторъ Тугенбольдъ состоить въ связи съ Ш отдѣленіемъ, что онъ возвратился, но оставилъ своимъ агентомъ меньшого брата, что меньшой братъ долженъ ѣхать въ Лондонъ.

Что Поллесъ и онъ былъ одно лицо, въ этомъ сомивнія не могло быть. У меня опустились руки.

— Знали вы передъ отъёздомъ экспедиціи, что Поллесь былъ Тугенбольдъ?

— Зналъ. Говорили, что онъ перемънилъ свою фамилію потому, что въ краъ его брата знали за шпіона.

— Что же вы мнъ не сказали ни слова?

- Да такъ, не пришлось.

И Селифанъ Чичикова зналъ, что бричка сломана, а сказать

Пришлось телеграфировать послѣ захвата въ Мальме. И туть ни Демонтовичь, ни Б. 1) не умѣли ничего порядкомъ сдѣлать, перессорились. Поллеса сажали въ тюрьму за какіе-то брильянты, собранные у шведскихъ дамъ для поляковъ и употребленные на

кутежъ.

Въ то самое время, какъ толпа вооруженныхъ поляковъ, бездна дорого купленнаго оружія и Ward Jackson оставались почетными илѣнниками на берегу Швеція, собиралась другая экспедиція, снаряженная бюльими; она должна была итти черезъ Гибралтарскій проливъ. Ее велъ графъ Сбышевскій, братъ того, который писалъ замѣчательную брошюру «La Pologne et la Cause de l'ordre». Отличный морской офицеръ, бывшій въ русской службѣ, онъ ее бросилъ, когда началось возстаніе, и теперь велъ тайно снаряженный пароходъ въ Черное море. Для переговоровъ онъ ѣздилъ въ Туринъ, чтобъ тамъ секретно видѣться съ начальникомъ тогдашней опнозиціи и, между прочимъ, съ Морлини.

«На другой день послё моего свиданья съ Сбышевскимъ, разсказывалъ мнё самъ Мордини, вечеромъ въ налатъ министръ внутреннихъдълъ отвелъ меня въ сторону и сказалъ:—Пожалуйста, будьте осторожне; у васъ вчера былъ польскій эмиссаръ, который хочеть провести нароходъ черезъ Габралтарскій проливъ; какъ бы

дъло ни было, да зачъмъ же они прежде болтаютъ?»

Пароходъ, впрочемъ, и не дошелъ до береговъ Италіи: онъ быль захваченъ въ Кадиксъ испанскимъ правительствомъ. По минованіи надобности, оба правительства дозволили полякамъ продать оружіе и отпустили пароходъ.

Огорченный и раздосадованный прітхаль Лапинскій въ

Лондонъ.

Огорченный и раздосадованный прібхаль Сбышевскій.

— Нѣтъ, поѣду въ Америку... буду драться за республику. Кстати,—спросиль онъ Тхоржевскаго,—гдѣ здѣсь можно завербоваться, со мной нѣсколько товарищей и всѣ безъ куска насущнаго хлѣба.

<sup>1)</sup> Демонтовичъ, послѣ-долгихъ споровъ съ Б., говориль:—а, вѣдь, это, господа, какъ ни тяжело съ русскимъ правительствомъ, а все же наше положеніе при немъ лучше, чѣмъ то, которое намъ приготовять эти фанатики-соціалисты.

- Просто у консула. Да нътъ, мы хотъли на югъ, у нихъ теперь недостатокъ въ людяхъ и они предлагаютъ болье выгодныя условія.
  - Не можеть быть, вы не пойдете на югъ!
  - ..... По счастію, Тхоржевскій отгадаль. На югъ они не пошли

3 мая, 1869 года.

## Безъ связи.

I.

## Швейцарскіе виды. <sup>1</sup>)

Лѣтъ десять тому назадъ, идучи позднимъ зимнимъ, холоднымъ, сырымъ вечеромъ по Геймаркету, я натолкнулся на негра, лѣтъ семнадцати; онъ былъ босъ, безъ рубашки и, вообще, больше раздѣтъ тропически, чѣмъ одѣтъ по - лондонски. Стуча зубами и дрожа всѣмъ тѣломъ, онъ попросилъ у меня милостыни. Дня черезъ два я опять его встрѣтилъ, а потомъ еще и еще. Наконецъ, я вступилъ съ нимъ въ разговоръ. Онъ говорилъ ломанымъ апгло-испанскимъ языкомъ, но понять смыслъ его словъ было нетрудно.

- Вы молоды, сказаль я ему, тертики, что же вы не ищете работы?
  - Никто не даеть.
  - Отчего?
  - Нътъ никого знакомаго, кто бы поручился.
  - Да вы откуда?
  - Съ корабля.
  - Съ какого?
  - Съ испанскаго. Меня капитанъ очень билъ, я и ушелъ.
  - Что вы дѣлали на кораблѣ?
  - Все: платье чистиль, посуду мыль, каюты прибираль.
  - Что же вы намърены дълать?
  - Не знаю.
- Да, вёдь, вы умрете съ холода и голода, по крайней мёрё, навёрно схватите лихорадку.
- Что же миѣ дѣлать? говорилъ негръ съ отчанніемъ, глядя на меня и дрожа всѣмъ тѣломъ отъ холода.
  - Ну, подумалъ я, была не была, не первая глупость въ жизни.
  - Идите со мной, я вамъ дамъ уголъ п платье, вы будете чис-

<sup>1)</sup> Небольшіе отрывки изъ этого отд'єла были напечатаны въ "Колоколь".

Примъч. загранич. изданія

тить у меня комнаты, топить камины и останетесь сколько хотите, если будете вести себя порядкомъ и тихо. Ѕе по-по.

Негръ запрыгалъ отъ радости.

Въ недёлю онъ потолстёлъ и весело работалъ за четырехъ. Такъ прожиль онъ съ полгода; потомъ, какъ-то вечеромъ, явился передъ моей дверью, постоялъ молча и потомъ сказалъ миъ:

- Я къ вамъ пришелъ проститься.
- Какъ такъ?
- Теперь довольно, я пойду.
- Васъ кто-нибудь обидълъ?
- Помилуйте, я всёми доволенъ.
- Такъ куда же вы? На какой-инбудь корабль.
- Зачёмъ?
- Очень соскучился, не могу, я сдёлаю бёду, если останусь, мнъ надобно море. Я поъзжу и онять пріъду, а теперь довольно.

Я сдълалъ опытъ остановить его, дня три онъ подождалъ и во второй разъ объявилъ, что это сверхъ силъ его, что онъ долженъ уйти, что теперь довольно.

Это было весной. Осенью онъ явился ко мнъ снова тропически раздітый, я опять его оділь; но онъ вскорі наділаль разныхъ пакостей, даже грозилъ меня убить, и я былъ вынужденъ его прогнать.

Последнее къ делу не идетъ, а идетъ къ делу то, что я совершенно раздёляю воззрёніе негра. Долго живши на одномъ мъстъ и въ одной колеъ, я чувствую, что на иткоторое времи довольно, что надобно освъжиться другими горизонтами и физіономіями... и съ темъ вмёсть взойти въ себя, какъ бы это ни казалось страннымъ. Поверхностная разсъянность дороги не мъшаетъ.

Есть люди, предпочитающие отъёзжать внутренно: кто при помощи сильной фантазін и отвлекаемости отъ окружающаго-на это надобно особое помазаніе, близкое къ геніальности и безумію кто при помощи опіума или алкоголя. Русскіе, наприм'єръ, пьютъ запоемъ недълю-другую, потомъ возвращаются ко дворамъ п дъламъ. Я предпочитаю передвижение всего тъла передвижению мозга, и круженіе по свъту-круженію головы.

Можетъ, отъ того, что у меня похмелье тяжело.

Такъ разсуждалъ я, 4 октября 1866, въ небольшой комнатъ дрянной гостиницы на берегу Невшательскаго озера, въ которой чувствоваль себя какъ дома, какъ будто въ ней жилъ всю жизнь.

Съ лътами странно развивается потребность одиночества п главное тишины... На дворъ было довольно тепло, я отворилъ окно... Все снало глубокимъ сномъ, и городъ, и озеро, и причаленная барка, едва-едва дышавшая, что было слышно по небольшому скрыцу и видно по легкому уклоненію мачты, никакъ не попадавшей въ линію равновъсія и переходившей ее то направо, то налъво...

...Знать, что никто васъ не ждетъ, никто къ вамъ не взойдетъ, что вы можете дѣлать, что хотите, умереть ножалуй... и никто не помѣшаетъ, никому нѣтъ дѣла... разомъ страшно и хорошо. Я рѣшительно начинаю дичать и иногда жалѣю, что не нахожу

силь принять свътскую схиму.

Только въ одиночествъ человъкъ можетъ работать во всю силу своей могуты. Воля располагать временемъ и отсутствіе неминуемыхъ перерывовъ—великое дѣло. Сдѣлалось скучно, усталъ человѣкъ,—онъ беретъ шляпу и самъ ищетъ людей и отдыхастъ съ ними. Стоитъ ему выйти на улицу—вѣчная каскада лицъ несется нескончаемая, мѣняющаяся, неизмѣнная, съ своей искрящейся радугой и сѣдой пѣной, шумомъ и гуломъ. На этотъ водопадъ вы смотрите, какъ художникъ. Смотрите на него, какъ на выставку, именно потому, что не имѣете практическаго отношенія. Все вамъ постороннее, и ни отъ кого ничего ненадобно.

На другой день я всталь ранехонько и уже въ 11 часовъ до того проголодался, что отправился завтракать въ большой отель, куда меня съ вечера не пустили за непмѣніемъ мѣста. Въ столовой сидѣлъ англичанинъ съ своей женой, закрывшись отъ нея листомъ «Теймса», и французъ лѣтъ тридцати, изъ новыхъ, теперь слагающихся, типовъ, толстый, рыхлый, бѣлый, бѣлокурый, мягкожирный; онъ, казалось, готовъ былъ расплыться, какъ желе въ теплой комнатѣ, если-бъ шпрокое пальто и панталоны изъ упругой матеріи не удерживали его мясовъ. Навѣрно, сынъ какогонибудь князя биржи или аристократъ демократической имперіи Вяло, съ недовѣріемъ и пытливымъ духомъ продолжалъ онъ свой завтракъ; видно было, что онъ давно занимается и усталъ.

Типъ этотъ, почти не существовавшій прежде во Франціп, началь слагаться при Людовикѣ Филиппѣ и окончательно расцвѣль въ послѣдніе пятнадцать лѣть. Онъ очень противенъ, и это, можеть, комплиментъ французамъ. Жизнь кухоннаго и виннаго эпикуреизма не такъ искажаетъ англичанина и русскаго, какъ француза. Фоксы и Шериданы пили и ѣли за глаза довольно, однако остались Фоксами и Шериданами. Французъ безнаказанно предается одной литературной гастрономіи, состоящей въ утонченномъ знаніи яствъ и витійствѣ, при заказѣ блюдъ. Ни одна нація не говоритъ столько объ обѣдѣ, о приправахъ, тонкостяхъ, какъ французы; но это все фіоритура, риторика. Настоящее обжорство и пьянство француза заѣдаетъ, поглощаетъ... оно ему не по нервамъ. Французь остается цѣлъ и невредимъ только при

самомъ многостороннемъ волокитствъ, это его національная страсть и любимая слабость,—въ ней онъ силенъ.

— Прикажете десертъ? спросилъ гарсонъ, видимо уважавшій француза больше насъ.

Молодой господинъ варилъ въ это время пищу въ себъ п потому, медленно подпимая на гарсона тусклый п томный взглядъ, сказалъ ему:

— Я еще не знаю, потомъ подумалъ и прибавилъ:—une poire! Англичанинъ, который въ продолжение всего времени молча ълъ за ширмами газеты, встрепенулся и сказалъ

— Et à moâ aussi!

Гарсонъ принесъ двъ груши, на двухъ тарелкахъ, и одну подалъ англичанину; но тотъ съ энергіей и азартомъ протестовалъ:

- No, no! aucune chose pour poire!

Ему просто хотѣлось пить. Онъ напился и всталь; я тутъ только замѣтиль, что на немь была дѣтская курточка, или спенсеръ, свѣтло-коричневаго цвѣта и свѣтлые панталоны въ обтяжку, страшно сморщившіеся возлѣ ботинокъ. Встала и леди; она подымалась все выше, выше и, сдѣлавшись очень высокой, оперлась на руку приземистаго своего мужа и вышла.

Я ихъ проводиль улыбкой невольной, но совершенно безэлобной; они все-же мнѣ казались вдесятеро больше люди, чѣмъ мой сосѣдъ, разстегивавшій, по случаю удаленія дамы, третью пуговицу жилета.

Базель.

Рейнъ—естественная граница, ничего не отдъляющая, но раздъляющая на двъ части Базель, что не мъшаетъ нисколько невыразимой скукъ объихъ сторонъ. Тройная скука налегла здъсь на все: нъмецкая, купеческая и швейцарская. Ничего нътъ удивительнаго, что единственное художественное произведеніе, выдуманное въ Базелъ, представляетъ иляску умирающихъ со смертью; кромъ мертвыхъ, здъсь никто не веселится, хотя нъмецкое общество сильно любитъ музыку, но тоже очень серьезную и высшую.

Городъ—транзитный: всё проёзжають по немъ и никто не останавливается, кромё комиссіонеровь и ломовыхъ извозчиковъ высшаго порядка.

Жить въ Базелъ, безъ особой любви къ деньгамъ, нельзя. Впрочемъ, вообще въ швейцарскихъ городахъ жить скучно, да и не въ однихъ швейцарскихъ, а во всъхъ небольшихъ городахъ. «Чудесный городъ Флоренція, говоритъ Бакунинъ, точно прекрасная конфета... тыь, не нарадуешься, а черезъ недълю намъ все сладкое смертельно надоъдаетъ». Это совершенно върно; что же

п говорить посл'й этого о швейцарскихъ городахъ? Прежде было покойно и хорошо по берегу Лемана; но съ тъхъ поръ, какъ отъ Веве до Ветто все застроили подмосковными и въ нихъ выселились изъ Россіи цълыя дворянскія семьи, исхудалыя отъ несчастія 19 февраля 1861, нашему брату тамъ не рука.

Лозавна.

Я въ Лозанив провздомъ. Въ Лозанив всв провздомъ, кромв

аборигеновъ.

Въ Лозаниъ посторонніе не живутъ, несмотря ни на ея удивительныя окрестности, ни на то, что англичане ее открывали три раза: разъ послъ смерти Кромвеля, разъ при жизни Гиббона, и теперь, строя въ ней домы и виллы. Живутъ туристы только въ Женевъ.

Мысль о ней для меня неразрывна съ мыслью о самомъ холодномъ и сухомъ великомъ человъкъ и о самомъ холодномъ и сухомъ вътръ, о Кальвинъ и о бизъ. Я обоихъ терпъть не могу.

И, въдь, въ каждомъ женевцъ осталось что-то отъ бизы и отъ Кальвина, которые дули на него духовно и тълесно, со дня рожденія, со дня зачатія и даже прежде, одинъ изъ горъ, другой изъ молитвенниковъ.

Дъйствительно, слъдъ этихъ двужъ простудъ, съ разными пограничными и черезполосными оттънками: савойскими, валійскими, пуще всего французскими, составляетъ основный характеръ женевца, хорошій, но не то, чтобъ особенно пріятный.

Впрочемъ, я теперь описываю путевыя впечатлѣнія, а въ Женевѣ я живу. Объ ней я буду писать, отойдя на артистическое

разстояніе...

... Въ Фрибургъ я прівхалъ часовъ въ десять вечера... прямо къ Zæhringhoff'у. Тотъ же хозяинъ, въ черной бархатной скуфът, который встръчалъ меня въ 1851 году, съ тыть же правильнымъ и высокомърно-учтивымъ лицомъ русскаго оберъ-церемоніймейстера или англійскаго швейцара, подошелъ къ омнибусу и поздравилъ насъ съ прівздомъ.

... И столовая та же, тъ же складные четырехугольные диван-

чаки, обитые краснымъ бархатомъ.

Четырнадцать лёть прошли передъ Фрибургомъ, какъ четырпадцать дней! Та же гордость канедральнымъ органомъ, та же

гордость цёпнымъ мостомъ.

Въяніе новаго духа, безпокойнаго, мъняющаго стъны, разбрасывающагося, поднятаго эквинокціальными бурячи 18-18 года, мало коснулось городовъ, стоящихъ въ нравственной и физической сторонъ, въ родъ іезуитскаго Фрибурга и піэтистическаго Невшателя. Города эти тоже двигались, но черепашьимъ шагомъ,

стали лучше, но намъ кажутся отсталыми въ своей каменной одеждѣ, сшитой не по модѣ... А, вѣдь, многое въ прежней жизни было не дурно, прочнѣе, удобнѣе: она была лучше разочтена для малаго числа избранныхъ и именно поэтому не соотвѣтствуетъ огромному числу вновь приглашенныхъ, далеко не такъ избалованныхъ и не такъ трудныхъ во вкусѣ.

Конечно, при современномъ состояніи техники, при сжедневныхъ открытіяхъ, при облегченіи средствъ можно было устроить привольно и просторно новую жизнь. Но западный человъкъ, владівющій містомь, довольствуется малымь. Вообще на него накленали и, главное, накленалъ онъ самъ то пристрастіе къ комфорту и ту избалованность, о которой говорять. Все это у него риторика и фраза, какъ и все прочее; были же у него свободныя учрежденія безъ свободы, отчего же не имъть блестящей обстановки для жизни узкой и неуклюжей. Есть исключенія. Мало ли что можно найти у англійскихъ аристократовъ, у францувскихъ камелій, у іудейскихъ князей міра сего... все это личное и временное: лорды и банкиры не имфютъ будущности, а камеліи наслідниковъ. Мы говоримь о всемо святию, о золотой посредственности, о хоръ и коръ-де-бале, который теперь на сценъ и жупруеть, оставляя въ сторонъ отца лорда Станлей, имъющаго тысячь двадцать франковъ дохода въ день, и отца того двенадцатилътняго ребенка, который на дняхъ бросился въ Темзу, чтобъ облегчить родителямъ пропитанье.

Старый, разбогатъвшій мъщанинь любить толковать объ удобствахъ жизни; для него все это еще ново, что онъ баринъ, qu'il a ses aises, «что его средства ему позволяють, что это его не раззоритъ». Онъ дивится деньгамъ и знасть ихъ цёну и летучесть въ то время, какъ его предшественники по богатству не върили ни въ ихъ истощаемость, ни въ ихъ достоинство, и потому раззорялись. Но раззорялись они со вкусомъ. У «буржуа» мало смысла широко воспользоваться накопленными капиталами. Привычка прежней узкой, наслъдственной, скупой жизни осталась. Онъ, пожалуй, и тратить большія деньги, по не на то, что надобно. Покольніе, прошедшее прилавкомъ, усвоило себь не тъ размъры, не тъ планы, въ которыхъ привольно, и не можетъ отъ нихъ отстать. У нихъ все делается, будто на продажу, и онп естественно имёють въ виду какъ можно большую выгоду, барышъ и казовый конецъ. «Пропріетеръ» инстинктивно уменьшаеть размёръ комнать и увеличиваеть ихъ число, не зная, ночему дълаетъ небольшія окна, низкіе потолки; онъ пользуется каждымъ угломъ, чтобъ вырвать его у жильца или у своей семьи. Уголъ этотъ ему ненуженъ, но на всякій случай онъ его отнимаетъ у кого-нибудь. Онъ съ особеннымъ удовольствіемъ устраиваеть двъ неудобныхъ кухни, вмъсто одной порядочной, устранваеть мансарду для горничной, въ которой нельзя ни работать, ни повернуться, но зато сыро. За эту экономію свъта и пространства онъ украшаеть фасадъ, грузитъ мебелью гостиную и устранваеть передъ домомъ цвътникъ съ фонтаномъ, наказаніе дътямъ,

нянькамъ, собакамъ и наемщикамъ.

Чего не испортило скряжничество, то додёлываетъ нерасторопность ума. Наука, проръзывающая мутный прудъ обыденной жизни, не мъщаясь съ ней, бросаетъ направо и налъво свои богатства, но ихъ не умъютъ удить мелкіе лодочники. Вся польза пдеть гуртовщикамъ и цъдится каплями для другихъ; гуртовщики мъняютъ шаръ земной, а частная жизнь тащится возлъ ихъ паровозовъ въ старой колымагъ, на своихъ клячахъ... Каминъ, который бы не дымился-мечта; мнъ одинъ женевскій хозяинъ уснокоительно говорилъ: «каминъ этоть только дымитъ въ бизу», т. е., именно тогда, когда всего больше надобно топить, и эта биза какъ будто случайность или новое изобрътение, какъ будто она не дула до рожденія Кальвина п не будеть дуть послъ смерти Фази. Во всей Европъ, не исключая ни Испаніи, нп Италін, надобно, вступая въ зиму, писать свое завъщаніе, какъ писали его прежде, отправляясь изъ Парижа въ Марсель, и въ половинъ апръля служить молебенъ Иверской Божіей Матери.

Скажи эти люди, что они не занимаются суетой суетствій, что у нихъ другого діла много, я имъ прощу и дымящіеся камины, и замки, которые разомъ отворяють дверь и кровь, и вонь въ сіняхъ и проч., но спрошу, въ чемъ ихъ діло, въ чемъ ихъ высшіе интересы? Ихъ намъ... они только выставляють ихъ для

скрытія невообразимой пустоты и безсмыслія...

Въ средніе вѣка люди жили напсквернѣйшимъ образомъ и тратились на совершеню ненужныя и не идущія къ удобствамъ постройки. Но средніе вѣка не толковали о страсти къ удобствамъ; напротивъ, чѣмъ неудобнѣе шла ихъ жизнь, тѣмъ она ближе была къ ихъ идеалу; ихъ роскошь была въ благолѣпіи дома Божія и дома общиннаго, и тамъ они ужъ не скупились, не жались. Рыцарь строилъ тогда крѣпость, а не дворецъ и выбиралъ не наиудобнѣйшую дорогу для нея, а неприступную скалу. Теперь защищаться не отъ кого, въ спасеніе души отъ украшенія церквей никто не вѣритъ; отъ форума и ратуши, отъ оппозиціп и клуба мирный гражданинъ порядка отсталь; страсти и фанатизмы, религіи и героизмы—все это уступило мѣсто матеріальному благосостоянію, а оно-то и не устроилось.

Для меня во всемь этомъ есть что-то печальное, трагическое, точно этотъ міръ живеть кой-какъ въ ожиданіи, что земля разступится подъ ногами, и ищетъ не устропться, а забыться. Я

это вижу не только въ озабоченныхъ морщинахъ, но и въ боязни передъ серьезной мыслью, въ отвращени отъ всякаго разбора своего положенья, въ судорожной жаждѣ недосуга, внѣшней разсѣянности. Старики готовы играть въ игрушки, «лишь бы дѣло

не шло на умъ».

Модный оттягивающій пластырь—всемірныя выставки. Пластырь и бользнь вмьсть, какая-то перемежающаяся лихорадка съ перемьнными центрами. Все несется, плыветь, идеть, летить, тратится, домогается, глядить, устаеть, живеть еще неудобнье, чтобъ слъдить за успъхомъ—чего? Ну, такъ, за успъхами. Какъ будто въ три-четыре года можеть быть такой прогрессъ во всемъ, какъ будто при жельзныхъ дорогахъ такая крайность возить изъ угла въ уголъ—домы, машины, конюшни, пушки, чуть не сады и огороды...

... Ну, а выставки надобдять, примутся за войну, начнуть разсъиваться грудами труновъ, лишь бы не видъть какихъ-то

черных в точек в на набесклон в...

### II.

## Болтовня съ дороги и родина въ буфетъ.

- Есть мѣсто въ Андерматъ?
- Въроятно будетъ.Въ кабріолетъ?
- Можетъ быть, вы заходите въ половинъ одиннадцатаго...

Я смотрю на часы, три безь четверти... и я съ чувствомъ какого-то бъщенства сажусь на лавочку передъ кафе... Шумъ, крикъ, таскають чемоданы, водять лошадей, лошади стучать безъ нужды по камнямъ, трактирные гарсоны завоевываютъ путешественниковъ, дамы роются между саками... щелкъ, щелкъ, одинъ дилижансъ поскакалъ... щелкъ, щелкъ, другой поскакалъ за нимъ... площадь пустъетъ, все разошлось... жаръ смертельный, свътло до безобразія, камни поблъднъли, собака легла было середь илощади, но вдругъ вскочила съ негодованіемъ и побъжала въ тънь. Передъ кафе сидитъ толстый хозяинъ въ рубашкъ, онъ постоянно дремлетъ. Идетъ баба съ рыбой. «Почемъ рыба?» спрашиваетъ съ видомъ страшной злобы хозяинъ. Женщина говоритъ цъну.—«Саггодпа», кричитъ хозяинъ.—« Ladro», кричитъ женщина. — «Иди мимо, старая чертовка». — «Берешь что ли, раз-

бойникъ?»—«Ну, отдавай за *три венты* фунть».—«Чтобъ тебъ умереть безъ исповъди!» Хозяинъ береть рыбу, женщина деньги, и дружески разстаются. Всъ эти ругательства—одна принятая

форма, въ родѣ вѣжливостей, употребляемыхъ нами.

Собака продолжаеть спать, ховяннъ отдалъ рыбу и опять дремлеть, солнце печеть, сидъть дольше невозможно. Иду въ кафе, беру бумагу и начинаю писать, не зная вовсе, что напишу... Описаніе горъ и пропастей, цвѣтущихъ луговъ и голыхъ гранитовъ, —все это есть въ гидъ... Лучше посплетничать. Сплетни —отдыхъ разговора, его десертъ, его соя, одни идеалисты и абстрактные люди не любятъ сплетней... Но о комъ сплетничать?... Разумѣется, о предметъ самомъ близкомъ нашему патріотическому сердцу, —о нашихъ милыхъ соотечественникахъ. Ихъ вездѣ много, особенно въ хорошихъ отеляхъ.

Узнавать русских все еще такъ же легко, какъ и прежде. Давно отмъченные зоологическіе признаки не совству стерлись при сильномъ увеличеній путешественниковъ. Русскіе говорять громко тамъ, гдт другіе говорятъ тихо, и совству не говорять тамъ, гдт другіе говорятъ тромко. Они смтются вслухъ и разсказываютъ шепотомъ смтыныя вещи; они скоро знакомятся съ гарсонами и туго съ состаниныя вещи; они скоро знакомятся съ гарсонами и туго съ состаниныя вещи; они скоро знакомятся съ гарсонами и туго съ состаниныя вещи; они скоро знакомятся съ гарсонами и туго съ состанины тупо отличаются отъ нихъ особенно дерзкимъ затылкомъ, съ оригинальной щетинкой; дамы поражаютъ костюмомъ на желтаныхъ дорогахъ и параходахъ такъ, какъ англичанки за table d'hôt'омъ и пр.

Тунское озеро сдѣлалось цистерной, около которой насѣли наши туристы высшаго полета. Fremden List словно выписанъ изъ «памятной книжки»: министры и тузы, генералы всѣхъ оружій и даже тайной полиціи отмѣчены въ немъ. Въ садахъ отелей наслаждаются сановники, mit Weib und Kind, природой и въ ихъ столовой ся дарами. -«Вы черезъ Гемми или Гримзель?» спрашиваетъ англичанка англичанку.—«Вывъ Jungfraublick'ъ пли въ Викторіи остановились?» спрашиваетъ русская русскую.— «Вотъ и Інпубгаи!» говоритъ англичанка.—«Вотъ и Рейтернъ», министръ финансовъ, говоритъ русская...

Inteing minutes d'arret... Inteing minutes d'arret...

п все, что было въ вагонахъ, высыналось въ залу ресторана п бросилось за столъ, торонясь съёсть обёдъ въ какія-нибудь двадцать минутъ, изъ которыхъ дорожное начальство непремённо украдетъ иять-шесть, да еще прежде испугаетъ аппетитъ страшнымъ звонкомъ и крикомъ: En voiture. Взошла высокая барыня въ темномъ и ея мужъ въ свѣтломъ, съ ними двое дѣтей... Взошла съ застѣнчивымъ, неловкимъ видомъ, бѣдно одѣтая дѣвушка, у которой на рукахъ были какіе-то мѣшечки и баульчики. Она ностояла... потомъ ношла въ уголъ и сѣла ночти возлѣ меня. Зоркій взглядъ гарсона ее замѣтилъ; прорѣевъ съ тарелкой, на которой лежалъ кусокъ ростбифа, онъ спустился, какъ коршунъ, на бѣдную дѣвушку и спросилъ ее, что она желаетъ заказатъ?—«Ничего», отвѣчала она и гарсонъ, котораго кликалъ англійскій клержиманъ, побѣжалъ къ нему... Но черезъ минуту онъ онять подлетѣлъ къ ней и, махая салфеткой, спросилъ ее: «Что бишь вы заказали?»

Дъвушка что-то прошентала, покрасиъла и встала. Меня такъ и кольнуло. Миъ захотълось предложить ей чего-нибудь, но я не

смѣлъ.

Прежде чёмъ я рёшился, черная дама повела черными глазами по залё и, увидя дёвушку, подозвала ее пальцемъ. Она подошла, дама указала ей на недоёденный дётьми супъ, и та, стол середь ряда сидящихъ и удивленныхъ путешественниковъ, смущенная и потерянная, съёла ложки двё и поставила тарелку.

- Essieurs les voyageurs pour Ucinnungen onctiou, et tontuyx -en

voiture!

Вст бросились съ ненужной поситиностью къ вагонамъ. Молчать я не могъ и сказаль гарсону (не коршуну, другому):

— Вы видъли?

— Какъ же не видать, — это русскіе.

#### III.

## За Альпами.

... Архитектуральный, монументальный характеръ птальянскихъ городовъ, рядомъ съ ихъ запущенностью, подъ конецъ надобдаетъ. Современный человъкъ въ пихъ не дома, а въ неудобной ложъ театра, на сценъ котораго поставлены величественныя декораціи.

Жизнь въ нихъ не уравновъсилась, не проста и не удобна. Тонъ поднять, во всемъ декламація и декламація итальянская (кто слыхаль чтеніе Данта, тотъ знаетъ ее). Во всемъ та натянутость, которая бывала въ ходу у московскихъ философовъ и нъмецкихъ ученыхъ художниковъ; все съ высшей точки, vom höhern Standpunkt.—Взвинченность эта исключаетъ abandon, въ-

чно готова на отпоръ п проповъдь съ сентенціями. Хроническая

восторженность утомляеть, сердитъ.

Человъку не всегда хочется удивляться, возвышаться душой, имъть тугенды, быть тронутымъ и носиться мыслію далеко въ быломъ, а Италія не спускаеть съ извъстнаго діапазона и безпрестанно напоминаеть, что ея улица не просто улица, а что она памятникъ, что по ея площадямъ не только надобно ходить, но

должно ихъ изучать.

Виъстъ съ тъмъ все особенно изящное и великое въ Италіи (а можетъ и вездъ) граничить съ безуміемъ и нелъпостью, по крайней мъръ, напоминаетъ малолътство... Piazza Signoria, --это дътская флорентинскаго народа; дъдушка Буонаротти и дядюшка Челлини надарили ему мраморныхъ и бронзовыхъ игрушекъ, а онъ ихъ разставилъ зря на илощади, гдъ столько разъ лилась кровь и ръшалась его судьба-безъ малъйшаго отношенія къ Давиду или Персею... Городъ въ водъ, такъ что по улицамъ могуть гулять ерши и окуни... Городъ изъкаменныхъщелей, такъ что надобно быть мокрицей или ящерицей, чтобъ ползать п бъгать по узенькому дну-между утесами, составленными изъ двордовъ... А тутъ бъловъжская пуща изъ мрамора. Какая голова смъла создать чертежъ этого каменнаго лъса, называемаго Миланскимъ соборомъ, эту гору сталактитовъ? Какая голова имѣла дерзость привести въ исполнение сонъ безумнаго зодчаго... И кто даль деньги, огромныя, нев фроятныя деньги!

Люди только жертвують на ненужное. Имъ всего дороже ихъ фантастическія цёли, дороже насущнаго хлёба, дороже своей корысти. Въ эгоизмъ надобно воспитаться такъ же, какъ въ гуманность. А фантазія уносить безъ воспитанія, увлекаетъ безъ раз-

сужденій. Въка въры были въками чудесь.

Городъ поновъе, но менъе историческій и декоративный Туринъ.

Такъ и обдаетъ своей прозой.

Да, а жить въ немъ легче—именно потому, что онъ просто городъ, городъ не въ собственное свое воспоминаніе, а для обыденной жизни, для настоящаго, въ немъ улицы не представляютъ археологическаго музея, не напоминаютъ на каждомъ шагу Меmento mori,—а взгляните на его работничье населеніе, на ихъ рѣзкій, какъ альпійскій воздухъ, видъ,—и вы увидите, что это кряжъ людей бодрѣе флорентинцевъ, венеціанъ, а, можетъ, и постойчѣе генуэзцевъ.

Послъднихъ, впрочемъ, я не знаю. Къ нимъ присмотръться очень трудно, они все мелькаютъ передъглазами, бъгутъ, суетятся, снуютъ, торопятся. Въ переулкахъ къ морю народъ кипитъ, но тъ, которые стоятъ, не генуэзцы—это матросы всъхъ морей и

океановъ, шкиперы, капитаны.—Звонокъ тамъ, звонокъ тутъ— Partenza!—Partenza!—и часть муравейника засуетилась,—одни нагружаютъ, другіе разгружають.

### IV.

### Zu deutsch.

... Три дня льетъ проливной дождь, выйти невозможно, работать не хочется... Въ окнъ книжной лавки выставлена «Переписка Гейне», два тома. Вотъ спасенье, я взялъ ихъ и принялся читать впредь до расчищенія неба.

Много воды утекло съ тъхъ поръ, какъ Гейне писалъ Мо-

зеру, Иммерману и Варнгагену.

Странное діло, съ 1848 года мы все пятились, да отступали, все бросали за борть, да ежились, а кой-что сділалось и все исподволь измінилось. Мы ближе къ землі, мы ниже стоимъ, т. е., тверже, плугь глубже врізывается, работа не такъ казиста, черніве—можеть оттого, что это въ самомъ ділі работа. Донъ-Кихоты реакціи пропороли много нашихъ воздушныхъ шаровъ, дымные газы улетучились, аэростаты опустились, и мы не носимся больше, какъ духъ Божій, надъ водами съ цівницей и пророческимъ піснопітніемъ, а ціпляемся за деревья, крыши и за мать-сыру-землю.

Гдъ эти времена, когда «юная Германія», въ своемъ «прекрасномъ-высоко», теоретически освобождала отечество и въ сферахъ чистаго разума и искусства покончивала съ міромъ преданій и предразсудковъ? Гейне было противно на ярко освъщенной морозной высоть, на которой величественно дремаль подъ старость Гёте, грезя не совстмъ складные, но умные сны второй части Фауста, -- однако и онъ ниже книжнаго магазина не опустился, это все еще академическая aula, литературные кружки, журнальные приходы, съ ихъ сплетнями и дрязгами, съ ихъ книжными Шейлоками въ видъ Коты или Гофмана и Кампе, съ ихъ гетингенскими архіереями филологіи и епископамиюриспруденціи въ Галле или Боннъ. Ни Гейне, ни его кругь народа не знали, и народъ ихъ не зналъ. Ни скорбь, ни радость низменных полей не подымалась на эти вершины; для того. чтобъ понять стонъ современныхъ человъческихъ трясинъ, имъ надобно было переложить его на латинскіе нравы и черезъ Гракховъ и пролетаріевъ добраться до ихъ мысли.

Баккалавры міра сублимированнаго, они выходили иногда въ

жизнь, начиная, какъ Фаустъ, съ полнивной, ивсегда, какъ онъ, съ какимъ-нибудь духомъ школьнаго отрицанья, который имъ, какъ Фаусту, мъщалъ своей рефлексіей просто глядъть и видъть. Оттого-то они тотчасъ возвращались отъ живыхъ источниковъ къ источникамъ историческимъ, тутъ они чувствовали себя больше дома. Занятія ихъ, это особенно замъчательно, не только не были джломъ, но и не были наукой, а, такъ сказать, ученостью и литературой пуще всего.

Гейне подчасъ бунтовалъ противъ архивнаго воздуха и аналитическаго наслажденія, котълъ чего-то другого, а письма его совершенно нисмецкія письма, того нъмецкаго періода, на первой страницъ котораго Беттина-дитя, а на послъдней Рахиль сврейка. Мы свъжъе дышемъ, встръчая въ его письмахъ страстные порывы годаизма; тутъ Гейне въ самомъ дълъ увлекающійся человъкъ, но онъ тотчасъ стынетъ, холодъетъ къ годаизму и сердится на него за свою собственную, далеко не безкорыстную измѣну.

Революція 1830 и потомъ перейздъ Гейне въ Парижь сильно двинули ero. Der Pan ist gestorben! говорить онъ съ восторгомъ и торопится  $my\partial a$ —туда, куда и я нѣкогда торопился такъ бользненно-страстно,—въ Парижъ; онъ хочеть видъть «великій народъ» и «съдого Лафайета, разъъзжающаго на сърой лошади». Но литература вскорт береть верхъ, наружно и внутренно письма наполняются литературными сплетнями, личностями въ пересыпочку съ жалобами на судьбу, на здоровье, на нервы, на худое расположение духа, сквозь котораго просвъчиваеть безмърное, оскорбительное самолюбіе. И тутъ же Гейне беретъ фалыпивую ноту. Холодно вздутый риторическій бонапартизмъ его становится такъ же противенъ, какъ брезгливый ужасъ гамбургскаго хорошо вымытаго жида передъ народными трибунами не въ кнпгахъ, а на самомъ дълъ. Онъ не могъ переварить, что рабочія сходки не представлялись въ чопорной обстановкъ кабинета п салона Варнгагена, «фарфороваго» Варнгагена фонъ Энзе, какъ онъ его самъ назвалъ.

Чистотой рукъ и отсутствіемъ табачнаго запаха, впрочемъ, и ограничивается чувство его собственнаго достоинства. За это винить его трудно. Чувство это не итмецкое, не еврейское и, по несчастію, тоже не русское.

Гейне кокетничаеть съ прусскимъ правительствомъ, заискиваеть въ немъ черезъ посла, черезъ Варнгагена, и ругаетъ его 1).

<sup>1)</sup> Не то же ли дѣлалъ и геній на содержаніи прусскаго короля? Его двушостасность навлекла на него колкое слово. Послѣ 1848, король гановерскій, ультра-консерваторъ и феодалъ, пріѣхалъ въ Потедамъ. На лѣстницѣ дворца его встрѣтили разные придворные и Гумбольтъ въ ливрейномъ фракѣ. Злой король остановился и, улыбаясь, сказалъ ему: "Immer derselbe, immer Republicaner und immer im Vorzimmer des Palastes».

Кокетничаеть съ баварскимъ королемъ и осыпаетъ его сарказмами, больше чёмъ кокетничаетъ съ «высокой» германской діэтой и выкупаетъ свое дрянное поведеніе передъ ней термими насм'ємъками.

Все это не объясняеть ли отчего учено-революціонная всиышка въ Германіи такъ быстро лопнула въ 1848 году? Она тоже принадлежала литературъ и исчезла какъ ракета, пущенная въ Крольгарденъ; она имъла своихъ вождей-профессоровъ и своихъ генераловъ отъ филологіи, она имъла свой народъ въ ботфортахъ и беретахъ, народъ студентовъ, измънившихъ революціонному дълу, какъ только оно перешло изъ метафизической отваги и литературной удали на площадь.

Кром'є нісколько забіжавших или завлеченных работниковъ, народъ не шель за этими блібдными фюрерами, они ему такъ и остались посторонними.

- Какъ вы можете выносить всѣ обиды Бисмарка, спросилъ я, за годъ до войны, у одного лѣваго депутата изъ Берлина, въ самое то время, когда графъ набивалъ себѣ руку для того, чтобъ новышибать зубы по крѣпче Грабова и К°.
  - Мы все сдёлали, что могли innerhalb конституціи.
- Ну, такъ вы бы, по примъру правительства, попробовали ausserhalb.
- То есть, что-же? сдълать воззваніе къ народу, остановить платежи налоговь?.. Это мечта... ни одинт человить не двинулся бы за насъ, не поддержалъ бы насъ... и мы дали бы новое торжество Бисмарку, свидътельствуя сами нашу слабость.
- Ну, такъ и я скажу, какъ вашъ президентъ при всякомъ заушеніи: «Воскликните троекратно Es lebe der Kænig! и разойдитесь съ миромъ!»

### V.

### Съ того и этого свъта.

#### I.

### Съ того.

...Villa Adolphina... Адольфина?.. что бишь такое?.. Villa Adolphina, grands et petits appartements, jardin, vue sur la mer...

Вхожу, все чисто, хорошо, деревья, цвёты, англійскія дёти на двор'є, толстыя, мягкія, румяныя, которымъ отъ души желаю никогда не встрёчаться съ антропофагами... Выходить старушка и, спросивъ о причин'є прихода, начинаеть разговоръ съ того, что

она не *слумсанка*, «а больше по дружбѣ», что m-me Adolphine поѣхала въ больницу или въ богадѣльню, въ которой она патронесса. Потомъ ведетъ меня показывать «необыкновенно удобную квартиру», которая первый разъ еще не занята во время сезона и которую сегодня утромъ приходили осматривать два американца и одна русская княгиня, въ силу чего служащая «больше по дружбѣ» старушка искренно совѣтовала мнѣ не терять времени. Поблагодаривъ ее за такое внезапное сочувствіе и предпочтеніе, я обратился къ ней съ вопросомъ:

- Sie sind eine Deutsche?

- Zu Diensten, und der gnädige Herr?

— Ein Russe.

— Das freut mich zu sehr. Jeh wohnte so lange, so lange in Petersburg. Признаться сказать, такого города, кажется, нътъ и не будеть.

— Очень пріятно слышать. Вы давно оставили Петербургъ?

— Да, не вчера-таки, мы вотъ ужъ здёсь живемъ на худой конецъ лётъ двадцать. Я съ дётства была подругой съ m-me Adolphine и потомъ никогда не хотёла ее покинуть. Она мало хозяйствомъ занимается, все у нея идетъ такъ, некому присмотрёть. Когда meine Gönnerin купила этотъ маленькій парадизъ, она меня тотчасъ выписала изъ Брауншвейга...

— А гдъ вы жили въ Петербургъ спросилъ я вдругъ.

— О, мы жили въ самой лучшей части города, гдѣ lauter Herrschaften und Generäle живутъ. Сколько разъ я видѣла покойнаго государя, какъ онъ въ коляскѣ и въ саняхъ на одной лошади проѣзжалъ so ernst... можно сказать, настоящій потентатъ быль.

— Вы жили на Невскомъ, на Морской?

— Да, т. е., не совсёмъ на Нефскомъ, а туть возл'є, у Полицей-брюк'є.

Довольно... довольно, какъ не знать, думаю я, и прошу старушку, чтобъ она сказада, что я приду къ самой m-me Adolphine

переговорить о квартиръ.

Я никогда не могь безъ особаго умиленія встр'вчаться съ развалинами давнишняго времени, съ полуразрушенными памятниками храма ли Весты, или другого бога, все равно... Старушка «по дружбъ» пошла меня провожать черезъ садъ къ воротамъ.

— Вотъ нашъ сосъдъ, тоже долго жилъ въ Петербургъ»... она указала мнъ большой, кокетливо убранный домъ, на этотъ разъ съ англійской надписью: Large and small app. (furnished or unfurnished)... Вы, върно, помните Флоріани? Coiffeur de la cour былъ возлъ Милліонной; онъ имълъ одну непріятную исторію...

былъ преслёдованъ, чуть не попаль въ Сибирь... ва излишнее снисхожденіе, тогда были такія строгости.

Ну, думаю, она непремённо произведеть Флоріани въ мои

«товарищи несчастья».

- Да, да, теперь я смутно вспоминаю эту исторію, въ ней были замъщаны синодскій оберъ-прокуроръ и другіе богословы п гвардейцы...
  - Вотъ онъ самъ.
- ... Высохшій, беззубый старичишка, въ маленькой соломенной шлянь, морской или дытской, съ голубой лентой около таліи, въ коротенькомъ, свътло-гороховомъ полупальто и въ полосатыхъ штанишкахъ... вышелъ за ворота. Онъ поднялъ скупо-сухіе, безжизненные глазаи, пожевывая тонкими губами, кивнулъ головой старушкѣ «по дружбѣ».
- Хотите я его позову? Нътъ, покорно благодарю... я не по этой части—видите бороду не брею... Прощайте. Да скажите, пожалуйста, ошибся я или нътъ, у monsieur Floriani красная ленточка.
  - Да, да, онъ очень много жертвовалъ!
  - Прекрасное сердце.

Въ классическія времена писатели любили сводить на томъ свътъ давно и недавно умершихъ за тъмъ, чтобъ они покалякали о томъ и о семъ. Въ нашъ реальный въкъ все на землъ и даже часть того свыта на этомъ свыть. Елисейскія поля растянулись въ Елисейскіе берега, Елисейскія взморья и разсыпались тамъ-сямъ по сърнымъ и теплымъ водамъ, у подножія горъ, на рамкахъ озеръ, они продаются акрами, обработываются подъ виноградъ... Часть умершаго въ треволненной жизни отправляетъ здъсь первый курсъ переселенія душь и гимназическій классь Чистилища.

Всякій человікь, прожившій літь пятьдесять, схорониль цілый міръ, даже два; съ его исчезновеніемъ онъ свыкся и привыкъ къ новымъ декораціямъ другого акта; вдругъ имена и лица давно умершаго времени являются чаще и чаще на его дорогъ, вызывая ряды твней и картинъ, гдв-то хранившихся, на всякій случай, въ безконечныхъ катакомбахъ памяти, заставляя то улыбнуться, то вздохнуть, иной разъ чуть не расплакаться...

Желающимъ, какъ Фаустъ, новидаться «съ матерями» и даже «съ отцами», ненужно никакихъ Мефистофелей, достаточно взять билеть на жельзной дорогь и вхать къ югу. Съ Канна п Грасса начиная, бродять грібющіяся тіни давно утекшаго времени; прижатыя къ морю, онъ, покойно сгорбившись, ждутъ Харона и свой чередъ.

На дорогъ этой Citta, не то чтобъ очень dolente, стоитъ при-

вратникомъ высокая, сгорбленная и величавая фигура лорда Брума. Послъ долгой, честной и исполненной безплоднаго труда жизни, онъ всъмъ существомъ и одной съдой бровью ниже другой выражаетъ часть Дантовской надписи: «Voi ch'entrate, съ мыслью домашними средствами поправить застарълое, историческое зло lasciate ogni speranza». Старикъ Брумъ, лучшій изъ ветхихъ деньми защитникъ несчастной королевы Каролины, другъ Роберта Оуэна, современникъ Каннинга и Байрона, послъдній, ненаписанный томъ Маколея, поставиль свою виллу между Грассомъ и Канномъ и очень хорошо сдълалъ. Кого было бы, какъ не его, поставить примиряющей вывъской въ преддверіи временнаго Чистилища, чтобъ не отстращать живыхъ?

За тёмъ мы еп реіп въ мір'в умолкшихъ теноровъ, потрясавшихъ наши восемнадцатил'єтнія груди л'єть тридиать тому назадъ, ножекъ, отъ которыхъ таяло и замирало наше сердце вм'єст'є съ сердцемъ ц'єлаго партера, ножекъ, оканчивающихъ теперь свою карьеру въ стоптанныхъ, собственноручно вязанныхъ изъ шерсти туфляхъ, пошлепывающихъ за горничной изъ безц'єльной ревности и по хозяйству изъ очень ц'єлесообразной скупости...

... И все-то это съ разными промежутками продолжается до самой Адріатики, до береговъ Комскаго озера и даже нъкоторыхъ нъмецкихъ водяныхъ пятенъ (Flecken). Здъсь villa Taglioni, тамъ Palazzo Rubini, тутъ Campagne Fanny Elsner и другихъ лицъ... du prétérit défini et du plus que parfait.

Возл'в актеровъ, сошедшихъ со сцены маленькаго театра, актеры самыхъ большихъ подмостковъ въ міръ, давно псключенные изъ афишъ и забытые, —они въ тиши доживаютъ вѣкъ Цпнпинатами и философами противъ воли. Рядомъ съ артистами, нъкогда отлично представлявшими царей, встръчаются цари, скверно разыгравшіе свою роль. Цари эти захватили съ собой, какъ индійскіе покойники, берущіе на тоть свъть своихъ жень, друхъ-трехъ преданныхъ министровъ, которые такъ усердно помогли имъ пасть и сами свадились съ ними. Въ ихъ числъ есть въщеносцы, освистанные при дебютъ и все еще ожидающее, что публика придеть къ больше справедливой оцѣнкѣ и опять позоветь ихъ. Есть и такіе, которымъ impressario историческаго театра не позволиль и дебютировать-мертворожденные, пиблоще вчера, но не имѣющіе ссгодня; ихъ біографія оканчивается до ихъ появленія на світь; ацтеки давно ниспровергнутаго закона престолонаслъдія, они остаются шевелящимися памятниками угасшихъ династій.

Далъе идуть генералы, внаменитые побъдами, одержанными надъ ними, тонкіе дипломаты, погубившіе свои страны, пгроки,

ногубившіе свое состояніе и сморщенныя, съдыя старухи, погубившія во время оно сердца этихъ дипломатовъ и этихъ игроковъ. Государственные фоссили, все еще понюхивающіе табакъ, такъ, какъ его нюхали у Поццо ди Борго, лорда Абердина и князя Эстергази, всиоминають съ «ископаемыми» красавицами временъ m-me Recamier залу Ливенши, юность Лаблаша, дебюты Малибранъ и дивятся, что Патти сибетъ послъ этого пъть... И въ то же время люди зеленаго сукна, прихрамывая и кряхтя, полурасшибленные нараличомъ, полузатопленные водяной, толкуютъ съ другими старушками о другихъ салонахъ и другихъ знаменитостяхъ, о смелыхъ ставкахъ, о графине Киселевой, о Гамбургской и Баденской рулеткъ, объ игръ покойнаго Сухозанета. о тъхъ натріархальныхъ временахъ, когда владътельные принцы нъменких водъ были въ доль съ содержателями игръ и опасный, среднев тковый грабежъ путешественниковъ перекладывали на мирное поприще банка и rouge on noir...

... И все это еще дышеть, еще движется, кто не на ногахъ, въ нерамбулаторъ, въ коляскъ, укрытой мъхомъ, кто опираясь вмъсто клюки на слугу, а иногда опираясь на клюку за неимъніемъ слуги. «Списки иностранцевъ» похожи на старинные адресъкалендари, на клочья изорванныхъ газетъ «временъ наваринскихъ и покоренія Алжира».

Возић гаснущихъ звъздъ трехъ первыхъ классовъ сохраняются другія кометы и свътила, занимавшія собою льтъ тридцать тому назадъ праздное и жадное любопытство, по особому кровавому сладострастью, съ которымъ люди слъдять за процессами, ведущими отъ труповъ къ гильотинъ и отъ кучей золота на каторгу. Въ ихъ числъ разные освобожденные отъ суда за «неимъніемъ доказательствъ», отравители, фальшивые монетчики, люди, кончившіе курсъ нравственнаго леченія гдъ-нибудь въ центральной тюрьмъ или колоніяхъ, «контюмасы» и проч.

Всего меньше встръчаются въ этихъ теплыхъ чистилищахъ тъни людей, всилывшихъ середь революціонныхъ бурь и неудавшихся народныхъ движеній. Мрачные п озлобленные горцы якобинскихъ вершинъ предпочитаютъ суровую бизу, угрюмые лакедемоняне, оня скрываются за лондонскими туманами...

## II. Съ этого.

Τ.

Живые цвъты-Послъдняя могиканка.

— Побдемте на bal de l'Opera, теперь самая нора, половина А. н. Герцевъ, т. ш. второго,—сказаль я, вставая изъ-за стола въ небольшомъ кабинетъ Café Anglais, одному русскому художнику, всегда кашлявшему и никогда вполнъ не протрезвлявшемуся. Мнъ хотълось на воздухъ, на шумъ и къ тому же я побаивался длиннаго tête à tête съ моимъ невскимъ Клодъ Лорреномъ.

— Побдемте, сказаль онъ, и налиль себъеще рюмку коньяку. Это было въ началъ 1849 года, въ минуту ложнаго выздоровленья между двухъ болъзней, когда еще хотълось, или казалось,

что хотълось, иногда дурачества и веселья.

... Побродивши по оперной залъ, мы остановились передъ особенно красивой кадрилью напудренных дебардеровъ съ намазанными мъломъ Пьерро. Всъ четыре дъвушки очень молодыя, льть 18-19, были милы и граціозны, плясали и тъщились отъ всей души, незамътно переходя отъ кадрили въ канканъ. Не успъли мы довольно налюбоваться, какъ вдругъ кадриль разстроился «по обстоятельствамъ, не завиствшимъ отъ танцовавшихъ», какъ выражались у насъ журналисты въ счастливыя времена цензуры. Одна изъ танцовщицъ, и, увы, самая красивая, такъ ловко, или такъ неловко, опустила плечо, что рубашка спустилась, открывая половину груди и часть спины, немного больше того, какъ дълають англичанки, особенно пожилыя, которымъ нечёмъ взять кромё плечей, на самыхъ чопорныхъ раутахъ и въ самыхъ видныхъ ложахъ Ковенгардена (вслёдствіе чего во второмъ яруст решительно нетъ возможности съ достодолжнымъ цъломудріемъ слушать Casta diva или Sul salice).

Едва я усиблъ сказать простуженному художнику: «давайтека сюда Буонаротти, Тиціана, берите вашу кисть, а то она поправится», какъ огромная черная рука, не Буонаротти и не Тиціана, а gardien de Paris схватила ее за вороть, рванула вонъ изъ кадриля и потащила съ собой. Дѣвушка уппралась, не шла, какъ дѣлаютъ дѣти, когда ихъ собираются мыть въ холодной водѣ, но человѣческая справедливость и порядокъ взяли верхъ и были удовлетворены. Другія танцовщицы и ихъ Пьерро переглянулись, нашли свѣжаго дебардера и снова начали подпимать ноги выше головы и отпрядывать другъ отъ друга для того, чтобъ еще яростиѣе наступать, не обративъ почти никакого вниманія на похи-

щеніе Прозерпины.

— Пойдемте посмотръть, что полицейскій сдълаеть съ ней, сказаль я моему товарищу.—Я замътиль дверь, въ которую онъ ее повель.

Мы спустились по боковой лъстницъ внизъ. Кто видълъ и помнитъ бронзовую собаку, внимательно и съ нъкоторымъ волненіемъ смотрящую на черепаху, тотъ легко представитъ себъ сцену, которую мы нашли. Несчастная дъвушка въ своемъ лег-

комъ костюмѣ сидѣла на каменной ступенькѣ и на сквозномъ вѣтру, заливаясь слезами; передъ ней сухопарый, высокій муниципалъ, съ хищнымъ и серьезно глупымъ видомъ, съ запятой изъ волосъ на подбородкѣ, съ полусѣдыми усами и во всей формѣ. Онъ съ достоинствомъ стоялъ, сложивъ руки, и пристально смотрѣлъ, чѣмъ кончится этотъ илачъ, приговаривая:

- Allons, allons!

Для довершенія удара, дівушка сквозь слезы и хныканье говорила:

— ... Et... et on dit... on dit que... que... nous sommes en République... et... on ne peut danscr comme l'on veut!..

Все это было такъ смъщно и такъ въ самомъ дѣлѣ жалко, что я рѣшился идти на выручку военноплѣнной и на спасеніе въ ея глазахъ чести республиканской формы правленія.

- Mon brave, сказалъ я съ разсчитанной учтивостью и вкрадчивостью полицейскому, что вы сдёлаете съ mademoiselle?
- Посажу au violon до завтрашняго дня, отвъчаль онъ сурово.

Стенанья увеличиваются.

- Научится, какъ рубашку скидывать,—прибавиль блюститель порядка и общественной нравственности.
  - Это было несчастье, Brigadier, вы бы ее простили.
  - Нельзя. La consigne.
  - Дъло праздничное...
  - Да вамъ что за забота; Etes-vous son réciproque?
- Первый разъ отроду вижу, parole d'honneur! имени не знаю, спросите се сами. Мы иностранцы и насъ удивило, что въ Парижѣ такъ строго поступають съ слабой дѣвушкой, avec un être frèle. У насъ думаютъ, что здѣсь полиція такая добрая... И зачѣмъ позволяютъ вообще канканировать, а если позволяютъ, г. бригадиръ, тутъ иной разъ по неволѣ, или нога подвимется слишкомъ высоко, или воротъ опустится слишкомъ низко.
- Это-то, пожалуй, и такъ, зам'тилъ пораженный моимъ красноръчіемъ муниципалъ, а главное задътый моимъ зам'ъчаніемъ, что иностранцы имъютъ такое лестное мнъніе о парижской полиціи.
- Къ тому-же, сказалъ я, посмотрите, что вы дѣлаете. Вы ее простудите,—какъ же изъ душной залы полуголое дитя посадить на сквозной вѣтеръ.
- Она сама не идетъ. Ну, да вотъ что: если вы дадите миъ честное слово, что она въ залу сегодня не взойдетъ, я ее отпущу.
- Браво! впрочемъ, я меньше и не ожидалъ отъ г. бригадира; я васъ благодарю отъ всей души.

Пришлось пуститься въ переговоры съ освобожденной жертвой.
— Извините, что, не имъ́я удовольствія быть съ вами знакомымь лично, вступился за васъ.

Она протянула мнъ горячую мокрую рученку и смотръла на

меня еще больше мокрыми и горячими глазами.

— Вы слышали, въ чемъ дъло? Я не могу за васъ поручиться, если вы мнъ не дадите слова, или, лучше, если вы не уъдете ссйчасъ. Въ сущности жертва не велика, я полагаю теперь часа три съ половиной.

— Я готова, я пойду за мантильей.

— Нътъ—сказалъ неумолимый блюститель порядка—отсюда ни шагу.

— Гдъ ваша мантилья и шлянка?

— Въ ложъ-такой-то, N°-въ такомъ-то ряду.

Артистъ бросился было, но остановился съ вопросомъ: «да какъ-же мнъ отдадутъ?»

- Скажите только, что было, и то, что вы отъ *Леонтины-ма- ленькой*... Вотъ и балъ!—прибавила она съ тъмъ видомъ, съ которымъ на кладбищъ говорятъ: «Спи спокойно».
  - Хотите, чтобъ я привелъ фіакръ?

— Я не одна. — Съ къмъ-же?

— Съ однимъ другомъ.

Артистъ возвратился окончательно распростуженный съ шляпой, мантильей и какимъ-то молодымъ лавочинкомъ или commis-

voyageur.

— Очень обязань, сказаль онъ мнѣ, потрогивая шляну, потомъ ей:—всегда надѣлаешь исторій! Онъ почти также грубо схватиль ее подъ руку, какъ полицейскій за вороть, и исчезъ въ большихъ сѣняхъ оперы... Бѣдная... достанется ей... и что за вкусъ... она... и онъ!

Даже досадно стало. Я предложилъ художнику вышить, — онъ

не отказался.

Прошелъ мѣсяцъ. Мы сговорились человѣкъ иять: Вѣнскій агитаторъ Таузенау, генералъ Г., Миллеръ С. и еще одинъ господинъ ѣхатъ другой разъ на балъ. Ни Г., ни Миллеръ ни разу не были. Мы стояли въ кучкѣ. Вдругъ какая-то маска продирается, продирается и прямо ко миѣ, чуть не бросается на шею и говоритъ:

— Я васъ не успъла тогда поблагодарить...

— Ah, mademoiselle Léontine... очень, очень радъ, что васъ встрътилъ, я такъ и вижу передъ собой ваше заилаканное личико, ваши надутыя губки,—вы были ужасно милы; это не значитъ, что вы теперь не милы.

Плутовка, улыбаясь, смотрёла на меня, зная, что это правда.

— Неужели вы не простудились тогда?

- Ни мало.
- Въ воспоминанье вашего плѣна, вы должны были бы... если бы вы были очень, очень любезны...
  - Hy что-же? Soyez bref.
  - Должны бы отужинать съ нами.
  - -- Съ удовольствіемъ, ma parole, но только не теперь.
  - Гдѣ же я васъ сыщу?
- Не безпокойтесь, я васъ сама сыщу, ровно въ четыре. Да вотъ что, я здёсь не одна...
- Опять съ вашимъ другомъ,—и мурашки пробъжали у меня по спинъ.

Она расхохоталась.

- Онъ не очень опасенъ и она подвела ко мнѣ дѣвочку лътъ семнадцати, свътло-бѣлокурую, съ голубыми глазами.
  - Воть мой другь.

Я пригласиль и ее.

Въ четыре Леонтина подбъжала ко мнъ, подала руку и мы отправились въ Саfé Riche. Какъ ни близко это отъ Оперы, но по дорогъ Г. усиълъ влюбиться въ Мадонну Андрея Del Sarto, то есть, въ блондинку. И за первымъ блюдомъ, послъ длинныхъ и курьезныхъ фразъ о тинторетовской прелести ея волосъ и глазъ, Г., только что мы усълись за столъ, началъ проповъдь о томъ, какъ съ лицомъ Мадонны и выраженіемъ чистаго ангела не эстетично танцовать канканъ.

- Armes, holdes Kind! добавиль онь, обращаясь ко всемь.
- Зачѣмъ вашъ другъ, сказала мнѣ Леонтина на ухо, говоритъ такой скучный fatras?—да и зачѣмъ вообще онъ ѣздитъ на оперные балы,—ему бы ходить въ Мадлену.
  - Онъ нюмецъ, у нихъ ужъ такая болъзнь, шепнуль я ей.
- Mais c'est qu'il est ennuyeux votre ami avec son mal de sermont. Mon petit saint finira-tu donc bientôt?

И въ ожиданіи конца проповѣди, усталая Леонтина бросилась на кушетку. Противъ нея было большое зеркало, она безпрестанно смотрѣлась и не выдержала, она указала мнѣ пальцемъ на себя въ зеркалѣ и сказала:

— A что, въ этой растренавшейся прическъ, въ этомъ смятомъ костюмъ, въ этой позъ я и въ самомъ дълъ будто не дурна.

Сказавши это, она вдругь опустила глаза и покраснѣла, покраснѣла откровенно, до ушей. Чтобъ скрыть, она запѣла извѣстную пѣсню, которую Гейне изуродовалъ въ своемъ переводѣ и которая страшна въ своей безыскусственной простотѣ:

Et je mourrai dans mon hôtel, Ou à l'Hôtel-Dieu.

Странное существо, неуловимое, живое. «Лацерта» гётевскихъ элегій, дитя въ какомъ-то безсознательномъ чаду. Она дъйствительно, какъ ящерица, не могла ни одной минуты спокойно сидъть, да и молчать не могла. Когда нечего было сказать, она пъла, дълала гримасы передъ зеркаломъ, и все съ непринужденностью ребенка и съ граціей женщины. Ея frivolité была наивна. Случайно завертъвшись, она еще кружилась... неслась... того толчка, который бы остановилъ на краю или окончательно толкнулъ ее въ пропасть, еще не было. Она довольно сдълала дороги, но воротиться могла. Ее въ силахъ были спасти свътлый умъ п

врожденная грація.

Этотъ типъ, этотъ кругъ, эта среда не существуютъ больше. Это la petite femme студента былыхъ временъ, гризетка, переъхавшая изъ латинскаго квартала по сю сторону Сены, равно не дылающая несчастного тротуара и не имъющая прочного общественнаго положенія камеліи. Этоть типь не существуєть, такъ, какъ не существуетъ конверсацій около камина, чтеній за круглымъ столомъ, болтанья за чаемъ. Другія формы, другіе звуки, другіе люди, другія слова... Туть своя скала, свое сгеcsendo. Шаловливый, нъсколько распущенный элементъ тридцатыхъ годовъ—du leste, de l'espièglerie—перешелъ въ шикъ, въ немъ быль каенскій перець, но еще оставалась кипучая, растрепанная грація, оставались остроты и умъ. Съ увеличеніемъ ділъ, коммерція отбросила все излишнее и встить внутреннимъ пожертвовала выставкъ, эталажу. Типъ Леонтины—разбитной парижской gamine, подвижьой, умной, избалованной, пскрящейся, вольной и въ случав надобности гордой-не требуется, и шикъ перешелъ въ собаку. Для бульварнаго Ловласа нужна женщипасобака и пуще всего собака, им'вющая своего хозяпна. Оно экономнъе и безкорыстите, съ ней онъ можетъ охотиться на чужой счеть, уплачивая одни extra. «Parbleu, говориль мит старикъ, котораго лучшіе годы совпадали съ началомъ царствованія Людовика Филиппа, је не me retrouve plus—où est le fion, le chique, où est l'esprit?... Tout cela, monsieur... ne parle pas, monsieur,-c'est bon, c'est beau welbredet, mais... c'est de la charcuterie... c'est du Rubens».

Это мив напоминаеть, какъ въ изтидесятыхъ годахъ добрый, милый Таляндье, съ досадой влюбленнаго на свою Францію, объясняль мив съ музыкальной иллюстраціей ея паденіе. «Когда, говорилъ онъ, мы были велики, въ первые дни послів февральской революціп, греміла одна марсельеза—въ кафе, на улицахъ,

въ процессіяхъ—все марсельеза. Во всякомъ театрѣ была своя марсельеза, гдѣ съ пушками, гдѣ съ Рашелью. Когда пошло плоше и тише... монотонные звуки Mourir pour la patrie замѣнили ее. Это еще ничего, мы падали глубже... Un sous-lieutenant accablé de besogne... drin, drin, din, din, din... эту дрянь пѣлъ весь городъ, столица міра, вся Франція. Это не конецъ, вслѣдъ за тѣмъ мы заиграли п запѣли Partant pour la Syrie—вверху и Qu'aime donc Margot... Магдоё—впизу, т. е., безсмыслицу и непристойность. Дальше идти нельзя».

Можно! Таляндье не предвидѣть ни Je suis la femme à barbe, ни Сапера,—онъ еще остался въ шикк и до собаки не доходилъ.

Недосужій, мясной разврать взять верхь надъ всіми фіоритурами. Тіло побідило духь и, какь я сказаль еще десять літь тому назадь, Марго, la fille de marbre, вытіснила Лизетту Беранже и всіхъ Леонтинь въ мірів. У нихь была своя гуманность, своя поэзія, свои понятія чести. Оні любили шумь и зрізлища больше вина и ужина, и ужинъ любили больше изъ за постановки, свізчей, конфеть, цвітовъ. Безъ танца и бала, безъ хохота и болтовни онів не могли существовать. Въ самомъ пышномь гаремів онів заглохли бы, завяли бы въ годъ. Ихъ высшая представительница была Дежазе—на большой сценів світа и на маленькой théâtre des Varietés: живая пісня Беранже, притча Вольтера, молодая въ сорокъ літь, Дежазе, мінявшая поклонниковъ какъ почетный карауль, капризно отвергавшая свертки золота и отдававшаяся встрічному, чтобъ выручить свою пріятельницу изъ бізды.

Нынче все опрощено, сокращено, все ближе къ цкли, какъ говорили встарь помѣщики, предпочитавшіе водку вину. Женщина съ фіономъ интриговала, занимала; женщина съ шикомъ жалила, смѣшила,—и обѣ, сверхъ денегъ, брали время. Собака сразу бросается на свою жертву, кусаетъ своей красотой и тащитъ за полу sans phrase. Тутъ нѣтъ предисловій,—тутъ въ началѣ эпилогъ. Даже благодаря попечительному начальству и факультету, нѣтъ двухъ прежнихъ опасностей. Полиція и медицина сдѣлали большіе успѣхи въ послѣднее время.

... А что будеть послѣ собаки? Pieuvre Гюго рѣшительно не удалась, можеть оттого, что слишкомъ похожа на pleutre,—не остановиться же на собакѣ. Впрочемъ, оставимъ пророчества. Судьбы Провилѣнія неисповѣдимы:

Меня занимаеть другое.

Которое-то изъ двухъ будущихъ Касандриной пѣсни исполнилось надъ Леонтиной? Что, ел нѣкогда граціозная головка покоится ли на подушкѣ, общитой кружевами, въ своемъ отелѣ, или она склонилась на жесткій, больничный валекъ, для того, чтобъ

уснуть на въки, или проснуться на горе и бъдность. А, можетъ, не случилось ни того, ни другого и она хлопочетъ, чтобъ дочь выдать замужъ, копитъ деньги, чтобъ купить подставного сыну... Въдь, она ужъ не молода теперь, и не бось давно перегнула за тридцать.

### II.

## Махровые цвѣты.

Въ нашей Европъ повторялось въ уменьшенномъ по количеству и въ увеличенномъ или искаженномъ по качеству видъ все, что дълалось въ Европъ европейской. У насъ были ультра-католики изъ православныхъ, либеральные буржуа изъ графовъ, императорские роялисты, канцелярские демократы и лейбъ-гварди преображенские или конногвардейские бонапартисты. Мудрено-ли, что и по дамской части не обошлось безъ своихъ спідие и спіеп. Съ той разницей, что нашъ demi monde быль одинъ съ четвертью.

Наши Травіаты и Камеліи большей частью титулярныя, т. е., почетныя, растуть совеймь на другой почей и цейтуть въ другихъ сферахъ, чёмъ ихъ нарижскіе первообразы. Ихъ надобно искать не внизу, не долу, а на вершинахъ. Он'й не поднимаются какъ туманъ, а опускаются какъ роса. Княгиня-Камелія и Травіата съ тамбовскимъ или воронежскимъ им'йніемъ—явленіе чи-

сто русское и я не прочь его похвалить.

Что касается до нашей не-Европы, ея нравы много были спасены крѣпостнымъ правомъ, на которое теперь такъ много клевещуть. Любовь была печальна въ деревнѣ, она своего кровнаго называла «болѣзнымъ», словно чувствуя за собой, что она краденая у барина и онъ можетъ всегда хватиться своего добра и отобрать его. Деревня ставила на господскій дворъ дрова, сѣно, барановъ и своихъ дочерей по обязанности. Это былъ долгъ, служба, отъ которой отказываться нельзя было, не дѣлая преступленія противъ нравственности и не навлекая на себя розогъ помѣщика. Тутъ было не до шику, а пногда до топора, чаще до рѣки, въ которой гибла никѣмъ не замѣченная Палашка или Лушка.

Что сталось послё освобожденія, мы мало знаемъ, и потому больше держимся барынь. Онё дёйствительно за границей мастерски усвоивають себё и съ чрезвычайной быстротой и ловкостью всё ухватки, весь habitus лоретокъ. Только при тщатель-

номъ разсматриваніи зам'ячается, что чего-то не достаеть. А не достаеть самой простой вещи—быть лореткой. Это все Петръ I, работающій молотомъ и долотомъ въ Саардам'я, воображая, что ділаетъ діло. Наши барыни изъ ума и праздности, отъ избытка и скуки шутять въ ремесло, такъ, какъ ихъ мужья играють въ токарный станокъ.

Этотъ характеръ ненужности, махровости мъняетъ дъло. Съ русской стороны чувствуется превосходная декорація, съ французской-правда и необходимость. Отсюда громадныя разницы. Травіату tout de bon бываеть часто душевно жаль, «dame aux perles» почти никогда; надъ одной подчасъ хочется плакать, надъ другой всегда сменться. Имен наследственных в две, три тысячи душъ, сперва въчно, нынъ временно раззоряемыхъ крестьянъ, многое можно-интриговать на игорныхъ водахъ, эксцентрически од ваться, лежа сид въ въ коляскъ, свистать, шумъть, дълать скандалы въ ресторанахъ, заставлять краситть мущинь, мтнять любовниковъ, ъздить съ ними на parties fines, на разныя «каллистеническія упражненія и конверсаціи», пить шампанское, курить гаванскія спгары и ставить пригоршни золота на «черное или красное»... можно быть Мессалиной,--но, какъ мы сказали, лореткой быть нельзя, несмотря на то, что лоретки не родятся, какъ поэты, а дълаются. У каждой лоретки своя исторія, свое посвященіе, втісненное обстоятельствами. Обыкновенно б'ядная дъвушка идетъ, не зная куда, и наталкивается на грубый обманъ, на грубую обиду. Отъ сломленной любви, отъ сломленнаго стыда у нея являются dépit, досада, своего рода жажда мести и съ тъмъ вмъстъ жажда опьяненья, шума, нарядовъ... кругомъ нужда... деньги только одними путемъ и можно достать, а потому,-vogue la galère. Обманутый ребенокъ безъ воспитанія вступаеть въ бой, побъды ее балують, завлекають (тъхь, которыя не побъдили, мы не знаемъ, тъ пропадаютъ безъ въстп), у ней въ памяти свои Маренго и Арколи-привычка владычества и пышности входитъ въ кровь. Она же всему обязана одной себъ. Начавъ съ одного своего тѣла, она тоже пріобрѣтаеть души и также раззоряеть временно привязанныхъ къ ней богачей, какъ наша барыня своихъ нищихъ мужиковъ.

Но въ этомъ *такънсе* и лежить вся непереходимая даль между лореткой по положенію и камеліей по дилетантизму. Та даль и та противоположность, которая такъ ярко выражается въ томъ, что лоретка, ужиная въ какомъ-нибудь душномъ кабинетъ Maison d'or, мечтаетъ о своемъ будущемъ салонъ,—а русская дама, сидя въ своемъ богатомъ салонъ, мечтаетъ о трактиръ.

Серьсзная сторона вопроса состоить въ томъ, чтобъ опредълить, откуда у насъ взялась въ дамскомъ обществъ эта потреб-

ность разгула и кутежа, потребность похвастаться своимъ освобожденіемъ, дерзко, капризно пренебречь общественнымъ мнтніемъ и сбросить съ себя всъ вуали и маски? И это въ то время, когда бабушки и матушки нашихъ львицъ, цъломудренныя и натріархальныя, краснёли до сорока лёть оть нескромнаго слова и довольствовались, тихо и скромно, тургеневскимь нахлёбникомъ, а за неимъніемъ его-кучеромъ или буфетчикомъ.

Зам'єтьте, что аристократическій камелизив у насъ не идеть

дальше начала сороковыхъ годовъ.

И все новое движеніе, вся возбужденность мысли, исканья,

недовольства, тоски идеть отъ того же времени.

Туть-то и раскрывается человъческая и историческая сторона аристократическаго камелизма. Это своего рода полусознанный протесть противъ старинной, давящей какъ свинецъ, семьи, противъ безобразнаго разврата мужчинъ. У загнанной женщины, у женщины, брошенной дома, былъ досугь читать, и когда она почувствовала, что «Домострой» плохо идеть съ Ж. Зандъ, и когда она наслушалась восторженныхъ разсказовъ о Бланшахъ и Селестинахъ, у нея терпънье лопнуло и она закусила удила. Ея протесть былъ дикъ, но, въдь, и положение было дико. Ея оппозиція не была формулирована, а бродила въ крови, — она была обижена. Она чувствовала униженье, подавленность, но самобытной воли внъ кутежа и чада не понимала. Она протестовала поведеніемъ, ея возмущеніе было полно избалованности и дурныхъ привычекъ, каприза, распущенности, кокетства, пногда несправедливости; она разнуздывалась, не освобождаясь. Въ ней оставался внутренній страхъ и неув' вренность, но ей хот клось дівлать на зло и попробовать этой другой жизни. Противъ узкаго своеволья притъснителей она ставила узкое своеволье лопнувшаго терпънья, безъ твердой направляющей мысли, по съ заносчивой отроческой бравадой. Какъ ракета, она мерцала, искрилась и падала съ шумомъ и трескомъ, но очень не глубоко. Вотъ вамъ исторія нашихъ Камелій съ гербомъ, нашихъ Травіать съ жемчугомъ.

Конечно, и тутъ можно вспомнить желчеваго Ростопчина, говорившаго на смертномъ одръ о 14 декабря: «У насъ все на изнанку, во Франціи la roture хотьла подняться до дворянства, ну, оно и понятно; у насъ дворяне хотять сделаться чернью, ну,

чепуха»!

Но намъ именно этотъ характеръ вовсе не кажется чепухой. Онъ идетъ очень послъдовательно изъ двухъ началъ: изъ чуждости образованія, которое вовсе для насъ не обязательно, и изъ основного тона другого общественнаго порядка, къ которому мы сознательно или безсознательно стремимся.

Впрочемъ, это принадлежитъ къ нашему катехизису, — и я

боюсь увлечься въ повторенія.

### III.

### Цвъты Минервы.

Эта фаланга—сама революція, суровая въ семнадцать лѣтъ... Огонь глазъ смягченъ очками, чтобъ дать волю одному свѣту ума... Sans crinolines идущія на замѣну Sans culot'амъ.

Дъвушка-студентъ, барышня-буршъ ничего не имъютъ общаго съ барынями-Травіатами. Вакханки посъдъли, оплъшивъли, состарълись и отступили, а студенты заняли ихъ мъсто, еще не вступивши въ совершеннолътіе. Камеліи и Травіаты салоновъ принадлежали николаевскому времени, такъ, какъ выставочные генералы того же времени, щеголи-шагисты, побъдители своихъ собственныхъ солдатъ, знавшіе всю туалетную часть военнаго дъла, все кокетство вахтпарадовъ, и не замаравшіе мундира непріятельской кровью. Публичныхъ генераловъ, рысисто «дълавшихъ тротуаръ» на Невскомъ, разомъ прихлопнула Крымская война. А «блескъ упонтельный бала», будуарная любовь и шумныя оргіи генеральшъ круго смънились академической аудиторіей, анатомической залой, въ которой подстриженный студентъ въ очкахъ изучалъ тайны природы.

Туть надобно забыть всё камелія и магноліи, забыть, что существують два пола. Передъ истиной науки, im Reiche der Wahr-

heit различія половъ стираются.

Камеліи наши—жиронда, оттого он' такъ и смахивають на Фобласа.

Студенты-барышни—якобинцы, Сенъ-Жюстъ въ амазонкъ,—все ръзко, чисто, безпощадно.

У Камелій маска Іопр изъ теплой Венеціи.

У студентовъ маска же, но маска изъ невскаго льда. Первая можетъ прилипнуть, вторая непремънно растаетъ... но это впереди.

Туть настоящій, сознательный протесть, протесть и переломь

Се n'est pas une émeute, c'est une révolution. Разгулъ, роскошь, глумленье, наряды отодвинуты. Любовь, страсть на третьемъ-четвертомъ планѣ. Афродита съ своимъ голымъ оруженосцемъ надулась и ушла; на ея мъсто Паллада съ копьемъ и совой. Камеліи шли отъ неопредъленнаго волненія, отъ негодованія, отъ несытаго и томнаго желанія... и доходили до пресыщенія. Здѣсь идуть отъ иден, въ которую върять, отъ объявленія «правъ женщины», и исполняють обязанности, налагаемыя върой. Однѣ отдаются по принципу, другія певърны по долгу. Иногда студенты уходять слишкомъ далеко, но все же остаются дѣтьми — непокорными, заносчивыми, но дѣтьми. Серьезность ихъ радикализма показываеть, что дѣло въ головѣ, въ теоріи, а не въ сердцѣ.

Онъ страстны въ общемъ и въ частную встръчу вносять не больше «патоса» (какъ говаривали встарь), какъ всякія Леонтины. Можетъ меньше. Леонтины играютъ, играютъ огнемъ и, очень часто вспыхнувъ съ ногъ до головы, спасаются отъ пожара въ Сенѣ; утянутыя жизнью, прежде всякихъ разсужденій, имъ ипой разъ трудно побъдить свое сердце. Наши бурши начинаютъ съ анализа, съ разбора; съ ними тоже многое можетъ случиться, по сюрпризовъ не будетъ, и паденій не будетъ; онъ падаютъ съ теоретическимъ парашютомъ. Онъ бросаются въ потокъ съ руководствомъ о плаваніи и намъренно плывутъ противъ теченія.

Долго ли проплывуть онъ à livre ouvert, я не знаю, но мъсто въ исторіи займуть по всей справедливости.

Самые недогадливъйшие въ міръ люди догадались объ этомъ. Старички наши, сенаторы и министры, отцы и дъдушки отечества съ улыбкой снисхожденья и даже поощренья смотръли на столбовыхъ камелій (если только онъ не были супругами ихъ сыновей)... но студенты имъ не понравились... ничего не похожи на «милыхъ шалуній», съ которыми они иногда любили языкомъ отогръть старое сердце.

Давно гнѣвались старички на суровыхъ нигилистокъ и искали случая ихъ подвести подъ сюркупъ.

Дъло не шуточное, принялись дружно. Совъть, сенать, синодъ, министры, архіереи, военноначальники, градоначальники и другія полиціи совъщались, думали, толковали и ръшили, во первыхъ, изгнать студентовъ женскаго пола изъ университетовъ.

Затёмъ совётъ, синодъ, сенатъ приказали въ 24 часа отростить стриженные волосы, отобрать очки и обязать подпиской имёть здоровые глаза и носить кринолины. Несмотря на то, что въ Кормчей книгѣ ничего не сказано о «обручеюбіи» и «подолоразверстіи», а волосы плести просто въ ней запрещено, черное духовенство согласилось.

Чрезвычайныя м'єры эти принесли огромную пользу, и это я говорю безъ малійшей проніи. Кому?

Нашимъ нигилисткамъ.

Имъ недоставало одного: сбросить мундиръ, формализмъ и развиваться съ той широкой свободой, на которую онт имтютъ большія права. Самому ужасно трудно, привыкнувъ къ формъ, ее отбросить. Платье прирастаетъ.

Студенты наши и бурши долго не отдёлались бы оть очковъ и прочихъ кокардъ. Ихт раздёли на казенный счетъ, прибавляя къ этой услуге ореолъ туалетнаго мученичества.

Затъмъ ихъ дъло плыть au large.

Р. S. Однѣ уже возвращаются съ блестящимъ дипломомъ доктора медицины, и слава имъ!

Ницца, лътомъ 1867.

# Venezia la bella.

(Февраль, 1867).

Великолѣпнѣе нелѣпости, какъ Венеція, нѣтъ. Построить городъ тамъ, гдѣ городъ построить нельзя, само по себѣ безуміе; но построить такъ одинъ изъ изящнѣйшихъ, грандіознѣйшихъ городовъ—геніальное безуміе. Вода, море, ихъ блескъ и мерцанье обязываютъ къ особой пышности. Моллюски отдѣлываютъ пер-

ламутромъ и жемчугомъ свои каюты.

Одипъ поверхностный взглядъ на Венецію показываеть, что это городъ крѣпкій волей, сильный умомъ, республиканскій, торговый, олигархическій, что это — узелъ, которымъ привязано чтото за водами, — торговый складъ подъ военнымъ флагомъ; городъ шумнаго вѣча и беззвучный городъ тайныхъ совѣщаній и мѣръ; на его площади толчется съ утра до ночи все населеніе, и, молча, текуть изъ него рѣки улицъ въ море. Пока толпа шумитъ и кричитъ на площади св. Марка, никѣмъ не замѣченная лодка скользитъ и пропадаетъ; кто знаетъ, что подъ ея чернымъ пологомъ? Какъ тутъ было не топить людей возпѣ любовныхъ свиданій?

Люди, чувствовавшіе себя дома въ Palazzo ducale, должны были им'єть своеобразный закалъ. Они не останавливались ни передъ чёмъ. Земли вётъ, деревьевъ нётъ, что за б'єда! давайте еще больше рёзныхъ каменьевъ, больше орнаментовъ, золота, мозаики, ваянья, картинъ, фресокъ. Тутъ остался пустой уголъ—худого бога морей съ длинной, мокрой бородой въ уголъ! Тутъ порожній уступъ—еще льва съ крыльями и съ Евангеліемъ св. Марка! Тамъ голо, пусто—коверъ изъ мрамора и мозаики туда! Кружева изъ порфира туда! Поб'єда ли надъ турками или Генуей, папа ли ищетъ дружбы города,—еще мрамору, цёлую стёну покрыть изс'єченной занав'єсью и, главное, еще картинъ. Навелъ Веронезе, Тинторетто, Тиціанъ—за кисть, на помостъ: каждый шагъ торжественнаго шествія морской красавицы долженъ быть записанъ потомству кистью и р'єзцомъ.

И такъ былъ живучъ духъ, обитавшій эти камни, что мало было новыхъ путей и новыхъ приморскихъ городовъ, Колумба и Васко-де-Гама, чтобъ сокрушить его. Для его гибели нужно было, чтобъ на развалинахъ французскаго трона явилась «единая и

нераздёльная» республика и на развалинахъ этой республики явился бы солдать, бросившій въ льва, но корсикански, стилеть, отравленный Австріей. Но Венеція переработала ядъ и снова оказывается живою черезъ полстольтіе.

Да живою-ли? Трудно сказать, что уцѣлѣло, кромѣ великой раковины, и есть ли новая будущность Венеціи... Да и въ чемъ будущность Италіи вообще? Для Венеціи, можетъ, она въ Константинополѣ, въ томъ вырѣзывающемся смутными очерками изъ-за восточнаго тумана свободномъ союзничествѣ воскресающихъ славяно-эллинскихъ народностей.

А для Италіи?.. Объ этомъ послѣ. Теперь въ Венеціи карнавалъ, первый карнавалъ на волѣ, послѣ семидесятилѣтняго плѣненія. Площадь превратилась въ залу парижской оперы. Старый св. Маркъ весело участвуетъ въ праздникѣ съ своей иконописью п позолотой, съ патріотическими знаменами и своими языческими лошадьми. Одни голуби, являющіеся всякій день въ два часа на площадь закусить, сконфужены и перелетаютъ съ карниза на карнизъ, чтобъ убѣдиться, точно ли ихъ столовая въ такомъ безпорядкѣ.

Толпа все растеть, le peuple s'amuse, дурачится отъ души, изъ всѣхъ силь, съ большимъ комическимъ талантомъ въ декламаціи и словахъ, въ выговорѣ и жестахъ, но безъ кантаридности парижскихъ Пьерро, безъ вульгарной шутки нѣмца, безъ нашей родной грязи. Отсутствіе всего неприличнаго удивляетъ, хотя смыслъ его ясенъ. Это—шалость, отдыхъ, забава цѣлаго народа, а не вахтиарадъ публичныхъ домовъ, ихъ сукурсалей, жительницамъ которыхъ, снимая многое другое, прибавляютъ маску, въ родѣ бисмарковой иголки, чтобъ усилить и сдѣлать неотразимѣе выстрѣлы. Здѣсь онѣ были бы неумѣстны; здѣсь тѣшится народъ, здѣсь тѣшится сестра, жена, дочь, и горе тому, кто оскорбитъ маску. Маска на время карнавала становится для женщины то, чѣмъ былъ Станиславъ въ петлицѣ для станціоннаго смотрителя 1).

Сначала карнавалъ оставлялъ меня въ покоѣ, но онъ все росъ и, при своей стихійной силѣ, долженъ былъ утянуть всякаго.

Мало ли какой вздоръ можеть случиться, когда пляска св. Витта овладъваеть цълымъ населеніемъ въ шутовскихъ костюмахъ. Въ большой залъ ресторана сидять сотни, можеть больше,

<sup>1)</sup> Годъ спустя я видѣлъ карпавалъ въ Нициѣ. Какая страшиая разница, не говоря о солдатахъ въ полномъ боевомъ вооруженія, ни жандармахъ, ни компссарахъ полиціи съ шарфами... сама масса народа, не туристовъ, дивила меня. Иънныя маски ругались и дрались съ людьми, стоявшими въ воротахъ, сильные тумаки сшибали въ грязь бѣлыхъ Пьерро.

лилово-бёлыхъ масокъ; онѣ проѣхали по площади на раззолоченомъ кораблѣ, который тащили быки (все сухопутное и четвероногое въ Венеціи рѣдкость и роскошь), теперь онѣ цьютъ и ѣдятъ. Одинъ изъ гостей предлагаетъ курьсзность и берется ее

достать, курьезность эта-я.

Господинъ, едва знакомый со мной, бѣжитъ ко мнѣ въ Albergo Danieri, умоляетъ, проситъ явиться съ нимъ на минуту къ маскамъ. Глупо идти, глупо ломаться, я иду. Меня встрѣчаютъ evviva и полные бокалы. Я раскланиваюсь, говорю вздоръ, evviva сильнѣе: одни кричатъ evviva l'amico di Garibaldi, другіе—роеta russo! Боясь, что лилово-бѣлые будутъ пить за меня, какъ за pittore Slavo, scultore e maestro, я ретируюсь на Piazza St. Marco.

На площади стѣна людей; я прислонился къ пилястрѣ, гордый титуломъ поэта; возлѣ меня стоялъ мой проводникъ, исполнившій mandat d'amener лилово-бѣлыхъ. «Боже мой, какъ она короша!» сорвалось у меня съ языка, когда очень молодая дама пробивалась сквозь толиу. Мой провожатый, не говоря худого слова, схватилъ меня п разомъ поставилъ передъ ней. «Это тотъ русскій», началъ мой польскій графъ. «Хотите вы миѣ дать руку послѣ этого слова?» перебилъ я его. Она, улыбаясь, протянула руку и сказала по-русски, что давно хотѣла меня видѣть, и такъ симпатически взглянула на меня, что я еще разъ пожаль ся руку и проводиль глазами, пока было видно.

Цвётокъ, сорванный ураганомъ, смытый кровыю съ своихъ литовскихъ полей, думалъ я, глядя ей вслёдъ, не своимъ теперь

свътитъ твоя красота.

Я сошелъ съ площади и поъхалъ встръчать Гарибальди. На водъ все было тихо... нестройно доносился шумъ карнавала. Строгія, насупившіяся массы домовъ тъснятся все ближе и ближе къ лодкъ, глядятъ на нее фонарями, у подъъзда всилескиваетъ правило, блеснетъ стальной крючекъ, прокричитъ лодочникъ: аргі—sia stale... и опять тихо вода утягиваетъ въ переулокъ, и вдругъ домы опять раздвигаются; мы въ Gran Canal'ъ... Fejovia Signoie, говоритъ гондольеръ, картавя, какъ картавитъ весь городъ. Гарибальди остался въ Болоньи и не прівзжалъ. Машина, вхавшая во Флоренцію, стонала въ ожиданіи свистка. У тавянской красавицы...

... Городъ принялъ Гарибальди блестящимъ образомъ. Gran Canal представлялъ почти сплошной мостъ; для того, чтобъ попасть въ нашу лодку, увзжая, намъ надобно было перейти черезъ десятки другихъ. Правительство и его кліенты сдълали все возможное, чтобъ показать, что дуются на Гарибальди. Если

принцу Амедею были приказаны его отцомъ всё мелкія неделикатности, вся подленькая шикировка, то отчего же у этого мальчика-итальянца не заговорило сердце, отчего онъ не примирилъ на минуту городъ съ королемъ и королевскаго сына съ совъстью? Въдь, Гарибальди имъ подарилъ двъ короны двухъ Сицилій!

Я нашелъ Гарибальди и не состаръвшимся, и не больнымъ, послѣ лондонскаго свиданія въ 1864. Но онъ былъ невеселъ, озабоченъ и не разговорчивъ съ венеціанцами, представлявшимися ему на другой день. Его настоящій хоръ-народныя массы; онъ ожилъ въ Кіоджіи, гдѣ его ждали лодочники и рыбаки; мѣшаясь въ толну, онъ говорилъ этимъ простымъ бъднякамъ: «Какъ мнъ съ вами хорошо и дома, какъ я чувствую, что родился отъ работниковъ и былъ работникомъ; несчастья нашей родины оторвали меня отъ мирныхъ занятій. Я также выросъ на берегу моря и знаю каждую работу вашу...» Стонъ восторга покрылъ слова бывшаго лодочника, народъ ринулся къ нему... «Дай имя моему новорожденному», кричала женщина; «благослови моего, п моего», кричали другія. Храбрый генералъ Ламармора и неутъшный вдовецъ Риказоли, со всёми вашими Шіаолами, Депретисами, вы ужъ отложите попечение разрушить эту связь, она затянута мужицкой, работничьей рукой и такой веревкой, которую вамъ не перетереть со встми тосканскими и сардинскими полмастерьями, со всёми вашими грошевыми Макіавелли.

Теперь воротимтесь къ вопросу: что ждетъ Италію впереди, какую будущность пмѣетъ она, обновленная, объединенная, независимая? Ту ли, которую проповѣдывалъ Маццини, ту ли, къ которой ведетъ Гарибальди... ну, хоть ту ли, которую осуществ-

лялъ Кавуръ?

Вопросъ этотъ отбрасываетъ насъ разомъ въ страшную даль, во всё тяжкія—самыхъ скорбныхъ и самыхъ спорныхъ предметовъ. Онъ прямо касается тёхъ внутреннихъ убъжденій, которыя легли въ основу нашей жизни и той борьбы, которая такъ часто раздвояетъ насъ съ друзьями, а пной разъ ставитъ на одну сторону съ противниками.

Я сомнъваюсь въ будущности латинскихъ народовъ, сомнъваюсь въ ихъ будущей илодотворности, имъ нравится процессъ переворотовъ, но тягостенъ добытый прогрессъ. Они любятъ рваться къ нему, не достигая.

Идеалъ итальянскаго освобожденія—бѣденъ; въ немъ опущенъ, съ одной стороны, существенный, животворный элементь, и какъ на зло, съ другой, оставленъ элементъ старый, тлетворный, умирающій и мертвящій. Итальянская революція была до сихъ поръбоемъ за независимость.

Конечно, если земной шаръ не дастъ трещины, или комета

не пройдетъ слишкомъ близко и не накалитъ нашей атмосферы, Италія и въ будущемъ будетъ Италіей, страной синяго неба и синяго моря, изящныхъ очертаній, прекрасной, симпатической породы людей, людей музыкальныхъ, художниковъ отъ природы. Конечно, и то, что весь этотъ военный и штатскій гетие темаде и слава и позоръ, и падшія границы и возникающія камеры, все это отразится въ ея жизни,—она изъ клерикально-деспотической сдълается (и дълается) буржуазно-парламентской, изъ дешевой—дорогой, изъ неудобной—удобной и пр., и пр. Но этого мало и съ этимъ еще далеко не уйдеть. Не дуренъ и другой берегъ, который омываетъ то же синее море, не дурна и та доблестная и угрюмая порода людей, которая живетъ за Пиренеями; внъшняго врага у нея нътъ, камера есть, наружное единство есть... ну, что же при всемъ этомъ Испанія?

Народы живучи, въка могутъ они лежать *подъ паромъ* и снова, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, оказываются исполненными силъ и соковъ. Но тъми ли они возстаютъ, какъ были?

Сколько вѣковъ, я чуть не сказалъ тысячелѣтій, греческій народъ былъ стертъ съ лица земли, какъ государство, и все же онъ остался живъ и въ ту самую минуту, когда вся Европа угорала въ чаду реставрацій, Греція проснулась и встревожила весь міръ. Но греки Каподистріи были ли похожи на грековъ Перикла или на грековъ Византіи? Осталось одно имя и натянутое воспоминаніе. Обновиться можетъ и Италія, но тогда ей придется начать другую исторію. Ея освобожденіе только право на существованіе.

Примъръ Греціи очень идеть; онъ такъ далекъ отъ насъ, что меньше возбуждаеть страстей. Греція Авинская, Македонская, лишенная независимости Римомъ, является снова государственносамобытной въ Византійскій періодъ. Что же она дёлаеть въ немъ? Ничего или, хуже, богословскую контроверзу, серальные перевороты par anticipation. Турки помогають застрялой природф и придають блескъ зарева ея насильственной смерти. Древняя Греція изжила свою жизнь, когда римское владычество накрыло ее и спасло, какъ лава и пенелъ спасли Помпею и Геркуланумъ. Византійскій періодъ подняль гробовую крышу и мертвый остался мертвымъ, имъ завладъли поны и монахи, имъ распоряжались евнухи, совершенно на мъстъ, какъ представители безилодности. Кто не знаетъ разсказовъ о томъ, какъ крестоносцы были въ Византіи: въ образованіи, въ утонченности нравовъ не было сравненія, но эти дикіе латники, грубые буяны, были полны силы, отваги, стремленій, они шли впередъ, съ ними быль Богъ исторіи. Ему люди не по хорошу милы, а по коренастой силь и по своевременности ихъ à propos. Оттого-то читая скучныя лѣтописи, мы радуемся, когда съ сѣверныхъ снѣговъ скатываются варяги, илывутъ на какихъ-то скорлупахъ славяне, и клеймятъ своими щитами гордыя стѣны Византіи. Я ученикомъ не могъ нарадоваться на дикаря, въ рубахѣ, одиноко гребущаго свою комягу, отправляясь съ золотой серьгой въ ушахъ на свиданье съ извѣженнымъ, пышнымъ, книжнымъ императоромъ Цимисхіемъ.

Подумайте объ Византіи; пока наши славянофилы не пустили еще въ свътъ новой иконописной хроники и правительство не утвердило ее, она многое объяснить изъ того, что такъ тяжело сказать.

Византія могла *эсить*, но *дълать* ей было нечего; а исторію вообще только народы и занимають, пока они на сцень, т. е., по-ка они что-нибудь дълають.

... Помнится, я упоминаль объ отвътъ Томаса Карлейля мнъ, когда я ему говорилъ о строгостяхъ парижской цензуры: «Да что вы такъ на нее сердитесь», замътиль онъ, «заставляя французовъ молчать, Наполеонъ сдълаль имъ величайшее одолженіе, имъ нечего сказать, а говорить хочется... Наполеонъ даль имъ внъшнее оправданіе...» Я не говорю, насколько я согласенъ съ Карлейлемъ или нътъ, но спрашиваю себя: будетъ ли что Италіп сказать и сдълать на другой день послъ занятія Рима? П иной разъ, не прінскавъ отвъта, я начинаю желать, чтобъ Римъ остался еще надолго оживляющимъ desideratum'омъ.

До Рима все пойдеть не дурно, хватить и энергіи, и силы, лишь бы хватило денегъ... До Рима Италія многое вынесеть: и налоги, и піемонтское мѣстничество, и грабящую администрацію, и сварливую и докучную бюрократію; въ ожиданіи Рима все кажется неважнымъ; для того, чтобы имѣть его, можно стѣсниться, надобно стоять дружно. Римъ—черта границы, знамя, онъ передъ глазами, онъ мѣшаетъ спать, мѣшаетъ торговать, онъ поддерживаетъ лихорадку. Въ Римѣ все перемѣнится, все оборвется... тамъ кажется заключеніе, вѣнецъ; совсѣмъ нѣтъ, тамъ начало.

Народы, искупающіе свою независимость, никогда не знають, и это превосходно, что независимость сама по себѣ ничего не даеть, кромѣ правъ совершеннолѣтія, кромѣ мѣста между пэрами, кромѣ признанія гражданской способности совершать акты, п только.

Какой-же акто возвъстится намъ съ высоты Капитолія и Квиринала, что провозгласится міру на Римскомъ Форумь, или на томъ балконъ, съ котораго пана въка благословляль «вселенную и городъ»?

Провозгласить «независимость» sans phrase—мало. А другого ничего нъть... И мит подъ часъ кажется, что въ тоть день, когда

Гарибальди бросить свой ненужный больше мечь и надёнеть тогу virilis на плечи Италіи, ему останется всенародно обняться на берегахъ Тибра съ своимъ maestro Мациини и сказать съ нимъ вмъстъ: «Нынъ отпущаещи!»

Я это говорю за нихъ, а не противъ нихъ.

Будущность ихъ обезпечена, ихъ два имени станутъ высоко и свътло во всей Италіп отъ Фіуме до Мессины и будуть подыматься выше и выше во всей печальной Европъ, по мъръ исто-

рическаго пониженія и измельчанія ея людей.

Но врядъ пойдетъ ли Италія по программѣ великаго карбонаро п великаго воина; ихъ религія совершила чудеса, она разбудила мысль, она подняла мечъ, это труба, разбудившая спящихъ, знамя, съ которымъ Италія завоевала себя... Половина идеала Маццини исполнилась и именно потому, что другая часть далеко перехватывала черезъ возможное. Что Маццини теперь ужъ сталъ слабъе, въ этомъ его успъхъ и величіе; онъ сталъ бюднюе той частію своего идеала, которая перешла въ дъйствительность, это слабость послѣ родовъ. Въ виду берега, Колумбу стоило плыть, и нечего было употреблять всѣ силы своего неукротимаго духа. Мы въ нашемъ кругу испытали подобное... Гдѣ сила, которую придавала нашему слову борьба противъ крѣпостного права, противъ отсутствія всякаго суда, всякой гласности?

Римъ—Америка Мациини... Дальнъйшихъ зародышей viables въ его программъ нътъ, она была разсчитана на борьбу за един-

ство и Римъ.

— «А демократическая республика?»

Это та великая награда за гробомъ, которой напутствовались люди на дъянія и подвиги и въ которую горячо и искренно върили и проповъдники, и мученики...

Къ ней идетъ и теперь часть твердыхъ стариковъ, закаленныхъ сподвижниковъ Мацини, непреклонныхъ, не сдающихся, неподкупныхъ, неутомимыхъ каменщиковъ, которые вывели фундаменты новой Италіи и, когда недоставало цемента, давали на него свою кровь. Но много ли ихъ? И кто пойдетъ за ними?

Пока тройное ярмо нъмца, бурбона и папы давило шею Италіи, эти энергическіе монахи-воины ордена Маццини находили вездъ сочувствіе. Принчинессы и студенты, ювелиры и доктора, актеры и нопы, художники и адвокаты, все образованное въ мъщанствъ, все поднявшее голову между работниками, офицеры и солдаты, все тайно, явно было съ ними, работало для нихъ. Республики хотъли немногіе, независимости и единства—всъ. Независимости они добились, единство на французскій манеръ имъ опротивъло, республики они не хотятъ. Современный порядокъ дълъ во многомъ итальянцамъ по плечу, имъ туда же хочется представ-

лять «сильную и величественную» фигуру въ сонив европейскихъ государствъ и, найдя эту bella e grande figura въ Викторъ Эмануилъ, они держатся за него 1).

Представительная система въ ея континентальномъ развитіи дъйствительно всего лучше идеть, когда нътъ ничего яснаго въ головъ, или ничего возможнаго на дълъ. Это великое покамисти, которое перетираетъ углы и крайности объихъ сторонъ въ муку и выигрываетъ время. Этимъ жерновомъ частъ Европы прошла, другая пройдетъ. Чего Египетъ? и тотъ въъхалъ на верблюдахъ въ представительную мельницу, подгоняемый арапникомъ.

Я не виню ни большинство, илохо приготовленное, усталое, трусоватое, еще больше не виню массы, такъ долго оставленныя на воспитаніи клерикаловъ, я не виню даже правительство: да и какъ же его винить за ограниченность, за неумѣнье, за недостатокъ порыва, поэзіи, такта. Оно родилось въ Кариньянскомъ дворцѣ, среди ржавыхъ готическихъ мечей, пудренныхъ старинныхъ париковъ и накрахмаленнаго этикета маленькихъ дворовъ съ огромными притязаніями.

Любви оно не вселило къ себъ, совсъмъ напротивъ, но отъ этого оно не слабже стало. Я былъ удивленъ въ 1863 общей нелюбовью въ Неаполъ къ правительству. Въ 1867 въ Венеціи я видълъ безъ малъйшаго удивленія, что, черезъ три мъсяца послъ освобожденія, его терпъть не могли. Но при этомъ я еще яснъе увидълъ, что бояться ему нечего, если оно само не надъластъ ряда колоссальныхъ глупостей, хотя и онъ ему сходятъ съ рукъ необыкновенно легко.

Примъръ того и другого передъ глазами, я его приведу въ нъсколькихъ строкахъ.

Къ разнымъ каламбурамъ, которыми правительства иногда удостоивають отводить народамъ глаза, въ родѣ: «Prisonniers de la раіх» Людовика Филиппа, «Имперія—миръ» Людовика Наполеона, Риказоли прибавилъ свой,—и законъ, которымъ закрюплялъ большую часть достоянія духовенству, назвалъ закономъ «о свободю (пли независимости) черкви въ свободномъ государствю». Всѣ недоросли либерализма, всѣ люди, не идущіе дальше заглавія,

<sup>1)</sup> Одинь мильйшій венгерець, графь С. Т., служившій потомь въ Италін кавалерійскимь полковникомь, смѣясь какъ-то надъ мишурной роскошью флорентійскихь щеголей, сказаль мнѣ: "Помните бѣгь въ Москвѣ или гулявье... глупо, но имѣетъ характерь: кучеръ налить виномь, шанка на бекрень, лошади въ иѣсколько тысячь рублей, и баринъ замираеть въ блаженствѣ и соболяхь. А тутъ тощій графъ какой-нибудь заложитъ чахлыхъ клячь, съ тикомъ въ ногахъ, прядущихъ головой, и тотъ же неуклюжій, худенькой Жакопо, который у него садовникъ и поваръ, сидить на козлахъ, дергаетъ возжи, одѣтый въ ливрею не по мѣркѣ, а графъ проситъ его: Жакопо, Жакопо, fate una grande e bella figura. Я прошу у графа Т. ссудить меня этимъ выраженіемъ.

обрадовались. Министерство, скрывая улыбку, торжествовало побёду; сдёлка была явнымъ образомъ выгодна духовенству. Явился бельгійскій грешникъ и мытарь, за котораго спрятались отцы ісзуиты. Онъ привезъ съ собой груды золота, цветъ котораго въ Италіи давно не видали, и предлагалъ большую сумму правительству съ темъ, чтобъ обезпечить духовенству законное владеніе именіями, выпытанными на духу, набранными у умирающихъ преступниковъ и всякихъ нищихъ духомъ.

Правительство видёло одно—деньги; дураки—другое: американскую свободу церкви въ свободномъ государствъ. Теперь же въ модъ прикидывать европейскія учрежденія на американскій ярдъ. Герцогъ Персиньи находитъ неумъренное сходство между

второй имперіей и нервой республикой нашего времени.

Однако какъ ни хитрили Риказоли и Шіаола, камера, составленная очень пестро и посредственно, стала понимать, что игра была подтасована п подтасована безъ нея. Банкиръ прикидывался импрессаріемъ и старался скупать птальянскіе голоса, но на этотъ разъ дѣло было въ февралѣ, камера охрипла. Въ Неапол'в подняли ропоть, въ Венеціи созвали сходку въ театръ Малибранъ для протеста. Риказоли велёлъ запереть театръ и поставить часовыхъ. Безъ сомнънія, изъ всъхъ промаховъ, которые можно было сдълать, нельзя было ничего придумать глупъе. Венеція, только что освобожденная, хотьла воспользоваться оппозиціоннымъ правомъ и была полицейски подрѣзана. Собпраться для празднованія короля и подносить букеты al gran comendatore Ламармора ничего не значить. Если-бъ венеціанцы хотъли дълать сходки для празднованія австрійскихъ архидюковъ, имъ, конечно, позволили бы. Опасности сходка въ театръ Малибранъ не представляла никакой.

Камера встрененулась и спросила отчета. Риказоли отвѣчалъ дерзко, высокомѣрно, какъ подобаетъ послѣднему представителю Рауля-Синей бороды, средневѣковому графу и феодалу. Камера, «увѣренная, что министерство не желаетъ уменьшить право сходокъ», хотѣла перейти къ очереди. Рауль, взбѣшенный уже тѣмъ, что его законъ «о свободѣ церкви», въ которомъ онъ не сомнѣвался, сталъ проваливаться въ комптетахъ, объявилъ, что онъ не можетъ принять ordre du jour motivé. Обиженная камера вотировала противъ него. За такую продерзость онъ на другой день отсрочилъ камеру, на третій распустилъ, на четвертый думалъ еще о какой-то крутой мѣрѣ, но, говорятъ, Чальдини сказалъ королю, что на войско разсчитывать трудно.

Бывали примъры, что правительства, зарапортовавшись, пріискивали дѣльный предлогь, чтобъ сдѣлать гадость или скрыть ее, а эти господа сыскали самый нелѣпый предлогь, чтобъ засвидътельствовать свое пораженіе. Если правительство будеть дальше и рѣзче идти этимъ путемъ, можеть, оно и сломить себѣ шею; разсчитывать, предвидѣть можно только то, что сколько-нибудь покорно разуму; всемогущество безумія не имѣетъ границъ, хотя и имѣетъ почти всегда возлѣ какого-нибудь Чальдини, который въ опасную минуту выльетъ шайку холодной воды на голову.

А если Италія вживется въ этотъ порядокъ, сложится въ немъ, она его не вынесетъ безнаказанно. Такого призрачнаго міра лжи и пустыхъ словъ, фразъ безъ содержанія трудно переработать народу менње бывалому, чёмъ французы. У Франціп все не въ самомъ дим, но все есть, хоть для вида и показа; она какъ старики, впавшіе въ дітство, увлекается игрушками; подъ часъ и догадывается, что ея лошади деревянныя, но хочеть обманываться. Италія не совладаеть съ этими тёнями китайскаго фонаря, съ лунной независимостью, освъщаемой въ три четверти тюльерійскимъ солнцемъ, съ церковью, презпраемой и ненавидимой, за которой ухаживають, какь за безумной бабушкой въ ожидании ея скорой смерти. Картофельное тъсто парламентаризма и риторика камеръ не дасть итальянцу здоровья. Его забьеть, сведеть съ ума эта мнимая пища и не въ самомъ дълъ борьба. А другого ничего не готовится. Что же дёлать? гдё выходъ? Не знаю, развъ въ томъ, что, провозгласивши въ Римъ единство Италіи, вслъдъ за тъмъ провозгласить ея распадение на самобытныя, самозаконныя части, едва связанныя между собой. Въ десяти живыхъ узлахъ можетъ больше выработаться, если есть чему вырабатываться, оно же и совершенно въ духѣ Италіи.

...Середь этихъ разсужденій мив попалась брошюра Кине: «Франція и Германія»; я ей ужасно обрадовался, не то чтобъ я особенно зависвлъ отъ сужденій знаменитаго историка-мыслителя, котораго лично очень уважаю, но я обрадовался не за себя.

Въ старые годы въ Петербургъ одинъ пріятель, извъстный своимъ юморомъ, найдя у меня на столѣ книгу берлинскаго Мишле «о безсмертій духа», оставилъ мнѣ записочку слѣдующаго содержанія: «Любезный другъ, когда ты прочтешь эту книгу, потрудись сообщить мнѣ вкратцѣ, есть безсмертіе души или нѣтъ. Мнѣ все равно, но желалъ бы знать для «успокоенія родственниковъ». Вотъ для родственниковъ-то и я радъ тому, что встрѣтился съ Кине. Наши друзья до сихъ поръ, несмотря на заносчивую позу, которую многіе изъ нихъ приняли относительно европейскихъ авторитетовъ, ихъ больше слушаютъ, чѣмъ своего брата. Оттогото я и старался, когда могъ, ставить свою мысль подъ покровительство европейской нянюшки. Ухватившись за Прудона, я говорилъ, что у дверей Франціи не Катилина, а смерть; держась за полу Стюарта Милля, я твердиль объ англійскомъ китаизмѣ и

очень доволенъ, что могу взять за руку Кине и сказать: «Воть и почтенный другъ мой Кине говоритъ въ 1867 о латинской Европъ то, что я говорилъ обо всей въ 1847 и во всѣ послъдующіе».

Кине съ ужасомъ и грустью видить пониженіе Франціп, размятченіе ея мозга, ея омельчаніе. Причины онъ не понимаеть, ищеть ее въ отклоненіи Франціи отъ началь 1789 года, въ потерѣ политической свободы и потому въ его словахъ изъ-за печали сквозитъ скрытая надежда на выздоровленіе возвращеніемъ къ серьезному парламентскому режиму, къ великимъ принцинамъ революціи.

Кине не замѣчаетъ, что великія начала, о которыхъ онъ говоритъ, и вообще политическія идеи латинскаго міра потеряли свое значеніе, ихъ пружина доиграла и чуть-ли не лопнула. Les principes de 1789 не были фразой, но теперь стали фразой. Заслуга ихъ огромна, ими, черезънихъ Франція совершила свою революцію, она приподняла завѣсу будущаго и испуганная отпрянула.

Явилась дилемма.

Или свободныя учрежденія снова коснутся завѣтной завѣсы, или правительственная опека, внѣшній порядокъ и внутреннее рабство.

Если-бъ въ европейской народной жизни была одна цѣль, одно стремленіе, та или другая сторона взяла бы давно верхъ. Но такъ, какъ сложилась западная исторія, она привела къ вѣчной борьбѣ. Въ основномъ бытовомъ фактѣ двойного образованія лежитъ органическое препятствіе послѣдовательному развитію. Жить въ двѣ цивилизаціи, въ два пласта, въ два свѣта, въ два возраста, жить не цѣлымъ организмомъ, а одной частью его, употреблять на топливо и кормъ другую и повторять о свободѣ и равенствѣ становится труднѣе и труднѣе.

Опыты выйти къ болъе гармоническому, уравновъщенному строю не имъли усиъха. Но если они не имъли усиъха въ данномъ мъстъ, это больше доказываетъ неспособность мъста, чъмъ ложность начала.

Въ этомъ-то и лежить вся сущность дъла.

Стверо-американскіе штаты съ своимъ единствомъ цивилизаціи легко опередять Европу, ихъ положеніе проще. Уровень ихъ цивилизаціи ниже западно-европейскаго, но онъ одинъ и до него достигаютъ всю, и въ этомъ ихъ страшная сила.

Двадцать лѣтъ тому назадъ Франція рванулась титанически къ другой жизни, борясь въ потьмахъ, безсмысленно, безъ плана и другого знанія, кромѣ знанія нестерпимой боли; она была побита «порядкомъ и цивилизаціей», а отступилъ побѣдитель. Буржуазіи пришлось за печальную побѣду свою заплатить всѣмъ,

что она выработала вѣками усилій, жертвъ, войнъ и революцій. лучшими плодами своего образованія.

Центры силъ, пути развитія, все измѣнилось, скрывшаяся дѣятельность, подавленная работа общественнаго пересозданія бросились въ другія части, за французскую границу.

Какъ только нѣмцы убѣдились, что французскій берегь понизился, что страшныя революціонныя идеи ея поветшали, что бояться ея нечего,—изъ-за крѣпостныхъ стѣнъ прирейнскихъ по-

казалась прусская каска.

Франція все пятилась, каска все выдвигалась. Своихъ Бисмаркъ никогда не уважалъ, онъ навострилъ оба уха въ сторону Франціи, онъ нюхалъ воздухъ оттуда и, убъдившись въ прочномъ пониженіи страны, онъ поняль, что время Пруссіи настало. Понявши, онъ заказалъ планъ Мольтке, заказалъ пголки оружейникамъ и систематически, съ нъмецкой, безцеремонной грубостью забралъ спълыя нъмецкія груши и ссыпалъ смъшному Фридриху Вильгельму въ фартукъ, увъривъ его, что онъ герой.

Я не вѣрю, чтобъ судьбы міра оставались надолго въ рукахъ нѣмцевъ и Гогенцоллерновъ. Это невозможно, это противно человѣческому смыслу, противно исторической эстетикѣ. Я скажу, какъ Кенть Лиру, только обратно: «Въ тебѣ, Боруссія, нѣтъ ничего, что бы я могъ назвать царемъ». Но всеже Пруссія отодвинула Францію на второй планъ и сама сѣла на первое мѣсто. Но всеже, окрасивъ въ одинъ цвѣтъ пестрые лоскутья нѣмецкаго отечества, она будетъ предписывать законы Европы до тѣхъ поръ, пока законы ея будутъ предписывать питыкомъ и исполнять картечью, по самой простой причинѣ, потому что у нея больше штыковъ и больше картечей.

За прусской волной подымется уже другая, не очень заботясь, нравится это или нътъ классическимъ старикамъ.

Англія хитро хранить видъ силы, отошедши въ сторону, будто гордан въ своемъ мнимомъ неучастіи... Она почувствовала въ глубинѣ своихъ внутренностей ту же соціальную боль, которую она такъ легко вылечила въ 1848 полицейскими палками... Но потуги посильнѣй... и она втягиваетъ далеко хватающіе щупальцы свои на домашнюю борьбу.

Франція, удивленная, сконфуженная перем'єной положенія, грозить не Пруссіи войной, а Италіи, если она дотронется до временныхъ владіній вычнаго отца, и собираетъ деньги на памятникъ Вольтеру.

Воскресить ли латинскую Европу дерущая уши прусская труба *послюдняго* военнаго суда, разбудить ли ее приближеніе ученых варваровъ?

Chi lo sa?

... Я прітхалъ въ Геную съ американцами, только что переплывшими океанъ. Генуя ихъ поразила. Все читанное ими въ книгахъ о старомъ свътъ они увидъли очью и не могли насмотръться на средневъковыя улицы, гористыя, узкія, черныя, на необычайной вышины домы, на полуразрушенные переходы, укръп-

ленія и проч.

Мы взошли въ сѣни какого-то дворца. Крикъ восторга вырвался у одного изъ американцевъ: «Какъ эти люди жили, повторялъ онъ, какъ они жили! Что за размъры, что за изящество! Нътъ, ничего подобнаго вы не найдете у насъ». И онъ готовъ быль покрасивть за свою Америку. Мы заглянули внутрь огромной залы. Былые хозяева ихъ въ портретахъ, картины, картины, стыны, сдавшія цвыть, старая мебель, старые гербы, нежилой воздухъ, пустота и старикъ кустодъ въ черной вязаной скуфьъ, въ черномъ потертомъ сюртукъ, съ связкой ключей... все такъ п говорило, что это ужъ не домъ, а ръдкость, саркофагъ, пышный слъдъ прошедшей жизни.

— Да, сказалъ я, выходя, американцамъ, вы совершенно правы,

люди эти хорошо жили.

(Мартъ, 1867).

## La belle France.

Ah! que j'ai douce souvenance De ce beau pays de France!

I.

## Ante portas.

Франція была для меня заперта. Годъ спустя послѣ моего пріѣзда въ Ниццу, лѣтомъ 1851, я написалъ письмо Леону Фоше, тогдашнему министру внутреннихъ дѣлъ, и просилъ его дозволенія пріѣхать на нѣсколько дней въ Парижъ. «У меня въ Парижѣ домъ и я долженъ имъ заняться»; истый экономистъ не могъ не сдаться на это доказательство и я получилъ разрѣшеніе пріѣхать «на самое короткое время».

Въ 1852 я просилъ право пробхать Франціей въ Англію, — отказъ. Въ 1856 я хотѣлъ возвратиться изъ Англіи въ Швейцарію и снова просилъ визы, — отказъ. Я написалъ въ фрибургскій Conseil d'Etat, что я отрѣзанъ отъ Швейцаріи и долженъ или ѣхать тайкомъ, или черезъ Гибралтарскій проливъ, или, наконецъ, черезъ Германію. Въ силу чего я просилъ Conseil d'Etat вступить въ сношеніе съ французскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, требуя для меня проѣзда черезъ Францію. Совѣтъ отвѣчалъ мнѣ, 19 октября 1856 года, слѣдующимъ письмомъ:

T T

Вслёдствіе вашего желанін, мы поручили швейцарскому министру въ Парижё сдёлать необходимые шаги для полученія вамъ авторизаціи проёхать Франціей, возвращаясь въ Швейцарію. Мы передаемъ вамъ текстуально отвёть, полученный швейцарскимъ министромъ: "Г. Валевскій долженъ быль совёщаться по этому предмету съ своимъ товарищемъ внутреншихъ дёлъ; соображенія особенной важности, сообщилъ ему м. в. д., заставили отказать г. Герцену въ прав'є проёзда Франціей въ прошломъ августь, что онъ не можеть изм'єнть своего рёшенія", и пр.

Я не имътъ ничего общаго съ французами, кромъ простого знакомства; не былъ ни въ какой конспираціи, ни въ какомъ обществъ, и занимался тогда уже исключительно русской пропа-

гандой. Все это французская полиція, единая всезнающая, единая національная, и потому безгранично сильная, знала превосходно. На меня гнювались за мои статьи и связи.

Про этотъ гнѣвъ нельзя не сказать, что онъвышель изъ границъ. Въ 1859 году я поѣхалъ на нѣсколько дней въ Брюссель съ моимъ сыномъ. Ни въ Остенде, ни въ Брюсселѣ наспорта не спрашивали. Дней черезъ шесть, когда я возвратился вечеромъ въ отель, слуга, подавая свѣчу, сказалъ мнѣ, что изъ полиціи требуютъ моего наспорта. «Во время хватильсь», замѣтилъ я. Слуга проводилъ меня до номера и наспортъ взялъ. Только что я легъ, часу въ первомъ, стучатъ въ дверь; явился опять тотъ же слуга съ большимъ накетомъ. «Министръ юстиціи покорно проситъ такого-то явиться завтра въ 11 часовъ утра въ денартаментъ de la sureté publique».

- И это вы изъ-за этого ходите ночью будить людей?
- Ждутъ отвѣта.
- Кто?
- Кто-то изъ полиціп.
- Ну, скажите, что буду, да прибавьте, что глупо носить прп-глашенія послів полуночи.

Затъмъ я, какъ Нулинъ, «свъчку погасилъ».

На другое утро, въ 8 часовъ, снова стукъ въ дверь. Догадаться было не трудно, что это все дурачится бельгійская юстиція.

#### — Entrez!

Взошелъ господинъ излишне чисто одътый, въ очень новой шляпъ, съ длинной цъпочкой, толстой и на видъ золотой, въ свъжемъ черномъ сюртукъ и пр.

Я едва, и то отчасти, одътый, представляль самый странный контрасть человъку, который должень одъваться такъ тщательно съ семи часовъ утра для того, чтобъ его хоть ошибкой приняли за честнаго человъка. Авантажъ былъ съ его стороны.

- Я им'йю честь говорить avec M. Herzen père?
- C'est selon; какъвозьмемъ дъло. Съ одной стороны, я отецъ, съ другой, сынъ.

Это развеселило шпіона.

- Я пришель къвамъ...
- Позвольте, чтобъ сказать, что министръ юстиціи меня зоветь въ 11 часовъ въ департаментъ?
  - Точно такъ.
- Зачёмъ же министръ васъ безпокоить и притомъ такъ рано? Довольно того, что онъ меня такъ поздно безпокоилъ вчера ночью, приславши этотъ пакетъ.
  - Такъ вы будете?

- Непремънно.
- Вы знаете дорогу?
- А что же, вамъ вельно меня провожать?
- Помилуйте, quelle idèe!
- И такъ...
- Желаю вамъ добраго дня.
- Будьте здоровы.

Въ 11 часовъ я сидътъ у начальника бельгійской общественной безопасности.

Онъ держалъ какую-то тетрадку и мой наспортъ.

- Извините меня, что мы васъ побезнокоили, но видите, тутъ два небольшихъ обстоятельства: во-первыхъ, у васъ пас-портъ швейцарскій, а...—онъ, съ полицейской проницательностью, испытуя меня, остановилъ на мнѣ свой взглядъ.
  - А я русскій, добавилъ я.
  - Да, признаюсь, это показалось намъ странно.
- Отчего же, развѣ въ Бельгіп нѣтъ закона о натурализаніп?
  - Да вы?...
- Натурализованъ десять лёть тому назадъ въ Моратѣ, фрибургскаго кантона, въ деревнѣ Шатель.
- Конечно, если такъ, въ такоиъ случав я не смвю сомнвваться... Мы перейдемъ ко второму затрудненію. Года три тому назадъ вы спрашивали дозволенія прівхать въ Брюссель и получили отказъ...
- Этого, mille pardon, не было и быть не могло. Какое же я имѣлъ бы мнѣніе о свободной Бельгіи, если-бъ я, никогда не высланный изъ нея, усомнился въ правѣ моемъ пріѣхать въ Брюссель?

Начальникъ общественной безопасности нъсколько смутился.

- Однако, вотъ тутъ... и онъ развернулъ тетрадь.
- Видно, не все въ ней вѣрно. Вотъ, вѣдь, вы не зналиже, что я натурализованъ въ Швейцаріи.
  - -- Такъ-съ. Консулъ е. в. Дельпьеръ...
- Не безпокойтесь, остальное я вамъ разскажу. Я спрашивалъ вашего консула въ Лондонъ, могу ли я перевести въ Брюссель русскую типографію, т. е., оставять ли типографію въ покоъ, если я не буду мъшаться въ бельгійскія дъла, на что у меня не было никогда никакой охоты, какъ вы легко повърште. Г. Дельпьеръ спросилъ министра. Министръ просилъ его отклонить меня отъ моего намъренія перевести типографію. Консулу вашему было стыдно письменно сообщить министерскій отвъть и онъ просилъ передать мнъ эту въсть, какъ общаго знакомаго, Луи Блана. Я. благодаря Луи Блана, просилъ его успокоить г. Дельпера и увъ

рить его, что я съ большей твердостью духа узналь, что типо-графію не пустять въ Брюссель, «если-бъ, прибавиль я, консулу пришлось мнъ сообщить обратное, т. е., что меня и типографію во въкъ въковъ не выпустять изъ Брюсселя, можеть, я не нашель бы столько геройства». Видите, я очень помню всъ обстоятельства.

Охранитель общественной безопасности слегка прочистиль го-

лось и, читая тетрадку, замътилъ:

— Дъйствительно, такъ, я о типографіи и не замътилъ. Впрочемь, я полагаю, вамъ все-таки необходимо разръшеніе отъ министра; иначе, какъ это ни непріятно будеть для насъ, но мы будемъ вынуждены просить васъ...

— Я завтра ѣду.

— Помилуйте, никто не требуетъ такой посифиности; оставайтесь недълю, двъ. Мы говоримъ насчетъ осъдлой жизни... Я почти увъренъ, что министръ разръшитъ.

— Я могу его просить для будущихъ временъ, но теперь я не имъю ни малъйшаго желанія дольше оставаться въ Брюс-

селъ.

Тъмъ исторія и кончилась.

— Я забыль одно, запутавшись въ объяснени, —сказаль мнъ опасливый хранитель безопасности, —мы малы, мы малы, вотъ наша бъда; il у a des égards...—ему было стыдно.

Два года спустя, меньшая дочь моя, жившая въ Парижѣ, занемогла. Я опять потребовалъ визы и Персиньи опять отказалъ. Въ это время графъ Ксаверій Браницкій былъ въ Лондонѣ. Обѣдая у него, я разсказалъ объ отказѣ.

— Напишите къ принцу Наполеону письмо, сказалъ Браниц-кій, я ему доставлю.

— Съ какой же стати буду я писать принцу:

— Это правда, пишите къ императору. Завтра я ѣду и послѣ завтра ваше письмо будеть въ его рукахъ.

— Это скорѣе, дайте подумать.

Прівхавъ домой, я написалъ следующее письмо:

Sire,

Вольше десяти лѣть тому назадъ, я былъ вынужденъ оставить Францію по министерскому распоряженію. Съ тѣхъ поръ миѣ два раза былъ разрѣшенъ пріѣздъ въ Парижъ 1). Впослѣдствіи миѣ постоянно отказывали въ правѣ въѣзжать во

<sup>1)</sup> Второй разъ мий быль разришень прійздь въ Парижь въ 1853, по случаю болізни М. К. Рейхель. Этоть пропускь я получиль по просьбів Ротшильда. Болізнь М. К. прошла и я имъ не воспользовался. Года черезъ два мий объявили въ французскомъ консульствів, что такъ какъ я тогда не йздилъ, то пропускь не имбетъ больше значенія.

Францію; между тычь въ Парижъ восинтывается одна изъ моихъ дочерей и я имъю тамъ собственный домъ.

Я беру смёдость отнестись прямо къ в. в. съ просьбой о разрешени мнё въёзда во Францію и пребыванія въ Париже, насколько потребують дёла, и буду съ довёріемъ и уваженіемъ ждать вашего рёшенія.

Во всякомъ случав, Sire, я даю слово, что желаніе мое имъть право вздить

во Францію не имбеть никакой политической цели.

Остаюсь съ глубочайшимъ почтеніемь вашего величества покорнъйшимъ слугой

Α. Γ.

31 мая, 1861. Лондонъ, Орсетъ Гаусъ, Уэстборнъ Террасъ.

Браницкій нашель, что письмо сухо, потому, въроятно, и не достигнеть цёли. Я сказаль ему, что другого письма не напишу, и что, если онь хочеть сдёлать мнё услугу, пусть его передасть, а возьметь раздумье, пусть бросить въ каминъ. Разговорь этоть быль на желёзной дорогъ. Онъ уёхаль.

А черезъ четыре дня я получилъ слѣдующее письмо изъ французскаго посольства:

Парижъ, 3 іюня, 1861.

Кабинеть Префекта полиціи. І бюро

М. Г.

По приказанію императора имѣю честь сообщить вамъ, что е.в. разрѣшаетъ вамъ въѣздъ во Францію и пребываніе въ Парижѣ всякій разъ, когда дѣла ваши этого погребують такъ, какъ вы просили вашимъ письмомъ отъ 31 мая.

Вы можете, следственно, свободно путемествовать во всей имперіи, сообра-

жаясь съ общепринятыми формальностями.

Примите, м. г., и проч.

Префекть полиція,

Затъмъ подпись эксцентрически вкось, которую нельзя прочесть и которая похожа на все, по не на фамилію Boitelle.

Въ тотъ же день пришло письмо отъ Браницкаго. Принцъ Наполеонъ сообщалъ ему слёдующую записку императора: «Любезный Наполеонъ, сообщаю тебъ, что я сейчасъ разръшилъ въёздъ господину 1) Герцену во Францію и приказалъ ему выдать наспортъ.

Послѣ этого «подвысь!» Шлагбаумъ, опущенный въ продолженіи одиннадцати лѣтъ, поднялся, и я отправился черезъ мѣсяцъ

въ Парижъ.

<sup>1)</sup> Я отмѣтиль слово *господин*ь, потому что при моей высылкѣ префектура постоянно писала sieur, а Наполеонь въ запискѣ написалъ слово monsieur всѣми буквами.

### TT.

### Intra muros.

— Маате Erstin! кричалъ мрачный съ огромными усами жандармъ въ Кале, возлъ рогатки, черезъ которую должны были проходить во Францію одинъ за однимъ путешественники, толькочто сошедшіе на берегъ съ дуврскаго парохода и загнанные въ каменный сарай таможенными и другими надзирателями. Путешественники подходили, жандармъ отдавалъ пассы, комиссаръ полиціи допрашивалъ глазами, а гдѣ находилъ нужнымъ, языкомъ, и одобренный и найденный безопаснымъ для имперіп терялся за рогаткой.

На крикъ жандарма въ этотъ разъ никто изъ путешествен-

никовъ не двинулся.

— Mame Ogle Erstin! кричалъ, прибавляя голоса и махая

паспортомъ, жандармъ. Никто не откликался.

— Да что же, никого что ли нътъ съ этимъ именемъ, кричалъ жандармъ и, посмотръвъ въ бумагу, прибавилъ:—Мamselle Ogle Erstin!

Тутъ только дѣвочка лѣтъ десяти, т. е., моя дочь Ольга, догадалась, что защитникъ порядка вызываль ее съ такимъ не-

истовствомъ.

— Avancez donc, prenez vos papiers! свиръпо командовалъ жандармъ.

— Ольга взяла пассъ и, прижавшись къ М., потихоньку спро-

сила ee:—Est-ce que c'est l'empereur?

Это было съ ней въ 1860 году, а со мной случилось черезъ годъ еще хуже, и не у рогатки въ Кале (уже не существующей теперь), а вездла: въ вагонъ, на улицъ, въ Парижъ, въ провинцін, въ домъ, во снъ, на-яву, вездъ стоялъ передо мной самъ императоръ съ длинными усами, засмоленными въ ниточку, съ глазами безъ взгляда, съ ртомъ безъ словъ. Не только жандармы, мерещились мит Наполеонами, но солдаты, сидъльцы, гарсоны и особенно кондукторы жельзныхъ дорогъ и омнибусовъ. Шелъ ли я объдать въ Maison d'or, Наполеонъ, въ одной изъ своихъ ппостасей, объдаль черезъ столъ и спрашиваль трюфии въ салфеткъ; отправлялся ли я въ театръ, онъ сидълъ въ томъ же ряду, да еще другой ходилъ на сценъ. Въжалъ ли я отъ него за городъ, онъ шелъ по интамъ дальше булонскаго лъса, въ сюртукъ плотно застегнутомъ, въ усахъ съ круго нафабренными кончиками. Гдв же его нътъ? На балъ въ Мабиль? На объднъ въ Мадленъ? Непременно тамъ и тутъ.

La révolution s'est fait homme. «Революція воплотилась въ челов'єк'є выла— одна изълюбимыхъ фразъ доктринерскаго жаргона

временъ Тьера и либеральныхъ историковъ луп-филипповскихъ временъ; а туть похитръе: «революція и реакція», порядокъ и безнорядокъ, впередъ и назадъ воплотились въ одномъ человъкъ и этотъ человъкъ, въ свою очередь, перевоплотился во всю администрацію, отъ министровъ до сельскихъ сторожей, отъ сенаторовъ до деревенскихъ меровъ... разсыпался пъхотой, поплылъ флотомъ.

Человъкъ этотъ не поэтъ, не пророкъ, не побъдитель, не эксцентричность, не геній, не талантъ; а колодный, молчаливый, угрюмый, некрасивый, разсчетливый, настойчивый, прозаическій, господинъ «среднихъ лътъ, ни толстый, ни худой». Le bourgeois буржуазной Франціи, l'homme du destin, le neveu du grand homme, плебея. Онъ уничтожаетъ, осредотворяетъ въ себъ всъ ръзкія стороны національнаго характера и всъ стремленія народа, какъ вершинная точка горы или пирамиды оканчиваетъ цълую гору ничюмъ.

Въ 49, въ 50 годахъ я не угадалъ Наполеона III. Увлекаемый демократической риторикой, я дурно его оценилъ. 1861 годъ былъ одинъ изъ самыхъ лучшихъ для имперіи, все обстояло благонолучно, все уровновъсплось, примирилось, покорилось новому порядку. Опнозицій и см'ялыхъ мыслей было ровно на столько, па сколько надобно для тени и слегка прянаго вкуса. Лабуле очень умпо хвалиль Нью-Горкъ въ шку Парижу, Прево Парадоль Австрію въ нику Франціи. По делу Миреса делали анонимные намеки. Папу было дозволено исподволь ругать, польскому пвиженію слегка сочувствовать. Были кружки, собиравнієся пофрондерствовать, какъ, бывало, мы собирались въ Москвъ въ сороковыхъ годахъ у кого-нибудь изъ старыхъ пріятелей. Были даже свои недовольныя знаменитости, въ родъ статскихъ Ермоловыхъ, какъ Гизо. Остальное все было прибито градомъ. И никто не жаловался, отдыхъ еще нравился такъ, какъ нравится первая недъля поста съ своимъ хръномъ да капустой послъ семидневнаго масла и пьянства на маслениць. Кому постное было не по вкусу, того трудно было видёть: онъ исчезаль на короткое или долгое время и возвращался съ исправленнымъ вкусомъ изъ Ламбессы или изъ Мазаса. Полиція, la grande police, замѣнившая la grande armée, была вездъ во всякое время. Въ литературъ плоскій штиль; илохіе лодочники плавали спокойно на плохих в лодкахъ по нъкогда бурному морю. Пошлость пьесъ, даваемыхъ на всёхъ сценахъ, наводила къ ночи тяжелую сонливость, которая утромъ поддерживалась безсмысленными журналами. Журналистика въ прежнемъ смыслъ не существовала. Главные органы представляли не интересы, а фирмы. Послъ leading article лондонскихъ газетъ, писанныхъ скатымъ, дёловымъ слогомъ, съ

«нервомъ», какъ говорятъ французы, и «мышцами», premiers Paris нельзя было читать. Риторическія декораціи, полинялыя п и потертыя, и тъ же возгласы, сдълавшеся больше чъмъ смъшными, гадкими по явному противорфчію съ фактами, замфияли содержаніе. Страждущія народности постоянно приглашались по прежнему надъяться на Францію, она все-таки оставалась «во главъ великаго движенія» и все еще несла міру революцію, свободу и великіе принципы 1789 года. Оппозиція дълалась подъ знаменемъ бонапартизма. Это были нюансы одного и того же цвёта, но ихъ можно было означать въ томъ родё, какъ моряки означають промежуточные вътры: N. N. W., N. W. N., N W. W., W. N. W... Бонапартизмъ отчаянный, бъснующійся, умъренный: бонапартизмъ монархическій, бонапартизмъ республиканскій, демократическій и соціальный; бонапартизмъ мирный, военный, революціонный, консервативный, наконець, палерояльскій и тюльерійскій... Вечеромъ поздно бъгали по редакціямъ какіе-то господа, ставившіе на м'єсто стролку газеть, если она гді уходила далеко за N. къ W. или Е. Они повъряли время по хронометру префектуры, вымарывали, прибавляли и торопились въ следующую редакцію.

... Въ сабе, читая вечерній журналь, въ которомъ было написано, что адвокать Миреса отказался указать какое-то употребленіе суммъ, говоря, что туть замѣшаны «слишкомъ высоко поставленныя лица», я сказаль кому-то изъ знакомыхъ: «Да какъ же прокуроръ не заставиль его назвать и какъ же не требують этого журналы?» Знакомый дернулъ меня за пальто, оглядѣлся, сдѣлалъ знакъ глазами, руками, тростью. Я не даромъ жилъ въ Петербургъ, поняль его и сталъ разсуждать объ абсентъ съ зель-

терской водой.

Выходя изъ кафе, я увидълъ крошечнаго человъка, бъгущаго на меня съ крошечными объятіями. На близкомъ разстояніи я разглядълъ Даримона.

— Какъ вы должны быть счастливы, говориль лъвый депу-

тать, возвратившись въ Парижъ! Ah! je m'imagine!

— Не то чтобъ особенно! Царимонъ остолбенѣлъ.

— Ну, что madame Darimon и вашъ маленькій, который върно теперь вашъ большой, особенно если онъ не береть въ рость примъра съ отца?

— Toujours le même, ха, ха, ха, très-bien—и мы разстались.

Тяжело мит было въ Парижт и я только свободно вздохнулъ, когда черезъ мъсяцъ, сквозъ дождъ и туманъ, опять увидълъ грязно-бълые, мъловые берега Англіи. Все, что жало, какъ узкіе башмаки, при Людовикт Филипит, жало теперь какъ колодка.

Промежуточныхъ явленій, которыми упрочивался и прилаживался новый порядокъ, я не видалъ, а нашелъ его черезъ десять лътъ совершенно готовым в и сложившимся... Къ тому же я Парижъ не узнавалъ, мнф были чужды его перестроенныя улицы, недостроенные дворцы и пуще всего встръчавшіеся люди. Это не тотъ Парижъ, который я любилъ и ненавидёлъ, не тотъ, въ который я стремился съ дътства, не тотъ, который покидалъ съ проклятьемъ на губахъ. Это Парижъ, утратившій свою личность, равнодушный, откипфвшій. Сильная рука давила его вездё и всякую минуту готова была притянуть вожжи, — но это было ненужно; Парижъ приняль tout de bon вторую имперію, у него едва оставались наружныя привычки прежняго времени. У «недовольныхъ» ничего не было серьезнаго и сильнаго, что бы они могли противопоставить имперіи. Воспоминанія тацитовскихъ республиканцевъ и неопредбленные идеалы соціалистовъ не могли потрясти цезарскій тронь. Съ «фантазіями» надзоръ полиціи боролся не серьезно, оне его сердили не какъ опасность, а какъ безпорядокъ и безчинство. «Воспоминанія» досаждали больше «надеждъ», орлеанистовъ держали строже. Иногда самодержавная полиція нежданно разражалась ударомъ, несправедливымъ и грубымъ, грозно напоминая о себъ; она нарочно распространяла ужасъ на два квартала и на два мъсяца, и снова уходила въ щели префектуры и коридоры министерскихъ домовъ.

Въ сущности все было тихо. Два самыхъ сильныхъ протеста были не французскіе: покушеніями Піанори и Орсини мстила Италія, метиль Римъ. Д'яло Орении, пспугавшее Наполеона, было принято за достаточный предлогь, чтобъ нанести последній ударъ—coup de grâce. Онъ удался. Страна, которая вынесла законы о подозрительныхъ людяхъ Эспинаса, дала свой залогъ. Надобно было испугать, показать, что полиція ни передъ чёмъ не остановится, надобно было сломить всякое понятіе о правъ, о челов'єческом в достоинств'є, надобно было несправедливостью поразить умы, пріучить къ ней и ею доказать свою власть. Очистивъ Парижъ отъ подозрительныхъ людей, Эспинасъ приказалъ префектамъ въ каждомъ департаментъ открыть заговоръ, замъщать въ него не меньше десяти человъкъ заявленныхъ враговъ имперін, арестовать ихъ и представить на распоряженіе министра. Министръ имълъ право ссылать въ Кайепну, Ламбессу, безъ слъдствія, безъ отчета и отвътственности. Человъкъ сосланный погибаль, ни оправданья, ни протеста не могло и быть; онъ не былъ судимъ, могла быть одна монаршая милость. «Получаю это приказаніе», разсказываль префекть Н. нашему поэту Ө. Т., «что туть дёлать? Ломаль себ'є голову, ломаль... положеніе затруднительное и непріятное; наконецъ, мий пришла счастливая

мысль, какъ вывернуться. Я посылаю за комиссаромъ полиціи и говорю ему: можете вы въ самомъ скоромъ времени найти мнё десятокъ отчаянныхъ негодяевъ, воровъ, неуличенныхъ по суду и т. п. Комиссаръ говорить, что ничего нёть легче. Ну, такъ составьте списокъ, мы ихъ нынче ночью арестуемъ и потомъ представимъ министру, какъ возмутителей».—Ну, что же? спросилъ Т. «Мы ихъ представили, министръ ихъ отправилъ въ Кайенну и весь допартаментъ былъ доволенъ, благодарилъ меня, что такъ легко отдёлался отъ мошенниковъ»,—прибавилъ добрый префектъ, смёлсь.

Правительство прежде устало идти путями террора и насилія, чёмъ публика и общественное мнёніе. Времена тишины, покоя, de la sécurité наступали не по днямъ, а по часамъ. Мало-помалу разгладились морщины на челё полиціп; дерзкій, вызывающій взглядъ шпіона, свирёный видъ sergent de ville стали смягчаться; императоръ мечталъ о разныхъ умныхъ и кроткихъ свободахъ и децентрализаціяхъ. Неподкупные въ усердіи министры

удерживали его либеральную горячность.

... Съ 1861, двери были отворены и я провзжалъ нъсколько разъ Парижемъ. Сначала я торонился поскоръе уъхать, потомъ и это прошло, я привыкъ къ новому Парижу. Онъ меньше сердиль. Это былъ другой городъ, огромный, незнакомый. Умственное движеніе, паука, отодвинутыя за Сену, не были видны; политическая жизнь не была слышна. Свои «расширенныя свободы» Наполеонъ далъ; беззубая оппозиція подняла свою лысую голову п затянула старую фразеологію сороковыхъ годовъ; работники не върили имъ, молчали и слабо пробовали ассоціаціи и коопераціп. Парижъ становился больше и больше общимъ европейскимъ рынкомъ, въ которомъ толиилось, толкалось все на свътъ: купцы, пъвцы, банкиры, дипломаты, аристократы, артисты всъхъ странъ и, невиданная въ прежнія времена, масса німцевъ. Вкусъ, тонъ, выраженія, все измёнилось. Блестящая, тяжелая росконь, металлическая, золотая, цённая, заменила прежнее эстетическое чувство; въ мелочахъ и одеждъ хвастались не выборомъ, не умъньемъ, а дороговизной, возможностью трать, и безпрерывно толковали о наживѣ, объ игрѣ въ карты, мѣста, фонды. Лоретки давали тонъ дамамъ. Женское образование пало на степень прежняго итальянскаго.

— L'empire, l'empire... вотъ гдѣ зло, вотъ гдѣ бѣда... Нѣтъ, причина глубже. Sire, vous avez un cancer rentré, говорить Антомарки;—ип Waterloo rentré, отвѣчаетъ Наполеонъ. А тутъ двѣ, три революціи rentrées, avortées, внутрь взошедшія, педоношенныя и выкинутыя.

Оттого ли Франція не донашиваетъ, что она слишкомъ рано.

слишкомъ посившно попала въ интересное положение и хотвла отдвлаться отъ него кесаревымъ свчениемъ; оттого ли, что духа хватило на рубку головъ, а на рубку идей не достало; оттого ли, что изъ революціи сдвлали армію и права человвка покропили святой водой; оттого ли, что масса была покрыта тьмой и революція двлалась не для крестьянъ?

#### III.

# Alpendrucken.

Да здравствуеть свъть! Да здравствуеть разумъ!

Русскіе, не им'я вблизи горъ, просто говорять, что «домовой душиль». Оно, пожалуй, върнте. Дъйствительно, словно кто-то душить, сонъ не ясенъ, но очень страшенъ, дыханье трудно, а дышать надобно вдвое, пульсъ поднять, сердце ударяеть тяжело и скоро... За вами гнались, гонятся по пятамъ, не то люди, не то привидънія, передъ вами мелькають забытые образы, напоминающіе другіе годы и возрасты... туть какія-то пропасти, обрывы, скользнула нога, спасенья нѣтъ, вы летите въ темную пустоту, крикъ вырывается невольно,—и вы проснулись... проснулись въ лихорадкъ, потъ на лбу, дыханье сперто—вы торопитесь къ окну... Свъжій свътлый разсвъть на дворъ, вътеръ осаживаеть въ одну сторону туманъ, запахъ травы, лъса, звуки и крики... все наше земное... и вы, успокоенные, пьете всъми легкими утренній воздухъ.

... Меня на дняхъ душилъ домовой, не во снѣ, а на яву, не въ постели, а въ книгѣ, и когда я вырвался изъ нея на свѣтъ, я чуть не вскрикнулъ: «Да здравствуетъ разумъ! нашъ простой, земной разумъ!»

Старикъ Пьеръ Леру, котораго я привыкъ любить и уважать лѣтъ тридцать, принесъ мнѣ свое послѣднее сочиненіе и просилъ непремѣнно прочесть его, «хоть текстъ, а примѣчанія послѣ, когла-нибуль».

«Книга Іова, трагедія въ пяти дъйствіяхъ, сочиненная Исаіемъ и переведенная Пьеромъ Леру». И не только переведенная, но прилаженная къ современнымъ вопросамъ.

Я прочеть *весь* текстъ и, подавленный печалью, ужасомъ, искалъ окна.

Что же это такое?

Какіе антецеденты могли развить такой мозгь, такую книгу? Гдѣ отечество этого человѣка и что за судьбы и страны и лица? Такъ сойти можно только съ большого ума; это заключеніе длиннаго и сломленнаго развитія.

Книга эта—бредъ поэта лунатика, у котораго въ памяти остались факты и строй, упованья и образы, но смысла не осталось; у котораго сохранились чувства, воспоминанія, формы, но разумъ не сохранился, пли если и уціблість, то для того, чтобы идти вспять, распускаясь на свои элементы, переходя изъ мыслей въ фантазіи, изъ истинъ въ мистеріи, изъ выводовъ въ мионы, изъ знанія въ откровеніе.

Дальше идти нельзя, дальше каталептическое состояніе, опьяпъніе Пивіи, шамана, дурь вертящагося дервиша, дурь вертя-

шихся столовъ...

Революція и чарод'єйство, соціализмь и талмудь, Іовъ и Ж. Зандъ, Исаія и Сенъ-Симонъ, 1789 годъ до Р. Х. и 1789 послѣ Р. Х., все брошено зря въ кабалистическій горнъ. Что же могло выйти изъ этихъ натянутыхъ, враждебныхъ совокупленій? Человъкъ захворалъ отъ этой неперевариваемой пищи, онъ потерялъ здоровое чувство истины, любовь и уваженье къ разуму. Гдъ же причина, отбросившая такъ далеко отъ русла этого старика, нъкогда стоявшаго въ числъ главъ соціальнаго движенія, полнаго энергіи и любви, человіка, котораго річь, проникнутая негодованіемъ и сочувствіемъ къ меньшей братіи, потрясала сердца? Я это время помню. И воть этотъ-то учитель, этотъ живой, будящій голосъ, послѣ пятнадцатильтняго удаленія въ жерсеь, является съ grève de Samarez и съ книгой Іова, проповъдуеть какое-то переселеніе душъ, ищетъ развязки на томъ світть, въ этоть не вприть больше. Франція, революція обманули его; онь скинін свои разбиваеть въ другомъ мірт, въ которомъ нтть обмана, да и ничего нътъ, въ силу чего большой просторъ для фантазіи.

Можеть, это личная бользнь-идіосинкразія? Ньютонъ имьль

свою книгу Іова, Августъ Контъ свое помъщательство.

Можетъ... но что сказать, когда вы берете другую, третью французскую книгу—все книга Іова, все мутить умъ и давитъ грудь, все заставляетъ искать свъта и воздуха, все носить слъды душевной тревоги и недуга, чего-то сбившагося съ пути. Врядъ можно ли въ этомъ случаъ многое объяснить личнымъ безуміемъ; напротивъ, надобно искать въ общемъ разстройствъ причину частнаго явленія. Я именно въ полнъйшихъ представителяхъ французскаго генія вижу слъды недуга.

Гиганты эти потерялись, заснули тяжелымъ сномъ, въ долгомъ лихорадочномъ ожиданіи, усталые отъ горечи дня и отъ

жгучаго нетеривнія, они бредять въ какомъ-то полусев и хотять насъ и самихъ себя увърить, что ихъ видънія—дъйствительность и что настоящая жизнь—дурной сонъ, который сейчасъ пройдеть, особенно для Франціи.

Неистощимое богатство ихъ длинной цивилизаціи, колоссальные запасы словъ и образовъ мерцаютъ въ ихъ мозгу, какъ фосфоресценція моря, не осв'ящая ничего. Какой-то вихрь, подметающій передъ начинающимся катаклизмомъ осколки двухъ, трехъ міровъ, снесъ ихъ въ эти исполинскія памяти безъ цемента, безъ связи, безъ науки. Процессъ, которымъ развивается ихъ мысль, для насъ непонятенъ, они идутъ отъ словъ къ словамъ, отъ антиномій къ антиноміямъ, отъ антитезисовъ къ синтезисамъ, не разрѣшающимъ ихъ; јероглифъ принимается за дѣло п желанье за фактъ. Громадныя стремленія безъ возможныхъ средствъ и ясныхъ цълей, недоконченныя очертанія, недодуманпыя мысли, намеки, сближенія, прорицанія, орнаменты, фрески, арабески... Ясной связи, которой хвалилась прежняя Франція, у нихъ нътъ, истины они не ищутъ, она такъ страшна на дълъ, что они отворачиваются отъ нея. Романтизмъ ложный и натянутый, напыщенная и дутая риторика отучили вкусъ отъ всего простого и здороваго.

Размфры потеряны, перспективы ложны...

Да еще хорошо, когда дёло идеть о путешествіяхь душь по планетамь, объ ангельскихъ хуторахъ Жана Рено, о разговоръ Іова съ Прудономъ и Прудона съ мертвой женщиной; хорошо еще, когда изъ цѣлой тысячи и одной ночи человъчества дѣлается одна сказка, и Шекспиръ изъ любви и уваженія заваливается пирамидами и обелисками, Олимпомъ и Библіей, Ассиріей и Ниневіей; но что сказать, когда все это врывается въ жизнь, отводить глаза и мѣшаетъ карты для того, чтобъ ими ворожить о «близкомъ счастьи и исполненіи желаній» на краю пропасти и позора? Что сказать, когда блескомъ прошедшей славы заштукатуривають гнилыя раны, и сифилитическія пятна на повислыхъ щекахъ выдають за румянець юноши?

Передъ падшимъ Парижемъ, въ самую нежалкую минуту его паденья, когда онъ, довольный богатой ливреей и щедростью постороннихъ помъщиковъ, бражничаетъ на всемірномъ толкунѣ, поверженъ въ прахѣ старикъ поэтъ. Онъ привѣтствуетъ Парижъ путеводной звѣздой человѣчества, сердцемъ міра, мозгомъ исторіи, онъ увѣряетъ его, что базаръ на Champ de Mars—починъ братства народовъ и примиренія вселенной.

Пьянить похвалами покольніе, измельчавшее, ничтожное, самодовольное и кичливое, падкое на лесть и избалованное, поддерживать гордость пустыхъ и выродившихся сыновей и вну-

чать, покрывая одобреніемь генія ихь жалкое, безсмысленное

существованіе, - великій грѣхъ.

Дълать изъ современнаго Парижа спасителя и освободителя міра, увърять его, что онъ великъ въ своемъ паденіи, что онъ въ сущности вовсе не падалъ, сбиваетъ на апотеозу божественнаго Нерона и божественнаго Калигулы пли Каракаллы.

Разница въ томъ, что Сенеки и Ульпіаны были въ силѣ п

власти, а В. Гюго въ ссылкъ.

Рядомъ съ лестью васъ поражаетъ неопредѣленность понятій, смутность стремленій, незрѣлость идеаловъ. Люди, идущіе впередъ, ведущіе другихъ, остаются въ полумракѣ, безъ тоски о свѣтѣ. Толки о преображеніи человѣчества, о пересозданіи существующаго... но о какомъ, но во что?

Это равно не ясно, ни на томъ свътъ Пьера Леру, ни на

этомъ Виктора Гюго.

"Въ XX столътіи будеть чрезвычайная страна. Она будеть велика и это не помъщаеть ей быть свободной. Она будеть знаменита, богата, глубокомысленна, мирна, сердечна ко всему остальному человъчеству. Она будеть имъть кроткую доблесть старшей сестры.

"Эта центральная страна, изъ которой все лучится, эта образцовая ферма человъчества, по которой все кроится, имъсть свое сердце, свой мозгъ, назы-

ваемый Парижъ.

"Городъ втотъ имъетъ одно неудобство: кто имъ владветъ, тому принадлежитъ міръ. Человъчество идетъ за иммъ. Парижъ работаетъ для общности земной. Кто бы ты ни былъ, Парижъ твой господивъ... онъ иногда ошибается, имъетъ свои оптическіе обманы, свой дурной вкусъ... тъмъ хуже для всемірнаго смысла, компасъ потерянъ и прогрессъ идетъ ощупью.

"Но Парижъ настоящій кажется не таковъ. Я не вѣрю въ этотъ Парижъ это призракъ, а, вирочемъ, пебольшая проходящая тѣнь не идетъ въ счетъ, когда

дёло идеть объ огромной утренней заръ.

"Один дикіе боятся за солице во время затменій.

"Парижъ -зажженный факель; зажженный факель иметь волю... Парижь изгоняеть изъ себя все нечистое, онь уничтожиль смертную казнь, насколько это было въ его воль, и перенесъ гильотину въ la Roquette. Въ Лондонъ вътають, гильотинировать въ Парижъ нельзя больше; если-бъ вздумали снова иоставить гильотину передъ ратушей, камни возстали бы. Убивать въ этой средъ невозможно. Остается поставить внъ закона, что поставлено внъ города!

"1866 быль годомь столкновенія народовь, 1867 будеть годомь ихъ встрѣчей. Выставка въ Парижѣ — великій соборъ мира, всѣ препятствія, тормазы. палки въ колесахъ прогресса сломятся въ куски, разлетятся въ прахъ... Война невозможна... зачѣмъ выставили страпиныя пушки и другіе военные спаряды... Развѣ мы не знаемъ, что война умерла? Она умерла въ тотъ день, когда Інсусъ сказаль; "Любите другъ друга!" —и бродила только, какъ привидѣніе; Вольтеръ п революція убили ее еще разъ. Мы не вѣримъ въ войну. Всѣ народы побратались на выставкѣ, всѣ народы, притекши въ Парижъ, побывали Франціей (ils viennent être France); они узнали, что есть городъ-солнце... и должны любить его, желать его, выносить его!"

И въ полномъ умиленіи передъ народомъ, который *испаряется братствомъ*, котораго свобода—свидѣтельство совершеннолѣтія

человъческаго рода, Гюго восклицаеть: «О, Франція! прощай! Ты слишкомъ велика, чтобъ быть отечествомъ; съ матерью, сдѣлавшейся богиней, слѣдуетъ разстаться. Еще шагъ во времени, и
ты исчезнешь преображенная; ты такъ велика, что скоро тебя не
будеть. Ты не будешь Франціей, ты будешь человъчествомъ. Ты
не будешь страной, ты будешь повсюдностью. Ты назначена
изойти лучами... Рѣшись принять бремя твоей безконечности и,
какъ Авины сдѣлались Греціей, Римъ—христіанствомъ, сдѣлайся
ты, Франція, міромъ!..»

Когда я читалъ эти строки, передо мной лежала газета и въ ней какой-то простодушный корреспондентъ писалъ слъдующее: «То, что теперь творится въ Парижъ, необыкновенно занимательно, и не только для современниковъ, но и для будущихъ поколъній. Толпы, собравшіяся на выставку, кутятъ... всъ границы перейдены, оргія вездъ, въ трактирахъ и домахъ, пуще всего на самой выставкъ. Прітьздъ царей окончательно опьянилъ всъхъ. Парижъ представляетъ какую-то колоссальную descente de la courtille.

"Вчера (10 іюня) это опьянтий дошло до своего апогея. Пока втиценосцы пировали во дворцъ, видавшемъ такъ много на своемъ въку, толны наполняли окольныя улицы и мъста. По набережной, на улицахъ Риволи. Кастилюне, Сентъ-Оноре ппровали на свой манеръ до трехъ сотъ тысячъ человъкъ. Отъ Маделены до théâtre des Varietès шла самая растрепанная и нецеремонная оргія; большія открытыя лицейки, импровизированные омнибусы и шарабаны, заложенные изпуренными, намучепными клячами, едва-едва двигались по бульварамъ въ силошномъ множествъ головъ и головъ. Ленейки эти, въ свою очередь, были биткомъ набиты, въ нихъ стояли, сидёли, больше всего лежали растянувшись мужчины и женщины во всевозможныхъ позахъ съ бутылками въ рукахъ; они съ хохотомъ и песнями переговаривались съ пешей толной; прумъ и крикъ несся нмъ навстръчу изъ кафе и ресторановъ совершенно полныхъ; иногда крикъ и пъсни смънялись дикимъ ругательствомъ фіакрнаго извозчика или дружеской ссорой подпившихъ... На углахъ, въ переулкахъ валялись мертво-пьяные, сама полиція, казалось, отступила за невозможностью что-пибудь сділать.--Никогда, нишетъ корреспондентъ, я не видаль ничего подобнаго въ Парижѣ, а живу въ немъ лътъ двадцать".

Это на улицѣ, «въ канавѣ», какъ выражаются французы, а что внутри дворцовъ, освѣщенныхъ болѣе, чѣмъ десятью тысячами свѣчей... что дѣлалось на праздникахъ, на которые тратилось по милліону франковъ?

"Съ бала, даннаго городомъ въ Hôtel de ville, государи уѣхали около двухъ часовъ, это повѣствуетъ офиціальный псторіографъ императорскихъ увеселеній; кареты не могле во времи ни пріѣхать, не отвезти восемь тысячъ человѣкъ. Часы шли за часами, усталь овладѣла гостями, дамы сѣли на ступеняхъ лѣстинцы, другія просто легли въ залахъ на ковры и заснули у ногъ лакеевъ и huissiers, кавалеры шагали за нихъ, цѣплянсь за кружева и уборы. Когда мало-помалу расчистилось мѣсто, ковровъ было не видно, все было покрыто завялыми цвѣтами, раздавленными бусами, лоскутьми блондъ и кружевъ, тюля, кисен оторванныхъ ефесами, саблями, шитьемъ, царапавшими плечи" и пр.

Я нарочно помянуль однъ мелочи: мпкроскопическая анатомія легче дастъ понятіе о разложеніи ткани, чёмъ отрезанный ломоть трупа...

#### IV.

## Даніилы.

Въ іюльскіе дни 1848 года, послѣ перваго террора и ошеломленья побъдителей и побъжденныхъ, явился представителемъ угрызенія совисти угрюмый и худой старикъ. Мрачнычи словами заклеймилъ онъ и проклялъ людей «порядка», разстръливавшихъ сотнями, не спроси имени, есылавшихъ тысячами безъ суда и державшихъ Парижъ въ осадномъ положении. Окончивъ анавему, онъ обернулся къ народу и сказалъ ему: «А ты молчп, ты слишкомъ бъдень, чтобъ тебъ имъть ръчь».

Это былъ Ламенне. Его чуть не схватили, но испугались его съдинъ, его морщинъ, его глазъ, на которыхъ дрожала старая

слеза и на которыхъ скоро ничего дрожать не будетъ.

Слова Ламенне прошли безслѣдно.

Черезъ двадцать лётъ другіе угрюмые старики явились съ своимъ суровымъ словомъ и ихъ голосъ погибъ въ пустынъ.

Они не върили въ силу своихъ словъ, но сердце не выдержало. Не сговариваясь въ своихъ ссылкахъ и удаленіяхъ, эти вемические судьи и Даніилы произнесли свой приговоръ, зная, что онъ не будетъ исполненъ.

Они, на горе себъ, поняли, что это «ничтожное облако, мъшающее величественному разсвъту», не такъ ничтожно; что эта историческая мигрень, это похмелье послё революціи не такъ-то

скоро пройдутъ, и сказали это.

"Въ худийя времена древняго цезаризма, говорилъ Эдгаръ Кине на конгресст въ Женевъ, когда все было нъмо, за исключениемъ владыки, находились люди, оставлявшие свои пустыни для того, чтобъ произнести насколько словъ правды въ глаза падшимъ народамъ.

"Шестнадцать лъть живу я въ пустыпъ и хотъль бы, въ свою очередь, пре-

рвать мертвое молчапіе, къ которому привыкли въ наше время".

Какую же въсть принесъ онъ съ своихъ горъ и во имя чего поднялъ ръчь? Онъ ее поднялъ для того, чтобъ сказать своимъ соотечественникамъ (французъ, о чемъ бы ни говорилъ, говорить всегда о Франціи): «У васъ нътъ совъсти... она умерла, раздавленная иятою сильнаго, она отреклась отъ себя. Шестнадцать лътъ искалъ я слъдовъ ея и не нашелъ!»

"То же было при Цезарихъ въ древнемъ міръ. Душа человъческая исчезла.

Народы помогали своему порабощеню, рукоплескали ему, не показывая ни сожалѣнія, ни расканнія. Совѣсть человѣческая, исчезая, оставила какую-то пустоту, которая чувствовалась во всемь, какъ теперь, и для того, чтобъ ее наполнить, надобно было поваго бога.

"Кто же наполнить въ наше время пропасти, вырытыя новымъ цезаризмомъ?

"На мѣсто стертой, упраздненной совѣсти настала ночь, мы бродимъ въ потьмахъ, не зная, откуда искать помощи, къ кому обратиться. Все соучастникъ паденья: церковь и судъ, народы и общество... Глуха земля, глуха совѣсть, глухи народы; право погибло съ совѣстью; одна сила царитъ...

"Зачёмъ вы пришли, что вы пщете въ этихъ развалинахъ? Развалинъ? Вы отвъчаете, что ищете мира. Огкуда же вы? Вы заблудились въ обломкахъ надшаго зданія права. Вы пщете мира, вы ошибаетесь, его здёсь нётъ. Здёсь война. Въ этой ночи безъ разсвёта должны сталкиваться народы и племена и уничтожать другь друга зря, исполняя волю властителей.

Старикъ бросилъ для дѣтей нѣсколько цвѣтовъ, чтобъ уменьшить ужасъ картины. Ему рукоплескали. Они и туть не вѣдали, что творили. Черезъ нѣсколько дней отреклись отъ своихъ рукоилесканій.

Мѣсяца два передъ тѣмъ, какъ эти мрачныя слова раздались на женевскомъ сходѣ, въ другомъ швейцарскомъ городѣ другой изгнанный прежняго времени писалъ слѣдующія строки:

"Я не имъю больше въры во Францію.

"Если когда-нибудь она воскреснеть къ новой жизни и оправится отъ страха симой себя, это будеть чудо; изъ тякого глубокаго паденья не подымалась ни одна больная пація. Я не жду чудесь. Забытыя учрежденія могуть возродиться, — потухнувшій духь народа не оживаеть. Несправедливое провидьніе не дало мить и того утышенья, когорымъ опо такъ щедро надъялеть, въ замъцу бъдности, всъхъ изгнанциковъ: всегдащией надежды и въры въ мечты. Отъ всего прожитаго мною остались только уроки опытности, горькое разочарованіе и неизлечимая усталь (énervoment). Мить холодно на сердцъ. Я не върю больше ни въ право, ни въ человъческую справедливость, ни въ здравый смыслъ. Я отошелъ въ равнодушіе, какъ въ могилу".

Жирондистъ Мерсье, одной ногой уже въ гробу, говорилъ во время паденья первой имперіи: «Я живу еще только для того, чтобъ увидѣть, чѣмъ это кончится!» «Я и этого не могу сказать, прибавилъ Маркъ Дюфрессъ, у меня нѣтъ особаго любопытства узнать, чѣмъ развяжется императорская эпопея».

И старикъ повернулся къ прошедшему и съ глубокой печалью показалъ его исхудалымъ потомкамъ. Настоящее ему не знакомо, чуждо, противно. Изъ его кельи вѣетъ могилой, отъ его словъ дрожь пробираетъ посторонняго.

Слова одного, строки другого, все скользнуло безслѣдно. Слушая ихъ, читая ихъ, у французовъ не сдѣлалось «холодно въ груди». Многіе открыто негодовали: «Эти люди лишають насъ силъ, повергають въ отчаяніе... гдѣ въ ихъ словахъ выходъ, утѣшенье?».

Судъ не обязанъ утъщать; онъ долженъ обличать, уличать

тамъ, гдѣ нѣтъ сознанія и раскаянія. Его дѣло вызвать совисть. Судъ и не пророчество, у него нѣтъ Мессіи для утѣшенія въ будущемъ. Онъ такъ же, какъ и подсудимый, принадлежитъ старой религіи. Судъ представляетъ чистую и идеальную сторону ея, а масса ея практическое, уклонившееся, истощенное приложеніе. Осуждающій служитъ поневолѣ практическимъ обвинителемъ идеала; защищая его, онъ указываетъ его односторонность.

Ни Эдгаръ Кине, ни Маркъ Дюфрессъ дъйствительно не знають выхода, и зовутъ всиять. Немудрено, что они его не видять, они къ нему стоятъ спиной. Они принадлежатъ къ про- медшему. Возмущенные безчестной кончиной своего міра, они схватили клюку и явились незванными гостьми на оргію высокомърнаго, самодовольнаго народа и сказали ему: «Ты все утратиль, все продаль, тебя ничто не оскорбляеть, кромъ правды, у тебя нътъ ни прежняго ума, у тебя нътъ прежняго достоинства, у тебя нътъ совъсти, ты на днъ наденья и, не только не чувствуешь твоего рабства, но туда же имъешь притязаніе освобождать народы и народности, украшаясь лаврами войны, —хочешь надъть на себя оливковые вънки мира. Опомнись, покайся, если можешь. Мы, умирающіе, пришли тебя звать къ раскаянію и, если не пойдешь, сломимъ жезлъ нашъ надъ тобою».

Они видять свое войско отступающимь, бёгущимь отъ своего знамени, и карой своихъ словъ хотять его возвратить въ прежній станъ и не могуть. Для того, чтобъ ихъ собрать, надобно новое знамя, а его нътъ у нихъ. Они, какъ языческіе первосвященники, раздирають ризы свои, защищая падавшую святыню свою. Не они, а гонимые назарен возвѣщали воскресеніе и жизнь

будущаго вѣка.

Кине и Маркъ Дюфрессъ скорбять объ оскверненіи храма своего, храма народнаго представительства. Они скорбять не только объ утратѣ во Франціи свободы человѣческаго достоинства, они скорбять о потерто передового мѣста, они не могутъ примириться съ тѣмъ, что имперія не предупредила единства Германіи, они ужасаются тому, что Франція сошла на второй

планъ.

Вопросъ о томъ, зачъмъ Франціи, въ которую они сами не върять, быть на первомъ мъстю, не представлялся ни разу ихъ

уму...

Маркъ Дюфрессъ съ раздраженнымъ смиреніемъ говоритъ, что онъ не понимаеть новыхъ вопросовъ, т. е., экономическихъ; а Кине ищетъ того бога, который сойдетъ, чтобъ наполнить пустоту, оставленную потерей совъсти... Онъ прошелъ мимо ихъ, они его не узнали и допустили его расиятіе.

Р. S. Какъ комментарій къ нашему очерку, пдетъ п странная книга Ренана о «современныхъ вопросахъ». Его тоже пугаетъ настоящее. Онъ понялъ, что дѣло идетъ плохо. Но что за жалкая терапія! Онъ видитъ больного по горло въ сифилисѣ п совѣтуетъ ему хорошо учиться и по классическимъ источникамъ. Онъ видитъ внутреннее равнодушіе ко всему, кромѣ матеріальныхъ выгодъ, и сплетаетъ на выручку изъ своего раціонализма нѣкую религію, католицизмъ безъ настоящаго Христа и безъ папы, но съ плотоумерщвленіемъ. Уму ставитъ онъ дисциплинарныя перегородки или, лучше, гигіеническія.

Можеть, самое важное и смёлое въ его книгъ—это отзывъ о революція: «Французская революція была великимъ опытомъ, но опытомъ неудавшимся».

И затемъ онъ представляеть картину ниспроверженія всёхъ прежнихъ институтовъ, стёснительныхъ, съ одной стороны, но служившихъ отпоромъ противъ поглощающей централизаціи, и на мёстё ихъ—слабаго, беззащитнаго человёка передъ давящимъ, всемогущимъ государствомъ и уцёлёвшей церковью.

Поневоль съ ужасомъ думаешь о союзь этого государства съ церковью, который совершается наглазно, который идеть до того, что церковь тъснитъ медицину, отбираетъ докторскіе дипломы у матеріалистовъ и старается рышать вопросы о разумы и откровеніи—сенатскимъ рышеніемъ, декретировать libre arbitre, какъ Робесцьеръ декретироваль l'étre suprême.

Не нынче, завтра церковь захватить воспитаніе — тогда что? Французы, уцёлёвшіе оть реакціи, это видять, и положеніе ихъ относительно иностранцевъ становится невыгоднёе и невыгоднее. Никогда они не выносили столько, какъ теперь, и отъ кого же? Въ особенности отъ нёмцевъ. Недавно при мнё былъ споръ одного нёмецкаго ех-генціе съ однимъ изъ замёчательныхъ литераторовъ. Нёмецъ былъ безпощаденъ. Прежде была какая-то тайно соглашенная терпимость къ англичанамъ, которымъ всегда позволяли говорить нелёпости изъ уваженія и увёренности, что они нёсколько поврежденные, и къ французамъ—изъ любви къ нимъ и изъ благодарности за революцію. Льготы эти остались только для англичанъ, —французы очутились въ положеніи состарёвшихся и подурнёвшихъ красавицъ, которыя долго не замёчали, что средства ихъ уменьшились, что на обаяніе красотой надёяться больше нечего.

Прежде имъ спускалось невѣжество всего находящагося за границами Франціи, употребленіе битыхъ фразъ, позолоченный стеклярусъ, слезливая сентиментальность, рѣзкій, вершающій тонъ и les grands mots,—все это утратилось.

Нъмецъ, поправляя очки, трепалъ француза по плечу, приговаривая:

— Mais, mon cher et très-cher ami, эти готовыя фразы, замъняющія разборъ дѣла, вниманье, пониманье, мы знаемъ наизусть; вы намъ ихъ повторяли лѣтъ тридцать; онѣ-то вамъ и мѣшаютъ видѣть ясно настоящее положеніе дѣлъ.

— Но какъ бы то ни было, все-же,—говорилъ литераторъ, видимо желая заключить разговоръ,—однако же, мой милый философъ, вы всъ склонили голову подъ прусскій деснотизмъ; я очень понимаю, что для васъ это средство, что прусское владычество—

ступень...

— Тѣмъ-то мы и отличаемся отъ васъ, перебилъ его нѣмецъ, что мы идемъ этимъ тяжелымъ путемъ, ненавидя его и покоряясь необходимости, имѣя цѣль передъ глазами, а вы пришли въ такое же положеніе, какъ въ гавань спасенья; для васъ это не ступень, а заключеніе,—къ тому же большинство его либитъ.

— C'est une impasse, une impasse, замътилъ нечально литера-

торъ и перемънилъ разговоръ.

По несчастью, онъ заговорилъ о ръчи Жюль Фавра въ Ака-

деміи. Тутъ окрысился другой нёмець:

— Помилуйте, и эта пустая риторика, это празднословіе можеть вамъ нравиться? Лицемърье, неправда о наукъ, неправда во всемъ; нельзя же два часа читать панегирикъ блъдному Кузеню. И что ему было за дъло защищать казенный спиритуализмъ? И вы думаете, что эта оппозиція спасетъ васъ? Это—риторы и софисты, да и какъ смъшна вся эта процедура ръчи и отвъта, обязательная похвала предшественнику—весь этотъ средневъковый бой пустословья.

— Ah bah! Vous oubliez les traditions, les coutumes...

Мнѣ было жаль литератора...

#### V.

## Свътлыя точки.

Но за Данінлами видны же и свётлыя точки, слабыя, дальнія, и въ томъ же Парижѣ. Мы говоримъ о Латинскомъ кварталѣ, объ этой Авентинской горѣ, на которую отступили учащієся и ихъ учители, то есть, тѣ изъ нихъ, которые остались вѣрны преданію 1789 года, энциклопедистамъ, горѣ, соціальному движенію.

Изъ переулковъ этого Лаціума, изъ четвертыхъ этажей невзрачныхъ домовъ его, постоянно идутъ ставленники и миссіонеры на борьбу и проповёдь и гибнутъ большею частью мо-

рально, а иногда физически, in partibus infidelium, т. е., по другую сторону Сены.

Объективная истина—съ ихъ стороны, всяческая правота и дёльность пониманія—съ ихъ стороны, но и только. «Рано или поздно истина всегда побёждаетъ». А мы думаемъ, очень поздно и очень риздко. Разумъ споконъ вёка быль недоступенъ или противенъ большинству. Для того, чтобъ разумъ могъ понравиться, Анахарсисъ Клоотсъ долженъ былъ одёть его въ хорошенькую актрису, а ее раздёть донага. Дёйствовать на людей можно только, грезя ихъ сны яснѣе, чѣмъ они сами грезятъ, а не доказывая имъ свои мысли такъ, какъ доказываютъ геометрическія теоремы.

Латинскій кварталъ напоминаеть средневъковые чертозы или камалдолы, отступившія на шагь оть людского шума, съ своей върой въ братство, милосердіе и, главное, въ скорое пришествіе царства божія. И это въ самое то время, когда за ихъ стѣнами рыцари и рейтеры жгли и рѣзали, лили кровь, грабили, засѣ-кали вилановъ, насиловали ихъ дочерей... Потомъ наступили другія времена, также безъ братства и второго пришествія, и это прошло—а камалдолы и чертозы остались при своей върѣ. Нравы еще смягчились, измѣнилась манера грабить, насиловать стали съ платой, обирать по принятымъ уставамъ; но царство божіе не приходило, а все неминуемо наступало (такъ казалось въ чертозахъ), знаменія становились все яснѣе, прямѣе; вѣра спасала иноковъ отъ отчаянія.

Съ каждымъ ударомъ, отъ котораго разлетаются въ прахъ последнія убогія свободы; съ каждымъ паденіемъ общества, съ каждымъ наглымъ шагомъ назадъ, Латинскій кварталь приподнимаетъ голову, мехха чосе, у себя дома постъ марсельезу и, поправляя фуражку, говоритъ: «Этого-то и надобно было. Они дойдутъ до предёла... чёмъ скорёс, тёмъ лучше». Латинскій кварталъ вёритъ въ свой курсъ и храбро чертитъ планъ своей «веси истины», идя въ разрёзъ съ «весью дёйствительности».

А Пьеръ Леру въритъ въ Іова! А В. Гюго-въ выставку братства!

#### VI.

# Послѣ набѣга.

"Святой отецъ—теперь ваше дѣло!" (Филиппъ II великому инквизитору). Доиз-Карлосъ.

Эти слова мит такъ и хочется повторить Бисмарку. Груша зртла, и безъ его сіятельства дтло не обойдется. Не церемоньтесь, графъ!

Я не дивлюсь тому, что дълается, и не питю права дивиться я давно кричалъ свое: «берегись, берегись!..» Я просто прощаюсь, и это тяжело. Тутъ нътъ ни противоръчія, ни слабости. человъкъ можеть очень хорошо знать, что если подагра у него подымется, то будеть очень больно; онъ можеть, сверхъ того. предчувствовать, что она подымется, что ее ничемъ не остановишь; тыть не меньше ему все-же будеть больно, когда она подымется.

Мнъ жаль личностей, которыхъ люблю.

Миъ жаль страны, которой первое пробуждение я видълъ своими глазами и которую теперь вижу изнасилованную и обезчещенную.

Мнъ жаль этого Мазепу, котораго отвязали отъ хвоста одной

имперіп, чтобъ привязать къ хвосту другой.

Мнъ жаль, что я правъ, я словно соприкосновенный къ дълу, тъмъ, что въ общихъ чертахъ его предвидълъ. Я досадую на себя, какъ досадуетъ дитя на барометръ, предсказавшій бурю и

Италія похожа на семью, въ которой недавно совершилось испортившій прогулку. какое-нибудь черное преступленіе, обрушилось какое-нибудь страшное несчастіе, обличившее дурныя тайны, на семью, по которой прошла рука палача, изъ которой кто-нибудь выбылъ на галеры... всв въ раздражения, невинные стыдятся и готовы на дерзкий отпоръ. Всъхъ мучить безсильное желаніе мести, страдательная ценависть отравляеть, разслабляеть.

Можетъ, и есть близкіе выходы, но разумомъ пхъ не видать: они лежать въ случайностяхъ, во внъшнихъ обстоятельствахъ, они лежать выв границъ. Судьба Италін, не въ ней. Это само не себъ одно изъ невыносимъйнихъ оскорбленій; оно такъ грубо напоминаеть недавній шлінь и чувство собственной несостоя-

тельности и слабости, которое начало было стираться.

И только двадцать лють!

Двадцать леть тому назадъ, въ конце декабря, я въ Риме оканчивалъ первую статью «Съ того берега» п изминиль ей, увлеченный сорокъ восьмымъ годомъ. Я былъ тогда въ полной силъ развитія и съ жадностью спъдиль за развертывающимися событіями. Въ моей жизни не было еще ни одного несчастія, которое оставило бы сильный, ноющій рубець, ни одного упрека совъсти внутри, ни одного оскорбительнаго слова снаружи. Я несся, слегка ударяя въ волны, съ безумнымъ легкомысліемъ, съ безграничной самонадъянностью, на всъхъ парусахъ. И всъ 

Во время перваго ареста Гарибальди, я былъ въ Парижъ. Французы не вёрили въ вторженіе ихь войскъ. Мнъ случалось встръчаться съ людьми разныхъ слоевъ общества. Заклятые ретрограды и клерикалы желали вмъшательства, кричали о немъ, но сомнъвались. На желъзной дорогъ, одинъ извъстный французскій ученый, прощаясь со мной, говорилъ мнъ: «У васъ, мой милый, съверный Гамлетъ, такъ фантазія настроена, вы видите одно черное, оттого вамъ и не очевидна невозможность войны съ Италіей; правительство слишкомъ хорошо знаетъ, что война за папу поставитъ противъ него все мыслящее, въдь, все-же мы Франція 1789 года». Первая новость, которую я не прочелъ, а увидоклъ—былъ флотъ, отправлявшійся изъ Тулона въ Чивиту. «Это военная прогулка», говорилъ мнъ другой французъ. «Оп пе viendra jamais aux mains, да и ненужно намъ мараться въ итальянской крови».

Оказалось *нуженыму*. Нѣсколько юношей изъ «Лаціума» протестовали, ихъ посадили на съѣзжую, со стороны Франціи тѣмъ и кончилось.

Удивленная, окровавленная Италія, благодаря нерѣшительности короля, шулерству министерства, дѣлала всѣ уступки. Но разсвирѣпѣлаго француза, упивающагося всякой побѣдой, нельзя было остановить,—къ крови, къ дѣлу ему надобно было прибавить крѣпкое слово.

И на этомъ кръпкомъ словъ, покрытомъ рукоплесканіями имперіп, подали руку ен злъйшіе враги: легитимисты, въ видъ стараго стряпчаго бурбоновъ—Беррье, и орлеанисты, въ видъ стараго Фигаро временъ Людовика-Филиппа—Тьера.

Я считаю слово Руэра историческимъ откровеніемъ. Кто послѣ этого не понялъ Франціи, тотъ слѣпорожденный.

Графъ Бисмаркъ, теперь ваше дъло!

А вы, Маццини, Гарибальди, послёдніе Могикане, сложите ваши руки, успокойтесь. Теперь васъ ненужно. Вы свое сдёлали. Теперь дайте мъсто безумію, бъщенству крови, которыми или Европа себя убьетъ, или реакція. Ну, что же вы сдълаете съващими ста республиканцами и вашими волонтерами, съ двумятремя ящиками контрабандныхъ ружей? Теперь милліонъ отсюда, милліонъ оттуда, съ пголками и другими пружинами. Теперь пойдуть озера крови, моря крови, горы труповъ... а тамъ тифъ, голодъ, пожары, пустыри.

А! господа консерваторы, вы не хотѣли даже и такой блѣдной республики, какъ февральская, не хотѣли подслащенной демократіи, которую вамъ подносилъ кондитеръ Ламартинъ. Вы не хотѣли ни Маццини стоика, ни Гарибальди героя. Вы хотѣли поряджа.

Будеть вамъ за то война, семильтняя, тридцатильтняя...

Вы боялись соціальныхъ реформъ, вотъ вамъ феніане съ бочкой пороха и зажженнымъ фителемъ.

Кто въ дуракахъ?

Генуя, 31 декабря, 1867 года.

# Примѣчанія.

Стр. 5. "Магіа Е." — Марья Каспаровна Эрнъ; "Магіа К."—Марья Өедоровна Коршъ; "Frau Н."—мать Герцена Лупза Ивановна Гаагъ. Всѣ онѣ вмѣстъ съ Герценомъ и его женой ъхали

за границу.

Стр. 6. Іоганнъ-Фридрихъ Диффенбахъ (1794—1847), знаменитый въ свое врема нѣмецкій хирургъ, профессоръ берлинскаго университета и директоръ хирургической клиники. Особенно славился искусственными образованіями посовъ, губъ, вѣкъ, псправленіемъ ко-

соглазія и проч.

Стр. 11. Графъ Викторъ Никит. Панинъ (1801—1874). При Николаѣ I и Александръ II былъ министромъ юстицін, занимая это м'єсто почти 30 л'єть (1832—61). Съ февраля по сентябрь 1860 г. быль предсёдателемъ редакціонной комиссіи по освобожденію крестьянъ, причемъ старался насколько возможно затормозить и извратить эту реформу, стремясь освободить крестьянъ безъ земли, а помъщикамъ предоставить надъ ними право вотчинной полиціи.

 - Шарль Филиппонъ (1800--1857), знаменитый карикатуристь 30-хъ и 40-хъ годовъ. Въ 1830 г. основалъ еженедъльный сатирическій журналь "La Caricature", а съ 1 декабря ежедневную сатирическую газету съ карикатурами "Шаривари", которая считалась въ 30-40-хъ годахъ лучшимъ сатирическимъ изданіемъ. "Шаривари" существуеть и донынь, хотя блестящій періодъ ея быль во время редакторства Филиппона.

Стр. 12. Романья. итальянская про-

винція, до 1860 г. составлявшая съверную часть Папской области.

Стр. 13. Въ Поръ-Роялъ (Port Royal) во Франціи, въ ХVII въкъ собпралось общество ученыхъ и литераторовъ, занимавшееся изученіемъ и усовершенствованіемъ французской литературы. Подробную исторію этого общества написаль извъстный французскій критикъ Сентъ-Бевъ въ нъсколькихъ томахъ (1840 - 48).

Стр. 15. "Ближайшим изъ близкихъ" Герценъ называетъ своего бли-

жайшаго друга Н. П. Огарева. Стр. 17. Карлъ-Альберть (1798--1849), король Сардинскій, прадідь нынішняго птальянскаго короля Виктора-Эманупла III. Царствоваль въ Пісмонтъ съ 1831 г. Въ 1849 г., послѣ вторичной неудачной войны съ Австріей, отрекся отъ престола въ пользу своего сына Виктора-Эманупла II.

Стр. 18. Буквою А. означенъ Пав. Вас. Аппенковъ (1812—1887), извъ-етный критикъ, біографъ и издатель Пушкина. Онъ находился въ это время въ Парижѣ и быль очень близокъ съ

Герценомъ.

Стр. 22. Эжень-Луп Кавеньякъ, французскій генераль (1802 — 1857). Въ 1848 г., во время 2-ой французской республики, былъ военнымъ министромъ и жестоко подавиль въ Парижъ возстаніе рабочихь въ такъ называемые

"iюньскiе дни". Стр. 24. Буквами означены: М. Ө.— Марья Өедоровна Коршь, А.—Пав. Вас. Анненковъ, И. Т.- Ив. Серг. Турге-

Стр. 25. Тома Кутюръ (1815--1879), французскій живописець, лучшая картина котораго "Римляне временъ упадка" произвела большое впечатлъние въ парижскомъ Салонъ 1847. Очевидно, что начэту картину Герценъ здъсь и ссылается.

Стр. 27. "Nel mezzo del camin di nostra vita" (посреди дороги нашей жизни)-выраженіе, взятое изъ начала "Божественной Комедін" Данте.

Стр. 30. Рамонъ де-ла-Сагра (1788-1871), испанскій политическій діятель и писатель. Главный его трудъ-"Исторія острова Кубы" (10 т.). Кромѣ того, написалъ "Чтенія о соціальной экономін" (1840), книгу о Сѣверо-Америк. Соед. Штатахъ (1836) и проч.

Стр. 32. "Тощій французскій литераторъ", о которомъ здёсь упоминается какъ о приставленномъ къ журналу "La Tribuno des Peuples", былъ Жюль Лешевалье.

Давидъ д'Анже пли Анжерскій (1788—1856), названный такъ по имени своей родины, гор. Анжера, быль извъстный французскій скульпторъ, создавшій много статуй, бюстовь и медальо-

новъ знаменитыхъ людей.

Стр. 35. Іоспфъ Вронскій (1778-1853), польскій философъ. Въ молодости участвоваль въ военныхъ дъйствіяхъ въ Польше подъ начальствомъ Костюшки. затъмъ русскимъ офицеромъ. Переселясь во Францію занялся философіей и математикой и издаль на франц. языкъ рядъ кингъ о философін Канта, математикъ и техникъ. Затъмъ онъ создалъ такъ называемое ученіе мессіанизма, въ которомъ польскому народу предназначается быть мессіей-освободителемъ всёхъ угнетенныхъ странъ. Его книга "Мессіанизмъ" появилась въ 1831—33 гг. (2 т.). Мицкевичь, въ 40-хъ годахъ увъроваль въ это ученіе.
— Андрей Товянскій (1799—1878),

польскій мистикъ. Сліной отъ рожденія, опъ быль подвержень различнымъ галлюцинаціямъ и видѣніямъ. За возбужденное имъ волненіе и эксцентрическія пропов'єди въ 1842 г. опъ былъ удаленъ изъ Франціи, Проповѣдуя мессіанизмъ, какъ и Вронскій (см. предыдущее прим.), Товянскій пошелъ еще далже Вронскаго и провозгласиль себя самого мессіей. Въ числъ его учениковъ ("товянчиковъ") быль и знаменитый Мицкевичъ.

Этьенъ Кабе (1788—1856), франц.

коммунисть, изложившій свою систему въ утопическомъ романѣ "Путешествіе въ Икарію" и неудачно пробовавшій основать коммунистическую общину въ Техасъ съ общностью имущества и труда, но съ сохраненіемъ брака и семьи.

Стр. 42. Этьенъ Араго (1802—1892), писатель и политическій д'ятель, послъ февральской революціи 1848 г. быль назначень управляющимъ почтовымъ въдоиствомъ, а послъ демонстраціп 1 (13) іюня 1849 г. бъжаль въ

Бельгію.

 ЖюльБастидъ (1800—1879), быль сперва адвокатомъ, затъмъ участвоваль въ тайныхъ обществахъ, въ 1832 г. быль приговорень къ смерти, но бъжаль вь Англію. Въ 40-хъ годахъ со-трудничаль въ "National", а съ 10 мая по 26 декабря 1848 г. быль министромъ иностранныхъ дълъ. Написалъ рядъ историческихъ сочиненій.

Стр. 43. Мюллеръ-Стрюбингъ — нъмецкій журналисть 40-хъ годовъ. Онъ въ 1834-39 гг. просидёль 5 лёть вь тюрьив за участіе въ тайныхъ обществахъ. Въ 40-хъ и 50-хъ годахъ онъ быль очень близокъ съ Герценомъ, Бакунинымъ, Тургеневымъ и другими русскими, находившимися за границей.

Стр. 46. Феликсъ Піа (1810-1889). французскій революціонеръ и драматическій писатель. Изъ его драмъ особенной популярностью пользовалась "Парижскій Ветошникъ" (содержаніе которой подробно изложено въ V томъ. стр. 28—34), представленная въ Парил: в въ 1847 г. и переведенная на русскій языкъ М. П. Өедоровымъ въ 1862 г. Принималь дъятельное участіе въ революція 1848 г. и въ парижской коммунъ 1871 года.

Стр. 47. Графъ Феличе Орсини (1819) -185S), итальянскій революціонерь. Участвоваль въ 1844 г. въ заговорѣ братьевъ Бандіера, за что быль осуждень на пожизненную каторгу. Помилованный въ 1846 г., онъ участвоваль въ 1854 г. въ революціонномъ движенін въ Италіп, посл'в чего б'єжаль въ Англію. 14 января 1858 г. онъ совершиль посредствомь разрывныхь бомбь покушеніе на жизнь Наполеона III, какъ измѣнника дѣлу освобожденія Италіп, за что и быль казнепь.

Жанъ - Иньясъ - Исидоръ-Жераръ Гранвиль (1803—47), извъстный французскій рисовальщикъ и карикатуристь, прославившийся своими мъткими и ядовитыми политическими карикатурами въ 30-хъ и 40-хъ годахъ.

Стр. 48. Артурь Гергей (род. въ 1818 г.). Во время венгерской революціи 1848—49 г., одержавъ рядь побъдь надъ австрійцами, сталъ венгерским военнымъ министромъ, а затъмъ. по отреченіи Кошута, и диктаторомъ. Выпужденный при Вплагошъ сдаться русской армін Пасксвича, подвергся пеосновательнымь обвиненіямъ въ памънъ. Удалившись затъмъ въ частную жизнь, занимался химіей. (Въ текстъ ошибочно названъ Гервей.)

Стр. 51. Францъ-Іосифъ Галль (1758—1828), нёмецкій физіологъ и френологь, создавшій собетвенную систему френологіи и утверждавшій, что но формѣ и выпуклостямъ черена, можно судить о способностяхъ и наклонностяхъ каждаго человъка.

Стр. 54. Чпро Менотти (1798—1831) въ 1831 г. составилъ заговоръ съ цѣлью объединенія Италіи въ одно королевство съ тѣмь, чтобы королемъ Италіи былъ моденскій герцогъ Францискъ IV. Заговоръ не удался и Менотти былъ повъщенъ. Въ 1879 г. ему воздвигнута въ Моденъ статуя.

- Братья Аттиліо (род. 1817) и Эмиліо (род. 1819) Бандіера служили сперва въ австрійскомъ флотѣ; стремясь освободить Италію, вошли въ сношенія съ Мацинии и хотѣли поднять возстаніе въ Калабрій, но были схвачены и разстрѣляны въ Козенцѣ 25 іколя 1844 г. съ семью изъ своихъ товарищей.

— Франсуа-Ноэль (онъ называль себя Кай-Гракхъ) Бабёфъ (1760—1797), казпенный за предпринятый имъ, но пеудавшійся коммунистическій заговоръ.

Стр. 55. Подъ "дикимъ вепремъ" подразумѣвается неаполитанскій король Фердинандъ II (1810—1859), а подъ "траурнымъ кучеромъ" императоръ Наполеонъ III.

Стр. 56. Даніэль Манинъ (1804—1857) составиль въ 1847 г. въ Венеціи, съ цълью ея освобожденія отъ австрійскаго владычества, заговоръ, за что быль заключень въ тюрьму. Освобожденный пародомъ, Манинъ быль въ теченіи 1½ года президентомъ венеціанской республики, мужественно отражая съ марта 1848 до конца августа 1849 г. нападенія австрійскихъ войскъ, а затъмъ, уда

лившись во Францію, какъ журналистъ работалъ для объединенія Пталіи. Ему воздвигнуты памятники въ Венеціи и Туринъ, какъ незабвенному итальянскому патріоту.

Стр. 58. Франческо Гвиччардини (1483—1540) п Лунджи-Антопіо Муратори (1672—1750), птальянскіе цет рики, изъ которыхъ первый прославился своей "Исторіей Италіп" (за время 1492—1534 гг.), выдержавшей въ 50 лътъ 10 изданій и переведенной почти на всѣ европейскіе языки; а второй. Муратори, издаль многотомную коллекцію источниковъ по исторіи Италіи ("Rerum italicarum scriptores"). Далъе у Герцена идетъ перечисленіе древнихъ итальянскихъ фамилій (Литта, Боромен и др.), встръчающихся у этихъ двухъ историковъ.

— Генералъ Козенць, Энрико (р. 1820 г.) былъ всегдашнимъ сподвижникомъ Гарибальди, начиная съ защиты Рима въ 1849 г. и до завоеванія Сициліи и Неапола въ 1860 г. Такимъ же сподвижникомъ Гарибальди былъ въ 1860 г. и Сиртори. защищавшій ранѣе (въ 1848—49 гг.) Венецію.

стр. 60. Кола ди-Ріензи пли Николай-Лаврентій Габрини (1313—1354) хотъль возстановить въ Римъ древній республиканскій строй, провозгласиль себя въ 1347 г. народнымъ трибуномъ и изгиаль дворянство, но черезъ 7 мъсяцевъ принужденъ быль повинуть Римъ. Прибывъ въ Авиньопъ (гдъ тогда пребывали папы), онъ примирился съ папой. Въ 1354, въ званіи сенатора, по порученію папы Иннокентія VI. Ріензи отправился въ Римъ для борьбы съ дворянствомъ, по возбудиль противъ себя народъ и былъ убить.

— Теверино—герой романа Жоржъ-Занда "Теверино".

Стр. 61. Іоаннъ (Джованни) Прочида (1225—1302), владѣлецъ острова Прочиды въ Неаполитанскомъ заливѣ. взбунтовавшій въ 1282 г. Спіцілію противъ французовъ, что произвело такъ назыв. сицилійскуювечерню,когда были избиты всѣ французы и послѣдовало отпаденіе Спіциліп отъ Неаполя.

Стр. 66. Тальма, Франсуа-Жозефъ (1763—1826), знаменитый французскій актеръ-трагикъ. Первый изъ актеровъ вмъсто камзоловъ сталь надъвать, соотвътствовавшіе исполняемымъ ролямъ, костюмы. Во время революціи быль ек

приверженцемъ, затъмъ сталълюбимцемъ Наполеона I.

— Жанъ-Батисть Клеберъ (1753 — 1800), даровитый французскій генераль, отличавшійся во время войнъ 1-ой республики и въ 1798 г. одержавшій въ Египтъ побъду при Геліополисъ. Быль убить турецкимъ фанатикомъ.

Стр. 68. Карлъ-Теодоръ Кернеръ (1791—1813), нѣм. поэтъ, авторъ натріотпической трагедіп "Црини" и лирическихъ пъсенъ, возбуждавшихъ нѣмцевъ къ борьбъ съ французами; убитъ въ сраженіи съ послѣдними.

Стр. 69. Австрійскій фельдмаршаль гр. Іосифъ Радецкій (1766—1860), вытёсненный въ 1848 г. изъ Милана возставшими его жителями, отличился въ 1848 и 1849 гг., разбивь піемонтскаго короля Карла-Альберта и покоривъ Венецію.

Стр. 70. Фридрихъ Каппъ (1824—1884), нѣмецкій писатель, оставившій нѣсколько цѣнныхъ сочиненій по исторіп Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ ("Исторія рабства въ Соед. Штатахъ", "Исторія нѣмецкой эмиграціп въ Америку", "Торговля солдатами нѣмецкихъ государей для Америки" и др.).

— "Vom Andern Uter" ("Съ того берега") помъщено въ V томъ́ настоящаго изданія.

Стр. 76. Зондербундь — союзь семп клерикальныхъ швейцарскихъ кантоновъ, образовавшийся въ 1843 г. для противодъйствія радикальной политикъ остальныхъ кантоновъ. Послъ пораженія его войскъ государственными войсками остальныхъ кантоновъ Швейцаріи Зондербундъ въ 1847 г. прекратилъ свое существованіе.

Стр. 77. Нѣмецкій коммунисть Вильгельмъ Вейтлингъ (1808—1871), по профессіи портной, въ началѣ 40-хъ годовъ проповѣдовалъ коммунизмъ въ Швейцаріи, въ 1844—46 гг. жилъ въ Англіи, въ 1848 г. агитпровалъ въ Германіи, гдѣ устроплъ "Союзъ освобожденія", но въ 1849 г., спасансь отъ ареста, эмигрировалъ въ Нью-Іоркъ, гдѣ и жилъ до своей смерти, издаван (въ 1851—54 гг.) газету "Rериblik der Arbeiter". Ему принадлежитъ рядъ кишгъ, гдѣ онъ излагалъ свою систему.

Стр. 79. Джемсъ Фази (1796—1878), швейцарскій государственный двятель

и писатель; 5—8 октября 1846 г. организовать въ Женевѣ возстаніе и сталь во главѣ временнаго, а затѣмъ преобразованнаго правительства, какъ президентъ Женевскаго кантона.

Стр.81.Банкиръ Жакъ Лафитъ (1767—1844) при реставраціи былъ либеральнымъ депутатомъ, много способствоваль къ осуществленію інольской революціи 1830 г., послѣ которой нѣсколько мѣскиевъ былъ министромъ (финансовъ, но съ 1831 г. перешелъ въ оппозицію.

— Казимірь Перье (1777—1832) въ 1831 г. быль президентомъ палаты депутатовъ и министромъ внутреннихъ дъль. Быль типичнымъ представителемь буржуазнаго правительства Луп-Филиппа и отличался деспотическими пріемами и безучастіемъ къ рабочему классу.

— Генераль отъ инфантеріи графь Александрь Ив. Остермань-Толстой (1770—1857), участвоваль въ войнѣ съ Турціей подъ начальствомъ Потемкина, въ 1812 г. командоваль иѣх, корпусомъ, а въ 1813 г. особенно отличился при Кульмѣ, гдѣ ему оторвало ядромъ руку. Впослѣдствіи командоваль гренадерскимъ корпусомъ,

Стр. 89. "Близокъ я былъ только съ однимъ человъкомъ... и зачъмъ я былъ близокъ съ нимъ!..." Здъсь подразумъвается нъмещкій поэтъ и революціонеръ Георгъ Гервегъ (1817—1875), съ которымъ связана семейная драма въ жизни Герцена,

Стр. 98. Эммануэль - Жовефъ Сівсъ. французскій политическій дѣятель (1748—1836). Сперва былъ аббатомъ, а при Наполеопѣ І графомъ. Содѣйствовалъ выработкѣ нѣсколькихъ французскихъ копституцій и первый предсказаль господствующую роль третьяго сословія (буржувзіи) (или, какъ ее называетъ здѣсь Герценъ, "мѣщанства"). Стр. 99. "Тhe Dream" (Сопъ)—нзвѣ-

стр. 99. "Тhe Dream" (Сопъ)—извъстное стихотвореніе Байрона, который и подразумъвается здъсь подъ "оранжерейнымъ юношей".

— Генри-Джонъ-Темль Пальмерстонъ (1784—1865), извъстный англійскій политическій дъятель, неоднократно бывшій министромъ; принадлежаль къ ли-

беральной партій.

— Лордъ Джонъ Россель (1792— 1878) въ 1832 г. провелъ избирательную реформу въ Англін; дважды былъ премьеромъ; былъ защитникомъ представительства меньшинства и реформы палаты пэровъ. Подобно Пальмерстону принадлежаль къ либераламъ.

Стр. 100. "The Darkness" (Тьма)—из-

въстное стихотвореніе Байрона. Стр. 101. Въ концъ этой главы Герценъ вспоминаеть о смерти своей же-

ценъ вспоминаеть о смерти своей мены Натальи Александровны, происшедшей за три года передъ тъмъ, какъ

онъ писаль эти строки.

Стр. 102. Orbis pictus ("Міръ въ картинкахъ")—заглавіє книги для дѣтей, составленной знаменитьмъ чешскимъ недагогомъ XVII в. Амосомъ Коменскимъ. Затѣмъ этими двумя словами озаглавливались и другія книги для дѣтскаго чтенія.

Стр. 113. Графъ Карлъ Васильевичъ Нессельроде (1780—1862) былъ министромъ иностранныхъ дѣлъ и государст канплеромъ, въ царствованіе Николая І. Самостоятельныхъ миѣній въ политикѣ не имѣлъ, а всегда подчинялся вліянію Меттерниха и всегда относился съ ненавистью къ освободительнымъ

Стр. 114. Пьеръ-Жюль Барошъ (1802— 1870) въ 1850—51 гг. министръ внутреннихъ дёлъ, нзвёстенъ, какъ ревностный боналартистъ и реакціонеръ.

Стр. 115. Марія-Анна Ленорманъ (1772—1843), зваменитая французская гадалка, нажившая большое состояніе благодаря покровительству императрицы Жозефины. Изгнанная въ 1809 г. изъ Франція, она въ отмиценіе написала "Пророческія восноминанія одной Сивиллы" (гдб она предсказывала паденіе Наполеона І) и "Историческіе и секретные мемуары императрицы Жозефины".

— Въ улицъ Jerusalem (Герусалимской) съ давнихъ временъ помъщается полицейская парижская префектура.

Стр. 120. Жозефъ Фуше (1763—1820). Въ 1790-хъ годахъ былъ крайнимъ революціонеромъ, а при Наполеонъ I, который сдълаль его герцогомъ Отрантскимъ, сталь министромъ полиціи и мубль громадное вліяніе на внутреннія дъла.

Стр. 121. Графъ Альфредъ Фаллу (1811—1886), легитимистъ и клерпкать, во время президентства Лун-Наполеона быль министромъ нар. просвъщенія. Въсвоихъ сочиненіяхъ пропагандироваль обскурантизмь.

— Огюсть-Адольфъ Бильо (1805— 1863) въ 1848 г. быль демократомъ, но затъмъ сдълался рьянымъ бонапарти-

стомъ и былъ при Наподеонъ III министромъ внутреннихъ дълъ.

— Маркизъ Анри-Огость Ларошъ-Жакленъ (1805—1867) въ 1848 г., состоя депутатомъ, былъ первымъ изъ роялистовъ, признавшихъ республику.

Стр. 124. "Proscrit" и "Nouveau Monde"
—революціонные журналы, издававшіеся въ Англіп въ то время французскими и др. эмигрантами изъ континентальной Европы.

Стр. 126. "Отцомъ Леонтіємъ" зд'єсь Герценъ называетъ тогдашняго начальника штаба корпуса жандармовъ, управлявшаго III отд'єленіємъ, ген. Леонтія

Васильев. Дуббельта.

Стр. 128. Французскій филантропъ, аббатъ Инарль-Мишель Лепе (1712—1789) наобрёдъ для глухонёмыхъ азбуку въ видё жестовъ и на свои средства основалъ въ 1771 г. институтъ для глухонёмыхъ.

стр. 132. Вартбургскій праздникъ торжество, происходившее 18 октября 1817 г. въ Вартбургѣ по поводу трехсотлѣтіи реформаціи, причемъ былъ основанъ общій союзъ нѣмецкихъ студентовъ.

Стр. 136. Общегерманскій парламенть засѣдаль въ 1848 г. въ церкви св. Па-

вла, во Франкфурть.

Стр. 137. Сальпы—классъ оболочниковъ, свободно плавающія, одиночныя или колоніальныя, морскія животныя.

Стр. 139. Массимо д'Азеліо (1798—1866), итальянскій писатель и политическій д'ятель. Его романъ "Гекторъ фіерамоска или Барлеттскій поединокъ" («La Disfida di Barletta», о которомъ здісь говоритъ Герцень) былъ дважды переведенъ на русскій языкъ (1847 и 1878). Азеліо въ 30-хъ и 40-хъ годахъ много способствовалъ пробужденію національнаго самосознанія Италіи. Съ 1849 г. былъ премьеръ-министромъ.

Стр. 140. Даніэль О'Коннель (1775—1847), внаменитый приандскій агитаторь, всю свою живнь дѣягельно агитировавшій противъ уніп Ирландіп съ Англіей; съ 1830 г. быль депутатомъ парламента, а съ 1842 г. лордъ-мэромъ Дублина.

Стр. 146. Эмиль Жирарденъ (1806—1881), извъстный журналисть, основавшій въ 1835 г. дешевую большую ежедневную газету "Presse", гдъ первый во Франціи ввель систему безмърной рекламы. Постоянно мъняль убъжденія и приставалъ къ той партін, которая

давала больше выгодъ.

Стр. 147. Викторъ Консидеранъ (1808—1893), французскій соціалисть, придерживавшійся школы Фурье. Главный его трудъ "Destinée sociale" (1836 г.,

3 тома).

Стр. 156. Буржуазный экономистъ Леонъ Фоше (1803—1854), быль съ 1846 г. оппозиціонным членомъ палаты депутатовъ, а во время президентства Луи-Наполеона занималь мѣсто министра внутреннихъ дѣлъ, но незадолго до переворота 2 декабря 1851 г. оставилъ политическую дѣятельность.

Стр. 161. Статья "По поводу одной драмы" пом'ящена въ IV том'я настоя-

щаго изданія (стр. 31—51).

Стр. 164. Жанъ-Жакъ Камбасересъ, герцогъ Пармскій (1753—1824), искусный юристъ, дѣятель французской революціи и первой имперіи, много способствовавшій упроченю Наполеоновскаго вліянія. Онъ главнымь образомъвыработалъ французскій существующій донынъ Наполеоновскій кодексъ. Былъминистромъ юстиціп во время консульства и имперіп.

Стр. 166. Леоне-Леони—герой романа Жоржа-Занда подъ этимъ-же ; названіемъ (перев. на русскій языкъ).

Стр. 175. Та часть "Вылого и Думъ", о которой упоминаеть здёсь Герценъ въ примечания, не издана до сихъ поръ; отрывокъ изъ нея (котораго изтъ въ заграничномъ издания) помъщенъ инже, см. стр. 184—191.

Стр. 179. Буквами М. К. обозначена Марья Каспаровна Эрнъ (въ замуже-

ствъ Рейхель).

Стр. 184. Отдёлъ III, стр. 184—191, въ которомъ разсказывается о смерти Нат. Алекс. Герценъ, относится къ не напечатанной до сихъ поръ части "Былого и Думъ". Отрывокъ этотъ въ первый разъ былъ напечатанъ въ сборникъ "Намяти В. Г. Вълинскаго" Москва, 1899 г., стр. 241—245. Затъмъ съ другой (повидимому) рукописи напечатанъ въ первой книжкъ "Освобожденія", 1903 г., стр. 16 b. — 16 l. Здъсъ перепечатано изъ "Освобожденія".

Стр. 185. Энгельсонъ-русскій амигранть, см. о немъ статью у Герцена, т. III, стр. 205—233.

Стр. 186. Саша—сынъ Герцена, Александръ Александровичъ Герценъ (р.

1839) физіологъ, профессоръ въ Лезаниъ.

Стр. 187. Тата—дочь Герцена Наталія Александровна.

Стр. 188. Оленька — дочь Герцена Ольга Александровна, за мужемь за франц. историкомъ Габріэлемъ Моно.

Стр. 196. Польскій генераль Іосиф і Высоцкій (1809—1874) принималь д'явтельное участіє въ возстаніи 1830—31 гг., а посл'я штурма Варшавы вмигрировань. Въ 1848, во глав'я сформированнаго имъ польскаго легіона, принималь участіє въ венгерской войны по окончатіи ея б'яжаль въ Турцію. Во время Крымской войны хогіль сформировать польскій легіонъ, но не получиль разр'ященія на это со сторгоны Франціи. Во время возстанія 1863 г. командовать отрядомъ около Ломжи, а затычь вернулся въ Парижъ.

Стр. 199. Подъ историкомъ "дезяти дътъ" подразумъвается "Туп Блапъ, издавшій въ 1840—44 гг. свою "Ністоге des dix ans: 1830—1840", въ 5 тс-махъ (послъднее, 14-е изданіе 1879—

81 гг. вышло въ 2 томахъ).

Стр. 201. Графъ Станиславъ Ворцель (1800—1858) участвовалъ въ польекомъвозтания 1830—31 гг., послъ чего эмигрировалъ въ Парижъ, а съ 1840 г. жилъ въ Лондонъ, гдъ былъ членом революцюннаго европейскаго комитела и былъ близкимъ другомъ Герцена.

Стр. 217. "Коля"—второй сынъ Герцена, утонувшій въ морѣ въ 1851 г.

**Стр. 222** — **223.** Буквою Т.. судя по связи съпредыдущимъ, обозначенъ Тесье дю-Моте,

Стр. 224. Руконпсей, присланных въ 1854 г. Энгельсономъ Герцену и напечатанныхъ послѣднимъ тогда-же. былдвѣ: 1) "Емельянъ Пугачевъ честному казачеству и всему люду русскому шлеть низкій поклонъ" и 2) "Душе моя, душмоя! Возстани, что синини?" (см. "Весмірный Вѣстникъ" 1905 г., № 1, стр. 17). Вѣроятно, о второй изъ этихъ рукописей упоминаетъ Герценъ далѣе (на стр. 227).

Стр. 231. Томасъ Мильнеръ-Гибсонъ (1806 — 1884), англійскій радикальный политическій діятель. Былъ членомь парламента съ 1837 г., участвоваль въ отміні хлібоных ваконовъ и защищаль эмансипацію евреевъ. Въ 1850 гг. быль министромъ торговли и послів того не участвоваль въ полити-

ческой дъятельности.

Стр. 234. "Англія" и послъдующіе отрывки, собранные въ этой части "Былого и Думъ", не были обработаны самимъ Герценомъ, какъ цълое, и подготовлены къ печати; появились они отдъльными статьями въ "Полярной Звъздъ" и "Колоколъ" и затъмъ были напечатаны въ "Собраніп сочиненій" (т. IX и X) и въ "Сборникъ посмертныхъ статей". Насколько возможно было безъ предварительныхъ критическихъ изслъдованій связать и установить порядокъ статей,—это сдълано; такъ, напримъръ, статья "Ледрю-Ролленъ и Кошутъ" въ "Сборникъ посмертныхъ статей" представляеть очевидное продолжение главы П "Англін" (съ повтореніемъ даже нъсколькихъ страницъ), поэтому она присоединена къ этой послъдней. Точно также статья "Ф. Піа, В. Гюго" и т. д. "Сборника посмертныхъ произведеній" присоединена въ настоящемъ изданіп въ III главъ "Англін". "Статья Нъмцы въ эмиграціи" ("Сборникъ посмерт. произведеній") повидимому, представляеть V главу "Англін", она и помѣщена на этомъ мъстъ. Но только нахождение подлипныхъ рукописей и критико-библіографическое изучение сочинений Герцена, для котораго открывается свободная возможность съ выходомъ настоящаго изданія, могуть опредѣлить надлежащимъ образомъ мѣсто и связь этихъ membra disjecta послъдней части "Былого и Думъ".

Стр. 235. Лола Монтесъ (1820—1861), авантюристка-танцовщица, ставшая фавориткой баварскаго короля Людовика I и вызвавшая пародное возстаніе въ Мюнхенъ (1848), вслъдствіе чего и была

пзгнана изъ Баваріи.

Стр 238. Агостино Бертани (1812—1886), итальянскій политическій діятель. Принималь участіє въ революціи 1848 г., а въ 1860 г. содійствоваль экспедиціи Гарибальди въ Сицплію и управлять Неаполемъ. Сть 1860 г. быль членомъ парламента, состоя однимъ изъвожажовъ радикально-республиканской партіп.

— Гульельмо Пепе (1782—1855), вождь неаполитанской революціи 1820—21 гг., а въ 1848 г. командовавшій въ осажденной австрійцами Венеціи.

Стр. 241. Джироламо Ромарино (1792—1849), итальян. генераль. Участвоваль въ наполеоновскомъ походъ въ Россію въ 1812 г., въ 1821 г.—въ возстаніи въ Иьемонтъ. въ 1831 г.— въ польскомъ

возстаніп, затімь вь пепанскихь междоусобныхь войнахь. Въ 1834 г. пыталея поднять возстаніе въ Пьемонтів, а въ 1849 г., принятый въ сардинскую армію, за неудачныя дійствія противь австрійцевь, быль разстрілянь по приговору

военнаго суда.

Стр. 259. Сулукъ (1782—1867), — негритянскій императоръ царствовавцій въ Ганти, на островъ Санъ-Доминго съ 1850 до 1858 г. подъ именемъ Фаустина І. Рантье (съ 1847 г.) быль президентомъ республики. Неграмотный Сулукъ отличался необыкновенной глупостью. кровожадностью и трусостью. Въ 1858 г. быль низвергнуть народнымъ возстаніемъ и высланъ въ Ямайъку, а въ Ганти была вновь возстановлена республика.

Стр. 261. Джулія Гризи (1811—1869), славившаяся въ свое время итальян-

ская оперная пъвица.

— Лупджи Лаблазъ (1794 — 1858). знаменитый птальянскій оперный п'ввецъ (басъ).

Стр. 267. "Марьяна"—тайное революціонное общество, существовавшее во

Франціп въ 1850-хъ годахъ.

— Графъ Александръ Валевскій (1810—1868), сынъ Наполеонъ I и польки Валевской. Принималъ участіе въ возстанія 1831, послів чего эмигрировалъ. При Наполеонъ III быль посланникомъ при разныхъ дворахъ, министромъ иностранныхъ дѣлъ, сенаторомъ и государственнымъ министромъ.

— Джозефъ Меллордъ Вильямъ Турнеръ (1775—1851) занимаетъ одно изъ первыхъ мъстъ среди англійскихъ ху-

дожниковъ.

Стр. 271. Шарль Блань (1813—1882), брать Лун Блана, извъстный историкъ искусства, имъвшій большое вліяніе на развитіе во Франціи художественнаго пониманія и написавшій рядъ цънныхъ трудовъ по исторіи искусства.

 Клодія Тансень (1681—1749), мать знаменитаго Да Аламбера, франц, писательница. Писала романы, а салонъ ея посъщался избраннымъ образованнымъ

обществомъ.

Стр. 282. Подъ "краковскимъ дѣломъ" подразумѣвается народное возстаніе въ Краковъ въ 1846 г., послѣ чего Краковъ, съ 1815 г. существовавшій въ видѣ самостоятельной республики, окончательно былъ присоединенъкъ Австріи.

 Людовикъ Мирославскій (1813— 1878), польскій революціонеръ, участвовавшій въ возстанін 1831 г., затѣмъ эмпгрировавшій. Приговоренный по процессу 1845 г. къ пожизненной тюрьмѣ за попытку возстанія въ Повнани, онъ быль освобожденъ при революціи 1848 г. Въ 1849 г. Мирославскій принималь участіе въ сицилійскомъ возстаніи и въ баденской революціи. Въ 1863 г. провозглашенный радикальной партіей диктаторомъ, Мирославскій, потерпѣвъ неудачу, удалился изъ русской Польши. Онъ написалъ рядъ военныхъ сочиненій на польскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ.

— Дмитрій Братіано (1818—1892), румынскій политическій двятель. Послів неудачи румынской революція 1848 г., біжаль въ Лондонь, гді быль членомъ европейскаго революц, комитета. Въ 1859 г. вернулся въ Румынію.

Стр 285. "Невшательскимъ вопросомъ" здёсь навываются притяванія, которыя вовымёла въ 1858 г. Пруссія на суверенную власть надъ Невшательскимъ кантономъ, что однако было отклонено Швейцаріей.

Стр. 287. Фердинадъ Фрейдигратъ (1810 — 1876), нѣмецкій политическій поэтъ. Въ 1848 г. быль, какъ глава демократовъ въ Дюссельдорфѣ, принужденъ эмигрировать въ Англію. откуда вернулся на родину только въ 1868 г. Его стихотворенія доставили ему громкую извѣстность.

стр. 288—290. Буквою К. обозначенъ нъмецкій революціонерь и эмпгранть

Готфридъ Кинкель.

Стр. 289. Робертъ Блюмъ (1807—1848), нѣмецкій агитаторъ, руководившій демократическимъ движеніемъ въ Саксоніи и въ германскомъ парламентѣ. Принявъ участіе въ вѣнскомъ возстаніи, былъ схваченъ правстрѣлянъ въ 1848. Открытая въ пользу его семьи національная подписка дала 120.000 марокъ.

Стр. 291. Эдгардъ Бауэръ (1820—1886), нѣм. философъ, братъ и единомышленникъ извъстнаго богослова Бруно Бауэра. Инсалъ по богословію, философіи и политикъ, причемъ неоднократно выдерживалъ судебыю процессыптюремныя заключеніязасвой книги. Принималъ участіе въсобытіяхъ 1848 г., почему нъкоторое время принужденъбыль жить за границей.

Стр. 293. Лордъ Эдвардъ-Джоффрей Дерби (1799 — 1869) насколько разъбылъ министромъ, докончилъ уничтожение невольничества въ англ. колоні-

яхъ, быль ярымъ тори и противникомъ расширенія избирательныхъ правъ.

— Испанскій герцогъ Бальдомеро Эспартеро (1792 — 1879) играль крупную роль въ испанской йолитик XIXв., быль дважды министромъ-президентомъ и регентомъ королевства.

— Ричардъ Кобденъ (1804 — 1865), англ. политич. дънтель, прославившися въ особенности защитой принциповъ свободной торговли и уничтоженемъ хлъбныхъ законовъ. Онъ былъ главой такъ называемой манчестерской партіи (англ. буржуазныхъ экономистовъ).

— Ив. Гаврил. Головинъ (род. въ 1816 г.), служилъ въ министерствъ иностран. дълъ, но, уъхавъ заграницу, издалъ въ 1845 г. книгу "La Russie sous Nicolas I", которая надолго закрыла ему возвращене на родину. Прощенный Александромъ II, Головинъ не захотълъ вернуться въ Россію. Онъ издалъ цълый рядъ книгъ на англ., франц и нъм. языкахъ о времени Николая I, Александра II, о Польшъ, Франціи, "Мои отношенія къ Герцену и Бакунину" (1880, на нъм. яз.) и др.

Стр 295. Франць-Аврелій Пульскій (род. въ 1814 г.), венгерскій писатель. Принявь участіє въ революціп 1848 г., онъ убъжаль затъмъ въ Парижъ и заочно быль приговорень къ смерти. Онь со провождаль Кошута въ путешествіи въ Америку, издаль много книгъ разнообразнаго содержанія, въ концѣ 60-хътг.

быль помиловань.

— Джемсъ Бюхананъ (1791 — 1868) былъ членомъ съв.-америк. конгресса, америк. посланникомъ въ Россіп (1831—33), сенаторомъ, госуд. секретаремъ (съ 1845), посланникомъ въ Англіи (съ 1853) и президентомъ Соед. Штатовъ (1856—1860), причемъ стоялъ за расство пегровъ. Съ 1861 г. его смънилъ освободитель негровъ А. Линкольнъ.

Стр. 296. Андре Массена, герцогъ Риволійскій (1758—1817), одинъ изъ наполеоновскихъ маршаловъ, отличавшійся во время войнъ конвента, директорін пиервой имперіп: особенно успѣшно дъйствоваль въ Италіп.

Стр. 299. "Началась итальянская война". Здёсь говорится о войнё 1859 г. между Франціей и Піемонтомъ, съ од-

ной стороны, и Австріей, съ другой. Стр. 300—307. Буквами М.—С. обозначень на этихъ страницахъ малонзвъстный нъмецкій писатель Мюллеръ-Стрюбингь, избравшій себъ спеціальностью въ 40-хъ и 50-хъ годахъ знакомиться и сближаться съ русскими, какъ эмигрантами, такъ и вообще вывзжав-

шими за границу.

Стр. 300. Побъды при Маджентъ и Сольферино, одержанныя французами и сар- 1 динцами надъ австрійскими войсками, (1788 — 1855) былъ главнокомандуюположили конецъ войнъ 1859 г., результатомъ которой явилось присоединеніе Ломбардів къ Піемонту и начавшееся съ того времени объединеніе

- "Квадрилатеръ" - четыреугольникъ, который составляли 4 кръпости: Мантуя, Верона, Пескьера п Леньяго на р. Минчіо, отдъляющей Ломбардію отъ

Венеціанской области.

— Лотаръ Бухеръ (1817—1892) въ 1848-49 гг. быль членомъ прусскаго парламента, въ 1850 г., будучи осужденъ, бъжаль въ Лондонъ, откуда въ теченіе 10 лёть писаль въ нём. газеты противъ англ. парламентаризма. Послъ амнистін верпулся въ Пруссію. Написалъ рядъкнигъ о политикъ.

"Ротбартусъ" — такъ Герценъ называетъ Карла Родбертуса-Ягецова (1805-1875), извъстнаго нъм. экономиста и политич. дъятеля, который протестоваль въ 1859 г. вивств съ Лотаромъ Бухеромъ противъ присоединенія Венеціи къ Ита-

.nin.

302. Вильгельмъ Каульбахъ Стр. (1805 — 1874) и Петръ Корнеліусь (1783—1867)-два знаменитыхъ нёмецкихъ историческихъ живописца.

Стр. 304. Гамбахскій праздникъ быль устроенъ 27 мая 1832 г. близъ замка Гамбахъ, въ Баваріи, приверженцами германскаго объединенія для протеста противъ реакціонныхъ мфръ германскаго сейма. Участвовало въ праздникъ 20.000 человѣкъ.

Стр. 305. Буквами И. Т. означенъ

Ив. Серг. Тургеневъ.

Стр. 309. Графомъ Монтемолиномъ сталь называться послё своего отреченія въ 1860 г. отъ правъ на пспанскій престоль внукъ испанскаго короля Карла IV, принцъ астурійскій Людовикъ-Марія-Фердинандъ (1818 — 1861), ранте испанскими карлистами названный Карломъ VI.

- Въ Клермонъ (замкъ въ Англіп) поселилась семья изгнаннаго въ 1848 г. изъ Франціи короля Луи-Филиппа.

Стр. 312. Сэръ-Генри Гевлокъ (Гавелокъ). англійскій генераль (1795—1857), прославившійся во время возстанія си-

паевъ въ Остъ-Индін побъдами надъ вождемъ мятежниковъ Нена-Сапбомъ.

Стр. 317. "Самъ старикъ" — подразумъвается бывшій диктаторъ Венгріп Людвигь Кошутъ.

Лордъ Джемсъ-Генри Рагланъ щимъ англ. армін подъ Севастополемъ.

— Франц. маршаль Жакъ Леруа Сентъ-Арно (1796-1854), будучи военнымь министромъ, подготовилъ госуд. переворотъ 2 декабря, а затѣмъ былъ главнокомандующимъ франц. арміей въ Крыму въ 1854-55 гг.

Омеръ-наша (1806-1871) командовалъ турецкими войсками въ 1853-

55 Tr.

Стр. 323. "Ш-ра" обозначаетъ французскаго республиканца-эмигранта Виктора Шельшера, о которомъ говори-

лось ранъе (стр. 311). Стр. 324. Иръ — бъдный нищій на островъ Итакъ, побъжденный Одиссеемъ въ кулачномъ бою. Его имя сдълалось

нарицательнымъ словомъ, обозначающимъ крайне бъднаго человъка.

- Альберъ, собственно Александръ Мартини (1815—1895), быль парижскимъ рабочимъ и издавалъ народную газету "Atelier". Въ 1848 г. былъ членомъ французскаго временнаго правительства, какъ представитель рабочихъ классовъ. За попытку къ возстанію 15 мая (1848) быль приговоренъ къ продолжительному тюремному заключеню. Въ 1871 г. принималь участіе въ возстаніи парижской коммуны.

Стр. 325. Лун-Шарль Делеклюзъ (1809—1871), франц. революціонеръ п журналистъ. Участвовалъ въ революцін 1848 г. Въ 1852-59 гг. въ ссылкъ, въ Кайеннъ. Былъ однимъ изъ вождей парижской коммуны 1871 г. и убитъ при взятіп Парижа прави-

тельственными войсками.

Стр. 326—327 и 329. Буквою Р. здёсь обозначенъ музыканть и композиторъ А. Рейхель, женатый на Маріп Каспаровнъ Эрнъ, близкой подругѣ жены Герцена. прібхавшей изъ Россіп за границу въ 1847 г. вмъстъ съ семьей Герцена. Послъ смерти жены Герцена, Нат. Александр., дочери его ифкоторое время проживали въ домъ Рейхелей.

Стр. 327. Австрійскій генераль, графъ-Теодоръ Латуръ (1780-1848), назначенный въ іюль 1848 г. военнымъ министромъ, 6 октября того-же года былъ повъщенъ въ Вънъ возставшимъ наро-

Стр. 330. Люсьенъ-Анатоль Прво-Парадоль (1829—1870), сперва республиканскій, затёмъ банапартисткій публицість.

— Графъ Шарль Монта - Ламберъ (1810—1870), франц. инсатель, защищавшій всегда интересы католиковъ и клерикализма.

стр. 340. Триссотинъ и Вадіусъ—двое комическихъ напыщенныхъ глупцовъ, считающихъ себя учеными (у Мольера).

Стр. 342. Буквою Ч. обозначенъ поль-

скій эмигранть Чернецкій.

Стр. 344. Князь Адамъ Чарторижскій (1770—1861) участвоваль въ возстаніи Костюшки, былъ другомь Александра I п быль имъ назначенъ русскимъ министромъ иностр. дѣлъ. Въ 1830 г. былъ главою временнаго правительства Польши, а въ 1831 г. президентомъ націон. собранія. Удалясь за границу, стоялъ во главъ "бѣлой" (аристократической) польской эмиграціи.

Стр. 345. "Панъ Тадеушъ" — извъст-

ная поэма Мицкевича.

— "Мурделіо"—пов'єсть Сигизмунда Качковскаго (1826—1896), мастерски пзображающая старый польскій бытъ (русскій переводъ: Спб., 1864).

Стр. 354. Греческій сатирикъ и филосовъ-софистъ Лукіанъ (125—190) въ своихъ сочиненіяхъ рѣзко рисуетъ кар-

тину упадка древняго міра.

Стр. 356. Мишель Шевалье (1806—1879), буржуазный франц, экономисть, написавшій "Курсь полит. экономін" и

рядъ другихъ сочиненій.

Стр. 360. Іоахимъ Лелевель (1786—1861), талантливый польскій историкъ. Выль профессоромъ варшавскаго и виленскаго университетовъ, но, принявъ дъятельное участіе въ польскомъ возстаніи 1830—31 гг., какъ членъ временнаго правительства, принужденъ быль затъмъ эмигрировать и жилъ въ Бельгіи и во Франціи.

Стр. 361. Нью-Ланаркъ—мѣсто, гдѣ Р. Оуэнъ стремился примѣнить къ фабричнымъ рабочимъ свои соціалистиче-

скіе планы.

Стр. 362. Лордъ Генри Брумъ (1779— 1868), англ. государств. дъятель, инсатель и ораторъ, пользовавшійся большимъ авторитетомъ въ Англін.

Стр. 365. Джемсъ Фоксъ (1749—1806), англ. государств. человъкъ, прославившійся защитой свободы и во главъ оппозиціи стоявшій за освобожденіе Сѣв.американскихъ колоній. Ему поставленъ въ Лондонѣ памятникъ.

стр. 368. Ауциліо Ванини (1585—1619), итальянскій философъ и свободный мыслитель, сожженный за критическое отношеніе къ религіи.

— Врачъ Франсуа - Ксаве Биша (1771—1802), знаменитый въ свое времи франц. физіологъ; творецъ общей анатоліи.

— Пьеръ-Жанъ Кабанисъ (1759 — 1808), франц, врачъ и философъ-мате-

ріалисть.

Стр. 369. Джорджъ Голіокъ (род. въ 1817 г.), англ. философъ, соціологъ и публицисть. Съ 40-хъ гг. посвятиль свою дъятельность развитію рабочаго класса въ умственномъ отношеніи и освобожденію его отъ клерикальныхъ идей. для чего издаваль книги и брошоры, а съ 1846 г. журналъ "Тhe Reasoner".

Стр. 379. Сэръ-Мозесъ Монтефіоре (1784—1885), англ. баронетъ. прославившійся своей шировой филантроніей.

Стр. 381. Джозефъ Аддисонъ (1672—1719), англ. поэтъ и сатирикъ. Особенно славились его "Опыты" и трагедія "Катонъ".

Стр. 389. Франц. генералъ маркизъ Эмманувъъ Груши (1766—1847) опоздалъ прійти на помощь къ Наполеону І въ день сраженія при Ватерлоо (1815), что многими принисывалось измънъ, по проще объясняется несообразительностью Груши.

Стр. 394. Итальянскій графъ Герардеско Уголино въ концѣ XIII в. за жестокое управленіе Пизой быль заключенъ съ своей семьей въ тюрьму, гдѣ они веѣ умерли съ голоду (1288 г.).

Стр. 398. Кремье. Исаакъ- Адольфъ (1796 — 1880), политическій д'янгаль. бывшій членомъ французскаго временного правительства 1848 г., причемъ занималъ постъ министра юстиціп.

Стр. 399. Генералъ-мајоръ Ив. Григор. Вурцовъ (1794 — 1829). сослуживент партизана Д. В. Давыдова въ 1812—14 гг., внослѣдствін особенно отличился въ турецкой войнѣ 1828—29 гг., какъ сподвижникъ Паскевича, и былъ убитъ въ этой войнѣ.

Стр. 422. Іоаннъ Лейденскій (собственно Іоаннъ Боккольдъ), портной (1510—1536), ставшій пророкомъ анабантистовъ и основавшій въ Мюнстеръ демократически-духовное царство Сіона.

— Объ "объдъ у американскаго кон-

сула", о которомъ здѣсь упоминается разсказано въ статьѣ "Нѣмцы въ эмиграцін", см. въ этомъ же томѣ, стр. 295—298.

Стр. 425. Лордъ Альфредъ Тенисонъ (1809—1892), талантливый англ. поэтъ (съ 1850 г. поэтъ-дауреатъ), поэмы и элегін котораго отличаются необыкновенной красотой формы и изяществомъ стиля.

Стр. 426. Лордъ Александръ-Вильямъ Линдсей (1812—1880), англ. писатель и покровитель научныхъ стремленій въ Англіп, Написаль рядъ разнообразныхъ

сочиненій.

Стр. 430. Жанъ-Жакъ Пелисье (1704—1864), франц. маршалъ, былъ главно-командующимъ въ Крымскую войну и за взятіе Малахова кургана, а съ нимъ и Севастополя, получилъ титулъ герцога Малаховскаго. Затъмъ былъ посломъ въ Лондонъ и генералъ-губерна-

торомъ Алжира.

Стр. 437. Рудольфъ Гнейстъ (1816—1895), ученый ивм. юристъ, проф. берлинскаго университета, изъ много-численныхъ сочиненій котораго пріобрѣли классическую цѣнность его труды о самоуправленіи, парламентариямѣ и государственномъ устройствѣ Англіи.

стр. 438. Эмиліо Внеконти-Веноста (род. въ 1830 г.) итальянскій дипломатъ, многократно бывшій министромъ

пностранных дёль.

Стр. 439. Князь Петръ Владим. Долгоруковъ (1816—1868), генеалогисть. Съ 1859 г. сталъ эмигрантомъ и издалъ за границей рядъ книгъ и брошюръ на русскомъ и французскомъ языкахъ по генеалогіи и политикъ, а также издавалъ журналы: "Будущностъ" (1862) и "Листокъ" (1862—64) и др. и свои "Мемуары" (на франц. яз.).

Стр. 442. Лордъ Джорджъ Кларендонъ (1800—1870), англ. политич. дъятель. Съ 1856 г. былъ статсъ-секретаремъ, а въ 1865—66 гг. министромъ

пностранныхъ дълъ.

 Эдуардъ Друэнъ-де-Люнсъ (1805— 1881), франц. дипломатъ, бывшій въ 1849—55 и 1862—1866 гг. министромъ

иностранныхъ дълъ.

стр. 443. Саръ-Вильямъ Фергюсонъ (1808—1877), англ. хирургъ и анатомъ, съ 1840 г. состоявшій профессоромъ хирургіи въ лондонской королевской коллегіи (King's College).

Стр. 449. Князь Юрій Никол. Голи-

цынъ (1823—1872), павёстный дирижеръ, руководитель собственнаго оркестра и композиторъ. Выть предводителемь Усманскаго уёзда и камергеромъ, но, несмотря на эти званія, исключительно занялся музыкальной дёятельпостью; какъ композиторъ, далъ рядъ мелкихъ и крупныхъ произведеній. Образовавъ свой хоръ, путешествовалъ съ нимъ по Евроит и Америкъ. Записки о своей жизни (подъ названіемъ "Прошедшее и настоящее") онъ напечаталъ въ "Отеч. Запискахъ" 1869 г.

Стр. 455. Феликсъ Ронкони (1812—1875), итальянскій півець-баритонъ и музыкальный педагогь. Въ 1852—57 гг. піль въ итальянской Спб. оперів, а также преподаваль нісколько літь півніе въ истербургскомь театральномъ

училищъ.

Стр. 457. Карлъ-Іосифъ Миттермайеръ (1787—1867), извъстный ученый изм. юристъ, паписавшій рядъ цънныхъ юридическихъ сочиненій, главныя наъ которыхъ переведены по-русски.

Стр. 461. Вас. Ив. Кельсіевъ (1835—1872), инсатель, эмигрировавшій въ 1859 г. изъ Россіи въ Лондопъ, ведшій затѣмъ пропаганду среди заграничныхъ старообрядцевъ, но въ 1867 г. попросившій у правительства прощенія и затѣмъ издавшій въ Россіи свои воспоминанія: "Пережитое и передуманное" и "Галичина и Молдавія" и нѣсколько беллетристическихъ сочивеній.

Стр. 469. Графъ Андрей Замойскій (1800—1874), польскій патріотъ, принимавшій участіе въ польскомъ революціонномъ правительствъ 1830 г., но затъмъ ему было позволено жить въ Польшть и лишь возстаніе 1863 г. заставило его вновь эмигрировать въ

Парижъ.

Стр. 483. Буквами М. В. здѣсь и на послѣдующихъ страницахъ обозначенъ

Мих. Александр. Бакунинъ.

Стр. 484. Ив. Кузьм. Кайдановъ (1782—1843), авторъ пустыхъ историческихъ учебниковъ, отличающихся риторическимъ слогомъ и казеннымъ патріотизмомъ.

Стр. 483—499 и 503—504. Буквами М. Б. и Б. обозначенъ М. А. Ваку-

нинъ

Стр. 485 Князь Альфредь-Фердинандъ Виндишгрецъ, австрійскій фельдмаршаль (1787—1862), въ 1848 г. бомбардировавшій Прагу и подавившій тамъ возстаніе чеховъ.

Стр. 508. "Хорошій морякъ, графъ С.", повидимому, тоть графъ Сбышевскій, о которомъ говорится далъе (стр. 510).

Стр. 514. Ричардъ Бринсли Шериданъ (1751-1816), англ. драматургъ и политическій дінтель, авторь извістной

пьесы "ИГкола злословія". Стр. 523. Карлъ Иммерманъ (1796— 1840), нём. поэтъ, писавшій поэмы, сказки, повъсти, драмы и романы.

Стр. 532. Миллеръ С.-Миллеръ-Стрю-

бингъ.

Стр. 548. Подъ "венгерцемъ графомъ С. Т." (въ выноскъ) подразумъвается, въроятно, венгерскій эмигрантъ графъ Сандоръ Телеки, о которомъ неоднократно упоминалось ранже (стр. 269 299 и 317-318).

Стр. 560. Буквою М. обозначена Матильда Мейзенбугъ, воспитательнина

дочерей Герцена.

Стр. 563. Подъ "нашимъ поэтомъ Ө. Т." подразумъвается поэть Өе-доръ Ив. Тютчевъ (1803—1873), служившій сперва по дипломатической части, а затъмъ бывшій предсъдателемъ комитета иностранной цензуры.

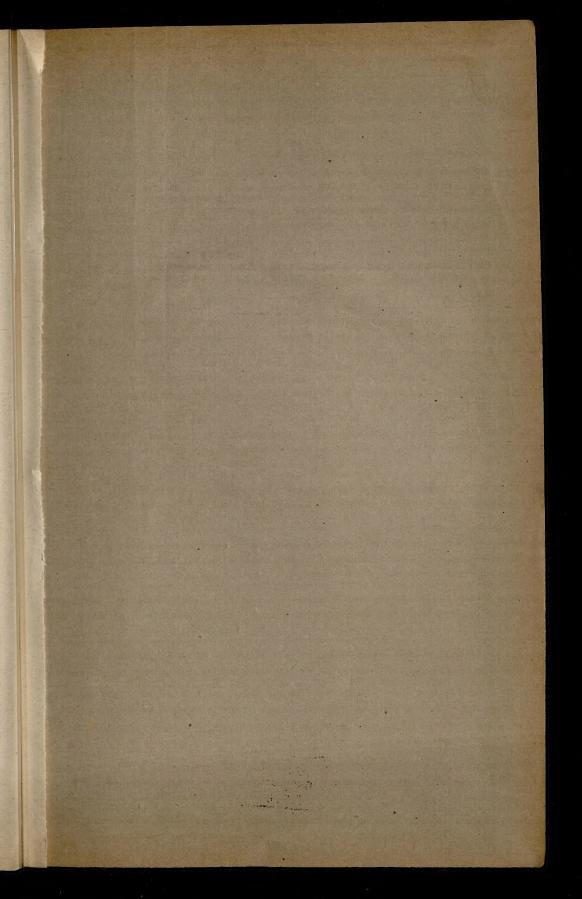
Стр. 575. Чертозы-Чертоза монастырь близъ Павіи, основанный въ

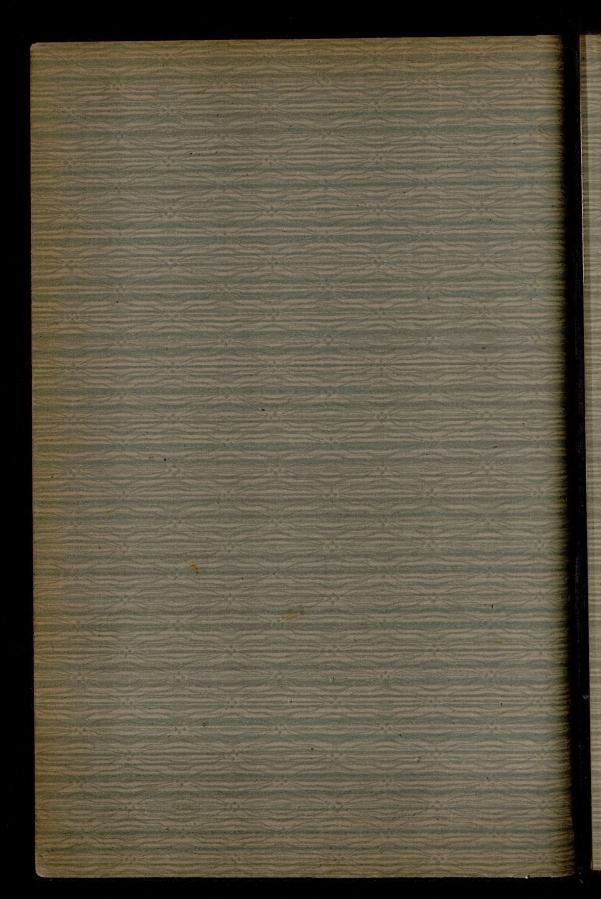
1396 г.

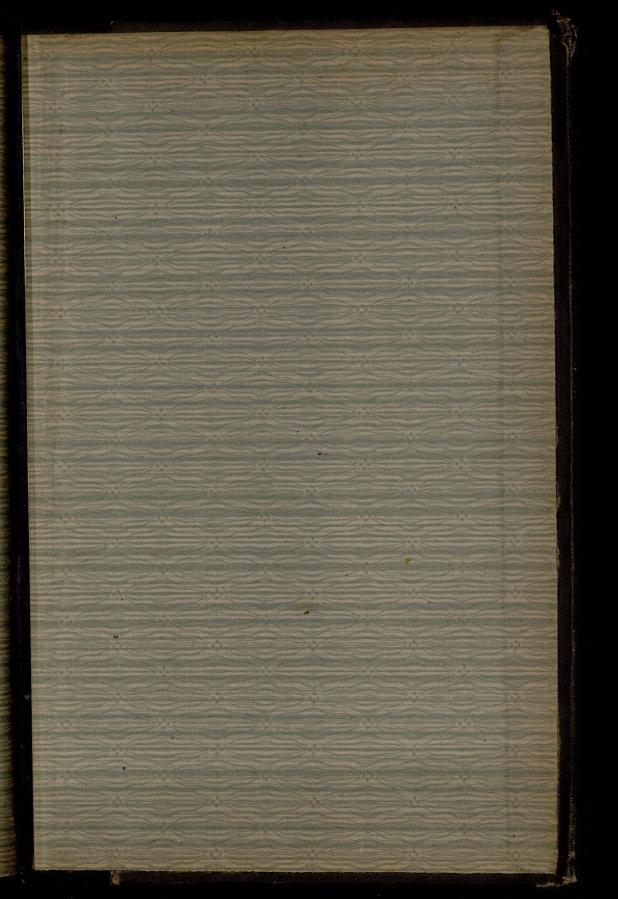
Стр. 575. Камалдолы-монастыри въ Италін, называемые по монашескому ордену Камалдоловъ.











T.3